

Чарльз Диккенс

Торговый дом Домби и сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт

Предисловие к первому изданию

Я не могу упустить удобного случая и попрощаюсь со своими читателями на этом месте, предназначенном для разного рода приветствий, хотя мне нужно только одно — засвидетельствовать безграничную теплоту и искренность их чувств на всех стадиях путешествия, которое мы только что завершили.

Если кто-либо из них испытал скорбь, знакомясь с некоторыми из главных эпизодов этой вымышленной истории, я надеюсь, что такая скорбь сближает друг с другом тех, кто ее разделяет. Это не бескорыстно с моей стороны. Я претендую на то, что и я ее испытывал, по крайней мере так же, как и всякий другой, и мне хотелось бы, чтобы обо мне благосклонно вспоминали за мое участие в этом переживании.

Девоншир. Марта 24, 1848

Предисловие ко второму изданию

Я беру на себя смелость полагать, что способность (или привычка) пристально и тщательно наблюдать человеческие характеры — редкая способность. Опыт убедил меня даже в том, что способность (или привычка) наблюдать хотя бы человеческие лица отнюдь не является всеобщей. Две обычные ошибки в суждениях, вытекающие, по моему мнению, из указанного недостатка, это смешение двух понятий — нелюдимости и высокомерия, а также непонимание того, что натура упрямо ведет вечную борьбу сама с собой.

В мистере Домби не происходит никакой резкой перемены ни в этой книге, ни в жизни. Чувство собственной несправедливости живет в нем все время. Чем больше он его подавляет, тем более несправедливым неизбежно становится. Затаенный стыд и внешние обстоятельства могут в течение недели или дня привести к тому, что борьба обнаружится; но эта борьба длилась годы, и победа одержана нелегко.

Годы прошли с тех пор, как я расстался с мистером Домби. Я не торопился публиковать эту критическую заметку о нем, по теперь предлагаю ее с большей уверенностью.

Я начал эту книгу на берегу Женевского озера и в течение нескольких месяцев работал над нею во Франции. Связь между романом и местом, где он был написан, столь врезалась мне в память, что и теперь, хотя я знаю каждую ступеньку в доме Маленького Мичмана и мог бы припомнить каждую скамью в церкви, где венчалась Флоренс, и кровать каждого из молодых джентльменов в заведении доктора Блимбера, однако мне смутно мерещится, что капитан Катль скрывается от миссис Мак-Стинджер в горах Швейцарии. Точно так же, когда иной раз что-нибудь случайно напомнит мне, о чем говорили волны, мне мерещится, что я брожу всю зимнюю ночь напролет по улицам Парижа, как и в самом деле бродил, с тяжелым сердцем, в ту ночь, когда мой маленький друг и я расстались навеки.

Глава I Домби и сын

Домби сидел в углу затемненной комнаты в большом кресле у кровати, а Сын лежал тепло укутанный в плетеной колыбельке, заботливо поставленной на низкую кушетку перед самым камином и вплотную к нему, словно по природе своей он был сходен со сдобной булочкой и надлежало хорошенько его подрумянить, покуда он только что испечен.

Домби было около сорока восьми лет. Сыну около сорока восьми минут. Домби был лысоват, красноват и хотя был красивым, хорошо сложенным мужчиной, но имел слишком суровый и напыщенный вид, чтобы располагать к себе. Сын был очень лыс и очень красен и, хотя был (разумеется) прелестным младенцем, казался слегка измятым и пятнистым. Время и его сестра Забота оставили на

челе Домби кое-какие следы, как на дереве, которое должно быть своевременно срублено, — безжалостны эти близнецы, разгуливающие по своим лесам среди смертных, делая мимоходом зарубки, — тогда как лицо Сына было иссечено вдоль и поперек тысячью морщинок, которые то же предательское Время будет с наслаждением стирать и разглаживать тупым краем своей косы, приготавливая поверхность для более глубоких своих операций.

Домби, радуясь долгожданному событию, позвякивал массивной золотой цепочкой от часов, видневшейся из-под его безукоризненного синего сюртука, на котором фосфорически поблескивали пуговицы в тусклых лучах, падавших издали от камина. Сын сжал кулачки, как будто грозил по мере своих слабых сил жизни за то, что она настигла его столь неожиданно.

— Миссис Домби, — сказал мистер Домби, — фирма снова будет не только по названию, но и фактически Домби и Сын. Домби и Сын!

Эти слова подействовали столь умиротворяюще, что он присовокупил ласкательный эпитет к имени миссис Домби (впрочем, не без колебаний, ибо не имел привычки к такой форме обращения) и сказал: «Миссис Домби, моя... моя милая».

Вспыхнувший на миг румянец, вызванный легким удивлением, залил лицо больной леди, когда она подняла на него глаза.

— При крещении, конечно, ему будет дано имя Поль, моя... миссис Домби.

Она слабо отозвалась: «Конечно», или, вернее, прошептала это слово, едва шевеля губами, и снова закрыла глаза.

— Имя его отца, миссис Домби, и его деда! Хотел бы я, чтобы его дед дожил до этого дня!

И снова он повторил «Домби и Сын» точь-в-точь таким же тоном, как и раньше.

В этих трех словах заключался смысл всей жизни мистера Домби. Земля была создана для Домби и Сына, дабы они могли вести на ней торговые дела, а солнце и луна были созданы, чтобы озарять их своим светом... Реки и моря были сотворены для плавания их судов; радуга сулила им хорошую погоду; ветер благоприятствовал или противился их предприятиям; звезды и планеты двигались по своим орбитам, дабы сохранить нерушимой систему, в центре коей были они. Обычные сокращения обрели новый смысл и относились только к ним: А. D. отнюдь не означало *anno Domini*¹, но символизировало *anno Dombei*² и Сына.

Он поднялся, как до него поднялся его отец, по закону жизни и смерти, от Сына до Домби, и почти двадцать лет был единственным представителем фирмы. Из этих двадцати лет он был женат десять — женат, как утверждал кое-кто, на леди, не отдавшей ему своего сердца, на леди, чье счастье осталось в прошлом и которая удовлетворялась тем, что заставила свой сломленный дух примириться, почтительно и покорно, с настоящим. Такие пустые слухи вряд ли могли дойти до мистера Домби, которого они близко касались, и, пожалуй, никто на свете не отнесся бы к ним с большим недоверием, чем он, буде они дошли бы до него. Домби и Сын часто имели дело с кожей, но никогда — с сердцем. Этот модный товар они предоставляли мальчишкам и девчонкам, пансионам и книгам. Мистер Домби рассудил бы, что брачный союз с ним должен, по природе вещей, быть приятным и почетным для любой женщины, наделенной здравым смыслом; что надежда дать жизнь новому компаньону такой фирмы не может не пробуждать сладостного и волнующего честолюбия в груди наименее честолюбивой представительницы слабого пола; что миссис Домби подписывала брачный договор — акт почти неизбежный в семьях благородных и богатых, не говоря уже о необходимости сохранить название фирмы, — отнюдь не закрывая глаз на эти преимущества; что миссис Домби ежедневно узнавала на опыте, какое положение он занимает в обществе; что миссис Домби всегда сидела во главе его стола и исполняла в его доме обязанности хозяйки весьма прилично и благопристойно; что миссис Домби должна быть счастлива; что иначе быть не может.

Впрочем, с одной оговоркой. Да. Ее он готов был принять. С одной-единственной; но она несомненно заключала в себе многое. Они были женаты десять лет, и вплоть до сегодняшнего дня, когда мистер Домби, позвякивая массивной золотой цепочкой от часов, сидел в большом кресле у

¹ в лето (от рождества) господня (лат.)

² в лето (от рождества) Домби (лат.)

кровати, у них не было потомства... о котором стоило бы говорить, никого, кто был бы достоин упоминания. Лет шесть назад у них родилась дочь, и вот сейчас девочка, незаметно пробравшаяся в спальню, робко жалась в углу, откуда ей видно было лицо матери. Но что такое девочка для Домби и Сына? В капитале, коим являлись название и честь фирмы, этот ребенок был фальшивой монетой, которую нельзя вложить в дело, — мальчиком ни на что не годным, — и только.

Но в этот момент чаша радости мистера Домби была так полна, что он почувствовал желание уделить одну-две капли ее содержимого даже для того, чтобы окропить пыль на заброшенной тропе своей маленькой дочери.

Поэтому он сказал:

— Пожалуй, Флоренс, ты можешь, если хочешь, подойти и посмотреть на своего славного брата. Не дотрагивайся до него.

Девочка пристально взглянула на синий фрак и жесткий белый галстук, которые, вместе с парой скрипящих башмаков и очень громко тикающими часами, воплощали ее представление об отце; но глаза ее тотчас же обратились снова к лицу матери, и она не шевельнулась и не ответила.

Через секунду леди открыла глаза и увидела девочку, и девочка бросилась к ней и, поднявшись на цыпочки, чтобы спрятать лицо у нее на груди, прильнула к матери с каким-то страстным отчаянием, отнюдь не свойственным ее возрасту.

— Ах, боже мой! — с раздражением сказал мистер Домби, вставая. — Право же, ты очень неблагодарна и опрометчива. Пожалуй, следует обратиться к доктору Пепсу, не будет ли он так любезен еще раз подняться сюда. Я пойду. Мне незачем просить вас, — добавил он, задерживаясь на секунду возле кушетки перед камином, — проявить сугубую заботу об этом юном джентльмене, миссис...

— Блокит, сэр? — подсказала сиделка, приторная увядшая особа с аристократическими замашками, которая не решилась объявить свое имя как непреложный факт и только назвала его в виде смиренной догадки.

— Об этом юном джентльмене, миссис Блокит.

— Да, конечно, сэр. Помню, когда родилась мисс Флоренс...

— Да, да, да, — сказал мистер Домби, наклоняясь над плетеной колыбелькой и в то же время слегка сдвигая брови. — Что касается мисс Флоренс, то все это прекрасно, но сейчас другое дело. Этому юному джентльмену предстоит выполнить свое назначение. Назначение, мальчуган! — После такого неожиданного обращения к младенцу он поднес его ручку к своим губам и поцеловал ее; затем, опасаясь, по-видимому, что этот жест может умалить его достоинство, удалился в некотором замешательстве.

Доктор Паркер Пепс, один из придворных врачей и человек, пользовавшийся великой славой за помощь, оказываемую им при увеличении аристократических семейств, шагал, заложив руки за спину, по гостиной, к невыразимому восхищению домашнего врача, который последние полтора месяца разглагольствовал среди своих пациентов, друзей и знакомых о предстоящем событии, по случаю коего ожидал с часа на час, днем и ночью, что его призовут вместе с доктором Паркером Пенсом.

— Ну, сэр, — сказал доктор Паркер Пепс низким, глубоким, звучным голосом, приглушенным по случаю события, как закутанный дверной молоток, — находите ли вы, что ваше посещение подбодрило вашу милую супругу?

— Так сказать, стимулировало, — тихо добавил домашний врач, кланяясь в то же время доктору и как бы говоря: «Простите, что я вставил словечко, но это ценное добавление».

Мистер Домби был совершенно сбит с толку вопросом. Он так мало думал о больной, что не в состоянии был на него ответить. Он сказал, что ему доставило бы удовольствие, если бы доктор Паркер Пепс согласился еще раз подняться наверх.

— Прекрасно. Мы не должны скрывать от вас, сэр, — произнес доктор Паркер Пепс, — что заметен некоторый упадок сил у ее светлости герцогини... прошу прощения: я путаю имена... я хотел сказать — у вашей любезной супруги. Заметна некоторая слабость и вообще отсутствие жизнерадостности, которые нам желательно было бы... не...

— Наблюдать, — подсказал домашний врач, снова наклоняя голову.

— Вот именно! — произнес доктор Паркер Пепс. — Которые нам желательно было бы не наблюдать. Обнаруживается, что организм леди Кенкеби... простите: я хотел сказать — миссис

Домби, я путаю имена больных...

— Столь многочисленных, — прошептал домашний врач, — право же, нельзя ожидать... в противном случае это было бы чудом... практика доктора Паркера Пепса в Вест-Энде...

— Благодарю вас, — сказал доктор, — вот именно. Обнаруживается, говорю я, что организм нашей пациентки перенес потрясение, от которого он может оправиться только с помощью напряженного и упорного...

— И энергического, — прошептал домашний врач.

— Вот именно, — согласился доктор, — и энергического усилия. Мистер Пилкинс, здесь присутствующий, который, занимая положение медика-консультанта в этом семействе — не сомневаюсь, что нет человека, более достойного занимать это положение...

— О! — прошептал домашний врач. — Похвала сэра Хьюберта Стэнли!³

— Очень любезно с вашей стороны, — отозвался доктор Паркер Пенс. — Мистер Пилкинс, который благодаря своему положению превосходно знает организм пациентки в нормальном его состоянии (знание весьма ценное для наших заключений при данных обстоятельствах), разделяет мое мнение, что в настоящем случае природе надлежит сделать энергическое усилие и что если наш очаровательный друг, графиня Домби — прошу прощения! — миссис Домби будет не...

— В состоянии, — подсказал домашний врач.

— Сделать надлежащее усилие, — продолжал доктор Паркер Пепс, — то может наступить кризис, о чем мы оба будем искренне сожалеть.

После этого они стояли несколько секунд с опущенными глазами. Затем по знаку, молча по данному доктором Паркером Пенсом, они отправились наверх, домашний врач открыл дверь перед знаменитым специалистом и последовал за ним с раболепнейшей учтивостью.

Утверждать, что мистер Домби не был по-своему опечален этим сообщением, значило бы отнести к нему несправедливо. Он был не из тех, о ком можно с правом сказать, что этот человек бывал когда-нибудь испуган или потрясен; но несомненно он чувствовал, что, если жена заболит и зачахнет, он будет очень огорчен и обнаружит среди своего столового серебра, мебели и прочих домашних вещей отсутствие некоего предмета, которым весьма стоило обладать и потеря коего не может не вызвать искреннего сожаления. Однако это было бы, разумеется, холодное, деловое, приличествующее джентльмену, сдержанное сожаление.

Его размышления на эту тему были прерваны сначала шорохом платья на лестнице, а затем внезапно ворвавшейся в комнату леди, скорее пожилой, чем юной, но одетой как молоденькая, в особенности если судить по туго затянутому корсету, которая, подбежав к нему, — что-то напряженное в ее лице и манерах свидетельствовало о сдержанном возбуждении, — обвила руками его шею и сказала, задыхаясь:

— Дорогой мой Поль! Он — вылитый Домби!

— Ну-ну! — отвечал брат, ибо мистер Домби был ее братом. — Я нахожу, что в нем действительно есть фамильные черты. Не волнуйтесь, Луиза.

— Это очень глупо с моей стороны, — сказала Луиза, сядя и вынимая носовой платок, — но он... он такой настоящий Домби! Я никогда в жизни не видела подобного сходства!

— Но как сама Фанни? — спросил мистер Домби. — с Фанни?

— Дорогой мой Поль, — отозвалась Луиза, — решительно ничего. Поверь мне — решительно ничего. Осталось, конечно, утомление, но ничего похожего на то, что испытала я с Джорджем или с Фредериком. Необходимо сделать усилие. Вот и все. Ах, если бы милая Фанни была Домби... Но, полагаю, она сделает это усилие; не сомневаюсь, она его сделает. Зная что это требуется от нее во исполнение долга, она, конечно, сделает. Дорогой мой Поль, знаю, что с моей стороны очень слабохарактерно и глупо так дрожать и трепетать с головы до ног, но я чувствую такое головокружение, что принуждена попросить у вас рюмку вина и кусок вон того торта. Я думала, что вывалюсь из окна на лестнице, когда спускалась вниз, навестив милую Фанни и этого чудного ангелочка. — Последние слова были вызваны внезапным и ярким воспоминанием о младенце.

³ *Похвала сэра Хьюберта Стэнли*, — то есть похвала искренняя; сэр Хьюберт Стэнли — персонаж комедии английского драматурга Томаса Мортон (1764—1838), автора популярных, но легковесных комедий и водевилей.

Вслед за ними раздался тихий стук в дверь.

— Миссис Чик, — произнес за дверью медоточивый женский голос, — милый друг, как вы себя чувствуете сейчас?

— Дорогой мой Поль, — тихо сказала Луиза, вставая, — это мисс Токс. Добрейшее создание! Не будь ее, я бы никогда не могла добраться сюда! Мисс Токс — мой брат, мистер Домби. Поль, дорогой мой, — это мой лучший друг, мисс Токс.

Леди, столь выразительно представленная, была долговязая, тощая и до крайности поблекшая особа; казалось, на нее не было отпущено первоначально то, что торговцы мануфактурой называют «стойкими красками», и она мало-помалу вылиняла. Не будь этого, ее можно было бы назвать ярчайшим образцом любезности и учтивости. От долгой привычки восторженно прислушиваться ко всему, что говорится при ней, и смотреть на говоривших так, словно она мысленно запечатлевает их образы в своей душе, дабы не расставаться с ними до конца жизни, голова у нее совсем склонилась к плечу. Руки обрели судорожную привычку подниматься сами собою в безотчетном восторге. Восторженным был и взгляд. Голос у нее был сладчайший, а на носу, чудовищно орлином, красовалась шишка в самом центре переносицы, откуда нос устремлялся вниз, как бы приняв нерушимое решение никогда и ни при каких обстоятельствах не задираться.

Платье мисс Токс, вполне элегантное и благопристойное, было, впрочем, несколько мешковато и убого. Она имела обыкновение украшать странными чахлыми цветочками шляпки и чепцы. Неведомые травы появлялись иной раз в ее волосах; и было отмечено любопытными, что у всех ее воротничков, оборочек, косынок, рукавчиков и прочих воздушных принадлежностей туалета — в сущности у всех вещей, какие она носила и какие имели два конца, коим надлежало соединиться, — эти два конца никогда не бывали в добром согласии и не желали сойтись без борьбы. Зимой она носила меха — пелерины, боа и муфты, — на которых волос неудержимо топорщился и никогда не бывал приглажен. У нее было пристрастие к небольшим ридикюлям с замочками, которые при защелкивании стреляли, словно маленькие пистолеты; и, нарядившись в парадное платье, она надевала на шею жалкий медальон, изображающий старый рыбий глаз, лишенный какого бы то ни было выражения. Эти и другие подобные же черточки способствовали распространению слухов, что мисс Токс, как говорится, леди с ограниченными средствами, при которых она изворачивается на все лады. Быть может, ее манера семенить ногами поддерживала это мнение и наводила на мысль, что расщепление обычного шага на два или на три объясняется ее привычкой из всего извлекать наибольшую выгоду.

— Уверяю вас, — сказала мисс Токс, делая изумительный реверанс, — что честь быть представленной мистеру Домби является наградой, которой я давно добивалась, но в данный момент никак не ожидала. Дорогая миссис Чик... смею ли назвать вас — Луиза?

Миссис Чик взяла мисс Токс за руку, прислонила ее руку к своей рюмке, проглотила слезу и тихим голосом сказала:

— Благослови вас бог!

— Дорогая моя Луиза, — промолвила мисс Токс, — мой милый друг, как вы себя чувствуете теперь?

— Лучше, — ответила миссис Чик. — Выпейте вина. Вы волновались почти так же, как и я, и несомненно нуждаетесь в подкреплении.

Конечно, мистер Домби исполнил обязанность хозяина дома.

— Мисс Токс, Поль, — продолжала миссис Чик, все еще держа ее за руку, — зная, с каким нетерпением я ждала сегодняшнего события, приготовила для Фанни маленький подарок, который я обещала преподнести ей. Поль, это всего-навсего подушечка для булавок⁴ на туалетный столик, но я намерена сказать, должна сказать и скажу, что мисс Токс очень мило подыскала изречение, приличествующее событию. Я нахожу, что «Добро пожаловать, малютка Домби» — это сама поэзия!

— Это такое приветствие? — осведомился ее брат.

— О да, приветствие! — ответила Луиза.

— Но будьте справедливы ко мне, милая моя Луиза, — сказала мисс Токс голосом тихим и страстно умоляющим, — припомните, что только... я несколько затрудняюсь высказать свою

⁴ *Подушечка для булавок* — обычный в английских семьях подарок матери при рождении ребенка.

мысль... только неуверенность в исходе побудила меня позволить себе такую вольность. «Добро пожаловать, маленький Домби» более соответствовало бы моим чувствам, в чем, конечно, вы не сомневаетесь. Но неизвестность, сопутствующая этим небесным пришельцам, надеюсь, послужит оправданием тому, что в противном случае показалось бы недопустимой фамильярностью.

Мисс Токс отвесила при этом изящный поклон, предназначавшийся мистеру Домби, на который сей джентльмен снисходительно ответил. Преклонение перед Домби и Сыном, даже в том виде, как оно выразилось в предшествовавшем разговоре, было столь ему приятно, что сестра его, миссис Чик, хотя он склонен был считать ее особой слабохарактерной и добродушной, могла возыметь на него большее влияние, чем кто бы то ни было.

— Да, — сказала миссис Чик с кроткой улыбкой, — после этого я прощаю Фанни все!

Это было заявление в христианском духе, и миссис Чик почувствовала, что оно облегчило ей душу. Впрочем, ничего особенного не нужно было ей прощать невестке, или, вернее, ровно ничего, кроме того, что та вышла замуж за ее брата — это уже само по себе являлось некоей дерзостью, — а затем родила девочку вместо мальчика, — поступок, который, как частенько говорила миссис Чик, не вполне отвечал ее ожиданиям и отнюдь не был достойной наградой за все внимание и честь, какие были оказаны этой женщине.

Так как мистер Домби был срочно вызван из комнаты, обе леди остались одни. Мисс Токс тотчас обнаружила склонность к судорожным подергиваниям.

— Я знала, что вы будете восхищены моим братом. Я вас заранее предупреждала, моя милая, — сказала Луиза.

Руки и глаза мисс Токс выразили, насколько она восхищена.

— А что касается его состояния, моя милая!

— Ах! — с глубоким чувством промолвила мисс Токс.

— Колоссальное!

— А его умение держать себя, дорогая моя Луиза! — сказала мисс Токс. — Его осанка! Его благородство! В жизни своей я не видела ни единого портрета, который хотя бы наполовину отражал эти качества. Нечто, знаете ли, такое величавое, такое непреклонное; такие широкие плечи, такой прямой стан! Герцог Йоркский коммерческого мира, моя милочка, да и только, — сказала мисс Токс. — Вот как бы я его назвала!

— Что с вами, дорогой мой Поль? — воскликнула его сестра, когда он вернулся. — Как вы бледны! Что-нибудь случилось?

— К сожалению, Луиза, они мне сказали, что Фанни...

— О! Дорогой мой Поль, — перебила его сестра, вставая, — не верьте им! Если вы в какой-то мере полагаетесь на мой опыт, Поль, вы можете не сомневаться, что все благополучно, и ничего кроме усилия со стороны Фанни не требуется. А к этому усилию, — продолжала она, озабоченно снимая шляпу и деловито поправляя чепчик и перчатки, — следует ее побудить и даже в случае необходимости принудить. Теперь, дорогой мой Поль, пойдете вместе наверх.

Мистер Домби, который, находясь под влиянием своей сестры по причине, уже упомянутой, действительно доверял ей как опытной и расторопной матроне, согласился и немедленно последовал за нею в комнату больной.

Его жена все так же лежала на кровати, прижимая к груди маленькую дочь. Девочка прильнула к ней так же страстно, как и раньше, и не поднимала головы, не отрывала своей нежной щечки от лица матери, не смотрела на окружающих, не говорила, не шевелилась, не плакала.

— Тревожится без девочки, — шепнул доктор мистеру Домби. — Мы сочли нужным снова впустить ее.

Так торжественно тихо было у постели, и оба медика, казалось, смотрели на неподвижную фигуру с таким состраданием и такою безнадежностью, что миссис Чик на секунду отвлеклась от своих намерений. Но тотчас, призвав на помощь мужество и то, что она называла присутствием духа, она села у кровати и сказала тихим внятным голосом, как говорит человек, старающийся разбудить спящего:

— Фанни! Фанни!

Ни звука в ответ, только громкое тикание часов мистера Домби и часов доктора Паркера Пенса, словно состязавшихся в беге среди мертвой тишины.

— Фанни, милая моя, — притворно веселым тоном сказала миссис Чик, — мистер Домби пришел вас навестить. Не хотите ли с ним поговорить? К вам в постель собираются положить вашего мальчика — вашего малютку, Фанни, вы, кажется, почти не видели его; но этого нельзя сделать, пока вы не будете чуточку бодрее. Не думаете ли вы, что пора бы уже чуточку приободриться? Что?

Она приблизила ухо к постели и прислушалась, в то же время окинув взглядом окружающих и подняв палец.

— Что? — повторила она. — Что вы сказали, Фанни? Я не расслышала.

Ни слова, ни звука в ответ. Часы мистера Домби и часы доктора Паркера Пенса словно ускорили бег.

— Право же, Фанни, милая моя, — сказала золовка, меняя позу и помимо своей воли заговорив менее уверенно и более серьезно, — мне придется на вас рассердиться, если вы не подбодритесь. Необходимо, чтобы вы сделали усилие — быть может, очень напряженное и мучительное усилие, которое вы не расположены делать, но ведь вы знаете, Фанни, в этом мире все требует усилий, и мы не должны уступать, когда столь многое от нас зависит. Ну-ка! Попробуйте! Право же, придется мне вас пожурить, если вы этого не сделаете!

В спустившейся тишине состязание в беге стало неистовым и ожесточенным. Часы словно налетали друг на друга и подставляли друг другу ножку.

— Фанни! — продолжала Луиза, озираясь с нарастающей тревогой. — Вы хоть взгляните на меня. Откройте только глаза, чтобы показать, что вы меня слышите и понимаете; хорошо? Боже мой, что же нам делать, джентльмены?

Оба медика, стоявшие по обеим сторонам кровати, обменялись взглядами, и домашний врач, нагнувшись, шепнул что-то на ухо девочке. Не понимая смысла его слов, малютка повернула к нему мертвенно-бледное лицо с глубокими темными глазами, но не разжала объятий.

Снова шепот.

— Мама! — сказала девочка.

Детский голос, знакомый и горячо любимый, вызвал проблеск сознания, уже угасавшего. На мгновение опущенные веки дрогнули, ноздри затрепетали, и мелькнула слабая тень улыбки.

— Мама! — рыдая, воскликнула девочка. — О мамочка, мамочка!

Доктор мягко отвел рассыпавшиеся кудри ребенка от лица и губ матери. Увы, они лежали недвижно — слишком слабо было дыхание, чтобы их пошевелить.

Так, держась крепко за эту хрупкую тростинку, прильнувшую к ней, мать уплыла в темный и неведомый океан, который омывает весь мир.

Глава II,

в которой своевременно принимаются меры по случаю неожиданного стечения обстоятельств, возникающих иногда в самых благополучных семействах

— Я никогда не перестану радоваться тому, — заявила миссис Чик, — что сказала, когда меньше всего могла предвидеть случившееся, — право же, меня словно что-то осенило, — сказала тогда, что все прощаю бедной дорогой Фанни. Что бы ни случилось, это навсегда останется для меня утешением!

Это внушительное замечание миссис Чик сделала в гостиной, куда спустилась сверху (она надзирала за портнихами, занятыми шитьем семейного траура). Она изрекла его в назидание мистеру Чикку, дородному лысому джентльмену, с очень широким лицом, который постоянно держал руки в карманах и обладал прирожденной склонностью насвистывать и мурлыкать песенки — склонностью, каковую он, сознавая неприличие подобных звуков в доме скорби, не без труда подавлял в настоящее время.

— Не переутомляйся, Лу, — сказал мистер Чик, — а не то у тебя будет припадок. Ля-ля-ля пам-пам-пим! Ах, боже мой, забыл! Сегодня мы живы, а завтра умрем!

Миссис Чик удовольствовалась укоризненным взглядом, а затем продолжала свою речь.

— Да, — сказала она, — надеюсь, это потрясающее событие послужит для всех нас предостережением и научит нас бодриться и своевременно делать усилия, когда они от нас требуются. Из

всего можно извлечь мораль, если бы мы только умели ею пользоваться. Наша будет вина, если мы и сейчас упустим эту возможность.

Мистер Чик нарушил торжественную тишину, наступившую вслед за этим замечанием, в высшей степени неуместным напевом «Сапожник он был»⁵ и, оборвав его с некоторым смущением, произнес, что несомненно это наша вина, если мы не извлекаем пользы из таких печальных событий.

— Я полагаю, мистер Чик, что из них можно извлечь больше пользы, — возразила его супруга после недолгого молчания, — если не напевать «Школьной волынки» или не менее бессмысленного и бесчувственного мотива «рам-пам-пам-ля-ля-ля-ля» (которым мистер Чик действительно услаждал себя потихоньку и который миссис Чик воспроизвела с безграничным презрением).

— Это просто привычка, дорогая моя, — принес извинение мистер Чик.

— Вздор! Привычка! — отозвалась жена. — Если вы существо разумное, не приводите таких нелепых объяснений. Привычка! Если бы у меня развилась привычка (как вы это называете) разгуживать по потолку наподобие мух, думаю, что мне бы прожужжали все уши.

Казалось весьма правдоподобным, что такая привычка привлекла бы всеобщее внимание, а по сему мистер Чик не посмел оспаривать это предположение.

— Как поживает младенец, Лу? — осведомился мистер Чик, желая переменить тему разговора.

— О каком младенце ты говоришь? — спросила миссис Чик. — Право же, ни один здравомыслящий человек не может себе представить, какое утро я провела там внизу, в столовой, с этой массой младенцев.

— Масса младенцев? — повторил мистер Чик, с тревогой озираясь.

— Большинство сообразило бы, — продолжала миссис Чик, — что теперь, когда больше нет с нами бедной милой Фанни, возникает необходимость подыскать кормилицу.

— О! А! — произнес мистер Чик. — Трам-там... — такова жизнь, хотел я сказать. Надеюсь, ты нашла себе по вкусу, дорогая моя.

— Конечно, не нашла, — ответила миссис Чин, — и вряд ли найду, насколько я могу предвидеть. А тем временем ребенок, конечно...

— Отправится ко всем чертям, — глубокомысленно заметил мистер Чик. — Несомненно.

Однако уведомленный о своем промахе тем негодованием, которое отразилось на лице миссис Чик при мысли о каком бы то ни было Домби, отправляющемся в подобные места, и надеясь загладить свою ошибку блестящей идеей, он добавил:

— А нельзя ли временно воспользоваться чайником?

Если у него было намерение привести разговор к быстрому окончанию, он не мог бы сделать это с большим успехом. Бросив на него взгляд, выражавший безмолвную покорность судьбе, миссис Чик величественно прошествовала к окну и посмотрела сквозь жалюзи, привлеченная стуком колес. Мистер Чик, убедившись, что в настоящее время судьба против него, не сказал больше ни слова и удалился. Но не всегда бывало так с мистером Чиком. Он часто одерживал верх и в таких случаях сурово расправлялся с Луизой. В общем, в своих супружеских стычках они были хорошо подобранной, прекрасно уравновешенной парой, не дававшей друг другу спуска. Собственно говоря, было бы очень трудно биться об заклад, кто из них выиграет сражение. Часто, когда мистер Чик как будто уже был разбит, он внезапно переходил в наступление, пускал в ход оружие своей противницы, бряцал им под ухом миссис Чик и одерживал полную победу. Так как ему самому грозили такие же неожиданные удары со стороны миссис Чик, то их легкие столкновения проходили с переменным успехом, что действовало весьма воодушевляюще.

Мисс Токс прибыла на только что упомянутых колесах и ворвалась в комнату, едва переводя дух.

— Дорогая моя Луиза, — сказала мисс Токс, — место еще не занято?

— Нет, добрая вы душа, — отвечала миссис Чик.

— В таком случае, дорогая моя Луиза, — продолжала мисс Токс, — я верю и уповаю... Но подождите минутку, дорогая моя, я представлю вам заинтересованную сторону...

Сбежав вниз с такою же быстротой, с какой взбежала наверх, мисс Токс высадила заинтересо-

⁵ «Сапожник он был» — песенка из знаменитой «Оперы нищих» Джона Гэя (1685—1732).

ванную сторону из наемной кареты и вскоре вернулась, ведя ее под конвоем.

Тогда только обнаружилось, что она применила это слово не как юридический или деловой термин, означающий одного индивида, а как имя существительное собирательное или объединяющее многих лиц, — ибо мисс Токс эскортировала пухлую и румяную, цветущую молодую женщину с лицом, похожим на яблоко, державшую на руках младенца; женщину помоложе, не такую пухлую, но также с лицом, похожим на яблоко, которая вела за руки двух пухлых ребятишек с лицами, похожими на яблоко; еще одного пухлого мальчика, также с лицом, похожим на яблоко, который шел самостоятельно; и, наконец, пухлого мужчину с лицом, похожим на яблоко, который нес на руках еще одного пухлого мальчика с лицом, похожим на яблоко, коего он спустил на пол и хриплым шепотом приказал ему «ухватиться за брата Джонни».

— Милая Луиза, — сказала мисс Токс, — зная о вашем великом беспокойстве и желая вас выручить, я отправилась в Королевское убежище для замужних женщин королевы Шарлотты, о котором вы забыли, и спросила, нет ли там кого-нибудь, кто, по их мнению, мог бы подойти. Нет, — сказали они, — таких не имеется. Уверяю вас, дорогая моя, когда они мне дали этот ответ, я готова была впасть в отчаяние. Но случилось так, что одна из королевских замужних женщин, услышав мой вопрос, напомнила надзирательнице об одной особе, которая вернулась к себе домой и которая, по ее мнению, несомненно окажется весьма подходящей. Как только я это услышала и получила подтверждение от надзирательницы — превосходная рекомендация, безупречный характер, — тотчас, дорогая моя, взяла адрес и снова в путь.

— Как это на вас похоже, милая, добрая Токс! — сказала Луиза.

— Ничуть не бывало, — отвечала мисс Токс. — Не говорите этого. Войдя в дом (безукоризненная чистота, дорогая моя! обедать можно прямо на полу), я застала все семейство за столом, и, чувствуя, что никакой рассказ не доставит вам и мистеру Домби такого успокоения, как вид их, всех вместе взятых, я привезла их сюда. Этот джентльмен, — продолжала мисс Токс, указывая на мужчину с лицом, похожим на яблоко, — отец. Не угодно ли вам, сэр, выйти немного вперед?

Мужчина с лицом, похожим на яблоко, смущенно подчинившись этому требованию, занял место в первом ряду, посмеиваясь и ухмыляясь.

— Это, разумеется, его жена, — сказала мисс Токс, указывая на женщину с младенцем. — Как поживаете. Полли?

— Очень хорошо, благодарю вас, сударыня, — ответила Полли.

Желая искусней представить ее, мисс Токс задала этот вопрос с таким видом, как будто обращалась к старой знакомой, которую не видела недели две.

— Очень рада, — сказала мисс Токс. — Другая молодая женщина — ее незамужняя сестра, которая живет с ними и будет присматривать за ее детьми. Ее зовут Джемайма. Как поживаете, Джемайма?

— Очень хорошо, благодарю вас, сударыня, — отвечала Джемайма.

— Чрезвычайно этому рада, — сказала мисс Токс. — Надеюсь, так будет и впредь. Пятеро детей. Младшему шесть недель. Этот славный мальчуган с волдырем на носу — старший. Надеюсь, — добавила мисс Токс, окинув взглядом семейство, — волдырь у него не от рождения, а вскочил случайно?

Можно было разобрать, что мужчина с лицом, похожим на яблоко, прохрипел:

— Утюг.

— Прошу прощения, сэр, — сказала мисс Токс, — вы говорите...

— Утюг, — повторил он.

— Ах, да! — сказала мисс Токс. — Совершенно верно. Я забыла. Мальчуган в отсутствие матери понюхал горячий утюг. Вы совершенно правы, сэр. Когда мы подъезжали к дому, вы собирались любезно сообщить мне, что по профессии вы...

— Кочегар, — сказал мужчина.

— Кожедрал? — в ужасе воскликнула мисс Токс.

— Кочегар, — повторил мужчина. — На паровозе.

— О! Вот как! — отозвалась мисс Токс, глядя на него глубокомысленно и как будто все еще не совсем понимая, что это значит. — А как вам это нравится, сэр?

— Что, сударыня? — спросил мужчина.

— Вот это, — сказала мисс Токс. — Ваша профессия.

— Пожалуй, нравится, сударыня. Иной раз зола забивается сюда, — он указал на грудь, — и голос делается хриплым, вот как сейчас. Но это от золы, сударыня, а не от сварливости.

Казалось, мисс Токс столь мало почерпнула из этого ответа, что затруднялась продолжать разговор. Но миссис Чик тотчас же пришла ей на помощь, приступив к внимательнейшему рассмотрению Полли, детей, брачного свидетельства, рекомендаций и так далее. Полли вышла невредимой из этого трудного испытания, после чего миссис Чик отправилась с докладом к своему брату и в качестве яркой иллюстрации к докладу и в подтверждение его захватила с собой двух самых румяных маленьких Тудлей — фамилия яблоколицега семейства была Тудль.

Со смерти жены мистер Домби не выходил из своей комнаты, погруженный в размышления о юности, воспитании и предназначении своего младенца-сына. Что-то угнетало его жесткое сердце, что-то более холодное и тяжелое, чем обычное его бремя; но это было сознание потери, понесенной скорее ребенком, чем им самим, пробудившее в нем вместе с грустью чуть ли не досаду. Было унижительно и тяжело думать, что из-за пустяка жизни и развитию, на которые он возлагал такие надежды, с самого же начала грозит опасность, что Домби и Сын может пошатнуться из-за какой-то кормилицы. И однако в своей гордыне и ревности он с такою горечью размышлял о зависимости — на первых же шагах к осуществлению заветного желания — от наемной служанки, которая временно будет для его ребенка всем тем, чем была бы его собственная жена благодаря союзу с ним, что при каждом новом отводе кандидатки он испытывал тайную радость. Но настал момент, когда он не мог более колебаться между этими двумя чувствами. Тем более, что не было, казалось, никаких сомнений в пригодности Полли

Тудль, о которой доложила его сестра, не покупившись на похвалы неутомимой дружбе мисс Токс.

— Дети на вид здоровые, — сказал мистер Домби. — Но подумать только, что когда-нибудь они вздумают притязать на некое родство с Полем! Уведите их, Луиза! Покажите мне эту женщину и ее мужа.

Миссис Чик унесла нежную пару Тудлей и вскоре вернулась с более грубой парой, которую пожелал увидеть брат.

— Любезная, — сказал мистер Домби, поворачиваясь в своем кресле всем туловищем, словно у него не было конечностей и суставов, — мне сообщили, что вы бедны и хотите зарабатывать деньги, поступив кормилицей к маленькому мальчику, моему сыну, который преждевременно лишился той, кого никогда не удастся заменить. Я не возражаю против того, чтобы вы таким путем способствовали благосостоянию вашей семьи. Насколько я могу судить, вы производите впечатление порядочной особы. Но я должен вам поставить два-три условия, прежде чем вы займете это место в моем доме. Пока вы будете здесь жить, я настаиваю, чтобы вас всегда называли... ну, скажем, Ричардс... фамилия простая и приличная. Вы не возражаете против того, чтобы вас звали Ричардс? Можете посоветоваться с мужем.

Так как муж только посмеивался да ухмылялся и проводил правой рукой по губам, слюнявя ладонь, миссис Тудль, безуспешно подтолкнув его раз-другой локтем, присела и ответила, что, «быть может, если она должна отказаться от своего имени, об этом не забудут при назначении ей жалованья».

— О, разумеется, — сказал мистер Домби. — Я желаю, чтобы это было принято во внимание при оплате. Затем, Ричардс, если вы будете ходить за моим осиротевшим ребенком, я хочу, чтобы вы запомнили следующее: вы будете получать щедрое вознаграждение за исполнение некоторых обязанностей, причем я желаю, чтобы в течение этого времени вы как можно реже видели свою семью. Когда минует надобность в ваших услугах, когда вы перестанете их оказывать и не будете больше получать жалованье, всякие отношения между нами прекращаются. Вы меня понимаете?

Миссис Тудль как будто сомневалась в этом; что же касается до самого Тудля, то, очевидно, он нисколько не сомневался в том, что ничего не понимает.

— У вас у самой есть дети, — сказал мистер Домби. — В наш договор отнюдь не входит, что вы должны привязаться к моему ребенку или что мой ребенок должен привязаться к вам. Я не жду и не требую чего-либо в этом роде. Как раз наоборот. Когда вы отсюда уйдете, вы расторгнете отношения, которые являются всего-навсего договором о купле-продаже, о найме, и устранились. Ребенок

перестанет вспоминать о вас; и вы будьте так добры не вспоминайте о ребенке.

Миссис Тудль, раздумываясь чуть-чуть сильнее, чем раньше, выразила надежду, «что она свое место знает».

— Надеюсь, что знаете, Ричардс, — сказал мистер Домби. — Нисколько не сомневаюсь, что вы его прекрасно знаете. В самом деле, это так ясно и очевидно, что иначе и быть не может. Лиза, дорогая, моя, условьтесь с Ричардс о жалованье, и пусть она его получает, когда и как ей будет угодно. Мистер, как вас там зовут, я хочу вам кое-что сказать.

Задержанный таким образом на пороге в тот момент, когда он собирался выйти вслед за женой из комнаты, Тудль вернулся и остался наедине с мистером Домби. Это был сильный, неуклюжий, сутулый, неповоротливый, лохматый человек в мешковатом костюме, с густыми волосами и бакенбардами, ставшими темнее, чем были от природы, быть может благодаря дыму и угольной пыли, с мозолистыми, узловатыми руками и квадратным лбом, шершавым, как дубовая кора. Полная противоположность во всех отношениях мистеру Домби, который был одним из тех чисто выбритых, холеных, богатых джентльменов, которые блестят и хрустят, как новенькие кредитные билеты, и, кажется, будто их искусственно взбадривает возбуждающее действие золотого душа.

— У вас, кажется, есть сын? — спросил мистер Домби.

— Четверо их, сэр. Четверо и одна девочка. Все здоровствуют.

— Да ведь у вас едва хватает средств их содержать? — сказал мистер Домби.

— Есть еще одна штука, сэр, которая мне никак не по средствам.

— Что именно?

— Потерять их, сэр.

— Читать умеете? — спросил мистер Домби.

— Кое-как, сэр.

— Писать?

— Мелом, сэр?

— Чем угодно.

— Пожалуй, мог бы как-нибудь управиться с мелом, если бы понадобилось, — подумав, сказал Тудль.

— А ведь вам, полагаю, — сказал мистер Домби, — года тридцать два — тридцать три.

— Полагаю, что примерно столько, — отвечал Тудль, снова подумав.

— В таком случае, почему же вы не учитесь? — спросил мистер Домби.

— Да вот я и собираюсь, сэр. Один из моих мальчуганов будет меня обучать, когда подрастет и сам пойдет в школу.

— Так! — сказал мистер Домби, посмотрев на него внимательно и не очень благосклонно, в то время как тот стоял, обозревая комнату (преимущественно потолок) и по-прежнему проводя рукою по губам. — Вы слышали, что я сказал только что вашей жене?

— Полли слышала, — отвечал Тудль, махнув через плечо шляпой в сторону двери с видом полного доверия к своей лучшей половине. — Все в порядке.

— Так как вы, по-видимому, все предоставляете ей, — сказал Домби, обескураженный в своем намерении еще внушительнее изложить свою точку зрения мужу как сильнейшему, — то, полагаю, не имеет смысла говорить о чем бы то ни было с вами.

— Ровно никакого, — отвечал Тудль. — Полли слышала. Уж она-то не зевает, сэр.

— В таком случае, я вас не задерживаю дольше, — сказал разочарованный мистер Домби. — Где вы работали раньше и где теперь работаете?

— Все больше под землей, сэр, покуда не женился. Потом я выбрался на поверхность. Разъезжаю по одной из этих железных дорог, с той поры как их построили.

Подобно тому, как последняя соломинка может сломать спину нагруженного верблюда, так это сообщение о шахте сокрушило слабеющий дух мистера Домби. Он указал на дверь мужу кормилицы своего сына; когда тот охотно удалился, мистер Домби повернул ключ и стал ходить по комнате, одинокий и несчастный. Несмотря на все свое накрахмаленное, непроницаемое величие и хладнокровие, он смахивал при этом слезы и часто повторял с волнением, которого ни за что на свете не согласился бы проявить на людях: «Бедный мальчик!»

Быть может, характерно для гордыни мистера Домби, что о самом себе он сожалел через ре-

бенка. Не «бедный я!», не бедный вдовец, принужденный довериться жене невежественного простака, который всю жизнь работал «все больше под землей», но в чью дверь ни разу не постучалась Смерть и за чей стол ежедневно садилось четверо сыновей, но — «бедный мальчик!»

Эти слова были у него на устах, когда ему пришло в голову — и это свидетельствует о сильном тяготении его надежд, страхов и всех его мыслей к единому центру, — что великое искушение встает на пути этой женщины. Ее новорожденный тоже мальчик. Не может ли она подменить ребенка?

Хотя он вскоре облегченно отогнал это предположение как романтическое и неправдоподобное, — но все же возможное, чего нельзя было отрицать, — он невольно развил его, представив мысленно, каково будет его положение, если он, состарившись, обнаружит такой обман. В состоянии ли будет человек при таких условиях отнять у самозванца то, что создано многолетней привычкой, уверенностью и доверием, и отдать все чужому?

Когда несвойственное ему волнение улеглось, эти опасения постепенно рассеялись, хотя тень их осталась, и он принял решение наблюдать внимательно за Ричардс, скрывая это от окружающих. Находясь теперь в более спокойном расположении духа, он пришел к выводу, что общественное положение этой женщины является скорее благоприятным обстоятельством, ибо оно уже само по себе отдаляет ее от ребенка и сделает их разлуку легкой и естественной.

Том временем между миссис Чип и Ричардс было заключено и скреплено соглашение с помощью мисс Токс, а Ричардс, которой с большими церемониями вручили, словно некий орден, младенца Домби, передала своего собственного ребенка со слезами и поцелуями Джемайме. Затем было подано вино, чтобы поднять дух семейства.

— Не хотите ли выпить стаканчик, сэр? — предложила мисс Токс, когда явился Тудль.

— Благодарю вас, сударыня, — сказал Тудль, — уж коли вы угощаете...

— И вы с радостью оставляете свою славную жену в таком прекрасном доме, не так ли, сэр? — продолжала мисс Токс, украдкой кивая ему и подмигивая.

— Нет, сударыня, — сказал Тудль. — Пью за то, чтобы она опять была дома.

При этом Полли еще сильнее заплакала. Посему миссис Чик, которая, как и подобает матроне, обеспокоилась, как бы чрезмерная скорбь не причинила ущерба маленькому Домби («молоко пропадет, пожалуй», — шепнула она мисс Токс), поспешила на выручку.

— Ваш малютка, Ричардс, будет превосходно себя чувствовать с вашей сестрой Джемаймой, — сказала миссис Чик, — а вам нужно только сделать усилие, — в этом мире, знаете ли, все требует усилий, Ричардс, — чтобы быть совершенно счастливой. С вас уже сняли мерку для траурного платья, не так ли, Ричардс?

— Да-а, сударыня, — всхлипывала Полли.

— И оно будет прекрасно сидеть на вас, я уверена, — сказала миссис Чик, — потому что эта же молодая особа сшила мне много платьев. И из лучшей материи!

— Ах, вы будете такой франтихой, — сказала мисс Токс, — что муж вас не узнает. Не правда ли, сэр?

— Я бы ее узнал в чем угодно и где угодно, — проворчал Тудль.

Было ясно, что Тудля не подкупишь.

— А что касается стола, Ричардс, — продолжала миссис Чик, — то к вашим услугам будет все самое лучшее. Ежедневно вы будете сами заказывать себе обед; и все, чего бы вы ни пожелали, тотчас вам приготовят, словно вы какая-нибудь леди.

— Да, разумеется! — с большою готовностью подхватила мисс Токс. — И портер — в неограниченном количестве, правда, Луиза?

— О, несомненно! — отвечала в том же тоне миссис Чик. — Придется только, милая моя, слегка воздерживаться от овощей.

— И, пожалуй, пикулей, — подсказала, мисс Токс.

— За этими исключениями, моя дорогая, — сказала Луиза, — она может руководствоваться своими вкусами и ни в чем себе не отказывать.

— А затем вам, конечно, известно, — сказала мисс Токс, — как она любит своего собственного дорогого малютку, и я уверена, Луиза, вы не осуждаете ее за то, что она его любит?

— О нет! — воскликнула миссис Чик, полная великодушия.

— Однако, — продолжала мисс Токс, — она, естественно, должна интересоваться своим юным

питомцем и почитать за честь, что на ее глазах маленький херувим, тесно связанный с высшим обществом, ежедневно черпает силы из единого для всех источника. Не правда ли, Луиза?

— Совершенно верно! — подтвердила миссис Чик. — Вы видите, моя дорогая, она уже совершенно спокойна и довольна и собирается весело и с улыбкой попрощаться со своей сестрой Джеммаймой, своими малютками и со своим добрым честным мужем. Не правда ли, дорогая моя?

— О да! — воскликнула мисс Токс. — Разумеется!

Несмотря на это, бедная Полли перецеловала их всех с великой скорбью и, наконец, убежала, чтобы ускользнуть от более нежного прощанья с детьми. Но эта хитрость не увенчалась заслуженным успехом, ибо один из младших мальчиков, угадав ее намерение, тотчас начал карабкаться — если можно применить это слово с сомнительной этимологией — вслед за нею на четвереньках по лестнице, а старший (известный в семье под кличкой Байлера — в честь паровоза⁶) отбивал дьявольскую чечетку сапогами в знак своего огорчения; к нему присоединились и все прочие члены семейства.

Множество апельсинов и полупенсов, посыпавшихся на всех без исключения юных Тудлей, успокоили первые приступы горя, и семейство было поспешно отправлено домой в наемной карете, которую задержали специально для этой цели. Дети под охраной Джеммаймы теснились у окна и всю дорогу роняли апельсины и полупенсы. Сам мистер Тудль предпочел ехать на запятках среди торчавших гвоздей — способ передвижения для него самый привычный.

Глава III,

в которой мистер Домби показан во главе своего домашнего департамента как человек и отец

Похороны скончавшейся леди «состоялись», к полному удовольствию владельца похоронного бюро, а также и всего окрестного населения, которое обычно расположено в таких случаях к придиркам и склонно возмущаться каждым промахом и упущением в церемонии, после чего многочисленные домочадцы мистера Домби вновь заняли соответствующие им места в домашней системе. Этот маленький мирок подобно великому внешнему миру отличался способностью быстро забывать своих умерших; и когда кухарка сказала: «У леди был кроткий нрав», а экономка сказала: «Таков наш удел», а дворецкий сказал: «Кто бы мог это подумать?», а горничная сказала, что «она едва может этому поверить», а лакей сказал: «Это похоже на сон», — событие окончательно покрылось ржавчиной, и они начали подумывать о том, что и траур их порыжел от носки.

Ричардс, которую держали наверху в почетном плену, заря новой жизни казалась холодной и серой. У мистера Домби был большой дом на теневой стороне темной, но элегантной улицы с высокими домами, между Портленд-Плейс и Брайанстон-сквер. Это был угловой дом с просторными «двориками»⁷, куда выходили погреба, которые хмуро взирали на свет своими зарешеченными окнами и презрительно шурились косоглазыми дверьми, ведущими к мусорным ящикам. Это был величественный и мрачный дом с полукруглым задним фасадом, с анфиладой зал, выходивших окнами на усыпанный гравием двор, где два чахлая дерева с почерневшими стволами скорее стучали, чем шелестели, — так были прокопчены их листья. Летом солнце заглядывало в эту улицу только по утрам, примерно в час первого завтрака, появляясь вместе с водовозами, старьевщиками, торговцами геранью, починщиком зонтов и человеком, который на ходу позвякивал колокольчиком от голландских часов. Вскоре оно вновь скрывалось, чтобы больше уже не показываться в тот день, а музыканты и бродячий Панч⁸, скрываясь вслед за ним, уступали улицу самым заунывным шарманкам и бе-

⁶ ...Байлера — в честь паровоза... — прозвище юного Тудля «Байлер» — искаженное Boiler (паровой котел).

⁷ ...«двориками»... — Перед домами в Англии, нередко еще в эпоху Диккенса, разбивались площадки ниже уровня мостовой; назначение таких «двориков» — отделить «парадный» вход от «черного»; вход в «парадный» подъезд был непосредственно с тротуара, а вход в полуподвал, где обычно располагались службы и помещения для прислуги, — с упомянутых «двориков» (areas).

⁸ Панч — герой английского кукольного театра; близок к нашему Петрушке.

лым мышам или иной раз дикобразу — чтобы разнообразить увеселительные номера; а в сумерках дворецкие, когда их хозяйева обедали в гостях, появлялись у дверей своих домов, и фонарщик каждый вечер терпел неудачу, пытаясь с помощью газа придать улице более веселый вид.

И внутри этот дом был так же мрачен, как снаружи. После похорон мистер Домби распорядился накрыть мебель чехлами, — быть может, желая сохранить ее для сына, с которым были связаны все его планы, — и не производить уборки в комнатах, за исключением тех, какие он предназначал для себя в нижнем этаже. Тогда таинственные сооружения образовались из столов и стульев, составленных посреди комнат и накрытых огромными саванами. Ручки колокольчиков, жалюзи и зеркала, завешенные газетами и журналами, ежедневными и еженедельными, навязывали отрывочные сообщения о смертях и страшных убийствах. Каждый канделябр, каждая люстра, закутанные в полотно, напоминали чудовищную слезу, падающую из глаза на потолок. Из каминов неслись запахи, как из склепа или сырого подвала. Портрет умершей и похороненной леди, в рамке, повитой трауром, наводил страх. Каждый порыв ветра, налетая из-за угла соседних конюшен, приносил клочья соломы, которая была постлана перед домом во время ее болезни и гниющие остатки которой еще сохранились по соседству; притягиваемые какой-то неведомой силой к порогу грязного, сдающегося внаем дома напротив, они с мрачным красноречием взывали к окнам мистера Домби.

Апартаменты, которые оставил для себя мистер Домби, сообщались с холлом и состояли из гостиной, библиотеки (которая была, в сущности, туалетной комнатой, так что запах атласной и веленовой бумаги, сафьяна и юфти состязался здесь с запахом многочисленных пар башмаков) и оранжереи, или маленького застекленного будуара, откуда видны были упоминавшиеся выше деревья и — иной раз — крадущаяся кошка. Эти три комнаты были расположены одна за другой. По утрам, когда мистер Домби завтракал в одной из первых двух комнат, а также под вечер, когда он возвращался домой к обеду, раздавался звонок, призывавший Ричардс, которая являлась в застекленное помещение и там прогуливалась со своим юным питомцем. Бросая по временам взгляды на мистера Домби, сидевшего в темноте и посматривавшего на младенца из-за темной тяжелой мебели — в этом доме много лет прожил его отец и в обстановке оставалось немало старомодного и мрачного, — она стала размышлять о мистере Домби и его уединении, словно он был узником, заключенным в одиночную камеру, или странным привидением, которого нельзя ни окликнуть, ни понять.

Уже несколько недель кормилица маленького Поля Домби сама вела такую жизнь и проносила сквозь нее маленького Поля; и вот однажды, когда она вернулась наверх после меланхолической прогулки в угрюмых комнатах (она никогда не выходила из дому без миссис Чик, которая являлась по утрам в хорошую погоду, обычно в сопровождении мисс Токс, чтобы вывести на свежий воздух ее с младенцем, или, иными словами, торжественно водить их по улице, словно в похоронной процессии) и сидела у себя, — дверь медленно и тихо отворилась, и в комнату заглянула маленькая темноглазая девочка.

«Должно быть, это мисс Флоренс вернулась домой от своей тетки», — подумала Ричардс, еще ни разу не видевшая девочки. — Надеюсь, вы здоровы, мисс?

— Это мой брат? — спросила девочка, указывая на младенца.

— Да, милочка, — ответила Ричардс. — Подойдите, поцелуйте его.

Но девочка, вместо того, чтобы приблизиться, серьезно посмотрела ей в лицо и сказала:

— Что вы сделали с моей мамой?

— Господи помилуй, малютка! — воскликнула Ричардс. — Какой ужасный вопрос! Что я сделала? Ничего, мисс.

— Что они сделали с моей мамой? — спросила девочка.

— В жизни не видала такого чувствительного ребенка! — сказала Ричардс, которая, естественно, представила на ее месте одного из своих детей, осведомляющегося о ней при таких же обстоятельствах. — Подойдите поближе, милая моя мисс. Не бойтесь меня.

— Я вас не боюсь, — сказала девочка, подойдя к ней. — Но я хочу знать, что они сделали с моей мамой.

— Милочка, — сказала Ричардс, — вы носите это хорошенькое черное платьице в память своей мамы.

— Я помню маму во всяком платье, — возразила девочка со слезами на глазах.

— Но люди надевают черное, чтобы вспоминать о тех, кого уже нет.

— Где же они? — спросила девочка.

— Подойдите и сядьте возле меня, — сказала Ричардс, — а я вам что-то расскажу.

Тотчас догадавшись, что рассказ должен иметь какое-то отношение к ее вопросам, маленькая Флоренс положила шляпу, которую держала в руках, и присела на скамеечку у ног кормилицы, глядя ей в лицо.

— Жила когда-то на свете леди, — начала Ричардс, — очень добрая леди, и маленькая дочка горячо любила ее.

— Очень добрая леди, и маленькая дочка горячо любила ее, — повторила девочка.

— И вот, когда бог пожелал, чтобы так случилось, она заболела и умерла. Девочка вздрогнула.

— Умерла, и никто уже не увидит ее больше на этом свете, и ее зарыли в землю, где растут деревья.

— В холодную землю? — сказала девочка, снова вздрогнув.

— Нет! В теплую землю, — возразила Полли, воспользовавшись удобным случаем, — где не красивые маленькие семена превращаются в прекрасные цветы, в траву и колосья и мало ли во что еще. Где добрые люди превращаются в светлых ангелов и улетают на небо.

Девочка, опустившая было голову, снова подняла глаза и сидела, пристально глядя на Полли.

— Так вот, послушайте-ка, — продолжала Полли, не на шутку взволнованная этим пытливым взглядом, своим желанием утешить ребенка, неожиданным своим успехом и недоверием к собственным силам. — Так вот, когда эта леди умерла, куда бы ее ни отнесли и где бы ни положили — все равно она пошла к богу, и стала эта леди молиться ему, да, молиться, — повторила Полли, очень растроганная, ибо говорила от всей души, — о том, чтобы он научил ее маленькую дочку верить этому всем сердцем и знать, что там она счастлива и любит ее по-прежнему, и надеяться, и всю жизнь думать о том, чтобы когда-нибудь встретиться там с нею и больше никогда, никогда не расставаться.

— Это моя мама! — воскликнула девочка, вскакивая и обнимая Полли за шею.

— А девочка, — продолжала Полли, прижимая ее к груди, — маленькая дочка верила всем сердцем, и когда услышала о том от незнакомой кормилицы, которая и рассказать-то хорошенько не умела, но сама была бедной матерью, только и всего, — дочка утешилась... уже не чувствовала себя такой одинокой... плакала и рыдала у нее на груди... пожалела малютку, лежавшего у нее на коленях и... ну, полно, полно! — говорила Полли, приглаживая кудри девочки и роняя на них слезы. — Полно, бедняжка!

— Вот как, мисс Флой! Ну, и рассердится же ваш папенька! — раздался резкий голос, принадлежавший невысокой смуглой девушке, казавшейся старше своих четырнадцати лет, с вздернутым носиком и черными глазами, похожими на бусинки из агата. — Да ведь вам строго-настрого было приказано, чтобы вы не ходили сюда и не надоедали кормилице.

— Она мне не надоедает, — последовал удивленный ответ Полли. — Я очень люблю детей.

— Ах, прошу прошенья, миссис Ричардс, но это, видите ли, ничего не значит, — возразила черноглазая девушка, которая была так резка и язвительна, что, казалось, могла довести человека до слез. — Быть может, я очень люблю съедобных улиток, миссис Ричардс, но отсюда еще не следует, что мне должны подавать их к чаю.

— Ну, это пустяки, — сказала Полли.

— Ах, вот как, благодарю вас, миссис Ричардс! — воскликнула резкая девушка. — Однако будьте так любезны припомнить, что мисс Флой на моем попечении, а мистер Поль — на вашем.

— Но все же нам незачем ссориться, — сказала Полли.

— О да, миссис Ричардс, — подхватила задира. — Совсем незачем, я этого не хочу, не для чего нам становиться в такие отношения, раз при мисс Флой место постоянное, а при мистере Поле — временное.

Задира не делала никаких пауз, выпаливая все, что хотела сказать, в одной фразе и по возможности одним духом.

— Мисс Флоренс только что вернулась домой? — спросила Полли.

— Да, миссис Ричардс, только что вернулась, и вот, мисс Флой, не успели вы и четверти часа провести дома, как уже третесь мокрым лицом о дорогое траурное платье, которое миссис Ричардс носит по вашей маменьке!

После такого выговора молодая задира, чье настоящее имя было Сьюзен Нипер, насильно оторвала девочку от ее нового друга — словно зуб вырвала. Но, казалось, она это сделала без всякого злого умысла, а скорее от чрезмерного служебного рвения.

— Теперь она опять дома и будет счастлива, — сказала Полли, кивая ей головой, и ободряющая улыбка появилась на добродушном ее лице. — А как же она обрадуется, когда увидит вечером своего дорогого папу!

— Эх, миссис Ричардс! — воскликнула мисс Нипер, тотчас подхватывая ее слова. — Полноте! Увидит своего дорогого папу, как бы не так! Хотела б я на это посмотреть!

— А разве она его не увидит? — спросила Полли.

— Э нет! миссис Ричардс, ее папенька чересчур уж много занят кем-то другим, да и покуда еще не было кого-то другого, она никогда не была любимицей; в этом доме девочек ни во что не ставят, миссис Ричардс, могу вас уверить!

Флоренс быстро переводила взгляд с одной няньки на другую, словно понимала и чувствовала, о чем идет речь.

— Вот тебе на! — воскликнула Полли. — Неужто мистер Домби не видал ее с той поры...

— Ну да, — перебила Сьюзен Нипер. — Не видал с той поры ни разу, да и раньше по месяцам почти не глядел на нее, и вряд ли признает в ней свою дочь, если завтра встретит на улице, а что до меня, миссис Ричардс, — хихикнув, добавила задира, — то я подозреваю, что он не знает о моем существовании.

— Милая крошка! — сказала Ричардс, имея в виду не мисс Нипер, а маленькую Флоренс.

— О да, здесь сущий ад на сто миль кругом, смею вас заверить, миссис Ричардс, не говоря, разумеется, о присутствующих, — сказала Сьюзен Нипер. — Желаю вам доброго утра, миссис Ричардс, ну-с, мисс Флой, извольте идти со мной и не упирайтесь, как непослушный, капризный ребенок, который не умеет вести себя примерно.

Несмотря на такое увещание и несмотря также на подталкивания Сьюзен Нипер, грозившие вывихом правого плеча, маленькая Флоренс вырвалась и нежно поцеловала своего нового друга.

— Прощайте! — сказала девочка. — Благослови вас бог. Скоро я опять к вам приду, и вы ко мне придете. Сьюзен нам позволит. Позволите, Сьюзен?

В общем, задира была, по-видимому, добродушной маленькой особой, хотя и принадлежала к той школе воспитателей юных умов, которая считает, что детей, как и деньги, следует хорошенько встряхивать, тереть и перетирать, чтобы придать им блеск. Ибо, услышав эту просьбу, сопровождаемую умоляющими жестами и ласками, она скрестила ручки, покачала головой, и взгляд ее широко раскрытых черных глаз стал мягче.

— Нехорошо, что вы меня об этом просите, мисс Флой, вы ведь знаете, что я не могу вам отказать, но мы с миссис Ричардс подумаем, что тут можно сделать, если миссис Ричардс пожелает... мне, видите ли, миссис Ричардс, может быть, хочется прокатиться в Китай, но, быть может, я не знаю, как выбраться из лондонских доков.

Ричардс согласилась с этим заявлением.

— Не такое уж веселье царит в этом доме, — сказала мисс Нипер, — чтобы человеку захотелось большего одиночества, чем то, какое поневоле выносишь. Ваши Токсы и ваши Чики могут вырвать у меня по два передних зуба, миссис Ричардс, но это еще не причина, почему я должна предложить им всю челюсть.

Это заявление было также принято Ричардс, как не вызывающее сомнений.

— Так будьте уверены, — сказала Сьюзен Нипер, — что я готова жить в дружбе, миссис Ричардс, покуда вы остаетесь при мистере Поле, если удастся что-нибудь выдумать, не нарушая открыто приказаний, но, господи помилуй, мисс Флой, вы до сих пор еще не разделись, непослушная вы девочка, ступайте!

С этими словами Сьюзен Нипер, прибегнув к насилию, налетела на свою юную питомицу и вымела ее из комнаты.

Девочка, тоскующая и заброшенная, была такой кроткой, такой тихой и безответной, столько было в ней нежности, которая, казалось, никому не была нужна, и столько болезненной чуткости, которую, казалось, никто не замечал и не боялся ранить, что у Полли сжалось сердце, когда она снова осталась одна. Простой разговор между нею и осиротевшей девочкой растрогал ее материнское

сердце не меньше, чем сердце ребенка; и так же, как ребенок, она почувствовала, что с этой минуты между ними возникли доверие и близость.

Несмотря на то, что мистер Тудль во всем полагался на Полли, она вряд ли превосходила его в области приобретенных познаний. Но она была наглядным образцом женской природы, которая в целом может лучше, честнее, выше, благороднее, быстрее почувствовать и проявить большее постоянство в нежности и сострадании, самопожертвовании и преданности, чем натура мужская. Хотя она ничему не училась, она могла бы с самого начала дать мистеру Домби крупицу знания, которое, в этом случае, не поразило бы его впоследствии как молния.

Но мы уклонились в сторону. В настоящее время Полли помышляла только о том, как бы укрепить завоеванную благосклонность мисс Нипер и придумать способ, чтобы маленькая Флоренс могла быть с нею, не нарушая запретов и не проявляя непокорности. В тот же вечер представился удобный случай.

Как обыкновенно, она по звонку сошла вниз в застекленную комнату и долго прогуливалась с ребенком на руках, как вдруг, к великому ее изумлению и испугу, появился мистер Домби и остановился перед ней.

— Добрый вечер, Ричардс.

Все тот же строгий, чопорный джентльмен, каким она увидела его в тот первый день. Джентльмен с таким суровым взглядом, что она невольно потупилась и сделала реверанс.

— Как поживает мистер Поль, Ричардс?

— Растет, сэ, здоров.

— Вид у него здоровый, — сказал мистер Домби, всматриваясь с величайшим вниманием в крохотное личико, которое она приоткрыла, и, однако, притворяясь в какой-то мере равнодушным. — Надеюсь, вы получаете все что хотите?

— Да, сэ, благодарю вас.

Однако она с таким замешательством дала этот ответ, что мистер Домби, который уже отошел от нее, остановился и снова повернулся к ней с вопросительным видом.

— Мне кажется, сэ, чтобы развлечь и развеселить ребенка, ничего не может быть лучше, как позволить другим детям играть около него, — набравшись храбрости, заметила Полли.

— Когда вы поступили сюда, Ричардс, — нахмурившись, сказал мистер Домби, — я, кажется, высказал желание, чтобы вы как можно реже виделись со своей семьей. Будьте добры, продолжайте свою прогулку.

С этими словами он удалился во внутренние комнаты, а Полли догадалась, что он совсем не понял ее намерения и что она впала в немилость, отнюдь не приблизившись к цели.

На следующий вечер, сойдя вниз, она увидела, что мистер Домби прогуливается по оранжерее. Она остановилась в дверях, смущенная этим необычным зрелищем, не зная, идти ли ей дальше, или отступить; он подозвал ее.

— Если вы действительно считаете, что такое общество полезно ребенку, — сказал он отрывисто, словно только что услышал предложение кормилицы, — то где же мисс Флоренс?

— Никого лучше не найти, чем мисс Флоренс, сэ, — с жаром подхватила Полли, — но со слов ее маленькой служанки я поняла, что им не...

Мистер Домби позвонил и зашагал по комнате, пока не явился слуга.

— Распорядитесь, чтобы мисс Флоренс приводили к Ричардс, когда она пожелает, отпускали с ней на прогулку и так далее. Распорядитесь, чтобы детям разрешали быть вместе, когда этого захочет Ричардс.

Железо было горячо, и Ричардс, смело принявшись его ковать, — это было доброе дело, и она не теряла мужества, хотя инстинктивно боялась мистера Домби, — пожелала, чтобы мисс Флоренс немедленно спустилась сюда и познакомилась со своим маленьким братом.

Она сделала вид, будто баюкает ребенка, когда слуга ушел исполнять поручение, но ей почудилось, что мистер Домби побледнел, что выражение его лица резко изменилось, что он быстро повернулся, словно хотел взять назад свои слова, ее слова или те и другие, а удержал его только стыд.

И она была права. В последний раз он видел свою заброшенную дочь в объятиях умирающей матери, что было для него и откровением и укоризной. Как ни был он поглощен Сыном, на которого возлагал такие большие надежды, он не мог забыть эту заключительную сцену. Он не мог забыть о

том, что не принимал в ней никакого участия, что в прозрачных глубинах нежности и правды эти два существа сжимали друг друга в объятиях, тогда как он сам стоял на берегу, глядя на них сверху вниз как простой зритель — не соучастник, отвергнутый.

Так как он не в силах был отогнать эти воспоминания и не задумываться над теми неясными образами, исполненными смысла, какие он мог различить сквозь туман своей гордыни, прежнее его равнодушие к маленькой Флоренс сменилось какою-то странной неловкостью. У него появилось такое ощущение, как будто она следит за ним и не доверяет ему. Как будто у нее есть ключ от какой-то тайны, спрятанной в его сердце, природа которой вряд ли была известна ему самому. Как будто ей дано знать об одной дребезжащей и ненастроенной струне в нем, и от одного ее дыхания эта струна может зазвучать.

Ею отношение к девочке было отрицательным с самого ее рождения. Он никогда не питал к ней отвращения — не стоило труда, да это и не было ему свойственно. Явной неприязни он к ней не чувствовал. Но теперь она приводила его в смущение. Она нарушала его покой. Он предпочел бы совершенно прогнать мысли о ней, если бы знал, как это сделать. Быть может — кто разгадает такие тайны? — он боялся, что возненавидит ее.

Когда маленькая Флоренс боязливо вошла, мистер Домби прервал свое хождение и посмотрел на нее. Посмотри он на нее с большим интересом, глазами отца, он прочел бы в ее зорком взгляде волнения и страхи, приводившие ее в замешательство; страстное желание прильнуть к нему, спрятать лицо на его груди и воскликнуть: «О папа, постарайтесь полюбить меня! У меня никого больше нет!»; опасение, что ее оттолкнут; боязнь оказаться слишком дерзкой и оскорбить его; мучительную потребность в поддержке и ободрении. И, наконец, он увидел бы, как ее детское сердце, обремененное непосильной ношей, ищет какого-нибудь естественного прибежища и для скорби своей и для любви.

Но ничего этого он не видел. Он видел только, как она нерешительно остановилась в дверях и посмотрела в его сторону; и больше ничего он не видел.

— Войди, — сказал он, — войди. Чего боится эта девочка?

Она вошла и, неуверенно посмотрев вокруг, остановилась у самой двери, крепко сжимая маленькие ручки.

— Подойди, Флоренс, — холодно сказал отец. — Ты знаешь, кто я?

— Да, папа.

— Не хочешь ли ты что-нибудь сказать мне?

Слезы, выступившие у нее на глазах, когда она посмотрела на него, застыли под его взглядом. Она снова потупилась и протянула дрожащую руку.

Мистер Домби небрежно взял ее за руку и с минуту стоял, глядя на нее, словно не знал, как не знал и ребенок, что нужно сказать или сделать.

— Ну, вот! Будь хорошей девочкой, — сказал он, глядя ее по голове и украдкой бросая на нее смущенный и недоверчивый взгляд. — Ступай к Ричардс! Ступай!

Его маленькая дочь помедлила секунду, как будто все еще хотела прильнуть к нему или питала слабую надежду, что он возьмет ее на руки и поцелует. Она еще раз подняла на него глаза. Он вспомнил, что такое же выражение лица было у нее, когда она оглянулась и посмотрела на доктора — в тот вечер, — и инстинктивно выпустил ее руку и отвернулся.

Нетрудно было заметить, что Флоренс много проигрывала в присутствии отца. Связаны были не только мысли девочки, но и природная ее грация и свобода движений. Все же Полли, видя это, не утратила бодрости духа и, судя о мистере Домби по себе, возлагала надежды на безмолвный призыв — траурное платье бедной маленькой Флоренс. «Право же, это жестоко, — думала Полли, — если он любит только одного осиротевшего ребенка, когда у него перед глазами еще один, и к тому же девочка».

Поэтому Полли старалась удержать ее подольше перед его глазами и ловко нянчила маленького Поля, чтобы показать, как он оживился в обществе сестры. Когда пришло время идти наверх, она послала было Флоренс в соседнюю комнату пожелать отцу спокойной ночи, но девочка смутилась и попятилась, а когда Полли начала настаивать, она прикрыла глаза рукой, словно прячась от своего собственного ничтожества, и воскликнула:

— О нет, нет! Я ему не нужна! Я ему не нужна!

Этот маленький спор привлек внимание мистера Домби; не вставая из-за стола, за которым он пил вино, мистер Домби осведомился, в чем дело.

— Мисс Флоренс боится, что помешает, сэр, если войдет пожелать вам спокойной ночи, — сказала Ричардс.

— Ничего, ничего! — отозвался мистер Домби. — Пусть приходит и уходит, когда ей вздумается.

Девочка съежилась, услышав это, и ушла, прежде чем ее скромная приятельница успела оглянуться.

Впрочем, Полли очень радовалась успеху своего благого замысла и той ловкости, с какою она его осуществила, о чем и сообщила со всеми подробностями задира, как только снова водворилась благополучно наверх. Мисс Нипер приняла это доказательство ее доверия, а также надежду на свободное общение их в будущем довольно холодно и не проявила никакого восторга.

— Я думала, что вы останетесь довольны, — сказала Полли.

— О, еще бы, миссис Ричардс, я чрезвычайно довольна, благодарю нас! — отвечала Сьюзен, которая внезапно выпрямилась так, как будто вставила себе добавочную кость в корсет.

— По вас это не видно, — сказала Полли.

— О, ведь я всего-навсего постоянная, а не временная, так нечего и ждать, чтобы по мне было видно! — сказала Сьюзен Нипер. — Я вижу, что временные одерживают здесь верх, но хотя между этим домом и соседним прекрасная стенка, однако, несмотря ни на что, мне, может быть, все-таки не хочется очутиться припертой к ней, миссис Ричардс!

Глава IV, в которой на сцене, где разворачиваются события, впервые выступают новые лица

Хотя контора Домби и Сына находилась в пределах вольностей лондонского Сити и звона колоколов Сент-Мэри-ле-Боу⁹, когда гулкие голоса их еще не тонули в уличном шуме, однако кое-где по соседству можно было подметить следы отважной и романтической жизни. Гог и Магог¹⁰ во всем своем великолепии пребывали в десяти минутах ходьбы; Королевская биржа находилась поблизости; Английский банк с его подземельями, наполненными золотом и серебром, «там внизу, среди мертвецов»¹¹, был величественным их соседом. За углом высился дом богатой Ост-Индской компании¹², наводя на мысль о драгоценных тканях и камнях, о тиграх, слонах, широких седлах с балдахинном, кальянах, зонтах, пальмах, паланкинах и великолепных смуглых принцах, сидящих на ковре, в туф-

⁹ ...в пределах вольностей лондонского Сити и звона колоколов Сент-Мэри-ле-Боу. — Деловой и торговый центр Лондона, где находилась контора фирмы «Домби и Сын», так называемый Сити (точный перевод: старинный, большой город) — издавна выделен был в самостоятельный административно-судебный округ, не входящий в графство Мидлсекс, куда входят остальные районы Лондона. Сити имел свой административный статут, что и давало основание считать, будто жителям этого района присвоены какие-то «вольности». Что касается «Звона колоколов Сент-Мэри-ле-Боу», то с этой церковью, выстроенной замечательным английским зодчим, строителем собора св. Павла, Кристофером Ренном (1632—1723), на одной из центральных деловых магистралей Лондона — Чипсайде, — связано лондонское поверье, будто «коренными лондонцами» (так называемыми «кокни») являются те, кто родился в границах, до которых достигает звон колоколов упомянутой церкви. Странное название ее объясняется тем, что она построена Ренном на месте старинной церкви «св. Марии с арками» (bow — арка).

¹⁰ Гог и Магог — две гигантские деревянные фигуры, поставленные в начале XVIII века в главном зале лондонского муниципалитета (более подробно см. комментарии к «Николасу Нильби»).

¹¹ ...«там внизу, среди мертвецов»... — слова из старинного английского тоста: «И тот, кто не будет пить за здоровье, останется лежать среди мертвецов» (под мертвецами надо разуместь пустые бутылки).

¹² Ост-Индская компания — английская торговая компания, получившая от правительства в начале XVII века монопольные права на торговлю с Индией. В начале XVIII века она лишилась этой монополии, но к тому времени капиталы компании столь возросли, что она оставалась и во времена Диккенса самой мощной экспортно-импортной организацией и сохранила свою роль в экспансии британского империализма на восток.

лях с сильно загнутыми вверх носками. Всюду по соседству можно было увидеть изображения кораблей, устремляющихся на всех парусах во все части света; товарные склады, готовые отправить в путь кого угодно и куда угодно, в полном снаряжении, через полчаса; и маленьких деревянных мичманов в устаревшей морской форме, находившихся над входом в лавки морских инструментов и вечно наблюдавших за наемными каретами.

Единственный хозяин и владелец одной из таких фигурок — той, которую можно было бы назвать фамильярно самой деревянной, — той, которая возвышалась над тротуаром, выставив вперед правую ногу с учтивостью поистине невыносимой, обладала пряжками на башмаках и жилетом с лацканами, поистине неприемлемыми для человеческого разума, и подносила к правому глазу некий возмутительно несоразмерный инструмент, — единственный хозяин и владелец этого Мичмана, — вдобавок гордившийся им, — пожилой джентльмен в валлийском парике¹³, вносил арендную плату, налоги и пошлины в течение большего числа лет, чем насчитывали многие великовозрастные мичманы во плоти и крови, а в мичманах, которые достигли бодрой старости, не было недостатка в английском флоте.

Запас товаров этого старого джентльмена состоял из хронометров, барометров, подзорных труб, компасов, карт морских и географических, секстантов, квадрантов и образцов всевозможных инструментов, какими пользуются, прокладывая курс судна, ведя судовые вычисления и определяя местонахождение корабля. В ящиках и на полках хранились у него предметы из меди и стекла, и никто, кроме посвященных, не мог бы определить, где у них верх, или угадать способ их применения, или же, осмотрев их, снова уложить без посторонней помощи в их гнезда из красного дерева. Каждая вещь была втиснута в самый узкий футляр, вложена в самое тесное отделение, защищена самыми нелепыми подушечками и привинчена туго-натуго, дабы философическое ее спокойствие не пострадало от морской качки. Такие необычайные меры предосторожности были приняты решительно во всем, с целью сэкономить место и уложить вещи потеснее, и столько практической навигации было прилажено, защищено подушками и втиснуто в каждый ящик (был ли то обыкновенный четырехугольный ящик, как иные из них, или нечто среднее между треуголкой и морской звездой, или же ящики простенькие и скромные), что и сама лавка поддалась заразительному влиянию и как будто превратилась в уютное мореходное, корабельного типа сооружение, которое в случае неожиданного спуска на воду нуждалось только в морских просторах, чтобы благополучно приплыть к любому необитаемому острову на земном шаре.

Многие более мелкие детали в хозяйстве мастера корабельных инструментов, гордившегося своим Маленьким Мичманом, поддерживали и упрочивали эту иллюзию. Так как его знакомыми были преимущественно судовые поставщики и тому подобные люди, то на столе у него всегда находились в большом количестве настоящие морские сухари. Этот стол был в дружеских отношениях с сушеным мясом и языками, отличавшимися своеобразным запахом пеньки. Соленья появлялись на нем в огромных оптовых банках с ярлыками: «Поставщик всех видов провианта для судов»; спиртные напитки подавались в плетеных фляжках без горлышка. Старые гравюры, изображающие корабль, с алфавитными указателями, относящимися к многочисленным его тайнам, висели в рамках на стене; восточный фрегат под парусами красовался на полке; заморские раковины, водоросли и мхи украшали камин; в маленькую, отделанную панелью гостиную свет проникал, как в каюту, через светлый люк.

Здесь жил он, на положении шкипера, один со своим племянником Уолтером, четырнадцатилетним мальчиком, который в достаточной мере походил на мичмана, чтобы не нарушать общего впечатления. Но этим и кончалось дело, ибо сам Соломон Джилс (чаще именуемый старым Содем) отнюдь не имел сходства с моряками. Не говоря уже о его валлийском парике, который был самым безобразным и упрямым из всех валлийских париков и в котором он был похож на что угодно, но только не на пирата, это был медлительный, задумчивый старик с тихим голосом, с глазами красными, как маленькие солнца, глядящие на вас сквозь туман, и с видом человека, только что проснувшегося, каковой он мог приобрести, если бы смотрел дня три-четыре подряд во все оптические инструменты своей лавки, а затем внезапно вернулся к окружающему его миру и нашел его помолодевшим.

¹³ *Валлийский парик* — шерстяной колпак.

Единственная перемена, которую можно было наблюдать во внешнем его виде, сводилась к тому, что костюм кофейного цвета и широкого покроя, украшенный блестящими пуговицами, уступал место костюму того же кофейного цвета, но с невыразимыми из светлой нанки. Он носил аккуратнейшее жабо, превосходные очки на лбу и огромный хронометр и кармане и скорее поверил бы в заговор, составленный всеми стенными и карманными часами Сити и даже самим солнцем, чем усомнился в таком драгоценном инструменте. Таким, каков был он теперь, — таким пребывал он в лавке и в гостиной позади Маленького Мичмана многие и многие годы; каждый вечер он в одно и то же время шел спать в унылую мансарду, находившуюся к стороне от остальных жильцов; там частенько бушевал ураган, к то время как английские джентльмены, спокойно проживавшие внизу¹⁴, почти или вовсе не имели понятия о погоде. В половине шестого в осенний вечер читатель и Соломон Джилс завязывают знакомство. Соломон Джилс занят тем, что смотрит, который час показывает его безупречный хронометр. Обычная каждодневная очистка Сити от людей уже длилась больше часу, а человеческий поток все еще катится к западу. «Толпа на улице сильно поредела», как говорит мистер Джилс. Вечер обещает быть дождливым. Все барометры в лавке упали духом, и дождевые капли уже блестят на треуголке Деревянного Мичмана.

— Хотел бы я знать, где Уолтер? — сказал Джилс, заботливо спрятав хронометр. — Вот уже полчаса, как обед готов, а Уолтера нет!

Повернувшись на своем табурете за конторкой, Джилс выглянул из-за инструментов в окно, не переходит ли его племянник улицу. Нет. Его не было среди раскачивающихся зонтов, и уже, конечно, за него нельзя было принять мальчишку-газетчика в клеенчатой кепке, который медленно проходил мимо медной доски снаружи, указательным пальцем выписывая свое имя над именем мистера Джилса.

— Если бы я не знал, что он слишком меня любит, чтобы удрать и против моего желания поступить на судно, я бы начал беспокоиться, — сказал мистер Джилс, постукивая согнутыми пальцами по двум-трем барометрам. — Право же, начал бы. «Весь в Даунсе»¹⁵, а? Большая влажность! Ну, что ж! Дождь нужен.

— Мне кажется, — сказал мистер Джилс, сдувая пыль со стеклянной крышки компаса, — мне кажется, что в конце концов ты склоняешься к задней гостиной не более точно и прямо, чем мальчик. А гостиная обращена как нельзя правильнее. Прямо на север. Нет уклонения хотя бы на одну двадцатую ни в ту, ни в другую сторону.

— Здравствуйте, дядя Соль!

— Здравствуй, мой мальчик! — воскликнул мастер судовых инструментов, живо оборачиваясь. — А, так ты уже здесь?

Бодрый, веселый мальчик, оживившийся от быстрой ходьбы под дождем, милостивый, с блестящими глазами и вьющимися волосами.

— Ну, что, дядя, как вы здесь поживали без меня весь день? Готов обед? Как я голоден!

— Что касается того, как я поживал, — добродушно сказал Соломон, — то странно было бы, если бы без такого повесы, как ты, мне не жилось гораздо лучше. Что касается обеда, то вот уже полчаса, как он готов и ждет тебя. А что касается голода, то и я голоден.

— Ну, так идемте, дядя! — воскликнул мальчик. — Ура адмиралу!

— К черту адмирала! — возразил Соломон Джилс. — Ты хочешь сказать — лорд-мэру.

— Нет, не хочу! — закричал мальчик. — Адмиралу — ура! Адмиралу — ура! Вперед!

После такой команды валлийский парик и его обладатель были доставлены без сопротивления в заднюю гостиную, словно во главе абордажного отряда в пятьсот человек, и дядя Соль со своим

¹⁴ ...английские джентльмены, спокойно проживавшие внизу... — первая строка английской баллады XVII века, пользовавшейся известностью у моряков; Диккенс слегка перефразировал песенку, в которой речь идет о джентльменах, спокойно проживающих «дома», но не «внизу».

¹⁵ «Весь в Даунсе»... — начало известной баллады Джона Гэя «Черноокая Сьюзен», положенной на музыку Р. Левриджем. Диккенс не раз вспоминает первый стих этой баллады («Весь в Даунсе флот»), которая была напечатана в виде листовки в конце 20-х годов XVIII века и получила широкое распространение (такая форма публикации песенок была обычной в XVIII веке). Здесь, вероятно, намек на то, что барометр падает (флот укрылся на рейде Дауне).

племянником живо принялись за жареную камбалу, имея в перспективе бифштекс.

— Лорд-мэр, Уоли, — сказал Соломон, — на веки вечные! Больше никаких адмиралов. Лорд-мэр — вот твой адмирал.

— Да неужели? — сказал мальчик, покачивая головой. — Даже меченосец¹⁶ все-таки лучше, чем он. Тот хоть иногда обнажает свой меч.

— И при этом имеет глупейший вид, несмотря на все свои старанья, — возразил дядя. — Послушай меня, Уоли, послушай меня. Взгляни на каминную полку.

— Кто же это повесил мою серебряную кружку на гвоздь? — воскликнул мальчик.

— Я, — ответил дядя. — Никаких больше кружек. С сегодняшнего дня мы должны приучаться пить из стаканов, Уолтер. Мы люди торговые. Мы связаны с Сити. Сегодня утром мы начали новую жизнь.

— Ладно, дядя, — сказал мальчик, — я буду пить из чего вам угодно, пока могу пить за ваше здоровье. За ваше здоровье, дядя Соль, и ура...

— Лорд-мэру, — перебил старик.

— Лорд-мэру, шерифам, городскому совету и всем городским властям, — сказал мальчик. — Многая лета! Дядя, вполне удовлетворенный, кивнул головой.

— А теперь, — сказал он, — послушаем о фирме.

— Ну что касается фирмы, много не расскажешь, дядя, — сказал мальчик, орудуя ножом и вилок. — Это ужасно темный ряд конторских помещений, а в той комнате, где я сижу, есть высокая каминная решетка, железный несгораемый шкаф, объявления о судах, которые должны отплыть, календарь, несколько конторок и табуреток, бутылка чернил, книги и ящики и много паутины, а в паутине, как раз над моей головой, высохшая синяя муха; у нее такой вид, как будто она давным-давно там висит.

— И это все? — спросил дядя.

— Да, все, если не считать старой клетки для птиц (не понимаю, как она туда попала!) и ведерка для угля.

— Неужели нет банковских книг, или чековых книг, счетов, или каких-нибудь других признаков богатства, притекающего изо дня в день? — осведомился старый Соль, пытливно глядя на племянника из тумана, который как будто всегда окутывал его, и мягко подчеркивая слова.

— О да, этого, должно быть, очень много, — небрежно отвечал племянник, — но все это в кабинете мистера Каркера, мистера Морфина или мистера Домби.

— А мистер Домби был там сегодня? — осведомился дядя.

— О да. Весь день то приходил, то уходил.

— Вероятно, он никакого внимания на тебя не обращал?

— Нет, обратил. Подошел к моему месту, — хотел бы я, дядя, чтобы он не был таким важным и чопорным, — и сказал: «А, вы — сын мистера Джилса, мастера судовых инструментов?» — «Племянник, сэр», — отвечал я. «Молодой человек, я и сказал: племянник», — возразил он. Но я бы мог поклясться, дядя, что он сказал: сын.

— Полагаю, что ты ошибся. Это неважно.

— Да, неважно, но я подумал, что ему незачем быть таким резким. Никакой беды в этом не было, хотя он и сказал сын. Затем он сообщил, что вы говорили с ним обо мне, и что он подыскал для меня занятие в конторе, и что я должен быть внимательным и аккуратным, а потом он ушел. Мне показалось, что я как будто не очень ему понравился.

— Вероятно, ты хочешь сказать, — заметил старый мастер, — что он как будто не очень тебе понравился.

— Ну, что ж, дядя, — смеясь, отозвался мальчик, — быть может, и так! Я об этом не подумал.

К концу обеда Соломон призадумался и время от времени всматривался в веселое лицо мальчика. Когда они пообедали и убрали со стола (обед был доставлен из соседнего ресторана), он зажег свечу и спустился в маленький погреб, а его племянник, стоя на заросшей плесенью лестнице, за-

¹⁶ *Меченосец* — чиновник, который по старинной английской традиции носит — во время торжественных церемоний — меч перед королем или перед знатнейшими сановниками, включая также лорд-мэра Лондона.

ботливо светил ему. Пошарив в разных местах, он вскоре вернулся с очень старой на вид бутылкой, покрытой пылью и паутиной.

— Как, дядя Соль! — воскликнул мальчик. — Что это вы задумали? Ведь это чудесная мадера! Там остается только одна бутылка.

Дядя Соль кивнул головой, давая понять, что он прекрасно знает, что делает; и, в торжественном молчании вытащив пробку, наполнил две рюмки и поставил бутылку и третью, чистую рюмку на стол.

— Последнюю бутылку ты разопьешь, Уоли, — сказал он, — когда добьешься удачи, когда будешь преуспевающим, уважаемым, счастливым человеком; когда жизнь, в которую ты вступил сегодня, выведет тебя — молю бога об этом! — на ровную дорогу, тебе предназначенную, дитя мое. Будь счастлив!

Туман, окутывавший дядю Соля, словно проник ему в горло, ибо говорил он хрипло. И рука его дрожала, когда он чокался с племянником. Но, поднеся рюмку к губам, он осушил ее, как подобает мужчине, и причмокнул.

— Дорогой дядя! — сказал мальчик, притворяясь, будто относится к этому несерьезно, хотя слезы выступили у него на глазах. — В благодарность за честь, какую вы мне оказали и так далее, я предлагаю провозгласить сейчас трижды три раза и еще раз «ура» в честь мистера Соломона Джилса. Ур-ра! А вы ответите на этот тост, дядя, когда мы вместе разопьем последнюю бутылку, хорошо?

Они снова чокнулись, и Уолтер, у которого еще оставалось вино в рюмке, пригубив его, поднес рюмку к глазам с самым критическим видом, какой только мог на себя напустить.

Дядя сидел и смотрел на него молча. Встретившись, наконец, с ним взглядом, он сейчас же начал развивать вслух занимавшие его мысли, как будто и не переставал говорить.

— Как видишь, Уолтер, — произнес он, — это торговое предприятие, по правде сказать, стало для меня только привычкой. Я так втянулся в эту привычку, что вряд ли мог бы жить, если бы от нее отказался; но дело не идет, не идет. Когда носили такую форму, — он указал в ту сторону, где стоял Маленький Мичман, — вот тогда действительно можно было нажать состояние, и его наживали. Но конкуренция, конкуренция... новые изобретения, новые изобретения... перемены, перемены... жизнь прошла мимо меня. Я едва ли знаю, где нахожусь я сам, и еще меньше того знаю, где мои покупатели.

— Незачем думать о них, дядя!

— Так, например, с той поры, как ты вернулся домой из пансиона в Пекеме, — а прошло уже десять дней, — сказал Соломон, — я помню только одного человека, который заглянул к нам в лавку.

— Двое, дядя, неужели вы забыли? Заходил мужчина, который просил разменять соверен...

— Это и есть тот один, — сказал Соломон.

— Как, дядя! Неужели вы не считаете за человека ту женщину, которая зашла спросить, как пройти к заставе Майл-Энд?

— Верно, — сказал Соломон. — Я забыл о ней. Двое.

— Правда, они ничего не купили! — воскликнул мальчик.

— Да. Они ничего не купили, — спокойно сказал Соломон.

— И ничего им не требовалось! — воскликнул мальчик.

— Да. Иначе они пошли бы в другую лавку, — тем же тоном сказал Соломон.

— Но их было двое, дядя! — крикнул мальчик, словно торжествуя победу. — А вы сказали — только один.

— Видишь ли, Уоли. — помолчав, продолжал старик. — так как мы не похожи па дикарей, высадившихся на остров Робинзона Крузо, то и не можем прожить на то, что мужчина просит разменять соверен, а женщина спрашивает, как добраться до заставы Майл-Энд. Как я только что сказал, жизнь прошла мимо меня. Я ее не осуждаю; но я ее больше не понимаю. Торговцы уже не те, какими были прежде, приказчики не те, торговля не та, товары не те. Семь восьмых моего запаса товаров устарели. Я — старомодный человек в старомодной лавке, на улице, которая уже не та, какой я ее помню. Я отстал от века и слишком стар, чтобы догнать его. Даже шум его, где-то далеко впереди, приводит меня в смущение.

Уолтер хотел заговорить, но дядя поднял руку.

— Потому-то, Уоли, потому-то я и хочу, чтобы ты пораньше вступил в деловой мир и вышел на

широкую дорогу. Я только призрак этого торгового предприятия, самая сущность его исчезла давно, а когда я умру, то и призрак будет похоронен. Ясно, что для тебя это не наследство, и потому-то я счел наилучшим воспользоваться в твоих интересах едва ли не единственной из прежних связей, сохранившейся в силу долгой привычки. Иные думают, что я богат. Хотел бы я в твоих интересах, чтобы они были правы. Но что бы после меня ни осталось и что бы я ни дал тебе, ты в такой фирме, как Домби, имеешь возможность пустить это в оборот и приумножить. Будь прилежен, старайся полюбить это дело, милый мой мальчик, работай, чтобы стать независимым, и будь счастлив!

— Я сделаю все, что в моих силах, чтобы оправдать вашу любовь. Да, сделаю, — серьезно сказал мальчик.

— Я знаю, — сказал Соломон. — Я в этом уверен. — И он с сугубым удовольствием принялся за вторую рюмку старой мадеры. — Что же касается моря, — продолжал он, — то оно хорошо в мечтах, Уоли, и не годится на деле, совсем не годится. Вполне понятно, что ты о нем думал, связывая его со всеми этими знакомыми вещами; но оно не годится на деле, не годится.

Однако Соломон Джилс, рассуждая о море, с тайным удовольствием потирал руки и посматривал вокруг на вещи, имеющие отношение к мореплаванию, с невыразимой благосклонностью.

— Вот, например, подумай об этом вине, — сказал старый Соль, — которое, не знаю сколько раз, совершало путешествие в Ост-Индию и обратно и один раз объехало вокруг света. Подумай о непроглядных ночах, ревушем ветре, набегающих волнах...

— О громах, молнии, дожде, граде, штормах, — вставил мальчик.

— Несомненно, — сказал Соломон, — вино перенесло все это. Подумай о том, как гнулись и скрипели доски и мачты, как свистел и завывал ветер в снастях.

— Как взбирались наверх матросы, обгоняя друг друга, чтобы поскорее убрать обледеневшие паруса, в то время как корабль кренился и зарывался носом, словно одержимый! — вскричал племянник.

— Да, все это, — сказал Соломон, — испытал на себе старый бочонок, в котором было это вино. Когда «Красотка Салли» пошла ко дну в...

— В Балтийском море, глубокой ночью; было двадцать пять минут первого, когда часы капитана остановились у него в кармане; он лежал мертвый, у грот-мачты, четырнадцатого февраля тысяча семьсот сорок девятого года! — вскричал Уолтер с большим воодушевлением.

— Да, правильно! — воскликнул старый Соль. — Совершенно верно! Тогда на борту было пятьсот бочонков такого вина; и весь экипаж (кроме штурмана, первого лейтенанта, двух матросов и одной леди в протекавшей шлюпке) принялся разбивать бочонки, перепился и погиб, распевая «Правь, Британия»¹⁷; судно пошло ко дну, и их пенье закончилось отчаянным воплем.

— А когда «Георга Второго» прибило к Корнуэльскому берегу, дядя, в страшную бурю, за два часа до рассвета, четвертого марта семьдесят первого года, на борту было около двухсот лошадей; в самом начале бури лошади, сорвавшись с привязи внизу, в трюме, стали метаться во все стороны, топчя друг друга, подняли такой шум и испускали такие человеческие вопли, что экипаж подумал, будто корабль кишит чертями, даже самые храбрые испугались, потеряли голову и в отчаянии бросились за борт, и в живых остались только двое, которые поведали о случившемся.

— А когда, — сказал старый Соль, — когда «Полифем»...

— Частное торговое вест-индское судно, тоннаж триста пятьдесят, капитан Джон Браун из Детфорда. Владельцы Уигс и Ко! — воскликнул Уолтер.

— Оно самое, — сказал Соль. — Когда оно загорелось среди ночи, после четырехдневного плавания при попутном ветре, по выходе из Ямайского порта...

— На борту было два брата, — перебил племянник очень быстро и громко, — а так как для обоих места в единственной целой шлюпке не было, ни тот, ни другой не соглашался сесть в нее, пока старший не взял младшего за пояс и не швырнул в лодку. Тогда младший поднялся в шлюпке и крикнул: «Дорогой Эдуард, подумай о своей невесте, оставшейся дома. Я еще молод. Дома никто

¹⁷ «Правь, Британия» — стихотворение Джеймса Томсона, положенное на музыку Т. Арном; написано было для театра масок (пьеса «Альфред», поставленная на сцене в 1740 году) и стало народным гимном Англии, тогда как официальный английский гимн — «Боже, храни короля».

меня не ждет. Прыгай на мое место!» — и бросился в море.

Сверкающие глаза и разгоревшееся лицо мальчика, который вскочил, возбужденный тем, что говорил и чувствовал, казалось, напомнили старому Солю что-то, о чем он забыл или что было доселе заслонено окутавшим его туманом. Вместо того чтобы приступить к новому рассказу, как он явно собирался сделать всего секунду назад, он сухо кашлянул и сказал:

— А не поговорить ли нам о чем-нибудь другом?

Суть дела была в том, что простодушный дядя, втайне увлекавшийся всем чудесным и сулившим приключения, — со всем этим он некоторым образом породнился благодаря своей торговле, — весьма споспешествовал такому же влечению у своего племянника; и все, что когда-либо внушалось мальчику с целью отвлечь его от жизни, полной приключений, возымело обычное необъяснимое действие, усилив его любовь к ней. Это неизбежно. Кажется, не было еще написано такой книги или рассказано такой повести с прямою целью удержать мальчиков на суше, которая бы не увеличила в их глазах соблазнов и чар океана.

Но в этот момент к маленькой компании явилось дополнение в лице джентльмена в широком синем костюме, с крючком, прикрепленным к запястью правой руки, с косматыми черными бровями; в левой руке у него была палка, сплошь покрытая шишками (так же как и его нос). Вокруг шеи был свободно повязан черный шелковый платок, над которым торчали концы такого огромного жесткого воротничка, что они напоминали маленькие паруса. Очевидно, это был тот самый человек, для которого предназначалась третья рюмка, и, очевидно, он это знал; ибо, сняв пальто из грубой шерсти и повесив на особый гвоздь за дверью такую жесткую глянцевитую шляпу, которая одним видом своим могла вызвать головную боль у сердобольного человека и которая оставила красную полосу на его собственном лбу, словно на него был нахлобучен очень тесный таз, — он придвинул стул к тому месту, где стояла рюмка, и уселся перед ней. Обычно этого посетителя именовали капитаном; и он был когда-то лоцманом, или шкипером, или матросом каперского судна, или и тем, и другим, и третьим, и действительно имел вид морского волка.

Физиономия его, обращавшая на себя внимание загаром и солидностью, прояснилась, когда он пожимал руку дяде и племяннику; но, по-видимому, он был склонен к лаконизму и сказал только:

— Как дела?

— Все в порядке, — отвечал мистер Джилс, подвигая к нему бутылку.

Он взял ее, осмотрел, понюхал и сказал весьма выразительно:

— Та самая?

— Та самая, — подтвердил старый мастер.

После чего тот присвистнул, наполнил рюмку и, казалось, решил, что попал на самый настоящий праздник.

— Уольтер! — сказал он, пригладив волосы (они были редкие) своим крючком, а затем указав им на мастера судовых инструментов: — Смотрите на него! Любите! Читайте! И повинуйтесь!¹⁸ Перелистайте свой катехизис, покуда не найдете этого места, а когда найдете, загнийте страницу. За ваше преуспеяние, мой мальчик!

Он был до такой степени доволен и своей цитатой и ссылкой на нее, что невольно повторил эти слова вполголоса и добавил, что не вспоминал о них вот уже сорок лет.

— Но ни разу еще не случалось в моей жизни так, чтобы два-три нужных слова, Джилс, не подвернулись мне под руку, — заметил он. — Это оттого, что я не трачу лишних слов, как другие.

Такое соображение, быть может, напомнило ему о том, что и он, подобно отцу юного Порвалла¹⁹, должен «увеличивать свои запасы». Как бы то ни было, но он умолк и не нарушал молчания, покуда старый Соль не пошел в лавку зажечь свет, после чего он обратился к Уолтеру без всяких предварительных замечаний:

— Полагаю, он бы мог сделать стенные часы, если бы взялся?

¹⁸ *Любите! Читайте! И повинуйтесь!* — Капитан Катль постоянно путает изречения; здесь он произносит не цитату из катехизиса, а слова из назидания пастора вступающим в брак.

¹⁹ *Отец юного Порвалла* — отец юного героя трагедии Джона Хома (1722—1808) «Дуглас», сюжет которой взят из шотландской баллады.

— Я бы этому не удивился, капитан Катль, — ответил мальчик.

— И они бы шли! — сказал капитан Катль, чертя в воздухе своим крючком нечто вроде змеи. — Ах, боже мой, как бы шли эти часы!

Секунду-другую он был, казалось, совершенно поглощен созерцанием хода этих идеальных часов и сидел, глядя на мальчика, словно лицо у него было циферблатом.

— Но он начинен науками, — заметил он, указывая крючком на запас товаров. — Посмотрите-ка сюда! Здесь целая коллекция для земли, воздуха, воды. Все здесь есть. Только скажите, куда вы собираетесь! Вверх на воздушном шаре? Пожалуйте. Вниз в водолазном колоколе? Пожалуйте. Не угодно ли вам положить на весы Полярную звезду и взвесить ее? Он это для вас сделает.

На основании таких замечаний можно заключить, что уважение капитана Катля к запасу инструментов было глубоко и что он не улавливал или почти не улавливал разницы между торговлей ими и их изобретением.

— Ах, — сказал он со вздохом, — прекрасная это штука иметь понятие о них. А впрочем, прекрасная штука — и ничего в них не понимать. Право же, я не знаю, что лучше. Так приятно сидеть здесь и чувствовать, что тебя могут взвесить, измерить, показать в увеличительном стекле, электризовать, поляризовать, черт знает что с тобой сделать, а каким образом — тебе неизвестно.

Ничто, кроме чудесной мадеры в соединении с благоприятным моментом (которым надлежало воспользоваться для усовершенствования и развития ума Уолтера), не могло бы развязать ему язык для произнесения этой удивительной речи. Казалось, он и сам был изумлен тем, как искусно его речь вскрыла источники молчаливого наслаждения, которое он испытывал вот уже десять лет, обедая по воскресеньям в этой гостиной. Затем он обрел рассудительность, взгрустнул²⁰, задумался и притих.

— Послушайте! — входя, воскликнул предмет его восхищения. — Прежде чем вы получите свой стакан грога, Нэд, мы должны покончить с этой бутылкой.

— Держись крепче! — сказал Нэд, наполняя свою рюмку. — Налейте-ка еще мальчику.

— Больше не надо, благодарю вас, дядя!

— Нет, нет, — сказал Соль, — еще немножко. Мы допьем, Нэд, эту бутылку в честь фирмы — фирмы Уолтера. Что ж, быть может, когда-нибудь он будет хозяином фирмы, одним из хозяев. Кто знает. Ричард Виттингтон женился на дочери своего хозяина.

— «Вернись, Виттингтон, лондонский лорд-мэр, и когда ты состаришься, то не покинешь его»²¹, — вставил капитан. — Уольр! Перелистай книгу, мой мальчик.

— И хотя у мистера Домби нет дочери... — начал Соль.

— Нет, есть, дядя, — сказал мальчик, краснея и смеясь.

— Есть? — воскликнул старик. — Да, кажется, и в самом деле есть.

— Я знаю, что есть, — сказал мальчик. — Об этом говорили сегодня в конторе. И знаете ли, дядя и капитан Катль, — понизил он голос, — говорят, что он невзлюбил ее, и она живет без призора среди слуг, а он до такой степени поглощен мыслями о своем сыне, как компаньоне фирмы, что, хотя сын еще малюток, он хочет, чтобы баланс сводили чаще, чем раньше, и книги вели аккуратнее, чем это делалось прежде; видели даже (когда он думал, что никто его не видит), как он прогуливался в доках и смотрел на свои корабли, склады и все прочее, как будто радуясь тому, что всем этим он будет владеть вместе с сыном. Вот о чем говорят. Я-то, конечно, ничего не знаю.

— Как видите, он уже все о ней знает, — сказал мастер судовых инструментов.

— Вздор, дядя! — воскликнул мальчик, снова по-мальчишески краснея и смеясь. — Не могу же

²⁰ ...обрел рассудительность, взгрустнул... — намек на строку из стихотворения С. Кольриджа (1772—1834) «Старый моряк»: «А наутро он проснулся более мудрый и грустный».

²¹ «Вернись, Виттингтон... и, когда ты состаришься, то не покинешь его»... — Капитан Катль объединяет в одной фразе упоминание о легенде, связанной с именем Ричарда (Дика) Виттингтона, и цитату из Библии. Диккенс часто упоминает в своих произведениях о Виттингтоне, трижды избравшемся лондонским лорд-мэром (в XIV веке); это имя появляется несколько раз и в романе «Домби и сын». Об историческом Ричарде Виттингтоне сложилась легенда, имеющая несколько вариантов; по одному из них Дик Виттингтон не вытерпел жестокого обращения с ним хозяина суконной лавки, где он служил учеником, и задумал бежать, но вернулся к хозяину, услышав звон колоколов упоминавшейся выше церкви Сент-Мэри-ле-Боу — звон, в котором якобы слышались голоса, предвещающие ему успех в жизни и высокий пост лорд-мэра.

я не слушать того, что мне говорят!

— Боюсь. Нэд, что в настоящее время сын немного мешает нам, — сказал старик, поддерживая шутку.

— Изрядно мешает, — сказал капитан.

— А все-таки выпьем за его здоровье, — продолжал Соль. — Итак, пью за Домби и Сына.

— Отлично, дядя, — весело сказал мальчик. — Раз уж вы о ней упомянули и связали меня с нею и сказали, что я все о ней знаю, то я беру на себя смелость изменить тост. Итак, пью за Домби — и Сына — и Дочь!

Глава V

Рост, и крестины Поля

Маленький Поль, не потерпев никакого ущерба от млека и плоти Тудлей, с каждым днем набирался здоровья и сил. И с каждым днем все с большим рвением лелеяла его мисс Токс, чья преданность была столь высоко оценена мистером Домби, что он начал почитать ее женщиной с большим запасом здравого смысла, чьи чувства делают ей честь и заслуживают поощрения. Он простер свою благосклонность до таких пределов, что не только кланялся ей не раз с особым вниманием, но даже величественно доверил своей сестре поблагодарить ее в такой форме: «Пожалуйста, передайте вашей приятельнице, Луиза, что она очень добра», или: «Сообщите мисс Токс, Луиза, что я ей признателен», каковые знаки внимания произвели глубокое впечатление на леди, их удостоившуюся.

Мисс Токс частенько уверяла миссис Чик, что «ничто не может сравниться с ее интересом ко всему, связанному с развитием этого прелестного ребенка»; и человек, наблюдающий за поведением мисс Токс, мог прийти к такому же выводу, не нуждаясь в красноречивых подтверждениях. Она надзидала за невинной трапезой юного наследника с неизменным удовольствием, чуть ли не с таким видом, словно участвовала в его кормлении на равных правах с Ричардс. При маленьких церемониях купанья и туалета она помогала с энтузиазмом. Принятие некоторых лекарств, требуемых младенческим возрастом, возбуждало в ней горячее сочувствие, свойственное ее натуре; а спрятавшись однажды в шкафу (куда она забилась из скромности), когда сестра привела мистера Домби в детскую посмотреть на сына, который в легкой полотняной распашонке совершал короткую прогулку перед сном, карабкаясь вверх по платью Ричардс, мисс Токс, за спиной не ведающего о ней посетителя, пришла в такой восторг, что не могла удержаться, чтоб не воскликнуть: «Ну, не красавчик ли он, мистер Домби? Не купидон ли он, сэр?», после чего едва не сгорела от стыда и смущения за дверцей шкафа.

— Луиза, — сказал однажды мистер Домби сестре, — право, мне кажется, что я должен сделать вашей приятельнице какой-нибудь маленький подарок по случаю крестин Поля. С самого начала она так тепло заботилась о ребенке и, по-видимому, так хорошо понимает свое положение (добродетель, к сожалению, весьма редкая в этом мире), что, право же, мне доставило бы удовольствие оказать ей внимание.

Отнюдь не умаляя добродетелей мисс Токс, следует упомянуть, что в глазах мистера Домби — как и некоторых других, которые лишь при случае прозревают, — только те обрели великое умение понимать свое место, кто с подобающим почтением относятся к занимаемому им положению. Добродетель таких людей заключалась не столько в том, что они знали самих себя, сколько в том, что они знали его и низко перед ним склонялись.

— Дорогой мой Поль, — сказала его сестра, — вы лишь воздаете должное мисс Токс; я знала, что именно так поступит человек, обладающий вашей проницательностью. Мне кажется, если есть в нашем языке три слова, к которым она питает уважение, граничащее с благоговением, то слова эти — Домби и Сын.

— Да, — сказал мистер Домби, — я этому верю. Это делает честь мисс Токс.

— Что же касается какого-нибудь подарка, дорогой мой Поль, — продолжала сестра, — я могу сказать одно: все, что бы вы ни подарили мисс Токс, она — в этом я уверена — будет беречь и ценить как реликвию. Но есть более лестный и приятный способ, дорогой мой Поль, выразить вашу признательность мисс Токс, если вы согласитесь.

— Какой именно? — спросил мистер Домби.

— Конечно, выбор крестного отца, — продолжала миссис Чик, — имеет значение с точки зрения связей и влияния.

— Не знаю, какое это может иметь значение для моего сына, — холодно сказал мистер Домби.

— Совершенно справедливо, дорогой мой Поль, — отвечала миссис Чик с необычайным оживлением, имевшим целью скрыть неожиданную перемену в ее намерениях, — именно так вы и должны были сказать. Ничего другого я и не ждала от вас. Следовало бы мне знать, что таково будет ваше мнение. Быть может, — тут миссис Чик снова ему польстила, неуверенно нащупывая правильный путь, — быть может, потому-то вы тем менее стали бы возражать против того, чтобы мисс Токс была крестной матерью дорогого малютки, хотя бы в качестве представительницы и заместительницы какого-нибудь другого лица. Незачем говорить, Поль, что это было бы принято как великая честь и отличие.

— Луиза, — помолчав, сказал мистер Домби, — трудно допустить...

— Конечно! — воскликнула миссис Чик, спеша предупредить отказ. — Я никогда этого не думала. Мистер Домби с досадой посмотрел на нее.

— Не волнуйте меня, дорогой мой Поль, — сказала сестра. — я прихожу в расстройство! У меня мало сил. Я еще не опомнилась с тех пор, как скончалась Фанни.

Мистер Домби взглянул на носовой платок, который сестра поднесла к глазам, и продолжал:

— Трудно допустить, говорю я...

— И я говорю, — пробормотала миссис Чик, — что никогда этого и не думала.

— Ах, боже мой, Луиза! — сказал мистер Домби.

— Нет, дорогой мой Поль, — возразила она с плаксивым достоинством, — право же, нужно дать мне высказаться. Я не так умна, как вы, не так рассудительна, не так красноречива и все прочее. Я это прекрасно знаю. Тем хуже для меня. Но хотя бы это были последние слова, какие мне суждено произнести — а последние слова должны быть священны для вас и для меня, Поль, после смерти бедной Фанни, — я бы все-таки сказала, что никогда этого не думала. И мало того, — добавила миссис Чик с подчеркнутым достоинством, как будто до сей поры она берегла про запас свой самый сокрушительный аргумент, — я никогда этого и не думала.

Мистер Домби прошелся по комнате к окну и обратно.

— Трудно допустить, Луиза, — сказал он (миссис Чик заупрямилась и повторила «знаю, что трудно», но он не обратил внимания), — что нет людей, которые — предполагая, что в подобном случае я признаю какие бы то ни было права, — не имеют больших прав, чем мисс Токс. Но я этого не признаю. Я никаких чужих прав не признаю. Поль и я будем в силах, когда придет время, сохранить свое положение — иными словами, фирма в силах будет сохранить свое положение, сохранить свое имущество и передать его по наследству без каких-либо наставников и помощников. Такого рода посторонней помощью, которую обычно ищут люди для своих детей, я могу пренебречь, ибо, надеюсь, я выше этого. Итак, когда благополучно минует пора младенчества и детства Поля и я увижу, что он не теряя времени готовится к той карьере, для которой предназначен, я буду удовлетворен. Он может приобретать каких ему угодно влиятельных друзей впоследствии, когда будет энергически поддерживать — и увеличивать, если это только возможно, — достоинство и кредит фирмы. До тех пор с него, пожалуй, достаточно будет меня, и никого больше не нужно. У меня нет ни малейшего желания, чтобы кто-то становился между нами. Я предпочитаю выразить свою признательность за услуги такой уважаемой особе, как ваша приятельница. Стало быть, пусть так оно и будет; и полагаю, что ваш муж и я сам прекрасно можем заменить других восприемников.

В этой речи, произнесенной с большим величием и внушительностью, мистер Домби поистине разоблачил сокровенные свои чувства. Бесконечное недоверие ко всякому, кто может встать между ним и его сыном; надменный страх встретить соперника, с которым придется делить уважение и привязанность мальчика; острое опасение, недавно зародившееся, что он ограничен в своей власти ломать и вязать человеческую волю; не менее острая боязнь какого-нибудь нового препятствия или бедствия — вот какие чувства владели в то время его душой. За всю свою жизнь он не приобрел ни одного друга. Холодная и сдержанная его натура не искала и не нашла друзей. И вот когда все силы этой натуры сосредоточились на одном из пунктов общего плана, продиктованного родительской заботой и честолюбием, казалось, будто ледяной поток, вместо того чтобы уступить этому влиянию

и стать прозрачным и свободным, оттаял лишь на секунду, чтобы принять этот груз, а затем замерз вместе с ним в сплошную твердую глыбу.

Вознесенная таким образом благодаря своему ничтожеству до звания крестной матери маленького Поля, мисс Токс с этого часа была избрана и определена на свою новую должность; и далее мистер Домби выразил желание, чтобы церемония, которую долго откладывали, была совершена без дальнейшего промедления. Его сестра, вовсе не рассчитывавшая на столь блестящий успех, поспешила удалиться, чтобы сообщить о нем лучшей своей приятельнице, и мистер Домби остался один в библиотеке.

В детской было отнюдь не безлюдно, ибо миссис Чик и мисс Токс с удовольствием проводили там вечер, — к столь великому отвращению Сьюзен Нипер, что эта молодая леди пользовалась каждым удобным случаем, чтобы скорчить гримасу за дверью. Чувства ее в этот день были так возбуждены, что она сочла необходимым доставить им это облегченье, даже невзирая на отсутствие свидетелей и какого бы то ни было сочувствия. Подобно тому, как в старину странствующие рыцари облегчали свою душу, запечатлевая имя возлюбленной в пустынях, лесах и других глухих местах, куда вряд ли мог забрести кто-нибудь, чтобы его прочесть, так и мисс Сьюзен Нипер морщила свой вздернутый нос, заглядывая в комоды и гардеробы, прятала презрительные усмешки в шкафы, бросала насмешливые взгляды в глиняные кувшины и бранилась в коридоре.

Однако обе непрошеные гости, пребывая в блаженном неведении относительно чувств молодой леди, наблюдали, как маленький Поль благополучно прошел через все стадии раздевания, барахтанья, ужина и укладывания спать, а затем сели пить чай у камина. Дети благодаря стараниям Полли спали теперь в одной комнате, и леди, расположившись за чайным столом и случайно взглянув на маленькие кровати, тогда только вспомнили о Флоренс.

— Как она крепко спит! — сказала мисс Токс.

— Ведь вы знаете, милая моя, днем она много возится, — отвечала миссис Чик, — все время играет около маленького Поля.

— Странный она ребенок, — сказала мисс Токс.

— Милая моя, — понизив голос, ответила миссис Чик, — она — вылитая мать!

— В самом деле? — сказала мисс Токс. — Ах, боже мой!

В высшей степени соболезнующим тоном сказала это мисс Токс, хотя понятия не имела — почему; знала только, что этого от нее ждут.

— Флоренс никогда, никогда, никогда не будет Домби, — сказала миссис Чик, — проживи она хоть тысячу лет.

Мисс Токс подняла брови и снова преисполнилась сострадания.

— Я мучаюсь и терзаюсь из-за нее, — сказала миссис Чик со смиренно-добродетельным вздохом. — Я, право, не знаю, что из нее выйдет, когда она подрастет, и какое место в обществе сможет она занять. Она не умеет расположить к себе отца. Да и как можно на это надеяться, если она так не похожа на Домби!

Мисс Токс сделала такую мину, словно не находила никаких возражений на столь неоспоримый аргумент.

— К тому же у девочки, как видите, — конфиденциально сообщила миссис Чик, — натура бедной Фанни. Смею утверждать, что в дальнейшей жизни она никогда не будет делать усилий. Никогда! Она никогда не обовьется вокруг сердца своего отца, как...

— Как плющ? — подсказала мисс Токс.

— Как плющ, — согласилась миссис Чик. — Никогда! Она никогда не найдет пути и не приникнет к любящей груди отца, как...

— Пугливая лань? — подсказала мисс Токс.

— Как пугливая лань, — сказала миссис Чик. — Никогда! Бедная Фанни! А все-таки как я ее любила!

— Не надо расстраиваться, дорогая моя, — успокоительным тоном сказала мисс Токс. — Ну, полно! Вы слишком чувствительны.

— У всех у нас есть свои недостатки, — сказала миссис Чик, проливая слезы и покачивая головой. — Думаю, что есть. Я никогда не была слепа к ее недостаткам. И никогда не утверждала обратного. Отнюдь. А все-таки как я ее любила!

Какое удовлетворение испытывала миссис Чик — довольно заурядная и глупая особа, по сравнению с которой покойная невестка была воплощением женского ума и кротости, — относясь покровительственно и тепло к памяти этой леди (точно так же она поступала и при жизни ее) и при этом веря в самое себя, дурача самое себя и чувствуя себя прекрасно в сознании своей снисходительности! Какой приятнейшей добродетелью должна быть снисходительность, когда мы правы, — раз она столь приятна, когда мы не правы и не можем объяснить, каким образом мы добились привилегии проявлять ее!

Миссис Чик все еще осушала слезы и покачивала головой, когда Ричардс осмелилась уведомить ее, что мисс Флоренс не спит и сидит в своей постельке. По словам кормилицы, она проснулась, и глаза у нее были мокрые от слез. Но никто этого не видел, кроме Полли. Никто, кроме нее, не склонился над нею, не шепнул ей ласковых слов, не подошел поближе, чтобы услышать, как прерывисто бьется у нее сердце.

— Няня дорогая, — сказала девочка, умоляюще глядя ей в лицо, — позвольте мне лечь рядом с братом!

— Зачем, моя милочка? — спросила Ричардс.

— Мне кажется, он меня любит! — возбужденно воскликнула девочка. — Позвольте мне лечь рядом с ним. Пожалуйста!

Миссис Чик вставила несколько материнских слов о том, чтобы она была умницей и постаралась заснуть, но Флоренс с испуганным видом повторила свои мольбы голосом, прерывавшимся от всхлипываний и слез.

— Я его не разбужу, — сказала она, закрыв лицо и опустив голову. — Я только дотронусь до него рукой и засну. О, пожалуйста, позвольте мне лечь сегодня рядом с братом, мне кажется, что он меня любит!

Ричардс, не говоря ни слова, взяла ее на руки и, подойдя к постельке, где спал ребенок, положила рядом. Девочка придвинулась к нему как можно ближе, стараясь не потревожить его сна, и, протянув руку, робко обняла его за шею, закрыла лицо другой рукой, по которой рассыпались ее влажные растрепавшиеся волосы, и притихла.

— Бедная малютка! — сказала мисс Токс. — Должно быть, ей что-нибудь приснилось.

Этот маленький инцидент нарушил течение разговора, так что уже трудно было его возобновить; и вдобавок миссис Чик была столь расстроена размышлениями о собственной снисходительности, что утратила бодрость. Поэтому обе приятельницы вскоре покончили с чаепитием, и слуга был послан нанять кабриолет для мисс Токс. Мисс Токс была весьма сведуща в наемных кэбах, и ее отъезд отнимал обычно много времени, ибо она слишком педантично занималась предварительными приготовлениями.

— Пожалуйста, будьте добры, Таулинсон, — сказала мисс Токс, — возьмите прежде всего перо и чернила и запишите разборчиво его номер.

— Слушаю, мисс, — сказал Таулинсон.

— Потом будьте добры, Таулинсон, — сказала мисс Токс, — переверните, пожалуйста, подушку. Она, — довела мисс Токс до сведения миссис Чик, — обычно бывает сырой, дорогая моя.

— Слушаю, мисс, — сказал Таулинсон.

— Я еще беспокою вас, — сказала мисс Токс, — вручите кучеру эту визитную карточку и этот шиллинг, скажите ему, что он должен отвезти меня по этому адресу, и пусть поймет, что ни в коем случае не получит больше этого шиллинга.

— Слушаю, мисс, — сказал Таулинсон.

— И... мне совестно, что я вам доставляю столько хлопот, Таулинсон, — сказала мисс Токс, глядя на него задумчиво.

— Нисколько, мисс, — сказал Таулинсон.

— В таком случае, будьте добры, Таулинсон, сообщите этому человеку. — сказала мисс Токс, — что у леди есть дядя-судья и что если он позволит себе по отношению к ней какую-нибудь дерзость, то будет сурово наказан. Вы можете сказать это дружески, Таулинсон, как будто вам известно, что так поступили с другим человеком, который умер.

— Разумеется, мисс, — сказал Таулинсон.

— А теперь желаю спокойной ночи моему милому, милому, милому крестнику, — сказала мисс

Токс, сопровождая каждое повторение этого эпитета градом нежных поцелуев. — Луиза, дорогой мой друг, обещайте мне выпить на ночь чего-нибудь согревающего и не расстраиваться.

Лишь с величайшим трудом черноглазая Нипер, внимательно за всем наблюдавшая, сдерживалась в этот критический момент и вплоть до последовавшего отбытия миссис Чик. Но когда детская избавилась, наконец, от посетителей, она вознаградила себя за прежнее воздержание.

— Можете шесть недель держать меня в смиренной рубашке, — сказала Нипер, — но когда ее снимут, я еще больше буду злиться, — ну, видывал ли кто-нибудь когда-нибудь двух таких мегер, миссис Ричардс?

— И толкуют еще о том, будто ей, бедной малютке, что-то приснилось, — сказала Полли.

— Ох, уж вы, красавицы! — воскликнула Сьюзен Нипер, приветствуя поклоном дверь, в которую вышли леди. — Она никогда не будет Домби? Вот как? Нужно надеяться, что не будет: больше нам таких не надобно, довольно и одного.

— Не разбудите детей, милая Сьюзен, — сказала Полли.

— Премного вам благодарна, миссис Ричардс, — сказала Сьюзен, которая в гневе своем ни для кого не делала исключений, — и, право же, это честь для меня получать от вас приказания, я ведь черная невольница и мулатка. Миссис Ричардс, если у вас есть для меня еще какие-нибудь распоряжения, сообщите мне, будьте так любезны.

— Вздор! Какие там распоряжения! — сказала Полли.

— Господь с вами, миссис Ричардс! — воскликнула Сьюзен. — Временные всегда распоряжаются здесь постоянными, неужели вы этого не знали, да где же это вы родились, миссис Ричардс, — продолжала задира, — но где бы, когда бы и как бы вы ни родились (об этом вам самой лучше знать), постарайтесь, пожалуйста, запомнить, что одно дело отдавать приказания и совсем другое дело — исполнять их. Один человек может сказать другому, миссис Ричардс, чтобы тот бросился вниз головой с моста в реку сорок пять футов глубиной, но этот другой, может быть, и не подумает бросаться.

— Полно, — сказала Полли, — вы сердитесь, потому что вы добрая девушка и любите мисс Флоренс; и сейчас вы накинулись на меня, потому что никого больше здесь нет.

— Кое-кому очень легко не раздражаться и говорить ласковые речи, миссис Ричардс, — отвечала Сьюзен, слегка смягчившись, — когда с их ребенком носятся, как с принцем, и нежат его и хоят, покуда ему не захочется избавиться от таких друзей, но когда обижают кроткую, невинную малютку, которая ни одного дурного слова не заслужила, то это совсем другое дело. Господи боже мой, мисс Флой, непослушная, скверная вы девочка, если вы сию же минуту не закроете глаза, я позову домовых, которые живут на чердаке, чтобы они пришли и съели вас живьем!

Тут мисс Нипер испустила страшное мычание, якобы исходившее от добросовестного домового из породы быков, стремившегося исполнить возложенную на него суровую обязанность. Затем ради дальнейшего успокоения своей юной питомицы она накрыла ее с головой одеялом и сердито хлопнула несколько раз по подушке, после чего скрестила руки на груди, поджала губы и просидела весь вечер, глядя на огонь.

Хотя о маленьком Поле и говорилось, на языке детской, что он «очень многое понимает для своего возраста», но он все это понимал так же мало, как и приготовления к своим крестинам, назначенным на послезавтра; а приготовлениями, касавшимися его собственного наряда, а также наряда его сестры и обеих нянек, занимались весьма энергически. С наступлением знаменательного утра он, казалось, вовсе не почувствовал его значения; напротив, был необычайно склонен ко сну и необычайно склонен обижаться на свою свиту, когда его одевали, чтобы вынести на воздух.

Был серый осенний день с резким восточным ветром — день, соответствующий событию. Мистер Домби олицетворял собою ветер, сумрак и осень этих крестин. В ожидании гостей он стоял в своей библиотеке, суровый и холодный, как сама погода; а когда он смотрел из застекленной комнаты на деревья в садике, их бурые и желтые листья трепеща падали на землю, точно его взгляд нес им гибель.

Уф! Какие это были мрачные, холодные комнаты; и, казалось, они надели траур, как и обитатели дома. У книг, аккуратно подобранных по росту и выстроенных в ряд, как солдаты в холодных, твердых, скользких мундирах, был такой вид, будто они выражали одну только мысль, а именно — мысль о ледяном холоде. Книжный шкаф, застекленный и запертый на ключ, не допускал никакой

фамильярности. Бронзовый мистер Питт²² на шкафу, без малейших следов своего божественного происхождения, стерег недоступное сокровище, словно зачарованный мавр. Высившиеся по обеим сторонам шкафа пыльные урны, вырытые из древней могилы, проповедовали, как бы с двух кафедр, о разрушении и упадке; а зеркало над камином, отражая одновременно и мистера Домби и его портрет, казалось, преисполнено было меланхолическими размышлениями.

Из всех прочих вещей несгибаемые и холодные каминные щипцы и кочерга как будто притязали на ближайшее родство с мистером Домби в его застегнутом фраке, белом галстуке, с тяжелой золотой цепочкой от часов и в скрипучих башмаках. Но это было до прибытия мистера и миссис Чин, законных родственников, которые вскоре явились.

— Дорогой мой Поль, — пробормотала миссис Чик, обнимая его, — надеюсь, это начало многих счастливых дней.

— Благодарю вас, Луиза, — мрачно сказал мистер Домби. — Как поживаете, мистер Джон?

— Как поживаете, сэр? — сказал Чик.

Он подал руку мистеру Домби так, словно опасался, что она может наэлектризовать хозяина дома. Мистер Домби взял ее, как будто это была рыба, водоросль или какое-нибудь клейкое вещество, и тотчас же вернул по принадлежности с изысканной вежливостью.

— Быть может, Луиза, — сказал мистер Домби, слегка поворачивая голову над воротничком, точно она была на шарнире, — вы не прочь, чтобы затопили камин?

— О нет, дорогой мой Поль, — сказала миссис Чик, которая прилагала много усилий, чтобы не щелкать зубами, — для меня не нужно.

— Мистер Джон, — спросил мистер Домби, — вы не чувствительны к холоду?

Мистер Джон, успевший глубоко засунуть руки в карманы и приготовившийся затянуть тот самый собачий припев, который однажды уже привел миссис Чик в такое негодование, заявил, что чувствует себя прекрасно.

Он добавил потихоньку: «С моею там-пам-пам-ля-ля», когда был, по счастью, прерван Таулинсоном, который доложил:

— Мисс Токс.

И вошла прелестная чаровница с синим носом и неопишимо замерзшим лицом, ибо в честь церемонии она оделась весьма легко в какие-то развевающиеся лоскутки.

— Как поживаете, мисс Токс? — сказал мистер Домби.

Мисс Токс, в окутывающем ее газе, опустила точь-в-точь как сдвигающийся театральный бинокль; она присела так низко в благодарность за то, что мистер Домби шагнул ей навстречу.

— Я никогда не забуду этого дня, сэр, — нежно произнесла она. — Забыть невозможно. Дорогая моя Луиза, я едва могу поверить свидетельству своих чувств.

Если бы мисс Токс могла поверить свидетельству одного из своих чувств она должна была бы признать, что день очень холодный. Это было совершенно ясно. Она воспользовалась первым удобным случаем, чтобы восстановить кровообращение в кончике носа, и незаметно согрела его носовым платком, чтобы своею крайне низкой температурой он не вызвал неприятного изумления у младенца, когда она подойдет поцеловать его.

Вскоре появился младенец, доставленный с большой помпой Ричардс; Флоренс же под охраной своего энергического молодого констебля, Сьюзен Нипер, замыкала шествие. Хотя все население детской носило к тому времени не такой глубокий траур, как раньше, однако вид осиротевших детей не способствовал прояснению погоды. Вдобавок и младенец — быть может, виноват был нос мисс Токс — расплакался. Вследствие этого мистер Чик удержался от неуместного осуществления весьма похвального намерения, сводившегося к тому, чтобы уделить больше внимания Флоренс; ибо этот джентльмен, нечувствительный к высоким притязаниям безупречных Домби (быть может, в силу того, что и сам имел честь быть сопряженным с Домби и уже освоился с их высоким достоинством), действительно любил ее и не скрывал, что любит, и теперь готовился проявить это по-своему; но Поль расплакался, и супруга остановила мистера Чика.

— Флоренс, дитя мое! — с живостью сказала тетка. — Чего ты ждешь, милочка? Покажись

²² *Питт* — популярнейший государственный деятель Англии Уильям Питт (Младший) (1759—1806).

ему. Развлеки его, дорогая моя!

Температура понизилась или могла понизиться, когда мистер Домби холодно взирал на свою дочурку, которая, хлопая в ладоши и поднявшись на цыпочки перед тронем его сына и наследника, соблазняла его снизойти с высоты величия и посмотреть на нее. Быть может, похвальные усилия Ричардс усиливали впечатление — как бы там ни было, но он посмотрел вниз и успокоился. Когда его сестра спряталась за свою няньку, он следил за нею глазами; а когда она с радостным криком выглянула из-за ее спины, он восторженно и весело заворковал — даже рассмеялся, когда она подбежала к нему, и, казалось, разглаживал ей кудри своими крохотными ручонками, в то время как она осыпала его поцелуями.

Приятно ли было мистеру Домби видеть это? Он не обнаружил никакого удовольствия, оставаясь невозмутимым; впрочем, внешние проявления каких бы то ни было чувств были ему несвойственны. Если солнечный луч и прокрался в комнату, чтобы осветить играющих детей, он не коснулся его лица. Мистер Домби смотрел как напряженно и холодно, что огонек угас даже в смеющихся пазах маленькой Флоренс, когда они случайно встретятся с ее глазами.

Да, день был пасмурный, осенний, серый, и в наступившей тишине печально падали с деревьев листья.

— Мистер Джон, — сказал мистер Домби, взглянув на часы и взяв шляпу и перчатки, — пожалуйста, предложите руку моей сестре; моя рука принадлежит сегодня мисс Токс. А вы идите вперед с мистером Полем, Ричардс. Будьте осторожны.

В карете мистера Домби — Домби и Сын, мисс Токс, миссис Чик, Ричардс и Флоренс. В маленьком, следовавшем за ней экипаже — Сьюзен Нипер и владелец его, мистер Чик. Сьюзен без устали смотрела в окно, чтобы избавиться от смущавшего ее созерцания широкой физиономии этого джентльмена, и при каждом позвякивании воображала, что он завертывает для нее в бумагу приличный денежный подарок.

Один раз по дороге в церковь мистер Домби захлопал в ладоши, чтобы позабавить сына. Таким проявлением родительского энтузиазма мисс Токс была очарована. Но за исключением этого инцидента единственная разница между людьми, отправляющимися на крестины, и людьми в траурной карете заключалась в цвете экипажей и масти лошадей.

У входа в церковь их встретил величественный бидл²³. Мистер Домби, выйдя первым, чтобы помочь леди, и стоя около него у дверей церкви, тоже имел вид бидла. Это был менее торжественный, но более страшный бидл частной жизни; бидл наших деловых забот и наших сердец.

Рука мисс Токс дрожала, когда она просунула ее под руку мистера Домби и почувствовала, что ее ведут вверх по ступеням, вслед за треугольной шляпой и воротником вышиной с Вавилонскую башню. На мгновение это напомнило ей о другом торжественном обряде: «Желаешь ли ты выйти замуж за этого человека, Лукреция?» — «Да, желаю».

— Не внесете ли вы поскорее ребенка в церковь? — прошептал бидл, открывая внутреннюю дверь церкви.

Маленький Поль мог бы спросить вместе с Гамлетом: «В мою могилу?»²⁴ — так было здесь жутко и сыро. Высокие, покрытые чехлами кафедра и налой, угрюмый ряд пустых фамильных мест, тянувшихся под галереями, и пустые скамьи на галереях, поднимавшиеся к потолку и терявшиеся в тени большого мрачного органа; пыльные половики и холодные каменные плиты; унылые скамейки в приделах и сырой угол, где висела веревка от колокола, где были свалены черные козлы, употребляемые при похоронах, а также лопаты, корзины и свернутая кольцом зловещая веревка; странный, непривычный, раздражающий запах и мертвенный свет — все гармонировало между собою. Холодная и печальная картина.

— Сейчас здесь свадьба, сэр, — сказал бидл, — но она скоро кончится, а вы пройдите сюда, в ризницу.

²³ *Бидл* — низшее должностное лицо городского прихода (административного района), избираемое на один год жителями и утверждаемое в своей должности мировым судьей.

²⁴ *В мою могилу?* — слова шекспировского Гамлета («Гамлет», акт II, сц. 2-я).

Прежде чем повернуться и проводить их, он поклонился мистеру Домби и слегка улыбнулся, давая понять, что он (бидл) помнит, что имел удовольствие присутствовать на похоронах его жены, и надеется, что с тех пор мистеру Домби жилось недурно.

Даже свадьба показалась унылой, когда они проходили мимо алтаря. Невеста была слишком стара, а жених слишком молод; одряхлевший щеголь с моноклем, вставленным вместо второго глаза, исполнял обязанности посаженного отца, в то время как друзья новобрачных дрожали от холода. В ризнице дымил камин; и престарелый, перегруженный работой и получающий скудное жалованье адвокатский клерк, «пустившись на поиски», водил указательным пальцем по пергаментным страницам огромной книги записей (одного из многих подобных же томов), переполненной датами погребений. Над камином висел план склепов под церковью; и мистер Чик, пробегая вслух для развлечения собравшихся приложенное к нему объяснение, не мог остановиться, покуда не прочел до конца справку о могиле миссис Домби.

После новой ледяной паузы сопящая маленькая прислужница, страдающая одышкой, — место ей было на кладбище, а не в церкви, — предложила им подойти к купели. Здесь пришлось немного подождать, пока участники брачной церемонии записывали свои фамилии; а тем временем сопящая маленькая прислужница, отчасти по причине своей болезни, а отчасти для того, чтобы участники брачной церемонии не забыли о ней, бродила по церкви, пыхтя как дельфин.

Наконец церковный клерк²⁵ (единственный неунывающий здесь субъект, да и тот был гробовщиком) подошел с кувшином теплой воды и, выливая ее в купель, пробормотал, что здесь слишком холодно; впрочем, не хватило бы и миллиона галлонов кипятку, чтобы там стало теплее. Затем молодой священник, приветливый и кроткий, явно побаивавшийся младенца, появился, словно главный герой в рассказе с привидениями, — «высокая фигура, вся в белом», при виде коей Поль огласил церковь воплями и не умолкал до тех пор, пока его не вынули с почерневшим лицом из купели.

Но когда и это совершилось к великому облегчению всех присутствующих, голос его все же раздавался под сводами, вплоть до окончания церемонии, то слабее, то громче, то затихая, то снова неудержимо протестуя против нанесенной ему обиды. Это до такой степени отвлекало внимание обеих леди, что миссис Чик то и дело показывалась в центральном нефе, чтобы передать распоряжение через прислужницу, а мисс Токс раскрывала свой молитвенник на Пороховом заговоре²⁶ и иной раз читала ответы из этой службы.

Во время всей этой процедуры мистер Домби оставался таким же бесстрастным и безупречным, каким был всегда, и, быть может, именно благодаря его присутствию она была такой холодной, что у молодого священника шел пар изо рта, когда он читал. Один только раз выражение его лица слегка изменилось, когда священник, произнося (очень искренне и просто) заключительное увещание воспитанникам о воспитании ребенка в будущем, случайно взглянул на мистера Чика; и тогда можно было заметить, как мистер Домби принял величественный вид, выразивший, что он не прочь был бы поймать его за таким занятием.

Быть может, не худо было бы для мистера Домби, если бы он меньше думал о своем собственном достоинстве и больше — о замечательном источнике и замечательной цели церемонии, в которой принимал такое формальное и чопорное участие. Его высокомерие странно противоречило ее истории.

Когда все было кончено, он снова предложил руку мисс Токс и повел ее в ризницу, где сообщил священнику, с каким удовольствием добивался бы он чести видеть его у себя за обедом, если бы не печальное положение дел у него в доме. Когда акт был подписан, деньги уплачены, прислужница (которая снова жестоко раскашлялась) не забыта, бидл вознагражден, пономарь (который случайно очутился у двери, чрезвычайно интересуясь погодой) не оставлен без внимания, они снова уселись в карету и отбыли домой все той же безрадостной компанией.

Дома они нашли мистера Питта, презрительно созерцавшего холодную закуску, красовавшуюся

²⁵ *Церковный клерк* — служащий церкви, ведавший финансово-счетной частью.

²⁶ *...раскрывала свой молитвенник на Пороховом заговоре...* — В молитвенник англиканской церкви включена благодарственная молитва об избавлении короля и членов парламента от гибели 5 ноября 1607 года. Упоминание о Пороховом заговоре не раз встречается в произведениях Диккенса.

Чарльз Диккенс «Торговый дом Домби и сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт»

в холодном великолепии хрусталя и серебра и похожую скорее на покойника, выставленного для воздания ему последних почестей, чем на гостеприимное угощение. Мисс Токс по прибытии преподнесла крестнику чашку, а мистер Чик — нож, вилку и ложку в футляре. Мистер Домби в свою очередь преподнес браслет мисс Токс; и при получении этого сувенира мисс Токс была глубоко расстроена.

— Мистер Джон, — сказал мистер Домби, — будьте любезны занять место в том конце стола. Что у вас там, мистер Джон?

— У меня холодная телячья нога, сэр, — отозвался мистер Чик, усердно растирая окоченевшие руки. — А что у вас, сэр?

— Мне кажется, — отвечал мистер Домби, — у меня холодная телячья голова, затем холодная птица... ветчина... пирожки... салат... омары. Мисс Токс окажет мне честь и выпьет вина? Шампанского мисс Токс.

Все угрожало зубною болью. Вино оказалось таким нестерпимо холодным, что у мисс Токс вырвался тихий писк, который ей большого труда стоило превратить в «гм». Телятину принесли из такого ледяного чулана, что первый же кусок вызвал у мистера Чика ощущение, словно у него леденеют руки и ноги.

Один только мистер Домби оставался невозмутимым. Его можно было бы вывесить для продажи на русской ярмарке, как образчик замороженного джентльмена.

Обстановка подавляла даже его сестру. Она не пыталась льстить или болтать и сосредоточила все свои усилия на том, чтобы сохранять такой вид, будто ей тепло.

— Ну, сэр, — сказал мистер Чик, делая отчаянную попытку прервать длительное молчание и наполняя стакан хересом, — этот стакан, с вашего разрешения, сэр, я выпью за здоровье маленького Поля.

— Да благословит его бог! — прошептала мисс Токс, выпив глоток вина.

— Милый маленький Домби! — прошептала миссис Чик.

— Мистер Джон, — с суровой важностью сказал мистер Домби, — не сомневаюсь, что мой сын почувствовал бы и выразил благодарность, если бы мог оценить честь, которую вы ему оказали. Надеюсь, со временем он в состоянии будет нести любую ответственность, какую доброе расположение его родственников и друзей в частной жизни и тяготы, связанные с нашим положением в обществе, могут возложить на него.

Тон, каким это было сказано, не располагал к продолжению разговора, и мистер Чик снова погрузился в уныние и молчание. Иначе обстояло дело с мисс Токс, которая, выслушав мистера Домби с еще более напряженным вниманием, чем обычно, и еще выразительнее склонив голову к плечу, перегнулась затем через стол и тихо сказала миссис Чик:

— Луиза!

— Да, моя милая? — сказала миссис Чик.

— «Тяготы, связанные с нашим положением в обществе, могут» ...я забыла буквальное выражение.

— Предъявить к нему, — сказала миссис Чик.

— Простите, дорогая моя, — возразила мисс Токс, — кажется, не так. Это было более закругленно и плавно. «Доброе расположение родственников и друзей в частной жизни и тяготы, связанные с положением в обществе... могут»... возложить на него?

— Возложить на него, совершенно верно, — сказала миссис Чик.

Мисс Токс с торжеством легонько хлопнула в нежные ладоши и, закатив глаза, добавила:

— Какое красноречие!

Тем временем мистер Домби распорядился, чтобы позвали Ричардс, которая и вошла, приседая, но без младенца; Поль спал после утомительного утра. Передав стакан вина этому вассалу, мистер Домби обратился к ней со следующими словами (мисс Токс заблаговременно склонила голову к плечу и сделала еще кое-какие приготовления, дабы запечатлеть эти слова в сердце своем):

— В течение шести месяцев, Ричардс, какие вы провели в этом доме, вы исполняли свой долг. Желая оказать вам по этому случаю какую-нибудь маленькую услугу, я размышлял о том, как осуществить наилучшим образом это намерение, а также советовался с моей сестрою, миссис...

— Чик, — вставил джентльмен, носивший эту фамилию.

— О, пожалуйста, тише! — сказала мисс Токс.

— Я хотел сказать вам, Ричардс, — продолжал мистер Домби, бросив грозный взгляд на мистера Джона, — что мое решение подсказано воспоминанием о разговоре, какой я имел с вашим мужем в этой комнате, когда вы были наняты и когда он сообщил мне печальный факт, что ваше семейство во главе с ним самим глубоко погрязло в невежестве.

Ричардс поникла пред великолепием упрека.

— Я отнюдь не питаю расположения, — продолжал мистер Домби, — к тому, что люди, склонные к стиранию различий, называют всеобщим обучением. Но необходимо просвещать низшие классы, чтобы они знали свое положение и вели себя соответственно. Постольку я одобряю школы. Имея право выдвинуть кандидата на стипендию в старинном учреждении, названном (в честь почтенного общества) «Милосердными Точильщиками»²⁷, где ученики не только получают благотворное образование, но где им дается также платье и значок, я (предварительно снесясь через миссис Чик с вашим семейством) выдвинул кандидатуру вашего старшего сына на имеющуюся вакансию; и, как меня уведомили, сегодня он надел форменное платье. Кажется, номер ее сына, — сказал мистер Домби, обращаясь к сестре и говоря о мальчишке так, словно тот был наемной каретой, — сто сорок седьмой. Луиза, вы можете сообщить ей.

— Сто сорок седьмой, — сказала миссис Чик. — Форменное его платье, Ричардс, это — красивый теплый синий фланелевый фрак и шапка с оранжевым кантом, красные шерстяные чулки и очень прочные кожаные штанишки. Уж одну эту часть туалета можно носить с благодарностью, — добавила с энтузиазмом миссис Чик.

— Ну, вот, Ричардс! — сказала мисс Токс. — Теперь вам действительно есть чем гордиться. Милосердные Точильщики!

— Право же, я очень признательна, сэр, — тихо отвечала Ричардс, — и вы очень добры, что вспомнили о моих детишках.

При этом образ Байлера в костюме Милосердного Точильщика с маленькими его ножками, заключенными в прочные штанишки, описанные миссис Чик, предстал перед глазами Ричардс и заставил ее прослезиться.

— Я очень рада, что вы так чувствительны, Ричардс, — сказала мисс Токс.

— Право же, начинаешь надеяться, — сказала миссис Чик, которая гордилась своим доверчивым отношением к природе человеческой, — что, быть может, есть еще на свете хоть искра благодарности и надлежащей чувствительности.

Ричардс отозвалась на эти комплименты, приседая и бормоча слова признательности; но видя, что ей не оправиться от того смятения, в какое ее поверг образ сына в несоответствующих его возрасту панталонах, она незаметно отступила к двери и почувствовала глубокое облегчение, выскользнув в нее.

Те мимолетные показатели слабой оттепели, какие явились вместе с нею, с нею и исчезли; и мороз снова вступил в свои права, такой же жестокий и суровый, как раньше. Слышно было, как в конце стола мистер Чик дважды начинал напевать какой-то мотив, но оба раза это был траурный марш из «Саула»²⁸. Казалось, общество делалось все холоднее и холоднее и постепенно переходило в замороженное и окаменелое состояние, в каком находилась закуска, вокруг которой оно собралось. Наконец миссис Чик взглянула на мисс Токс, а мисс Токс ответила ей взглядом, и обе встали и заметили, что пора уходить. Так как мистер Домби принял это заявление с полным равнодушием, они простились с сим джентльменом и вскоре отбыли под охраной мистера Чика, который, как только они повернулись спиной к дому и оставили его хозяина в привычном одиночестве, засунул руки в карманы, откинулся на спинку сиденья и всю дорогу насвистывал «Хей-хо-фью!», выражая при этом всей своей физиономией такое мрачное и грозное презрение, что миссис Чик не посмела протестовать или каким-либо иным способом досаждать ему.

²⁷ «Милосердные Точильщики» — название лондонского благотворительного общества, основанного цехом точильщиков и шлифовщиков в середине XVIII века.

²⁸ ...траурный марш из «Саула». — «Саул» — оратория Г. Генделя (1685—1759).

Что касается Ричардс, то хотя она и держала на коленях маленького Поля, однако она не могла забыть своего собственного первенца. Она чувствовала, что это неблагодарность, но влияние этого дня сказало даже на «Милосердных Точильщиках», и она невольно видела в оловянном значке с номером сто сорок семь нечто от формальности и суровости дня. В детской она завела речь о его «милых ножках» и снова была потревожена его призраком в форменной одежде.

— Не знаю, чего бы я ни отдала, — сказала Полли, — чтобы повидать бедного малютку, покуда он еще не привык к школе.

— Ну, так я вот что скажу, миссис Ричардс, — отозвалась Нипер, которая пользовалась ее доверием, — повидайте его и успокойтесь.

— Мистеру Домби это не понравится, — сказала Полли.

— Неужели не понравится, миссис Ричардс? — откликнулась Нипер. — Мне кажется, ему бы это очень понравилось, если бы его спросили.

— Вероятно, вы и спрашивать бы его не стали? — сказала Полли.

— Да, миссис Ричардс, даже и не подумала бы, — отвечала Сьюзен, — и я слышала, как эти два надсмотрщика, Токс и Чик, говорили, что не намерены быть завтра на своем посту, а стало быть, я и мисс Флой выйдем завтра утром с вами, и поступайте, как вам угодно, миссис Ричардс, потому что мы с таким же удовольствием можем пойти туда, как и шагать взад и вперед по улице, и даже с большим.

Сначала Полли довольно мужественно отвергла это предложение, но мало-помалу стала к нему склоняться — по мере того как все яснее и яснее представляла себе запретные образы детей и родного дома. Наконец, рассудив, что большой беды не будет, если на минутку заглянуть в дверь, она приняла совет Нипер.

Когда вопрос был, таким образом, разрешен, маленький Поль жалобно заплакал, словно было у него предчувствие, что ничего хорошего из этого не выйдет.

— Что случилось с ребенком? — спросила Сьюзен.

— Должно быть, он озяб, — сказала Полли, прохаживаясь с ним взад и вперед и баюкая его.

Да, день был холодный, осенний; и покуда она прохаживалась, баюкала и, глядя в тусклые окна, крепче прижимала мальчугана к груди, сухие листья падали дождем.

Глава VI

Вторая утрата Поля

У Полли поутру возникло столько опасений, что, если бы не настойчивые понукания ее черноглазой приятельницы, она отказалась бы от всяких мыслей о путешествии и обратилась бы с формальной просьбой разрешить ей свидание с номером сто сорок седьмым под зловещим кровом мистера Домби. Но Сьюзен, которая (подобно Тони Ламкину)²⁹ могла с примерной стойкостью переносить чужие разочарования, но не могла мириться со своими, выдвинула столько остроумных возражений против нового плана и поддержала первоначальное намерение таким количеством остроумных доводов, что, как только спина мистера Домби величественно повернулась к дому и сей джентльмен отправился обычной своей дорогой в Сити, его сын, ничего не ведающий, был уже на пути к Садам Стегса.

Эта благозвучная местность находилась в пригороде, известном населению Садов Стегса под именем Кемберлинг-Тауна, каковое наименование план Лондона для приезжих, отпечатанный (с целью дать приятную и удобную справку) на носовых платках, сокращает, не без оснований, в Кемден-Таун. Сюда направили свои стопы обе няньки в сопровождении своих питомцев; Ричардс, разумеется, несла Поля, а Сьюзен вела за руку маленькую Флоренс и время от времени угощала ее пинками и толчками, когда считала целесообразным прибегнуть к ним.

Как раз в те времена первый из великих подземных толчков потряс весь район до самого цен-

²⁹ ...*(подобно Тони Ламкину)*... — подобно герою комедии английского драматурга Оливера Голдсмита (1728—1774) «Она унижается, чтобы победить», имевшей в свое время большой успех. Тони Ламкин — шутник, про которого его отчим говорит: «Если сжигать башмаки слуги, пугать служанок, мучить котят значит быть шутником, то он — шутник».

тра. Следы его были заметны всюду. Дома были разрушены; улицы проложены и заграждены; вырыты глубокие ямы и рвы; земля и глина навалены огромными кучами; здания, подрывные и расшатанные, подперты большими бревнами. Здесь повозки, опрокинутые и нагроможденные одна на другую, лежали как попало у подошвы крутого искусственного холма; там драгоценное железо мокло и ржавело в чем-то, что случайно превратилось в пруд. Всюду были мосты, которые никуда не вели; широкие проспекты, которые были совершенно непроходимы; трубы, подобно вавилонским башням, наполовину недостроенные; временные деревянные сооружения и заборы в самых неожиданных местах; остовы ободранных жилищ, обломки незаконченных стен и арок, груды материала для лесов, нагроможденные кирпичи, гигантские подъемные краны и треножники, широко расставившие ноги над пустотой. Здесь были сотни, тысячи незавершенных вещей всех видов и форм, нелепо сдвинутых с места, перевернутых вверх дном, зарывающихся в землю, стремящихся к небу, гниющих в воде и непонятных, как сновидение. Горячие источники и огненные извержения, обычные спутники землетрясения, дополняли эту хаотическую картину. Кипящая вода свистела и вздымалась паром среди полуразрушенных стен, из развалин вырывался ослепительный блеск и рев пламени, а горы золы властно загромождали проходы и в корне изменяли законы и обычаи местности.

Короче, прокладывалась еще не законченная и не открытая железная дорога и из самых недр этого страшного беспорядка тихо уползала вдаль по великой стезе цивилизации и прогресса.

Но окрестное население все еще не решалось признать железную дорогу. Двое-трое дерзких спекулянтов наметили улицы, и один даже начал строиться, но приостановился среди грязи и золы, чтобы еще об этом подумать. Новехонькая таверна, благоухающая свежей известкой и клеем и обращенная фасадом к пустырю, изобразила на своей вывеске железнодорожный герб; быть может, это было безрассудное предприятие, но в ту пору оно возлагало надежды на продажу спиртных напитков рабочим. Так «Приют землекопов» возник из пивной; а старинная «Торговля ветчиной и говядиной» превратилась в «Железнодорожную харчевню» с подачей жареной свинины — по корыстным мотивам такого же непосредственного и отлично понятного людям свойства. Содержатели номеров были расположены к тому же; и по тем же причинам на них не следовало полагаться. Общее доверие прививалось очень туго. Возле самой железной дороги оставались грязные пустыри, хлевы, навозные и мусорные кучи, канавы, сады, беседки и площадки для выбивания ковров. Маленькие могильные холмики из устричных раковин в сезон устриц или из скорлупы омара в сезон омаров, из битой посуды и увядших капустных листьев в любой сезон вырастали на ее насыпи. Столбы, перила, старые надписи, предостерегающие нарушителей чужого права, задворки бедных домишек и островки чахлой растительности взирали на нее с презрением. Никто ничего от нее не выгадывал и не рассчитывал выгадать. Если бы жалкий пустырь, находившийся по соседству с ней, мог смеяться, он высмеивал бы ее с презрением, как это делали многие жалкие ее соседи.

Сады Стегса отличались крайней недоверчивостью. Это был небольшой ряд домов с маленькими убогими участками земли, огороженными старыми дверьми, бочарными досками, кусками брезента и хворостом; жестяные чайники без дна и отслужившие свою службу каминные решетки затыкали дыры. Здесь «садовники Стегса» выращивали красные бобы, держали кур и кроликов, возводили дрянные беседки (одной из них служила старая лодка), сушили белье и курили трубки. Иные придерживались того мнения, что Сады Стегса были названы в честь умершего капиталиста, некоего мистера Стегса, который застроил это место для собственного удовольствия. Другие, по природе своей тяготеющие к деревне, утверждали, что название это ведет начало от тех идиллических времен, когда рогатые животные, известные под названием оленей³⁰, искали приюта в тенистых окрестностях. Как бы там не было, местные жители почитали Сады Стегса священной рощей, которую не уничтожат железные дороги; и были они так уверены в ее способности пережить все эти нелепые изобретения, что трубочист на углу, который, как было известно, руководил местной политикой Садов, обещал во всеуслышание приказать в день открытия железной дороги — если она когда-нибудь откроется — двум из своих мальчишек, чтобы те вскарабкались по дымоходам его жилища с наказом приветствовать неудачу насмешливыми возгласами из дымовых труб.

В это нечестивое место, самое название которого до сей поры тщательно скрывалось от мисте-

³⁰ *Stag* — олень, а также биржевой спекулянт.

ра Домби его сестрою, был доставлен теперь маленький Поль Судьбою и Ричардс.

— Вот мой дом, Сьюзен, — указывая на него, радостно сказала Полли.

— В самом деле, миссис Ричардс? — снисходительно отозвалась Сьюзен.

— И, право же, в дверях стоит моя сестра Джемайма! — воскликнула Полли. — И на руках у нее мой милый, ненаглядный малютка!

Зрелище это придало нетерпению Полли такие могучие крылья, что она пустилась бегом по Садам, и, подлетев к Джемайме, в мгновение ока обменялась с нею младенцами, к крайнему изумлению этой юной особы, на которую наследник Домби словно с неба свалился.

— Ах, Полли! — воскликнула Джемайма. — Это ты! Ну, и перепугала же ты меня! Кто бы мог подумать? Входи, Полли! Какой у тебя прекрасный вид! Дети с ума сойдут, когда увидят тебя, Полли, право же, с ума сойдут.

Так и случилось, если судить по шуму, какой они подняли, и по тому, как они бросились к Полли и потащили ее к глубокому креслу у камина, где ее честное лицо, похожее на яблоко, тотчас окружили яблочки помельче и все прижимались к нему своими розовыми щечками, по-видимому созрев на одном и том же дереве. Что до Полли, то она подняла такой же шум и возню, как и дети; и суматоха немного поулеглась не раньше, чем она совсем запыхалась, волосы спустились прядями на раскрасневшееся лицо, а новое платье, сшитое по случаю крестин, было сильно измято. Но и тогда младший Тудль остался у нее на коленях и крепко обнимал ее за шею обеими руками, а следующий Тудль вскарабкался на спинку кресла и, болтая одной ногой, делал отчаянные попытки поцеловать ее.

— Смотрите-ка, к вам в гости пришла хорошенькая маленькая леди. — сказала Полли. — Видите, какая она тихонькая! Какая красивая маленькая леди, правда?

Это упоминание о Флоренс, которая стояла у двери, следя за происходящим, привлекло к ней внимание младших отпрысков и равным образом счастливо содействовало официальному признанию мисс Нипер, у которой уже возникло опасение, что ею пренебрегли.

— Ах, Сьюзен, пожалуйста, войдите и присядьте на минутку, — сказала Полли. — Это моя сестра Джемайма, вот она. Джемайма, не знаю, что бы я делала, если бы не Сьюзен Нипер; не будь ее, не было бы меня здесь сегодня.

— Ах, присядьте, пожалуйста, мисс Нипер, — подхватила Джемайма.

Сьюзен с величественным и церемонным видом присела на самый кончик стула.

— Я никогда еще никому так не радовалась, мисс Нипер, право же, никогда, — сказала Джемайма.

Сьюзен, смягчившись, слегка подвинулась на стуле и милостиво улыбнулась.

— Пожалуйста, мисс Нипер, развяжите ленты шляпы и будьте как дома, — умоляла Джемайма. — Боюсь, что вы не бывали в таком бедном жилище; но вы окажете нам снисхождение, в этом я уверена.

Черноглазая была так польщена этим почтительным обращением, что подхватила на колени маленькую мисс Тудль, пробежавшую мимо, и тотчас же повезла ее на Бенбери-Кросс³¹.

— А где же мой миленький мальчик? — спросила Полли. — Мой бедный мальчуган? Я пришла поглядеть, каков он в новом платье.

— Ах, какая жалость! — воскликнула Джемайма. — Как он будет горевать, когда узнает, что мама была здесь! Он в школе, Полли.

— Уже ушел?

— Да. Вчера он пошел в первый раз, боялся пропустить учебу. А сегодня занимаются полдня, Полли; ах, если бы ты могла подождать, пока он вернется домой... ты и мисс Нипер, конечно, — сказала Джемайма, вовремя вспомнив о самолюбии черноглазой.

— А какой у него вид, Джемайма, помоги ему бог? — боязливо спросила Полли.

— Да уж не так плох, как ты, может быть, думаешь, — ответила Джемайма.

— Ах! — с чувством сказала Полли. — Я решила, что ноги у него, должно быть, слишком ко-

³¹ ...повезла ее на Бенбери-Кросс. — Переводчик сохранил английскую идиому, обязанную своим происхождением широкоизвестной детской песенке, напевая которую, забавляли ребенка, подбрасывая его на коленях.

ротки.

— Ноги у него и в самом деле коротки, — отвечала Джемайма, — но они с каждым днем будут становиться длиннее.

Это утешение рассчитано было на будущее; но бодрость и добродушие, его сопровождавшие, придали ему цену, какой оно по существу не имело. После минутного молчания Полли спросила более веселым тоном:

— А где отец, милая Джемайма? — ибо этим патриархальным именем обычно называли в семье мистера Тудля.

— Ну, вот! — воскликнула Джемайма. — Какая жалость! Сегодня утром отец взял с собой обед и домой вернется только к вечеру. Но он постоянно толкует про тебя, Полли, и рассказывает о тебе детям; он — самое тихое, терпеливое и кроткое существо на свете, всегда был таким и всегда будет.

— Спасибо, Джемайма! — воскликнула простодушная Полли, восхищенная этой речью и опечаленная отсутствием мужа.

— О, не за что благодарить меня, Полли, — отвечала сестра, крепко целуя ее в щеку и весело подбрасывая на руках маленького Поля. — Иной раз я то же самое и о тебе говорю и думаю.

Несмотря на двойное разочарование, нельзя было считать неудачей визит, удостоившийся такого приема; поэтому сестры бодро толковали о семейных делах, о Байлере и обо всех его братьях и сестрах, а черноглазая, совершив несколько поездок на Бенбери-Кросс и обратно, пристально разглядывала мебель, голландские часы, буфет, замок на каминной доске со вставленными в него красными и зелеными окнами, которые могли освещаться с помощью огарка, и пару маленьких черных бархатных котят, каждый с дамским ридикулем во рту, которых садовники Стегса почитали диковинками изобразительного искусства. Когда завели общий разговор, чтобы черноглазая не оседлала своего конька и не начала язвить, сия молодая леди поведала вкратце Джемайме все, что знала о мистере Домби, его видах на будущее, семействе, занятиях и характере. Представила также подробную опись своего личного гардероба и отчет о ближайших своих родственниках и друзьях. Облегчив душу этими излияниями, она отведала креветок и портера и обнаружила готовность поклясться в вечной дружбе.

Маленькая Флоренс также не упустила случая воспользоваться обстоятельствами, ибо когда юные Тудли повели ее осматривать поганки и другие достопримечательности Садов, она с увлечением отдалась вместе с ними сооружению временной плотины в зеленой лужице, образовавшейся в каком-то закоулке. Она еще была занята этой работой, когда ее отыскала Сьюзен, которая — таково было у нее чувство долга, несмотря даже на умиротворяющее действие креветок, — обратилась к ней с нравоучительной речью (прерываемой тумаками) на тему о ее порочной натуре, отмывая ей при этом лицо и руки, и предсказала, что она доведет до седых волос все свое семейство, которое от скорби сойдет в могилу. После некоторой задержки, вызванной довольно долгой конфиденциальной беседой наверху о денежных делах между Полли и Джемаймой, снова был совершен обмен детей, — ибо Полли все время не спускала с рук своего собственного ребенка, а Джемайма маленького Поля, — и посетители распрощались.

Но юных Тудлей, жертв благонамеренного обмана, сначала соблазнили отправиться в полном составе в мелочную лавку якобы для того, чтобы истратить пени, и когда путь был свободен, Полли убежала: Джемайма крикнула ей вслед, что, если бы они могли на обратном пути сделать крюк в сторону Сити-роуд, они непременно встретили бы маленького Байлера, возвращающегося из школы.

— Как вы думаете, Сьюзен, успеем мы сделать этот маленький крюк? — осведомилась Полли, когда они остановились, чтобы перевести дух.

— А почему бы не успеть, миссис Ричардс? — отозвалась Сьюзен.

— Время, знаете ли, близится к обеду, — сказала Полли.

Но благодаря завтраку ее спутница стала более чем равнодушной к этому серьезному сообщению; посему она не придавала ему никакого значения, и они решили сделать «маленький крюк».

Случилось так, что со вчерашнего утра жизнь стала в тягость бедному Байлеру — по вине форменного наряда Милосердных Точильщиков. Уличная молодежь не могла примириться с ним. Ни один юный шалопай не мог удержаться при виде его, чтобы не накинуться на безобидного носителя этой формы и не причинить ему ущерба. Жизнь его в обществе напоминала скорее жизнь первых христиан, чем невинного ребенка в девятнадцатом веке. Его побивали камнями на улице. Его стал-

кивали в канавы; забрызгивали грязью, энергически притискивали к столбам. Мальчишки, вовсе не знакомые с его особою, срывали у него с головы желтую шапку и пускали ее по ветру. Ноги его не только подвергались словесной критике и поношениям, но их ощупывали и щипали. В это самое утро, направляясь в школу Точильщиков, он получил вовсе не заслуженный синяк под глазом и был за него наказан учителем — перезрелым бывшим Точильщиком свирепого нрава, который был назначен учителем, ибо ничего не знал и был ни к чему не пригоден, и чья безжалостная трость вызывала столбняк у всех толстощеких мальчуганов.

Поэтому-то на обратном пути Байлер искал глухих троп и пробирался узкими проходами и задворками, чтобы ускользнуть от своих мучителей. Когда же ему пришлось выйти на главную улицу, злая судьба привела его, наконец, туда, где кучка мальчишек, возглавляемых отчаянным молодым мясником, поджидала, не представится ли им возможность повеселиться. Когда среди них очутился Милосердный Точильщик, как будто непостижимо ниспосланный свыше, они дружно заорали и набросились на него.

В это самое время Полли, безнадежно посматривая вдоль улицы, после доброго часа ходьбы заявила, что нет смысла идти дальше, как вдруг увидела это зрелище. Едва завидев его, она вскрикнула и, передав юного Домби черноглазой, бросилась на выручку своего злополучного сынка.

Неожиданность, как и беда, не ходит одна. Изумленная Сьюзен Нипер и ее двое питомцев были спасены прохожими из-под самых колес проезжавшей кареты, прежде чем сообразили, что случилось: и в этот момент (день был базарный) раздались оглушительные крики: «Бешеный бык!»

В разгар смятения, когда на ее глазах люди метались и орали, и попадали под колеса, и мальчишки дрались, и бешеные быки надвигались, и нянька среди всех этих опасностей разрывалась на части, Флоренс вскрикнула и пустилась бежать. Она бежала, пока не выбилась из сил, умоляя Сьюзен следовать за нею; но, сообразив, что другая нянька осталась позади, она остановилась, ломая руки, и с ужасом, не поддающимся описанию, убедилась, что никого возле нее нет.

— Сьюзен, Сьюзен! — закричала Флоренс, в припадке отчаяния всплескивая руками. — О, где они, где они?

— Где они? — повторила какая-то старуха, приковылявшая со всею поспешностью, на какую была способна, с противоположной стороны улицы. — Зачем ты от них убежала?

— Я испугалась, — ответила Флоренс. — Я не знала, что делать. Я думала, что они со мной. Где они? Старуха взяла ее за руку и сказала:

— Я тебя провожу.

Это была отвратительная старуха с красными ободками вокруг глаз и ртом, чавкающим и шамкающим, даже когда она молчала. Она была очень бедно одета и несла какие-то шкурки, висевшие у нее на руке. Вероятно, она шла следом за Флоренс — во всяком случае в течение некоторого времени, так как успела запыхаться; и когда она остановилась, чтобы передохнуть, она стала еще безобразнее, потому что по ее желтому морщинистому лицу и шее пробегали судороги.

Флоренс боялась ее и, нерешительно оглядываясь, посматривала вдоль улицы, которую пробежала почти до конца. Это было глухое место — скорее какие-то задворки, чем улица, — и никого здесь не было, кроме нее и старухи.

— Теперь тебе нечего бояться, — сказала старуха, все еще не выпуская ее руки. — Иди со мной.

— Я... я вас не знаю. Как вас зовут? — спросила Флоренс.

— Миссис Браун, — сказала старуха. — Добрая миссис Браун.

— Они близко отсюда? — спросила Флоренс, давая себя увлечь.

— Сьюзен тут поблизости, — сказала Добрая миссис Браун, — а другие недалеко от нее.

— Никого не ушибли? — вскричала Флоренс.

— Да нет же! — сказала Добрая миссис Браун.

Услыхав это, девочка заплакала от радости и охотно пошла со старухой, хотя, покуда они шли, она невольно посматривала на ее лицо — в особенности на этот неутомимый рот — и размышляла о том, похожа ли на нее Злая миссис Браун, если только существует на свете такая особа.

Шли они недолго, но очень неприглядной дорогой — например, мимо печей для обжига кирпича и черепицы, — а затем старуха свернула в грязный переулок, прорезанный глубокими черными колеями. Она остановилась перед жалким домишком, запертым так крепко, как только может быть

заперт дом весь в трещинах и щелях. Потом она отперла дверь ключом, который извлекла из-под шляпы, и втокнула девочку в заднюю комнату, где на полу лежала большая куча тряпок всевозможных цветов, куча костей и куча просеянной золы или мусора; мебели здесь не было, а стены и потолок были совсем черные.

Девочка испугалась так, что не могла выговорить ни слова, и казалось, вот-вот потеряет сознание.

— Ну, не дури! — сказала Добрая миссис Браун, приводя ее толчком в чувство. — Я тебя не обижу. Садись на тряпье.

Флоренс повиновалась, с немой мольбой протягивая к ней руки.

— И задержу я тебя не более часа, — сказала миссис Браун. — Понимаешь, что я говорю?

Девочка с большим трудом выговорила «да».

— Так, стало быть, — сказала Добрая миссис Браун, ты свою очередь усаживаясь на кости, — не досаждай мне. Если не будешь досаждать, говорю тебе, что я тебя не обижу. А если досадишь — убью. Я могу тебя убить в любое время — даже когда ты лежишь в постели у себя дома. А теперь рассказывай, кто ты такая и что ты такое и все прочее о себе.

Угрозы и обещания старухи, боязнь рассердить ее и привычка, несвойственная ребенку, но у Флоренс ставшая как бы врожденной, — таиться и скрывать свои чувства, страхи и надежды, помогли ей исполнить это требование и рассказать свою маленькую биографию или то, что она знала о своей жизни. Миссис Браун слушала внимательно, пока она не закончила рассказа.

— Так, стало быть, твоя фамилия Домби? — сказала миссис Браун.

— Да, сударыня.

— Мне нужно это хорошенькое платьице, мисс Домби, — сказала Добрая миссис Браун, — и эта шляпка и одна-две юбочки и все прочее, без чего ты можешь обойтись. Ну-ка, сними их!

Флоренс повиновалась торопливо, насколько это позволяли ее дрожащие руки; при этом она не сводила испуганных глаз с миссис Браун. Когда она избавилась от всех принадлежностей туалета, упомянутых этой леди, миссис Браун осмотрела их не спеша и как будто осталась вполне довольна их качеством и стоимостью.

— Гм! — сказала она, окидывая взглядом хрупкую фигуру ребенка. — Больше я ничего не вижу кроме башмаков. Мне нужны эти башмаки, мисс Домби.

Бедная маленькая Флоренс сняла их не менее поспешно, искренне радуясь, что нашлось еще одно средство убогатить Добрую миссис Браун. Затем старуха извлекла какие-то лохмотья из-под кучи тряпья, которую она для этой цели разворошила, а также детскую накидку, совсем изношенную и старую, и измятые остатки шляпы, выуженной, вероятно, из какой-нибудь канавы или навозной кучи. В это изысканное одеяние она приказала Флоренс нарядиться, а так как такие приготовления, казалось, предшествовали освобождению, девочка повиновалась, пожалуй, с еще большей готовностью.

Торопясь надеть шляпку, — если только можно назвать шляпкой то, что скорее походило на подушку, которую подкладывают при переноске тяжестей. — она зацепилась ею за свои густые волосы и не сразу могла отцепить ее. Добрая миссис Браун схватила большие ножницы и впала в состояние странного возбуждения.

— Почему ты не оставила меня в покое, — сказала миссис Браун, — когда я была довольна? Ах ты дурочка!

— Простите. Не знаю, чем я виновата, — задыхаясь, промолвила Флоренс. — Я ничего не могла поделать.

— Ничего не могла поделать! — вскричала миссис Браун. — А как, по-твоему, что я могу поделать? Ах, боже мой, — продолжала старуха, с каким-то злобным наслаждением ероша ее локоны, — всякий на моем месте снял бы их прежде всего.

Флоренс почувствовала облегчение, узнав, что не на голову, а только на волосы посягает миссис Браун; она не стала ни сопротивляться, ни умолять и только подняла свои кроткие глаза на это доброе создание.

— Не будь у меня прежде дочки — теперь она за океаном, — которая гордилась своими волосами, — сказала миссис Браун, — я бы срезала все до последнего завитка. Она далеко, далеко! Охо-хо! Охо-хо!

Завывание миссис Браун не было мелодическим, но, сопровождаемое неистовой жестикуляцией, оно вещало о жгучем горе и заставило затрепетать сердце Флоренс, которая испугалась еще больше. Быть может, оно содействовало спасению ее кудрей, потому что миссис Браун, покружившись около нее с ножницами, словно бабочка неизвестной породы, приказала спрятать волосы под шляпу, чтобы ни одна прядь не выбивалась ей на соблазн. Одержав эту победу над собой, миссис Браун снова уселась на кости и закурила коротенькую черную трубку, все время двигая губами и причмокивая, как будто она обглаживала мундштук.

Выкурив трубку, она заставила девочку взять в руки шкурку, чтобы Флоренс казалась добровольной ее спутницей, и объявила, что поведет ее теперь на людную улицу, где она может узнать дорогу к своим. Но она приказала ей, пригрозив в случае ослушания скорой и жестокой расправой, не разговаривать с прохожими и идти не домой (ибо дом, быть может, находился слишком близко с точки зрения миссис Браун), но в контору к отцу, в Сити, а сначала подождать на углу, где она ее оставит, пока не пробьет три. Эти наставления миссис Браун подкрепила заявлением, что есть у нее на службе всемогущие глаза и уши, которым известны все поступки девочки, и этим наставлениям Флоренс торжественно и серьезно обещала следовать. Наконец миссис Браун, тронувшись в путь, повлекла свою преобразившуюся, одетую в лохмотья маленькую приятельницу лабиринтом узких улиц, переулков и переулочков, которые привели в конце концов к извозничьему двору, замыкавшемуся воротами; из-за ворот доносился шум большой городской магистрали. Указав на эти ворота и уведомив Флоренс о том, что, когда пробьет три часа, она должна пойти налево, миссис Браун дернула ее на прощание за волосы — движение, по-видимому, произвольное и не поддающееся контролю; затем она приказала ей идти и помнить, что за нею следят.

С облегченным сердцем, но все еще очень перепуганная, Флоренс почувствовала, что ее освободили, и побежала к углу. Дойдя до него, она оглянулась и увидела голову Доброй миссис Браун, высывавшуюся из-за низкого деревянного прикрытия, за которым Добрая миссис Браун давала ей последние указания, а также кулак, которым она грозила. После этого, хотя Флоренс частенько оглядывалась, — по меньшей мере ежеминутно с тревогой вспоминая о старухе, — она ее уже не видела.

Флоренс стояла на углу, глядела на уличную сутолоку и приходила от нее в еще большее замешательство; между тем часы как будто приняли решение никогда не бить три. Наконец на колокольне пробило три часа; это было совсем близко, — значит, ошибиться она не могла; она несколько раз оглядывалась через плечо, несколько раз пускалась в путь и столько же раз возвращалась из боязни разгневать всемогущих шпионов миссис Браун и, наконец, бросилась вперед с поспешностью, какую только допускали стоптанные башмаки, не выпуская из рук кроличьей шкурки.

О конторах своего отца она знала только, что они принадлежат Домби и Сыну и что это великая сила в Сити. Поэтому она могла спрашивать лишь о том, как пройти к Домби и Сыну в Сити; а так как этот вопрос она задавала преимущественно детям, боясь обращаться к взрослым, то и пользы извлекла очень мало. По спустя некоторое время она начала спрашивать дорогу в Сити, опуская пока первую половину вопроса, и тогда в самом деле стала постепенно приближаться к сердцу великой страны, управляемой грозным лорд-мэром³².

Устав от ходьбы, всюду встречая толчки, оглушенная шумом и сутолокой, беспокоясь о брате и няньках, в ужасе от пережитого ею и от перспективы явиться в таком виде перед разгневанным отцом, ошеломленная и испуганная тем, что произошло, и что сейчас происходит, и что еще ей предстоит, — Флоренс шла, утомленная, со слезами на глазах, и раза два невольно останавливалась, чтобы облегчить измученное сердце горькими рыданиями. Но в такие минуты мало кто замечал ее в том платье, какое было на ней; а если и замечал, то думал, что девочку научили вызывать сострадание, и проходил мимо. И Флоренс, призвав на помощь всю твердость и стойкость характера, который слишком рано определился и закалился под влиянием горьких испытаний, не упуская из виду по-

³² ...великой страны, управляемой грозным лорд-мэром. — Диккенс, называя так лондонское Сити, подчеркивает исторически сложившиеся особенности управления этим районом Лондона, в силу коих глава городского самоуправления — лорд-мэр — выполняет в Сити ряд функций (судебных и административных), которые в остальных районах Лондона принадлежат правительственным чиновникам.

ставленной цели, упорно стремилась к ней.

Добрых два часа прошло с тех пор, как началось это странное приключение, когда, наконец, ускользнув от шума и грохота узкой улицы, запруженной повозками и фургонами, она вышла к какой-то верфи или пристани на берегу реки, где увидела великое множество тюков, бочек и ящиков, большие деревянные весы и маленький деревянный домик на колесах, перед которым, глядя на ближайшие мачты и лодки, стоял, посвистывая, дородный человек, заткнув за ухо перо и засунув руки в карманы, словно рабочий его день уже подходил к концу.

— Ну, что там еще! — сказал этот человек, случайно оглянувшись. — Ничего у нас нет для тебя, девочка. Уходи!

— Скажите, пожалуйста, это Сити? — спросила трепещущая дочь Домби.

— Да, это Сити. Думаю, что ты это прекрасно знаешь. Уходи! Ничего у нас нет для тебя.

— Мне ничего не нужно, благодарю вас, — последовал робкий от нет. — Мне бы только узнать дорогу к Домби и Сыну.

Человек, лениво двинувшийся по направлению к ней, был как будто удивлен этим ответом, внимательно посмотрела ей в лицо и сказал:

— Да тебе-то что нужно от Домби и Сына?

— Простите, мне нужно знать дорогу туда.

Человек посмотрел на нее еще пытливей и в изумлении потер себе затылок с такой энергией, что сбил с головы шляпу.

— Джо! — позвал он другого человека, рабочего, подняв и снова надев шляпу.

— Вот я! — отозвался Джо.

— Где этот молодой франтик от Домби, который следил за погрузкой товаров?

— Только что вышел в другие ворота, — сказал Джо.

— Позови-ка его на минутку.

Джо бросился к воротам, крича на бегу, и вскоре вернулся с жизнерадостным на вид мальчиком.

— Ты на побегушках у Домби, так, что ли? — спросил первый человек.

— Я — служащий фирмы Домби, мистер Кларк, — отвечал мальчик.

— В таком случае, погляди-ка сюда, — сказал мистер Кларк.

Повинуясь жесту мистера Кларка, мальчик подошел к Флоренс, не без основания недоумевая, какое он имеет к ней отношение. Но Флоренс, которая все слышала и почувствовала не только облегчение, неожиданно убедившись в спасении и окончании своего путешествия, но и великое успокоение при виде его оживленного юного лица, стремительно подбежала к нему, обронив по дороге один из стоптанных башмаков, и обеими руками схватила его за руку.

— Простите, пожалуйста, я потерялась! — сказала Флоренс.

— Потерялась? — воскликнул мальчик.

— Да, я потерялась сегодня утром, далеко отсюда... а потом с меня сняли платье... и сейчас на мне чужое... и зовут меня Флоренс Домби, я — единственная сестра моего братца... и, ах, боже мой, боже мой, помогите мне, пожалуйста! — всхлипывала Флоренс, давая волю ребяческим чувствам, которые она так долго подавляла, и заливаясь слезами. При этом ее жалкая шляпа слетела с головы, и растрепавшиеся волосы упали ей на лицо, вызвав безмолвное восхищение и сострадание юного Уолтера, племянника Соломона Джилса, мастера судовых инструментов. Мистер Кларк вне себя от изумления повторял чуть слышно: «Я еще никогда не видывал такого товара на этой пристани». Уолтер поднял башмак и надел его на маленькую ножку, подобно принцу в сказке, примерявшему туфельку Золушке. Он перебрал через левую руку кроличью шкурку, правую предложил Флоренс и почувствовал себя не Ричардом Виттингтоном — это избитое сравнение, — но святым Георгом Английским³³ с простертым у его ног мертвым драконом.

— Не плачьте, мисс Домби! — воскликнул Уолтер в порыве энтузиазма. — Как это чудесно,

³³ *Святой Георг Английский* — св. Георгий, согласно легенде, живший в конце III века н. э. и служивший в войсках римского императора Диоклетиана. Он был казнен за исповедание христианского учения; по неизвестным исторической науке причинам считается главным покровителем Англии и победителем страшного дракона.

что я оказался здесь! Теперь вы в такой же безопасности, как если бы вас охраняла целая команда отборных моряков с военного судна. Ах, не плачьте!

— Больше я не буду плакать, — сказала Флоренс. — Я плачу от радости.

«Плачет от радости! — подумал Уолтер. — И я виновник этой радости». — Идемте, мисс Домби. Ну вот, теперь и другой башмак свалился. Возьмите мои, мисс Домби.

— Нет, нет, нет! — воскликнула Флоренс, удерживая его в тот момент, когда он порывисто стягивал с себя башмаки. — В этих мне удобнее. В этих очень хорошо.

— Ну, конечно, — сказал Уолтер, взглянув на ее ножку, — мои на целую милю длиннее, чем нужно. Как же это я не подумал! В моих вы вовсе не могли бы идти! Идемте, мисс Домби. Хотел бы я посмотреть, какой негодяй посмеет вас теперь обидеть!

Уолтер, — весьма грозный на вид, — увел Флоренс, имевшую вид очень счастливый; и они зашагали рука об руку по улицам, вовсе не помышляя о том, какой странной могла показаться эта пара.

Сумерки и туман сгущались, и вдобавок начал накрапывать дождь, но они никакого внимания на это не обращали; оба были всецело поглощены недавними приключениями Флоренс, о которых она рассказывала с простодушием и доверием, свойственными ее возрасту, тогда как Уолтер слушал так, словно они брели далеко от грязи и копоти Темз-стрит, среди широколиственных высоких деревьев на каком-то необитаемом острове под тропиками, — и в то время он воображал, быть может, что так оно и есть.

— Далеко нам? — спросила, наконец, Флоренс, поднимая глаза на своего спутника.

— Ах, кстати, — останавливаясь, сказал Уолтер, — позвольте-ка, где мы? А, знаю! Но контора сейчас закрыта, мисс Домби. Никого там нет. Мистер Домби давно ушел домой. Пожалуй, и нам следует пойти туда же. Или постойте-ка. Не отвести ли мне вас к дяде, у которого я живу... это совсем близко отсюда... а потом поехать к вам домой в карете, уведомить их, что вы в безопасности и привезти вам какое-нибудь платье. Пожалуй, так лучше будет?

— Ну что ж, — отвечала Флоренс. — А как по-вашему? Как вы думаете?

Пока они стояли, совещаясь, какой-то человек поравнялся с ними и, мимоходом взглянув на Уолтера, словно узнал его, но потом, как бы не доверяя первому впечатлению, прошел дальше.

— Мне кажется, это мистер Каркер, — сказал Уолтер. — Каркер из нашей фирмы. Не заведующий наш Каркер, мисс Домби, а другой Каркер, младший. Алло! Мистер Каркер!

— Уолтер Гэй? — отозвался тот, приостанавливаясь и возвращаясь. — Я подумал, что ошибся... с такой странной спутницей...

Стоя у фонаря и с удивлением выслушивая торопливые объяснения Уолтера, он представлял разительный контраст двум ребятишкам, стоявшим перед ним рука об руку. Он был не стар, но волосы у него были седые; плечи сгорбились или согнулись под бременем какой-то великой скорби, и глубокие морщины пересекали его изможденное, печальное лицо. Блеск глаз, выражение лица, даже голос его — все было тускло и безжизненно, как будто дух в нем испепелился. Он был одет прилично, хотя и очень просто, в черное; но платье его, под стать всему облику, как бы съежилось и сжалось на нем и присоединилось к жалобной мольбе, которую выражала вся его фигура с головы до пят, — он хотел оставаться незамеченным и одиноким в своем унижении.

И, однако, интерес его к упованиям юности не угас, как угасли в нем другие чувства, ибо он всматривался в оживленное лицо мальчика, пока тот говорил, с необычайной симпатией и с чувством необъяснимой тревоги и жалости, которое светилось в его глазах, как ни старался он его скрыть. Когда Уолтер в заключение задал ему вопрос, который уже задавал Флоренс, он продолжал смотреть на него с тем же выражением, словно читал на его лице судьбу, горестно противоречившую теперешней его веселости.

— Что вы посоветуете, мистер Каркер? — улыбаясь, спросил Уолтер. — Ведь вы всегда даете мне добрые советы, когда разговариваете со мной. Правда, это случается не часто.

— Ваш план мне кажется наилучшим, — отвечал тот, переводя взгляд с Флоренс на Уолтера и обратно.

— Мистер Каркер, — просияв, сказал Уолтер, у которого мелькнула великодушная мысль, — послушайте! Вот случай для вас! Пойдите вы к мистеру Домби и принесите ему добрую весть. Это может быть полезно вам, сэр. Я останусь дома. Идите.

— Я? — воскликнул тот.

— Да. Почему бы вам не пойти, мистер Каркер? — сказал мальчик.

Тот в ответ только пожал ему руку; казалось, даже это он сделал со стыдом и опаской; и, пожелав ему доброй ночи и посоветовав не мешкать, пошел дальше.

— Ну, мисс Домби, — сказал Уолтер, посмотрев ему вслед, когда они тоже пошли своей дорогой, — мы как можно скорее отправимся к моему дяде. Слыхали ли вы когда-нибудь, мисс Флоренс, чтобы мистер Домби говорил о мистере Каркере-младшем?

— Нет, — тихо ответила девочка, — я редко слышу, как папа разговаривает.

«Ах, верно! Тем хуже для него», — подумал Уолтер. После минутной паузы, в течение которой он смотрел вниз на кроткое, терпеливое личико идущей рядом с ним девочки, он со свойственным ему мальчишеским оживлением и стремительностью заговорил о другом; а когда один из злополучных башмаков опять свалился весьма кстати, предложил отнести Флоренс на руках к дяде. Флоренс, хотя и очень устала, смеясь, отклонила это предложение, боясь, как бы он ее не уронил. Они были уже недалеко от Деревянного Мичмана, и тут Уолтер стал рассказывать различные случаи из истории кораблекрушений и другие волнующие происшествия, а также о том, как мальчики моложе его спасали и с торжеством уносили девочек старше Флоренс; они все еще были увлечены этим разговором, когда подошли к двери мастера судовых инструментов.

— Алло, дядя Соль! — закричал Уолтер, врываясь в лавку — с этой минуты и вплоть до конца вечера он говорил бессвязно и запинаясь. — Какое удивительное приключение! Вот дочь мистера Домби заблудилась на улице, а старая ведьма отняла у нее платье... я ее нашел, привел к нам, чтобы она отдохнула у нас в гостиной... смотрите!

— Господи боже мой! — сказал дядя Соль, попятившись к своему возлюбленному компасу. — Быть не может! Никогда бы я...

— Да, и никто другой, — перебил Уолтер, угадывая конец фразы. — Никто, право же, никто... Вот! Помогите мне перенести эту кушетку ближе к огню, ладно, дядя Соль?.. Приготовьте тарелки... дайте ей пообедать, ладно, дядя?.. Бросьте эти башмаки под каминную решетку, мисс Флоренс... поставьте ноги на решетку, чтобы согреть их... какие они мокрые!.. Вот так приключение, а, дядя?.. Господи помилуй, как мне жарко!

Соломону Джилсу также было очень жарко — и от сочувствия и от крайнего изумления. Он гладил по головке Флоренс, уговаривал ее поесть, уговаривал ее пить, растирал ей ноги нагретым у камина носовым платком, пылливо всматриваясь в своего непоседу-племянника, и ничего, в сущности, не понимал, кроме того, что на него постоянно налетал и натякался этот взволнованный молодой джентльмен, который носился по комнате, принимаясь сразу за двадцать дел и ровно ничего не предпринимая.

— Подождите минутку, дядя, — сказал он, схватив свечу, — сейчас я сбегаю наверх, надену другую куртку, а потом уйду. Послушайте, дядя, вот так приключение!

— Дорогой мой мальчик, — сказал Соломон, который с очками на лбу и большим хронометром в кармане метался между Флоренс на кушетке и своим племянником во всех уголках гостиной, — это самое необычайное...

— Да, но, пожалуйста, дядя... пожалуйста, мисс Флоренс... знаете ли, обед, дядя...

— Да! Да! Да! — воскликнул Соломон, сразу вонзив нож в баранью ногу, точно ему предстояло кормить великана. — Я о ней позабочусь, Уоли! Я понижаю. Милая крошка! Конечно, проголодалась. Ступай и приведи себя в порядок. Господи помилуй! Сэр Ричард Виттингтон, трижды лорд-мэр Лондона!

Уолтеру немного понадобилось времени, чтобы подняться к себе в мансарду и спуститься, но Флоренс, не в силах бороться с утомлением, успела задремать у камина. Эта короткая пауза — хотя длилась она всего несколько минут — помогла Соломону Джилсу настолько прийти в себя, чтобы позаботиться о ее удобствах, уменьшить свет в комнате и заслонить ее от огня. Итак, когда мальчик вернулся, она сладко спала.

— Вот это чудесно! — прошептал он, так крепко сжав в объятиях Соломона, что тот изменился в лице. — Теперь я ухожу. Захватчу только с собой корочку хлеба, я очень голоден... и... не будите ее, дядя Соль!

— Нет, нет, — сказал Соломон. — Хорошенькая девочка!

— Прехорошенькая! — воскликнул Уолтер. — Я никогда не видывал такого личика, дядя Соль.

Теперь я ухожу.

— Отлично, — с большим облегчением сказал Соломон.

— Послушайте, дядя Соль! — крикнул Уолтер, просунув голову в дверь.

— Он опять здесь! — сказал Соломон.

— Как она себя чувствует сейчас?

— Прекрасно, — сказал Соломон.

— Великолепно! Теперь я ухожу.

— Надеюсь, — пробормотал про себя Соломон.

— Послушайте, дядя Соль., — воскликнул Уолтер, снова появляясь в дверях.

— Он опять здесь! — сказал Соломон.

— Мы встретили на улице мистера Каркера-младшего. Таким странным он никогда еще не бывал. Он простился со мной, но пошел следом за нами — вот удивительно! — потому что, когда мы подошли к двери, я оглянулся и видел, как он потихоньку уходил, точно слуга, проводивший меня до дому, или верная собака. Как она себя чувствует теперь, дядя?

— Совершенно так же, как и раньше, Уоли, — отвечал дядя Соль.

— Отлично! Теперь-то уж я ухожу!

На этот раз он действительно ушел, а Соломон Джилс, не имея желания обедать, сел по другую сторону камина, следя за спящей Флоренс и строя великое множество воздушных замков самой фантастической архитектуры, — похожий в тусклом свете и в ближайшем соседстве со всеми инструментами на переодетого волшебника в валлийском парике и кофейного цвета одежде, который погрузил девочку в зачарованный сон.

Тем временем Уолтер приближался к дому мистера Домби со скоростью, которую редко развивает извозчичья лошадь; и, однако, через каждые две-три минуты он высовывался из окна, нетерпеливо увещая извозчика. Достигнув цели своего путешествия, он выскочил из кэба, известил о своей миссии слугу и последовал за ним прямо в библиотеку, где было великое смешение языков и где мистер Домби, его сестра и мисс Токс, Ричардс и Нипер находились все в сборе.

— Прошу прощения, сэр, — сказал Уолтер, бросаясь к нему, — но, к счастью, я могу сообщить, что все обстоит благополучно, сэр. Мисс Домби нашлась!

Мальчик с его открытым лицом, развевающимися волосами и блестящими глазами, задыхающийся от радости и возбуждения, представлял изумительную противоположность мистеру Домби, когда тот сидел против него в своем библиотечном кресле.

— Я говорил вам, Луиза, что она непременно найдется, — сказал мистер Домби, слегка повернувшись к этой леди, плакавшей вместе с мисс Токс. — Дайте знать слугам, что нет необходимости в дальнейших поисках. Мальчик, доставивший это известие, — молодой Гэй из конторы. Как нашлась моя дочь, сэр? Мне известно, как ее потеряли. — Тут он величественно взглянул на Ричардс. — Но как она нашлась? Кто ее нашел?

— Пожалуй, это я нашел мисс Домби, сэр, — скромно сказал Уолтер, — не знаю, могу ли я ставить себе в заслугу, что действительно нашел ее, но, во всяком случае, я был счастливым орудием...

— Что вы подразумеваете, сэр, — перебил мистер Домби, с инстинктивной неприязнью отмечая, что мальчик явно горд и счастлив своим участием в этом происшествии, — говоря, что, в сущности, вы не нашли моей дочери, а были счастливым орудием? Будьте добры говорить толково и последовательно.

Не во власти Уолтера было говорить последовательно, но он постарался дать те объяснения, на какие был способен в своем возбужденном состоянии, и рассказал, почему он пришел один.

— Вы это слышите, девушка? — строго сказал мистер Домби, обращаясь к черноглазой. — Возьмите все необходимое и сейчас же отправляйтесь с этим молодым человеком, чтобы доставить домой мисс Флоренс. Гэй, завтра вы получите вознаграждение.

— О, благодарю вас, сэр, — сказал Уолтер. — Вы очень добры. Право же, я не думал о награде, сэр.

— Вы — юнец, — сказал мистер Домби резко и чуть ли не злобно, — и то, что вы думаете, или воображаете, будто думаете, имеет мало значения. Вы поступили хорошо, сэр. Не портите того, что сделали. Пожалуйста, Луиза, налейте мальчику вина.

Взгляд мистера Домби с явным неодобрением провожал Уолтера Гэя, когда тот выходил из комнаты под присмотром миссис Чик; и с таким же неудовольствием духовный его взор следовал за ним, когда он вместе с мисс Сьюзен Нипер ехал обратно к своему дяде.

Там они убедились, что Флоренс, выпавшись, пообедала и очень подружилась с Соломоном Джилсом, к которому относилась с полным доверием и симпатией. Черноглазая (которая столько плакала, что теперь ее можно было назвать красноглазой, и которая была очень молчалива и удручена) заключила ее в объятия, не сказав ни одного сердитого или укоризненного слова, и способствовала тому, что свидание вышло весьма истерическим. Затем, превратив гостиную специально для этого случая в туалетную, она передела Флоренс очень заботливо в подобающее ей платье; и, наконец, увела ее, — столь похожей на члена семьи Домби, сколь это было возможно, если принять во внимание, что девочке в этом праве было отказано.

— Прощайте! — сказала Флоренс, подбегая к Соломону. — Вы были очень добры ко мне.

Старый Соль пришел в восторг и поцеловал ее, точно приходился ей дедом.

— Прощайте, Уолтер! До свидания! — сказала Флоренс.

— До свидания! — сказал Уолтер, протягивая ей обе руки.

— Я вас никогда не забуду, — продолжала Флоренс. — Право же, никогда не забуду. До свидания, Уолтер!

С наивной благодарностью девочка подставила ему личико. Уолтер склонился к ней, потом снова поднял голову, красный и пылающий, и в большом смущении посмотрел на дядю Соля.

«Где Уолтер?» — «Прощайте, Уолтер!» — «До свидания, Уолтер!» — «Дайте мне еще раз руку, Уолтер!» — восклицала Флоренс, после того как ее уже усадили в карету вместе с ее маленькой нянькой. И когда карета, наконец, тронулась, Уолтер, стоя у порога, весело отвечал Флоренс, размахивавшей носовым платком; Деревянный Мичман за его спиной, казалось, подобно ему самому, следил только за этой одной каретой, исключив из поля зрения все другие, проезжавшие мимо.

В положенное время карета вновь была у дома мистера Домби, и снова в библиотеке раздались громкие голоса. Снова приказано было, чтобы карета ждала. «Для миссис Ричардс», — зловеще шепнул кто-то из прислуги Сьюзен, когда та проходила с Флоренс.

Появление потерянного ребенка вызвало волнение, — впрочем, незначительное. Мистер Домби, который так и не обрел дочери, поцеловал ее в лоб и предостерег, чтобы она впредь не убегала и не скиталась где-то с вероломными спутниками. Миссис Чик оборвала свои жалобы на порочность человеческой природы, неискоренимую даже в тех случаях, когда ее призывает на стезю добродетели Милосердный Точильщик, и оказала Флоренс прием, несколько отличный от того, на который мог претендовать только подлинный Домби. Мисс Токс обнаруживала свои чувства, применяясь к находившимся перед ней образцам.

Одна лишь Ричардс, виновная Ричардс, излила душу, встретив заблудившуюся девочку не связными словами приветствия и склонившись над ней с неподдельной любовью.

— Ах, Ричардс! — вздохнула миссис Чик. — Было бы гораздо приятнее для тех, кто хотел бы не думать дурно о своих ближних, и гораздо приличнее для вас, если бы вы вовремя обнаружили надлежащее чувство к младенцу, которому предстоит теперь быть преждевременно лишенным естественного питания.

— Отторгнутым, — плаксиво прошептала мисс Токс, — от единого для всех источника!

— Будь я повинна в неблагодарности, — торжественно продолжала миссис Чик, — и рассуждай я по-вашему, Ричардс, я бы считала, что наряд Милосердных Точильщиков должен погубить моего ребенка, а воспитание — задушить его.

Коли на то пошло, — но миссис Чик этого не знала, — он и теперь уже был едва ли не загублен нарядом; а что касается воспитания, то и его печальные последствия могли со временем сказаться, ибо воспитание состояло из града шлепков и слез.

— Луиза! — сказал мистер Домби. — Нет необходимости что-то еще объяснять. Эта женщина уволена, и ей уплачено. Вы покидаете этот дом, Ричардс, потому что взяли с собою моего сына — моего сына, — сказал мистер Домби, внушительно повторив эти два слова, — в трущобы, в общество, о котором нельзя подумать без содрогания. Что же касается сегодняшнего несчастного случая с мисс Флоренс, то его я рассматриваю как счастливое и благоприятное обстоятельство, так как, не будь этого происшествия, я никогда бы не узнал — тем более из ваших уст, — в чем вы провинились.

Мне кажется, Луиза, что другая нянька, эта молодая особа, — тут мисс Нипер громко всхлипнула, — будучи значительно моложе и находясь несомненно под влиянием кормилицы Поля, все же может остаться. Будьте добры распорядиться, чтобы заплатили извозчику, который отвезет эту женщину в... — мистер Домби запнулся и поморщился — ...в Сады Стегса.

Полли направилась к двери, а Флоренс цеплялась за ее платье и очень трогательно умоляла ее не уходить. Кинжалом в сердце и стрелой в мозг поразило высокомерного отца это зрелище; его плоть и кровь, от которой он не мог отречься, льнет к этой невежественной чужой женщине, когда он сидит тут же. В сущности, его не интересовало, к кому обращается и от кого бежит его дочь. Острая, мучительная боль пронзила его при мысли о том, как поступил бы его сын.

Во всяком случае, сын его громко плакал в ту ночь. По правде говоря, у бедного Поля была более основательная причина для слез, чем у большинства сыновей этого возраста, ибо он лишился своей второй матери — вернее даже первой, насколько простиралось его знание, — вследствие катастрофы такой же внезапной, как та утрата, которая омрачила начало его жизни. И тот же удар лишил доброго и верного друга его сестру, которая горько плакала, пока не заснула. Но это к делу не относится. Не будем же тратить лишних слов.

Глава VII

Взгляд с птичьего полета на местожительство мисс Токс, а также на сердечные привязанности мисс Токс

Мисс Токс обитала в маленьком темном доме, который на одном из ранних этапов английской истории протиснулся в фешенебельный район в западной части города, где и пребывал, наподобие бедного родственника, в тени большой улицы, начинающейся за углом, под холодным презрительным взглядом величественных зданий. Он был расположен не в тупике и не во дворе, а в скучнейшей щели, куда назойливо и тревожно доносятся отдаленные стуки дверных молотков. Это уединенное место, где между камнями мостовой пробивалась трава, называлось площадью Принцессы; а на площади Принцессы была часовня Принцессы с гулким колоколом, где иной раз по воскресеньям бывало на богослужении до двадцати пяти человек. Был здесь также «Герб Принцессы», часто посещаемый великолепными ливрейными лакеями. За решеткой, перед «Гербом Принцессы», находился портшез, но никто не помнит, чтобы он когда-нибудь появлялся снаружи; а в погожие утра каждый прут решетки (их сорок восемь, как не раз подсчитывала мисс Токс) был украшен оловянною кружкою.

Был еще один частный дом на площади Принцессы, кроме дома мисс Токс, а также огромные ворота с двумя огромными дверными кольцами в львиных пастьях, — ворота, которые ни при каких обстоятельствах не отворялись и, по догадкам, когда-то вели в конюшни. В самом деле, воздух на площади Принцессы отдавал запахом конюшен, а из спальни мисс Токс (находившейся в задней половине дома) открывался вид на двор с конюшнями, где конюхи, какой бы работой ни были заняты, непрерывно сопровождали ее веселыми криками и где самые интимные принадлежности костюма кучеров, их жен и детей развешивались на стенах наподобие знамен Макбета. В этом другом частном доме на площади Принцессы, снятом в аренду бывшим дворецким, женившимся на экономке, сдавалась квартира с мебелью некоему холостому джентльмену, а именно майору с одеревеневшим синим лицом и глазами, вылезавшими из орбит, в чем мисс Токс, как она сама выражалась, усматривала «нечто подлинно воинственное», и между ним и ею обмен газетами и брошюрами и тому подобные платонические отношения поддерживались через посредство чернокожего слуги майора, которого мисс Токс определила как «туземца», не связывая с этим наименованием никаких географических представлений.

Быть может, никогда еще не бывало передней и лестницы, менее просторной, чем передняя и лестница в доме мисс Токс. Быть может, весь он, сверху донизу, был самым неудобным домишком в Англии и самым уродливым; но зато, как говорила мисс Токс, какое местоположение! Там было очень мало дневного света зимой; солнце никогда не заглядывало туда даже в лучшую пору года; о воздухе не могло быть и речи, так же как об уличном движении. И все же мисс Токс говорила: подумайте о местоположении! То же самое говорил синелицкий майор с глазами, вылезавшими из орбит,

Чарльз Диккенс «Торговый дом Домби и сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт»

который гордился площадью Принцессы и при каждом удобном случае с восторгом заводил речь в своем клубе о предметах, имеющих отношение к важным особам на большой улице за углом, дабы иметь удовольствие заявить, что это — его соседи.

Жалкая квартира, где жила мисс Токс, была ее собственностью, завещанной ей и полученной по наследству от покойного обладателя рыбьего глаза в медальоне, — миниатюрный портрет этого джентльмена с напудренной головой и косичкой служил противовесом подставке для чайника на другом конце каминной полки в гостиной. Большая часть мебели относилась к эпохе пудреной головы и косички, включая грелку для тарелок, которая вечно изнемогала к растопыривала свои четыре тонких кривых ноги, загораживая кому-то дорогу, и отжившие свой век клавикорды, украшенные гирляндой душистого горошка, нарисованной вокруг имени мастера.

Хотя майор Бегсток уже достиг того, что в изящной литературе именуется великим расцветом жизненных сил, и ныне совершал путешествие под гору, почти лишенный шеи и обладая одеревеневшими челюстями и слоновыми ушами с длинными мочками, а глаза его и цвет лица, как уже было упомянуто, свидетельствовали о состоянии искусственного возбуждения, — тем не менее он был чрезвычайно горд тем, что пробудил интерес к себе в мисс Токс, и тешил свое тщеславие, воображая, будто она блестящая женщина и равнодушна к нему. На это он много раз намекал в клубе в связи с невинными шуточками, вечным героем коих был старый Джо Бегсток, старый Джой Бегсток, старый Дж. Бегсток, старый Джош Бегсток и так далее — ибо оплотом и твердыней юмора майора было самое фамильярное обращение с его же собственным именем.

— Джой Б., сэр, — говаривал майор, помахивая тростью, — стоит дюжины вас. Будь среди вас еще несколько человек из породы Бегстоков, сэр, вам от этого не стало бы хуже. Старому Джо, сэр, даже теперь нет надобности далеко ходить за женой, буде он стал бы ее искать; но у него жестокое сердце, сэр, у этого Джо, он непреклонен, сэр, непреклонен и чертовски хитер!

После такой декларации слышалось сопение, и синее лицо майора багровело, а глаза судорожно расширялись и выпучивались.

Несмотря на весьма щедро воспеваемые самому себе хвалы, майор был эгоистом. Можно усомниться в том, существовал ли когда-нибудь человек с более эгоистическим сердцем — или, пожалуй, лучше было бы сказать — желудком, принимая во внимание, что этим последним органом он был наделен в значительно большей степени, чем первым. Ему в голову не приходило, что кто-то может его не замечать или им пренебрегать; во всяком случае, он не допускал и мысли, что его не замечает и им пренебрегает мисс Токс.

И, однако, как выяснилось, мисс Токс забыла его — забыла постепенно. Она начала забывать его вскоре после того, как открыла семейство Тудлей. Она продолжала забывать его вплоть до дня крестин. Она забывала его после этого дня с быстротою нарастания сложных процентов. Что-то или кто-то занял его место и стал для нее новым источником интереса.

— Доброе утро, сударыня, — сказал майор, встретив мисс Токс на площади Принцессы спустя несколько недель после перемен, отмеченных в последней главе.

— Доброе утро, сэр, — сказала мисс Токс очень холодно.

— Джо Бегсток, сударыня, — заметил майор с обычной своей галантностью, — давно не имел счастья приветствовать вас у вашего окна. С Джо обходились сурово, сударыня. Его солнце скрылось за облаком.

Мисс Токс наклонила голову, но, право же, очень холодно.

— Быть может, светило Джо покидало город, сударыня? — осведомился майор.

— Я? Город? О нет, я не покидала города, — сказала мисс Токс. — Последние дни я была очень занята. Почти все мое время посвящено одним очень близким друзьям. Боюсь, что и сейчас у меня нет свободной минуты. До свиданья, сэр!

Меж тем как мисс Токс с самым чарующим видом покидала площадь Принцессы, майор стоял и смотрел ей вслед с таким синим лицом, какого у него никогда еще не бывало, ворча и бормоча отнюдь не любезные замечания.

— Ах, черт подери, сэр, — сказал майор, обводя своими рачьими глазами площадь Принцессы и неожиданно обращаясь к благовоющей ее атмосфере, — полгода назад эта женщина боготворила землю, по которой ступал Джош Бегсток. Что же это значит?

Поразмыслив, майор решил, что это означает западню для мужчины; что это означает интригу

и силки; что мисс Токс расставляет ловушки. — Но Джо вам не поймать, сударыня, — сказал майор. — Он непреклонен, сударыня, он непреклонен — этот Дж. Б. непреклонен и чертовски хитер! — И, сделав такое замечание, он ухмылялся вплоть до вечера.

Однако, когда прошел этот день и еще много дней, обнаружилось, что мисс Токс решительно никакого внимания не обращает на майора и вовсе о нем не думает. Когда-то она имела обыкновение случайно посматривать в одно из своих маленьких темных окошек и, краснея, отвечать на приветствие майора; но теперь она лишила его этого счастья и вовсе не заботилась о том, посматривает он через дорогу или нет. Произошли также и другие перемены. Майор, стоя в полумраке своего собственного жилища, мог заметить, что за последнее время дом мисс Токс принял более нарядный вид, что новая клетка из позолоченной проволоки была приобретена для маленькой старой канарейки; что различные украшения, вырезанные из цветного картона и бумаги, появились на каминной доске и столах; что несколько растений неожиданно выросли в окнах; что мисс Токс иногда упражняется на клавикордах с гирляндой душистого горошка, всегда выставленной напоказ под «копенгагенским» и «птичьим» вальсами в нотных тетрадках, собственноручно переписанных мисс Токс.

Помимо всего этого, мисс Токс давно уже одевалась необычайно заботливо и элегантно в полутраур. Но это обстоятельство помогло майору выйти из затруднения: он решил про себя, что она получила маленькое наследство и возгордилась.

На следующий же день после того, как он пришел к такому заключению и успокоился, майор, сидя за завтраком, увидел в маленькой гостиной мисс Токс явление, столь потрясающее и удивительное, что некоторое время оставался пригвожденным к стулу; затем бросился в другую комнату и вернулся с театральным биноклем, в который пристально созерцал это явление в течение нескольких минут.

— Это младенец, сэр, — сказал майор, сдвигая бинокль. — Бьюсь об заклад на пятьдесят тысяч фунтов!

Майор не мог этого забыть. Он ничего не мог делать и только свистел и таращил глаза до такой степени, что в прежнем состоянии они показались бы глубоко запавшими и провалившимися. День за днем, два, три, четыре раза в неделю появлялся этот младенец. Майор продолжал таращить глаза и свистеть. Во всех отношениях он был предоставлен самому себе на площади Принцессы. Мисс Токс перестала интересоваться, чем он занят. Если бы из синего он стал черным, на нее это не произвело бы никакого впечатления.

Постоянство, с которым она уходила с площади Принцессы, чтобы доставить этого младенца и его няньку, возвращалась с ними и снова их уводила и постоянно надзирала за ними; постоянство, с которым она сама нянчила его, и кормила, и играла с ним, и замораживала его юную кровь³⁴ мелодиями, исполняемыми на клавикордах, было необычайно. Примерно в это же время у нее обнаружилась страсть рассматривать некий браслет, а также страсть взирать на луну, которую она подолгу созерцала из окна своей спальни. Но на что бы она ни глядела — на солнце, луну, звезды или браслет, — она не глядела больше на майора. И майор свистел, таращил глаза, дивился, метался по комнате и ровно ничего не понимал.

— Вы совсем покорите сердце моего брата Поля, это сущая правда, дорогая моя, — сказала однажды миссис Чик. Мисс Токс побледнела.

— С каждым днем он становится все более похож на Поля, — сказала миссис Чик.

Вместо ответа мисс Токс взяла на руки маленького Поля и своими ласками совершенно измяла и приплюснула его бантик.

— А его мать, дорогая моя, — сказала мисс Токс, — с которой я должна была познакомиться через вас, на нее он похож хоть немного?

— Ничуть, — отвечала Луиза.

³⁴ ...замораживала его юную кровь... — намек на слова Призрака в «Гамлете» (акт I, сц. 5-я).

Иначе б
От слов легчайших повести моей
Зашлась душа твоя и кровь застыла.

— Она... кажется, она была хорошенькая? — нерешительно спросила мисс Токс.

— Да, покойная Фанни была интересна, — сказала миссис Чик после некоторого размышления. — Несомненно интересна. У нее не было такой внушительной, величавой осанки, какую почему-то ждешь от жены моего брата; не было у нее также той стойкости и силы духи, каких требует такой человек.

Мисс Токс испустила глубокий вздох.

— Но она была привлекательна, — сказала миссис Чик. — в высшей степени привлекательна. А намерения ее... ах, боже мой, какие добрые намерения были у бедной Фанни!

— Ангел! — воскликнула мисс Токс, обращаясь к маленькому Полю. — Вылитый портрет своего папы!

Если бы майор мог знать, сколько надежд и мечтаний, какое множество планов и расчетов покоится на этой младенческой головке, и мог увидеть, как они кружатся, в смятении и беспорядке, над сборками чепчика ничего не ведающего маленького Поля, он действительно мог бы вытаращить глаза. Тогда разглядел бы он в этом рое и несколько честолюбивых пылинок, принадлежащих мисс Токс; тогда, быть может, понял бы он, какой капитал боязливо вложила эта леди в фирму Домби.

Если бы сам ребенок мог проснуться среди ночи и увидеть у полога своей колыбели слабые отражения тех упований, какие связывались с ним у других, он, быть может, испугался бы, и не без основания. Но он пребывал в дремоте, не подозревая о добрых намерениях мисс Токс, недоумении майора, безвременных горестях своей сестры и суровых мечтах отца и не ведая, что где-то на Земле существует Домби или Сын.

Глава VIII

Дальнейшее развитие, рост и характер Поля

Под зоркими и бдительными глазами Времени — тоже в своем роде майора — дремота Поля постепенно рассеивалась. Все больше света врывалось в нее; все более отчетливые сны ее тревожили; все больше и больше предметов и впечатлений смущало его покой; так перешел он от младенчества к детству и стал говорящим, ходящим, недоумевающим Домби.

После грехопадения и изгнания Ричардс детская была передана, можно сказать, в ведение комиссии, как это случается иной раз с общественным учреждением, когда нельзя найти некоего Атланта, который бы его поддержал. Членами комиссии были, конечно, миссис Чик и мисс Токс, которые предались исполнению своего долга с таким поразительным рвением, что майор Бегсток ежедневно получал какое-нибудь новое напоминание о своей отставке, тогда как мистер Чик, лишившись домашнего надзора, окунулся в веселый мир, обедал в клубах и кофейнях, трижды приносил с собой запах табаку и, короче, отделался (как сказала ему однажды миссис Чик) от всех общественных обязанностей и морального долга.

Однако, несмотря на подаваемые им в самом начале надежды, весь этот уход и заботы не могли сделать маленького Поля цветущим ребенком. Хрупкий, быть может, от природы, он худел и хирел после удаления кормилицы и долгое время как будто только и ждал случая ускользнуть у них из рук и отыскать свою потерянную мать. Когда позади осталось это опасное место в его скачке к возмужалости, он все еще находил жизненное состязание весьма тяжелым, и ему жестоко досаждали препятствия на пути. Каждый зуб был для него грозным барьером, а каждый пупырышек во время кори — каменной стеной. Его валил с ног каждый приступ кашля, и на него налетало и обрушивалось целое полчище недомоганий, которые следовали гурьбой друг за другом, не давая ему снова подняться. Не жаба, а какое-то хищное животное проникало ему в горло, и даже свинка — поскольку она имеет отношение к детской болезни, именно так обозначаемой, — становилась злобной и терзала его, как тигровая кошка.

Холод во время крестин Поля поразил, быть может, какую-то чувствительную часть его организма, который не мог оправиться под леденящей сенью его отца; как бы там ни было, с этого дня он стал несчастным ребенком. Миссис Уикем часто говорила, что никогда не видывала малышки, которому приходилось бы так худо.

Миссис Уикем была женой официанта, — а это все равно что быть вдовой, — желание коей

поступить на службу к мистеру Домби было встречено благосклонно вследствие явной невозможности для нее иметь поклонников или самой увлекаться и которая дня через два после внезапного отлучения Поля от груди была нанята ему в няньки. Миссис Уикем была робкая белокурая женщина с поднятыми бровями и поникшей головой, всегда готовая пожалеть себя или вызвать к себе жалость или пожалеть кого-нибудь другого и отличавшаяся изумительным природным даром видеть все в крайне мрачном и горестном свете, приводить для сравнения устрашающие прецеденты и находить величайшую радость в упражнении этого таланта.

Вряд ли нужно упоминать о том, что ни один намек на это качество никогда не доходил до сведения величественного мистера Домби. Было бы поистине замечательно, если бы случилось иначе, поскольку никто в доме — не исключая миссис Чик и мисс Токс — не осмеливался даже шепнуть ему по какому бы то ни было поводу, что есть хоть малейшее основание для беспокойства о маленьком Поле. Он решил про себя, что ребенок неизбежно должен, по заведенному порядку, перенести некоторые легкие болезни, и чем скорее, тем лучше. Если бы он мог его выкупить или найти заместителя, как находят такового для вынужденного несчастливый ополченский жребий, он сделал бы это с радостью и не скупясь. Но так как это было неосуществимо, он лишь изредка недоумевал со свойственным ему высокомерием, что, в сущности, хочет этим сказать Природа; и утешался мыслью, что еще одна придорожная веха осталась позади и великая цель путешествия значительно приблизилась. Ибо преобладавшим у него чувством, все время усиливавшимся по мере того, как подрастал Польш, было нетерпение. Нетерпеливое ожидание момента, когда мечта его об их объединенном влиянии и величии осуществится с триумфом.

Некоторые философы говорят, что эгоизм лежит в основе самой горячей нашей любви и привязанностей. Сынишка мистера Домби с самого начала имел такое значение для него, — как часть его собственного величия или (что то же самое) величия Домби и Сына, — что несомненно можно было без труда проникнуть до самых глубин фундамента, на котором зиждилась его родительская любовь, как можно проникнуть до фундамента многих красивых построек, пользующихся доброй славой. Тем не менее он любил сына, насколько вообще способен был любить. Если был теплый уголок в его холодном сердце, то этот уголок был занят сыном; если на твердой его поверхности можно было запечатлеть чей-то образ, то на ней был запечатлен образ сына; но не столько образ младенца или мальчика, сколько взрослого человека — «Сына» фирмы. Поэтому ему не терпелось приблизить будущее и побыстрее миновать промежуточные стадии его роста. Поэтому о них он беспокоился мало или же вовсе не беспокоился, несмотря на свою любовь; он чувствовал, что мальчик как бы живет зачарованной жизнью и должен стать мужчиной, с которым он мысленно поддерживал постоянное общение и для которого ежедневно строил планы и проекты, словно тот уже существовал реально.

Так Польш приблизился к шестому году жизни. Он был хорошенький мальчуган, хотя в его личике было нечто болезненное и напряженное, что побуждало миссис Уикем многозначительно покачивать головой и вызывало у миссис Уикем много протяжных вздохов. Были все основания предполагать, что в последующей жизни характер у него будет властный; и он в такой мере предчувствовал свое собственное значение и право на подчинение ему всего и всех, как только можно было пожелать. Порой он бывал ребячлив, не прочь поиграть и вообще угрюмостью не отличался; но была у него странная привычка сидеть иногда в своем детском креслице и сосредоточенно раздумывать; в эти моменты он становился похож (и начинал изъясняться соответственно) на одно из тех ужасных маленьких созданий в сказке, которые в возрасте ста пятидесяти или двухсот лет разыгрывают странную роль подмененных ими детей. Эта несвойственная ребенку задумчивость часто посещала его наверху к детской; иногда он впадал в нее внезапно, объявляя, что устал, — даже когда резвился с Флоренс или играл в лошадки с мисс Токс. Но никогда не погружался он в нее с такою неизбежностью, как в то время, когда его креслице переносили в комнату отца и он сидел там с ним после обеда у камина. Это была самая странная пара, какую когда-либо освещало пламя камина. Мистер Домби, такой прямой и торжественный, глядит на огонь; его маленькая копия со старческим, старческим лицом, всматривается в красные дали с напряженным и сосредоточенным вниманием мудреца. Мистер Домби занят сложными мирскими планами и проектами; маленькая копия занята бог весть какими сумасбродными фантазиями, неоформившимися мыслями и неясными соображениями. Мистер Домби одеревенел от крахмала и высокомерия; маленькая копия — в силу наследственности и

вследствие бессознательного подражания. Один является подобием другого, и тем не менее они чудовищно непохожи.

Однажды, когда они оба долго сидели в глубокой тишине и мистер Домби знал, что ребенок не спит только потому, что изредка смотрел ему в глаза, где яркий огонь сверкал, как драгоценный камень, маленький Поль нарушил молчание:

— Папа, что такое деньги?

Неожиданный вопрос имел такое непосредственное отношение к мыслям мистера Домби, что мистер Домби пришел в полное замешательство.

— Что такое деньги, Поль? — повторил он. — Деньги?

— Да, — сказал ребенок, опуская руки на подлокотники своего креслица и поворачивая старческое лицо к мистру Домби, — что такое деньги?

Мистер Домби был в затруднении. Он не прочь был дать сыну какое-нибудь объяснение, включающее такие термины, как средство обмена, валюта, обесценивание валюты, ценные бумаги, золотое обеспечение, биржевые цены, рыночная цена драгоценных металлов и так далее, но, взглянув вниз на маленькое креслице и увидев, как до него далеко, он ответил:

— Золото, серебро, медь. Гинеи, шиллинги, полупенсы. Ты знаешь, что это такое?

— О да, я знаю, что это такое, — сказал Поль. — Я не об этом спрашиваю. Я спрашиваю, что такое сами деньги?

О, небеса, каким старым было его лицо, когда он снова поднял его к отцу!

— Что такое сами деньги? — повторил мистер Домби, в изумлении отодвигая стул, чтобы лучше разглядеть самонадеянный атом, предложивший такой вопрос.

— Я спрашиваю, папа, что они могут сделать? — продолжал Поль, скрестив на груди руки (для этого они были едва ли достаточно длинны) и переводя взгляд с огня на отца, и снова на огонь, и снова на отца.

Мистер Домби подвинул стул на прежнее место и погладил его по голове.

— Скоро ты это будешь лучше знать, мой мальчик, — сказал он. — Деньги, Поль, могут сделать что угодно. — С этими словами он взял маленькую ручку и тихонько похлопал ею по своей руке.

Но Поль постарался как можно скорее освободить руку и, слегка потирая ею подлокотник кресла, словно ум его находился в ладони, а он его оттачивал, и снова глядя на огонь, как будто огонь был его советчиком и суфлером, повторил после короткой паузы:

— Что угодно, папа?

— Да. Что угодно. Почти, — сказал мистер Домби.

— Что угодно — значит, все? Да, папа? — спросил сын, не замечая или, быть может, не понимая сделанной оговорки.

— Это одно и то же. Да, — сказал мистер Домби.

— Почему деньги не спасли мою маму? — возразил ребенок. — Они жестокие, правда?

— Жестокие? — повторил мистер Домби, поправляя галстук и как бы обиженный этой мыслью. — Нет. Хорошее не может быть жестоким.

— Если они хорошие и могут делать что угодно, — задумчиво сказал мальчуган, глядя на огонь, — я не понимаю, почему они не спасли мою маму.

Сейчас он не обращался с вопросом к отцу. Быть может, с детской проницательностью он понял, что его вопрос уже привел отца в смущение. Но он вслух повторил свою мысль, словно для него она была совсем не новой и очень беспокоила его; и он сидел, подперев подбородок рукой, по-прежнему размышляя и отыскивая объяснение в камине.

Мистер Домби, оправившись от изумленья, чтобы не сказать тревоги (ибо это был первый случай, когда ребенок заговорил с ним о матери, хотя точно так же сидел возле него каждый вечер), подробно разъяснил ему, что деньги — весьма могущественный дух, которым никогда и ни при каких обстоятельствах пренебрегать не следует, однако они не могут сохранить жизнь тем, кому пришло время умереть; и что мы все, даже в Сити, должны, к несчастью, умереть, как бы мы ни были богаты; он разъяснил, каким образом деньги являются причиной того, что нас почитают, боятся, уважают, заискивают перед нами и восхищаются нами, как они делают нас влиятельными и великими в глазах всех людей и как они могут очень часто отдалять даже смерть на долгое время. Как, например, они

обеспечили его маме услуги мистера Пилкинса, коими часто пользовался и он, Поль, а также великого доктора Паркера Пепса, которого он никогда не видел. И как они могут сделать все, что только может быть сделано. Все это и еще кое-что в таком же духе мистер Домби внушал своему сыну, который слушал внимательно и как будто понимал большую часть того, что ему говорили.

— Но они не могут сделать меня сильным и совсем здоровым, верно, папа? — спросил Поль после недолгого молчания, потирая ручонки.

— Ты и так силен и совсем здоров, — возразил мистер Домби. — Не правда ли?

О, какое старческое лицо снова обратилось к нему, выражая и печаль и лукавство!

— Ты такой же сильный и здоровый, какими обычно бывают малыши, а? — продолжал мистер Домби.

— Флоренс старше меня, но я не такой сильный и здоровый, как Флоренс, я это знаю, — отвечал ребенок. — И я думаю, что, когда Флоренс была такой, как я, она могла играть гораздо дольше не уставая. Иногда я так устаю, — сказал маленький Поль, грея руки и глядя сквозь прутья каминной решетки, словно какой-то призрачный театр марионеток давал там представление, — и кости у меня болят (Уикем говорит — это болят кости), и я не знаю, что делать.

— Да, но это бывает по вечерам, — сказал мистер Домби, придвигая свое кресло к креслицу сына и ласково кладя руку ему на спину. — Малыши должны к вечеру уставать, тогда они лучше спят.

— О, это бывает не вечером, папа, — возразил ребенок, — это бывает днем; и я ложусь на колени к Флоренс, а она мне поет. Ночью мне снятся такие стра-а-ан-ные вешки!

И снова он стал греть руки и размышлять об этих вещах, точно старик или юный гном.

Мистер Домби был так изумлен, так встревожен и так растерян, не зная, как продолжать разговор, что мог только сидеть, глядя при свете камина на своего мальчика и не отнимая руки от его спины, как будто ее удерживало какое-то магнитное притяжение. Потом он протянул другую руку и на секунду повернул к себе задумчивое личико сына. Но оно снова обратилось к камину, как только он его освободил, и не отрывалось от колеблющегося пламени, покуда не пришла нянька укладывать мальчика спать.

— Я хочу, чтобы за мной пришла Флоренс, — сказал Поль.

— Вы не хотите идти со своей бедной няней Уикем, мистер Поль? — с большим пафосом осведомилась она.

— Не хочу, — ответил Поль, снова располагаясь в своем креслице, как хозяин дома.

Благословляя его невинность, миссис Уикем удалилась, и вскоре вместо нее вошла Флоренс. Ребенок тотчас вскочил с живостью и готовностью и, желая отцу спокойной ночи, поднял к нему такое повеселевшее, такое помолодевшее и такое совсем детское лицо, что мистер Домби, хотя и успокоенный этим превращением, был крайне озадачен.

Когда они вместе вышли из комнаты, ему послышалось тихое пение; и, вспомнив, как Поль говорил, что сестра поет ему, он любопытствовал открыть дверь, чтобы послушать и посмотреть им вслед. Она медленно поднималась по большой широкой лестнице, держа его на руках; голова его лежала у нее на плече, одна рука небрежно обвилась вокруг ее шеи. Так поднимались они — медленно, медленно; она все время пела, и иногда Поль мурлыкал, тихонько ей подпевая. Мистер Домби смотрел им вслед, пока они не поднялись на верхнюю площадку лестницы, — впрочем, не раз останавливаясь отдохнуть, — и не скрылись из виду; но и тогда он продолжал стоять и смотреть, пока бледные лучи луны, меланхолично мерцавшей сквозь тусклое окно в потолке, не прогнали его обратно, и его комнату.

На следующий день миссис Чик и мисс Токс были приглашены к обеду на совет; когда убрали со стола, мистер Домби открыл заседание, потребовав, чтобы ему сообщили без смягчения и умолчания, все ли благополучно с Полем и что говорит о нем мистер Пилкинс.

— Ребенок, — заметил мистер Домби, — не так крепок, как мне бы хотелось.

— Со свойственной вам удивительной наблюдательностью, дорогой мой Поль, — отвечала миссис Чик, — вы сразу попали в точку. Наш любимец, пожалуй, не так крепок, как нам бы хотелось. Дело в том, что его дух не по силам ему. Душа его слишком велика для своей оболочки. Ах, как рассуждает этот прелестный ребенок! — продолжала миссис Чик, покачивая головой. — Никто бы этому не поверил. Вот, например, вчера, Лукреция, замечания его на тему о похоронах...

— Боюсь, — сказал мистер Домби, сердито перебивая ее, — что кто-то из этих особ там, наверху, говорит с ребенком на неподобающие темы. Вчера вечером он заговорил со мной о своих... о своих костях, — сказал мистер Домби, с раздражением подчеркивая это слово. — Кому какое дело до... до костей моего сына? Полагаю, он не какой-нибудь живой скелет³⁵.

— Отнюдь нет, — сказала миссис Чик с неописуемым выражением.

— Надеюсь, — отозвался ее брат. — Затем — похороны! Кто говорит ребенку о похоронах? Полагаю, мы — не гробовщики, не наемные немые плакальщики³⁶, не могильщики?

— Отнюдь нет, — вставила миссис Чик с тем же многозначительным выражением.

— Так кто же вбивает ему в голову такие мысли? — спросил мистер Домби. — Право же, вчера вечером я был крайне опечален и возмущен. Кто вбивает ему в голову такие мысли, Луиза?

— Дорогой мой Поль, — сказала миссис Чик, помолчав секунду, — не имеет смысла производить расследование. Скажу вам откровенно, я не думаю, чтобы Уикем была особой, отличающейся веселым нравом, которую можно было бы назвать...

— Дочерью Мома³⁷, — тихонько подсказала мисс Токс.

— Вот именно, — сказала миссис Чик, — но она очень внимательна, услужлива и вовсе не самонадеянна; право же, я никогда еще не встречала такой сговорчивой женщины. Если милый ребенок, — продолжала миссис Чик таким тоном, словно подводила итог тому, о чем предварительно уже говорилось, хотя все это она высказывала впервые, — немножко ослаблен этим последним приступом болезни и отличается не таким завидным здоровьем, как было бы нам желательно, и если организм его временно ослабел и иногда ему трудно пользоваться своими...

Миссис Чик побоялась сказать «членами» после недавнего выпада мистера Домби против костей и посему ждала помощи от мисс Токс, которая, оставаясь верной своим обязанностям, подсказала: «конечностями».

— Конечностями! — повторил мистер Домби.

— Кажется, уважаемый врач упомянул сегодня утром о ногах, не так ли, дорогая моя Луиза? — сказала мисс Токс.

— Ну, конечно, упомянул, моя милая, — отвечала миссис Чик с кроткой укоризной. — Зачем вы меня об этом спрашиваете? Вы сами слышали. Итак, я говорю, что если бы наш милый Поль временно потерял способность пользоваться ногами, то это заболевание свойственно многим детям в его возрасте и его нельзя предотвратить никакими заботами и уходом. Чем скорее вы это поймете и с этим согласитесь, Поль, тем лучше.

— Разумеется, вы должны знать. Луиза, — сказал мистер Домби, — что я не подвергаю сомнению вашу родственную привязанность и вполне понятную заботу о будущем главе моей фирмы. Мистер Пилкинс, полагаю, осматривал сегодня утром Поля? — спросил мистер Домби.

— Да, осматривал, — отвечала сестра. — Мисс Токс и я присутствовали. Мисс Токс и я всегда присутствуем. Мы считаем это совершенно необходимым. Мистер Пилкинс осматривал его несколько дней тому назад, и я его считаю очень умным человеком. Он говорит: «Это пустяки!» Я могу подтвердить его слова, если это имеет значение, а сегодня он посоветовал морской воздух. Очень разумно, Поль, в этом я убеждена.

— Морской воздух, — повторил мистер Домби, глядя на сестру.

— Никакого основания для беспокойства, — сказала миссис Чик. — Моим Джорджу и Фредерику обоим прописывали морской воздух, когда они были приблизительно в таком же возрасте; и мне самой его прописывали великое множество раз. Я совершенно согласна с вами, Поль, что, быть может, там, наверху, неосторожно заговаривают при нем о таких вещах, о которых его маленькой

³⁵ *Живой скелет.* — В лондонских балаганах и в конце 40-х годов показывали необыкновенно худого человека — француза по происхождению, — называемого в рекламах «живой скелет».

³⁶ *Наемные немые плакальщики.* — В эпоху Диккенса в Англии еще сохранился обычай приглашать на похороны лиц обоего пола, чьей профессией являлось участие в похоронной процессии; в отличие от «плакальщиков», известных в древности, эти люди не плакали, но безмолвно, с печальными лицами сопровождали гроб с телом умершего.

³⁷ *Мом* — греческий бог смеха.

головке лучше не задумываться; но, право же, я не знаю, как этому помочь, когда имеешь дело с таким сообразительным ребенком. Будь он обыкновенный ребенок это не имело бы никакого значения. Кажется, я должна сказать вместе с мисс Токс, что временная перемена места, воздух Брайтона и физическое и духовное воспитание, порученное такой благоразумной особе, как, например, миссис Пипчин...

— Кто такая миссис Пипчин, Луиза? — спросил мистер Домби, испуганный этим упоминанием имени, которого он никогда еще не слышал.

— Миссис Пипчин, дорогой мой Поль, — отвечала сестра, — пожилая леди, — мисс Токс знает историю всей ее жизни — которая с некоторого времени посвятила с большим успехом всю свою душевную энергию изучению малюток и уходу за ними и у которой прекрасные связи. Муж ее умер от разрыва сердца при... Как вы сказали, милая моя, при каких обстоятельствах ее муж умер от разрыва сердца? Я забыла точные данные.

— При выкачивании воды из Перуанских копей. — отозвалась мисс Токс.

— Конечно, сам он не занимался выкачиванием, — сказала миссис Чик, взглянув на брата, и действительно, это объяснение было необходимо, ибо мисс Токс высказалась о покойном мистере Пипчине так, словно он умер у ручки насоса, — а вложил деньги в предприятие, которое обанкротилось. Я считаю, что миссис Пипчин поистине изумительно обращается с детьми. Я слышала, как ее хвалили в избранном кругу еще в те времена, когда я была... ах, боже мой, какого же роста? — Взгляд миссис Чик блуждал по книжному шкафу и бюсту мистера Питта, находившемуся на высоте примерно десяти футов от пола.

— Быть может, дорогой мой сэр, — заметила мисс Токс, залившись румянцем, — поскольку на меня столь определенно ссылаются, я обязана сказать о миссис Пипчин, что похвала, с которой отозвалась о ней ваша милая сестра, вполне заслужена. Многие леди и джентльмены, ныне ставшие важными членами общества, были поручены ее заботам. Смиренная особа, которая сейчас беседует с вами, некогда находилась на ее попечении. Думаю, что даже знатная молодежь знакома с ее заведением.

— Насколько я понимаю, эта почтенная особа руководит учебным заведением, мисс Токс? — снисходительно осведомился мистер Домби.

— Ах, не знаю, — ответила та, — вправе ли я употребить такое название. Это отнюдь не приготовительная школа. Быть может, я верно выражу свою мысль, — с особой слащавостью продолжала мисс Токс, — если назову это детским пансионом для особо избранных.

— Отбор чрезвычайно строгий и тщательный, — добавила миссис Чик, бросив взгляд на брата.

— О, исключительно! — сказала мисс Токс.

Все это имело значение. Хорошо было, что муж миссис Пипчин умер от разрыва сердца из-за Перуанских копей. Это говорило о богатстве. Вдобавок, мистер Домби готов был впасть в отчаяние при мысли о том, что Поль остается здесь хотя бы еще на один час после того, как врач посоветовал его увезти. Это была остановка и задержка в пути, который ребенку предстояло, в лучшем случае, медленно пройти, прежде чем будет достигнута цель. Рекомендация, данная миссис Пипчин его сестрой и мисс Токс, имела для него большой вес, ибо он знал, что они ревниво относятся ко всякому вмешательству в их обязанности, и ни на секунду не допускал мысли, что, быть может, они стремятся разделить ответственность, о которой он, как было только что показано, имел свое установившееся мнение. Умер от разрыва сердца из-за Перуанских копей, размышлял мистер Домби. Что ж, весьма уважаемая смерть.

— Если мы решим, наведя завтра справки, отправить Поля в Брайтон к этой леди, кто поехал бы с ним? — подумав, спросил мистер Домби.

— В настоящее время вряд ли можно послать ребенка куда бы то ни было без Флоренс, дорогой мой Поль, — нерешительно ответила сестра. — Он просто без ума от нее. Он, конечно, очень мал, и у него свои причуды.

Мистер Домби отвернулся, медленно подошел к книжному шкафу и, открыв его, достал книгу.

— Еще кто-нибудь, Луиза? — спросил он, не поднимая глаз и перелистывая книгу.

— Конечно, Уикем. Я бы сказала, что одной Уикем вполне достаточно, — ответила сестра. — Если Поль попадет к такой особе, как миссис Пипчин, вряд ли нужно посылать кого-то, кто бы за нею наблюдал. Конечно, вы сами будете ездить туда по крайней мере раз в неделю.

— Разумеется, — сказал мистер Домби и затем в течение часа сидел, глядя на одну и ту же страницу и не прочтя ни слова.

Эта знаменитая миссис Пипчин была удивительно некрасивая, злобедная старая леди, сутулая, с лицом пятнистым, как плохой мрамор, с крючковатым носом и жесткими серыми глазами, по которым, казалось, можно было бить молотом как по наковальне, не нанося им никакого ущерба. По крайней мере сорок лет прошло с тех пор, как Перуанские копи свели в могилу мистера Пипчина, однако вдова его все еще носила черный бомбазии такого тусклого, густого, мертвого и мрачного тона, что даже газ не мог ее осветить с наступлением темноты, и присутствие ее действовало как гаситель на все свечи, сколько бы их ни было. Все ее называли «превосходной воспитательницей»; а тайна ее воспитания заключалась в том, чтобы давать детям все, чего они не любят, и не давать того, что они любят: нашли, что этот прием оказывает чрезвычайно благотворное воздействие на их нравы. Она была такой злющей старой леди, что был соблазн предположить, не произошла ли какая-то ошибка в применении перуанских насосов, и не из копей, а из нее были выкачаны досуха все воды радости и млеко человеческой нежности³⁸.

Замок этой людоедки и укротительницы детей находился в крутом переулке Брайтона, где почва была еще более, чем в других местах, кремнистой и бесплодной, а дома — еще более, чем в других местах, ветхими и жалкими; где маленькие палисадники отличались необъяснимым свойством не рождать ничего, кроме ноготков, что бы ни было там посеяно, и где улитки постоянно присасывались к парадным дверям и другим местам, которые им не полагалось украшать, с цепкостью медицинских банок. Зимой воздух не мог вырваться из замка, летом — не мог проникнуть в него. Ветер вечно пробуждал эхо, гудевшее, как огромная раковина, которую обитатели замка должны были днем и ночью держать у своего уха, нравилось им это или нет. Запах в доме, естественно, не отличались свежестью, а на окне в гостиной, которое никогда не открывалось, миссис Пипчин держала коллекцию растений в горшках, примешивавших свой собственный землистый запах к запахам помещения. Эти растения — в своем роде отборные экземпляры — были из породы, удивительно подходившей к обителю миссис Пипчин, здесь находилось с полдюжины кактусов, корчившихся около своих подпорок, как волосатые змеи; затем экземпляр, выпускающий широкие клешни, точно зеленый омар; несколько ползучих растений с клейкими и цепкими листьями и несуразный цветочный горшок, который был подвешен к потолку и как будто перекипал и переливал через край своими длинными зелеными побегами и, задевая и щекоча проходивших под ним, напоминал им о пауках, каковые водились в изобилии в жилище миссис Пипчин, хотя в определенное время года оно могло с еще большим успехом конкурировать по части ухверток.

Так как миссис Пипчин брала высокую плату со всех, кто мог платить, и так как миссис Пипчин очень редко смягчала свой неизменно желчный нрав ради кого бы то ни было, ее считали старой леди с удивительно твердым характером, обладающей вполне научным знанием детской природы. Опираясь на эту репутацию и на разрыв сердца мистера Пипчина, она ухитрилась после смерти своего супруга выколачивать год за годом вполне приличные средства к жизни. Через три дня после первого упоминания о ней миссис Чик эта превосходная старая леди имела удовольствие получить в виде задатка из кармана мистера Домби прекрасное добавление к постоянным своим доходам и принять Флоренс и ее маленького брата Поля в число обитателей замка.

Миссис Чик и мисс Токс, которые привезли их накануне вечером (все они провели эту ночь в гостинице), только что отъехали от дома, отправившись в обратный путь; и миссис Пипчин, стоя спиной к камину, разглядывала вновь прибывших, словно старый солдат. Племянница миссис Пипчин, особа средних лет, добродушная и верная ее раба, но тощая, на вид неприступная и чрезвычайно страдавшая от чирьев на носу, освобождала юного мистера Байтерстона от чистого воротничка, надетого по случаю парада. Вторая — и последняя в то время — маленькая пансионерка, мисс Пэнки, была уведена в тот момент в темницу замка (пустую комнату в глубине дома, предназначенную для исправительных целей) за то, что она три раза фыркнула в присутствии гостей.

— Ну, сэ, — сказала миссис Пипчин Полю, — как вы думаете, будете ли вы меня любить?

— Не думаю, чтобы я хоть немножко вас полюбил, — ответил Поль. — Я хочу уйти. Это не

³⁸ ...млеко человеческой нежности... — цитата из «Макбета» (акт I, сц. 5-я).

мой дом.

— Да. Это мой, — ответила миссис Пипчин.

— Очень гадкий дом, — сказал Поль.

— А в нем есть местечко похуже этого, — сказала миссис Пипчин, — куда мы запираем наших нехороших мальчиков.

— Он когда-нибудь был там? — спросил Поль, указывая на юного Байтерстона.

Миссис Пипчин утвердительно кивнула головой; и Поль нашел себе занятие на целый день, осматривая мистера Байтерстона с головы до ног и следя за всеми изменениями его физиономии с интересом, которого заслуживали таинственные и ужасные испытания, перенесенные этим мальчиком.

В час был подан обед, состоявший преимущественно из мучной и растительной пищи, и мисс Пэнки (кроткая маленькая голубоглазая девчурка, которую каждое утро растирали после купанья, подвергая, казалось, опасности окончательно стереть с лица земли) была приведена из плена самой людоедкой и уведомена, что тот, кто фыркает при гостях, никогда не попадет в рай. Когда эта великая истина была основательно ей внушена, ее угостили рисом, после чего она прочла установленную и замке послеобеденную молитву, заключавшую в себе особую благодарность миссис Пипчин за хороший обед. Племянница миссис Пипчин, Беринтия, поела холодной свинины. Миссис Пипчин, чей организм требовал горячей пищи, пообедала бараньими отбивными котлетами, которые были принесены прямо с пылу, прикрытые тарелкою, и издавали весьма приятный запах.

Так как после обеда шел дождь и нельзя было идти на взморье, а организм миссис Пипчин требовал отдыха после отбивных котлет, дети отправились с Бери (она же — Беринтия) в темницу — пустую комнату, откуда виден был меловой откос и бочка с водой; это помещение имело вид крайне неудобный по вине ветхого камина без всяких приспособлений для топки. Впрочем, благодаря обществу, его оживлявшему, оно оказалось в конце концов наилучшим, потому что здесь Бери играла с детьми и, по-видимому, наслаждалась возней не меньше, чем они, покуда миссис Пипчин не постукала сердито в стену, словно ожившее коклейнское привидение³⁹, после чего игры были прекращены, и Бери до самых сумерек рассказывала шепотом сказки.

К чаю было подано вдоволь молока с водой и хлеба с маслом, а также маленький черный чайник для миссис Пипчин и Бери и намазанные маслом гренки в неограниченном количестве для миссис Пипчин, принесенные прямо с пылу так же, как отбивные котлеты. Хотя миссис Пипчин снаружи сделалась очень маслянистой после этого блюда, — оно как будто вовсе не смазало ее внутри, потому что она оставалась такой же свирепой, как и раньше, и ее жесткие серые глаза ничуть не смягчились.

После чая Бери принесла маленькою рабочую шкатулку с изображением Королевского павильона на крышке и принялась усердно работать, а миссис Пипчин, надев очки и раскрыв огромную кишу, переплетеную в зеленое сукно, начала клевать носом. И каждый раз, когда миссис Пипчин готова была упасть в огонь и просыпалась, она угощала щелчком юного Байтерстона за то, что тот тоже клевал носом.

Наконец настало время детям идти спать, и после молитвы они улеглись. Так как маленькая мисс Пэнки боялась спать одна в темноту, миссис Пипчин всегда почитала своим долгом спать ее наверх, как овцу: и весело было слушать, как мисс Пэнки долго еще хныкала в самой неудобной спальне, а миссис Пипчин то и дело входила, чтобы сделать ей внушение. Примерно в половине десятого благоухание горячего сладкого мяса (организм миссис Пипчин требовал сладкого мяса, без коего она не могла заснуть) присоединилось к преобладающему аромату дома, который миссис Уикем называла «запахом здания», и вскоре после этого замок погрузился в сон.

На следующее утро завтрак не отличался от вечернего чая, но только миссис Пипчин ела булку вместо гренков и после этого казалась еще более раздраженной. Мистер Байтерстон вслух читал

³⁹ *Коклейнское привидение.* — В середине XVIII века лондонцы узнали о появлении в доме э 33 по улице Коклейн «привидения». Роль последнего играл некий Уильям Персон. Вместе с женой и дочерью он долго мистифицировал легковверных горожан, пока не открылось участие в этой «забаве» чревоушательницы. Персоны были приговорены к позорному столбу.

остальным родословную из книги Бытия⁴⁰ (разумно избранную миссис Пипчин), преодолевая имена с легкостью и уверенностью человека, спотыкающегося на ступальном колесе⁴¹. Затем мисс Пэнки была унесена для растирания, а над мистером Байтерстоном проделывалась еще какая-то процедура с соленой водой, после чего он всегда возвращался очень синим и подавленным. Между тем Поль и Флоренс пошли к морю с Уикем, которая все время заливалась слезами, а около полудня миссис Пипчин руководила детским чтением. Так как в систему миссис Пипчин входило не допускать, чтобы детский ум развивался и расцветал как бутон, но раскрывать его насильно, как устрицу, то мораль этих уроков была обычно жестокой и ошеломляющей: героя — злого мальчика — даже в случае самой счастливой развязки обычно приканчивал лев или медведь, но никак не меньше.

Так текла жизнь у миссис Пипчин. По субботам приезжал мистер Домби: Флоренс с Полем ходили к нему в гостиницу и пили чай. Они проводили с ним несколько часов, и обычно катались перед обедом, и в таких случаях мистер Домби, как враги Фальстафа, из одного накрахмаленного человека превращался в дюжину⁴². Воскресный вечер был самым меланхолическим вечером в неделе, ибо миссис Пипчин почитала своим долгом быть особенно сердитой в воскресные вечера. Мисс Пэнки обычно возвращалась в глубокой тоске из Ротингдина от тетки, а мистер Байтерстон, чьи родные жили в Индии и которому приказывали сидеть в перерывах между церковными службами у стены гостиной, выпрямившись и не двигая ни рукой, ни ногой, претерпевал столь жестокие для своей юной души страдания, что в один из воскресных вечеров спросил Флоренс, не может ли она сообщить ему какие-нибудь сведения о том, как вернуться в Бенгалию.

Но принято было считать, что у миссис Пипчин есть собственная система воспитания детей, и, разумеется, так оно и было. Несомненно, буяны, прожив несколько месяцев под ее гостеприимным кровом, возвращались домой ручными. Принято было также считать, что весьма почтенно со стороны миссис Пипчин посвятить себя такой жизни, пожертвовать в такой мере своими чувствами и так решительно противостоять невзгодам, после того как мистер Пипчин умер от разрыва сердца на Перуанских копиях.

На эту примерную старую леди Поль мог смотреть без конца, сидя в своем креслице у камина. Казалось, он не знал, что такое усталость, когда пристально разглядывал миссис Пипчин. Он не любил ее; он не боялся ее, но когда его посещало это старческое раздумье, в ней как будто сосредоточивалось что-то чудовищно привлекательное для него. Так сидел он, и смотрел на нее, и грел руки, и все смотрел на нее, и иной раз приводил в полное замешательство миссис Пипчин, хотя она и была людоедкой. Однажды, когда они были вдвоем, она спросила его, о чем он думает.

— О вас, — с полной откровенностью сказал Поль.

— А что же вы обо мне думаете? — спросила миссис Пипчин.

— Думаю, какая вы, должно быть, старая, — сказал Поль.

— Молодой джентльмен, о таких вещах думать не следует, — возразила дама. — Это не годится.

— Почему не годится? — спросил Поль.

— Потому что это невежливо, — сердито сказала миссис Пипчин.

— Невежливо? — переспросил Поль.

— Да.

— Уикем говорит, — наивно сказал Поль, — что невежливо съесть все бараньи котлеты и гренки.

— Уикем, — покраснев, отрезала миссис Пипчин, — Злая, бесстыжая, дерзкая нахалка.

— Что это такое? — осведомился Поль.

⁴⁰ *Книга Бытия* — так называется первая книга Ветхого завета.

⁴¹ *Ступальное колесо* — механизм, работа на котором была одним из тяжелых наказаний для заключенных в английских тюрьмах.

⁴² *...как враги Фальстафа, из одного... превращался в дюжину.* — Фальстаф, хвастаясь своей храбростью, вначале рассказывал о том, что на него напали двое противников, затем эти двое превратились в четверых и, наконец, в семерых (Шекспир, «Генрих IV», ч. I, акт II, сц. 4-я).

— Ничего, сэр! — отвечала миссис Пипчин. — вспомните рассказ о маленьком мальчике, которого забодал до смерти бешеный бык за то, что он приставал с вопросами.

— Если бык был бешеный, — сказал Поль, — откуда он мог знать, что мальчик пристаёт с вопросами? Никто не станет шептать на ухо бешеному быку. Я не верю этому рассказу.

— Вы ему не верите, сэр? — с изумлением спросила миссис Пипчин.

— Не верю, — сказал Поль.

— Ну, а если бы бык был смиренный, тогда вы поверили бы, вы, маленький невер? — спросила миссис Пипчин.

Так как Поль не задумывался над вопросом с этой точки зрения и основывал все свои заключения на установленном факте — бешенстве быка, — то в данный момент он согласился признать себя побежденным. Но он сидел и размышлял об этом со столь явным намерением поскорее загнать в тупик миссис Пипчин, что даже эта суровая старая леди сочла более благоразумным отступить, пока он не забудет об этом предмете.

С этого дня миссис Пипчин как будто почувствовала к Полю нечто похожее на то странное влечение, какое испытывал к ней Поль. Она заставляла его придвигать креслице к ее стулу у камина, вместо того чтобы садиться напротив; и здесь сидел он в уголке между миссис Пипчин и каминной решеткой; весь свет, исходивший от его личика, поглощался черными бомбазиновыми складками, а он изучал каждую черточку и морщинку на ее физиономии и заглядывал в жесткие серые глаза, так что миссис Пипчин иной раз поневоле их закрывала, притворяясь дремлющей. У миссис Пипчин был старый черный кот, который обычно лежал, свернувшись у средней ножки каминной решетки, самолюбленно мурлыча и шурясь на огонь до тех пор, пока суженные его зрачки не уподоблялись двум восклицательным знакам. Добрая старая леди — мы не хотим оказать ей неуважение — могла быть ведьмой, а Поль и кот — когда они сидели нее вместе у камина — двумя прислуживающими ей духами. Увидя эту компанию, никто бы не удивился, если бы порыв ветра унес их всех однажды вечером в трубу и они исчезли бы навсегда.

Этого, однако, не случилось. С наступлением темноты кот, Поль и миссис Пипчин неизменно находились на своих обычных местах; и Поль, избегая общества мистера Байтерстона, продолжал изучать по вечерам миссис Пипчин, кота и огонь, точно это был трактат о некромантии в трех томах.

Миссис Уикем давала свое собственное толкование странностям Поля и, укрепившись в дурном расположении духа, чему виной был смущающий вид дымовых труб, открывающийся из комнаты, где она обычно сидела, а также завывание ветра и скука (убийственная скука, как выражалась энергичически миссис Уикем) теперешнего ее существования, выводила самые мрачные заключения из вышеупомянутых посылок. В правила миссис Пипчин входило удерживать ее собственную «молодую девку» — таково было у миссис Пипчин родовое имя для служанок — от общения с миссис Уикем: на это она тратила много времени, прячась за дверьми и пугая эту преданную девицу, как только та приближалась к комнате миссис Уикем. Но Бери имела право поддерживать общение с этой частью дома, если оно не препятствовало исполнению различных дел, которыми она занималась непрерывно с утра до ночи; и в разговоре с Бери миссис Уикем облегчала душу.

— Какой он хорошенький мальчуган, когда спит! — сказала как-то вечером Бери, принеся ужин миссис Уикем и приостановившись, чтобы посмотреть на спящего Поля.

— Ах! — вздохнула миссис Уикем. — Так и должно быть.

— Ну, он неплох, и когда не спит, — заметила Бери.

— Да, сударыня. О да! Такой была и дочь моего дяди, Бетси Джейн, — сказала миссис Уикем.

Бери, казалось, не прочь была проследить, какая связь существовала между Полем Домби и дочерью дяди миссис Уикем, Бетси Джейн.

— Жена моего дяди, — продолжала миссис Уикем, — умерла точь-в-точь так же, как его мама. Дочь моего дяди горевала точь-в-точь так же, как мистер Поль. Дочь моего дяди иной раз замораживала кровь в жилах у людей, вот что!

— Как? — спросила Бери.

— Я бы не согласилась просидеть ночь напролет наедине с Бетси Джейн, — сказала миссис Уикем, — даже и том случае, если бы вы дали возможность Уикему открыть на следующее утро свое собственное дело. Я бы не могла это сделать, мисс Бери.

Мисс Бери, естественно, спросила — почему. Но миссис Уикем, следуя обычаю многих леди в

ее положении, продолжала развивать свою мысль без всяких угрызений совести.

— Бетси Джейн, — сказала миссис Уикем, — была таким милым ребенком, какого только можно пожелать. Лучшего я бы не могла пожелать. Всеми болезнями, какие только могут быть у детей, Бетси Джейн переболела. Судороги бывали у нее так же часто. — сказала миссис Уикем, — как у вас чирьи, мисс Бери.

Мисс Бери невольно сморщила нос.

— Но за Бетси Джейн, когда она была в колыбели. — сказала миссис Уикем, понижая голос и окидывая взглядом комнату и Поля в кровати, — ухаживала ее покойная мать. Я не могла бы сказать — как, и не могла бы сказать — когда, и не могла бы сказать, знало ли об этом милое дитя или не знало, но за Бетси Джейн присматривала ее мать, мисс Бери! Вы можете сказать — вздор! Я не обижусь, мисс. Надеюсь, вы, не кривя душой, будете считать это вздором; тогда вы увидите, что тем легче будет у вас на сердце в этом — простите, что я так откровенно выражаюсь, — в этом склепе, который сводит меня в могилу. Мистер Поль как-то беспокойно спит. Пожалуйста, похлопайте его по спине.

— Конечно, вы полагаете, — сказала Бери, ласково исполняя то, о чем ее просили, — что и его выходила мать?

— Бетси Джейн, — самым торжественным тоном отвечала миссис Уикем, — приходилось так же худо, как и этому ребенку, и она изменилась так же, как изменился этот ребенок. Частенько случалось мне видеть, как она сидит и думает, думает, передумывает так же, как он. Частенько случалось мне видеть ее такой же старой, старой, старой, как он. Я считаю, мисс Бери, что этот ребенок и Бетси Джейн находятся в совершенно одинаковом положении.

— Дочь вашего дяди жива? — спросила Бери.

— Да, мисс, жива, — отвечала миссис Уикем с торжествующим видом, ибо ясно было, что мисс Бери ждала обратного, — и замужем за серебряных дел мастером. О да, мисс, она-то жива, — сказала миссис Уикем с сильным ударением на местоимении.

Так как было очевидно, что кто-то умер, племянница миссис Пипчин осведомилась — кто.

— Мне бы не хотелось вас тревожить, — отвечала миссис Уикем, продолжая ужинать. — Не спрашивайте меня.

Это был вернейший путь к тому, чтобы ее снова спросили. Поэтому мисс Бери повторила вопрос, и после некоторого сопротивления и колебаний миссис Уикем положила нож и, снова окинув взглядом комнату и Поля в кровати, отвечала:

— Она вдруг привязывалась к людям; чудно привязывалась иной раз; а некоторые привязанности у нее были такие, каких и следовало ждать, но только сильнее, чем обычно. Все эти люди умерли.

Племяннице миссис Пипчин это показалось столь неожиданным и страшным, что она выпрямилась на жестком крае кровати, прерывисто дыша и с нескрываемым испугом глядя на рассказчицу.

Миссис Уикем осторожно махнула указательным пальцем левой руки в сторону кровати, на которой спала Флоренс; затем опустила его вниз и несколько раз выразительно указала на пол: как раз под ними находилась гостиная, где миссис Пипчин имела обыкновение поедать гренки.

— Попомните мои слова, мисс Бери, — сказала миссис Уикем, — и будьте благодарны, что мистер Поль не очень вас любит. Уверяю вас, я благодарна, что меня он не очень любит, хотя не велика радость жить в этой — простите, что я так откровенно выражаюсь, — в этой тюрьме!

Быть может, волнение побудило мисс Бери слишком сильно похлопать Поля по спине или же прервало ее успокоительно монотонные движения, — как бы ни было, но в этот момент он повернулся в своей постельке, проснулся, сел — головка у него была горячая и влажная после какого-то детского сна — и позвал Флоренс.

Флоренс вскочила с постели, как только раздался его голос, и, склонившись над его подушкой, снова убаюкала его песней. Миссис Уикем, покачивая головой и роняя слезы, указала Бери на маленькую группу и воздела глаза к потолку.

— Спокойной ночи, мисс! — тихо промолвила Уикем. — Спокойной ночи! Ваша тетка — старая леди, мисс Бери, и вы должны быть готовы к этому.

Такое утешительное напутствие миссис Уикем сопровождала скорбно-прочувственным взглядом и, оставшись одна с двумя детьми и слушая, как жалобно завывает ветер, предалась меланхолии —

этому самому дешевому и доступному наслаждению, — пока ее не одолела дремота.

Хотя племянница миссис Пипчин, спускаясь вниз, не думала, что узрит этого образцового дракона простертым на коврик у камина, однако она почувствовала облегчение, увидев тетку необычайно сварливой и сердитой и, по всей вероятности, собирающейся прожить многие годы на утешение всем, кто ее знал. Никаких признаков упадка у нее не наблюдалось и в течение следующей недели, на протяжении коей диетические яства исчезали с регулярной последовательностью, несмотря на то, что Поль изучал ее так же внимательно, как и раньше, и занимал обычное свое место между черными юбками и каминной решеткой с непоколебимым постоянством.

Но так как сам Поль по истечении этого срока не стал сильнее, чем был по приезде, для него добыли колясочку, в которой он очень комфортабельно мог лежать с азбукой и другими начальными учебниками, в то время как его везли к морскому берегу. Верный своим странным вкусам, он отверг краснощекого подростка, который должен был возить эту коляску, и вместо него выбрал его деда, сморщенную старика с лицом, напоминающим краба, в потертом клеенчатом костюме, — старика, который, хорошо просолившись в морской воде, стал жестким и жилистым и от которого пахло водорослями, покрывавшими морской берег во время отлива.

С этим примечательным слугой, катившим коляску, с Флоренс, всегда шедшей рядом, и с погруженной в уныние Уикем, замыкавшей шествие, он спускался ежедневно к берегу океана; и здесь он часами сидел или лежал в своей коляске, и ничто так не огорчало его, как присутствие других детей, — за исключением одной только Флоренс.

— Уходите, пожалуйста, — говорил он детям, которые приходили посидеть с ним. — Благодарю вас, но вы мне не нужны.

Случалось, детский голосок под самым его ухом спрашивал, как он себя чувствует.

— Очень хорошо, благодарю вас, — отвечал он. — Но вы, пожалуйста, идите и играйте.

Потом он повертывал голову, смотрел вслед уходящему ребенку и говорил Флоренс:

— Нам никого больше не надо, правда? Поцелуй меня, Флой.

В такие минуты ему неприятно было даже присутствие Уикем, и он радовался, когда она, по обыкновению своему, уходила искать раковины и знакомых. Любимое его местечко было самое уединенное, куда не заглядывало большинство гуляющих; и если Флоренс сидела подле него с работой, или читала ему, или разговаривала с ним, а ветер дул ему в лицо и вода подступала к колесам его коляски — ему больше ничего не было нужно.

— Флой, — сказал он однажды, — где Индия, в которой живут родные этого мальчика?

— О, далеко, далеко отсюда, — сказала Флоренс, поднимая глаза от работы.

— Нужно ехать несколько недель? — спросил Поль.

— Да, дорогой. Много недель, днем и ночью.

— Если бы ты была в Индии, Флой, — сказал Поль, помолчав минуту, — я бы... Что сделала мама? Я забыл.

— Любила меня! — подсказала Флоренс.

— Нет, нет. Разве сейчас я не люблю тебя, Флой?.. Как это?.. Умерла... Если бы ты была в Индии, я бы умер, Флой.

Она поспешно отложила работу и, лаская его, опустила голову на его подушку. И она умерла бы, если бы он был там. — сказала она. Скоро он будет чувствовать себя лучше.

— О, мне теперь гораздо лучше! — отвечал он. — Я не то хотел сказать. Я хочу сказать, что умер бы от огорчения и от того, что был бы один, Флой.

Однажды он заснул и долго спал спокойно. Внезапно проснувшись, он прислушался, встрепетнулся, сел и продолжал к чему-то прислушиваться.

Флоренс спросила его, что ему послышалось.

— Я хочу знать, что оно говорит, — ответил он, пристально глядя ей в лицо. — Море, Флой, — о чем оно говорит все время?

Она ответила, что это только шум набегающих волн.

— Да, да, — сказал он. — Но я знаю, что они всегда что-то говорят. Всегда одно и то же. А что там, за морем?

Он привстал, жадно всматриваясь вдаль.

Она отвечала ему, что там другая страна. Он не об этом думает, — сказал он; он думает о том,

что там дальше... дальше!

С тех пор очень часто во время разговора он умолкал, стараясь понять, о чем это всегда говорят волны, и приподнимался в коляске, чтобы посмотреть туда, где лежит этот невидимый далекий край.

Глава IX, в которой Деревянный Мичман попадает в беду

Та смесь романтики и любви к чудесному, которая была в большой степени свойственна натуре юного Уолтера и которую опека его дяди, старого Соломона Джилса, не очень-то смыла водами сурового житейского опыта, привела к тому, что он отнесся с необычайным и восторженным интересом к приключению Флоренс у доброй миссис Браун. Он упивался им и лелеял его в своей памяти, в особенности ту часть его, которая имела к нему отношение, пока оно не стало избалованным детищем его фантазии, не завладело и не начало распоряжаться ею самовластно.

Воспоминание об этом происшествии и его собственном участии в нем сделалось, быть может, еще пленительнее благодаря еженедельным воскресным мечтаниям старого Соля и капитана Катля. Вряд ли хоть одно воскресенье прошло без таинственных намеков на Ричарда Виттингтона, брошенных кем-либо из этих почтенных друзей; а капитан Катль так далеко зашел, что даже купил весьма старинную балладу, которая долго болталась вместе с многими другими, выражавшими главным образом чувства моряков, на глухой стене на Комершел-роуд; это поэтическое произведение повествовало об ухаживании и бракосочетании подающего надежды юного грузчика угля с некоей «красоткой Пэг», весьма достойной дочкой шкипера и совладельца ньюкаслского угольного судна. В этой волнующей легенде капитан Катль усматривал глубокое философское сходство с положением Уолтера и Флоренс, и она действовала на него столь возбуждающе, что в торжественных случаях, как, например, в дни рождения и в некоторые другие нецерковные праздники, он во все горло распевал эту песню в маленькой гостиной, выводя поразительную трель в слове «Пэ-э-эг», которым, в честь героини произведения, заканчивался каждый куплет.

Но простодушный, веселый, общительный мальчик не очень склонен анализировать природу своих собственных чувств, как бы сильно они им ни владели; и Уолтеру трудно было бы разрешить эту задачу. Он очень полюбил верфь, где встретил Флоренс, и улицы (вовсе не привлекательные), по которым они шли домой. Башмаки, которые так часто спадали по дороге, он хранил у себя в комнате; а сидя как-то вечером в маленькой задней гостиной, он нарисовал целую галерею воображаемых портретов Доброй миссис Браун. Быть может, после этого памятного события он начал больше заботиться о своем костюме; и несомненно ему доставляло удовольствие в часы досуга ходить в тот квартал, где находился дом мистера Домби, с туманной надеждой встретить на улице маленькую Флоренс. Но отношение у него ко всему этому было совсем мальчишеское и наивное. Флоренс была очень хорошенькой, а любоваться хорошеньким личиком приятно. Флоренс была беззащитной и слабой, и он с гордостью думал о том, что ему удалось оказать ей покровительство и помощь. Флоренс была самым благодарным маленьким созданием в мире, и очаровательно было видеть ее лицо, светившееся горячей благодарностью. На Флоренс не обращали внимания и относились к ней с холодным пренебрежением, и сердце его преисполнилось юношеского интереса к заброшенному ребенку в скучном, величественном доме.

Вот почему случилось так, что, быть может, несколько раз в течение года Уолтер раскланивался с Флоренс на улице, а Флоренс останавливалась, чтобы пожать ему руку. Миссис Уикем (которая, переделывая на свой лад его фамилию, неизменно называла его «молодым Грейвом»⁴³), зная историю их знакомства, так привыкла к этому, что никакого внимания не обращала. С другой стороны, мисс Нипер скорее искала этих встреч; ее чувствительное юное сердце было втайне расположено к миловидному Уолтеру и склонно верить, что это чувство не остается без ответа.

Таким образом, Уолтер не только не забывал впечатления от знакомства с Флоренс, но оно глубже и глубже запечатлевалось в его памяти. Что касается необычайною его начала и всех мелких обстоятельств, придававших ему особый характер и прелесть, он относился к ним скорее как к зани-

⁴³ *Фамилия Уолтера* — Гэй (веселый), но м-с Уикем называла его «Грейв» (мрачный).

мательному рассказу, пленявшему его воображение и не выходявшему у него из головы, чем к подлинному событию, в котором он играл какую-то роль. По его мнению, эта встреча выдвигала на первый план Флоренс, но не его. Иногда он думал (и тогда шагал очень быстро), как было бы чудесно, — уйди он в плавание на следующий день после этой первой встречи; за морем он совершал бы чудеса, после долгого отсутствия вернулся бы адмиралом, сверкающим всеми цветами радуги, как дельфин, или по крайней мере капитаном почтового судна с нестерпимо блестящими эполетами, женился бы на Флоренс (к тому времени красивой молодой женщине), невзирая на зубы, галстук и часовую цепочку мистера Домби, и с торжеством увез бы ее куда-нибудь к лазурным берегам. Но эти полеты фантазии редко покрывали медную табличку конторы Домби и Сына глянцем золотой надежды или бросали ослепительный блеск на грязные окна в потолке; и когда капитан и дядя Соль толковали о Ричардс Виттингтоне и хозяйских дочерях, Уолтер чувствовал, что понимает настоящее свое положение у Домби и Сына гораздо лучше, чем они.

Вот почему он изо дня в день продолжал делать то, что должен был делать, бодро, усердно и весело; видел насквозь дядю Соля и капитана Катля с их розовыми надеждами и, однако, упивался своими собственными смутными и фантастическими мечтами, по сравнению с которыми их мечты были будничными и осуществимыми. Таково было его положение в эпоху миссис Пипчин, когда он казался немного старше, чем был раньше, но оставался все тем же живым, беззаботным, легкомысленным мальчиком, как в тот день, когда ворвался в гостиную, ведя за собой дядю Соля и воображаемых сотрапезников, и светил ему во время поисков той самой мадеры.

— Дядя Соль, — сказал Уолтер, — мне кажется, вы нездоровы. Вы ничего не ели за завтраком. Если так будет продолжаться, я приглашу доктора.

— Он не может дать то, что мне нужно, мой мальчик, — сказал дядя Соль. — А если может — значит у него прекрасная практика... и все-таки он не даст.

— Что же это такое, дядя? Покупатели?

— Да, — со вздохом отвечал дядя Соль. — Покупатели пригодились бы.

— Черт возьми, дядя! — воскликнул Уолтер, со стуком поставив чашку и хлопнув рукой по столу. — Когда я вижу, как люди толпами ходят целый день по улице и десятками снуют каждую минуту мимо лавки, меня так и подмывает выскочить, схватить кого-нибудь за шиворот, притащить сюда и заставить его купить на пятьдесят фунтов инструментов за наличные деньги. Ну, что вы там рассматриваете у двери? — продолжал Уолтер, обращаясь к старому джентльмену с напудренной головой (так, чтобы тот, разумеется, не слышал), который во все глаза смотрел на морскую подзорную трубу. — От этого никакого толку нет. Так я и сам могу! Войдите и купите ее.

Но старый джентльмен, удовлетворив свое любопытство, спокойно пошел дальше.

— Ушел! — воскликнул Уолтер. — Все они так. Но, дядя... послушайте, дядя Соль, — старик задумался и не отозвался на первое его обращение, — не унывайте! Не теряйте бодрости, дядя. Уж когда начнут поступать заказы, их будет такая куча, что вы не в состоянии будете исполнить все.

— Все уже будет исполнено, когда они начнут поступать, мой мальчик, — отвечал Соломон Джилс. — Не поступят они в эту лавку, покуда я из нее не выйду.

— Послушайте, дядя! Право же, вы не должны так говорить! — убеждал Уолтер. — Не надо!

Старый Соль пытался принять бодрый вид и как только мог весело улыбнулся ему через маленький стол.

— Ничего особенного не случилось, правда, дядя? — спросил Уолтер, облакачиваясь на поднос и наклоняясь вперед, чтобы говорить более ласково. — Если что-нибудь случилось, будьте со мной откровенны, дядя, и расскажите мне все.

— Нет! Нет! Нет! — отвечал старый Соль. — Особенного? Нет! Нет! Что же особенного могло случиться?

В ответ Уолтер недоверчиво покачал головой.

— Вот это я и хочу знать, — сказал он, а вы спрашиваете меня. Послушайте, что я вам скажу, дядя: когда я вас вижу таким, как сейчас, я, право, жалею, что живу с вами.

Старый Соль невольно раскрыл глаза.

— Да. Хотя не было еще человека счастливее, чем счастлив я с вами сейчас, — и так было всегда, но, право же, я жалею, что с вами живу, когда вижу, что вас что-то беспокоит.

— Тогда я бываю скучным, я это знаю, — заметил Соломон, покорно потирая руки.

— Вот что я хочу сказать, дядя Соль, — продолжал Уолтер, наклоняясь еще ближе, чтобы хлопнуть его по плечу, — тогда я чувствую, что вместо меня должна была бы сидеть здесь с вами и разливать чай славная, маленькая, пухленькая жена — чудесная, тихая, приятная старая леди, которая была бы вам под пару и знала бы, как обращаться с вами и поддерживать доброе расположение духа. Такого любящего племянника, как я, никогда еще не бывало (а я, конечно, и не мог быть иным), но ведь я — всего-навсего племянник и не могу быть вам таким другом, когда вы пасмурны и не в своей тарелке, каким стала бы она много лет назад, хотя, право же, я бы отдал, что угодно, только бы подбодрить вас. Так вот, говорю я, когда я вижу, что вас что-то беспокоит, тогда мне жаль, что нет около вас кого-нибудь получше, чем такой бестолковый, грубый мальчишка, как я, у которого есть желание утешить вас, дядя, но нет уменя... нет уменя, — повторил Уолтер, наклоняясь еще ближе, чтобы пожать руку дяде.

— Уоли, дорогой мой мальчик, — сказал Соломон, — если бы приятная старая леди и расположилась в этой гостиной сорок пять лет тому назад, все равно я бы не мог любить ее больше, чем люблю тебя.

— Я это знаю, дядя Соль, — отвечал Уолтер. — Клянусь богом, я это знаю. Но вы не сгибались бы под бременем таинственных забот, если бы она была с вами, потому что она бы знала, как избавить вас от них, а я не знаю.

— Нет, нет! И ты знаешь, — возразил инструментальный мастер.

— Ну, так что же случилось, дядя Соль? — ласково спросил Уолтер. — Скажите! Что случилось?

Соломон Джилс настаивал на том, что ничего не случилось, и утверждал это так решительно, что племяннику ничего не оставалось делать, как весьма неискусно притвориться, будто он ему поверил.

— Я одно могу сказать, дядя Соль: если что-нибудь...

— Но ничего не случилось, — сказал Соломон.

— Отлично, — отвечал Уолтер. — Стало быть, мне больше нечего сказать, и это очень хорошо, потому что мне пора идти на службу. Я загляну мимоходом, дядя, посмотреть, как у вас дела. И помните, дядя! Больше я никогда не буду вам верить и никогда не буду рассказывать о мистере Каркере-младшем, если узнаю, что вы меня обманываете!

Соломон Джилс, смеясь, посоветовал ему узнать что-нибудь в этом роде, и Уолтер, обдумывая всевозможные несбыточные планы сколотить состояние и создать Деревянному Мичману независимое положение, отправился в контору Домби и Сына с таким мрачным видом, с каким обычно туда не являлся.

В те дни жил за углом — в самом конце Бишопстет-стрит — некий Броли, присяжный маклер и оценщик, который имел лавку, где всевозможная подержанная мебель выставлена была в самом нелепом виде и в положении и комбинациях, совершенно чуждых ее назначению. Дюжины стульев, прицепленных к умывальникам, которые с трудом взгромоздились на плечи буфетов, взобравшихся, в свою очередь, на перевернутые обеденные столы, гимнастически задиравшие ноги на других обеденных столах, были расположены еще в сравнительном порядке. Десертный прибор, состоявший из крышек для блюд, рюмок и графинов, был расставлен на лоне кровати с балдахином для развлечения такой приятной компании, как три-четыре кочерги и лампа из холла. Комплект оконных занавесок, которые не подошли бы ни к одному окну, изящно драпировал баррикаду из комодов, заставленных аптекарскими пузырьками, — тогда как бездомный каминный коврик, разлученный со своим природным другом — очагом, в несчастье своем храбро противостоял резкому восточному ветру и трепетал в меланхолическом согласии с пронзительными жалобами кабинетного пианино, которое чахло, теряя ежедневно по струне и слабо откликаясь на уличный шум своим дребезжащим и больным мозгом. Что касается неподвижных часов, которые и пальцем не могли пошевелить и, казалось, так же неспособны были идти нормальным ходом, как и денежные дела прежних их владельцев, то их было много в лавке мистера Броли; а всевозможные зеркала, случайно расставленные так, что давали отражения и преломления с закономерностью нарастания сложных процентов, являли глазу вечную перспективу банкротства и разорения.

Сам мистер Броли был румяным, курчавым, плотным человеком с влажными глазами и покла-

дистым нравом, ибо эта порода Гаев Мариев, сидящих на развалинах чужого Карфагена⁴⁴, всегда сохраняет хорошее расположение духа. Иной раз он заглядывал в лавку Соломона, дабы задать какой-нибудь вопрос об инструментах, с которыми имел дело Соломон, и Уолтер знал его достаточно, чтобы здороваться с ним, встречаясь на улице; но так как этим и ограничивалось знакомство маклера с Соломоном Джилсом, то Уолтер немало удивился, когда, вернувшись до полудня, согласно своему обещанию, застал мистера Броли, который сидел в задней гостиной, засунув руки в карманы и повесив шляпу за дверью.

— Ну, что, дядя Соль? — сказал Уолтер. Старик понуро сидел по другую сторону стола, а очки его находились каким-то чудом на носу, а не на лбу. — Как вы теперь себя чувствуете?

Соломон покачал головой и махнул рукой в сторону маклера, как бы представляя его.

— Что-нибудь случилось? — затаив дыхание, спросил Уолтер.

— Нет, нет! Ничего не случилось, — сказал мистер Броли. — Пусть это вас не тревожит.

Уолтер с немым изумлением переводил взгляд с маклера на дядю.

— Дело в том, — сказал мистер Броли, — что тут есть неоплаченный вексель — триста семьдесят с лишним. Вексель просрочен и попал ко мне.

— Попал к вам? — воскликнул Уолтер, окидывая взглядом лавку.

— Да, — сказал мистер Броли конфиденциальным тоном, покачивая при этом головой, как будто настаивал на том, что им всем надлежит чувствовать себя прекрасно. — Исполнительный приказ о взыскании. Вот что это значит. Пусть это вас не тревожит. Я пришел сам, чтобы все было сделано тихо и мирно. Вы меня знаете. Никакой огласки не будет.

— Дядя Соль! — пробормотал Уолтер.

— Уоли, мой мальчик, — отозвался дядя, — это случилось впервые. Такой беды никогда еще со мной не бывало. Я слишком стар, чтобы начинать сначала.

Снова сдвинув очки на лоб (ибо они больше уже не могли скрыть его волнение), он заслонил лицо рукой и заплакал, и слезы закапали на его кофейного цвета жилет.

— Дядя Соль! Пожалуйста! Ох, не надо! — воскликнул Уолтер, который буквально оцепенел от ужаса при виде плачущего старика. — Ради бога, не надо этого! Мистер Броли, что же мне делать?

— Я бы вам посоветовал отыскать какого-нибудь друга, — сказал мистер Броли, — и потолковать с ним.

— Совершенно верно! — вскричал Уолтер, хватаясь за соломинку. — Правильно! Благодарю вас. Капитан Катль — вот кто нам нужен, дядя. Подождите, пока я сбегаю к капитану Катлю. Пожалуйста, присмотрите за дядей, мистер Броли, и постарайтесь его успокоить, пока меня нет. Не отчаивайтесь, дядя Соль. Не падайте духом, держитесь молодцом!

Выпалив все это с большим жаром и не обращая внимания на бессвязные возражения старика, Уолтер выскочил сломя голову из лавки и, сбежав в контору, чтобы испросить разрешение на отлучку по случаю внезапной болезни дяди, пустился во всю прыть к жилищу капитана Катдя.

Все как будто изменилось, когда он бежал по улицам. Была обычная суতোлка и шум двуколок, ломовых телег, omnibusов, подвод и пешеходов, но несчастье, постигшее Деревянного Мичмана, сделало все каким-то чужим и новым. Дома и лавки были не те, что прежде, и на фасадах только и можно было видеть, что полномочие мистера Броли, написанное крупными буквами. Маклер, казалось, завладел даже церквями, ибо шпили их как-то непривычно вздымались к небу. Даже само небо изменилось, и казалось, на нем был начертан исполнительный приказ.

Капитан Катль жил на берегу маленького канала около Индийских доков, где был разводной мост, который время от времени раздвигался, чтобы пропустить какое-нибудь странствующее чудовище — судно, пробиравшееся вдоль улицы подобно выброшенному на мель Левиафану. Любопытен был постепенный переход от суши к воде по мере приближения к жилищу капитана Катля. Он начинался с торчащих флагштоков как неотъемлемой принадлежности трактиров; затем шли лавки мат-

⁴⁴ ...эта порода Гаев Мариев, сидящих... — Диккенс иронически сравнивает маклера Броли с римским полководцем Гаем Марием (156—86 годы до н. э. К побежденным в гражданской войне Суллой и бежавшим в Африку; согласно легенде, он сказал одному из воинов: «Передай претору, что ты видел беглеца Гая Мария сидящим на развалинах Карфагена»; в отличие от римского полководца маклер Броли сохранял прекрасное расположение духа.

росского платья с вязаными куртками, зюйдвестками и самыми прочными и самыми широкими парусиновыми штанами, вывешенными снаружи. За ними следовали кузницы, где ковали якоря и цепи, где большие молоты целый день били со звоном по железу, затем шли ряды домов с маленькими увенчанными флюгером мачтами, поднимающимися из зарослей красных бобов. Затем канавы. Затем подстриженные ивы. Затем снова канавы. Затем какие-то странные полосы грязной воды, едва различимые из-за судов, покрывавших их. Затем в воздухе повеяло запахом стружек; и все прочие ремесла вытеснило изготовление мачт, весел, блоков и постройка лодок. Затем почва стала болотистой и вязкой. Затем уже ничем не пахло, кроме рома и сахара. Затем на Бриг-Плейс как раз перед вами возникало жилище капитана Катля, где второй этаж был в то же время и самым верхним.

Капитан был одним из тех людей, у кого одеяние и тело как будто вытесаны из одного куска дуба; самое пылкое воображение едва ли может отделить от них хотя бы незначительную часть их одежды. Поэтому, когда Уолтер постучал в дверь, а капитан тотчас высунул голову из маленького окошка, выходящего на улицу, и окликнул его, причем, как всегда, на нем уже была надета твердая глянцевиная шляпа, рубашка с воротничком, концы которого походили на паруса, и просторный синий костюм, — Уолтер был совершенно убежден, что он всегда пребывает в таком виде, точно капитан был птицей, а костюм — его оперением.

— Уолтер, мой мальчик! — сказал капитан Катль. — Держись крепче и постучи еще раз. Погромче! Сегодня стирка.

Уолтер в нетерпении оглушительно застучал дверным кольцом.

— Вот это здорово! — сказал капитан Катль и тотчас спрятался, словно ждал шквала.

И он не ошибся; ибо вдовствующая леди с рукавами, засученными до плеч, и руками, покрытыми мыльной пеной и дымящимися от горячей воды, явилась на призыв с поразительной быстротой. Прежде чем посмотреть на Уолтера, она взглянула на дверное кольцо, а затем, смерив взглядом мальчика с головы до ног, выразила удивление, что кольцо уцелело.

— Насколько мне известно, капитан Катль дома, — сказал Уолтер с заискивающей улыбкой.

— Дома? — отвечала вдовствующая леди. — Вот как!

— Он только что говорил со мной, — торопливо пояснил Уолтер.

— Говорил? — отозвалась вдовствующая леди. — В таком случае, быть может, вы передадите ему привет от миссис Мак-Стинджер и скажете, что в следующий раз, когда он унизит себя и свою квартиру, переговариваясь через окно, она будет ему признательна, если он также спустится вниз и откроет дверь.

Миссис Мак-Стинджер говорила громко и прислушивалась, не последует ли каких-нибудь замечаний из второго этажа.

— Я передам, — сказал Уолтер, — если вы будете любезны и впустите меня, сударыня.

Дело в том, что его удерживало деревянное укрепление, тянувшееся поперек двери и возведенное здесь для того, чтобы юные Мак-Стинджеры в часы досуга не скатились со ступенек.

— Смею надеяться, — презрительно сказала миссис Мак-Стинджер, — что парень, который может вышибить мою дверь, сумеет и перепрыгнуть через это.

Но когда Уолтер принял ее слова за разрешение войти и перепрыгнул, миссис Мак-Стинджер немедленно спросила, является ли дом англичанки ее крепостью⁴⁵ или нет, и неужели к ней может врываться любой бездельник.

Желание ее получить сведения о сем предмете было все еще очень велико, когда Уолтер, поднявшись по маленькой лестнице сквозь искусственный туман, вызванный стиркой, вследствие коей перила покрылись липким потом, вошел в комнату капитана Катля и застал этого джентльмена в засаде за дверью.

⁴⁵ ...является ли дом англичанки ее крепостью... — Формула: «Дом англичанина — его крепость» — отголосок правовых воззрений эпохи феодализма — нашла отражение в сочинениях знаменитого юриста XVII века Эдуарда Кока, защищавшего право англичан, находящихся в границах своего домовладения, не подчиняться законным распоряжениям властей; разумеется, с течением времени эта формула потеряла реальное значение, и анахронизмом уже в начале XVIII века являлось, например, запрещение бейлифу (см. ниже) требовать у должника или у его домочадцев впуска в дом для вручения исполнительного листа; бейлиф должен был подстергать неисправного должника на улице, чтобы вручить ему документ; в эпоху Диккенса такого ограничения уже не было.

— Никогда ни одного пенни не был ей должен, Уольр, — шепотом сказал капитан Катль, а лицо его явно выражало смятение. — Оказывал ей кучу услуг и детям ее. Все-таки по временам она ведьма. Тьфу!

— Я бы отсюда выехал, капитан Катль, — сказал Уолтер.

— Не смею, Уольр, — возразил капитан. — Она меня отыщет, куда бы я ни ушел. Садись. Что Джилс?

Капитан (в шляпе) сидел за обедом, состоявшим из холодной баранины, портера и дымящегося горячего картофеля, который он сам варил и по мере надобности вынимал из небольшой кастрюли, помещавшейся над огнем в камине. В обеденное время он отвинчивал свой крючок и вместо него ввинчивал в деревянное гнездо нож, которым уже начал очищать картофелину для Уолтера. Комнатушки у него были маленькие и пропахшие табачным дымом, но довольно уютные: все вещи были уложены и расставлены так тщательно, словно здесь каждые полчаса случалось землетрясение.

— Что Джилс? — осведомился капитан.

Уолтер, который к тому времени отдышался, но зато утратил бодрость — временный подъем, вызванный быстрой ходьбой, — посмотрев с минуту на вопрошавшего, сказал:

— О капитан Катль! — и залился слезами.

Нет слов изобразить ужас капитана, вызванный этим зрелищем. Образ миссис Мак-Стинджер совершенно стерся. Он уронил картофелину и вилку — уронил бы и нож, если бы это было возможно, и сидел, глядя на мальчика, словно приготовился услышать тотчас же, что земля в Сити разверзлась и поглотила его старого друга, кофейного цвета костюм, пуговицы, хронометр, очки и все прочее.

Но когда Уолтер сообщил ему, что, в сущности, произошло, капитан Катль после минутного раздумья обнаружил живую деятельность. Он выложил из маленькой металлической чайницы, стоявшей на верхней полке буфета, весь свой наличный капитал (равнявшийся тринадцати фунтам и полукроне), каковой препроводил в один из карманов своего широкого синего фрака; затем обогатил это хранилище содержимым своего ящика со столовым серебром, а именно двумя стертymi скелетами чайных ложек и старомодными кривыми щипцами для сахара; извлек свои огромные серебряные с двойной крышкой часы из глубин, где они покоились, дабы удостовериться, что эта драгоценность цела и невредима; снова привинтил крючок к правому запястью и, схватив палку, усеянную шишками, предложил Уолтеру отправиться в путь. Вспомнив, однако, в разгар добродетельного своего возбуждения, что миссис Мак-Стинджер, быть может, подстерегает его внизу, капитан Катль в последний момент заколебался и даже взглянул на окно, словно у него мелькнула мысль воспользоваться этим необычным выходом, только бы не встречаться с грозным врагом. Однако он решил прибегнуть к военной хитрости.

— Уольр, — сказал капитан, робко подмигивая, — ступай вперед, мой мальчик. Когда войдешь в коридор, крикни: «До свидания, капитан Катль!» — и закрой дверь. А затем жди на углу этой улицы, покуда не увидишь меня.

Эти распоряжения вытекали из предварительного изучения тактики неприятеля, ибо когда Уолтер спустился по лестнице, миссис Мак-Стинджер подобно мстительному духу вылетела из маленькой кухни. Но, не налетев, вопреки своим ожиданиям, на капитана, она только упомянула еще раз о дверном кольце и снова влетела в кухню.

Прошло минут пять, прежде чем капитан Катль собрался с духом и отважился на побег, так как Уолтер ждал именно столько времени на углу, оглядываясь на дом и не видя никаких признаков твердой глянцевитой шляпы. Наконец капитан выскочил из двери со скоростью ядра, подошел к нему стремительно и ни разу не оглянулся, а как только они покинули эту улицу, начал насвистывать песенку.

— Дядя сильно накренился, Уольр? — осведомился капитан, когда они шли по улице.

— Боюсь, что да. Если бы вы его видели сегодня утром, вы бы никогда этого не забыли.

— Шагай быстрее, Уольр, мой мальчик, — сказал капитан, прибавив шагу, — и так же быстро ходи во все дни твоей жизни. Перелистай катехизис, чтобы отыскать этот совет, и следуй ему!

Капитан был слишком занят своими мыслями о Соломоне Джилсе, к которым примешивалось, быть может, и воспоминание о недавнем бегстве от миссис Мак-Стинджер, чтобы приводить дорогой еще какие-нибудь цитаты в интересах нравственного усовершенствования Уолтера. Больше они не

обменялись ни словом, пока не подошли к двери старого Соля, где злополучный Деревянный Мичман с инструментом у глаза, казалось, обозревал горизонт в поисках друга, который помог бы ему выпутаться из беды.

— Джилс! — сказал капитан, вбегая в заднюю гостиную и с большой нежностью беря его за руку. — Держитесь носом против ветра, и мы пробьемся. Единственное, что вы должны делать, — продолжал капитан с важностью человека, изрекающего одно из драгоценнейших практических правил, когда-либо открытых человеческой мудростью, — это держаться носом против ветра — и мы пробьемся!

Старый Соль ответил на рукопожатие и поблагодарил друга. Затем капитан Катль с торжественностью, приличествующей моменту, положил на стол две чайных ложки и щипцы для сахара, серебряные часы и наличные деньги и спросил маклера мистера Броли, велик ли долг.

— Послушайте! Хватит вам этого? — спросил капитан Катль.

— Господь с вами! — отвечал маклер. — Неужели вы думаете, что от этого может быть какая-нибудь польза?

— Почему бы нет? — осведомился капитан.

— Почему? Сумма равняется тремстам семидесяти с лишним, — ответил маклер.

— Не беда, — возразил капитан, хотя он был явно смущен этой цифрой. — Полагаю, любая рыба, попадающая к вам в сети, остается рыбой.

— Разумеется, — сказал мистер Броли. — Но селедка, знаете ли, не кит.

Это философическое замечание, казалось, поразило капитана. Он размышлял с минуту, поглядывая при этом на маклера, как на великого мудреца, а затем отозвал в сторону мастера судовых инструментов.

— Джилс, — сказал капитан Катль, — по какому обязательству? Кто кредитор?

— Тише, — отозвался старик. — Отойдем подальше. Не говорите при Уоли. Это поручительство за отца Уоли, старое обязательство. Я много выплатил, Нэд, но времена для меня настали такие тяжелые, что сейчас я ничего не могу поделать. Я это предвидел, но помочь ничем не мог. Ради бога, ни слова при Уоли.

— Но ведь какие-нибудь деньги у вас есть? — шепотом спросил капитан.

— Да, да... о да... кое-что у меня есть, — отвечал старый Соль, сначала засунув руки в пустые карманы, а затем ухватившись за свой валлийский парик, словно надеялся выдавить из него золото. — Но я... то небольшое, что у меня есть, нельзя обратить в наличные деньги, Нэд; Это невозможно. Я старался сделать что-нибудь для Уоли, но я старомоден и отстал от века. Они и тут и там, и... и, короче говоря, все равно что нигде, — сказал старик, растерянно озираясь.

Он так был похож на помешанного, который припрятал свои деньги в разных местах и забыл — где, что капитан следил за его взглядом, питая слабую надежду, не вспомнит ли тот о нескольких сотнях фунтов, спрятанных в дымоходе или в погребке. Но Соломон Джилс знал, что этого не случится.

— Я отстал от века, дорогой мой Нэд, — сказал Соль с покорным отчаянием, — совсем отстал. Не имеет смысла плестись за ним где-то далеко позади. Товар пусть лучше продадут — он стоит больше, чем нужно для уплаты этого долга, — а я лучше уйду куда-нибудь и покончу счеты с жизнью. Больше нет у меня энергии. Я не понимаю того, что происходит. Уж лучше проститься со всем этим. — Пусть продадут товар и снимут его, — сказал старик, указывая дрожащей рукой на Деревянного Мичмана, — и пусть мы оба пойдем на слом.

— А как вы думаете поступить с Уольром? — спросил капитан. — Ну-ну! Присядьте, Джилс, присядьте и дайте мне подумать. Если бы не приходилось мне жить на маленькую ренту, которая до сегодняшнего дня была достаточно большой, мне незачем было бы думать. А вы только держитесь носом против ветра, — сказал капитан, снова предлагая этот неопровержимый утешительный совет, — и все обойдется.

Старый Соль от души поблагодарил, но вместо того, чтобы его выполнить, встал и прислонился головой к каминной доске.

Некоторое время капитан Катль шагал взад и вперед по лавке, сосредоточенно размышляя и столь мрачно хмуря косматые черные брови, наползавшие ему на нос, словно облака, опускавшиеся на гору, что Уолтер боялся прервать каким-нибудь замечанием течение его мыслей. Мистер Броли,

который отнюдь не хотел быть в тягость обществу и который был человеком обходительным, бродил, тихо посвистывая, среди товаров, стучал по барометрам, встряхивал компасы, словно пузырьки с микстурой, поднимал ключи магнитом, смотрел в подзорные трубы, пытался усвоить правила пользования глобусами, насаживал себе на нос параллельные линейки и предавался другим физическим опытам.

— Уольр! — сказал, наконец, капитан. — Я придумал!

— Придумали, капитан Катль? — с великим воодушевлением воскликнул Уолтер.

— Иди сюда, мой мальчик, — сказал капитан — Товар — это одно обеспечение. Я — другое.

Твой патрон — вот кто даст ссуду.

— Мистер Домби? — пробормотал Уолтер. Капитан важно кивнул головой.

— Посмотри на него, — сказал он. — Посмотри на Джилса. Если начнут распродавать эти вещи, он умрет. Ты сам знаешь, что умрет. Мы должны перевернуть все вверх дном, не оставить камня на камне, — и вот тебе камень.

— Камень! Мистер Домби! — пробормотал Уолтер.

— Прежде всего сбегай в контору и узнай, там ли он, — сказал капитан Катль, хлопнув его по спине. — Живо!

Уолтер почувствовал, что должен подчиниться приказу, — один взгляд, брошенный на дядю, заставил бы его решиться, если бы он думал иначе, — и кинулся его исполнять. Вскоре он вернулся, запыхавшись, и сообщил, что мистера Домби нет в городе. Была суббота, и он уехал в Брайтон.

— Вот что я тебе скажу. Уольр, — объявил капитан, который за время его отсутствия, казалось, приготовился к такой помехе. — Мы едем в Брайтон. Я тебя поддержу, мой мальчик. Я тебя поддержу, Уольр. Мы едем в Брайтон с вечерней пассажирской каретой.

Если уже нужно было обращаться к мистеру Домби — о чем страшно было подумать, — Уолтер чувствовал, что предпочел бы сделать это один и без всякой помощи, но не прибегать к такой поддержке, как личное влияние капитана Катля, коему, по его предположениям, мистер Домби вряд ли придаст значение. Но так как капитан, по-видимому, был противоположного мнения, от которого не отступал, и так как дружеские его чувства были слишком пылки и серьезны, чтобы мог ими пренебрегать человек гораздо моложе его, то Уолтер воздержался от всяких возражений. Посему Катль, торопливо попрощавшись с Соломоном Джилсом и снова отправив в карман наличные деньги, чайные ложки, щипцы для сахара и серебряные часы, — с целью, как подумал с ужасом Уолтер, произвести потрясающее впечатление на мистера Домби, — не теряя ни минуты, повел юношу в контору пассажирских карет и по дороге несколько раз повторил, что останется верен ему до конца.

Глава X,

повествующая о последствиях, к которым привели бедствия Мичмана

Майор Бегсток, после долгих и частых наблюдений над Полем через площадь Принцессы в атральный бинокль и после многих подробных донесений об этом предмете, ежедневных, еженедельных и ежемесячных, сделанных туземцем, который с этой целью поддерживал постоянные сношения со служанкой мисс Токс, пришел к Заклучению, что Домби, сэр, — человек, с которым стоит познакомиться, и что Дж. Б. — паренек, который найдет способ завязать это знакомство.

Но так как мисс Токс оставалась сдержанной и холодно отказывалась понимать майора всякий раз, когда тот являлся (а это случалось часто), чтобы выудить какие-нибудь сведения, имеющие отношение к названному проекту, майор, невзирая на природную свою непреклонность и хитрость, поневоле должен был предоставить исполнение своего желания в какой-то мере случаю, «который, — как говаривал он, хихикая, в своем клубе, — пятьдесят раз против одного играл на руку Джоя Б., сэр, еще с той поры, как его старший брат умер от тропической лихорадки в Вест-Индии».

На этот раз случай не сразу пришел на помощь, но в конце концов все же оказал ему услугу. Когда чернокожий слуга доложил со всеми подробностями об отлучках мисс Токс в Брайтон, майор внезапно предался нежным воспоминаниям о своем друге Билле Байтерстоне из Бенгалии, который просил в письме навестить его единственного сына, если майор когда-нибудь окажется в Брайтоне. А когда тот же чернокожий слуга доложил о пребывании Поля у миссис Пипчин, а майор, заглянув в

письмо, отправленное юным Байтерстоном по прибытии в Англию, на которое ему и в голову не приходило обратить внимание, увидел представившийся ему благоприятный случай, он пришел в такое бешенство от подагры, которая как раз в это время уложила его в постель, что в ответ на полученные сведения швырнул в чернокожего слугу скамеечкой для ног и поклялся, что сведет мерзавца в могилу, прежде чем сам отправится в нее, чему чернокожий слуга весьма расположен был поверить.

Наконец майор, оправившись от приступа подагры, ворча, отбыл как-то в субботу в Брайтон с туземцем, державшимся сзади, всю дорогу обращаясь с речью к мисс Токс и упиваясь перспективой взять штурмом ее знатного друга, которого она окутала такой таинственностью и ради которого покинула его.

— Вы бы не прочь, сударыня, не прочь? — говорил майор, напыжившись от мстительных чувств; и без того разбухшие вены у него на голове разбухали еще больше. — Вы бы не прочь дать отставку Джою Б., сударыня? Рано еще, сударыня, рано! черт побери, рано еще, сэр! Джо бодрствует, сударыня. Бегсток живехонек, сэр. Дж. Б. знает кое-какие ходы, сударыня. Джош настороже, сэр. Вы убедитесь, что он непреклонен, сударыня. Джозеф непреклонен, сэр, непреклонен! Непреклонен и чертовски хитер!

И в самом деле юный Байтерстон убедился в его непреклонности, когда майор повел этого молодого джентльмена на прогулку. Майор, цветом лица напоминавший стилтонский сыр⁴⁶, и с глазами, как у креветки, блуждал, вовсе не помышляя об увеселении мистера Байтерстона, и тасил за собой мистера Байтерстона, озираясь по сторонам в поисках мистера Домби и его детей.

В конце концов майор, предварительно осведомленный миссис Пипчин, отыскал Поля и Флоренс и устремился к ним; с ними был величавый джентльмен (несомненно мистер Домби). Когда он ворвался с мистером Байтерстоном в самый центр маленького отряда, случилось, разумеется, так, что мистер Байтерстон вступил в разговор со своими товарищами по несчастью. Вслед за сим майор остановился, сосредоточил на них внимание и пришел в восторг; припомнил с изумлением, что видел их и беседовал с ними у своей приятельницы мисс Токс на площади Принцессы; заявил, что Поль — чертовски славный мальчуган и маленький его друг; осведомился, не забыл ли Поль Джоя Б., майора; и, наконец, внезапно вспомнив о приличиях, принес извинение мистеру Домби.

— Но мой маленький друг, сэр, — сказал майор, — снова превращает меня в мальчишку. Старый майор, сэр, — майор Бегсток, к вашим услугам, — не стыдится сделать такое признание. — Тут майор приподнял шляпу. — Черт возьми, сэр, — воскликнул майор с неожиданной горячностью, — я вам завидую! — Затем он опомнился и добавил: — Простите мне такую вольность.

Мистер Домби сказал, что охотно прощает.

— Старый вояка, сэр, — сказал майор, — прокопченный, загорелый, изнуренный, искалеченный старый майор, сэр, не побоялся, что его пристрастие будет осуждено таким человеком, как мистер Домби. Кажется, я имею честь разговаривать с мистером Домби?

— В настоящее время я являюсь недостойным представителем этого имени, майор, — отвечал мистер Домби.

— Клянусь дья..., сэр, — сказал майор, — это славное имя. Это имя, сэр, — твердо сказал майор, словно ждал от мистера Домби возражений и в таком случае считал бы тяжким своим долгом оборвать его, — пользуется известностью и почетом в отдаленных британских владениях. Это имя, сэр, человек узнает с гордостью. Джозефу Бегстоку чужда лесть, сэр. Его королевское высочество герцог Йорский говаривал не раз: «Джой не льстец. Он — простой старый солдат, этот Джо. Он чересчур непреклонен — этот Джозеф». Но это славное имя, сэр. Ей-богу, Это славное имя! — торжественно сказал майор.

— Вы очень любезны, майор, и цените его, быть может, выше, чем оно того заслуживает, — отвечал мистер Домби.

— Нет, сэр, — сказал майор. — Мой маленький друг, сэр, может удостоверить, что Джозеф Бегсток — прямолинейный, простодушный, откровенный человек, сэр, вот и все. Этот мальчик,

⁴⁶ ...цветом лица напоминавший стилтонский сыр... — то есть восковой, с прожилками цвета плесени; стилтонский сыр производился в городке Стилтон, в графстве Хантингдоншир, и высоко ценился любителями.

сэр, — сказал майор, понизив голос, — останется в истории. Этот мальчик, сэр, незаурядное дитя. Берегите его, мистер Домби.

Мистер Домби, казалось, дал понять, что постарается это сделать.

— Вот, сэр, еще один мальчик, — продолжал майор конфиденциальным тоном, ткнув юнца тростью, — сын Байтерстона из Бенгалии. Билл Байтерстон прежде был один из наших. Отец этого мальчика и я, сэр, были закадычными друзьями. Где бы вы ни оказались, сэр, вы только и слышали, что о Билле Байтерстоне и Джо Бегстоке. А разве я слеп к недостаткам этого мальчика? Никоим образом. Он дурак, сэр.

Мистер Домби взглянул на опороченного юного Байтерстона, о котором знал столько же, сколько и майор, и произнес с самодовольным видом:

— Неужели?

— Да, таков он есть, сэр, — сказал майор. — Он дурак. Джо Бегсток никогда не смягчает выражений. Сын моего старого друга Билла Байтерстона — дурак от рождения, сэр. — Тут майор захотел так, что стал почти черным. — Полагаю, моему маленькому другу предстоит поступить в государственную школу, мистер Домби? — оправившись, продолжал майор.

— Я еще не решил, — отвечал мистер Домби. — Вряд ли. Он слабого здоровья.

— Если он слабого здоровья, — сказал майор, — то вы правы. Только непреклонные ребята могли вынести жизнь в Сендхерсте⁴⁷, сэр. Там мы подвергали друг друга пыткам, сэр. Мы поджаривали новичков на медленном огне и вывешивали вниз головой из окна четвертого этажа. Джозефа Бегстока, сэр, вывесили из окна, придерживая за пятки, ровно на тринадцать минут по школьным часам.

В подтверждение этого факта майор мог сослаться на свое лицо. Оно и в самом деле было таким, как будто он провисел вниз головой слишком долго.

— Но школа нас сделала тем, чем мы стали, сэр, — сказал майор, поправляя брыжи. — Мы были железом, сэр, и она нас выковала. Вы живете здесь, мистер Домби?

— Обычно я приезжаю сюда раз в неделю, майор, — отвечал этот джентльмен. — Я останавливаюсь в отеле «Бедфорд».

— С вашего разрешения, сэр, я буду иметь честь навестить вас в «Бедфорде», — сказал майор. — Джой Б., сэр, не любителю делать визиты, но мистер Домби — не заурядное имя. Я весьма признателен моему юному другу за честь быть вам представленным.

Мистер Домби отвечал очень благосклонно; и майор Бегсток, погладив по голове Поля и сказав Флоренс, что ее глаза скоро будут сводить с ума молодежь — да и стариков тоже, сэр, уж коли на то пошло», — добавил майор, громко хихикая, расшевелил мистера Байтерстона своею тростью и удалился рысцой с этим молодым джентльменом; он вращал головою и покашливал с большим достоинством, покачиваясь и широко расставляя ноги.

Исполняя свое обещание, майор явился засим с визитом к мистеру Домби, а мистер Домби, наведя справку в списке военных чинов, отдал визит майору. Затем майор нанес мистеру Домби визит в Лондоне и снова появился в Брайтоне, прибыв туда в одной карете с мистером Домби. Короче говоря, мистер Домби и майор поладили удивительно хорошо и удивительно быстро, и мистер Домби заметил своей сестре по поводу майора, что он не только настоящий военный, но и нечто большее, ибо превосходно разбирается в вещах, не связанных с его профессией.

Наконец, когда мистер Домби явился в сопровождении мисс Токс и миссис Чик повидаться с детьми и снова встретил майора в Брайтоне, он пригласил его пообедать у Бедфорда и предварительно поздравил мисс Токс с таким соседом и знакомым. Несмотря на то, что эти намеки вызвали у мисс Токс сердцебиение, они отнюдь не были ей неприятны, ибо давали ей возможность быть чрезвычайно интересной и по временам обнаруживать растерянность и смятение, каковые она весьма не прочь была выставить напоказ. Майор предоставил ей немало удобных случаев проявить это волнение; за обедом он не скупился на жалобы, вызванные тем, что она покинула его и площадь Принцессы; и так как ему, по-видимому, доставляло большое удовольствие их высказывать, то все чувствовали себя прекрасно.

⁴⁷ *Сендхерст* — королевский военный колледж, основанный в 1790 году.

Завладев за столом разговором, майор не ударил лицом в грязь и обнаружил в этой области такой же огромный аппетит, как и по отношению к многочисленным яствам на столе, коими он, можно сказать, объедался, что еще более усилило его склонность воспламеняться. Так как привычная молчаливость и сдержанность мистера Домби не препятствовали подобной узурпации, майор чувствовал, что показывает себя во всем блеске и, в порыве рожденного таким образом воодушевления, выпалил такое множество новых производных от своего собственного имени, что сам себя удивил. Короче говоря, все были очень довольны. Признали, что майор обладает неистощимым запасом тем для разговора, а когда, наконец, он распрощался после затянувшегося роббера, мистер Домби еще раз поздравил зардевшуюся мисс Токс с таким соседом и знакомым.

Но на обратном пути к себе в гостиницу майор неустанно твердил себе о своей персоне: «Хитер, сэр... хитер, сэр... чертовски хитер!» А придя в гостиницу, он уселся в кресло и разразился беззвучным смехом, который иногда овладевал им и всегда производил устрашающее впечатление. На сей раз это продолжалось столько времени, что чернокожий слуга, который следил за ним, стоя поодаль, но ни за что на свете не дерзнул бы приблизиться, готов был считать его положение безнадежным. Все туловище майора и, в особенности, лицо раздулись больше, чем когда бы то ни было, и чернокожий видел перед собой только глыбу цвета индиго. Наконец у майора начался отчаянный приступ кашля, а когда ему стало полегче, он разразился следующими восклицаниями:

— Вы бы не прочь, сударыня? Не прочь? Миссис Домби, а, сударыня? Не думаю, сударыня. Нет, покуда Джо Б. еще может вставить вам палку в колеса, сударыня. Джо Б. теперь сравнялся с вами, сударыня. Он еще не вышел из игры, сэр, Бегсток не вышел. Она лукава, сэр, лукава, но Джош еще лукавее. Старина Джо не дремлет — бодрствует и смотрит во все глаза, сэр! — Не приходилось сомневаться в том, что это последнее заявление правдиво — правдиво в устрашающей мере, ибо так продолжалось большую часть ночи, которую майор провел, выпуская подобные восклицания, перемежавшиеся с припадками кашля и удушья, пугавшими весь дом.

На следующий день после этого эпизода, в воскресенье, когда мистер Домби, миссис Чик и мисс Токс сидели за завтраком, все еще воспевая хвалу майору, вбежала Флоренс с раскрасневшимся лицом и радостно сверкавшими глазами и крикнула:

— Папа! Папа! Здесь Уолтер! И он не хочет войти.

— Кто? — воскликнул мистер Домби. — О чем она говорит? Что это значит?

— Уолтер, папа, — робко сказала Флоренс, чувствуя, что слишком фамильярно приблизилась к его особе. — Который нашел меня, когда я заблудилась.

— Неужели она говорит о молодом Гэе, Луиза? — осведомился мистер Домби, сдвинув брови. — Право же, манеры у девочки стали слишком резкие. Вряд ли она говорит о молодом Гэе. Раз узнаете, пожалуйста, в чем дело.

Миссис Чик выбежала в коридор и вернулась с известием, что это молодой Гэй в сопровождении очень странного на вид человека; и молодой Гэй говорит, что не осмеливается войти, зная, что мистер Домби завтракает, а подождет, пока мистер Домби не разрешит ему явиться.

— Скажите мальчику, чтобы вошел сейчас, — заявил мистер Домби. — Ну, Гэй, в чем дело? Кто послал вас сюда? Разве, кроме вас, некому было приехать?

— Прошу прошенья, сэр, — отвечал Уолтер. — Меня не посылали. Я осмелился приехать на свой страх и надеюсь, вы меня простите, когда я объясню причину.

Но мистер Домби, не слушая его, нетерпеливо посматривал то вправо, то влево от него (как будто тот был столбом на его пути) на какой-то предмет за спиной Уолтера.

— Что это? — сказал мистер Домби. — Кто это? Полагаю, вы ошиблись дверью, сэр?

— О, извините, что я вошел не один, сэр, — быстро сказал Уолтер — но это... это капитан Катль, сэр.

— Уольер, мой мальчик, — произнес капитан басом, — держись крепче!

В то же время капитан, шагнув вперед, выставил напоказ спой синий костюм, свой бросающийся в глаза воротник рубашки и свой шишковатый нос и остановился, кланяясь мистеру Домби и вежливо помахая леди своим крючком, с твердой глянцевиной шляпой в единственной руке и с красным экватором вокруг головы, который эта шляпа недавно на ней отпечатала.

Мистер Домби взирал на этот феномен с изумлением и негодованием и как будто всем видом своим приглашал миссис Чик и мисс Токс разделить его чувства. Маленький Поль, вошедший вслед

за Флоренс, попятился к мисс Токс и занял оборонительную позицию, когда капитан замахал крючком.

— Ну, Гэй, — произнес мистер Домби, — что вы имеете мне сказать?

Снова капитан заметил в виде вступления к разговору, каковое вступление должно было расположить к благосклонности всех присутствующих:

— Уольр, держись крепче!

— Боюсь, сэр, — начал Уолтер, дрожа и не поднимая глаз, — что я позволяю себе большую вольность, являясь сюда... да, я уверен, что это так. Боюсь, что у меня не хватило бы мужества прийти к вам, сэр, даже по приезде сюда, если бы я не встретил мисс Домби и...

— Ну и что же? — сказал мистер Домби, следя за его взглядом, когда тот посмотрел на внимательно прислушивающуюся Флоренс, и невольно хмурясь, когда она ободрила его улыбкой. — Пожалуйста, продолжайте.

— Да, да, — заметил капитан, считая, что долг воспитанного человека — поддержать мистера Домби. — Прекрасно сказано! Продолжай, Уольр.

Капитану Катлю следовало бы исчезнуть от взгляда, брошенного на него мистером Домби в благодарность за такую поддержку. Однако, вовсе о том не ведая, он прищурил в ответ один глаз и, выразительно помахивая крючком, дал понять мистеру Домби, что Уолтер сначала немножко оробел, но, нужно думать, скоро разойдется.

— Сюда меня привело совершенно частное и личное дело, сэр, — заикаясь, продолжал Уолтер, — и капитан Катль...

— Здесь! — вставил капитан, удостоверяя, что он находится под рукой и на него можно положиться.

— Очень старый друг моего бедного дяди и превосходнейший человек, сэр, — продолжал Уолтер, умоляюще поднимая глаза словно в защиту капитана, — был так добр, что предложил поехать со мною, от чего я вряд ли мог отказаться.

— Нет! Нет! Нет! — благодушно заметил капитан. — Конечно, нет! И речи не могло быть об отказе. Продолжай, Уольр.

— И поэтому, сэр, — сказал Уолтер, решившись встретить взгляд мистера Домби и набравшись храбрости ввиду отчаянного своего положения, ибо отступать было уже поздно, — поэтому я пришел с ним, сэр, сообщить, что моего бедного старого дядю постигло большое несчастье. Вследствие постепенного упадка его торговли и невозможности уплатить по векселю — страх, что это случится, как мне хорошо известно, сэр, угнетал его в течение многих и многих месяцев, — на имущество его наложен арест, и ему грозит опасность потерять все и умереть от горя! Что, если бы вы, который давно уже знаете его, как порядочного человека, по доброте своей помогли ему выйти из затруднения, сэр? Мы никогда не в состоянии были бы выразить вам нашу признательность.

У Уолтера на глазах выступили слезы, пока он говорил; выступили они и у Флоренс. Отец видел, как они заблестели, хотя смотрел, казалось, только на Уолтера.

— Это очень большая сумма, сэр, — сказал Уолтер. — Больше трехсот фунтов. Дядя совсем убит этим несчастьем, оно его сломило, и он совершенно не в силах что-нибудь сделать. Он даже не знает, что я поехал поговорить с вами. Быть может, вы пожелаете, сэр, — нерешительно добавил Уолтер, — чтобы я точно сказал, чего я хочу. Я, право, не знаю, сэр. У дяди есть товар, и, кажется, я могу утверждать с уверенностью, что никаких других долгов нет, а затем капитан Катль также хотел бы представить поручительство. Мне... мне, пожалуй, лучше не упоминать, — продолжал Уолтер, — о тех деньгах, какие зарабатываю я; но если бы вы разрешили... откладывать их... на покрытие ссуды... дядя... бережливый честный старик...

Уолтер с трудом выговорил эти бессвязные слова, умолк и стоял, понурившись, перед своим хозяином.

Считая момент благоприятным для предъявления ценностей, капитан Катль приблизился к столу и, расчистив местечко среди чашек у локтя мистера Домби, извлек серебряные часы, наличные деньги, чайные ложки и щипцы для сахара и, сложив свое столовое серебро в кучу, чтобы оно казалось особенно ценным, произнес следующие слова:

— Полхлеба лучше, чем ни куска хлеба, и то же самое можно сказать о крошках. Вот несколько крошек. Затем может быть предложена ежегодная рента в сто фунтов. Если есть на свете человек, по

горло начиненный наукой, то это старый Соль Джилс. Если есть на свете подающий надежды юноша... истекающий, — добавил капитан, приводя одну из своих удачных цитат, — млеком и медом, то это его племянник!

Затем капитан отошел на прежнее место, где и остался, приглаживая растрепавшиеся волосы с видом человека, завершившего трудное дело.

Когда Уолтер умолк, взгляд мистера Домби обратился на маленького Поля, который, видя, что сестра опустила голову и тихо плачет, соболезнуя несчастью, о котором только что узнала, подошел к ней и старался ее утешить, очень выразительно посматривая при этом на Уолтера и на отца. Отвлекаясь на секунду выступлением капитана Катля, к каковому он отнесся с величественным равнодушием, мистер Домби снова устремил взгляд на сына и некоторое время сидел молча, пристально глядя на ребенка.

— Как был сделан этот долг? — спросил, наконец, мистер Домби. — Кто кредитор?

— Он не знает, — отвечал капитан, кладя руку на плечо Уолтера. — Я знаю. Это случилось потому, что старый Джилс помог человеку, которого нет теперь в живых, и это уже стоило моему другу Джилсу много сотен фунтов. Дальнейшие подробности, если угодно, с глазу на глаз.

— Люди, которым столько труда стоит самим удержаться на ногах, — сказал мистер Домби, не обращая внимания на таинственные знаки капитана за спиной Уолтера и по-прежнему глядя на сына, — должны ограничиваться заботой о своих обязательствах и затруднениях и не увеличивать их, беря на себя поручительство за других. Такое поведение бесчестно и к тому же самонадеянно, ибо и богатый не должен быть так самонадеян. Поль, подойди сюда!

Мальчик повиновался, и мистер Домби посадил его к себе на колени.

— Если бы сейчас у тебя были деньги... — сказал мистер Домби. — Смотри на меня!

Поль, переводивший взгляд с сестры на Уолтера, посмотрел в лицо отцу.

— Если бы сейчас у тебя были деньги, — сказал мистер Домби, — такая сумма, о которой говорил молодой Гэй, что бы ты сделал?

— Отдал бы их его старому дяде, — отвечал Поль.

— Ссудил бы их его старому дяде, так? — внес поправку мистер Домби. — Ну, что ж! Тебе известно, что, когда ты подрастешь, ты будешь владеть совместно со мной моими деньгами, и мы будем распоряжаться ими вместе.

— Домби и Сын, — перебил Поль, которого рано обучили этой фразе.

— Домби и Сын, — повторил отец. — Не хотел бы ты начать сегодня же быть Домби и Сыном и ссудить эти деньги дяде молодого Гэя?

— О, прошу вас, папа! — сказал Поль. — Этого хотела бы и Флоренс.

— Девочки, — сказал мистер Домби, — не имеют никакого отношения к Домби и Сыну. Ты бы этого хотел?..

— Да, папа, да!

— В таком случае ты это сделаешь, — ответил отец. — И ты видишь, Поль, — добавил он, понизив голос, — как могущественны деньги и как жадно люди гонятся за ними. Молодой Гэй едет сюда просить денег, а ты, такой щедрый и благородный, потому что у тебя есть деньги, собираешься дать их ему в виде великой милости и одолжения.

Поль на секунду поднял старческое лицо, ясно выражавшее, что он понимает смысл его слов; но это лицо тотчас стало веселым и детским, когда он соскользнул с колен отца и побежал сказать Флоренс, чтобы она больше не плакала, потому что он сделает так, чтобы молодой Гэй получил деньги.

Затем мистер Домби подошел к столу, стоявшему у стены, написал записку и запечатал. Тем временем Поль и Флоренс перешептывались с Уолтером, а капитан Катль взирал на них с лучезарной улыбкой, предаваясь таким честолюбивым и бесконечно самонадеянным мыслям, что мистер Домби никогда бы этому не поверил. Когда записка была написана, мистер Домби уселся на прежнее место и протянул ее Уолтеру.

— Завтра первым делом, — сказал он, — передайте это мистеру Каркеру. Он позаботится о том, чтобы один из моих служащих вывел вашего дядю из теперешнего затруднения, уплатив следующую сумму, и чтобы условия расплаты были определены соответственно положению вашего дяди. Считайте, что это сделал для вас мистер Поль.

Уолтер, взволнованный тем, что в его руках находится средство избавить доброго дядю от беды, попытался было выразить свою радость и признательность, но мистер Домби его оборвал.

— Считайте, что это сделал мистер Поль, — повторил он. — Я ему объяснил, и он понял. Больше я ничего не желаю слушать.

Так как он указал рукой на дверь, Уолтеру оставалось только поклониться и уйти. Мисс Токс, видя, что капитан собирается сделать то же самое, вмешалась.

— Дорогой мой сэр, — сказала она, обращаясь к мистеру Домби, чья щедрость вызвала и у нее и у миссис Чик потоки слез, — мне кажется, вы кое-что оставили без внимания. Простите меня, мистер Домби, мне кажется, по благородству своей природы и благодаря свойственному ей величию вы упустили из виду одну деталь.

— Неужели, мисс Токс?.. — сказал мистер Домби.

— Джентльмен с... инструментом, — молвила мисс Токс, взглянув на капитана Катля, — оставил на столе возле вашего локтя...

— Ах, боже мой! — воскликнул мистер Домби, отменяя от себя имущество капитана, словно это в самом деле были крошки. — Уберите это. Благодарю вас, мисс Токс: вы проявили свойственную вам осмотрительность. Будьте добры убрать это, сэр!

Капитан Катль понял, что ему остается только подчиниться. Но он был столь потрясен великодушием мистера Домби, отказавшегося от сокровищ, нагроможденных подле него, что, уложив чайные ложки и щипцы для сахара в один карман, а наличные деньги в другой и медленно опустив большие карманные часы в предназначенный для них склеп, он не мог удержаться, чтобы не схватить левую руку этого джентльмена своей левой и единственной рукой и, сильными своими пальцами держа ее раскрытой, не прикоснуться к ней в порыве восторга своим крючком. От такого проявления теплых чувств и от прикосновения холодного железа мистер Домби содрогнулся всем телом.

Затем капитан Катль с великим изяществом и галантностью поцеловал несколько раз свой крючок, приветствуя леди; и, особо попрощавшись с Полем и Флоренс, вышел вместе с Уолтером. Флоренс, сильно взволнованная, бросилась было вслед за ними, чтобы передать привет старому Соллю, но мистер Домби окликнул ее и приказал остаться в комнате.

— Неужели ты никогда не станешь Домби, милое мое дитя? — патетически-укоризненным тоном спросила миссис Чик.

— Дорогая тетя, — сказала Флоренс, — не сердитесь на меня. Я так благодарна папе.

Она подбежала бы к нему и обвила бы руками его шею, если бы посмела; но она не смела и только посматривала на него с благодарностью, в то время как он сидел в раздумье, изредка бросая на нее тревожный взгляд, но главным образом следя за Полем, который прохаживался по комнате с чувством собственного достоинства, порожденного тем, что он дал денег молодому Гэю.

А молодой Уолтер Гэй — что сказать о нем?

Он был в восторге от того, что избавил старика от бейлифов⁴⁸ и маклеров, и спешил к дяде с доброй вестью. Он был в восторге от того, что все уладит и устроит завтра же до полудня, будет сидеть вечером в маленькой задней гостиной со старым Солем и капитаном Катлем, и мастер судовых инструментов снова оживет, обретет надежды на будущее, убедившись, что Деревянный Мичман вновь стал его собственностью. Но следует признать, нисколько не осуждая его благодарности к мистеру Домби, что Уолтер чувствовал себя униженным и удрученным. Когда еще не расцветшие наши надежды гибнут безвозвратно от резкого порыва ветра, вот тогда-то мы особенно склонны рисовать себе, какие бы могли быть цветы, если бы они расцвели; и теперь, когда Уолтер чувствовал себя отрезанным от величественных высот Домби бездной нового и страшного падения, чувствовал, что при этом все его прежние сумасбродные фантазии развеялись по ветру, он начал догадываться, что в недалеком будущем они могли бы его привести к безобидным мечтам о завоевании Флоренс.

Капитан видел все в совершенно другом свете. Он, казалось, уверовал, что свидание, при котором он присутствовал, было в высшей степени удовлетворительным и обнадеживающим, и всего два-три шага отделяли его от формальной помолвки Флоренс и Уолтера, и что последнее событие если и не окончательно упрочило виттингтоновские надежды, то, во всяком случае, чрезвычайно им

⁴⁸ *Бейлиф* — чиновник шерифа, чьи функции напоминают функции нашего судебного исполнителя.

благоприятствовало. Воодушевленный этой уверенностью, а также радуясь улучшению дел своего старого друга, он даже попытался, угощая их в третий раз за этот вечер балладой о «Красотке Пэг», сделать замену, вставив имя «Флоренс», но, убедившись, что это нелегко, ибо терялась рифма со словом «Пэг» (благодаря коей героиня была изображена, как не имеющая соперниц), он напал на счастливую мысль изменить его во Флэг, что и исполнил с лукавством почти сверхъестественным и голосом поистине оглушительным, несмотря на то, что близок был час, когда ему предстояло вернуться в жилище страшной миссис Мак-Стинджер.

Глава XI

Выступление Поля на новой сцене

Организм миссис Пипчин был сделан из такого твердого металла, несмотря на подверженность его плотским слабостям, вызывающим необходимость в отдыхе после отбивных котлет и требующим перед отходом ко сну такого снотворного средства, как сладкое мясо, что он совершенно опрокинул предсказания миссис Уикем и не обнаруживал никаких признаков упадка. Но так как сосредоточенный интерес Поля к старой леди не уменьшался, миссис Уикем не желала отступить ни на дюйм с позиции, ею занятой. Укрепившись и окопавшись на своем рубеже с помощью Бетси Джейн — дочери своего дяди, она дружески советовала мисс Бери быть готовой к худшему и предупреждала, что тетка ее в любой момент может взлететь на воздух, как пороховой завод.

Бедная Бери приняла все это добродушно и, как всегда, работала не покладая рук; совершенно убежденная в том, что миссис Пипчин — одна из достойнейших особ в мире, она ежедневно приносила себя в жертву на алтарь этой благородной старухи. Но выходило как-то так, что все жертвоприношения Бери ставились в заслугу миссис Пипчин друзьями и поклонниками миссис Пипчин и согласовывались и связывались с тем меланхолическим фактом, что покойный мистер Пипчин разбил свое сердце на Перуанских копиях.

Так, например, был некий честный розничный торговец колониальными и прочими товарами, в общении которого с миссис Пипчин всегда была в ходу маленькая записная книжка в засаленном красном переплете, по поводу коей между заинтересованными сторонами не прекращались тайные совещания и конференции в коридоре, устланном циновками, и за закрытой дверью гостиной. Юный Байтерстон (чей нрав сделало мстительным палящее солнце Индии, воздействовавшее на его кровь) не раз смутно намекал на неоплаченные счета и на отсутствие однажды, уже на его памяти, желтого сахарного песку к чаю. Этот торговец, холостяк, не придающий значения внешней красоте, сделал как-то честное предложение, домогаясь руки Бери, каковое миссис Пипчин с возмущением и презрением отвергла. Все говорили о том, сколь это похвально со стороны миссис Пипчин, вдовы человека, который умер из-за Перуанских копеек, и каким стойким, благородным, независимым характером отличается старая леди. Но никто ни слова не сказал о бедной Бери, которая проплакала шесть недель (выдерживая все это время жестокие головомойки от своей доброй тетки) и, потеряв всякую надежду, обречена была остаться старой девой.

— Бери вас очень любит, правда? — спросил однажды Поль миссис Пипчин, когда они сидели вместе с котом у камина.

— Да, — сказала миссис Пипчин.

— Почему? — спросил Поль.

— Почему? — повторила сбитая с толку старая леди. — Как можно задавать такие вопросы, сэр? Почему вы любите свою сестру Флоренс?

— Потому, что она очень добрая, — сказал Поль. — Нет другой такой, как Флоренс.

— Ну, что ж! — резко отозвалась миссис Пипчин. — И другой такой, как я, полагаю, тоже нет.

— Неужели нет? — спросил Поль, наклоняясь вперед в своем креслице и глядя на нее очень пристально.

— Нет, — сказала старая леди.

— Я этому рад, — заметил Поль, задумчиво потирая руки. — Это очень хорошо.

Миссис Пипчин не осмелилась спросить — почему, чтобы не получить какого-нибудь совершенно уничтожающего ответа. Но, в возмездие за оскорбление, нанесенное ее чувствам, она до

позднего часа так извела мистера Байтерстона, что он в тот же вечер начал готовиться к сухопутному путешествию домой, в Индию, и припрятал за ужином четверть ломтя хлеба и кусок голландского сыра, начав таким образом запастись провизией на дорогу.

Около года миссис Пипчин охраняла и опекала маленького Поля и его сестру. Дважды они ездили домой, но всего на несколько дней, и регулярно каждую неделю навещали мистера Домби в гостинице. Мало-помалу Полю окреп и мог обходиться без своей коляски; но он по-прежнему был худым и слабым и оставался все тем же старообразным, тихим, мечтательным ребенком, каким был, когда его только что поручили заботам миссис Пипчин. Как-то в субботний вечер, в сумерки, великий переполох поднялся в замке вследствие неожиданного извещения о том, что мистер Домби явился с визитом к миссис Пипчин. Все общество немедленно улетучилось из гостиной наверх, словно унесенное вихрем, захлопали двери спален, послышался топот над головой, и мистер Байтерстон получил немало тумачков от миссис Пипчин, успокаивавшей таким образом свои смятенные чувства, после чего черное бомбазиновое платье достойной старой леди омрачило приемную, где мистер Домби созерцал незанятое креслице своего сына и наследника.

— Миссис Пипчин, — сказал мистер Домби, — как поживаете?

— Благодарю вас, сэр, — сказала миссис Пипчин, — сравнительно недурно, принимая во внимание...

Миссис Пипчин всегда прибегала к такому обороту речи. Он означал: принимая во внимание ее добродетели, жертвы и прочее.

— Я не могу рассчитывать, сэр, на прекрасное здоровье, — сказала миссис Пипчин, садясь и переводя дух, — но я признательна и за то, каким пользуюсь.

Мистер Домби наклонил голову с удовлетворенным видом клиента, который знает, что как раз за это он и платит определенную сумму каждые три месяца. Помолчав, он продолжал:

— Миссис Пипчин, я взял на себя смелость явиться к вам, чтобы посоветоваться относительно сына. Я давно уже собирался это сделать, но со дня на день откладывал, выжидая, пока здоровье его не восстановится окончательно. На этот счет у вас нет никаких опасений, миссис Пипчин?

— Брайтон оказал весьма благотворное действие, сэр, — ответила миссис Пипчин. — Да, весьма благотворное.

— Я предполагаю, — сказал мистер Домби, — оставить его в Брайтоне.

Миссис Пипчин потерла руки и уставилась своими серыми глазами на огонь.

— Но, — продолжал мистер Домби, вытянув указательный палец, — но возможно, что теперь произойдет перемена, и он будет вести здесь иной образ жизни. Короче говоря, миссис Пипчин, такова цель моего посещения. Мой сын растет, миссис Пипчин. Он несомненно растет.

Было что-то меланхолическое в том торжествующем виде, с каким произнес это мистер Домби. Ясно было, каким долгим кажется ему детство Поля и что надежды он возлагает на более позднюю стадию его существования. Жалость, пожалуй, странное слово в применении к человеку столь надменному и столь холодному, и тем не менее в тот миг он казался достойным ее объектом.

— Ему шесть лет! — сказал мистер Домби, поправляя галстук, быть может с целью скрыть улыбку, которая, ни на секунду не осветив его лица, казалось, только скользнула по поверхности и скрылась, не найдя для себя местечка. — Боже мой, мы и оглянуться не успеем, как шесть превратится в шестнадцать.

— Десять лет, — прокаркала безжалостная Пипчин, холодно сверкнув жесткими серыми глазами и мрачно покачав склоненной головой, — большой срок.

— Это зависит от обстоятельств, — возразил мистер Домби. — Как бы там ни было, миссис Пипчин, моему сыну шесть лет, и, боюсь, не приходится сомневаться в том, что в занятиях он отстал от многих детей своего возраста, вернее от детей столь же юных лет, — сказал мистер Домби, быстро отвечая на лукавый, как показалось ему, огонек в холодных глазах. — Да, «юных лет» — более подходящее выражение. Но, миссис Пипчин, вместо того чтобы отставать от своих сверстников, мой сын должен их опередить — далеко опередить. Его ждет высокое положение, которое ему предстоит занять. Нет ничего случайного или ненадежного в будущей карьере моего сына. Жизненный его путь был расчищен, подготовлен и намечен до его рождения. С образованием такого молодого джентльмена медлить не следует. В нем не должно быть никаких изъянов. Следует заняться им очень настойчиво и серьезно, миссис Пипчин.

— Что ж, сэр, — сказала миссис Пипчин, — я ничего не могу возразить против этого.

— Я был совершенно уверен, миссис Пипчин, — одобрительно заметил мистер Домби, — что такая здравомыслящая особа, как вы, не могла бы и не желала бы возражать.

— Много говорится всяких глупостей о том, что молодежь не следует вначале слишком принуждать, а нужно прибегать к ласке, и прочее, сэр, — сказала миссис Пипчин, нетерпеливо потирая горбатый нос. — В мое время никогда так не думали, и незачем думать так теперь. «Заставляйте их» — вот мое мнение.

— Уважаемая, ваша репутация заслужена вами, — отвечал мистер Домби, — и я прошу вас верить, миссис Пипчин, что я более чем удовлетворен вашей превосходной системой воспитания и с величайшим удовольствием буду рекомендовать ее всякий раз, когда скромная моя рекомендация, — надменность мистера Домби, когда он умышленно умалял свое значение, была безгранична, — может оказаться полезной. Я подумывал о докторе Блимбере, миссис Пипчин.

— О моем соседе, сэр? — отозвалась миссис Пипчин. — Я считаю заведение доктора превосходным. Я слыхала, что там правила очень строгие и что с утра до ночи там занимаются только учением.

— И плата очень высокая. — добавил мистер Домби.

— И плата очень высокая, сэр, — повторила миссис Пипчин, ухватившись за этот факт, словно, умалчивая о нем, она умалчивала об одном из главных достоинств заведения.

— Я советовался с доктором, миссис Пипчин, — сказал мистер Домби, озабоченно придвигая свое кресло ближе к камину, — и он отнюдь не считает Поля слишком юным. Он говорил о нескольких сверстниках Поля, которые изучали греческий. Если и возникают у меня, миссис Пипчин, некоторые опасения по поводу этой перемены, то они касаются другого пункта. У моего сына, не знавшего матери, постепенно развилась сильная — слишком сильная — детская любовь к сестре. Что если разлука с нею... — Мистер Домби не сказал больше ни слова и сидел молча.

— Пустяки! — воскликнула миссис Пипчин, встряхивая свою черную бомбазиновую юбку и обнаруживая все качества людоедки. — Если ей это не по вкусу, мистер Домби, нужно, чтобы она это переварила.

Добрая леди тотчас попросила извинения за такое вульгарное выражение, но сказала (и сказала правду), что именно этим способом она обучала их уму-разуму.

Мистер Домби подождал, пока миссис Пипчин перестала вскидывать и трясти головой и хмуриться на легион Байтерстонов и Пэнки, а затем сказал спокойно, но внося поправку:

— Я говорю о нем, уважаемая. О нем.

Система миссис Пипчин легко допустила бы применение этого метода лечения и к любому недомоганию Поля, но так как жесткие серые глаза были достаточно зорки и видели, что рецепт, который мистер Домби, быть может, и признавал эффективным по отношению к дочери, не является наилучшим лекарством для сына, то она, уяснив себе этот пункт, заявила, что перемена обстановки, новое общество, другой образ жизни в заведении доктора Блимбера и науки, которыми он должен овладеть, весьма скоро приведут к отчуждению. Так как это согласовалось с надеждой и уверенностью самого мистера Домби, то у этого джентльмена составилось еще более высокое мнение об уме миссис Пипчин; а так как миссис Пипчин в то же время выразила скорбь по поводу разлуки со своим милым маленьким другом (каковая разлука не была для нее ошеломляющим ударом: она давно ее ждала и вначале предполагала, что мальчик пробудет у нее не дольше трех месяцев), у него создалось не менее высокое представление о бескорыстии миссис Пипчин. Было ясно, что он тщательно обдумал этот вопрос, ибо составил план, с которым познакомил людоедку: поместить Поля в заведение доктора пансионером на полугодие и на это время оставить Флоренс в замке, чтобы брат мог навещать ее по субботам. Таким образом он отучится постепенно, — сказал мистер Домби, вспомнив, быть может, что Поля отлучили от груди сразу.

В конце свидания мистер Домби выразил надежду, что миссис Пипчин сохранит за собою пост главной наставницы и руководительницы его сына во время его обучения в Брайтоне; затем, поцеловав Поля, пожал руку Флоренс, узрел мистера Байтерстона в его парадном воротничке и довел до слез мисс Пэнки, погладив ее по голове (какое место было у нее чрезвычайно чувствительно вследствие привычки миссис Пипчин стучать по нему, как по бочонку, костяшками пальцев), после чего отправился в гостиницу обедать, приняв решение, что теперь, когда Поль так вырос и окреп, он

Чарльз Диккенс «Торговый дом Домби и сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт»

должен безотлагательно приступить к усиленному прохождению курса обучения, дабы подготовиться к тому блестящему положению, какое предстоит ему занять, и что доктор Блимбер должен немедленно взять его в свои руки.

Всякий раз, когда доктор Блимбер забирал в руки какого-нибудь юного джентльмена, тот мог не сомневаться, что попадет в надежные тиски. Сам доктор занимался обучением не более десяти юных джентльменов, хотя у него всегда был наготове запас учености на сотню, и делом и наслаждением его жизни было кормить сей ученостью до отвала злосчастную десятку.

В сущности, заведение доктора Блимбера было большой теплицей, где постоянно работал форсирующий аппарат. Все мальчики расцветали преждевременно. Умственный зеленый горошек созревал к рождеству, а интеллектуальная спаржа — круглый год. Под надзором доктора Блимбера математический крыжовник (и очень кислый) обычно появлялся в самую неожиданную пору года, и притом на молодых побегах. Все виды греческих и латинских овощей приносились самыми сухими ветками и в самый лютый мороз — Природа не имела ровно никакого значения. Для каких бы плодов ни был предназначен юный джентльмен, доктор Блимбер так или иначе заставлял его приносить плоды установленного образца.

Все это было очень приятно и искусно, но система насильственного выращивания имела и свою оборотную сторону. Не было надлежащего вкуса у скороспелых продуктов, и они плохо сохранялись. Мало того, один юный джентльмен с распухшим носом и чрезвычайно большой головой (старший из десятка, который «прошел через все») в один прекрасный день вдруг перестал цвести и остался в заведении просто в виде стебля. Говорили, что доктор хватил через край с молодым Тутсом и что тот утратил мозги, когда у него начали пробиваться усы.

Как бы там ни было, молодой Тутс жил у доктора Блимбера; он обладал самым грубым голосом и самым жалким умом, украшал свою рубашку булавками и носил кольцо в жилетном кармане, дабы украдкой надевать на мизинец, когда ученики выходили на прогулку; постоянно влюблялся с первого взгляда в нянек, которые понятия не имели о его существовании, и в час отхода ко сну взирал на освещенный газом мир сквозь железную решетку в левом угловом, выходявшем на улицу окне третьего этажа, наподобие весьма великовозрастного ангелочка, слишком долго просидевшего там, наверху.

Доктор был представительный джентльмен в черном одеянии, с тесемками у колен, и в чулках, доходивших до тесемок. У него была лысая голова, весьма гладко отполированная, низкий голос и такой двойной подбородок, что чудом было, как он ухитрялся выбривать его в складках. Были у него маленькие глазки, всегда полузакрытые, и рот, всегда распускавшийся в некое подобие улыбки, словно он поставил мальчика в тупик своим вопросом и ждет, что тот сам признает себя виновным. Когда доктор закладывал правую руку за борт фрака, а левую за спину и, чуть заметно покачивая головой, обращался с банальнейшим замечанием к нервному незнакомцу, вид его заставлял вспоминать о сфинксе и решал дело.

У доктора был прекрасный дом, обращенный фасадом к морю. Дом внутри не из веселых, а как раз наоборот. Мрачного цвета занавески, слишком узкие и жалкие, уныло прятались за окнами. Столы и стулья были выстроены рядами, словно цифры в арифметической задаче: камин в парадных комнатах топили так редко, что они напоминали колодец, а посетитель изображал ведро; столовая казалась последним местом в мире, где можно было есть или пить; ни звука не слышно было в доме — только тиканье больших часов в холле, которое доносилось даже на чердак, а иной раз глухое заывание юных джентльменов, учивших урок, напоминавшее воркованье стаи меланхолических голубей.

Да и мисс Блимбер, хотя она и была стройной и грациозной девой, отнюдь не оказывала смягчающего влияния на суровую атмосферу дома. Глупое легкомыслие было чуждо мисс Блимбер. Волосы она стригла и завивала и носила очки. Она усохла и покрылась песком, раскапывая могилы мертвых языков. Живые языки не нужны мисс Блимбер. Они должны быть мертвыми — безнадежно мертвыми, — а тогда мисс Блимбер выроет их из могилы, как вампир.

Ее матушка, миссис Блимбер, не была ученой, но притворялась таковой, и получалось ничуть не хуже. На вечеринках она говорила, что, кажется, умерла бы спокойно, если бы могла познакомиться с Цицероном. Неизменной для нее радостью было видеть юных джентльменов доктора, когда они, в отличие от всех прочих юных джентльменов, выходили на прогулку в самых высоких ворот-

ничках и самых тугих галстуках. Это было так классически, — говорила она.

Что касается мистера Фидера, бакалавра искусств, помощника доктора Блимбера, то это был человек-шарманка, с маленьким репертуаром, каковой он постоянно исполнял снова и снова, без всяких вариаций. Быть может, на заре жизни его могли бы снабдить запасными валиками, если бы судьба ему благоприятствовала; но она не благоприятствовала; он получил только один валик, и его занятием было с помощью этого однообразно вращающегося цилиндра спутывать юные идеи юных джентльменов доктора Блимбера. Юные джентльмены преждевременно узнавали тяжкие заботы. Они не ведали отдыха, преследуя жестокосердные глаголы, безжалостные имена существительные, неумолимые синтаксические периоды и призраки упражнений, которые являлись им в сновидениях. Под влиянием форсирующей системы юный джентльмен обычно утрачивал бодрость через три недели. Все тяготы мира обрушивались на его голову через три месяца. Он начинал питать горькие чувства к родителям или опекунам через четыре; он становился старым мизантропом через пять; завидовал счастливому исчезновению Курция в недрах земли⁴⁹ через шесть; а к концу первого года приходил к заключению, которому никогда уже не изменял, что все грезы поэтов и поучения мудрецов — набор слов и грамматических правил и никакого другого смысла не имеют. Но все это время он продолжал цвести — цвести и расцветать в теплице доктора, и велики были честь и слава доктора, когда воспитанник привозил зимние своя плоды домой, к родственникам и друзьям.

У двери доктора остановился однажды Поль с бьющимся сердцем, держась правой речонкой за руку отца. Другая его рука сжимала руку Флоренс. Как крепко было пожатие этой крохотной ручки и как вяло и холодно — другой!

Миссис Пипчин маячила за спиной своей жертвы, в траурном оперении и с крючковатым носом, подобно зловещей птице. Она запыхалась, ибо мистер Домби, исполненный великих дум, шел очень быстро, и хрипло каркала, дожидаясь, когда откроют дверь.

— Поль, — с торжеством сказал мистер Домби, — вот путь к тому, чтобы действительно стать Домби и Сыном и распорядиться деньгами. Ты уже почти мужчина.

— Почти, — отозвался ребенок.

Даже ребяческое волнение не могло стереть ту лукавую, странную и, однако, трогательную мину, с какой он произнес это слово.

Это вызвало неопределенное выражение недовольства на лице мистера Домби, но когда дверь открылась, оно быстро исчезло.

— Доктор Блимбер, полагаю, дома? — спросил мистер Домби.

Слуга отвечал утвердительно, а когда они вошли, посмотрел на Поля, как будто тот был мышонком, а дом — мышеловкой. Молодой человек был подслеповат, с едва заметными признаками улыбки па лице. Это был попросту признак слабоумия, но миссис Пипчин вбила себе и голову, что он наглец, и тотчас в него вцепилась.

— Как вы смеете смеяться за спиной джентльмена? — сказала миссис Пипчин. — И за кого вы меня принимаете?

— Я ни над кем не смеюсь, и, право же, я вас ни за кого не принимаю, сударыня, — испуганно ответил молодой человек.

— Шайка бездельников! — сказала миссис Пипчин. — Годитесь только для того, чтобы поворачивать вертел. Ступайте и доложите своему хозяину, что пришел мистер Домби, иначе вам не поздоровится.

Подслеповатый молодой человек кротко пошел исполнять приказание и, вскоре вернувшись, пригласил их в кабинет доктора.

— Вы опять смеетесь, сэр, — сказала миссис Пипчин, замыкавшая шествие, когда дошла до нее очередь пройти мимо него в холле.

— Я не смеюсь, — отвечал крайне удрученный молодой человек. — Никогда еще не видывал я

⁴⁹ ...исчезновению Курция в недрах земли... — Древнеримская легенда рассказывает, что в 262 году до н. э. земля посреди форума разверзлась, и образовалась глубокая пропасть; оракул заявил, что государство в опасности и для предотвращения ее Рим должен пожертвовать лучшим своим сокровищем. Юноша Марк Курций воскликнул, что оружие и храбрость — основа величия государства, и бросился в полном вооружении в пропасть, после чего пропасть закрылась.

ничего подобного.

— В чем дело, миссис Пипчин? — спросил, оглянувшись, мистер Домби. — Тише! Прошу вас!

Миссис Пипчин из уважения к нему только зашипела на молодого человека, проходя мимо, и сказала: «О, это замечательный тип!» — оставив эту воплощенную кротость и глупость расстроенным до слез этим инцидентом. Но у миссис Пипчин был обычай набрасываться на всех кротких людей, и друзья ее говорили: что ж тут удивительного после Перуанских копей?

Доктор сидел в своем величественном кабинете, имея по глобусу у каждого колена, книги во круг, Гомера над дверью и Минерву на каминной полке.

— Ну, как поживаете, сэр? — сказал он мистеру Домби. — И как поживает мой юный друг?

Торжественным, как орган, был голос доктора; а когда он умолк, большие часы в холле (во всяком случае, так показалось Полю) подхватили его слова и стали твердить: «Как по-жи-ва-ет мой друг? Как по-жи-ва-ет мой друг?» — снова, и снова, и снова.

Так как юный друг был слишком мал, чтобы можно было разглядеть его из-за книг на столе с того места, где сидел доктор, то доктор делал тщетные попытки увидеть его из-за ножек стола; мистер Домби, заметив это, вывел доктора из затруднения — взял на руки Поля и посадил его на другой стол, против доктора, посреди комнаты.

— Так! — сказал доктор, откидываясь на спинку кресла и закладывая руку за борт фрака. — Теперь я вижу моего юного друга. Как поживаете, мой юный друг?

Часы в холле не пожелали признать это изменение в обороте речи и по-прежнему повторяли: «Как по-жи-ва-ет мой друг? Как по-жи-ва-ет мой друг?»

— Очень хорошо, благодарю вас, сэр, — отозвался Поль, отвечая и доктору и часам.

— Так! — сказал доктор Блимбер. — Сделаем из него мужчину?

— Ты слышишь, Поль? — добавил мистер Домби, так как Поль молчал.

— Сделаем из него мужчину? — повторил доктор.

— Я больше хотел бы остаться ребенком, — ответил Поль.

— Вот как! — сказал доктор. — Почему?

Мальчик сидел на столе, глядя на него странным взглядом, выражавшим подавленное волнение, и похлопывая одной рукой по колену, как будто именно здесь накопились у него слезы, а он их удерживал. Но другая его рука в то же время протянулась в сторону, дальше, еще дальше, пока не обвилась вокруг шеи Флоренс. «Вот почему», — как будто говорила она, а затем напряженное выражение лица изменилось, исчезло; дрожащая губа опустилась, и хлынули слезы.

— Миссис Пипчин, — недовольным тоном сказал отец, — право же, мне очень неприятно это видеть.

— Отойдите от него, слышите, мисс Домби, — произнесла надзирательница.

— ...Ничего, — сказал доктор, кротко кивая головой, чтобы удержать миссис Пипчин. — Ни-че-го. В скором времени мы это заменим новыми интересами и новыми впечатлениями, мистер Домби. Вы по-прежнему желаете, чтобы мой юный друг усвоил...

— Все! Прошу вас, доктор, — твердо произнес мистер Домби.

— Хорошо, — сказал доктор, который, полузакрыв глаза и улыбаясь обычной своей улыбкой, казался, разглядывая Поля с тем любопытством, какое мог вызывать у него редкий зверек, из коего он намеревался сделать чучело. — Хорошо, превосходно. Так! Мы сообщим нашему маленькому другу самые разнообразные сведения и, смею думать, быстро его разовьем. Смею думать. Кажется, вы говорили, что почва совершенно девственная, мистер Домби?

— Если не считать обычной подготовки дома и у этой леди, — отвечал мистер Домби, представляя миссис Пипчин, которая тотчас напрягла всю свою мускульную систему и заранее фыркнула вызывающе на тот случай, если доктор отнесется к ней с пренебрежением, — если не считать этого, Поль до сих пор ничему не обучался.

Доктор Блимбер наклонил голову, мягко снисходя к такому ничтожному вмешательству, как вмешательство миссис Пипчин, и сказал, что рад это слышать. — Значительно лучше, заметил он, потирая руки, начинать с самых основ. И снова он покосился на Поля, словно не прочь был тут же засадить его за греческую азбуку.

— Действительно, это обстоятельство, доктор Блимбер, — продолжал мистер Домби, взглянув на своего маленького сына, — и беседа, которую я уже имел удовольствие вести с вами, делают

дальнейшие объяснения и, стало быть, дальнейшее посягательство на ваше драгоценное время столь бесполезными, что...

— Ну, мисс Домби! — кисло сказала Пипчин.

— Простите, — сказал доктор, — одну минуту. Разрешите представить вам миссис Блимбер и мою дочь, которые будут участвовать в домашней жизни нашего юного пилигрима, держащего путь к Парнасу. Миссис Блимбер (ибо эта леди, быть может, находившаяся на случай надобности под рукой, вошла как раз вовремя в сопровождении дочери, этого очаровательного могильщика в очках), мистер Домби. Моя дочь Корнелия — мистер Домби. Мистер Домби, дорогая моя, — продолжал доктор, обращаясь к жене, — оказывает нам такое доверие, что... Вы видите нашего юного друга?

Миссис Блимбер от избытка учтивости, относившейся к мистеру Домби, вероятно, не видела, ибо она пятилась, приближаясь к юному другу и подвергая серьезной опасности его позицию на столе. Но после этого намека она повернулась, чтобы полюбоваться классическими и интеллектуальными чертами его лица, и, снова повернувшись к мистеру Домби, промолвила со вздохом, что завидует его милому сыну.

— Как пчеле, сэр, — сказала миссис Блимбер, возводя глаза к потолку, — готовой спуститься в сад, к прекраснейшим цветам, и впервые вкусить их сладость. Вергилий, Гораций, Овидий, Теренций, Плавт, Цицерон. Какое обилие меду! Мистеру Домби, быть может, покажется странным, что та, кто является женой... женой такого мужа...

— Довольно, довольно, — сказал доктор Блимбер. — Какой стыд!

— Мистер Домби простит пристрастие жены, — сказала миссис Блимбер с чарующей улыбкой.

Мистер Домби отвечал: «Вовсе нет», относя эти слова, нужно думать, к пристрастию, а не к прощению.

— ...И может показаться странным, что та, кто является также и матерью... — продолжала миссис Блимбер.

— И какой матерью! — заметил мистер Домби с поклоном, смутно предполагая, что говорит комплимент Корнелии.

— Но, право же, — продолжала миссис Блимбер, — если бы я могла познакомиться с Цицероном, быть его другом и беседовать с ним в его уединении близ Тускула⁵⁰ (очаровательный Тускул!), я умерла бы счастливой.

Ученый энтузиазм весьма заразителен, и мистер Домби наполовину поверил, что так же обстоит дело и с ним; и даже миссис Пипчин, которая, как мы видели, не отличалась покладистым нравом, испустила не то стон, не то вздох, словно хотела сказать, что никто, кроме Цицерона, не мог бы стать для нее подлинным утешением после краха Перуанских копей и что он несомненно оказался бы спасительной лампой Дэви⁵¹.

Корнелия смотрела сквозь очки на мистера Домби, как будто не прочь была блеснуть перед ним несколькими цитатами из упомянутого автора. Но замысел этот, если таковой у нее и возник, был разрушен стуком в дверь.

— Кто там? — спросил доктор. — О! Войдите, Тутс, войдите! Мистер Домби, сэр. — Тутс поклонился. — Какое совпадение, — сказал доктор Блимбер. — Здесь перед нами начало и конец Альфа и омега. Это наш старший ученик, мистер Домби.

Доктор мог назвать его старшим и длиннейшим, ибо все остальные едва доходили ему до плеча. Тот сильно покраснел, очутившись в незнакомом обществе, и громко захихикал.

— Добавление к нашему скромному Портику⁵², Тутс, — сказал доктор, — сын мистера Домби.

Молодой Тутс снова покраснел и, убедившись, судя по воцарившемуся глубокому молчанию, что от него ждут каких-то слов, сказал Полю «Как поживаете?» таким низким басом и с таким роб-

⁵⁰ ...в его уединении близ Тускула... — то есть в италийском поместье Цицерона, расположенном близ городка Тускул.

⁵¹ Лампа Дэви — шахтерская лампочка, устраняющая опасность взрыва газа; изобретена знаменитым английским химиком сэром Гэмфри Дэви в 1815 году.

⁵² Добавление к нашему скромному Портику... — Аристотель вел беседы с учениками во время прогулок, нередко — в галереях, поддерживаемых колоннадой (портиках).

ким видом, что показалось бы не более удивительным, если бы зарычал ягненок.

— Пожалуйста, попросите мистера Фидера, Тутс, — сказал доктор, — приготовить несколько начальных учебников для сына мистера Домби и отвести ему удобное место для занятий. Дорогая моя, кажется, мистер Домби не видел дортуаров.

— Если мистер Домби пожелает подняться наверх, — сказала миссис Блимбер, — я буду гордиться возможностью показать ему владения бога сна и дремоты⁵³.

Вслед за сим миссис Блимбер, которая была весьма учтивой леди крепкого сложения и носила чепец, смастеренный из небесно-голубой материи, проследовала наверх с мистером Домби и Корнелией; миссис Пипчин шла за ними и зорко осматривалась по сторонам, не видно ли ее врага — лакея.

Пока их не было, Поль сидел на столе, держа за руку Флоренс, робко поглядывая на доктора и окидывая взором комнату, тогда как доктор, откинувшись на спинку кресла и заложив по своему обыкновению руку за борт фрака, держал перед собой в другой вытянутой руке книгу и читал. Было нечто весьма устрашающее в такой манере чтения. Это была такая решительная, бесстрастная, неумолимая, хладнокровная манера приниматься за работу! Она оставляла на виду физиономию доктора; а когда доктор благосклонно улыбался автору, хмурился или качал головой и делал гримасы, точно желая сказать: «Не говорите мне, сэр, я не так глуп», — это наводило ужас.

Да и Тутсу совершенно незачем было стоять у двери, хвастаясь часами, механизм которых он рассматривал, и пересчитывая свои полукроны. Но это продолжалось недолго, ибо когда мистер Блимбер случайно изменил положение своих крепких толстых ног, словно собираясь встать, Тутс мгновенно исчез и больше не появлялся.

Вскоре послышалось, как мистер Домби и его спутницы, разговаривая, спускаются вниз, а затем они снова вошли в кабинет доктора.

— Надеюсь, мистер Домби, — сказал доктор, положив на стол книгу, — наши порядки заслужили ваше одобрение?

— Они превосходны, сэр, — сказал мистер Домби.

— В самом деле, очень недурны, — тихим голосом промолвила миссис Пипчин, отнюдь не расположенная к чрезмерным похвалам.

— С вашего позволения, доктор и миссис Блимбер, — обернувшись, сказал мистер Домби, — время от времени миссис Пипчин будет навешать Поля.

— Когда будет угодно миссис Пипчин, — заметил доктор.

— Всегда рады ее видеть, — сказала миссис Блимбер.

— Кажется, — сказал мистер Домби, — я причинил достаточно хлопот и могу откланяться. Поль, дитя мое, — он подошел вплотную к столу, на котором тот сидел, — прощай.

— Прощайте, папа.

Вяло и небрежно протянутая ручка, которую мистер Домби взял в свою, странно не соответствовала напряженному выражению лица. Но мистер Домби не имел никакого отношения к этому скорбному лицу. Оно было обращено не к нему. Нет, нет! К Флоренс — все для Флоренс!

Если мистер Домби, чванившийся своим богатством, приобрел когда-либо врага, неумолимого и в ненависти своей безжалостно мстительного, то даже враг этот, быть может, принял бы боль, пронзившую надменное сердце мистера Домби, как возмездие за свою обиду.

Он наклонился к сыну и поцеловал его. Если глаза его были при этом затуманены чем-то, что на секунду заслонило маленькое личико, умственный его взор, может быть, стал зорче на это короткое мгновение.

— Скоро я тебя увижу, Поль. Ты свободен по субботам и воскресеньям.

— Да, папа, — отвечал Поль, глядя на сестру, — по субботам и воскресеньям.

— И ты постарайся многому научиться здесь и быть умным мужчиной, — сказал мистер Домби. — Не так ли?

— Постараюсь, — устало отвечал ребенок.

— И теперь ты скоро будешь взрослым, — сказал мистер Домби.

⁵³ ...владения бога сна и дремоты — то есть Морфея, на напыщенном, искусственном языке миссис Блимбер это означает спальни для учеников, дортуары.

— О, очень скоро! — отозвался ребенок.

И снова старческое, старческое выражение промелькнуло на его лице, словно странный луч. Он упал на миссис Пипчин и погас в ее черном платье. Эта превосходная людоедка шагнула вперед, чтобы попрощаться и увести Флоренс, что она давно уже порывалась сделать. Это движение заставило встрепетаться мистера Домби, чей взгляд был устремлен на Поля. Погладив его по голове и еще раз пожав его маленькую ручку, он с обычной своей ледяной учтивостью попрощался с доктором Блимбером, миссис Блимбер и мисс Блимбер и вышел из кабинета.

Несмотря на просьбу не беспокоиться, доктор Блимбер, миссис Блимбер и мисс Блимбер устремились вперед, чтобы проводить его до холла, вследствие чего миссис Пипчин оказалась зажатой между мисс Блимбер и доктором и была вытеснена из кабинета, прежде чем успела схватить Флоренс. Этой счастливой случайности Поль был впоследствии обязан сладким воспоминанием о том, как Флоренс бегом вернулась к нему, чтобы обвить руками его шею, и ее лицо было последним, мелькнувшим в дверях, — лицо, обращенное к нему с ободряющей улыбкой, казавшейся еще светлее благодаря слезам, сквозь которые она сияла.

Вот почему его грудь вздымалась, когда улыбка исчезла, и тут же глобусы, книги, слепой Гомер и Минерва поплыли по комнате. Но вдруг они остановились; и тогда он услышал громогласные часы в холле, серьезно вопрошавшие: «Как по-жи-ва-ет мой друг? Как по-жи-ва-ет мой друг?»

Скрестив руки, он сидел на своем пьедестале и молча прислушивался. Но он мог бы ответить. «Устал, устал! Очень одинок, очень грустно!» И вот с мучительной пустотой в детском сердце, когда вокруг было так холодно, пустынно и чуждо, сидел Поль, словно его, беззащитного, бросили в жизнь и не было никого, кто мог бы прийти и украсить ее.

Глава XII

Воспитание Поля

Спустя несколько минут, которые маленькому Полю Домби, сидевшему на столе, показались бесконечными, доктор Блимбер вернулся. Походка доктора была величественна и рассчитана на то, чтобы внушать юношеским умам возвышенные чувства. Это было нечто вроде маршировки; но когда доктор вытягивал правую ногу, он с достоинством поворачивался вокруг своей оси, делая полуоборот налево; а вытягивая левую ногу, он таким же манером поворачивался направо. Вот почему казалось, что он на каждом шагу озирается и как бы говорит: «Не будет ли кто-нибудь столь любезен указать какой-нибудь предмет в любом направлении, о котором я не осведомлен? Вряд ли это возможно».

Миссис Блимбер и мисс Блимбер вернулись вместе с доктором; и доктор, сняв нового ученика со стола, передал его мисс Блимбер.

— Корнелия, — сказал доктор, — первое время Домби будет на твоём попечении. Развивай его, Корнелия, развивай.

Мисс Блимбер приняла своего юного питомца из рук доктора; и Поль, чувствуя, что очки созерцают его, опустил глаза.

— Сколько вам лет, Домби? — спросила мисс Блимбер.

— Шесть, — ответил Поль, взглянув украдкой на молодую леди и удивившись, почему волосы у нее не такие длинные, как у Флоренс, и почему она похожа на мальчика.

— Что вы знаете из латинской грамматики, Домби? — спросила мисс Блимбер.

— Ничего, — ответил Поль. Сообразив, что такой ответ наносит удар чувствительности мисс Блимбер, он посмотрел снизу вверх на три лица, смотревшие на него сверху вниз, и сказал: — Я был нездоров. Я был слабым ребенком. Я не мог учить латинскую грамматику, потому что каждый день проводил на воздухе со старым Глабом. Мне бы хотелось, чтобы вы позвали старого Глаба навестить меня, будьте так добры.

— Какое возмутительно-вульгарное имя! — сказала миссис Блимбер. — В высшей степени неклассическое! Кто это чудовище, дитя?

— Какое чудовище? — осведомился Поль.

— Глаб! — сказала миссис Блимбер с великим омерзением.

— Он такое же чудовище, как и вы, — объявил Поль.

— Что такое?! — страшным голосом возопил доктор, — Ай-ай-ай! Это что такое?

Поль ужасно испугался, но тем не менее встал на защиту отсутствующего Глаба, хотя при этом весь дрожал.

— Он очень славный старик, сударыня, — сказал он. — Он возил мою колясочку. Он знает все об океане, о рыбах, которые в нем водятся, и об огромных чудющах, которые выползают на скалы и греются на солнце и снова ныряют в воду, если их испугать, и так пыхтят и плещутся, что их слышно за много миль. Есть там животные, — продолжал Поль, увлекаясь своим рассказом, — не знаю сколько ярдов в длину и я забыл, как они называются, но Флоренс знает, которые притворяются, как будто им грозит беда, а когда человек из жалости приближается к ним, они разевают огромную пасть и нападают на него. Но все, что нужно делать, — продолжал Поль, храбро сообщая эти сведения самому доктору, — это сворачивать на бегу то в ту, то в другую сторону, и тогда непременно от них убежишь, потому что они такие длинные и поворачиваются медленно. И хотя старый Глаб не знает, почему море напоминает мне о моей маме, которая умерла, и о чем это оно всегда говорит — всегда говорит! — но все-таки он знает о нем очень много. И я бы хотел, — закончил ребенок, который вдруг приуныл и забыл о своем оживлении, растерянно глядя на три незнакомых лица, — чтобы вы позволили старому Глабу приходить сюда ко мне, потому что я его очень хорошо знаю, и он меня знает.

— Так! — сказал доктор, покачивая головой. — Это плохо, но учение свое дело сделает.

Миссис Блимбер с некоторым содроганием высказала мнение, что он — непонятный ребенок, и, насколько это было возможно при несходстве лиц обеих леди, посмотрела на него почти так, как, бывало, смотрела миссис Пипчин.

— Пройдись с ним по всему дому, Корнелия, — сказал доктор, — и познакомь его с новым окружением. Ступайте с этой молодой леди, Домби.

Домби повиновался, протянув руку загадочной Корнелии и посматривая на нее искоса с робким любопытством, когда они вместе вышли. Ибо очки с поблескивающими стеклами делали ее такой таинственной, что он не знал, куда она смотрит, и, в сущности, был не совсем уверен в том, что за очками у нее есть глаза.

Корнелия повела его прежде всего в классную комнату, вход в которую был прямо из холла и которая сообщалась с ним посредством обитой байкой двойной двери, заглушавшей голоса молодых джентльменов. Здесь было восемь молодых джентльменов в различных стадиях умственной про- страции, очень усердно работающих и очень серьезных. Тутс как старший сидел за отдельным пюпитром в углу, и великолепным мужчиною, безмерно взрослым, показался он юному Полю за этим пюпитром.

Мистер Фидер, бакалавр искусств, сидевший за другим маленьким пюпитром, затянул своего Вергилия и медленно наигрывал эту мелодию четверем молодым джентльменам. Из остальных четырех двое, судорожно сжав голову, занимались решением математических задач; один, у которого от долгого плача лицо сделалось похоже на грязное окно, силился одолеть до обеда безнадежное количество строк, а еще один сидел за своим уроком в отчаянии и каменном оцепенении, в каком состоянии пребывал, по-видимому, с самого завтрака.

Появление нового мальчика не вызвало той сенсации, какой можно было ждать. Мистер Фидер, бакалавр искусств, у которого была привычка брить для прохлады голову, так что в настоящее время на ней красовалась только короткая щетина), протянул ему костлявую руку и сказал, что рад его видеть, — эти слова Поль был бы очень рад сказать ему, если бы при этом мог остаться хоть чуточку искренним. Затем Поль по предписанию Корнелии пожал руку четверем молодым джентльменам у пюпитра мистера Фидера; затем двум молодым джентльменам, корпевшим над задачей, которые были очень возбуждены; затем молодому джентльмену, корпевшему над срочной работой, который был весь в чернилах, и, наконец, молодому джентльмену, пребывавшему в оцепенении, который был вял и холоден как лед.

Так как Поль был уже представлен Тутсу, то этот воспитанник, по своему обыкновению, только хихикнул, засопел и продолжал заниматься своим делом. Оно было не из трудных, ибо, вследствие того, что он «через столько прошел» (понимая это не только буквально) и вдобавок, как было упомянуто выше, перестал цвести на самой заре жизни, Тутс пользовался теперь разрешением следовать

особой учебной программе, главную часть которой составляло писание самому себе от имени выдающихся особ длинных писем, адресованных «П. Тутсу, эсквайру, Брайтон, Суссекс», и заботливое хранение их в пюпитре.

По окончании церемонии Корнелия повела Поля в верхний этаж дома. Это было довольно медленное путешествие, ввиду того, что Полю приходилось ставить обе ноги на каждую ступеньку, прежде чем подняться на следующую. Но в конце концов они достигли цели своего путешествия; и там, в комнате, выходявшей окнами на бурное море, Корнелия показала ему хорошенькую кроватку с белыми занавесками, стоявшую перед окном; на табличке уже было написано красивым круглым почерком — нижняя половина очень жирно, верхняя — очень тонко: Домби, тогда как две другие кроватки в той же комнате возвещали таким же способом о том, что принадлежат Бригсу и Тозеру.

Как только они снова спустились в холл, Поль увидел, что подслеповатый молодой человек, который нанес смертельную обиду миссис Пипчин, вдруг схватил длинную барабанную палочку и набросился на висевший здесь гонг, как будто сошел с ума или жаждал мщения. Однако вместо того, чтобы быть уволенным или посаженным немедленно под стражу, молодой человек, произведя устрашающий шум, не подвергся никакому наказанию. Тогда Корнелии Блимбер сказала Домби, что обед будет подан через четверть часа, и предложила ему отправиться в классную комнату, к своим «друзьям».

Итак, Домби, почтительно пройдя мимо больших часов, которые по-прежнему горели желанием узнать, как он поживает, чуть-чуть приоткрыл дверь классной, проскользнул в нее, словно заблудившееся дитя, и не без труда закрыл ее за собой. Все его друзья слонялись по комнате, за исключением окаменевшего друга, который оставался недвижимым. Мистер Фидер потягивался в своей серой мантии, словно, не заботясь об убытке, решил вырвать рукава.

— Хей-хо-хо-хо-хаа! — воскликнул мистер Фидер, встряхиваясь, как ломовая лошадь. — Ах, боже мой, боже мой! А-а-а!

Поль даже испугался зевка мистера Фидера: зевок был чудовищный, и совершен он был с устрашающей серьезностью. Все мальчики (за исключением Тутса) казались измученными и готовились к обеду — одни перевязывали наново галстуки, чрезвычайно тугие, а другие мыли руки или приглаживали волосы в прихожей с таким видом, будто не ждали от трапезы никакого удовольствия.

Молодой Тутс был уже готов, и так как ему нечего было делать и он располагал временем, которое мог уделить Полю, то он сказал с неуклюжим добродушием:

— Садитесь, Домби.

— Благодарю вас, сэр, — сказал Поль.

Он попытался вскарабкаться на очень высокий подоконник, но соскальзывал с него вниз, и это, по-видимому, подготовило ум Тутса к открытию.

— Вы очень маленький мальчуган, — сказал мистер Тутс.

— Да, сэр, я маленький, — ответил Поль. — Благодарю вас, сэр.

Ибо Тутс поднял и посадил его и вдобавок сделал это ласково.

— Кто ваш портной? — осведомился Тутс, поглядев на него несколько секунд.

— До сих пор мои платья шила женщина, — сказал Поль. — Портниха моей сестры.

— Мой портной — Берджес и Ко, — сказал Тутс. — Модный. Но очень дорогой.

У Поля хватило ума покачать головой, как будто он хотел сказать, что заметить это нетрудно; да он и в самом деле так думал.

— Ваш отец здорово богат, не правда ли? — осведомился мистер Тутс.

— Да, сэр, — сказал Поль. — Он — Домби и Сын.

— И кто? — спросил Тутс.

— И Сын, сэр, — ответил Поль.

Мистер Тутс шепотом сделал две-три попытки запечатлеть в памяти название фирмы, но, совсем преуспев в этом, сказал, что попросит Поля повторить фамилию еще раз завтра утром, ибо это не лишено значения. И в самом деле, он собирался ни больше ни меньше, как написать немедленно самому себе частное и конфиденциальное письмо от Домби и Сына.

К тому времени Поля окружили остальные ученики (по-прежнему — за исключением окаменевшего мальчика). Они были вежливы, но бледны и разговаривали тихо; и были так подавлены, что по сравнению с расположением духа этой компании юный Байтерстон был настоящим Миллером,

или «Полным собранием шуток»⁵⁴. А между тем и над ним, над Байтерстоном, также тяготело сознание обиды.

— Вы спите со мною в одной комнате? — спросил степенный молодой джентльмен в воротничке, подпирившем мочки его ушей.

— Мистер Бригс? — осведомился Поль.

— Тозер, — сказал молодой джентльмен.

Поль ответил утвердительно, а Тозер, указывая на окаменевшего ученика, сказал, что это Бригс. Поль, сам не зная почему, был почти уверен в том, что это либо Бригс, либо Тозер.

— У вас здоровье хорошее? — осведомился Тозер.

Поль сказал, что он этого не думает. Тозер заметил, что и он этого не думает, судя по виду Поля, и что это печально, ибо здоровье ему понадобится. Затем он спросил Поля, предстоит ли ему начать ученье с Корнелией, а когда Ноль ответил утвердительно, все молодые джентльмены (за исключением Бригса) испустили тихий стон.

Он потонул в звоне гонга, который снова загремел с великим неистовством, после чего все двинулись в столовую, опять-таки за исключением Бригса, окаменевшего мальчика, который остался на прежнем месте и в прежнем положении; Поль заметил, что ему отнесли ломоть хлеба, элегантно сервированный на тарелке с салфеткой и серебряной вилкой, лежащей поперек ломтя.

Доктор Блимбер уже сидел на своем месте в столовой, во главе стола, с мисс Блимбер по одну сторону и миссис Блимбер — по другую. Мистер Фидер в черном фраке сидел в другом конце стола. Стул Поля помешался рядом с мисс Блимбер; но когда он уселся, обнаружилось, что брови его приходятся почти на уровне скатерти, после чего было принесено из кабинета доктора несколько книг, на которые водрузили Поля и на которых он с тех пор всегда сидел; впоследствии он сам приносил и уносил их, уподобляясь маленькому слону с башенкой.

Доктор прочитал молитву, и обед начался. Был подан вкусный суп, а затем жаркое, вареная говядина, овощи, пирог и сыр. Перед каждым молодым джентльменом лежали массивная серебряная ложка и салфетка; и вся сервировка была внушительна и изящна. Особенно обращал на себя внимание дворецкий в синем фраке с блестящими пуговицами, который сообщал прямо-таки винный аромат легкому пиву — столь величественно он его разливал.

Никто не разговаривал, если к нему не обращались, за исключением доктора Блимбера, миссис Блимбер и мисс Блимбер, которые иногда перебрасывались словами. Всякий раз, когда внимание молодых джентльменов не было поглощено ножом, вилкой или ложкой, взоры их, повинувшись непреодолимой силе притяжения, искали взоров доктора Блимбера, миссис Блимбер или мисс Блимбер и скромно приковывались к ним. Тутс, по-видимому, был единственным исключением из этого правила. Он сидел возле мистера Фидера с той же стороны стола, что и Поль, и часто откидывался назад или наклонялся вперед, чтобы взглянуть на Поля, заслоненного сидевшими между ними мальчиками.

Один только раз зашел за обедом разговор, имевший отношение к молодым джентльменам. Это случилось за сыром, когда доктор, выпив рюмку портвейна и дважды или трижды кашлянув, начал:

— Замечательно, мистер Фидер, что римляне...

При упоминании об этом ужасном народе, неумолимом их враге, все молодые джентльмены обратили взоры на доктора с видом, глубоко заинтересованным. Один из них, который как раз в это время пил и который поймал на себе сквозь стакан пристальный взгляд доктора, откинулся назад с такой поспешностью, что в течение нескольких секунд корчился в судорогах и в конце концов все же прервал речь доктора Блимбера.

— Замечательно, мистер Фидер, — повторил доктор, — что римляне во время этих великолепных и обильных пиршеств в императорскую эпоху, о которых мы читаем, когда роскошь достигла пределов, неведомых дотоле и с той поры неизвестных, и когда целые области опустошались с целью добыть огромные средства для одного императорского пира...

Тут нарушитель порядка, который раздувался, напрягался и тщетно ждал точки, неудержимо

⁵⁴ ...Миллером, или «Полным собранием шуток». — Популярный актер XVIII века Джо Миллер был автором анекдотов, острот, шуток; в середине века, после смерти Миллера, был издан сборник приписывавшихся ему анекдотов, по большей части — весьма дурного вкуса.

взорвался.

— Джонсон, — сказал мистер Фидер тихим, укоризненным голосом, — выпейте воды.

Доктор с весьма суровым видом выдерживал паузу, пока не принесли воды, а затем продолжал:

— И когда, мистер Фидер...

Но мистер Фидер, который видел, что Джонсон готов снова взорваться, и знал, что доктор в присутствии молодых джентльменов никогда не поставит точки, прежде чем не произнесет все, что собирается сказать, не мог отвести глаз от Джонсона и, таким образом, попался на том, что не смотрит на доктора, который вследствие этого прервал свою речь.

— Прошу прощения, сэр, — краснея, сказал мистер Фидер. — Прошу прощения, доктор Блимбер.

— И когда, сэр, — продолжал доктор, повысив голос, — как мы читаем и чему не имеем оснований не верить, — хотя бы невеждам нашего века это и казалось невероятным, — когда брат Вителлия устроил для него пир, на котором было подано две тысячи рыбных блюд⁵⁵...

— Выпейте воды, Джонсон... Блюд, сэр, — повторил мистер Фидер.

— Всевозможных видов птицы пять тысяч блюд...

— Или попробуйте взять корочку хлеба, — сказал мистер Фидер.

— И одно блюдо, — продолжал доктор Блимбер, снова повышая голос и окидывая взглядом стол, — названное вследствие грандиозных его размеров щитом Минервы и приготовленное, не говоря уже о прочих весьма дорогих ингредиентах, из мозгов фазанов...

— Кхы, кхы, кхы! (Джонсон).

— Вальдшнепов...

— Кхы, кхы, кхы!

— Из плавательных пузырей рыбы, называемой скар...

— У вас какая-нибудь жила в голове лопнет, — сказал мистер Фидер. — Лучше не удерживайтесь.

— И из икры миноги, доставленной из Эгейского моря, — продолжал доктор самым грозным тоном, — когда мы читаем о таких дорогих пиршествах, как это, и памятуем, что есть еще Тит...

— Каково будет вашей матери, если вы умрете от удара! — сказал мистер Фидер.

— Домициан...

— Послушайте, вы уже посинели, — сказал мистер Фидер.

— Нерон, Тиберий, Калигула, Гелиогабал и многие другие, — продолжал доктор, — то это, мистер Фидер, если вы соблаговолите удостоить меня своим вниманием, примечательно, в высшей степени примечательно, сэр...

Но Джонсон, не будучи в силах больше удерживаться, разразился в этот момент таким устрашающим кашлем (хотя оба ближайших его соседа начали колотить его по спине, а мистер Фидер собственноручно поднес к его губам стакан воды, а дворецкий заставил его несколько раз промаршировать между столом и буфетом, наподобие часового), что прошло добрых пять минут, прежде чем он более или менее оправился, и тогда в комнате водворилось глубокое молчание.

— Джентльмены, — сказал доктор Блимбер, — встаньте на молитву, Корнелия, снимите Домби. — После этого над скатертью виден был только его скальп. — Завтра, перед завтраком Джонсон прочтет мне наизусть из Нового завета первую главу послания апостола Павла к ефесянам, по гречески. Мистер Фидер, мы возобновим занятия через полчаса.

Молодые джентльмены поклонились и вышли. Мистер Фидер поступил точно так же в течение получаса молодые джентльмены, разбившись на пары, прохаживались рука об руку по маленькой площадке позади дома или пытались раздуть искру оживления в груди Бригса. Но ничего вульгарного вроде игр не было и в помине. Ровно в назначенный час прозвучал гонг, и занятия возобновили при благодетельном участии как доктора Блимбера, так и мистера Фидера

⁵⁵ ...пир, на котором было подано две тысячи рыбных блюд... — Рассказ доктора Блимбера о пиршествах римлян безусловно навеян главой XLIV известного романа Тобайаса Смоллета «Приключения Перигрина Пикля» (Смоллет был один из самых любимых писателей Диккенса). Упомянутая глава «Пикля» посвящена рассказу о «пире в подлинном древнеримском вкусе», устроенном одним знатоком древности.

Так как олимпийские игры, заключающиеся в хождении взад и вперед, были в тот день сокращены из-за Джонсона, все отправились на прогулку перед чаем. Даже Бригс (хотя он еще не приступил к работе) участвовал в этом увеселении, наслаждаясь коим он раза два-три мрачно посматривал вниз с вершины утеса. Доктор Блимбер шествовал за ними, и Поль удостоился чести быть взятым на буксир самим доктором, почетная позиция, заняв которую он казался очень маленьким и хилым.

Чай был сервирован не менее изысканно, чем обед, а после чая молодые джентльмены, встав и поклонившись, как и раньше, удалились, чтобы вернуться к незаконченным урокам сегодняшнего дня или приняться за надвигающиеся уроки завтрашнего. Тем временем мистер Фидер ушел в свою комнату, а Поль уселся в уголок, размышляя, думает ли о нем Флоренс и что они там поделывают у миссис Пипчин.

Спустя некоторое время мистер Тутс, которого задержало важное письмо от герцога Веллингтона, разыскал Поля; он долго смотрел на него, как и раньше, а затем осведомился, любит ли он жилеты.

Поль ответил:

— Да, сэр.

— Я тоже, — сказал Тутс.

Больше ни слова не произнес в тот вечер Тутс; он только стоял, глядя на Поля, словно Поль ему нравился, и так как это было каким-то общением, а беседовать Поль не был расположен, то это отвечало его желаньям больше, чем разговор.

Часов в восемь снова зазвучал гонг, призывая на молитву в столовую, где дворецкий распорядился за столом, стоявшим у стены, на котором находились хлеб, сыр и пиво для тех молодых джентльменов, кто не прочь был подкрепиться. Церемония закончилась словами доктора: «Джентльмены, мы возобновим наши занятия завтра в семь часов», и когда Поль в первый раз увидел глаза Корнелии Блимбер и увидел, что они устремлены на него. Когда доктор произнес эти слова: «Джентльмены, мы возобновим наши занятия завтра в семь часов», ученики снова поклонились и пошли спать.

В комнате наверху Бригс сказал, что голова у него трещит и что он хотел бы умереть, не будь у него матери и черного дрозда, оставшегося дома. Тозер говорил мало, но вздыхал много и посоветовал Полю быть начеку, потому что завтра очередь дойдет до него. Произнося эти пророческие слова, он мрачно разделся и лег в постель. Бригс уже лежал в своей постели, а Поль — в своей, когда появился подслеповатый молодой человек, чтобы унести свечу, и пожелал им спокойной ночи и приятных сновидений. Но благие его пожелания, в той мере, в какой предназначались Бригсу и Тозеру, остались втуне, ибо Поль, который долго не мог заснуть, а потом часто просыпался, слышал, что Бригса урок преследует как кошмар, а Тозер, который терзался во сне по той же причине, — но в меньшей степени, — говорит на неведомых языках, не то по-гречески, не то по-латыни, — что для Поля было одно и то же, — и в тишине ночи это казалось необычайно нечестивым и преступным.

Поль погрузился в сладкий сон, и ему снилось, что он гуляет рука об руку с Флоренс по прекрасным садам и подходят к большому подсолнечнику, который вдруг превращается в гонг и начинает гудеть. Раскрыв глаза, он увидел, что уже настало утро — хмурое, ветренное, с морозящим дождем, а внизу в вестибюле настоящий гонг грозно возвещает, что пора приниматься за уроки.

Поэтому он тотчас вскочил и увидел, что Бригс с заплаканными глазами, — ибо лицо у него распухло от горя и ночных кошмаров, — натягивает башмаки, а Тозер стоит, дрожа и растирая себе плечи, в очень дурном расположении духа. Бедному Полю с непривычки трудно было одеваться самому, и он попросил их, не будут ли они так добры и не завяжут ли ему шнурки, но так как Бригс сказал только: «Вот надоел!», а Тозер: «Еще бы!» — он, кое-как одевшись, спустился этажом ниже, где увидел миловидную молодую женщину в кожаных перчатках, которая чистила печку. Молодая женщина как будто удивилась, заметив его, и спросила, где его мать. Когда Поль сказал, что она умерла, она сняла перчатки и сделала то, о чем он просил; а потом растерла ему руки, чтобы согреть их, поцеловала его и сказала, что всякий раз, когда ему понадобится что-нибудь в этом роде — имея в виду его туалет, — пусть он позовет Милию, на что Поль, горячо поблагодарив ее, отвечал, что непременно так и сделает. Затем он продолжал свое путешествие вниз, направляясь в ту комнату, где молодые джентльмены возобновили свои занятия, как вдруг, проходя мимо полуотворенной двери, услышал голос: «Это Домби?» На что Поль ответил: «Да, сударыня», так как узнал голос мисс Блим-

бер. Мисс Блимбер сказала: «Войдите, Домби». И Поль вошел.

Вид у мисс Блимбер был точь-в-точь такой же, как и вчера, с тою лишь разницей, что на ней была шаль. Ее короткие светлые волосы все так же курчавились, и она была уже в очках, что заставило Поля задуматься, не ложится ли она в них спать. В ее собственном распоряжении имелась холодная маленькая гостиная, где были книги и не было камина. Но мисс Блимбер никогда не бывало холодно и никогда не хотелось спать.

— Сейчас, Домби, — сказала мисс Блимбер, — я выйду прогуляться — мне нужен моцион.

Поль подивился, что бы это могло быть и почему в такую ненастную погоду она не пошлет за этим лакея. Но он не сделал по этому поводу никаких замечаний, ибо внимание его было сосредоточено на небольшой стопке новых книг, которые мисс Блимбер, по-видимому, только что просматривала.

— Это ваши книги, Домби, — сказала мисс Блимбер.

— Все, сударыня? — спросил Поль.

— Да, — ответила мисс Блимбер, — и в ближайшее время мистер Фидер подыщет для вас еще несколько, если вы окажетесь таким прилежным, каким я надеюсь вас видеть, Домби.

— Благодарю вас, сударыня, — сказал Поль.

— Я пойду прогуляться, мне нужен моцион, — продолжала мисс Блимбер, — а пока меня не будет, иными словами — до завтрака, Домби, я хочу, чтобы вы прочли все, что я отметила в этих книгах, и сказали мне, вполне ли вам понятно то, что вы должны выучить. Не мешкайте, Домби, времени у вас мало, возьмите их с собою вниз и приступайте немедленно.

— Хорошо, сударыня, — ответил Поль.

Их было столько, что, хотя Поль положил одну руку под нижнюю книгу, а другую руку и подбородок — на верхнюю и крепко сжал их в своих объятиях, средняя книга выскользнула, прежде чем он дошел до двери, а затем и все остальные посыпались на пол. Мисс Блимбер сказала: «О Домби, Домби, право же, вы очень небрежны!» — и снова сложила их в стопку; на этот раз, искусно удерживая книги в равновесии, Поль выбрался из комнаты и спустился с нескольких ступенек, где снова выронил две книги. Но остальные он держал так крепко, что потерял только одну во втором этаже и одну в коридоре, и, доставив остальные в классную комнату, снова отправился наверх подбирать упавшие. Собрав, наконец, всю библиотеку и вскарабкавшись на свое место, он взялся за работу, поощренный замечанием Тозера, высказавшегося в том смысле, что «теперь за него принялись»; больше никто не прерывал его до завтрака. За этой трапезой, к которой он приступил без всякого аппетита, все было так же торжественно и приятно, как и за прежними: по окончании ее он последовал за мисс Блимбер наверх.

— Ну-с, Домби, — сказала мисс Блимбер, — что вы извлекли из этих книг?

Среди них было несколько английских и очень много латинских; в них он нашел названия предметов, склонение артиклей и имен существительных, соответствующие упражнения и начальные правила правописания, обзор древней истории, два-три замечания о новой, несколько примеров из таблицы умножения, две-три меры веса и кое-какие общие сведения. Когда бедный Поль прочитал по складам номер второй, он обнаружил, что понятия не имеет о номере первом, обрывки коего позднее вторглись в номер третий, который проскользнул в номер четвертый, присосший к номеру второму. Таким образом, составляют ли двадцать Ромулов одного Рема, является ли *hie*, *haes*, *hoc*⁵⁶ монетным весом, всегда ли согласуется глагол с древним бриттом и составляют ли трижды четыре *taurus*⁵⁷ быка — все эти вопросы остались для него открытыми.

— О Домби, Домби! — сказала мисс Блимбер. — Это очень скверно.

— Простите, — сказал Поль, — мне кажется, если бы я мог иногда разговаривать со старым Глабом, дело пошло бы у меня лучше.

— Вздор, Домби! — сказала мисс Блимбер. — Об этом я и слышать не хочу. Здесь не место для Глабов. Мне кажется, Домби, вы должны брать эти книги вниз по одной, сначала усвоить намен-

⁵⁶ этот, эта, это (*лат.*)

⁵⁷ бык (*лат.*)

ную на сегодня часть предмета А, а затем уже приступить к предмету Б. Теперь, Домби, возьмите, пожалуйста, верхнюю книгу и приходите, когда усвоите урок.

Мисс Блимбер высказала свое мнение по вопросу о невежестве Поля с мрачным удовлетворением, словно ждала такого результата и радовалась, что они будут находиться в постоянном общении. Поль удалился с верхней книгой, как было ему приказано, и, сойдя вниз, принялся за ее изучение; то он помнил каждое слово, то забывал урок от начала до конца, а вдобавок и все остальное, пока, наконец, не отважился подняться снова наверх, чтобы ответить урок, который чуть было не вылетел у него из головы, прежде чем он успел начать, ибо мисс Блимбер захлопнула книгу и сказала: «Продолжайте, Домби!», каковой поступок столь явно указывал на заключенные в мисс Блимбер познания, что Поль посмотрел на молодую леди с ужасом, точно на некоего ученого Гая Фокса или хитроумное пугало, набитое схоластической соломой⁵⁸.

Тем не менее он справился со своей задачей очень хорошо; мисс Блимбер, похвалив его, как подающего надежды на быстрое развитие, тотчас снабдила его предметом Б, после которого он еще до обеда перешел к В и даже к Г. Трудное было дело — возобновить занятия вскоре после обеда, и он чувствовал дурноту, головокружение, сонливость и утомление. Но — если только есть в этом какое-то утешение — все прочие молодые джентльмены испытывали такие же ощущения и также принуждены были возобновить занятия. Странно, что большие часы в холле, вместо того чтобы непрерывно твердить один и тот же вопрос, никогда не провозглашали: «Джентльмены, сейчас мы возобновим наши занятия», хотя эта фраза повторялась по соседству с ними достаточно часто.

После чая при свечах приступили к письменным упражнениям и приготовлению уроков на завтрашний день. И в назначенный час улеглись в постель, где их ждал отдых и сладкое забвение, если бы только возобновление занятий не вторгалось и в сновидения.

О, субботы! Счастливые субботы, когда Флоренс приходила в полдень и ни за что не хотела остаться дома, какая бы ни была погода, хотя миссис Пипчин злилась, ворчала и жестоко ее терзала. Эти субботы были днем субботним по крайней мере для двух маленьких христиан среди иудеев и делали святое субботнее дело, крепко связывая любовью брата и сестру.

Даже воскресные вечера — мучительные воскресные вечера, чья тень омрачала первые проблески рассвета в воскресные утра, — не могли испортить этих чудесных суббот. Был ли то морской берег, где они сидели и гуляли вместе, или скучная задняя комната у миссис Пипчин, где Флоренс тихо напевала ему, в то время как его сонная голова лежала у нее на плече, — Полю было все равно. С ним была Флоренс. Больше он ни о чем не думал. Поэтому в воскресные вечера, когда мрачная дверь доктора распахивалась, чтобы снова поглотить его на неделю, наступала минута прощания с Флоренс — больше ни с кем.

Миссис Уикем была отослана домой, в Лондон, и приехала мисс Нипер, ставшая бойкой молодой девушкой. Много поединков с миссис Пипчин выдержала мисс Нипер; и если хоть раз в своей жизни миссис Пипчин нашла достойного противника, то именно в те дни. Мисс Нипер вступила в бой в первое же утро, когда проснулась в доме миссис Пипчин. Она не просила и не давала пощады. Она сказала — быть войне, и началась война; и с тех пор миссис Пипчин жила под угрозой внезапных нападений, вылазок, наскоков и беспорядочных атак, которые обрушивались на нее из коридора даже в безмятежный час отбивных котлет и отравляли ей гренки.

Как-то в воскресный вечер, когда мисс Нипер с Флоренс, проводив Поля к доктору, вернулись домой, Флоренс достала из-за корсажа клочок бумаги, на котором было записано карандашом несколько слов.

— Смотрите, Сьюзен, — сказала она. — вот названия тех книжек, которые Поль приносит сюда, чтобы писать эти длинные упражнения, хотя он такой усталый. Я их списала вчера вечером, пока он работал.

— Пожалуйста, не показывайте мне, мисс Флой, — возразила Нипер. — Мне так же хочется смотреть на них, как на миссис Пипчин.

⁵⁸ ...некоего ученого Гая Фокса или хитроумное пугало, набитое схоластической соломой. — Сравнение с Гаем Фоксом подсказано Диккенсу народным обычаем — 5 ноября, в годовщину Порохового заговора, носить по улицам соломенное чучело, изображающее одного из главных участников заговора — Гая Фокса, — и сжигать чучело на костре.

— Я хочу, чтобы завтра утром вы их купили для меня, Сьюзен, будьте так добры. Денег у меня хватит, — сказала Флоренс.

— Господи помилуй, мисс Флой, — отозвалась мисс Нипер, — как это вы можете говорить такие вещи, когда книг у вас и без того уже горы, а учителя и учительницы вечно обучают вас всякой всячине, хотя я уверена, что ваш папаша, мисс Домби, никогда и ничему не стал бы вас обучать, никогда и не подумал бы об этом, если бы вы его сами не просили, — а тут уже, конечно, он не мог отказать; но согласиться, когда просят, и самому предложить, когда не просят, мисс, две вещи разные; быть может, я не стану возражать, чтобы молодой человек за мной поухаживал, и когда он задаст известный вопрос, быть может, скажу: «Да», но это еще не значит сказать: «Не будете ли вы так добры полюбить меня?»

— Но вы можете купить для меня эти книги, Сьюзен, и вы их купите, когда узнаете, что они мне нужны.

— Ну, а зачем они вам нужны, мисс? — спросила Нипер и добавила, понизив голос: — Если затем, чтобы швырнуть их в голову миссис Пипчин, я готова купить целый воз.

— Мне кажется, Сьюзен, я могла бы помочь Полю, если бы у меня были эти книги, — сказала Флоренс, — и чуть-чуть облегчить для него следующую неделю. Во всяком случае, я хочу попробовать. Купите же их для меня, дорогая, я никогда не забуду, как будет мило с вашей стороны, если вы исполните мою просьбу.

Нужно было иметь сердце более черствое, чем у Сьюзен Нипер, чтобы отвернуться от маленького кошелька, который протянула ей с этими словами Флоренс, и от нежного умоляющего взгляда, сопровождавшего эту просьбу. Сьюзен молча сунула кошелек в карман и тотчас побежала исполнять поручение.

Найти книги было нелегко; в лавках ей говорили, что они только что распроданы, или что их и не было, или что была большая партия в прошлом месяце, или что большая партия ожидается на будущей неделе. Но Сьюзен трудно было смутить в подобном случае; и убедив беловолосого юношу в черном коленкорovém переднике, работавшего в библиотеке, где ее знали, принять участие в поисках, она до того измучила его хождением туда и сюда, что он приложил все усилия, хотя бы только для того, чтобы от нее избавиться, и в конце концов помог ей вернуться домой с триумфом.

Над этими сокровищами Флоренс сидела по вечерам, окончив свои собственные ежедневные уроки, следуя за Полем по тернистым тропам науки; от природы сообразительная и способная, руководимая чудеснейшим из учителей — любовью, она вскоре догнала Поля, поравнялась с ним и перегнала его.

Ни слова не было об этом сказано миссис Пипчин; но по ночам, когда все спали, когда мисс Нипер в папильотках, задремав в неудобной позе, спала, сидя подле Флоренс, и когда зола в камине становилась холодной и серой, и когда свечи догорали и оплывали, Флоренс так упорно старалась заменить некоего маленького Домби, что ее решимость и настойчивость, пожалуй, могли бы завоевать для нее право самой носить эту фамилию.

И велика была ее награда, когда как-то, в субботний вечер, Поль собрался, по обыкновению, «возобновить свои занятия», а она подсела к нему и показала, каким образом все, что было таким трудным, делается легким, и все, что было таким туманным, делается ясным и простым. Ничего особенного не случилось — только появилось изумление на увядшем лице Поля... вспыхнул румянец... улыбка... а потом крепкие объятия, — но богу известно, как затрепетало ее сердце от этой щедрой награды за труды.

— О Флой! — воскликнул брат. — Как я люблю тебя! Как я люблю тебя, Флой!

— А я тебя, милый!

— О, в этом я уверен, Флой!

Больше он ничего не сказал, но весь вечер сидел возле нее очень молчаливый, а вечером раза три-четыре крикнул из своей комнаты, что любит ее.

После этого Флоренс всегда готовилась к тому, чтобы в субботний вечер сесть вместе с Полем и терпеливо объяснить ему все, что, по их мнению, предстояло ему пройти на будущей неделе. Приятное сознание, что его уроки уже выучила до него Флоренс, само по себе должно было подбодрить Поля, вечно «возобновлявшего» свои занятия; когда же к этому сознанию присоединилось и реальное облегчение его обязанностей — результат ее помощи, — то это, быть может, помешало ему свалить-

ся под тяжестью ноши, которую взгромоздила на его плечи прекрасная Корнелия Блимбер.

Нельзя сказать, что мисс Блимбер хотела быть слишком с ним суровой или что доктор Блимбер хотел взваливать слишком тяжелый груз на молодых джентльменов. Корнелия просто держалась той веры, в какой была воспитана, а доктор благодаря некоторой путанице в мыслях смотрел на молодых джентльменов так, будто все они были докторами и родились взрослыми. Было бы странно, если бы доктор Блимбер, успокоенный похвалами ближайшей родни молодых джентльменов и понукаемый их слепым тщеславием и безрассудной торопливостью, обнаружил свою ошибку или переменял галс.

Так было и в случае с Полем. Когда доктор Блимбер сказал, что он делает большие успехи и от природы смышлен, мистер Домби более чем когда-либо склонился к тому, чтобы его насильственно развивали и забивали ему голову знаниями. В случае с Бригсом, когда доктор Блимбер сообщил, что тот все еще не делает больших успехов и от природы несмышлен, Бригс-старший был неумолим, преследуя ту же цель. Короче говоря, как бы высока и искусственна ни была температура, которую доктор поддерживал в своей теплице, владельцы растений всегда готовы были оказать помощь, взявшись за мехи и раздувая огонь.

Ту живость, какую вначале отличался Поль, он, конечно, скоро утратил. Но он сохранил все, что было в его характере странного, старческого и сосредоточенного, и в условиях, столь благоприятствующих развитию этих наклонностей, стал еще более странным, старообразным и сосредоточенным.

Единственная разница заключалась в том, что он не проявлял своего характера. С каждым днем он становился задумчивее и сдержаннее и ни к кому из домочадцев доктора не относился с тем любопытством, какое вызвала у него миссис Пипчин. Он любил одиночество, и в короткие промежутки, свободные от занятий, ему больше всего нравилось бродить одному по дому или сидеть на лестнице, прислушиваясь к большим часам в холле. Он хорошо знал все обои в доме, видел в их узорах то, чего никто не видел, отыскивал миниатюрных тигров и львов, взбегающих по стенам спальни, и лица с раскосыми глазами, подмигивающие в квадратах и ромбах вошанки на полу.

Одиноким ребенком жил, окруженный этими причудливыми образами, созданными его напряженным воображением, и никто его не понимал. Миссис Блимбер считала его «странным», а иногда слуги говорили между собой, что маленький Домби «хандрит»; но тем дело и кончалось.

Пожалуй, у молодого Тутса возникали какие-то мысли об этом предмете, но к выражению их он был совершенно неспособен. К мыслям, как к привидениям (согласно привычному представлению о привидениях), нужно обратиться с вопросом, прежде чем они обретут ясные очертания, а Тутс давно уже перестал задавать какие бы то ни было вопросы своему мозгу. Быть может, какой-то туман исходил из этой свинцовой коробки — его черепа, — туман, который превратился бы в джина, если бы имел возможность принять форму, но этой возможности у него не было, и он подражал дыму в известной арабской сказке лишь в том, что вырывался густым облаком и нависал и парил над головой. Однако он никогда не заслонял маленькой фигурки на пустынном берегу, и Тутс всегда пристально на нее смотрел.

— Как поживаете? — спрашивал он Поля раз пятьдесят в день.

— Очень хорошо, сэр, благодарю вас, — отвечал Поль.

— Вашу руку, — таково было следующее замечание Тутса.

И Поль, конечно, подавал ее немедленно. Мистер Тутс обычно спрашивал снова после того, как долго в него вглядывался и тяжело дышал: «Как поживаете?», на что Поль неизменно отвечал: «Очень хорошо, сэр, благодарю вас».

Как-то вечером мистер Тутс сидел за своим пюпитром, обремененный корреспонденцией, как вдруг его осенила, казалось, великая идея. Он положил перо и отправился разыскивать Поля, которого нашел, наконец, после долгих поисков, у окна его маленькой спальни.

— Послушайте! — крикнул Тутс, едва войдя в комнату, ибо опасался, как бы эта идея от него не ускользнула. — О чем вы думаете?

— О, я думаю об очень многом, — отвечал Поль.

— Да неужели? — сказал Тутс, считая, по-видимому, что этот факт сам по себе удивителен.

— Если бы вам пришлось умирать... — начал Поль, глядя ему в лицо.

Мистер Тутс вздрогнул и, казалось, очень смутился.

— ...не кажется ли вам, что хорошо было бы умереть в лунную ночь, когда небо совсем ясное,

а ветер дует, как дул прошлой ночью?

Мистер Тутс, с сомнением посматривая на Поля и качая головой, сказал, что в этом не уверен.

— Или не дует, — сказал Поль, — а гудит, как гудит море в раковинах. Была чудесная ночь. Я долго слушал море, потом встал и посмотрел в окно. На море была лодка в ярком лунном свете, лодка с парусом.

Ребенок смотрел на него так пристально и говорил так серьезно, что мистер Тутс, почитая себя обязанным сказать что-нибудь по поводу этой лодки, сказал: «Контрабандисты». Но, добросовестно припомнив, что есть две стороны в любом вопросе, он добавил: «Или береговая охрана».

— Лодка с парусом! — повторил Поль. — В ярком лунном свете. Парус, похожий на руку, весь серебряный. Она уплывала вдаль, и как вы думаете, что она делала, когда неслась по волнам?

— Ныряла, — сказал мистер Тутс.

— Она как будто манила, — сказал мальчик, — манила меня за собой!.. Вот она! Вот она!

Тутс был не на шутку напуган этим неожиданным возгласом после того, что было сказано раньше, и крикнул:

— Кто?

— Моя сестра Флоренс! — воскликнул Поль. — Смотрит сюда и машет рукой. Она меня видит, она меня видит! Спокойной ночи, дорогая, спокойной ночи, спокойной ночи!

Быстрый переход к неудержимой радости, когда он стоял у окна, посылая воздушные поцелуи и хлопая в ладоши, и происшедшая с ним перемена, когда Флоренс скрылась из виду, а его маленькое личико потускнело и на нем застыло терпеливо-скорбное выражение, были так заметны, что не могли ускользнуть даже от внимания Тутса. Так как свидание их было в этот момент прервано визитом миссис Пипчин, которая имела обыкновение раза два в неделю под вечер угнетать Поля своими черными юбками, Тутс не имел возможности оставаться дольше, но визит миссис Пипчин произвел на него такое глубокое впечатление, что Тутс, обменявшись обычными приветствиями с ней, возвращался дважды, чтобы спросить у нее, как она поживает. Раздражительная старая леди увидела в этом умышленное и хитроумное оскорбление, порожденное дьявольскою изобретательностью подслеповатого молодого человека внизу, и в тот же вечер подала на него официальную жалобу доктору Блимберу, который заявил молодому человеку, что, если это еще повторится, он принужден будет с ним расстаться.

Вечера стали теперь длиннее, и каждый вечер Поль подкрадывался к своему окну, высматривая Флоренс. Она всегда прохаживалась несколько раз взад и вперед, в определенный час, пока не увидит его; и эта минута, когда они друг друга замечали, была проблеском солнечного света в будничной жизни Поля. Часто в сумерках еще один человек прогуливался перед домом доктора. Теперь он редко присоединялся к детям по субботам. Он не мог вынести свидания. Он предпочитал приходить неузнанным, смотреть вверх на окна, за которыми его сын готовился стать мужчиной, и ждать, наблюдать, строить планы, надеяться.

О, если бы мог он увидеть — или видел так, как видели другие, — слабого, худенького мальчика наверху, следившего в сумерках серьезным взглядом за волнами и облаками и прижимавшегося к окну своей клетки, где он был одинок, а мимо пролетали птицы, и он хотел последовать их примеру и улететь!

Глава XIII

Сведения о торговом флоте и дела в конторе

Контора мистера Домби помещалась на небольшой площади, где издавна находился на углу ларек, торговавший отборными фруктами, и где разносчики обоего пола предлагали покупателям в любое время от десяти до пяти часов домашние туфли, записные книжки, губки, ошейники и уиндзорское мыло, а иногда пойнтера или картину масляными красками.

Пойнтер всегда появлялся в расчете на фондовую биржу, где процветает любовь к спорту (кореящаяся в тех пари, которые держат новички). Другие предметы торговли предназначались для всех вообще; но торговцы никогда не предлагали их мистеру Домби. Когда он появлялся, владельцы этих товаров почтительно отступали. Главный поставщик туфель и ошейников, который считал себя

общественным деятелем и чей портрет был привинчен к двери некоего художника в Чипсайде, подносил указательный палец к полям шляпы, когда мистер Домби проходил мимо. Носильщик с бляхой на груди, если только не отсутствовал по делу, всегда бежал угодливо вперед, чтобы распахнуть пошире дверь в контору перед мистером Домби, и, стоя с непокрытой головой, придерживал ее, пока тот входил.

Клерки в конторе нисколько не отставали в проявлении почтительности; когда мистер Домби проходил через первую комнату, водворялась торжественная тишина. Остряк, сидевший в бухгалтерии, мгновенно становился таким же безгласным, как ряд кожаных пожарных ведер, висевших за его спиной. Тот безжизненный и тусклый дневной свет, какой просачивался сквозь матовые стекла окон и окна в потолке, оставляя черный осадок на стеклах, давал возможность разглядеть книги и бумаги, а также склоненные над ними фигуры, окутанные дымкой трудолюбия и столь по виду своему оторванные от внешнего мира, словно они собрались на дне океана, а зарешеченная душная каморка кассира в конце темного коридора, где всегда горела лампа под абажуром, напоминала пещеру какого-нибудь морского чудовища, взирающего красным глазом на эти тайны океанских глубин.

Когда Перч, рассыльный, который подобно часам занимал место на маленькой подставке, видел входящего мистера Домби, или, вернее, когда чувствовал, что тот входит, — ибо он всегда чутьем угадывал его приближение, — он бросался в кабинет мистера Домби, раздувал огонь, доставал уголь из недр угольного ящика, вешал на каминную решетку газету, чтобы ее просушить, придвигал кресло, ставил на место экран и круто поворачивался в момент появления мистера Домби, чтобы принять от него пальто и шляпу и повесить их. Затем Перч брал газету, раза два поворачивал ее перед огнем и почтительно клал у локтя мистера Домби. И столь мало возражений было у Перча против почтительности, доведенной до предела, что если бы мог он простереться у ног мистера Домби или надеть его теми титулами, какими когда-то величали калифа Гаруна аль Рашида, он был бы только рад.

Так как подобное воздаяние почестей явилось бы новшеством и экспериментом, Перч поневоле довольствовался тем, что раболепные заверения: «Вы свет очей моих, Вы дыхание души моей, Вы повелитель верного Перча!» — выражал как умел, на свой лад. Лишенный великого счастья приветствовать его в этой форме, он потихоньку закрывал дверь, удалялся на цыпочках и оставлял своего великого владыку, на которого через сводчатое окно в свинцовой раме взирали уродливые дымовые трубы, задние стены домов, а в особенности дерзкое окно парикмахерского салона во втором этаже, где восковая кукла, по утрам лысая, как мусульманин, а после одиннадцати часов украшенная роскошными волосами и бакенбардами по последней христианской моде, вечно показывала ему затылок.

От мистера Домби к миру простых смертных, — поскольку к этому миру был доступ через приемную, на которую присутствие мистера Домби в его собственном кабинете действовало, как сырой или холодный воздух, — вели две ступени. Мистер Каркер в своем кабинете был первой ступенью, мистер Морфин в своем кабинете — второй. Каждый из этих джентльменов занимал комнатку величиной с ванную, которая выходила в коридор, куда открывалась дверь мистера Домби. Мистер Каркер, как великий визирь, обитал в комнате, ближайшей к султану. Мистер Морфин, как чиновник более низкого ранга, обитал в комнате, ближайшей к клеркам.

Последний из упомянутых джентльменов был бодрый пожилой холостяк с карими глазами, одевавшийся солидно: что касается верхней его половины, — в черное, а что касается ног, — в цвет перца с солью. Темные волосы на голове были только кое-где тронуты крапинками седины, словно ее расплескало шествующее Время, хотя бакенбарды у него были уже совсем седые. Он питал глубокое уважение к мистеру Домби и воздавал ему должные почести; но так как сам он был веселого нрава и всегда чувствовал себя неловко в присутствии столь важной особы, то отнюдь не завидовал многочисленным беседам, коими наслаждался мистер Каркер, и испытывал тайное удовольствие оттого, что по характеру своих обязанностей очень редко удостаивался такого отличия. Он на свой лад был великим любителем музыки — после службы — и питал отцовскую привязанность к своей виолончели, которая аккуратно раз в неделю препровождалась из Излингтона, его местожительства, в некий клуб по соседству с банком, где вечером по средам небольшая компания исполняла самые мучительные и душераздирающие квартеты.

Мистер Каркер был джентльмен лет тридцати восьми — сорока, с прекрасным цветом лица и двумя безукоризненными рядами блестящих зубов, чья совершенная форма и белизна действовали

поистине удручающе. Нельзя было не обратить на них внимания, ибо, разговаривая, он их всегда показывал и улыбался такой широкой улыбкой (хотя эта улыбка очень редко расплывалась по лицу за пределами рта), что было в ней нечто напоминающее оскал кота. Он питал склонность к тугим белым галстукам, по примеру своего патрона, и всегда был застегнут на все пуговицы и одет в плотно облегающий костюм. Его манера обращения с мистером Домби была глубоко продумана, и он никогда от нее не отступал. Он был фамильярен с ним, резко подчеркивая в то же время расстояние, лежащее между ними. «Мистер Домби, по отношению к человеку вашего положения со стороны человека моего положения никакие знаки почтения, совместимые с нашими деловыми связями, я не считаю достаточными. Скажу вам откровенно, сэр, я окончательно от этого отказываюсь. Я чувствую, что не мог бы удовлетворить самого себя; и, видит небо, мистер Домби, вам бы следовало избавиться меня от таких усилий». Если бы эти слова были напечатаны на афише и мистер Каркер носил бы их на груди поверх своего сюртука так, чтобы мистер Домби в любой момент мог их прочесть, он не в силах был бы выразить яснее то, что уже выразил своим поведением.

Таков был Каркер, заведующий конторой. Мистер Каркер-младший, приятель Уолтера, был его братом, на два-три года старше его, но бесконечно ниже по своему положению. Место младшего брата было на верхней ступеньке служебной лестницы; место старшего — на нижней. Старший брат никогда не поднимался на следующую ступень и не заносил на нее ноги. Молодые люди проходили над его головой и поднимались выше и выше; но он всегда оставался внизу. Он совершенно примирился с тем, что занимает такое скромное положение, никогда на него не жаловался и, конечно, никогда не надеялся изменить его.

— Как вы себя сегодня чувствуете? — спросил однажды мистер Каркер, заведующий, входя с пачкой бумаге руке в кабинет мистера Домби вскоре после его прибытия.

— Здравствуйте, Каркер! — сказал мистер Домби, поднимаясь со стула и становясь спиной к камину. — Есть у вас тут что-нибудь для меня?

— Не знаю, имеет ли смысл вас беспокоить, — отозвался Каркер, перебирая бумаги. — Сегодня в три у вас заседание комитета, как вам известно.

— И второе — без четверти четыре, — добавил мистер Домби.

— Никогда-то вы ничего не забываете! — воскликнул Каркер, все еще перебирая свои бумаги. — Если мистер Поль унаследует вашу память, беспокойной особой будет он для фирмы. Достаточно одного такого, как вы.

— У вас тоже хорошая память, — сказал мистер Домби.

— О! У меня! — отвечал заведующий. — Это единственный капитал у такого человека, как я.

Мистер Домби сохранял напыщенный и самодовольный вид, когда стоял, прислонившись к камину, и осматривал своего (конечно, не ведающего об этом) служащего с головы до пят. Чопорность и изящество костюма мистера Каркера и несколько высокомерные манеры, либо свойственные ему самому, либо принятые в подражание образцу, за которым недалеко было ходить, придавали особую цену его смирению. Он производил впечатление человека, который восстал бы против силы, если бы мог, но был совершенно раздавлен величию и превосходством мистера Домби.

— Морфин здесь? — спросил мистер Домби после короткой паузы, на протяжении которой мистер Каркер шелестел бумагами и бормотал себе под нос небольшие выдержки из них.

— Морфин здесь, — отвечал он, поднимая голову и неожиданно улыбаясь своей самой широкой улыбкой. — Мурлычет, предаваясь музыкальным воспоминаниям, полагаю, о последнем своем вечернем квартете, и все это — за стеной, разделяющей нас, — и сводит меня с ума. Лучше бы он устроил костер из своей виолончели и сжег бы свои ноты.

— Мне кажется, вы никого не уважаете, Каркер, — сказал мистер Домби.

— Да? — отозвался Каркер, снова осклабясь и совсем по-кошачьи скаля зубы. — Ну, что ж! Думаю, немногих. Пожалуй, — прошептал он, словно размышляя вслух, — пожалуй только одного.

Опасная черта характера, если она была подлинной; и не менее опасная, если она была притворной. Но вряд ли так думал мистер Домби, который по-прежнему стоял спиной к камину, выпрямившись во весь рост и глядя на своего старшего клерка с величественным спокойствием, за которым как будто скрывалось сознание собственной власти, более глубокое, чем обычно.

— Кстати, о Морфине, — продолжал мистер Каркер, вынимая из папки одну бумагу, — он докладывает, что в торговом агентстве, на Барбадосе, умер младший агент, и предлагает поставить

койку для заместителя на «Сыне и наследнике» — судно отходит приблизительно через месяц. Полагаю, вам все равно, кто поедет? У нас здесь нет подходящего лица.

Мистер Домби с величайшим равнодушием покачал головой.

— Место незавидное. — заметил мистер Каркер, взяв перо, чтобы сделать отметку на оборотной стороне листа. — Надеюсь, он предоставит его какому-нибудь сироте — племяннику одного из своих музыкальных друзей. Быть может, это положит конец его музыкальным упражнениям, если есть у того такой талант. Кто там? Войдите.

— Простите, мистер Каркер. Я не знал, что вы здесь, сэр, — сказал Уолтер, появляясь с письмами в руке, не распечатанными и только что доставленными, — Мистер Каркер-младший, сэр...

Услышав это имя, мистер Каркер-заведующий был задет за живое или притворился, будто почувствовав стыд и унижение. Он посмотрел в упор на мистера Домби, лицо его изменилось, он потупился и помолчал секунду.

— Мне кажется, сэр, — сказал он вдруг, с раздражением поворачиваясь к Уолтеру, — вас уже просили не упоминать в разговоре о мистере Каркере-младшем.

— Простите, сэр, — отозвался Уолтер, — я хотел только сказать, что, по словам мистера Каркера-младшего, вы ушли, иначе не постучал бы я в дверь, когда вы заняты с мистером Домби. Вот письма, мистер Домби.

— Прекрасно, сэр, — сказал мистер Каркер-заведующий, резко выхватив их у него. — Можете вернуться к исполнению своих обязанностей.

Но завладев ими столь бесцеремонно, мистер Каркер уронил одно на пол и не заметил этого; да и мистер Домби не обратил внимания на письмо, лежащее у его ног. Уолтер секунду колебался, надеясь, что кто-нибудь из них увидит это; но, убедившись в обратном, он остановился, вернулся, поднял письмо и положил на стол перед мистером Домби. Письма были получены по почте; и то, о котором шла речь, оказалось очередным отчетом миссис Пипчин; адрес на нем, по обыкновению, был написан Флоренс, ибо миссис Пипчин не владела пером в совершенстве. Когда внимание мистера Домби было привлечено Уолтером к этому письму, он вздрогнул и грозно посмотрел на юношу, как будто считал, что тот умышленно его выбрал!

— Можете удалиться, сэр! — надменно сказал мистер Домби.

Он скомкал письмо и, проводив взглядом уходившего Уолтера, сунул его в карман, не сломав печати.

— Вы говорили, что вам нужно послать кого-нибудь в Вест-Индию? — быстро сказал мистер Домби.

— Да, — ответил Каркер.

— Пошлите молодого Гэя.

— Прекрасно, очень хорошо! Ничего не может быть легче, — сказал мистер Каркер, не проявляя ни малейшего изумления и беря перо, чтобы сделать на бумаге новую пометку так же хладнокровно, как сделал это раньше. — «Послать молодого Гэя».

— Верните его, — сказал мистер Домби. Мистер Каркер поспешил это сделать, а Уолтер поспешил явиться.

— Гэй, — сказал мистер Домби, слегка повернувшись, чтобы взглянуть на него через плечо, — есть...

— Вакансия, — вставил мистер Каркер, растягивая рот до последних пределов.

— В Вест-Индии. На Барбадосе. Я намерен послать вас, — сказал мистер Домби, не унижаясь до прикрашивания голый истины, — на должность младшего агента в торговом отделении на Барбадосе. Передайте от меня вашему дяде, что я выбрал вас для поездки в Вест-Индию.

Дыхание у Уолтера прервалось от изумления, и он едва мог повторить:

— ... в Вест-Индию.

— Кто-нибудь должен ехать, — сказал мистер Домби, — а вы молоды, здоровы и дела у вашего дяди идут плохо. Передайте дяде, что вы назначены. Вы поедете еще не так скоро. Быть может, пройдет месяц или два.

— Я там останусь, сэр? — осведомился Уолтер.

— Останетесь ли вы там, сэр? — повторил мистер Домби, слегка поворачиваясь к нему. — Что вы хотите сказать? Что он хочет сказать, Каркер?

— Буду ли я жить там, сэр? — запинаясь, выговорил Уолтер.

— Конечно, — ответил мистер Домби. Уолтер поклонился.

— Это все, — сказал мистер Домби, возвращаясь к своим письмам. — Конечно, Вы объясните ему заблаговременно, Каркер, все, что касается необходимой экипировки и прочего. Он может идти, Каркер.

— Вы можете идти, Гэй, — повторил Каркер, обнажая десны.

— Если, — сказал мистер Домби, прерывая чтение и как бы прислушиваясь, но не сводя глаз с письма, — если ему больше нечего сказать.

— Нет, сэр, — отвечал Уолтер, взволнованный, растерянный и почти ошеломленный, в то время как всевозможные образы представлялись его воображению, среди которых капитан Катль в своей глянцевиной шляпе, онемевший от изумления в доме миссис Мак-Стинджер, и дядя, оплакивающий свою потерю в маленькой задней гостиной, занимали видное место. — Я, право, не знаю... я... я очень благодарен.

— Он может идти, Каркер, — сказал мистер Домби.

И так как мистер Каркер снова повторил слова патрона и собрал свои бумаги, словно также готовился уйти, Уолтер понял, что дальнейшее промедление было бы непростительной дерзостью, — к тому же ему нечего было сказать, — и вышел в полном смятении.

Проходя по коридору, не вполне отдавая себе отчет в том, что произошло и чувствуя свою беспомощность, как бывает во сне, он услышал, что дверь мистера Домби снова захлопнулась, это вышел мистер Каркер, и тотчас же сей джентльмен окликнул его:

— Пожалуйста, приведите вашего друга мистера Каркера-младшего в мой кабинет, сэр.

Уолтер прошел в первую комнату и передал это распоряжение мистеру Каркеру-младшему, который вышел из-за перегородки, где сидел один в углу, и отправился вместе с ним в кабинет мистера Каркера-заведующего.

Этот джентльмен стоял спиной к камину, заложив руки за фалды фрака и глядя поверх своего белого галстука так же неумолимо, как мог бы смотреть сам мистер Домби. Он принял их, нимало не изменив позы и не смягчив сурового и мрачного выражения лица; только дал знак, чтобы Уолтер закрыл дверь.

— Джон Каркер, — сказал заведующий, когда дверь была закрыта, и внезапно повернулся к брату, оскалив два ряда зубов, словно хотел его укусить, — что это у вас за союз с этим молодым человеком, из-за чего меня преследуют и донимают упоминанием вашего имени? Или мало вам, Джон Каркер, что я — ближайший ваш родственник и не могу избавиться от этого...

— Скажите — позора, Джеймс, — тихо подсказал тот, видя, что он не находит слова. — Вы это имеете в виду, и вы правы: скажите — позора.

— От этого позора, — согласился брат, делая резкое ударение на этом слове. — Но неужели нужно вечно об этом кричать и трубить и заявлять даже в присутствии главы фирмы? Да еще в доверительные минуты? Или вы думаете, Джон Каркер, что ваше имя располагает к доверию и конфиденциальности?

— Нет, — отвечал тот. — Нет, Джеймс. Видит бог, этого я не думаю.

— Что же вы в таком случае думаете? — сказал брат. — И почему вы мне надоедаете? Или вы еще мало мне навредили?

— Я никогда не причинял вам вреда умышленно, Джеймс.

— Вы мой брат, — сказал заведующий. — Это уже само по себе вредит мне.

— Хотелось бы мне, чтобы я мог это изменить, Джеймс.

— Хотелось бы и мне, чтобы вы могли изменить и изменили.

Во время этого разговора Уолтер с тоской и изумлением переводил взгляд с одного брата на другого. Тот, кто был старшим по годам и младшим в фирме, стоял с опущенными глазами и склоненной головой, смиренно выслушивая упреки другого. Хотя их делали особенно горькими тон и взгляд, коими они сопровождались, и присутствие Уолтера, которого они так удивили и возмутили, он не стал возражать против них и только приподнял правую руку с умоляющим видом, словно хотел сказать: «Пощадите меня!» Так мог бы он стоять перед палачом, будь эти упреки ударами, а он героем, скованным и ослабевшим от страданий.

Уолтер, великодушный и порывистый в своих чувствах, почитая себя невольной причиной

этого издевательства, вмешался со всей присущей ему страстностью.

— Мистер Каркер, — сказал он, обращаясь к заведующему, — право же, право, виноват я один. С какой-то неосмотрительностью, за которую не знаю, как и бранить себя, я, вероятно, упоминал о мистере Каркере-младшем гораздо чаще, чем было нужно; и иногда его имя срывалось с моих губ, хотя это противоречило выраженному вами желанию. Но это исключительно моя вина, сэр! Об этом мы никогда ни слова не говорили — да и вообще очень мало говорили о чем бы то ни было. И с моей стороны, сэр, — помолчав, добавил Уолтер, — это была не простая неосмотрительность; я почувствовал интерес к мистери Каркеру, как только поступил сюда, и иной раз не мог удержаться, чтобы не заговорить о нем, раз я столько о нем думаю.

Эти слова вырвались у Уолтера из глубины сердца и дышали благородством. Ибо он смотрел на склоненную голову, опущенные глаза, поднятую руку и думал: «Я так чувствую; почему же мне не признаться в этом ради одинокого, сломленного человека?»

— По правде говоря, вы меня избегали, мистер Каркер, — сказал Уолтер, у которого слезы выступили на глазах, так искренне было его сострадание. — Я это знаю, к сожалению моему и огорчению. С тех пор как я в первый раз пришел сюда, я, право же, старался быть вашим другом — поскольку можно притязать на это в мои годы; но никакого толку из этого не вышло.

— И заметьте, Гэй, — быстро перебил его заведующий, — что еще меньше выйдет толку, если вы по-прежнему будете напоминать людям о мистере Джоне Каркере. Этим не помочь мистери Джону Каркеру. Спросите его, так ли это, по его мнению?

— Да, этим услужить мне нельзя, — сказал брат. — Это приводит только к таким разговорам, как сейчас, без которых я, разумеется, прекрасно мог бы обойтись. Лишь тот может быть мне другом, — тут он заговорил отдельно, словно хотел, чтобы Уолтер запомнил его слова, — кто забудет меня и предоставит мне идти моей дорогой, не обращая на меня внимания и не задавая вопросов.

— Так как память ваша, Гэй, не удерживает того, что вам говорят другие, — сказал мистер Каркер-заведующий, распаясь от самодовольства, — я счел нужным, чтобы вы это услышали от лица, наиболее в данном вопросе авторитетного. — Он кивнул в сторону брата. — Надеюсь, теперь вы вряд ли это забудете. Это все, Гэй. Можете идти.

Уолтер вышел и хотел закрыть за собой дверь, но, услышав снова голоса братьев, а также свое собственное имя, остановился в нерешительности, держась за ручку полуотворенной двери и не зная, вернуться ему или уйти. Таким образом, он невольно подслушал то, что последовало.

— Если можете, думайте обо мне более снисходительно, Джеймс, — сказал Джон Каркер, — когда я говорю вам, что у меня — да и может ли быть иначе, если здесь запечатлена моя история! — он ударил себя в грудь, — у меня сердце дрогнуло при виде этого мальчика, Уолтера Гэя. Когда он впервые пришел сюда, я увидел в нем почти мое второе я.

— Ваше второе я! — презрительно повторил заведующий.

— Не того, каков я сейчас, но того, каким я был, когда так же в первый раз пришел сюда; такой же жизнерадостный, юный, неопытный, одержимый теми же дерзкими и смелыми фантазиями и наделенный теми же наклонностями, которые равно способны привести к добру или злу.

— Надеюсь, что вы ошибаетесь, — сказал брат, вкладывая в эти слова какой-то скрытый и саркастический смысл.

— Вы бьете меня больно, — отвечал тот таким голосом (или, может быть, это почудилось Уолтеру?), словно какое-то жестокое оружие действительно вонзалось в его грудь, пока он говорил. — Все это мне мерещилось, когда он пришел сюда мальчиком. Я в это верил. Для меня это была правда. Я видел, как он беззаботно шел у края невидимой пропасти, где столько других шли так же весело и откуда...

— Старое оправдание, — перебил брат, мешая угли. — Столько других! Продолжайте. Скажите — столько других сорвалось.

— Откуда сорвался один путник, — возразил тот, — который пустился в путь таким же мальчиком, как и этот, и все чаще и чаще оступался, и понемногу соскальзывал ниже и ниже, и продолжал идти спотыкаясь, пока не полетел стремглав и не очутился внизу, разбитым человеком. Подумайте, как я страдал, когда следил за этим мальчиком.

— За все можете благодарить только самого себя, — отозвался брат.

— Только самого себя, — согласился он со вздохом. — Я ни с кем не пытаюсь разделить вину

или позор.

— Позор вы разделили, — сквозь зубы прошипел Джеймс Каркер. И сколько бы ни было у него зубов и как бы тесно ни были они посажены, сквозь них он прекрасно мог шипеть.

— Ах, Джеймс! — сказал брат, впервые заговорив укоризненным тоном и, судя по его голосу, закрыв лицо руками. — С тех пор я служил для вас прекрасным фоном. Вы спокойно попирали меня ногами, взбираясь вверх. Не отталкивайте же меня каблуком!

Ответом ему было молчание. Спустя некоторое время послышалось, как мистер Каркер-заведующий стал перебирать бумаги, словно намеревался прекратить эту беседу. В то же время его брат отошел к двери.

— Это все, — сказал он. — Я следил за ним с таким трепетом и таким страхом, что для меня это было еще одною карою; наконец, он миновал то место, где я первый раз оступился; будь я его отцом, я бы не мог возблагодарить бога более пламенно. Я не смел предостеречь его и дать ему совет, но будь у меня повод, я рассказал бы ему о своем горьком опыте. Я не хотел, чтобы видели, как я разговариваю с ним, я боялся, как бы не подумали, что я порчу его, толкаю его ко злу и совращаю его, а может быть, боялся, что и в самом деле это сделаю. А что, если во мне кроется источник такой заразы, кто знает? Припомните мою историю, сопоставьте ее с теми чувствами, какие молодой Уолтер Гэй вызвал у меня, и, если возможно, судите обо мне более снисходительно, Джеймс.

С этими словами он вышел за дверь — туда, где стоял Уолтер. Он слегка побледнел, увидев его, и стал еще бледнее, когда Уолтер схватил его за руку и сказал шепотом:

— Мистер Каркер, пожалуйста, позвольте мне поблагодарить вас! Позвольте мне сказать, как я вам сочувствую! Как сожалею о том, что явился злосчастной причиной всего происшедшего! Я готов смотреть на вас, как на моего покровителя и защитника. Как я глубоко, глубоко признателен вам и жалею вас! — говорил Уолтер, пожимая ему обе руки и, в волнении, вряд ли сознавая, что делает. Так как комната мистера Морфина находилась поблизости и никого там не было, а дверь была раскрыта настежь, они как будто по обоюдному соглашению направились туда; ибо редко случалось, чтобы кто-нибудь не проходил по коридору. Когда они пошли и Уолтер увидел на лице мистера Каркера следы душевного смятения, ему почудилось, что он еще никогда не видел этого лица — так сильно оно изменилось.

— Уолтер, — сказал тот, кладя руку ему на плечо, — большое расстояние отделяет меня от вас, и пусть всегда будет так. Вы знаете, кто я таков?

«Кто я таков?», казалось, готово было сорваться с губ Уолтера, пристально смотревшего на него.

— Это началось, — сказал Каркер, — раньше, чем мне исполнилось двадцать один год — к этому уже давно клонилось дело, но началось примерно в то время. Я их ограбил в первый раз, когда стал совершеннолетним. Я грабил их и после. Прежде чем мне исполнилось двадцать два года, все открылось. И тогда, Уолтер, я умер для всех.

Снова эти его слова готовы были сорваться и с губ Уолтера, но он не мог их выговорить и вообще ничего не мог сказать.

— Фирма была очень добра ко мне. Небо да вознаградит старика за его снисходительность! И этого также — его сына, который в ту пору только-только вошел в дела фирмы, где я пользовался огромным доверием! Меня вызвали в ту комнату, которую занимает теперь он, — с тех пор я ни разу туда не входил, — и я вышел из нее таким, каким вы меня знаете. В течение многих лет я занимал нынешнее мое место — один, как и теперь, но тогда я служил признанным и наглядным примером для остальных. Все они были милостивы ко мне, и я остался жить. С годами мое горькое искупление приняло иную форму, ибо теперь, за исключением трех руководителей фирмы, мне кажется, нет здесь никого, кто бы знал подлинную мою историю. К тому времени, когда подрастет мальчик и ему расскажут ее, мой угол, быть может, опустеет. Хотел бы я, чтобы так и случилось! Вот единственная перемена, происшедшая со мною с того дня, когда я в той комнате распрощался навсегда с молодостью, надеждой и обществом честных людей. Да благословит вас бог, Уолтер! Сохраните себя и всех, кто нам дорог, от бесчестья, а если не удастся, лучше убейте их!

Смутное воспоминание о том, как он дрожал с головы до ног, словно в ознобе, и залился слезами, — вот все, что мог добавить к этому Уолтер, когда старался полностью восстановить в памяти то, что произошло между ними.

Когда Уолтер снова его увидел, он сидел, склонившись над своей конторкой, по-прежнему молчаливый, апатичный, приниженный. Тогда, видя его за работой и понимая, как твердо он решил прекратить всякое общение между ними, и обдумывая снова и снова все, что видел и слышал в то утро за такой короткий промежуток времени в связи с историей обоих Каркеров, Уолтер едва мог поверить, что получил приказ ехать в Вест-Индию и скоро лишится дяди Соля и капитана Катля и редких мимолетных встреч с Флоренс Домби, — нет, он хотел сказать — с Полем, — и всего, что он любил, к чему был привязан и о чем мечтал день за днем.

Но это была правда, и слухи уже проникли в первую комнату, ибо пока он сидел, с тяжелым сердцем размышляя об этом и подпирая голову рукой, рассыльный Перч, спустившись со своей подставки из красного дерева и тронув его за локоть, извинился и осмелился шепотом его спросить, не удастся ли ему переправить домой, в Англию, банку имбирного варенья по дешевой цене для подкрепления миссис Перч, когда она будет поправляться после следующих родов?

Глава XIV

Поль становится все более чудаковатым к уезжает домой на каникулы

Когда подошли летние вакации, никаких неприличных проявлений радости молодые джентльмены с потускневшими глазами, собранные в доме доктора Блимбера, не обнаружили. Такое сильное выражение, как «распускают», было бы совершенно неуместно в этом благопристойном заведении. Молодые джентльмены каждые полгода отбывали домой; но их никогда не распускали. Они отнеслись бы с презрением к такому факту.

Тозер, которого вечно раздражал и терзал накрахмаленный белый батистовый шейный платок, каковой он носил по особому желанию миссис Тозер, своей родительницы, предназначавшей его для принятия духовного сана и придерживавшейся того мнения, что чем раньше сын пройдет эту предварительную стадию подготовки, тем лучше, — Тозер сказал даже, что, если выбирать из двух зол меньшее, он, пожалуй, предпочел бы остаться там, где был, и не ехать домой. Хотя такое заявление и может показаться несовместимым с тем отрывком из сочинения, написанного на эту тему Тозером, где он сообщал, что «мысли о доме и все воспоминания о нем пробудили в его душе приятнейшие чувства ожидания и восторг», а также уподоблял себя римскому полководцу, упоенному недавней победой над икенами⁵⁹ или нагруженному добычей, отнятой у карфагенян, и находящемуся на расстоянии нескольких часов пути от Капитолия, каковой в целях аллегории являлся предположительно местожительством миссис Тозер, — однако это заявление было сделано совершенно искренне. Ибо оказалось, что у Тозера есть грозный дядя, который не только добровольно экзаменует его в каникулярное время по непонятным предметам, но и цепляется за невинные события и обстоятельства и извращает их с той же гнусной целью. К примеру, если этот дядя брал его в театр или, прикрываясь маской добродушия, вел посмотреть великана, карлика, фокусника или еще что-нибудь, Тозер знал, что он заблаговременно прочел у древних авторов упоминание об этом предмете, и посему Тозер пребывал в смертельном страхе, не ведая, когда дядя разразится и на какой авторитет будет он ссылаться, уличая его в невежестве.

Что касается Бригса, то его отец отнюдь не прибегал к уловкам. Он ни на секунду не оставлял его в покое. Столь многочисленны и суровы были душевные испытания этого злополучного юнца в каникулярное время, что друзья семьи (проживавшей в ту пору в Лондоне, близ Бейзуотера) редко приближались к пруду в Кепсингтон-Гарден не чувствуя туманных опасений увидеть шляпу мистера Бригса плавающей на поверхности и недописанное упражнение лежащим на берегу. Поэтому Бригс вовсе не был преисполнен радостных надежд по случаю каникул; а эти двое, помещавшиеся в одной спальне с маленьким Полем, были очень похожи на всех прочих молодых джентльменов, ибо самые легкомысленные из них ждали наступления праздничного периода с кроткою покорностью.

Совсем иначе дело обстояло с маленьким Полем. Окончание этих первых каникул должно было ознаменоваться разлукой с Флоренс, но кто станет думать об окончании каникул, которые еще не

⁵⁹ *Победа над икенами* — победа римских легионов над одним из племен бриттов — икенами, которые были покорены Римом в I веке н.э.

начались? Конечно, не Поль! Когда приблизилось счастливое время, львы и тигры, взбравшиеся по стенам спальни, стали совсем ручными и игривыми. Мрачные, хитрые лица в квадратах и ромбах вошанки смягчились и посматривали на него не такими злыми глазами. Важные старые часы более мягким тоном задавали свой безучастный вопрос; а неугомонное море по-прежнему шумело всю ночь, мелодично и меланхолично, — однако мелодия звучала приятно, и нарастала, и затихала вместе с волнами, и баюкала мальчика, когда он засыпал.

Мистер Фидер, бакалавр искусств, кажется, полагал, что также будет рад каникулам. Мистер Тутс собирался превратить в каникулы всю жизнь, ибо, как неизменно сообщал он каждый день Полю, это было его «последнее полугодие» у доктора Блимбера, и ему предстояло немедленно вступить во владение своим имуществом.

Было совершенно ясно для Поля и мистера Тутса, что они — близкие друзья, несмотря на разницу в возрасте и положении. Так как вакации приближались и мистер Тутс сопел громче и таращил глаза в обществе Поля чаще прежнего, Поль понимал, что тот хотел этим выразить грусть по поводу близкой разлуки, и был ему очень благодарен за покровительство и расположение.

Было ясно даже для доктора Блимбера, миссис Блимбер и мисс Блимбер, равно как и для всех молодых джентльменов, что Тутс каким-то образом сделался защитником и покровителем Домби, и факт этот был столь очевиден для миссис Пипчин, что славная старуха питала злобу и ревность к Тутсу и в святая святых своего собственного дома не раз поносила его как «безмозглого болвана». А невинному Тутсу не приходило в голову, что он возбудил гнев миссис Пипчин, так же как не приходила в голову какая бы то ни было иная догадка. Напротив, он скорее был склонен считать ее замечательной особой, обладающей многими ценными качествами. По этой причине он улыбался ей с такою учтивостью и столь часто спрашивал ее, как она поживает, когда она навешала маленького Поля, что в конце концов как-то вечером она сказала ему напрямик, что не привыкла к этому, что бы он там ни думал, и не может и не хочет сносить это от него или от другого молокососа; после такого неожиданного ответа на его любезности мистер Тутс был так встревожен, что спрятался в укромном местечке и оставался там, покуда она не ушла. С тех пор он ни разу не встречался лицом к лицу с доблестной миссис Пипчин под кровом доктора Блимбера.

Оставалось две-три недели до каникул, когда Корнелия Блимбер позвала однажды Поля к себе в комнату и сказала:

— Домби, я собираюсь послать домой ваш анализ.

— Благодарю вас, сударыня, — ответил Поль.

— Вы понимаете, о чем я говорю, Домби? — осведомилась мисс Блимбер, строго глядя на него сквозь очки.

— Нет, сударыня.

— Домби, Домби, — сказала мисс Блимбер, — я начинаю опасаться, что вы нехороший мальчик. Если вы не понимаете смысла какого-нибудь выражения, почему вы не спрашиваете объяснений?

— Миссис Пипчин говорила мне, чтобы я не задавал вопросов, — отвечал Поль.

— Я должна просить вас, Домби, чтобы при мне вы ни в коем случае не упоминали о миссис Пипчин, — возразила мисс Блимбер. — Этого я не могу допустить. Курс обучения у нас весьма далек от чего-либо подобного. Повторение таких замечаний принудит меня потребовать, чтобы завтра утром, до завтрака, вы мне ответили без ошибок от *verbum personale* до *simillima cygno*⁶⁰.

— Я не хотел, сударыня... — начал маленький Поль.

— Будьте добры, Домби, потрудитесь не сообщать мне, чего именно вы не хотели, — сказала мисс Блимбер, которая оставалась устрашающе вежливой даже тогда, когда делала выговор. — Таких рассуждений я никак не могу допустить.

Поль счел самым благоразумным ничего не говорить; поэтому он только посмотрел на очки мисс Блимбер. Мисс Блимбер, серьезно покачав головой, обратилась к лежащей перед ней бумаге.

⁶⁰ От «личного глагола» до «того, кто более всего походит на лебедя» (*лат.*) *Simillima cygno* — конец известного афоризма Ювенала (Сатиры VI, 165): «*Rara avis in ferns, nigroque simillima cygno*» — «Словом, редчайшая птица земли, как черная лебедь».

— «Анализ характера П. Домби». Если память мне не изменяет, — сказала мисс Блимбер, прерывая чтение, — анализ, противопоставленный синтезу, определяется Уокером⁶¹ так: «Разложение объекта наших чувств или интеллекта на первоначальные его элементы». Противопоставленный синтезу, заметьте. Теперь вы знаете, что такое анализ, Домби.

Домби как будто был не совсем ослеплен светом, пролившимся на его интеллект, однако он слегка поклонился мисс Блимбер.

— «Анализ, — продолжала мисс Блимбер, устремив взгляд на бумагу, — характера П. Домби. Я нахожу, что природные способности Домби чрезвычайно хороши и что прилежание его заслуживает такой же оценки. Принимая восемь за наше мерило и высшую отметку, я нахожу, что каждое из этих качеств Домби измеряется шестью и тремя четвертями!»

Мисс Блимбер приостановилась, чтобы посмотреть, как принял эту новость Поль. Хорошенько не зная, что означают шесть и три четверти — то ли это шесть фунтов пятнадцать шиллингов, шесть пенсов три фартинга, шесть футов три дюйма, шесть часок сорок пять минут, или шесть каких-то предметов, которых он еще не проходил, с какими-то тремя неизвестными четвертями. — Поль потер руки и посмотрел прямо на мисс Блимбер. Оказалось, что этот ответ не хуже всякого другого, какой он мог дать, и Корнелия продолжала: — «Запальчивость — два. Эгоизм — два. Склонность к дурному обществу, проявившаяся в отношении человека по имени Глаб, первоначально — семь, но впоследствии уменьшилась. Поведение, приличествующее джентльмену, — четыре и постепенно улучшается». Теперь, Домби, я хочу обратить особое ваше внимание на общие замечания в конце этого анализа. Поль приготовился слушать с особым вниманием.

— «Что касается общих замечаний, — продолжала мисс Блимбер, читая громким голосом и через каждые два слова обращая свои очки на маленькую фигурку, — можно сказать о Домби, что способности и наклонности его хороши и что он сделал такие успехи, на какие при данных обстоятельствах можно было рассчитывать. Но достойно сожаления, что этот молодой джентльмен отличается странностями (как принято говорить — „не от мира сего“) в характере и поведении и что, не проявляя таких черт, которые явно заслуживали бы порицания, он часто бывает очень непохож на других молодых джентльменов его возраста и общественного положения». Ну-с, Домби, — сказала мисс Блимбер, кладя бумагу на стол, — вы это понимаете?

— Кажется, понимаю, сударыня, — сказал Поль.

— Этот анализ, Домби, — продолжала мисс Блимбер, — будет, как вы знаете, послан домой вашему уважаемому отцу. Разумеется, ему очень неприятно будет узнать, что у вас есть странности в характере и поведении. Разумеется, это неприятно и для нас, ибо, видите ли, Домби, мы не можем вас любить так, как этого бы хотели.

Она задела больное место ребенка. По мере того как приближался его отъезд, он с каждым днем все больше заботился втайне о том, чтобы все в доме его любили. По какой-то скрытой причине, очень смутно им сознаваемой, а быть может, и вовсе не сознаваемой, он чувствовал, как постепенно усиливается его нежность чуть ли не ко всем и ко всему в этом доме. Ему нестерпимо было думать, что они останутся совершенно равнодушны к нему, когда он уедет. Ему хотелось, чтобы они вспоминали о нем хорошо, и он поставил себе задачей умиловить даже большую охрипшую лохматую собаку, сидевшую на цепи позади дома, которая сначала приводила его в ужас, чтобы и она почувствовала его отсутствие, когда его здесь не будет.

Мало помышляя о том, что он лишний раз обнаруживает несходство со своими сверстниками, бедный крошечный Поль изложил все это как можно лучше мисс Блимбер и умолял ее, несмотря на официальный анализ, постараться полюбить его. К миссис Блимбер, которая присоединилась к ним, он обратился с такою же просьбой; а когда эта леди даже в его присутствии не удержалась и упомянула, как бывало нередко, о его странностях, Поль ответил ей, что, конечно, она права и, по-видимому, это вошло у него в плоть и кровь, но он не совсем понимает, в чем здесь дело, и надеется, что она посмотрит на это сквозь пальцы, потому что он любит их всех.

— Конечно, не так люблю, — сказал Поль застенчиво и в то же время с полной откровенно-

⁶¹ Уокер. — Мисс Блимбер ссылается на авторитет известного филолога и лексикографа, автора «Критического словаря произношения» Джона Уокера (1732—1807).

стью, являвшейся одной из своеобразнейших и обаятельнейших черт этого ребенка, — не так люблю, как Флоренс; это было бы невозможно. Ведь вы не могли на это рассчитывать, сударыня!

— О, вы, маленький чудак! — прошептала миссис Блимбер.

— Но я очень привязан здесь ко всем, — продолжал Поль, — и мне было бы грустно уезжать и думать, что кто-то радуется моему отъезду или ему это безразлично.

Теперь миссис Блимбер окончательно убедилась в том, что Поль — самый странный ребенок в мире, а когда она рассказала доктору о происшедшем, доктор не опровергал мнения жены. Но он сказал, как говорил уже раньше, когда Поль только что прибыл, что учение свое дело сделает, а затем прибавил то же, что говорил в тот раз:

— Развивай его, Корнелия! Развивай его!

Корнелия развивала его со всей энергией, на какую была способна, и Полю жилось нелегко. Но, помимо приготовления уроков, он давно уже наметил себе другую цель, которую никогда не терял из виду и упорно преследовал: быть кротким, услужливым, тихим ребенком, всегда старающимся заслужить любовь и привязанность окружающих; и хотя его часто можно было застать на старом его местечке на лестнице или наблюдающим волны и облака из окна его уединенной спальни, теперь он чаще бывал с другими мальчиками, скромно оказывая им маленькие добровольные услуги. В результате даже среди этих суровых и сосредоточенных юных затворников, умерщвлявших плоть под кровом доктора Блимбера, Поль был объектом всеобщего интереса, хрупкой маленькой игрушкой, которую все любили и с которой никому не пришло бы в голову обращаться грубо. Но он не мог изменить свою натуру, а следовательно, не мог изменить и «анализ», и посему все они пришли к тому заключению, что Домби — «не от мира сего».

Были, впрочем, некоторые льготы, связанные с такой репутацией, которыми никто другой не пользовался. Эти льготы не были бы распространены на ребенка, менее чудачковатого, и уже одно это имело большое значение.

Когда остальные, отправляясь спать, ограничивались поклоном доктору Блимберу и семейству, Поль протягивал ручонку и смело пожимал руку доктора, а также миссис Блимбер, а также мисс Корнелии. Если нужно было отвести от кого-нибудь грозящее ему наказание, Поль всегда был делегатом. Даже подслеповатый молодой человек однажды советовался с ним относительно разбитого стекла и фарфора. И ходили смутные слухи, что дворецкий, взирая на него с благосклонностью, какой сей суровый человек доселе не удостаивал никого из смертных мальчиков, иногда подливал ему портер в столовое пиво, чтобы Поль окреп.

Помимо этих чрезвычайных привилегий, Поль имел свободный доступ в комнату мистера Фидера, откуда он дважды выводил на свежий воздух мистера Тутса в обморочном состоянии после неудачной попытки выкурить отвратительную сигару — одну из той пачки, которую этот молодой человек тайком приобрел на морском берегу у отчаяннейшего контрабандиста, сообщившего по секрету, что за его голову, живую или мертвую, таможня назначила награду в двести фунтов. Уютная комната была у мистера Фидера; кровать стояла в другой маленькой комнатке, смежной, а флейта, на которой мистер Фидер еще не умел играть, но, по его словам, поставил себе целью научиться, висела над камином. Было здесь также несколько книг и удочка, ибо, по словам мистера Фидера, он несомненно научится удить рыбу, когда у него будет свободное время. С той же целью мистер Фидер приобрел прекрасный маленький, изогнутый, подержанный корнета-пистон, шахматную доску и шахматы, испанскую грамматику, принадлежности для рисования и пару перчаток для бокса. Искусство самозащиты, по словам мистера Фидера, он решительно намеревался изучить, считая это долгом каждого человека, так как оно дает возможность оказать покровительство женщине, попавшей в беду.

Но величайшим сокровищем мистера Фидера была большая зеленая банка нюхательного табаку, которую мистер Тутс привез ему в подарок по окончании последних вакаций и за которую заплатил очень дорого, так как она безусловно принадлежала принцу-регенту⁶². Ни мистер Тутс, ни

⁶² ...принадлежала принцу-регенту. — Легковерный Тутс полагал, будто приобретенная им банка нюхательного табаку в самом деле раньше принадлежала Георгу, принцу-регенту (с 1811 года, вследствие сумасшествия его отца, короля Георга III), известному кутиле и фату, ставшему королем Георгом IV в 1820 году.

мистер Фидер не могли угоститься ни одной понюшкой, даже самой умеренной, чтобы не расчихаться до судорог. Тем не менее великим удовольствием было для них смочить табак в табакерке холодным чаем, размешать его на листе пергаменты ножом для разрезания бумаги и время от времени заниматься его потреблением. Набивая себе нос, они претерпевали ужасную пытку со стойкостью мучеников и, попивая в промежутках столовое пиво, наслаждались всеми прелестями разгула.

Для маленького Поля, молча сидевшего в их компании возле главного своего патрона, мистера Тутса, было в этих беспутных занятиях какое-то жуткое очарование; а когда мистер Фидер заводил речь о мрачных тайнах Лондона и сообщал мистеру Тутсу, что намерен во время ближайших каникул изучить эти тайны внимательно, со всех сторон, и с этой целью договорился поселиться в пансионе у двух старых девствующих леди в Пекеме, Поль смотрел на него, словно тот был героем какой-нибудь книги путешествий или невероятных приключений, и готов был опасаться такого отчаянного человека.

Войдя как-то вечером в эту комнату, когда каникулы уже приближались, Поль увидел, что мистер Фидер заполняет пробелы в каких-то отпечатанных письмах, а мистер Тутс складывает и заклеивает другие, уже заполненные и разложенные перед ним. Мистер Фидер сказал:

— Ага, Домби, вот и вы! — ибо они были всегда ласковы с ним и рады его видеть; а затем добавил, бросив ему одно из писем: — А вот для вас, Домби. Это вам.

— Мне, сэр? — сказал Поль.

— Пригласительный билет вам, — отвечал мистер Фидер.

Поль взглянул: на билете было выгравировано, — только его имя и число написаны были рукою мистера Фидера, — что доктор и миссис Блимбер просят мистера П. Домби пожаловать на вечеринку, в среду, семнадцатого сего месяца, что она назначена на половину восьмого и что будут танцевать кадрили. Мистер Тутс, взяв такой же листок бумаги, в свою очередь показал ему, что доктор и миссис Блимбер просят мистера Тутса пожаловать на вечеринку, в среду, семнадцатого сего месяца, назначенную на половину восьмого; причем будут танцевать кадрили. Поль убедился также, взглянув на стол, за которым сидел мистер Фидер, что доктор и миссис Блимбер просят и мистера Бригса пожаловать, и мистера Тозера пожаловать, и всех молодых джентльменов пожаловать по тому же приятному поводу.

Затем мистер Фидер, к великой радости Поля, сообщил, что приглашена его сестра, что это событие завершает полугодие и что каникулы начнутся в тот же день, и он, если хочет, может уехать с сестрой после вечеринки, — тут Поль перебил его и сказал, что этого он очень хочет. Затем мистер Фидер сообщил ему о необходимости изящнейшим почерком написать доктору и миссис Блимбер, что мистер П. Домби польщен и будет счастлив посетить их согласно их любезному приглашению. Наконец мистер Фидер сказал, что он хорошо сделает, если не будет упоминать о празднестве в присутствии доктора и миссис Блимбер; ибо эти приготовления ведутся на началах классицизма и великосветского тона и что предполагается, будто доктор и миссис Блимбер, с одной стороны, а молодые джентльмены, с другой, в качестве особ ученых, понятия не имеют о предстоящем.

Поль поблагодарил мистера Фидера за эти указания, спрятал пригласительный билет в карман и уселся, как всегда, на скамейку возле мистера Тутса. Но голова Поля, которая давно уже побаливала, а иногда бывала очень тяжелой и сильно болела, была в тот вечер такой затуманенной, что он принужден был подпереть ее рукою. Однако она опускалась все ниже и ниже, приникла к колену мистера Тутса и тут и осталась, словно ей не предстояло снова подняться.

Не было у него никаких оснований оглохнуть; но, должно быть, это случилось, — подумал он, — ибо вскоре услышал, что мистер Фидер окликает его под самым ухом и тихонько встряхивает, желая привлечь его внимание. А когда он с испугом поднял голову и осмотрелся кругом, он увидел, что в комнате находится доктор Блимбер, что окно раскрыто и лоб у него смочен водой, хотя было действительно очень странно, каким образом все это произошло помимо его ведома.

— А! Ну-ну! Прекрасно! Как себя чувствуете сейчас, мой юный друг? — ободряюще сказал доктор Блимбер.

— Очень хорошо, благодарю вас, сэр, — отвечал Поль.

Но, по-видимому, случилось что-то неладное с полом, так как он не мог стоять на нем твердо; да и со стенами, ибо они обнаружили склонность вращаться, и остановить их можно было только глядя на них очень пристально. В то же время голова мистера Тутса казалась такой большой и нахо-

дилась так далеко, что это было не совсем естественно; а когда он взял Поля на руки, чтобы отнести наверх, Поль с изумлением заметил, что дверь находится совсем не там, где он предполагал ее увидеть, и в первый момент он готов был подумать, что мистер Тутс собирается пройти прямо через дымоход.

Было очень любезно со стороны мистера Тутса отнести его так ласково в верхний этаж дома, и Поль сказал ему об этом. Но мистер Тутс ответил, что сделал бы гораздо больше, если бы это было возможно; да он и сделал больше, ибо помог Полю раздеться и с величайшей заботливостью уложил его в постель, а затем сел у кровати и очень долго хихикал; а мистер Фидер, бакалавр искусств, склонившись над кроватью, вздыбил костлявой рукой свою короткую щетину на голове, а затем притворился, будто нападает на Поля по всем правилам науки по случаю его полного выздоровления, и это было так забавно и так мило со стороны мистера Фидера, что Поль, не зная, нужно ему смеяться или плакать, и плакал и смеялся одновременно.

Как испарился мистер Тутс, а мистер Фидер превратился в миссис Пипчин — Полю не пришло в голову спросить, да он этим вовсе и не интересовался; но, увидев, что вместо мистера Фидера в ногах кровати стоит миссис Пипчин, он воскликнул:

— Миссис Пипчин, не говорите Флоренс!

— О чем не говорить Флоренс, мой маленький Поль? — спросила миссис Пипчин, обойдя кровать и опускаясь на стул.

— Обо мне, — сказал Поль.

— Нет, нет, не скажу, — сказала миссис Пипчин.

— Как вы думаете, миссис Пипчин, что я хочу сделать, когда вырасту? — осведомился Поль, поворачиваясь на подушке к ней лицом и задумчиво опуская подбородок на сложенные руки.

Миссис Пипчин не могла угадать.

— Я хочу, — сказал Поль, — положить все свои деньги в банк, не заботиться о том, чтобы их стало еще больше, уехать за город с моей дорогой Флоренс, где будет красивый сад, поля и леса, и жить там с ней всю жизнь!

— Вот как? — воскликнула миссис Пипчин.

— Да, — сказал Поль. — Вот что я хочу сделать, когда я...

Он запнулся и на секунду задумался.

Серые глаза миссис Пипчин всматривались в его сосредоточенное лицо.

— Если я вырасту, — сказал Поль.

Затем он тотчас же начал рассказывать миссис Пипчин о вечеринке, о приглашении Флоренс, о том, как он будет гордиться тем восхищением, какое она вызовет у всех мальчиков, о том, как они добры к нему и любят его, как он их любит и как он всему этому рад. Затем он сообщил миссис Пипчин об анализе и о том, что он, конечно, не от мира сего, и пожелал узнать мнение миссис Пипчин по этому поводу, а также, известно ли ей, почему это случилось и что это значит. Миссис Пипчин, избрав легчайший способ выпутаться из затруднения, начисто отрицала этот факт, но Поль далеко не удовлетворился таким ответом и столь испытующе смотрел на миссис Пипчин в ожидании более правдивых слов, что она принуждена была встать и выглянуть в окно, чтобы уйти от его взгляда.

Некий, всегда уравновешенный лекарь, который посещал заведение, когда заболел кто-нибудь из молодых джентльменов, каким-то образом проник в комнату и появился у постели вместе с миссис Блимбер. Как очутились они здесь и долго ли пробыли, — Поль не знал; но, увидев их, он уселся в постели и подробно ответил на все вопросы лекаря и шепнул ему, что, право, Флоренс ничего не должна знать об этом и что он твердо решил, чтобы она была на вечеринке. Он много болтал с лекарем, и они расстались наилучшими друзьями. Потом, лежа с закрытыми глазами, он слышал, как лекарь сказал, выйдя из комнаты и где-то очень далеко, — или ему это приснилось, — что наблюдается отсутствие жизненной силы («что бы это могло быть?» — подумал Поль) и организм чрезвычайно ослаблен; что мальчуган твердо решил расстаться со своими школьными товарищами семнадцатого и поэтому следует удовлетворить его желание, если ему не станет хуже; что он рад был узнать от миссис Пипчин о переезде мальчугана к родным в Лондон, назначенном на восемнадцатое; что он еще раньше, как только лучше ознакомится с болезнью, сам напишет мистеру Домби; что сейчас нет прямых оснований для... для чего? — Поль не расслышал слова; и что у мальчу-

гана живой ум, но он — не от мира сего.

Что это значит «не от мира сего», — с замирающим сердцем размышлял Поль, — что это за особенность, так явно выраженная в нем, так отчетливо видимая столь многими?

Он не мог это понять и не мог долго утруждать себя размышлениями. Миссис Пипчин снова была возле него, словно и не уходила (он думал, что она вышла вместе с доктором, но, быть может, все это был сон), и вскоре у нее в руках таинственным образом появились стакан и бутылка, и она наполнила для него стакан. После этого он получил очень вкусное желе, которое принесла ему сама миссис Блимбер; и тогда он почувствовал себя так хорошо, что миссис Пипчин после настойчивых его просьб отправилась домой, а Бригс и Тозер пришли ложиться спать. Бедный Бригс ужасно жаловался на свой анализ — его разлагающее действие не могло бы быть сильнее, будь это настоящий химический процесс; но он был очень ласков с Полем, так же как и Тозер, так же как и все остальные, ибо все до единого заходили к нему перед сном и говорили: «Как вы себя чувствуете сейчас, Домби?» — «Не унывайте, маленький Домби!» и прочее. Когда Бригс лег в постель, он долго не спал, все еще сетуя на свой анализ и говоря, что, конечно, он совершенно неверен, и даже убийце они не могли бы дать анализа хуже, и что бы сказал доктор Блимбер, если бы сумма его собственных карманных денег зависела от такого анализа. Очень легко, — заявил Бригс, — делать из мальчика галерного раба в течение целого полугодия, а потом заносить в анализ, что он лентяй, и каждую неделю дважды оставлять его втихомолку без обеда, а потом заносить в анализ, что он жаден; но это не значит, — полагает он, — что надо этому подчиниться, не так ли? Ох! Ах!

На следующее утро, прежде чем приняться за гонг, подслеповатый молодой человек поднялся наверх к Полю и сказал ему, чтобы он не вставал с постели, что Поль с радостью исполнил. Миссис Пипчин снова появилась незадолго до прихода лекаря, а спустя некоторое время добрая молодая женщина, которая чистила печку, когда Поль увидел ее в то первое утро (каким далеким казалось оно теперь!), принесла ему завтрак. Был еще один консилиум где-то очень далеко, — или же Полю опять это приснилось, — а затем лекарь, снова появившись с доктором Блимбером и миссис Блимбер, сказал:

— Да, я думаю, доктор Блимбер, теперь мы можем освободить этого молодого джентльмена от книг: вакации уже на носу.

— Несомненно, — сказал доктор Блимбер. — Дорогая моя, пожалуйста, сообщите об этом Корнелии.

— Непременно, — сказала миссис Блимбер.

Лекарь, наклонившись, пристально посмотрел в глаза Полю, пощупал ему голову, пульс и выслушал сердце с таким вниманием и заботливостью, что Поль сказал:

— Благодарю вас, сэр.

— Наш юный друг, — заметил доктор Блимбер, — никогда не жаловался.

— О да! — ответил лекарь. — Вряд ли он стал бы жаловаться.

— Вы находите, что ему гораздо лучше? — осведомился доктор Блимбер.

— О, ему гораздо лучше, сэр, — ответил лекарь.

Поль по свойственной ему странной привычке начал размышлять о том, чем могли быть заняты в тот момент мысли лекаря, — так задумчиво ответил он на два замечания доктора Блимбера. Но поскольку лекарь случайно встретил взгляд своего маленького пациента, когда тот пустился в эти умозрительные изыскания, и тотчас же вывел его из раздумья веселой улыбкой, то Поль улыбнулся в ответ и бросил свои размышления.

Весь день он пролежал в постели, дремал, грезил и смотрел на мистера Тутса, но на следующий день встал и спустился вниз. О, чудо! Что-то случилось с большими стенными часами, и рабочий, стоявший на стремянке, снял с них циферблат и при свете свечи ковырял инструментами в механизме! Это было великое событие для Поля, который уселся на ступеньку и внимательно следил за операцией, то и дело посматривая на циферблат, прислоненный к стене, и чувствуя некоторое смущение при мысли, что циферблат подмигивает ему.

Рабочий на стремянке был очень вежлив; когда, увидев Поля, он сказал: «Как поживаете, сэр?» — Поль вступил с ним в разговор и сообщил ему, что был не совсем здоров. Когда лед был таким образом сломан, Поль задал ему множество вопросов о часах-курантах и о том, дежурят ли по ночам люди на колокольнях, чтобы заставить часы бить, и как звонят в колокола, когда умирают люди, и

отличается ли этот звон от свадебного звона, или живым только чудится, что он заунывен. Убедившись, что новый его знакомый не очень хорошо осведомлен, для чего в старину по вечерам звонили в колокол, Поль рассказал ему об этом обычае, а также спросил его как человека практического, какого он мнения о затее короля Альфреда⁶³ измерять время при помощи горящих свечей, на что рабочий отвечал, что, по его мнению, она погубила бы торговлю часами, если бы снова вернулись к этой затее. Короче говоря, Поль наблюдал, пока часы не приняли обычного своего вида и не начали снова задавать свой степенный вопрос, после чего рабочий, сложив инструменты в длинную корзинку, пожелал ему всех благ и ушел. Но предварительно он шепнул что-то лакею у двери, причем употребил слово «чудаковат», — Поль это слышал.

Что такое «чудаковатость» и почему она вызывала сожаление у людей? Что бы это могло быть?

Свободный теперь от занятий, он часто об этом думал; хотя не так часто, как могло бы случиться, если бы ему нужно было думать о меньшем количестве вещей. А их было очень много, и он думал все время, с утра до вечера.

Прежде всего о Флоренс, которая придет на вечеринку. Флоренс увидит, что мальчики его любят, и это ее обрадует. Вот об этом он думал постоянно. Пусть Флоренс убедится, что они ласковы и добры к нему и что он стал их маленьким любимцем, и тогда она будет вспоминать о тех днях, которые он здесь провел, без особой грусти. Быть может, благодаря этому у Флоренс легче будет на душе, когда он сюда вернется.

Когда он сюда вернется! Пятьдесят раз в день его маленькие ножки бесшумно взбирались по лестнице в его комнату: он собирал свои книги и все свое имущество и складывал все, вплоть до последней мелочи, чтобы взять с собою домой! Незаметно было, чтобы маленький Поль собирался сюда вернуться; никаких приготовлений к этому, никаких намеков на это не было во всем, что он думал и делал, за исключением мимолетной мысли, связанной с сестрой. Наоборот, блуждая по дому в этом сосредоточенном расположении духа, он думал обо всем ему близком так, словно должен был с этим расстаться навсегда, а потому-то и надо было думать об очень многом, с утра до вечера.

Надо было заглянуть в комнаты наверху и подумать о том, как будет в них пусто, когда он уедет; и поинтересоваться, сколько безмолвных дней, недель, месяцев и лет будут они оставаться такими же торжественными и тихими. Надо было подумать о том, будет ли здесь бродить когда-нибудь другой мальчик («не от мира сего», как и он), которому откроются такие же странные изменения в узорах обоев и вощанки, и расскажет ли кто-нибудь этому мальчику о маленьком Домби, который жил здесь когда-то.

Надо было подумать о портрете на лестнице, который всегда провожал его задумчивым взглядом, когда он проходил, поглядывая через плечо, и который, если он шел не один, все-таки смотрел как будто только на него, а не на его спутника. Надо было хорошенько подумать о гравюре, висевшей в другом месте, на которой в центре потрясенной группы людей одна фигура, ему известная, фигура с сиянием вокруг головы — добрая, кроткая и милосердная — стояла, указывая вверх.

У окна его спальни сотни мыслей сливались с этими и приходили одна за другой, одна за другой, как набегающие волны. Где живут эти дикие птицы, которые в ненастную погоду всегда кружатся над морем; откуда поднимаются и где зарождаются облака; откуда мчится ветер в стремительном своем полете и где он останавливается; может ли то место, где они так часто сидели с Флоренс и смотрели вдаль и рассуждали обо всем, — может ли оно и без них оставаться точь-в-точь таким, каким было; могло ли оно остаться таким для Флоренс, если бы он был где-нибудь далеко, а она сидела там одна.

Надо было подумать также о мистере Тутсе и мистере Фидере, бакалавре искусств; обо всех мальчиках, и о докторе Блимбере, и о миссис Блимбер, и о мисс Блимбер, о доме, и о тетке, и о мисс Токс; об отце, Домби и Сыне, об Уолтере и его бедном старом дяде, получившем деньги, в которых он нуждался, и об этом капитане с хриплым голосом и железной рукой. Помимо всего этого, надо было сделать в течение дня множество маленьких визитов: побывать в классной комнате, в кабинете доктора Блимбера, в комнате миссис Блимбер, мисс Блимбер и у собаки. Ибо теперь он пользовался

⁶³ ...о затее короля Альфреда... — Измерение времени по отметкам на горячей свече было предложено королем англосаксов Альфредом Великим (IX в. н.)

правом разгуливать по всему дому; а так как ему хотелось расстаться со всеми в наилучших отношениях, он по-своему старался всем услужить. То он находил нужные места в книге для Бригса, который всегда их терял; то отыскивал слова в лексиконах для других молодых джентльменов, попавших в затруднительное положение; то помогал миссис Блимбер мотать шелк; то приводил в порядок письменный стол Корнелии; то пробирался даже в кабинет доктора и, сидя на ковре близ его ученых ног, потихоньку поворачивал глобусы и отправлялся в кругосветное путешествие или совершал полет среди далеких звезд.

Короче говоря, в те дни перед самыми каникулами, когда прочие молодые джентльмены выбивались из сил, восстанавливая в памяти все пройденное за полугодие, Поль был таким привилегированным учеником, какого никогда еще не видали в этом доме. Он сам едва мог этому поверить; однако проходили часы и дни, а свободу он сохранял; и маленького Домби ласкали все. Доктор Блимбер был так внимателен к нему, что однажды за обедом приказал Джонсону выйти из-за стола, когда тот необдуманно назвал его «бедненьким Домби»; по мнению Поля, это было, пожалуй, сурово и жестоко, хотя в тот момент он вспыхнул и удивился, почему Джонсон его жалеет. Справедливость доктора была, по мнению Поля, тем более сомнительна, что накануне вечером он ясно слышал, как этот великий авторитет согласился с замечанием (высказанным миссис Блимбер), что бедненький милый Домби стал еще более «не от мира сего». Вот тогда-то Поль и начал подумывать о том, что быть не от мира сего — значит быть очень худым и слабым, быстро уставать и чувствовать желание где-нибудь прилечь и отдохнуть; а он не мог не замечать, что эта склонность развивается у него со дня на день.

Наконец настал день вечеринки, и доктор Блимбер сказал за завтраком:

— Джентльмены, мы возобновим наши занятия двадцать пятого числа следующего месяца.

Мистер Тутс немедленно сбросил иго рабства, надел кольцо и вскоре после этого, упомянув в случайном разговоре о докторе, назвал его «Блимбер». Такая вольность вызвала у старших учеников чувство восторга и зависти; но более юные умы были уstraшены и как будто удивлялись, что потолок не рухнул и не раздавил его.

Как за завтраком, так и за обедом не было сделано ни одного намека на вечернюю церемонию, но в доме весь день царила суматоха, и во время своих скитаний Поль познакомился с многочисленными странными скамьями и подсвечниками и повстречался с арфой в зеленом пальто, стоявшей на площадке перед дверью гостиной. А за обедом голова миссис Блимбер имела какой-то странный вид, как будто волосы ее были закручены слишком туго; и хотя на обоих висках мисс Блимбер красовались накладные букли, ее собственные кудри под ними были как будто завернуты в бумагу, и вдобавок в театральную афишу, ибо над одним стеклом ее сверкающих очков Поль прочел: «Королевский театр», а над другим: «Брайтон».

Под вечер в дортуарах юных джентльменов был грандиозный парад белых жилетов и галстуков и стоял такой сильный запах паленых волос, что доктор Блимбер послал наверх лакея с приветом и пожелал узнать, не пожар ли в доме. Но в действительности это был всего лишь парикмахер, который завивал молодых джентльменов и в пылу усердия перегрел щипцы.

Когда Поль оделся, — что было сделано быстро, ибо он чувствовал недомогание и сонливость и не мог заниматься туалетом очень долго, — он спустился в гостиную, где застал доктора Блимбера, прогуливающегося по комнате, в вечернем костюме, но с таким величественным и безучастным видом, как будто он попросту не допускал возможность, что к нему кто-нибудь заглянет. Затем появилась миссис Блимбер, очаровательная, на взгляд Поля, и надевшая такое множество юбок, что нужно было совершить целую экскурсию, чтобы обойти вокруг нее. Мисс Блимбер спустилась вскоре после своей матушки, непомерно перетянутая, но прелестная.

Вслед за ними прибыли мистер Тутс и мистер Фидер. Каждый из этих джентльменов держал в руке свою шляпу, словно жил где-нибудь далеко отсюда; а когда дворецкий доложил о них, доктор Блимбер сказал: «А-а-а! Ах, боже мой!» — и, казалось, был чрезвычайно рад их видеть. Мистер Тутс сверкал драгоценными камнями и пуговицами и придавал такое значение этому обстоятельству, что, пожав руку доктору и поклонившись миссис Блимбер и мисс Блимбер, отвел Поля в сторонку и спросил:

— Что вы об этом думаете, Домби?

Но, несмотря на такую скромную уверенность в себе, мистер Тутс, казалось, пребывал в нере-

шительности по поводу того, надлежит ли застегнуть нижнюю пуговицу жилета и следует ли, при трезвом учете всех обстоятельств, отвернуть или выправить манжеты. Заметив, что у мистера Фидера они отвернуты, мистер Тутс отвернул свои; но так как у следующего гостя манжеты были выправлены, мистер Тутс выправил свои. Что касается пуговиц жилета, не только нижних, но и верхних, то по мере прибытия гостей вариации стали столь многообразны, что Тутс все время теребил пальцами эту принадлежность туалета, точно играл на каком-то инструменте, и, по-видимому, находил эти неустанные упражнения весьма затруднительными.

Когда все молодые джентльмены, завитые, в тугих галстуках и лакированных туфлях, держа в руках новенькие шляпы, собрались, причем о появлении каждого было доложено дворецким, пришел учитель танцев, мистер Бепс, в сопровождении миссис Бепс, с которой миссис Блимбер была в высшей степени любезна. Мистер Бепс был очень серьезный джентльмен с медлительной и размеренной речью; не простояв и пяти минут под лампой, он заговорил с Тутсом (который молчаливо сравнивал его лакированные туфли со своими) о том, что стали бы вы делать с сырьем, когда оно прибывает в ваши порты в обмен на ваше золото. Мистер Тутс, которому вопрос показался туманным, предложил «сварить его». Но мистер Бепс как будто не считал такую меру целесообразной.

Поль выскользнул из своего уголка на диване, среди подушек, служившего ему наблюдательным пунктом, и спустился в комнату, где был сервирован чай, чтобы встретить Флоренс, которой не видел почти две недели, так как прошлую субботу и воскресенье оставался у доктора Блимбера во избежание простуды. Вскоре она пришла с живыми цветами в руках, такая красивая в своем скромном бальном платье, что, когда она опустила на колени, чтобы обнять Поля за шею и поцеловать его (так как никого здесь не было, кроме его приятельницы и еще одной молодой женщины, которые разливали чай), он едва мог заставить себя отпустить ее или отвести взгляд от ее сияющих и любящих глаз.

— Что случилось, Флой? — спросил Поль, почти уверенный, что увидел слезу.

— Ничего, милый, ничего, — отвечала Флоренс. Поль осторожно коснулся пальцем ее щеки — да, это была слеза!

— Что же это, Флой? — сказал он.

— Мы вместе поедem домой, и я буду ухаживать за тобой, мой милый, — сказала Флоренс.

— Ухаживать за мной? — повторил Поль.

Поль не мог понять, какое это имеет отношение к слезе, почему обе молодые женщины смотрели так серьезно и почему Флоренс на секунду отвернулась, а потом повернула к нему лицо, вновь светившееся улыбкой.

— Флой, — проговорил Поль, держа и руке локон ее темных волос, — скажи мне, дорогая: как ты думаешь, я — не от мира сего?

Сестра засмеялась, приласкала его и ответила: «Нет».

— Потому что я знаю, они так говорят. — продолжал Поль, — и мне хочется знать, что они хотят этим сказать, Флой.

Туг раздался громкий стук в дверь. Флоренс поспешила отойти к столу, и больше они об этом не говорили. Поль снова удивился, увидев, что его приятельница шепчет что-то Флоренс, как будто утешает ее, но прибытие новых гостей отвлекло его от этой мысли.

Это были сэр Барнет Скетлс, леди Скетлс и юный мистер Скетлс. После вакаций мистеру Скетлсу предстояло поступить в школу, и в комнате мистера Фидера постоянно прославляли его отца, который был в палате общин и о котором мистер Фидер сказал, что когда он поймает взгляд спикера⁶⁴ (чего ждали от него вот уже три или четыре года), то можно предвидеть, как он отхлещет радикалов.

— Ну, а это что за комната? — обратилась леди Скетлс к приятельнице Поля, Милии.

— Кабинет доктора Блимбера, сударыня, — был ответ...

Леди Скетлс обзрела его в лорнет и с одобрительным кивком сказала сэру Барнету Скетлсу: «Очень хорошо». Сэр Барнет Скетлс согласился, но мистер Скетлс смотрел подозрительно и недо-

⁶⁴ ...поймает взгляд спикера... — то есть получит слово в палате общин, ибо председатель палаты (спикер) кивком головы предоставляет слово очередному оратору.

верчиво.

— Ну, а этот малютка, — сказала леди Скетлс, поворачиваясь к Полю. — Он один из...

— Один из молодых джентльменов, сударыня, — сказала приятельница Поля.

— Как же вас зовут, мое бедное дитя? — осведомилась леди Скетлс.

— Домби, — отвечал Поль.

Сэр Барнет Скетлс тотчас вмешался и заявил, что имел честь встретиться с отцом Поля на публичном обеде, и выразил надежду, что он находится в добром здравии. Затем Поль услышал, как он говорил леди Скетлс: «Сити... очень богат... в высшей степени респектабелен... доктор упоминал об этом». А затем он сказал Полю:

— Пожалуйста, передайте вашему милому папе, что сэр Барнет Скетлс весьма рад, что он находится в добром здравии, и посылает ему свой горячий привет.

— Хорошо, сэр, — отвечал Поль.

— Молодец! — сказал сэр Барнет Скетлс. — Барнет, — обратился он к юному мистеру Скетлсу, который, назло предстоящему ученью, налег на кекс с коринкой, — с этим молодым человеком тебе следует познакомиться. С этим молодым человеком ты можешь познакомиться, — сказал сэр Барнет Скетлс, выразительно подчеркивая свое позволение.

— Какие глаза! Какие волосы! Какое прелестное личико! — тихо воскликнула леди Скетлс, взирая в лорнет на Флоренс.

— Моя сестра, — сказал Поль, представляя ее.

Скетлсы были теперь вполне удовлетворены. А так как леди Скетлс с первого взгляда почувствовала расположение к Полю, они все вместе отправились наверх; сэр Барнет Скетлс взял на себя заботу о Флоренс, а юный Барнет следовал за ними.

Юный Барнет недолго пребывал на заднем плане после того, как они вошли в гостиную, ибо доктор Блимбер в одну минуту выдвинул его, заставив танцевать с Флоренс. Поль не заметил, чтобы тот был особенно счастлив или проявлял что-нибудь, кроме угрюмости и слабой заинтересованности своим занятием; но поскольку Поль слышал, как леди Скетлс сказала миссис Блимбер, отбивавшей такт веером, что ее дорогой мальчик явно без ума от этого ангела — мисс Домби, — то, по-видимому, Скетлс-младший пребывал в состоянии блаженства, отнюдь этого не обнаруживая.

Маленький Поль усмотрел странное стечение обстоятельств в том, что никто не занял его места среди подушек; и когда он вернулся в комнату, все, помня, что это место принадлежит ему, расступились, давая ему возможность снова его занять. И никто не останавливался перед ним, когда заметили, как приятно ему видеть Флоренс среди танцующих; напротив, все старались стать так, чтобы он мог все время следить за нею. Все были очень добры — даже незнакомые ему люди, которых вскоре появилось очень много, — и то и дело подходили и заговаривали с ним, спрашивали, как он себя чувствует, не болит ли у него голова, и не устал ли он. Он был им очень признателен за доброту и внимание и, прислонясь к подушкам в своем уголке на диване, где сидели также миссис Блимбер и леди Скетлс, наблюдал и был очень счастлив; Флоренс приходила и подсаживалась к нему после каждого тура.

Флоренс сидела бы с ним весь вечер и предпочла бы вовсе не танцевать, но Поль заставил ее, сказав, какое удовольствие это ему доставляет. И он сказал правду, потому что сердечко его расширилось и лицо горело, когда он видел, как все восхищаются ею и каким прелестным цветком была она в этой комнате.

Из своего гнездышка среди подушек Поль мог видеть и слышать чуть ли не все происходящее, словно все это делалось для его развлечения. Помимо прочих мелких инцидентов, им замеченных, он увидел, как мистер Бепс, учитель танцев, вступил в разговор с сэром Барнетом Скетлсом и вскоре спросил его, как спрашивал мистера Тутса, что стали бы вы делать с сырьем, когда оно прибывает в ваши порты в обмен на ваше золото. Сэр Барнет Скетлс многое имел сказать по этому вопросу и сказал; но вопрос как будто остался неразрешенным, ибо мистер Бепс возразил: да, но, предположим, Россия выступит со своими жирами; после чего сэр Барнет чуть ли не онемел и мог только покачать головой и сказать: ну, что ж, тогда вам, вероятно, придется обратиться к своему хлопку.

Сэр Барнет Скетлс посмотрел вслед мистеру Бепсу, когда тот пошел подбодрить миссис Бепс (всеми покинутая, она делала вид, будто разглядывает ноты джентльмена, игравшего на арфе), — посмотрел так, словно считал его замечательным человеком; а вскоре он это и высказал доктору

Блимберу и осведомился, может ли он спросить, имел ли когда-нибудь этот джентльмен отношение к департаменту торговли. Доктор Блимбер отвечал: нет, не совсем, и что, собственно говоря, он — преподаватель...

— Готов поклясться, в какой-нибудь области, связанной со статистикой? — заметил сэра Барнет Скетлс.

— Нет, видите ли, сэра Барнет, — ответил доктор Блимбер, потирая подбородок, — нет, не совсем так.

— Но с какими-нибудь расчетами, готов пари держать, — сказал сэра Барнет Скетлс.

— Да, видите ли, — сказал доктор Блимбер, — да, но в другом роде. Мистер Бепс — весьма достойный человек, Сэр Барнет, и... собственно говоря, он — наш учитель танцев.

Поль с изумлением увидел, что эта новость совершенно изменила мнение сэра Барнета Скетлса о мистере Бепсе и что сэра Барнет пришел в бешенство и через всю комнату бросил грозный взгляд на мистера Бепса. Он даже до того дошел, что, сообщая леди Скетлс о случившемся, послал мистера Бепса к черту и сказал, что это ве-ли-чай-шая и воз-му-ти-тель-ней-шая наглость.

И еще одну вещь отметил Поль. Мистер Фидер, выпив несколько бокалов негуса⁶⁵, начал веселиться. В общем, танцы были церемонные, а музыка торжественная, слегка напоминающая, собственно говоря, церковную музыку; но после вышеупомянутых бокалов мистер Фидер сказал мистери Тутсу, что собирается внести некоторое оживление в танцы. Затем мистер Фидер не только начал танцевать так, как будто решил танцевать не на шутку, но и тайком подстрекал музыкантов к исполнению бравурных мелодий. Далее он стал оказывать большое внимание дамам и, танцуя с мисс Блимбер, нашепывал ей — нашепывал, но достаточно громко, чтобы Поль мог услышать! — замечательные стихи:

Пускай обманом дышит сердце,
Но вас не обману!

Поль слышал, как он повторил это четверем молодым леди по очереди. Не без оснований сказал мистер Фидер мистери Тутсу, что опасается, как бы не пришлось ему расплачиваться за это завтра.

Миссис Блимбер была слегка встревожена этим, так сказать, разнузданным поведением и в особенности изменившимся характером музыки, в которой зазвучали вульгарные мелодии, популярные на улицах, что, как естественно было предположить, могло показаться оскорбительным для леди Скетлс. Но леди Скетлс была очень добра и просила миссис Блимбер не тревожиться; и объяснение ее касательно живости мистера Фидера, иногда приводящей его к эксцентрическим выходкам, приняла с величайшей любезностью и учтивостью, заметив, что он производит впечатление весьма приятного человека, если принять во внимание его положение, и что ей особенно нравится скромная его манера причесывать волосы, которые (как уже упоминалось) были примерно в четверть дюйма длиной.

Как-то, во время перерыва в танцах, леди Скетлс сказала Полю, что он, по-видимому, очень любит музыку. Поль ответил, что любит; а если и она ее любит, то следовало бы ей послушать, как поет его сестра Флоренс. Леди Скетлс тотчас поведала, что умирает от желания получить это удовольствие; и хотя Флоренс была сначала очень испугана просьбой петь в таком большом обществе и настойчиво просила освободить ее от этого, однако, когда Поль подозвал ее и сказал: «Спой! Пожалуйста! Для меня, моя дорогая!» — она подошла к фортепьяно и запела. Когда все отступили в сторону, чтобы Поль мог ее видеть, и когда он увидел, как она сидит там одна, такая юная, добрая, прекрасная и любящая его, и услышал, как ее звонкий голос, такой чистый и нежный, золотое звено между ним и всей любовью и счастьем его жизни, зазвучал среди общего молчания, — он отвернулся и постарался скрыть слезы. Дело не в том, как объяснял он, когда с ним заговаривали об этом, дело не в том, что музыка была слишком печальной или заунывной, но она так дорога ему!

Все полюбили Флоренс! Да и могло ли быть иначе?! Поль заранее знал, что они должны ее

⁶⁵ *Негус* — крепкий напиток, названный в честь изобретателя, полковника Ф. Негуса (XVIII в.): подслащенный портвейн с лимонным соком, разбавленный горячей водой.

полюбить и полюбят; и когда он сидел в своем уголке среди подушек и смотрел на нее, спокойно сложив руки и небрежно подогнув под себя ногу, мало кому пришло бы в голову, каким торжеством и восторгом переполняется его детское сердце и какое сладкое упоение он чувствует. Восторженные похвалы «сестре Домби» он слышал от всех мальчиков; восхищенные отзывы об этой сдержанной и скромной маленькой красавице были у всех на устах; замечания об ее уме и талантах все время доносились к нему; и, словно разлитое в воздухе летней ночи, было рассеяно вокруг какое-то еле уловимое чувство, имевшее отношение к Флоренс и к нему и дышавшее симпатией к ним обоим, которое успокаивало и трогало его.

Он не знал — почему. Ибо все, что видел, чувствовал и думал в тот вечер Поль, — присутствующие и отсутствующие, настоящее и прошедшее, — все это слилось, как цвета в радуге или в оперении ярких птиц, когда светит на них солнце, или в тускнеющем небе, когда солнце клонится к закату. Все то, о чем последнее время приходилось ему думать, проплывало теперь перед ним в музыке; оно уже не требовало его внимания и вряд ли способно было снова его занять, оно как бы умиротворялось и уходило. Окно, в которое он смотрел так давно, было обращено к океану, отступившему от него на много миль; на водах океана занимавшие его еще вчера фантазии были усыплены, убаюканы, как укрощенные волны. Все тот же таинственный ропот, — чудилось ему, — которого он не мог понять, когда лежал в своей колясочке на морском берегу, он снова слышит сквозь пенье сестры и сквозь гул голосов и топот ног, и как-то отражается этот ропот в мелькающих мимо лицах и даже в неуклюжей нежности мистера Тутса, часто подходившего пожать ему руку. Сквозь доброту всех окружающих, — чудилось ему, — он снова слышит этот ропот, обращенный к нему, и даже его репутация ребенка не от мира сего словно была связана с ним каким-то неведомым ему образом. Так сидел маленький Поль, слушая, наблюдая и грезя, и был очень счастлив.

Пока не настало время прощаться, а тогда все заволновались. Сэр Барнет Скетлс подвел Скетлса-младшего пожать ему руку и спросил, не забудет ли он передать своему милому папе, что он, сэр Барнет Скетлс, шлет ему горячий привет и выражает надежду на будущую близкую дружбу обоих молодых джентльменов. Леди Скетлс поцеловала его, разгладила ему волосы на лбу и заключила его в свои объятия, и даже миссис Бепс — бедная миссис Бепс! — Полю это было приятно — покинула свое место у нотной тетради джентльмена, игравшего на арфе, и попрощалась с ним так же сердечно, как и все прочие.

— До свидания, доктор Блимбер, — сказал Поль, протягивая руку.

— До свидания, мой юный друг, — отвечал доктор.

— Я вам очень признателен, сэр, — сказал Поль, наивно глядя снизу вверх на это лицо, внушающее почтительный страх. — Пожалуйста, пусть не забывают о Диогене.

Диогеном звали собаку, которая за всю свою жизнь не имела ни одного близкого друга, кроме Поля. Доктор обещал, что в отсутствие Поля Диогену будут оказывать полное внимание, и Поль, снова поблагодарив его и пожав ему руку, попрощался с миссис Блимбер и Корнелией с такой задушевной серьезностью, что миссис Блимбер в тот момент забыла упомянуть о Цицероне в разговоре с леди Скетлс, хотя весь вечер собиралась это сделать. Корнелия, взяв Поля за обе руки, сказала:

— Домби, Домби, вы всегда были моим любимым учеником. Да благословит вас бог!

По мнению Поля, это свидетельствовало о том, как легко быть несправедливым к человеку, ибо мисс Блимбер говорила то, что думала, хотя и была мучительницей.

Затем среди молодых джентльменов пронесся гул: «Домби уезжает!», «Маленький Домби уезжает!» — и все, включая семейство Блимберов, двинулись вслед за Полем и Флоренс вниз по лестнице в холл. Подобное обстоятельство, как заявил вслух мистер Фидер, на его памяти еще не имело места по отношению к кому бы то ни было из прежних молодых джентльменов; но трудно решить, было ли это трезвой оценкой фактов или сказано под воздействием бокалов. Все слуги, во главе с дворецким, пожелали проводить маленького Домби, и даже подслеповатый молодой человек, перенося его книги и чемоданы в карету, которая должна была отвезти на эту ночь его и Флоренс к миссис Пипчин, явно расчувствовался.

Даже влияние более нежного чувства на молодых джентльменов — а они все до единого были очарованы Флоренс — не помешало им шумно распрощаться с Полем, махать ему вслед шляпой, напирать друг на друга, спускаясь по лестнице, чтобы пожать ему руку, кричать: «Домби, не забы-

вайте меня!» — и предаваться излияниям, несвойственным этим юным Честерфилдам⁶⁶. Поль шептал Флоренс, в то время как она одевала его, прежде чем открыть дверь: слышит ли она их? Может ли она когда-нибудь забыть об этом? Приятно ли ей это знать? И радость светилась в его глазах.

Один раз он оглянулся, чтобы бросить прощальный взгляд, и, посмотрев на обращенные к нему лица, с удивлением увидел, какие они сияющие и веселые, как их много, словно в переполненном театре. Они проплывали перед ним, как будто отражались в дрожащем зеркале, а через секунду он уже сидел в темной карете, прижимаясь к Флоренс. С тех пор, когда бы ни случалось ему подумать о заведении доктора Блимбера, оно вспоминалось таким, каким он его видел в последний раз; и никогда не казалось оно реальным, но, как бывает в сновидениях, он видел только множество глаз.

Однако это не было последним впечатлением от заведения доктора Блимбера. Было еще кое-что. Мистер Тутс, неожиданно опустив одно окно кареты и заглянув внутрь, сказал с самым ненатуральным хихиканьем: «Домби здесь?» — и тотчас поднял окно снова, не дожидаясь ответа. Но и это не было последним появлением Тутса, ибо, не успела карета отъехать, как он так же внезапно опустил другое окно и, заглянув внутрь, точь-в-точь так же хихикнул и сказал точь-в-точь таким же тоном: «Домби здесь?» — и скрылся точь-в-точь так же, как и раньше.

Как смеялась Флоренс! Поль часто вспоминал об этом и сам всегда смеялся.

Но вскоре — на следующий день и позже — произошло много такого, о чем Поль помнил смутно. Так, например, почему они проводили дни и ночи у миссис Пипчин вместо того, чтобы ехать домой; почему он лежал в постели и Флоренс сидела возле него; находился ли в комнате отец, или то была лишь длинная тень на стене; слышал ли он, как доктор сказал о ком-то, что, если бы его увезли до праздника, который завладел его воображением слишком сильно и помог ему преодолеть слабость, весьма возможно, что он бы зачах.

Он даже не мог припомнить, говорил ли он часто Флоренс: «О Флой, увези меня домой и никогда не оставляй меня одного!» — но, кажется, говорил. Ему чудилось иногда, будто он снова и снова слышит свой голос: «Увези меня домой, увези меня домой, Флой!»

Но он мог припомнить, когда вернулся домой и его несли по хорошо знакомой ему лестнице, что в течение долгих часов грохотала карета, а он лежал на сиденье, и около него была Флоренс, а старая миссис Пипчин сидела напротив. Он помнил и свою старую кровать, куда его уложили; свою тетку, мисс Токс и Сьюзен; но случилось еще кое-что, совсем недавно, что все еще приводило его в недоумение.

— Будьте добры, я хочу поговорить с Флоренс, — сказал он. — Только с Флоренс, одну минутку!

Она наклонилась к нему, а все остальные стояли поодаль.

— Флой, милочка, не папа ли это был в холле, когда меня вынесли из кареты?

— Да, дорогой.

— Он не заплакал и не ушел в свою комнату, Флой, когда увидел, что меня несут?

Флоренс покачала головой и прижалась губами к его щеке.

— Я очень рад, что он не плакал, — сказал маленький Поль. — Мне показалось, что он заплакал. Не говори им, о чем я спрашивал.

Глава XV

Изумительная изобретательность капитана Катля и новые заботы Уолтера Гэя

На протяжении нескольких дней Уолтер не мог решить, как ему быть с барбадосским назначением; он даже лелеял слабую надежду, что мистер Домби, быть может, имел в виду не то, что сказал, или передумает и сообщит ему об отмене поездки. Но так как не случилось ничего сколько-нибудь подтверждающего эту догадку (которая сама по себе была в достаточной степени невероятна), а время шло и медлить было нельзя, он решил действовать без дальнейших колебаний.

⁶⁶ *Юные Честерфилды* — то есть юноши, помышляющие только о соблюдении «хорошего тона». Книга графа Ф. Честерфилда «Письма к сыну» (1774), в которой сей английский дипломат преподает сыну правила «светской жизни», являлась настольной книгой для юношества в среде английской знати и крупной буржуазии.

Основная трудность для Уолтера заключалась в том, каким образом сообщить об этой перемене в его делах дяде Солю, для которого — чувствовал он — это будет жестоким ударом. Потрясти дядю Соля столь поразительным известием было ему тем труднее, что за последнее время дела пошли в гору и старик так повеселел, что маленькая задняя гостиная приняла прежний вид. Дядя Соль уплатил в назначенный срок часть долга мистеру Домби и надеялся покрыть остальное; и повергать его снова в уныние, когда он так мужественно справился со своими невзгодами, было весьма печальной необходимостью.

Однако не могло быть и речи о том, чтобы уехать потихоньку. Дядя должен был узнать обо всем заблаговременно; затруднение заключалось в том, как ему сказать. Что касается вопроса — ехать или не ехать, Уолтер считал, что не в его власти выбирать. Мистер Домби был прав, говоря, что он молод, а дела у его дяди идут плохо, и мистер Домби ясно выразил взглядом, сопровождавшим это напоминание, что в случае отказа ехать он может остаться дома, но не у него в конторе. Оба они с дядей были многим обязаны мистеру Домби; этого добился сам Уолтер. Самому себе он мог сознаться, что потерял надежду снискать расположение сего джентльмена, и мог считать, что тот иной раз относится к нему с пренебрежением, вряд ли оправданным. Но так или иначе, долг остается долгом — во всяком случае так думал Уолтер, — а долг нужно исполнять.

Когда мистер Домби взглянул на него и сказал, что он молод, а дела его дяди идут плохо, лицо его выражало презрение — пренебрежительную и унижительную мысль, что Уолтер-де весьма не прочь жить в праздности на средства обедневшего старика, и это задело благородную душу юноши. Решив доказать мистеру Домби, — если можно было дать такое доказательство, не прибегая к словам, — что тот судит о нем неверно, Уолтер старался после разговора о Вест-Индии быть еще веселее и расторопнее, чем раньше, насколько был на это способен человек с таким живым и пылким нравом, как у него. Он был слишком молод и неопытен и не помышлял о том, что эти самые качества могут быть неприятны мистеру Домби, а не унывать под сенью его грозной немилости, справедливой или несправедливой, отнюдь не значит подняться в его глазах. Могло быть и так, что великий человек усматривал вызов в этом новом проявлении благородного духа и решил его сломить.

«Ну, что ж. В конце концов придется сказать дяде Солю», — со вздохом думал Уолтер. А так как Уолтер боялся, что голос его, пожалуй, дрогнет и физиономия будет не такой веселой, как было бы ему желательно, если он сам сообщит об этом старику и увидит по морщинистому его лицу, какое впечатление произвело это известие, он задумал прибегнуть к услугам могущественного посредника — капитана Катля. Поэтому, когда настало воскресенье, он решил после завтрака вторгнуться в обиталище капитана Катля.

По дороге он с удовольствием припомнил, что каждое воскресное утро миссис Мак-Стинджер совершает далекое путешествие, чтобы послушать проповедь преподобного Мельхиседека Хаулера, который, будучи уволен со службы в Вест-индских доках по ложному подозрению (выдвинутому против него неведомым врагом) в том, будто он просверливал бочки и прикладывался губами к отверстию, предсказал, что светопреставление настанет ровно в десять часов утра через два года, начиная с того дня, и открыл зал для приема леди и джентльменов, приверженцев секты Горланов⁶⁷; на первом же их собрании увещания преподобного Мельхиседека произвели столь сильное впечатление, что при восторженном исполнении священного джига, коим закончилась служба, все стадо провалилось в кухню и привело в негодное состояние каток для белья, принадлежавший одному из паствы.

Капитан в минуту необычайного оживления поведал об этом Уолтеру и его дяде в промежутках между куплетами «Красотки Пэг» в тот вечер, когда было уплачено маклеру Броли. Сам капитан аккуратно посещал церковь по соседству, которая поднимала великобританский флаг каждое воскресное утро, и где он по доброте своей — так как бидл был немощен — присматривал за мальчиками, среди которых пользовался большим авторитетом благодаря своему загадочному крючку. Зная нерушимые привычки капитана, Уолтер спешил по мере сил, чтобы застать его дома; и он развил такую скорость, что, свернув на Бриг-Плейс, имел удовольствие узреть широкий синий фрак и жилет,

⁶⁷ *Секта Горланов* — ироническое название какой-то религиозной секты (которыми была так богата протестантская церковь); судя по названию, члены секты во время собраний распевали молитвы и псалмы.

вывешенные из открытого окна капитана для проветривания на солнце.

Казалось невероятным, что смертный мог увидеть фрак и жилет без капитана, но последний несомненно не был в них облачен, в противном случае ноги его — дома на Бриг-Плейс невысоки — преграждали бы вход в парадную дверь, который был совершенно свободен. Изумленный этим открытием, Уолтер постучал один раз.

— Слинджер, — отчетливо услышал он возглас капитана, несшийся сверху из его комнаты, как будто стук его вовсе не касался. Тогда Уолтер постучал два раза.

— Катль! — услышал он возглас капитана; и тотчас же капитан в чистой рубашке и подтяжках, в платке, свободно повязанном вокруг шеи, наподобие свернутого в бухту каната, и в глянцевиной шляпе появился в окне, выглядывая из-за широкого синего фрака и жилета.

— Уольр! — воскликнул капитан, с изумлением глядя на него вниз.

— Да, да, капитан Катль. — отвечал Уолтер, — это я.

— Что случилось, мой мальчик? — с великой тревогой осведомился капитан. — Уж не стряслось ли еще что-нибудь с Джилсом?

— Нет, нет, — ответил Уолтер. — У дяди все благополучно, капитан Катль.

Капитан выразил удовольствие и сообщил, что спустится вниз и отопрет дверь, что и сделал.

— Однако ты раненько, Уольр, — сказал капитан, все еще недоверчиво на него посматривая, пока они поднимались наверх.

— Вот к чему дело, капитан Катль, — садясь, сказал Уолтер, — я боялся, что вы уйдете, а мне нужен ваш дружеский совет.

— Ты его получишь, — сказал капитан. — Чем тебя угостить?

— Вашим мнением, капитан Катль, — с улыбкой отвечал Уолтер. — Больше мне ничего не нужно.

— В таком случае продолжай, — сказал капитан. — С удовольствием скажу тебе свое мнение, мой мальчик!

Уолтер рассказал ему о том, что произошло; о затруднении, какое возникло у него в связи с дядей, и о том облегчении, какое он почувствует, если капитан Катль по доброте своей поможет ему; бесконечное изумление и недоумение, вызванные открывшейся перед капитаном перспективой, постепенно поглотили сего джентльмена, покуда его лицо не лишилось какого бы то ни было выражения, а синий костюм, глянцевиная шляпа и крючок, казалось, лишились хозяина.

— Видите ли, капитан Катль, — продолжал Уолтер, — что касается меня, то я молод, как сказал мистер Домби, и обо мне нечего думать. Я должен пробивать себе дорогу в жизни, я это знаю; но по пути сюда я размышлял о том, что должен быть осторожен в двух пунктах, поскольку это касается дяди. Я не хочу сказать, будто заслуживаю чести считаться гордостью и счастьем его жизни, — знаю, вы мне верите, — но тем не менее это так. Не кажется ли вам, что это так?

Капитан как будто сделал попытку подняться из бездны изумления и вновь обрести свое лицо; но это усилие ни к чему не привело, и глянцевиная шляпа только кивнула безгласно, с невыразимой многозначительностью.

— Если я буду жив и здоров, — сказал Уолтер, — а на этот счет у меня нет опасений, — все же, покидая Англию, я вряд ли могу надеяться увидеть дядю снова. Он стар, капитан Катль, кроме того, его жизнь основана на привычном...

— Стоп, Уолтер! На привычном отсутствии покупателей? — сказал капитан, вдруг воскресая.

— Совершенно верно, — отвечал Уолтер, покачивая головой, — но я имел в виду уклад его жизни, капитан Катль, постоянные привычки. И если (как вы очень справедливо заметили) он умер бы раньше времени, лишившись товаров и всех вещей, к которым привык за столько лет, то не думаете ли вы, что он умер бы еще раньше, лишившись...

— Своего племянника, — вставил капитан. — Правильно!

— Значит, — сказал Уолтер, пытаясь говорить весело, — мы должны уверить его, что разлука эта в конце концов только временная. Но я-то лучше знаю, капитан Катль, или опасуюсь, что лучше знаю, а так как у меня столько оснований относиться к нему с любовью, почтением и уважением, то боюсь, как бы не оказаться мне совсем беспомощным, если я попробую его в этом убеждать. Вот главная причина, почему я хочу, чтобы о моем отъезде сообщили ему вы; и это пункт первый.

— Поверни на три румба! — задумчивым тоном заметил капитан.

— Что вы сказали, капитан Катль? — осведомился Уолтер.

— Держись крепче! — глубокомысленно ответил капитан.

Уолтер замолчал, дабы удостовериться, не желает ли капитан присовокупить к этому какое-нибудь особое замечание, но так как тот ничего больше не сказал, он заговорил снова:

— Теперь пункт второй, капитан Катль. К сожалению, должен сказать, что я не пользуюсь расположением мистера Домби. Я всегда старался делать все как можно лучше и делал, но он меня не любит. Быть может, он не властен над своими симпатиями и антипатиями, — об этом я ничего не говорю. Я говорю только, что он несомненно не любит меня. На это место он меня посылает не потому, что оно хорошее; он не устаивает изображать его лучше, чем оно есть; и я очень сомневаюсь, чтобы оно когда-нибудь помогло мне занять более высокое положение в фирме — оно, мне кажется, является средством навсегда избавиться от меня и убрать меня с дороги. Но об этом мы ни слова не должны говорить дяде, капитан Катль; мы должны по мере сил изобразить это место выгодным и многообещающим; я рассказываю вам, каково оно на самом деле, но делаю это только для того, чтобы на родине был у меня друг, который знает истинное положение — на случай, если явится когда-нибудь возможность оказать мне помощь там, далеко.

— Уоль, мой мальчик, — отвечал капитан, — в притчах Соломоновых ты найдешь следующие слова: «Пусть никогда не будет у тебя недостатка в друге нуждающемся и в бутылке для него!» Когда найдешь это место, сделай отметку.

Тут капитан протянул руку Уолтеру с самым простодушным видом, который был красноречивей слов, и снова повторил (ибо он гордился своей точной и кстати приведенной цитатой):

— Когда найдешь, сделай отметку.

— Капитан Катль, — продолжал Уолтер, беря обеими руками протянутую ему капитаном огромную лапу, которую он еле-еле мог обхватить, — после моего дяди Соля я больше всех люблю вас. И конечно нет на свете никого, кому бы я мог больше доверять. Что касается отъезда, капитан Катль, меня это не беспокоит; чего мне беспокоиться? Будь я волен искать счастья, будь я волен отправиться простым матросом, будь я волен пуститься на свой страх на край света, — я бы с радостью поехал! Я бы с радостью уехал уже несколько лет назад и посмотрел, что из этого выйдет. Но это противоречило желаниям моего дяди и планам, которые он для меня строил, и тем дело и кончилось. Но я чувствую, капитан Катль, что мы все время немножко ошибались, и если уж говорить о моих видах на будущее, положение мое теперь ничуть не лучше, чем в то время, когда я только что поступил в фирму Домби, — быть может, чуточку хуже, ибо тогда фирма, пожалуй, была расположена ко мне благосклонно, а теперь это, конечно, не так.

— Вернись, Виттингтон, — пробормотал огорченный капитан, поглядев на Уолтера.

— Да, — смеясь, отвечал Уолтер. — Боюсь, придется возвращаться много раз, капитан Катль, прежде чем подвернется такая удача, как ему. Впрочем, я не жалею, — добавил он со свойственным ему бодрым, оживленным, энергическим видом. — Мне не на что жаловаться. Я обеспечен. Я как-нибудь проживу. Оставляя дядю, я оставляю его на вас; и нет лучше человека, на которого я мог бы его оставить, капитан Катль. Все это я вам рассказал не потому, что я в отчаянии, о нет! Но нужно вас убедить, что я не могу выбирать, служа в фирме Домби, и куда меня посылают, туда я должен ехать, и что мне предлагают, то я должен принять. Для дяди лучше, что меня отсылают, так как в его глазах мистер Домби — драгоценный друг, каким он себя и показал, — вам это известно, капитан Катль; и я уверен, что он не сделается менее драгоценным, если не будет здесь меня, чтобы ежедневно возбуждать его неприязнь. Итак, да здравствует Вест-Индия, капитан Катль! Как начинается эта песня, которую поют моряки?

В порт Барбадос, ребята!
Веселей!
Старая Англия прощай, ребята!
Веселей!

Капитан заорал припев:

Эх!

Веселей, веселей!

Эх, веселей!

Последний стих коснулся чутких ушей жившего напротив ревностного шкипера, не совсем трезвого, который немедленно вскочил с постели, распахнул окно и через улицу подхватил во всю глотку припев, что произвело прекрасное впечатление. Когда уже невозможно было тянуть дольше последнюю ноту, шкипер проревел устрашающе: «Эхой!» — отчасти в виде дружеского приветствия, а отчасти из желания показать, что он ничуть не задохся. Совершив это, он закрыл окно и снова лег в постель.

— А теперь, капитан Катль, — сказал Уолтер, подавая ему синий фрак и жилет и поторапливая капитана, — если вы пойдете и сообщите дяде Солю новость (которую ему, по справедливости, следовало бы узнать давным-давно), я, знаете ли, оставлю вас у двери и пойду поброжу до полудня.

Однако капитан был как будто не очень обрадован поручением и отнюдь не уверен в своей способности исполнить его. Он устроил жизнь и похождения Уолтера совсем по-иному, и, к полному своему удовольствию, он так часто радовался своей прозорливости и предусмотрительности обнаруженным в этом устройении, и находил его столь законченным и совершенным во всех отношениях, что великое усилие воли требовалось от него, чтобы присутствовать при том, как все разваливается, и даже способствовать этому разрушению. Вдобавок капитану очень трудно было выгрузить старые свои представления об этом предмете и, приняв на борт новый груз с той стремительностью, какой требовали обстоятельства, не перепутать оба груза. Итак, вместо того чтобы надеть фрак и жилет с проворством, какое одно только и могло отвечать расположению духа Уолтера, он вовсе отказался облачиться в это одеяние и уведомил Уолтера, что по случаю такого серьезного дела следует разрешить ему «чутьочку погрызть ногти».

— Это у меня старая привычка, Уольр, — сказал капитан, — ей вот уже пятьдесят лет. Когда ты видишь, что Нэд Катль грызет ногти, Уольр, будь уверен, что Нэд Катль на мели.

Затем капитан сунул меж зубов свой железный крючок, словно это была рука, и с видом мудрым и глубокомысленным, присущим выпренности всякого философического размышления и серьезного исследования, принялся обдумывать это дело в его многообразных разветвлениях.

— Есть у меня друг, — рассеянно бормотал капитан, — но в настоящее время он плавает вдоль побережья в Уитби, а он может высказать такое суждение по этому вопросу, да и по всякому другому, что даст шесть очков вперед парламенту и побьет его. Дважды падал этот человек за борт, — сказал капитан, — и ему хоть бы что! Когда он был в ученье, его три недели (с перерывами) колотили по голове железным болтом. А все-таки не ходил еще по земле человек с более ясным умом.

Несмотря на свое уважение к капитану Катлю, Уолтер втайне не мог не порадоваться отсутствию этого мудреца и не пожелать от всей души, чтобы этот светлый ум не был привлечен к разрешению его затруднений, покуда они не будут окончательно улажены.

— Если бы ты взял да показал этому человеку Норский буй, — тем же тоном продолжал капитан Катль, — и пожелал бы узнать его мнение о нем, Уольр, он бы тебе высказал мнение, которое имело бы такое же отношение к этому бую, как пуговицы твоего дяди. По земле не ходил человек — во всяком случае на двух ногах, — который мог бы за ним угнаться. Нет, никому не угнаться.

— Как его зовут, капитан Катль? — осведомился Уолтер, решив заинтересоваться другом капитана.

— Зовут его Бансби, — сказал капитан. — Но, бог мой, с такой головой, как у него, можно зваться как угодно!

Точный смысл, который капитан вкладывал в эту последнюю похвалу, он не стал разъяснять, да и Уолтер не пытался его открыть. Ибо, начав еще раз пересматривать с возбуждением, естественным для него и того положения, в котором он находился, главные пункты своих затруднений, он вскоре обнаружил, что капитан вновь впал в прежнее глубокомысленное состояние и хотя взирает на него пристально из-под косматых бровей, но, очевидно, не видит его и не слышит, погруженный в раздумье.

Действительно, капитан Катль разрабатывал столь грандиозные планы, что, снявшись с мели, вышел вскоре в глубочайшие воды и не мог нащупать дна своей проницательности. Постепенно капитану стало совершенно ясно, что произошла какая-то ошибка; что несомненно ошибку допустил

скорее Уолтер, чем он; что если и есть какой-то проект, связанный с Вест-Индией, то он ничего общего не имеет с предположениями Уолтера, человека молодого и опрометчивого, и может быть лишь новым средством для быстрейшего устройства его счастья. «Если и возникло между ними какое-нибудь маленькое недоразумение, — думал капитан, имея в виду Уолтера и мистера Домби, — то достаточно одного слова, вовремя сказанного другом обеих сторон, чтобы все уладить, сгладить и снова привести в полную исправность». Из этих соображений капитан Катль сделал следующий вывод: так как он уже имеет удовольствие знать мистера Домби, проведя в его обществе очень приятные полчаса в Брайтоне (в то утро, когда они брали деньги взаймы), а два светских человека, которые понимают друг друга и оба готовы привести все в порядок, легко могут уладить такого рода маленькое затруднение и перейти к реальным фактам, — то долг дружбы повелевает ему, ни слова не говоря сейчас об этом Уолтеру, попросту зайти к мистеру Домби, сказать слуге: «Будь добр, любезный, доложи, что пришел капитан Катль», встретиться с мистером Домби в духе взаимного доверия, зацепить его крючком за петлю фрака, обо всем переговорить, привести все к желаемому концу и удалиться с триумфом!

Когда эти соображения мелькнули у капитана и постепенно обрели форму, физиономия его прояснилась, как хмурое утро, уступающее место солнечному полудню. Брови, которые были злоеще нахмурены, перестали топорщиться и разгладились; глаза, которые почти закрылись от жестокого умственного напряжения, раскрылись широко; улыбка, которая ограничила себя сначала тремя точками — правым уголком рта и уголками обоих глаз, — постепенно расплылась по всему лицу и, заструившись вверх по лбу, приподняла глянцевитую шляпу, словно и эта шляпа тоже сидела на мели вместе с капитаном Катлем, а теперь, подобно ему, снялась с мели.

Наконец капитан перестал грызть ногти и сказал:

— Теперь, Уольр, мой мальчик, помоги мне натянуть это обмундирование. — Капитан имел в виду свой фрак и жилет.

Уолтеру и в голову не приходило, почему капитан так старательно повязывал галстук, закручивая свисающие концы его, как свиной хвостик, и продевая их в массивное золотое кольцо, на котором, в память какого-то усопшего друга, были изображены могила, железная ограда и дерево. И почему капитан подтянул вверх воротник рубашки, насколько позволяло ирландское нижнее белье, и таким образом украсил себя настоящими шорами; и почему он снял башмаки и надел неподражаемую пару полусапог, которою пользовался только в экстренных случаях. Нарядившись, наконец, к полному своему удовольствию и осмотрев себя с ног до головы в зеркальце для бритья, снятом для этой цели со стены, капитан взял свою сучковатую палку и объявил, что готов.

Когда они вышли на улицу, капитан выступал с большим самодовольством, чем обычно, но это обстоятельство Уолтер приписал действию сапог и особого внимания на него не обратил. Они не успели далеко уйти, как повстречали женщину, продававшую цветы, и капитан, остановившись как вкопанный, словно его осенила блестящая мысль, купил самый большой пучок в ее корзине — великолепнейший букет в форме веера, имевший около двух с половиной футов в обхвате и составленный из прекраснейших в мире цветов.

Вооруженный этим маленьким подношением, предназначавшимся для мистера Домби, капитан Катль шел с Уолтером, покуда они не приблизились к двери мастера судовых инструментов, перед которой оба остановились.

— Вы зайдете? — спросил Уолтер.

— Да, — отвечал капитан, чувствуя, что от Уолтера нужно избавиться, прежде чем приступить к дальнейшему, и что лучше перенести намеченный визит на более поздний час.

— И вы ничего не забудете? — спросил Уолтер.

— Нет, — ответил капитан.

— Я сейчас же отправлюсь на прогулку, — сказал Уолтер, — и не буду мешать, капитан Катль.

— Хорошенько прогуляйся, мой мальчик! — крикнул ему вслед капитан. Уолтер махнул рукой в знак согласия и пошел своей дорогой.

Идти ему было некуда, и он решил выйти в поле, где бы можно было поразмыслить о предстоящей ему неведомой жизни и, лежа под деревом, спокойно подумать. Самыми красивыми казались ему поля близ Хэмстеда, а лучшей дорогой — дорога мимо дома мистера Домби.

Когда Уолтер проходил мимо него и поднял глаза на хмурый его фасад, дом, как всегда, был

величествен и мрачен. Все шторы были спущены, но окна верхнего этажа открыты настежь, и ветерок, пробегая по занавескам и развевая их, один только и оживлял внешний вид дома. Уолтер прошел спокойно мимо и был рад, когда Этот дом и следующий за ним остались позади.

Тогда он оглянулся, — с любопытством, которое всегда внушал ему этот дом со времени приключения с заблудившейся девочкой много лет назад, и с особым вниманием посмотрел на окна в верхнем этаже. Пока он был этим занят, к двери подъехала коляска, и осанистый джентльмен в черном, с массивной цепочкой от часов, сошел и вступил в дом. Вспомнив потом о джентльмене и его экипаже, Уолтер не сомневался, что это врач, и задавал себе вопрос, кто болен; но это открытие он сделал уже после того, как прошел некоторое расстояние, рассеянно размышляя о других вещах.

Впрочем, и эти его размышления были связаны с домом мистера Домби; ибо Уолтер тешил себя надеждой, что настанет время, когда прелестная девочка, старый его друг, которая с тех пор всегда была ему так благодарна и так рада его видеть, заинтересует им своего брата и изменит его судьбу к лучшему. В тот момент ему было приятно мечтать об этом — скорее из-за удовольствия воображать, что она постоянно будет о нем помнить, чем ради жизненных благ, какие могли бы выпасть в этом случае на его долю; но другое, более трезвое соображение подсказывало ему, что если он до той поры не умрет, то будет за океаном, всеми забытый, а она — замужем, богатая, гордая, счастливая. При столь изменившихся обстоятельствах у нее будет не больше оснований вспоминать о нем, чем об одной из старых игрушек. Пожалуй, даже меньше.

Однако Уолтер так идеализировал хорошенькую девочку, которую встретил на шумных улицах, и так тесно связывал с ней наивную ее благодарность в тот вечер и простодушное, искреннее выражение этой благодарности, что осуждал себя, как клеветника, за свои предположения, будто она когда-нибудь станет гордой и высокомерной. С другой стороны, размышления его носили такой фантастический характер, что едва ли не клеветой казалось ему воображать, будто она станет женщиной, — думать о ней иначе, чем о том непосредственном, кротком, обаятельном создании, каким она была в дни Доброй миссис Браун. Одним словом, Уолтер убедился, что рассуждать с самим собой о Флоренс весьма неблагоприятно; и лучшее, что он может сделать, это — хранить в памяти ее образ как нечто драгоценное, недостижимое, неизменное и неясное — неясное во всем, кроме ее власти доставлять ему радость и, подобно руке ангела, удерживать его от всего недостойного.

Длинную прогулку по полям совершил в тот день Уолтер, слушая пение птиц, воскресный колокольный Звон и заглушенный шум города, вдыхая сладкие ароматы, посматривая иной раз на туманный горизонт, куда лежал его путь и где находилось место его назначения, потом окидывая взглядом зеленые английские луга и родной пейзаж. Но вряд ли он хоть раз отчетливо подумал об отъезде и, казалось, беспечно откладывал размышления об этом с часу на час и с минуты на минуту, не переставая, однако, размышлять.

Уолтер оставил за собой поля и в прежнем раздумье брел по направлению к дому, как вдруг услышал окрик мужчины, а затем голос женщины, громко назвавшей его по имени. С удивлением повернувшись, он увидел, что наемная карета, ехавшая в противоположную сторону, остановилась неподалеку и кучер оглядывается со своих козел, делая ему знаки кнутом, а молодая женщина в карете высунулась из окна и подзывает его весьма энергически. Подбежав к карете, он убедился, что молодая женщина была мисс Нипер и что мисс Нипер была в смятении и почти вне себя.

— Сады Стегса, мистер Уолтер! — сказала мисс Нипер. — О, умоляю вас!

— Что? — воскликнул Уолтер. — Что случилось?

— О мистер Уолтер, Сады Стегса, пожалуйста! — сказала Сьюзен.

— Ну, вот! — вскричал кучер, с каким-то торжествующим отчаянием взывая к Уолтеру. — Вот так молодая леди твердит уже битый час, а я только и делаю, что пячусь задом, чтобы выбраться из тупиков, куда ей угодно ехать. Много бывало в этой карете седоков, но такого седока, как она, — никогда.

— Вы хотите проехать в Сады Стегса. Сьюзен? — осведомился Уолтер.

— Да! Она хочет туда проехать! Где они? — зарычал кучер.

— Я не знаю, где они! — вне себя вскричала Сьюзен. — Мистер Уолтер, когда-то я сама там была с мисс Флой и с нашим бедным миленьким мистером Полем, в тот самый день, когда вы нашли мисс Флой в Сити, потому что на обратном пути мы ее потеряли, миссис Ричардс и я, и бешеный бык, и старший сын миссис Ричардс, и хотя я бывала там с тех пор, я не могу припомнить, где это

Чарльз Диккенс «Торговый дом Домби и сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт»

место, мне кажется, оно провалилось сквозь землю. О мистер Уолтер, не покидайте меня. Сады Стегса, пожалуйста! Любимец мисс Флой — наш общий любимец — маленький, кроткий, кроткий мистер Поль! О мистер Уолтер!

— Ах, боже мой! — воскликнул Уолтер. — Он очень болен?

— Миленький цветочек! — кричала Сьюзен, ломая руки. — Ему запало в голову, что он хочет повидать свою старую кормилицу, и я поехала, чтобы привезти ее к его постели, миссис Стегс из Садов Поли Тудль, кто-нибудь, умоляю, помогите!

Глубоко растроганный тем, что услышал, и тотчас заразившись волнением Сьюзен, Уолтер уразумел цель ее поездки и взялся за дело с таким рвением, что кучеру большого труда стоило следовать за ним, пока он бежал впереди, спрашивая у всех дорогу к Садам Стегса.

Но Сады Стегса не было. Это место исчезло с лица земли. Где находились некогда старые подгнившие беседки, ныне возвышались дворцы, и гранитные колонны непомерной толщины поднимались у входа в железнодорожный мир. Жалкий пустырь, где в былые времена громоздились кучи отбросов, был поглощен и уничтожен; и место этого грязного пустыря заняли ряды торговых складов, переполненных дорогими товарами и ценными продуктами. Прежние закоулки были теперь запружены пешеходами и всевозможными экипажами; новые улицы, которые прежде уныло обрывались, упершись в грязь и колесные колеи, образовали теперь самостоятельные города, рождающие благотворный комфорт и удобства, о которых никто не помышлял, покуда они не возникли. Мосты, которые прежде никуда не вели, приводили теперь к виллам, садам, церквам и прекрасным местам для прогулок. Остовы домов и начала новых улиц развили скорость пара и ворвались в предместья чудовищным поездом.

Что касается окрестного населения, которое не решалось признать железную дорогу в первые дни ее бытия, то оно поумнело и раскаялось, как поступил бы в таком случае любой христианин, и теперь хвасталось своим могущественным и благоденствующим родственником. Железнодорожные рисунки на тканях у торговцев мануфактурой и железнодорожные журналы в витринах газетчиков. Железнодорожные отели, кофейни, меблированные комнаты, пансионаты; железнодорожные планы, карты, виды, обертки, бутылки, коробки для сэндвичей и расписания; железнодорожные стоянки для наемных карет и кэбов; железнодорожные omnibus, железнодорожные улицы и здания, железнодорожные прихлебатели, паразиты и льстецы в неисчислимом количестве. Было даже железнодорожное время, соблюдаемое часами, словно само солнце сдалось. Среди побежденных находился главный трубочист, бывший «невер» Садов Стегса, который жил теперь в оштукатуренном трехэтажном доме и объявлял о себе на покрытой лаком доске с золотыми завитушками как о подрядчике по очистке железнодорожных дымоходов с помощью машин.

К центру и из центра этого великого преображенного мира день и ночь стремительно неслись и снова возвращались пульсирующие потоки — подобно живой крови. Толпы людей и горы товаров, отправлявшиеся и прибывавшие десятки раз на протяжении суток, вызывали здесь брожение, которое не прекращалось. Даже дома, казалось, были склонны упаковаться и предпринять путешествие. Достойные восхищения члены парламента, которые лет двадцать тому назад потешались над нелепыми железнодорожными теориями инженеров и устраивали им всевозможные каверзы при перекрестном допросе, уезжали теперь с часами в руках на север и предварительно посылали по электрическому телеграфу предупреждение о своем приезде. День и ночь победоносные паровозы грохотали вдаль или плавно приближались к концу своего путешествия и вползали, подобно укрощенным драконам, в отведенные для них уголки, размеры которых были выверены до одного дюйма; они стояли там, шипя и вздрагивая, сотрясая стены, словно были преисполнены тайного сознания могущественных сил, в них еще не открытых, и великих целей, еще не достигнутых.

Но Сады Стегса были выкорчеваны окончательно. О, горе тому дню, когда «ни одна пядь английской Земли», на которой были разбиты Сады Стегса, не находилась в безопасности!

Наконец после долгих бесплодных расспросов Уолтер, сопровождаемый каретой и Сьюзен, встретил человека, который некогда проживал в этой ныне исчезнувшей стране и оказался не кем иным, как главным трубочистом, упомянутым выше, растолстевшим и стучавшим двойным ударом в свою собственную дверь. По его словам, он хорошо знал Тудля. Он имеет отношение к железной дороге, не так ли?

— Да, сэр! — закричала Сьюзен Нипер из окна кареты.

— Где он живет теперь? — быстро осведомился Уолтер.

Он жил в собственном доме Компании, второй поворот направо, войти во двор, пересечь его и снова второй поворот направо. Номер одиннадцатый — ошибиться они не могли, но если бы это случилось, им нужно только спросить Тудля, кочегара на паровозе, и всякий им покажет, где его дом. После такой неожиданной удачи Сьюзен Нипер поспешно вылезла из кареты, взяла под руку Уолтера и пустилась во всю прыть пешком, оставив карету ждать их возвращения.

— Давно ли болен мальчик, Сьюзен? — спросил Уолтер, в то время как они шли быстрым шагом.

— Нездоровилось ему очень давно, но никто не думал, что это серьезно, — сказала Сьюзен и с необычайной резкостью добавила: — Ох, уж эти Блимберы!

— Блимберы? — повторил Уолтер.

— Я бы себе не простила, если б в такое время, как сейчас, мистер Уолтер, — сказала Сьюзен, — когда у нас столько бед, о которых приходится думать, стала нападать на кого-нибудь, в особенности на тех, о ком милый маленький Поль отзывается хорошо, но могу же я пожелать, чтобы все семейство было послано на работу в каменистой местности, прокладывать новые дороги, и чтобы мисс Блимбер шла впереди с мотыгой!

Затем мисс Нипер перевела дух и зашагала еще быстрее, как будто это удивительное пожелание доставило ей облегчение. Уолтер, который и сам к тому времени запыхался, летел вперед, не задавая больше вопросов; и вскоре, охваченные нетерпением, они подбежали к маленькой двери и вошли в опрятную гостиную, набитую детьми.

— Где миссис Ричардс? — озираясь, воскликнула Сьюзен Нипер. — О миссис Ричардс, миссис Ричардс, поедemте со мной, родная моя!

— Да ведь это Сьюзен! — с великим изумлением вскричала Полли; ее открытое лицо и полная фигура показались среди обступавших ее детей.

— Да, миссис Ричардс, это я, — сказала Сьюзен, — и хотела бы я, чтобы это была не я, хотя, пожалуй, нелюбезно так говорить, но маленький мистер Поль очень болен и сегодня сказал своему папаше, что был бы рад увидеть свою старую кормилицу, и он и мисс Флой надеются, что вы со мной поедете, и мистер Уолтер также, миссис Ричардс, — забудьте прошлое и сделайте доброе дело, навестите дорогого крошку, который угасает. Да, миссис Ричардс, угасает!

Сьюзен Нипер заплакала, и Полли залилась слезами, глядя на нее и слушая, что она говорит; все дети собрались вокруг (включая и нескольких новых младенцев); а мистер Тудль, который только что вернулся домой из Бирмингема и доделал из миски свой обед, отложил нож и вилку, подал жене чепец и платок, висевшие за дверью, затем хлопнул ее по спине и произнес с отеческим чувством, но без цветов красноречия:

— Полли! Ступай!

Таким образом, они вернулись к карете гораздо раньше, чем предполагал кучер; и Уолтер, усадив Сьюзен и миссис Ричардс, сам занял место на козлах, чтобы не было больше никаких ошибок, и благополучно доставил их в холл дома мистера Домби, где, между прочим, заметил огромный букет, напомнивший ему тот, который капитан Катль купил утром. Он бы охотно остался узнать о маленьком больном и ждал бы сколько угодно, чтобы оказать хоть какую-нибудь услугу, но с болью сознавая, что такое поведение покажется мистеру Домби самонадеянным и дерзким, ушел медленно, печально, в тревоге.

Не прошло и пяти минут, как его догнал человек, бежавший за ним, и попросил вернуться. Уолтер быстро повернул назад и с тяжелыми предчувствиями переступил порог мрачного дома.

Глава XVI

О чем все время говорили волны

Поль больше не вставал со своей постельки. Он лежал очень спокойно, прислушиваясь к шуму на улице, мало заботясь о том, как идет время, но следя за ним и следя за всем вокруг пристальным взглядом.

Когда солнечные лучи врываются в его комнату сквозь шелестящие шторы и струились по

противоположной стене, как золотая вода, он знал, что близится вечер и что небо багряное и прекрасное. Когда отблески угасали и, поднимаясь по стене, прокрадывались сумерки, он следил, как они сгущаются, сгущаются, сгущаются в ночь. Тогда он думал о том, как усеяны фонарями длинные улицы и как светят вверху тихие звезды. Мысль его отличалась странной склонностью обращаться к реке, которая, насколько было ему известно, протекала через великий город; и теперь он думал о том, сколь она черна и какой кажется глубокой, отражая сонмы звезд, а больше всего — о том, как неуклонно катит она свои воды навстречу океану.

По мере того как надвигалась ночь и шаги на улице раздавались так редко, что он мог слышать их приближение, считать их, когда они замедлялись, и следить, как они теряются вдалеке, он лежал и глядел на многоцветное кольцо вокруг свечи и терпеливо ждал дня. Только быстрая и стремительная река вызывала у него беспокойство. Иной раз он чувствовал, что должен попытаться остановить ее — удержать своими детскими ручонками или преградить ей путь плотиной из песка, — и когда он видел, что она надвигается, неодолимая, он вскрикивал. Но достаточно было Флоренс, которая всегда находилась около него, сказать одно слово, чтобы он пришел в себя; и, прислонив свою бедную головку к ее груди, он рассказывал Флой о своем сновидении и улыбался.

Когда начинал загораться день, он ждал солнца, и когда яркий его свет начинал искриться в комнате, он представлял себе — нет, не представлял! он видел — высокие колокольни, вздымающиеся к утреннему небу, город, оживающий, пробуждающийся, вновь вступающий в жизнь, реку, сверкающую и катящую свои волны (но катящуюся все с тою же быстротой), и поля, освеженные росой. Знакомые звуки и крики начинали раздаваться на улице; слуги в доме просыпались и принимались за работу; чьи-то лица заглядывали в комнату, и тихие голоса спрашивали ухаживающих за ним, как он себя чувствует. Поль всегда отвечал сам:

— Мне лучше. Мне гораздо лучше, благодарю вас! Передайте это папе!

Постепенно он уставал от сутолоки дня, от шума экипажей, подвод и людей, сновавших взад и вперед, и засыпал, или его снова начинала тревожить беспокойная мысль — мальчик вряд ли мог сказать, было то во сне или наяву, — мысль об этой стремительной реке.

— Ах, неужели она никогда не остановится, Флой? — иной раз спрашивал он. — Мне кажется, она меня уносит.

Но Флой всегда умела уговорить его и успокоить; и ежедневно он испытывал радость, заставляя ее опустить голову на его подушку и отдохнуть.

— Ты всегда ухаживаешь за мной, Флой. Теперь дай мне поухаживать за тобой!

Его обкладывали подушками в углу кровати, и он сидел, откинувшись на них, в то время как она лежала возле него; часто наклонялся, чтобы поцеловать ее, и шепотом говорил тем, кто находился с ними, что она устала и что она столько ночей не спит, сидя подле него.

Так постепенно угасал день, жаркий и светлый, и снова золотая вода струилась по стене.

Его навещали три важных доктора, — обычно они встречались внизу и вместе поднимались наверх, — и в комнате было так тихо, а Поль так пристально следил за ними (хотя он никогда и никого не спрашивал, о чем они говорят), что даже различал тиканье их часов. Но внимание его сосредоточивалось на сэре Паркере Пепсе, который всегда садился на край его кровати. Ибо Поль слышал, как говорили, давно-давно, что этот джентльмен был при его маме, когда она обвила руками Флоренс и умерла. И он не мог забыть об этом. Он любил его за это. Он его не боялся.

Люди вокруг него изменялись так же непонятно, как в тот первый вечер в доме доктора Блимбера⁶⁸, — все, кроме Флоренс; Флоренс никогда не менялась; а тот, кто был сэром Паркером Пенсом, превращался затем в отца, который сидел, подпирая голову рукою. Старая миссис Пипчин, дремлющая в кресле, часто превращалась в мисс Токс или тетку; и Поль довольствовался тем, что снова закрывал глаза и спокойно ждал, что последует дальше. Но эта фигура, подпиравшая голову рукою, возвращалась так часто, оставалась так долго, сидела так неподвижно и торжественно, ни с кем не заговаривая — с нею тоже не заговаривали, — и редко поднимая лицо, что Поль устало начал раз-

⁶⁸ ...как в тот первый вечер в доме доктора Блимбера... — описка Диккенса; речь идет не о первом вечере в школе, а о вечеринке в конце пребывания Поля у доктора Блимбера, когда мальчик был уже очень болен и предметы, которые он видел, теряли ясные очертания.

мышлять о том, существует ли она на самом деле, и когда видел ее, сидящую здесь ночью, ему становилось страшно.

— Флой! — сказал он. — Что это?

— Где, дорогой?

— Там! В ногах кровати.

— Там никого нет, кроме папы!

Фигура подняла голову, встала и, подойдя к кровати, произнесла:

— Родной мой! Разве ты не узнаешь меня?

Поль посмотрел ей в лицо и подумал: неужели это его отец? Но лицо, такое изменившееся, на его взгляд, сморщилось, словно от боли, и не успел он протянуть руки, чтобы обхватить его и привлечь к себе, как фигура быстро отошла от кровати и скрылась в дверях.

Поль с трепещущим сердцем взглянул на Флоренс; он понял, что она хочет сказать, и остановил ее, прижавшись лицом к ее губам. Заметив следующий раз эту фигуру, сидящую в ногах кровати, он окликнул ее.

— Не горюйте обо мне, милый папа! Право же, мне совсем хорошо!

Когда отец подошел и наклонился к нему, — он это сделал быстро и порывисто, — Поль обнял его за шею и повторил эти слова несколько раз и очень серьезно; и с тех пор, когда бы Поль ни видел его у себя в комнате, — было это днем или ночью, — он всегда восклицал: «Не горюйте обо мне! Право же, мне совсем хорошо!» Вот тогда-то он и начал говорить по утрам, что ему гораздо лучше и чтобы это передали отцу.

Сколько раз золотая вода струилась по стене, сколько ночей темная, темная река, невзирая на него, катила свои воды к океану, Поль не считал, не пытался узнать. Если бы доброта всех окружающих или его ощущение этой доброты могли стать еще больше, то пришлось бы допустить, что они становились добрее, а он — признательнее с каждым днем; но много или мало дней прошло — казалось теперь неважным кроткому мальчику.

Однажды ночью он размышлял о матери и ее портрете в гостиной внизу и подумал, что, должно быть, она любила Флоренс больше, чем отец, если держала ее в своих объятиях, когда почувствовала, что умирает, ибо даже у него, ее брата, который так горячо ее любил, не могло быть более сильного желания. И тут у него возник вопрос, видел ли он когда-нибудь свою мать, потому что он не мог припомнить, отвечали они ему на это «да» или «нет», — река текла так быстро и затуманивала ему голову.

— Флой, видел ли я когда-нибудь маму?

— Нет, дорогой; почему ты об этом спрашиваешь?

— Неужели я никогда не видел какого-то лица, ласкового, точно у мамы, склонявшегося надо мною, когда я был маленьким, Флой?

Он спрашивает недоверчиво, как будто перед ним рисовался чей-то образ.

— Видел, дорогой!

— Чье же, Флой?

— Твоей старой кормилицы. Часто.

— А где моя старая кормилица? — спросил Поль. — Она тоже умерла? Флой, мы все умерли, кроме тебя?

Было какое-то смятение в комнате, продолжавшееся секунду, — быть может, дольше, но вряд ли, — потом все снова стихло; и Флоренс, без кровинки в лице, но улыбающаяся, поддерживала рукою его голову. Рука ее сильно дрожала.

— Пожалуйста, покажи мне эту старую кормилицу, Флой!

— Ее здесь нет, милый. Она придет завтра.

— Спасибо, Флой.

С этими словами Поль закрыл глаза и заснул. Когда он проснулся, солнце стояло высоко, и день был ясный и теплый. Он полежал немного, глядя на окна, которые были открыты, и на занавески, шелестевшие и развевавшиеся на ветру; потом он сказал:

— Флой, это уже «завтра»? Она пришла?

Кажется, кто-то пошел за ней. Быть может, это была Сьюзен. Полю почудилось, когда он снова закрыл глаза, будто Сьюзен сказала ему, что скоро вернется; но он не открыл их, чтобы посмотреть.

Она сдержала слово — быть может, она и не уходила, — но первое, что он услышал вслед за этим, были шаги на лестнице, и тогда Поль проснулся и сел, выпрямившись, в постели. Теперь он видел всех около себя. Их больше не окутывал серый туман, какой бывал иногда по ночам. Он узнал их всех и назвал по именам.

— А это кто? Это моя старая кормилица? — спросил мальчик, глядя с сияющей улыбкой на входившую женщину.

Да. Больше никто из чужих людей не стал бы проливать слезы при виде его и называть его дорогим ее мальчиком, миленьким ее мальчиком, ее бедным, родным, измученным ребенком. Никакая другая женщина не стала бы опускаться на колени возле его кровати, брать его исхудалую ручку и прижимать к губам и к груди, как человек, имеющий какое-то право ласкать ее. Никакая другая женщина не могла бы так забыть обо всех, кроме него и Флой, и исполниться такой нежности и жалости.

— Флой! У нее милое, доброе лицо! — сказал Поль. — Я рад, что снова его вижу. Не уходи, старая кормилица. Остайся со мною!

Все чувства его были обострены; и он услышал имя, которое знал.

— Кто это сказал «Уолтер»? — спросил он, оглядываясь. — Кто-то сказал «Уолтер». Он здесь? Мне бы очень хотелось его увидеть.

Никто не ответил сразу; но через мгновение отец сказал Сьюзен:

— В таком случае верните его. Пусть поднимется сюда!

Немного погодя — тем временем Поль, улыбаясь, смотрел с любопытством и удивлением на свою кормилицу и видел, что она не забыла Флой, — Уолтера ввели в комнату. Его открытое лицо, непринужденные манеры и веселые глаза всегда привлекали к нему Поля; увидев его, Поль протянул руку и сказал:

— Прощайте!

— Прощайте, дитя мое? — воскликнула миссис Пипчин, поспешив к изголовью кровати. — Почему «прощайте»?

Секунду Поль смотрел на нее с задумчивым видом, с каким так часто разглядывал ее из своего уголка у камина.

— О да, — спокойно сказал он, — прощайте! Уолтер, дорогой, прощайте! — Он повернул голову в ту сторону, где стоял Уолтер, и снова протянул руку. — Где папа?

Он почувствовал дыхание отца на своей щеке, прежде чем успел произнести эти слова.

— Не забывайте Уолтера, дорогой папа, — прошептал он, глядя ему в лицо. — Не забывайте Уолтера. Я любил Уолтера!

Слабая ручка взмахнула, как будто крикнула Уолтеру еще раз «прощайте!».

— Теперь положите меня, — сказал он, — и подойди, Флой, ко мне поближе и дай мне посмотреть на тебя!

Сестра и брат обвили друг друга руками, и золотой свет потоком ворвался в комнату и упал на них, слившихся в объятии.

— Как быстро течет река мимо зеленых берегов и камышей, Флой! Но она очень недалеко от моря. Я слышу говор волн! Они все время так говорили.

Потом он сказал ей, что его убаюкивает скольжение лодки по реке. Какие зеленые теперь берега, какие яркие цветы на них и как высок камыш! Теперь лодка вышла в море, но плавно подвигается вперед. А вот теперь перед ним берег. Кто это стоит на берегу?..

Он сложил ручки, как складывал, бывало, на молитве. Но он не отнял рук, было видно, как он соединил их у нее на шее.

— Мама похожа на тебя, Флой. Я ее знаю в лицо! Но скажи им, что гравюра на лестнице в школе не такая божественная. Сияние вокруг этой головы освещает мне путь!

И снова на стене золотая рябь, а в комнате все недвижимо. Древний закон сей пришел с нашим первым одеянием и будет нерушим, пока род человеческий не пройдет своего пути и необъятный небосвод не свернется, как свиток. Древний закон сей — Смерть!

О, возблагодарим бога все те, кто видит ее, за другой еще более древний закон — Бессмертье! И не смотрите на нас, ангелы маленьких детей, безучастно, когда быстрая река уносит нас к океану!

Глава XVII

Капитану Катлю удается кое-что устроить для молодых людей

Капитан Катль, применяя тот изумительный талант к составлению таинственных и непостижимых проектов, которым он искренне считал себя наделенным от природы (что вообще свойственно людям безмятежно простодушным), отправился в это знаменательное воскресенье к мистеру Домби, всю дорогу подмигивал, давая тем исход своей чрезмерной проницательности, и предстал в своих ослепительных сапогах пред очи Таулинсона. С глубоким огорчением услышав от этого индивидуума о надвигающемся несчастье, капитан Катль со свойственной ему деликатностью поспешил удалиться в смущении, оставив только букет в знак своего участия, поручив передать почтительный привет всему семейству и выразив при этом надежду, что при создавшихся обстоятельствах они будут держаться носом против ветра, и дружески намекнул, что «заглянет еще раз» завтра.

О привете капитана никто так и не услышал. Букет капитана, пролежав всю ночь в холле, был выброшен утром в мусорное ведро; а хитроумный план капитана, застигнутый крушением более высоких надежд и более величественных замыслов, был окончательно расстроен. Так, когда лавина сметает лес в горах, побеги и кусты претерпевают ту же участь, что и деревья, и все погибают вместе.

Когда Уолтер в этот воскресный вечер вернулся домой после длинной своей прогулки и памятного ее завершения, он сначала был слишком поглощен известием, которое должен был сообщить, и чувствами, какие, естественно, пробудила в нем сцена, им виденная, и не заметил, что дядя, по-видимому, не знает той новости, которую капитан взялся объявить, а капитан подает сигналы своим крючком, предлагая ему не касаться этой темы. Впрочем, сигналы капитана трудно было понять, как бы внимательно в них ни всматриваться; ибо подобно тем китайским мудрецам, о которых говорят, будто они во время беседы пишут в воздухе какие-то ученые слова, совершенно неудобопроизносимые, капитан чертил такие зигзаги и росчерки, что не посвященный в его тайну никак не мог бы их уразуметь.

Однако капитан Катль, узнав о случившемся, отказался от этих попыток, видя, как мало остается теперь шансов на непринужденную беседу с мистером Домби до отъезда Уолтера. Но признавшись самому себе с видом разочарованным и огорченным, что Соль Джилс должен быть предупрежден, а Уолтер должен ехать, — принимая положение в данный момент таким, каково оно есть, и отнюдь не изменившимся к лучшему, ибо мудрого вмешательства своевременно не последовало, — капитан по-прежнему был непоколебимо уверен в том, что он, Нэд Катль, — самый подходящий человек для мистера Домби; им нужно только встретиться, и будущее Уолтера обеспечено. Ибо капитан не мог забыть о том, как прекрасно сошлись они с мистером Домби в Брайтоне; с какою деликатностью каждый из них вставлял нужное слово; как хорошо поняли они друг друга и как он, Нэд Катль, в трудную минуту жизни указал на необходимость этой встречи и привел свидание к желанным результатам. На этом основании капитан успокаивал себя мыслью, что хотя Нэду Катлю под давлением обстоятельств в настоящее время «держаться крепче» почти бесполезно, однако Нэд в подходящий миг поднимет паруса и одержит полную победу.

Под влиянием этого невинного заблуждения капитан Катль начал даже обсуждать мысленно вопрос о том — в это время он сидел, глядя на Уолтера, и, уронив слезу на воротничок, слушал его рассказ, — не будет ли тонко и политично при встрече с мистером Домби лично передать ему приглашение зайти и отведать у капитана баранины на Бриг-Плейс в любой день, какой тот назначит, и за стаканом вина повести речь о видах на будущее юного Уолтера. Но неуравновешенный характер миссис Мак-Стинджер и опасение, что она во время этой беседы раскинет лагерь в коридоре и оттуда произнесет какую-нибудь проповедь нелестного содержания, подействовали, как узда, на мечты гостеприимного капитана и лишили его охоты предаваться им.

Одно обстоятельство капитан вполне уяснил себе, — пока Уолтер, задумчиво сидя за обедом и не прикасаясь к еде, размышлял о случившемся, — а именно: хотя сам Уолтер по скромности своей, быть может, этого и не понимает, но он является, так сказать, членом семейства мистера Домби. Он лично связан с событием, которое так трогательно описал; о нем вспомнили, назвав по имени, и позаботились о его судьбе в тот самый день; и, стало быть, судьба его должна представлять особый интерес для его хозяина. Если у капитана и были какие-нибудь тайные сомнения касательно его соб-

ственных выводов, он нимало не сомневался в том, что выводы эти укрепят спокойствие духа мастера судовых инструментов. Поэтому он воспользовался столь благоприятным моментом и преподнес своему старому другу известие о Вест-Индии, как пример удивительного повышения по службе, заявив, что он, со своей стороны, охотно поставил бы сто тысяч фунтов (если бы они у него были) за успех Уолтера в будущем и не сомневается в том, что такое помещение капитала принесло бы большую выгоду.

Соломон Джилс сначала был оглушен этим сообщением, обрушившимся на маленькую заднюю гостиную подобно удару молнии, и неистово ворошил угли в камине. Но капитан развернул перед затуманенными его глазами такие блестящие перспективы, столь таинственно намекнул на виттингтоновские последствия, такое значение придал только что услышанному рассказу Уолтера и с таким доверием ссылаясь на него, как на доказательство в пользу своих предсказаний и великий шаг к осуществлению романтической легенды о красотке Пэг, что сбил с толку старика. Уолтер в свою очередь притворился таким обнадеженным и бодрым, столь уверенным в скором возвращении своем домой и, поддерживая капитана, так выразительно покачивал головой и потирал руки, что Соломон, взглянув сначала на него, а потом на капитана Катля, стал подумывать о том, не следует ли ему ликовать.

— Но я, видите ли, отстал от века, — сказал он в свое оправдание, нервно проводя рукой сверху вниз по ряду блестящих пуговиц на своем сюртуке, а затем снизу вверх, словно это были четки, которые он перебирал. — И я бы предпочел, чтобы мой милый мальчик остался здесь. Должно быть, это старомодное желание. Он всегда любил море. Он... — и старик пытливо посмотрел на Уолтера, — он рад, что едет.

— Дядя Соль! — быстро сказал Уолтер. — Раз вы так говорите, я не поеду. Да, капитан Катль, я не поеду! Если дядя думает, что я могу радоваться разлуке с ним, хотя бы мне предстояло стать губернатором всех островов в Вест-Индии, этого достаточно. Я не сдвинусь с места.

— Уольр, мой мальчик, — сказал капитан, — спокойствие! Соль Джилс, обратите внимание на вашего племянника!

Проследив взглядом за величественным мановением капитанского крючка, старик посмотрел на Уолтера.

— Имеется некое судно, — сказал капитан, наслаждаясь аллегорией, на крыльях которой воспарил, — и ему предстоит пуститься в некое путешествие. Какое имя неизгладимо начертано на этом судне? Гэй? Или, — продолжал капитан, возвысив голос и как бы предлагая обратить внимание на этот пункт, — или Джилс?

— Нэд, — сказал старик, привлекая к себе Уолтера и нежно беря его под руку, — я знаю. Знаю. Конечно, я знаю, что Уоли всегда думает обо мне больше, чем о себе. Вот что у меня на уме. Если я говорю — он рад поездке, это значит — я надеюсь, что он рад. Понятно? Послушайте, Нэд, и ты также, Уоли, дорогой мой, для меня это ново и неожиданно; боюсь, всему причиной то, что я беден и отстал от века. Скажите же мне, для него это действительно большая удача? — продолжал старик, тревожно переводя взгляд с одного на другого. — Всерьез и на самом деле? Так ли это? Я могу примириться с чем угодно, если это к выгоде Уоли, но не хочу, чтобы Уоли поступал во вред себе ради меня или скрывал что-нибудь от меня, Нэд Катль! — сказал старик, глядя в упор на капитана, к явному смущению сего дипломата. — Честную ли игру ведете вы со своим старым другом? Говорите, Нэд Катль. Быть может, что-то за этим скрывается? Следует ли ему ехать? Откуда вы это знаете и почему?

Так как сейчас шло соревнование в любви и самоотречении, Уолтер, к успокоению капитана, вмешался, достигнув некоторых результатов; вдвоем, говоря без умолку, они более или менее примирили старого Соля Джилса с этим проектом, или, вернее, до того сбили его с толку, что все, даже мучительная разлука, рисовалось ему в тумане.

У него оставалось мало времени об этом думать, ибо на следующий же день Уолтер получил от мистера Каркера, заведующего, распоряжение об отъезде и экипировке, а также узнал, что «Сын и наследник» отплывает через две недели или, быть может, на один-два дня позже. В суете, вызванной приготовлениями, которую Уолтер умышленно старался раздуть, старик потерял последнее самообладание; день отъезда быстро приближался.

Капитан, который не переставал знакомиться со всем происходящим, ежедневно наводя справ-

ки у Уолтера, убедился, что дни, остающиеся до отъезда, проходят, тогда как не представляется случая — и вряд ли таковой представится — выяснить положение дел. Вот тогда-то, после долгого обсуждения этого факта и после долгих размышлений о неблагоприятном стечении обстоятельств, капитану пришла в голову блестящая мысль. Что, если он нанесет визит мистеру Каркеру и от него постарается узнать, с какого борта берег?

Капитану Катлю чрезвычайно понравилась эта мысль. Она осенила его в минуту вдохновения, когда он после завтрака курил первую трубку у себя на Бриг-Плейс, и была достойна табака. Да, это успокоит его совесть, которая отличалась чуткостью и была слегка смущена тем, что доверил ему Уолтер и что сказал Соль Джилс; это будет умный и ловкий ход во имя дружбы. Он старательно испытает мистера Каркера и выскажется более или менее откровенно, только когда уяснит себе характер этого джентльмена и удостоверится, поладили они или нет.

Итак, не опасаясь встретить Уолтера (который, как было ему известно, укладывался дома), капитан Катль снова надел полусапоги и, заколов галстук траурной булавкой, предпринял вторую экспедицию. На этот раз он не покупал букета для подношения, потому что отправлялся в контору; но он продел в петлицу маленький подсолнечник, дабы приятный аромат деревни исходил от его особы, и с этим подсолнечником, сучковатой палкой и глянцевиной шляпой отбыл в контору Домби и Сына. Осушив в ближайшей таверне стакан теплого грога, — а это помогало собраться с мыслями, — капитан промчался по двору, чтобы не рассеялось благотворное действие рома, и внезапно предстал перед мистером Перчем.

— Приятель, — внушительным тоном сказал капитан, — одного из твоих начальников зовут Каркер.

Мистер Перч с этим согласился; но по долгу службы дал ему понять, что все его начальники заняты и вряд ли когда-нибудь освободятся.

— Послушай, приятель, — сказал ему на ухо капитан, — меня зовут капитан Катль.

Капитан хотел потихоньку притянуть к себе Перча крючком, но мистер Перч ускользнул — не столько преднамеренно, сколько потому что вздрогнул при мысли о том, как подобное оружие, будь оно неожиданно показано миссис Перч, могло бы в теперешнем ее положении погубить надежды этой леди.

— Если ты будешь так любезен и доложишь при первой возможности, что пришел капитан Катль, — сказал капитан, — я подожду.

С этими словами капитан уселся на подставку мистера Перча и, вынув носовой платок из тульи глянцевиной шляпы, которую он зажал между колен (не причиняя ущерба ее фасону, ибо никто не мог бы ее согнуть), старательно вытер голову и как будто почувствовал себя освежившимся. Вслед за этим он пригладил крючком волосы и с безмятежным видом сидел, осматривая контору и созерцая клерков.

Хладнокровие капитана было столь невозмутимо, а сам он казался таким таинственным существом, что Перч, рассыльный, был устрашен.

— Как, говорите вы, ваше имя? — спросил мистер Перч, наклоняясь над своей подставкой, занятая капитаном.

— Капитан, — раздался густой хриплый шепот. — Ну? — сказал мистер Перч, качнув головой.

— Катль.

— О! — сказал тем же тоном мистер Перч, ибо он расслышал и теперь ничего не мог поделать; дипломатия капитана была неотразима. — Пойду посмотрю, не освободился ли он сейчас. Не знаю. Быть может, и освободился на минутку.

— Да, да, приятель, я не задержу его дольше, чем на минуту, — сказал капитан, кивая со всем достоинством, на какое был способен.

Перч вскоре вернулся и сказал:

— Не угодно ли капитану Катлю пройти?

Мистер Каркер-заведующий, стоя на коврике перед холодным камином, который был украшен фестонами из оберточной бумаги, посмотрел на вошедшего капитана не слишком ободряющим взглядом.

— Мистер Каркер? — сказал капитан Катль.

— Полагаю, что так, — сказал мистер Каркер, показывая все зубы.

Капитану понравилось, что тот отвечает с улыбкой; это было приятно.

— Видите ли, — начал капитан, медленно обведя глазами комнату и увидев ровно столько, сколько позволял ему воротничок, — я, стало быть, моряк, мистер Каркер, а молодой Уольр, который значится у вас тут в списках, мне почти что сын.

— Уолтер Гэй? — спросил мистер Каркер, снова обнажая все зубы.

— Уольр Гэй, он самый, — ответил капитан, — правильно!

В голосе капитана слышалась горячая похвала сообразительности мистера Каркера.

— Я близкий друг его и его дяди, — сказал капитан. — Быть может, вам случалось слышать от главного вашего начальника мое имя? Капитан Катль.

— Нет! — сказал мистер Каркер, еще откровеннее обнажая зубы.

— Так вот, — продолжал капитан, — я имею удовольствие быть знакомым с ним. Я навестил его на Суссекском побережье вместе с моим молодым другом Уольром, когда... короче говоря, когда понадобилось заключить маленькое соглашение. — Капитан кивнул головой с видом беззаботным, непринужденным и в то же время многозначительным. — Полагаю, вы припоминаете?

— Кажется, я имел честь, — сказал мистер Каркер, — улаживать это дело.

— Верно! — отвечал капитан. — Правильно! Имели. Теперь я позволил себе смелость явиться сюда...

— Не угодно ли присесть? — улыбаясь, сказал мистер Каркер.

— Благодарю вас, — отвечал капитан, воспользовавшись приглашением. — Пожалуй, легче вести разговор, когда сидишь. А вы не хотите присесть?

— Нет, благодарю вас, — отвечал заведующий, продолжая стоять — быть может, в силу зимней привычки — спиной к камину и глядя вниз на капитана так, словно в каждом зубе и в деснах у него было по глазу. — Вы позволили себе смелость, говорите вы, хотя, право же, никакой...

— Очень вам благодарен, приятель, — отозвался капитан. — Да, смелость прийти сюда по поводу моего друга Уольра. Соль Джилс, его дядя, — человек науки, и в науке он может считаться быстроходным судном, но искусным моряком я бы его, пожалуй, не назвал, и человеком практики — тоже. Уольр — мальчик с прекрасной оснасткой, но, надо сознаться, есть у него один изъян — скромность. Ну-с, так вот какой вопрос я бы хотел вам предложить, — продолжал капитан, понизив голос и переходя на конфиденциальное бурчание, — дружеским образом, только между нами, и исключительно для моего осведомления, покуда ваш главный начальник немножко оправится, чтобы я мог подойти к нему борт о борт. Все ли здесь спокойно и благополучно и отправляется ли мой Уольр в плаванье с попутным ветром?

— А вы как думаете, капитан Катль? — отозвался Каркер, подбирая полы сюртука и утверждаясь в этой позиции. — Вы ведь человек практический: как думаете вы?

Проницательный и многозначительный взгляд капитана, когда он в ответ подмигнул, никакие слова изобразить не могут, кроме неудобопроизносимых китайских слов, ранее упомянутых.

— Послушайте! — сказал капитан, весьма обнадеженный. — Что вы скажете? Прав я или не прав?

После того как подмигивание капитана выразило столь многое, он, поощренный и подзадоренный вежливой улыбкой мистера Каркера, нашел, что все так подготовлено к обсуждению весьма важного вопроса, как будто он выражал свои чувства с величайшим красноречием.

— Правы, — сказал мистер Каркер, — у меня нет никаких сомнений.

— Стало быть, говорю я, он отправляется в плаванье при благоприятной погоде! — воскликнул капитан Катль. Мистер Каркер улыбнулся в знак согласия.

— Ветер попутный и дует вовсю, — продолжал капитан.

Мистер Каркер снова улыбнулся в знак согласия.

— Да, да! — сказал капитан Катль с великим облегчением и радостью. — Я сразу знал, какой взят курс. Я это говорил Уольру. Благодарю вас, благодарю вас.

— У Гэя блестящие перспективы, — заметил мистер Каркер, растягивая рот еще шире, — перед ним весь мир.

— Весь мир и жена, как гласит поговорка! — подхватил в восторге капитан.

На слове «жена» (которое он произнес без всякого умысла) капитан запнулся, снова подмигнул и, надев свою глянцевитую шляпу на набалдашник сучковатой палки, принялся вращать ее, искоса

поглядывая на своего неизменно улыбающегося собеседника.

— Готов держать пари на четверть пинты старого ямайского рома, — сказал капитан, внимательно к нему присматриваясь, — что я знаю, чему вы улыбаетесь.

Мистер Каркер принял это к сведению и улыбнулся еще шире.

— Отсюда это не выйдет? — спросил капитан, ткнув сучковатой палкой в дверь, дабы убедиться, что она закрыта.

— Ни на дюйм! — сказал мистер Каркер.

— Вы думаете о прописном Ф, верно? — сказал капитан.

Мистер Каркер этого не отрицал.

— А как насчет Л, — сказал капитан, — или О? Мистер Каркер по-прежнему улыбался.

— Я опять-таки прав? — шепотом осведомился капитан; он был так обрадован, что алый ободок у него на лбу вздулся.

Так как мистер Каркер в ответ, улыбаясь по-прежнему, утвердительно закивал, капитан Катль встал и пожал ему руку, с жаром уверяя, что они взяли один и тот же курс, а что касается его (Катля), то он все время придерживался этого направления.

— Он познакомился с ней, — сказал капитан с той таинственностью и серьезностью, каких требовала эта тема, — необычным образом: вы-то, конечно, помните, как он нашел ее на улице, когда она была совсем малюткой, и с той поры он полюбил ее, а она его, как только могут любить двое таких ребят. Мы всегда говорили, Соль Джилс и я, что они созданы друг для друга.

Кошка, обезьяна, гиена или череп не могли бы показать капитану столько зубов сразу, сколько показал ему мистер Каркер за время их свидания.

— Все клонится к этому, — заметил счастливый капитан. — Как видите, направления ветра и течения совпадают. Подумайте, ведь он присутствовал там в тот день!

— Что весьма благоприятствует его надеждам, — сказал мистер Каркер.

— Подумайте, ведь он был взят в тот день на буксир! — продолжал капитан. — Что может пустить его теперь по воле волн?

— Ничто, — отвечал мистер Каркер.

— Вы опять-таки правы, — сказал капитан, пожимая ему руку. — Вот именно, ничто! Итак, спокойствие! Сын умер, прелестный малютка. Не так ли?

— Да, сын умер, — сказал покладистый Каркер.

— Скажите слово, и у вас будет другой сын, — произнес капитан. — Племянник ученого дяди! Племянник Соля Джилса! Уольр! Уольр, который уже работает в вашей фирме. Тот, кто, — продолжал капитан, постепенно подбираясь к фразе, которую готовил для финального взрыва, — ежедневно приходит от Соля Джилса в вашу фирму и в ваши объятия.

Самодовольство капитана, легонько подтолкнувшего локтем мистера Каркера после каждой из вышеупомянутых коротких фраз, не могло быть превзойдено ничем, кроме того восторга, с коим он откинулся на спинку стула и воззрился на Каркера, когда закончил эту блестящую речь, исполненную пронизательности и пафоса; его широкий синий жилет вздымался, рождая такой шедевр; а нос ярко пламенел по той же причине.

— Прав ли я? — сказал капитан.

— Капитан Катль, — сказал мистер Каркер, на секунду странным образом сгибаясь в коленях, словно он падал и в то же время сразу подхватывал самого себя, — ваши рассуждения касательно Уолтера Гэя вполне и безусловно правильны. Полагаю, что мы беседуем конфиденциально.

— Клянусь честью! — вставил капитан. — Ни слова!

— Ни ему, ни кому бы то ни было? — продолжал заведующий.

Капитан Катль насупил и кивнул.

— Но исключительно для вашего успокоения и надлежащего руководства — и руководства, разумеется, — повторил мистер Каркер, — имея в виду дальнейшие ваши шаги.

— Право же, я вам весьма признателен, — сказал капитан, слушая с великим вниманием.

— Я говорю, не колеблясь, что это факт. Вы угадали возможные последствия.

— А что касается вашего главного начальника, — сказал капитан, — ну, что же, пусть наша встреча произойдет сама собой. Времени достаточно.

Мистер Каркер, растянув рот от уха до уха, повторил: «Времени достаточно». Причем он не

произнес явственно этих слов, но любезно склонил голову и беззвучно пошевелил языком и губами.

— И так как теперь мне все известно... и это я всегда говорил... что Уольр идет навстречу своему счастью... — сказал капитан.

— Навстречу своему счастью, — повторил так же беззвучно мистер Каркер.

— И так как эта маленькая поездка Уольра входит, если можно выразиться, в круг его повседневных занятий и согласуется с его надеждами здесь... — сказал капитан.

— С его надеждами здесь, — подтвердил мистер Каркер так же беззвучно, как и раньше.

— Ну вот, раз мне это известно, — продолжал капитан, — значит, спешить незачем, и я спокоен.

Так как мистер Каркер, оставаясь по-прежнему безгласным, снова утвердительно кивнул, капитан Катль укрепился в своем убеждении, что это один из приятнейших людей, каких ему когда-либо приходилось встречать, и даже сам мистер Домби не проиграет, если кое-что у него позаимствует. Поэтому капитан весьма сердечно еще раз протянул мистеру Каркеру свою огромную руку (цветом напоминающую старый пень) и угостил его таким рукопожатием, что на более нежной коже мистера Каркера остались отпечатки трещин и морщин, коими была обильно разукрашена ладонь капитана.

— До свидания! — сказал капитан. — Я человек не многоречивый, но я вам очень благодарен за то, что вы были так любезны и откровенны. Вы меня простите, что я к вам вторгся? — добавил капитан.

— Ну, что вы! — ответил тот.

— Благодарю вас. Каюта моя невелика, — сказал капитан, снова возвращаясь, — но довольно уютна, и если вам в любой час дня случится быть около Бриг-Плейс, номер девятый, — быть может, вы запишете? — и подняться наверх, не обращая внимания на то, что вам скажет особа, которая открывает двери, я буду счастлив вас видеть.

После такого гостеприимного приглашения капитан, сказав: «Всего хорошего!» — вышел и закрыл дверь, оставив мистера Каркера все в той же позе у камина. В лукавом его взоре и настороженной позе, в его фальшивых губах, растянутых, но не улыбающихся, в его безупречном галстуке и бакенбардах, даже в том, как он молча проводил своей мягкой рукой по белоснежной манишке и гладко выбритому лицу, было что-то кошачье.

Не подозревавший ничего дурного капитан вышел, упоенный своим успехом, отчего даже фасон его широкого синего фрака изменился. «Держись крепче, Нэд! — сказал себе капитан. — Ну, дружище, сегодня тебе удалось кое-что состряпать для молодых людей».

На радостях и по случаю настоящей и будущей своей близости к фирме, капитан, выйдя в первую комнату конторы, не мог удержаться, чтобы не подразнить мистера Перча и не спросить его, думает ли он по-прежнему, что все заняты. Тем не менее, не желая огорчать человека, который исполнял свой долг, капитан шепнул ему на ухо, что, если тот не откажется от стакана грога и готов за ним следовать, он с радостью предложит ему таковой.

Прежде чем выйти на улицу, капитан, к немалому изумлению клерков, осмотрелся кругом с некоего центрального пункта и обозрел контору, как нечто нераздельно связанное с планом, в котором был близко заинтересован его молодой друг. Зарешеченная каморка кассира вызвала особое его восхищение; но, не желая показаться слишком мелочным, он ограничился одобрительным взглядом и, любезно отвесив клеркам общий поклон, в высшей степени учтивый и покровительственный, вышел во двор. К нему быстро присоединился мистер Перч, после чего он повел этого джентльмена в таверну и исполнил свое обещание, не теряя времени, ибо для Перча оно было дорого.

— Давай-ка выпьем, — сказал капитан, — за здоровье Уольра!

— За здоровье кого? — покорно отозвался мистер Перч.

— Уольра! — громогласно повторил капитан.

Мистер Перч, припоминая, будто слышал в детстве, что жил некогда поэт, носивший такую фамилию⁶⁹, не стал возражать, но он был крайне изумлен тем, что капитан явился в Сити, чтобы

⁶⁹ ...некогда поэт, носивший такую фамилию... — намек на Эдмунда Уоллера (1606—1687), издавшего в 1645 году книгу стихов.

предложить тост за поэта; право же, если бы тот предложил воздвигнуть статую какого-нибудь поэта, — например, Шекспира, — на одной из главных улиц, он вряд ли мог бы сильнее поколебать привычные представления мистера Перча. В общем, капитан оказался таким таинственным и непостижимым человеком, что мистер Перч решил вовсе не говорить о нем с миссис Перч во избежание каких-либо неприятных последствий.

Воодушевленный мыслью о том, что ему удалось кое-что состряпать для молодых людей, капитан весь день оставался таинственным и непостижимым даже для самых близких своих друзей; и если бы Уолтер не объяснял его подмигиваний, улыбок и других мимических движений, облегчавших его душу, тем удовольствием, какое капитан испытывал благодаря успеху их невинной лжи старому Солю Джилсу, капитан несомненно выдал бы себя в тот же вечер. Как бы то ни было, но он сохранил свою тайну. От мастера судовых инструментов он вернулся домой поздно, — его глянцевитая шляпа была так сдвинута набекрень и физиономия так сияла, что миссис Мак-Стинджер (которая как будто получила воспитание у доктора Блимбера — столь была она похожа на римскую матрону), едва взглянув на него, заняла оборонительную позицию за открытой парадной дверью и отказывалась выйти оттуда к своим невинным младенцам, пока он благополучно не водворился в свою комнату.

Глава XVIII

Отец и дочь

В доме мистера Домби тишина. Слуги бесшумно скользят вверх и вниз по лестнице, их шагов не слышно. Они все время беседуют друг с другом и долго сидят за столом, уделяя большое внимание еде и питью, и услаждают себя, следуя мрачному и нечестивому обычаю. Миссис Уикем с глазами, полными слез, рассказывает меланхолические истории, повествует о том, как она всегда говорила миссис Пипчин, что это случится, пьет столового эля больше, чем обычно, и очень грустна, но общительна. В таком же расположении духа кухарка. Она обещает жареное мясо к ужину и старается преодолеть как свою чувствительность, так и действие лука.

Таулинсон усматривает в случившемся перст судьбы и желает знать — пусть ответит кто-нибудь, — можно ли ждать добра, если живешь в угловом доме. Им всем кажется, что это было давным-давно, хотя мальчик все еще лежит, тихий и прекрасный, на своей кровати.

В сумерках являются некий гости, бесшумно, в войлочных туфлях. Они бывали здесь и раньше, и вместе с ними появляется это ложе отдохновения, такое странное ложе для уснувших детей. Отца, понесшего тяжелую утрату, не видел все это время даже его слуга; ибо он садится в дальний угол своей темной комнаты, когда кто-нибудь туда входит, а в другое время как будто только и делает, что шагает взад и вперед. Но утром домочадцы шепчутся о том, что глубокой ночью слышали, как он поднялся наверх и оставался там, в той комнате, пока не взошло солнце.

В конторе в Сити окна с матовыми стеклами стали еще более тусклыми благодаря закрытым ставням; и в то время, как дневной свет, прокрадываясь в комнату, заставляет меркнуть зажженные лампы на конторках, лампы в свою очередь заставляют меркнуть дневной свет; здесь царит какой-то необычный сумрак. Дела идут вяло. Клерки не расположены работать; они услаждаются поест отбивных котлет днем и подняться вверх по реке. Перч, рассыльный, не торопится исполнять поручения, попадает в трактиры, куда его приглашают друзья, и разглагольствует о ненадежности дел человеческих. Вечером он возвращается домой в Болс-Понд раньше, чем обычно, и угощает миссис Перч телячьей котлетой и шотландским элем. Мистер Каркер-заведующий никого не угощает; и его никто не угощает; но в уединении своей комнаты он весь день скалит зубы; и может показаться, будто что-то исчезло с дороги мистера Каркера — удалено какое-то препятствие, и путь перед ним свободен.

А вот румяные дети, живущие против дома мистера Домби, смотрят из окон своей детской вниз на улицу, потому что там, у его двери, стоят четыре черных лошади с перьями на голове, и перья колеблются на экипаже, в который они впряжены; и эти перья и шеренга людей с шарфами и жезлами привлекают толпу. Фокусник, собиравшийся вертеть таз, снова надевает широкое пальто поверх своего пестрого наряда, а его жена, волочущая ноги и кривобокая, ибо не спускает с рук тяжелого мла-

денца, задерживается, чтобы поглядеть, как тронется процессия. Но крепче прижимает она ребенка к своей грязной груди, когда выносят ношу, которая так легка; а в высоком окне напротив младшая румяная девочка перестает шалить и, указывая пухлым пальчиком, засматривает в лицо няни и спрашивает: «Что это?»

А вот мимо кучки слуг в трауре и плачущих женщин мистер Домби проходит через холл и направляется к другому экипажу, который его ждет. Он не «раздавлен» горем и отчаянием, — думают зрители. Походка его так же уверенна, осанка так же надменна, как всегда. Он не прячет лица за носовым платком и смотрит прямо перед собой. Хотя лицо у него слегка осунувшееся, суровое и бледное, но выражение его не изменилось. Он занимает место в экипаже, и за ним следуют еще трое джентльменов. Затем торжественная похоронная процессия медленно движется по улице. Перья еще колышутся вдали, а фокусник уже вертит свой таз на трости, и та же толпа глазееет на него. Но жена фокусника медленнее, чем обычно, берет тарелочку для сбора денег, ибо детские похороны навели ее на мысль о том, что младенец, прикрытый ее поношенной шалью, быть может, не станет взрослым, не наденет небесно-голубой повязки на голову и телесного цвета шерстяных панталон и не будет кувыркаться в грязи.

Перья совершают свой мрачный путь по улицам, и вот уже слышен колокольный звон. В этой самой церкви хорошенький мальчик получил все, что останется от него на земле, — имя. Все, что умерло, кладут здесь, недалеко от бранных останков его матери. Это хорошо. Их прах лежит там, куда Флоренс во время своих прогулок — о, одинокие, одинокие прогулки! — может приходить в любой день.

Когда окончилась служба и священник ушел, мистер Домби оглядывается и тихо спрашивает, здесь ли человек, которому приказано было явиться за инструкциями относительно надгробной плиты.

Кто-то выступает вперед и говорит: «Здесь».

Мистер Домби сообщает, где он хотел бы ее поместить, показывает ему рукой на стене ее форму и размер и объясняет, что она должна находиться рядом с плитой матери. Затем он пишет карандашом текст, отдает ему и говорит:

— Я хочу, чтобы это было сделано немедленно.

— Будет сделано немедленно, сэр.

— Как видите, нужно начертать только имя и возраст.

Человек кланяется, смотрит на бумагу и как будто колеблется. Мистер Домби, не замечая его колебаний, поворачивается и направляется к выходу.

— Прошу прощения, сэр! — Рука осторожно прикасается к траурному плащу. — Вы желаете, чтобы это было сделано немедленно, а это можно сдать в работу, когда я вернусь...

— Ну так что?

— Не угодно ли вам прочесть еще раз? Мне кажется, здесь ошибка.

— Где?

Ваятель возвращает ему бумагу и указывает линейкой на слова: «любимого и единственного ребенка».

— Мне кажется, следовало бы «сына», сэр?

— Вы правы. Конечно. Измените.

Отец, ускорив шаги, идет к карете. Когда остальные трое, которые следовали за ним по пятам, занимают свои места, лицо его в первый раз закрыто — заслонено плащом. И в тот день они его больше не видят. Он выходит из экипажа первым и немедленно удаляется в свою комнату. Остальные, присутствовавшие на похоронах (это всего лишь мистер Чик и два врача) идут вверх в гостиную, где их принимают миссис Чик и мисс Токс. А какое лицо у человека в запертой комнате внизу, каковы его мысли, что у него на сердце, какова его борьба и каковы страдания, — никто не знает.

На кухне знают только, что «сегодня похоже на воскресенье». Там едва могут убедить себя в том, что нет ничего непристойного, если не греховного, в поведении людей на улице, которые занимаются своими повседневными делами и одеты в будничное платье. Но шторы уже подняты и ставни открыты; и слуги мрачно развлекаются за бутылкой вина, которого пьют вволю, словно по случаю праздника. Они весьма расположены к нравоучительной беседе. Мистер Таулинсон со вздохом провозглашает тост: «За очищение всех нас от скверны!», на что кухарка отзывается тоже со вздохом:

«Богу известно, что в этом мы нуждаемся». Вечером миссис Чик и мисс Токс снова принимаются за рукоделие. И вечером же мистер Таулинсон выходит подышать свежим воздухом вместе с горничной, которая еще не обновила своего траурного чепца. Они очень нежны друг к другу в темных закоулках, и Таулинсон мечтает о том, чтобы вести другую, безупречную жизнь в качестве солидного зеленщика на Оксфордском рынке.

В эту ночь в доме мистера Домби спят крепче и спокойнее, чем спали в течение многих ночей. Утреннее солнце пробуждает весь дом, и снова все входит в прежнюю свою колею. Румяные дети, живущие напротив, пробегают мимо со своими обручами. В церкви — блестящая свадьба. Жена фокусника подвизается с тарелочкой для сбора денег в другом городском квартале. Каменотес поет и насвистывает, высекая на лежащей перед ним мраморной плите: Поль.

И возможно ли, чтобы в мире, столь многолюдном и хлопотливом, утрата одного слабого существа нанесла чьему-либо сердцу рану, столь широкую и глубокую, что только необъятная широта и глубина вечности могла бы ее исцелить? Флоренс в невинной своей скорби дала бы такой ответ: «О мой брат, мой горячо любимый и любящий брат! Единственный друг и товарищ моего невеселого детства! Может ли мысль менее возвышенная пролить свет, уже озаряющий твою раннюю могилу, или пробудить умиротворенную грусть, которая рождается под этим градом слез?»

— Милое мое дитя, — сказала миссис Чик, которая почитала долгом, на нее возложенным, воспользоваться удобным случаем, — когда ты достигнешь моего возраста...

— То есть будете во цвете лет, — вставила мисс Токс.

— ...Тогда ты узнаешь, — продолжала миссис Чик, нежно пожимая руку мисс Токс в благодарность за дружеское замечание, — тогда ты узнаешь, что грустить бесполезно и что наш долг — смириться...

— Я постараюсь, милая тетя. Я буду стараться, — рыдая, отвечала Флоренс.

— Рада это слышать, — заявила миссис Чик, — ибо, дорогая моя, как скажет тебе наша милая мисс Токс, о здравом смысле и удивительной рассудительности которой двух мнений быть не может...

— Дорогая моя Луиза, право же, я скоро возгоржусь, — вставила мисс Токс.

— ...Скажет тебе и подкрепит своими опытом, — продолжала миссис Чик, — мы призваны к тому, чтобы при всех обстоятельствах делать усилия. Они от нас требуются. Если бы не... милая моя, — повернулась она к мисс Токс, — я запомнила слово. — Не... не...

— Небрежность? — подсказала мисс Токс.

— Нет, нет, нет! — сказала миссис Чик. — Что вы! Ах, боже мой, оно вертится у меня на языке. Не...

— Неуместная привязанность? — робко подсказала мисс Токс.

— О, господи, Лукреция! — воскликнула миссис Чик. — Это просто чудовищно! Ненавистник человечества — вот слово, которое я запомнила. Придет же в голову! Неуместная привязанность! Итак, говорю я, если бы ненавистник человечества задал в моем присутствии вопрос: «Зачем мы родились?» — я бы ответила: «Чтобы делать усилия».

— В самом деле, это прекрасно! — сказала мисс Токс, находясь под впечатлением столь оригинальной мысли. — Прекрасно!

— К сожалению, — продолжала миссис Чик, — у нас пример перед глазами. Дорогое мое дитя, мы вправе предполагать, что, если бы в этой семье было своевременно сделано усилие, можно было бы избежать многих весьма тяжелых и прискорбных событий. Ничто и никогда не разубедит меня в том, — заметила решительным тоном славная матрона, — что покойная Фанни могла сделать усилие, и тогда покинувший нас драгоценный малютка был бы, во всяком случае, более крепкого сложения.

Миссис Чик на полсекунды отдалась своим чувствам, но, как бы наглядно иллюстрируя свою доктрину, сдержалась, оборвав рыданье, и заговорила снова:

— Поэтому, Флоренс, докажи нам, прошу тебя, что ты крепка духом, и не отягчай эгоистически того отчаяния, в какое погружен твой бедный папа.

— Милая тетя! — воскликнула Флоренс, быстро опускаясь перед ней на колени, чтобы можно было пристальнее и внимательнее взглянуть ей в лицо. — Скажите мне еще что-нибудь о папе! Пожалуйста, расскажите мне о нем! Он очень страдает?

У мисс Токс была чувствительная натура, и эта мольба глубоко ее растрогала. Увидела ли она в

ней желание брошенной девочки взять на себя ту нежную заботу, которую так часто выражал ее любимый брат, — увидела ли она любовь, которая пыталась прильнуть к сердцу, любившему его, и не могла смириться с тем, что ей отказывают в сочувствии такому горю при столь печальном содружестве любви и скорби, — или же мисс Токс почувствовала в девочке пылкую и преданную душу, которая, хотя ее и отвергли и оттолкнули, была преисполнена нежности, долго остававшейся без ответа, и в тоскливом одиночестве, вызванном этой утратой, обращалась к отцу в надежде найти утешение и самой его утешить, — что бы ни почувствовала мисс Токс, но она была растрогана. На секунду она забыла о величии миссис Чик; быстро погладив Флоренс по щеке, она отвернулась и, не дожидаясь указаний сей мудрой матроны, не удержалась от слез.

Сама миссис Чик на секунду утратила присутствие духа, коим так гордилась, и оставалась безмолвной, глядя на прекрасное юное лицо, которое так долго, так упорно и терпеливо было обращено к маленькой кровати. Но обретя голос, который являлся синонимом присутствия духа — право же, это было одно и то же, — она ответила с достоинством:

— Флоренс, дорогое моя дитя, твой бедный папа бывает временами немного странным: и спрашивать меня о нем — значит задавать вопрос о предмете, на понимание которого я не притязую. Мне кажется, я имею на твоего папу более сильное влияние, чем кто-нибудь другой. Однако я могу сказать только, что он говорил со мною очень мало и видела я его всего два и каждый раз не более одной минуты, да и тогда я его почти не видела, так как у него в комнате темно. Я сказала твоему папе: «Поль!» — вот точное выражение, к которому я прибегла: «Поль! Почему вы не примете какого-нибудь возбуждающего средства?» Твой папа отвечал неизменно: «Луиза, будьте добры оставить меня. Мне ничего не нужно. Мне лучше побыть одному». Лукреция, если бы завтра меня заставили принести присягу в суде, — продолжала миссис Чик, — не сомневаюсь, я не остановилась бы перед тем, чтобы клятвенно повторить эти самые слова.

Мисс Токс выразила свое восхищение, сказав:

— Моя Луиза всегда методична!

— Одним словом, Флоренс, — продолжала тетка, — мы с твоим бедным папой почти не разговаривали, вплоть до сегодняшнего дня, когда я сообщила твоему папе, что сэр Барнет и леди Скетлс прислали чрезвычайно любезную записку... Наш ненаглядный мальчик! Леди Скетлс любила его, как... Где мой носовой платок?

Мисс Токс подала платок.

— ...Чрезвычайно любезную записку, предлагая, чтобы ты навестила их с целью переменить обстановку. Заметив твоему папе, что, по моему мнению, мисс Токс и я можем вернуться теперь домой (с чем он вполне согласился), я осведомилась, нет ли у него каких-нибудь возражений против того, чтобы ты приняла это приглашение. Он сказал: «Нет, Луиза, никаких!»

Флоренс подняла заплаканные глаза.

— Но если, Флоренс, тебе больше хочется остаться здесь, чем погостить там или поехать со мной...

— Мне бы этого гораздо больше хотелось, тетя, — был тихий ответ.

— В таком случае, дитя, — сказала миссис Чик, — поступай как знаешь. Должна сказать, что это странный выбор. Но ты всегда была странной. Казалось бы, в твоём возрасте и после того, что случилось, — милая моя мисс Токс, я опять потеряла носовой платок, — каждый был бы рад уехать отсюда.

— Мне бы не хотелось думать, — сказала Флоренс, — что все стараются покинуть этот дом. Мне бы не хотелось думать, что комнаты... его... комнаты наверху остаются пустыми и мрачными, тетя. Я предпочла бы побыть теперь здесь. О, мой брат! Мой брат!

Это был естественный взрыв чувств, который нельзя подавить; и они прорвались бы даже сквозь пальцы рук, которыми она закрыла лицо. Страждущая и измученная грудь должна получить облегчение, иначе бедное раненое одинокое сердце затрепещет, как птица со сломанными крыльями, и разобьется.

— Ну, что ж, дитя! — помолчав, заметила миссис Чик. — Ни в каком случае не хотела бы я сказать тебе что-нибудь неласковое, и, конечно, ты это знаешь. Итак, ты останешься здесь и будешь поступать, как тебе вздумается. Никто не будет вмешиваться в твои дела, Флоренс, и я уверена, никто и не захочет вмешиваться. Флоренс покачала головой, печально соглашаясь.

— Не успела я заметить твоему бедному папе, что ему следовало бы развлечься и попытаться восстановить свои силы, временно переменяв обстановку, — продолжала миссис Чик, — как он уведомил меня, что принял уже решение уехать ненадолго из города. Право же, я надеюсь, что он уедет очень скоро. Чем скорее, тем лучше. Но, кажется, нужно привести в порядок его личные бумаги после того несчастья, которое так потрясло всех нас, — понять не могу, что случилось с моим платком; Лукреция, дайте мне ваш, моя милая... — и этим он будет заниматься один-два вечера в своей комнате. Твой папа, дитя, — самый настоящий Домби, какой только может быть, — сказала миссис Чик, с большим старанием вытирая глаза уголками платка мисс Токс. — Он сделает усилие. За него можно не бояться.

— Могла бы я, тетя, — дрожа, спросила Флоренс, — что-нибудь сделать, чтобы...

— Ах, боже мой, дорогое мое дитя, — быстро перебила миссис Чик, — о чем ты говоришь? Если твой папа сказал мне — я тебе передала подлинные его слова: «Луиза, мне ничего не нужно, мне лучше побыть одному», — как ты полагаешь, что сказал бы он тебе? Ты не должна показываться ему на глаза, дитя. Об этом нечего и думать.

— Тетя, — сказала Флоренс, — я пойду лягу.

Миссис Чик одобрила это решение и отпустила ее, напутствовав поцелуем. Но мисс Токс под предлогом поисков потерянного носового платка поднялась вслед за нею наверх и попыталась, уловив минутку, утешить ее, несмотря на величайшее неодобрение Сьюзен Нипер. Ибо мисс Нипер в пылу усердия пренебрежительно отзывалась о мисс Токс, как о крокодиле; однако ее сочувствие казалось искренним и отличалось тем преимуществом, что было бескорыстно, — таким путем вряд ли можно было заслужить чью-нибудь благосклонность.

И неужели не было никого ближе и дороже, чем Сьюзен, чтобы ободрить сердце, истерзанное тоскуй? Никого, кого можно было бы обнять, ни одного лица, к которому можно было обратить свое лицо? Никого не было, кто нашел бы слово утешения для такой глубокой скорби? Неужели Флоренс была так одинока в суровом мире, что больше ничего не оставалось ей? Ничего! Лишившись сразу и матери и брата — ибо с потерей маленького Поля первая утрата еще сильнее придавила ее своей тяжестью, — она не могла обратиться за помощью ни к кому, кроме Сьюзен. О, кто расскажет, как сильно нуждалась она в помощи первое время!

Первое время, когда жизнь в доме вошла в привычную колею, когда разъехались все, кроме слуг, а отец заперся в своих комнатах, Флоренс могла только плакать, бродить по дому, а иногда, под наплывом мучительных воспоминаний, убежать к себе в комнату, заломить руки, броситься ничком на кровать, не находя никакого утешения — ничего, кроме горькой и жестокой тоски. Обычно это случалось при виде какого-нибудь уголка или вещи, тесно связанных с Полем; из-за этого первое время злосчастный дом превратился для нее в место пыток.

Чистой любви несвойственно гореть так неистово и так немилосердно долго. Пламя более грубое и более земное терзает грудь, его приютившую; но священный огонь с небес так же тихо мерцает в сердце, как в тот час, когда он осенил головы собравшихся двенадцати⁷⁰ и каждому показал его брата, просветленного и невредимого. Когда этот образ явился им, вскоре обрели они вновь и безмятежное лицо, мягкий голос, любящий взгляд, тихое доверие и мир; вот так и Флоренс — хотя и продолжала плакать — плакала более спокойно и лелеяла воспоминание.

Прошло немного времени, и золотая вода, струящаяся по стене на прежнем месте, в прежний тихий час, медленно убывая, притягивала ее спокойный взгляд. Прошло немного времени, и снова она часто бывала в этой комнате; сидела здесь одна, такая же терпеливая и кроткая, как и тогда, когда дежурила у кровати. Если она вдруг остро ощущала, что эта кровать опустела, она могла стать перед нею на колени и молить бога — это было изливание ее переполненного сердца — о том, чтобы некий ангел любил ее и помнил о ней.

Прошло немного времени, и в унылом доме, таком большом и мрачном, ее тихий голос в сумерках, медленно и иногда прерываясь, запел ту старую песенку, которую Поль так часто слушал, прислонив голову к ее плечу. А потом, когда совсем стемнело, чуть слышная музыка зазвучала в

⁷⁰ ...осенил головы собравшихся двенадцати... — Имеется в виду евангельская легенда о явлении воскресшего Христа двенадцати апостолам.

комнате; она играла и пела так тихо, что это было похоже скорее на горестное воспоминание о том, как она пела по его просьбе, в тот последний вечер, чем на песню. Но это повторялось часто, очень часто, в сумеречном одиночестве; и прерывистое журчание мелодии еще дрожало на клавишах, когда слезы заглушали нежный голос.

Так обрела она мужество взглянуть на рукоделие, которым заняты были ее пальцы, когда она сидела рядом с ним на морском берегу; так прошло немного времени, и она снова принялась за рукоделие, питая к нему какую-то нежную привязанность, словно оно было наделено сознанием и помнило о Поле; и, сидя у окна, около портрета матери, в нежилой комнате, давно заброшенной, она проводила часы в раздумье.

Почему ее темные глаза так часто отрывались от этой работы, чтобы взглянуть на дом, где жили румяные дети? Они не напоминали ей непосредственно об ее утрате, ибо это были девочки, четыре сестренки. Но у них, как и у нее, не было матери, и — был отец.

Легко было угадать, когда его нет дома и дети ждут его возвращения, потому что старшая девочка всегда одевалась и поджидала его в гостиной у окна или на балконе; и когда он появлялся, ее внимательное личико озарялось радостью, а другие дети у высокого окна, и всегда на страже, хлопали в ладоши, барабанили по подоконнику и окликали его. Старшая девочка спускалась в холл, брала его за руку и вела по лестнице, а позднее Флоренс видела, как она сидит возле него или у него на коленях или ласково обнимает за шею и разговаривает с ним; и хотя они оба всегда бывали веселы, он часто вглядывался в лицо дочери, словно находил в ней сходство с матерью, которой не было в живых. Иногда Флоренс не могла больше смотреть и, залившись слезами, пряталась за занавеску, как бы в испуге, или быстро отходила от окна. Однако она невольно возвращалась; и забытая работа вскоре снова падала у нее из рук.

Прежде этот дом пустовал. Так продолжалось довольно долго. Однажды, когда она не жила дома, эта семья сняла его; здание отремонтировали и заново по красили; появились птицы и цветы; дом принял теперь совсем другой вид. Но она никогда не думала об этом. Дети и их отец поглощали ее внимание.

Когда отец кончал обедать, она видела в открытые окна, как они спускались вниз со своей гувернанткой или няней и собирались у стола; а в тихие летние дни их детские голоса и звонкий смех доносились через улицу в унылую комнату, где она сидела. Потом они карабкались вверх по лестнице вместе с ним и возились около него на диване или прижимались к его коленям — настоящий букет маленьких лиц, — а он, по-видимому, рассказывал им какую-то историю. Или они выбегали на балкон, и тогда Флоренс быстро пряталась, опасаясь, что веселье их будет нарушено, если они увидят ее в черном платье, сидящую здесь в одиночестве.

Старшая девочка оставалась с отцом, когда младшие уходили, и готовила ему чай — какой счастливой маленькой хозяйкой была она тогда! — и сидела, беседуя с ним, иногда у окна, иногда в глубине комнаты, пока не приносили свечи. Он сделал ее своим товарищем, хотя она была на несколько лет моложе Флоренс; и за своей книжкой или рабочей шкатулкой она умела быть степенной и очаровательно серьезной, как взрослая. Когда им приносили свечи, Флоренс из своей темной комнаты не боялась смотреть на них. Но в определенный час девочка говорила: «Спокойной ночи, папа», — и шла спать, а Флоренс всхлипывала и дрожала, когда та поднимала к нему лицо... больше Флоренс не могла смотреть.

Однако, прежде чем самой лечь спать, она снова и снова, отрываясь от той простой песни, которая в былое время так часто убаюкивала Поля, и от той другой — тихой, нежной, прерывистой мелодии, возвращалась мысленно к этому дому. Она постоянно о нем думала и следила за ним, но это оставалось тайной, которую она хранила в своей юной груди.

А скрывалась ли в груди Флоренс — Флоренс, такой искренней и правдивой, Флоренс, столь достойной любви, какую Поль к ней питал, о которой шептал слабым голосом в последнюю минуту, Флоренс, чье прекрасное лицо отражало ее чистую душу, которая трепетала в каждом звуке ее короткого голоса, — скрывалась ли в этой юной груди еще какая-нибудь тайна? Да. Еще одна.

Когда все в доме засыпали и огни были погашены, она потихоньку выходила из своей комнаты, бесшумно ступая, спускалась по лестнице и подходила к двери отца. К ней, чуть дыша, прислонялась она лицом и головой и с любовью прижималась губами. Каждую ночь она опускалась перед ней на холодный пол в надежде услышать хотя бы его дыхание; и охваченная одним всепоглощающим же-

ланием — выказать ему свою привязанность, быть утешением для него, склонить его к тому, чтобы он принял любовь своего одинокого ребенка, она, если бы посмела, упала бы перед ним на колени со смиренной мольбой.

Никто этого не знал. Никто об этом не думал. Дверь всегда была закрыта, и он сидел взаперти. Раза два он уходил, и в доме говорили, что он очень скоро уедет за город, но он жил в этих комнатах, жил один, и никогда ее не видел и не спрашивал о ней. Быть может, он и не знал, что она находится в доме.

Однажды, через неделю после похорон, Флоренс сидела за работой, когда явилась Сьюзен; не то плача, не то смеясь, она доложила о приходе гостя.

— Гость? Ко мне, Сьюзен? — спросила Флоренс, с удивлением подняв голову.

— Да, это и в самом деле чудо, не правда ли, мисс Флой? — сказала Сьюзен. — Но я хочу, чтобы у вас было много гостей, право же, хочу, потому что от этого вам только лучше будет, и мне кажется, чем скорее мы с вами поедem хотя бы к этим старым Скетлсам, мисс, тем лучше для нас обеих, а я, может быть, и не желаю жить в большом обществе, мисс Флой, но все-таки я не устрица.

Воздадим должное мисс Нипер — она больше заботилась о своей молодой хозяйке, чем о себе, и это было видно по ее лицу.

— Ну, а гость, Сьюзен? — сказала Флоренс.

Сьюзен с истерическим фырканьем, которое столько же походило на смех, сколько на рыдание, и столько же на рыдание, сколько на смех, ответила:

— Мистер Тутс!

Улыбка, появившаяся на лице Флоренс, через секунду исчезла, и глаза ее наполнились слезами. Но все же это была улыбка, и она доставила великое удовольствие мисс Нипер.

— Я почувствовала точь-в-точь то же самое, мисс Флой, — сказала Сьюзен, утирая глаза передником и покачивая головой. — Как только я увидела в холле этого блаженного, мисс Флой, я сперва расхохоталась, а потом не могла удержаться от слез.

Сьюзен Нипер невольно начала всхлипывать снова. Тем временем мистер Тутс, который поднялся вслед за нею наверх, не ведая о произведенном им впечатлении, Заявил о своем присутствии, постучав в дверь, и вошел очень бойко.

— Как поживаете, мисс Домби? — сказал мистер Тутс. — Я здоров, благодарю вас, как ваше здоровье?

Мистер Тутс — не было на свете человека лучше его, хотя, быть может, нашлось бы несколько голов более ясных, — заботливо придумал эту длинную речь с целью доставить облегчение как Флоренс, так и самому себе. Но, обнаружив, что промотал свое имущество, в сущности, неразумно, расточив все сразу, прежде чем он сел на стул, и прежде чем Флоренс вымолвила слово, и даже прежде чем сам он переступил через порог, он счел уместным начать сначала.

— Как поживаете, мисс Домби? — сказал мистер Тутс. — Я здоров, благодарю вас; как ваше здоровье?

Флоренс подала ему руку и сказала, что хорошо себя чувствует.

— Я себя чувствую прекрасно, — сказал мистер Тутс, садясь. — Да, я прекрасно себя чувствую. Не помню, — сказал мистер Тутс, минутку подумав, — чтобы я когда-нибудь чувствовал себя лучше; благодарю вас.

— Очень мило, что вы пришли, — сказала Флоренс, принимаясь за свое, рукоделие. — Я очень рада вас видеть.

Мистер Тутс отвечал хихиканьем. Подумав, что это может показаться слишком развязным, он заменил его вздохом. Подумав, что это может показаться слишком меланхолическим, он заменил его хихиканьем. Не совсем довольный как тем, так и другим, он засопел.

— Вы были очень добры к моему дорогому брату, — сказала Флоренс, в свою очередь повинувшись естественному желанию выручить его этим замечанием. — Он часто рассказывал мне о вас.

— О, это не имеет никакого значения, — поспешно сказал мистер Тутс. — Тепло, не правда ли?

— Прекрасная погода, — отвечала Флоренс.

— Мне она по душе! — сказал мистер Тутс. — Вряд ли я когда-нибудь чувствовал себя так хорошо, как сейчас; очень вам благодарен.

Сообщив об этом любопытном и неожиданном факте, мистер Тутс провалился в глубокий кла-

дезь молчания.

— Кажется, вы расстались с доктором Блимбером? — сказала Флоренс, помогая ему выкарабкаться.

— Надеюсь, — ответил мистер Тутс. И снова полетел вниз.

Он пребывал на дне, по-видимому захлебнувшись, по крайней мере десять минут. По истечении этого срока он вдруг всплыл на поверхность и сказал:

— Ну, всего хорошего, мисс Домби.

— Вы уходите? — спросила Флоренс, вставая.

— Впрочем, не знаю. Нет, еще не сейчас, — сказал мистер Тутс, совершенно неожиданно усаживаясь снова. — Дело в том... видите ли, мисс Домби!..

— Говорите со мной смелее, — с тихой улыбкой сказала Флоренс, — я была бы очень рада, если бы вы поговорили о моем брате.

— В самом деле? — отозвался мистер Тутс, и каждая черточка его лица, в общем не слишком выразительного, дышала сочувствием. — Бедняга Домби! Право же, я никогда не думал, что Берджесу и Ко — это модные портные (но очень дорогие), о которых нам случалось беседовать, — придется шить это платье для такого случая. — Мистер Тутс был в трауре. — Бедняга Домби! Пожалуйста! Мисс Домби! — выпалил Тутс.

— Что? — отозвалась Флоренс.

— Есть один друг, к которому он последнее время был очень привязан. Я подумал, что, может быть, вам приятно было бы получить его как некий сувенир. Вы помните, как он вспоминал о Диогене?

— О да! Да! — воскликнула Флоренс.

— Бедняга Домби! Я тоже помню, — сказал мистер Тутс.

При виде плачущей Флоренс мистеру Тутсу великого труда стоило перейти к следующему пункту, и он чуть было не свалился опять в колодезь. Но хихиканье помогло ему удержаться у самого края.

— Видите ли, — продолжал он, — мисс Домби! Я бы мог украсть его за десять шиллингов, если бы они его не отдали, и я бы украл, но, кажется, они рады были от него избавиться. Если вы хотите его взять, он у двери. Я нарочно привез его к вам. Это, знаете ли, не комнатная собачка, — сказал мистер Тутс, — но вы ничего против не имеете, правда?

Действительно, в этот момент Диоген — в чем они вскоре убедились, посмотрев вниз на улицу, — выглядывал из окна наемного кабриолета, куда его — с целью доставить к месту назначения — заманили под предлогом, будто в соломе крысы. По правде говоря, из всех собак он меньше всего был похож на комнатную собачку и, охваченный нетерпеливым желанием вырваться на волю, имел вид весьма непривлекательный, когда отрывисто тявкнул, скривив пасть, и, потеряв равновесие, перекувырнулся и упал в солому, а затем, задыхаясь, снова вскочил с высунутым языком, как будто явился в лечебницу для освидетельствования здоровья.

Но хотя Диоген был самой нелепой собакой, какую только можно встретить в летний день, — попадающей впросак, злополучной, неуклюжей, упрямой собакой, постоянно руководствующейся ложным представлением, будто поблизости находится враг, на которого весьма похвально лаять, — и хотя он отнюдь не отличался добрым нравом и совсем не был умен, и волосы свешивались ему на глаза, и у него был забавный нос, беспокойный хвост и хриплый голос, но в силу того, что Поль о нем вспомнил при отъезде и просил заботиться о нем, — Флоренс он был дороже, чем самый ценный и красивый представитель этой породы. Да, так дорог был ей этот безобразный Диоген и так обрадовалась она ему, что взяла украшенную драгоценными камнями руку мистера Тутса и с благодарностью поцеловала. А когда Диоген, освобожденный, взлетел по лестнице и ворвался в комнату (а сколько было перед этим хлопот, чтобы извлечь его из кабриолета!), залез под мебель и обмотал длинной железной цепью, болтавшейся у него на шее, ножки стульев и столов, а потом начал дергать ее, пока глаза его, доселе скрытые под косматой шерстью, едва не выскочили из орбит, и когда он заворчал на мистера Тутса, притязавшего на близкое знакомство, и набросился на Таулинсона, почти не сомневаясь в том, что это и есть тот самый враг, на которого он всю жизнь лаял из-за угла, но которого никогда еще не видел, — Флоренс осталась им так довольна, словно это было чудо благодатная зумия.

Мистер Тутс был столь обрадован успехом своего подарка и с таким восторгом смотрел на Флоренс, наклонившуюся к Диогену и гладившую своей нежной ручкой его жесткую спину, — Диоген любезно разрешил это с первой же минуты их знакомства, — что ему нелегко было распрощаться, и несомненно он потратил бы гораздо больше времени на то, чтобы принять такое решение, если бы ему не помог сам Диоген, которому взбрело в голову залаять на мистера Тутса и броситься на него с разинутой пастью. Хорошенько не зная, как положить конец этому наступлению, и понимая, что оно грозит гибелью панталонам, обязанным своим существованием искусству Берджеса и Ко, мистер Тутс с хихиканьем выскользнул за дверь, от коей, заглянув еще раза два-три в комнату совершенно бесцельно и приветствуемый каждый раз новой атакой Диогена, он, наконец, отошел и убрался во свояси.

— Подойди же, Ди! Милый Ди! Подружись с твоей новой хозяйкой. Будем любить друг друга, Ди! — сказала Флоренс, лаская его лохматую голову.

И грубый и сердитый Ди, — словно мохнатая его шкура оказалась проницаемой для упавшей на нее слезы, а его собачье сердце растаяло, когда она скатилась, — потянулся носом к ее лицу и поклялся в верности.

Диоген-человек не мог говорить яснее с Александром Великим, чем Диоген-собака говорил с Флоренс. Он весело принял предложение своей маленькой хозяйки и посвятил себя служению ей. Для него было немедленно устроено пиршество в углу; и досыта наевшись и напившись, он подошел к окну, где сидела смотревшая на него Флоренс, встал на задние лапы, неуклюже положив передние ей на плечи, лизнул ей лицо и руки, прижался огромной головой к ее груди и вилял хвостом, пока не устал. Наконец Диоген свернулся у ее ног и заснул.

Хотя мисс Нипер с опаской относилась к собакам и считала необходимым, входя в комнату, старательно подбирать юбки, словно переходила по камням через ручей, а также взвизгивать и вскакивать на стулья, когда Диоген потягивался, однако она была по-своему тронута добротой мистера Тутса и при виде Флоренс, столь обрадованной привязанностью и обществом этого неотесанного друга маленького Поля, не могла не сделать некоторых умозаключений, заставивших ее прослезиться. Мистер Домби, один из объектов ее размышлений, был, может быть, по какой-то ассоциации идей, связан с собакой; как бы там ни было, проведя весь вечер в наблюдениях над Диогеном и его хозяйкой и очень охотно потрудившись над устройством Диогену постели в передней за дверью его хозяйки, она быстро сказала Флоренс, прощаясь с ней на ночь:

— Ваш папаша, мисс Флой, уезжает завтра утром.

— Завтра утром, Сьюзен?

— Да, мисс; так он распорядился. Рано утром.

— Вы не знаете, Сьюзен, — не глядя на нее, спросила Флоренс, — куда уезжает папа?

— Хорошенько не знаю, мисс. Сначала он хочет встретиться с этим драгоценным майором, и должна сказать, что, будь я сама знакома с каким-нибудь майором (от чего избави меня бог), он бы не был синим!

— Тише, Сьюзен! — мягко остановила ее Флоренс.

— Ну, знаете ли, мисс Флой, — возразила мисс Нипер, которая пылала возмущением и на знаки препинания обращала еще меньше внимания, чем обычно, — тут уж я ничего не могу поделать, он — синий, а покуда я христианка, хотя бы и смиренная, я желала бы иметь друзей натурального цвета или вовсе никаких!

Из дальнейших ее слов выяснилось, что внизу она наслушалась немало о том, что миссис Чик предложила майора в спутники мистеру Домби и что мистер Домби после некоторого колебания пригласил его.

— Говорят, будто это какая-то перемена, как бы не так! — заметила вскользь мисс Нипер с безграничным презрением. — Если он — перемена, то я предпочитаю постоянство!

— Спокойной ночи, Сьюзен, — сказала Флоренс.

— Спокойной ночи, моя милая, дорогая мисс Флой.

Ее сострадательный тон коснулся струны, которую так часто задевали грубо, но к которой Флоренс никогда не прислушивалась в присутствии Сьюзен или кого бы то ни было. Оставшись одна, Флоренс опустила голову на руку и, приложив другую руку к трепещущему сердцу, отдалась своему горю.

Была сырая ночь, дождь грустно, с какой-то усталостью, барабанил по стеклам. Лениво дул ветер и обегал, стеная, вокруг дома, словно страдал от боли или печали. С пронзительным скрипом раскачивались деревья. Пока она сидела и плакала, время шло, и на колокольне мрачно пробило полночь.

По годам Флоренс была почти ребенком — ей еще не исполнилось четырнадцати лет, — а тоска и уныние этого часа в большом доме, где Смерть недавно произвела жестокое опустошение, пожалуй, заставила бы и человека более взрослого задуматься о страшных вещах. Но ее невинное воображение было слишком поглощено одним предметом: ничто не занимало ее мыслей, кроме любви, — да, всепоглощающей любви и отвергнутой — но всегда обращенной к отцу!

В шуме дождя, в завывании ветра, в трепете деревьев, в торжественном бое часов не было ничего, что могло бы отогнать это чувство или ослабить его силу. Ее воспоминания об умершем мальчике, — а она с ними не расставалась, — неразрывно были связаны с этим чувством. О, быть исключенной, быть такой заброшенной, никогда не заглядывать в лицо отцу, не прикасаться к нему с того часа!

Бедное дитя, она не могла лечь спать и с той поры ни разу еще не ложилась, не совершив ночного паломничества к его двери. Странное, грустное зрелище: вот она крадучись спускается по лестнице в густом мраке и с бьющимся сердцем, затуманенными глазами, с распущенными волосами останавливается у двери и прижимается к ней снаружи своей мокрой от слез щекой. Ночь окутывала ее, и никто об этом не догадывался.

В ту ночь, едва коснувшись двери, Флоренс убедилась, что она открыта. Впервые она была чуть-чуть приоткрыта и комната освещена. Первым побуждением робкой девочки — и она ему поддалась — было быстро удалиться. Следующим — вернуться и войти: это второе побуждение удержало ее в нерешительности на лестнице.

Дверь была приоткрыта, — правда, на волосок, — но и это уже сулило надежду. Ее ободрил луч света, пробившийся из-за темной суровой двери и нитью протянувшийся по мраморному полу. Она вернулась, вряд ли сознавая, что делает: ее вели любовь и испытание, которое они перенесли вместе, но не разделили; и, протянув руки и дрожа, она проскользнула в комнату.

Отец сидел за своим старым столом в средней комнате. Он приводил в порядок какие-то бумаги и уничтожал другие, которые лежали перед ним грудой обрывков. Дождь тяжело ударял в оконные стекла в первой комнате, где он так часто следил за бедным Полем, когда тот был еще совсем крошкой; и тихие жалобы ветра слышались снаружи.

Но он их не слышал. Он сидел, устремив взгляд на стол, в такой глубокой задумчивости, что поступь, гораздо более тяжелая, чем легкие шаги его дочери, не могла бы привлечь его внимания. Его лицо было обращено к ней. При свете догорающей лампы, в этот мрачный час оно казалось изможденным и унылым; и в этом полном одиночестве, его окружавшем, был какой-то призыв к Флоренс, больно отозвавшийся в ее сердце.

— Папа! Папа! Поговорите со мной, дорогой папа! Он вздрогнул при звуке ее голоса и вскочил. Она протянула к нему руки, но он отшатнулся.

— Что случилось? — строго спросил он. — Почему ты пришла, сюда? Чего ты испугалась?

Если она чего-то испугалась, то это было его лицо, обращенное к ней. Любовь, пламеневшая в груди его юной дочери, застыла перед этим лицом, и она стояла и смотрела на него, словно окаменев.

Не было ни намека на нежность или жалость. Не было ни проблеска интереса, отцовского признания или сочувствия. Была в этом лице перемена, но иного рода. — Прежнее равнодушие и холодная сдержанность уступили место чему-то другому; — чему — она не понимала, не смела понять, и, однако, она это чувствовала и знала прекрасно, не называя: это что-то, когда лицо отца было обращено к ней, как будто бросало тень на ее голову.

Видел ли он перед собой удачливую соперницу сына, здоровую и цветущую? Смотрел ли на свою собственную удачливую соперницу в любви этого сына? Неужели безумная ревность и уязвленная гордость отравили нежные воспоминания, которые должны были заставить его полюбить ее и ею дорожить? Возможно ли, что при воспоминании о малютке-сыне ему мучительно было смотреть на нее, такую прекрасную и полную сил?

У Флоренс не было этих мыслей. Но любовь бывает зоркой, когда она отвергнута и безнадежна; и надежда в ней умерла, в то время как она стояла, глядя в лицо отцу.

— Я тебя спрашиваю, Флоренс, ты испугалась? Что-нибудь случилось? Почему ты пришла сюда?

— Я пришла, папа...

— Против моего желания. Почему?

Она видела, что он знает, почему, — это было ясно написано на его лице, — и с тихим протяжным стоном уронила голову на руки.

Ему суждено вспомнить об этом стоне в той же комнате в грядущие годы. Не успел он нарушить молчание, как стон замер в воздухе. Быть может, ему кажется, что так же быстро он улечит из его памяти, но это неверно. Ему суждено вспомнить о нем в этой комнате в грядущие годы!

Он взял ее за руку. Рука у него была холодная и вялая и почти не сжала ее руки.

— Должно быть, ты устала, — сказал он, беря лампу и провожая ее до двери, — и тебе нужно отдохнуть. Все мы нуждаемся в отдыхе. Ступай, Флоренс. Тебе что-нибудь пригрезилось.

Если что-нибудь и пригрезилось, то теперь она очнулась — да поможет ей бог! — и она чувствовала, что эта греза больше никогда не вернется.

— Я постою здесь и посвечу, пока ты будешь подниматься по лестнице. Весь дом там, наверху, в твоём распоряжении, — медленно сказал отец. — Теперь ты здесь хозяйка. Спокойной ночи.

Все еще не отрывая рук от лица, она всхлипнула, ответила: «Спокойной ночи, дорогой папа», — и молча стала подниматься по лестнице. Один раз она оглянулась, как будто готова была вернуться к нему, если бы не страх. Это была мимолетная мысль, слишком безнадежная, чтобы придать ей сил; а отец стоял внизу с лампой, суровый, неотзывчивый, неподвижный, пока платье его прелестной дочери не скрылось в темноте.

Ему суждено вспомнить об этом в той же самой комнате в грядущие годы. Дождь, бьющий по крыше, ветер, стонущий снаружи, быть может предвещали это своим меланхолическим шумом. Ему суждено вспомнить об этом в той же самой комнате в грядущие годы!

В прошлый раз, когда он с этого самого места следил за ней, поднимающейся по лестнице, она несла на руках своего брата. Сейчас это не обратило к ней его сердца; он вернулся к себе, запер дверь, опустил в кресло и заплакал о своем умершем мальчике.

Диоген бодрствовал на своем посту, поджидая маленькую хозяйку.

— О Ди! Дорогой Ди! Люби меня ради него!

Диоген уже любил ее ради нее самой и не стеснялся это обнаруживать. Он вел себя крайне нелепо и совершал ряд неуклюжих прыжков в передней, а когда бедная Флоренс, наконец, заснула и увидела во сне румяных детей из дома напротив, он кончил тем, что, царапаясь в дверь спальни, отворил ее, скомкал свою подстилку, превратив ее в подушку, растянулся на полу комнаты, насколько позволяла створка, повернул голову к Флоренс и, закатив глаза, моргал, пока сам не заснул и не увидел во сне своего врага, на которого хрипло затывкали.

Глава XIX

Уолтер уезжает

Деревянный Мичман у двери мастера судовых инструментов, как и подобало такому жестокосердному маленькому мичману, оставался вполне равнодушным к отъезду Уолтера, даже тогда, когда самый последний день его пребывания в задней гостиной был на исходе. С квадрантом у круглой черной шишечки, изображавшей глаз, и в прежней позе, выражающей неукротимую бодрость, Мичман выставлял напоказ в самом выгодном свете свои крошечные штанишки и, поглощенный научными занятиями, нимало не сочувствовал мирским заботам. Он лишь постольку поддавался внешним обстоятельствам, поскольку сухой день покрывал его пылью, туманный день посыпал его хлопьями сажи, дождливый день ненадолго возвращал блеск его потускневшему мундиру, а очень знойный день обжигал его до волдырей; но в других отношениях он был бесчувственным, черствым, самодовольным Мичманом, сосредоточенным на своих собственных открытиях и озабоченным тем, что происходило вокруг него на земле, не больше, чем Архимед во время осады Сиракуз.

Во всяком случае, именно таким мичманом казался он в настоящее время. Как часто Уолтер, входя и выходя, поглядывал на него с любовью; а бедный старый Соль, когда Уолтера не было до-

ма, выходил и прислонялся к дверному косяку, прижимаясь своим усталым париком к самым пряжкам на башмаках гения-хранителя его торговли и лавки. Но ни один свирепый идол со ртом, растянутым от уха до уха, и с кровожадной физиономией, сделанной из перьев попугая, не бывал более равнодушен к мольбам своих диких почитателей, чем этот Мичман — к таким знакам привязанности.

У Уолтера тяжело было на сердце, когда он окидывал взглядом свою старую спальню, там, наверху, на уровне крыш и дымовых труб, и думал о том, что пройдет еще одна ночь, уже надвигающаяся, и он расстанется с нею, быть может, навсегда. Лишенная немногих принадлежащих ему книг и картин, комната смотрела на него холодно, укоряя за разлуку, и уже отбрасывала тень грядущей отчужденности. «Еще несколько часов, — думал Уолтер, — и эта старая комната будет моею меньше, чем любая из тех грез, какие посещали меня здесь, когда я был школьником. Греза может снова посетить меня во сне, и, быть может, я вернусь сюда наяву; но греза, во всяком случае, не будет служить новому хозяину, а у этой комнаты их может быть два десятка, и каждый из них может пренебречь ею или ее изуродовать, или все устроить на новый лад».

Но не следовало оставлять дядю в маленькой задней гостиной, где он сидел сейчас в одиночестве, ибо капитан Катль, деликатный, несмотря на свою грубоватость, умышленно, вопреки своему желанию, не явился, чтобы они могли поговорить наедине, без свидетелей. Поэтому Уолтер, который только что вернулся домой после дан, полного предотъездных хлопот, поспешно спустился к нему.

— Дядя, — весело сказал он, положив руку на плечо старику, — что вам прислать с Барбадоса?

— Надежду, дорогой мой Уоли. Надежду, что мы еще встретимся по сю сторону могилы. Пришли мне ее как можно больше.

— Я это сделаю, дядя; у меня ее хватит с избытком, и я не поскуплюсь! А что касается живых черепках, лимонов для пунша капитана Катля, варенья к вашему воскресному чаю и всяких таких вещей, то их я стану присылать целыми кораблями, когда разбогатею.

Старый Соль протер очки и слабо улыбнулся.

— Вот и отлично, дядя! — весело воскликнул Уолтер и еще раз шесть хлопнул его по плечу. — Вы подбодряете меня — я подбодряю вас! Завтра утром мы будем веселы, как жаворонки, дядя, и так же высоко взлетим. Что касается моих надежд, то сейчас они распевают где-то в поднебесье.

— Уоли, дорогой мой мальчик, — отозвался старик, — я сделаю все, что в моих силах, я сделаю все, что в моих силах.

— Если вы сделаете то, что в, ваших силах, дядя, — сказал Уолтер со своим милым смехом, — то это лучшее, что может быть. Вы не забудьте, дядя, что вы мне должны посылать?

— Нет, Уоли, нет, — ответил старик, — все, что я узнаю о мисс Домби теперь, когда она осталась одна, бедная овечка, я буду сообщать. Но боюсь, это будет немного, Уоли.

— Ну, так вот что я вам скажу, дядя, — начал Уолтер после недолгого колебания, — я только что заходил туда.

— Ну, и что же? — пробормотал старик, поднимая брови, а с ними и очки.

— Не для того, чтобы увидеть ее, — продолжал Уолтер, — хотя, пожалуй, я мог бы ее увидеть, если бы попытался, так как мистера Домби нет в городе, — а для того, чтобы попрощаться с Сьюзен. Я, знаете ли, думал, что могу на это отважиться при данных обстоятельствах, и если вспомнить о том дне, когда я в последний раз видел мисс Домби.

— Да, мой мальчик, да, — ответил дядя, очнувшись от раздумья.

— И я ее видел, — продолжал Уолтер. — Я имею в виду Сьюзен; и сказал ей, что завтра уезжаю. И я прибавил, дядя, что вы всегда живо интересовались мисс Домби с того самого вечера, как она побывала здесь, и всегда желали ей здоровья и счастья, и всегда почтете за честь и удовольствие оказать ей хоть какую-нибудь услугу; мне, знаете ли, казалось, что я могу это сказать при данных обстоятельствах. Как по-вашему?

— Да, мой мальчик, да, — ответил дядя тем же тоном, что и раньше.

— И я прибавил, — продолжал Уолтер, — что если она, — я имею в виду Сьюзен, — когда-нибудь сообщит вам, сама, или через миссис Ричардс, или через кого-нибудь другого, кто заглянет в эти края, что мисс Домби здорова и счастлива, вы будете очень признательны и напишете об этом мне, и я тоже буду очень признателен. Вот и все! Честное слово, дядя, — сказал Уолтер, — прошлую ночь я почти не спал, потому что думал об этом; а выйдя из дому, никак не мог решить, сделать это или нет. И, однако, я уверен, что это было истинное желание моего сердца и впослед-

ствии я был бы очень несчастлив, если бы не удовлетворил его.

Его искренний тон соответствовал его словам — и подтверждал их правдивость.

— Так вот, дядя, если вы когда-нибудь ее увидите, — сказал Уолтер, — теперь я имею в виду мисс Домби, — быть может, вы ее увидите, кто знает? — передайте, как я ей сочувствовал, как много я о ней думал, когда был здесь, как я вспоминал о ней со слезами на глазах, дядя, в этот последний вечер перед отъездом. Передайте ей, как я говорил о том, что никогда не забуду ее ласкового обращения, ее прекрасного лица и — того, что лучше всего — ее доброты. И так как эти башмачки я взял не у женщины и не у молодой леди, а только у невинного ребенка, — продолжал Уолтер, — скажите ей, если можно, дядя, что я их сохранил — она вспомнит, как часто они спадали у нее с ног в тот вечер, — и увез с собой на память!

В этот самый момент они отправлялись в путь в одном из сундуков Уолтера. Носильщик, отвозивший его багаж на тележке, чтобы погрузить в порту на борт «Сына и наследника», завладел ими и, прежде чем их хозяин успел договорить фразу, увез из-под самого носа бесчувственного Мичмана.

Но этому старому моряку можно было простить его бесчувственное отношение к увозимому сокровищу. Ибо в тот же момент перед его носом, как раз в поле его зрения, появились, войдя в сферу его напряженных наблюдений, Флоренс и Сьюзен Нипер; Флоренс не без робости заглянула ему в лицо и увидела его деревянный выпученный глаз.

Мало того: они вошли в лавку и подошли к двери гостиной, не замеченные никем, кроме Мичмана. И Уолтер, сидевший спиной к двери, и сейчас не узнал бы об их появлении, если бы не увидел, как дядя вскочил со стула и чуть не упал, налетев на другой стул.

— Ах, дядя! — вскричал Уолтер. — Что случилось? Старый Соломон ответил:

— Мисс Домби!

— Может ли это быть? — воскликнул Уолтер, оглянувшись и вскочив в свою очередь. — Здесь?!

Да, это было и возможно и несомненно, ибо не успели эти слова сорваться с его уст, как Флоренс пробежала мимо него, схватила дядю Соля обеими руками за отвороты табачного цвета, поцеловала его в щеку и, повернувшись, протянула руку Уолтеру с простодушной искренностью и серьезностью, свойственными только ей и больше никому в мире!

— Уезжаете, Уолтер? — сказала Флоренс.

— Да, мисс Домби, — ответил он, но не так бодро, как ему бы хотелось, — мне предстоит путешествие.

— А ваш дядя, — сказала Флоренс, оглянувшись на Соломона, — конечно, он огорчен тем, что вы уезжаете. Ах, я вижу, что это так! Дорогой Уолтер, я тоже очень огорчена.

— Господи боже мой! — воскликнула мисс Нипер, — столько на свете людей, без которых можно обойтись, вот, например, миссис Пипчин; такую надсмотрщицу следовало бы приобрести на вес золота, а если требуется умение обращаться с черными невольниками, эти Блимберы — самые подходящие люди для такой ситуации!

С этими словами мисс Нипер развязала ленты шляпки и, рассеянно заглянув в маленький черный чайник, стоявший на столе вместе с простым сервизом, тряхнула головой и жестяной чайницей и, не дожидаясь просьб, стала заваривать чай.

Тем временем Флоренс снова повернулась к мастеру судовых инструментов, который был и восхищен и изумлен.

— Как выросла! — сказал старый Соль. — Как похорошела! И, однако, не изменилась! Все такая же!

— Неужели? — сказала Флоренс.

— Совсем не изменилась, — отвечал старый Соль, медленно потирая руки и говоря вполголоса, меж тем как задумчивый взгляд блестящих глаз, устремленный на него, привлек его внимание. — Да, такое же выражение лица было и в более юные годы!

— Вы меня помните, — сказала с улыбкой Флоренс, — помните, какая я тогда была маленькая?

— Дорогая моя юная леди, — отозвался старый мастер, — мог ли я вас забыть, когда я так часто о вас думал с тех пор и так часто о вас слышал? Да ведь в ту самую минуту, когда вы вошли, Уоли говорил мне о вас и давал поручение к вам и...

— Правда? — сказала Флоренс. — Благодарю вас. Уолтер. О, благодарю вас, Уолтер! Я боя-

лась, что вы уедете и не вспомните обо мне.

И снова она протянула ему маленькую ручку так непринужденно и так доверчиво, что Уолтер удержал ее на несколько секунд в своей руке и никак не мог выпустить.

Но Уолтер держал ее не так, как держал бы прежде, и это прикосновение не пробудило тех старых грез его отрочества, которые иногда проплывали перед ним, еще совсем недавно, и приводили его в смущение своими неясными и расплывчатыми образами. Чистота и невинность ее ласкового обращения, безграничное доверие и нескрываемая привязанность к нему, которые так ярко сияли в ее пристальном взоре и освещали ее прелестное лицо сквозь улыбку, его затенявшую, — ибо, увы, слишком печальна была эта улыбка, чтобы лицо прояснилось, — ничего общего не имели с теми романтическими порывами. Они заставили его вспомнить о смертном ложе мальчика, у которого он ее видел, и о любви, какую питал к ней мальчик, и на крыльях этих воспоминаний она как будто вознеслась высоко над его праздными фантазиями, туда, где воздух чище и прозрачнее.

— Думается мне, что я не смогу называть вас иначе, как дядю Уолтера, сэр, — сказала Флоренс старику, — если вы мне позволите.

— Моя дорогая юная леди! — воскликнул старый Соль. — Если я вам позволю! Господи боже мой!

— Мы всегда знали вас под этим именем и так о вас и говорили, — сказала Флоренс, осматриваясь вокруг и тихо вздыхая. — Милая старая гостиная! Все такая же! Как я ее хорошо помню!

Старый Соль посмотрел сначала на нее, потом на своего племянника, а потом потер руки и протер очки и сказал чуть слышно:

— Ах, время, время, время!

Наступило короткое молчание; Сьюзен Нипер ловко выудила из буфета еще две чашки и два блюда и с задумчивым видом ждала, когда настоится чай.

— Я хочу сказать дяде Уолтера, — продолжала Флоренс, робко кладя ручку на лежавшую на столе руку старика, чтобы привлечь его внимание, — кое о чем, что меня беспокоит. Скоро он останется один, и если он разрешит мне... не заменить Уолтера, потому что этого я не могла бы сделать, но быть ему верным другом и утешать его по мере сил в отсутствие Уолтера, я буду ему очень признательна. Хорошо? Вы позволите, дядя Уолтера?

Мастер судовых инструментов молча поднес ее руку к своим губам, а Сьюзен Нипер, скрестив руки и откинувшись на спинку председательского кресла, которое она себе присвоила, закусила ленту шляпки и испустила тихий вздох, глядя на окно в потолок.

— Вы позволите мне навещать вас, — продолжала Флоренс, — когда представится случай, и вы будете рассказывать мне все о себе и об Уолтере; и у вас не будет никаких секретов от Сьюзен, если она придет вместо меня, и вы будете откровенны с нами, будете нам доверять и полагаться на нас? И вы позволите вам помочь? Позволите, дядя Уолтера?

Милое лицо, обращенное к нему, ласково-умоляющие глаза, нежный голос и легкое прикосновение к его руке, казавшиеся еще более привлекательными благодаря детскому уважению к его старости, которое вызывало у нее грациозное смущение и робкую нерешительность, — все это, а также присущая ей серьезность произвели такое сильное впечатление на бедного старого мастера, что он ответил только:

— Уоли, скажи за меня словечко, дорогой мой. Я очень благодарен.

— Нет, Уолтер, — с тихой улыбкой возразила Флоренс. — Пожалуйста, не говорите за него. Я его прекрасно понимаю, и мы должны научиться разговаривать друг с другом без вас, дорогой Уолтер.

Печальный тон, каким она произнесла эти последние слова, растрогал Уолтера больше, чем все остальное.

— Мисс Флоренс, — отозвался он, стараясь обрести ту бодрость, какую сохранил в разговоре с дядей, — право же, я не больше, чем дядя, знаю, как благодарить за такую доброту. Но в конце концов будь в моей власти говорить целый час, я бы только и мог сказать, что узнаю вас, узнаю!

Сьюзен Нипер принялась за другую ленту шляпки и кивнула окну в потолке в знак одобрения выраженному чувству.

— Ах, Уолтер, — сказала Флоренс, — но я хочу еще кое-что вам сказать перед вашим отъездом, и, пожалуйста, называйте меня Флоренс и не разговаривайте со мной, как с чужим человеком.

— Как с чужим человеком? — повторил Уолтер. — Нет, я бы не мог так говорить. Во всяком случае, я, конечно, не мог бы так чувствовать.

— Да, но этого мало, и я не это имею в виду. Поймите, Уолтер, — добавила Флоренс, заливаясь слезами, — он был очень привязан к вам и, умирая, сказал, что любил вас, и сказал: «Не забывайте Уолтера!» И если вы будете мне братом, Уолтер, теперь, когда он умер и у меня никого не осталось на свете, я буду вам сестрой до конца жизни и буду думать о вас, как о брате, где бы мы с вами ни были! Вот что я собиралась сказать вам, дорогой Уолтер, но я не могу сказать это так, как хотелось бы мне, потому что сердце мое переполнено.

И от полноты сердца, с милым простодушием она протянула ему обе руки. Уолтер взял их, наклонился и коснулся губами заплаканного лица, которое не отстранилось, не отвернулось, не покраснело при этом, но было обращено к нему доверчиво и простодушно. И в это мгновение малейшая тень сомнения или смятения покинула душу Уолтера. Ему казалось, что он откликается на ее невинный призыв у постели умершего мальчика и, оказавшись свидетелем той торжественной сцены, дает обет с братскою заботливостью лелеять и оберегать в своем изгнании самый ее образ, сохранить нерушимой ее чистую веру и почитать себя негодяем, если когда-нибудь он оскорбит эту веру мыслью, которой не было в ее сердце, когда она доверилась ему.

Сьюзен Нипер, которая закусила сразу обе ленты шляпки и во время этой, беседы поделилась многими своими чувствами с окном в потолке, переменяла тему, осведомившись, кто хочет молока, а кто сахара; получив ответ на эти вопросы, она начала разливать чай. Все четверо дружески уселись за маленький стол и стали пить чай под зорким наблюдением этой молодой леди; и присутствие Флоренс в задней гостиной озарило светом восточный фрегат на стене.

Полчаса назад Уолтер ни за что на свете не осмелился бы назвать ее по имени. Но он мог это сделать теперь, когда она его попросила. Он мог думать о ее присутствии здесь без тайных опасений, что, пожалуй, лучше было бы ей не приходить. Он мог спокойно думать о том, как она красива, как обаятельна и какой надежный приют найдет в ее сердце какой-нибудь счастливец. Он мог размышлять о своем собственном уголке в этом сердце с гордостью и с мужественной решимостью, если не заслужить права на него — это он все еще считал для себя недостижимым, — то хотя бы заслуживать их не меньше, чем теперь.

Конечно, какая-то волшебная сила управляла руками Сьюзен Нипер, разливавшей чай, и порождала тот дух успокоения, который царил в маленькой гостиной во время чаепития. Конечно, какая-то враждебная сила управляла стрелками хронометра дяди Соля и заставляла их скользить быстрее, чем когда-либо скользил восточный фрегат при попутном ветре. Как бы там ни было, гости приехали в карете, которая ждала поблизости, на углу тихой улицы; хронометр, к которому случайно обратились, решительно высказался в том смысле, что она ждет очень долго, и невозможно было сомневаться в этом факте, опирающемся на сей непогрешимый авторитет. Если бы дяде Солю предстояло быть повешенным согласно указанию его собственных часов, он никогда бы не признал, что хронометр спешит хотя бы на самую малую долю секунды.

Прощаясь, Флоренс вкратце повторила старику все, что говорила раньше, и взяла с него слово соблюдать договор. Дядя Соль любовно проводил ее до ног Деревянного Мичмана и здесь уступил место Уолтеру, который вызвался довести ее и Сьюзен Нипер до кареты.

— Уолтер, — сказала дорогой Флоренс, — я побоялась спросить при вашем дяде. Как вы думаете, вы уезжаете очень надолго?

— Право, не знаю, — сказал Уолтер. — Боюсь, что надолго. Мне кажется, мистер Домби имел это в виду, назначая меня.

— Это знак расположения, Уолтер? — после недолгого колебания осведомилась Флоренс, с тревогой заглядывая ему в лицо.

— Мое назначение? — отозвался Уолтер.

— Да.

Больше всего на свете Уолтеру хотелось бы дать утвердительный ответ, но его лицо ответило раньше, чем губы, а Флоренс смотрела на него слишком: внимательно, чтобы не понять ответа.

— Боюсь, что вы вряд ли папин любимец, — робко сказала она.

— Для этого нет никаких оснований, — с улыбкой ответил Уолтер.

— Никаких оснований, Уолтер?!

— Не было никаких оснований, — поправился Уолтер, угадывая ее мысль. — Много народу служит в фирме. Между мистером Домби и таким юнцом, как я, расстояние огромное. Если я исполню свой долг, я делаю то, что должен делать, и делаю не больше, чем все остальные.

Не было ли у Флоренс опасений, которые она вряд ли сознавала, опасений, смутных и неопределенных, с той недавно минувшей ночи, когда она вошла в комнату отца, — опасений, что случайный интерес к ней Уолтера и давнее его знакомство с нею могли навлечь на него это грозное неудовольствие и неприязнь? Не было ли таких подозрений у Уолтера и не мелькнула ли у него мысль, что они возникли у нее в тот миг? Ни он, ни она не заикнулись об этом. Ни он, ни она не нарушили молчания. Сьюзен, идя рядом с Уолтером, зорко смотрела на обоих; и несомненно, мысли мисс Нипер шли в этом направлении, и вдобавок с большой уверенностью.

— Быть может, вы очень скоро вернетесь, Уолтер, — сказала Флоренс.

— Быть может, я вернусь стариком, — сказал Уолтер, — и увижу вас пожилой леди. Но я надеюсь на лучшее.

— Папа, — помолчав, сказала Флоренс, — вероятно... оправится от горя и когда-нибудь заговорит со мной более откровенно; и если это случится, я скажу ему, как сильно хочется мне, чтобы вы вернулись, и попрошу вас вызвать.

В этих словах об отце была трогательная неуверенность, которую Уолтер понял слишком хорошо.

Они подошли к карете, и он расстался бы с ней молча, ибо понял теперь, что значит разлука; но Флоренс, усевшись, взяла его за руку, и он нащупал в ее руке маленький сверток.

— Уолтер, — сказала она, ласково глядя ему в лицо, — я, как и вы, надеюсь на лучшее будущее. Я буду молиться и верю, что оно настанет. Этот маленький подарок я приготовила для Поля. Пожалуйста, примите его вместе с моей любовью и не смотрите, пока не уедете. А теперь да благословит вас бог, Уолтер! Не забывайте меня. Вы стали для меня братом, милый Уолтер!

Он был рад, что между ними появилась Сьюзен Нипер, иначе у Флоренс могло бы остаться печальное воспоминание о нем. И он был рад, что больше она не выглянула из окна кареты и только махала ему ручкой, пока он мог ее видеть.

Несмотря на ее просьбу, он не удержался и в тот же вечер, ложась спать, развернул сверток. В нем был маленький кошелек, а в кошельке были деньги.

Во всем блеске встало наутро солнце по возвращении своем из чужих стран, с ним встал Уолтер, чтобы впустить капитана, который уже стоял у двери: он поднялся раньше, чем было необходимо, с целью тронуться в путь, покуда миссис Мак-Стинджер еще пребывала во сне. Капитан притворился, будто находится в прекраснейшем расположении духа, и принес в одном из карманов широкого синего фрака копченый язык к завтраку.

— Уольр, — сказал капитан, когда они уселись за стол, — если твой дядя таков, каким я его считаю, он по случаю этого события достанет последнюю бутылку той мадеры.

— Нет, Нэд! — возразил старик. — Нет! Она будет откупорена, когда Уолтер вернется!

— Хорошо сказано! — воскликнул капитан. — Слушайте, слушайте!

— Там лежит она, — продолжал Соль Джилс, — в маленьком погребке, покрытая пылью и паутиной. И, быть может, и мы с вами, Нэд, покроемся пылью и паутиной, прежде чем она увидит свет.

— Слушайте! — крикнул капитан. — Прекрасное нравоучение! Уольр, мой мальчик! Выращивай смоковницу⁷¹ так, как должно, а когда состаришься, будешь сидеть под ее сенью. Перелистайте... А впрочем, — подумав, сказал капитан, — я не совсем уверен в том, где это можно найти, но когда найдете — отметьте. Соль Джилс, валяйте дальше!

— Но там или где-нибудь в другом месте она пролежит до тех пор, Нэд, пока Уоли не вернется и не потребует ее, — заключил старик. — Вот все, что я хотел сказать.

— И прекрасно сказали, — отозвался капитан, — и если мы трое не разопьем этой бутылки все вместе, я разрешаю вам обоим выпить мою долю!

Несмотря на чрезвычайную веселость капитана, он не оказал должного внимания копченому

⁷¹ *Выращивай смоковницу...* — Капитан Катль соединяет в одну две цитаты из библии и к тому же сильно их искажает.

языку, хотя — когда кто-нибудь смотрел на него — весьма старательно притворялся, будто ест с огромным аппетитом. Кроме того, он ужасно боялся остаться наедине с дядей или племянником; казалось, он считал, что единственная возможность этого избежать, не преступая границы приличий, заключается в том, чтобы все трое все время были вместе. Этот ужас, испытываемый капитаном, повлек за собой остроумные выходки с его стороны: когда Соломон пошел надевать пальто, капитан подбежал к двери, якобы для того, чтобы взглянуть на проезжавшую мимо необыкновенную наемную карету; и выскочил на улицу под предлогом, будто из соседнего дымохода доносится запах гари, когда Уолтер поднялся наверх, чтобы попрощаться с жильцами. Эти уловки капитан Катль почитал недоступными пониманию всякого непосвященного зрителя.

Попрощавшись с верхними жильцами, Уолтер спустился вниз и проходил через лавку, направляясь в маленькую гостиную, как вдруг увидел знакомое ему увядшее лицо, заглянувшее с улицы, и бросился к прохожему.

— Мистер Каркер! — воскликнул Уолтер, пожимая руку Джону Каркеру-младшему. — Войдите, пожалуйста! Очень любезно с вашей стороны прийти сюда так рано, чтобы попрощаться со мной. Вы, конечно, знаете, с какою радостью я еще раз пожму вам руку перед отъездом. Я и рассказать вам не могу, как я рад этой возможности. Войдите, пожалуйста!

— Бряд ли мы еще когда-нибудь встретимся, Уолтер, — отозвался тот, мягко уклоняясь от его приглашения, — и я тоже радуюсь этой возможности. Я решаюсь говорить с вами и пожать вам руку перед разлукой. Больше мне не придется противиться вашим попыткам познакомиться со мной ближе, Уолтер.

Было что-то меланхолическое в его улыбке, когда он произнес эти слова, свидетельствующие о том, что даже в этих попытках он видел выражение дружеского участия.

— Ах, мистер Каркер! — ответил Уолтер. — Зачем вы противились? Вы могли принести мне только добро, в этом я уверен.

Тот покачал головой.

— Если бы я мог сделать что-нибудь доброе на этом свете, — сказал он, — я бы сделал это для вас, Уолтер. Видеть вас изо дня в день доставляло мне радость и в то же время вызывало угрызения совести. Но радость перевешивала боль. Это я знаю теперь, ибо понял, что я теряю.

— Войдите, мистер Каркер, и познакомьтесь с моим славным старым дядею, — настаивал Уолтер. — Я часто рассказывал ему о вас, и он будет рад повторить вам все, что слышал от меня. Я ничего не говорил ему, — добавил Уолтер, заметив его замешательство и тоже смутившись, — я ничего не говорил ему о нашем последнем разговоре, мистер Каркер; даже ему не говорил, поверьте мне!

Седой Каркер-младший сжал ему руку, и слезы выступили у него на глазах.

— Если я когда-нибудь и познакомлюсь с ним, Уолтер, — ответил он, — то только для того, чтобы получить известие о вас. Будьте уверены, что я не злоупотреблю вашей снисходительностью, и вниманием. Я бы злоупотребил ими, если бы не открыл ему всей правды, прежде чем добиваться его доверия. Кроме вас, у меня нет ни друзей, ни знакомых, и даже ради вас я вряд ли стал бы их искать.

— Мне бы хотелось, — сказал Уолтер, — чтобы вы действительно разрешили мне быть вашим другом. Я, как вам известно, мистер Каркер, всегда этого хотел, но никогда не желал этого так сильно, как сейчас, когда нам предстоит расстаться.

— Достаточно того, что я в душе считаю вас своим другом, — ответил тот, — и чем больше я вас избегал, тем больше склонялось к вам мое сердце и было полно вами, Уолтер. Прощайте!

— Прощайте, мистер Каркер. Да благословит вас бог, сэр! — с волнением воскликнул Уолтер.

— Если, — начал тот, удерживая его руку, пока говорил, — если по возвращении вы не найдете меня в моем уголке и узнаете от кого-нибудь, где я похоронен, пойдите и взгляните на мою могилу. Подумайте о том, что я мог быть таким же честным и счастливым, как вы! А когда я буду знать, что мой час пробил, позвольте мне подумать о том, что кто-то, похожий на меня в прошлом, остановится там на секунду и вспомнит обо мне с жалостью и всепрощением! Уолтер, до свидания!

Его фигура скользнула, как тень, по светлой, залитой солнцем улице, такой веселой и, однако, такой торжественной в это раннее летнее утро, и скрылась медленно из виду.

Наконец неумолимый хронометр возвестил, что Уолтер должен повернуться спиной к Дервянному Мичману; и они отправились — он сам, дядя и капитан — в наемной карете к пристани, от-

куда пароход доставил их вниз по реке к некоему Пункту, название коего, как объявил капитан, было тайной для всех сухопутных жителей. По прибытии к этому Пункту (куда корабль пришел накануне с ночным приливом), они были осаждены толпой неистовых лодочников и среди них знакомцем капитана, грязным циклопом, который, несмотря на свой единственный глаз, высмотрел капитана на расстоянии полутора миль и с той поры обменивался с ним непонятными возгласами. Доставшись в качестве законного приза этому субъекту, который устрашающе хрипел и органически нуждался в бритве, все трое были препровождены на борт «Сына и наследника». А на «Сыне и наследнике» «шла суматоха: грязные паруса были расстелены на мокрой палубе, люди спотыкались о ненатянутые канаты, матросы в красных рубашках бегали босиком туда и сюда, бочки загромождали каждый фут пространства, а в самом центре кутерьмы находился черный кок в черном камбузе, увязший по уши в овощах и полуослепший от дыма.

Капитан тотчас увлек Уолтера в уголок и с великим усилием, от коего лицо у него очень покраснелось, вытащил серебряные часы, которые были так велики и так плотно засунуты в карман, что выскочили оттуда как пробка.

— Уольр, — сказал капитан, протягивая их и сердечно пожимая ему руку, — прощальный подарок, мой мальчик. Переводите их на полчаса назад каждое утро и примерно на четверть часа вечером, и вы будете гордиться этими часами.

— Капитан Катль! Я не могу их принять! — вскричал Уолтер, удерживая его, ибо тот хотел убежать. — Пожалуйста, возьмите их. У меня есть часы.

— В таком случае, Уольр, — сказал капитан, внезапно засунув руку в один из карманов и вытащив две чайных ложки и щипцы для сахара, которыми он вооружился на случай такого отказа, — возьмите вместо них вот эту мелочь из столового серебра.

— Нет, право же, не могу! — воскликнул Уолтер. — Тысячу раз благодарю! Не выбрасывайте их, капитан Катль! — Ибо капитан собирался швырнуть их за борт. — Вам они пригодятся гораздо больше, чем мне. Дайте мне вашу трость. Я часто подумывал, что хорошо бы иметь такую. Ну, вот! Прощайте, капитан Катль! Берегите дядю! Дядя Соль, да благословит вас бог!

В сутолоке они покинули корабль, прежде чем Уолтеру удалось еще раз на них взглянуть; а когда он побежал на корму и посмотрел им вслед, он увидел, что дядя сидит, понурившись, в лодке, а капитан Катль постукивает его по спине огромными серебряными часами (должно быть, это было очень больно) и бодро жестикулирует чайными ложками и щипцами для сахара. Завидев Уолтера, капитан Катль с полным равнодушием уронил свои ценности на дно лодки, явно забыв об их существовании, и, сняв глянцевитую шляпу, громко приветствовал его. Глянцевитая шляпа очень эффектно сверкала на солнце, и капитан не переставал размахивать ею, покуда не скрылся из виду. Затем суматоха на борту, быстро нарастая, достигла своего апогея; отчалили с приветственными возгласами еще две-три лодки; развернутые паруса сверкали над головой, и Уолтер следил, как они наполняются попутным бризом; вода серебряными брызгами разлеталась у носа; и вот «Сын и наследник» отправился в плаванье так же бодро и легко, как до него отправлялись в путь многие сыновья и наследники, пошедшие ко дну.

День за днем в маленькой задней гостиной старый Соль и капитан Катль следили за ходом судна и изучали его курс по карте, разложенной перед ними на круглом столе. По вечерам старый Соль, такой одинокий, поднимаясь в мансарду, где иной раз бушевал ураган, смотрел на звезды, прислушивался к ветру и держал вахту дольше, чем пришлось бы ему держать на борту корабля. Последняя бутылка старой мадеры, которая когда-то совершила свой рейс и знала опасности, таящиеся в морских пучинах, тем временем лежала спокойно в пыли и паутине, и никто ее не тревожил.

Глава XX

Мистер Домби предпринимает поездку

— Мистер Домби, сэр, — сказал майор Бегсток, — Джой Б. вообще человек не сентиментальный, ибо Джозеф непреклонен. Но у Джо есть чувства, сэр, и уж если они проснулись... Черт возьми, мистер Домби, — с неожиданной яростью вскричал майор, — это слабость, и я не намерен ей поддаваться!

Майор Бегсток изрек эти фразы, встречая гостя, мистера Домби, перед дверью своей квартиры на площади Принцессы. Мистер Домби приехал завтракать к майору перед отбытием их в путь; злощастный туземец уже перенес множество неприятностей из-за сдобных булочек, а в связи с общим вопросом о вареных яйцах жизнь стала ему в тягость.

— Не подобает старому солдату из породы Бегстоков, — заметил майор, обретя спокойствие, — отдавать себя в растерзание своим чувствам, но — черт возьми, ср! — вскричал майор, снова приходя в ярость, — я вам сочувствую!

Багровая физиономия майора потемнела, а рачьи глаза майора выпучились еще сильнее, когда он пожимал руку мистеру Домби, придавая этому миролюбивому действию такой вызывающий вид, словно оно являлось прелюдией к бою его с мистером Домби на пари в тысячу фунтов и на звание чемпиона Англии по боксу. Затем, вращая головой с сопением, весьма напоминаящим лошадиный кашель, майор повел гостя в гостиную и (совладав к тому времени со своими чувствами) приветствовал его с искренностью и непринужденностью дорожного спутника.

— Домби, — сказал майор, — я рад вас видеть. Я горжусь тем, что вижу вас. Немного людей найдется в Европе, которым сказал бы это Дж. Бегсток — ибо Джош прямодушен, сэр, — это у него в натуре, — но Джой Б. гордится тем, что видит вас, Домби.

— Майор, — отвечал мистер Домби, — вы очень любезны.

— Нет, сэр, — сказал майор. — Черта-с-два! Это не в моем характере. Будь это в характере Джо, Джо был бы в настоящее время генерал-лейтенантом, сэром Джозефом Бегстоком, кавалером ордена Бани, и принимал бы вас совсем в другом доме. Вижу, что вы еще не знаете старого Джо? Но это событие, как из ряда вон выходящее, является для меня источником гордости. Ей-богу, сэр, — решительно сказал майор, — для меня это честь.

Ценя себя и свои деньги, мистер Домби чувствовал, что это весьма справедливо, а посему не стал спорить. Но инстинктивное постижение сей истины майором и его откровенное признание были очень приятны. Для мистера Домби это служило подтверждением — если бы он в таковом нуждался, — подтверждением его правильной оценки майора. Это убеждало его в том, что его власть простирается за пределы деловой сферы и что майор, офицер и джентльмен, имеет о ней столь же правильное представление, как и бидл Королевской биржи⁷².

И если вообще утешительно знать это или нечто подобное, то тем более утешительно было знать это теперь, когда беспомощность его воли, зыбкость его надежд, бессилие богатства были с такой беспощадностью ему раскрыты. Что может сделать богатство? — спросил у него его мальчик. Иногда, размышляя об этом ребяческом вопросе, он едва удерживался, чтобы не спросить самого себя: что же оно действительно может сделать? Что оно сделало?

Но то были сокровенные мысли, рожденные в поздний час ночи, в мрачном унынии и тоске одиночества, и гордыня обрела без труда прежнюю свою уверенность в многочисленных свидетельствах истины, столь же непогрешимых и драгоценных, как свидетельство майора. Мистер Домби, не имея друзей, почувствовал расположение к майору. Нельзя сказать, что он питал к нему теплое чувство, но он слегка оттаял. Майор играл некоторую роль — не слишком большую — в те дни на морском берегу. Он был человек светский и знал кое-кого из важных особ. Он много говорил и рассказывал забавные истории, и мистер Домби склонен был считать его отменным умником, который блистает в обществе и лишен того ядовитого привкуса бедности, коим обычно отравлены отменные умники. Положение у него было бесспорно хорошее. Вообще майор был благопристойным спутником, близко знакомым с праздной жизнью и с местами, подобными тому, которое они собирались посетить; он распространял вокруг себя атмосферу приличествующего джентльмену довольства, которая неплохо сочеталась с его — мистера Домби — репутацией в Сити и отнюдь с нею не конкурировала. Если у мистера Домби и мелькала мысль, что майор, привыкший, в силу своего призвания, относиться небрежно к безжалостной руке, которая не так давно сокрушила надежды мистера Домби, мог бы, сам того не ведая, научить его какой-нибудь полезной философии и спугнуть его бесплодные сожаления, — он скрыл эту мысль от самого себя и, не рассуждая, предоставил ей покоиться под бременем его Гордыни.

⁷² Бидл Королевской биржи — низший служащий Лондонской биржи, исполняющий обязанности курьера.

— Где мой негодяй? — сказал майор, гневно обозревая комнату.

Туземец, который не имел определенного имени и потому отзывался на любую бранную кличку, немедленно появился в дверях, но подойти ближе не отважился.

— Злодей! — сказал холерический майор. — Где завтрак?

Темнокожий слуга исчез в поисках завтрака, и вскоре они услышали, как он снова поднимается по лестнице с таким трепетом, что блюда и тарелки на подносе, дрожавшем из сочувствия к нему, дребезжали всю дорогу.

— Домби, — сказал майор, поглядывая на туземца, накрывавшего на стол, и в виде поощрения грозно потрясая кулаком, когда тот уронил ложку, — вот мясо с острой приправой, зажаренное на рашпере, вот паштет, почки и прочее. Прошу садиться. Как видите, старый Джо может предложить вам только походную закуску.

— Превосходная закуска, майор, — отвечал гость и не только из вежливости, ибо майор всегда относился к своей особе с величайшей заботливостью и, в сущности, ел жирные блюда в количестве, вредном для здоровья, так что его блистательный цвет лица доктора объясняли главным образом этой его склонностью.

— Вы взглянули на дом напротив, сэр, — заметил майор. — Увидели нашу приятельницу?

— Вы имеете в виду мисс Токс? — отозвался мистер Домби. — Нет.

— Очаровательная женщина, сэр, — сказал майор с густым смешком, застрявшим в его коротком горле и едва не задушившим его.

— Кажется, мисс Токс — очень приличная особа, — ответил мистер Домби.

Высокомерно-холодный ответ как будто доставил майору Бегстоку бесконечное удовольствие. Он раздувался и раздувался непомерно и даже положил на секунду нож и вилку, чтобы потереть руки.

— Старый Джо, сэр, — сказал майор, — пользовался когда-то некоторым расположением в том обиталище. Но для Джо его денек миновал. Дж. Бегсток уничтожен... отставлен,.. разбит, сэр. Вот что я вам скажу, Домби. — Майор перестал есть и принял вид таинственно-негодующий. — Это чертовски честолюбивая женщина, сэр.

Мистер Домби сказал «вот как!» с ледяным равнодушием, к которому примешивалось, пожалуй, презрительное недоверие: как может мисс Токс быть столь самонадеянной, чтобы посягать на такое возвышенное качество.

— Эта женщина, сэр, — сказал майор, — в своем роде Люцифер. Для Джоя Б., сэр, его денек миновал, но Джой не дремлет. Он все видит, этот Джо. Его королевское высочество, покойный герцог Йоркский, на утреннем приеме сказал как-то о Джо, что он все видит.

Эти слова сопровождались таким взглядом, и от еды, питья, горячего чая, мяса, зажаренного на рашпере, сдобных булочек и многозначительных слов голова майора так раздулась и покраснела, что даже мистер Домби проявил некоторое беспокойство.

— У этой нелепой старой особы, — продолжал майор, — есть честолюбивые стремления. Непомерные стремления, сэр. Матримониальные, Домби.

— Весьма сожалею, — сказал мистер Домби.

— Не говорите этого, Домби, — предостерегающим тоном возразил майор.

— Почему же не говорить, майор? — спросил мистер Домби.

Майор ответил только лошадиным кашлем и продолжал усиленно насыщаться.

— Она возымела интерес к вашему семейству, — сказал майор, снова отрываясь от еды, — и вот уже в течение некоторого времени часто посещает ваш дом.

— Да! — с большим достоинством отвечал мистер Домби. — Первоначально мисс Токс была принята в нем как приятельница моей сестры в ту пору, когда скончалась миссис Домби; и так как она оказалась особой благовоспитанной и обнаружила расположение к бедному малютке, она бывала у нас в доме, — могу сказать, ее визиты поощрялись, она приходила вместе с моей сестрой; так постепенно завязались в некотором роде близкие отношения с моими домочадцами. Я, — продолжал мистер Домби тоном человека, который оказывает мисс Токс великое и неоценимое снисхождение, — я питаю уважение к мисс Токс. Она была так любезна, что оказывала много мелких услуг; быть может, майор, услуги маленькие и незначительные, но тем не менее не следует отзываться о них с пренебрежением. Надеюсь, я имел возможность отблагодарить за них тем вниманием, какое в

моей власти было уделить. Я почитаю себя в долгу перед мисс Токс, майор, — добавил мистер Домби с легким мановением руки, — за удовольствие быть знакомым с вами.

— Домби, — с жаром сказал майор, — нет! Нет, сэ! Джозеф Бегсток не может оставить это замечание без возражений. Ваше знакомство со старым Джо, сэ, таким, каков он есть, и знакомство старого Джо с вами, сэ, возникло благодаря благородному мальчику, сэ, — замечательному ребенку, сэ! Домби! — продолжал майор, напрягаясь, что ему нетрудно было сделать, ибо вся его жизнь проходила в напряженной борьбе со всевозможными симптомами апоплексии, — мы узнали друг друга благодаря вашему мальчику!

Мистер Домби — весьма вероятно, что майор на это рассчитывал, — был, казалось, растроган этими словами. Он опустил глаза и вздохнул, а майор, яростно воспрянув, снова повторил, что это слабость и ничто его не побудит ей уступить, — имея в виду то расположение духа, опасность поддаться коему грозила ему в этот момент.

— Наша приятельница имела отдаленное отношение к нашему знакомству, — сказал майор, — Дж. Б. не хочет оспаривать честь, выпавшую на ее долю, сэ. Тем не менее, сударыня, — добавил он, отводя взгляд от своей тарелки и устремляя его через площадь Принцессы туда, где в тот момент видна была в окне мисс Токс, поливающая цветы, — вы — распутная интриганка, сударыня, и ваше честолюбие — образец чудовищного бесстыдства. Если бы оно выставляло в смешном виде только вас, сударыня, — продолжал майор, обращая взгляд на ничего не ведавшую мисс Токс, причем его выпученные глаза как будто хотели перепрыгнуть к ней, — вы могли бы заниматься своими делами к полному своему удовольствию, сударыня, не встречая, уверяю вас, никаких возражений со стороны Бегстока. — Тут майор устрашающе захохотал, и этот хохот отразился на кончиках его ушей и венах на лбу. — Но когда вы, сударыня, компрометируете других людей, и к тому же людей великодушных, доверчивых, в благодарность за их снисхождение, у старого Джо кровь закипает в жилах!

— Майор, — краснея, сказал мистер Домби, — надеюсь, вы не намекаете на нечто столь невероятное со стороны мисс Токс, как...

— Домби! — отвечал майор. — Я ни на что не намекаю. Но Джой Б. вращался в свете, сэ. Вращался в свете, глядя в оба, сэ, и наострив уши; и Джо говорит вам, Домби, что там, через дорогу, живет чертовски хитрая и честолюбивая женщина, сэ.

Мистер Домби невольно взглянул через площадь; брошенный им в этом направлении взгляд был сердитый.

— Ни единого слова об этом предмете не сорвется больше с уст Джозефа Бегстока! — решительно сказал майор. — Джо не сплетник, но бывают случаи, когда он должен говорить, когда он не намерен молчать! Будь прокляты ваши уловки, сударыня! — вскричал майор, снова с великим гневом обращаясь к своей прекрасной соседке. — Он будет говорить, если поведение слишком вызываете, чтобы он мог долее безмолвствовать!

Волнение, сопутствовавшее этой вспышке, вызвало у майора приступ лошадиного кашля, который долго его терзал. Оправившись, он добавил:

— А теперь, Домби, раз вы предложили Джо — старому Джо, у которого нет никаких достоинств, сэ, кроме тех, что он непреклонен и прямодушен, — раз вы ему предложили быть вашим гостем и гидом в Лемингтоне⁷³, распоряжайтесь им по своему желанию, и он весь к вашим услугам. Не знаю, сэ, — сказал майор, улыбаясь и потрясая своим двойным подбородком, — что находите вы все в Джо и чем вызван такой спрос на него; но мне известно, сэ: не будь он непреклонен и упрям в своих отказах, вы все скорехонько прикончили бы его своими приглашениями и прочим и прочим!

Мистер Домби в немногих словах заявил, что ценит предпочтение, оказанное ему перед другими выдающимися членами общества, которые старались завладеть майором Бегстоком. Но майор тотчас его прервал, дав ему понять, что следовал своим собственным склонностям, каковые дружно воспрянули и единогласно заявили: «Дж. Б., Домби — тот, кого ты должен избрать своим другом».

Майор к тому времени насытился; сок пряного паштета выступал в уголках его глаз, а жаренное на рашпере мясо и почки стянули ему галстук, и к тому же близился час отхода поезда в Бирмингем, с которым им предстояло покинуть Лондон, а посему туземец с превеликим трудом

⁷³ *Лемингтон* — фешенебельный курорт в графстве Уорикшир.

напялил на майора пальто и застегнул его доверху, после чего его лицо с выпученными глазами и разинутым ртом выглядывало из этого одеяния, как из бочки. Затем туземец подал ему по очереди, с подходящими интервалами, замшевые перчатки, толстую трость и шляпу; эту последнюю принадлежность туалета майор залихватски надел набекрень, дабы оттенить свою незаурядную физиономию. Предварительно туземец уложил во все возможные и невозможные уголки коляски мистера Домби, которая ждала у двери, невероятное количество дорожных сумок и чемоданчиков, по виду своему не менее апоплексических, чем сам майор; и, набив себе карманы бутылками сельтерской воды и ост-индского хереса, сэндвичами, шаями, подозрными трубами, географическими картами и газетами, каковой легковесный багаж майор мог ежеминутно потребовать в пути, туземец объявил, что все готово. Экипировка этого злополучного чужестранца (который, по слухам, был у себя на родине принцем), когда он уселся на заднем сиденье рядом с мистером Таулинсовым, завершилась тем, что на него обрушилась груда плащей и пальто майора, наваленных квартирным хозяином, который, как один из Титанов, метал с тротуара этими тяжелыми снарядами, так что на вокзал туземец отправился как бы заживо погребенным.

Но прежде чем отъехал экипаж и покуда погребали туземца, мисс Токс, появившись в окне, замахала лилейно-белым носовым платком. Мистер Домби принял это прощальное приветствие очень холодно — очень холодно даже для него — и, удостоив ее чуть заметного кивка, откинулся на спинку экипажа с весьма недовольным видом. Его подчеркнутая сдержанность, казалось, доставила чрезвычайное удовольствие майору (который очень вежливо раскланялся с мисс Токс); и долго сидел он, подмигивая и сопя, как перекормленный Мефистофель.

Во время предотъездной суতোлки, на вокзале мистер Домби и майор прогуливались бок о бок по платформе; первый был молчалив и хмур, а второй развлекал его — и, быть может, самого себя — всевозможными анекдотами и воспоминаниями, в которых Джо Бегсток обычно играл главную роль. Ни тот, ни другой не заметили, что во время этой прогулки они привлекли внимание рабочего, который стоял возле паровоза и приподнимал шляпу каждый раз, когда они проходили мимо; ибо мистер Домби имел обыкновение взирать не на чернь, а поверх нее, майор же целиком погрузился в один из своих анекдотов. Наконец, когда они поворачивали назад, этот человек шагнул им навстречу и, сняв шляпу и держа ее в руке, поклонился мистеру Домби.

— Прошу прощения, сэр, — сказал человек, — надеюсь, вы поживаете недурно, сэр.

На нем был парусиновый костюм, испачканный угольной пылью и маслом; в бакенбардах его был пепел, и вокруг себя он распространял запах пригашенной золы. Несмотря на это, вид он имел приличный, и, пожалуй, его даже нельзя было назвать грязным, а короче, это был мистер Тудль в профессиональной одежде.

— Я буду иметь честь поддерживать для вас огонь в топке, сэр, — сказал мистер Тудль. — Прошу прощения, сэр, надеюсь, вы начинаете оправляться?

В ответ на сочувственный тон мистер Домби посмотрел на него так, словно подобный человек был способен загрязнить даже его зрение.

— Простите за дерзость, сэр, — продолжал Тудль, сообразив, что его как будто не узнают, — но моя жена Полли, которую в вашем семействе звали Ричардс...

Перемена в лице мистера Домби, как будто выражавшая, что он его узнал, — так оно и было, — но в значительно большей степени выразившая досадливое чувство брезгливости, заставила мистера Тудля запнуться.

— Вероятно, ваша жена нуждается в деньгах, — сказал мистер Домби, опуская руку в карман и говоря высокомерным тоном (впрочем, так он говорил всегда).

— Нет, благодарю вас, сэр, — возразил Тудль, — не могу сказать, чтобы она нуждалась. Я не нуждаюсь.

Теперь мистер Домби в свою очередь запнулся и не без смущения продолжал держать руку в кармане.

— Нет, сэр, — сказал Тудль, вертя в руках свою клеенчатую шапку, — нам живется недурно, сэр; у нас нет причин жаловаться на жизнь, сэр. С той поры у нас прибавилось еще четверо, сэр, но мы помаленьку пробиваемся.

Мистер Домби тоже не прочь был бы пробиться к своему вагону, хотя бы для этого пришлось ему сбить кочегара под колеса, но внимание его было привлечено шапкой, которую тот все еще мед-

ленно вертел в руках.

— Мы потеряли одного малютку, — сказал Тудль, — Этого нельзя отрицать.

— Недавно? — осведомился мистер Домби, пристально глядя на шапку.

— Нет, сэр, больше трех лет прошло, но все остальные здоровехоньки. А что касается до грамоты, сэр, — сказал Тудль с новым поклоном, как бы желая напомнить мистеру Домби о том разговоре, который когда-то был между ними по этому вопросу, — то мои мальчики сообща обучили меня в конце концов. Из меня мои мальчики сделали неплохого грамотея.

— Идемте, майор! — сказал мистер Домби.

— Прошу прощения, сэр, — продолжал Тудль, по-прежнему со шляпой в руке, делая шаг им навстречу и снова почтительно их останавливая. — Я бы не стал вас утруждать этим разговором, если бы не хотел завести речь о моем сыне Байлере — крещен-то он Робинот, — которого вы по доброты своей сделали Милосердным Точильщиком.

— Ну, и что же, любезный, — что с ним такое? — самым суровым своим тоном осведомился мистер Домби.

— Да как же, сэр, — отвечал Тудль, покачивая головой с видом крайне встревоженным и удрученным, — приходится сознаться, сэр, что он сбился с пути.

— Сбился с пути? — переспросил мистер Домби с каким-то жестоким удовлетворением.

— Он, знаете ли, джентльмены, попал в дурную компанию, — продолжал отец, пытливо всматриваясь в обоих и явно втягивая в разговор майора в надежде на его сочувствие. — Он повел себя дурно. Бог даст, он еще образумится, джентльмены, но сейчас он на плохой дороге!

— Вероятно, это как-нибудь дошло бы до вас, сэр, — сказал Тудль, снова обращаясь к одному мистеру Домби, — и уж лучше я сам все выложу и скажу, что мой мальчик сбился с пути. Полли этим ужасно убита, джентльмены, — сказал Тудль с тем же удрученным видом и опять взывая к майору.

— Сыну этого человека я позаботился дать образование, майор, — сказал мистер Домби, беря его под руку. — Этим всегда кончается!

— Следуйте совету прямого старого Джо и никогда не давайте образования такого сорта людям, сэр, — ответил майор. — Черт побери, сэр, от этого никогда не бывает толку! Это всегда кончается плохо!

Простодушный отец стал было почтительно выражать мнение, что его сын, бывший Точильщик, которого запугивало и колотило, пороло, клеймило и обучало, как учат попугаев, некое животное в лице школьного учителя, занимавшее это место с таким же правом, с каким могла бы занимать его охотничья собака, — что этот его сын, быть может, получал образование в каком-то отношении неправильное, но мистер Домби, с раздражением повторив: «Этим всегда кончается!» — увел майора. А майор, которого нелегко было взгромоздить в вагон мистера Домби, стоявший высоко над землей, и который, не попадая ногой на подножку и падая назад на темнокожего изгнанника, клялся, что сдерет кожу с туземца, переломает ему все кости и предаст его другим пыткам, — майор едва успел до отхода поезда повторить хриплым голосом, что от этого никогда не бывает толку, что это всегда кончается плохо и что, если бы он дал образование «своему бездельнику», тот несомненно попал бы на виселицу.

Мистер Домби с горечью согласился; но его горечь и мрачный вид, с каким он откинулся к стенке вагона и, сдвинув брови, смотрел на мелькавший пейзаж, были вызваны не крахом благородной воспитательной системы, проводимой обществом Точильщиков. На шапке этого человека он заметил свежий креп и по тону его и ответам понял, что он носит траур по его сыну.

Да, с первого человека до последнего, дома и вне дома, начиная с Флоренс в его огромном доме и кончая неотесанным мужланом, который поддерживал огонь в паровозе, дымившем сейчас впереди, каждый предьявлял права на его умершего мальчика и был соперником отцу. Мог ли он забыть о том, как эта женщина плакала у изголовья его сына и называла его своим родным малюткой? И о том, как мальчик, проснувшись, спросил о ней, приподнялся на кровати и просиял, когда она вошла?

Подумать только, что этот самонадеянный кочегар едет там впереди, среди угля и золы, со своей траурной лентой! Подумать только, что он посмел присвоить — хотя бы посредством такого обычного знака внимания — какую-то долю горя и разочарования, скрытых в тайниках сердца надменного джентльмена! Подумать только, что этот умерший ребенок, который должен был разде-

Чарльз Диккенс «Торговый дом Домби и сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт»

лить с ним его богатства, надежды и власть и отгородиться от всего мира как бы двойною дверью из золота, — этот ребенок открыл доступ подобной черни, чтобы та оскорбляла его — Домби — своим пониманием обманутых его надежд и хвастливыми претензиями на общность чувств с ним, столь ей далеким! А быть может, и небезуспешными попытками пробраться туда, где он хотел властвовать один!

Путешествие не доставило ему ни удовольствия, ни облегчения. Терзаемый этими мыслями, он вез с собою мимо пробегающего ландшафта свою тоску и стремительно пересекал не богатую и живописную страну, а пустыню несбывшихся планов и мучительной ревности. Даже та скорость, с какою мчался поезд, издевалась над быстрым течением юной жизни, которая так последовательно и так неумолимо склонилась к предназначенному концу. Сила, которая мчала по железному пути — по своему пути, — презиравая все другие дороги и тропы, пробиваясь сквозь все препятствия и увлекая за собой людей всех классов, возрастов и званий, была подобием торжествующего чудовища — Смерти!

Вдаль, со скрежетом, и ревом, и грохотом, сквозь город, прокладывая норы среди людского жилья и наполняя улицы гулом, сверкнув на секунду в лугах, уходя в сырую землю, гудя во мраке и духоте, вырываясь снова в солнечный день, такой яркий и широкий, — вдаль, со скрежетом, и ревом, и грохотом, по полям, лесам, пашням, лугам, сквозь мел, сквозь чернозем, сквозь глину, сквозь камень, мимо предметов, находящихся близко, почти под рукой, и вечно ускользящих от путника, тогда как обманчивая даль вечно движется медленно за окном, — словно по следам безжалостного чудовища — Смерти!

По низинам, по холмам, мимо пустырей, мимо фруктовых садов, мимо парков, через каналы и реки, туда, где овцы пасутся, где мельница шумит, где баржа плывет, где лежат мертвецы, где завод дымит, где струится поток, где уютится деревня, где возвышается гигантский собор, где раскинулась вересковая пустошь, а неистовый вихрь по капризной своей воле приглаживает ее или ерошит, — вдаль, со скрежетом, и ревом, и грохотом, оставляя за собой только пыль и пар, словно по следам безжалостного чудовища — Смерти!

Навстречу ветру и свету, ливню и солнечным лучам, вдаль и вдаль он мчится и грохочет, неистовый и быстрый, плавный и уверенный, и огромные насыпи и массивные мосты, по которым он пронесется, мелькают, как полоска тени в дюйм шириною, и затем исчезают. Вдаль и вдаль, вперед и вечно вперед: мелькают коттеджи, дома, замки, поместья, фермы и заводы, люди, дороги и тропы, на вид такие пустынные, маленькие, ничтожные, когда оставляешь их позади, — да и в самом деле они таковы, — ибо что, кроме мельканий, может быть на путях неукротимого чудовища — Смерти?

Вдаль, со скрежетом, и ревом, и грохотом, снова ныряя в землю и пробиваясь вперед с такой бешеной энергией и напором, что во мраке и вихре движение начинает казаться попятным и неистово устремленным назад, пока луч света на влажной стене не покажет ее поверхности, пролетающей мимо, словно неуправляемый поток. Вдаль, снова в день и сквозь день, с пронзительным ликующим воплем, ревя, грохоча, мчась вперед, разбрасывая все своим темным дыханием, задерживаясь на минуту там, где собралась толпа, которой через минуту уж нет; жадно глотая воду, и — прежде чем насос, который поит, перестанет ронять капли на землю, — скрежещет, ревет, и грохочет сквозь пурпурную даль!

Громче и громче он гудит и скрежещет, пока неуклонно мчится вперед к своей цели, и путь его, словно путь Смерти, густо усыпан золой. Все вокруг почернело. Темные лужи, грязные переулки и нищенские лачуги где-то там, внизу. Зубчатые стены и ветхие хижины здесь, рядом, и сквозь дырявые крыши и в разбитые окна видны жалкие комнаты, где ютятся гибельная нужда и лихорадка, а дым, нагромождение кровель, косые трубы, известь и кирпич, замкнувшие уродство тела и духа, заслоняют хмурую даль. Когда мистер Домби выглядывает из окна вагона, у него не мелькает мысль, что чудовище, доставившее его сюда, только пролило дневной свет на всю эту картину, а не создало ее и не послужило причиной ее возникновения. Это был подобающий конец путешествия, и таким мог быть конец всего — столь он был убедителен и страшен.

Думая только об одном, он по-прежнему видел перед собой одно безжалостное чудовище. Все предметы взирали мрачно, холодно и мертвенно на него, а он — на них. Во всем он находил напоминание о своем горе. Все, все без исключения выступало, бессовестно торжествуя над ним, и раздражало и задевало его гордость и ревность, какую бы форму ни принимало, — и сильнее всего, ко-

гда оно разделяло с ним любовь к его умершему мальчику и память о нем.

Было одно лицо — он смотрел на него прошлой ночью, и оно смотрело на него глазами, читавшими в его душе, хотя они и были затуманены слезами и хотя их тотчас заслонили дрожащие руки, — лицо, которое часто представлялось его воображению во время этой поездки. Он видел его таким, как прошлой ночью, робко умоляющим. Оно не укоряло, но было в нем какое-то сомнение, пожалуй, — слабая надежда, которая походила на укор в тот миг, когда он увидел, как она угасает, уступая место безутешной уверенности в его неприязни. Ему было мучительно думать о лице Флоренс.

Потому ли, что он почувствовал какие-то угрызения совести? Нет. Но потому, что чувство, этим лицом пробужденное, которое он смутно угадывал прежде, теперь вполне оформилось и окончательно определилось, волнуя его чрезмерно и грозя усилиться и нарушить его равновесие. Потому что это лицо было на каждом шагу, во всех поражениях и гонениях, которые, казалось, окружали его, как воздух. Потому что оно оставило зарубины на стреле этого жестокого и неумолимого врага, на котором сосредоточились его мысли, и вложило ему в руку обоюдоострый меч. Потому что в глубине души он прекрасно знал, когда, стоя здесь, окрашивал мелькающие перед ним сцены в болезненные тона своих собственных мыслей и превращал их в картину гибели и разрушения, а не благотворной перемены и надежды на лучшее будущее, — знал, что к его сетованиям смерть имела такое же отношение, как и жизнь. Одно дитя умерло, и одно дитя осталось. Почему отнят тот, на кого он возлагал надежды, а не она?

Милое, тихое, кроткое лицо, представлявшееся его воображению, не вызывало у него никаких иных мыслей. Она была нежеланна ему с самого начала; теперь она усугубляла его горечь. Если бы сын был единственным его ребенком и порази его этот удар, тяжело было бы его перенести, но все же бесконечно легче, чем теперь, когда удар мог поразить ее (которую он мог, или думал что может, потерять безболезненно) и не поразил. Ее любящее и невинное лицо, обращенное к нему, не смягчало и не привлекало его. Он отверг ангела и принял терзающего демона, приютившегося в его груди. Ее терпение, доброта, юность, преданность, любовь были подобны пылинкам золы, которую он попирает ногами. Вокруг себя, в губительном мраке, он видел ее образ, не озарявший, но сгущавший тьму. Не раз во время этого путешествия и теперь снова, в конце его, когда он стоял, погруженный в размышления, чертя палкой узоры на песке, он думал о том, чем мог бы он заслониться от этого образа.

Майор, который всю дорогу сопел и пыхтел, как паровоз, и чьи глаза часто отрывались от газеты и подмигивали, всматриваясь вдаль, словно там тянулась длинная процессия потерпевших поражение мисс Токс, которых поезд извергал вместе с дымом, и они проносились над полями, чтобы спрятаться в каком-нибудь укромном местечке, — майор оторвал своего друга от размышлений, сообщив ему, что почтовые лошади запряжены и карета подана.

— Домби, — сказал майор, легонько ударяя его тростью по плечу, — не задумывайтесь. Это дурная привычка. Старый Джо, сэр, не был бы таким непреклонным, каким вы его видите, если бы он ей предавался. Вы слишком великий человек, Домби, чтобы задумываться. В вашем положении, сэр, вы бесконечно выше всего этого.

Майор даже в дружеских своих увещаниях принимал, таким образом, во внимание достоинство и честь мистера Домби и явно понимал их значение, а мистер Домби был более чем когда-либо расположен снизойти к джентльмену, отличающемуся таким здравым смыслом и таким трезвым умом. Посему он старался прислушиваться к повествованию майора, пока они рысью ехали по шоссе, и майор, находя, что эта скорость и дорога гораздо более соответствуют его таланту рассказчика, чем способ передвижения, только что ими оставленный, принялся его развлекать.

Этот прилив воодушевления и разговорчивости, прерывавшийся только обычными симптомами, вызванными его полнокровием, а также завтраком и гневными нападками на туземца, чьи темно-коричневые уши были украшены парой серег и на ком европейское платье, непригодное для чужестранца, сидело неуклюже по собственному своему почину и вне всякой зависимости от искусства портного — длинное там, где ему полагалось быть коротким, короткое там, где ему полагалось быть длинным, узкое там, где ему полагалось быть широким, и широкое там, где ему полагалось быть узким, каковому платью он придавал еще особое изящество, съезживаясь в нем при каждом нападении майора, словно высохший орех или озябшая обезьяна, — этот прилив воодушевления и разговорчивости продолжался у майора весь день; посему, когда спустился вечер и застал их, продвигающихся

рысью по зеленой и обсаженной деревьями дороге близ Лемингтона, казалось, будто голос майора в результате болтовни, еды, хихиканья и удушья исходит из ящика под сиденьем позади экипажа или из ближайшего стога сена. Он не изменился и в отеле «Ройал», где были заказаны комнаты и обед и где майор столь утрудил свои органы речи едой и питьем, что, отправляясь спать, совсем потерял голос, которого хватало теперь только на кашель, и, объясняясь с темнокожим слугой, мог лишь рязевать на него рот.

Однако наутро он не только встал, как окрепший великан, но и вел себя за завтраком, как великан подкрепляющийся. За этой трапезой они обсудили распорядок дня. Майор брал на себя все распоряжения относительно еды и питья; и они должны были каждое утро встречаться за поздним завтраком и каждый день за поздним обедом. Мистер Домби предпочитал оставаться у себя в комнате или гулять в одиночестве в этот первый день их пребывания в Лемингтоне; но на следующее утро он с радостью будет сопровождать майора к Галерее минеральных вод и в прогулке по городу. И так, они расстались до обеда. Мистер Домби удалился, чтобы на свой лад предаться благотворным размышлениям. Майор в сопровождении туземца, который нес складной стул, пальто и зонт, важно прохаживался по всем общественным местам, наводил справки в списках приезжих, наносил визиты старым леди, у которых пользовался большим успехом, и доводил до их сведения, что Дж. Б. стал непреклонней, чем когда бы то ни было, и всюду перевозносил своего богатого друга Домби. Не было на свете человека, который поддерживал бы друга с большим рвением, чем майор, когда, перевознося его, он перевозносил самого себя.

Удивительно, какое количество новых историй извергнул майор за обедом и какую возможность доставил мистеру Домби оценить его общительность. На следующее утро за завтраком он знал содержание последних полученных газет и в связи с этим затронул различные вопросы, по поводу коих его мнением не так давно интересовались люди, столь влиятельные и могущественные, что на них можно было только туманно намекать. Мистер Домби, который так долго жил, замкнувшись в самом себе, да и в прежние времена редко выходил из зачарованного круга, где разворачивались операции Домби и Сына, начал относиться к знакомству с майором, как к приятной перемене в своей уединенной жизни; и вместо того чтобы провести в одиночестве еще один день, как думал он сделать прежде, он вышел под руку с майором.

Глава XXI Новые лица

Майор, еще более посинев и вытаращив глаза, — более, так сказать, перезрелый, чем когда бы то ни было, — и раздражаясь лошадиным кашлем не столько по необходимости, сколько от, сознания собственной важности, шествовал под руку с мистером Домби по солнечной стороне улицы, причем разбухшие его щеки свисали над тугим воротничком, ноги были величественно раскорячены, а огромная голова покачивалась из стороны в сторону, как будто он укорял самого себя за то, что был таким очаровательным субъектом. Не прошли они нескольких ярдов, как майор встретил какого-то знакомого, и еще через несколько ярдов майор снова встретил какого-то знакомого, но только помаhal им рукой мимоходом и повел мистера Домби дальше, указывая при этом на местные достопримечательности; и оживляя прогулку скандальными сплетнями, приходившими ему на память.

Таким манером майор и мистер Домби шествовали под руку к полному своему удовольствию, когда увидели приближающееся к ним кресло на колесах, в котором сидела леди, лениво управляя своим экипажем с помощью руля, приделанного впереди, тогда как сзади экипаж подталкивала какая-то невидимая сила. Хотя леди была не молода, но цвет лица у нее был ослепительный — совсем розовый, — а туалет и поза приличествовали весьма юной особе. Рядом с креслом, держа легкий зонтик с таким горделивым и усталым видом, словно от столь великого усилия придется вскоре отказаться и зонтик уронить, шла леди значительно моложе, очень красивая, очень высокомерная, очень своенравная на вид; она высоко поднимала голову и опускала глаза, словно если и было на свете что-нибудь достойное внимания, кроме зеркала, то, во всяком случае, не земля или небо.

— Ах, черт побери, кого же это мы видим, сэръ?! — вскричал майор, останавливаясь, когда приблизилась маленькая группа.

— Дорогая моя Эдит! — растягивая слова, произнесла леди в кресле. — Майор Бегсток!

Едва услышав этот голос, майор оставил руку мистера Домби, бросился вперед, взял руку леди и поднес к своим губам. С не меньшей галантностью майор прижал обе свои руки в перчатках к сердцу и низко поклонился другой леди. И теперь, когда кресло остановилось, движущая сила обнаружилась в образе раскрасневшегося пажа, напиравшего сзади, который отчасти перерос, а отчасти перенапряг свою силу, ибо когда он выпрямился, то оказалось, что он высок, изнурен и худ; положение его было тем печальнее, что он испортил фасон своей шляпы, подталкивая кресло головой, чтобы продвинуть его вперед, как это делают иногда слоны в восточных странах.

— Джо Бегсток, — сказал майор обеим леди, — горд и счастлив до конца дней своих.

— Лукавое создание! — лениво протянула старая леди в кресле. — Откуда вы явились? Я вас не выношу.

— В таком случае, сударыня, разрешите представить вам друга, чтобы заслужить ваше снисхождение! — воскликнул майор. — Мистер Домби, миссис Скьютон. — Леди в кресле любезно улыбнулась. — Мистер Домби, миссис Грейнджер. — Леди с зонтиком едва обратила внимание на то, что мистер Домби снял шляпу и низко поклонился. — Я в восторге от такой удачи, сэр! — сказал майор.

Майор как будто не шутил, ибо он смотрел на всех троих и подмигивал весьма безобразно.

— Миссис Скьютон, Домби, — сказал майор, — производит опустошение в сердце старого Джоша.

Мистер Домби дал понять, что его это не удивляет.

— Коварный дух, — сказала леди в кресле, — замолчите! Давно ли вы здесь, негодный?

— Один день, — ответил майор.

— И вы можете пробыть один день или даже одну минуту в этом саду, — произнесла леди, слегка поправляя веером фальшивые локоны и фальшивые брови и показывая фальшивые зубы, резко выделявшиеся благодаря фальшивому цвету лица, — в этом саду... как он называется...

— Вероятно, Эдем, мама, — презрительно подсказала молодая леди.

— Милая моя Эдит, — отозвалась та, — я ничего не могу поделать. Я всегда забываю эти ужасные названия... И вы можете пробыть здесь день и не вдохновиться всей душой и всем своим существом, созерцая природу, впитывая аромат, — продолжала миссис Скьютон, шурша носовым платком, от которого тошнотворно пахло духами, — аромат ее чистого дыхания, чудовище?

Противоречие между словами, полными юного энтузиазма, и безнадежно вялым тоном миссис Скьютон было вряд ли менее заметно, чем противоречие между ее возрастом — примерно лет под семьдесят — и ее туалетом, который был бы неуместен и в двадцать семь лет. Ее поза в кресле на колесах (которую она никогда не меняла) была той самой, в какой ее нарисовал в ландо лет пятьдесят назад модный в ту пору художник, подмахнувший под печатным воспроизведением рисунка имя «Клеопатра», в результате открытия, сделанного критиками тех времен, будто она удивительно похожа на эту царицу, возлежащую на борту своей галеры. Миссис Скьютон была тогда красавицей, и щеголи в честь ее осушали и разбивали бокалы дюжинами. Красота и коляска остались в прошлом, но позу она сохранила и специально для этого держала кресло на колесах и бодающегося пажа, ибо, кроме позы, не было ровно никаких оснований, препятствовавших ей ходить.

— Надеюсь, мистер Домби — поклонник природы? — заметила миссис Скьютон, поправляя бриллиантовую брошь.

Кстати сказать, она существовала главным образом благодаря славе принадлежащих ей бриллиантов и семейным связям.

— Мой друг Домби, сударыня, — отозвался майор, — быть может, и поклоняется ей втайне, но человек, занимающий столь видное место в величайшем из городов вселенной...

— Нет никого, кто бы не знал об огромном влиянии мистера Домби, — сказала миссис Скьютон.

Когда мистер Домби ответил на комплимент поклоном, более молодая леди посмотрела на нею и встретила его взгляд.

— Вы живете здесь, сударыня? — обратился к ней мистер Домби.

— Нет, мы жили в разных местах — в Харрогете, Скарборо и в Девоншире. Мы разъезжаем и останавливаемся то тут, то там. Мама любит перемены.

— Эдит, конечно, не любит, — сказала миссис Скьютон с загробным лукавством.

— Я не заметила между этими местами никакой разницы, — последовал крайне равнодушный ответ.

— На меня клеветают. Об одной только перемене, мистер Домби, я действительно мечтаю, — с жеманным вздохом промолвила миссис Скьютон, — и боюсь, что мне никогда не позволят ею насладиться. Общество не разрешит. Но уединение и созерцание — вот для меня... как это называется...

— Если вы имеете в виду рай, мама, то так и скажите, чтобы вас могли понять, — заметила молодая леди.

— Милая Эдит, — отозвалась миссис Скьютон, — тебе известно, что я всецело завишу от тебя, когда забываю эти отвратительные названия. Уверяю вас, мистер Домби, природа предназначила меня для жизни в Аркадии. В обществе я чувствую себя плохо. Коровы — моя страсть. Всегда я мечтала только о том, чтобы поселиться на ферме в Швейцарии и жить окруженной одними коровами... и фарфором.

Это забавное сопоставление, заставлявшее вспомнить о пресловутом слоне, случайно попавшем в посудную лавку, было принято с полной серьезностью мистером Домби, который заявил, что, по его мнению, природа несомненно весьма респектабельное установление.

— Чего мне недостает, — протянула миссис Скьютон, пощипывая свою морщинистую шею, — так это... сердца. — Замечание устрашающе справедливое, хотя и не в том смысле, какой она ему придавала. — Чего мне недостает — это искренности, доверия, отсутствия условностей и свободных порывов души. Мы до ужаса искусственны. — Это была сушая правда!

— Одним словом, — сказала миссис Скьютон, — природа мне нужна всюду. Это было бы так очаровательно.

— Сейчас природа приглашает нас следовать дальше, мама, если вы согласны, — сказала молодая леди, презрительно скривив красивые губы.

Услыхав этот намек, изнуренный паж, который созерцал компанию из-за спинки кресла, скрылся за ним, словно земля его поглотила.

— Подождите минутку, Уитерс, — сказала миссис Скьютон, когда кресло двинулось вперед; она обращалась к пажу с тем томным достоинством, с каким в былые дни обращалась к кучеру в парике, с букетом величиною с головку цветной капусты и в шелковых чулках. — Где вы остановились, ужасное создание?

Майор остановился в отеле «Ройал» вместе со своим другом Домби.

— Можете навестить нас вечером, если исправитесь, — просюсюкала миссис Скьютон. — Если мистер Домби окажет нам эту честь, мы будем польщены; Уитерс, вперед!

Майор снова поднес к своим синим губам кончики пальцев, которые покоились на ручке кресла с нарочитой небрежностью — по образцу Клеопатры, а мистер Домби отвесил поклон. Старшая леди удостоила обоих весьма милостивой улыбки и девического помахивания рукой; младшая — тем едва заметным кивком, какого требовала простая вежливость.

Последний взгляд на старое морщинистое лицо матери с пятнами румянца, которые при солнечном свете казались страшнее и отвратительнее, чем мертвенная бледность, и на горделивую красоту дочери, на ее изящную фигуру и благородную осанку пробудил и у майора и у мистера Домби невольное желание посмотреть им вслед, и оба оглянулись одновременно. Паж, изогнувшись не меньше, чем его собственная тень, тяжело трудился позади кресла подобно тарану, подталкивая его в гору; шляпа Клеопатры колыхалась так же, как и раньше, а красавица, шедшая немного впереди, выражала всей своей грациозной фигурой, с головы до пят, все то же полнейшее равнодушие ко всем и ко всему.

— Вот что я вам скажу, сэр, — начал майор, когда они возобновили свою прогулку, — будь Джо Бегсток помоложе, нет на свете женщины, которую он предпочел бы этой женщине в роли миссис Бегсток. Черт побери, сэр, — сказал майор, — она великолепна!

— Вы имеете в виду дочь? — осведомился мистер Домби.

— Разве Джой Б. — брюква, Домби, — сказал майор, — чтобы иметь в виду мать?

— Вы говорили комплименты матери, — возразил мистер Домби.

— Старое пламя, сэр! — хихикнул майор Бегсток. — Дьявольски старое. Ей это приятно.

— Мне она кажется благородной особой, — сказал мистер Домби.

— Благородной, сэр! — повторил майор, останавливаясь и тараща глаза на своего спутника. — Почтенная миссис Скьютон, сэр, приходится сестрой покойному лорду Финиксу и теткой ныне здравствующему. Семья небогатая — в сущности бедная, — и она живет на свою маленькую вдовью часть; но уж коли дело дойдет до происхождения, сэр!..

Майор сделал росчерк тростью и зашагал вперед, отчаявшись объяснить, до чего дойдет дело, если пойдет так далеко.

— Я заметил, — помолчав, сказал мистер Домби, — что дочь вы назвали миссис Грейнджер.

— Эдит Скьютон, — отвечал майор, снова останавливаясь и высверливая тростью в земле ямку, долженствующую изображать Эдит, — вышла замуж (восемнадцати лет) за Грейнджера из нашего полка. — Майор изобразил его в виде второй ямки. — Грейнджер, сэр, — продолжал майор, постукивая тростью по второму воображаемому портрету и выразительно покачивая головой, — был нашим полковником; чертовски красивый молодец, сэр, сорока одного года. Он умер, сэр, на втором году супружеской жизни.

Майор несколько раз проткнул тростью изображение усопшего Грейнджера и продолжал путь, держа трость на плече.

— Давно это было? — осведомился мистер Домби, снова останавливаясь.

— Эдит Грейнджер, сэр, — отвечал майор, закрывая один глаз, склоняя голову к плечу, переложив трость в левую руку, а правой разглаживая брыжи, — Эдит Грейнджер в настоящее время под тридцать лет. И, черт побери, сэр, — сказал майор, снова водружая трость на плечо и продолжая путь, — это бесподобная женщина.

— Дети были? — спросил затем мистер Домби.

— Да, сэр, — сказал майор. — Был мальчик. Мистер Домби уставился в землю, и лицо его омрачилось.

— Который утонул, сэр, — продолжал майор, — когда ему было лет пять.

— Вот как! — сказал мистер Домби, поднимая голову.

— Опрокинулась лодка, в которую няньке незачем было его сажать, — сказал майор. — Такова его история. Эдит Грейнджер — все еще Эдит Грейнджер; но будь непреклонный старый Джой В., сэр, чуть-чуть помоложе и побогаче, это создание носило бы фамилию Бегсток.

Майор тряхнул плечами и щеками, захохотал и, произнося эти слова, был больше, чем когда бы то ни было, похож на перекормленного Мефистофеля.

— В том случае, полагаю, если бы леди не возражала? — холодно заметил мистер Домби.

— Ей-богу, сэр, — сказал майор. — Бегстоки не ведают такого рода препятствий. Однако справедливость требует отметить, что Эдит могла бы уже раз двадцать выйти замуж, не будь она горда, сэр, — да, горда!

Мнение о ней мистера Домби, если судить по его лицу, не изменилось от этого к худшему.

— В конце концов это великое достоинство, — сказал майор. — Клянусь богом, это высокое достоинство! Домби! Вы сами горды, и ваш друг, старый Джо, уважает вас за это, сэр.

Воздав характеру своего спутника хвалу, которая, казалось, была у него исторгнута силой обстоятельств и неумолимым течением беседы, майор оборвал разговор и пустился в общие рассуждения на тему о том, сколь был он любим и обожаем прекрасными женщинами и ослепительными созданиями.

Через день мистер Домби и майор встретили почтенную миссис Скьютон с дочерью в Галерее минеральных вод; на следующий день они снова их встретили невдалеке от того места, где повстречались в первый раз. После того как они встречались таким образом раза три-четыре, простая вежливость по отношению к старым знакомым требовала, чтобы майор навестил их вечером. Первоначально у мистера Домби не было желания делать визиты, но когда майор заявил о своем намерении, мистер Домби заметил, что с удовольствием будет его сопровождать. Посему перед обедом майор приказал туземцу отправиться к обеим леди, передать привет от него и мистера Домби и сказать, что вечером они будут иметь честь навесить их, если леди будут одни. В ответ на это туземец принес очень маленькую записку, распространявшую очень сильный запах духов, писанную рукою почтенной миссис Скьютон майору Бегстоку и кратко сообщавшую: «Вы — гадкий медведь, и я была бы не прочь отказать вам в прощении, но если вы действительно будете вести себя очень хорошо, — это

было подчеркнуто, — можете прийти. Привет от меня (Эдит присоединяет и свой привет) мистеру Домби».

Почтенная миссис Скьютон и ее дочь, миссис Грейнджер, занимали в Лемингтоне квартиру довольно фешенебельную и дорогую, но оставлявшую желать лучшего в смысле размера и удобств: когда почтенная миссис Скьютон ложилась в постель, ноги ее оказывались в окне, а голова — в камине, а служанка почтенной миссис Скьютон ютилась в каком-то чулане позади гостиной, таком крохотном, что принуждена была вползать в него и выползать, словно прелестная змейка, дабы не выставлять напоказ все его содержимое, Уитерс, изнуренный паж, спал в другом доме, под самой крышей соседней молочной, а кресло на колесах — камень этого юного Сизифа — ночевало в сарае той же молочной, где принадлежащие этому заведению куры несли свежие яйца и ночью располагались на сломанной двуколке, несомненно убежденные в том, что она выросла здесь и является чем-то вроде дерева.

Мистер Домби и майор застали миссис Скьютон в позе Клеопатры среди диванных подушек, в очень воздушном одеянии, разумеется, отнюдь не похожую на шекспировскую Клеопатру, которая с годами не увядала⁷⁴. Поднимаясь по лестнице, они слышали звуки арфы, но эти звуки оборвались, когда доложили об их приходе, и теперь Эдит стояла возле арфы, более прекрасная и высокомерная, чем когда-либо. Отличительной чертой этой леди было то, что ее красота бросалась в глаза и утверждала себя без всяких усилий и вопреки ее воле. Леди знала, что она красива; иначе и быть не могло; но, в гордыне своей, как будто относилась к этому пренебрежительно.

Почитала ли она дешевыми те чары, какие могли вызвать лишь восторг, не имевший в ее глазах никакого значения, или же такое поведение помогало ей повысить их цену в глазах поклонников, — те, кто их ценил, редко об этом задумывались.

— Надеюсь, миссис Грейнджер, — сказал мистер Домби, подходя к ней, — не мы повинны в том, что вы перестали играть?

— Вы? О нет!

— Почему же ты в таком случае не продолжаешь, дорогая Эдит? — промолвила Клеопатра.

— Я перестала играть так же, как и начала... так мне захотелось.

Полное равнодушие, с каким это было сказано, — равнодушие, ничего общего не имеющее с вялостью или бесчувственностью, ибо оно было отмечено горделивым умыслом, — великолепно оттенялось той небрежностью, с какою она провела рукой по струнам и отошла в другой конец комнаты.

— Знаете ли, мистер Домби, — сказала ее томная мать, играя ручным экраном, — иногда милая моя Эдит не совсем согласна со мною...

— А разве не всегда, мама? — заметила Эдит.

— О нет, милочка! Фи, фи, это разбило бы мне сердце, — возразила мать, пытаясь прикоснуться к ней ручным экраном, каковой попытке Эдит ие пошла навстречу. — Моя милая Эдит не согласна со мной по вопросу об этих строгих правилах хорошего тона, которые соблюдаются в мелочах. Почему мы не бываем более непосредственны? Ах, боже мой! В душе у нас заложены томления, порывы и безотчетные волнения, которые так очаровательны, так почему мы не бываем более непосредственны?

Мистер Домби сказал, что это весьма справедливое наблюдение, весьма справедливое.

— Пожалуй, мы бы могли быть более непосредственны, если бы постарались, — сказала миссис Скьютон.

Мистер Домби считал это возможным.

— Черт возьми, как бы не так, сударыня, — сказал майор. — Этого мы не можем себе позволить. Поскольку мир не населен Дж. Б. — непреклонными и прямодушными старыми Джо, сударыня, копчеными селедками с икрой, сэр, — мы этого не можем себе позволить. Это недопустимо.

— Злой язычник! — воскликнула миссис Скьютон. — Умолкните!

— Клеопатра повелевает, — отозвался майор, посылая воздушный поцелуй, — и Антоний

⁷⁴ ...шекспировскую Клеопатру, которая с годами не увядала... — намек на слова Энобарба о Клеопатре: Ее разнообразию нет конца, Пред ней бессильны возраст и привычка. (Шекспир, «Антоний и Клеопатра», акт II, сц. 2-я.)

Бегсток повинуется!

— Этому человеку чужда всякая чувствительность! — сказала миссис Скьютон, жестокосердно поднимая ручной экран, дабы заслониться от майора. — Всякое сострадание! А можно ли жить без сострадания? Есть ли что-нибудь более очаровательное? Без этого солнечного луча, озаряющего нашу холодную, холодную землю, — продолжала миссис Скьютон, оправляя кружевную накидку и самодовольно наблюдая, какое впечатление производит ее обнаженная худая рука, — как могли бы мы выносить эту землю? Одним словом, сухой вы человек, — глянула она из-за экрана на майора, — я бы хотела, чтобы мой мир был весь — сердце; а вера — так очаровательна, что я не позволю вам смущать ее, слышите?

Майор отвечал, что со стороны Клеопатры жестоко требовать, чтобы весь мир был сердцем, и в то же время присваивать себе сердца всего мира. Это заставило Клеопатру напомнить ему, что лезть ей несносно, и если он дерзнет еще раз заговорить с ней в таком тоне, она безусловно прогонит его домой.

В это время Уитерс Изнуренный подал чай, а мистер Домби снова обратился к Эдит.

— По-видимому, общества здесь почти нет? — сказал мистер Домби свойственным ему величественным, джентльменским тоном.

— Да, кажется. Мы никого не видим.

— Ах, в самом деле, — откликнулась со своего ложа миссис Скьютон, — в настоящее время здесь нет людей, с которыми нам хотелось бы встречаться.

— Им не хватает сердца, — с улыбкой сказала Эдит. Сумеречная улыбка: так странно сочетались в ней свет и мрак.

— Как видите, милая Эдит посмеивается надо мной! — сказала мать, покачивая головой, которая иной раз покачивалась произвольно, словно параличное дрожанье возникало время от времени, протестуя против вспыхивающих бриллиантов. — Злюка!

— Если не ошибаюсь, вы бывали здесь раньше? — спросил мистер Домби. Он по-прежнему обращался к Эдит.

— О, не раз. Кажется, мы бывали всюду.

— Красивые места!

— Да, должно быть. Все так говорят.

— Твой кузен Финикс в восторге от них, Эдит, — вставила мать со своего ложа.

Дочь слегка повернула изящную головку и, чуть-чуть приподняв брови, словно с кузенном Финиксом следовало считаться меньше, чем с кем бы то ни было из смертных, снова перевела взгляд на мистера Домби.

— Мне надоели эти окрестности — надеюсь, к чести для моего вкуса, — сказала она.

— Пожалуй, у вас есть для этого основания, сударыня, — ответил он, посматривая на висевшие и разбросанные вокруг рисунки, в которых он узнал окрестные пейзажи, — если эти прекрасные зарисовки сделаны вами.

Красавица ничего ему не ответила и сидела, сохраняя вид поразительно надменный.

— Я не ошибся? — спросил мистер Домби. — Их рисовали вы?

— Да.

— И вы играете, как я уже знаю.

— Да.

— И поете?

— Да.

На все эти вопросы она отвечала со странной неохотой и словно борясь с собой, что уже было отмечено, как характеристическая особенность ее красоты. Однако она не была смущена и вполне владела собой. Не было у нее, по-видимому, и желания уклониться от разговора, ибо она не отводила взора от собеседника и — поскольку это было для нее возможно — оказывала ему знаки внимания, даже тогда, когда он молчал.

— По крайней мере у вас много средств против скуки, — сказал мистер Домби.

— Каково бы ни было их действие, — отвечала она, — теперь вы знаете все. Больше никаких у меня нет.

— Могу ли я познакомиться с ними? — с напыщенной галантностью осведомился мистер

Домби, полошив рисунок, который держал в руке, и указывая на арфу.

— О, разумеется! Если хотите!

С этими словами она встала, прошла мимо кушетки матери, бросив в ее сторону высокомерный взгляд — взгляд мимолетный, но (если бы кто-нибудь его видел) выражавший очень многое и затененный той сумеречною улыбкой, которая улыбкой не была, — и вышла из комнаты.

Майор, получив к тому времени полное прощение, придвинул к Клеопатре маленький столик и сел играть с нею в пикет. Мистер Домби, не зная этой игры, подсел к ним поучиться, пока не вернулась Эдит.

— Надеюсь, мы услышим музыку, мистер Домби? — сказала Клеопатра.

— Миссис Грейнджер любезно обещала, — сказал мистер Домби.

— А! Это очень приятно. Объявляете игру, майор?

— Нет, сударыня, — сказал майор. — Не могу.

— Вы варвар, — отозвалась леди, — испортили мне игру. Вы любите музыку, мистер Домби?

— Чрезвычайно, — был ответ мистера Домби.

— Да. Музыка очень приятна, — сказала Клеопатра, глядя на свои карты. — В ней столько сердца... смутные воспоминания о прошлом существовании... и многое другое... поистине очаровательно. Знаете, — хихикнула Клеопатра, перевортывая валета треф, который был ей сдан вверх ногами, — если что-нибудь могло бы побудить меня оборвать нить жизни, то только желание узнать, в чем же тут дело и что это значит; столько есть волнующих тайн, от нас сокрытых! Майор, ваш ход!

Майор сделал ход, а мистер Домби, подсевший, чтобы обучаться, вскоре пришел бы в полное замешательство, если бы хоть какое-нибудь внимание обращал на игру, но он сидел, гадая, когда же вернется Эдит.

Наконец она вернулась и подошла к арфе, а мистер Домби встал и, стоя подле нее, слушал. Он не был любителем музыки и понятия не имел о том, что она играет, но он видел, как она склоняется над арфой и, быть может, слышал в звучании струн какую-то далекую, понятную одному ему, музыку, которая укрощала чудовище железной дороги и смягчала его жестокость.

Клеопатра за пикетом не дремала. Глаза у нее блестели, как у птицы, и взор не был прикован к картам, а пронизывал комнату из конца в конец, останавливаясь на арфе, исполнительнице, слушателе — на всем.

Окончив играть, высокомерная красавица встала и, приняв благодарность и комплименты мистера Домби с таким же видом, как и раньше, подошла к роялю.

Эдит Грейнджер, любую песенку, только не эту! Эдит Грейнджер, вы очень красивы, и туше у вас блестящее, и голос глубокий и звучный, но только не эту песенку, которую его покинутая дочь пела его умершему сыну!

Увы! Он ее не узнает; а если бы и узнал, какая песенка могла бы взволновать этого черствого человека? Спи, одинокая Флоренс, спи! Пусть безмятежны будут твои сны, хотя ночь стала темной и тучи надвигаются и грозят разразиться градом!

Глава XXII

Кое-что о деятельности мистера Каркера-заведующего

Мистер Каркер-заведующий сидел за конторкой, как всегда приглаженный и вкрадчивый, просматривая те письма, какие надлежало ему распечатать, делая на них пометки и распоряжения, которых требовало их содержание, и распределяя их небольшими пачками, чтобы переправить в различные отделения фирмы. В то утро писем поступило немало, и у мистера Каркера-заведующего было много дела.

Вид человека, занятого такой работой, просматривающего пачку бумаг, которую он держит в руке, раскладывающего их отдельными стопками, приступающего к другой пачке и пробегающего ее содержание, сдвинув брови и выпятив губы, — распределяющего, сортирующего и обдумывающего, — легко может внушить мысль о каком-то сходстве с игроком в карты. Лицо мистера Каркера-заведующего вполне соответствовало такой причудливой мысли. Это было лицо человека, который старательно изучил свои карты, который знаком со всеми сильными и слабыми сторонами игры,

Чарльз Диккенс «Торговый дом Домби и сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт»

мысленно отмечает карты, падающие вокруг него, знает в точности, каковы они, чего им недостает и что они дают, и который достаточно умен, чтобы угадать карты других игроков и никогда не выдавать своих.

Письма были на разных языках, но мистер Каркер-заведующий читал все. Если бы нашлось что-нибудь в конторе Домби и Сына, чего он не мог прочесть, значит не хватало бы одной карты в колоде. Он читал с молниеносной быстротой и комбинировал при этом одно письмо с другим и одно дело с другим, добавляя новый материал к пачкам — примерно так же, как человек сразу распознает карты и мысленно разрабатывает комбинации после сдачи. Пожалуй, слишком хитрый как партнер и бесспорно слишком хитрый как противник, мистер Каркер-заведующий сидел в косых лучах солнца, падавших на него через окно в потолке, и разыгрывал свою партию в одиночестве.

И хотя инстинктам кошачьего племени, не только дикого, но и домашнего, чужда игра в карты, однако мистер Каркер-заведующий с головы до пят походил на кота, когда нежился в полоске летнего тепла и света, сиявшей на его столе и на полу, словно стол и пол были кривым циферблатом солнечных часов, а сам он — единственной цифрой на нем. С волосами и бакенбардами, всегда тусклыми, а в ярком солнечном свете более бесцветными, чем обычно, и напоминающими шерсть рыжеватого в пятнах кота; с длинными ногтями, изящно заостренными и отточенными, с врожденной антипатией к малейшему грязному пятнышку, которая побуждала его иной раз отрываться от работы, следить за падающими пылинками и смахивать их со своей нежной белой руки и глянцеви-той манжеты, — мистер Каркер-заведующий, с лукавыми манерами, острыми зубами, мягкой поступью, зорким взглядом, вкрадчивой речью, жестоким сердцем и пунктуальностью, сидел за своей работой с примерной настойчивостью и терпением, словно караулил возле мышиной норки.

Наконец все письма были разобраны, за исключением одного, которое он отложил для особо внимательного просмотра. Заперев в ящик более конфиденциальную корреспонденцию, мистер Каркер-заведующий позвонил.

— Почему вы являетесь на звонок? — так встретил он брата.

— Рассыльный вышел, и я его должен заменить, — был смиренный ответ.

— Вы — заменить его? — пробормотал заведующий. — Вот как! Это делает мне честь! Возьмите!

Указав на кучки распечатанных писем, он презрительно повернулся в кресле и сломал печать письма, которое держал в руке.

— Мне не хочется беспокоить вас, Джеймс, — сказал брат, собирая письма, — но...

— Вы хотите мне что-то сказать! Я так и знал. Ну?

Мистер Каркер-заведующий не поднял глаз и не перевел их на брата, он по-прежнему не отрывал их от письма, которого, однако, не развертывал.

— Ну? — резко повторил он.

— Меня беспокоит Хэриет.

— Хэриет? Какая Хэриет? Я не знаю никого, кто бы носил это имя.

— Она нездорова и очень изменилась за последнее время.

— Она очень изменилась много лет назад, — отозвался заведующий, — вот все, что я могу сказать.

— Мне кажется,.. если бы вы согласились меня выслушать...

— Зачем мне вас выслушивать, брат Джон? — возразил заведующий, делая саркастическое ударение на последних двух словах и вскидывая голову, но не поднимая глаз. — Повторяю вам, много лет назад Хэриет Каркер сделала выбор между своими двумя братьями. Она может в нем раскаиваться, но должна остаться при нем.

— Поймите меня правильно. Я не говорю, что она в нем раскаивается. С моей стороны было бы черной неблагодарностью намекать на что-нибудь подобное, — возразил тот. — Хотя, поверьте мне, Джеймс, я огорчен ее жертвой так же, как и вы.

— Как я! — воскликнул заведующий. — Как я?

— Огорчен ее выбором, — тем, что вы называете ее выбором, — так же, как вы им рассержены, — сказал младший.

— Рассержен? — повторил тот, показывая все свои зубы.

— Недовольны. Подставьте любое слово. Вы знаете, что я хочу сказать. Ничего оскорбитель-

ного нет в моих словах.

— Оскорбительно все, что вы делаете, — отвечал брат, внезапно бросив на него грозный взгляд, который через секунду уступил место улыбке, еще более широкой, чем та, что обычно растягивала его губы. — Будьте добры взять эти бумаги. Я занят.

Его вежливость была настолько язвительнее гнева, что младший двинулся к двери. Но дойдя до нее и оглянувшись, он сказал:

— Когда Хэриет тщетно пыталась ходатайствовать за меня перед вами в период вашего первого справедливого негодования и первого моего позора и когда она ушла от вас, Джеймс, чтобы разделить мою несчастную участь и, под влиянием ложно направленной любви, посвятить себя обещанному брату, потому что, кроме нее, у него никого не было и он обречен был на гибель, — тогда она была молода и красива. Мне кажется, если бы вы увидели ее теперь, если бы вы повидались с нею, — она бы вызвала у вас восхищение и жалость.

Заведующий наклонил голову и оскалил зубы, словно в ответ на какую-нибудь незначительную фразу собирался сказать: «Ах, боже мой! Да неужели?» — но не проронил ни слова.

— Тогда мы думали, и вы и я, что она выйдет замуж и будет жить счастливо и беззаботно, — продолжал брат. — О, если бы вы знали, как радостно отказалась она от этих надежд, как радостно пошла по тропе, ею избранной, и ни разу не оглянулась, — вы бы никогда не сказали, что ее имя вам незнакомо! Никогда!

Снова заведующий наклонил голову и оскалил зубы, как бы говоря: «Право же, это замечательно! Вы меня удивляете!» И снова он не произнес ни звука.

— Могу я продолжать? — робко спросил Джон Каркер.

— Идти своей дорогой? — отозвался улыбающийся брат. — Да, сделайте милость.

Со вздохом Джон Каркер пошел к двери, но голос брата удержал его на дороге.

— Если она пошла и продолжает радостно идти своим путем, — сказал заведующий, бросив на конторку все еще не развернутое письмо и глубоко засунув руки в карманы, — можете ей передать, что я так же радостно иду своим путем. Если она ни разу не оглянулась, можете ей передать, что иногда я оглядываюсь, чтобы припомнить, как она перешла на вашу сторону, и что мое решение не менее твердо, — тут он очень сладко улыбнулся, — чем мрамор.

— Я ничего ей не говорю о вас. Мы никогда не упоминаем вашего имени. Раз в году, в день вашего рождения, Хэриет неизменно говорит: «Вспомним о Джеймсе и пожелаем ему счастья». Но больше мы ничего не говорим.

— В таком случае, — отозвался тот, — будьте добры сказать это самому себе. Повторяйте почаще, как урок, дабы в разговоре со мной избегать этой темы. Я не знаю никакой Хэриет Каркер. Такой особы нет на свете. Быть может, у вас есть сестра — радуйтесь этому. У меня ее нет.

Мистер Каркер-заведующий снова взял письмо и с насмешливо-учливой улыбкой махнул, указывая на дверь. Развернув его, когда брат вышел, и мрачно поглядев ему вслед после его ухода, он уселся поудобнее в своем кресле и начал внимательно читать письмо.

Оно было написано рукой его могущественного шефа, мистера Домби, и послано из Лемингтона. Хотя все прочие письма мистер Каркер быстро просматривал, это письмо он читал медленно, взвешивая каждое слово и напрягая все силы, чтобы отгадать его истинный смысл. Прочитав его один раз, он начал снова перечитывать и отметил следующие места: «Перемена оказалась для меня благотворной, и я еще не расположен назначить день возвращения»... «Я хочу, чтобы вы, Каркер, постарались как-нибудь приехать сюда ко мне и лично доложили, как идут дела»... «Я забыл сказать вам о молодом Гэе. Если он не уехал на „Сыне и наследнике“ или если „Сын и наследник“ еще в доках, пошлите какого-нибудь другого молодого человека, а его оставьте пока в Сити. Я еще не решил».

— Вот неудача! — проговорил мистер Каркер-заведующий, растягивая рот, словно он был сделан из резины. — Ведь Гэй уже далеко!

Однако это место в постскрипуме снова привлекло его внимание и зубы.

— Кажется, — сказал он, — мой добрый друг капитан Катль мельком заметил, что в тот день Гэй был взят на буксир. Как жаль, что он так далеко!

Он сложил письмо и сидел, играя им, постукивая по столу и вертя его так и этак, — проделывая, быть может, то же самое и с его содержанием, — когда мистер Перч, рассыльный, тихонько по-

стучал в дверь, вошел на цыпочках и, сгибаясь всем корпусом при каждом шаге, словно для него величайшим удовольствием было отвешивать поклоны, положил на стол какие-то бумаги.

— Угодно ли вам сказать, что вы заняты, сэр? — спросил мистер Перч, потирая руки и почти-тельно склоняя голову к плечу, словно чувствуя, что не подобает ему держать ее высоко в присутствии такой особы, и желая убрать ее по возможности подальше.

— Кто меня спрашивает?

— Видите ли, сэр, — тихим голосом сказал мистер Перч, — сейчас, сэр, никто, о ком стоило бы говорить. Мистер Джилс, мастер судовых инструментов, сэр, зашел, говорит, по делу о каком-то платеже, но я ему намекнул, сэр, что вы чрезвычайно заняты, чрезвычайно заняты.

Мистер Перч кашлянул, прикрывшись рукой, и ждал дальнейших распоряжений.

— Еще кто-нибудь?

— Я, сэр, — сказал мистер Перч, — не брал бы на себя смелость докладывать, сэр, что есть еще кто-нибудь, но этот самый мальчишка, который был здесь вчера, сэр, и на прошлой неделе, опять вертится поблизости; и ужасно это несолидно, сэр, — добавил мистер Перч, сделав паузу, чтобы притворить дверь, — когда он насвистывает воробьям во дворе и заставляет их отзываться на свист.

— Вы говорили, что он хочет получить работу, не так ли, Перч? — спросил мистер Каркер, откидываясь на спинку кресла и глядя на служителя.

— Видите ли, сэр, — сказал мистер Перч, снова кашлянув в руку, — он действительно так говорил, что нуждается в месте, и полагает, что ему можно было бы дать какую-нибудь работу в доках, раз он умеет удить рыбу, но...

Мистер Перч покачал головой, выражая этим крайнее свое недоверие.

— Что он говорит, когда приходит? — спросил мистер Каркер.

— Сэр, — сказал мистер Перч, еще раз кашлянув в руку, каковым кашлем он всегда выражал свое смирение, если другого способа не мог придумать, — его замечания обычно сводятся к тому, что он выражает почтительное желание увидеть одного из джентльменов и что он хочет зарабатывать на жизнь. Но, видите ли, сэр, — добавил Перч, понизив голос до шепота и повернувшись, дабы для сохранения тайны толкнуть дверь рукой и коленом, словно можно было ее притворить еще плотнее, хотя она была уже закрыта, — трудно стерпеть, сэр, когда такой мальчишка шныряет здесь и говорит, что его мать была кормилицей молодого хозяина нашей фирмы и по этому случаю он надеется, что наша фирма о нем позаботится. Право же, сэр, — заметил мистер Перч, — хотя миссис Перч кормила в ту пору грудью самую цветущую девчурку, какую мы когда-либо дерзали прибавить к нашему семейству, я бы не осмелился намекнуть, что она способна доставить материнское молоко фирме, хотя бы это и было желательно!

Мистер Каркер оскалил на него зубы, как акула, но сделал это с видом рассеянным и озабоченным.

— Быть может, — почтительно заметил мистер Перч, после короткого молчания и снова кашлянув, — мне следовало бы ему сказать, что, если он появится здесь еще раз, его посадят в тюрьму и оттуда не выпустят! Но, право же, я его побаиваюсь, сэр, и мог бы дать в этом присягу, потому как я по натуре своей робок и нервы у меня расшатаны нынешним положением миссис Перч.

— Покажите мне этого парня, Перч, — сказал мистер Каркер. — Приведите его сюда!

— Слушаюсь, сэр. Прошу прощения, сэр, — сказал мистер Перч, задержавшись у двери, — с виду он грубоват, сэр.

— Неважно. Если он здесь, приведите его. Затем я приму мистера Джилса. Попросите его подождать.

Мистер Перч поклонился и, закрыв дверь столь старательно и заботливо, словно не собирался возвращаться сюда в течение недели, отправился на поиски во двор, к воробьям. Когда он ушел, мистер Каркер стал в излюбленную свою позу перед камином и уставился на дверь; он подобрал нижнюю губу, изобразил улыбку, обнажившую верхний ряд зубов, и как-то странно насторожился.

Рассыльный не замедлил вернуться в сопровождении лары тяжелых сапог, которые, шагая по коридору, грохотали, как ящики. Бесцеремонно бросив: «Ну, пошевеливайся!» — весьма необычное обращение в его устах, — мистер Перч ввел крепко сложенного пятнадцатилетнего парня с круглым красным лицом, круглой коротко остриженной головой, круглыми черными глазами, округлыми руками и ногами и круглым туловищем, который, довершая округлость своей фигуры, держал в руке

круглую шляпу, лишенную полей.

Повинуясь кивку мистера Каркера, Перч, введя посетителя к этому джентльмену, поспешил удалиться. Как только они остались лицом к лицу, мистер Каркер, не произнеся ни единого слова, схватил мальчика за горло и начал трясти так, что голова его, казалось, вот-вот сорвется с плеч.

Вне себя от изумления, мальчик дико таращил глаза на душившего его джентльмена с великим множеством белых зубов и на стены комнаты, как будто твердо решил, что последний его взгляд, если его действительно задушат, проникнет в тайну, за разоблачение коей он расплачивается столь жестоко. Наконец он ухитрился вымолвить:

— Что вы, сэр? Отпустите меня, пожалуйста, отпустите!

— Отпустить тебя! — сказал мистер Каркер. — Как? Да разве ты не в моих руках?

В этом не могло быть сомнения, как и в том, что эти руки держали его крепко.

— Собака! — сквозь стиснутые зубы процедил мистер Каркер. — Я тебя задушю!

Байлер захныкал: да неужели? О нет, не задушит! И зачем ему это?.. И почему бы не задушить кого-нибудь равного по силе, а не его? Однако Байлер был укрощен необычайным приемом, ему оказанным, и когда голова его перестала раскачиваться и он посмотрел джентльмену в лицо, или, вернее, в зубы, и увидел, как тот на него оскалился, он до такой степени забыл о своем мужестве, что заплакал.

— Я вам ничего не сделал, сэр! — сказал Байлер, он же Роб, он же Точильщик и неизменно — Тудль.

— Негодный мальчишка! — сказал мистер Каркер, медленно отпуская его и отступая на шаг, чтобы принять излюбленную свою позу. — Что у тебя было на уме, когда ты осмелился явиться сюда?

— Ничего плохого не было у меня на уме, сэр, — захныкал Роб, одной рукой хватаясь за шею, а другой вытирая глаза. — Я больше никогда не приду, сэр. Я хотел только получить работу.

— Работу, вот как, юный Каин? — повторил мистер Каркер, пристально в него всматриваясь. — Да разве ты не самый ленивый бездельник в Лондоне?

Обвинение, весьма задевавшее мистера Тудля-младшего, столь соответствовало его репутации, что он ни одним словом не мог его опровергнуть. Поэтому он стоял, глядя на джентльмена с видом испуганным, униженным и покаянным. И можно было заметить, что он зачарован мистером Каркером и ни на секунду не отводит от него своих круглых глаз.

— Разве ты не вор? — сказал мистер Каркер, заложив руки в карманы.

— Нет, сэр, — взмолился Роб.

— Вор! — сказал мистер Каркер.

— Право же, нет, сэр, — хныкал Роб. — Я никогда не занимался такими делами, как воровство, сэр, верьте мне. Я знаю, что сбился с пути, сэр, с тех пор как стал охотиться за птицами. Конечно, могут сказать, — в припадке раскаяния продолжал мистер Тудль-младший, — что певчие птицы — невинная компания, но никто не знает, какие это зловерные пичужки и до чего они могут довести человека.

По-видимому, его они довели до вельветовой куртки и весьма изношенных штанов, необычайно короткого красного жилета, похожего на нагрудник, из-под которого виднелась синяя клетчатая рубашка, и до вышеупомянутой шляпы.

— Дома я и двадцати раз не бывал после того, как эти птицы приворожили меня, — сказал Роб, — а с тех пор прошло уже десять месяцев. Как же мне идти домой, когда всем тошно на меня смотреть? Понять не могу, — тут Байлер разревелся всерьез, утирая глаза обшлагом куртки, — почему я давным-давно не пошел и не утопился.

Все это, не исключая его недоумения, почему он не совершил сего последнего славного подвига, мальчик высказал так, словно зубы мистера Каркера вытягивали из него слова, а он не мог скрыть что бы то ни было под сокрушительным огнем этой неотразимой батареи.

— Нечего сказать, славный молодой джентльмен! — промолвил мистер Каркер, покачивая головой. — Для тебя, милейший, конопля уже посеяна!⁷⁵

⁷⁵ Для тебя... конопля уже посеяна — то есть посеяна конопля, из которой будет изготовлена веревка для повешения Роба.

— Право же, сэр, — отозвался злосчастный Байлер, снова разревевшись и снова прибегнув к обшлагоу куртки, — иной раз мне все равно, даже если бы она выросла. Все мои несчастья начались с увиливания, сэр; но что мне было делать, как не увиливать?

— Что, что? — переспросил мистер Каркер.

— Увиливать, сэр. Увиливать от школы.

— То есть ты делал вид, будто идешь туда, а на самом деле не шел? — сказал мистер Каркер.

— Да, сэр; это и значит увиливать, сэр, — с великим сокрушением отвечал бывший Точильщик. — Меня гоняли по улицам, сэр, когда я шел туда, и колотили, когда я туда приходил. Вот я и увиливал, прятался, с этого и началось.

— И ты говоришь, — сказал мистер Каркер, снова схватив его за горло, придерживая на расстоянии вытянутой руки и несколько секунд разглядывая его молча, — что ищешь работы?

— Я был бы благодарен, сэр, если бы меня взяли на пробу, — слабым голосом отвечал Тудль-младший.

Мистер Каркер-заведующий толкнул его в угол — мальчик покорно подчинился, едва осмеливаясь дышать и не сводя глаз с его лица, — и позвонил.

— Попросите мистера Джилса.

Мистер Перч был слишком почтителен, чтобы выразить удивление или обратить внимание на фигуру в углу, и дядя Соль явился немедленно.

— Мистер Джилс, — с улыбкой сказал Каркер, — садитесь. Как поживаете? Надеюсь, по-прежнему в добром здравии?

— Благодарю вас, сэр, — ответил дядя Соль, доставая бумажник и протягивая несколько банкнотов. — Никаких болезней у меня нет, кроме старости. Двадцать пять, сэр.

— Вы пунктуальны и точны, мистер Джилс, — отозвался улыбающийся заведующий, отыскивая в одном из многочисленных ящиков бумагу и расписываясь на обороте, в то время как дядя Соль смотрел поверх него, — как ваши хронометры. Совершенно верно.

— По списку я вижу, что о «Сыне и наследнике» сведений не поступало, — сказал дядя Соль, и голос у него, всегда нетвердый, задрожал сильнее.

— О «Сыне и наследнике» сведений не поступало, — ответил Каркер. — Кажется, погода была ненастная, мистер Джилс, и, должно быть, судно отклонилось от курса.

— Дай бог, чтобы оно было невредимо! — сказал дядя Соль.

— Дай бог, чтобы оно было невредимо, — согласился мистер Каркер, беззвучно шевеля губами, чем снова вызвал дрожь у наблюдательного юного Тудля. — Мистер Джилс, — добавил он вслух, откидываясь на спинку кресла, — должно быть, вы очень скучаете без племянника?

Дядя Соль, стоя подле него, кивнул головой и глубоко вздохнул.

— Мистер Джилс, — сказал Каркер, поглаживая своей мягкою рукою подбородок и поднимая глаза на мастера судовых инструментов, — вы были бы менее одиноки, держа у себя в лавке какого-нибудь молоденького парнишку, а мне оказали бы услугу, если бы временно приютили такого паренька. Да, разумеется, — быстро добавил он, предупреждая ответ старика, — торговля идет небойко, это мне известно, но пусть он занимается уборкой, чистит инструменты, — словом, исполняет черную работу, мистер Джилс. Вот он — этот мальчишка!

Соль Джилс сдвинул очки со лба на нос и посмотрел на Тудля-младшего, стоявшего навтыжку в углу; голова его сейчас (как и всегда) имела такой вид, словно ее только что извлекли из ведра с холодной водой; короткий жилет быстро поднимался и опускался, обнаруживая его смятение, а глаза впивались в мистера Каркера, не замечая будущего хозяина.

— Вы его возьмете к себе, мистер Джилс? — спросил заведующий.

Старый Соль, отнюдь не в восторге от такого предложения, ответил, что рад случаю оказать хотя бы маленькую услугу мистеру Каркеру, чье желание для него равносильно приказу, и что Деревянный Мичман почтет за счастье принять у себя в каюте любого гостя по выбору мистера Каркера.

Мистер Каркер обнажил верхние и нижние десны, вызвав сильнейшую дрожь у зоркого Тудля-младшего, и с величайшей учтивостью поблагодарил мастера судовых инструментов за любезность.

— Стало быть, так я им и распоряжусь, мистер Джилс, — сказал он, вставая и протягивая руку старику, — пока не решу, что мне с ним делать и чего он заслуживает. Так как я считаю себя ответственным за него, мистер Джилс, — тут он широко улыбнулся Робу, который затрепетал при виде этой улыбки, — вы мне доставите удовольствие, если будете внимательно за ним следить и сообщать о его поведении мне. Сегодня по дороге домой я заеду к его родителям — это почтенные люди — и спрошу кое о чем, чтобы проверить то, что он сам рассказывает о себе, а затем, мистер Джилс, я пришлю его к вам завтра утром. До свидания!

Его напутственная улыбка обнажила такое количество зубов, что старый Соль смутился и почувствовал какую-то неловкость. Домой он шел, размышляя о бушующем море, гибнущих кораблях, тонущих людях, о старой бутылке мадеры, которая так и не увидит света, и о других печальных вещах.

— Ну, малый! — сказал мистер Каркер, опуская руку на плечо юного Тудля и вытаскивая его на середину комнаты. — Ты меня слышал?

— Да, сэр.

— Быть может, ты понимаешь, — продолжал его патрон, — что если ты когда-нибудь меня обманешь или подведешь, то лучше было тебе и в самом деле утопиться раз навсегда, прежде чем сюда являться?

Казалось, ни в одной отрасли знания не было ничего, что бы Роб мог понять лучше, чем эту истину.

— Если ты мне сказал хоть одно лживое слово, — продолжал мистер Каркер, — не попадайся мне на глаза. Если же нет, то можешь подождать меня где-нибудь поблизости от дома своей матери. Отсюда я уйду в пять часов и поеду туда верхом. Теперь дай мне адрес.

Роб продиктовал его медленно, и мистер Каркер записал. Роб даже повторил его еще раз, букву за буквой, словно считал, что пропуск какой-нибудь точки или черточки повлечет за собой его погибель. Затем мистер Каркер выпроводил его из комнаты, и Роб, вплоть до последнего момента не сводя своих круглых глаз с патрона, скрылся из виду.

Мистер Каркер-заведующий совершил в течение дня великое множество дел и одарил своими зубами великое множество людей. В конторе, во дворе, на улице и на бирже зубы блестели и торчали устрашающе. Подошел шестой час, а с ним и гнедая лошадь мистера Каркера, и зубы, сверкая, направились к Чипсайду.

Так как никто при всем желании не может в этот час быстро ехать верхом в Сити — в сутолоке и среди такой толпы — и так как мистер Каркер подобного желания не имел, он подвигался не спеша, пробираясь между повозками и каретами, по мере сил избегая луж и грязи на чересчур обильно политой мостовой и с величайшим трудом стараясь не испачкать себя и своего коня. Пустив лошадь шагом и посматривая на прохожих, он вдруг встретил круглые глаза коротко остриженного Роба, впившиеся ему в лицо так, словно они ни на секунду от него не отрывались, а сам мальчик, подпоясавшись туго скрученным носовым платком, напоминавшим пятнистого угря, всем своим видом свидетельствовал о том, что готов следовать за мистером Каркером, какую бы скорость тот ни счел нужным развить.

Так как это внимание, хотя и лестное, было необычно и привлекало любопытство прохожих, мистер Каркер воспользовался менее запруженной и более чистой дорогой и пустил лошадь рысью. Роб немедленно перешел на рысь. Вскоре мистер Каркер испробовал легкий галоп; Роб по-прежнему не отставал. Затем полный галоп; мальчику это было нипочем. Когда бы мистер Каркер ни оборачивался, он неизменно видел, как младший Тудль поспевает за ним, по-видимому без особого труда, и работает локтями, следуя похвальному приему джентльменов-профессионалов, состязающихся в беге на пари.

Это нелепое преследование свидетельствовало, однако, о влиянии, которому подчинился мальчик, а посему мистер Каркер, делая вид, будто его не замечает, продолжал путь к дому мистера Тудля. Здесь он замедлил шаг коня, а Роб забежал вперед, показывая, куда нужно сворачивать; когда же мистер Каркер подозвал стоявшего у ворот человека, чтобы тот присмотрел за лошадью во время его посещения одного из зданий, выстроенных на месте Садов Стегса, Роб почтительно придерживал стремя, пока заведующий слезал с лошади.

— Ну, сэр, — сказал мистер Каркер, взяв за его плечо, — идем!

Блудный сын явно опасался посетить родительское жилище, но так как мистер Каркер подталкивал его, ему ничего не оставалось, как открыть надлежащую дверь и смириться, когда его ввели в круг братьев и сестер, собравшихся в несметном количестве за семейным чаем. При виде блудного сына во власти незнакомца эти нежные родственники дружно подняли вой, который столь глубоко пронзил сердце блудного сына, увидевшего среди них свою мать, бледную и дрожащую, с младенцем на руках, что и его голос присоединился к хору.

Не сомневаясь, что незнакомец был если не мистером Кетчем⁷⁶ собственной персоной, то во всяком случае одним из его сподвижников, все юные члены семейства завывали еще громче, а самые молодые из них, не в силах совладать с наплывом чувств, свойственных этому возрасту, попадали на спину, словно птички, испуганные ястребом, и начали неистово брыкаться. Наконец бедная Полли, повысив голос, промолвила дрожащими губами:

— О Роб, бедный мой мальчик, что же это ты натворил?

— Ничего, мама, — жалобным голосом воскликнул Роб, — спроси этого джентльмена.

— Не пугайтесь, — сказал мистер Каркер, — я хочу оказать ему услугу.

Услыхав такую весть, Полли, которая еще не плакала, теперь расплакалась. Старшие Тудли, по-видимому собравшиеся идти на выручку, разжали кулаки. Младшие Тудли сбились в кучу у материнской юбки и, прикрываясь пухлыми ручонками, поглядывали на своего отчаянного брата и его неведомого друга. Все благословляли джентльмена с прекрасными зубами, который хотел оказать услугу одному из Тудлей.

— Этот мальчик, — сказал мистер Каркер, обращаясь к Полли и тихонько встряхивая Роба, — этот мальчик — ваш сын, да, сударыня?

— Да, сэр, — приседая, всхлипнула Полли, — да, сэр.

— Боюсь, что он дурной сын? — сказал мистер Каркер.

— Для меня он никогда не был дурным сыном, сэр, — возразила Полли.

— А для кого же? — спросил мистер Каркер.

— Он был сорванец, сэр, — ответила Полли, удерживая младенца, который судорожно размахивал руками и ногами, стараясь броситься на Байлера сквозь разделявшее их пространство, — и попал в дурную компанию; но я надеюсь, что он понял, как это худо, сэр, и теперь будет вести себя хорошо.

Мистер Каркер окинул взглядом Полли, опрятную комнату, опрятных детей, простодушную тудлевскую физиономию, позаимствовавшую черты и у отца и у матери и повторенную многократно вокруг него; по-видимому, он достиг цели своего посещения.

— Кажется, вашего мужа нет дома? — сказал он.

— Да, сэр, — ответила Полли. — Сейчас он на линии.

Услыхав это, блудный Роб, казалось, почувствовал величайшее облегчение, хотя, сосредоточив все свое внимание на патроне, он по-прежнему почти не сводил глаз с лица мистера Каркера и лишь изредка бросал украдкой скорбный взгляд на мать.

— В таком случае, — сказал мистер Каркер, — я вам расскажу, как я встретился с вашим сыном, и кто я такой, и что я намерен для него сделать.

Все это мистер Каркер рассказал по-своему, сообщив, что сначала он хотел обрушить на дерзкую его голову всевозможные беды за вторжение в контору Домби и Сына, что он смягчился, приняв во внимание его молодость, выраженное им раскаяние и его родных; что он опасался сделать опрометчивый шаг, оказав помощь мальчику, — шаг, который мог вызвать осуждение людей благоразумных, — но что он сделал его на свой страх и риск, и только он один отвечает за последствия; и что прошлая связь матери Роба с семейством мистера Домби никакого отношения к этому не имеет; и что мистер Домби никакого отношения к этому не имеет, но от него, мистера Каркера, зависит все. Воздав должное самому себе за свою доброту и в такой же мере получив должное от всех присутствующих членов семьи, мистер Каркер намекнул — впрочем, довольно прозрачно, — что безграничная верность, привязанность и преданность Роба являются навеки его достоянием и на меньшее

⁷⁶ *Мистер Кетч.* — Джек Кетч после реставрации Стюартов был назначен палачом и исполнял эту должность с 1663 по 1686 год. Его имя стало в Англии нарицательным для палача (подобно тому как во Франции имя Сансона).

он не согласен. И этой великой истиной сам Роб проникся до такой степени, что, глядя на своего патрона и проливая слезы, струившиеся по щекам, он с чрезвычайной энергией кивал своею лоснящейся головой; казалось, что она вот-вот сорвется с плеч, как и утром в руках того же патрона.

Полли, которая провела бог весть сколько бессонных ночей по вине своего беспутного первенца и не видела его уже несколько недель, готова была упасть на колени перед мистером Каркером-заведующим, как перед добрым гением, невзирая на его зубы. Но так как мистер Каркер собрался уходить, она только поблагодарила его, вознося материнские молитвы и благословляя его — благодарность столь щедрая (ведь она исходила из глубины сердца и к тому же была ответом на услугу, оказанную не кем-нибудь еще, а именно мистером Каркером), что тот мог бы, не скупясь, дать сдачу и все-таки остаться в барышах.

Когда этот джентльмен прокладывал себе путь к двери сквозь толпу детей, Роб подошел к матери и заключил и ее и младенца в покаянные объятия.

— Теперь я буду очень стараться, милая мама. Честное слово, буду! — сказал Роб.

— Ох, постарайся, дорогой мой мальчик! Я уверена, что ты постарайся ради нас и ради самого себя! — целуя его, воскликнула Полли. — Но ведь ты вернешься поговорить со мной, когда проводишь этого джентльмена?

— Не знаю, мама. — Роб замялся и опустил глаза. — Отец... когда он придет домой?

— Не раньше двух часов ночи.

— Я вернусь, мама! — воскликнул Роб. И, прорвавшись сквозь пронзительные вопли братьев и сестер, приветствовавших это обещание, он вышел вслед за мистером Каркером.

— Вот как! — сказал мистер Каркер, слышавший этот разговор. — У тебя плохой отец?

— Нет, сэр! — ответил удивленный Роб. — Нет на свете отца лучше и добрее.

— В таком случае, почему же ты не хочешь его видеть?

— Большая разница между отцом и матерью, сэр, — запинаясь, сказал Роб. — Сейчас он вряд ли поверит, что я хочу исправиться, хотя он желал бы поверить, я это знаю... ну, а мать — она всегда верит хорошему, сэр; во всяком случае, я знаю, что моя мать верит, да благословит ее бог!

Рот мистера Каркера растянулся, но он не сказал ни слова, пока не сел на лошадь и не отпустил человека, присматривавшего за нею, после чего пристально поглядел с седла на внимательное и настороженное лицо мальчика и произнес:

— Ты придешь ко мне завтра утром, и тебе покажут, где живет тот старый джентльмен, — старый джентльмен, которого ты видел у меня сегодня, — и куда ты отправишься, о чем ты уже слышал.

— Хорошо, сэр, — отозвался Роб.

— Я чрезвычайно интересуюсь этим старым джентльменом, и ты, любезный, служи ему, служишь мне, понимаешь? Да, — добавил он торопливо, ибо заметил, как оживилась при этом круглая физиономия подростка, — вижу, что ты понимаешь. Я хочу знать все об этом старом джентльмене, как он живет изо дня в день; потому что я желаю быть ему полезным, а главное, я хочу знать, кто его навещает. Понимаешь?

По-прежнему настороженный, Роб снова кивнул:

— Да, сэр.

— Мне бы хотелось знать, что у него есть друзья, которые о нем заботятся и не покидают его, — ведь он, бедняга, очень одинок теперь, — и что они любят и его и его племянника, который уехал из Англии. Быть может, его навестит одна совсем юная леди. О ней мне особенно хочется знать все.

— Я постараюсь, сэр, — сказал мальчик.

— И помни, — отозвался его патрон, наклоняясь, чтобы приблизить свою ослабленную физиономию к лицу мальчика и похлопать его по плечу рукояткой хлыста, — помни, что о моих делах ты не должен говорить никому, кроме меня.

— Никому на свете, сэр, — ответил Роб, покачивая головой.

— Ни здесь, — сказал мистер Каркер, указывая на дом, откуда они только что вышли, — ни где бы то ни было. Я проверю, можешь ли ты быть преданным и благодарным. Я тебя испытаю!

Оскал зубов и движение головы помогли ему вложить в эти слова не только обещание, но и угрозу, после чего он отвернулся от Роба, чьи глаза были прикованы к нему, словно он приворожил и

душу и тело мальчика, и тронулся в путь. Но, отъехав на небольшое расстояние и снова убедившись, что его верный паж, подпоясанный так же, как и раньше, по-прежнему его сопровождает на потеху многочисленным прохожим, он остановил лошадь и приказал ему убираться восвояси. С целью убедиться в повиновении мальчика, он повернулся в седле и следил, как тот удаляется. Любопытно, что даже сейчас Роб не мог окончательно отвести глаз от патрона и, поминутно оглядываясь, чтобы посмотреть ему вслед, выносил бесконечные толчки и пинки от прохожих, но относился к ним, одержимый одной великой мыслью, совершенно равнодушно.

Мистер Каркер-заведующий ехал шагом с беззаботным видом человека, который удовлетворительно покончил со всеми делами этого дня и перестал о них думать. Благодушный и приветливый в высшей степени, мистер Каркер проезжал по улицам и тихонько напевал песенку. Он как будто мурлыкал: он был чрезвычайно доволен.

И вдобавок мистер Каркер, так сказать, нежилась мысленно у камина. Уютно свернувшись клубочком у чьих-то ног, он готов был сделать прыжок, растерзать, рвануть или погладить бархатной лапкой — в зависимости от собственного желания и обстоятельств. Нет ли какой-нибудь птички в клетке, которая требует его внимания?

«Очень молодая леди! — думал мистер Каркер-заведующий, напевая песенку. — Да! Когда я в последний раз ее видел, она была маленькой девочкой. Припоминаю, что у нее темные глаза и темные волосы и милое лицо, очень милое лицо! Пожалуй, она хорошенькая».

Еще более приветливый и любезный, напевая песенку, так что все его многочисленные зубы вибрировали ей в тон, мистер Каркер прокладывал себе дорогу и, наконец, свернул в темную улицу, где находился дом мистера Домби. Он так был занят, оплетая сетями милые лица и обволакивая их паутиной, что вряд ли думал о том, куда приехал, пока не окинул взглядом холодный ряд высоких домов и не остановил поспешно лошадь в нескольких ярдах от двери. Но дабы объяснить, почему мистер Каркер поспешно остановил лошадь и на что он взирал с немалым удивлением, необходимо слегка уклониться в сторону.

Мистер Тутс, освободившись от ига Блимберов и вступив во владение частью своего мирского богатства, «которую, — как имел он обыкновение в течение последнего своего полугодового искуса сообщать мистеру Фидеру каждый вечер, словно новое открытие, — которую душеприказчики не смогли у него отнять», принялся с великим усердием изучать науку жизни. Воодушевленный благородным стремлением сделать блестящую и славную карьеру, мистер Тутс мебелировал прекрасную квартиру, устроил в ней спортивный уголок, украшенный изображениями призовых лошадей, которыми он вовсе не интересовался, и диваном, который производил на него удручающее впечатление. В этом очаровательном убежище мистер Тутс посвятил себя изящным искусствам, возвышающим и облагораживающим жизнь; главным его наставником был примечательный субъект, по прозванию Бойцовый Петух, о коем всегда можно было услышать в таверне «Черный барсук» и который в самую жаркую погоду ходил в мохнатом белом пальто и три раза в неделю колотил мистера Тутса кулаками по голове, получая скромное вознаграждение — десять шиллингов шесть пенсов за визит.

Бойцовый Петух — настоящий Аполлон в Пантеоне мистера Тутса — представил ему маркера, обучавшего игре на бильярде, лейб-гвардейца, обучавшего фехтованию, содержателя конюшен, обучавшего верховой езде, корнуэльского джентльмена, постигшего все тайны гимнастики, и еще двух-трех друзей, не менее сведущих в изящных искусствах. Под их покровительством мистер Тутс не мог не делать быстрых успехов, и под их руководством он принялся за работу.

Но как бы это ни случилось, однако случилось так, что эти джентльмены еще не утратили блеска новизны, а мистер Тутс, сам не ведая причины, уже почувствовал смущение и беспокойство. Зерно его было с шелухой, которую даже Бойцовые Петухи не могли выклевать; мрачных великанов, вторгавшихся в его досуг, даже Бойцовые Петухи не могли сбить с ног. Казалось, ничто не влияло так благотворно на мистера Тутса, как беспрестанное посещение дома мистера Домби, где он оставлял свои визитные карточки. Ни один сборщик налогов в британских владениях — этой обширной территории, где никогда не заходит солнце и где сборщик налогов никогда не ложится спать⁷⁷ — не

⁷⁷ ...где сборщик налогов никогда не ложится спать... — Диккенс имеет в виду, что на территории Великобритании с ее колониями всегда где-нибудь светит солнце и происходит обычная дневная работа.

наносил визитов с большей регулярностью и настойчивостью, чем мистер Тутс.

Мистер Тутс никогда не поднимался наверх и всегда выполнял одну и ту же церемонию в дверях холла, разряженный специально для этой цели.

— О, с добрым утром! — такова была первая фраза мистера Тутса, обращенная к слуге. — Для мистера Домби, — была следующая фраза мистера Тутса, и он протягивал визитную карточку. — Для мисс Домби, — была следующая его фраза, и он протягивал вторую карточку.

Затем мистер Тутс поворачивался, как бы собираясь уйти, но слуга уже знал его и знал, что он не уйдет...

— Прошу прощения, — говорил мистер Тутс, как бы внезапно осененный одной мыслью. — Дома ли молодая особа?

Слуга полагал, что дома, но не был в этом уверен. Затем он дергал колокольчик, звонивший в верхнем этаже, смотрел на лестницу и говорил:

— Да, она дома и спускается сюда.

Затем появлялась мисс Нипер, а слуга удалялся.

— О! Как ваше здоровье? — говорил мистер Тутс, хихикая и краснея.

Сьюзен благодарила его и отвечала, что здорова.

— Как поживает Диоген? — гласил следующий вопрос мистера Тутса.

Право же, прекрасно. С каждым днем мисс Флоренс привязывается к нему все сильнее. Мистер Тутс неизбежно начинал хихикать, словно откупоривали бутылку, наполненную шипучим напитком.

— Мисс Флоренс здорова, сэр, — добавляла Сьюзен.

— О, это не имеет никакого значения, благодарю вас! — был неизменный ответ мистера Тутса; и, произнеся эти слова, он всегда спешил удалиться.

Несомненно, у мистера Тутса была на уме какая-то туманная мысль, побуждавшая его заключить, что, если удастся ему со временем получить руку Флоренс, он познает блаженство и счастье. Несомненно, мистер Тутс какими то окольными путями пришел к этому выводу и на нем остановился. Сердце его было ранено; он был потрясен, он был влюблен. Как-то вечером он сделал отчаянную попытку и просидел всю ночь, сочиняя акrostих в честь Флоренс, каковой замысел растрогал его до слез. Но он так и не продвинулся дальше слов «Фиал моей души», — тут его покинуло вдохновение, в порыве коего он предварительно написал начальные буквы остальных шести строк.

Измыслив этот хитроумный и ловкий прием — ежедневно оставлять мистеру Домби визитную карточку, — мозг мистера Тутса больше ничего не изобрел касательно предмета, пленившего его чувства. Но глубокомысленные размышления, наконец, убедили мистера Тутса в том, что весьма существенно было бы снискать расположение мисс Сьюзен Нипер, а затем намекнуть ей о своем душевном состоянии.

Легкое и шутовское ухаживание за этой леди, казалось, было тем способом, к которому следовало прибегнуть в этой начальной стадии романа, чтобы привлечь ее на свою сторону. Будучи не в силах принять окончательное решение, он посоветовался с Бойцовым Петухом, не посвящая сего джентльмена в свою тайну, но лишь уведомив его, что некий друг из Йоркшира написал ему (мистеру Тутсу), спрашивая его мнения об этом вопросе. Бойцовый Петух ответил, что его мнение всегда было таково — «Ступай и побеждай», и далее: «Когда противник перед тобой, а времени у тебя в обрез, ступай и действуй», после чего мистер Тутс принял эти слова за иносказательное подтверждение своей собственной точки зрения и героически решил поцеловать на следующий день мисс Нипер.

Итак, на следующий день мистер Тутс, надев чудеснейшие произведения, созданные Берджесом и Ко, отправился с этой целью к дому мистера Домби. Но когда он приблизился к месту действия, мужество ему изменило, и хотя он подошел к двери в три часа пополудни, было уже шесть, когда он постучал в дверь.

Все шло, как всегда, вплоть до того момента, когда Сьюзен сказала, что ее молодая хозяйка здорова, а мистер Тутс сказал, что это не имеет никакого значения. К ее изумлению, мистер Тутс вместо того чтобы вылететь после этих слов, как ракета, замялся и захихикал.

— Быть может, вам угодно подняться наверх, сэр? — спросила Сьюзен.

— Ну, что ж, пожалуй, я войду! — сказал мистер Тутс.

Но вместо того чтобы подняться наверх, дерзкий Тутс, когда дверь на улицу была закрыта,

неуклюже рванулся к Сьюзен и, обняв это прелестное создание, поцеловал ее в щеку.

— Проваливайте! — крикнула Сьюзен. — Не то я вам глаза выцарапаю!

— Еще разок! — сказал мистер Тутс.

— Убирайтесь отсюда! — воскликнула Сьюзен, отталкивая его. — Да еще такой блаженный, как вы! Дальше уж некуда! Проваливайте, сэр!

Сьюзен не считала опасность серьезной, ибо смеялась так, что едва могла говорить, но Диоген, на лестнице, слыша шорох у стены и шарканье ног и видя сквозь перила, что происходит борьба и кто-то чужой вторгся в дом, пришел к иному выводу, бросился на помощь и в одно мгновение вцепился в ногу мистеру Тутсу.

Сьюзен взвизгнула, захохотала, распахнула парадную дверь и побежала вниз; дерзкий Тутс, спотыкаясь, выбрался на улицу вместе с Диогеном, вцепившимся в панталоны, словно Берджес и Ко состояли у него в поварах и приготовили ему этот лакомый кусочек в виде праздничного угощения. Диоген, отброшенный в сторону, несколько раз перекувырнулся в пыли, снова вскочил, завертелся вокруг ошеломленного Тутса, намереваясь укубить его еще раз, а мистер Каркер, остановивший лошадь и державшийся поодаль, с великим изумлением наблюдал эту суматоху у двери величественного дома мистера Домби.

Мистер Каркер продолжал следить за потерпевшим поражение Тутсом, пока Диогена не позвали в дом и не захлопнули дверь, а мистер Тутс, приютившись в ближайшем подъезде, стал обвязывать разорванные панталоны дорогим шелковым носовым платком, который являлся дополнением к его пышному наряду, надетому для этого визита.

— Простите, сэр, — подъехав к нему, сказал мистер Каркер с любезнейшей улыбкой. — Надеюсь, вы не пострадали?

— О нет, благодарю вас, — ответил мистер Тутс, подняв раскрасневшееся лицо, — это не имеет никакого значения.

Мистер Тутс не прочь был прибавить, если бы только мог, что ему это очень понравилось.

— Если собака вцепилась зубами вам в ногу, сэр, — начал Каркер, показывая свои собственные зубы.

— Нет, благодарю вас, — сказал мистер Тутс, — все прекрасно. Все в полном порядке, благодарю вас.

— Я имею удовольствие быть знакомым с мистером Домби, — заметил Каркер.

— В самом деле? — отозвался зарумянившийся Тутс.

— Быть может, вы мне разрешите в его отсутствие, — сказал мистер Каркер, снимая шляпу, — извиниться за этот неприятный случай и полюбопытствовать, каким образом это могло произойти.

Мистер Тутс столь обрадован такой учтивостью и приятной возможностью заключить дружбу с другом мистера Домби, что достает бумажник с визитными карточками, воспользоваться которыми он не упускает случая, и вручает свое имя и адрес мистеру Каркеру; последний отвечает на эту любезность, дав ему в свою очередь визитную карточку, после чего они расстаются.

Засим мистер Каркер медленно проезжает мимо дома, посматривая на окна и стараясь разглядеть задумчивое лицо за занавеской, наблюдающее за детьми в доме напротив; лохматая голова Диогена появляется рядом с этим лицом, и собака, сколько ее ни успокаивают, лает, и ворчит, и рвется к мистеру Каркеру, словно готова броситься вниз и разорвать его в клочья.

Молодец, Ди, неразлучный со своей хозяйкой! Тявкни еще и еще разок, задрав голову, сверкая глазами и гневно разевая пасть, чтобы его схватить! Еще разок, пока он, не спеша, проезжает мимо! У тебя прекрасный нюх, Ди, — там кот, дружок, кот!

Глава XXIII

Флоренс одинока, а Мичман загадочен

Флоренс жила одна в большом мрачном доме, и день проходил за днем, а она по-прежнему жила одна; и голые стены смотрели на нее безучастным взглядом, словно, уподобляясь Горгоне, они приняли решение обратить молодость ее и красоту в камень.

Ни один волшебный дом в волшебной сказке, затерянный в чаще дремучего леса, никогда не

рисовался бы нашему воображению более уединенным и заброшенным, чем этот реально существовавший дом ее отца, мрачно глядевший на улицу; по вечерам, когда светились соседние окна, он был темным пятном на этой скудно освещенной улице; днем — морщиной на ее никогда не улыбающемся лице.

У врат этого жилища не было двух драконов на страже, которые в волшебной легенде обычно стерегут находящуюся в заключении оскорбленную невинность; но не говоря уже о злобной физиономии с гневно раздвинутыми тонкими губами, которая взирала с арки над дверью на всех проходящих, здесь была чудовищная, фантастическая ржавая железная решетка, извивающаяся и искривленная, словно окаменевшее дерево у входа, расцветающая копиями и винтообразными острями и украшенная с обеих сторон двумя зловещими гасильниками, которые как будто говорили: «Забудьте о свете все входящие сюда».⁷⁸ Никаких кабалистических знаков не было выгравировано на портале, и все же дом казался таким заброшенным, что мальчишки рисовали мелом на изгороди и тротуаре, в особенности за углом, где была боковая стена, и малевали чертей на воротах конюшни, а так как их иной раз прогонял мистер Таулинсон, они в отместку рисовали его портрет с горизонтально торчащими из-под шляпы ушами. Шум замирал под сенью этой крыши. Духовой оркестр, появлявшийся на улице раз в неделю по утрам, никогда не издавал ни звука под этими окнами; и все подобного рода бродячие музыканты, вплоть до шарманщика с бедной маленькой писклявой слабоумной шарманкой с глупейшими танцорами-автоматами, вальсирующими и раздвижных дверях, как будто сговорившись, обходили этот дом и избегали его, как место безнадежное.

Чары, лежавшие на нем, были более разрушительны, чем те, что на время погружали в сон заколдованные замки, но в момент пробуждения в них жизни покидали их, не причинив никакого вреда.

Унылое запустение безмолвно свидетельствовало об этом на каждом шагу. Портьеры в комнатах, грузно обвисая, утратили прежнюю свою форму и висели, как тяжелые гробовые покровы. Гекатомбы мебели, по-прежнему нагроможденной в кучи и сверху прикрытой, съезжились, как заключенные в темницу и забытые в ней люди, и мало-помалу меняли своей облик. Зеркала потускнели, словно от дыхания лет. Рисунок ковров поблек и стал туманным, как память о незначительных событиях этих лет. Доски, вздрагивая от непривычных шагов, скрипели и дрожали. Ключи ржавели в замочных скважинах. Сырость показалась на стенах, и по мере того, как проступали пятна, картины как будто отступали вглубь и прятались. Гниль и плесень завелись в чуланах. Грибы росли в углах погребов. Пыль накапливалась, неведомо откуда и как появившись, о пауках, моли и мушиных личинках разговор шел ежедневно. Любознательного черного таракана частенько находили на лестнице или в верхнем этаже, неподвижного, словно недоумевающего, как он сюда попал. Крысы в ночную пору поднимали писк и возню в темных галереях, прорытых ими за панелью.

Мрачное великолепие парадных комнат, смутно видимых в неверном свете, пробивающемся сквозь закрытые ставни, только укрепляло представление о зачарованном жилище. Львиные лапы, покрытые потускневшей позолотой, украдкой высывались из-под чехлов; очертания мраморных бюстов зловеще обрисовывались сквозь покрывала; часы никогда не шли, а если случайно их заводили, шли неправильно и били неземной час, которого нет на циферблате; неожиданное позвякивание люстр пугало сильнее, чем набат; приглушенные звуки и ленивые струи воздуха обтекали эти предметы и призрачное сборище других вещей, покрытых саванами и чехлами и принявших фантастические формы. Но помимо всего прочего, была здесь большая лестница, где так редко ступала нога хозяина дома и по которой поднялся на небо его маленький сын. Были здесь и другие лестницы и коридоры, по которым никто не ходил неделями; были две запертые комнаты, связанные с умершими членами семьи и с воспоминаниями о них, шепотом передававшимися; и все в доме, кроме Флоренс, видели нежную фигуру, скользящую в уединении и мраке, которая своим присутствием вызывала интерес и любопытство к неодушевленным вещам.

Ибо Флоренс жила одна в заброшенном доме, и день проходил за днем, а она по-прежнему жила одна, и холодные стены смотрели на нее безучастным взглядом, словно, уподобляясь Горгоне, они

⁷⁸ «Забудьте о свете все входящие сюда» — парафраза надписи над вратами ада в «Божественной комедии» Данте: «Оставь надежду всяк сюда входящий».

приняли решение обратить молодость ее и красоту в камень.

Трава начала прорасти на крыше и в трещинах фундамента. Мох пятнами растекался по подоконникам. Куски известки отваливались от стенок бездействовавших дымоходов и летели вниз. Верхушки двух деревьев с закопченными стволами засохли, и голые сучья торчали над листвой. Во всем доме белое стало желтым, а желтое — почти черным; и после кончины бедной леди дом постепенно превращался в какое-то темное пятно на длинной скучной улице.

Но Флоренс цвела здесь, как прекрасная дочь короля в сказке. Книги, музыка и ежедневно приходившие учителя были единственным ее обществом, если не считать Сьюзен Нипер и Диогена, из коих первая, присутствуя на уроках своей молодой хозяйки, сама делалась не на шутку ученой, а второй, поддавшись, быть может, тому же смягчающему воздействию, клал голову на подоконник и в летние утра безмятежно смотрел на улицу, то открывая, то закрывая глаза; иногда наострял уши, бросая многозначительный взгляд вслед какой-нибудь беспокойной собаке, запряженной в тележку и лаявшей не переставая, а иногда, охваченный гневным и безотчетным воспоминанием о враге, который мерещился ему где-то по соседству, бросался к двери, откуда после шумной возни возвращался рысцой, со свойственным ему забавным благодушием, и снова клал морду на подоконник, а вид у него был такой, будто он оказал услугу обществу.

Так жила Флоренс в своем пустынном доме, отдаваясь невинным занятиям и мыслям, и ничто не нарушало ее покоя. Теперь она могла спускаться в комнаты отца и думать о нем и смиренно льнуть к нему своим любящим сердцем, не боясь быть отвергнутой. Она могла смотреть на вещи, окружавшие его в скорби, и могла прикорнуть у его кресла и не страшиться того взгляда, который так хорошо запомнила. Она могла оказывать ему маленькие знаки внимания и заботы — собственноручно приводить для него все в порядок, ставить букетики на письменный стол, заменять их новыми, так как они засыхали один за другим, а он все не возвращался, ежедневно готовить что-нибудь для него и робко оставлять возле обычного его места какую-нибудь вещь, напоминающую о ее присутствии. Сегодня это была раскрашенная подставочка для его часов; завтра она боялась оставить ее здесь и приносила какую-нибудь другую безделушку собственного изделия, которая меньше бросалась в глаза. Быть может, просыпаясь среди ночи, она вздрагивала при мысли о том, что он вернется и сердито отшвырнет безделушку; и в туфлях на босу ногу, с сильно бьющимся сердцем, бежала вниз и забирала ее. Иногда она только прижималась лицом к его письменному столу и оставляла на нем слезу и поцелуй.

По-прежнему никто об этом не знал. Если слуги не обнаружили этого во время ее отсутствия — а все они относились к комнатам мистера Домби с благоговейным ужасом, — тайна была так же сокрыта в ее груди, как и то, что тайне предшествовало. Флоренс прокрадывалась в комнаты отца в сумерках, рано утром и в те часы, когда прислуга обедала или ужинала внизу. И хотя каждый уголок в них делался красивее и веселее благодаря ее заботам, она входила и выходила бесшумно, как солнечный луч, с тою лишь разницей, что оставляла за собою свет.

Призраки сопровождали Флоренс в ее блужданиях по гулкому дому и сидели с нею в опустевших комнатах. Жизнь ее была как бы волшебным видением, ее одиночество рождало мысли, способствовавшие тому, что эта жизнь становилась фантастическою и нереальною. Она так часто мечтала о том, как сложилась бы ее жизнь, если бы отец мог ее полюбить, что иногда на секунду почти верила в это и, отдавшись полету фантазии, казалось, вспоминала, как они вместе оберегали могилу ее брата, как беззаветно разделили между собой его сердце, как их соединило дорогое воспоминание о нем; как часто они беседуют о нем и как добрый отец, глядя на нее ласково, говорит об их общей надежде и уповании на бога. Случалось — она воображала, будто ее мать жива. О, счастье — броситься ей на шею и прильнуть к ней всей любящей и доверчивой душой! И снова уныние заброшенного дома, когда надвигается вечер и нет никого!

Но была одна мысль, вряд ли ясная для нее самой, но упорная, которая поддерживала Флоренс в ее усилиях и укрепляла постоянством цели ее преданное юное сердце, подвергавшееся столь жестоким испытаниям. К ней в душу, как и в души тех, кого заставляют страдать тяжкие несчастья, связанные с нашей смертной природой, закрались торжественные надежды, возникшие в туманном мире за пределами этой жизни, и, словно тихая музыка, нашептывали они о встрече ее брата с матерью в той далекой стране, о том, что оба они помнят о ней, нашептывали о том, что они любят ее и ей сочувствуют, и о том, что им известно, как она проходит свой земной путь. Для Флоренс сладким

утешением было отдаваться этим мыслям вплоть до того дня, когда ей пришло в голову — это случилось вскоре после того, как она в последний раз видела отца у него в комнате, поздней ночью, — когда ей пришло в голову, что, тоскуя по его сердцу, для нее закрытому, она может восстановить против него души умерших. Может быть, безумно, нелепо, ребячливо было так думать и дрожать от полуосознанной мысли, но в этом сказалась ее любящая натура; и с того часа Флоренс старалась залечить жестокую рану в груди и думать только с надеждой о человеке, чья рука нанесла эту рану.

Отец не знал — с той поры она убедила себя в этом, — как сильно она его любит. Она была очень молода, у нее не было матери, и ей было неведомо — либо по своей вине, либо по вине случая, — как открыть ему, что она его любит. Она будет терпеливой, постарается овладеть со временем этим искусством и достигнуть того, чтобы он лучше узнал свое единственное дитя.

Это стало целью ее жизни. Утреннее солнце освещало поблекший дом и встречало в душе его одинокой хозяйки это решение по-прежнему ярким и свежим. Это решение воодушевляло ее во всех повседневных занятиях; ибо Флоренс надеялась, что чем больше знаний она приобретает, тем приятнее будет отцу, когда он узнает ее и полюбит. По временам с тоскою и со слезами она сомневалась, преуспела ли она хоть в чем-нибудь настолько, чтобы радостно удивить его, когда они станут друзьями. Иногда она старалась угадать, нет ли такой отрасли знания, которая может заинтересовать его больше, чем другие. И всегда, за книгами, нотами, рукоделием, во время утренних прогулок и вечерних молитв, она видела перед собой свою всепоглощающую цель. Странное занятие для ребенка — изучать путь к сердцу жестокого отца.

Когда летние сумерки сгущались в ночь, по улице проходило много беззаботных пешеходов, которые смотрели с противоположной стороны улицы на мрачный дом и видели в окне юную фигуру, столь не вязавшуюся с этим домом; ее глаза были устремлены на загорающиеся звезды, и беспокоен был бы сон прохожих, если бы они знали, о чем она так упорно размышляет. Репутация дома, якобы посещаемого привидениями, не улучшилась бы у тех робких обывателей, которых поражал его мрачный вид, если бы они могли прочесть его историю на хмуром фасаде, когда они проходили мимо, занятые повседневными своими делами и опасливо оглядываясь. Но Флоренс преследовала свою священную цель, о которой никто не подозревал и в достижении которой никто ей не помогал; она думала только о том, как заставить отца понять, что она его любит, и ни на мгновение даже в мыслях его не упрекала.

Так жила Флоренс одна в заброшенном доме, и день проходил за днем, а она по-прежнему жила одна, и скучные стены смотрели на нее безучастным взглядом, словно, уподобляясь Горгоне, они приняли решение обратить молодость ее и красоту в камень.

Как-то утром Сьюзен Нипер стояла перед своей молодой хозяйкой, которая складывала и запечатывала написанное ею письмо, и всем своим видом показывала, что она знает и одобряет его содержание.

— Лучше поздно, чем никогда, дорогая мисс Флоренс, — сказала Сьюзен, — и, по моему мнению, даже визит к этим старым Скетлсам будет даром небесным.

— Очень мило со стороны сэра Барнста и леди Скетлс, Сьюзен, — отозвалась Флоренс, мягко поправляя фамильярное замечание этой молодой леди по адресу упомянутого семейства, — с такою любезностью возобновить приглашение.

Мисс Нипер, которая была, вероятно, самой фанатической особой в мире и вносила свои страсти во все дела, большие и малые, постоянно объявляя войну обществу, поджала губы и покачала головой, как бы выражая протест против любого намека на бескорыстие Скетлсов и готовность доказать на суде, что за свою любезность они будут щедро вознаграждены присутствием Флоренс.

— Уж они-то знают, что делают! — пробормотала мисс Нипер, втягивая носом воздух. — Можете не сомневаться в Скетлсах!

— По правде говоря, Сьюзен, мне не особенно хочется ехать в Фулем, — задумчиво промолвила Флоренс, — но следовало бы съездить. Пожалуй, так будет лучше.

— Гораздо лучше, — вставила Сьюзен, снова выразительно качнув головой.

— И хотя, — продолжала Флоренс, — я бы предпочла поехать, когда там никого нет, а не теперь, во время вакаций, когда в доме гостит молодежь, все-таки я с благодарностью приняла приглашение.

— А я скажу на это, мисс Флой: веселитесь! — отвечала Сьюзен. — Ах, цербер!

Это последнее восклицание, которым мисс Нипер в ту пору частенько заканчивала фразы, относилось, по предположениям лиц, обитавших ниже уровня холла, к мистеру Домби и выражало страстное желание мисс Нипер высказать сему джентльмену благосклонное свое мнение о нем. Она никогда не объясняла этого восклицания, и, стало быть, в нем была прелесть тайны, не говоря уже о чрезвычайной выразительности.

— Как долго нет никаких известий об Уолтере, Сьюзен! — помолчав, заметила Флоренс.

— Долго, мисс Флой! — отозвалась ее служанка. — А Перч, — он только что приходил сюда за письмами... но какое значение имеет, что он говорит! — воскликнула Сьюзен, покраснев и замявшись. — Много он знает!

Флоренс быстро подняла глаза, и румянец залил ее лицо.

— Если у меня, — сказала Сьюзен Нипер, явно преодолевая какое-то тайное беспокойство и тревогу, глядя в упор на свою молодую хозяйку и в то же время стараясь раздуть в себе гнев при воспоминании о безобидном мистере Перче, — если у меня не больше мужества, чем у этого глупейшего из мужчин, я готова впредь никогда не гордиться своими волосами, заложить их за уши и носить простой чепец без всяких оборок, пока смерть не избавит меня от моего ничтожества. Я, быть может, не амазонка, мисс Флой, и не хотела бы так себя уродовать, но во всяком случае, надеюсь, я не из тех, кто отчаивается.

— Отчаивается! В чем? — в ужасе воскликнула Флоренс.

— Да ни в чем, мисс, — сказала Сьюзен. — Ах, боже мой, ни в чем! Все дело только в этой козьяке, Перче, которого всякий может раздавить одним пальцем, и, право же, это было бы счастьем для всех, если бы кто-нибудь над ним сжалился и оказал ему эту услугу.

— В чем он отчаивается? Корабль погиб, Сьюзен? — сильно побледнев, спросила Флоренс.

— Нет, мисс, — ответила Сьюзен. — Посмел бы он только сказать мне это в лицо! Нет, мисс, но он бормочет что-то о дурацком имбире, который мистер Уолтер должен был прислать миссис Перч, и печально покачивает головой и выражает надежду, что, может быть, имбирь еще будет получен, но, во всяком случае, говорит, теперь уж он никак не успеет к сроку, но может пригодиться к следующему разу, и, право же, — продолжала мисс Нипер с гневным презрением, — этот человек выводит меня из терпения, потому что хотя я и много могу вынести, но я не верблюд и, насколько мне известно, — минутку подумав, добавила Сьюзен, — не дромадер.

— Что он еще говорит, Сьюзен? — с беспокойством спросила Флоренс. — Вы мне расскажете?

— Да как бы я могла не рассказать вам все до последнего слова, мисс Флой! — сказала Сьюзен. — Так вот, мисс, он говорит, что уже болтают об этом корабле, и что не бывало еще случая, чтобы о корабле, пустившемся в такое плавание, так долго не было никаких известий, и что жена капитана заходила вчера в контору и казалась немного встревоженной, но ведь это всякий мог бы сказать, мы это и раньше знали.

— Перед отъездом я должна навестить дядю Уолтера, Сьюзен, — быстро сказала Флоренс. — Надо повидаться с ним сегодня утром. Пойдемте сейчас же, Сьюзен!

Так как мисс Нипер не нашла никаких возражений против этого предложения и вполне его одобрила, они быстро собрались в путь, вышли на улицу и направились к Маленькому Мичману.

То состояние духа, в каком бедный Уолтер шел к капитану Катлю в день, когда вексель попал к маклеру Броли и когда приказ о наложении ареста мерещился ему даже на церковных шпилях, очень напоминало состояние Флоренс, которая шла сейчас к дяде Солю; разница была лишь в том, что Флоренс страдала еще сильнее при мысли, не была ли она сама виновницей опасностей, обрушившихся на Уолтера, и мучительной тревоги у всех, кому он был дорог, в том числе и у нее самой. Мерещилось ей, что все возвещает неуверенность и беспокойство. Флюгеры на шпилях и крышах таинственно намекали на шторм и, словно призрачные пальцы, указывали на гибельные волны, где, быть может, плавали обломки потерпевших крушение судов, и на них убаюкивались беспомощные люди, погружаясь в сон, такой же глубокий, как бездонные воды. Когда Флоренс добралась до Сити и проходила мимо беседующих между собою джентльменов, она боялась услышать, что они говорят о корабле и сообщают о его гибели. Суда на картинах и гравюрах, борющиеся с набегающими волнами, приводили ее в ужас. Дым и облака, хотя и плывшие медленно, плыли слишком быстро, по мнению встревоженной Флоренс, и вызывали опасение, что в этот момент буря бушует в океане.

Неизвестно, была ли Сьюзен Нипер так же взволнована, но поскольку внимание ее было со-

средоточено на стычках с мальчишками всякий раз, как им приходилось пробиваться в толпе, — ибо между нею и этой разновидностью человечества существовала врожденная антипатия, которая неизменно давала о себе знать, когда бы им ни случилось столкнуться, — вряд ли у нее оставалось время для каких-либо умствований.

Поравнявшись с Деревянным Мичманом, стоявшим на противоположной стороне, и стараясь улучшить момент, чтобы перейти улицу, они в первую минуту удивились: у двери старого мастера они увидели круглоголового мальчишку с толстой физиономией, обращенной к небу, который, пока они смотрели на него, неожиданно засунул в свой огромный рот по два пальца каждой руки и с помощью такого приспособления, приманивая высоко летавших голубей, издал на редкость пронзительный свист.

— Старший сын миссис Ричардс, мисс, — сказала Сьюзен, — и крест ее жизни!

Полли заходила поведать Флоренс о воскресших надеждах на своего сына и наследника, и потому Флоренс была подготовлена к этой встрече; итак, воспользовавшись удобной минутой, они обе перебежали улицу, не обращая больше внимания на мучителя миссис Ричардс. Этот любитель спорта, не ведая об их приходе, снова издал свист еще громче, а потом заорал вне себя от возбуждения: «Бродяги! Го-о-оп! Бродяги!», каковое обращение столь подействовало на совестливых голубей, что, раздумав лететь прямехонько в какой-нибудь город на севере Англии, — а таково было, по-видимому, первоначальное их намерение, — они стали кружиться и замедлять лет, после чего первенец миссис Ричардс снова пронзил их свистом и заорал, заглушая уличный шум: «Бродяги! Го-о-оп! Бродяги!»

Из этого восторженного состояния он был неожиданно выведен и возвращен на землю тычком мисс Нипер, впихнувшей его в лавку.

— Так вот как ты раскаиваешься! А миссис Ричардс терзалась из-за тебя столько месяцев! — сказала Сьюзен, входя вслед за ним. — Где мистер Джилс?

Роб, бросив возмущенный взгляд на мисс Нипер, смягчился при виде вошедшей Флоренс, поднес пальцы к волосам, приветствуя последнюю, и сказал первой, что мистера Джилса нет дома.

— Приведи его домой, — повелительно сказала мисс Нипер, — и передай ему, что здесь моя молодая леди.

— Я не знаю, куда он пошел, — сказал Роб.

— Так вот как ты раскаиваешься! — воскликнула Сьюзен с язвительным упреком.

— Ну, как же я могу пойти и привести его, если не знаю, куда идти? — захныкал затравленный Роб. — Можно ли быть такой неразумной!

— Мистер Джилс сказал, когда он вернется? — спросила Флоренс.

— Да, мисс, — отвечал Роб, снова прикладывая пальцы к волосам. — Он сказал, что будет дома сейчас же после полудня; часа через два, мисс.

— Он очень беспокоится о своем племяннике? — осведомилась Сьюзен.

— Да, мисс, — отозвался Роб, предпочитая обращаться к Флоренс и пренебрегая Нипер. — Я бы сказал, что он беспокоится, очень беспокоится. Он и четверти часа не проводит дома, мисс. Пяти минут не может посидеть на месте. Он слоняется, как... ну, совсем как бродяга, — сказал Роб, наклонившись, чтобы посмотреть в окно на голубей, и уже поднес было пальцы ко рту, собираясь свистнуть, но вовремя удержался.

— Вы знаете друга мистера Джилса, которого зовут капитан Катль? — осведомилась Флоренс после недолгого раздумья.

— Того, что с крючком, мисс? — откликнулся Роб, выразительно согнув левую руку. — Да, мисс. Он здесь был третьего дня.

— А с тех пор не бывал? — спросила Сьюзен.

— Нет, мисс, — ответил Роб, по-прежнему обращаясь к Флоренс.

— Быть может, Сьюзен, дядя Уолтера пошел туда, — сказала Флоренс, обращаясь к ней.

— К капитану Катлю, мисс? — вмешался Роб. — Нет, мисс, он не туда пошел. Он приказал передать капитану Катлю, если тот зайдет, как он удивлен, что капитана не было вчера, и просил, чтобы капитан Катль подождал здесь, пока он вернется.

— Вы знаете, где живет капитан Катль? — спросила Флоренс.

Роб ответил утвердительно и, обратившись к засаленной пергаментной книге, лежавшей на

конторке, вслух прочел адрес.

Флоренс снова повернулась к своей служанке и начала совещаться с ней вполголоса, а круглоглазый Роб, памятуя о тайном приказе своего патрона., смотрел и слушал. Флоренс предложила отправиться к капитану Катлю, узнать от него самого, как он относится к отсутствию известий о «Сыне и наследнике», и если удастся, то привести его сюда, чтобы утешить дядю Соля. Сначала Сьюзен слегка возражала, ссылаясь на большое расстояние; но когда ее хозяйка упомянула о наемной карете, она взяла назад свое возражение и дала согласие. Разговор продолжался несколько минут, прежде чем они пришли к такому заключению, а в это время таращивший глаза Роб внимательно следил за обеими собеседницами и прислушивался то к одной, то к другой, словно его назначили быть судьей в споре.

Наконец Роб был послан за каретою, а посетительницы остались в лавке; когда он вернулся, они сели в экипаж, наказав передать дяде Солю, что непременно заглянут к нему на обратном пути. Роб, провожавший взглядом карету, пока она не скрылась из виду, как скрылись и голуби, с сосредоточенным видом уселся за конторку и, дабы сохранить в памяти все, что произошло, записал это на маленьких клочках бумаги, не скупясь на чернила. Можно было не опасаться, что эти документы выдадут что бы то ни было, если случайно будут потеряны, ибо задолго до того, как просыхали чернила, слова превращались для Роба в непроницаемую тайну, словно он ни малейшего участия не принимал в их написании.

Пока он был поглощен этой работой, наемная карета, преодолев неслыханные препятствия в виде разводных мостов, немощеных улиц, непроезжих каналов, караванов бочек, огородов, засаженных бобами, маленьких прачечных и других подобных препон, коими изобилует эта местность, остановилась на углу Бриг-Плейс. Выйдя здесь из кареты, Флоренс и Сьюзен Нипер пошли по улице, отыскивая обитель капитана Катля.

К несчастью, случилось так, что в этот день у миссис Мак-Стинджер происходила генеральная уборка. В такие дни миссис Мак-Стинджер пробуждал ото сна полисмен, стучавший в дверь без четверти три утра, а она редко ложилась спать раньше двенадцати часов ночи. Главная цель этой процедуры заключалась, по-видимому, в том, что на рассвете миссис Мак-Стинджер выносила всю мебель в садик, весь день слонялась по дому в патенах⁷⁹, а в сумерки снова вносила мебель в дом. Эта церемония приводила в великий трепет голубят — юных Мак-Стинджеров, которым в таких случаях не только некуда было ступить, но и обычно доставалось немало ударов клювом от родительницы, пока продолжался торжественный обряд.

В тот момент, когда Флоренс и Сьюзен Нипер появились у двери миссис Мак-Стинджер, сия достойная, но грозная особа тащила по коридору Александра Мак-Стинджера — двух лет и трех месяцев от рождения — дабы насильно поместить его в сидячем положении на тротуаре; лицо у Александра почернело, ибо он задыхался после заслуженного наказания, а в таких случаях холодная тротуарная плита обычно оказывалась прекрасным средством для восстановления сил.

Чувства миссис Мак-Стинджер, как женщины и матери, были оскорблены, когда она подметила сострадательный взгляд Флоренс, обращенный на Александра. Посему миссис Мак-Стинджер, отдавая предпочтение этим благороднейшим побуждениям нашей природы перед нездоровым желанием удовлетворить любопытство, встряхнула Александра и надавала ему пощечин еще до применения тротуарной плиты, а также и во время оно и никакого внимания не обратила на посторонних.

— Простите, сударыня, — сказала Флоренс, когда ребенок снова обрел дыхание и начал им пользоваться. — Это дом капитана Катля?

— Нет, — сказала миссис Мак-Стинджер.

— Это не девятый номер? — нерешительно спросила Флоренс.

— Кто говорит, что это не девятый номер? — возразила миссис Мак-Стинджер.

Сьюзен Нипер тотчас вмешалась и попросила объяснить, что хочет сказать миссис Мак-Стинджер, и известно ли ей, с кем она разговаривает.

Миссис Мак-Стинджер в отместку смерила ее взглядом.

⁷⁹ *Патены* — деревянные подошвы с железным ободком, прикрепляемые ремешками к башмакам; во времена Диккенса заменяли калоши.

— Хотела бы я знать, что вам нужно от капитана Катля? — сказала миссис Мак-Стинджер.

— Хотели бы? В таком случае сожалею о том, что ваше любопытство не будет удовлетворено, — отрезала мисс Нипер.

— Тише, Сьюзен, прошу вас! — сказала Флоренс. — Быть может, сударыня, вы будете так любезны и сообщите нам, где живет капитан Катль, раз он живет не здесь.

— Кто говорит, что он живет не здесь? — возразила неумолимая Мак-Стинджер. — Я сказала, что это не дом капитана Катля, и это не его дом; и сохрани бог, чтобы он когда-нибудь стал его домом, потому что капитан Катль не умеет управляться с домом и не заслуживает иметь дом, — это мой дом; а если я сдаю верхний этаж капитану Катлю, то никакой благодарности я от него не вижу и мечу бисер перед свиньей.

Делая эти замечания, миссис Мак-Стинджер повысила голос, имея в виду окна верхнего этажа, и резко выпаливала каждое обвинение, словно из ружья с великим множеством стволов. Когда прозвучал последний выстрел, послышался голос капитана, слабо протестующего из своей комнаты:

— Тише там, внизу!

— Если вам нужен капитан Катль, вон он! — сказала миссис Мак-Стинджер, сердито махнув рукой.

Когда Флоренс без дальнейших разговоров отважилась войти, а Сьюзен последовала за нею, миссис Мак-Стинджер вновь начала прогуливаться в своих патенах, а Александр Мак-Стинджер (по-прежнему на тротуарной плите), который замолк было, прислушиваясь к беседе, заревел снова, развлекаясь во время этой мрачной процедуры, прodelываемой совершенно машинально, созерцанием улицы с наемною каретой в конце ее.

Капитан сидел в своей комнате, засунув руки в карманы и подобрав ноги под стул, на очень маленьком пустынном островке среди океана мыльной воды. Окна у капитана были вымыты, стены вымыты, печка вычищена, и все, кроме печки, было мокрым и блестящим от песка и жидкого мыла, а воздух насыщен запахом этого москательного товара. Среди такого унылого пейзажа капитан, выброшенный на свой остров, скорбно созерцал водное пространство и как будто ждал, что подплывет какой-нибудь спасительный барк и заберет его.

Нет слов, чтобы описать изумление капитана, когда он, обратив растерянную физиономию к двери, увидел Флоренс, появившуюся со своей служанкой. Так как красноречивая миссис Мак-Стинджер заглушила все прочие звуки, он подждал гостя не более редкого, чем слуга из трактира или молочник; и теперь, когда появилась Флоренс и, подойдя к границам острова, подала ему руку, капитан вскочил, пораженный ужасом, словно предположил на секунду, что перед ним находится какой-нибудь юный член семьи Летучего Голландца⁸⁰.

Однако самообладание тотчас же к нему вернулось, и первой заботой капитана было переправить ее на сушу, что он благополучно и совершил одним движением руки. Выйдя затем в открытое море, капитан Катль обхватил за талию мисс Нипер и перенес также и ее на остров. Затем капитан Катль с великим уважением и восторгом поднес руку Флоренс к своим губам и, отступив немного (ибо остров был недостаточно велик для троих), обратился к ней сияющую физиономию, поднимаясь над мыльной водой словно новая разновидность Тритона.

— Конечно, вы удивлены, видя нас здесь, — с улыбкой сказала Флоренс.

Бесконечно ошастливленный капитан в ответ поцеловал свой крючок и пробормотал, словно эти слова были изысканным и утонченным комплиментом:

— Держись крепче!

— Но я не была бы спокойна, — продолжала Флоренс, — если бы не узнала от вас, что вы думаете о милом Уолтере — теперь он мне брат, — и есть ли основания бояться за него, и будете ли вы ежедневно навещать и утешать его бедного дядю, пока мы не получим известий об Уолтере?

При этих словах капитан Катль как бы машинально схватился рукой за голову, на которой не было жесткой глянцевиной шляпы, и пришел в смущение.

⁸⁰ *Летучий Голландец* — голландский капитан ван Стратен, герой легенды, обреченный за свои грехи вечно плавать по морям; встреча с Летучим Голландцем предвещала, по преданию, гибель кораблям, если последние продолжали идти своим курсом.

— Вы боитесь за Уолтера? — спросила Флоренс капитана, который не мог глаз отвести от ее лица (так был он им восхищен), тогда как она в свою очередь смотрела на него пристально, желая увериться в искренности его ответа.

— Нет, Ограда Сердца, — сказал капитан Катль, — я не боюсь! Такой мальчик, как Уольр, выдержит немало бурь. Такой мальчик, как Уольр, принесет счастье этому самому бригу. Уольр, — продолжал капитан, и глаза его заблестели, когда он хвалил своего молодого друга, а крючок поднялся, предвещая прекрасное изречение, — Уолтер — это) как говорится, внешнее и видимое знамение внутренней и духовной силы, а когда найдете это место — отметьте.

Флоренс, которая не совсем поняла изречение, хотя капитан, по-видимому, считал его полным глубокого смысла и весьма многозначительным, кротко смотрела на него, ожидая продолжения.

— Я не боюсь, Отрада моего Сердца, — повторил капитан. — Штормы в тех широтах на редкость сильные, этого нельзя отрицать, и, быть может, их относило, относило и загнало на другой конец света. Но судно надежное, и мальчик надежный, и, слава богу — капитан отвесил поклон, — не так-то легко разбить сердца из дуба, находятся ли они на бриге или в груди. У нас имеются и те и другие, а это обещает благополучный исход, и потому пока я ничуть не боюсь.

— Пока? — повторила Флоренс.

— Ничуть, — отвечал капитан, целуя свою железную руку, — а прежде чем я начну бояться, Отрада моего Сердца, Уольр нам напишет с острова или из какого-нибудь порта, и все придет в полный порядок и исправность. Что же касается старого Соля Джилса, — тут капитан заговорил торжественно, — которого я буду крепко поддерживать и не покину, пока смерть нас не разлучит, и когда буйный ветер дует, дует, дует⁸¹ — перелистайте катехизис (вставил в скобках капитан), и там вы найдете эти слова, — если для Соля Джилса будет утешением выслушать мнение моряка, у которого хватит ума справиться с любым делом, какое он вздумает взять на бордаж, и которому чуть голову не проломили в годы ученья, и чье имя Бансби, так этот самый человек выскажет ему у него же в гостиную такое мнение, что совсем его оглушит. Да! — хвастливо заметил капитан Катль. — Оглушит так, как если бы его ударили головой об дверь!

— Приведем к нему этого джентльмена и послушаем, что он нам скажет! — воскликнула Флоренс. — Не поедете ли вы сейчас с нами? Нас ждет карета.

Снова капитан схватился рукой за голову, на которой не было жесткой глянцевиной шляпы, и пришел в смущение. Но в этот самый момент случилось в высшей степени замечательное событие. Дверь открылась без всяких предупреждений и, по-видимому, сама собой; упомянутая жесткая глянцевиная шляпа влетела в комнату, как птица, и тяжело опустилась у ног капитана. Затем Дверь хлопнулась так же быстро, как распахнулась, и никаких объяснений этого чуда не последовало.

Капитан Катль поднял свою шляпу и, осмотрев ее с любопытством и удовольствием, начал вытирать рукавом. Занимаясь этим делом, капитан зорко взглянул на своих посетительниц и сказал вполголоса:

— Видите ли, я хотел нестись к Солю Джилсу на всех парусах вчера и сегодня утром, но она... она унесла ее и спрятала. Вот в чем дело.

— Господи помилуй, кто же это сделал? — спросила Сьюзен Нипер.

— Хозяйка дома, дорогая моя, — хриплым шепотом ответил капитан, знаком предлагая соблюдать осторожность. — Мы с ней поспорили из-за мытья шваброй вот этой палубы, а она... — сказал капитан, посматривая на дверь и испуская протяжный вздох, — короче говоря, она лишила меня свободы.

— О! Хотела б я, чтобы она имела дело со мной! — воскликнула Сьюзен, раскрасневшись от возбуждения. — Я бы ей показала!

— Думаете, что показали бы, дорогая моя? — отозвался капитан, недоверчиво покачивая головой, но явно восхищаясь отчаянной храбростью непреклонной красавицы. — Не знаю. Плавание трудное. С нею очень нелегко справиться, дорогая моя. Никогда, знаете ли, не угадаешь, какой курс она возьмет. Сейчас она идет круто к ветру, а через минуту делает поворот на вас. А уж если ею

⁸¹ ...буйный ветер дует, дует, дует... — строка, принадлежащая известному шотландскому порту Томасу Кемпбеллу (1777—1844).

овладеет... — продолжал капитан, и на лбу у него выступил пот. Только свистом можно было энергически закончить фразу, и потому капитан нерешительно свистнул. После этого он опять покачал головой и, снова восхищенный безумной смелостью мисс Нипер, робко повторил: — Думаете, что показали бы, дорогая моя?

Сьюзен ответила только сдержанной улыбкой, но такой вызывающей, что трудно сказать, как долго упивался бы ее созерцанием капитан Катль, если бы Флоренс, охваченная тревогой, не повторила своего предложения отправиться немедленно к оракулу Бансби. После такого напоминания о долге капитан Катль плотно нахлобучил глянцевою шляпу, взял другую сучковатую палку, которой заменил подаренную Уолтеру, и, предложив руку Флоренс, приготовился прорваться сквозь вражеский строй.

Однако случилось так, что миссис Мак-Стинджер уже изменила курс и повернула совсем в другую сторону; по замечанию капитана, она проделывала это нередко. Ибо, спустившись вниз, они убедились, что эта примерная женщина выколачивает у входной двери циновки, в то время как Александр, сидя по-прежнему на тротуарной плите, смутно вырисовывается в облаке пыли. И столь была поглощена миссис Мак-Стинджер своими домашними делами, что начала колотить еще сильнее, когда мимо проходил капитан Катль со своими спутницами, и ни словом, ни жестом не отозвалась на их присутствие. Капитан был так доволен этим удачным побегом — хотя вытряхивание циновок подействовало на него, как солидная доза нюхательного табаку, и заставило расчихаться до слез, — что едва мог поверить своему счастью и по дороге от двери до кареты не раз посматривал через плечо, явно опасаясь преследования со стороны миссис Мак-Стинджер.

Однако они благополучно добрались до угла Бриг-Плейс, не потерпев ни малейшего ущерба от этого грозного брандера; и капитан, взобравшись на козлы, — ибо галантность воспрепятствовала ему ехать в карете с леди, хотя его о том и просили, — взял на себя обязанность лоцмана, указывая извозчику путь к судну капитана Бансби, которое называлось «Осторожная Клара» и стояло на якоре у Рэтклифа.

После прибытия в гавань, где корабль этого прославленного командира находился среди пяти сотен своих товарищей, чьи перепутанные снасти напоминали чудовищную паутину, по которой прошли щеткой, капитан Катль появился у окна кареты и предложил Флоренс и мисс Нипер сопровождать ему на борт, заметив, что Бансби в высшей степени мягкосердечен по отношению к леди и их появление на борту «Осторожной Клары» будет способствовать скорее, чем что бы то ни было, приведению в гармонию необъятного его ума.

Флоренс охотно согласилась; и капитан, взяв ее маленькую ручку своей огромной лапой, повел ее по очень грязным палубам с таким покровительственным, отеческим, горделивым и церемонным видом, что приятно было на него смотреть; наконец, подойдя к «Кларе», они убедились, что это осторожное судно (стоявшее последним в ряду) убрало сходни, и футов шесть воды отделяют его от ближайшего соседа. Из объяснений капитана Катля выяснилось, что с великим Бансби, так же как и с ним самим, жестоко обращается его квартирная хозяйка, и когда ее обхождение превосходит меру его терпения, он, прибегая к последнему средству, разверзает между ними эту пропасть.

— «Клара», э-хой! — крикнул капитан, поднеся руку ко рту.

— Э-хой! — как эхо, откликнулся юнга, взбегая наверх.

— Бансби на борту? — осведомился капитан громовым голосом, словно находился на расстоянии полумили, а не двух ярдов.

— Да, да! — в тон ему крикнул юнга.

Затем юнга перебросил доску капитану Катлю, который заботливо ее приладил, перевел Флоренс, а потом вернулся за мисс Нипер. Итак, они стояли на палубе «Осторожной Клары», где на вантах, развеваясь, сушились принадлежности туалета вместе с несколькими языками и макрелью.

Поднимаясь медленно над стенкой каюты, показалась человеческая голова — и к тому же очень большая — с одним неподвижным глазом на лице цвета красного дерева и одним вращающимся, как бывает на некоторых маяках. Эта голова была украшена косматыми волосами, напоминавшими паклю, которые не имели определенного тяготения к северу, востоку, югу или западу, но тяготели ко всем четвертям компаса и к каждому его делению. Вслед за головой появился лишенный всякой растительности подбородок, воротничок рубашки с шейным платком, суконная лоцманская куртка и пара суконных лоцманских штанов с таким широким поясом, что он мог заменить жилет; пояс был

украшен массивными деревянными пуговицами, похожими на шашки. Когда обнаружилась нижняя часть этих панталон, Бансби появился как на ладони: руки в карманах необъятной величины, взгляд устремлен не на капитана Катля или леди, а на топ мачты.

Глубокомысленный вид этого философа, дюжего и плотного, с чрезвычайно красным лицом, на котором, казалось, как на троне водрузилась молчаливость, не противоречил его характеру, коему это качество было весьма свойственно, и почти устрасил капитана Катля, хотя они и состояли в дружеских отношениях. Шепнув Флоренс, что Бансби ни разу в жизни не выражал удивления и, по-видимому, даже не знает, что это значит, капитан наблюдал, как тот созерцает топ и окидывает взглядом горизонт; когда же вращающийся глаз, казалось, обратился в его сторону, капитан сказал:

— Бансби, дружище, как дела?

Послышался грубый, хриплый голос, который как будто не имел отношения к Бансби (во всяком случае лицо его ничуть не изменилось):

— А, приятель, как поживаете?

В то же время правая рука Бансби, вынырнув из кармана, пожала руку капитану и снова отпавилась в карман.

— Бансби, — сказал капитан, сразу приступив к делу, — вот вы, человек большого ума, человек, который может высказать свое мнение. Вот, молодая леди, желающая выслушать это мнение касательно моего друга Уольра, равно как и другой мой друг, Соль Джилс, — к нему вам стоит приблизиться на расстояние оклика, — который, будучи человеком науки, каковая есть мать изобретательности, не знает никаких законов. Бансби, хотите сделать мне одолжение, повернуть через фордевинд и отправиться с нами?

Прославленный командир, который, судя по выражению его лица, всегда высматривал что-то в бесконечной дали и не имел ни малейшего зрительного представления о предметах, находившихся в пределах десяти миль, не дал никакого ответа.

— Вот человек, — сказал капитан, обращаясь к своим прекрасным слушательницам и указывая крючком на командира, — человек, который падал с мачт чаще, чем кто бы то ни было на свете; человек, с которым произошло несчастных случаев больше, чем со всеми моряками в Морском госпитале; человек, чья голова перенесла в прошлом удары стольких брусьев, досок и болтов, сколько потребуется вам в Четем-Ярде на постройку увеселительной яхты; и, однако — я уверен, — этим путем он приобрел свои суждения, ибо равных им нет ни на суше, ни на море!

При этой похвале флегматический командир выразил некоторое удовлетворение легким движением локтей; но, находясь его лицо в той же дали, куда устремлялся его взгляд, зрители узнали бы о его мыслях не меньше, чем сейчас.

— Приятель! — неожиданно сказал Бансби, наклоняясь и засматривая под перекладину, заслонявшую ему горизонт, — что будут пить эти леди?

Капитан Катль, чья деликатность была задета таким вопросом, поскольку он касался Флоренс, отвел мудреца в сторону и, объяснив ему что-то на ухо, отправился с ним вниз; чтобы его не обидеть, капитан выпил рюмочку, а Флоренс и Сьюзен, заглядывая в открытый люк, видели, как мудрец, с трудом протискиваясь между койкой и очень маленькой медной печкой, налил также и себе. Вскоре они вернулись на палубу, и капитан Катль, радуясь успеху своей затеи, повел Флоренс к карете, а Бансби следовал за ним, сопровождая мисс Нипер, которую он, словно некий унылый медведь, обнимал рукой, покрытой лоцманским сукном (к великому негодованию этой молодой леди).

Капитан усадил своего оракула в экипаж и в восторге от того, что залучил его и водворил сей великий ум в наемную карету, не мог удержаться, чтобы не поглядывать на Флоренс в окошечко за спиной кучера и не выражать своего восхищения улыбками, а также постукиванием себя по лбу, намекая ей, что мозг Бансби работает усиленно. Тем временем Бансби, все еще обнимая мисс Нипер (ибо его друг, капитан, не преувеличил его мягкосердечия), неизменно сохранял торжественную осанку и никакого внимания не обращал ни на нее, ни на кого бы то ни было.

Дядя Соль, вернувшись тем временем домой, встретил их у двери и немедленно ввел в маленькую заднюю гостиную, странно изменившуюся с отъездом Уолтера. На столе и по всей комнате были разложены морские и географические карты, по которым удрученный мастер судовых инструментов снова и снова прослеживал путь пропавшего без вести судна и за минуту до их прихода измерял с помощью циркуля, все еще бывшего у него в руке, как далеко должно было отнести корабль, если его

занесло в то или иное место, и старался убедить себя, что много времени должно пройти, прежде чем надежда угаснет.

— Если его отнесло сюда... — говорил дядя Соль, пытливо глядя на карту, — но нет, это почти невозможно. Или если шторм загнал его сюда... но это невероятно. Или есть какая-то надежда, что оно изменило курс настолько, что... но даже я не могу этому верить!

Бросая эти отрывистые фразы, бедный старый дядя Соль странствовал по разостланному перед ним огромному листу и не находил на нем точки, позволяющей ему питать надежду и достаточно большой, чтобы на ней уместилось острие циркуля.

Флоренс сразу заметила — трудно было бы не заметить, — что со стариком произошла какая-то странная перемена, и хотя он стал еще беспокойнее и рассеяннее, чем прежде, однако наряду с этим чувствовалась удивительная решимость, приводившая ее в недоумение. Чудилось ей — он говорит бессвязно и наобум, ибо, когда она выразила сожаление по поводу его отсутствия утром, он сначала отвечал, что заходил к ней, но, по-видимому, тотчас же готов был взять эти слова назад.

— Вы заходили ко мне? — сказала Флоренс. — Сегодня?

— Да, дорогая моя юная леди, — отвечал дядя Соль, смущенно посмотрев на нее и затем отведя взгляд. — Я хотел еще разок увидеть и услышать вас, прежде чем...

— Прежде чем?... Прежде чем что? — спросила Флоренс, положив руку ему на плечо.

— Разве я сказал «прежде чем»? — отозвался старый Соль. — Ну, в таком случае, должно быть, я хотел сказать, прежде чем мы получим вести о моем дорогом мальчике.

— Вы нездоровы, — нежно сказала Флоренс. — Вы так встревожены. Я уверена, что вы нездоровы.

— Я здоров, — возразил старик, сжимая правую руку и вытягивая ее, чтобы показать Флоренс, — здоров и крепок, как только может пожелать человек в мои годы. Видите? Не дрожит! Разве тот, кому она принадлежит, не способен на такую же решимость и стойкость, как многие другие мо- ложе его? Думаю, что способен. Увидим.

Не столько слова его, хотя они ей и запомнились, сколько тон произвел на Флоренс такое впечатление, что она готова была в ту же минуту поведать о своем беспокойстве капитану Катлю, если бы капитан не воспользовался этой минутой для того, чтобы разъяснить обстоятельства дела, касательно коего требовалось мнение проницательного Бансби, и обратиться к сему авторитетному лицу с просьбой изречь таковое.

Бансби, чей глаз по-прежнему был обращен к какой-то точке на полпути между Лондоном и Грейвзэндом, раза три протягивал правую руку, облеченную в грубое сукно, дабы в поисках вдохновения обвить ею прелестную талию мисс Нипер; но так как эта молодая особа в раздражении своем поместилась за другим концом стола, мягкое сердце командира «Осторожной Клары» не встретило отклика на свой порыв. После нескольких неудачных попыток командир, ни к чему не обращаясь, заговорил, или, вернее, голос в нем произнес самопроизвольно и совершенно независимо от него самого, словно Бансби был одержим охрипшим духом:

— Меня зовут Джек Бансби!

— Ему нарекли имя Джон! — вскричал восхищенный капитан Катль. — Слушайте!

— И если я что скажу, — после некоторого раздумья продолжал голос, — я от этого не отступлю.

Капитан, стоявший об руку с Флоренс, кивнул слушателям, как будто хотел пояснить: «Сейчас он себя покажет. Вот что я имел в виду, когда привел его».

— Отчего же? — продолжал голос. — Почему не сказать? Не все ли равно? Кто может сказать иначе? Никто! Итак — стоп!

Доведя свои рассуждения до этого пункта, голос сделал остановку и отдохнул. Затем снова заговорил, очень медленно:

— Считаю ли я, ребята, что этот «Сын и наследник» мог затонуть? Возможно. Утверждаю ли я это? А что именно? Если шкипер выходит из пролива святого Георга⁸², держа курс на Дауне, что ле-

⁸² *Пролив св. Георга* — пролив, отделяющий Ирландию от Англии; пески Гудуина — гряда песчаных отмелей у юго-восточного побережья Англии, весьма опасная для кораблей; между этой грядой и берегом — огромный рейд Дауне, упоминавшийся выше в связи с популярной песенкой «Черноокая Сьюзен».

жит перед ним? Пески Гудуина. Ему незачем непременно налетать на пески, но он может налететь. Держитесь по курсу этого наблюдения. Это уже не мое дело. Итак, стоп, держите бодро вахту и желаю вам удачи!

Тут голос удалился из задней гостиной и вышел на улицу, увлекая с собой командира «Осторожной Клары» и сопутствуя ему с подобающей поспешностью на борт судна, где тот мгновенно лег соснуть и дремотой освежил свой ум.

Ученики мудреца, вынужденные самостоятельно применять его указания согласно принципу, являвшемуся основным стержнем треножника Бансби, а быть может, и кое-кого из других оракулов, переглянулись слегка растерянно. А Роб Точильщик, который, позволив себе невинную вольность, подглядывал и подслушивал через окно в потолке, потихоньку спустился с крыши в полном недоумении. Однако капитан Катль, чье восхищение командиром Бансби еще усилилось — если это только возможно, — когда тот столь блестяще оправдал свою репутацию и торжественно разрешил все сомнения, принялся разьяснять, что Бансби вполне уверен, что у Бансби нет никаких опасений, и мнение, высказанное таким человеком, рожденное таким умом, является якорем самой Надежды, и якорная стоянка вполне надежна. Флоренс старалась поверить, что капитан прав, но Нипер, крепко стиснув руки, решительно качала головой и питала к Бансби доверия не больше, чем к самому мистеру Перчу. По-видимому, философ оставил дядю Соля в таком же состоянии, в каком застал его, ибо тот по-прежнему скитался по морям, держа в руке циркуль и не находя для него пристанища. В то время как старик был поглощен этим занятием, Флоренс шепнула что-то на ухо капитану Катлю, и тот положил ему на плечо свою тяжелую руку.

— Как дела, Соль Джилс? — бодро крикнул капитан.

— Неважно, — Нэд, — отозвался старый мастер. — Сегодня я все вспоминал, что в тот самый день, когда мой мальчик поступил в контору Домби, он поздно вернулся к обеду и сидел как раз там, где вы сейчас стоите; мы разговаривали о штормах и кораблекрушениях, и мне едва удалось отвлечь его от этой темы.

Встретив взгляд Флоренс, которая серьезно и испытующе всматривалась в его лицо, старик замолчал и улыбнулся.

— Держитесь крепче, старый приятель! — воскликнул капитан. — Бодритесь! Вот что я вам скажу, Соль Джилс: сначала я провожу домой Отраду Сердца, — и капитан, приветствуя Флоренс, поцеловал свой крючок, — а потом вернусь и возьму вас на буксир до самого вечера. Вы пойдете со мной, Соль, и мы где-нибудь пообедаем вместе.

— Не сегодня, Нэд! — быстро сказал старик, который был почему-то испуган этим предложением. — Не сегодня! Я не могу!

— Почему? — осведомился капитан, глядя на него с изумлением.

— У меня... у меня столько дел. То есть мне многое нужно обдумать и привести в порядок. Право же, не могу, Нэд. Сегодня мне нужно еще раз выйти из дому, побыть одному и о многом подумать.

Капитан посмотрел на старого мастера, посмотрел на Флоренс и опять на старого мастера.

— В таком случае, завтра, — предложил он наконец.

— Да, да! Завтра! — сказал старик. — Вспомните обо мне завтра. Значит — завтра.

— Я буду здесь рано, заметьте это, Соль Джилс, — поставил условие капитан.

— Да, да. Завтра рано утром, — сказал старый Соль. — А теперь прощайте, Нэд Катль, и да благословит нас бог!

Стиснув с необычайным жаром обе руки капитана, старик повернулся к Флоренс, взял ее руки в свои и поднес их к губам, затем с очень странной поспешностью повел ее к карете. Вообще, он произвел такое сильное впечатление на капитана Катля, что тот задержался и предписал Робу быть особенно послушным и внимательным к своему хозяину вплоть до завтрашнего утра, каковое распоряжение капитан скрепил выдачей шиллинга и посулил еще шесть пенсов до полудня следующего дня. Совершив это доброе дело, капитан Катль, почитавший себя естественным и законным телохранителем Флоренс, влез на козлы, глубоко сознавая возложенную на него ответственность, и проводил ее до дому. Прощаясь, он заверил ее, что будет держаться крепко, не отходя от Соля Джилса, и еще раз

осведомился у Сьюзен Нипер, ибо не мог забыть смелые ее слова касательно миссис Мак-Стинджер:

— Так вы думаете, что показали бы ей, милая?

Когда заброшенный дом поглотил обеих женщин, мысли капитана обратились к старому мастеру, и он почувствовал беспокойство. Поэтому вместо того, чтобы идти домой, он шагал взад и вперед по улице и, скоротав время до вечера, пообедал поздно в некоей угловой маленькой таверне в Сити, с залом, имеющим клинообразную форму и весьма охотно посещаемым глянцевиными шляпами. Важнейшим намерением капитана было пройти в сумерках мимо лавки Соля Джилса и заглянуть в окно, что он и сделал. Дверь в гостиную была открыта, и он увидел, как его старый друг деловито и усердно Пишет, сидя за столом, а Маленький Мичман, уже укрывшийся под крышей от ночной росы, следит за ним с прилавка, под которым Роб Точильщик стелет постель, прежде чем запереть лавку. Успокоенный миром, царившим во владениях Деревянного моряка, капитан взял курс на Бриг-Плейс, решив сняться с якоря рано утром.

Глава XXIV

Забота любящею сердца

Сэр Барнет и леди Скетлс, прекраснейшие люди, жили в Фулеме на берегу Темзы в прелестной вилле, которая являлась одной из самых завидных резиденций в мире, когда происходило соревнование в гребле, но в другое время отличалась и некоторыми неудобствами, к коим можно отнести периодическое вторжение реки в гостиную и одновременное исчезновение лужайки и кустов.

Сэр Барнет Скетлс подчеркивал значение собственной персоны главным образом с помощью старинной золотой табакерки и увесистого шелкового носового платка, который он внушительно извлекал из кармана, как знамя, и развешивал обеими руками. Цель жизни сэра Барнета заключалась в том, чтобы постоянно расширять круг знакомства. Было в природе вещей, чтобы сэр Барнет, подобно тяжелому телу, брошенному в воду, — мы отнюдь не желаем унижить столь достойного джентльмена таким сравнением, — образовывал около себя все более расширяющийся круг, сколько хватало места. И подобно звуку в воздухе, вибрации коего, согласно домыслам хитроумного современного философа, могут нескончаемо скитаться в беспредельном пространстве, — исследовательские путешествия сэра Барнета Скетлса в границах социальной системы были бесконечны, и только конец его земного бытия мог их оборвать.

Сэр Барнет гордился тем, что знакомил людей с людьми. Он любил это занятие ради него самого, и к тому же оно содействовало основной его цели. Так, например, если сэру Барнету удавалось захватить какого-нибудь новичка или провинциального джентльмена и залучить в свою гостеприимную виллу, сэр Барнет говорил ему утром по приезде: «Ну-с, дорогой мой сэр, не хотите ли вы с кем-нибудь познакомиться? Кого бы вы желали здесь встретить? Не интересуетесь ли вы писателями, живописцами, скульпторами, актерами или кем-нибудь в этом роде?» Случалось, что пациент отвечал утвердительно и называл лицо, которое сэр Барнет знал лично не больше, чем Птолемея Великого. Сэр Барнет заявлял, что ничего не может быть легче, ибо он прекрасно с ним знаком, затем немедленно отправлялся к вышеупомянутому лицу, оставлял визитную карточку, писал записку: «Уважаемый сэр... бремя вашего высокого положения... приятель, гостящий у меня, естественно жаждет... леди Скетлс и я сам присоединяемся... верим, что — так как гений стоит выше условностей — вы нам окажете исключительную честь, доставив удовольствие...» и т. д. и т. д., и таким образом одним камнем убивал двух птиц.

Пустив в ход табакерку и знамя, сэр Барнет Скетлс задал свой обычный вопрос Флоренс в первое утро ее пребывания в доме. Когда Флоренс поблагодарила его и сказала, что нет никого, чье присутствие было бы ей особенно желательно, она, естественно, подумала с тоской о бедном пропавшем Уолтере. Когда же сэр Барнет Скетлс, повторив свое любезное предложение, спросил: «Дорогая мисс Домби, вы уверены, что не можете припомнить никого, с кем пожелал бы вас познакомиться ваш добрый папа, которому я попрошу вас передать в письме поклон от меня и леди Скетлс?» — было, пожалуй, естественно, что ее бедная головка слегка поникла, а голос дрогнул, и она тихо дала отрицательный ответ.

Скетлс-младший (что касается до его галстука — весьма накрахмаленный, а что касается до его

расположения духа — пришибленный) был, по-видимому, огорчен желанием своей превосходной матери, настаивавшей, чтобы он оказывал внимание Флоренс. Другой и более глубокой обидой, терзавшей душу юного Барнета, было присутствие доктора и миссис Блимбер, которые получили приглашение погостить в Фулеме и о которых юный джентльмен не раз говорил, что лучше бы они отправлялись на вакации ко всем чертям.

— Не можете ли вы предложить кого-нибудь, доктор Блимбер? — сказал сэр Барнет Скетлс, обращаясь к этому джентльмену.

— Вы очень любезны, сэр Барнет, — ответил доктор Блимбер. — Право же, я затрудняюсь назвать какое-нибудь определенное лицо. Мне вообще приятно знакомиться с моими ближними, сэр Барнет. Что говорит Теренций? Всякий, кто является отцом сына, интересен мне.

— Не имеет ли миссис Блимбер желания увидеть какую-нибудь знаменитую особу? — учтиво осведомился сэр Барнет.

Миссис Блимбер, сладко улыбнувшись и покачав небесно-голубым чепцом, отвечала, что если бы сэр Барнет мог представить ее Цицерону, она затруднила бы его просьбой; но раз такое знакомство невозможно, а она уже пользуется дружеским расположением его самого и его супруги и разделяет с доктором, своим супругом, надежды, возлагаемые на дорогого сына сэра Барнета, — тут юный Барнет, как было замечено, сморщил нос, — ей больше не о чем просить.

При таких обстоятельствах сэру Барнету ничего не оставалось, как временно довольствоваться собравшимся обществом. Флоренс этому радовалась, ибо у нее была здесь забота, которая слишком близко ее касалась и была для нее слишком насущной и важной, чтобы уступить место другим интересам.

В доме гостили дети. Дети, которые были откровенны и счастливы со своими отцами и матерями, как те румяные девочки в доме напротив. Дети, которые не скрывали своей любви и выражали ее свободно. Флоренс пыталась разгадать их тайну; пыталась узнать, чего недостает ей; какое простое искусство ведомо им и неведомо ей; как позаимствовать у них умение показать отцу, что она его любит, и завоевать его любовь.

Много дней задумчиво наблюдала Флоренс за этими детьми. Много раз в ясные утра вставала она с постели с восходом ослепительного солнца и, бродя по берегу реки, смотрела на окна их комнат и думала о них, спящих, окруженных такой нежной заботой и ласковым вниманием. В такие минуты Флоренс чувствовала себя более одинокой, чем тогда, когда была одна в большом доме, и по временам думала, что там ей было лучше, чем здесь, и что гораздо спокойнее ей скрываться, чем общаться со своими сверстниками и убеждаться, как не похожа она на них. Но хотя каждая страница, перевернутая в жестокой книге, причиняла ей острую боль, Флоренс, неразлучная со своей заботой, оставалась среди них и с терпеливой надеждой старалась обрести знание, по которому томилась.

Ах, как обрести его? Как постигнуть тайну очарования, которое только-только зарождается? Здесь были дочери, которые, вставая поутру и ложась спать вечером, уже владели сердцами своих отцов. Им не приходилось преодолевать сопротивление, страшиться холодности, смягчать хмурые взгляды. Когда наступало утро и окна открывались одно за другим, когда роса просыхала на цветах и траве, а детские ножки начинали бегать по лужайке, Флоренс, глядя на веселые лица, думала: чему может она научиться у этих девочек? Слишком поздно ей учиться у них; каждая могла безбоязненно подойти к своему отцу, подставить губы и получить поцелуй, обвить руками шею отца, наклонившегося, чтобы ее приласкать. Она не могла бы сразу решиться на такую вольность. О, возможно ли, что все меньше и меньше оставалось надежд по мере того, как она присматривалась все пристальнее и пристальнее?

Она прекрасно помнила, что даже та старуха, которая ограбила ее, когда она была маленькой, чей облик и чье жилище и все, что она говорила и делала, запечатлелось в памяти Флоренс с неизгладимой яркостью, как всякое ужасное событие, пережитое в раннем детстве, — даже та старуха говорила с любовью о своей дочери, и как страшно вскрикнула она, терзаемая безысходною болью разлуки со своим ребенком! Но ведь и ее родная мать — так думала Флоренс — любила ее горячо. И иногда, если мысли ее стремительно обращались к пропасти между нею и отцом, Флоренс начинала дрожать, и слезы выступали у нее на глазах, когда она представляла себе, что мать жива и тоже перестала ее любить, ибо нет в ней той неведомой прелести, которая, естественно, должна была бы вызвать любовь отца, и не было ее с самой колыбели. Она знала, что такое измышление оскорбляет па-

мать матери, что оно неверно и нет оснований для него, и, однако, она так хотела оправдать отца и возложить всю вину на себя, что не могла противиться этой мысли, когда она, подобно грозной туче, пронеслась у нее в голове.

Вскоре после Флоренс приехала в числе других гостей хорошенькая девочка года на три-четыре моложе ее, сирота, в сопровождении тетки, седой леди, которая часто разговаривала с Флоренс, очень любила (впрочем, и все это любили) слушать по вечерам ее пение и в таких случаях всегда садилась с материнским участием поближе к ней. Через два дня после их приезда Флоренс сидела жарким утром в беседке в саду, задумчиво глядя сквозь листву на группу детей на лужайке, плела венки одной из этих малюток, общей любимице и баловнице, и услышала, как эта леди и ее племянница разговаривают о ней, прогуливаясь по тенистой аллее около беседки.

— Тетя, Флоренс сирота, как и я? — спросила девочка.

— Нет, милочка. У нее нет матери, но отец жив.

— Сейчас она носит траур по своей бедной маме? — с живостью спросила девочка.

— Нет, по единственному брате.

— Больше у нее нет братьев?

— Нет.

— И сестер нет?

— Нет.

— Мне ее очень, очень жаль! — сказала девочка.

Так как вскоре после этого они замолчали и остановились посмотреть на лодки, Флоренс, которая услышав свое имя, встала, собрала цветы и хотела идти им навстречу, чтобы они знали о ее присутствии, снова села и принялась за работу, думая, что больше ничего не услышит; но через секунду разговор возобновился.

— Здесь все любят Флоренс, и, конечно, она этого заслуживает, — с жаром сказала девочка. — Где ее папа?

Тетка после короткого молчания ответила, что не знает. Тон ее остановил Флоренс, которая снова встала, и помешал ей тронуться с места, свой венок она поспешно прижала к груди и обеими руками держала цветы, чтобы они не рассыпались по земле.

— Он в Англии, тетя? — осведомилась девочка.

— Кажется. Да, да, он в Англии.

— Он бывал когда-нибудь здесь?

— Вряд ли. Нет.

— Он приедет сюда повидаться с ней?

— Вряд ли.

— Тетя, он хромым, слепой или больной? — спросила девочка.

Цветы, которые Флоренс прижимала к груди, начали падать на землю, когда она услышала эти слова, сказанные с таким недоумением. Она крепче прижала их, и ее лицо склонилось к ним.

— Кэт, — сказала леди, снова после короткого молчания, — я тебе все расскажу о Флоренс так, как сама слышала; думаю, что это правда. Но никому не говори, дорогая моя, потому что здесь, быть может, этого не знают, а твои разговоры причинили бы ей боль.

— Я никому не скажу! — воскликнула девочка.

— Уверена, что не скажешь, — отозвалась леди. — Тебе я могу доверять, как самой себе. Так вот, Кэт, я боюсь, что отец Флоренс мало ее любит, очень редко видит ее, никогда не бывал ласков с ней, а теперь даже сторонится ее и избегает. Она нежно любила бы его, если бы он ей позволил, но он этого не хочет, хотя она ничего дурного не сделала, и все добрые люди должны крепко любить ее и жалеть.

Еще несколько цветов, которые держала Флоренс, упали на землю; те, что остались у нее, были влажны, но не от росы; и голова ее опустилась на руки, державшие эти цветы.

— Бедная Флоренс! Милая, хорошая Флоренс! — воскликнула девочка.

— Ты понимаешь, для чего я тебе рассказала об этом, Кэт? — спросила леди.

— Для того, чтобы я была очень ласкова с ней и постаралась ей понравиться. Не правда ли, для этого, тетя?

— Отчасти, — сказала леди, — но это не все. Хотя мы видим, что она весела, приветливо улы-

бается каждому, готова услужить всем нам и принимает участие во всех развлечениях, вряд ли она по-настоящему счастлива. Как ты думаешь, Кэт?

— Мне кажется, нет, — ответила девочка.

— И ты понимаешь, — продолжала леди, — почему при виде детей, у которых есть родители, любящие их и гордящиеся ими, а таких здесь сейчас много, она втайне грустит?

— Да, милая тетя, — сказала девочка, — я это очень хорошо понимаю. Бедная Флоренс!

Снова посыпались на землю цветы, а те, что она прижимала к груди, трепетали, словно от зимнего ветра.

— Моя Кэт, — сказала леди тоном серьезным, но очень спокойным и ласковым, который с первой же секунды произвел такое сильное впечатление на Флоренс, — из всех живущих здесь детей ты для нее самая подходящая подруга, которая не причинит ей зла; ты не будешь, помимо своей воли, как это делают более счастливые дети...

— Нет никого счастливее меня, тетя! — воскликнула девочка и, по-видимому, прильнула к ней.

— ...Ты не будешь, милая Кэт, напоминать ей об ее несчастье. Поэтому я бы хотела, чтобы ты, стараясь с ней подружиться, приложила к этому все усилия и помнила, что твоя утрата — в ту пору, когда, слава богу, ты еще не могла понять всей ее тяжести, — дает тебе права на бедную Флоренс.

— Но с вами, тетя, я никогда не была лишена родительской любви, — возразила девочка.

— Во всяком случае, дорогая, — сказала леди, — твое горе легче, чем горе Флоренс, потому что не может быть на свете сироты более одинокой, чем та, у которой отец жив, но отказал ей в любви.

Цветы рассыпались по земле, как прах; руки, более не занятые ими, закрыли лицо; и осиротевшая Флоренс опустила на землю и плакала долго и горько...

Но сильная духом и твердая в своем благом намерении, Флоренс держалась за это намерение, как умирающая мать держалась за Флоренс в тот день, когда дала жизнь Полю. Отец не знает, как горячо она его любит. Как бы долго ни пришлось ждать, и как бы медленно ни тянулось время, она должна рано или поздно открыть ему эту любовь. До тех пор она должна заботиться о том, чтобы ни одним необдуманным словом, взглядом, взрывом чувств, вызванным случайными обстоятельствами, не пожаловаться на него, не дать повода к этим слухам, порочащим его.

Даже отвечая на привязанность сиротки, которая ей очень нравилась и помнить о которой были у нее столь веские основания, Флоренс не забывала об отце. Если бы она отнеслась к сиротке с особой нежностью (думала Флоренс), она укрепила бы в одном человеке несомненно, а возможно, и в нескольких — уверенность в том, что отец ее жесток и бесчеловечен. Свою радость она не принимала в расчет. Подслушанный ею разговор был основанием для того, чтобы щадить отца, а не утешать себя; и Флоренс его щадил, отдавшись заботе своего сердца.

Так поступала она всегда. Если читали вслух какую-нибудь книгу и в ней упоминалось о недобром отце, она боялась, как бы не отнесли этого к нему; страдала, но не за себя. Так бывало и тогда, когда они разыгрывали какую-нибудь пьеску, ставили живые картины, затевали игры. Столько было поводов для беспокойства о нем, что не раз она колебалась, не лучше ли ей вернуться в старый дом и снова жить мирно под сенью его скучных стен. Мало кто из видевших кроткую Флоренс на заре ее жизни, скромную маленькую королеву этих детских празднеств, — мало кто подозревал, какое тяжкое бремя священной заботы носит она в груди! Мало кто из тех, кого угнетала ледяная атмосфера, окружавшая ее отца, догадывался о том, что на его голову сыпались раскаленные угли⁸³!

Флоренс терпеливо отдавалась своей заботе, и, не проникнув в тайну неведомого обаяния, которую пыталась выведать у гостивших в доме детей, она часто ранним утром гуляла одна среди детей бедняков. Но и здесь она убедилась, что они слишком ее опередили, чтобы можно было чему-нибудь от них научиться. Давным-давно они завоевали себе место в родном доме, а не стояли снаружи, как она, перед запертой дверью.

Несколько раз она обращала внимание на одного человека, который с раннего утра принимался за работу, и подле него часто сидела девушка приблизительно одних лет с Флоренс. Он был очень беден и не имел, казалось, определенных занятий; во время отлива он бродил по берегу реки, отыс-

⁸³ ...на его голову сыпались раскаленные угли — библейское выражение, означающее: «Платить добром за зло».

кивая в иле какие-то обломки; иногда возделывал жалкий клочок земли перед своим коттеджем; иногда старался починить свою утлую старую лодку или, случалось, исполнял какую-нибудь работу для соседа. Но над чем бы ни трудился этот человек, девушка никогда не работала и сидела около него, безучастная, унылая и праздная.

Флоренс часто хотелось заговорить с этим человеком, однако она не решалась, так как он никогда не обращался к ней. Но как-то утром она случайно встретила с ним, пройдя среди подстриженных ив по боковой тропинке, выходящей на каменистую площадку между его домом и рекой, где он стоял у костра, который развел, чтобы просмолить старую лодку, лежавшую тут же и перевернутую вверх дном; услышав ее шаги, он поднял голову и пожелал ей доброго утра.

— Здравствуйте, — подойдя ближе, сказала Флоренс. — Рано вы принялись за работу.

— Я бы рад был приниматься за работу еще раньше, мисс, будь только у меня работа.

— Разве так трудно ее получить? — спросила Флоренс.

— Для меня трудно, — ответил тот.

Флоренс посмотрела на девушку, которая сидела, опершись локтями о колени и подбородком на руки, и спросила:

— Эта ваша дочь?

Он быстро поднял голову, с просиявшим лицом повернулся к девушке, кивнул ей и ответил утвердительно. Флоренс тоже повернулась к ней и ласково поздоровалась; девушка в ответ пробормотала что-то, неприветливо и хмуро.

— Она тоже нуждается в работе? — спросила Флоренс.

Человек покачал головой.

— Нет, мисс, — сказал он, — я работаю на обоих.

— Значит, вас только двое? — осведомилась Флоренс.

— Нас только двое, — отозвался он. — Вот уже десять лет, как умерла ее мать. Марта! (Он снова поднял голову и свистнул ей.) Не хочешь ли поговорить с этой красивой молодой леди?

Девушка нетерпеливо пожала узкими плечами и отвернулась. Некрасивая, уродливо сложенная, дурного нрава, оборванная, грязная — но любимая! Да! Флоренс

Это угадала по взгляду отца, обращенному на нее, и она знала, чей взгляд ничего общего не имеет с этим.

— Бедная моя девочка! Боюсь, что сегодня ей хуже, — сказал отец, отрываясь от работы и глядя на свою некрасивую дочь с состраданием, грубоватым и потому особенно трогательным.

— Значит, она больна? — спросила Флоренс. Он глубоко вздохнул.

— Вряд ли за пять лет моя Марта была совсем здорова хотя бы пять дней, — ответил он, все еще не спуская с нее глаз.

— Эх, больше чем за пять лет, Джон, — сказал сосед, который подошел помочь ему чинить лодку.

— Ты думаешь — больше? — отозвался тот, сдвигая на затылок поношенную шляпу и проводя рукой по лбу. — Все может быть. Кажется, будто прошло много-много лет.

— И с каждым годом, — продолжал сосед, — ты все больше и больше ее балуешь и потакаешь ей, Джон, куда она не станет в тягость и себе и другим.

— Не мне, — возразил ее отец, снова принимаясь за работу. — Только не мне.

Флоренс поняла — кто мог понять лучше, чем она? — как правдивы были его слова. Она подошла к нему ближе и рада была бы пожать его мозолистую руку и поблагодарить за доброту к жалкому созданию, на которое он смотрел иными глазами, чем все остальные.

— Кто же, если не я, побаловал бы мою бедную девочку, уж коли называть это баловством?

— Это так! — воскликнул сосед. — Но все же не надо хватать через край, Джон! А ты что делаешь? Ты отнимаешь у себя, чтобы отдать ей. Из-за нее ты связываешь себя по рукам и по ногам. Ты влачишь жалкое существование из-за нее. А ей какое до этого дело? Уж не думаешь ли ты, что она это хоть сколько-нибудь ценит?

Отец снова поднял голову и свистнул. Марта ответила тем же нетерпеливым подергиванием узких плеч; а он был счастлив и доволен.

— Только ради этого, мисс, — сказал сосед с улыбкой, в которой было больше затаенной симпатии, чем в его словах, — только ради того, чтобы видеть это, он никогда не отпускает ее от себя.

— Потому что настанет день, и он давно уже приближается, — заметил тот, низко склоняясь над своей работой, — когда даже для того, чтобы увидеть, как у моего несчастного ребенка дрожит палец или развеваются волосы, пришлось бы воскрешать мертвую.

Флоренс потихоньку положила возле него немного денег на старую лодку и ушла.

И теперь Флоренс начала думать о том, что, если бы она заболела, зачахла, как ее милый брат, узнал ли бы тогда отец, как она его любила; стала ли бы она ему дороже; подошел бы он к постели, где лежит она, слабая, с потускневшими глазами, заключил бы ее в свои объятия и зачеркнул прошлое? Мог бы он при изменившихся обстоятельствах простить ей то, что она не умела открыть ему свое детское сердце, простить так, чтобы она без труда могла поведать, с каким чувством вышла в ту ночь из его комнаты, что хотела ему сказать, если бы на это у нее хватило храбрости, и как старалась она впоследствии открыть тот путь, которого так и не нашла в детстве?

Да, — думала она, — если бы она умирала, он бы смягчился. Она думала о том, что, если бы лежала она, спокойно и не борясь со смертью, на постели, овеянной воспоминаниями об их любимом мальчике, он был бы растроган и сказал бы ей: «Милая Флоренс, живи для меня, и мы будем любить друг друга, как могли бы любить, и будем счастливы, как могли быть счастливы все эти годы!» Если бы услышала она эти слова и заключила его в свои объятия, она, казалось ей, ответила бы с улыбкой: «Слишком поздно, но знаю одно: это было бы для меня самым большим счастьем, милый папа!» — и ушла бы от него с благословением на устах.

В результате таких размышлений золотая вода на стене, памятная Флоренс, представлялась потоком, стремящимся к покою, в страну, где близкие, ушедшие ранее, ждут ее, взявшись за руки; и часто, глядя на темную реку, журчавшую у ее ног, она думала с боязливым недоумением — но не с ужасом — о той реке, о которой так часто говорил ей брат, реке, которая его уносила.

Отец и его больная дочь были еще свежи в памяти Флоренс, когда, примерно через неделю после этой встречи, сэра Барнет и его супруга задумали как-то днем прогуляться по проселочным дорогам и предложили Флоренс пойти с ними. Флоренс охотно согласилась, и леди Скетлс, разумеется, выгнала на прогулку юного Барнета. Ибо ничто так не восхищало леди Скетлс, как созерцание старшего ее сына рука об руку с Флоренс.

Барнет, пожалуй, придерживался противоположной точки зрения и в таких случаях частенько выражал свое мнение вслух — впрочем, неопределенно, намекая на «каких-то девчонок». Но так как нелегко было смутить кроткий нрав Флоренс, обычно она через несколько минут примиряла юного джентльмена с его судьбой; они дружески продолжали прогулку, а леди Скетлс и сэра Барнет следовали за ними, весьма довольные и убогатворенные.

В таком порядке шествовали они в упомянутый день, и Флоренс почти удалось заглушить сетования Скетлса-младшего на его участь, когда мимо проехал джентльмен верхом, посмотрел на них пристально, затем остановил лошадь, повернул ее и поехал им навстречу, держа в руке шляпу.

Джентльмен с особым вниманием посмотрел на Флоренс; когда же он вернулся и маленькое общество остановилось, он поклонился ей, а затем уже приветствовал сэра Барнета и его супругу. Флоренс не могла припомнить, видела ли она его когда-нибудь, но вот он приблизился, и она невольно вздрогнула и отшатнулась.

— Уверю вас, лошадь у меня смиренная, — сказал джентльмен.

Но не лошадь, а что-то в самом джентльмене — Флоренс не могла бы определить, что именно, — заставило ее отшатнуться, словно ее укололи.

— Кажется, я имею честь говорить с мисс Домби? — сказал джентльмен с самой вкрадчивой улыбкой. Когда Флоренс наклонила голову, он добавил:

— Моя фамилия Каркер. Вряд ли я могу надеяться, что мисс Домби помнит меня не только по фамилии.

Флоренс, чувствуя странный озноб, хотя день был жаркий, представила его своему хозяину и хозяйке, которые приняли его очень любезно.

— Тысячу раз прошу прощения! — сказал мистер Каркер. — Но дело в том, что завтра утром я еду к мистеру Домби, в Лемингтон, и если мисс Домби пожелает доверить мне какое-нибудь поручение, нужно ли говорить, как буду я счастлив?

Сэр Барнет, тотчас сообразив, что Флоренс захочет написать письмо отцу, предложил вернуться домой и просил мистера Каркера зайти к ним и пообедать — прямо в костюме для верховой езды.

К несчастью, мистер Каркер был уже приглашен на обед, но если мисс Домби пожелает послать письмо, ничто не доставит ему большего удовольствия, чем проводить их домой и, в качестве верного ее раба, ждать, сколько ей будет угодно. Когда он говорил это с самой широкой своей улыбкой и наклонялся к ней очень близко, поглаживая шею своей лошади, Флоренс, встретив его взгляд, скорее угадала, чем услышала, как он сказал: «О корабле нет никаких известий!»

Смущенная, испуганная, пятась от него и, в сущности, не зная, сказал ли он эти слова, ибо как будто он их не произносил, но каким-то удивительным образом показал в своей улыбке, Флоренс слабым голосом ответила, что очень ему признательна, но писать не будет; ей не о чем писать.

— Может быть, что-нибудь передать, мисс Домби? — спросил, сверкнув зубами, человек.

— Ничего, — сказала Флоренс, — ничего, только нежный привет от меня...

Как ни была взволнована Флоренс, она бросила на него умоляющий и красноречивый взгляд, который заклинал его пощадить ее, если ему известно, — а ему это было известно, — что всякое поручение от нее к отцу — дело необычное, и тем более — такое поручение. Мистер Каркер улыбнулся, отвесил низкий поклон и, выслушав просьбу сэра Барнета передать привет от него самого и леди Скетлс, распрощался и уехал, произведя благоприятное впечатление на эту достойную чету. Тогда у Флоренс начался такой озноб, что сэр Барнет, вспомнив распространенное поверье, предположил, что кто-то прошел по ее могиле. Мистер Каркер, сворачивая в тот момент за угол, оглянулся, поклонился и скрылся из виду, словно ехал с этой целью прямо на кладбище.

Глава XXV

Странные вести о дяде Соле

Капитан Катль, хотя и не был лентяем, проснулся не очень рано на следующее утро после того, как видел в окно лавки Соля Джилса, что-то пишущего в гостиной, Мичмана на прилавке и Роба Точильщика, стелющего себе постель под прилавком: пробило шесть часов, когда он приподнялся на локте и окинул взором свою маленькую спальню. Должно быть, глаза капитана несли тяжелую службу, если он, проснувшись, всегда раскрывал их так широко, как раскрыл в то утро, и плохую получали они награду за свою бдительность, если он всегда протирал их с таким же ожесточением. Но случай был из ряда вон выходящий, ибо Роб Точильщик никогда еще не появлялся в дверях спальни капитана Катля, а сейчас он стоял здесь, тяжело дыша и глядя на капитана, разгоряченный и взлохмаченный, как будто только-только покинул постель, что сильно повлияло как на выражение, так и на цвет его лица.

— Эй! — заревел капитан. — Что случилось?

Не успел Роб вымолвить слово в ответ, как капитан Катль в смятении сорвался с постели и зажал ему рот рукой.

— Спокойно, приятель! — сказал капитан. — Не говори мне покуда ни слова!

Наложив этот запрет и глядя на своего посетителя с великим изумлением, капитан вытолкнул его потихоньку в соседнюю комнату, затем исчез и через несколько секунд вернулся в синем костюме. Подняв руку в знак того, что запрет еще не снят, капитан Катль подошел к буфету и налил себе рюмочку; такую же рюмочку он протянул вестнику. После этого капитан поместился в углу, спиной к стене, как бы предотвращая возможность быть поверженным на спину сообщением, какое ему предстояло выслушать, осушил рюмку и, не спуская глаз с вестника и побледнев так, как только мог побледнеть, предложил ему «отчаливать».

— То есть рассказывать, капитан? — осведомился Роб, на которого эти меры предосторожности произвели сильное впечатление.

— Да! — сказал капитан.

— Так вот, сэр, — сказал Роб, — я мало что могу рассказать. Но посмотрите-ка сюда!

Роб показал связку ключей. Капитан внимательно поглядел на них, оставаясь в своем углу, и внимательно поглядел на вестника.

— А посмотрите-ка сюда! — продолжал Роб.

Мальчик показал запечатанный пакет, на который капитан Катль вытаращил глаза так же, как тарачил их на ключи.

— Когда я проснулся сегодня, капитан, — продолжал Роб, — примерно в четверть шестого, я нашел это у себя на подушке. Дверь лавки не была заперта ни на задвижку, ни на ключ, а мистер Джилс ушел.

— Ушел? — заревел капитан.

— Улетучился, сэр, — отвечал Роб.

Голос капитана был столь страшен и он с такой энергией двинулся из своего угла на Роба, что тот попятился в другой угол, протягивая ключи и пакет, с целью защитить себя от нападения.

— «Для капитана Катля», сэр! — крикнул Роб. — Написано и на ключах и на пакете. Честное, благородное слово, капитан Катль, больше я ничего об этом не знаю. Умереть мне на этом месте, если знаю! Ну, и ситуация для парня, который только что заполучил должность! — возопил злополучный Точильщик, растирая себе лицо обшлагом. — Хозяин удрал вместе с его местом, и он же в этом виноват!

Эти сетования вызваны были пристальным, или, вернее, сверкающим взглядом капитана Катля, преисполненным туманных подозрений, угроз и обвинений. Взяв протянутый ему пакет, капитан вскрыл его и прочел следующее:

— «Мой дорогой Нэд Катль, сюда вложена последняя моя воля... — капитан с недоверчивым видом перевернул лист бумаги, — и завещание»... Где завещание? — спросил капитан, тотчас предъявляя обвинение злосчастному Точильщику. — Что ты с ним сделал, приятель?

— Я его в глаза не видел, — захныкал Роб. — Неужели вы подозреваете ни в чем не повинного парня, капитан? Я не притрагивался к завещанию.

Капитан покачал головой, давая понять, что кто-то должен нести ответственность, и торжественно продолжал.

— «Коего не вскрывайте в течение года или до тех пор, пока не получите достоверных известий о моем дорогом Уолтере, который дорог и вам, Нэд, в этом я уверен». — Капитан сделал паузу и с волнением покачал головой; затем, дабы поддержать свое достоинство в этот напряженный момент, посмотрел чрезвычайно сурово на Точильщика. — «Если вы никогда обо мне не услышите и не увидите меня, Нэд, вспоминайте о старом друге так же, как он будет вспоминать о вас до последней минуты — с любовью; и по крайней мере до тех пор, пока не истечет указанный мною срок, сохраните для Уолтера домашний очаг в старой лавке. Долгов нет, ссуда, полученная от фирмы Домби, покрыта, а все ключи я посылаю вместе с этим пакетом. Шуму не поднимайте и никаких справок обо мне не наводите: это бесполезно. Больше, дорогой Нэд, нет поручений от вашего верного друга Соломона Джилса». — Капитан глубоко вздохнул, а затем прочел следующие слова, приписанные внизу: — «Мальчик Роб, как я вам говорил, рекомендован фирмой Домби с лучшей стороны. Если бы все остальное пошло с молотка, позаботьтесь, Нэд, о Маленьком Мичмане».

Для того, чтобы вызвать у потомства представление о том, как капитан вертел письмо в руках и, прочитав его раз двадцать, опустился на стул и мысленно стал держать военный суд, — для этого потребовались бы объединенные усилия всех великих гениев, которые, пренебрегая своим несчастливым веком, решили обратиться к потомству, но и у него не добились успеха. Сначала капитан был слишком потрясен и расстроен, чтобы думать о чем бы то ни было, кроме самого письма; и даже когда мысли его обратились к различным сопутствующим фактам, то оказалось, что, пожалуй, лучше было бы им не покидать первоначальной темы — так мало проясняли они эти факты. В таком расположении духа капитан Катль, имея пред судом Точильщика, и только его одного, почувствовал великое облегчение, решив, что подозрения падают на него; эта мысль столь ясно отразилась на физиономии капитана, что Роб запротестовал.

— Ох, не надо, капитан! — вскричал Точильщик. — Не понимаю, как это вы можете! Что я сделал, чтобы так на меня смотреть?

— Приятель, — сказал капитан Катль, — не кричи, пока тебя не обидели. И что бы ты ни сделал, не наговаривай на себя.

— Я ничего не делал и не наговаривал, капитан, — ответил Роб.

— В таком случае, не уклоняйся, — внушительно сказал капитан, — и стань на якорь.

Глубоко чувствуя возложенную на него ответственность и необходимость тщательно расследовать это таинственное происшествие, как подобает человеку, связанному с обеими сторонами, капитан Катль решил осмотреть место действия и не отпускать от себя Точильщика. Считая, что в

настоящее время этот юнец находится как бы под арестом, капитан колебался, не целесообразно ли будет надеть ему наручники, связать ноги или привесить к ним груз; но сомневаясь, законны ли подобные действия, капитан решил только придержать его всю дорогу за плечо и сбить с ног, если он окажет сопротивление.

Однако Роб не оказал никакого сопротивления и, стало быть, подошел к дому мастера судовых инструментов, не испытав более суровых мер воздействия. Так как ставни были еще закрыты, капитан прежде всего позаботился открыть лавку; когда же дневной свет проник в комнату, капитан с его помощью приступил к дальнейшему расследованию.

Первым делом он поместился на стуле в лавке в качестве председателя торжественного трибунала, все члены коего соединились в его лице, и потребовал, чтобы Роб лег в постель под прилавком, указал точно место, где он, проснувшись, обнаружил ключи и пакет, и показал, каким образом нашел дверь незапертой, как отправился на Бриг-Плейс, — причем капитан предусмотрительно приказал восстановить эту последнюю сцену не выходя за порог, — и так далее и так далее. Когда все это было показано несколько раз, капитан покачал головой и, по-видимому, пришел к заключению, что дело принимает дурной оборот.

Затем капитан, смутно допуская возможность найти тело, предпринял тщательные поиски по всему дому: с зажженной свечой шарил в погребах, засовывал свой крючок за двери, больно ударялся головой о балки и запутывался в паутине. Поднявшись в спальню старика, они убедились, что в ту ночь он не ложился в постель, а только прилег поверх одеяла, о чем свидетельствовал еще сохранившийся на одеяле отпечаток.

— И я думаю, капитан, — сказал Роб, осматривая комнату, — что эти последние дни, когда мистер Джилс так часто приходил и уходил, он понемногу уносил мелкие вещи, чтобы не привлекать внимания.

— А! — таинственно произнес капитан. — Почему ты так думаешь, приятель?

— Вот, например, — отвечал Роб, озираясь, — я не вижу его прибора для бритья. И щеток его не вижу, капитан. И рубашек. И башмаков.

По мере того, как перечислялись эти предметы, капитан Катль специально сосредоточивал внимание на деталях туалета Точильщика, — не обнаружится ли, что тот недавно ими пользовался или в настоящее время ими владеет. Но Робу незачем было бриться, он, разумеется, был не причесан, и не могло быть никаких сомнений в том, что свой костюм он носит давно.

— А что бы ты сказал, не наговаривая на себя, — спросил капитан, — в котором часу он уклонился от курса? Ну?

— Я думаю, капитан, — отвечал Роб, — что, должно быть, он ушел вскоре после того, как я захрапел.

— В котором часу это было? — осведомился капитан, приготовившись добиться точных сведений.

— Как же я могу на это ответить, капитан? — возразил Роб. — Знаю только, что поначалу сон у меня крепкий, а под утро — чуткий; и если бы мистер Джилс прошел через лавку на рассвете, хотя бы даже на цыпочках, я бы уже непременно услышал, как он закрывает дверь.

Трезво обсудив это показание, капитан Катль стал склоняться к мысли, что мастер судовых инструментов скрылся по собственному желанию; такому логическому выводу способствовало письмо, адресованное капитану, которое, будучи несомненно написано рукой старика, как будто без особых натяжек подтверждало догадку, что тот решил уйти и ушел по своей воле. Теперь капитану предстояло подумать, куда он ушел и зачем? А так как он не видел никаких путей к решению первого вопроса, то и ограничил свои размышления вторым.

Когда капитан припомнил странное поведение старика и прощание с ним — в тот вечер он не мог объяснить, почему оно было таким теплым, но теперь это стало понятно, — у него возникло страшное подозрение, что старик, подавленный тревогой и тоской по Уолтеру, пришел к мысли о самоубийстве. Так как он был не приспособлен к тяготам повседневной жизни, о чем частенько говорил сам, и несомненно выведен из равновесия неопределенным положением и надеждами, исполнение которых все откладывалось и откладывалось, подобное предположение казалось не только не бессмысленным, но даже слишком правдоподобным.

У него не было долгов, он не боялся лишения свободы или наложения ареста на имущество —

что же, если не припадок безумия, побудило его бежать из дому одного и тайком? Касательно же кое-каких вещей, взятых им с собой, если он действительно их взял — а даже в этом они не были уверены, — он мог это сделать, рассуждал капитан, чтобы предотвратить расследование, отвлечь внимание от своей гибели или успокоить того самого человека, который в данный момент взвешивал все эти возможности. Таковы были, если изложить простым языком и в сжатой форме, окончательные выводы и сущность рассуждений капитана Катля, которые не скоро приняли это направление и подобно иным публичным рассуждениям были сначала весьма сбивчивы и беспорядочны.

Крайне удрученный и павший духом, капитан Катль почел справедливым освободить Роба из-под ареста, к коему его приговорил, и предоставить ему свободу при условии почетного надзора за ним, от которого не намерен был отказываться. Наняв у маклера Броли человека, который должен был во время их отлучек сидеть в лавке, капитан взял с собою Роба и занялся печальными поисками мертвых останков Соломона Джилса.

Ни один полицейский участок, ни один морг, ни один работный дом в столице не избежал посещения твердой глянцевиной шляпы. На пристанях, среди судов на берегу реки, вверх по течению, вниз по течению — всюду и везде, где толпа была гуще, поблескивала она, словно шлем героя в битве. В течение целой недели капитан читал во всех газетах объявления обо всех найденных и пропавших людях и во все часы дня отправлялся опознавать Соломона Джилса в бедных маленьких юнгах, упавших за борт, и в высоких темнобородых иностранцах, принявших яд, «удостовериться, — говорил капитан Катль, — что это не он». И в самом деле, это был не он, и у доброго капитана другого утешения не оставалось.

Наконец капитан Катль отказался от этих попыток, признав их безнадежными, и стал размышлять, что надлежит ему теперь делать. Неоднократно перечитав письмо своего бедного друга, он заключил, что первой его обязанностью является сохранить «для Уолтера домашний очаг в старой лавке». Поэтому капитан принял решение переселиться в дом Соломона Джилса, заняться продажей инструментов и посмотреть, что из этого выйдет.

Но так как подобный шаг требовал отказа от квартиры у миссис Мак-Стинджер, а он знал, что эта энергичная женщина и слушать не станет о его переезде, капитан пришел к отчаянному решению сбежать.

— Послушай-ка, приятель, — сказал капитан Робу, когда в голове его созрел этот замечательный план, — завтра меня не будет на этом рейде до ночи; быть может, приду после полуночи. Но ты будь настороже, пока не услышишь моего стука, а как только услышишь, беги и отоприв дверь.

— Слушаю, капитан, — сказал Роб.

— Ты по-прежнему будешь числиться в этом журнале, — снисходительно продолжал капитан, — и можешь даже получить повышение, если мы с тобой поладим. Но завтра ночью, как только услышишь мой стук, в котором бы часу это ни случилось, беги и проворней отворяй.

— Будьте покойны, капитан, — отвечал Роб.

— Дело в том, понимаешь ли, — пояснил капитан, возвращаясь, чтобы растолковать ему это поручение, — что — кто знает! — возможна и погоня; и меня могут захватить, пока я буду ждать, если ты отопрешь не так проворно.

Роб снова заверил капитана, что будет бдителен и расторопен, и капитан, отдав это благоразумное распоряжение, в последний раз отправился домой к миссис Мак-Стинджер.

Сознание, что он явился туда в последний раз и скрывает жестокий умысел под синим своим жилетом, внушило ему такой смертельный страх перед миссис Мак-Стинджер, что шаги этой леди внизу в течение целого дня приводили его в трепет. Вдобавок случилось так, что миссис Мак-Стинджер была в прекрасном расположении духа — мила и кротка, как овечка; и капитан Катль испытал жестокие угрызения совести, когда она поднялась наверх и спросила, не приготовить ли ему чего-нибудь к обеду.

— Вкусный пудинг из почек, капитан Катль, — сказала квартирная хозяйка, — или баранье сердце. Не беда, если мне придется похлопотать.

— Нет, благодарю вас, сударыня, — отвечал капитан.

— Или жареную курицу, — сказала миссис Мак-Стинджер, — с телячьим фаршем и яичным соусом. Право же, капитан Катль, устройте себе маленький праздник!

— Нет, благодарю вас, сударыня, — очень смиренно отвечал капитан.

Чарльз Диккенс «Торговый дом Домби и сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт»

— Сдается мне, вы не в своей тарелке, и вам следует подкрепиться, — сказала миссис Мак-Стинджер. — Почему бы не выпить в кои веки раз бутылку хереса?

— Ну что ж, сударыня, — отозвался капитан, — если вы будете так добры и выпьете со мною стаканчик-другой, я, пожалуй, не откажусь. Сделайте милость, сударыня, — продолжал капитан, раздираемый на части своею совестью, — возьмите с меня квартирную плату за квартал вперед!

— А зачем это, капитан Катль? — возразила миссис Мак-Стинджер, возразила резко, как показало капитану.

Капитан был испуган насмерть.

— Вы бы мне оказали услугу, сударыня, если бы взяли, — робко сказал он. — Я не умею беречь деньги. Они у меня уплывают. Я был бы очень признателен, если бы вы согласились.

— Ну что ж, капитан Катль, — потирая руки, сказала ничего не подозревающая Мак-Стинджер, — делайте как хотите. Мне с моим семейством не пристало отказываться, как не пристало и просить.

— И не будете ли вы так добры, сударыня, — сказал капитан, доставая с верхней полки буфета металлическую чайницу, в которой хранил наличные деньги, — подарить от меня ребятишкам по восемнадцати пенсов каждому? Если вы ничего не имеете против, сударыня, скажите детям, чтобы они пришли сюда. Я был бы рад их видеть.

Эти невинные Мак-Стинджеры уподобились кинжалам, вонзившимся в грудь капитана, когда явились гурьбой и стали тормошить его с безграничным доверием, которое он так мало заслуживал. Вид Александра Мак-Стинджера, его любимца, был ему невыносим; голос Джулианы Мак-Стинджер, как две капли воды похожей на мать, привел его в трепет.

Тем не менее капитан Катль соблюдал приличия более или менее сносно и в течение часа или двух выдерживал весьма жестокое и грубое обхождение юных Мак-Стинджеров, которые, предаваясь детским забавам, причинили некоторый ущерб глянцевиной шляпе, усевшись в нее вдвоем, как в гнездо, и колотя башмаками по внутренней стороне тульи. Наконец капитан с грустью отпустил их и, расставаясь с этими херувимами, испытывал мучительные угрызения совести и скорбь человека, идущего на казнь.

В ночной тишине капитан уложил более тяжелое свое имущество в сундук, который запер на замок, намереваясь оставить его здесь, по всей вероятности, навеки, ибо почти не было шансов на то, что найдется когда-нибудь человек, достаточно отважный и дерзкий, чтобы прийти и потребовать его. Более легкие вещи капитан связал в узел, а столовое серебро разложил по карманам, готовясь к побегу. В полуночный час, когда Бриг-Плейс покоилась во сне, а миссис Мак-Стинджер, окруженная своими младенцами, погрузилась в сладостное забытие, преступный капитан, на цыпочках спустившись в темноте по лестнице, открыл дверь, тихонько притворил ее за собой и пустился бежать.

Преследуемый образом миссис Мак-Стинджер, вскакивающей с постели, бегущей за ним и приводящей его обратно, невзирая на свой костюм, преследуемый также сознанием своего чудовищного преступления, капитан Катль бежал во всю прыть, отнюдь не позволяя траве вырасти у него под ногами между Бриг-Плейс и дверью старого мастера. Она распахнулась, едва он постучал, так как Роб был настороже; а когда она была заперта на задвижку и на ключ, капитан Катль почувствовал себя сравнительно в безопасности.

— Ух! — озираясь, воскликнул капитан. — Вот так скачка!

— Что-нибудь случилось, капитан? — крикнул пораженный Роб.

— Нет, нет! — сказал капитан Катль, бледнея и прислушиваясь к шагам на улице. — Но помни, приятель, если какая-нибудь леди, кроме тех двух, которых ты тогда видел, зайдет и спросит капитана Катля, непременно скажи, что такого человека здесь не знают и никогда о нем не слыхали; за помни это, слышишь?

— Постараюсь, капитан, — ответил Роб.

— Ты можешь сказать, если хочешь, — нерешительно предложил капитан, — что читал в газете об одном капитане, носящем эту фамилию, который отплыл в Австралию, эмигрировал с партией переселенцев, и все они поклялись никогда сюда не возвращаться.

Роб кивнул, давая понять, что уразумел эти инструкции, и капитан Катль, пообещав сделать из него человека, если он будет исполнять приказания, отослал зевающего мальчика спать под прилавок, а сам поднялся наверх, в спальню Соломона Джилса.

Какие муки испытывал капитан на следующий день всякий раз, как под окнами мелькала какая-нибудь шляпка, и сколько раз он выбегал из лавки, ускользая от воображаемых Мак-Стинджер, и искал спасения на чердаке, — не поддается описанию. Но во избежание усталости, связанной с таким способом самосохранения, капитан завесил изнутри стеклянную дверь, ведущую из лавки в гостиную, подобрал к ней ключ из присланной ему связки и пробуравил глазок в стене. Выгоды этой системы фортификации очевидны. При появлении шляпки капитан мгновенно убегал в крепость, запирался на ключ и тайком наблюдал за врагом. Убедившись, что тревога ложная, капитан мгновенно выбегал оттуда. А так как шляпки на улице были весьма многочисленны, а тревога неизменно связана с их появлением, то капитан весь день только и делал, что убегал и прибегал.

Впрочем, в разгар этих упражнений капитан Катль нашел время осмотреть товар, о котором у него составилось общее представление (весьма тягостное для Роба), что, чем больше его протирать и чем ярче он будет блестеть, тем лучше. Затем он наклеил ярлычки на некоторые предметы, привлекательные на вид, наугад назначив цены от десяти шиллингов до пятидесяти фунтов, и выставил их в окне к великому изумлению публики.

Произведя эти улучшения, капитан Катль, окруженный инструментами, стал почитать себя причастным к науке; и по вечерам, в маленькой задней гостиной, покуривая перед сном свою трубку, смотрел сквозь окно в потолок на звезды, как будто они являлись его собственностью. В качестве торговца Сити он начал интересоваться лорд-мэром, шерифами и корпорациями; кроме того, он считал своим долгом ежедневно читать фондовые бюллетени, хотя основы навигации нисколько не помогали ему понять, что означают эти цифры, и он мог бы прекрасно обойтись без дробей. К Флоренс капитан отправился с неожиданными вестями о дяде Соле тотчас после того, как вступил во владение Мичманом; но она была в отъезде. Итак, капитан утвердился на своем новом жизненном посту; не встречаясь ни с кем, кроме Роба Точильщика, и теряя счет дням, как это бывает с людьми, в чьей жизни произошли великие перемены, он размышлял об Уолтере, о Соломоне Джилсе и даже о самой миссис Мак-Стинджер, как о далеком прошлом.

Глава XXVI

Тени прошлого и будущем

— Ваш покорнейший слуга, сэр, — сказал майор. — Черт возьми, сэр, друг моего друга Домби — мой друг, и я рад вас видеть.

— Каркер, я бесконечно признателен майору Бегстоку за общество и беседы, — пояснил мистер Домби. — Майор Бегсток оказал мне большую услугу, Каркер.

Мистер Каркер-заведующий, со шляпой в руке, только что прибывший в Лемингтон и только что представленный майору, показал майору двойной ряд зубов и заявил, что берет на себя смелость поблагодарить его от всего сердца за столь разительную перемену к лучшему в наружности и расположении духа мистера Домби.

— Ей-богу, сэр, — отвечал майор, — благодарить меня не за что, так как это взаимная услуга. Такой великий человек, сэр, как наш друг Домби, — продолжал майор, понизив голос, но понизив его не настолько, чтобы сей джентльмен не мог расслышать, — помимо своей воли облагораживает и возвышает своих друзей. Он — Домби — укрепляет и оживляет нравственную природу человека, сэр.

Мистер Каркер ухватился за это выражение. Нравственную природу. Вот именно! Эти самые слова вертелись у него на языке.

— Но когда мой друг Домби, сэр, — добавил майор, — говорит вам о майоре Бегстоке, я убедительно прошу разрешить мне вывести из заблуждения и его и вас. Он имеет в виду просто Джо, сэр, Джоя Б., Джоша Бегстока, Джозефа — грубого и непреклонного старого Джи, сэр. К вашим услугам!

Чрезвычайно дружелюбное отношение мистера Каркера к майору и восхищение мистера Каркера его грубостью, непреклонностью и простотой сверкали в каждом зубе мистера Каркера.

— А теперь, сэр, — сказал майор, — вам и Домби надо обсудить чертовски много дел.

— О нет, майор! — заметил мистер Домби.

— Домби, — решительно возразил майор, — мне лучше знать. Такому выдающемуся человеку, как вы, колоссу коммерции, мешать не следует. Ваши минуты дороги. Мы встретимся за обедом. В промежутке старый Джозеф постарается не попадаться на глаза. Мистер Каркер, обед ровно в семь.

С этими словами майор — физиономия его чрезвычайно раздулась — удалился, но тотчас же просунул снова голову в дверь и сказал:

— Прошу прощения, Домби, вы ничего не хотите им передать?

Мистер Домби, слегка смущенный, мельком взглянув на учтивого хранителя его коммерческих тайн, поручил майору передать привет.

— Клянусь богом, сэр, — сказал майор, — вы должны передать что-нибудь более сердечное, иначе старый Джо встретит отнюдь не радушный прием.

— В таком случае, мое почтение, майор, если вам угодно, — отвечал мистер Домби.

— Черт побери, сэр, — сказал майор, шутливо встряхивая плечами и жирными щеками, — передайте что-нибудь более сердечное.

— В таком случае все, что вы пожелаете, майор, — заметил мистер Домби.

— Наш друг хитер, сэр, хитер, сэр, дьявольски хитер, — сказал майор, поглядывая из-за двери на Каркера. — Таков и Бегсток. — Затем, оборвав хихиканье и выпрямившись во весь рост, майор торжественно изрек, ударяя себя в грудь: — Домби! Я завидую вашим чувствам. Да благословит вас бог! — И вышел.

— Должно быть, этот джентльмен весьма способствовал приятному вашему времяпрепровождению, — сказал Каркер, оскалив на прощанье все зубы.

— Совершенно верно, — сказал мистер Домби.

— Здесь у него несомненно есть друзья, — продолжал Каркер. — На основании его слов я заключил, что вы бываете в обществе. Знаете ли, — он гнусно улыбнулся, — я так рад, что вы бываете в обществе!

В ответ на это проявление участия со стороны ближайшего своего помощника мистер Домби повертел цепочку от часов и слегка качнул головой.

— Вы созданы для общества, — сказал Каркер. — Больше, чем кто бы то ни было, вы по природе своей и положению предназначены возвращаться в общество. Знаете ли, я часто недоумевал, почему вы так долго держали его в стороне.

— У меня были причины, Каркер. Я был одинок и равнодушен к нему. Но вы сами обладаете талантами, весьма ценными для общества, и тем более должен вызывать удивление ваш образ жизни.

— О, я! — отозвался тот с полной готовностью к самоуничижению. — Что касается такого человека, как я, то это совсем другое дело. С вами я не выдерживаю сравнения.

Мистер Домби поднес руку к галстуку, погрузил в него подбородок, кашлянул и несколько секунд стоял, молча глядя на своего верного друга и слугу.

— Я буду иметь удовольствие, Каркер, — сказал, наконец, мистер Домби с таким видом, словно проглотил слишком большой кусок, — представить вас моим... вернее, друзьям майора. В высшей степени приятные люди.

— Полагаю, среди них есть леди, — вкрадчиво осведомился слащавый заведующий.

— Да... то есть две леди, — ответил мистер Домби.

— Только две? — улыбнулся Каркер.

— Да, только две... Я ограничился визитом к ним и больше никаких знакомств здесь не завел.

— Быть может, сестры? — предположил Каркер.

— Мать и дочь, — ответил мистер Домби.

Когда мистер Домби опустил глаза и снова поправил галстук, улыбающееся лицо мистера Каркера в одну секунду и совершенно неожиданно превратилось в лицо напряженное и нахмуренное, пристально устремленным на мистера Домби взглядом и безобразной усмешкой. Когда мистер Домби поднял глаза, оно изменилось столь же быстро, обретя прежнее свое выражение, и показало ему обе десны.

— Вы очень любезны, — сказал Каркер. — Я буду счастлив познакомиться с ними. Кстати о дочерях... Я видел мисс Домби.

Кровь прилила к щекам мистера Домби.

— Я позволил себе навестить ее, — продолжал Каркер, — чтобы узнать, не даст ли она мне какого-нибудь поручения, но мне не посчастливилось, и я могу передать только... только ее нежный привет.

Какая волчья морда! Даже воспаленный язык виднелся из растянутой пасти, когда глаза встретились с глазами мистера Домби!

— Что у вас за дела? — осведомился этот джентльмен после паузы, в течение которой мистер Каркер доставал памятные записки и другие бумаги.

— Их очень мало, — отвечал Каркер. — В общем, за последнее время нам вопреки обыкновению не везло, но для вас это почти никакого значения не имеет. У Ллойда считают, что «Сын и наследник» затонул. Ну что ж, судно было застраховано от килия до топа.

— Каркер, — начал мистер Домби, придвигая к себе стул, — не могу сказать, чтобы этот молодой человек, Гэй, когда-либо производил на меня благоприятное впечатление...

— И на меня также, — вставил заведующий.

— Но я сожалею, — продолжал мистер Домби, пропустив мимо ушей это замечание, — что он отплыл с этим судном. Лучше бы его не отсылали.

— Жаль, что вы не сказали об этом своевременно, — холодно отозвался Каркер. — Впрочем, я думаю, что все к лучшему. Упомянул ли я о том, что выслушал как бы некоторое признание от мисс Домби?

— Нет, — сурово сказал мистер Домби.

— Не сомневаюсь, — продолжал мистер Каркер после многозначительной паузы, — что, где бы ни был сейчас Гэй, лучше ему быть там, где он находится, чем здесь, дома. На вашем месте я был бы доволен. И лично я вполне удовлетворен. Мисс Домби доверчива и молода... быть может — если только есть у нее какой-нибудь недостаток, — для вашей дочери она недостаточна горда. Но это, конечно, пустяки. Не угодно ли проверить со мной эти балансы?

Вместо того чтобы наклониться над лежавшими перед ним бумагами, мистер Домби откинулся на спинку кресла и пристально посмотрел на заведующего. Заведующий, с полуопущенными веками, притворился, будто глядит на цифры, и не торопил своего принципала. Он не скрывал, что прибег к такому притворству как бы из деликатности и с намерением пощадить чувства мистера Домби; а этот последний, глядя на него, почувствовал его нарочитую заботливость и понял, что, не будь ее, этот заслуживающий доверия Каркер мог бы сообщить ему многое, о чем он, мистер Домби, не спросил из гордости. Таким бывал он часто и в делах. Мало-помалу взгляд мистера Домби стал менее напряженным, и внимание его привлекли бумаги, но, и погрузившись в рассмотрение их, он часто отрывался и снова взглядывал на мистера Каркера. И каждый раз мистер Каркер подчеркивал, как и раньше, свою деликатность и внушал мысль о ней своему великому шефу.

Пока они занимались делами и, искусно направленные заведующим, гневные мысли о бедной Флоренс зарождались и зрели в сердце мистера Домби, вытесняя холодную неприязнь, которая обычно им владела, майор Бегсток, предмет восхищения старых леди Лемингтона, сопутствуемый туземцем, тащившим, как всегда, легкий багаж, шествовал по теневой стороне улицы, намереваясь нанести утренний визит миссис Скъютон. Был полдень, когда майор вошел в будуар Клеопатры, и ему посчастливилось застать свою повелительницу, по обыкновению, на софе, где она изнемогала над чашкой кофе в комнате, которая для более сладостного ее отдохновения была погружена во мрак столь густой, что Уитерс, ей прислуживавший, вырисовывался неясно, как призрачный паж.

— Что за несносное создание появилось здесь? — сказала миссис Скъютон. — Я не могу его вынести. Уходите, кто бы вы ни были!

— Сударыня, у вас не хватит духу прогнать Дж. Б.! — запротестовал майор, останавливаясь на полпути и держа трость на плече.

— Ах, так это вы? Пожалуй, можете войти, — заявила Клеопатра.

Итак, майор вошел и, приблизившись к софе, приложил к губам ее прелестную руку.

— Садитесь как можно дальше, — сказала Клеопатра, лениво обмахиваясь веером. — Не подходите ко мне, потому что сегодня я ужасно слаба и чувствительна, а от вас пахнет солнцем. Вы какой-то тропический!

— Черт возьми, сударыня! — сказал майор. — Было время, когда Джозеф Бегсток поджаривался и обжигался на солнце; было время, когда благодаря тепличной атмосфере Вест-Индии он по-

неволе достиг столь пышного расцвета, что прославился под кличкой Цветок. В те дни, сударыня, никто не слышал о Бегстоке, — все слышали о Цветке — Нашем Цветке. Быть может, сударыня, Цветок немного увял, — заметил майор, опускаясь в кресло, стоявшее значительно ближе, чем то, которое было ему указано его жестоким божеством, — но все же это стойкое растение и такое же непреклонное, как вечнозеленое дерево.

Майор под покровом темноты закрыл один глаз, замотал головой как арлекин, и, чрезвычайно довольный собой, подошел к границам апоплексии ближе, чем когда бы то ни было.

— Где миссис Грейнджер? — осведомилась Клеопатра у своего пажа.

Уитерс высказал предположение, что она у себя в комнате.

— Прекрасно, — сказала миссис Скьютон. — Ступайте и закройте дверь. Я занята.

Когда Уитерс скрылся, миссис Скьютон, оставаясь в той же позе, томно повернула голову к майору и спросила, как поживает его друг.

— Домби, сударыня, — отвечал майор с веселым горловым смешком, — чувствует себя хорошо, насколько это возможно в его положении. Положение его отчаянное, сударыня. Он увлечен, этот Домби. Увлечен! — воскликнул майор. — Он пронзен насквозь!

Клеопатра бросила на майора зоркий взгляд, поразительно противоречивший тому деланному небрежному тону, каким она сказала:

— Майор Бегсток, хотя я мало знаю свет, но не сокрушаюсь о своей неопытности, потому что он весь пропитан фальшью, связан угнетающими условностями; природа остается в пренебрежении, и редко можно услышать музыку сердца, излияния души и все прочее, поистине поэтическое; однако я не могу не понять смысла ваших слов. Вы намекаете на Эдит, на мое бесконечно дорогое дитя, — продолжала миссис Скьютон, проводя указательным пальцем по бровям, — и в ответ на ваши слова вибрируют нежнейшие струны!

— Прямота, сударыня, — ответил майор, — всегда была отличительной чертой рода Бегстоков. Вы правы. Джо это признает.

— И этот намек, — продолжала Клеопатра, — вызывает одни из самых, если не самые нежные, волнующие и священные эмоции, на какие способна наша огрубевшая, к сожалению, натура.

Майор приложил руку к губам и послал воздушный поцелуй Клеопатре, как бы для того, чтобы изобразить эмоцию, о которой шла речь.

— Я чувствую, что слаба. Чувствую, что мне недостает той энергии, которая в такую минуту должна поддерживать маму, чтобы не сказать — родительницу, — заметила миссис Скьютон, вытирая губы кружевной оторочкой носового платка. — Но, право же, я не могу не чувствовать слабости, касаясь вопроса, столь знаменательного для моей дорогой Эдит. Тем не менее, злодей, так как вы дерзнули его затронуть, а он причинил мне острую боль, — миссис Скьютон прикоснулась веером к левому своему боку, — я не премину исполнить свой долг.

Майор под покровом сумерек все раздувался и раздувался, мотал из стороны в сторону багровой физиономией и подмигивал рачьими глазами, пока у него не начался приступ удушья, который побудил его встать и раза два пройтись по комнате, прежде чем его прекрасный друг мог продолжать свою речь.

— Мистер Домби, — сказала миссис Скьютон, обретя, наконец, возможность говорить, — был так любезен, что вот уже несколько недель назад удостоил нас здесь своим визитом, сопровождаемый вами, дорогой майор. Признаюсь — разрешите мне быть откровенной, — что я существо импульсивное, и в сердце моем, так сказать, читают все. Я прекрасно знаю свою слабость. Враги мои не могут знать ее лучше, чем я. Но я не жалею об этом. Я предпочитаю, чтобы безжалостный свет не погасил жар моего сердца, и готова примириться с этим справедливым обвинением.

Миссис Скьютон оправила косынку, ущипнула себя за увядшую шею, чтобы разгладить складки на ней, и продолжала, весьма довольная собой:

— Мне, а также дорогой моей Эдит, в чем я не сомневаюсь, доставляло бесконечное удовольствие принимать мистера Домби., Мы, естественно, были расположены к нему как к вашему другу, дорогой мой майор; и мне казалось, что в мистере Домби чувствуется та бодрость, которая действует в высшей степени освежающе.

— Чертовски мало бодрости осталось теперь у мистера Домби, сударыня, — сказал майор.

— Прошу вас, молчите, несчастный! — воскликнула миссис Скьютон, бросив на него томный

взгляд.

— Дж. Б. безмолвствует, сударыня, — ответил майор.

— Мистер Домби, — продолжала Клеопатра, растирая розовую краску на щеках, — не ограничился одним визитом; быть может, он нашел нечто приятное в наших простых и непритязательных вкусах — ибо есть обаяние в природе, она так сладостна, — и сделался постоянным членом нашего вечернего кружка. А я и не помышляла о той страшной ответственности, какую брала на себя, когда поощряла мистера Домби...

— Располагаться здесь, сударыня, — подсказал майор Бегсток.

— Грубиян! — сказала миссис Скьютон. — Вы угадываете мою мысль, но выражаете ее отвратительным языком.

Тут миссис Скьютон облокотилась на стоявший около нее столик; свесив кисть руки, по ее мнению, грациозно и изящно, она начала помахивать веером и, разговаривая, лениво любовалась своей рукой.

— Пытка, какую я перенесла, — сказала она жеманно, — когда истина постепенно мне открылась, была слишком ужасна, чтобы о ней распространяться. Вся моя жизнь — в моей ненаглядной Эдит; видеть, как она меняется изо дня в день, моя очаровательная девочка, которая буквально похоронила свое сердце после смерти этого прекраснейшего человека, Грейнджера, видеть это — мучительнейшая вещь в мире.

Мир миссис Скьютон был не очень жесток, если судить о нем по тому впечатлению, какое производило на нее мучительнейшее испытание; но это между прочим.

— Говорят, что Эдит! — просюсюкала миссис Скьютон, — жемчужина моей жизни, похожа на меня. Мне кажется, мы действительно похожи.

— Есть на свете один человек, сударыня, который никогда не согласится с тем, что кто-то на вас похож, — сказал майор, — а зовут этого человека старым Джо Бегстоком.

Клеопатра имела поползновение разможить голову льстецу веером, но, смягчившись, улыбнулась ему и продолжала:

— Если моя прелестная девочка унаследовала от меня какие-нибудь хорошие качества, злодей (злодеем был майор), то она унаследовала также и мою безрассудную натуру. У нее очень сильный характер — говорят, у меня необычайно сильный характер, хотя я этому не верю, — но если ее что-нибудь взволнует, она становится восприимчива и чувствительна в высшей степени. Что же должна испытывать я, видя, как она томится! Меня это губит.

Майор, выдвинув двойной подбородок и поджав синие губы, выразил всей физиономией глубочайшее сочувствие.

— С волнением думаешь о том доверии, — сказала миссис Скьютон, — какое существовало между нами: свободное развитие души и излияние чувств. Мы были скорее двумя сестрами, чем матерью и дочерью.

— Таково мнение Дж. Б., — заметил майор, — высказывавшееся Дж. Б. пятьдесят тысяч раз!

— Не перебивайте меня, грубиян! — сказала Клеопатра. — Что же в таком случае должна я испытывать, когда замечаю: есть один предмет, которого мы избегаем касаться! Что между нами разверзлась... как это говорится... пропасть! Что моя прямодушная Эдит изменилась! Конечно, это мучительнейшее чувство.

Майор встал с кресла и пересел ближе к столику.

— Изо дня в день я это наблюдаю, дорогой майор, — продолжала миссис Скьютон. — Изо дня в день я это чувствую. Ежечасно я упрекаю себя в том избытке прямоты и доверчивости, какой привел к столь печальным последствиям; и я все время жду, что мистер Домби с минуты на минуту объяснится и облегчит эти муки, которые жестоко меня изнурили. Но ничего подобного не случается, дорогой майор. Я раба угрызений совести — не разбейте кофейную чашку, вы такой неловкий, — моя ненаглядная Эдит стала другим человеком. И, право же, я не знаю, что делать и с каким добрым человеком мне посоветоваться.

Майор Бегсток, поощренный, быть может, тем ласковым и доверчивым тоном, к которому миссис Скьютон несколько раз прибегала, а теперь избрала окончательно, протянул через столик руку и сказал, подмигивая:

— Посоветуйтесь с Джо, сударыня.

— В таком случае, несносное вы чудовище, — сказала Клеопатра, подавая руку майору и ударяя его по пальцам веером, который держала в другой руке, — почему вы не поговорите со мной? Вы знаете, о чем я думаю. Почему же вы мне ничего об этом не скажете?

Майор захохотал, поцеловал протянутую ему руку и снова неудержимо захохотал.

— Такой ли мистер Домби сердечный человек, каким я его почитаю? — нежно проворковала Клеопатра. — Как вы думаете, дорогой майор, серьезные ли у него намерения? Считаете вы нужным поговорить с ним или пусть все идет само собой? Скажите мне, дорогой, что бы вы посоветовали?

— Женить нам его на Эдит Грейнджер, сударыня? — хрипло захохотал майор.

— Загадочное существо! — отозвалась Клеопатра, поднимая веер, чтобы ударить майора по носу. — Как можем мы его женить?

— Женить нам его на Эдит Грейнджер, спрашиваю я, сударыня? — снова хихикнул майор.

Миссис Скьютон ничего не ответила, но улыбнулась майору с такой игривостью и лукавством, что сей галантный офицер, приняв это за вызов, запечатлел бы поцелуй на ее чрезвычайно красных устах, если бы она не заслонила веером с очаровательной и девической ловкостью. Быть может, это была скромность; а может быть — опасение, как бы не пострадала окраска губ.

— Домби, сударыня, — сказал майор, — завидная добыча.

— О корыстный негодяй! — тихонько взвизгнула Клеопатра. — Как вам не стыдно!

— И у Домби, сударыня, — продолжал майор, вытягивая шею и тараща глаза, — серьезные намерения. Джозеф это говорит; Бегсток это знает; Дж. Б. к этому ведет. Пусть все идет само собой, сударыня. Домби надежен, сударыня. Поступайте так, как поступали раньше, больше ничего; и верьте, что Дж. Б. доведет дело до конца.

— Вы действительно так думаете, дорогой майор? — спросила Клеопатра, которая, несмотря на свою ленивую позу, всматривалась в него очень пытливо и очень зорко.

— Уверен, сударыня, — ответил майор. — Несравненная Клеопатра и ее Антоний Бегсток будут частенько беседовать об этом с торжеством, наслаждаясь изысканной роскошью и богатством дома Эдит Домби. Сударыня, — сказал майор, вдруг оборвав хихиканье и став серьезным, — приехала правая рука Домби.

— Сегодня утром? — спросила Клеопатра.

— Сегодня утром, сударыня, — ответил майор. — А нетерпение, с каким Домби ждал его приезда, объясняется — поверьте Дж. Б. на слово, ибо Джо дья-явольски хитер, — майор постукал себя по носу и прищурил один глаз, что не усугубило его природную красоту, — объясняется желанием, чтобы слухи не дошли до него раньше, чем он, Домби, сообщит ему о своих намерениях или посоветуется с ним. Потому что Домби, сударыня, — сказал майор, — горд как Люцифер.

— Прекрасное качество, — просюсюкала миссис Скьютон, — свойственное также и Эдит.

— Так вот, сударыня, — продолжал майор, — я уже сделал несколько намеков, и правая рука их поняла, и подбавлю еще до конца дня. Сегодня утром Домби наметил на завтра поездку в Уорикский замок и в Кенилуорт, а предварительно хотел позавтракать с нами. Я взялся передать приглашение. Удостоите ли вы нас этой чести, сударыня? — сказал майор, раздуваясь от одышки и лукавства и вручая записку, адресованную почтенной миссис Скьютон через любезное посредство майора Бегстока, в которой неизменно ей преданный Поль Домби просил ее и любезную и очаровательную ее дочь принять участие в предполагаемой экскурсии; а в постскриптуме тот же неизменно преданный Поль Домби передавал привет миссис Грейнджер.

— Тише! — промолвила вдруг Клеопатра. — Эдит!

Вряд ли можно сказать, что после этого восклицания любящая мать вновь напустила на себя ленивый и жеманный вид, ибо с ним она никогда не расставалась; пожалуй, она не хотела и не могла с ним расстаться нигде, разве только в могиле. Но торопливо отогнав тень серьезности или сосредоточенности на замысле, похвальном или дурном, какая в тот момент могла отражаться на ее лице, в голосе или манере, она вытянулась на кушетке, снова бесконечно вялая и томная; в этот момент в комнату вошла Эдит.

Эдит, такая красивая и величественная, но такая холодная и такая неприступная! Едва кивнув майору Бегстоку и бросив проницательный взгляд на мать, она откинула занавеску у окна и села, глядя на улицу.

— Дорогая моя Эдит, — сказала миссис Скьютон, — где же это ты была? Я так хотела тебя ви-

дочь, моя милая.

— Вы сказали, что заняты, и я не входила, — ответила она, не оборачиваясь.

— Это было жестоко по отношению к старому Джо, сударыня, — подхватил майор со свойственной ему галантностью.

— Это было очень жестоко, я знаю, — сказала она, по-прежнему глядя в окно, сказала с таким невозмутимым презрением, что майор был сбит с толку и не мог придумать никакого ответа.

— Майор Бегсток, милая моя Эдит, — промолвила ее мать, растягивая слова, — который, как тебе известно, самый бесполезный и неприятный человек на свете...

— Право же, мама, это ни к чему, — повернувшись, сказала Эдит, — оставьте эту манеру разговаривать. Мы всеем одни. Мы друг друга знаем.

Спокойное презрение, отразившееся на ее прекрасном лице, презрение, явно обращенное на нее самое не меньше, чем на них, было так глубоко, что притворная улыбка матери, хотя и была такой привычной, на секунду сбежала с губ.

— Милая моя девочка... — начала она снова.

— Еще не женщина? — улыбнувшись, сказала Эдит.

— Какая ты сегодня странная, дорогая моя. Позволь тебе сказать, милочка, что майор Бегсток принес любезнейшую записку от мистера Домби, который предлагает позавтракать с ним завтра и отправиться в Уорик и в Кенилуорт. Ты поедешь, Эдит?

— Поеду ли я? — повторила она, сильно покраснев, и, прерывисто дыша, повернулась к матери.

— Я знала, дорогая, что ты поедешь, — беззаботно отозвалась та. — Я спросила, как ты говоришь, для приличия. Вот письмо мистера Домби, Эдит.

— Благодарю вас. У меня нет ни малейшего желания читать его, — последовал ответ.

— В таком случае, пожалуй, я отвечу на него сама, — сказала миссис Скьютон, — хотя у меня была мысль просить тебя взять на себя роль моего секретаря, дорогая моя.

Так как Эдит не шевельнулась и не дала никакого ответа, миссис Скьютон попросила майора придвинуть к ней столик, и откинуть крышку, и достать ей перо и бумагу, каковые галантные услуги майор оказал с великой покорностью и преданностью.

— Передать привет от тебя, Эдит, дорогая моя? — осведомилась миссис Скьютон, не выпуская пера из рук, прежде чем приписать постскрипту.

— Все, что вам угодно, мама, — не оборачиваясь, отозвалась та с величайшим равнодушием.

Миссис Скьютон написала то, что ей было угодно, не добиваясь более точных указаний, и вручила письмо майору, который, приняв это драгоценное поручение, сделал вид, будто прячет письмо у сердца, но вследствие ненадежности своего жилета поневоле опустил его в карман панталон. Затем майор весьма элегантно и рыцарски распрощался с обеими леди, на что старшая ответила, не изменяя обычной своей манере, тогда как младшая, не переставая глядеть в окно, наклонила голову чуть заметно, так что любезнее было бы по отношению к майору обойтись без всякого поклона и предоставить ему сделать заключение, что она ничего не слышала или не заметила.

«Что касается перемены в ней, сэр, — размышлял на обратном пути майор (день был солнечный и жаркий, и майор приказал туземцу с легким багажом, идти впереди, а сам шествовал в тени заброшенного на чужбину принца), — что касается перемены, сэр, томления и тому подобного, то на эту удочку Джозеф Бегсток не попадет. Нет, сэр! Это не пройдет! Ну, а что касается разногласия между ними или пропасти, как выражается мамаша, — будь я проклят, сэр, если это не похоже на правду! И это очень странно! Ну, что ж, сэр! — пыхтел майор. — Эдит Грейнджер и Домби — прекрасная пара; пусть решают спор поединком. Бегсток ставит на победителя!»

Майор, увлеченный своими мыслями, произнес эти последние слова вслух, вследствие чего злосчастный туземец остановился и оглянулся, полагая, что они обращены к нему. Раздраженный до последней степени нарушением субординации, майор (хотя в тот момент он раздувался от прекраснейшего расположения духа) ткнул туземца между ребер своею тростью и с небольшими промежутками не переставал подталкивать его вплоть до самой гостиницы.

Не менее раздражен был майор, когда одевался к обеду, во время каковой процедуры на темнокожего слугу сыпался град всевозможных предметов, начиная с сапога, кончая головной щеткой и включая все, что попадалось под руку его хозяину. Ибо майор кичился тем, что великолепно вы-

муштровал туземца, и за малейшее нарушение дисциплины карал его, применяя такого рода наказания. Добавим к этому, что он держал туземца при себе как средство, отвлекающее от подагры и всех прочих недугов, духовных и телесных; и туземец, по-видимому, недаром получал жалованье, которое, впрочем, было невелико.

Наконец майор, расточив все снаряды, бывшие в его распоряжении, и наградив туземца таким количеством новых кличек, что у того были все основания подивиться богатству английского языка, подчинился необходимости повязать галстук; нарядившись и почувствовав прилив жизнерадостности после своих упражнений, он спустился вниз развлекать Домби и его правую руку.

Домби еще не приходил, но правая рука была на месте, и зубные сокровища были, по обыкновению, к услугам майора.

— Ну, сэр, — сказал майор, — что вы поделывали с тех пор, как я имел счастье вас видеть? Прогулялись?

— Гуляли не больше получаса, — ответил Каркер. — Мы были так заняты.

— Дела? — сказал майор.

— Нужно было покончить с разными мелочами, — отозвался Каркер. — Но, знаете ли... Это совсем несвойственно мне, воспитанному в школе недоверия и обычно не расположенному к общительности, — начал он, перебивая себя и говоря обаятельно чистосердечным тоном, — но к вам я чувствую полное доверие, майор Бегсток.

— Вы делаете мне честь, сэр. Мне вы можете доверять.

— В таком случае, понимаете ли, — продолжал Каркер, — мне кажется что мой друг... пожалуй, следовало бы сказать наш друг...

— Вы имеете в виду Домби, сэр? — воскликнул майор. — Мистер Каркер, вы видите меня — вот я стою здесь, перед вами? Видите вы Дж. Б.?

Он был в достаточной мере толстым и в достаточной мере синим, чтобы его увидеть; и мистер Каркер сообщил, что имеет удовольствие видеть его.

— В таком случае, сэр, вы видите человека, который пойдет в огонь и воду, чтобы услужить Домби, — заявил майор Бегсток.

Мистер Каркер улыбнулся и сказал, что в этом не сомневается.

— Знаете ли, майор, — продолжал он, — возвращаясь к тому, с чего я начал, я нашел, что сегодня наш друг был менее внимателен к делам, чем обычно.

— Да? — отозвался обрадованный майор.

— Я нашел его слегка рассеянным и не расположенным к сосредоточенности.

— Ей-богу, сэр, — вскричал майор, — тут замешана леди!

— Действительно, я начинаю верить, что это так, — ответил Каркер. — Мне казалось, вы шутили, когда как будто намекнули на это; я ведь знаю вас, военных...

Майор разразился лошадиным кашлем и потряс головой и плечами, как бы говоря: «Да, мы веселые ребята, этого нельзя отрицать». Затем он схватил мистера Каркера за петлю фрака и, выпучив глаза, зашептал ему на ухо, что она — необычайно обаятельная женщина, сэр. Что она — молодая вдова, сэр. Что она из хорошей семьи, сэр. Что Домби влюблен в нее по уши, сэр, и что это прекрасная партия для обеих сторон; ибо у нее красота, хорошее происхождение и таланты, а у Домби богатство; чего же еще может желать супружеская пара? Заслышав шаги мистера Домби за дверью, майор оборвал свою речь, заключив, что завтра утром мистер Каркер увидит ее и будет судить сам; от умственного напряжения и разговора хриплым шепотом у майора слезились глаза, и он сидел пыхтя, пока не подали обед.

Подобно некоторым другим благородным животным, майор показал себя во всем блеске во время кормежки. В тот день он сверкал ослепительно за одним концом стола, а мистер Домби испускал более слабое сияние за другим, тогда как Каркер ссужал свои лучи то одному, то другому светилу или направлял их на оба вместе, в зависимости от обстоятельств.

За первым и вторым блюдом майор обычно бывал серьезен, так как туземец, исполняя тайный приказ, окружал его прибор всевозможными соусниками и бутылочками, и майор был не на шутку занят, вытаскивая пробки и смешивая содержимое на своей тарелке. Вдобавок у туземца, на столике у стены, находились различные приправы и пряности, коими майор ежедневно обжигал себе желудок, не говоря уже о странных сосудах, из которых он наливал неведомые жидкости в стакан майора.

Но в тот день майор Бегсток, даже несмотря на эти многочисленные занятия, находил время быть общительным, и общительность его выражаюсь в чрезвычайном лукавстве, направленном на то, чтобы просветить мистера Каркера и обнаружить состояние духа мистера Домби.

— Домби, — сказал майор, — вы ничего не кушаете. В чем дело?

— Благодарю вас, — ответил этот джентльмен, — я ем; у меня сегодня нет аппетита.

— Что же с ним случилось, Домби? — спросил майор. — Куда он делся? У наших друзей вы его не оставили, в этом я могу поклясться, так как я ручаюсь за то, что сегодня за завтраком никакого аппетита у них не было. Во всяком случае, я готов поручиться за одну из них; но за которую — не скажу!

Тут майор подмигнул Каркеру и преисполнился таким лукавством, что его темнокожий слуга принужден был, не дожидаясь приказаний, похлопать его по спине, иначе тот, вероятно, исчез бы под столом.

В конце обеда, иными словами, когда туземец приблизился к майору, собираясь разливать первую бутылку шампанского, майор стал еще лукавее.

— Наливай до краев, негодяй, — сказал майор, поднимая свой бокал. — И мистери Каркеру наливай до краев. И мистери Домби. Клянусь богом, джентльмены, — сказал майор, подмигивая своему новому другу, тогда как мистер Домби с проницательным видом смотрел в тарелку, — этот бокал вина мы посвятим божеству; Джо гордится знакомством с ним и издали им восхищается смиренно и почтительно. Имя его — Эдит — сказал майор, — божественная Эдит!

— За здоровье божественной Эдит! — воскликнул улыбающийся Каркер.

— Да, разумеется, за здоровье Эдит, — сказал мистер Домби. Появление лакеев с новыми блюдами побудило майора стать еще лукавее, но вместе с тем серьезнее.

— Хотя в своей компании Джо Бегсток может и пошутить и серьезно поговорить об этом предмете, сэр, — сказал майор, приложив палец к губам и обращаясь конфиденциально к Каркеру, — но это имя для него слишком священо, чтобы делать его достоянием этих молодцов, да и других тоже! Ни слова, сэр, пока они здесь!

Это было почтительно и пристойно со стороны майора — мистер Домби явно это чувствовал. Хотя и смущенный, при всей своей ледяной холодности, намеками майора, мистер Домби отнюдь не возражал против такого подшучивания — это было очевидно — и даже поощрял его. Пожалуй, майор был недалек от истины, когда предположил в то утро, что великий человек, слишком высокомерный, чтобы открыто посоветоваться со своим премьер-министром или довериться ему по такому, вопросу, тем не менее хотел бы ввести его в курс дела. Как бы там ни было, пока майор пользовался своей легкой артиллерией, мистер Домби частенько поглядывал на мистера Каркера и, казалось, следил, какое впечатление на него производит этот обстрел.

Но майор, залучив слушателя внимательного и столь часто улыбавшегося, что равного ему не было во всем мире, «короче говоря, дья-явольски умного и приятного», как не раз говаривал он впоследствии, не намерен был отпускать его, ограничившись лукавыми намеками по адресу мистера Домби. Поэтому, когда убрали со стола, майор показал себя молодцом и в более широкой и значительной области, рассказывая полковые анекдоты и отпуская полковые шуточки с такой удивительной расточительностью, что Каркер устал (или притворился усталым) от смеха и восхищения; а мистер Домби взирал поверх своего накрахмаленного галстука с таким видом, словно был собственником майора или величественным вожаком, который радуется, что его медведь хорошо пляшет.

Когда майор настолько охрип от еды, питья и демонстрации своих талантов собеседника, что не мог уже говорить внятно, приступили к кофе. После этого майор осведомился у мистера Каркера-заведующего, явно не ожидая утвердительного ответа, играет ли он в пикет.

— Да, я немного играю в пикет, — сказал мистер Каркер.

— Быть может, и в трик-трак? — нерешительно спросил майор.

— Да, я немного играю также и в трик-трак, — отвечал обремененный зубами человек.

— Мне кажется, Каркер играет во все игры, — сказал мистер Домби, располагаясь на диване в позе человека, выточенного из дерева и лишённого связок и суставов, — и играет хорошо.

И в самом деле, он играл в эти две игры с таким совершенством, что майор был поражен и спросил его наобум, играет ли он в шахматы.

— Да, немного играю и в шахматы, — ответил Каркер. — Мне случалось играть и выигрывать партию, не глядя на доску; это просто трюк.

— Ей-богу, сэр, — сказал майор, тараща глаза, — вы полная противоположность Домби, который ни в какие игры не играет.

— О! Отозвался заведующий. — У него никогда не было нужды приобретать столь ничтожные познания. Таким, как я, они бывают иной раз полезны. Например, сейчас, майор Бегсток, когда они дают мне возможность сразиться с вами.

Быть может, виной тому были лживые уста, такие мягкие и растянутые, но эта краткая речь, смиренная и раболепная, смахивала на рычание; и на секунду могло показаться, что белые зубы вот-вот вонзятся в руку того, перед кем этот человек пресмыкается. Но майор вовсе об этом не думал; а мистер Домби лежал, погруженный в размышления, с полузакрытыми глазами, пока длилась игра, затянущаяся до ночи.

К тому времени мистер Карьер, одержавший победу весьма повысился во мнении майора — настолько, что, когда, отправляясь ко сну, он распрощался с майором у порога его комнаты, майор в виде особой любезности приказал туземцу, который обычно спал на тюфяке, разложенном на полу у двери его господина, торжественно проводить мистера Каркера со свечой по коридору до его комнаты.

На поверхности зеркала в номере мистера Каркера было тусклое пятно, и, быть может, зеркало давало искаженное отражение. Но в тот вечер в нем отразилось лицо человека, который мысленно видел толпу людей, спящих на земле у его ног, подобно бедному туземцу у двери своего господина, — человека, который пробирался между ними, злобно посматривая вниз, но пока еще не напирал ногой обращенные к нему липа.

Глава XXVII

Тени сгущаются

Мистер Каркер-заведующий встал вместе с жаворонками и вышел прогуляться, наслаждаясь летним утром. Мысли его — а он на ходу размышлял, сдвинув брови, — вряд ли парили в высоту, как жаворонки, или устремлялись в этом направлении; вернее, они держались около своего гнезда на земле и шныряли в пыли и среди червей. Но ни одна птица, поющая высоко в небе, не была менее доступна человеческому взору, чем мысли мистера Каркера. Он столь безупречно владел своим лицом, что очень немногие могли бы определить его выражение словом, более точным, чем веселое или задумчивое. Сейчас оно было крайне задумчивым. Когда жаворонок поднялся выше, мистер Каркер глубже погрузился в размышления. Когда песня жаворонка зазвенела чище и громче, он провалился в более торжественное и сосредоточенное молчание. Наконец, когда жаворонок стремительно спустился, вместе с льющейся песней, неподалеку от него в зеленеющую пшеницу, которая под утренним ветерком покрылась рябью, как река, он очнулся от задумчивости и осмотрелся кругом с неожиданной улыбкой, столь учливой и приятной, точно ему предстояло умиловить многочисленных зрителей; и после такого пробуждения он уже не впадал в задумчивость; согнав с лица морщины, словно опасаясь, что в противном случае оно нахмурится и выдаст тайну, он шел и улыбался — по-видимому, для практики.

Быть может, заботясь о первом впечатлении, мистер Каркер был одет в то утро очень тщательно и изящно. Хотя его костюм всегда отличался некоторой строгостью в подражание великому человеку, которому он служил, однако мистер Каркер не доходил до чопорности мистера Домби — быть может потому, что считал ее нелепой, и потому также, что, поступая таким образом, находил еще один способ подчеркнуть, сколь ощутительны для него разница и расстояние между ними. Действительно, кое-кто утверждал, что в этом отношении он точный — и отнюдь не лестный — комментарий к своему ледяному патрону, но человек склонен искажать факты, а мистер Каркер не был ответствен за дурные наклонности людей.

Опрятный и свежий, с бледным лицом, как бы выгорающим на солнце, грациозной своей поступью подчеркивая мягкость травы, мистер Каркер-заведующий бродил по лужайкам и зеленым просекам и скользил по аллеям, пока не настал час возвращаться к завтраку. Избрав короткий путь,

мистер Каркер шел, проветривая свои зубы, и произнес при этом вслух: «Теперь посмотрим вторую миссис Домби».

Он забрел за пределы города и возвращался приятной дорогой, вдоль которой густые деревья отбрасывали глубокую тень и изредка попадались скамейки для тех, кто пожелал бы отдохнуть. Это место обычно не посещалось публикой и в такой тихий утренний час казалось совсем безлюдным и уединенным, и потому мистер Каркер находился, или думал, что находится, здесь в полном одиночестве. Следуя причуде незанятого человека, у которого остается еще двадцать минут, чтобы добраться туда, куда он без труда может пойти и за десять, мистер Каркер блуждал между толстыми стволами, углублялся в чашу, обходя то одно дерево, то другое и плетя паутину следов на росистой траве.

Однако он обнаружил, что ошибся, предположив, будто никого нет в роще; потихоньку обогнув большое дерево, старая кора которого была покрыта наростами и чешуйками, как шкура носорога или какого-нибудь родственного ему допотопного чудовища, он неожиданно увидел женщину на ближайшей скамейке, которую уже собирался обвить паутиной следов.

Это была леди, изящно одетая и очень красивая, с темными гордыми потупленными глазами. — леди, казалось, обуреваемая какою-то страстью. Ибо, когда она сидела, глядя в землю, нижняя ее губа была закушена, грудь вздымалась, ноздри раздувались, голова вздрагивала, слезы негодования струились по щекам, а ногой она попирала мох так, словно хотела стереть его с лица Земли. И, однако, чуть ли не в тот же самый момент, когда он это заметил, он увидел, как эта самая леди встала с презрительной миной, выражающей усталость и скуку, и отошла от скамьи, причем и лицо ее и фигура дышали равнодушным сознанием своей красоты и величавым пренебрежением.

Сморщенная и безобразная старуха, похожая по платью не столько на цыганку, сколько на представительницу разношерстного племени бродяг, которые скитаются по стране, занимаясь попрошайничеством, воровством, лужением посуды и плетением корзин из камыша, поочередно или одновременно, — эта старуха также следила за леди; ибо, когда та встала, она выросла перед ней, словно появилась из-под земли, вперила в нее странный взгляд и преградила ей путь.

— Дай я тебе погадаю, красавица, — проговорила старуха, жуя губами, как будто череп стремился вырваться наружу из под желтой ее кожи.

— Я могу сама себе погадать, — последовал ответ.

— Эх, красавица, ты неверно нагадаешь. Ты плохо гадала, когда сидела здесь. Я тебя насквозь вижу. Дай мне серебряную монетку, красавица, и я тебе скажу всю правду. По лицу видно, красавица, что тебя ждет богатство.

— Знаю, — отозвалась леди, горделиво проходя мимо и мрачно улыбаясь. — Я это раньше знала.

— Как! Ты мне ничего не дашь? — завопила старуха. — Ты ничего мне не дашь за то, чтобы я тебе погадала, красавица? Ну, а что ты мне дашь, чтобы я тебе не гадала? Дай что-нибудь, а не то я буду кричать тебе вслед! — завопила старуха, приходя в бешенство.

Мистер Каркер, мимо которого должна была пройти леди, вышел из-за дерева, пока она шла наискось к тропинке, двинулся ей навстречу и, сняв шляпу, когда она поравнялась с ним, приказал старухе замолчать. Леди поблагодарила его поклоном за вмешательство и продолжала путь.

— Ну, так ты дашь мне что-нибудь, или я буду кричать ей вслед! — взвизгнула старуха, всплескивая руками и надвигаясь на его простертую руку. — Или, послушай, — добавила она, внезапно понизив голос, посмотрев на него пристально и на секунду словно позабыв о причине своего гнева, — дай мне что-нибудь, а не то я закричу тебе вслед!

— Мне, старушка? — отозвался заведующий, засовывая руку в карман.

— Да, — сказала женщина, упорно не сводя с него глаз и протягивая высохшую руку. — Я знаю!

— Что ты знаешь? — спросил Каркер, бросая ей шиллинг. — Известно ли тебе, кто эта леди?

Чавкая, как та жена матроса из далекого прошлого, с каштанами в подоле, и хмурясь, как ведьма, которая тщетно просила этих каштанов⁸⁴, старуха подхватила шиллинг и, пятясь, как краб или

⁸⁴ Чавкая, как та жена матроса... этих каштанов... — намек на рассказ ведьмы из «Макбета» (акт. I, сц. 3-я).

несколько крабов — ибо пальцы обеих рук, выпрямляясь и снова скрючиваясь, могли сойти за двух представителей этой породы, а дергающееся лицо еще за полдюжины, — присела на жилистый корень старого дерева, достала из-под чепца короткую черную трубку, зажгла спичку и молча стала курить, пристально глядя на собеседника.

Мистер Каркер засмеялся и повернулся на каблуках.

— Ладно! — сказала старуха. — Один ребенок умер, и один ребенок жив. Одна жена умерла, и другая идет на смену. Ступай ей навстречу!

Помимо своей воли, заведующий снова оглянулся и остановился. Старуха, которая не вынула изо рта трубки и, продолжая курить, жевала губами и бормотала, словно беседа с невидимым духом, указала пальцем в ту сторону, куда он шел, и захохотала.

— Что это ты сказала, старая карга? — спросил он.

Женщина бормотала, чавкала, пускала дым и все еще указывала вперед, но не промолвила ни слова. Распрошавшись с нею не слишком любезно, мистер Каркер продолжал путь, но, дойдя до поворота и оглянувшись через плечо на корень старого дерева, снова увидел палец, указующий по-прежнему вперед, и ему послышался пронзительный голос старухи: «Ступай ей навстречу!»

В гостинице он убедился, что приготовления к изысканному угощению закончены и мистер Домби, майор и завтрак ожидают леди. Несомненно, при такого рода обстоятельствах, индивидуальные свойства играют большую роль; но в данном случае аппетит одержал верх над нежной страстью; мистер Домби был очень холоден и сдержан, а майор кипятился, пребывая в величайшем волнении и раздражении. Наконец туземец распахнул двери, и после некоторой паузы в комнату вошла очень цветущая, но не очень молодая леди.

— Дорогой мой мистер Домби, — сказала леди, — боюсь, что мы опоздали, но Эдит рано вышла в поисках интересного пейзажа для эскиза и заставила меня ее дожидаться. Коварнейший из майоров, — протянула она ему мизинец, — как поживаете?

— Миссис Скьютон, — сказал мистер Домби, — разрешите мне оказать моему другу Каркеру, — мистер Домби невольно сделал ударение на слове «друг», как бы говоря: «Я позволяю ему пользоваться этим отличием», — честь быть вам представленным. Вы слышали от меня о мистере Каркере.

— Уверю вас, я в восторге, — милостиво сказала миссис Скьютон.

Мистер Каркер, конечно, был в восторге. Не пришел ли бы он в еще больший восторг, радуясь за мистера Домби, если бы миссис Скьютон оказалась (как предположил он в первый момент) той самой Эдит, за здоровье которой они пили накануне?

— Ах, боже мой, где же Эдит? — озираясь, воскликнула миссис Скьютон. — Все еще в холле, объясняет Уитерсу, в какую рамку вставить эти рисунки! Дорогой мой мистер Домби, не будете ли вы так любезны...

Мистер Домби уже пошел искать ее. Через секунду он вернулся, ведя под руку ту самую элегантно одетую и очень красивую леди, которую мистер Каркер встретил под сенью деревьев.

— Каркер... — начал мистер Домби. Но они столь явно узнали друг друга, что мистер Домби умолк в изумлении.

— Я признательна этому джентльмену, — сказала Эдит, величественно наклоняя голову, — за то, что он только что избавил меня от приставаний назойливой нищенки.

— Я признателен судьбе, — низко кланяясь, сказал мистер Каркер, — которая даровала мне возможность оказать такую ничтожную услугу той, чьим слугой я счастлив быть.

Когда ее глаза на секунду остановились на нем, а затем опустились, он прочел в этом сверкающем и пронизательном взгляде подозрение, что появился он не в тот момент, когда вмешался, но тайком следил за ней раньше. А когда он прочел эту мысль, она прочла в его глазах, что ее недоверие не лишено оснований.

— Право же, это одно из чудеснейших совпадений, о каком мне когда-либо приходилось слышать, — воскликнула миссис Скьютон, которая воспользовалась случаем рассмотреть мистера Каркера в лорнет и убедиться (о чем она громко просюсюкала майору), что он весь — сердце! — Подумать только! Дорогая Эдит, в этом перст судьбы! Право же, хочется скрестить руки на груди и сказать, как говорят эти грешные турки, что нет кого-то там, кроме... как это его зовут... и кто-то такой — пророк его!

Эдит не удостоила уточнить эту удивительную цитату из Корана, но мистер Домби счел нужным сделать несколько вежливых замечаний.

— Мне доставляет огромное удовольствие, — сказал мистер Домби с тяжеловесной галантностью, — что джентльмен, так тесно связанный со мною, как Каркер, имел честь и счастье оказать хотя бы незначительную услугу миссис Грейнджер. — Мистер Домби поклонился ей. — Но это доставляет мне и некоторое огорчение, и, право же, я начинаю завидовать Каркеру, — сам того не сознавая, он сделал ударение на этих словах, как бы понимая, что они должны показаться весьма удивительными, — завидовать Каркеру, так как мне не выпало этой чести и этого счастья.

Мистер Домби снова поклонился. Эдит оставалась невозмутимой, только губы ее презрительно скривились.

— Ей-богу, сэр, — вскричал майор, раздражаясь речью при виде лакея, который пришел доложить, что завтрак подан, — меня изумляет, что никто не может иметь честь и счастье прострелить головы всем этим нищим и не быть привлеченным к ответу. Но вот рука к услугам миссис Грейнджер, если она удостоит Дж. Б. чести принять ее; а в данный момент величайшая услуга, какую Джо может вам оказать, сударыня, это — вести вас к столу!

С такими словами майор предложил руку Эдит; мистер Домби шествовал впереди с миссис Скьютон; мистер Каркер шел сзади, с улыбкой взирая на это общество.

— Я в восторге, мистер Каркер, — сказала за завтраком леди-мать, еще раз посмотрев на него одобрительно в лорнет, — что ваше посещение так удачно совпало с нашей сегодняшней поездкой. Это чудесная прогулка!

— Любая прогулка чудесна в таком обществе, — отвечал Каркер. — Но думаю, что эта и сама по себе чрезвычайно интересна.

— О! — воскликнула миссис Скьютон, томно взвизгнув от восторга. — Замок очарователен! Воспоминания о средневековье... и тому подобном... это поистине восхитительно. Ведь вы обожаете средневековье, не правда ли, мистер Каркер?

— О да, конечно, — сказал мистер Каркер.

— Какое очаровательное время! — воскликнула Клеопатра. — Какая вера! Время такое энергическое и бурное! Такое живописное! Столь чуждое пошлости! Ах, боже мой! Если бы только оставили нам в наш ужасный век чуточку больше поэзии!

Говоря это миссис Скьютон зорко следила за мистером Домби, смотревшим на Эдит, которая слушала, но не поднимала глаз.

— Мы возмутительно реальны, мистер Каркер, — сказала миссис Скьютон, — не правда ли?

Мало у кого было меньше оснований жаловаться на свою реальность, чем у Клеопатры, у которой фальшивого было столько, сколько могло войти в состав человека, реально существующего. Тем не менее мистер Каркер посетовал на нашу реальность и согласился, что в этом отношении с нами действительно обошлись очень сурово.

— Картины в замке просто божественны! — сказала Клеопатра. — Надеюсь, вы обожаете живопись?

— Смею вас уверить, миссис Скьютон, — сказал мистер Домби, величественно ободряя своего заведующего, — что Каркер знает толк в картинах; у него врожденная способность их оценивать. Он и сам очень неплохой художник. Не сомневаюсь, что он будет восхищен вкусом и мастерством миссис Грейнджер.

— Черт возьми, сэр! — вскричал майор Бегсток. — Я того мнения, что вы — Каркер Великолепный и умеете делать все!

— О! — скромно улыбнулся Каркер, — Вы слишком многого от меня ждете, майор Бегсток. Я мало что умею делать. Но мистер Домби дает столь великодушную оценку тем заурядным способностям, какие человек в моем положении едва ли не обязан иметь, тогда как сам он, вращаясь совсем в иной сфере, стоит бесконечно выше их, что...

Мистер Каркер пожал плечами, уклоняясь от дальнейших похвал, и больше не прибавил ни слова.

Все это время Эдит не поднимала глаз и только изредка посматривала на мать, когда пылкий дух этой леди изливался в словах. Но когда умолк Каркер, она на секунду взглянула на мистера Домби. Только на секунду; и в этот миг по лицу ее скользнула тень презрительного недоумения,

подмеченная во всяком случае одним человеком, улыбавшимся за столом.

Мистер Домби поймал этот взгляд, когда темные ресницы уже опускались, и воспользовался случаем, чтобы его удержать.

— Вы часто бывали в Уорике, не так ли? — сказал мистер Домби.

— Несколько раз.

— Боюсь, что поездка покажется вам скучной.

— О нет, несколько.

— Ах, ты похожа на твоего кузена Финикса, дорогая моя Эдит, — сказала миссис Скьютон. — Побывав один раз в Уорикском замке, он ездил туда еще пятьдесят раз; а если бы он завтра приехал в Лемингтон — как бы я хотела, чтобы этот ангел приехал! — он отправился бы туда на следующий день в пятьдесят второй раз.

— Мы все энтузиасты, не так ли, мама? — с холодной улыбкой сказала Эдит.

— Быть может, даже чересчур, моя милая, во вред нашему спокойствию, — ответила мать. — Но не будем жаловаться. Наши эмоции служат нам наградой. Если, как говорит твой кузен Финикс, меч протирает... как это называется...

— Быть может, ножны, — сказала Эдит.

— Вот именно... протирает их слишком быстро, то происходит это, дорогая моя, потому, что он блестит и сверкает.

Миссис Скьютон испустила легкий вздох, как бы с целью затуманить лезвие того шутовского кинжала, которому служило ножнами ее чувствительное сердце; и, склонив голову к плечу на манер Клеопатры, посмотрела с задумчивой нежностью на свое возлюбленное дитя.

Когда мистер Домби обратился в первый раз к Эдит, она повернулась к нему и оставалась в этой позе, слушая мать и отвечая ей, словно хотела показать, что ее внимание — к его услугам, если он намерен еще что-нибудь добавить. Было в этой простой вежливости что-то почти вызывающее и носившее такой характер, точно здесь играло роль принуждение или заключалась торговая сделка, в которой она с неохотой принимала участие, и снова это было подмечено тем же человеком, улыбавшимся за столом. Он вспоминал о первой своей встрече с нею, когда она думала, что находится одна в роще.

Мистер Домби, не имея больше ничего прибавить, предложил отправиться в путь, — завтрак пришел к концу, и майор насытился, как удав. Коляска ждала, по приказанию мистера Домби, и в ней разместились обе леди, майор и он сам; туземец и изнуренный паж влезли на козлы, мистер Таулинсон остался дома, а мистер Каркер верхом следовал сзади.

Мистер Каркер ехал рысью за коляской, держась от нее примерно на расстоянии ста ярдов, и все время следил за нею так, словно он и в самом деле был котом, а четверо седоков — мышами. Куда бы он ни смотрел — на развертывающийся вдаль пейзаж с волнистыми холмами, мельницами, пшеницей, травой, полями бобов, полевыми цветами, фермами, стогами сена и шпилем, поднимающимся над лесом, или вверх, на залитое солнцем небо, где порхали над его головой бабочки и распевали птицы, или вниз, где пересекались тени ветвей, расстилая трепещущий ковер на дороге, или прямо перед собой, где развесистые деревья образовали нефы и арки, тускло освещенные лучами, пронизывающими листву, — куда бы он ни смотрел, но уголком глаза он все время следил за горделивой головой мистера Домби, повернутой к нему, и за пером на шляпе, колыхавшимся между ними так небрежно и презрительно — не менее презрительно, чем опустились недавно ресницы при взгляде на того, кто теперь сидел напротив. Раз, один только раз его настороженный взгляд оторвался от этого зрелища; это случилось, когда он перескочил через невысокую изгородь и галопом пересек поле, что дало ему возможность опередить экипаж, ехавший по большой дороге, и, достигнув цели путешествия, стать наготове, чтобы высадить леди из коляски. Тогда, только тогда он на секунду встретил ее взгляд, впервые выразивший удивление; но когда, помогая ей сойти, он коснулся ее своей мягкой белой рукой, этот взгляд по-прежнему скользнул поверх его головы.

Миссис Скьютон намерена была взять на себя заботу о мистере Каркере и показать ему красоты замка. Она решила идти под руку с ним, а также с майором. Этому неисправимому созданию — самому дикому варвару в области поэзии — полезно побыть в таком обществе. Подобный порядок движения дал возможность мистеру Домби сопровождать Эдит, что он и сделал, шествуя перед ними по залам замка с важностью, приличествующей джентльмену.

— Какое это было чудесное время, мистер Каркер, — сказала Клеопатра. — эти очаровательные укрепления, и милые старые темницы, и эти прелестные застенки, романтическая месть, живописные атаки и осады, и все, что делает жизнь поистине пленительной. Как ужасно мы выродились!

— Да, мы, к сожалению, измельчали, — сказал мистер Каркер.

Своеобразие их беседы заключалось в том, что миссис Скьютон, несмотря на свой экстаз, и мистер Каркер, несмотря на свою учтивость, оба напряженно следили за мистером Домби и Эдит. При всем своем умении вести беседу они были несколько рассеяны и в результате говорили наобум.

— Мы утратили положительно всякую веру, — сказала миссис Скьютон, выставляя сморщенное ухо, так как мистер Домби что-то говорил Эдит. — Мы утратили всякую веру в милых старых баронов, которые были чудеснейшими созданиями, и в милых старых священников, которые были воинственнейшими людьми, и даже в век этой несравненной королевы Бесс⁸⁵ — вон она там, на стене, — который был поистине золотым веком! Милое создание! Она была вся — сердце! А этот очаровательный ее отец! Надеюсь, вы обожаете Генриха Восьмого?

— Я им восхищаюсь, — сказал Каркер.

— Такой прямой, не правда ли? — воскликнула миссис Скьютон. — Такой дородный! Настоящий англичанин! Как хорош его портрет, эти милые прищуренные глазки и добродушный подбородок!

— Ах, сударыня, — сказал Каркер, вдруг останавливаясь, — уж если вы заговорили о картинах, то вот она перед вами! В какой из галерей мира можно увидеть что-либо равное ей?

С этими словами улыбающийся джентльмен указал в сторону растворенной двери, туда, где посреди комнаты стояли мистер Домби и Эдит.

Они не обменивались ни словом, ни взглядом. Стоя рядом, рука об руку, они, казалось, были разъединены больше, чем если бы их разделяли моря. Даже гордыня каждого отличалась своеобразием, которое делало их более чуждыми друг другу, чем если бы один был самым гордым, а другой — самым смиренным человеком в мире. Он — тщеславный, непреклонный, чопорный, суровый.

Она — бесконечно обаятельная и грациозная, но никакого внимания не обращающая ни на себя, ни на него, ни на все окружающее, с высокомерием, запечатленным на лбу и устах, отвергающая свои собственные чары, словно это было ненавистное ей клеймо или ливре. Так были они чужды и несходны, так насильственно связаны цепью, которую выковал несчастный случай и злая судьба, что можно было вообразить, будто картины на стенах вокруг них потрясены таким неестественным союзом и взирают на него каждый по-своему. Суровые рыцари и воины смотрели на них хмуро. Служитель церкви с воздетой рукой обличал кошунственность этой пары, готовой предстать перед алтарем бога. Тихие воды на пейзажах, отражая в глубинах своих солнце, вопрошали: «Разве нельзя утопиться, если нет других путей к спасению?» Руины подали голос: «Посмотрите сюда, и вы увидите, чем стали мы, обрученные чуждому нам Веку!» Животные, несходные по природе своей, терзали друг друга, как бы являя назидательный для них пример. Амуры и купидоны в испуге обращались в бегство, а мученики, чья история страданий увековечена живописью, не ведали подобной пытки.

Тем не менее миссис Скьютон была столь очарована картиной, к которой привлек ее внимание мистер Каркер, что не удержалась и сказала вполголоса о том, как это мило, сколько в этом души! Эдит, услышав, оглянулась и от негодования покраснела до корней волос.

— Моя дорогая Эдит знает, что я восхищалась ею! — сказала Клеопатра, не без робости дотрагиваясь зонтиком до ее спины. — Милая девочка!

Снова мистер Каркер стал свидетелем той борьбы, которую случайно наблюдал в роще. Снова он увидел, как одержали верх высокомерная скука и равнодушие и заслонила все словно туча.

Она не подняла на него глаз, но, бросив быстрый, повелительный взгляд, казалось, предложила матери подойти ближе. Миссис Скьютон признала целесообразным понять намек и, торопливо приблизившись со своими двумя кавалерами, больше уже не отходила от дочери.

Теперь мистер Каркер — ибо ничто не отвлекло его внимания — начал говорить о картинах, выбирать лучшие и указывать на них мистеру Домби, не забывая фамильярно отмечать, по своему обыкновению, величие мистера Домби и оказывать ему внимание, приспособив для него бинокль,

⁸⁵ *Несравненная королева Бесс* — ироническое прозвище королевы Елизаветы.

отыскивая номера в каталоге, держа его трость, и так далее. Что касается этих услуг, то, по правде сказать, инициатива исходила не столько от мистера Каркера, сколько от самого мистера Домби, который не прочь был проявить свою власть, говоря тоном слегка повелительным и — для него — непринужденным: «Послушайте, Каркер, будьте добры, помогите мне!» — а улыбающийся джентльмен помогал всегда с удовольствием.

Они осмотрели картины, стены, сторожевую башню и прочее; и так как к их маленькой компании никто не присоединился, а майор, переваривая пищу, был сонлив и отошел на задний план, мистер Каркер стал общительным и любезным. Сначала он обращался преимущественно к миссис Скьютон; но так как эта чувствительная леди пришла в такой экстаз от произведений искусств, что по прошествии четверти часа могла только зевать (они действуют столь вдохновляюще, — заметила она, приводя основания для подобных проявлений восторга), он перенес свое внимание на мистера Домби. Мистер Домби говорил мало, замечая лишь изредка: «Совершенно верно, Каркер», или: «Неужели, Каркер?» — но молчаливо поощрял Каркера продолжать беседу и весьма одобрял в душе его поведение, считая, что кто-нибудь должен поддерживать разговор, и полагая, что замечания Каркера, являвшиеся, так сказать, ответвлением от родительского ствола, могут позабавить миссис Грейнджер. Мистер Каркер, отличавшийся удивительным тактом, ни разу не позволил себе обратиться непосредственно к леди; но она как будто прислушивалась, хотя и не смотрела на него, а раза два, когда он особенно настойчиво заявлял о своем смирении, по лицу ее скользнула слабая улыбка, напоминающая не луч света, а густую черную тень.

Когда Уорикский замок был, наконец, исчерпан, равно как и силы майора, не говоря уже о миссис Скьютон, чьи своеобразные проявления восторга весьма участились, коляска снова была подана, и они поехали осматривать окрестности. Об одном из пейзажей мистер Домби церемонно заявил, что эскиз, сделанный — хотя бы и небрежно — прекрасной рукой миссис Грейнджер, будет служить ему напоминанием об этом приятном дне, хотя, конечно, он не нуждается ни в каких искусственных напоминаниях о том, что всегда будет высоко ценить (тут мистер Домби отвесил один из своих поклонов). Тощий Уитерс, державший под мышкой альбом Эдит, немедленно получил приказ от миссис Скьютон подать этот альбом, и коляска остановилась, чтобы Эдит могла сделать рисунок, который мистер Домби намеревался хранить среди своих сокровищ.

— Боюсь, что я слишком вас утруждаю, — сказал мистер Домби.

— Нисколько. Откуда вы хотели бы видеть его зарисованным? — спросила она, поворачиваясь к нему с таким же принужденным вниманием, как и раньше.

Мистер Домби с новым поклоном, от которого затрепал его накрахмаленный галстук, просил, чтобы этот вопрос решила художница.

— Мне бы хотелось, чтобы вы сами выбрали, — сказала Эдит.

— В таком случае, — сказал мистер Домби, — предположим — отсюда. Место как будто подходящее для этой цели, или же... Каркер, как по-вашему?

Невдалеке, на переднем плане, была роща, очень похожая на ту, где мистер Каркер плел поутру паутину следов, и скамейка под деревом, которая очень напоминала то место, где паутина его обрвалась.

— Осмелюсь обратить внимание миссис Грейнджер, — сказал Каркер, — на этот интересный, пожалуй даже любопытный вид, который открывается вот оттуда.

Она посмотрела в ту сторону, куда он указывал хлыстом, и быстро подняла на него глаза. Вторично они обменялись взглядом с тех пор, как были представлены друг другу, и этот взгляд был бы тождествен первому, если бы не был более выразителен.

— Вы одобряете? — спросила Эдит мистера Домби.

— Я буду в восторге, — ответил мистер Домби Эдит.

Итак, коляска приблизилась к тому месту, которое привело в восторг мистера Домби; Эдит, не выходя из экипажа и раскрыв альбом со свойственным ей горделивым равнодушием, начала рисовать.

— Все мои карандаши притупились, — сказала она, отрываясь от работы и перебирая их один за другим.

— Разрешите мне, — сказал мистер Домби. — А впрочем, Каркер это лучше сделает, он понимает в таких вещах. Каркер, не будете ли вы так добры заняться карандашами миссис Грейнджер.

Мистер Каркер подъехал к дверце коляски с той стороны, где сидела миссис Грейнджер, бросил поводья на шею лошади, с улыбкой и поклоном взял у нее из рук карандаши и, сидя в седле, начал очинивать их не спеша. Покончив с этим, он попросил разрешения держать карандаши и подавать их ей по мере надобности: таким образом, мистер Каркер, превознося удивительное мастерство миссис Грейнджер, особенно в зарисовке деревьев, оставался около нее и смотрел, как она рисует. В это время мистер Домби стоял, выпрямившись во весь рост, в коляске, наподобие весьма уважаемого привидения, и тоже смотрел, тогда как Клеопатра и майор ворковали, словно престарелые голубки.

— Вам нравится или, может быть, сделать рисунок более законченным? — спросила Эдит, показывая эскиз мистеру Домби.

Мистер Домби попросил не притрагиваться больше к рисунку это было само совершенство.

— Изумительно! — сказал Каркер, обнажая красные десны в подтверждение своей похвалы. — Я не думал, что увижу нечто столь прекрасное и столь необычайное.

Эти слова могли относиться к художнице не меньше, чем к эскизу; но вид у мистера Каркера был такой открытый — не только рот, но и весь он с головы до пят. Таким он оставался, пока не отложили в сторону рисунок, сделанный для мистера Домби, и не убрали принадлежности для рисования; затем он вручил карандаши (они были приняты с холодной благодарностью за помощь, но его не удостоили взглядом) и, натянув поводья, отъехал и снова двинулся вслед за коляской.

Он скакал, думая, быть может, что даже этот банальный набросок был сделан и вручен своему владельцу так, словно он выторгован и куплен. Думая, быть может, что она с величайшей готовностью согласилась на его просьбу, но все же ее надменное лицо, склоненное над рисунком или обращенное к изображаемому на нем пейзажу, было лицом гордой женщины, участвующей в гнусной и недостойной сделке. Думая, быть может, обо всем этом, но, разумеется, улыбаясь и непринужденно осматриваясь кругом, наслаждаясь свежим воздухом и верховой ездой и по-прежнему зорко следя уголком глаза за коляской.

Прогулкой среди руин Кенилуорта, весьма посещаемых публикой, и обозрением еще нескольких пейзажей — большую часть коих (напомнила мистеру Домби миссис Скьютон) Эдит уже зарисовала, в чем он может убедиться, рассматривая ее рисунки, — закончилась эта экскурсия. Миссис Скьютон и Эдит были доставлены домой; мистер Каркер получил любезное приглашение от Клеопатры зайти вечером с мистером Домби и майором послушать игру Эдит; и трое джентльменов отправились обедать к себе в гостиницу.

Этот обед ничем не отличался от вчерашнего, только майор стал за эти двадцать четыре часа более торжествующим и менее таинственным. Снова пили за здоровье Эдит. Снова мистер Домби был приятно смущен. А мистер Каркер выражал полное сочувствие и одобрение.

Других гостей у миссис Скьютон не было. Рисунки Эдит были разбросаны по комнате, пожалуй в большем количестве, чем обычно, а Уитерс, изнуренный паж, подавал более крепкий чай. Была здесь арфа, стояло фортепьяно; и Эдит играла и пела. Но даже музыкой Эдит, так сказать, платила по чеку мистера Домби все с тем же непреклонным видом. К примеру.

— Эдит, дорогая моя, — сказала миссис Скьютон спустя полчаса после чая, — мистер Домби умирает от желания послушать тебя, я знаю.

— Право же, мама, мистер Домби еще жив и может сказать это сам.

— Я буду бесконечно признателен, — сказал мистер Домби.

— Что вы хотите?

— Фортепьяно? — нерешительно предложил мистер Домби.

— Как угодно; вам остается только выбирать. И она начала играть на фортепьяно. Так же было и с арфой, и с пением, и с выбором вещей, которые она пела и играла. Это ледяное и вынужденное, но в то же время подчеркнуто быстрое исполнение желаний, какие высказывал он ей, и только ей одной, было столь примечательно, что вопреки священнодействию игры в пикет оно не могло не привлечь зоркого внимания мистера Каркера. Не ускользнул от него и тот факт, что мистер Домби явно гордится своею властью и не прочь ее показать.

Впрочем, мистер Каркер играл так хорошо, — то с майором, то с Клеопатрой, с чьим бдительным взором, следящим за мистером Домби и Эдит не могла соперничать ни одна рысь, что даже возвысился в глазах леди-матери; когда же, прощаясь, он посетовал на необходимость вернуться

завтра утром в Лондон, Клеопатра выразила уверенность (ибо родство душ — явление весьма редкое), что встречаются они отнюдь не в последний раз.

— Надеюсь, — сказал мистер Каркер, направившись к двери в сопровождении майора и бросив выразительный взгляд на стоявшую поодаль пару. — Я тоже так думаю.

Мистер Домби, величественно простившись с Эдит, наклонился или сделал попытку наклониться над ложем Клеопатры и сказал вполголоса:

— Я просил у миссис Грейнджер разрешения нанести ей визит завтра утром — с определенной целью, — и она разрешила мне зайти в двенадцать часов. Могу я надеяться, что после этого буду иметь удовольствие, сударыня, застать вас дома?

Клеопатра была столь взволнована и растрогана, услышав эту загадочную речь, что могла только закрыть глаза, кивнуть головой и протянуть мистеру Домби руку, которую мистер Домби, хорошенько не зная, что с ней делать, подержал и выпустил.

— Домби, идемте! — крикнул майор, заглянув в комнату. — Черт побери, сэр, старый Джо весьма не прочь предложить, чтобы отель «Ройал» переименовали и назвали его «Три веселых холостяка» в честь нас и Каркера.

С этими словами майор похлопал Домби по спине, подмигнул, оглянувшись через плечо, обеим леди — это сопровождалось устрашающим приливом крови к голове, — и увел его.

Миссис Скьютон покоилась на софе, а Эдит молча сидела поодаль, возле арфы. Мать, играя веером, украдкой посматривала на дочь, но дочь мрачно задумалась, опустив глаза, и мешать ей не следовало.

Так сидели они целый час, не говоря ни слова, пока не пришла, по обыкновению, горничная миссис Скьютон, чтобы приготовить ее постепенно ко сну. Этой служанке надлежало быть по вечерам не женщиной, а скелетом с косою и песочными часами, ибо ее прикосновение было прикосновением Смерти. Раскрашенная старуха сморщилась под ее рукой; фигура съежилась, волосы упали, темные дугообразные брови превратились в жиденькие пучки седых волос, бледные губы ввалились, кожа стала мертвенной и дряблой; место Клеопатры заняла изможденная, желтая старуха с трясущейся головой и красными глазами, завернутая, как грязный узел, в засаленный фланелевый капот.

Даже голос изменился, когда они снова остались одни и она обратилась к Эдит.

— Почему ты не говоришь, — резко сказала она, — что завтра он придет сюда, как вы условились?

— Потому что вы это знаете, мама, — ответила Эдит. — С какой насмешкой произнесла она это последнее слово!

— Вы знаете, что он меня купил, — продолжала она. — Или купит завтра. Он обдумал свою покупку; он показал ее своему другу; пожалуй, он даже гордится ею; он думает, что она ему подходит и будет стоять сравнительно дешево; и завтра он купит. Боже, вот ради чего я жила и вот что я теперь чувствую!

Запечатлейте на одном прекрасном лице умышленное самоуничтожение и жгучее негодование сотни женщин, сильных в страсти и гордости; белые дрожащие руки закрыли это лицо.

— Что ты хочешь сказать? — спросила рассерженная мать. — Разве ты с детства не...

— С детства! — взглянув на нее, воскликнула Эдит. — Когда я была ребенком? Какое детство было у меня по вашей милости? Я была женщиной, хитрой, лукавой, корыстной, заманивающей в сети мужчин, раньше чем узнала себя, вас или хотя бы поняла цель каждой новой заученной мною уловки. Вы родили женщину. Посмотрите на нее. Сегодня она в полном блеске.

И с этими словами она ударила себя рукой по прекрасной груди, словно хотела себя уничтожить.

— Посмотрите на меня, — сказала она, — на меня, которая никогда не знала, что такое честное сердце и любовь. Посмотрите на меня, обученную заговорам и интригам в ту пору, когда дети забавляются играми, и выданную замуж в юности — по хитроумию я была уже старухой — за человека, к которому была совершенно равнодушна. Посмотрите на меня, которую он оставил вдовой, покинув этот мир раньше, чем ему досталось наследство, — кара, заслуженная вами! — и скажите мне, какова была с тех пор моя жизнь в течение десяти лет!

— Мы прилагали все усилия, чтобы обеспечить тебе завидное положение, — отвечала мать. — Вот какова была твоя жизнь. И теперь ты этого достигла.

— Нет невольницы на рынке, нет лошади на ярмарке, которую бы так выводили, предлагали, осматривали и выставляли напоказ, как меня за эти позорные десять лет, мама! — с пылающим лицом воскликнула Эдит, снова с горечью подчеркивая это последнее слово. — Разве это не правда? Разве я не стала притчей во языцех для мужчин? Разве за мной не бегали дураки, распутники, юнцы и выжившие из ума старики и разве не бросали меня, не уходили один за другим, потому что вы были слишком откровенны, несмотря на всю вашу хитрость, — да, и слишком правдивы, несмотря на всю эту фальшь и притворство, так что о нас едва не пошла худая слава? Разве я не мирилась с разрешением осматривать меня и ощупывать чуть не на всех курортах, отмеченных на карте Англии? Разве меня не выставляли всюду на продажу, не торговали мной, пока я не утратила последнего уважения к себе и не стала сама себе противна? Не это ли было мое позднее детство? Раньше я его не знала. Уж сегодня-то, во всяком случае, не говорите мне, что у меня было детство.

— Ты могла бы по крайней мере раз двадцать сделать хорошую партию, Эдит, — сказала мать, — если бы хоть немного поощряла...

— Нет! Тот, кто берет меня, отверженную по заслугам, — ответила та, подняв голову и содрогаясь от мучительного стыда и необузданной гордости, — пусть возьмет меня так, как берет этот человек, без всяких условий с моей стороны. Он видит меня на аукционе и решает, что не худо бы меня купить. Пусть покупает! Когда он пришел досмотреть меня — может быть предложить цену, — он пожелал, чтобы ему показали список моих совершенств. Я его представила. Когда он хочет, чтобы я демонстрировала одно из них, дабы оправдать покупку в глазах его друзей, я его спрашиваю, что именно требуется, и выполняю приказание. Довольно! Он покупает по своей воле, знает цену покупки и власть своих денег; а я желаю ему никогда в ней не разочароваться. Я не расхваливала себя и не настаивала на сделке; не делали этого и вы, поскольку я в состоянии была вас удержать.

— Странно ты разговариваешь сегодня, Эдит, со своей матерью.

— Мне тоже так кажется. Мне это кажется более странным, чем вам, — сказала Эдит. — Но мое воспитание давным-давно закончено. Теперь я слишком стара и в конце концов пала слишком низко, чтобы избрать новый путь, остановить вас и спасти себя. Семя тех чувств, что очищают сердце женщины и делают его правдивым и добрым, не запало в мое сердце, а больше ничто меня не поддержит, раз я сама себя презираю. — Трогательная печаль послышалась в ее голосе, но она исчезла, когда Эдит снова заговорила, презрительно скривив губы. — Итак, раз мы благородны и бедны, я довольна, что мы таким путем разбогатеем. Одно я могу сказать: я не изменила той единственной цели, которую у меня хватило сил себе поставить, — я чуть было не сказала: имела возможность, поскольку вы, мама, находитесь около меня, — я не соблазняла этого человека.

— Этого человека! — воскликнула мать. — Ты говоришь так, как будто ненавидишь его!

— А вы думали, что я его люблю? — отозвалась та, останавливаясь посреди комнаты и оглядываясь. — А не назвать ли вам того, — продолжала она, не сводя глаз с матери, — кто уже прекрасно нас знает и видит нас насквозь и перед кем я чувствую еще меньше уважения и доверия к себе, чем даже перед самой собою, — до такой степени унизительна для меня его пронизательность?

— Полагаю, — холодно отвечала мать, — что ты нападаешь на бедного злополучного... как его зовут?.. мистера Каркера. Отсутствие у тебя уважения и доверия к себе, дорогая моя, в той мере, в какой оно связано с этим человеком (который на меня произвел приятное впечатление), вряд ли может повлиять на твою семейную жизнь. Почему ты смотришь на меня таким тяжелым взглядом? Ты больна?

Вдруг Эдит опустила голову, словно почувствовала острую боль, и закрыла лицо руками; неудержимая дрожь пробежала по всему ее телу. Это скоро прошло, и обычной своей походкой она вышла из комнаты.

Тогда снова появилась горничная, которой бы надлежало быть скелетом, и, подав руку своей хозяйке, по-видимому, утратившей не только свои прелести, но и осанку, и получившей паралич вместе с фланелевым капотом, собрала прах Клеопатры и унесла его, дабы наутро он снова воскрес к жизни.

Глава XXVIII

Перемены

— Наконец-то, Сьюзен, — сказала Флоренс, обращаясь к неподражаемой Нипер, — настал день, когда мы можем вернуться в наш тихий дом!

Сьюзен испустила выразительный вздох, почти неопиcуемый, и, облегчив затем свои чувства резким покашливанием, ответила:

— И в самом деле очень тихий, мисс Флой, что и говорить! Чрезвычайно тихий.

— Случалось ли вам, — задумчиво сказала Флоренс после недолгих размышлений, — случилось ли вам, когда я была маленькой, видеть этого джентльмена, который вот уже три раза потру-дился заехать сюда, чтобы поговорить со мной... кажется, три раза, Сьюзен?

— Три раза, мисс, — отвечала Нипер. — В первый раз, когда вы гуляли с этими Скет...

Флоренс кротко посмотрела на нее, и мисс Нипер сдержалась.

— С сэром Барнетом и его супругой, вот что я хотела сказать, мисс, и с молодым джентльме-ном. А потом еще два раза вечером.

— Когда я была маленькой и когда у папы бывали гости, Сьюзен, не видели ли вы когда-нибудь у нас этого джентльмена? — спросила Флоренс.

— Знаете ли, мисс, — ответила, подумав, ее служанка, — право, я не могу сказать, видала ко-гда-нибудь я его или нет. Когда умерла ваша маменька, мисс Флой, я только что к вам поступила, и мое место было, — Нипер обиженно задрала нос, убежденная, что мистер Домби всегда умышленно недооценивал ее заслуг, — наверху, под самым чердаком!

— Да, верно, — по-прежнему задумчиво сказала Флоренс, — вряд ли вы могли знать, кто бы-вал в доме. Я совсем забыла.

— Конечно, мы толковали о хозяевах и гостях, мисс, — продолжала Сьюзен, — и, конечно, много разговоров я слышала, хотя кормилица, служившая до миссис Ричардс, и отпускала неприят-ные замечания, когда я бывала в их компании; она все намекала на маленькие кувшины с длинными ушками, но это можно приписать тому, что бедняжка пристрастилась к вину, — заметила Сьюзен со снисходительно-спокойным видом, — потому-то ей и предложили уйти, и она ушла.

Флоренс, сидевшая у окна своей спальни, опустив голову на руку, смотрела на улицу и вряд ли слышала, что говорит Сьюзен: так глубоко она задумалась.

— Во всяком случае, мисс, — продолжала Сьюзен, — я прекрасно помню, что этот самый джентльмен, мистер Каркер, был и тогда уже чуть ли не таким же важным джентльменом при вашем папе. Бывало, тогда говорили в доме, что он стоит во главе всех дел вашего папаша в Сити и всем заправляет и что ваш папаша считается с ним больше, чем с кем бы то ни было, но это не бог весть что, прошу прощения, мисс Флой, потому что он никогда и ни с кем не считался. Я это знала, хотя и была «кувшином».

Сьюзен Нипер с обидой вспомнила о кормилице, служившей до мисс Ричардс, и сделала уда-рение на «кувшине».

— О том же, что мистер Каркер не лишился расположения, мисс, — продолжала она, — а удержался на своем месте и сохранил доверие вашего папаша, я знаю со слов этого Перча, который всегда толкует об этом в вашей компании, когда бы он к нам ни пришел, и хотя Перч — самое ни-чтожное создание в мире, мисс Флой, и нельзя не потерять терпения с таким человеком, однако он хорошо знает все, что делается в Сити, и говорит, что ваш папаша ничего не предпринимает без мистера Каркера, во всем полагается на мистера Каркера и поступает по совету мистера Каркера, и мистер Каркер всегда у него под рукою, и, по моему мнению, он (этот бессовестнейший Перч) счи-тает, что индийский император невинный младенец по сравнению с мистером Каркером, не говоря уже о вашем папаше!

Ни одного слова не пропустила Флоренс, которая, заинтересовавшись рассказом, уже не гляде-ла рассеянно в окно, а смотрела на Сьюзен и слушала внимательно.

— Да, Сьюзен, — сказала она, когда эта молодая леди замолчала. — Он пользуется доверием папы, и я уверена, что он его друг.

Мысли Флоренс сосредоточились на этом предмете, и в течение нескольких дней она не могла уйти от них. Мистер Каркер во время двух своих визитов, следовавших за первым, вел себя так, как будто притянул на доверие — на право быть таинственным и скрытным, сообщая ей, что о ко-рабле до сих пор ничего не слышно, — на какую-то скрытую власть над нею и влияние, что приво-

дило ее в недоумение и вызывало тревогу. У нее не было возможности оттолкнуть его или разорвать паутину, которою он постепенно ее оплетал, ибо требовалось известное искусство и знание света, чтобы противиться его лукавству; а у Флоренс не было ни того, ни другого. Правда, он сказал ей только, что о корабле нет никаких известий и он опасается самого худшего; но Флоренс была очень встревожена тем, как мог он узнать, что она интересуется участью корабля, и почему присвоил себе право так коварно и таинственно намекать ей, что ему это известно.

Такое поведение мистера Каркера и развившаяся у нее привычка думать о нем с недоумением и беспокойством привели к тому, что для Флоренс он приобрел какую-то неприятную, но притягательную силу. Иногда с целью свести его до уровня человека, имеющего на нее не больше влияния, чем всякий другой, она старалась отчетливее восстановить в памяти его лицо, голос и манеры, но смутная тревога не рассеивалась. А ведь он никогда не хмурился, не смотрел на нее неприязненно или враждебно, а всегда улыбался и был приветлив.

С другой стороны, Флоренс, неуклонно преследуя цель, связанную с отцом, и твердо решив верить, что она сама, помимо своей воли, виновата в его холодности, припоминала, что этот джентльмен был близким его другом, и с тревогой думала, не вызвана ли ее зарождающаяся неприязнь к нему и страх перед ним тем злополучным ее недостатком, который отвратил от нее любовь отца и сделал ее такой одинокой? Она боялась этого; иногда бывала в этом уверена; потом решила побороть дурное чувство; убеждала себя, будто внимание со стороны друга ее отца для нее честь и награда; и она надеялась, что, терпеливо наблюдая за ним и доверяя ему, она пройдет своими израненными ногами тот тернистый путь, который ведет к сердцу отца.

Так, не имея возможности ни с кем посоветоваться, — ибо к кому бы ни обратилась она за советом, это показалось бы жалобой на отца, — кроткая Флоренс носилась по бурному морю сомнений и надежд; а мистер Каркер, наподобие какого-то чешуйчатого чудовища в морской пучине, плыл в глубине и не спускал с нее сверкающих глаз.

Теперь у Флоренс была еще одна причина мечтать о возвращении домой. Уединенная жизнь больше соответствовала ее робким надеждам и сомнениям; а иногда она опасалась, что за время отсутствия упустит благоприятный случай доказать свою любовь отцу. Богу известно, что об этом бедняжка могла бы не беспокоиться! Об этом меньше всего! Но отвергнутая любовь трепетала в ее сердце и даже во сне уносилась вдаль, чтобы прильнуть к груди отца, словно перелетная птица, вернувшаяся домой.

Об Уолтере она думала часто. Ах, как часто думала она о нем в темные ночи, когда ветер завывал за стеной! Но надежда не умирала в ее сердце. Так трудно молодым и пылким — даже с тем опытом, какой был у нее, — представить себе, что молодость и пыл угасли, как тлеющее пламя, а яркий день жизни в самом расцвете погрузился в ночную тьму, вот почему надежда в ней не умирала. Она часто оплакивала страдания Уолтера; но редко его предполагаемую смерть — редко и всегда недолго.

Она написала старому мастеру, но не получила ответа на свою записку, которая, впрочем, и не требовала ответа. Так обстояли дела у Флоренс в то утро, когда она с радостью уезжала домой, чтобы вернуться к прежней уединенной жизни.

Доктор и миссис Блимбер, в сопровождении (отнюдь не по его желанию) своего драгоценного питомца, юного Барнета, уже отбыли в Брайтон, где этот молодой джентльмен и его товарищи по паломничеству на Парнас несомненно уже возобновили свои каждодневные занятия. Каникулы окончились; большая часть молодежи, гостившей на вилле, разъехалась, и затянувшийся визит Флоренс пришел к концу.

Был, впрочем, один гость, хотя и не гостивший у сэра Барнета, который неизменно оказывал внимание этому семейству и по-прежнему оставался ему преданным. Это был мистер Тутс, несколько недель назад возобновивший знакомство, которое имел счастье завязать со Скетлсом-младшим в тот вечер, когда разорвал блимберовские узы и, надев кольцо, вырвался на свободу, — мистер Тутс, являвшийся аккуратно через день и оставлявший в холле целую колоду визитных карточек; столько их было, что эта церемония напоминала партию в вист, причем мистер Тутс сдавал, а слуга был партнером.

Затем мистер Тутс, осененный дерзкой и счастливой идеей напоминать о себе этому семейству (впрочем, есть основания предполагать, что этот хитрый план зародился в плодовитом мозгу Пету-

ха), приобрел шестивесельный катер; экипаж состоял из спортивных друзей Петуха, а рулем управлял сей блестящий герой собственной персоной, надевавший по этому случаю ярко-красную куртку пожарного и скрывавший под зеленым козырьком свой бессменный синяк под глазом. Прежде чем снарядить судно, мистер Тутс выпытал мнение Петуха о таком гипотетическом случае: допустим, Петух влюблен в некую молодую леди по имени Мэри и возымел намерение завести свою собственную лодку, — как бы он назвал эту лодку? Петух отвечал, подкрепляя свои слова энергическими клятвами, что он окрестил бы ее либо «Полли»⁸⁶, либо «Отрада Петуха». Усовершенствуй эту идею, мистер Тутс после глубокого раздумья и величайшего напряжения умственных сил решил назвать свою лодку «Радость Тутса» — деликатный комплимент Флоренс, каковой комплимент не мог не удостоиться одобрения всех, кто знал заинтересованных лиц. Развалившись на малиновой подушке на борту своей элегантной шлюпки и задрав ноги, мистер Тутс во исполнение своей затеи поднимался вверх по реке день за днем, неделю за неделей, сновал взад и вперед невдалеке от сада сэра Барнета, приказывал своей команде снова и снова пересекать реку под острым углом с целью покрасоваться, буде кто-нибудь на него смотрит из окон дома сэра Барнета, и заставлял «Радость Тутса» совершать такие эволюции, что вызвал изумление у всех прибрежных жителей. Но когда бы ни случилось ему увидеть кого-нибудь в саду сэра Барнета на берегу реки, мистер Тутс неизменно притворялся, будто попал сюда вследствие стечения обстоятельств, чрезвычайно странных и невероятных.

— Как поживаете, Тутс? — спрашивал сэр Барнет, махая ему рукой с лужайки, в то время как ловкий Петух правил прямо к берегу.

— Как поживаете, сэр Барнет? — отвечал мистер Тутс. — Ну, не удивительно ли, что я встретил тут вас!

Мистер Тутс со свойственной ему сообразительностью всякий раз произносил именно эти слова, словно здесь были не владения сэра Барнета, а какое-то заброшенное сооружение на берегах Нила или Ганга.

— Никогда еще мне не случалось так удивляться! — восклицал мистер Тутс. — А мисс Домби здесь? После чего появлялась иногда Флоренс.

— Диоген совсем здоров, мисс Домби! — кричал мистер Тутс. — Я оправлялся сегодня утром.

— Очень вам благодарна! — раздавался в ответ ласковый голос Флоренс.

— Не сойдете ли на берег, Тутс? — говорил затем сэр Барнет. — Спешить вам некуда. Загляните к нам.

— О, это не имеет никакого значения, благодарю вас, — краснея, отвечал мистер Тутс. — Я думал, что мисс Домби приятно будет об этом узнать, вот и все. Прощайте!

И бедный мистер Тутс, который умирал от желания принять приглашение, но не осмеливался это сделать, с болью в сердце давал знак Петуху, и прочь уплывала «Радость», рассекая воду как стрела.

Утром в день отъезда Флоренс «Радость», разукрашенная с необычайной пышностью, стояла у лестницы, ведущей в сад. Когда Флоренс, после разговора с Сьюзен, спустилась вниз попрощаться, она застала в гостиной ожидавшего ее мистера Тутса.

— О, как поживаете, мисс Домби? — сказал потрясенный Тутс, всегда ужасно смущавшийся, если исполнялось сердечное его желание и он беседовал с Флоренс. — Благодарю вас, я совсем здоров, надеюсь, — и вы тоже, и Диоген был здоров вчера.

— Вы очень добры, — сказала Флоренс.

— Благодарю вас, это не имеет никакого значения! — возразил мистер Тутс. — Я подумал, что по случаю такой прекрасной погоды вы не прочь были бы вернуться домой по реке, мисс Домби. В лодке есть место и для вашей горничной.

— Я вам очень признательна, — нерешительно сказала Флоренс. — Право же, очень признательна, но... мне бы не хотелось.

— О, это не имеет никакого значения, — возразил мистер Тутс. — До свидания.

— Не хотите ли повидать леди Скетлс? — ласково спросила Флоренс.

— О нет, благодарю вас, — ответил мистер Тутс, — это не имеет ровно никакого значения.

⁸⁶ ...он окрестил бы ее либо «Полли»... — Полли — уменьшительное имя от Мэри, чем и объясняется ответ Петуха.

Как робок бывал в таких случаях мистер Тутс и как взволнован! Но в эту минуту вошла леди Скетлс, и мистера Тутса вдруг охватило неудержимое желание спросить, как она поживает, и выразить надежду, что она здорова; пожимая ей руку, мистер Тутс решительно не в силах был ее отпустить, покуда не появился сэр Барнет, за которого он немедленно ухватился с упорством отчаяния.

— Сегодня, Тутс, — сказал сэр Барнет, поворачиваясь к Флоренс, — мы теряем ту, которая светит всем нам в доме.

— О, это не имеет никакого значения... то есть я хочу сказать — да, конечно, — пробормотал смущенный Тутс. — До свидания!

Несмотря на это энергичное прощанье, мистер Тутс, вместо того чтобы уйти, стоял и растерянно озирался. Флоренс, придя ему на выручку, стала прощаться и благодарить леди Скетлс и взяла под руку сэра Барнета.

— Смею ли просить вас, милая моя мисс Домби, — сказал хозяин дома, провожая ее до экипажа, — передать наилучшие мои пожелания вашему дорогому папе?

Горько было Флоренс принимать это поручение, ибо ей казалось, будто она обманывает сэра Барнета, позволяя ему думать, что любезность, ей оказанная, была оказана также и отцу. Но, не имея возможности дать объяснения, она наклонила голову и поблагодарила его; и снова у нее мелькнула мысль, что скучный дом, где не угрожали ей подобные затруднения и напоминания о ее несчастье, является для нее естественным и наилучшим убежищем.

Новые ее друзья и товарищи, еще не покинувшие виллы, прибежали из дома и из сада, чтобы проститься с нею. Все они были к ней привязаны и очень трогательно прощались. Даже слуги сожалели об ее отъезде и, столпившись у дверцы экипажа, кланялись и приседали. Когда Флоренс окинула взглядом эти добрые лица и увидела среди них сэра Барнета, его супругу и мистера Тутса, который хихикал и издали смотрел на нее во все глаза, ей припомнился тот вечер, когда она с Полем уезжала от доктора Блимбера. И когда экипаж отъехал, лицо ее было мокро от слез.

Слезы горестные, но приносившие утешение. Ибо все лучшие воспоминания, связанные со скучным старым домом, куда она возвращалась, нахлынули и сделали его дорогим для нее. Казалось, столько времени прошло с тех пор, как она бродила по безмолвным комнатам; как прокралась в последний раз, тихо и пугливо, в комнаты отца; и на каждом шагу, в повседневной своей жизни, ощущала торжественное, но умиротворяющее присутствие покойного брата! Это новое прощание напомнило ей также разлуку с бедным Уолтером, его слова и взгляды в тот вечер и подмеченную ею нежность его к тем, кого он покидал, подкрепленную мужеством и бодростью. Да и его маленькая история была связана со старым домом, который приобретал новые права и власть над ее сердцем.

Смягчилась даже Сьюзен Нипер, приближаясь к дому, где провела столько лет. Как ни был он мрачен и с какой суровой справедливостью ни осуждала она его за эту мрачность, однако она многое ему простила.

— Я рада, что снова его увижу, этого я не отрицаю, мисс, — сказала Нипер. — Конечно, хвалиться ему нечем, но я бы не хотела, чтобы он сгорел или его снесли!

— Вы рады будете пройтись по старым комнатам, не правда ли, Сьюзен? — с улыбкой спросила Флоренс.

— Ну, что ж, мисс, — ответила Нипер, смягчаясь все больше и больше по мере приближения к дому, — не стану отрицать, что рада, хотя, по всей вероятности, завтра я их снова возненавижу.

Флоренс чувствовала, что ей в этом доме спокойнее, чем где бы то ни было. Удобнее и легче скрывать тайну здесь, за высокими темными стенами, чем выносить на яркий свет и пытаться спрятать от глаз счастливой толпы. Удобнее отдаться заботе любящего сердца в одиночестве и не разочаровываться в присутствии других любящих сердец. Легче надеяться, молиться и любить, оставаясь по-прежнему заброшенной, но с тем же упорством и терпением, в тихом святилище этих воспоминаний, хотя бы стены рассыпались, гнили и рушились вокруг нее, чем в новом окружении, как бы ни было оно радостно. Она приветствовала старую волшебную грезу своей жизни и мечтала о том, чтобы снова захлопнулась за нею старая темная дверь.

Погруженные в такие размышления, они свернули в длинную и мрачную улицу. Флоренс сидела в экипаже у того окна, из которого ее дома не было видно, и, когда они подъезжали к нему, выглянула, чтобы посмотреть на детей, живших напротив.

В этот момент восклицание Сьюзен заставило ее быстро оглянуться.

— Господи боже мой! — задыхаясь, крикнула Сьюзен. — Где же наш дом?

— Наш дом? — повторила Флоренс.

Сьюзен, отпрянув от окна, высунулась снова, а когда экипаж остановился, снова отпрянула и в недоумении посмотрела на свою хозяйку.

Вокруг всего дома, от фундамента до крыши, поднимался лабиринт лесов. Груды кирпича и камней, кучи известки и штабели досок загромождали широкою улицу до середины вдоль всего дома. К стенам приставлены были лестницы; по ним поднимались и спускались рабочие; на площадках лесов работали другие; в доме возились маляры и обойщики; подводы выгружали огромные рулоны обоев; повозка драпировщика преграждала путь; сквозь зияющие окна с разбитыми стеклами не видно было никакой мебели в комнатах, — только рабочие и их инструменты заполняли весь дом от кухни до чердака. Так было и внутри и снаружи: каменщики, маляры, плотники, каменотесы, молоток, ведро с известкой, кисть, кирка, пила и мастерок — все дружно делали свое дело.

Флоренс вышла из кареты, недоумевающая, тот ли это дом, пока не узнала Таулинсона, встретившего ее в дверях.

— Ничего не случилось? — осведомилась Флоренс.

— О нет, мисс!

— Тут большие перемены.

— Да, мисс, большие перемены, — сказал Таулинсон.

Флоренс словно во сне прошла мимо него и взбежала по лестнице. Бьющий в глаза свет проник в гостиную, давно пребывавшую во мраке, и всюду были стремянки, и козлы, и люди в бумажных колпаках на высоких помостах. Портрет ее матери исчез так же, как и вся мебель, а на том месте, где он висел, было нацарапано мелом: «Обшить панелью. Зеленое с золотом». Лестница, подобно фасаду дома, превратилась в лабиринт из столбов и досок, и целый Олимп паяльщиков и стекольщиков трудился в различных позах, склоняясь над застекленной крышей. Комната Флоренс оставалась пока нетронутой, но за окном вздымались балки и доски, преграждавшие доступ дневному свету. Она быстро поднялась в ту, другую, спальню, где стояла маленькая кроватка, и увидела в окне темную фигуру великана с трубкой во рту и головой, повязанной носовым платком, тарашившего на нее глаза.

Тут-то и нашла ее Сьюзен Нипер, которая разыскивала Флоренс и попросила ее спуститься вниз, к отцу, который хочет с нею поговорить.

— Он дома! И хочет говорить со мной! — вскричала трепещущая Флоренс.

Сьюзен, которая была возбуждена несравненно больше, чем сама Флоренс, повторила данное ей поручение; и Флоренс, бледная и взволнованная, ни секунды не колеблясь, поспешила вниз. По дороге она думала о том, осмелится ли она поцеловать его. Неудержимое желание придало ей решимости, и она подумала, что поцелует его.

Отец мог расслышать биение ее сердца, когда она появилась в комнате. Еще секунда — и оно билось бы у его груди...

Но он был не один. Здесь были две леди, и Флоренс приостановилась. Она боролась так мучительно со своим волнением, что если бы ее неразумный друг Ди не ворвался в комнату и не осыпал ее ласками, приветствуя ее возвращение, — причем одна из леди тихонько взвизгнула, и это отвлекло Флоренс, — она лишилась бы чувств.

— Как поживаешь, Флоренс? — сказал отец, протягивая руку так холодно, что это удержало ее на месте.

Флоренс взяла его руку в свои и, робко поднеся к губам, не противилась, когда он ее отнял. Притворяя дверь, рука коснулась этой двери с таким же равнодушием, с каким прикасалась к Флоренс.

— Что это за собака? — с неудовольствием спросил мистер Домби.

— Эта собака, папа... из Брайтона.

— Так! — сказал мистер Домби, и лицо его потемнело, потому что он понял.

— Она очень добрая, — сказала Флоренс, обращаясь со свойственной ей грацией и любезностью к двум незнакомым леди. — Это она обрадовалась мне. Пожалуйста, не сердитесь на нее.

Бросив взгляд на них, она заметила, что леди, которая взвизгнула, сидела в кресле и была стара; а другая, стоявшая рядом с отцом, была очень красива и элегантна.

— Миссис Скьютон, — сказал отец, обращаясь к первой и показывая на Флоренс, — это моя дочь Флоренс.

— Право же, она очаровательна, — заметила леди, посмотрев на нее в лорнет. — Так непосредственна! Милая Флоренс, вы должны поцеловать меня, прошу вас!

Флоренс, исполнив ее желание, повернулась к другой леди, возле которой стоял в ожидании отец.

— Эдит, — сказал мистер Домби, — это моя дочь Флоренс. Флоренс, эта леди скоро будет твоей мамой.

Флоренс вздрогнула и подняла глаза на прекрасное лицо, охваченная противоречивыми чувствами; слезы, вызванные этим словом, боролись с изумлением, любопытством, восхищением и каким-то непонятным страхом. Потом она воскликнула:

— О папа, будьте счастливы! Будьте очень-очень счастливы всю жизнь!

И, рыдая, упала на грудь леди.

Последовало короткое молчание. Красивая леди, сначала колебавшаяся, подойти ли ей к Флоренс, обняла ее и крепко прижала к себе руку, обвиняющуюся вокруг ее талии, словно хотела успокоить Флоренс и утешить ее. Ни слова не сорвалось с уст леди. Она наклонилась к Флоренс и поцеловала ее в щеку, но не сказала ни слова.

— Не пройти ли нам по дому, — сказал мистер Домби, — посмотреть, как подвигается работа. Разрешите мне, сударыня.

С этими словами он предложил руку миссис Скьютон, которая разглядывала Флоренс в лорнет, как будто пыталась представить, какой бы та стала, если бы ей прибавить — несомненно из собственных неистощимых запасов миссис Скьютон — чуточку больше сердца и непосредственности. Флоренс все еще рыдала на груди леди и прижималась к ней, когда из оранжереи донесся голос мистера Домби:

— Спросим Эдит. Ах, боже мой, где же она?

— Эдит, дорогая моя! — крикнула миссис Скьютон. — Где ты? Конечно, она ищет мистера Домби. Мы здесь, милочка!

Красивая леди выпустила Флоренс из своих объятий и, еще раз коснувшись губами ее щеки, поспешно вышла и присоединилась к ним. Флоренс не двинулась с места; счастливая, печальная, радостная, плачущая — все это одновременно, — она не знала, сколько времени простояла она так, пока вернулась ее новая мама и снова ее обняла.

— Флоренс, — быстро сказала леди, пристально глядя ей в лицо, — вы меня не возненавидите с самого начала?

— Возненавижу вас, мама? — воскликнула Флоренс, обнимая ее за шею и глядя ей в глаза.

— Тише! Начните с того, что думайте обо мне хорошо, — сказала красивая леди. — Верьте, что я постараюсь сделать вас счастливой и готова любить вас, Флоренс. Прощайте. Мы скоро встретимся снова. Прощайте! Уйдите теперь отсюда.

Снова она прижала ее к груди — эти слова она произнесла торопливо, но твердым голосом, — и Флоренс видела, как она вышла к ним в другую комнату.

И теперь Флоренс начала надеяться, что она научится от этой новой красивой мамы, как завоевать любовь отца; и в ту ночь в ее заброшенном старом доме ей снилось, что ее настоящая мама с сияющей улыбкой благословляет эту надежду. Грезы Флоренс!

Глава XXIX

Прозрение миссис Чик

Как-то утром в эту знаменательную пору мисс Токс, не ведая о чудесах, связанных с домом мистера Домби, — о лесах, лестницах и рабочих, чьи головы были повязаны носовыми платками, заглядывающих в окна подобно пролетающим духам или неведомым птицам, — мисс Токс, окончив свой обычный утренний завтрак, состоявший из одной хрустящей французской булочки, одного свежего (или с ручательством за свежесть) яйца и чая (одного чайничка, в котором заваривалась одна серебряная ложечка чаю для мисс Токс и одна серебряная ложечка для чайника — выдумка, коей

улаживают себя добрые хозяйки), — поднялась наверх, чтобы разложить на клавишкордах «птичий вальс», полить и привести в порядок цветы, смахнуть пыль с безделушек и, согласно неизменной своей привычке, превратить маленькую гостиную в украшение площади Принцессы.

Мисс Токс надела пару старых перчаток цвета сухой листвы, в которых имела обыкновение исполнять эти обязанности, — в другое время перчатки были скрыты от посторонних взоров в ящике, — и методически принялась за работу: начала с «птичьего вальса», перешла по натуральной ассоциации идей к своей птичке — весьма узкогрудой канарейке, престарелой и чрезвычайно нахохленной, но обладавшей пронзительным голосом, о чем хорошо знала площадь Принцессы; затем приступила по порядку к фарфоровым безделушкам и бумажным мухоловкам, чтобы в надлежащее время обратиться к цветам, которые следовало подстригать ножницами по каким-то ботаническим законам, непреложным для мисс Токс.

В это утро мисс Токс не спешила перейти к цветам. День был теплый, ветер южный, и на площади Принцессы повеяло летом. Мысли мисс Токс обратились к деревне. Слуга из «Герба Принцессы» вышел с лейкой и полил всю площадь, покрыв ее расплывчатыми узорами, и от поросшей сорной травой земли повеяло свежим запахом: запахло зеленью, — сказала мисс Токс. Крохотный солнечный блик прокрался с большой улицы за углом, и закопченные воробьи перепрыгивали через него, поблескивая в лучах, или купались в нем, как в ручье, и превращались в великолепных воробьев, никогда не приходивших в соприкосновение с дымовыми трубами. Хвалебные гимны в честь имбирного пива с живописным изображением жаждущих клиентов, утопающих в пене или оглушенных хлопаньем пробок, красовались в окне «Герба Принцессы». Где-то за городом шел осенний сенокос; и хотя длинный путь предстояло пройти аромату, состязаясь со многими другими ароматами, столь на него непохожими, среди хижин бедняков (бог да наградит тех достойных джентльменов, которые отстаивают чуму, как неотъемлемый признак мудрости наших предков, и делают все, что позволяют им слабенькие их силы, дабы сохранить в неприкосновенности эти жалкие хижины!), тем не менее этот легкий аромат доносился до площади Принцессы, нашептывая, — как это будет и впредь, — о природе и целебном воздухе даже арестантам, пленным и всем страждущим и угнетенным.

Мисс Токс присела на подоконник и задумалась о своем добром покойном отце, мистере Токсе, служившем в таможне, и о своем детстве, которое протекало в морском порту, где было много дегтя и немножко деревенской простоты. Она погрузилась в далекие, сладкие воспоминания о лугах, сияющих лютиками, словно опрокинутый небосвод с золотыми звездами, и о том, как она плела цепочки из одуванчиков для юных влюбленных, клявшихся в верности до гроба и одетых преимущественно в нанку, и как быстро увяли и разорвались эти цепи.

Сидя на подоконнике и глядя на воробьев и блик солнца, мисс Токс думала также о своей доброй покойной матушке, которая приходилась сестрой владельцу напудренной головы и косицы, о ее добродетелях и ее ревматизме. А когда человек с толстыми ногами, грубым голосом и тяжелой корзиной на голове, которая сплющивала его шляпу, превращая ее в черную лепешку, появился на площади Принцессы, предлагая цветы и при каждом своем вопле заставляя трепетать робкие маргаритки, словно он был людоедом, торгующим вразнос маленькими детьми, летние воспоминания с такою силою нахлынули на мисс Токс, что она покачала головой и шепотом выразила опасение, как бы ей не состариться, прежде чем она успеет опомниться, что было весьма вероятно.

Пребывая в таком мечтательном расположении духа, она стала размышлять о мистере Домби — должно быть, потому, что майор вернулся домой, в свою квартиру напротив, и только что поклонился ей из окна. Ибо по какой иной причине могла бы мисс Токс связать мистера Домби со своими воспоминаниями о летних днях и цепях из одуванчиков? «Повеселел ли он? — думала мисс Токс. — Примирился ли с велениями судьбы? Женится ли когда-нибудь снова, и если женится, то на ком? Что это будет за особа?»

Румянец — погода была жаркая — разлился по лицу мисс Токс, когда она, предаваясь таким размышлениям, оглянулась и с изумлением увидела свою задумчивую физиономию, отраженную в зеркале над камином. И снова румянец залил ее лицо, когда она увидела маленькую карету, въезжающую на площадь Принцессы и направляющуюся прямо к ее подъезду. Мисс Токс встала, быстро схватила ножницы и, обратившись, наконец, к цветам, усердно занялась ими, когда в комнату вошла миссис Чик.

— Как поживает мой милый друг? — воскликнула мисс Токс, раскрывая объятия.

Нечто величественное было в осанке милого друга мисс Токс, однако она поцеловала мисс Токс и сказала:

— Лукреция, благодарю вас, я здорова. Надеюсь, и вы также. Кхе!..

У миссис Чик обнаружилась склонность отрывисто покашливать, это было нечто вроде введения или легкой интродукции к кашлю.

— Вы рано заглянули. Как это мило с вашей стороны, дорогая моя! — продолжала мисс Токс. — Вы уже завтракали?

— Благодарю вас, Лукреция, — сказала миссис Чик, — я завтракала. Я позавтракала, — добрая леди как будто заинтересовалась площадью Принцессы и, ведя беседу, озиравшись по сторонам, — у брата, который вернулся домой.

— Надеюсь, ему лучше, дорогая моя? — запинаясь, выговорила мисс Токс.

— Ему гораздо лучше, благодарю вас. Кхе!

— Моей дорогой Луизе следовало бы обратить внимание на этот кашель, — заметила мисс Токс.

— Пустяки, — отозвалась миссис Чик. — Это только от перемены погоды. Мы должны быть готовы к переменам.

— Погоды? — осведомилась по наивности своей мисс Токс.

— Всего, — возразила миссис Чик. — Конечно, мы должны быть готовы. Это мир перемен. Всякий, кто вздумал бы противоречить, Лукреция, или увилывать от столь очевидной истины, привел бы меня в крайнее изумление и вынудил бы составить совершенно иное мнение об его уме. Перемены! — воскликнула миссис Чик, вооруженная суровой философией. — Ах, боже мой, да есть ли хоть что-нибудь, что не меняется? Даже шелковичный червь, которого, право же, не заподозришь в том, что он утруждает себя подобными размышлениями, постоянно меняется, принимая самые неожиданные формы.

— Моя Луиза всегда приводит удачные примеры, — сказала кроткая мисс Токс.

— Очень мило с вашей стороны, Лукреция, — отозвалась миссис Чик, слегка смягчившись, — говорить так и, — я полагаю, — так думать. Надеюсь, Лукреция, ни у вас, ни у меня никогда не будет повода изменить мнения друг о друге.

— Я в этом уверена, — ответила мисс Токс.

Миссис Чик кашлянула, как и раньше, и начала чертить по ковру зонтом с наконечником из слоновой кости. Мисс Токс, изучившая свою превосходную подругу и зная, что под влиянием легкого утомления или досады та имеет обыкновение рассуждать несколько раздраженно, воспользовалась паузой, чтобы переменить тему разговора.

— Простите, дорогая моя Луиза, — сказала мисс Токс, — но, кажется, я заметила в карете мужественную фигуру мистера Чика?

— Он там, — сказала миссис Чик, — но, пожалуйста, пусть он там и останется. У него есть газета, и он прекрасно проведет два часа. Продолжайте заниматься вашими цветами, Лукреция, а мне разрешите посидеть здесь и отдохнуть.

— Моя Луиза знает, — заметила мисс Токс, — что между такими друзьями, как мы с вами, не может быть и речи о каких-то церемониях. Поэтому...

Поэтому мисс Токс закончила фразу не словами, а делом и, надев перчатки, которые сняла, и снова вооружившись ножницами, принялась с кропотливым усердием обрезать и подстригать листья.

— Флоренс также вернулась домой, — сказала миссис Чик, посидев некоторое время молча, склонив голову к плечу и рисуя зонтиком узоры на полу. — И, право же, теперь Флоренс слишком взрослая для того, чтобы по-прежнему вести эту уединенную жизнь, к которой она привыкла... Разумеется, слишком взрослая. В этом нет никаких сомнений. Я перестала бы питать уважение к тем, кто вздумал бы защищать противоположную точку зрения. Даже вопреки своему желанию я не могла бы их уважать. Мы не можем до такой степени подчинить себе свои чувства.

Мисс Токс с этим согласилась, не совсем, впрочем, уразумев сказанное.

— Если она странная девочка, — продолжала миссис Чик, — и если моему брату Полю не по себе в ее обществе после всех печальных происшествий, какие имели место, и всех ужасных разочарований, какие выпали на его долю, то что же можно на это сказать? Что он должен сделать усилие. Что он обязан сделать усилие! Наше семейство всегда отличалось способностью делать усилия. Поль

— глава семьи; чуть ли не единственный представитель ее, оставшийся в живых... ибо что такое я? Я никакого значения не имею...

— Дорогая моя! — запротестовала мисс Токс. Миссис Чик вытерла глаза, на секунду наполнившиеся слезами, и продолжала:

— ...И, следовательно, он больше, чем когда-либо, обязан сделать усилие. И хотя сделанное им усилие является для меня в некотором роде потрясением, ибо натура у меня очень слабая и простая, — а это не особенно приятно, и я часто желаю, чтобы сердце мое было мраморной плитой или булыжником...

— Милая моя Луиза! — снова запротестовала мисс Токс.

— ...Тем не менее для меня счастьем было узнать, что он столь верен себе и своему имени Домби. Конечно, я всегда знала, что так и будет! Надеюсь только, — помолчав, сказала миссис Чик, — что и она окажется достойной этого имени.

Мисс Токс налила в маленькую зеленую лейку воды из кувшина и, случайно подняв затем глаза, была столь изумлена тем многозначительным видом, с коим миссис Чик обратила к ней лицо, что временно поставила лейку на стол и сама села на стул рядом с нею.

— Дорогая Луиза, — сказала мисс Токс, — не будет ли вам неприятно, если я осмелюсь указать в ответ на это замечание, что такая скромная особа, как я, считает вашу милую племянницу подающей большие надежды?

— Что вы имеете в виду, Лукреция? — осведомилась миссис Чик с сугубой важностью. — На какое мое замечание вы ссылаетесь, дорогая моя?

— На то, что она окажется достойной этого имени, моя милая, — ответила мисс Токс.

— Если, — торжественно-снисходительным тоном произнесла миссис Чик, — я выразилась недостаточно ясно, Лукреция, то вина, конечно, моя. Быть может, у меня вообще не было бы никаких оснований высказываться, если бы нас не связывала дружба, которой — как я надеюсь, Лукреция, надеюсь от всей души — ничто не нарушит! Ибо могу ли я думать иначе? Для этого нет никаких оснований; это было бы нелепо. Но я хочу ясно выразить свою мысль, Лукреция, и посему, возвращаясь к этому замечанию, я должна сказать, что оно отнюдь не относилось к Флоренс.

— Неужели? — отозвалась мисс Токс.

— Да, — сказала миссис Чик отрывисто и решительно.

— Простите меня, дорогая, — заметила ее кроткая подруга. — Но я его не поняла. Боюсь, что я несообразительна.

Миссис Чик окинула взглядом комнату и посмотрела в окно на другую сторону площади; посмотрела на цветы, птичку, лейку, чуть ли не на все, что находилось в поле ее зрения, за исключением мисс Токс; и, наконец, опуская глаза, скользнула взглядом по мисс Токс и произнесла, подняв брови и созерцая ковер:

— Когда я говорю, Лукреция, что она окажется достойной этого имени, я говорю о второй жене моего брата Поля. Полагаю, я уже высказалась в том смысле, — хотя и прибегала к другим выражениям, — что он намерен жениться вторично.

Мисс Токс быстро вскочила и, вернувшись к своим цветам, принялась подстригать стебли и листья с такою же безжалостностью, с какою цирюльник стрижет волосы беднякам.

— Почувствует ли она в полной мере честь, ей оказанную, — высокомерным тоном продолжала миссис Чик, — Это уже другой вопрос. Надеюсь, почувствует. В этом мире мы обязаны думать хорошо друг о друге, и я надеюсь, что она почувствует. Что касается меня, то со мной не советовались. Если бы со мной посоветовались, то несомненно к моему совету отнеслись бы свысока, и, стало быть, несравненно лучше так, как оно есть. Я предпочитаю, чтобы так оно и было.

Мисс Токс, потупившись, по-прежнему подстригала цветы. Миссис Чик, энергически покачивая время от времени головою, продолжала изрекать, словно бросая кому-то вызов:

— Если бы мой брат Поль со мной посоветовался — а иногда он советуется, или, вернее, прежде имел обыкновение советоваться, ибо, разумеется, теперь он не будет этого делать, и я нахожу, что это обстоятельство освобождает меня от ответственности, — истерически сказала миссис Чик, — так как, слава богу, я не ревнива... — тут миссис Чик снова пролила слезу, — если бы мой брат Поль пришел ко мне и сказал: «Луиза, какие качества, по вашему мнению, следовало бы мне искать в жене?» — я бы, конечно, ответила: «Поль, вам нужна семья, вам нужна красота, вам нужно

достоинство, вам нужны связи». Вот к каким выражениям я бы прибегла. И хотя бы немедленно после этого меня повели на плаху, — заявила миссис Чик, словно такое следствие было весьма вероятно, — я бы все равно к ним прибегла. Я бы сказала: «Поль! Вам жениться вторично и не иметь семьи! Вам жениться и не получить красоты! Вам жениться на женщине, лишенной достоинства! Вам жениться на женщине, не имеющей связей! Нет на свете человека, не утратившего рассудка, который осмелился бы допустить столь нелепую идею!»

Мисс Токс перестала щелкать ножницами и, склонив голову к цветам, внимательно прислушивалась. Быть может, в этом вступлении и в горячности миссис Чик почудилась мисс Токс какая-то надежда.

— К этим доводам я бы обратилась, — продолжала благоразумная леди, — ибо, надеюсь, я не так уж глупа. Я не притязую на то, чтобы меня почитали особой выдающегося ума (хотя я уверена, кое-кто, как это ни удивительно, считает меня таковой; однако человек, на которого обращают столь же мало внимания, как на меня, недолго будет предаваться этой иллюзии), но, надеюсь, я все-таки не дура. И сказать мне, — с невыразимым презрением произнесла миссис Чик, — что мой брат, Поль Домби, мог когда-нибудь подумать о возможности объединиться с кем-нибудь, безразлично с кем (эту маленькую оговорку она подчеркнула более резко и выразительно, чем все прочие свои замечания), не обладающим этими необходимыми качествами, значило бы оскорбить тот разум, каким я наделена, все равно как если бы мне заявили, что я по рождению и воспитанию своему — слон. Быть может, мне это еще заявят, — промолвила миссис Чик с покорным видом. — Меня бы это ничуть не удивило. Я этого жду.

Во время последовавшего краткого молчания ножницы мисс Токс слабо звякнули раза два; но лицо мисс Токс оставалось невидимым, и утреннее ее платье трепетало. Миссис Чик посмотрела на нее искоса, сквозь цветы, находившиеся между ними, и снова заговорила тоном глубокого убеждения, как человек, который останавливается на обстоятельстве, едва ли заслуживающем разъяснения.

— Итак, мой брат Поль, разумеется, сделал то, что надлежало от него ждать и что все мы могли бы предвидеть в случае, если бы он вздумал вторично вступить в брак. Признаюсь, для меня это было неожиданностью, хотя и приятной; ибо, когда Поль уезжал из Лондона, я понятия не имела о том, что он завяжет какие-то сердечные связи вне столицы, и, разумеется, их не было, когда он отсюда уезжал. Впрочем, по-видимому, это в высшей степени желательно с любой точки зрения. Я отнюдь не сомневаюсь в том, что мать — весьма аристократическая и элегантная особа, и не имею никакого права оспаривать уместность ее проживания вместе с ними, так как это дело Поля, а не мое. Что же касается самой избранницы Поля, то пока я видела только ее портрет, но он действительно прекрасен. И имя у нее красивое, — продолжала миссис Чик, энергически покачивая головой и удобнее усаживаясь в кресле. — Имя Эдит кажется мне необычным и аристократическим. Итак, не сомневаюсь, Лукреция, вы обрадуетесь, узнав, что брак будет заключен в самом непродолжительном времени; конечно, обрадуетесь, — снова выразительное ударение, — и будете в восторге от этой перемены в жизни моего брата, который много раз оказывал вам весьма лестное внимание.

Мисс Токс не дала никакого словесного ответа, но, взяв дрожащей рукой маленькую лейку, осмотрелась рассеянно кругом, как бы соображая, какой предмет обстановки нуждается в ее содержимом. В этот момент, критический для чувств мисс Токс, дверь открылась, мисс Токс вздрогнула, громко захохотала и упала в объятия вошедшего; к счастью, она не могла видеть ни гневной физиономии миссис Чик, ни майора у окна по ту сторону площади, чей бинокль был пущен в ход и чье лицо и фигура раздулись от мефистофельского злорадства.

Иные чувства владели изумленным изгнанником-туземцем, который заботливо поддерживал упавшую в обморок мисс Токс; поднявшись наверх с целью любезно осведомиться о здоровье мисс Токс (во исполнение коварного приказа майора), туземец случайно прибыл как раз вовремя, чтобы принять в свои объятия хрупкое бремя и вместить в свой башмак содержимое маленькой лейки: оба эти обстоятельства, а также сознание, что за ним зорко наблюдает гневный майор, — который, в случае какого-либо промаха, посулил ему обычную кару, грозившую всем его костям, — привели к тому, что туземец являл собою воплощение всех мук, душевных и телесных.

В течение нескольких секунд этот удрученный чужестранец прижимал мисс Токс к своему сердцу с энергией, удивительно не соответствовавшей расстроенному его лицу, тогда как бедная леди медленно выливалась на него последние капли из маленькой лейки, словно он был нежным экзоти-

ческим растением (каковым он, в сущности, и был) и следовало ждать, что он расцветет под этим живительным дождем. Наконец миссис Чик, обретя присутствие духа, вмешалась и приказала ему положить мисс Токс на диван и удалиться; когда же изгнанник поспешно повиновался, она принялась хлопотать о приведении в чувство мисс Токс.

Но той нежной заботы, какая свойственна дочерям Евы, ухаживающим друг за другом, того франкмасонства, какое в случае обморока обычно связывает их таинственными узами сестринства, не наблюдалось в поведении миссис Чик. Скорее как палач, который приводит в чувство жертву, чтобы продлить пытку (или приводил в доброе старое время, по коем все честные люди до сего дня носят траур), прибегла миссис Чик к флакону с нюхательной солью, к похлопыванию по рукам, к смачиванью лица холодной водой и к прочим испытанным средствам. И когда, наконец, мисс Токс открыла глаза и постепенно вернулась к жизни и действительности, миссис Чик отшатнулась от нее, как от преступницы, и, воспроизводя в обратном виде прецедент с умерщвленным королем датским, посмотрела на нее скорее с гневом, чем со скорбью⁸⁷.

— Лукреция! — промолвила миссис Чик. — Я не буду пытаться скрыть свои чувства. Я внезапно прозрела. Я бы этому не поверила, даже если бы мне рассказал об этом святой.

— Как глупо с моей стороны, что я поддаюсь слабости! — пролепетала мисс Токс. — Сейчас мне будет лучше.

— Сейчас вам будет лучше, Лукреция! — с величайшим презрением повторила миссис Чик. — Вы полагаете, что я слепа? Воображаете, что я впала в детство? Нет, Лукреция! Я вам очень признательна!

Мисс Токс устремила на свою подругу умоляющий, беспомощный взгляд и закрыла лицо носовым платком.

— Если бы кто-нибудь сказал мне это вчера, — величественно продолжала миссис Чик, — или даже полчаса назад, я испытала бы соблазн стереть этого человека с лица земли. Лукреция Токс, я внезапно прозрела и увидела! Пелена спала с моих глаз! — Тут миссис Чик сбросила с глаз воображаемую простыню, вроде той, какую обычно прикрывают товар в бакалейной лавке. — Слепому моему доверию пришел конец, Лукреция. Им злоупотребляли, на нем играли, и уверяю вас — теперь об увиливании не может быть и речи.

— О, на что вы намекаете так жестоко, дорогая моя? — сквозь слезы осведомилась мисс Токс.

— Лукреция, спросите свое сердце, — сказала миссис Чик. — Я должна просить вас, чтобы вы не прибегали к такому фамильярному обращению, какое только что употребили. У меня еще осталось уважение к себе, хотя вы, может быть, думаете иначе.

— О Луиза! — вскричала мисс Токс. — Как можете вы так говорить со мной?

— Как могу я так говорить с вами? — произнесла миссис Чик, которая, не находя веского аргумента для подкрепления своих слов, обращалась преимущественно к таким повторениям, чтобы произвести наиболее ошеломляющий эффект. — Так говорить! Да, вы действительно вправе об этом спрашивать!

Мисс Токс жалобно всхлипывала.

— Подумать только, — продолжала миссис Чик, — что вы, отогревшись, как змея, у очага моего брата и через меня втершись чуть ли не в доверие к нему, что вы, Лукреция, могли втайне иметь виды на него и дерзали допускать возможность его союза с вами! Да ведь нелепость этой идеи, — с саркастическим достоинством произнесла миссис Чик, — почти что сводит на нет ее вероломство!

— Прошу вас, Луиза, — взмолилась мисс Токс, — не говорите таких ужасных вещей.

— Ужасных вещей! — повторила миссис Чик. — Гласных вещей! Разве не правда, Лукреция, что вы только что не в состоянии были справиться со своими чувствами даже передо мной, которой вы совершенно затуманили зрение?

— Я не жаловалась, — всхлинула мисс Токс. — Я ничего не сказала. Если я была слегка потрясена вашим сообщением, Луиза, и если когда-нибудь мелькала у меня мысль, что мистер Домби склонен обратить на меня особое внимание, то уж вы-то, конечно, меня не осудите.

⁸⁷ ...посмотрела на нее скорее с гневом, чем со скорбью — парафраза слов Горацио: «...смотрел скорей с тоской, чем с гневом» («Гамлет», акт I, сц. 2-я).

— Сейчас она скажет, — произнесла миссис Чик, обращаясь к мебели и созерцая ее с видом покорным и умоляющим, — сейчас она скажет — я это знаю, — что я ее поощряла!

— Я не хочу обмениваться упреками, дорогая Луиза, — всхлипывала мисс Токс. — И жаловаться я не хочу. Но в свою защиту...

— Да! — воскликнула миссис Чик, с пророческой улыбкой окидывая взглядом комнату, — вот что она сейчас скажет. Я это знала. Что же вы не говорите? Скажите прямо! Каковы бы вы ни были, Лукреция Токс, будьте откровенны, — произнесла миссис Чик с неумолимой суровостью.

— ...В свою защиту, — пролепетала мисс Токс, — в защиту от ваших недобрых слов, дорогая Луиза, я бы хотела только спросить вас, разве вы частенько не потворствовали этой мечте и не говорили, что — кто знает? — все может случиться?..

— Есть предел, — сказала миссис Чик, вставая с таким видом, словно не намерена была ступать по полу, но собиралась воспарить к своей небесной отчизне, — предел, за которым терпение становится смешным, если не преступным. Я могу вынести многое, но не все. Что осенило меня, когда я вошла сегодня в этот дом, я не знаю, но у меня было предчувствие, мрачное предчувствие, — содрогнувшись, сказала миссис Чик, — будто что-то должно случиться. Не чудо ли, что у меня было это предчувствие, Лукреция, если рухнуло в одну секунду мое многолетнее доверие, если я внезапно прозрела и увидела вас в истинном свете? Лукреция, я ошибалась в вас. Лучше для нас обеих покончить на этом. Я вам желаю добра и всегда буду желать вам добра. Но как человек, который хочет быть верен себе, несмотря на свое скромное положение, каково бы оно ни было, и как сестра моего брата, и как золовка жены моего брата, и как свойственница матери жены моего брата, и — да будет мне позволено добавить — как Домби! — я не могу пожелать вам ничего, кроме доброго утра.

После этих слов, произнесенных с язвительной учтивостью, смягченной и просветленной горделивым сознанием моральной правоты, миссис Чик двинулась к двери. У порога она наклонила голову, подобно статуе и на манер привидения, и направилась к карете искать успокоения и утешения в объятиях мистера Чика, своего супруга и повелителя.

Мы выражаемся фигурально: ибо руки мистера Чика были заняты газетой. К тому же сей джентльмен не обратил взора на жену, а только взглянул на нее мельком. И не предложил ей ровно никакого утешения. Короче говоря, он сидел, читая и напевая обрывки мелодий, изредка бросал на нее беглый взгляд и не изрекал ни единого слова, доброго, злого или равнодушного.

Между тем миссис Чик сидела, негодующая и возмущенная, и трясла головой, как будто все еще повторяла Лукреции Токс торжественную формулу прощания. Наконец она заявила вслух, что-де, о, до какой же степени она сегодня прозрела!

— До какой же степени ты прозрела, дорогая моя? — повторил мистер Чик.

— О, не разговаривай со мной! — воскликнула миссис Чик. — Если ты мог, видя меня в таком состоянии, не спросить, что случилось, уж лучше бы ты навсегда замолчал!

— А что случилось, дорогая моя? — спросил мистер Чик.

— Подумать только! — сказала миссис Чик, беседа сама с собой. — У нее зародилась гнусная мысль породниться с нашей семьей, вступив в брак с Полем! Подумать только, что, играя в лошадки с дорогим мальчиком, который покоится сейчас в могиле, — мне и тогда не нравились эти игры, — она вынашивала коварный умысел! Удивительно, как она не боялась, что это доведет ее до беды. Ей просто повезет, если беда пройдет стороной.

— Право же, я думал, дорогая моя, — медленно произнес мистер Чик, предварительно потеряв газетой переносицу, — что и у тебя была та же мысль вплоть до сегодняшнего утра. Кажется, и ты считала, что неплохо было бы, если бы это осуществилось.

Миссис Чик немедленно разрыдалась и заявила мистеру Чику, что, если уж ему хочется топтать ее сапогами, лучше бы он так и сделал.

— Но с Лукрецией Токс я покончила, — сказала миссис Чик после того, как в течение нескольких минут отдавалась своим чувствам, к великому ужасу мистера Чика. — Я могу примириться с тем, что Поль оказал доверие той, кто — надеюсь и верю — может его заслужить и кем он имеет полное право заменить, если пожелает, бедную Фанни. Я могу примириться с тем, что Поль со свойственной ему холодностью уведомил меня о такой перемене в его планах, ни разу не посоветовавшись со мной, пока все не было решено окончательно. Но с обманом я не могу примириться, и с Лукрецией Токс я покончила! Лучше так, как оно есть, — набожно заметила миссис Чик, — гораздо

лучше! Понадобилось бы много времени, чтобы я могла примириться с нею после этого. Теперь, когда Поль заживет на широкую ногу, а люди эти аристократического происхождения, — право, я не знаю, можно ли было бы ввести ее в общество, и не скомпрометировала ли бы она меня? Провидение заботится обо всем. Все к лучшему; сегодня я перенесла испытание, но не жалею об этом.

Исполненная этого христианского духа, миссис Чик осушила слезы, разгладила платье на коленях и приняла позу человека, который стойко терпит жестокую обиду. Мистер Чик, несомненно сознавая свое ничтожество, воспользовался первым удобным случаем, чтобы покинуть карету на углу, и удалился, насвистывая, высоко подняв плечи и засунув руки в карманы.

А в это время бедная отлученная мисс Токс — льстивая и раболепная, но тем не менее честная и постоянная, неизменно питавшая истинно дружеские чувства к своей обвинительнице и всецело поглощенная и охваченная преклонением перед великолепием мистера Домби, — и это время бедная отлученная мисс Токс поливала цветы свои слезами и чувствовала, что на площади Принцессы наступила зима.

Глава XXX Перед свадьбой

Хотя зачарованного дома больше не существовало и рабочий люд вторгся в него и стучал весь день, грохотал и топал по лестницам, вызывая с утра до вечера непрерывные приступы лая у Диогена, явно убежденного, что в конце концов враг его одержал над ним верх и, с торжеством бросая вызов, грабит его владения, — но первое время в образе жизни Флоренс не замечалось больших перемен. По вечерам, когда рабочие уходили, дом снова становился мрачным и заброшенным; и Флоренс, слушая удаляющиеся, гулко разносящиеся по холлу и лестницам голоса, рисовала себе счастливый домашний очаг, к которому они возвращаются, и детей, их ожидающих, и ей радостно было думать, что они веселы и уходят довольные.

Она приветствовала вечернюю тишину, как старого друга, но вечер являлся теперь в ином облике и смотрел на нее более ласково. Красивая леди, которая успокоила ее и приласкала в той самой комнате, где сердцу ее нанесли такую рану, была для нее вестником счастья. Мягкие тени загорающей светлой жизни, которую ей сулило расположение отца и обретение всего или многого из того, что она потеряла в тот печальный день, когда материнская любовь угасла вместе с последним материнским вздохом, коснувшимся ее щеки, скользили вокруг нее в сумерках и были желанными гостями. Посматривая украдкой на румяных девочек, своих соседок, она испытывала новое и чудесное ощущение при мысли, что скоро они познакомятся и узнают друг друга, и тогда она покажется им, не опасаясь, как это было раньше, что они загрустят, увидев ее в черном платье, сидящую здесь в одиночестве!

Отдаваясь мыслям о новой матери, с любовью и доверием к ней в чистом своем сердце, Флоренс еще сильнее любила свою родную умершую мать. Она не боялась, что у той будет соперница в любви. Она знала: новый цветок расцвел на стебле, заботливо взлелеянном и глубоко пустившем корни. Каждое ласковое слово в устах красивой леди звучало для Флоренс, как эхо того голоса, который давно прервался и умолк. Теперь, когда зародилась новая нежность, могла ли она меньше любить воспоминание о нем, раз это было единственным воспоминанием о родительской нежности и любви?

Однажды Флоренс сидела у себя в комнате, читала и думала об этой леди, обещавшей вскоре навестить ее — содержание книги наводило на эти мысли, — как вдруг, подняв глаза, она увидела ее в дверях.

— Мама! — воскликнула Флоренс, радостно бросаясь ей навстречу. — Вы пришли!

— Еще не мама, — с задумчивой улыбкой отозвалась леди, обвив рукой шею Флоренс.

— Но очень скоро будете ею, — сказала Флоренс.

— Теперь очень скоро, Флоренс; очень скоро.

Эдит слегка наклонила голову, чтобы прижаться щекой к свежей щечке Флоренс, и в течение нескольких секунд молчала. Столько нежности было в ее обращении, что Флоренс ощутила эту нежность еще сильнее, чем в день первой их встречи.

Она подвела Флоренс к креслу и села рядом с нею; Флоренс смотрела ей в лицо, восхищалась ее красотой и охотно оставила свою руку в ее руке.

— Вы жили одна, Флоренс, с тех пор как я здесь была?

— О да! — с улыбкой, не задумываясь, ответила Флоренс.

Она замялась и потупилась, потому что ее новая мама была очень серьезна и всматривалась пристально и задумчиво в ее лицо.

— Я... я привыкла быть одна, — сказала Флоренс. — Мне это совсем нетрудно. Иногда мы с Ди проводим целые дни вдвоем.

Флоренс могла бы сказать — целые недели и месяцы.

— Ди — это ваша горничная, дорогая?

— Это моя собака, мама, — со смехом отозвалась Флоренс. — Мою горничную зовут Сьюзен.

— А это ваши комнаты? — спросила Эдит, осматриваясь кругом. — Тогда мне их не показали. Мы должны их украсить, Флоренс. Они будут лучшими во всем доме.

— Если бы мне позволили переменить их, мама, — отозвалась Флоренс, — есть одна комната наверху, которая нравится мне гораздо больше.

— Разве здесь недостаточно высоко, милая моя девочка? — с улыбкой спросила Эдит.

— То была комната моего брата, — сказала Флоренс, — и я ее очень люблю. Я хотела поговорить о ней с папой, когда вернулась домой и застала здесь рабочих и все эти перемены, но...

Флоренс опустила глаза, опасаясь, как бы тот же взгляд не заставил ее снова замяться.

— ...Но я побоялась, что это его огорчит; а так как вы сказали, мама, что скоро вернетесь и будете здесь полной хозяйкой, я решила собраться с духом и попросить об этом вас.

Эдит сидела, не спуская блестящих глаз с ее лица, но когда Флоренс посмотрела на нее, она в свою очередь опустила глаза. Вот тогда-то и подумала Флоренс, что красота этой леди совсем не такая, какою показалась ей в первый раз. Она считала эту красоту горделивой и величественной; но леди держала себя так ласково и кротко, что — будь она ровесницей Флоренс и одного с нею нрава — вряд ли она внушала бы больше доверия.

За исключением тех минут, когда ее обволакивала какая-то напряженная и странная сдержанность, — а тогда казалось (но Флоренс вряд ли это понимала, хотя не могла не заметить и думала об этом), казалось, будто она чувствует себя униженной перед Флоренс и ей не по себе. Когда она сказала, что еще не стала ее матерью, а Флоренс назвала ее полной хозяйкой, эта перемена в ней была внезапной и поразительной; и теперь, когда глаза Флоренс были устремлены на ее лицо, она сидела с таким видом, будто хотела съежиться и спрятаться у нее, и менее всего была похожа на женщину, которая готова любить ее и лелеять на правах близкого родства.

Она охотно согласилась на просьбу Флоренс о новой комнате и сказала, что сама об этом позаботится. Затем она задала несколько вопросов о бедном Поле и после недолгой беседы сообщила Флоренс, что заехала за нею, чтобы увести к себе.

— Теперь мы переехали в Лондон, моя мать и я, — сказала Эдит, — и вы будете жить с нами до моего замужества. Я хочу, чтобы мы ближе познакомились и доверяли друг другу, Флоренс.

— Вы очень добры ко мне, милая мама, — сказала Флоренс. — Как я вам благодарна!

— Вот что я вам скажу сейчас, потому что более удобного случая, быть может, не представится, — продолжала Эдит, оглянувшись, чтобы узнать, одни ли они, и понизив голос, — когда я выйду замуж и на несколько недель уеду, у меня будет спокойнее на душе, если вы вернетесь сюда, домой. Кто бы вас ни приглашал к себе, вернитесь домой. Лучше быть одной, чем... Я хочу сказать, — добавила она, замявшись, — что, как мне известно, вы лучше всего чувствуете себя дома, милая Флоренс.

— В тот же день я вернусь домой, мама.

— Так и сделайте. Я полагаюсь на ваше обещание. А теперь, дорогая, собирайтесь, и поедем. Вы найдете меня внизу, когда будете готовы.

Медленно и задумчиво бродила Эдит по дому, где так скоро предстояло ей стать хозяйкой; и мало внимания обращала она на изящество и роскошь, которые уже сейчас можно было заметить. С тем же неукротимым высокомерием, с тем же горделивым презрением, отражавшимся в глазах и на устах, сверкая тою же красотой, умерявшейся только сознанием малой ее ценности и малой ценности всего окружающего, проходила она по великолепным гостиным и залам, так же, как проходила

прежде под тенистыми деревьями, и негодовала и терзала себя. Розы на стенах и на полу были окружены острыми шипами, раздиравшими ей грудь; в каждой крупнице позолоты, ослеплявшей глаз, она видела частичку денег, за нее уплаченных; широкие и высокие зеркала отражали во весь рост женщину, в чьей душе еще не угасли благие порывы, но которая слишком часто лгала самой себе и слишком была унижена и придавлена, чтобы себя спасти. Полагая, что все это очевидно в большей или меньшей степени для каждого из окружающих, она считала гордость единственным средством утвердить себя; и во всеоружии этой гордости, которая день и ночь терзала ей сердце, она боролась со своей судьбой, не страшась ее и бросая ей вызов.

Неужели это была та женщина, на которую Флоренс — невинная девочка, сильная только своей искренностью и прямодушием, — производила столь глубокое впечатление, что подле нее она становилась другим человеком, ибо утихала в ней буря страстей, и даже гордость смирялась? Неужели это была та женщина, которая сидела сейчас рядом с нею в карете, обнимала ее и которая, лаская ее и добиваясь любви и доверия, прижимала ее красивую головку к своей груди и готова была пожертвовать жизнью, чтобы защитить ее от зла и обиды?

О Эдит, как хорошо было бы умереть в эту минуту! Быть может, лучше умереть сейчас, Эдит, чем жить дальше.

Почтенная миссис Скьютон, которая думала о чем угодно, только не о смерти — ибо, подобно многим благородным особам, жившим в различные эпохи, она решительно повернулась спиной к смерти и возражала против упоминания о столь пошлой и всех уравнивающей выскочке — заняла дом на Брук-стрит, Гровенор-сквер, принадлежавший величественному родственнику (одному из родичей Финикса), который уехал из Лондона и великодушно уступил свой дом по случаю свадьбы, почитая это подарком, сулящим окончательное избавление и освобождение от всяких ссуд и даров миссис Скьютон и ее дочери. Для поддержания фамильной чести надлежало строго соблюдать приличия, и миссис Скьютон отыскивала сговорчивого торговца, проживавшего в приходе Мэри-ле-Бон, который ссужал знать и джентри всевозможными предметами обстановки, начиная со столового серебра и кончая армией лакеев; этот же торговец доставил в дом седовласого дворецкого (получавшего добавочную плату за то, что у него был вид старого слуги семейства), двух очень высоких молодых людей в ливреях и отборный штат кухонной прислуги; вот тогда-то в подвальном этаже и возникла легенда, что паж Уитерс, внезапно освобожденный от многочисленных своих домашних обязанностей и подталкивания кресла на колесах (неуместного в столице), не раз, как было замечено, протирает глаза и щипал себя, словно у него мелькало подозрение, не заспался ли он у лемингтонского молочника и не предастся ли райским грезам. В тот же дом и из того же удобного источника было доставлено все необходимое столовое серебро и фарфор, а также разнообразные предметы домашнего обзаведения, включая изящный экипаж и пару гнедых лошадей, и миссис Скьютон расположилась среди подушек на парадном диване в позе Клеопатры и торжественно открыла прием.

— Ну, как поживает моя прелестная Флоренс? — спросила миссис Скьютон, когда вошла ее дочь со своей протее. — Право же, вы должны крепко поцеловать меня, Флоренс, моя милая.

Флоренс, робко наклонившись, отыскивала подходящее местечко на набеленном лице миссис Скьютон, но эта леди подставила ей ухо и вывела из затруднения.

— Эдит, дорогая моя, — сказала миссис Скьютон, — положительно... Повернитесь немного к свету на одну минутку, милая Флоренс.

Флоренс, краснея, повиновалась.

— Ты не помнишь, дорогая Эдит, — продолжала мать, — какой ты была примерно в возрасте нашей очаровательной Флоренс или чуть моложе?

— Я давно забыла, мама.

— Право же, дорогая моя, — сказала миссис Скьютон, — я нахожу определенное сходство между тобою в те годы и нашей прелестной юной приятельницей. И это доказывает, что может сделать воспитание, — добавила миссис Скьютон, понизив голос и давая понять, что, по ее мнению, воспитание Флоренс далеко не закончено.

— Да, несомненно, — был холодный ответ Эдит.

Мать зорко на нее посмотрела и, чувствуя, что вступила на опасный путь, сказала с целью отвлечь внимание:

— Прелестная Флоренс, право же, вы должны поцеловать меня еще раз, дорогая моя.

Флоренс, конечно, повиновалась и снова коснулась губами уха миссис Скьютон.

— Милочка, вы, конечно, слышали, — продолжала миссис Скьютон, удерживая ее за руку, — что ваш папа, которого мы все буквально обожаем и любим до безумия, женится ровно через неделю на моей дорогой Эдит?

— Я знала, что это должно быть очень скоро, — ответила Флоренс, — но не знала, когда именно.

— Дорогая моя Эдит, — весело сказала мать, — может ли быть, что ты не сообщила об этом Флоренс?

— Зачем мне было говорить Флоренс? — отозвалась та так быстро и резко, что Флоренс готова была усомниться, ее ли это голос.

Тогда миссис Скьютон сообщила Флоренс, — снова с целью отвлечь внимание, — о том, что отец придет к обеду и несомненно будет приятно изумлен, увидев ее, так как накануне вечером он говорил лишь о делах в Сити и понятия не имел о затее Эдит, осуществление которой должно было, по мнению миссис Скьютон, привести его в восторг. Услышав это, Флоренс пришла в смятение, и по мере того, как приближался час обеда, беспокойство ее стало таким мучительным, что, зная она, как попросить разрешения вернуться домой, не ссылаясь при этом на отца, она убежала бы пешком с непокрытой головой, стремглав и одна, только бы ускользнуть от риска вызвать его неудовольствие.

С приближением назначенного часа она едва могла дышать. Она не смела подойти к окну, боясь, как бы он не увидел ее с улицы. Она не смела подняться наверх, чтобы скрыть волнение, опасаясь, как бы не встретиться с ним неожиданно в дверях, и в то же время чувствуя, что уже не в силах была бы вернуться, если бы ее призвали к отцу. Терзаемая этими страхами, она сидела у ложа Клеопатры, стараясь слушать и отвечать на вздорные речи этой леди, как вдруг на лестнице раздались его шаги.

— Я слышу его шаги! — вздрогнув, воскликнула Флоренс. — Он идет!

Клеопатра, которая по молодости своей всегда была расположена к игривости и, поглощенная собой, не потрудилась задуматься о природе этого волнения, толкнула Флоренс за диван и набросила на нее шаль, готовясь сделать мистеру Домби очаровательный сюрприз. Было это сделано так быстро, что через секунду Флоренс услышала в комнате грозные его шаги.

Он приветствовал будущую тещу и будущую жену. Голос его звучал так странно, что трепет пробежал по всему телу дочери.

— Дорогой мой Домби, — сказала Клеопатра, — пожалуйста сюда и скажите мне, как поживает ваша милая Флоренс.

— Флоренс здорова, — ответил мистер Домби, подходя к ложу.

— Она дома?

— Дома, — сказал мистер Домби.

— Дорогой мой Домби, — продолжала Клеопатра с чарующей живостью, — уверены ли вы в том, что меня не обманываете? Не знаю, что скажет мне моя милая Эдит, услышав такое мое заявление, но, честное слово, я боюсь, дорогой мой Домби, что вы — фальшивейший из мужчин.

Будь он действительно таковым и будь он уличен на месте в самой чудовищной лжи, когда-либо обнаруженной в словах или поступках человека, он вряд ли мог прийти в большее смущение, чем сейчас, когда миссис Скьютон сдернула шаль и Флоренс, бледная и трепещущая, предстала перед ним, как привидение. Он еще не собрался с мыслями, когда Флоренс бросилась к нему, обняла его за шею, поцеловала и выбежала из комнаты. Он оглянулся, словно желая обсудить с кем-нибудь этот вопрос, но Эдит вышла сейчас же вслед за Флоренс.

— Признайтесь же, дорогой мой Домби, — сказала миссис Скьютон, протягивая ему руку, — что вы никогда еще не бывали так удивлены и обрадованы.

— Я никогда не был так удивлен, — ответил мистер Домби.

— И так обрадованы, дорогой мой Домби? — настаивала миссис Скьютон, поднимая веер.

— Я... да, я чрезвычайно рад, что встретил здесь Флоренс, — скачал мистер Домби. Казалось, он серьезно обдумывал свои слова и затем повторил более решительно: — Да, действительно я очень рад, что встретил здесь Флоренс.

— Вы недоумеваете, как она очутилась здесь, не правда ли? — спросила миссис Скьютон.

— Быть может, Эдит? — предположил мистер Домби.

— О, злой угадчик! — отозвалась Клеопатра, покачивая головой. — О, хитрый, хитрый человек! Мне не следовало бы говорить такие вещи, дорогой мой Домби, вы — мужчины — так тщеславны и так склонны злоупотреблять нашими слабостями, но вам известно, что душа у меня открытая... Хорошо, сейчас.

Эти последние слова относились к одному из очень высоких молодых людей, доложившему, что обед подан.

— Но Эдит, дорогой мой Домби, — продолжала она шепотом, — если она не видит вас подле себя, — а я ей сказала, что не может же она всегда на это рассчитывать, — Эдит хочет, чтобы около нее было хоть что-нибудь или кто-нибудь из тех, кто вам близок. Да, это в высшей степени естественно! И никто не мог бы удержать ее, когда, находясь в таком расположении духа, она поехала сегодня за нашей милой Флоренс. Это так очаровательно!

Так как она ждала ответа, мистер Домби ответил:

— В высшей степени!

— Да благословит вас бог, дорогой мой Домби, за то, что у вас есть сердце! — воскликнула Клеопатра, пожимая ему руку. — Но я становлюсь слишком серьезной. Будьте ангелом, проводите меня вниз, и посмотрим, какой обед намерены предложить нам эти люди. Да благословит вас бог, дорогой Домби!

После этого вторичного благословения Клеопатра довольно резво спрыгнула со своего ложа, а мистер Домби предложил ей руку и церемонно повел вниз; когда эта пара входила в столовую, один из взятых напрокат высоких молодых людей, чей орган почтительности был недостаточно развит, засунул язык за щеку для увеселения другого высокого молодого человека, взятого напрокат.

Флоренс и Эдит были уже там и сидели рядом. Когда вошел отец, Флоренс хотела встать, чтобы уступить ему свое место, но Эдит решительно положила руку ей на плечо, и мистер Домби занял место напротив.

Разговор поддерживала чуть ли не одна миссис Скьютон. Флоренс едва осмеливалась поднять глаза, опасаясь, как бы не было замечено, что они заплаканы; тем более не осмеливалась она говорить; а Эдит не проронила ни слова и только отвечала на вопросы. Поистине, Клеопатра трудилась не на шутку, чтобы довести дело до конца; и поистине оно должно было оказаться отменно выгодным, чтобы вознаградить ее!

— Итак, все ваши приготовления почти закончены, не правда ли, дорогой мой Домби? — спросила Клеопатра, когда был подан десерт и седовласый дворецкий удалился. — Даже юридическая сторона!

— Да, сударыня, — ответил мистер Домби, — брачный контракт, как уведомляют юристы, уже готов, и, как я сообщал вам, Эдит, остается только назначить день для подписания.

Эдит сидела подобно прекрасной статуе: такая же холодная, немая и неподвижная.

— Милая моя, — сказала Клеопатра, — ты слышишь, что говорит мистер Домби? Ах, дорогой мой Домби! — понизив голос, обратилась она к этому джентльмену. — Как напоминает мне ее рассеянность, все возрастающая по мере приближения срока, те дни, когда редчайший из людей, ее милый папа, находился в таком же положении, как и вы!

— Я не стану назначать. Пусть будет тогда, когда вы пожелаете. — сказала Эдит, едва взглянув через стол на мистера Домби.

— Завтра? — предложил мистер Домби.

— Как вам угодно.

— Или послезавтра, если это более соответствует вашим планам? — продолжал мистер Домби.

— У меня нет никаких планов. Я всегда в вашем распоряжении. Назначьте какой угодно день.

— Никаких планов, дорогая моя Эдит? — вмешалась мать. — Да ведь ты с утра до ночи занята, и у тебя тысяча и одно дело со всевозможными поставщиками!

— Об этом позаботились вы, — возразила Эдит, повернувшись к ней и слегка сдвинув брови. — Вы с мистером Домби можете договориться между собой.

— Совершенно верно, милочка, и очень благоразумно с твоей стороны! — воскликнула Клеопатра. — Дорогая моя Флоренс, право же, вы должны подойти и еще раз поцеловать меня, моя милая!

Странное совпадение: этот интерес к Флоренс овладевал Клеопатрой чуть не после каждого

диалога, в котором Эдит принимала хоть какое-нибудь участие! Бесспорно, Флоренс никогда не приходилось выносить столько объятий, и, быть может, никогда за всю свою жизнь не бывала она столь полезна.

В глубине души мистер Домби был далек от того, чтобы возмущаться поведением своей прекрасной невесты. У него были веские основания симпатизировать ее высокомерию и холодности, ибо он разделял эти чувства. Ему лестно было думать, что Эдит поступалась своею гордостью ради него и, казалось, признавала только его волю. Ему лестно было представлять себе, как эта гордая и величественная женщина принимает гостей у него в доме и замораживает их, подражая его же манере. Да, в таких руках достоинство Домби и Сына будет возвеличено и упрочено.

Так думал мистер Домби, когда остался один за обеденным столом и размышлял о прошлом своем и будущем, не чувствуя, сколь противоречат его мыслям убожество и мрачность комнаты, и темно-коричневая ее окраска, и картины, пятнавшие стены подобно мемориальным доскам, и двадцать четыре черных стула, украшенные гвоздями в таком же количестве, напоминающие столько же гробов и ожидающие на краю турецкого ковра подобно наемным участникам похоронной процессии, и два истощенных негра, поддерживающие два ветхих канделябра на буфете, и пропитывающий комнату затхлый запах, словно прах десяти тысяч обедов был погребен в саркофаге под полом. Владелец дома жил большей частью за границей; воздух Англии редко приходился по вкусу члену семейства Финиксов; и комната, в память о нем, облекалась все в более и более глубокий траур и в конце концов приняла столь похоронный вид, что для полной иллюзии не хватало только покойника.

Недурным подобием покойника, если не по своей позе, то по негнувшейся спине, был в данный момент мистер Домби, глядевший в холодные глубины Мертвого моря из красного дерева, где стояли на якоре блюда с фруктами и графины; казалось, предметы его размышлений всплывали один за другим на поверхность и снова погружались на дно. Здесь была Эдит с величественным своим лицом и величественной осанкой; и рядом с ней — Флоренс, робко обратившая к нему лицо, как было оно обращено в тот момент, когда она выходила из комнаты; глаза Эдит устремлены на нее, а рука Эдит покровительственно простерта. Маленькая фигурка в низеньком креслице возникла затем в лучах света и взирала на него с недоумением, а блестящие ее глаза и старчески-детское лицо светилось словно в мерцающем вечернем пламени камина. Снова появилась Флоренс подле этой фигуры и проглотила все его внимание. Что увидел он в ней — роковую препону и обманутую надежду, или соперницу, которая однажды преградила ему дорогу и могла преградить еще раз, или свое дитя, о котором теперь, в пору успешного сватовства, быть может, удостоит он подумать, ибо в такое время она отказывается мириться со своим положением отвергнутой, или, наконец, напоминание о том, что теперь, когда у него возникли новые связи, он должен соблюдать, хотя бы внешне, интерес к человеку, родному по крови, — об этом ему было лучше знать. В сущности, ему это было неясно; ибо брачная церемония, алтарь и честолюбивые замыслы, кое-где омраченные все тою же Флоренс, — неизменно Флоренс! — мелькали так быстро и так беспорядочно, что он встал и, спасаясь от них, поднялся наверх.

До позднего часа не вносили свечей, потому что миссис Скьютон жаловалась, что они вызывают у нее головную боль; все это время Флоренс и миссис Скьютон беседовали (Клеопатра весьма заботилась о том, чтобы не отпускать ее от себя), и Флоренс тихонько играла на фортепьяно для услаждения миссис Скьютон, причем эта любезная леди по временам чувствовала потребность в новых поцелуях, что бывало всякий раз после того, как Эдит случалось проронить слово. Впрочем, их было немного, так как Эдит все время сидела в стороне, у открытого окна (несмотря на опасения матери, как бы она не простудилась), и не уходила, пока мистер Домби не откланялся. При этом он был невозмутимо снисходителен к Флоренс; и Флоренс ушла спать в комнату, смежную со спальней Эдит, ушла такой счастливой и полной надежд, что о себе в прошлом она думала словно о какой-то посторонней, бедной, покинутой девочке, которой должно посочувствовать в ее несчастье, и, сочувствуя ей, она заснула в слезах.

Неделя летела быстро. Ездили к модисткам, портнихам, ювелирам, юристам, кондитерам, в цветочные магазины; и во всех этих поездках Флоренс принимала участие. Флоренс должна была присутствовать на свадьбе.

По этому случаю Флоренс должна была снять траур и надеть великолепный наряд. Планы модистки касательно этого наряда — модистка была француженкой и весьма походила на миссис Скью-

ютон — были столь целомудрены и изящны, что миссис Скьютон заказала такой же наряд для себя. Модистка заявила, что на ней он будет восхитителен и решительно все примут ее за сестру молодой леди.

Неделя летела все быстрее. Эдит ни на что не смотрела и ничем не интересовалась. Ей доставляли домой роскошные платья, их примеряли, ими громко восхищались миссис Скьютон и модистки, и их прятали, не дождавшись от нее ни слова. Миссис Скьютон строила планы на каждый день и приводила их в исполнение. Случалось, что Эдит оставалась в экипаже, когда они отправлялись за покупками; иногда, если была крайняя необходимость, она заходила в магазины. Но как бы то ни было, миссис Скьютон распоряжалась всем; а Эдит взирала на это с таким безучастием и с таким нескрываемым равнодушием, словно ни к чему не имела ни малейшего отношения. Пожалуй, Флоренс могла бы заподозрить ее в высокомерии и сухости, но такой она никогда не была по отношению к ней. Свое недоумение Флоренс заглушала благодарностью и вскоре поборола его.

Неделя летела все быстрее. Она летела едва ли не на крыльях. Настал последний вечер недели, вечер перед свадьбой. В темной комнате — ибо миссис Скьютон все еще страдала от головной боли, хотя и надеялась навсегда избавиться от нее завтра, — находились эта леди, Эдит и мистер Домби. Эдит снова сидела у открытого окна, глядя на улицу; мистер Домби и Клеопатра, на диване, беседовали вполголоса. Было уже поздно. Флоренс, утомленная, ушла спать.

— Дорогой мой Домби, — сказала Клеопатра, — завтра, когда вы отнимите у меня милую мою Эдит, не оставите ли вы мне Флоренс?

Мистер Домби сказал, что сделает это с удовольствием.

— Видеть ее здесь, рядом со мной, когда вы оба уедете в Париж, и знать, что я способствую, дорогой мой Домби, образованию ее ума в этом возрасте, — продолжала Клеопатра, — будет для меня поистине бальзамом в том расстроенном состоянии, в каком я буду находиться.

Эдит внезапно обернулась. Ее равнодушие в одну секунду уступило место жгучему интересу, и, невидимая в темноте, она внимательно прислушивалась к разговору.

Мистер Домби с величайшим удовольствием оставит Флоренс в таких прекрасных руках.

— Дорогой мой Домби, — отвечала Клеопатра, — тысяча благодарностей за ваше доброе мнение. Я боялась, что вы уезжаете с коварным, заранее обдуманном намерением, как говорят противные юристы — эти ужасные люди! — обречь меня на полное одиночество.

— Почему вы так несправедливы ко мне, сударыня? — спросил мистер Домби.

— Потому что моя прелестная Флоренс так твердо заявила мне, что завтра должна вернуться домой, — ответила Клеопатра, — вот я и начала опасаться, дорогой мой Домби, что вы настоящий турецкий паша.

— Уверю вас, сударыня, — возразил мистер Домби, — что я не отдавал никаких приказаний Флоренс, а если бы и отдал, то ваше желание выше всех приказаний.

— Дорогой мой Домби, — отозвалась Клеопатра, — какой вы галантный кавалер! Впрочем, этого я не могу сказать, ибо у кавалеров нет сердца, а о вашем сердце свидетельствуют ваша прекрасная жизнь и натура... Как, неужели вы так рано уходите, дорогой мой Домби?

О, право же, час был поздний, и мистер Домби полагал, что ему пора уходить.

— Наяву ли это все или во сне? — сюсюкала Клеопатра. — Могу ли поверить, дорогой мой Домби, что завтра утром вы вернетесь, чтобы лишить меня моей милой подруги, моей родной Эдит?

Мистер Домби, который привык понимать слова буквально, напомнил миссис Скьютон, что они должны встретиться сначала в церкви.

— Боль, которую испытываешь, — сказала миссис Скьютон, — отдавая свое дитя хотя бы даже вам, дорогой мой Домби, — самая мучительная, какую только можно вообразить; а если она сочетается с хрупким здоровьем и если к этому прибавить чрезвычайную тупость кондитера, ведающего устройством завтрака, — это уже не по моим слабым силам. Но завтра утром я воспряну духом, дорогой мой Домби; не бойтесь за меня и не тревожьтесь. Да благословит вас бог! Эдит, дорогая моя! — лукаво воскликнула она. — Кто-то уходит, милочка!

Эдит, которая снова отвернулась было к окну и больше не интересовалась их разговором, встала, но не сделала ни шагу навстречу мистеру Домби и не сказала ни слова. Мистер Домби с высокомерной галантностью, приличествующей его достоинству и данному моменту, направился к ней, поднес ее руку к губам, сказал:

— Завтра утром я буду иметь счастье предъявить права на эту руку, как на руку миссис Домби, — и с торжественным поклоном вышел.

Как только захлопнулась за ним парадная дверь, миссис Скьютон позвонила, чтобы принесли свечи. Вместе со свечами появилась ее горничная с девичьим нарядом, который завтра должен был ввести всех в заблуждение. Но этот наряд нес с собою жестокое возмездие, как всегда бывает с такими нарядами, и делая ее бесконечно более старой и отвратительной, чем казалась она в своем засаленном фланелевом капоте. Тем не менее миссис Скьютон примерила его с кокетливым удовлетворением; усмехнулась своему мертвенному отражению в зеркале при мысли о том, какое ошеломляющее впечатление произведет он на майора, и, разрешив горничной унести его и приготовить ее ко сну, рассыпалась, словно карточный домик.

Эдит все время сидела у темного окна и смотрела на улицу. Оставшись, наконец, наедине с матерью, она в первый раз за весь вечер отошла от окна и остановилась перед ней. Зевающая, трясущаяся, брюзжащая мать подняла глаза на горделивую стройную фигуру дочери, устремившей на нее горящий взгляд, и видно было, что она все понимает: этого не могла скрыть личина легкомыслия или раздражения.

— Я смертельно устала, — сказала она. — На тебя ни на секунду нельзя положиться. Ты хуже ребенка. Ребенка! Ни один ребенок не бывает таким упрямым и непослушным.

— Выслушайте меня, мама, — отозвалась Эдит, не отвечая на эти слова, презрительно отказываясь снизойти к таким пустякам. — Вы должны остаться здесь одна до моего возвращения.

— Должна остаться здесь одна, Эдит? До твоего возвращения? — переспросила мать.

— Или клянусь именем того, кого я завтра призову свидетелем моего лживого и позорного поступка, что я отвергну в церкви руку этого человека. Если я этого не сделаю, пусть паду я мертвой на каменные плиты!

Мать бросила на нее взгляд, выразивший сильную тревогу, которая отнюдь не уменьшилась под влиянием ответного взгляда.

— Достаточно того, что мы — таковы, каковы мы есть, — твердо произнесла Эдит. — Я не допущу, чтобы юное и правдивое существо было низведено до моего уровня. Я не допущу, чтобы невинную душу подтачивали, развращали и ломали для забавы скучающих матерей. Вы понимаете, о чем я говорю: Флоренс должна вернуться домой.

— Ты идиотка, Эдит! — рассердившись, вскричала мать. — Неужели ты думаешь, что в этом доме тебе будет спокойно, пока она не выйдет замуж и не уедет?

— Спросите меня или спросите себя, рассчитываю ли я на покой в этом доме, и вы узнаете ответ, — сказала дочь.

— Неужели сегодня, после всех моих трудов и забот, когда благодаря мне ты станешь независимой, я должна выслушивать, что во мне — разврат и зараза, что я — неподобающее общество для молодой девушки? — завизжала взбешенная мать, и трясущаяся ее голова задрожала как лист. — Да что же ты такое, скажи, сделай милость? Что ты такое?

— Я не раз задавала себе этот вопрос, когда сидела вон там, — сказала Эдит, мертвенно бледная, указывая на окно, — а по улице бродило какое-то увядшее подобие женщины. И богу известно, что я получила ответ! Ах, мама, если бы вы только предоставили меня моим природным наклонностям, когда и я была девушкой — моложе Флоренс, — я, быть может, была бы совсем другой!

Понимая, что гнев сейчас бесполезен, мать сдержалась и начала хныкать и сетовать на то, что она зажила на свете и единственное ее дитя от нее отвернулось, что долг по отношению к родителям забыт в наше греховное время и что она выслушала чудовищные обвинения и больше не дорожит жизнью.

— Если приходится постоянно выносить такие сцены, — жаловалась она, — право же, мне следует поискать способ, как положить конец своему существованию. О, подумать только, что ты — моя дочь, Эдит, и разговариваешь со мной в таком тоне!

— Для нас с вами, мама, — грустно отозвалась Эдит, — время взаимных упреков миновало.

— В таком случае, зачем же ты к ним снова возвращаешься? — захныкала мать. — Тебе известно, что ты жестоко меня терзаешь, известно, как я чувствительна к обидам. Да еще в такую минуту, когда я о многом должна подумать и, естественно, хочу показаться в наивыгоднейшем свете! Удивляюсь тебе, Эдит: ты добиваешься, чтобы твоя мать была страшилищем в день твоей свадьбы!

Эдит устремила на нее все тот же пристальный взгляд, а мать всхлипывала и терла себе глаза. Затем Эдит произнесла тем же тихим, твердым голосом, которого не повышала и не понижала ни разу с тех пор, как начала разговор:

— Я сказала, что Флоренс должна вернуться домой.

— Пусть вернется! — быстро отозвалась огорченная и испуганная родительница. — Я не возражаю против того, чтобы она вернулась. Что мне эта девушка?

— Для меня она так много значит, что я не зароню сама и не допущу, чтобы другие заронили в ее душу хотя бы крупицу зла! Скорее я отрекись от вас, как отреклась бы от него завтра в церкви (если бы вы дали мне повод), — ответила Эдит. — Оставьте ее в покое. Пока я в силах этому препятствовать, ее не будут грязнить и развращать теми уроками, какие усвоила я. Это совсем не тяжелое условие в такой печальный вечер.

— Быть может, и не тяжелое. Весьма возможно, если бы только ты обращалась со мной, как подобает дочери, — захныкала мать. — Но такие язвительные слова...

— Они остались в прошлом, и больше их не будет, — сказала Эдит. — Идите своей дорогой, мама. Пользуйтесь, как вам вздумается, тем, чего вы добились; швыряйте деньги, радуйтесь, веселитесь и будьте счастливы по-своему. Цель нашей жизни достигнута. Отныне будем доживать ее молча. С этого часа я не пророню ни слова о прошлом. Я вам прощаю ваше участие в завтрашней позорной сделке. Да простит мне бог мое участие!

Голос ее не дрогнул, стан не дрогнул, и, двинувшись твердой поступью, словно попирая ногами все возвышенные чувства, она пожелала матери спокойной ночи и удалилась в свою комнату.

Но не на покой. Ибо не было покоя для нее, когда она осталась одна, в смятении. Взад и вперед ходила она, и снова взад и вперед, сотни раз, среди великолепных принадлежностей туалета, приготовленного на завтра; темные волосы распустились, в темных глазах сверкало бешенство, полная белая грудь покраснела от жестокого прикосновения безжалостной руки, словно раздирающей эту грудь. Так она шагала из угла в угол, повернув голову в сторону, словно стараясь не видеть своей собственной красоты и отторгнуть себя от нее. Так в глухой час ночи перед свадьбой Эдит Грейнджер боролась со своим беспокойным духом, без слез, без жалоб, без друзей, молчаливая, гордая.

Наконец она случайно коснулась рукой открытой двери, которая вела в комнату, где спала Флоренс.

Она вздрогнула, остановилась и заглянула туда.

Там горел свет, и она увидела Флоренс, крепко спящую, в расцвете невинности и красоты. Элит затаила дыхание и почувствовала, что ее влечет к ней.

Влечет ближе, ближе, еще ближе. Наконец она подошла так близко, что, наклонившись, прижалась губами к нежной ручке, свесившейся с кровати, и осторожно обвила ею свою шею. Это прикосновение было подобно прикосновению жезла пророка к скале в былые времена. Слезы брызнули у нее из глаз, она упала на колени и опустила измученную голову и рассыпавшиеся волосы на подушку рядом с головою Флоренс.

Так провела Эдит Грейнджер ночь перед свадьбой. Так застало ее солнце утром в день свадьбы.

Глава XXXI

Свадьба

Рассвет с его бесстрастным, пустым ликом, дрожа, подкрадывается к церкви, под которою покоится прах маленького Поля и его матери, и заглядывает в окна. Холодно и темно. Ночь еще припадает к каменным плитам и хмурится, мрачная и тяжелая, в углах и закоулках здания. Часы на колокольне, вознесенные над домами, вынырнув из несметных волн в потоке времени, который набегают и разбивается о вечный берег, сереют подобно каменному маяку, стерегущему морской прилив; но поначалу рассвет может только украдкой заглянуть в церковь и убедиться, что ночь еще там.

Беспомощно скользя вокруг церкви и засматривая в окна, рассвет стонет и плачет о своем кратковременном владычестве, и слезы его струятся по оконному стеклу, а деревья у церковной ограды, сострадавая ему, склоняют головы и ломают бесчисленные свои руки. Ночь, бледнея перед рассветом, незаметно покидает церковь, но медлит в склепах и опускается на гробы. И вот приходит

день, придавая блеск часам на колокольне, окрашивая шпиц в красный цвет, осушая слезы рассвета и заглушая его сетованья; а утраченный рассвет, следуя за ночью и вытесняя ее из последнего ее убежища, сам забивается в склепы и испуганно прячется среди мертвецов, пока не вернется отдохнувшая ночь и не прогонит его оттуда.

Мыши, которые занимались молитвенниками усерднее, чем их владельцы, и маленькими зубками нанесли подушкам больший ущерб, чем люди — коленями, прячут свои блестящие глаза в норках и в страхе жмутся друг к другу, когда с гулом отворяется церковная дверь. Ибо в то утро бидл, человек, облеченный властью, приходит рано вместе с пономарем; и миссис Миф, маленькая прислужница, страдающая одышкой, усохшая старая леди, бедно одетая и не нагулявшая ни на дюйм жира, тоже здесь; она ждала бидла около получаса у церковных ворот, как и полагается ей по ее положению.

Кислая физиономия у миссис Миф, увядший чепец и вдобавок душа, жаждущая шестипенсовиков и шиллингов. Привычка заманивать на скамьи случайных посетителей придает миссис Миф таинственный вид, а во взгляде ее есть какая-то скрытность, словно ей ведомо местечко более удобное, но она не уверена в получении мзды. Нет такого человека, который бы именовался мистером Мифом, вот уже двадцать лет как нет его, и миссис Миф предпочитает, чтобы о нем не упоминали! Кажется, он плохо отзывался о бесплатных местах, и хотя миссис Миф надеется, что он попал в рай, однако не берется это утверждать.

Сегодня утром миссис Миф очень суетится у церковных дверей, выколачивая и вытряхивая на престольную пелену, ковер и подушки; и многое может порассказать миссис Миф о предстоящей свадьбе. Миссис Миф говорили, будто новая обстановка и ремонт дома стоили никак не меньше пяти тысяч фунтов, и миссис Миф слыхала от надежнейших людей, что у леди нет и шести пенсов за душой. Далее миссис Миф помнит хорошо, словно это случилось вчера, похороны первой жены, и затем крестины, и затем снова похороны; и миссис Миф замечает, что, мол, кстати нужно вымыть мылом эту табличку до прибытия свадебного поезда. Мистер Саундс, бидл, который, греясь на солнце, сидит все это время на ступенях церкви (и редко делает он что-нибудь другое, разве что в холодную погоду присаживается к камину), одобряет речи миссис Миф и осведомляется, слыхала ли миссис Миф о том, что леди отличается изумительной красотой. Так как миссис Миф получила такие же сведения, мистер Саундс, бидл, человек, хотя и ортодоксальный и дородный, но все еще почитатель женской красоты, замечает слащаво: «Да, она хоть куда!», каковое определение могло бы показаться миссис Миф чересчур энергическим, если бы его изрек не мистер Саундс, бидл, а кто-нибудь другой.

Тем временем в доме мистера Домби — великое волнение и суматоха, главным образом среди женщин, из коих ни одна не смыкала глаз с четырех часов утра, и все были одеты к шести. Мистер Таулинсон удостаивается больше, чем когда-либо, внимания горничной, а за завтраком кухарка говорит, что за одной свадьбой последуют еще несколько, чему горничная отказывается верить, полагая, что это неправда. Мистер Таулинсон не высказывает своего мнения по этому вопросу, будучи несколько огорчен появлением иностранца с бакенбардами (сам мистер Таулинсон не носит бакенбардов), которого наняли сопровождать счастливую чету в Париж и который занят сейчас размещением вещей в новой карете. Касательно этой особы мистер Таулинсон заявляет, что никогда еще не видывал добра от иностранцев, и, будучи обвинен всеми леди в приверженности к предрассудкам, говорит: «Посмотрите на Бонапарта, который ими командовал, и вспомните, из-за чего только он не дрался!» После сего горничная заявляет, что это истинная правда.

Кондитер усердно работает в мрачной комнате на Брук-стрит, а очень рослые молодые люди прилежно смотрят на него. От одного из рослых молодых людей уже пахнет хересом, и глаза его обнаруживают склонность останавливаться и взирать на предмет, не видя его. Рослый молодой человек сознает свою слабость и сообщает товарищу, что это происходит от «упражнения». Рослый молодой человек хотел сказать — от возбуждения, но речь его туманна.

Люди, звонящие в колокольчики, пронюхали о свадьбе; также и оркестр мясников и духовой оркестр. Первые упражняются на задворках около Бэтл-Бридж; мясники через своего начальника завязывают сношения с мистером Таулинсоном, с которым уславливаются о цене, предлагая ему откупиться от них; а духовой оркестр, в лице искусного тромбона, прячется за углом, подстерегая какого-нибудь предателя-торговца, чтобы выведать у него за взятку место и час завтрака. Нетерпение и возбуждение распространяются еще дальше и захватывают все более широкие круги. Из Болс-Понд

мистер Перч доставляет миссис Перч провести денек со слугами мистера Домби и вместе с ними поглазеть украдкой на свадьбу. В квартире мистера Тутса мистер Тутс наряжается так, будто он по меньшей мере жених: он намерен созерцать церемонию во всем ее великолепии из укромного уголка галереи и провести туда Петуха. Ибо мистер Тутс принял отчаянное решение показать Петуху Флоренс и заявить откровенно: «Ну, Петух, больше я не хочу вас обманывать! Друг, о котором я не раз вам говорил, это я сам. Мисс Домби — предмет моей страсти. Каково мнение, Петух, при таком положении дел и что вы мне теперь посоветуете? Тем временем в кухне мистера Тутса Петух, которого ждет такой сюрприз, погружает свой клюв в кружку крепкого пива и склеывает двухфунтовый бифштекс. На площади Принцессы мисс Токс проснулась и хлопчет: она тоже, несмотря на глубокую свою скорбь, решила сунуть шиллинг в руку миссис Миф и из какого-нибудь укромного уголка посмотреть на церемонию, в которой есть для нее жестокое очарование. Во владениях Деревянного Мичмана — оживление: капитан Катль в своих парадных сапогах и рубашке с огромным воротничком сидит за завтраком, слушая, как по его приказу Роб Точильщик читает ему свадебную службу, чтобы капитан мог хорошенько уразуметь суть торжества, на котором собирается присутствовать; с этой целью капитан время от времени степенно предписывает своему капеллану „изменить курс“, „отмахать этот параграф еще раз“ или держаться своих прямых обязанностей, а амины оставить ему, капитану. И аминь он провозглашает звучно и с удовлетворением, как только Роб Точильщик делает паузу.

В дополнение ко всему этому двадцать няnek на одной только улице мистера Домби обещали показать свадьбу двадцати выводкам маленьких женщин, чей инстинктивный интерес к брачной церемонии пробуждается еще в колыбели. Право же, у мистера Саундса, бидла, есть основание чувствовать себя исполняющим служебный долг, когда он сидит на церковных ступенях и греет свою дородную фигуру на солнце в ожидании часа, назначенного для церемонии. Право же, миссис Миф не без причины набрасывается на злополучную девочку-карлицу с младенцем-великаном, заглядывающую с паперти в церковь, и прогоняет ее с негодованием.

Кузен Финикс приехал из-за границы со специальной целью присутствовать при бракосочетании. Сорок лет назад кузен Финикс был великосветским повесой; но, судя по фигуре и обхождению, он все еще так моложав и так подтянут, что люди, мало его знающие, изумляются, когда обнаруживают предательские морщины на лице его лордства и гусиные лапки у глаз и впервые замечают, что, проходя по комнате, он несколько уклоняется в сторону от прямой линии, ведущей к цели. Но кузен Финикс, встающий примерно в половине восьмого утра, совсем не похож на кузена Финикса, уже вставшего; и вид у него действительно очень неважный, пока его бредут в отеле Лонга на Бонд-стрит.

Мистер Домби выходит из своей уборной, вызывая суматоху среди женщин на лестнице; громко шурша юбками, они разбегаются в разные стороны — все, кроме миссис Перч, которая, будучи в интересном положении (впрочем, в нем она пребывает всегда), не отличается проворством и принуждена встретиться с ним и, делая реверанс, готова провалиться сквозь землю от смущения, — небо да отвратит все дурные последствия от дома Перчей! Мистер Домби отправляется в гостиную ждать назначенного часа. Великолепен новый синий фрак мистера Домби, светло-коричневые панталоны и сиреневый жилет; и в доме ходит слух, что волосы у мистера Домби тщательно завиты.

Двойной стук в дверь возвещает о прибытии майора, который великолепен: в петлице у него целый куст герани, а волосы завиты круто и туго, как умеет это делать туземец.

— Домби, — говорит майор, протягивая обе руки, — как поживаете?

— А как вы поживаете, майор? — говорит мистер Домби.

— Клянусь, сэр, — говорит майор, — Джой Б. чувствует себя сегодня так, — и тут он с силой ударяет себя в грудь, — чувствует себя сегодня так, сэр, что, черт возьми, Домби, он не прочь устроить двойную свадьбу и жениться на матери!

Мистер Домби улыбается, но даже для него эта улыбка бледна, ибо мистер Домби собирается породниться с матерью, а при таких обстоятельствах подшучивать над ней не следует.

— Домби, — говорит майор, заметив это, — желаю вам счастья! Поздравляю вас, Домби! Ей-богу, сэр, в такой день вам можно позавидовать больше, чем кому бы то ни было в Англии!

И снова мистер Домби соглашается сдержанно, потому что он собирается оказать великую честь леди, и несомненно ей можно позавидовать больше, чем кому бы то ни было.

— Что касается Эдит Грейнджер, сэр, — продолжает майор, — то во всей Европе не найдется

женщины, которая бы не согласилась и не пожелала — разрешите майору Бегстоку, сэр, добавить — и не пожелала отрезать себе уши, и с серьгами в придачу, чтобы занять место Эдит Грейнджер.

— Вы очень любезны, майор, — говорит мистер Домби.

— Домби, — возражает майор, — вы это знаете! Давайте обойдемся без ложной скромности. Вы это знаете! Знаете вы это или не знаете, Домби? — говорит майор чуть ли не с гневом.

— О, право, майор...

— Проклятье, сэр! — перебивает майор. — Известен вам этот факт или не известен? Домби! Друг ли вам старый Джо? Находимся ли мы, Домби, в тех простых, близких отношениях, какие позволяют человеку — прямому, старому Джозефу Б., сэр, — говорить откровенно? Или же я должен отступить, Домби, держаться на расстоянии и соблюдать условности?

— Дорогой майор Бегсток, — с удовлетворенным видом говорит мистер Домби, — вы даже разгорячились.

— Клянусь, сэр, — говорит майор, — я разгорячился! Джозеф Б. не отрицает этого, Домби. Он разгорячен! Такой день, как сегодня, сэр, пробуждает все благородные чувства, какие еще сохранились в старой, гнусной, потертой, поношенной, жалкой оболочке Дж. Б. И вот что я вам скажу, Домби: в такой момент человек должен выложить все, что у него на душе, или пусть наденут ему намордник. И Джозеф Бегсток говорит вам в лицо, Домби, то же, что говорит он за вашей спиной у себя в клубе: на него не надеть намордника, если речь идет о Поле Домби. Черт возьми, сэр, — заключает майор с большою твердостью, — что же вы на это скажете?

— Майор, — отвечает мистер Домби, — уверяю вас, я вам крайне признателен. У меня не было намерения ставить преграды вашему слишком пристрастному расположению ко мне.

— Отнюдь не слишком пристрастному, сэр! — восклицает холерический майор. — Домби, я это отрицаю!

— В таком случае — вашему расположению ко мне, — продолжает мистер Домби. — И в такой момент, как этот я не могу забыть, чем я ему обязан.

— Домби, — говорит майор, делая соответствующий жест, — вот рука Джозефа Бегстока, простого, старого Джоя Б., сэр, если это вам больше по вкусу! Вот рука, о которой его королевское высочество, покойный герцог Йоркский, соизволил сказать, сэр, обращаясь к его королевскому высочеству, герцогу Кентскому, что это рука Джоша, грубого, непреклонного и, быть может, смышленного старого бродяги. Домби, пусть этот день будет счастливейшим в вашей жизни! Да благословит вас бог!

Входит мистер Каркер, тоже великолепный и улыбающийся, — настоящий свадебный гость. Он едва решается выпустить руку мистера Домби — так горячи его поздравления; и в то же время он так сердечно трясет руку майора, что вздрагивание его рук передается также и его голосу, который плавно струился сквозь зубы.

— Даже погода благоприятствует, — говорит мистер Каркер. — Удивительно солнечный и теплый день! Надеюсь, я не опоздал?

— Минута в минуту, сэр, — говорит майор.

— Я в восторге, — говорит мистер Каркер. — Я боялся, как бы на несколько секунд не опоздать к назначенному часу, потому что меня задержала вереница повозок. И я осмелился заехать на Брук-стрит, — эти слова были обращены к мистеру Домби, — чтобы оставить несколько редких цветов для миссис Домби. Человек в моем положении, удостоенный чести быть приглашенным сюда, гордится возможностью принести дань уважения в знак своей вассальной зависимости. И так как миссис Домби несомненно засыпана драгоценными и прекрасными вещами, — тут он бросает странный взгляд на своего патрона, — я льщу себя надеждой, что мое приношение будет принято благосклонно именно благодаря тому, что оно столь скромно.

— Я уверен, — снисходительно отвечает мистер Домби, — что будущая миссис Домби оценит ваше внимание, Каркер.

— А если ей предстоит стать миссис Домби, сэр, сегодня утром, — говорит майор, поставив на стол свою кофейную чашку и взглянув на часы, — нам давно пора ехать!

И мистер Домби, майор Бегсток и мистер Каркер в ландо едут в церковь. Мистер Саундс, бидл, давно уже поднялся со ступеней и стоит с треуголкой в руке. Миссис Миф приседает и предлагает подождать в ризнице. Мистер Домби предпочитает остаться в церкви. Когда он бросает взгляд на

орган, мисс Токс на галерее прячется за пухлую ногу херувима, украшающего памятник и раздувшего щеки, как юный бог ветра. Капитан Катль, наоборот, встает и машет крючком в знак приветствия и поощрения. Мистер Тутс, прикрывая рот рукой, сообщает Петуху, что джентльмен, стоящий посередине, тот, что в светло-коричневых панталонах, — отец его дамы сердца. Петух хрипло шепчет мистеру Тутсу, что он никогда еще не видывал такого накрахмаленного парня, но что с помощью науки он может согнуть его вдвое, одним ударом в жилет.

Мистер Саундс и миссис Миф, стоя неподалеку, созерцают мистера Домби, но вот раздается стук подъезжающего экипажа, и мистер Саундс выходит, а миссис Миф, встретив взгляд мистера Домби, оторвавшийся от самонадеянного маньяка наверху, который приветствует его с такой учтивостью, — миссис Миф приседает и сообщает ему, что, кажется, приехала его «добрая леди». Затем слышатся шаги и шепот в дверях, и добрая леди входит горделивой поступью.

Страдания прошлой ночи не оставили на ее лице ни малейшего следа; в ней нет ничего от той женщины, которая, преклонив колени, опустила пылающую голову на подушку спящей девушки (эта девушка, кроткая и прелестная, находится тут же рядом — разительный контраст с нею самой, полной пренебрежения и гордыни). Вот она стоит здесь, спокойная, статная, непостижимая, сверкающая и величественная в расцвете красоты и, однако, презирающая и попирающая то восхищение, какое она внушает.

Наступает пауза, мистер Саундс идет неслышно в ризницу за священником и клерком. Тогда миссис Скьютон обращается к мистеру Домби, выражаясь более отчетливо и вразумительно чем ей свойственно, и в то же время придвигаясь ближе к Эдит.

— Дорогой мой Домби, — говорит добрая мамаша, — боюсь, что мне все-таки придется расстаться с милой Флоренс и согласиться, чтобы она вернулась домой, как она и предполагала. После той утраты, какая ждет меня сегодня, мой дорогой Домби, я чувствую, что у меня не хватит бодрости даже для нее.

— Не лучше ли ей остаться с вами? — возражает жених.

— Не думаю, дорогой Домби. Нет, не думаю. Мне лучше побыть одной. К тому же моя милая Эдит будет по возвращении ее естественной и постоянной руководительницей, и, пожалуй, лучше мне не посягать на ее права. Она может почувствовать ревность. Не так ли, милая Эдит?

С этими словами нежная мамаша сжимает руку дочери — быть может, настойчиво желая привлечь ее внимание.

— Если говорить серьезно, мой дорогой Домби, — продолжает она, — я хочу отпустить нашу милую девочку и не заражать ее своим унынием. Мы только, что уладили это дело. Она прекрасно все понимает, дорогой Домби. Эдит, дорогая моя, она прекрасно понимает.

Снова добрая мать сжимает руку дочери. Мистер Домби воздерживается от возражений, ибо появляются священник и клерк, а миссис Миф и мистер Саундс, бидл, указывают присутствующим их места перед алтарем.

— Кто отдает эту женщину в жены этому мужчине?

Кузен Финикс. Он приехал из Баден-Бадена специально с этой целью. «Черт возьми! — говорит кузен Финикс, — добродушное создание, этот кузен Финикс. — Уж если мы заполучили в семью богача из Сити, надлежит оказать ему какое-то внимание; нужно хоть что-нибудь для него сделать».

— Я отдаю эту женщину в жены этому мужчине, — изрекает кузен Финикс.

Сначала кузен Финикс, вознамерившийся двигаться по прямой линии, но свернувший в сторону по вине своих непокорных ног, отдает в жены «этому мужчине» отнюдь не ту женщину, какую нужно, а именно — подружку, дальнюю родственницу семейства, довольно знатного происхождения и моложе миссис Скьютон на десять лет, но миссис Миф, в своем увядшем чепце, ловко поворачивает кузена Финикса и подкатывает его, словно на колесиках, прямо к «добрый леди», которую кузен Финикс и отдает в жены «этому мужчине».

И обещают ли они пред лицом неба...?

Да, они обещают: мистер Домби говорит, что он обещает. А что говорит Эдит? Она тоже обещает.

Итак, они клянутся отныне в счастье и несчастье, в богатстве и бедности, в болезни и здоровье

любить и лелеять друг друга, пока смерть их не разлучит. Брак заключен.

Твердым, четким почерком новобрачная записывает свою фамилию в книгу, когда они приходят в ризницу.

— Мало кто из леди пишет здесь свою фамилию так, как написала эта добрая леди, — говорит миссис Миф, приседая; взглянуть в такую минуту на миссис Миф — значит увидеть, как ныряет ее увядший чепец. Мистер Саундс, бидл, считает, что подпись хоть куда и достойна того, кто подписался, однако он хранит это мнение про себя.

Флоренс тоже расписывается, но не вызывает похвал, потому что рука у нее дрожит. Расписываются все; последним — кузен Финикс, который помещает свое благородное имя не туда, куда нужно, и вносит себя в список родившихся в это самое утро.

Затем майор очень галантно целует новобрачную, выполняет это правило военной тактики по отношению всем леди, несмотря на то, что миссис Скьютон чрезвычайно неподатлива и пронзительно взвизгивает в храме. Его примеру следуют кузен Финикс и даже мистер Домби. Наконец мистер Каркер, сверкая белыми зубам приближается к Эдит с таким видом, как будто собирается ее укусить, а не отведать сладость ее уст.

Румянец на гордом лице и загоревшиеся глаза, может, должны были остановить его, но не остановили, потому что он целует ее, как и все остальные, и желает ей всяческих благ.

— Если пожелания, — говорит он тихо, — не являются излишними при таком союзе.

— Благодарю вас, сэр, — отвечает она, презрительно скривив губы и тяжело дыша.

Но чувствует ли еще Эдит, как в тот вечер, когда мистер Домби должен был явиться и предложить ей союз, что Каркер прекрасно ее понимает и читает ее мысли, чувствует ли она, что это его знание унижает ее больше, чем чье бы то ни было иное? Не потому ли ее высокомерие тает перед его улыбкой, словно снег в крепко стиснутом кулаке, а ее повелительный взгляд избегает его взгляда и она опускает глаза?

— Я горжусь, — говорит мистер Каркер, раболепно склоняя голову, в то время как его глаза и зубы разоблачают фальшь этого раболепия, — я горжусь тем, что мое смиренное приношение удостоилось прикосновения руки миссис Домби и столь почетного места в этот радостный день.

Хотя она отвечает поклоном, но при этом делает мимолетное движение, как будто хочет смять цветы, которые держит в руке, и бросить их с презрением. Но она продевает руку под руку своего мужа, который стоит рядом, беседуя с майором, и снова она надменна, невозмутима и безмолвна.

Экипажи опять стоят у дверей церкви. Мистер Домби под руку с женой проходит мимо двадцати выводков маленьких женщин, которые расположились на ступенях, и каждая из них запоминает до мельчайших подробностей фасон и цвет ее платья и впоследствии воспроизводит его для своей куклы, вечно выходящей замуж. Клеопатра и кузен Финикс садятся в тот же экипаж. Майор подсаживает во второй экипаж Флоренс и подружку, которую чуть было не отдали по ошибке в жены, и затем садится сам, а за ним следует мистер Каркер. Лошади гарцуют и рвутся вперед; кучера и лакеи щеголяют развевающимися лентами, цветами и новыми ливреями. Они отъезжают и с грохотом мчатся по улицам; и когда они проносятся мимо, тысячи голов поворачиваются, чтобы взглянуть им вслед, и тысячи здравомыслящих моралистов, досадуя, что сегодня не их собственная свадьба, утешаются, размышляя, сколь мало думают эти люди о том, что такое счастье скоро кончается.

Когда наступает тишина, мисс Токс появляется из-за ноги херувима и медленно спускается с галереи. Глаза у мисс Токс красные, а носовой платок влажный. Она ранена, но не ожесточена, и она надеется, что они будут счастливы. Она признается себе самой, что новобрачная красива, а ее собственные прелести кажутся бледными и увядшими; но статная фигура мистера Домби в сиреновом жилете и светло-коричневых панталонах стоит у нее перед глазами, и мисс Токс снова плачет под своей вуалью, возвращаясь домой на площадь Принцессы. Капитан Катль набожно, хриплым голосом провозглашавший все аминь и ответы, чувствует, что религиозные упражнения пошли ему на пользу, и в умиротворенном расположении духа шествует по церкви с глянцевиной шляпой в руке и читает надпись на табличке маленького Поля. Галантный мистер Тутс в сопровождении Петуха покидает церковь, жестоко терзаемый любовью. Петух все еще не может придумать план завоевания Флоренс, но первоначальная его идея овладела им, и он считает, что правильный шаг в этом направлении — заставить мистера Домби согнуться вдвое. Слуги мистера Домби выходят из потайных уголков и намереваются мчаться на Брук-стрит, но их задерживают симптомы недомогания, обнару-

женные миссис Перч, которая умоляет дать ей стакан воды и внушает окружающим серьезные опасения; вскоре миссис Перч становится лучше, и ее уносят, а миссис Миф и мистер Саундс, бидл, усаживаются на ступени, чтобы подсчитать, что принесла им эта церемония, и потолковать о ней, покуда пономарь звонит в колокола, возвещая о похоронах.

Но вот экипажи подъезжают к резиденции новобрачной, и музыканты, услаждающие слух звоном колокольчиков, поднимают трезвон, и гремит оркестр, и мистер Перч, сей образец супружеского счастья, приветствует свою жену поцелуем. Народ валит гурьбой, и собирается толпа зевак, в то время как мистер Домби, ведя за руку миссис Домби, торжественно вступает в палаты Финиксов. Остальные гости выходят из экипажей и следуют за ним. Но почему мистер Каркер, пробиваясь сквозь толпу к парадной двери, думает о старухе, которая в то утро, в роще, кричала ему вслед? И почему Флоренс, входя в дом, с дрожью думает о том, как она заблудилась в детстве, и о лице Добрай миссис Браун?

Снова раздаются поздравления с этим счастливейшим днем, и прибывают новые гости, хотя их и немного; но вот они покидают гостиную и садятся за стол в мрачной коричневой столовой, которой ни один кондитер не в силах придать веселый вид, как бы ни украшал он истощенных негров цветами и причудливыми бантами.

Однако повар прекрасно справился со своим делом и сервировал великолепный завтрак. Мистер и миссис Чик присоединились к компании в числе прочих гостей. Миссис Чик в восторге от того, что Эдит от природы «настоящая Домби», и она беседует приветливо и конфиденциально с миссис Скьютон; с души последней скатилось тяжкое бремя, и она пьет шампанское. Очень рослый молодой человек, страдавший с утра от возбуждения, чувствует себя лучше; но им овладело смутное раскаяние; он ненавидит другого очень рослого молодого человека, насильно вырывает у него блюда и испытывает мрачное наслаждение, досажая гостям. Гости хладнокровны и невозмутимы и не оскорбляются чрезмерным оживлением черные гербы на портретах, взирающих со стен. Дузен Финикс и майор — самые веселые в этом обществе, но у мистера Каркера находятся улыбки для всех сидящих за столом. Он приберегает особую улыбку для новобрачной, которая редко, очень редко ее замечает.

Когда завтрак окончен и слуги выходят из комнаты, кузен Финикс встает; удивительно молодой у него вид, когда белые манжеты почти целиком закрывают ему кисти рук (они довольно костлявые), а щеки разругались от шампанского.

— Клянусь честью, — говорит кузен Финикс, — хотя это и не принято в доме свободного от общественных обязанностей джентльмена, однако я прошу у вас разрешения провозгласить то, что обычно называют э... собственно говоря... тостом.

Майор очень хрипло выражает свое одобрение. Мистер Каркер, перегнувшись через стол к кузену Финиксу, улыбается и кивает множество раз.

— Э... собственно говоря, это не э... Кузен Финикс после такого вступления безнадежно умолкает.

— Слушайте, слушайте! — говорит майор внушительным тоном.

Мистер Каркер тихонько хлопает в ладоши и, снова перегнувшись через стол, улыбается и кивает еще более энергично, чем раньше, словно его особенно поразило это последнее замечание и он желает выразить, какую пользу оно ему принесло.

— Это такое событие, — говорит кузен Финикс, — когда, собственно говоря, можно, не нарушая приличий, слегка отступить от обычаев повседневной жизни. И хотя я никогда не был оратором и, когда был в палате общин и имел честь поддерживать предложение, я, собственно говоря, слег на две недели, огорченный неудачей...

Майор и мистер Каркер в таком восторге от этого биографического штриха, что кузен Финикс смеется и, обращаясь непосредственно к ним, продолжает:

— Собственно говоря, тогда я был чертовски болен... все-таки, знаете ли, я чувствую, что на мне лежит долг. А когда на англичанине лежит долг, он, по моему мнению, обязан исполнить его как можно лучше. Итак, сегодня наша семья имела удовольствие соединиться в лице моей прелестной и безупречной родственницы, собственно говоря, здесь присутствующей...

Тут раздаются аплодисменты.

— Присутствующей, — повторяет кузен Финикс, чувствуя, что это изящное выражение заслу-

живает быть повторенным, — с тем, кто... то есть с человеком, на которого перст презрения никогда не может... собственно говоря, с моим почтенным другом Домби, если он мне разрешит называть его так.

Кузен Финикс кланяется мистеру Домби; мистер Домби торжественно отвечает поклоном; все более или менее удовлетворены и растроганы этим прочувствованным обращением — обращением необычайным, а быть может, и беспримерным.

— У меня не было столь желательной возможности, — продолжает кузен Финикс, — ближе познакомиться с моим другом Домби и изучить те качества, которые делают честь как его уму, так, собственно говоря, и сердцу; ибо я имел несчастье находиться, — как мы, бывало, говорили в мое время в палате общин, когда не принято было ссылаться на палату лордов и когда порядок парламентских заседаний соблюдался, быть может, лучше, чем соблюдается теперь, — имел несчастье находиться, — продолжает кузен Финикс, помедлив с большим лукавством, чтобы выпалить затем свою шутку, — собственно говоря, совсем в другом месте⁸⁸!

С майором делаются судороги от смеха, и он с трудом приходит в себя.

— Но я достаточно знаю моего друга Домби, — продолжает кузен Финикс более серьезным тоном, как будто он вдруг стал и солиднее и мудрее, — чтобы знать, что, собственно говоря, он является тем, кого можно выразительно называть э... купцом... британским купцом... и э... и человеком. И хотя я в течение многих лет проживал за границей (мне бы доставило большое удовольствие принять моего друга Домби и всех здесь присутствующих в Баден-Бадене и, воспользовавшись случаем, представить их великому герцогу), тем не менее — льщу себя надеждой — я достаточно знаю мою прелестную и безупречную родственницу, чтобы знать, что она обладает всеми данными, обеспечивающими счастье мужа, и что ее брак с моим другом Домби является браком по любви и взаимному расположению.

Многочисленные улыбки и кивки мистера Каркера.

— Посему, — говорит кузен Финикс, — я поздравляю семью, членом коей являюсь, с таким приобретением, как мой друг Домби. Я поздравляю моего друга Домби со вступлением в брак с моей прелестной и безупречной родственницей, обладающей всеми данными, какие обеспечивают счастье мужа, и беру на себя смелость предложить всем вам, собственно говоря, поздравить по случаю такого события и друга моего Домби и мою прелестную и безупречную родственницу.

Речь кузена Финикса встречена громкими аплодисментами, и мистер Домби выражает благодарность от имени своего и миссис Домби. Вскоре после этого Дж. Б. предлагает выпить за здоровье миссис Скьютон. После этого завтрак тянется как-то вяло, оскверненные гербы отомщены, и Эдит выходит, чтобы переодеться в дорожное платье.

Тем временем все слуги завтракали внизу. Шампанское уже не считается у них достойным упоминания, а на жареных кур, пироги и салат из омаров нет спроса. Очень рослый молодой человек воспрял духом и снова толкует об «упражнении». Взоры его товарища начинают соревноваться с его собственным взором, и он тоже устремляет взгляд на предметы, не отдавая себе в том отчета. Лица у всех леди раскраснелись, в особенности лицо миссис Перч, которая ликует и сияет и столь высоко вознесена над земными заботами, что, если бы попросили ее сейчас проводить путника в Болс-Понд, где ютятся ее собственные заботы, ей стоило бы некоторого труда припомнить дорогу. Мистер Таулинсон предложил выпить за здоровье счастливой четы, на что седовласый дворецкий отозвался очень любезно и с волнением, ибо он готов поверить, что в самом деле является старым слугой семьи и обязан быть растроганным такими переменами. Вся компания, а в особенности леди, находится в очень игривом расположении духа. Кухарка мистера Домби, которая обычно руководит собранием, заявила, что после этого немыслимо сразу же взяться за дела, и почему бы не пойти всей компанией в театр? Все (включая миссис Перч) выразили согласие, даже туземец, который свирепеет от вина и своими вращающимися белками пугает леди (в особенности миссис Перч). Один из очень рослых молодых людей предложил даже отправиться после спектакля на бал, и это никому (включая миссис Перч) не представляется неосуществимым. Завязался спор между горничной и мистером Таулинсоном: опираясь на старую поговорку, она утверждает, что браки заключаются на небесах, он отводит

⁸⁸ ...в другом месте! — то есть в другой палате, палате лордов.

им другое место; он предполагает, будто ее слова основаны на том, что она помышляет о своем собственном замужестве; она говорит, что, во всяком случае, господь сохранит ее от опасности выйти замуж за него. Желая положить конец этим язвительным замечаниям, седовласый дворецкий встает и предлагает выпить за здоровье мистера Таулинсона, ибо знать его — значит уважать, а уважать его — значит пожелать ему счастья в жизни с его избранницей, кто бы она ни была (при этом седовласый дворецкий взирает на горничную). Мистер Таулинсон отвечает благодарственной, преисполненной чувства речью, заключительная часть которой обращена против иностранцев; он говорит, что, быть может, они могут снискать иной раз расположение людей слабохарактерных и непостоянных, которых легко провести, но он всею душою уповает на то, что никогда больше не услышит о каком бы то ни было иностранце, наживающемся на путешествующих в каретах. При этом взор мистера Таулинсона столь суров и столь выразителен, что горничной грозит истерический припадок, но тут она и все остальные, взбудораженные известием об отъезде новобрачной, спешат наверх, чтобы присутствовать при ее отбытии.

Карета у двери; новобрачная спускается в холл, где ее ждет мистер Домби. Флоренс, также готовая к отъезду, стоит на лестнице, а мисс Нипер, занимавшая промежуточный пост между гостиной и кухней, собирается сопровождать ее. Как только появляется Эдит, Флоренс спешит ей навстречу, чтобы попрощаться.

Неужели Эдит холодно и потому она дрожит? Неужели в прикосновении Флоренс есть что-то странное или болезненное и потому эта красивая женщина отступает и съеживается, как будто не может вынести этого прикосновения? Неужели нужно так торопиться с отъездом, и потому Эдит, махнув рукой, сбегает по ступеням и уезжает?

Когда замирает стук колес, миссис Скьютон, подавленная материнскими чувствами, опускается в позу Клеопатры на свою софу и проливает слезы. Майор, встав из-за стола вместе с остальными гостями, старается ее утешить, но она и слышать не хочет об утешении, и майор откланивается. Откланивается кузен Финикс, и откланивается мистер Каркер. Все гости разъезжаются. Оставшись одна, Клеопатра чувствует легкое головокружение, вызванное сильным волнением, и погружается в сон.

Головокружение распространяется также и в подвальном этаже. У рослого молодого человека, так скоро пришедшего в возбуждение, голова как будто приклеилась к столу в буфетной, и ее нельзя от стола оторвать. Резкая перемена произошла в расположении духа миссис Перч, которая впадает в уныние из-за мистера Перча и поверяет кухарке свое подозрение, что теперь он не так сильно привязан к дому, как в ту пору, когда их семья состояла только из девяти человек. У мистера Таулинсона звон в ушах, и большое колесо без конца вертится в голове. А горничная выражает сожаление, что желать себе смерти считается грехом.

К тому же здесь, в нижнем этаже, возникает ложное представление о времени; все полагают, что сейчас по крайней мере десять часов вечера, тогда как нет и трех часов дня. Смутное сознание совершенного преступления преследует всю компанию; и каждый втайне считает другого соучастником, от которого лучше бы держаться подальше. Ни мужчины, ни женщины не смеют заикнуться о предполагавшемся посещении театра. Того, кто легкомысленно вздумал бы воскресить идею бала, осмеяли бы как идиота.

Миссис Скьютон спит в продолжение двух часов, и в кухне дремота еще не рассеялась. Гербы в столовой взирают со стен на крошки, грязные тарелки, пролитое вино, полурастаявшее мороженое, на недопитые бокалы с вином, выдохшимся к бесцветным, на остатки омаров, куриные косточки и задумчивое желе, постепенно превращающееся в тепловатый клейкий суп. К этому времени свадебное торжество утратило свою первоначальную пышность почти в такой же мере, как и завтрак. Слуги мистера Домби столь нравоучительно рассуждают о свадьбе и чувствуют такое раскаяние, сидя у себя дома за ранним чаем, что примерно к восьми часам погружаются в глубокую сосредоточенность; а мистер Перч, явившийся в это время из Сити, бодрый и веселый, в белом жилете и с Забавной песенкой на устах, собирающийся скоротать вечерок и приготовившийся к самым легкомысленным, развлечениям, озадачен холодным приемом и жалким состоянием миссис Перч и убеждается в том, что на нем лежит приятная обязанность отвезти эту леди домой в первом же омнибусе.

Наступает ночь. Флоренс, побродив по комнатам прекрасного дома, идет к себе в спальню, где благодаря заботам Эдит ее окружают роскошь и уют; сняв нарядное платье, она надевает простое

траурное, в память дорогого Поля, и садится за книгу, а подле нее Диоген, растянувшись на полу, щурится и моргает. Но сегодня Флоренс не может читать. Дом кажется странным и незнакомым, и в нем гулко раздается эхо. На душе у нее тоскливо; причины она не знает, но ей тяжело. Флоренс закрывает книгу, а неуклюжий Диоген, приняв это за сигнал, немедленно кладет лапы ей на колени и трется ушами об ее ласкающие руки. Но вскоре Флоренс уже не видит его ясно, потому что перед глазами у нее какой-то туман, и в нем сияют, подобно ангелам, покойный брат и покойная мать. И Уолтер, бедный, скитающийся, потерпевший крушение мальчик, о, где он?

Майор не знает это несомненно. И ему нет дела до этого. Майор, весь день задыхавшийся и дремавший, поздно пообедал у себя в клубе, а теперь сидит за пинтой вина и доводит чуть ли не до безумия скромного молодого человека с румяным лицом за соседним столиком (он с радостью заплатил бы большие деньги, чтобы только встать и уйти, но не может этого сделать), — доводит чуть ли не до безумия рассказами о Бегстоке, сэра, на свадьбе Домби и о чертовски аристократическом друге старого Джо, лорде Финиксе. В это время лорд Финикс, которому следовало быть в отеле Лонга и мирно лежать в постели, сидит за карточным столом, куда привели его, быть может вопреки его желанию, капризные, непокорные ноги.

Ночь, словно великан, занимает всю церковь от каменных плит до крыши и царит здесь в часы безмолвия. Бледный рассвет снова заглядывает украдкой в окна и, уступая место дню, видит, как ночь уходит в склепы, и следует за ней, выгоняет ее оттуда и прячется среди мертвецов. Робкие мышцы снова жмутся друг к другу, когда с грохотом отворяются большие двери и входят мистер Саундс и миссис Миф, двигаясь по кругу своей повседневной жизни, нерушимому, как обручальное кольцо. Снова треуголка и увядший чепец виднеются на заднем плане в час свадьбы; и снова этот мужчина берет в жены эту женщину, и эта женщина берет в мужья этого мужчину, давая торжественный обет:

«Хранить и беречь друг друга отныне в счастье и несчастье, в богатстве и бедности, в болезни и здорově, любить и лелеять, пока смерть их не разлучит».

Эти самые слова повторяет мистер Каркер, въезжая верхом в город и выбирая дорогу почище, и рот у него растягивается до ушей.

Глава XXXII

Деревянный Мичман разбивается вдребезги

Честный капитан Катль, проведя несколько недель в своем укрепленном убежище, отнюдь не намерен был отказываться от благоразумных мер предосторожности, принятых для защиты от неожиданного нападения, потому только, что враг не является. Капитан считал, что теперешнее его благополучие слишком велико и чудесно, чтобы длиться долго; он знал, что редко флюгер остается неподвижным, когда дует попутный ветер. Слишком хорошо знакомый с решительным и неустрашимым нравом миссис Мак-Стинджер, он не сомневался в том, что эта героическая женщина поставила себе целью отыскать его и захватить в плен. Трепеща под тяжестью этих соображений, капитан Катль жил очень замкнуто и уединенно; выходил обычно в сумерках, да и тогда отваживался бродить только по самым глухим улицам, вовсе не покидал дома по воскресеньям и как в стенах, так и за стенами своего убежища избегал шляпок, словно их носили разъяренные львы.

Капитану и в голову не приходило, что можно оказать сопротивление миссис Мак-Стинджер в случае, если она набросится на него во время прогулки. Он чувствовал, что этого нельзя сделать. Он уже видел себя, кроткою и безропотного, помещенным в наемную карету и водворенным на старую квартиру. Он предвидел, что, раз попав в эту тюрьму, он — погибший человек; прощай его шляпа; миссис Маж-Стинджер стережет его и день и ночь; упреки сыплются на его голову в присутствии младенцев; он внушает подозрение и недоверие — людоед в глазах детей и разоблаченный предатель в глазах их матери.

Всякий раз как эта мрачная картина рисовалась воображению капитана, он покрывался обильным потом и впадал в уныние. Обычно это бывало по вечерам, незадолго до того часа, когда он крадучись выходил из дому подышать воздухом и прогуляться. Понимая, какой опасности он подвергается, капитан в такие минуты прощался с Робом торжественно, как и подобает человеку, который, быть может, никогда не вернется, увещевал его на случай, если он (капитан) на время скроется из

виду, идти по стезе добродетели и хорошенько чистить медные инструменты.

Но не желая окончательно складывать оружие и стараясь обеспечить себе, если дело обернется плохо, возможность поддерживать общение с внешним миром, капитан Катль вскоре набрел на счастливую мысль обучить Роба Точильщика какому-нибудь тайному сигналу, дабы сей подчиненный мог в час бедствия дать знать командиру о своем присутствии и преданности. После долгого раздумья капитан принял решение и научил его насвистывать морскую песенку «Эх, веселей, веселей!», а когда Роб Точильщик достиг той степени совершенства в исполнении ее, на какую только может рассчитывать сухопутный житель, капитан запечатлел в его памяти следующие таинственные наставления:

— Ну, приятель, держись крепче! Если меня когда-нибудь захватят...

— Захватят, капитан? — перебил Роб, широко раскрывая свои круглые глаза.

— Да. — мрачно сказал капитан Катль. — Если я когда-нибудь выйду из дому, намереваясь вернуться к ужину, и не появлюсь на расстоянии оклика, то через двадцать четыре часа после моего исчезновения ступай на Бриг-Плейс и насвистывай эту вот песенку около моей старой пристани, но так, понимаешь ли, как будто ты это делаешь без всякого умысла, как будто тебя занесло сюда случайно. Если я тебе отвечу тою же песенкой, ты, приятель, отчаливай и возвращайся через двадцать четыре часа; если я отвечу другой песенкой, уклонись от прямого курса и держись на расстоянии, пока я не подам нового сигнала. Понял приказ?

— От чего я должен уклониться, капитан? — осведомился Роб. — От мостовой?

— Нечего сказать, смысленый парень! — воскликнул капитан, взирая на него сурово. — Родного языка не понимает! Тогда ты отойди в сторонку, а потом вернись, — понятно теперь?

— Да, капитан, — сказал Роб.

— Отлично, приятель, — смягчившись, сказал капитан. — Так и сделай!

Чтобы Роб хорошенько это усвоил, капитан Катль по вечерам, закрыв лавку, достаивал иногда прорепетировать с ним всю сцену: уходил для этой цели в гостиную, как бы в жилище воображаемой миссис Мак-Стинджер, и внимательно следил за поведением своего союзника в глазок, просверленный им в стене. Роб Точильщик во время испытания исполнял свой долг так исправно и ловко, что капитан в знак своего удовлетворения подарил ему в разное время семь шестипенсовиков; и постепенно в сердце его поселилось спокойствие человека, приготовившегося к худшему и принявшему все разумные меры предосторожности против безжалостного рока.

Однако капитан не искушал судьбы и склонен был рисковать ничуть не больше, чем раньше. Полагая, что правила хорошего тона предписывают ему, как другу семьи, присутствовать на свадьбе мистера Домби (о ней он узнал от мистера Перча) и с галереи показать сему джентльмену свою любезную и довольную физиономию, он отправился в церковь в наемном кабриолете, в котором оба окна были подняты; быть может, страхась миссис Мак-Стинджер, он не отважился бы и на этот подвиг, если бы упомянутая леди не посещала богослужений преподобного Мельхиседека, вследствие чего ее присутствие в англиканской церкви казалось в высшей степени невероятным.

Капитан благополучно вернулся домой, и новая его жизнь продолжала течь заведенным порядком; неприятель не доставлял ему более прямых поводов к тревоге, чем ежедневное появление дамских шляпок на улице. Но другие заботы начали удручать капитана. О корабле Уолтера все еще не поступало никаких сведений. Не было никаких известий о старом Соле Джилсе. Флоренс даже не знала об исчезновении старика, а капитан Катль не решался ей сказать. В самом деле, с тех пор как надежда на спасение великодушного, красивого, отважного юноши, которого он по-своему, грубовато, любил с раннего его детства, начала угасать и угасала со дня на день, — капитан с тоской гнал от себя мысль о разговоре с Флоренс. Если бы честный капитан мог принести ей добрые вести, он не побоялся бы войти в заново отремонтированный и великолепно меблированный дом — хотя этот дом, в связи с виденной им в церкви леди, внушал ему ужас — и явился бы к Флоренс. Но темные тучи заволокли их общие надежды, сгущаясь с каждым часом, и капитан чувствовал, что может оказаться для нее источником новых бед и огорчений, а потому визита к Флоренс он страшился не меньше, чем самой миссис Мак-Стинджер.

Был холодный, темный, осенний вечер, и капитан Катль велел затопить камин в маленькой гостиной, теперь больше, чем когда-либо, походившей на каюту. Лил дождь, и дул сильный ветер; пройдя через открытую всем ветрам спальню своего старого друга, капитан поднялся на крышу дома

узнать, какова погода, и сердце у него замерло, когда он увидел, как ненастно и безнадежно вокруг. Нельзя сказать, чтобы он связывал эту погоду с судьбой бедного Уолтера или сомневался в том, что, если провидение обрекло «мальчика на гибель и кораблекрушение, это совершилось уже давно; но под тяжестью какого-то внешнего воздействия, которое ничего общего не имело с предметом его размышлений, капитан Катль пал духом, и надежды его поблекли, как не раз случалось и не раз будет случаться даже с людьми более мудрыми, чем он.

Обратив лицо навстречу резкому ветру и косому дождю, капитан Катль смотрел на тяжелые облака, быстро пронесившиеся над нагромождением крыш, и тщетно искал картины более отрадной. И вокруг него зрелище было не лучше. В многочисленных ящиках из-под чая и разных коробках слышалось у его ног воркованье голубей Роба Точильщика, похожее на жалобный стон поднимающегося бриза. Расшатанный флюгер — Мичман с подозрительной трубой у глаза, когда-то видимый с улицы, но давно уже заслоненный кирпичной стеной, — скрипел и жаловался на своем заржавленном стержне, когда порыв ветра заставлял его вертеться и вел с ним злую игру. На грубом синем жилете капитана холодные дождевые капли трепетали как стальные бусины; и он, согнувшись, едва мог устоять на ногах под напором жестокого северо-западного ветра, который налетал на него с твердым намерением опрокинуть за парапет и швырнуть вниз на мостовую. Если в этот вечер еще была жива какая-то Надежда, — размышлял капитан, придерживая шляпу, — она, разумеется, сидела дома и не показывалась на улице; и капитан, грустно покачивая головой, пошел ее разыскивать.

Капитан Катль медленно спустился в маленькую гостиную и, усевшись в свое кресло, стал искать ее в камине; но там ее не было, хотя огонь ярко пылал. Он достал табакерку и трубку и, расположившись покурить, стал искать ее в чашечке трубки и в кольцах дыма, срывавшихся с его губ; но и там не было даже крупинки ржавчины с якоря Надежды. Он попробовал налить себе стакан грогу; но грустная истина скрывалась на дне этого колодца, и он не мог допить стакан. Несколько раз он прошелся по лавке и искал Надежду среди инструментов; но, несмотря на все его сопротивление, они упрямо определяли путь пропавшего судна, который обрывался на дне пустынного моря.

По-прежнему бушевал ветер, и дождь по-прежнему стучал в закрытые ставни, когда капитан остановился перед Деревянным Мичманом и, вытирая своим рукавом мундир маленького офицера, задумался о том, сколько лет прожил на свете Мичман и как мало перемен — почти никаких — происходило за это время с экипажем его судна; как эти перемены налетели все вместе, в один день, и как они все смели. Маленькое общество в задней гостиной распалось и рассеялось по свету. Некому было слушать «Красотку Пэг», даже если бы кто-нибудь и мог ее спеть, но такого человека не, было; ибо капитан был так же твердо убежден в том, что никто, кроме него, не может исполнить эту балладу, как и в том, что при настоящем положении дел он не отважится на такую попытку. Не видно было в доме веселого лица Уольра — тут капитан на секунду отвел свой рукав от мундира Мичмана и вытер им собственную щеку; знакомый парик и пуговицы Соля Джилса стали видением прошлого; с Ричардом Виттингтоном было покончено; и все планы и проекты, связанные с Мичманом, неслись по воле волн вез мачты и руля.

Капитан с удрученной физиономией стоял в задумчивости, старательно вытирая Мичмана, столько же из нежности к нему, старому знакомому, сколько и по рассеянности, как вдруг стук в дверь магазина заставил испуганно вздрогнуть Роба Точильщика, который, сидя на прилавке, не спускал круглых глаз с лица капитана и в пятисотый раз задавал себе вопрос, неужели тот совершил убийство и теперь его беспрерывно терзают угрызения совести, и он вечно думает о бегстве.

— Что это? — тихо спросил капитан Катль.

— Кто-то стучит, капитан, — ответил Роб Точильщик.

Капитан с пристыженным и виноватым видом тотчас прокрался на цыпочках в маленькую гостиную и заперся там. Роб, открыв дверь, готовился переговорить с посетителем на пороге, если бы посетитель явился в образе женщины; но так как он принадлежал к мужскому полу, а приказ, данный Робу, относился только к женщинам, Роб распахнул дверь и позволил гостю войти, что тот и поспешил сделать, спасаясь от ливня.

— Берджесу и К придется поработать, — сказал посетитель, сочувственно поглядывая через плечо на свои собственные ноги, очень мокрые и забрызганные грязью. — О, как поживаете, мистер Джилс?

Приветствие относилось к капитану, который вышел из задней гостиной, явно и очень неис-

кусно притворяясь, будто заглянул сюда случайно.

— Благодарю вас, — продолжал джентльмен, не делая паузы, — я себя чувствую прекрасно, очень вам признателен. Меня зовут Тутс, мистер Тутс.

Капитан, припомнив, что видел этого молодого джентльмена на свадьбе, поклонился. Мистер Тутс ответил хихиканьем; и, будучи, по своему обыкновению, смущен, стал тяжело дышать, долго пожимал руку капитану, а затем, за неимением иных ресурсов, набросился на Роба Точильщика и в высшей степени приветливо и сердечно пожал ему руку.

— Послушайте! Я бы хотел сказать вам словечко, мистер Джилс, если вы разрешите, — сказал, наконец, Тутс, обнаруживая изумительное присутствие духа. — Послушайте! Мисс Д.О.М. ...знаете ли!

Капитан столь же важно и таинственно указал своим крючком в сторону маленькой гостиной, куда и последовал за ним мистер Тутс.

— О, прошу прощения, — сказал мистер Тутс, засматривая в лицо капитану и усаживаясь в кресло у камина, которое капитан придвинул для него. — Быть может, вы случайно знаете Петуха, мистер Джилс?

— Петуха? — спросил капитан.

— Бойцового Петуха, — сказал мистер Тутс.

Когда капитан отрицательно покачал головой, мистер Тутс пояснил, что упомянутое лицо является знаменитой особой, которая покрыла славой себя и свою страну в состязании с Красавчиком Шропширом Первым; но это сообщение, казалось, мало что разъяснило капитану.

— Дело в том, что он стоит на улице, вот и все, — сказал мистер Тутс. — Но это не имеет никакого значения; быть может, он не очень промокнет.

— Я сию минуту распорядюсь, чтобы его впустили, — сказал капитан.

— Ну, если уж вы так добры, что разрешаете ему посидеть в лавке с вашим молодым человеком, — хихикая, сказал мистер Тутс, — то я очень рад, потому что он, знаете ли, обидчив, а сырая погода скверно отражается на его выносливости. Я сам позову его, мистер Джилс.

С этими словами мистер Тутс, подойдя к наружной двери, свистнул особым образом в темноту, после чего появился джентльмен-стойк в мохнатом белом пальто и шляпе с прямыми полями, очень коротко стриженный, со сломанным носом и обширным пространством за обоими ушами, бесплодным и лишенным растительности.

— Садитесь, Петух, — сказал мистер Тутс.

Покладистый Петух выплюнул несколько соломинок, которыми угощался, и положил в рот новую порцию из запаса, хранившегося в руке.

— Не найдется ли здесь чего-нибудь покрепче промочить горло? — сказал Петух, ни к кому в частности не обращаясь. — Эта дождливая погода — скверная штука для того, кого кормит собственное здоровье.

Капитан Катль подал рюмку рому, а Петух, запрокинув голову, влил его в себя, как в бочку, провозгласив предварительно лаконический тост: «За здоровье всех присутствующих!» Когда же мистер Тутс и капитан вернулись в гостиную и вновь уселись у камина, мистер Тутс заговорил:

— Мистер Джилс...

— Стоп! — сказал капитан. — Меня зовут Катль. Мистер Тутс как будто крайне смущился, а капитан степенно продолжал:

— Зовут меня капитан Катль, и родина моя — Англия, здесь мое местожительство, и благословенна всякая тварь. Из Иова⁸⁹, — добавил капитан, отсылая к первоисточнику.

— О! А скажите, не могу ли я увидеть мистера Джилса? — спросил мистер Тутс. — Дело в том, что...

— Если бы вы, молодой джентльмен, могли увидеть Соля Джилса, — внушительно сказал капитан, опуская свою тяжелую руку на колено мистера Тутса, — увидеть старого Соля, запомните это, вы были бы для меня более желанны, чем попутный ветер для корабля, попавшего в штиль. А почему

⁸⁹ Из Иова... — Капитан Катль имеет в виду библейскую книгу «Иова», гл. I, но, по своему обыкновению, переиначивает цитату.

вы не можете увидеть Соля Джилса? — продолжал капитан, угадав по выражению лица мистера Тутса, какое глубокое впечатление производит он на этого джентльмена. — Потому что он невидим.

Мистер Тутс, встревоженный, собирался ответить, что это не имеет ровно никакого значения. Но спохватился и сказал:

— Господи, помилуй!

— Этот самый человек, — сказал капитан, — особым документом оставил на мое попечение вот это все, но хотя для меня он был почти что брат названный, я знаю не больше, чем вы, о том, куда он ушел и зачем он ушел: либо он разыскивает своего племянника, либо мозги у него не в порядке. Однажды утром, на рассвете, — продолжал капитан, — он прыгнул за борт, и никто не услышал плеска, никто не заметил ряби. Я искал этого человека повсюду и с того дня ни разу не видел его и не слышал и ничего о нем не ведаю.

— Ах, боже мой, но мисс Домби не знает... — начал мистер Тутс.

— А зачем, спрошу я вас, как доброго человека, — сказал капитан, понижая голос, — зачем ей знать? Зачем давать ей знать, пока нет в этом необходимости? Она, это милое создание, привязалась к старому Солю Джилсу, чувствовала к нему такое расположение, такую нежность, такую... Что толку говорить об этом? Вы ее знаете.

— Надеюсь, что знаю, — хихикнул мистер Тутс, чувствуя, как лицо его залилось румянцем.

— И вы пришли сюда от нее? — спросил капитан.

— Полагаю, что так, — хихикнул мистер Тутс.

— В таком случае мне остается только заметить, — сказал капитан, — что вы знакомы с ангелом и ангел вас зафрахтовал.

Мистер Тутс тотчас схватил капитана за руку и попросил, чтобы тот удостоил его своей дружбы.

— Клянусь честью, — очень серьезно сказал мистер Тутс, — я буду вам крайне признателен, если вы познакомитесь со мной ближе. Мне бы очень хотелось хорошенько узнать вас, капитан. Право же, мне нужен друг. Маленький Домби был моим другом в заведении доктора Блимбера и теперь остался бы им, будь он жив. Петух, — пугливым шепотом продолжал мистер Тутс, — очень неплох... превосходит в своем роде... может быть, самый ловкий человек в мире; на все руки мастер; все так говорят... но я не знаю... мне этого мало... Да, капитан, она — ангел! Если есть где-нибудь на свете ангел, то это мисс Домби. Я всегда это говорил. И, право же, знаете ли, — сказал мистер Тутс, — я буду вам крайне признателен, если вы согласитесь поддерживать знакомство со мной.

Капитан Катль принял это предложение учтиво, но отнюдь не связывая себя обещанием; он заметил только: «Ладно, приятель. Посмотрим, посмотрим», — и напомнил мистеру Тутсу о непосредственной цели, его посещения, осведомившись, чему обязан этим визитом.

— Дело в том, — отвечал мистер Тутс, — что я пришел к вам от молодой женщины. Не от мисс Домби, а, знаете ли, от Сьюзен.

Капитан кивнул головой с глубокомысленным видом, свидетельствующим о том, что к этой молодой женщине он относится с большим уважением.

— И я вам расскажу, как это случилось, — сказал мистер Тутс. — Я, знаете ли, захожу иногда навестить мисс Домби. Специально я туда, знаете ли, не хожу, но мне очень часто приходится бывать в тех краях, и если уж я попаду туда, ну, я и... я и загляну.

— Натурально, — заметил капитан.

— Вот именно, — подтвердил мистер Тутс. — И сегодня я заглянул. Клянусь честью, вряд ли можно представить себе, каким ангелом была сегодня мисс Домби.

Капитан ответил энергическим кивком, давая понять, что кое-кому это, быть может, и нелегко представить, но, во всяком случае, не ему.

— Когда я уходил, — сказал мистер Тутс, — молодая женщина в высшей степени неожиданно увела меня в буфетную.

Капитану как будто не понравился такой образ действий, и, откинувшись на спинку стула, он устремил на мистера Тутса недоверчивый, если не угрожающий взгляд.

— Там она достала эту газету, — сказал мистер Тутс. — Она сообщила мне, что весь день прятала ее от мисс Домби, потому что тут что-то такое напечатано о ком-то, кого знали она и Домби; а потом она прочла мне это место. Отлично. Потом она сказала... подождите минутку... что же это она

сказала?

Мистер Тутс, пытаясь сосредоточить все силы своего ума на этом вопросе, случайно встретил взгляд капитана и был до такой степени сбит с толку суровым его выражением, что ему стоило мучительного труда вернуться к предмету разговора.

— О! — сказал мистер Тутс после долгого раздумья. — О! Да! Она сказала, что едва ли это может оказаться неверным и что ей нельзя выйти из дому, не вызвав подозрений у мисс Домби, и не могу ли я заглянуть к мистеру Соломону Джилсу, мастеру судовых инструментов на этой улице, который тому лицу приходится дядей, и спросить его, верит ли он сообщению и не слыхал ли еще чего-нибудь в Сити. Она сказала, что если он не в силах будет говорить со мной, то капитан Катль несомненно поговорит. Кстати! — воскликнул мистер Тутс, пораженный неожиданным открытием. — Знаете ли, ведь это вас она имела в виду!

Капитан посмотрел на газету, которую мистер Тутс держал в руке, и дыхание его стало частым и прерывистым.

— А пришел я так поздно, — продолжал мистер Тутс, — потому что сначала отправился в Финчли за курослепом для птички мисс Домби — там растет самый лучший курослеп. Но оттуда я пошел прямо сюда. Вероятно, вы видели эту газету?

Капитан, который воздерживался от чтения газет, опасаясь обнаружить объявление о самом себе, помещенное миссис Мак-Стинджер, покачал головой.

— Прочсть вам эту заметку? — осведомился мистер Тутс.

Так как капитан кивнул утвердительно, мистер Тутс стал читать следующее сообщение морского департамента.

— «Саутгемптон. С барка „Вызов“ (капитан Генри Джеймс), прибывшего сегодня в порт с грузом сахара, кофе и рома, сообщают, что на шестой день по отплытии с Ямайки в обратный путь, когда судно попало в штиль на»... ну, знаете, на такой-то широте, — сказал мистер Тутс, сделав неудачную попытку одолеть цифры и споткнувшись на них.

— Ну! — крикнул капитан, ударив кулаком по столу. — Вперед, приятель!

— ...Широте, — повторил мистер Тутс, бросив испуганный взгляд на капитана, — и такой-то долготе... «вахтенный, за полчаса до заката солнца, заметил на расстоянии мили плывущие по воде обломки судна. Так как погода стояла ясная, а барк не подвигался, была спущена шлюпка и отдан приказ осмотреть упомянутые обломки, причем оказалось, что это были части рангоута и такелажа английского брига водоизмещением около пятисот тонн, а также кусок кормы, на котором еще можно было легко разобрать буквы „Сын и Н...“. Ни одного трупа на обломках не найдено. Судовой журнал „Вызова“ отмечает, что, так как ночью подул бриз, обломки потерпевшего крушение судна скрылись из виду. Не может быть никаких сомнений в том, что различные предположения касательно судьбы пропавшего судна „Сын и Наследник“, порт Лондон, направление Барбадос, теперь окончательно отпадают: оно было разбито во время последнего урагана, и все бывшие на борту погибли».

Капитан Катль, подобно всем людям, и не подозревал о том, сколь глубоки, несмотря на уныние, его надежды, пока не почувствовал полного их крушения. Во время чтения этой заметки и минуты две спустя он сидел ошеломленный, устремив взгляд на скромного мистера Тутса; потом, внезапно поднявшись и надев свою глянцевию шляпу, которую в честь гостя положил на стол, капитан повернулся к нему спиной и опустил голову на каминную полку.

— Ох, клянусь честью! — воскликнул мистер Тутс, чье мягкое сердце было тронуте неожиданной скорбью капитана. — Какое ужасное место этот мир! Тут всегда кто-нибудь умирает или делает что-то несуразное. Знай я это прежде, я бы никогда так не стремился вступить во владение своим имуществом. Я никогда не видывал такого мира. Он гораздо хуже блимберовского.

Капитан Катль, не меняя позы, сделал знак мистеру Тутсу, чтобы тот не обращал на него внимания; вскоре он повернулся, глянцевиная шляпа была надвинута на уши, он проводил рукой по своему обветренному лицу и разглаживал его.

— Уольр, мой дорогой мальчик, — сказал капитан, — прощай. Уольр, дитя мое, мой мальчик и мужчина, я любил тебя! Он не был моей плотью и кровью, — продолжал капитан, глядя на огонь, — детей у меня нет, но то, что чувствует отец, теряя сына, чувствую я, теряя Уольра. А почему? — спросил капитан. — Потому что это не одна, а целая дюжина потерь. Где тот маленький школьник с румяным лицом и кудрявыми волосами, который приходил сюда каждую неделю и был весел, как

песенка, в этой самой гостиной? Утонул вместе с Уольром. Где тот бодрый юноша, который не знал ни усталости, ни уныния и загорался и краснел так, что любо было на него смотреть, когда мы подшучивали над ним, говоря об Отраде Сердца? Утонул вместе с Уольром. Где тот мужчина с горячим сердцем, который не мог допустить, чтобы старик приуныл хотя бы на минуту, а о себе совсем не заботился? Утонул вместе с Уольром. Это не один Уольр. Дюжину Уольров я знал и любил, все они обнимали его за шею, когда он шел ко дну, а теперь обнимают меня! Мистер Тутс сидел молча и складывал на колене газету, пока в руках у него не остался маленький тугой квадратик.

— А Соль Джилс! — продолжал капитан, глядя на огонь. — Бедный старый Соль Джилс, потерявший племянника, что случилось с вами? Вас он оставил на мое попечение; последние слова его были: «Позаботьтесь о дяде!» Что заставило вас, Соль, пойти и сказать «прощай» Нэду Катлю? И что занести мне о вас в мой отчет, на который он смотрит сверху? Соль Джилс, Соль Джилс! — сказал капитан, медленно покачивая головой. — Попадется вам эта газета где-нибудь далеко от родного дома, и не найдется подле вас никого, кто бы знал Уольра, и некому будет слово сказать. И вы перемените курс и пойдете ко дну!

Испутив тяжелый вздох, капитан повернулся к мистеру Тутсу и, очнувшись, обратил внимание на этого джентльмена.

— Приятель, — сказал капитан, — вы должны честно сообщить молодой женщине, что это роковое известие слишком достоверно. Таких вещей, знаете ли, не выдумывают. Это занесено в судовой журнал, а судовой журнал — самая правдивая книга, какую только может написать человек. Завтра утром, — сказал капитан, — я пойду наводить справки, но ничего хорошего из этого не выйдет. Не может выйти. Если вы заглянете ко мне до полудня, я вам расскажу, что мне удалось узнать; а молодой женщине передайте от капитана Катля, что все кончено. Кончено!

И капитан, сняв крючком глянцевиую шляпу, вынул из нее носовой платок, с отчаянием вытер свою седую голову и в глубокой тоске снова швырнул платок в шляпу.

— О! Уверяю вас, — сказал мистер Тутс, — право же, я страшно огорчен. Честное слово, огорчен, хотя я и из был знаком с заинтересованной стороной. Как вы думаете, мисс Домби будет очень расстроена, напиши Джилс — то есть мистер Катль?

— Ну, еще бы, господь с вами! — отозвался капитан, как бы сожалея о наивности мистера Тутса. — Когда она была вот такой крошкой, они любили друг друга, как два голубка.

— В самом деле? — спросил мистер Тутс, и физиономия его заметно вытянулась.

— Они были созданы друг для друга, — горестно сказал капитан. — Но какое это имеет теперь значение?

— Клянусь честью! — воскликнул мистер Тутс, выпаливая слова вперемежку со смущенным хихиканием и всхлипываниями. — Теперь я огорчен еще больше, чем раньше. Знаете ли, капитан Джилс, я... я буквально обожаю мисс Домби; я... я просто болен от любви к ней! — Та порывистость, с какою это признание вырвалось у злополучного мистера Тутса, свидетельствовала о силе его чувства. — Но какой был бы толк от такого моего отношения к ней, если бы я не сочувствовал искренне ее страданиям, какова бы ни была их причина? Моя любовь, знаете ли, не эгоистическая, — объяснил мистер Тутс, вспыхнув доверием после того, как стал свидетелем мягкосердечия капитана. — Со мной дело обстоит так, капитан Джилс: если бы я попал под лошадь, или... или если бы меня растоптали, или... или сбросили с какого-нибудь очень высокого места... или что-нибудь в этом роде... ради мисс Домби — для меня это было бы величайшим счастьем!

Все это мистер Тутс говорил, понизив голос, чтобы речь его не достигла ревнивого слуха Петуха, врага нежных эмоций; и это усилие, равно как и пылкое чувство, заставило его покраснеть до ушей, а глазам капитана Катля предстало столь трогательное зрелище бескорыстной любви, что добрый капитан сострадательно похлопал мистера Тутса по спине и посоветовал не падать духом.

— Благодарю вас, капитан Джилс, — сказал мистер Тутс, — очень любезно с вашей стороны говорить мне это, когда у вас самого такое горе. Я вам очень признателен. Как я уже сказал, мне очень нужен друг, и я был бы рад знакомству с вами. Хотя я очень богат, — энергически произнес мистер Тутс, — но вы и не подозреваете, какое я жалкое создание. Глупые людишки, видя меня с Петухом и другими известными особами, считают меня, знаете ли, счастливым. Но я несчастен. Я страдаю по мисс Домби, капитан Джилс. У меня нет аппетита. Мой портной не доставляет мне никакого удовольствия. Оставаясь один, я часто плачу. Уверяю вас, мне будет очень приятно прийти сю-

да еще раз, и еще пятьдесят раз.

С этими словами мистер Тутс пожал руку капитану и, справившись со своим волнением, — насколько это было возможно за такой короткий срок, — чтобы укрыться от пронизательных взоров Петуха, вышел в лавку, где находился этот прославленный джентльмен. Петух, который склонен был ревниво оберегать свои права, смотрел на капитана Катля отнюдь не благосклонно, пока тот прощался с мистером Тутсом; однако он последовал за своим патроном, не проявляя больше никаких признаков недоброжелательства и оставив капитана, удрученного скорбью, а Роба Точильщика восхищенного тем, что он удостоился чести созерцать в течение почти получаса победителя Красавчика Шропшира Первого.

Роб давно уже спал крепким сном, а капитан все еще сидел, глядя на огонь; и давно уже угас этот огонь, а капитан все сидел, не спуская глаз с ржавых прутьев, и в голове у него теснились безнадежные мысли об Уолтере и старом Соле. В открытой всем ветрам спальне под крышей он также не нашел успокоения; и утром капитан встал с постели печальный и не отдохнувший.

Как только открылись конторы в Сити, капитан отправился в торговый дом «Домби и Сын». Но окна Мичмана не открывались в то утро. Роб Точильщик по распоряжению капитана оставил ставни закрытыми, и дом был похож на дом смерти.

Случилось так, что мистер Каркер входил в контору в тот момент, когда капитан Катль подошел к двери. Молча и чинно ответив на приветствие заведующего, капитан Катль дерзнул последовать за ним в его кабинет.

— Ну-с, капитан Катль, — сказал мистер Каркер, принимая обычную свою позу у камина и не снимая шляпы, — плохо дело.

— Вы уже получили известие, которое было напечатано во вчерашней газете, сэр? — спросил капитан.

— Да, — сказал мистер Каркер, — мы получили. Это точные сведения. Страховщики терпят значительные убытки. Мы очень сожалеем. Ничего не поделаешь! Такова жизнь!

Мистер Каркер приводил в порядок ногти перочинным ножом и улыбался капитану, который стоял у двери и смотрел на него.

— Мне чрезвычайно жаль бедного Гэя, — сказал Каркер, — и жаль экипаж. Как мне известно, на борту находился кое-кто из лучших наших служащих. Всегда так бывает. К тому же много семейных. Утешительно думать, что у бедного Гэя не было семьи, капитан Катль!

Капитан стоял, потирая подбородок и не спуская глаз с заведующего. Заведующий бросил взгляд на нераспечатанные письма, лежавшие на столе, и взял газету.

— Не могу ли я чем-нибудь вам служить, капитан Катль? — спросил он, отрываясь от газеты, улыбаясь и выразительно посматривая на дверь.

— Я бы хотел, чтобы вы разрешили одно недоумение, сэр, которое не дает мне покоя, — отозвался капитан.

— Да? — воскликнул заведующий. — Что же это за недоумение? Позвольте мне, капитан Катль, вас поторопить. Я очень занят.

— Послушайте, сэр, — сказал капитан, приблизившись к нему на шаг, — перед тем, как мой друг Уольф отправился в это злополучное плавание...

— Ну, ну, капитан Катль, — с улыбкой перебил заведующий, — не говорите таким тоном о злополучном плавании. Мы здесь, любезный, никакого отношения к злополучным плаваниям не имеем. Должно быть, вы раненко пропустили сегодня свой первый стаканчик, капитан, если забываете о том, что всякое путешествие, как морское, так и сухопутное, сопряжено с риском. Неужели вас тревожит предположение, что этот молодой... как его там зовут... погублен штормом, который поднялся против него тут, в этой конторе? Стыдитесь, капитан! Сон и содовая вода — вот наилучшее средство против такой тревоги.

— Мой мальчик, — медленно промолвил капитан, — для меня вы почти мальчик, так что мне незачем извиняться за случайно сорвавшееся слово, — если вам доставляют удовольствие такие шутки, значит вы не тот джентльмен, за которого я вас принимал, а если вы не тот джентльмен, за которого я вас принимал, то, стало быть, у меня, пожалуй, есть основания беспокоиться. Дело обстоит так, мистер Каркер: перед тем как бедный мальчик, выполняя полученный приказ, отправился в путь, он мне сказал, что это путешествие, как ему точно известно, ничего общего не имеет с его лич-

ной выгодой или повышением по службе. Я считал, что он ошибается, и так и сказал ему, а затем пришел сюда, главный ваш начальник отсутствовал, и я задал вам с подобающей учтивостью два-три вопроса для собственного успокоения. На эти вопросы вы ответили — ответили откровенно. Теперь, когда все кончено и нужно претерпеть то, чего нельзя изменить — а вы, как человек ученый, перелистайте книгу и, найдя это место, отметьте его, — теперь я бы почувствовал успокоение, услышав еще раз, что я не ошибся и исполнил свой долг, когда скрыл от старика слова Уольра, и что, в самом деле, дул попутный ветер, когда он развернул паруса, держа курс на Барбадосскую гавань. Мистер Каркер, — продолжал капитан с присущим ему добродушием, — когда я был здесь в последний раз, мы с вами очень весело беседовали. Если я не так весел сегодня из-за этого бедного мальчика и если я погорячился, вызвав у вас замечания, которых лучше не слышать, то зовут меня Эдуард Катль, и я прошу у вас прощения.

— Капитан Катль, — с величайшей учтивостью отвечал заведующий, — я вынужден просить вас об одном одолжении.

— О каком именно, сэр? — осведомился капитан.

— Будьте так любезны, потрудитесь выйти, — сказал заведующий, указывая рукой на дверь, — и можете произносить свои несурзные речи где-нибудь в другом месте.

Все шишки на лице капитана побелели от изумления и негодования; даже красный ободок на лбу побледнел, как бледнеет радуга среди сгущающихся облаков.

— Вот что я вам скажу, капитан Катль, — продолжал заведующий, грозя указательным пальцем и показывая ему все зубы, но по-прежнему любезно улыбаясь, — я был слишком снисходителен к вам, когда вы явились сюда в первый раз. Вы принадлежите к категории людей лукавых и дерзких. Желая спасти молодого... как его там зовут... которому грозила опасность вылететь отсюда, я оказал вам снисхождение — однажды, и только однажды. А теперь ступайте, мой друг!

Капитан был буквально пригвожден к полу и утратил дар речи.

— Ступайте, — сказал добродушно заведующий, подобрав фалды фрака и широко расставив ноги на каминном коврике, — как и подобает разумному человеку, и не принуждайте нас указывать вам на дверь или прибегать к иным крутым мерам. Будь мистер Домби сейчас здесь, вам, капитан, пожалуй, пришлось бы удалиться с большим позором. Я же только говорю — ступайте!

Капитан, прижав свою тяжелую руку к груди, словно желая облегчить себе глубокий вздох, осмотрел мистера Каркера с ног до головы, а затем окинул взглядом маленькую комнату, как бы не совсем понимая, где и в каком обществе он находится.

— Вы хитры, капитан Катль, — развязно продолжал мистер Каркер с непринужденной откровенностью светского человека, который слишком хорошо знает свет, чтобы тревожиться из-за проступков, его лично не касающихся, — однако и вас можно раскусить — вас и вашего отсутствующего друга, капитан. Кстати, что вы сделали с вашим отсутствующим другом?

Снова капитан прижал руку к груди. Еще раз испустив глубокий вздох, он наказал себе: «Держись крепче!» — но шепотом.

— Вы занимаетесь милыми заговорами, устраиваете милые совещания, назначаете милые свидания, принимаете милых гостей, не так ли, капитан? — спросил Каркер, насупив брови, но по-прежнему скаля зубы. — Но это уже дерзость — являться затем сюда! Это не вяжется с вашим благоразумием! Вы, заговорщики, беглецы, должны быть более рассудительны. Сделайте мне такое одолжение, ступайте!

— Приятель! — задыхаясь, выговорил капитан приглушенным и дрожащим голосом, судорожно сжимая свой тяжелый кулак. — Многое хотелось бы мне вам сказать, во я и сам не знаю, где запряваны у меня сейчас слова. Для меня мой молодой друг Уольр утонул только вчера вечером, и это сбивает меня с толку. Но мы с вами еще сойдемся борт о борт, приятель, — сказал капитан, поднимая свой крючок, — если будем живы!

— Неосмотрительно это будет с вашей стороны, любезный, если сойдемся, — с тою же откровенностью отозвался заведующий, — ибо предупреждаю вас, вы можете не сомневаться в том, что я вас поймаю и уличу. Я не притязаю на то, чтобы быть более нравственным, чем ближние мои, любезный капитан, но доверием этой фирмы или кого либо из членов фирмы злоупотреблять не следует, равно как не следует его подрывать, пока у меня есть глаза и уши. Прощайте! — сказал мистер Каркер, кивнув головой.

Капитан Катль, посмотрев на него пристально (мистер Каркер не менее пристально посмотрел на капитана), вышел из конторы, а мистер Каркер остался стоять перед камином, широко расставив ноги, любезный и безмятежный, как будто душа его была так же незапятнана, как и его чистое, белое белье и гладкая, нежная кожа.

Проходя мимо, капитан бросил взгляд на конторку, за которой, как было ему известно, сидел когда-то бедный Уолтер; теперь за ней занимался другой юноша едва ли не с таким же свежим и веселым лицом, какое было у Уолтера в тот день, когда они откупорили в маленькой гостиной предпоследнюю бутылку знаменитой старой мадеры. Вызванное таким образом воспоминание послужило на пользу капитану; в разгар гнева оно растрогало его и заставило прослезиться.

Когда капитан вернулся во владения Деревянного Мичмана и уселся в углу темной лавки, негодование его, как бы ни было оно велико, не могло одержать верх над горем. Казалось, гнев не просто оскорблял память об умершем, но, настигнутый смертью, угасал перед лицом ее. Все оставшиеся в живых негодяи и лжецы теряли всякое значение по сравнению с честностью и правдивостью одного умершего друга.

В таком расположении духа честный капитан, кроме потери Уолтера, мог уяснить себе только одно: вместе с Уолтером едва ли не весь мир капитана Катля пошел ко дну. Если он упрекал себя — и очень жестоко — за потворство невинной лжи Уолтера, то достаточно много думал он и о мистере Каркере, которого никакие моря не могли вернуть, и о мистере Домби, который, как понял он теперь, находился за пределами человеческого оклика, и об Отраде Сердца, с которой нельзя было ему теперь встречаться, и о «Красотке Пэг», этой крепко сколоченной из тикового дерева и хорошо снаряженной балладе, которая налетела на скалу и разбилась в рифмованные щепки. Капитан, сидя в темной лавке, размышлял об этом уже не помня о нанесенном ему оскорблении, и с такой тоскою созерцал пол, будто перед ним и в самом деле проплывали все эти обломки.

Однако капитан не забывал о том, чтобы по мере своих сил прилично и благопристойно почтить память бедного Уолтера. Очнувшись и разбудив Роба Точильщика (который в искусственном полумраке крепко заснул), капитан вышел из дому со своим слугой, следовавшим за ним по пятам, и с ключом от входной двери, хранившимся в кармане, и отправился в один из магазинов готового платья, коими изобилует восточная часть Лондона, где тотчас купил два траурных костюма — один для Роба Точильщика, на редкость узкий, и один для самого себя, на редкость просторный. Затем он приобрел для Роба некое подобие шляпы, заслуживающей особого восхищения своей соразмерностью, удобной и пригодной как для моряка, так и для грузчика угля; этакая шляпа, обычно называемая зюйдвесткой, являлась новинкой в лавке мастера судовых инструментов. В эти одеяния, которые, по словам продавца, пришлось как раз впору, — что можно было объяснить лишь исключительно благоприятным стечением обстоятельств и фасоном, какого не запомнят старожилы, — капитан и Точильщик облеклись немедленно, явив собой зрелище, приводившее в изумление всех, кто его созерцал.

В таком преображенном виде капитан принял мистера Тутса.

— Я застигнут врасплох, приятель, — сказал капитан, — и могу только подтвердить дурные вести. Передайте молодой женщине, чтобы она осторожно довела их до сведения молодой леди, и пусть они обе никогда больше обо мне не вспоминают — не забудьте сказать об этом, — хотя я буду думать о них по ночам, когда на море бушует ураган и волны вздымаются, как горы, а вы, братец, перелистайте вашего доктора Уотса⁹⁰ и, когда отыщете это место, отметьте его.

Капитан отложил до более подходящего момента разрешение вопроса о дружбе, предложенной ему мистером Тутсом. По правде говоря, капитан Катль впал в такое уныние, что в тот день готов был отказаться от мер предосторожности, принятых против неожиданного нашествия миссис Мак-Стинджер, примириться со своей судьбой и — что бы ни случилось — оставаться невозмутимым. Однако с наступлением вечера он слегка оправился и долго рассказывал об Уолтере Робу Точильщику, не забывая время от времени похваливать внимание и преданность Роба. Роб, не краснея, выслушивал горячие похвалы капитана, сидел, тараща на него глаза, старался сочувственно хныкать, притворялся добродетельным и (как и подобает юному шпиону) запоминал каждое слово, подавая

⁹⁰ *Доктор Уотс* — доктор богословия Исаак Уотс (1671—1748), автор нескольких сборников псалмов и гимнов.

надежды сделаться со временем ловким обманщиком.

Роб улегся и быстро заснул, а капитан снял нагар со свечи, надел очки — занявшись торговлей инструментами, он счел нужным носить очки, хотя глаза у него были как у ястреба, — и развернул молитвенник на отпевании. И вот так, читая шепотом в маленькой гостиной и время от времени останавливаясь, чтобы утереть слезы, капитан честно и простодушно предал тело Уолтера пучине.

Глава XXXIII

Контрасты

Бросим взгляд на два дома; они не стоят бок о бок, они разделены большим расстоянием, хотя оба находятся неподалеку от великой столицы — Лондона.

Первый расположен в зеленой и лесистой местности близ Норвуда. Это небольшой дом; он не притязает на величину, но построен прекрасно и отделан со вкусом.

Лужайка, мягкий, отлогий склон, цветник, купы деревьев, среди которых видны грациозные ясени и ивы, оранжерея, летняя веранда с душистыми ползучими растениями, обвивающими колонны, простота наружной отделки, благоустроенные службы (все это — в небольших размерах, отвечающих нуждам простого коттеджа) наводят на мысль об изысканном комфорте, какой, вероятно, можно найти только во дворце. Это наблюдение соответствует действительности, ибо внутреннее убранство дома отличается изяществом и роскошью. Яркие цвета, превосходно подобранные, поражают глаз на каждом шагу — в мебели (ее размеры удивительно гармонируют с видом и величиной комнат), на стенах, на полу, — окрашивая и смягчая свет, врывающийся в окна и застекленные двери. Здесь есть также несколько прекрасных гравюр и картин; в причудливых закоулках и нишах много книг, а на столах игры, азартные или требующие мастерства, — фантастические шахматные фигуры, кости, трик-трак, карты и, наконец, бильярд.

И, однако, несмотря на все это богатство и комфорт, в воздухе чувствуется что-то нездоровое. Не потому ли, что ковры и подушки слишком мягки, слишком заглушают шум и те, кто здесь ходит или отдыхает, делают все как бы украдкой? Не потому ли, что гравюры и картины не увековечивают высоких мыслей или деяний, не отображают природы в поэтических пейзажах, замках и хижинах, а являют собою лишь сочетания линий и красок? Не потому ли, что книги выносят все свои богатства на переплет и, если судить по большинству заглавий, они под стать гравюрам и картинам? Не потому ли, что изобилию и красоте дома то и дело противоречит преувеличенное смирение, чуть заметно проглядывающее, которое фальшиво так же, как и лицо на слишком правдиво написанном портрете, висящем на стене, либо как его оригинал, восседающий в кресле за завтраком под этим портретом? Или, быть может, потому, что оригинал — хозяин дома, — вдыхая ежедневно этот воздух, незаметно распространяет свое влияние на все, что его окружает?

В кресле сидит мистер Каркер-заведующий. Пестрый попугай в блестящей клетке на столе тербит клювом проволоку и прогуливается вниз головой по куполу, сотрясая свое жилище и испуская пронзительные крики; но мистер Каркер не обращает внимания на птицу и с задумчивой улыбкой смотрит на картину, висящую на противоположной стене.

— Да, просто удивительное случайное сходство, — говорит он.

Быть может, это Юнона, может быть, жена Потифара или полная презрения нимфа — торговцы называли ее то так, то этак — в зависимости от спроса на рынке. На картине изображена женщина, замечательно красивая, которая, повернувшись спиной к зрителю, но обратив к нему лицо, бросает на него горделивый взгляд.

Она похожа на Эдит.

Небрежно махнув рукой в сторону картины — что это: угроза? нет, но нечто, похожее на угрозу; знак торжества? нет, но что-то похожее на торжество; воздушный поцелуй, дерзко сорвавшийся с уст? нет, но это похоже и на поцелуй, — он снова приступает к завтраку и окликает рассерженную птицу, которая, забравшись в подвешенный в клетке позолоченный обруч, напоминающий огромное обручальное кольцо, раскачивается для собственного увеселения.

Второй дом находится также за Лондоном, но в другом направлении, неподалеку от Великой северной дороги, некогда оживленной, а теперь забытой и покинутой всеми, кроме путников,

бредущих пешком. Это бедный домишко, меблированный скудно, почти нищенски, но очень чистый; а простые цветы, посаженные у крыльца, и узкий палисадник свидетельствуют о старании его украсить. Местность, где он расположен, так же мало похожа на деревню со всеми ее преимуществами, как и на город. Это не город и не деревня. Первый, подобно великану в дорожных сапогах, перешагнул через нее и опустил свою кирпично-известковую подошву далеко впереди; но на пространстве, которое перешагнул великан, расположилась какая-то гнилая деревушка, а не город; здесь, среди немногочисленных высоких труб, день и ночь извергающих дым, и среди кирпичных заводов и проселков, где скошена трава, где повалились заборы, где растет пыльная крапива, где еще сохранилась местами живая изгородь и куда еще заглядывает иной раз птицелов, хотя и клянется, что больше сюда не заглянет, — здесь находится этот второй дом.

В нем живет та, что покинула первый дом из любви к отверженному брату. С ней ушел из того дома дух искупления и отошел от хозяина единственный его ангел-хранитель; но хотя его привязанность к ней угасла после этого неблагородного и оскорбительного, по его мнению, поступка и хотя он в свою очередь окончательно ее покинул, память о ней еще жива даже в его душе. Пусть свидетельствует об этом ее цветник, куда он никогда не заходит, но который содержится, несмотря на все переделки, стоившие немало хозяину дома, в таком виде, будто она покинула его только вчера.

Хэриет Каркер изменилась с тех пор, и на ее красоту упала тень более тяжелая, чем та, какую может без посторонней помощи набросить Время, как бы ни было оно всемогуще, — тень тревоги, печали и ежедневной борьбы за жалкое существование. Но красота еще сохранилась; красота кроткая, тихая, скромная, которую нужно отыскивать, ибо она не умеет выставлять себя напоказ; если бы умела — она была бы иной.

Да. Эта хрупкая, маленькая, терпеливая женщина, одетая в чистенькое платье из простой материи и не замечательная ничем, кроме скучных, домашних добродетелей, столь мало общего имеющих с обычным представлением о героизме и величии, если только их луч не озаряет жизнь великих мира сего, — а тогда эти добродетели можно отыскать на небесах, сияющие, как созвездие, — эта хрупкая, маленькая, терпеливая женщина, опирающаяся на человека еще не старого, но изможденного и седого, — его сестра, которая одна пришла к нему, покрывшему себя позором, вложила свою руку в его и с кротким спокойствием и решимостью бодро повела его по каменистой тропе.

— Еще рано, Джон, — говорит она. — Почему ты уходишь так рано?

— Всего на несколько минут раньше, чем обычно, Хэриет. Раз у меня есть время, мне бы хотелось — такая уж причуда — пройти мимо того дома, где я с ним расстался.

— Жаль, что я его не знала и ни разу не видела, Джон.

— И это к лучшему, дорогая моя, если вспомнить о его участи.

— Но я бы не могла сожалеть о нем больше, даже если бы и знала его. Разве твоя скорбь не моя? Но если бы я его знала, может быть, ты, говоря о нем, считал бы, что я разделяю твои чувства больше, чем теперь.

— Милая моя сестра! Разве я не уверен в том, что нет такой печали или радости, которую ты не разделяла бы со мной?

— Надеюсь, что уверен, Джон, потому что так оно и есть!

— Разве могла бы ты стать мне милее или ближе, чем сейчас? — сказал ее брат. — Мне кажется, что ты его знала, Хэриет, и разделяла мои чувства к нему.

Она обвила его шею рукой, опиравшейся на его плечо, и ответила нерешительно:

— Нет, не вполне.

— Да, ты права, — сказал он. — Ты думаешь, что я не причинил бы ему вреда, если бы позволил себе ближе познакомиться с ним?

— Думаю? Нет, не думаю, а знаю.

— Богу известно, что умышленно я бы не причинил ему зла, — отозвался он, грустно покачивая головой. — Но его репутация была слишком дорога мне, чтобы я рисковал повредить ей своей дружбой. Согласна ты с этим или не согласна, дорогая моя?..

— Я не согласна, — спокойно сказала она.

— Тем не менее это правда, Хэриет, и у меня легче становится на душе, когда я, вспоминая его, думаю о том, что в ту пору меня огорчало. — Он оборвал свою печальную фразу, улыбнулся ей и сказал: — До свидания.

— До свидания, дорогой Джон! Вечером, в обычное время и на прежнем месте, я тебя встречу, как всегда, когда ты будешь возвращаться домой. До свидания.

Милое лицо, которое она обратила к брату, чтобы его поцеловать, было для него родиной, жизнью, вселенной, и вместе с тем источником его возмездия и скорби. Облако, которое он видел на этом лице, хотя и светлое и безмятежное, как сияющие облака на закате солнца, а также постоянство ее и преданность и принесенные ею в жертву довольство, радость и надежды были для него горькими плодами совершенного им преступления, вечно зрелыми и свежими.

Она стояла у двери, сжав руки, и смотрела ему вслед, пока он шел мимо дома по грязному и неровному участку, который прежде (совсем недавно) был веселой лужайкой, а теперь превратился в пустырь, где поднимались среди мусора недостроенные жалкие домишки, беспорядочно разбросанные, как будто они были посеяны здесь неискусной рукой. Каждый раз, когда он оглядывался — он оглянулся раза два, — ее милое лицо согревало его сердце, как светлый луч. Но когда он побрел дальше и уже не видел ее, у нее на глазах выступили слезы.

Она недолго мешкала в раздумье у двери. Нужно было исполнять повседневные обязанности, приниматься за повседневную работу — ибо эти заурядные люди, в которых нет ничего героического, часто работают не покладая рук, — и Хэриет вскоре занялась своими домашними делами. Когда с ними было покончено и жалкий домик вычищен и приведен в порядок, она с озабоченным видом пересчитала деньги — их было мало — и задумчиво вышла из дому купить провизию к обеду, придумывая, как бы сэкономить. Да, неприглядна жизнь таких смиренных людей, которые не только не кажутся героями своим лакеям и служанкам, но и не имеют ни лакеев, ни служанок, перед кем можно было бы покрасоваться своим геройством!

Пока она отсутствовала и никого не было в доме, к нему приблизился, но не с той стороны, куда ушел брат, джентльмен, быть может, уже не первой молодости, однако здоровый, цветущий и статный, с веселым ясным лицом, приятным и добродушным. Брови у него были еще черные, черными были и волосы, но седина уже заметно их посеребрила и красиво оттеняла широкий чистый лоб и честные глаза.

Постучав в дверь и не получив ответа, джентльмен сел на скамейку на крыльчке и стал ждать. Ловкое движение пальцев, которыми он барабанил по скамье, напевая и отбивая такт, как будто обличало в нем музыканта, а необычайное удовольствие, какое он испытывал, напевая что-то очень медлительное и тягучее, лишенное определенного мотива, казалось, обличало в нем глубокого знатока музыки.

Джентльмен еще развивал музыкальную тему, которая все кружилась, и кружилась, и кружилась вокруг себя самой, подобно штопору, который крутят на столе, и отнюдь не приближалась к концу, когда показалась Хэриет. Увидав ее, он поднялся и остался стоять со шляпой в руке.

— Вы опять пришли, сэр! — сказала она, запинаясь.

— Я осмелился это сделать, — ответил он. — Не можете ли вы уделить мне пять минут?

После недолгих колебаний она открыла дверь и впустила его в маленькую гостиную. Джентльмен уселся там напротив нее, придвинул свой стул к столу и сказал голосом, вполне соответствовавшим его внешности, и с обаятельным простодушием:

— Мисс Хэриет, вы не можете быть гордой. В тот день, когда я зашел сюда, вы дали мне понять, что вы горды. Простите, если я скажу, что я смотрел вам в лицо, когда вы это говорили, и оно противоречило вашим словам. И снова я смотрю вам в лицо, — добавил он, ласково коснувшись ее руки, — и оно противоречит им все больше и больше.

Она была слегка смущена и взволнована и ничего не могла ответить.

— Ваше лицо — зеркало правдивости и кротости, — сказал посетитель. — Простите, что я доверился ему и вернулся.

Тон, каким были сказаны эти слова, делал их совершенно непохожими на комплимент. Тон был такой чистосердечный, серьезный, сдержанный и искренний, что она наклонила голову, как будто хотела и поблагодарить его и признать его искренность.

— Разница лет, — сказал джентльмен, — и честность моих намерений дают, полагаю я, право говорить откровенно. И я это делаю; потому-то вы и видите меня вторично.

— Бывает особая гордость, сэр, — помолчав, отозвалась она, — или то, что может быть принято за гордость, но в действительности это просто чувство долга. Надеюсь, всякая другая гордость мне

чужда.

— А гордость собой? — спросил он.

— И гордость собой.

— Но... простите... — нерешительно начал джентльмен. — А что вы скажете о вашем брате Джоне?

— Я горжусь его любовью, — сказала Хэриет, глядя в упор на своего гостя и мгновенно меняя тон; хотя он оставался по-прежнему сдержанным и спокойным, но была в нем глубокая, страстная серьезность, благодаря которой даже дрожащий голос свидетельствовал о ее твердости. — И горжусь им! Сэр, вы, который каким-то образом узнали историю его жизни и повторили ее мне, когда были здесь в последний раз...

— Только для того, чтобы завоевать ваше доверие, — перебил джентльмен. — Ради бога, не подумайте...

— Я уверена, — сказала она, — что вы заговорили о ней с добрым и похвальным намерением. В этом я совершенно уверена.

— Благодарю вас, — отозвался гость, быстро пожав ей руку. — Я вам очень признателен. Уверяю вас, вы отдаете мне должное. Вы начали говорить, что я, знающий историю жизни Джона Каркера...

— Вы можете обвинить меня в гордыне, — продолжала она, — когда я говорю, что горжусь им. Да, горжусь. Вам известно, что было время, когда я им не гордилась — не могла гордиться, — но время это прошло. Унижение в течение многих лет, безропотное искупление вины, искреннее раскаяние, мучительное сожаление, страдания, которые, как мне известно, причиняет ему даже моя любовь, так как он считает, что я заплатила за нее дорогой ценой, хотя богу известно, что я была бы совершенно счастлива, если бы только он перестал горевать!.. О сэр, после всего, что я видела, умоляю вас, если вы будете облечены властью и кто-нибудь провинится перед вами, никогда, ни за какую провинность не налагайте кары, которую нельзя отменить, пока есть бог на небе, заставляющий изменяться сердца, им созданные.

— Ваш брат стал другим человеком, — сочувственно отозвался джентльмен. — Уверяю вас, что я в этом не сомневаюсь.

— Он был другим человеком, когда совершил преступление, — сказала Хэриет. — Он другой человек сейчас и стал самим собой, поверьте мне, сэр!

— Но мы живем по-прежнему, — сказал посетитель, рассеянно потерев лоб рукой и задумчиво барабанил пальцами по столу, — по-прежнему, не отступая от заведенного порядка, изо дня в день, и не можем ни заметить, ни проследить этих перемен. Они... они относятся к метафизике. Нам... нам не хватает для них досуга. У нас... у нас не хватает мужества. Этому не обучают в школах и колледжах, и мы не знаем, как за это взяться. Одним словом, мы чертовски деловые люди, — сказал джентльмен, подходя к окну и снова возвращаясь и усаживаясь с видом чрезвычайно недовольным и раздосадованным.

— Право же, — продолжал джентльмен, опять потерев себе лоб и барабанил пальцами по столу, — у меня есть основания полагать, что такая однообразная жизнь, изо дня в день, может примирить человека с чем угодно. Ничего не видишь, ничего не слышишь, ничего не знаешь; Это факт. Мы принимаем все, как нечто само собой разумеющееся, так и живем, и в конце концов все, что мы делаем — хорошее, дурное или никакое, — мы делаем по привычке. Только на привычку я и могу сослаться, когда придется мне оправдываться на смертном одре перед своею совестью. «Привычка, — скажу я. — Я был глух, нем, слеп и неспособен на миллион вещей по привычке». — «Действительно, это очень деловое объяснение, мистер такой-то, — скажет Совесть, — но здесь оно не поможет!»

Джентльмен встал, снова подошел к окну и вернулся, не на шутку взволнованный, хотя это волнение и выразилось своеобразно.

— Мисс Хэриет, — сказал он, садясь на стул, — я бы хотел, чтобы вы разрешили мне быть вам полезным. Посмотрите на меня: вид у меня должен быть честный, ибо я знаю, что сейчас я честен. Не так ли?

— Да, — с улыбкой ответила она.

— Я верю всему, что вы сказали, — продолжал он. — Я горько упрекаю себя за то, что двенадцать лет я мог знать и видеть это и знать и видеть вас, и, однако, не знал и не видел. Вряд ли мне

толком известно, как я вообще пришел сюда — я, раб не только моих собственных привычек, но привычек других людей! Но теперь, когда я все-таки пришел, разрешите мне сделать что-нибудь для вас. Я прошу со всею честностью и уважением. Вы удивительным образом пробуждаете во мне и то и другое. Разрешите мне что-нибудь сделать.

— Мы ни в чем не нуждаемся, сэр.

— Вряд ли, — возразил джентльмен. — Думаю, что это не совсем так. Есть кое-какие маленькие радости, которые могли бы скрасить вашу жизнь и его. И его! — повторил он, полагая, что произвел на нее впечатление. — Я по привычке своей думал, что для него ничего нельзя сделать; что все решено и покончено; словом — вовсе об этом не думал. Теперь я рассуждаю иначе. Разрешите мне сделать что-нибудь для него. Да и вам, — добавил посетитель с заботливой нежностью, — следует хорошенько следить за своим здоровьем ради него, а я опасуюсь, что оно пошатнулось.

— Кто бы вы ни были, сэр, — отозвалась Хэриет, подняв на него глаза, — я вам глубоко благодарна. Я чувствую, что вы хотите сделать нам добро и никаких других целей не преследуете. Но мы уже много лет ведем такую жизнь, и отнять у брата хоть частицу того, что сделало его таким дорогим для меня и доказало его благородную решимость, умалить в какой-то мере его заслугу, заключающуюся в том, что он в одиночестве, без всякой помощи, никому неведомый и всеми забытый, заглаживает свою вину, — значило бы лишить утешения и его и меня, когда для каждого из нас пробьет тот час, о котором вы только что говорили. Эти слезы выражают мою благодарность вам лучше, чем любые слова. Прошу вас, верьте этому!

Джентльмен был растроган и поднес к губам протянутую ему руку так, как мог бы любящий отец поцеловать руку примерной дочери, но с большим благоговением.

— Если настанет день, — сказала Хэриет, — когда он будет отчасти восстановлен в том положении, которого лишился...

— Восстановлен? — с живостью воскликнул джентльмен. — Как можно на это надеяться! В чьей власти его восстановить? Разумеется, я не ошибаюсь, полагая, что завоевание им бесценного сокровища, благословения всей его жизни, является одной из причин вражды к нему его брата.

— Вы касаетесь предмета, о котором никогда не бывает речи между нами. Даже между нами, — сказала Хэриет.

— Прошу прощения, — сказал гость. — Мне бы следовало это знать. Умоляю вас, забудьте об этих неуместных словах. А теперь я не смею больше настаивать, ибо я не уверен, вправе ли я это делать, — хотя, бог знает, быть может, даже это сомнение тоже является одной из привычек, — добавил джентльмен, снова с безнадежным видом потирая лоб. — Разрешите же мне, человеку чужому и в то же время не чужому, просить вас о двух одолжениях.

— О каких? — осведомилась она.

— Если по какой-нибудь причине вы измените свое решение, позвольте мне быть вашей правой рукой. Тогда я назову вам свое имя; сейчас это бесполезно, да и вообще имя мое негромкое.

— Выбор друзей у нас не так велик, чтобы мне приходилось раздумывать, — ответила она со слабой улыбкой. — Я могу это обещать.

— Разрешите мне также иногда, ну, скажем, по понедельникам, в девять утра, — еще одна привычка, должно быть, я деловой человек, — сказал джентльмен, обнаруживая странное желание попенять за это самому себе, — разрешите мне проходить мимо вашего дома, чтобы увидеть вас в дверях или в окне. Я не прошу позволения заходить к вам, хотя в этот час вашего брата нет дома. Я хочу только знать для собственного успокоения, что вы здоровы, и, не навязываясь вам, напоминать своей особой, что у вас есть друг — немолодой друг, который уже начал сесть и скоро будет совсем седым, друг, всегда готовый вам служить.

Милое лицо доверчиво обратилось к нему. Оно давало согласие.

— Я полагаю, как и в прошлый раз, — вставая, сказал джентльмен, — что вы не намерены сообщить о моем визите Джону Каркеру из боязни, как бы он не был огорчен тем, что мне известна его история. Я этому рад, потому что это выходит из обычной колеи и... опять привычка! — воскликнул джентльмен, нетерпеливо оборвав фразу. — Как будто нет лучшего пути, чем обычная колея!

С этими словами он повернулся к двери, вышел со шляпой в руке на крылечко и попрощался с Хэриет с тем безграничным уважением и непритворным участием, какие не даются никаким воспитанием, внушают самое глубокое доверие и могут излиться только из чистого сердца.

Много полузабытых чувств пробудило это посещение в душе сестры. Так давно ни один гость не переступал порога их дома, так давно ни один сочувственный голос не звучал печальною музыкой в ее ушах, что лицо незнакомца в течение многих часов стояло у нее перед глазами, когда она сидела с шитьем у окна; и ей казалось, что она снова и снова слышит его слова. Он коснулся той струны, от прикосновения, к которой вся жизнь ее раскрывалась; и если она переставала думать о нем на короткое время, то лишь потому, что образ его заслоняли другие образы, связанные с одним воспоминанием, на котором зиждилась вся эта жизнь.

Размышляя и работая, то принуждая себя подолгу заниматься шитьем, то рассеянно опуская работу на колени, чтобы отдаться потоку мыслей, Хэриет Каркер не заметила, как пролетели часы. Небо, ясное и чистое утром, постепенно затянулось тучами; подул резкий ветер; полил дождь, и густой туман, спустившись на далекий город, скрыл его из виду.

В такие дни она часто посматривала с состраданием на путников, которые брели в Лондон по большой дороге мимо ее дома, брели со стертymi ногами и усталые, пугливо глядя на огромный город впереди, как бы предчувствуя, что там их нищета будет лишь каплей в море или песчинкой на морском берегу; они шли дрожа, съжившись под беспощадным ветром, и казалось, будто сами стихии их отвергают. День за днем плелись эти странники, но всегда, как ей казалось, в одном направлении — всегда по дороге к городу. Поглощенные его необъятностью, к которой их словно притягивали какие-то злые чары, они никогда не возвращались. Добыча для больниц, кладбищ, тюрем, реки, лихорадки, безумия, порока и смерти! Они шли навстречу чудовищу, ревушему вдали, и погибали.

Выл пронизывающий ветер, шел дождь, и мрачно хмурился день, когда Хэриет, оторвав взгляд от работы, которою долго занималась с неослабным упорством, увидела одного из этих путников.

Женщина. Одинокaя женщина лет тридцати, высокая, статная, красивая, в нищенской одежде; грязь, подобранная на многих проселочных дорогах во всякую погоду — пыль, мел, глина, песок, — облепила под проливным дождем ее серый плащ; она была без шляпы, и ее пышные черные волосы были защищены от дождя только рваным носовым платком, концы которого, вместе с прядями волос развеваясь на ветру, падали ей на глаза, и она должна была часто останавливаться, чтобы откинуть их назад и бросить взгляд на дорогу.

Как раз в такой миг ее заметила Хэриет. Подняв обе руки к загоревшему лбу и проведя ими по щекам, женщина отстранила мешавшие ей пряди и открыла лицо, отличавшееся красотой смелой и презрительной; в нем было дерзкое и порочное равнодушие к чему-то более важному, чем погода, небрежное безразличие ко всему, что послало на ее непокрытую голову небо и земля; и это выражение, и нищета ее, и одиночество тронули сердце Хэриет, ее ближней. Она задумалась о том, что было извращено и опошлено не только в наружности, но и в душе этой женщины; о скромной прелести ума, огрубевшего и ожесточившегося не менее, чем тонкие и нежные черты; о многих дарах творца, подхваченных вихрем, так же как эти включенные волосы; о загубленной красоте под хлещущим ветром и надвигающейся ночью.

Размышляя об этом, она не отвернулась с брезгливым негодованием — слишком многие из сострадательных и мягких женщин делают это слишком часто, — но пожалела ее.

Ее падшая сестра шла, глядя прямо перед собой, стараясь пронизать острым взором туман, которым был окутан город, и непрестанно посматривая по сторонам с недоумевающим и неуверенным видом человека, незнакомомого с местностью. Хотя походка ее была твердая и решительная, она устала и после недолгих колебаний присела на кучу камней, не пытаясь укрыться от дождя.

Она сидела как раз напротив дома. Опустив на мгновение голову на обе руки, она снова подняла ее, и глаза ее встретились с глазами Хэриет.

В одну секунду Хэриет очутилась у двери; женщина, повинувшись зову, встала и медленно приблизилась к ней, во вид у нее был не очень дружелюбный.

— Почему вы отдыхаете под дождем? — мягко спросила Хэриет.

— Потому что мне больше негде отдохнуть, — последовал ответ.

— Но тут поблизости можно найти кров. Вот здесь, — указала она на крылечко, — лучше, чем там, где вы были. Отдохните здесь.

Женщина посмотрела на нее недоверчиво и удивленно, но ничем не проявляя своей благодарности; она уселась и сняла стоптаный башмак, чтобы вытряхнуть забившиеся в него мелкие камешки и пыль; нога была рассечена и окровавлена.

Когда Хэриет вскрикнула от жалости, женщина с презрительной и недоверчивой улыбкой подняла на нее глаза.

— Какое значение имеет израненная нога для такой, как я? — сказала она. — И какое значение имеет моя израненная нога для такой, как вы?

— Войдите в дом и обмойте ее, — кротко сказала Хэриет, — а я вам дам чем перевязать.

Женщина схватила ее руку, притянула к себе и, прижав к своим глазам, заплакала. Не так, как плачут женщины, но как плачет мужчина, случайно поддавшийся слабости, — прерывисто дыша и стараясь оправиться, что свидетельствовало о том, как несвойственно было ей такое волнение.

Она позволила ввести себя в дом и, по-видимому, скорее из благодарности, чем из жалости позаботиться о себе, обмыла и перевязала натруженную ногу. Потом Хэриет уделила ей часть своего скудного обеда, и когда та поела, впрочем очень немного, Хэриет попросила ее перед уходом (так как женщина намеревалась идти дальше) высушить платье у камина. И снова скорее из благодарности, чем из заботливого отношения к самой себе, она села перед камином, сняла платок с головы и, распустив свои густые мокрые волосы, спускавшиеся ниже талии, стала сушить их, вытирая ладонями и глядя на огонь.

— Вероятно, вы думаете о том, что когда-то я была красива, — сказала она, неожиданно подняв голову. — Думаю, что была; да, конечно, была. Смотрите!

Грубо, обеими руками она приподняла свои волосы, вцепившись в них так, будто хотела вырвать их с корнем, потом снова их опустила и закинула за плечо, словно это был клубок змей.

— Вы чужая в этих краях? — спросила Хэриет.

— Чужая, — отозвалась она, останавливаясь после каждой короткой фразы и глядя на огонь. — Да. Вот уже десять или двенадцать лет как чужая. У меня не было календаря там, где я жила. Десять или двенадцать лет. Я не узнаю этой местности. Она очень изменилась с той поры, как я отсюда уехала.

— Вы были далеко отсюда?

— Очень далеко. Нужно месяцы плыть по морю, и все-таки будет еще далеко. Я была там, куда ссылают каторжников, — добавила она, глядя в упор на свою собеседницу. — Я сама была одной из них.

— Бог да поможет вам и да простит вас! — последовал кроткий ответ.

— Ах, бог да поможет мне и да простит меня! — отозвалась та, кивая головой и не спуская глаз с огня. — Если бы люди помогали кое-кому из нас чуточку больше, быть может, и бог поскорее простил бы всех нас.

Но ее растрогал серьезный тон и милое лицо, в котором было столько нежности и никакого осуждения, и она добавила не так резко:

— Должно быть, мы с вами ровесницы. Если я старше вас, то не больше, чем на год, на два. О, подумайте об этом!

Она раскинула руки, словно самый вид ее должен был показать как пала она нравственно, и, уронив их, понурила голову.

— Нет такого проступка, который нельзя было бы загладить. Никогда не поздно исправить-ся, — сказала Хэриет. — Вы раскаиваетесь...

— Нет! — возразила та. — Я не раскаиваюсь. Не могу раскаиваться. Я не из такой породы. Почему я должна раскаиваться, когда все живут, как ни в чем не бывало? Мне говорят о раскаянии. А кто раскаивается в том зле, какое причинили мне?

Она встала, повязала голову платком и повернулась к выходу.

— Куда вы идете? — спросила Хэриет.

— Туда! — ответила она, указывая рукой. — В Лондон.

— Есть у вас там какое-нибудь пристанище?

— Кажется, у меня есть мать. Она заслуживает называться матерью не больше, чем ее жилище — пристанищем, — ответила та с горьким смехом.

— Возьмите! — воскликнула Хэриет, сунув ей в руку деньги. — Старайтесь не сбиться с пути. Здесь очень мало, но, быть может, на один день это отвратит от вас беду.

— Вы замужем? — тихо спросила та, взяв деньги.

— Нет. Я живу здесь с братом. Мы мало что можем уделить бедным, иначе я дала бы вам

больше.

— Вы позволите мне поцеловать вас?

Задав этот вопрос, женщина, принявшая от нее милостыню, не видя на лице ее ни гнева, ни отращения, наклонилась к ней и прижалась губами к ее щеке. Снова она схватила ее руку и прикрыла ею свои глаза; потом она ушла.

Ушла в надвигающуюся ночь, навстречу воющему ветру и хлещущему дождю, направляясь к окутанному туманом городу, туда, где мерцали неясные огни; и ее черные волосы и концы небрежно повязанного платка развевались вокруг ее смелого лица.

Глава XXXIV Другие мать и дочь

В безобразной и мрачной комнате старуха, тоже безобразная и мрачная, прислушивалась к ветру и дождю и, скорчившись, грелась у жалкого огня. Предаваясь этому последнему занятию с большим тщанием, чем первому, она не меняла позы; только тогда, когда случайные дождевые капли падали, шипя, на тлеющую золу, она поднимала голову, вновь обращая внимание на свист ветра и шум дождя, а потом постепенно опускала ее все ниже, ниже и ниже, погружаясь в унылые размышления; ночные шумы сливались для нее в однообразный гул, напоминающий гул моря, когда он едва-едва достигает слуха того, кто сидит в раздумье на берегу.

В комнате света не было, кроме отблеска, падавшего от очага. Время от времени, злобно вспыхивая, словно глаза дремлющего свирепого зверя, огонь озарял предметы, отнюдь не нуждавшиеся в лучшем освещении. Куча тряпья, куча костей, жалкая постель, два-три искалеченных стула, или, вернее, табурета, грязные стены и еще более грязный потолок — вот все, на что падал дрожащий отблеск. Когда старуха, чья гигантская и искаженная тень виднелась на стене и на потолке, сидела вот так, сгорбившись над расшатанными кирпичами, замыкавшими огонь, разложенный в сыром очаге — печки здесь не было, — казалось, будто она, перед неким алтарем ведьмы, ждет счастливого предзнаменования. И если бы ее шамкающий рот и дрожащий подбородок не двигались слишком часто и быстро по сравнению с неторопливым мерцанием пламени, можно было подумать, что это только иллюзия, порожденная светом, который, разгораясь и угасая, падал на лицо, такое же неподвижное, как тело.

Если бы Флоренс оказалась в этой комнате и взглянула на ту, которая, скорчившись у камина, отбрасывала тень на стену и потолок, она с первого же взгляда узнала бы Добрую миссис Браун, несмотря на то, что, быть может, детское ее воспоминание об этой ужасной старухе отражало истину столь же искаженно и несоразмерно, как тень на стене. Но Флоренс здесь не было, и Добрая миссис Браун оставалась неузнанной и сидела, никем не примеченная, устремив взгляд на огонь.

Встрепенувшись от шипенья более громкого, чем обычно — струйки дождевой воды проникли в дымоход, — старуха нетерпеливо подняла голову и снова стала прислушиваться. На этот раз она не опустила головы, потому что кто-то толкнул дверь и чьи-то шаги послышались в комнате.

— Кто это? — оглянувшись, спросила она.

— Я принесла вам вести, — раздался в ответ женский голос.

— Вести? Откуда?

— Из чужих стран.

— Из-за океана? — вскочив, крикнула старуха.

— Да, из-за океана.

Старуха торопливо сгребла в кучу горящее угли и подошла вплотную к своей гостье, которая закрыла за собой дверь и остановилась посреди комнаты; опустив руку на ее промокший плащ, старуха повернула женщину так, чтобы свет падал прямо на нее. Она обманулась в своих ожиданиях, каковы бы они ни были, потому что выпустила из рук плащ и сердито вскрикнула от досады и огорчения.

— В чем дело? — спросила гостья.

— О-о! О-о! — подняв голову, отчаянно завывала старуха.

— В чем дело? — повторила гостья.

— Это не моя дочка! — воскликнула старуха, всплескивая руками и заламывая их над головой. — Где моя Элис? Где моя красавица дочь? Они ее уморили!

— Они еще не уморили ее, если ваша фамилия Марвуд, — сказала гостья.

— Значит, ты видела мою дочку? — вскричала старуха. — Она написала мне?

— Она сказала, что вы не умеете читать, ответила та.

— Не умею! — ломая руки, воскликнула старуха.

— У вас здесь нет свечи? — спросила гостья, окидывая взглядом комнату.

Старуха, шамкая, трясая головой, бормоча что-то о своей красавице дочке, достала свечу из шкафа, стоявшего в углу, и, сунув ее дрожащей рукой в камин, зажгла не без труда и поставила на стол. Грязный фитиль сначала горел тускло, утопая в оплывающем сале; когда же мутные и ослабевшие глаза старухи смогли что-то разглядеть при этом свете, гостья уже сидела, скрестив руки и опустив глаза, а платок, которым была повязана ее голова, лежал подле нее на столе.

— Значит, она, моя дочка Элис, велела что-то мне передать? — прошамкала старуха, подождав несколько секунд. — Что она говорила?

— Глядите, — сказала гостья.

Старуха повторила это слово испуганно, недоверчиво и, заслонив глаза от света, поглядела на говорившую, окинула взором комнату и снова поглядела на женщину.

— Элис сказала: «Пусть мать поглядит еще раз», — и женщина устремила на нее пристальный взгляд.

Снова старуха окинула взором комнату, посмотрела на гостью и еще раз окинула взором комнату. Торопливо схватив свечу и поднявшись с места, она поднесла ее к лицу гостьи, громко вскрикнула и, поставив свечу, бросилась на шею пришедшей.

— Это моя дочка! Это моя Элис! Это моя красавица дочь, она жива и вернулась! — визжала старуха, раскачиваясь и прижимаясь к груди дочери, холодно отвечавшей на ее объятия. — Это моя дочка! Это моя Элис! Это моя красавица дочь, она жива и вернулась! — взвизгнула она снова, упав перед ней на колени, обхватив ее ноги, прижимаясь к ним головой и по-прежнему раскачиваясь из стороны в сторону с каким-то неистовством.

— Да, матушка, — отозвалась Элис, наклоняясь, чтобы поцеловать ее, но даже в этот момент стараясь освободиться из ее объятий. — Наконец-то я здесь! Пустите, матушка, пустите! Встаньте и сядьте на стул. Что толку валяться на полу?

— Она вернулась еще более жестокой, чем ушла! — воскликнула мать, глядя ей в лицо и все еще цепляясь за ее колени. — Ей нет до меня дела! После стольких лет и всех моих мучений!

— Ну что же, матушка! — сказала Элис, встряхивая свои рваные юбки, чтобы избавиться от старухи. — Можно посмотреть на это и с другой стороны. Годы прошли и для меня так же, как для вас, и мучилась я так же, как и вы. Встаньте! Встаньте!

Мать поднялась с колен, заплакала, стала ломать руки и, стоя поодаль, не спускала с нее глаз. Потом она снова взяла свечу и, обойдя вокруг дочери, осмотрела ее с головы до ног, тихонько хныча. Затем поставила свечу, опустилась на стул и, похлопывая в ладоши, словно в такт тягучей песне, раскачиваясь из стороны в сторону, продолжала хныкать и причитать.

Элис встала, сняла мокрый плащ и положила его в сторону. Потом снова села, скрестила руки и, глядя на огонь, молча, с презрительной миной слушала невнятные сетования своей старой матери.

— Неужели вы надеялись, матушка, что я вернусь такою же молодой, какой уехала? — сказала она наконец, бросив взгляд на старуху. — Неужели воображали, что жизнь, которую вела я в чужих краях, красит человека? Право же, можно это подумать, слушая вас!

— Не в этом дело! — воскликнула мать. — Она знает!

— Так в чем же дело? — отозвалась дочь. — Лучше бы вы поскорей успокоились, матушка, ведь уйти мне легче, чем прийти.

— Вы только послушайте ее! — вскричала старуха. — После всех этих лет она грозит опять меня покинуть в ту самую минуту, когда только что вернулась!

— Повторяю вам, матушка, годы прошли и для меня так же, как для вас, — сказала Элис. — Вернулась еще более жестокой? Конечно, вернулась еще более жестокой. А вы чего ждали?

— Более жестокой ко мне! К собственной матери! — воскликнула старуха.

— Не знаю, кто первый ожесточил мое сердце, если не моя дорогая мать, — отозвалась та; она

сидела, скрестив руки, сдвинув брови и сжав губы, как будто решила во что бы то ни стало задушить в себе все добрые чувства. — Выслушайте несколько слов, матушка. Если сейчас мы пойдем друг друга, может быть, у нас не будет больше ссор. Я ушла девушкой, а вернулась женщиной. Не очень-то я старалась выполнять свой долг, прежде чем ушла отсюда, и — будьте уверены — такую же я вернулась. Но вы-то помните о своем долге по отношению ко мне?

— Я? — вскричала старуха. — По отношению к родной дочке? Долг матери по отношению к ее собственному ребенку?

— Это звучит странно, не правда ли? — отозвалась дочь, холодно обратив к ней свое строгое, презрительное, дерзкое и прекрасное лицо. — Но за те годы, какие я провела в одиночестве, я иногда об этом думала, пока не привыкла к этой мысли. В общем, я слыхала немало разговоров о долге; но всегда речь шла о моем долге по отношению к другим. Иной раз — от нечего делать — я задавала себе вопрос, неужели ни у кого не было долга по отношению ко мне.

Мать шамкала, жевала губами, трясла головой, но неизвестно, было ли это выражением гнева, раскаяния, отрицания или же телесной немощью.

— Была девочка, которую звали Элис Марвуд, — со смехом сказала дочь, оглядывая себя с жестокой насмешкой, — рожденная и воспитанная в нищете, никому на свете не нужная. Никто ее не учил, никто не пришел ей на помощь, никто о ней не заботился.

— Никто! — повторила мать, указывая на себя и ударяя себя в грудь.

— Единственная забота, какую она видела, — продолжала дочь, — заключалась в том, что иногда ее били, морили голодом и ругали; а без таких забот она, может быть, кончила бы не так скверно. Она жила в таких вот домах, как этот, и на улицах с такими же жалкими детьми, как она сама; и, несмотря на такое детство, она стала красавицей. Тем хуже для нее! Лучше бы ее всю жизнь травили и терзали за уродство!

— Продолжай, продолжай! — воскликнула мать.

— Я продолжаю, — отозвалась дочь. — Была девушка, которую звали Элис Марвуд. Она была хороша собой. Ее слишком поздно стали учить, и учили дурно. О ней слишком заботились, ее слишком муштровали, ей слишком помогали, за ней слишком следили. Вы ее очень любили — в ту пору вы были обеспечены. То, что случилось с этой девушкой, случается каждый год с тысячами. Это было только падение, и для него она родилась.

— После всех этих лет! — захныкала старуха. — Вот с чего начинается моя дочка!

— Она скоро кончит, — сказала дочь. — Была преступница, которую звали Элис Марвуд, еще молодая, но уже покинутая и отверженная. И ее судили и вынесли приговор. Ах, боже мой, как рассуждали об этом джентльмены в суде! И как внушительно говорил судья о ее долге и о том, что она употребила во зло дары природы, как будто он не знал лучше других, что эти дары были для нее проклятием! И как поучительно он толковал о сильной руке закона! Да, не очень-то сильной оказалась эта рука, чтобы спасти ее, когда она была невинной и беспомощной жалкой малюткой! И как это все было торжественно и благочестиво! Будьте уверены, я часто думала об этом с тех пор.

Она крепче скрестила на груди руки и рассмеялась таким смехом, по сравнению с которым вой старухи показался музыкой.

— Итак, Элис Марвуд сослала за океан, матушка, — продолжала она, — и отправили обучаться долгу туда, где в двадцать раз меньше помнят о долге и где в двадцать раз больше зла, порока и бесчестья, чем здесь. И Элис Марвуд вернулась женщиной. Такой женщиной, какой надлежало ей стать после всего этого. В свое время опять раздадутся, по всей вероятности, торжественные и красивые речи, опять появится сильная рука, и тогда настанет конец Элис Марвуд. Но джентльменам нечего бояться, что они останутся без работы! Сотни жалких детей, мальчиков и девочек, подрастают на любой из тех улиц, где живут эти джентльмены, и потому они будут делать свое дело, пока не сколотят себе состояние.

Старуха оперлась локтями на стол и, прикрыв лицо обеими руками, притворилась очень огорченной, или, быть может, в самом деле была огорчена.

— Ну вот! Я кончила, матушка, — сказала дочь, потрянув головой, как бы желая прекратить этот разговор. — Я сказала достаточно. Что бы мы с вами ни делали, но о долге мы больше говорить не будем. Думаю, что у вас детство было такое же, как у меня. Тем хуже для нас обеих. Я не хочу обвинять вас и не хочу защищать себя; зачем мне это? С этим покончено давным-давно. Но теперь я

женщина, не девочка, и нам с вами незачем выставлять напоказ свою жизнь, как это сделали те джентльмены в суде. Нам она хорошо известна.

Лицо и фигура этой падшей, опозоренной женщины отличались той красотой, какую даже в минуты самые для нее невыгодные не мог бы не заметить и невнимательный зритель. Когда она погрузилась в молчание, лицо ее, прежде искаженное волнением, стало спокойным, а в темных глазах, устремленных на огонь, угасло вызывающее выражение, уступив место блеску, смягченному чем-то похожим на скорбь; потускневшее сияние падшего ангела озарило на мгновение ее нищету и усталость.

Мать, следившая за ней молча, осмелилась потихоньку протянуть к ней через стол иссохшую руку и, убедившись, что дочь не отстранилась, коснулась ее лица и погладила по голове. Почувствовав, кажется, что эти ласки старухи были искренни, Элис не шевелилась; и та, осторожно приблизившись к дочери, заплела ей волосы, сняла с нее мокрые башмаки, если только можно было назвать их башмаками, накинула ей на плечи какую-то сухую тряпку и смиренно суетилась вокруг нее, постепенно узнавая прежние ее черты и выражение лица и бормоча себе что-то под нос.

— Я вижу, вы очень бедны, матушка, — сказала Элис, которая сидела так довольно долго и, наконец, окинула взглядом комнату.

— Ужасно бедна, милочка, — ответила старуха.

Она восхищалась дочерью и боялась ее. Быть может, ее восхищение, каким бы оно ни было, зародилось давно, когда в разгар унижительной борьбы за жизнь она впервые заметила красоту дочери. Быть может, ее страх имел какое-то отношение к тому прошлому, о котором она только что слышала. Во всяком случае, она стояла покорно и почтительно перед дочерью и жалобно понурила голову, словно умоляя избавить ее от новых упреков.

— Чем вы жили?

— Милостыней, дорогая моя.

— И воровством?

— Иногда. Или понемножку. Я стара и пуглива. Иной раз, милочка, я отнимала какую-нибудь мелочь у детей, но не часто. Я бродила по окрестностям, милая, и кое-что знаю. Я следила.

— Следили? — повторила дочь, взглянув на нее.

— Я выслеживала одну семью, — сказала мать еще более смиренно и покорно.

— Какую семью?

— Тише, милочка! Не сердись на меня. Я это делала из любви к тебе. В память о моей бедной дочке за океаном!

Она заискивающе протянула руку, потом прижала ее к губам.

— Много лет назад, милочка, — продолжала она, робко поглядывая на внимательное и строгое лицо, обращенное к ней, — я встретила случайно его маленькую дочку.

— Чью дочку?

— Не его, Элис, милая. Не смотри на меня так. Не его! Ты ведь знаешь, у него нет детей.

— Так чью же? — спросила дочь. — Вы сказали — «его».

— Тише, Эли! Ты меня пугаешь, милочка. Мистера Домби — всего только мистера Домби. С тех пор, дорогая, я их часто видела. Я видела его.

Произнеся это последнее слово, старуха съезжилась и попятилась, словно испугалась, что дочь ее ударит. Но хотя лицо дочери было обращено к ней и горело безумным гневом, она сидела неподвижно и только все крепче и крепче прижимала руки к груди, словно хотела их удержать, чтобы не причинить вреда себе или другим в слепом порыве бешенства, внезапно овладевшего ею.

— А он-то и не подозревал, кто я такая! — сказала старуха, грозя кулаком.

— Ему никакого дела до этого не было! — сквозь зубы пробормотала дочь.

— Но встретились мы лицом к лицу, — сказала старуха. — Я говорила с ним, и он говорил со мной. Я сидела и смотрела ему вслед, когда он шел по длинной аллее; и с каждым его шагом я проклинала его душу и тело.

— Это не помешает ему благоденствовать, — презрительно отозвалась дочь.

— Да, он благоденствует, — сказала мать.

Она замолчала потому, что лицо сидевшей перед ней дочери было искажено неистовой злобой. Казалось, грудь ее готова разорваться от ярости. Усилия, которые она делала, чтобы сдержать ее и

обуздать, были не менее страшны, чем сама ярость, и не менее красноречиво свидетельствовали о необузданном нраве этой женщины. Но ее усилия увенчались успехом, и, помолчав, она спросила:

— Он женат.

— Нет, милочка, — сказала мать.

— Собирается жениться?

— Нет, милочка, насколько мне известно. Но его хозяин и друг женился. О, мы можем пожелать ему счастья! Мы можем им всем пожелать счастья! — вскричала старуха в сильном возбуждении. — Нам всем эта женитьба принесет счастье. Попомни мои слова.

Дочь смотрела на нее и ждала объяснения.

— Но ты промокла и устала, тебе хочется есть и пить, — сказала мать, ковыляя к шкафу. — А здесь мало что найдется, и тут тоже, — она опустила руку в карман и выложила на стол несколько полупенсовиков, — да, тут тоже. Элис, милочка, у тебя нет денег?

Алчное, хитрое, напряженное выражение, появившееся на лице у старухи, когда она задавала этот вопрос и следила за тем, как дочь достает из-за пазухи недавно полученный подарок, бросило свет на отношения между матерью и дочерью едва ли менее яркий, чем слова, сказанные раньше дочерью.

— Это все? — спросила мать.

— Больше у меня ничего нет. И этого бы не было, если бы мне не подали милостыню.

— Если бы не подали милостыню, дорогая? — повторила старуха, жадно склоняясь над столом, чтобы посмотреть на деньги, как будто не доверяя дочери, которая все еще держала их в руке. — Гм! Шесть и шесть — двенадцать, и шесть — восемнадцать... так... Нужно потратить их, и потратить расчетливо. Пойду куплю чего-нибудь поесть и выпить.

С большим проворством, чем можно было ожидать от нее, судя по виду — ибо старость и нищета сделали ее не менее дряхлой, чем уродливой, — она завязала дрожащими руками ленты старой шляпки и завернулась в изодранную шаль, все с тою же алчностью глядя на деньги в руке дочери.

— Какое счастье принесет нам эта женитьба, матушка? — спросила дочь. — Вы мне так и не сказали.

— Счастье для нас в том, — ответила та, дрожащими пальцами оправляя шаль, — что любви там вовсе нет, моя милочка, но зато много гордости и ненависти. Счастье в том, что между ними нелады и борьба, и им грозит опасность — опасность, Элис!

— Какая опасность?

— Я видела то, что видела! Я знаю то, что знаю! — захихикала мать. — Пусть кое-кто смотрит в оба! Пусть кое-кто остерегается. Моя дочка, быть может, еще попадет в хорошее общество.

Затем, видя, что дочь, смотревшая на нее серьезно и недоумевающе, невольно сжала руку, в которой были деньги, старуха засуетилась, чтобы поскорее их получить, и торопливо добавила:

— Ну я пойду куплю чего-нибудь. Пойду куплю чего-нибудь.

Пока она стояла с протянутой рукой перед дочерью, та, взглянув еще раз на деньги, поцеловала их, прежде чем с ними расстаться.

— Как, Эли! Ты их целуешь? — хихикнула старуха. — Вот это похоже на меня! Я это часто делаю. О, они нам приносят столько добра! — И она прижала к обвисшей груди потускневшие полупенсовики. — Столько всякого добра они нам приносят, жаль только, что не текут к нам потоком!

— Я их целую сейчас, матушка, — сказала дочь, — вряд ли я когда-нибудь делала это раньше, — ради той, которая мне их дала.

— Ради той, которая их дала, милочка? — повторила старуха, чьи тусклые глаза вспыхнули, когда она взяла деньги. — Я тоже их целую ради того, кто дает, если это может заставить его раскошелиться. Но я пойду истрачу их, милочка. Я сейчас вернусь.

— Вы, кажется, сказали, что много знаете, матушка, — заметила дочь, провожая ее взглядом до двери. — Вы стали мудрой с тех пор, как мы расстались.

— Знаю! — прокаркала старуха, отступая на шаг от двери. — Я знаю больше, чем ты думаешь. Я знаю больше, чем он думает, милочка, и об этом я тебе скоро расскажу. Я все о нем знаю.

Дочь недоверчиво улыбнулась.

— Я знаю его брата, Элис, — сказала старуха, вытянув шею со злорадством поистине страшным, — который мог бы очутиться там, где была ты, — за кражу. Он живет со своей сестрой на Се-

верной дороге, за городом.

— Где?

— На Северной дороге, за городом, милочка. Если хочешь, можешь увидеть их дом. Похвастаться нечем, хотя у того, другого, — дом отменный... Нет, нет! — воскликнула старуха, качая головой и смеясь, потому что ее дочь вскочила со стула. — Не сейчас! Это слишком далеко; это у придорожного столба, где свалены в кучу камни... Завтра милочка, если погода будет хорошая и тебе захочется посмотреть. Но я пойду истрачу...

— Стойте! — Дочь бросилась к ней с бешенством, снова вспыхнувшим, как огонь. — Сестра — красивая чертовка с каштановыми волосами?

Старуха, удивленная и испуганная, кивнула головой.

— В ее лице есть что-то от него! Это красный дом, стоит в стороне. Перед дверью зеленое крылечко. Снова старуха кивнула.

— На котором я сегодня сидела! Отдайте назад деньги.

— Элис! Милочка!

— Отдайте деньги, не то вам не поздоровится!

С этими словами она вырвала деньги из рук старухи и, совершенно равнодушная к ее жалобам и мольбам, надела плащ и стремительно выбежала из дому.

Мать, прихрамывая, последовала за ней, стараясь не отставать и уговаривая ее, но эти уговоры производили на нее не больше впечатления, чем ветер, дождь и мрак, окутавший их. Упрямо и злобно стремясь к своей цели, равнодушная ко всему остальному, дочь не обращала внимания на непогоду и расстояние, как будто забыв об усталости и пройденном пути, и спешила к дому, где ей была оказана помощь. После четверти часа ходьбы старуха, выбившись из сил и запыхавшись, осмелилась уцепиться рукой за ее юбку; но на большее она не отважилась, и они молча шли под дождем и во тьме. Если у матери изредка срывалась жалоба, она сейчас же ее заглушала, опасаясь, что дочь убежит и бросит ее здесь одну; а дочь не нарушала молчания.

Был двенадцатый час ночи, когда они оставили позади городские улицы и вышли на те пустыри, среди которых находился дом. Мрак здесь был еще гуще, город раскинулся вдали, призрачный и хмурый; холодный ветер завывал на просторе; все вокруг было черно, дико, пустынно.

— Вот подходящее место для меня! — сказала дочь, останавливаясь, чтобы оглянуться. — Я уже подумала об этом, когда была здесь сегодня.

— Элис, милочка! — воскликнула мать, тихонько дергая ее за юбку. — Элис!

— Ну, что еще, матушка?

— Не отдавай денег, милая. Пожалуйста, не отдавай. Мы не можем это делать. Нам надо поужинать, милочка. Деньги — это деньги, кто бы их ни дал. Скажи им все, что хочешь, но деньги оставь себе.

— Смотрите! — сказала в ответ дочь. — Вот дом, о котором я говорила. Это он?

Старуха утвердительно кивнула головой, и, пройдя еще несколько шагов, они подошли к запертой двери. Комната, где Элис сушила платье, была освещена пламенем камина и свечой; и когда она постучала в дверь, из этой комнаты вышел Джон Каркер.

Он удивился, увидав таких посетителей в столь поздний час, и спросил Элис, что ей нужно.

— Мне нужна ваша сестра, — сказала она. — Женщина, которая дала мне сегодня деньги. На громкий ее голос вышла Хэриет.

— О! — воскликнула Элис. — Вы здесь! Вы меня помните?

— Да, — с недоумением ответила та.

Лицо, которое днем было смиренно обращено к ней, дышало теперь такой неукротимой ненавистью и презрением и рука, несколько часов назад мягко касавшаяся ее плеча, сжалась в кулак с такою злобой, что Хэриет, ища Защиты, прижалась к брату.

— Как могла я говорить с вами и вас не узнать! Как могла я приблизиться к вам и не почувствовать по жару в моей крови, чья кровь течет в ваших жилах! — воскликнула Элис угрожающе взмахнув рукой.

— Что вы хотите сказать? Что я сделала?

— Что вы сделали? — отозвалась та. — Вы посадили меня к своему очагу. Вы накормили меня и дали мне денег. Вы из жалости подарили мне свое сострадание! Вы, на чье имя я плюю!

Старуха со злорадством, делавшим ее безобразное лицо поистине страшным, погрозила брату и сестре своею иссохшей рукой в подтверждение слов дочери, но в то же время снова дернула ее за юбку, умоляя оставить у себя деньги.

— Если я уронила слезу на вашу руку, пусть она ее иссушит! Если я сказала вам ласковое слово, пусть оно вас оглушит! Если я прикоснулась к вам губами, пусть это прикосновение будет для вас ядом! Проклятье на этот дом, где мне дали приют! Горе и позор на вашу голову! Да погибнут все ваши близкие!

Произнеся эти слова, она бросила на землю деньги и отшвырнула их ногой.

— Я втаптываю их в грязь! Я бы их не взяла, даже если бы они открывали мне путь к небу! О, лучше бы окровавленная нога, из-за которой я пришла сюда сегодня, сгнила прежде, чем привела меня в ваш дом!

Хэриет, бледная и дрожащая, удерживала брата и не перебивала ее.

— А вышло так, что в первый час моего возвращения меня пожалели и простили вы, носящая это имя! Вышло так, что вы обошлись со мной, как милая, добрая леди! Я вас поблагодарю, когда буду умирать. Я помолюсь за вас и за весь ваш род, можете быть в этом уверены!

Злобно взмахнув рукой, как будто окропляя ненавистью землю и обрекая на гибель тех, кто перед ней стоял, она бросила взгляд на черное небо и ушла в ненастную ночь.

Мать, тщетно дергавшая ее за юбку и с неутолимой алчностью смотревшая на лежащие у порога деньги, которые, казалось, поглощали все ее внимание, готова была слоняться вокруг, пока угаснут в доме огни, а потом ощупью искать деньги в грязи, надеясь вновь ими завладеть. Но дочь увлекла ее за собой, и они немедленно отправились в обратный путь; дорогой старуха не переставала хныкать, оплакивала потерю и горько сетовала, поскольку хватало у нее храбрости, на свою не признающую долга красавицу дочь, которая оставила ее без ужина в первый же вечер после своего возвращения.

И спать она легла без ужина, если не считать каких-то жалких объедков; и эти объедки она, бормоча, пережевывала, сидя над угасающими углями, когда ее дочь, не признающая долга, давно уже спала.

Не являются ли пороки этой жалкой матери и жалкой дочери всего лишь самой низшей ступенью социальных пороков, столь обычных иной раз среди тех, кто стоит высоко? В этом шарообразном мире, в коем одни круги включены в другие, нужно ли нам совершать утомительное путешествие с верхней ступени на самую нижнюю, чтобы в конце концов убедиться в том, что они находятся по соседству, что крайности соприкасаются и что конец нашего путешествия совпадает с исходной его точкой? Отдавая должное разнице в материале и окраске, неужели образец такой ткани нельзя найти среди людей высшего круга?

Ответьте, Эдит Домби! И вы, Клеопатра, лучшая из матерей, дайте нам послушать ваши объяснения!

Глава XXXV

Счастливая чета

Темное пятно на улице исчезло. Дом мистера Домби, если и остается еще брешью среди других домов, то только потому, что в своем великолепии не может с ними соперничать и высокомерно их раздвигает. Пословица говорит, что дом есть дом, как бы ни был он неказист. Если она остается справедливой в обратном смысле и дом есть дом, как бы ни был он величествен, то какой алтарь воздвигнут здесь домашним богам!

Сегодня вечером огни сверкают в окнах, красноватый отблеск камина тепло и весело ложится на портьеры и мягкие ковры, обед готов, стол изящно накрыт, но только на четыре персоны, а буфет загроможден столовым серебром. В первый раз после недавних переделок дом приготовили для торжественной встречи хозяев, и счастливую чету ждут с минуты на минуту.

Судя по тому интересу и волнению, какие он возбуждает у домочадцев, этот вечер возвращения домой немногим уступает свадебному утру. Миссис Перч пьет чай в кухне; она обошла весь дом, определила, почем плачено за ярд шелка и камчатного полотна, и исчерпала все попавшие и не по-

Чарльз Диккенс «Торговый дом Домби и сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт»

павшие в словарь междометия, выражающие восторг и изумление. Старший обойщик, оставив под стулом в вестибюле свою шляпу, а в ней носовой платок — от них сильно пахнет лаком, — шныряет по дому, посматривая вверх на карнизы и вниз на мягкие ковры, и время от времени в припадке восторга вынимает из кармана линейку и вдруг начинает с неизъяснимым чувством обмерять дорогие вещи. Кухарка очень весела и говорит — дайте только ей таких хозяев, которые принимали бы много гостей (а она готова побиться с вами об заклад на шесть пенсов, что теперь так и будет); она отличается бойким нравом и отличалась им с детства и не возражает против того, чтобы все это знали; такое заявление исторгает из груди миссис Перч тихий отклик, выражающий сочувствие и одобрение. Горничная может лишь надеяться, что они будут счастливы, но брак — лотерея, и чем больше она думает о браке, тем больше ценит независимость и благополучие одинокой жизни. Мистер Таулинсон мрачен и угрюм и говорит, что таково и его мнение, и дайте ему только войну, войну с французами! Ибо этот молодой человек придерживается того мнения, что каждый иностранец — француз, каковым и должен быть по законам природы.

Как только раздается стук колес, все умолкают, о чем бы они ни говорили, и прислушиваются; и не раз поднималась суматоха и слышался крик: «Приехали!» Но они еще не приехали, и кухарка начинает оплакивать обед, который уже дважды снимала с плиты, а старший обойщик все еще шныряет по комнатам, и ничто не нарушает его блаженной мечтательности.

Флоренс готова к встрече с отцом и со своей новой мамой. Вряд ли она знает, радостью или болью вызвано волнение, какое теснит ей грудь. Но трепещущее сердце заставляет кровь приливать к щекам и придает блеск глазам; а в кухне шепчут друг другу на ухо, — говоря о ней, они всегда понижают голос, — о том, как красива сегодня мисс Флоренс и какой милой молодой леди стала она, бедняжка! Следует пауза; а затем кухарка, чувствуя, что ждут ее мнения, как председательницы, спрашивает недоумевающе, неужели... и умолкает. Горничная также выражает недоумение, равно как и миссис Перч, которая обладает счастливой способностью недоумевать, когда другие недоумевают, хотя бы ей и не была известна причина собственного недоумения. Мистер Таулинсон, который пользуется случаем заразить леди своею мрачностью, говорит: «Поживем — увидим». Ему бы хотелось, чтобы кое-кто благополучно из этого выпутался. Тогда кухарка испускает вздох и шепчет: «Ах, это странный мир, поистине странный!» А когда эти слова облетели вокруг стола, добавляет внушительно: «Но какие бы ни произошли перемены, Том, они не могут повредить мисс Флоренс». Ответ мистера Таулинсона, чреватый зловещим смыслом, гласит: «О, неужели не могут?» И, понимая, что простой смертный вряд ли способен пророчествовать более ясно или более вразумительно, он погружается в молчание.

Миссис Скьютон, приготовившись встретить с распростертыми объятиями свою возлюбленную дочь и дорогого зятя, надела приличествующий случаю девический наряд с короткими рукавами. Однако в настоящую минуту зрелые ее прелести цветут в тени ее собственных апартаментов, откуда она не выходила с тех пор, как завладела ими несколько часов назад, и где она быстро начинает проявлять признаки раздражения из-за того, что обед запаздывает. С другой стороны, горничная, которой бы надлежало быть скелетом, тогда как на самом деле это цветущая девица, находится в приятнейшем расположении духа, полагая выплату жалования раз в три месяца обеспеченной лучше, чем когда бы то ни было, и предвидя, что стол и помещение будут значительно улучшены.

Но где же счастливая чета, которую ждет этот славный дом? Быть может, пар, прилив, ветер и лошади умеряют скорость, чтобы полюбоваться таким счастьем? Может быть, рой амуров и граций, порхая вокруг них, препятствует их продвижению? Или, быть может, столько разбросано цветов вдоль их счастливой тропы, что они с трудом подвигаются вперед среди роз без терний и благоуханного шиповника?

Наконец-то приехали! Слышен стук колес, он приближается, и карета останавливается у подъезда. Ненавистный иностранец оглушительно стучит в дверь, предваряя появление мистера Таулинсона и слуг, бросившихся ее открыть; и мистер Домби и его молодая жена выходят из экипажа и идут рука об руку в дом.

— Моя ненаглядная Эдит! — раздается взволнованный голос на площадке лестницы. — Мой дорогой Домби! — И короткие рукава обвиваются вокруг счастливой четы, заключая в объятия каждого из супругов по очереди.

Флоренс также спустилась в холл, но не смела подойти со своим робким приветствием, пока не

улягутся восторги этого более близкого и более дорогого существа. Но Эдит увидела ее на пороге; небрежно поцеловав в щеку свою чувствительную родительницу и отделавшись от нее, она поспешила к Флоренс и обняла ее.

— Здравствуй, Флоренс, — сказал мистер Домби, протягивая руку.

Когда Флоренс, дрожа, подносила ее к губам, она встретила его взгляд. Взгляд был холодный и сухой, но у нее забило сердце, когда ей показалось, что в его глазах отразился интерес к ней, какого он никогда еще не проявлял. В них было даже легкое удивление — приятное удивление, вызванное встречей с нею. Больше она не смела смотреть на него, но чувствовала, что он взглянул на нее еще раз и не менее благосклонно. О, какой радостный трепет охватил ее даже при этом слабом и ни на чем не основанном подтверждении ее надежды, что с помощью новой красивой мамы ей удастся завоевать его сердце!

— Полагаю, вы недолго будете переодеваться, миссис Домби? — спросил мистер Домби.

— Я сейчас буду готова.

— Пусть подадут обед через четверть часа.

С этими словами мистер Домби чинно удалился в свои комнаты, а миссис Домби поднялась наверх в свои. Миссис Скьютон и Флоренс отправились в гостиную, где эта превосходная мать сочла своим долгом уронить несколько слезинок, якобы исторгнутых у нее счастьем дочери; и эти слезинки она все еще с большою осторожностью осушала уголком обшитого кружевами носового платка, когда вошел ее зять.

— Ну, как понравился вам, дорогой Домби, этот очаровательнейший из городов, Париж? — спросила она, подавляя свое волнение.

— Там было холодно, — ответил мистер Домби.

— Конечно, весело, как всегда! — сказала миссис Скьютон.

— Не особенно. Город показался мне скучным, — заметил мистер Домби.

— Фи, дорогой мой Домби! Скучным! — Это было сказано лукаво.

— Такое впечатление он произвел на меня, сударыня, — степенно и учтиво сказал мистер Домби. — Полагаю, миссис Домби также нашла его скучным. Она упомянула об этом раза два.

— Ах, капризница! — воскликнула миссис Скьютон, подшучивая над своей дорогой дочерью, которая только что появилась в дверях. — Какие это еретические вещи говоришь ты о Париже?

Эдит со скучающим видом подняла брови; пройдя мимо распахнутых двустворчатых дверей, за которыми открывалась анфилада комнат, прекрасно и заново отделанных, она едва взглянула на них и села рядом с Флоренс.

— Дорогой Домби, — сказала миссис Скьютон, — эти люди чудесно выполнили все, о чем мы им говорили! Право же, они превратили дом в настоящий дворец.

— Дом красив, — сказал мистер Домби, осматриваясь вокруг. — Я распорядился, чтобы перед расходами не останавливались. Полагаю, сделано все, что могли сделать деньги.

— А чего они не могут сделать, дорогой Домби? — заметила Клеопатра.

— Они могущественны, сударыня, — сказал мистер Домби.

Он со свойственной ему величественностью бросил взгляд на жену, но та не сказала ни слова.

— Надеюсь, миссис Домби, — подчеркнуто обратился он к ней после минутного молчания, — эти перемены заслуживают вашего одобрения?

— Дом красив, насколько он может быть красивым, — отозвалась она с высокомерным равнодушием. — Конечно, таким он должен быть. И, полагаю, таков он и есть.

Пренебрежительное выражение было свойственно этому надменному лицу и, казалось, никогда его не покидало; но презрение, отражавшееся на нем, когда бы ни упомянули о восторге, почтении и уважении, вызываемых богатством мистера Домби, — как бы ни было мимолетно и случайно упоминание, — было совсем иным и новым чувством, по напряжению своему ничего общего не имевшим с обычным презрением. Неизвестно, подозревал ли об этом мистер Домби, окутанный своим величием, но ему представлялось уже немало случаев прозреть; это могло совершиться и сейчас благодаря темным глазам, которые остановились на нем, после того как быстро и презрительно скользнули по окружающей обстановке, служившей к его прославлению. Он мог бы прочесть в этом одном взгляде, что, какова бы ни была власть богатства, оно не завоеует ему, даже если возрастет в десять тысяч раз, ни одного ласкового, признательного взора этой непокорной женщины, с ним свя-

занной, но всем своим существом восстающей против него. Он мог бы прочесть в этом одном взгляде, что она гнушается этим богатством именно из-за тех низменных, корыстных чувств, какие оно в ней вызывает, хотя она и притязает на величайшую власть, им даруемую, как на нечто полагающееся ей по праву в результате торговой сделки, — притязает на гнусное и недостойное вознаграждение за то, что она стала его женой. Он мог прочесть в нем, что, хотя она и подставляет свою грудь под стрелы собственного презрения и гордыни, самое невинное упоминание о власти его богатства унижает ее сызнова, заставляет еще ниже падать в собственных глазах и довершает ее внутреннее опустошение.

Но вот доложили, что обед подан, и мистер Домби повел Клеопатру; Эдит и его дочь следовали за ними. Быстро пройдя мимо расставленной на буфете золотой и серебряной посуды, как будто это была куча мусору, и не удостоив взглядом окружающей ее роскоши, она впервые заняла свое место за столом своего супруга и сидела как статуя.

Мистер Домби, который и сам очень походил на статую, без всякого недовольства видел, что его красивая жена бесстрашна, надменна и холодна. Манеры ее всегда отличались изяществом и грацией, а ее поведение было ему приятно и отвечало его вкусу. С обычным достоинством возглавляя стол и отнюдь не излучая на жену свою собственную теплоту и веселость, он с холодным удовлетворением исполнял обязанности хозяина дома; и этот первый по возвращении обед — хотя в кухне его не считали многообещающим началом — прошел в столовой вполне пристойно и сдержанно.

Вскоре после чая миссис Скьютон, которая притворилась подавленной и утомленной радостным волнением, вызванным созерцанием возлюбленной дочери, соединившейся со своим избранником, но которой — есть основания это предполагать — семейный вечер показался скучноватым, ибо она целый час непрерывно зевала, прикрывшись веером, — миссис Скьютон пошла спать. Эдит также удалилась молча и больше не появлялась. И случилось так, что Флоренс, побывав наверху, чтобы потолковать с Диогеном, а затем вернувшись со своей рабочей корзинкой в гостиную, не застала там никого, кроме отца, шагавшего взад и вперед по мрачной и великолепной комнате.

— Простите, папа. Мне уйти? — тихо спросила Флоренс, нерешительно останавливаясь в дверях.

— Нет, — ответил мистер Домби, оглянувшись через плечо. — Ты можешь входить сюда, когда угодно, Флоренс. Это не мой кабинет.

Флоренс вошла и села со своей работой к стоявшему в стороне столику, очутившись впервые в жизни — впервые на своей памяти, начиная с младенческих лет и вплоть до этого часа, — наедине с отцом, как с собеседником. Она, природой данная ему собеседница, его единственное дитя, которое в одинокой своей жизни и скорби познало боль истерзанного сердца! Его дочь, которая, несмотря на отвергнутую свою любовь, каждый вечер, молясь богу, шептала его имя, со слезами призывая на него благословение, падавшее тяжелее, чем проклятье! Дочь, молившая о том, чтобы умереть молодой — только бы умереть в его объятиях! Дочь, неизменно отвечавшая на мучительное пренебрежение, холодность и неприязнь терпеливой, нетребовательной любовью, оправдывая его и защищая, как светлый его ангел!

Она дрожала, и глаза ее были затуманены. Его фигура как будто становилась выше и росла перед ее глазами, когда он шагал по комнате; то она видела ее смутной и расплывчатой, то снова ясной и отчетливой; то начинало ей казаться, что все это уже происходило, точь-в-точь так же, как сейчас, сотни лет назад. Она рвалась к нему и в то же время содрогалась при его приближении. Неестественное чувство у ребенка, не ведающего зла! Чудовищная рука направляла острый плуг, который провел в ее кроткой душе борозду для посева таких семян!

Стараясь не огорчать и не оскорблять его своим горем, Флоренс сдерживалась и спокойно сидела за работой. Пройдясь еще несколько раз по комнате, он прекратил свою прогулку и, усевшись в кресло, стоявшее в темном углу, накрыл лицо носовым платком и расположился вздремнуть.

Для Флоренс достаточно было уже того, что она может сидеть здесь рядом с ним, время от времени посматривая на его кресло, следя за ним мысленно, когда лицо ее склонялось над работой, и грустно радуясь тому, что он может дремать при ней и его не смущает ее присутствие, которого он раньше не выносил.

О чем бы она стала размышлять, если бы узнала, что он упорно смотрит на нее, платок на его

лице, случайно или умышленно, положен так, чтобы он мог видеть ее, и глаза его ни на секунду не отрываются от ее лица! А когда она смотрела в его сторону, в затененный угол, ее выразительные глаза, и без слов говорившие более страстно и патетически, чем все ораторы в мире, в немом призыве бросавшие ему тяжкий упрек, встречались с его глазами, не ведая об этом. Когда же она снова склоняла голову к работе, он дышал свободнее, но продолжал смотреть на нее с тем же вниманием — на ее белый лоб, ниспадающие волосы и занятые работой руки — и, раз взглянув, казалось, уже не в силах был отвести взор.

О чем же думал он в это время? С какими чувствами устремлял он украдкой внимательный взгляд на неведомую ему дочь? Читал ли он укор в этом тихом облике и кротких глазах? Начал ли признавать ее права, которыми он пренебрег, тронула ли, наконец, эта мысль его сердце и пробудила ли в нем сознание жестокой его несправедливости?

Бывают минуты смирения в жизни самых суровых и черствых людей, хотя такие люди большей частью хорошо хранят свою тайну. Вид дочери в расцвете красоты, незаметно для него ставшей почти взрослой, мог стать причиной такой минуты даже в его жизни, исполненной гордыни. Мимолетная мысль о том, что счастливый домашний очаг был тут, у него под рукой... гений, охраняющий семейное благополучие, склонялся к его ногам... а он, одержимый своим упорным, мрачным высокомерием, не заметил его, ушел и погубил себя... быть может, породила это состояние. Простые красноречивые слова, звучавшие вятно (хотя он не сознавал, что читает их в ее немом взгляде): «Во имя умирающих, за которыми я ухаживала, во имя страдальческого детства, во имя нашей встречи в этом мрачном доме в полночь, во имя вопля, исторгнутого из моего истерзанного сердца, о отец, обратись ко мне и найди прибежище в моей любви, пока еще не поздно!» — могли продлить такую минуту. Эта мысль могла быть связана с более низменными и незначительными, как, например, с мыслью о том, что новые привязанности заняли в его душе место умершего мальчика и теперь он может простить той, кто отняла у него любовь сына. Даже простого соображения, что она может служить украшением среди всех украшений и роскоши, его окружающих, пожалуй, было бы достаточно. Но чем дольше он смотрел на нее, тем больше смягчался. В то время, как он смотрел, она сливалась с образом ребенка, которого он любил, и он уже не мог отделить их друг от друга. Он смотрел и на секунду увидел ее в более ярком и ясном свете, не соперницей, склонявшейся над подушкой ребенка — чудовищная мысль! — но добрым гением дома, охраняющим и его самого в тот момент, когда, опустив голову на руку, он сидел у кровати маленького Поля. Он чувствовал желание заговорить с ней и подзвать ее. Слова: «Флоренс, подойди ко мне!» — готовы были сорваться с его губ, — медленно и с трудом, столь были они ему чужды, — но их удержали и заглушили шаги на лестнице.

Это была его жена. Она заменила вечерний туалет широким пеньюаром и распустила волосы, падавшие ей на плечи. Но не эта перемена в ней поразила его.

— Флоренс, дорогая, — сказала она, — я вас всюду искала.

Усевшись рядом с Флоренс, она наклонилась и поцеловала ее руку. Он едва мог узнать свою жену — так она изменилась. Дело было не только в том, что ее улыбка была ему незнакома, хотя и улыбку Эдит он никогда не видел; но ее манеры, тон, сияющие глаза, мягкость и доверчивость, и обаятельное желание понравиться, проявлявшееся во всем... это была не Эдит.

— Тише, дорогая мама. Папа спит.

А вот теперь это была Эдит. Она посмотрела в ту сторону, где он сидел, и он прекрасно узнал это лицо и взгляд.

— Я и не подозревала, что вы можете быть здесь, Флоренс.

Снова как изменилась, как смягчилась она в одну секунду!

— Я нарочно ушла отсюда рано, — продолжала Эдит, — чтобы посидеть и поговорить с вами наверху. Но, войдя в вашу комнату, я увидела, что моя птичка улетела, и с тех пор я все время ждала ее возвращения.

Если бы Флоренс и в самом деле была птичкой, Эдит не могла бы нежнее и ласковее прижать ее к своей груди.

— Пойдемте, дорогая!

— Когда папа проснется, не покажется ли ему странным, что я ушла? — нерешительно сказала Флоренс.

— А как вы думаете, Флоренс? — спросила Эдит, глядя ей в глаза.

Флоренс опустила голову, встала и взяла свою рабочую корзинку. Эдит продела ее руку под свою, и они вышли из комнаты, как сестры. Даже походка ее была иной и незнакомой ему, — подумал мистер Домби, проводив ее взглядом до двери.

В тот вечер он так долго сидел в своем темном углу, что церковные часы, отмечая время, били три раза, прежде чем он пошевелинулся. И взгляд его упорно не отрывался от того места, где сидела Флоренс. В комнате становилось темнее по мере того, как догорали и гасли свечи; но тень, омрачавшая лицо мистера Домби, была темнее всех ночных теней; так она и осталась на его лице.

Флоренс и Эдит, сидя у камина в уединенной комнате, где умер маленький Поль, долго вели беседу. Диоген, находившийся тут же, сначала возражал против присутствия Эдит, но потом, уступая желанию своей хозяйки, дал свое согласие, хотя и не переставал протестующе ворчать. Однако, выползая потихоньку из передней, куда в негодовании удалился, он вскоре как будто уразумел, что с наилучшими намерениями совершил одну из тех ошибок, каких не могут иной раз избежать самые примерные собаки. Словно извиняясь, он уселся между ними перед самым камином и сидел с высу-нутым языком и глупейшей мордой, прислушиваясь к разговору.

Разговор сначала шел о книгах и любимых занятиях Флоренс и о том, как она коротала время со дня свадьбы. Эта последняя тема дала ей повод заговорить о том, что было очень близко ее сердцу, и она сказала со слезами на глазах:

— О мама, за это время меня постигло большое несчастье!

— Вас — большое несчастье, Флоренс?

— Да. Бедный Уолтер утонул.

Флоренс закрыла лицо руками и горько заплакала. Многих слез, пролитых тайком, стоила ей гибель Уолтера, и все-таки она начинала плакать каждый раз, когда думала или говорила о нем.

— Но объясните мне, дорогая, — сказала Эдит, успокаивая ее, — кто такой Уолтер? Кем он был для вас?

— Он был моим братом, мама. Когда умер милый Поль, мы обещали друг другу быть братом и сестрой. Я знала его давно — с раннего детства. Он знал Поля, который был очень к нему привязан; Поль сказал, чуть ли не за минуту до смерти: «Позаботьтесь об Уолтере, милый папа! Я его любил!» Уолтера привели повидаться с ним, и он был тогда здесь — в этой комнате.

— И он позаботился об Уолтере? — суровым тоном осведомилась Эдит.

— Папа? Он послал его за океан. По пути туда он утонул во время кораблекрушения, — всхлипывая, сказала Флоренс.

— Ему известно, что Уолтер умер? — спросила Эдит.

— Не знаю, мама. Не могу узнать. Милая мама! — воскликнула Флоренс, прижимаясь к ней словно с мольбой о помощи и спрятав лицо у нее на груди. — Я знаю, вы заметили...

— Тише! Молчите, Флоренс! — Эдит так сильно побледнела и говорила с таким жаром, что незачем ей было закрывать Флоренс рот рукой, чтобы та замолчала. — Сначала расскажите мне все об Уолтере; я хочу знать эту историю с начала до конца.

Флоренс рассказала и эту историю и все связанное с ней, вплоть до дружбы с мистером Тутсом, говоря о котором, она, несмотря на свое горе, невольно улыбалась сквозь слезы, хотя была ему глубоко благодарна. Когда она закончила свой рассказ, выслушанный Эдит с напряженным вниманием, и когда наступило молчание, Эдит спросила:

— Что же я заметила?

— Вы заметили, что я, — выговорила Флоренс с тою же немою мольбой и так же, как раньше, быстро спрягав лицо у нее на груди, — что я нелюбимая дочь, мама! Я никогда не была любимой. Я никогда не знала, как ею стать. Я не нашла пути, и некому мне было его показать. О, позвольте мне поучиться у вас, как мне стать близкой папе! Научите меня вы, которая так хорошо это знает! — И, прильнув к ней, шепча прерывистые пыльные слова благодарности и любви, Флоренс после открытия своей грустной тайны плакала долго, но уже не так горестно, как раньше, в объятиях новой матери.

Бледная, с побелевшими губами, с лицом, сначала искаженным, а потом благодаря усилиям воли застывшим в горделивой своей красоте, как мертвая маска, Эдит смотрела на плачущую девушку и один раз поцеловала ее. Потихоньку освободившись из объятий Флоренс и отстранив ее, величавая и неподвижная, как мраморное изваяние, она заговорила, и голос ее звучал все глуше,

только этим и выдавая ее волнение:

— Флоренс, вы меня не знаете! Боже вас сохрани учиться чему-нибудь у меня!

— Не учиться у вас? — с изумлением переспросила Флоренс.

— Да избавит бог, чтобы я стала учить вас, как нужно любить или быть любимой! — сказала Эдит. — Лучше, если бы вы могли меня научить, но теперь слишком поздно. Вы мне дороги, Флоренс. Я не думала, что кто-нибудь может стать мне так дорог, как стали вы за такое короткое время.

Заметив, что Флоренс хочет что-то сказать, она ее остановила жестом и продолжала:

— Я всегда буду вашим верным другом. Я буду воспитывать вас если и не так хорошо, то с большей любовью, чем кто бы то ни было во всем мире. Вы можете довериться мне — я это знаю, дорогая, и я это говорю, — можете довериться мне со всею преданностью вашего чистого сердца. Есть множество женщин, на которых он мог бы жениться, — женщин лучше меня, Флоренс. Но из тех, кто мог бы войти в этот дом в качестве его жены, нет ни одной, чье сердце любило бы вас более горячо.

— Я это знаю, дорогая мама! — воскликнула Флоренс. — С первого же дня, с того счастливого дня я это знала!

— Счастливого дня! — Эдит, казалось, невольно повторила эти слова и продолжала: — Хотя никакой заслуги с моей стороны нет, потому что я мало о вас думала до той поры, пока вас не увидела, но пусть ваше доверие и любовь будут незаслуженной наградой мне. В первую ночь моего пребывания в этом доме мне захотелось — так будет лучше всего — сказать вам об этом в первый и последний раз.

Флоренс, сама не зная почему, чуть ли не со страхом ждала, что за этим последует, но не спускала глаз с прекрасного лица, обращенного к ней.

— Никогда не пытайтесь найти во мне то, чего здесь нет, — сказала Эдит, прижимая руку к сердцу. — Никогда, если это в ваших силах, Флоренс, не отрекайтесь от меня, из-за того, что здесь — пустота. Постепенно вы узнаете меня лучше, и настанет время, когда вы будете знать меня так же, как я себя знаю. И тогда будьте по мере сил снисходительны ко мне и не отравляйте горечью единственное светлое воспоминание, которое мне останется.

Слезы, выступившие на глазах, устремленных на Флоренс, доказывали, что спокойное лицо было лишь прекрасной маской; но она сохранила эту маску и продолжала:

— Я заметила то, о чем вы говорили, и знаю, что вы не ошибаетесь. Но верьте мне — если не сейчас, то скоро вы этому поверите, — нет в мире никого, кто был бы менее, чем я, способен это уладить или помочь вам, Флоренс. Никогда не спрашивайте меня, почему это так, и больше никогда не говорите со мной об этом и о моем муже. Тут между нами должна быть пропасть. Будем хранить мертвое молчание.

Некоторое время она сидела молча; Флоренс едва осмеливалась дышать, а смутные и неясные проблески истины со всеми вытекающими отсюда последствиями представлялись ее испуганному воображению. Как только Эдит замолчала, ее напряженное неподвижное лицо стало спокойней и мягче, каким оно бывало обычно, когда она оставалась наедине с Флоренс. Когда произошла эта перемена, Эдит закрыла лицо руками; потом она встала, с нежным поцелуем пожелала Флоренс спокойной ночи и вышла быстро и не оглядываясь.

Но когда Флоренс лежала в постели, а комната освещалась только отблеском, падавшим от камина, Эдит вернулась и, сказав, что не может уснуть, а в своей гостиной чувствует себя одинокой, придвинула стул к камину и стала смотреть на тлеющие угли. Флоренс тоже смотрела на них с кровати, пока и они, и благородное лицо, осененное распущенными волосами, и задумчивые глаза, в которых отражался догорающий огонь, не стали туманными и расплывчатыми и, наконец, исчезли.

Но и во сне Флоренс сохранила смутное представление о том, что произошло так недавно. Это служило канвой ее снов и преследовало ее, вызывая страх. Ей снилось, что она ищет отца в пустынных местах и идет по его стопам, поднимаясь на страшные крутизны и спускаясь в глубокие подземелья и пещеры; ей поручено нечто такое, что должно избавить его от великих страданий — она не знает, что именно и почему, — но ей никак не удастся достигнуть цеди и освободить его. Потом она увидела его мертвым на этой самой кровати, в этой самой комнате, узнала, что он никогда, до последней минуты, не любил ее, и, горько рыдая, упала на его холодную грудь. Затем открылись дали, заструилась река, и жалобный знакомый голос воскликнул: «Она течет, Флой! Она никогда не оста-

навливается! Она увлекает за собой!» И она увидела брата, простирающего к ней руки, а рядом с ним стоял кто-то похожий на Уолтера, удивительно спокойный и неподвижный. В каждом сновиденье Эдит появлялась и исчезала, неся ей то радость, то печаль, и, наконец, они остались вдвоем у края темной могилы; Эдит указывала вниз, а она посмотрела и увидела — кого? — другую Эдит лежащую на дне.

В ужасе она вскрикнула и, как ей показалось, проснулась. Нежный голос как будто шепнул ей на ухо: «Флоренс, милая Флоренс, это только сон!» И, протянув руки, она ответила на ласку своей новой мамы, которая вышла потом из комнаты при свете серого утра. Флоренс тотчас села в постели, недоумевая, случилось ли это наяву или нет; но уверена она была только в том, что настало серое утро, что почерневшая зола лежит на каминной решетке и что она одна в комнате.

Так прошла ночь по возвращении счастливой четы.

Глава XXXVI

Празднование новоселья

Прошло много дней, походивших один на другой; разница была лишь в том, что принимали многочисленных гостей и отдавали визиты, что миссис Скьютон устраивала в своих собственных апартаментах маленькие утренние приемы, на которых частенько появлялся майор Бегсток, и что Флоренс больше не поймала ни одного взгляда, обращенного на нее отцом, хотя видела его ежедневно. И редко беседовала она со своей новой мамой, которая была властной и надменной со всеми в доме, кроме нее, — этого Флоренс не могла не заметить; хотя она всегда посылала за Флоренс или приходила к ней, вернувшись домой после визитов, и, как бы ни было поздно, всегда заглядывала к ней в комнату перед сном, но, оставаясь с ней вдвоем, часто сидела подолгу молчаливая и задумчивая.

Флоренс, столько надежд возлагавшая на этот брак, иногда невольно сравнивала блестящий дом с прежним, поблекшим и мрачным, чье место он занял, и задавала себе вопрос, когда же этот дом можно будет назвать домашним очагом; ибо втайне она все время опасалась, что никто не чувствовал себя здесь дома, хотя все было устроено великолепно и жизнь была налажена. Часами размышляя днем и ночью и горько оплакивая погибшую надежду, Флоренс нередко вспоминала энергическое уверение своей новой мамы, что нет в мире никого, кто был бы менее, чем она, способен научить Флоренс, как завоевать сердце отца. И вскоре Флоренс начала думать — правильнее было бы сказать: решила думать, — что новая ее мать знает, как мало надежды смягчить или победить не-расположение отца, и из чувства сострадания запретила говорить на эту тему. Лишенная эгоизма — и в поступках своих и в грезах, — Флоренс предпочитала терпеть боль от этой новой раны, только бы заглушить слабое предчувствие истины, и даже ее мимолетные мысли об отце были окрашены нежностью. Что же касается домашнего очага, она надеялась, что все разрешится благополучно, когда новая жизнь войдет в колею, а о себе она думала мало и еще меньше жалела себя.

Раз никто из членов новой семьи не чувствовал себя по-настоящему дома в своем кругу, то было решено, что миссис Домби должна почувствовать себя дома хотя бы на людях. С целью отпраздновать недавнюю свадьбу и закрепить связи с обществом мистер Домби и миссис Скьютон задумали ряд увеселений; для начала было решено, что в такой-то вечер мистер и миссис Домби дадут у себя обед большому и пестрому обществу.

Мистер Домби составил список различных восточных магнатов⁹¹, коих надлежало пригласить от его имени на этот пир; к его списку миссис Скьютон, действуя от лица своей дочери, проявлявшей к этой затее высокомерное безразличие, приложила западный список, куда был включен кузен Финикс, еще не вернувшийся в Баден-Баден к большому ущербу для движимого своего имущества, и разнообразные мотыльки разных видов и возрастов, которые в разное время порхали вокруг ее прекрасной дочери или ее самой, не причиняя серьезного вреда своим крылышкам. Флоренс была включена в число приглашенных к обеду по приказанию Эдит, вызванному минутным колебанием и

⁹¹ ...восточных магнатов... — то есть богатых купцов, которые вели торговые дела на Востоке (в Индии и других британских владениях).

замешательством миссис Скьютон. И Флоренс, быстро и инстинктивно чувствующая все, что хоть сколько-нибудь раздражало ее отца, молча принимала участие в празднестве.

Празднество открыл мистер Домби в необычайно высоком и тугом воротничке, неустанно прогуливавшийся по гостиной, пока не пробил час, назначенный для обеда; минута в минуту появился и был встречен одним только мистером Домби директор Ост-Индской компании, чудовищно богатый господин в жилете, который, казалось, был сооружен из пригодной для этой цели сосновой доски простым плотником, а в действительности рожден искусством портного и сшит из материи, называемой нанкой. Следующим этапом празднества явилось распоряжение мистера Домби засвидетельствовать его почтение миссис Домби, точно указав, который теперь час; а вслед за этим выяснилось, что директор Ост-Индской компании не в силах поддерживать разговор, и так как мистер Домби был не из тех, кто мог бы его оживить, гость тарачил глаза на огонь в камине, пока не явился избавитель в образе миссис Скьютон, которую директор, удачно начав вечер, принял за миссис Домби, и приветствовал с энтузиазмом.

Вторым прибыл директор банка; если верить молве, он в состоянии был купить что угодно — даже человеческую природу, если бы пришло ему в голову повлиять таким образом на биржу, — но оказался он человеком замечательно скромным на словах, чуть ли не хваставшим своей скромностью: в разговоре он упомянул о своем «домишке» в Кингстоне на Темзе и о том, что почти совесть предложит там постель и отбивную котлету мистеру Домби, если тот пожелает его навестить. Что же касается леди, сказал он, то человеку, который ведет тихую жизнь, не подобает навязываться с приглашениями, но если миссис Скьютон и ее дочь, миссис Домби, будут когда-нибудь в тех краях и окажут ему честь взглянуть на чахлый кустарник, на жалкий маленький цветник, на скромное подражание ананасной теплице и на две-три затеи в таком же роде и без всяких претензий, — он сочтет это посещение за большую честь. Выдерживая до конца свою роль, этот джентльмен был одет очень просто — лоскуток батиста вместо галстука, большие башмаки, фрак слишком для него просторный и брюки слишком тесные; а когда миссис Скьютон заговорила об опере, он сказал, что бывает там очень редко, так как это ему не по средствам. Казалось, такой ответ чрезвычайно порадовал и развеселил его; засунув руки в карманы, он с сияющей улыбкой взирал на своих слушателей, и величайшее удовлетворение светилось в его глазах.

Появилась миссис Домби, прекрасная и гордая, с таким презрением и вызовом смотревшая на всех, как будто брачный венец на ее голове был гирляндой из стальных игл, надетой с целью принудить ее к уступке, на которую она не согласится, хотя бы ей грозила смерть. С ней была Флоренс. Когда они вошли вместе, лицо мистера Домби вновь омрачила тень, набежавшая на него в день возвращения, но это осталось незамеченным: ибо Флоренс не смела поднять на него глаза, а равнодушные Эдит было слишком величественно, чтобы она обращала на него внимание.

Быстро съезжались многочисленные гости. Еще директора, председатели компаний, пожилые леди с грузом на голове — парадным головным убором, кузен Финикс, майор Бегсток, приятельницы миссис Скьютон с таким же ярким румянцем, как у нее, и с очень драгоценными ожерельями на очень увядших шеях. Среди них — юная шестидесятипятилетняя леди, удивительно легко одетая, если судить по ее спине и плечам, и говорившая с приятным сюсюканьем; веки этой дамы требовали от нее больших усилий, чтобы не опускаться, а манеры отличались той неизъяснимой прелестью, которую столь часто связывают с легкомысленной юностью. Так как большинство гостей из списка мистера Домби было расположено молчать, а большинство гостей из списка миссис Домби расположено болтать и взаимных симпатий между ними не наблюдалось, то гости из списка миссис Домби в силу магнетического соглашения заключили союз против гостей из списка мистера Домби, которые, уныло слоняясь по комнатам или прячась по углам, сталкивались с вновь прибывшими, оказывались в ловушке, отделенные от мира каким-нибудь диваном, а когда распахивались двери, получали удары по голове, — словом, терпели всяческие неудобства.

Когда доложили, что обед подан, мистер Домби повел старую леди, которая походила на малиновую бархатную подушечку для булавок, набитую банковыми билетами, и могла сойти за подлинную старую леди с Трэднидл-стрит⁹² — так была она богата и такой казалась непокладистой; кузен

⁹² *Старая леди с Трэднидл-стрит.* — Так называют в шутку Английский банк, находящийся на улице Трэднидл; (thread — нитка, needle — игла); улица носит это название потому, что старинная Торговая Компания Портных выстроила

Чарльз Диккенс «Торговый дом Домби и сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт»

Финикс предложил руку миссис Домби; майор Бегсток предложил руку миссис Скьютон; юная особа с открытыми плечами была пожалована в качестве гасильника директору Ост-Индской компании; а прочие леди были оставлены в гостиной для обозрения прочим джентльменам, пока горсть храбрецов не вызвалась проводить их вниз, и эти смельчаки со своими пленницами загородили вход в столовую, отрезав путь семерым робким гостям, застрявшим в неприветливом холле. Когда все уже вошли и расселись, появился со сконфуженной улыбкой один из этих робких гостей, совершенно беспомощный и оставленный без присмотра, и в сопровождении дворецкого дважды обошел вокруг стола, прежде чем удалось отыскать его место, которое в конце концов оказалось по левую руку от миссис Домби, после чего робкий гость больше уже не поднимал головы.

Огромную столовую, где за сверкающим столом восседали гости, склоняясь над сверкающими ложками, ножами, вилками и тарелками, можно было принять за представленную в увеличенном виде землю Тома Тидлера⁹³, где дети подбирают золото и серебро. Мистер Домби в роли Тидлера был великолепен; а длинное блюдо из драгоценного замороженного металла, отделявшее его от миссис Домби, украшенное замороженными купидонами, которые протягивали им обоим цветы, лишённые аромата, наводило на мысль об аллегории.

Кузен Финикс был в ударе и казался изумительно моложавым. Но, находясь в веселом расположении духа, он порою бывал легкомыслен — память иной раз изменяла ему так же, как и ноги, — и в тот вечер он заставил общество содрогнуться. Случилось это так: юная леди с открытой спиной поймала в свои сети директора Ост-Индской компании, чтобы с его помощью занять за столом место рядом с кузеном Финиксом, к которому она питала нежные чувства; в благодарность за эту добрую услугу она немедленно отвернулась от директора, который, будучи заслонен с другой стороны мрачной, черной бархатной шляпой, венчавшей костлявую и бессловесную особу женского пола с веером, предался унынию и замкнулся в себе. Кузен Финикс и юная леди были очень оживлены и веселы, и юная леди так громко смеялась, слушая рассказ кузена Финикса, что майор Бегсток от имени миссис Скьютон (они сидели визави, ближе к другому концу стола) попросил разрешения осведомиться, нельзя ли сделать этот рассказ всеобщим достоянием.

— Ах, клянусь жизнью, — сказал Финикс, — ничего особенного, право же, не стоит повторять. Собственно говоря, это только маленький анекдот Джека Адамса. Полагаю, мой друг Домби (внимание всех присутствующих было сосредоточено на кузене Финиксе) припоминает Джека Адамса, Джека Адамса, не Джо — Джо звали его брата. Джек... маленький Джек... косил и слегка заикался... Он представлял какое-то боро⁹⁴. В бытность мою в парламенте мы называли его Адамс-Постельная грелка⁹⁵, так как он был временным заместителем одного юнца, еще не достигшего совершеннолетия. Быть может, мой друг Домби знал этого человека?

Мистер Домби, который имел столько же шансов лично знать Гая Фокса, дал отрицательный ответ. Но один из семи робких гостей внезапно отличился, заявив, что он его знал, и прибавил: «Всегда носил гессенские сапоги⁹⁶!»

— Совершенно верно, — проговорил кузен Финикс, наклоняясь вперед, чтобы разглядеть робкого гостя, и посылая ему на другой конец стола ободряющую улыбку. — Это был Джек. А Джо носил...

ла здесь свой дом (в XIV веке).

⁹³ *Земля Тома Тидлера*. — Так называется полоса земли, никому не принадлежащая, в частности — нейтральная зона между двумя государствами; все, что может быть найдено на этой полосе, теоретически поступает в собственность нашедшего; отсюда детская игра «Земля Тома Тидлера»: цель играющих — помешать противникам перебежать на площадку, где «разбросано» золото и серебро.

⁹⁴ *Боро* — город, посылающий депутата в парламент. Нередко этим словом обозначался в XIX веке избирательный округ, где выборы фактически находились под контролем одного лица.

⁹⁵ *...Постельная грелка* (warning pan)... — так называли человека, временно замещающего лицо, не достигшее совершеннолетия.

⁹⁶ *Гессенские сапоги* — сапоги, не доходившие до колен и надевавшиеся на туго натянутые брюки.

— Сапоги с отворотами! — воскликнул робкий гость, с каждой секундой повышаясь в общественном мнении.

— Конечно, вы были с ними знакомы? — осведомился кузен Финикс.

— Я знал их обоих, — ответил робкий гость, после чего мистер Домби тотчас же с ним чокнулся.

— Чертовски славный малый, этот Джек! — сказал кузен Финикс, снова наклоняясь вперед и улыбаясь.

— Превосходный, — согласился робкий гость, которому успех придавал храбрости. — Один из лучших людей, каких я знал!

— Несомненно вы уже слышали эту историю? — спросил кузен Финикс.

— Не берусь судить, — ответил расхрабренный робкий гость, — пока не услышу рассказ вашего лордства.

С этими словами он откинулся на спинку стула и с улыбкой уставился в потолок, как будто знал наизусть эту историю и заранее потешался.

— Собственно говоря, никакой истории тут нет, — сказал кузен Финикс, улыбаясь всем сидящим за столом, и игриво покачивая головой, — и нет нужды в предисловиях. Но это свидетельствует об изысканном остроумии Джека. Дело в том, что Джек был приглашен на свадьбу... которая, если не ошибаюсь, имела место в Беркшире?

— В Шропшире, — сказал расхрабренный робкий гость, видя, что обращаются к нему.

— Вот как? Прекрасно! Собственно говоря, этот случай мог иметь место в любом «шире»⁹⁷, — сказал кузен Финикс. — Итак, мой друг, приглашенный на эту свадьбу в Любомшире, — уместную острогу он отметил приятной улыбкой, — отправляется в путь. Точь-в-точь как кое-кто из нас, имея честь быть приглашенным на свадьбу моей прелестной и безупречной родственницы и моего друга Домби, не ждал вторичного приглашения и был чертовски рад присутствовать на столь интересном празднестве... Итак, он — Джек — отправляется в путь. Но этот брак был, собственно говоря, союзом необычайно красивой девушки с человеком, к которому она не питала никакой любви, но за которого согласилась выйти замуж, потому что он был богат, очень богат. Когда Джек вернулся после свадьбы, один знакомый, встретив его в кулуарах палаты общин, говорит: «Ну что, Джек, как поживает неудачно подобранная пара?» — «Неудачно подобранная? — отвечает Джек. — Ничуть не бывало! Это совершенно честная и добропорядочная сделка. Она по всем правилам куплена, а он — за это вы можете поручиться — по всем правилам продан!»

Но пока кузен Финикс от всей души веселился, дойдя до кульминационной точки своего рассказа, дрожь, пробежавшая, подобно электрической искре, вокруг стола, заставила его умолкнуть. Единственная тема, благодаря коей завязался в тот вечер общий разговор, ни у кого не вызвала улыбки. Наступило глубокое молчание. И злополучный робкий гость, который знал об этой истории не больше, чем неродившийся ребенок, с великим унынием прочел во всех взорах, что виновником зла почитают его.

Лицо мистера Домби было не из тех, что изменяются; приняв в тот день величественную осанку, хозяин дома никак не откликнулся на этот рассказ и только произнес торжественно среди воцарившейся тишины: «Очень хорошо». Эдит бросила быстрый взгляд на Флоренс, но, в общем, оставалась бесстрастной и равнодушной.

Проходя через различные стадии, отмеченные изысканными яствами и винами, неизбежным золотом и серебром, лакомыми дарами земли, воздуха, огня и воды, горами фруктов и этим излишним на банкете мистера Домби угощением — мороженым, обед медленно приближался к концу; последние его стадии сопровождалась громкой музыкой — беспрестанными двойными ударами в дверь, которые возвещали прибытие гостей, на чью долю приходился только запах пиршества. Когда миссис Домби встала из-за стола, стоило посмотреть, как ее супруг с негнущейся шеей и высоко поднятой головой придерживал открытую дверь перед выходившими леди; и стоило посмотреть, как она быстро прошла мимо под руку с его дочерью.

Мистер Домби имел внушительный вид, торжественно восседая перед графинами; директор

⁹⁷ «Шир» (shire) — в прошлом так называлось графство (county).

Ост-Индской компании имел жалкий вид, сидя в одиночестве у опустевшего конца стола; майор имел вид воинственный, повествуя о герцоге Йоркском шестерым из семи робких людей (тщеславный робкий гость был окончательно уничтожен); директор банка имел очень скромный вид, когда с помощью десертных ножей чертил для группы поклонников план своей маленькой ананасной теплицы; а кузен Финикс имел вид задумчивый, когда разглаживал свои длинные манжеты и украдкой поправлял парик. Но все это продолжалось недолго, так как вскоре появился кофе, а затем все покинули столовую.

Толпа в парадных комнатах наверху увеличивалась с каждой минутой; но по-прежнему список гостей мистера Домби обнаруживал прирожденную неспособность слиться со списком миссис Домби, и сразу можно было определить, кто в каком списке значится. Единственным исключением из этого правила был, пожалуй, мистер Каркер; улыбаясь всему обществу и присоединившись к кружку, собравшемуся около миссис Домби, он наблюдал за ней, за кружком, за своим начальником, за Клеопатрой, майором, Флоренс и всеми присутствующими и чувствовал себя легко и свободно с обеими категориями гостей, а сам, в сущности, не принадлежал ни к той, ни к другой.

Флоренс он внушал такой страх, что его присутствие в комнате было для нее кошмаром. Ей никак не удавалось избавиться от этого кошмара, потому что взгляд ее время от времени обращался в сторону мистера Каркера помимо ее воли, как будто неприязнь и недоверие были притягательной силой, которой она не могла противостоять. Однако мысли ее были заняты другим: сидя в стороне — не потому, что ею не восхищались или не искали ее общества, но по свойственной ей скромности, — она чувствовала, какую незначительную роль играет ее отец во всем происходящем; она с тоскою видела, что ему как будто не по себе, что его просто не замечали, когда он медлил у двери, встречая тех гостей, которым хотел оказать особое внимание, и знакомил их со своей женой, которая принимала их с холодным высокомерием, но не проявляла ни малейшего интереса или желания понравиться и после церемонии представления уже не разжимала губ, нисколько не заботясь о том, чтобы выполнить его желание и приветствовать его гостей. Тем сильнее было замешательство и мучение Флоренс, что Эдит, поступавшая таким образом, к ней самой относилась ласково и с нежным вниманием, и Флоренс готова была упрекать себя в неблагодарности только потому, что замечала все происходившее у нее на глазах.

Счастлива была бы Флоренс, если бы осмелилась хоть взглядом выразить участие отцу; и счастлива была Флоренс, не ведая истинной причины его беспокойства. Но боясь показать, что его затруднительное положение ей известно, и тем навлечь на себя его неудовольствие, и разрываясь между привязанностью к нему и чувством горячей признательности к Эдит, она не решалась поднять на них глаза. Страдая за них обоих, она в этой толпе невольно подумала о том, что, пожалуй, для них было бы лучше, если бы никогда не раздавался здесь этот гул голосов и топот ног, если бы прежняя скука и запустение не уступили места новшествам и блеску, если бы заброшенная девочка не обрела друга в Эдит, а продолжала жить в уединении, забытая и никому не внушающая жалости.

У миссис Чик мелькали мысли, сходные с этими, но они не так спокойно созревали в ее голове. С самого начала эта славная матрона была оскорблена тем, что не получила приглашения на обед. Несколько оправившись от такого удара, она не пожалела денег, намереваясь явиться к миссис Домби вечером в ослепительном виде, который поразил бы чувства этой леди, а миссис Скьютон заставил бы согнуться под тяжестью унижения.

— Но мною занимаются ничуть не больше, чем Флоренс, — сказала миссис Чик мистеру Чикку. — Кто обращает на меня хоть какое-нибудь внимание? Никто!

— Никто, дорогая моя, — согласился мистер Чик, который сидел у стенки рядом с миссис Чик и даже здесь утешался тем, что тихонько насвистывал.

— Разве похоже на то, что здесь сколько-нибудь нуждаются во мне? — сверкая глазами, воскликнула миссис Чик.

— Нет, дорогая моя, по моему мнению, не похоже, — сказал мистер Чик.

— Поль сошел с ума! — сказала миссис Чик. Мистер Чик засвистел.

— Если ты не чудовище, каким я иной раз тебя считаю, — чистосердечно заявила миссис Чик, — то ты мог бы, сидя здесь, не мурлыкать своих песенок. В силах ли кто бы то ни было, имеющий хотя бы отдаленное сходство с мужчиной, видеть эту разодетую тещу Поля, кокетничающую с майором Бегстоком, присутствием которого мы обязаны, как и многими другими приятными веща-

ми, твоей Лукреции Токс...

— Моей Лукреции Токс, моя дорогая? — переспросил изумленный мистер Чик.

— Да! — весьма сурово отвечала миссис Чик. — Твоей Лукреции Токс! Итак, я спрашиваю, как можно видеть эту тещу Поля, и эту надменную жену Поля, и эти непристойные старые пугала с оголенными спинами и плечами, и вообще весь этот прием — видеть и в то же время насвистывать! — На последнем слове миссис Чик сделала презрительное ударение, заставившее мистера Чика вздрогнуть. — Это остается для меня, благодарение богу, тайной!

Мистер Чик подобрал губы так, что уже невозможно было ни мурлыкать, ни свистеть, и принял глубокомысленный вид.

— Но, надеюсь, мне известно, чего я вправе ждать, — продолжала миссис Чик, задыхаясь от негодования, — хотя Поль забыл о моих правах. Я как член семьи не намерена сидеть здесь, если на меня не обращают внимания. Я — пока еще не пыль под ногами миссис Домби, пока еще нет! — сказала миссис Чик таким тоном, как будто ждала, что это случится примерно послезавтра. — Я уеду! Я не стану говорить (как бы я там ни думала), что все это было затеяно с единственной целью унижить меня и оскорбить. Я просто уеду! Мое отсутствие пройдет незамеченным!

С этими словами миссис Чик величественно встала и взяла под руку мистера Чика, который вышел с ней из комнаты после получасового пребывания на заднем плане. И нужно отдать должное проницательности миссис Чик — ее отсутствие прошло совершенно незамеченным.

Но среди приглашенных негодовала не только она; ибо гости из списка мистера Домби (все еще попадавшие в затруднительное положение) дружно негодовали против гостей из списка миссис Домби, которые смотрели на них в монобль и вслух недоумевали, что это за люди; тогда как гости из списка миссис Домби жаловались на усталость, а юная особа с открытыми плечами, потеряв кавалера в лице веселого юноши, кузена Финикса (который уехал после обеда), призналась по секрету тридцати — сорока друзьям, что скучает смертельно. Все старые леди с грузом на голове имели основания быть недовольными миссис Домби; а директора и председатели компаний сошлись во мнении, что если уж Домби должен был жениться, то лучше бы он женился на особе, более подходящей ему по возрасту, не такой красивой и более богатой. Эта категория джентльменов высказала уверенность, что Домби поддался слабости и ему еще предстоит раскаяться. Вряд ли хоть один гость, за исключением робких гостей, не считал, что мистер или миссис Домби отнеслись к нему с пренебрежением или обидели его; было обнаружено, например, что бессловесная особа женского пола в черной бархатной шляпе лишилась дара речи только потому, что леди в малиновом бархате повели к столу раньше, чем ее. Даже у робких гостей характер испортился — либо от злоупотребления лимонадом, либо от того, что и на них повлияло общее настроение; и они обменивались друг с другом саркастическими шутками и шепотом выражали свое осуждение на лестницах и в закоулках. Общее неудовольствие и замешательство столь широко распространилось, что лакеи, собравшиеся в холле, чувствовали его не меньше, чем гости наверху. Даже слуги с факелами, ожидавшие перед домом, заразились этой болезнью и сравнивали празднество с похоронами, на которых не слышно плача и никто из присутствующих не упомянут в завещании.

Наконец разошлись все гости, а также и слуги с факелами, и улица, столь долго запруженная экипажами, опустела; и при догорающих свечах никого не видно было в комнатах, кроме мистера Домби и мистера Каркера, беседовавших поодаль, и миссис Домби и ее матери. Первая сидела на диване, вторая возлежала в позе Клеопатры, ожидая прибытия своей горничной. Когда мистер Домби закончил разговор с Каркером, последний приблизился с подобострастным видом, чтобы попрощаться.

— Надеюсь, — сказал он, — утомление, вызванное этим очаровательным вечером, не отразится завтра на миссис Домби.

— Миссис Домби, — подойдя, сказал мистер Домби, — в достаточной мере избегала утомления, чтобы избавить вас от всякого беспокойства по этому поводу. К сожалению, я должен сказать, миссис Домби, мне бы хотелось, чтобы в такой день, как сегодня, вы менее усердно остерегались утомления.

Она бросила на него высокомерный взгляд и, считая ниже своего достоинства смотреть на него, молча отвернулась.

— Я сожалею, сударыня, — продолжал мистер Домби, — что вы не сочли своим долгом... Она

снова посмотрела на него.

— ...своим долгом, сударыня, — продолжал мистер Домби, — оказать моим друзьям больше внимания. Кое-кто из тех, кем вам угодно было, миссис Домби, столь явно пренебречь сегодня, уверяю вас, делает вам честь своим посещением.

— Вам известно, что мы здесь не одни? — отозвалась она, глядя на него пристально.

— Нет! Каркер! Прошу вас, оставайтесь. Я настаиваю, чтобы вы остались! — воскликнул мистер Домби, помешав этому джентльмену бесшумно удалиться. — Как вы знаете, сударыня, мистер Каркер пользуется моим доверием. Предмет, о котором я говорю, известен ему не хуже, чем мне. Разрешите довести до вашего сведения, миссис Домби, что, по моему мнению, эти богатые, влиятельные лица оказывают честь мне. — И мистер Домби выпрямился, словно воздал им сейчас величайшие почести.

— Я вас спрашиваю, — повторила она, не спуская с него презрительного взгляда, — известно ли вам, что мы здесь не одни, сэр?

— Я должен просить, — выступив вперед, сказал мистер Каркер, — я должен умолять и настаивать, чтобы меня отпустили. Как бы ни была незначительна и маловажна эта размолвка...

Тут миссис Скьютон, которая не спускала глаз с лица дочери, перебила его.

— Милая моя Эдит, — сказала она, — и дорогой мой Домби, наш превосходный друг мистер Каркер, ибо я, право же, должна назвать его так...

Мистер Каркер прошептал:

— Слишком много чести.

— ...воспользовался теми самыми словами, которые готовы были сорваться у меня с языка, и я бог весть сколько времени умирала от желания произнести их при первом удобном случае. Незначительная и маловажная! Милая моя Эдит и дорогой мой Домби, неужели мы не знаем, что любая размолвка между вами... Нет, Флауэрс, не сейчас.

Флауэрс, горничная, при виде джентльменов поспешила удалиться.

— ...Что любая размолвка между вами, — продолжала миссис Скьютон, — которые живут душа в душу и связаны чудеснейшими узами чувства, должна быть незначительной и маловажной? Какие слова могут выразить это лучше? Никакие! Поэтому я с радостью пользуюсь этим ничтожным случаем, этим пустяшным случаем, в котором так полно обнаружилась Природа, и ваши индивидуальные качества, и все такое, что вызывает слезы у матери, — пользуюсь для того, чтобы сказать, что я не придаю происшедшему ни малейшего значения и вишу в этом только развитие низменных элементов Души! И в отличие от большинства тещ (какое отвратительное слово, дорогой Домби!), которые, как я слыхала, существуют в этом, боюсь, слишком искусственном мире, я в подобных случаях не подумаю вмешиваться в ваши дела и в конце концов не могу особенно огорчаться из-за таких маленьких вспышек факела этого... как его там зовут... не купидон, а другое очаровательное создание. Говоря это, добрая мать смотрела на обоих своих детей зорким взглядом, который, быть может, выражал твердое и хорошо обдуманное намерение, таившееся за бессвязными словами. Намерение это заключалось в том, чтобы предусмотрительно отойти в сторонку, не слышать в будущем бряцания их цепи и укрыться за притворной и наивной верой в их взаимную любовь и преданность друг другу.

— Я указал миссис Домби, — величественно промолвил мистер Домби, — что именно в ее поведении в самом начале нашей супружеской жизни вызывает мое неудовольствие и что, настаиваю я, должно быть исправлено. Каркер, — он кивнул головой, отпуская его, — спокойной ночи!

Мистер Каркер поклонился надменной молодой жене, чьи сверкающие глаза были устремлены на мужа, и, направляясь к двери, задержался у ложа Клеопатры, чтобы со смиренным и восторженным почтением поцеловать руку, которую она милостиво ему протянула.

Если бы его красивая жена разразилась упреками, изменилась в лице или хотя бы одним словом нарушила свое упорное молчание теперь, когда они остались вдвоем (ибо Клеопатра удалилась со всею поспешностью), мистер Домби мог бы выступить в защиту своих прав. Но перед этим напряженным, уничтожающим презрением, с каким она, посмотрев на него, опустила глаза, словно считала его недостойным и слишком ничтожным, чтобы ему возражать, — перед безграничным пренебрежением и высокомерием, с каким она сидела в тот миг, перед холодной, неумолимой решимостью, с какою она как будто давила его и отшвыривала, — он был беспомощен. И он оставил

ее во всем величии ее красоты, дышавшей презрением к нему.

Был ли он настолько малодушен, что умышленно подкараулил ее час спустя на старой лестнице, там, где видел когда-то Флоренс в лунном свете, с трудом поднимающуюся по ступеням, с маленьким Полем на руках? Или он случайно очутился здесь в темноте и, подняв глаза, увидел, как она выходит со свечой из той комнаты, где спала Флоренс, и снова заметил, как изменилось это лицо, которое он не мог смягчить?

Но оно не могло измениться так, как изменилось его лицо. В великой своей гордыне и гневе он не знал о той тени, которая упала на его лицо, в темном углу, в вечер их возвращения, и с тех пор появлялась часто, и омрачала его сейчас, когда он смотрел вверх.

Глава XXXVII

Несколько предостережений

На следующий день Флоренс, Эдит и миссис Скьютон сидели вместе, а у подъезда ждала карета, чтобы везти их на прогулку. Ибо теперь у Клеопатры снова была своя галера, а за обедом Уитерс, уже не изнуренный, в куртке с подбитою ватой грудью и в штанах военного покроя, стоял за ее креслом, которое было уже не на колесах, и больше не бодался. В эти дни волосы Уитерса лоснились от помады, он носил лайковые перчатки, и от него пахло одеколоном.

Они собрались в комнате Клеопатры. Змея древнего Нила⁹⁸ (да не будет это принято за оскорбление) покоилась на софе, маленькими глотками попивая свой утренний шоколад в три часа дня, а Флауэрс, горничная, пристегивала ей девственные рукавички и оборочки и совершала над ней церемонию домашнего коронавания, водружая на голову бархатную шляпку персикового цвета; искусственные розы на ней покачивались необычайно эффектно, когда параличное дрожание заигрывало с ними подобно легкому ветерку.

— Кажется, я немножко нервна сегодня утром, Флауэрс, — сказала миссис Скьютон. — У меня руки дрожат.

— Вчера вы были душою общества, сударыня, — отозвалась Флауэрс, — а сегодня вам придется за это расплачиваться.

Эдит, которая поманила Флоренс к окну и смотрела на улицу, стоя спиной к своей почтенной матери, занимавшейся туалетом, вдруг отшатнулась от окна, словно сверкнула молния.

— Дорогое мое дитя, — томно воскликнула Клеопатра, — неужели и ты нервна?! Не говори мне, милая Эдит — что ты, всегда такая сдержанная, тоже становишься мученицей, как твоя мать с ее несчастной натурой! Уитерс, кто-то стучит.

— Визитная карточка, сударыня, — сказал Уитерс, подавая ее миссис Домби.

— Я уезжаю, — сказала та, не взглянув на карточку.

— Дорогая моя, — промолвила миссис Скьютон, растягивая слова, — как странно давать такой ответ, даже не узнав, кто пришел. Подайте сюда, Уитерс. Ах, боже мой, милочка, да ведь это мистер Каркер! Такой рассудительный человек!

— Я уезжаю, — повторила Эдит таким повелительным тоном, что Уитерс, подойдя к двери, строго сказал ожидавшему слуге: «Миссис Домби уезжает. Ступайте», — и захлопнул перед ним дверь.

Но через несколько минут слуга вернулся и шепнул что-то Уитерсу, который снова, и не очень охотно, предстал перед миссис Домби.

— Простите, сударыня, мистер Каркер свидетельствует свое почтение и просит, если можно, уделить ему одну минуту для делового разговора, сударыня.

— Право же, дорогая моя, — сказала миссис Скьютон самым нежным голосом, ибо выражение лица дочери не предвещало добра, — если ты разрешишь мне высказать мое мнение, я бы посоветовала...

— Просите его сюда, — сказала Эдит. Когда Уитерс пошел исполнять приказание, она доба-

⁹⁸ *Змея древнего Нила* — намек на Клеопатру, царицу египетскую (I век до н. э.) которая, по преданию, покончила с собой, положив себе на грудь ядовитую змею.

вим, бросив хмурый взгляд на мать:

— Раз он приходит по вашему совету, пусть войдет в вашу комнату.

— Могу я... не уйти ли мне? — быстро спросила Флоренс.

Эдит утвердительно кивнула головой, но, направляясь к двери, Флоренс встретила входящего гостя. С тою же неприятной фамильярностью и снисходительностью, с какою он говорил всегда, обратился он к ней и теперь, заговорив самым вкрадчивым тоном; он выразил надежду, что она здорова... об этом незачем было спрашивать, достаточно взглянуть на ее лицо, чтобы получить ответ... он едва имел честь узнать ее вчера вечером, так она изменилась... Он придерживал дверь, когда она уходила, и втайне сознавая свою власть над нею, с испугом отшатнувшейся от него, не смог до конца скрыть это чувство, несмотря на всю свою почтительность и учтивость.

Затем он склонился на секунду над любезно протянутой рукой миссис Скьютон и, наконец, поклонился Эдит. Холодно, не глядя на него, она ответила на его приветствие и, не садясь сама и не приглашая его сесть, ждала, чтобы он заговорил.

Хотя она и опиралась на свою гордость и власть и призвала на помощь свой непреклонный дух, однако ее прежняя уверенность в том, что с первого же дня знакомства этот человек знал ее и ее мать с худшей стороны, что каждое перенесенное ею унижение было таким же явным для него, как и для нее, что он читал ее жизнь, словно какую-то гнусную книгу, и перелистывал перед нею страницы, бросая быстрые взгляды и меняя интонации, чего никто другой заметить не мог, — все это ослабляло ее и подрывало ее силы. Когда она гордо стояла перед ним и ее властное лицо требовало от него смирения, ее презрительно сжатые губы отвергали его, грудь тяжело вздымалась от возмущения его присутствием, а темные ресницы угрюмо опускались, скрывая блеск глаз, чтобы ни один луч не упал на него, когда он глядел на нее покорно, с умоляющим, обиженным видом, но всецело подчиняясь ее воле, — она в глубине души сознавала, что в действительности победа и торжество на его стороне и он прекрасно это знает.

— Я позволил себе добиваться чести увидеть вас, — начал мистер Каркер, — и я осмелился указать, что пришел по делу, потому что...

— Быть может, мистер Домби поручил вам передать мне какое-нибудь порицание? — спросила Эдит. — Мистер Домби оказывает вам такое необычайное доверие, сэр, что вряд ли вы меня удивите сообщением, что именно в этом и заключается ваше дело.

— У меня нет никакого поручения к леди, которая украшает своим блеском его имя, — сказал мистер Каркер. — Но я в своих собственных интересах умоляю эту леди быть справедливой к смиренному слуге, вызывающему к ней о справедливости... к простому подчиненному мистера Домби... к человеку, который занимает скромное положение... и подумать о том, что вчера вечером я был совершенно беспомощен и не мог уклониться, когда меня заставили быть свидетелем весьма мучительных объяснений.

— Дорогая моя Эдит, — тихим голосом промолвила Клеопатра, опуская лорнет, — право же, это очаровательно со стороны мистера... как его там зовут. И в этом столько сердца!

— Ибо я осмеливаюсь, — продолжал мистер Каркер, с почтительной признательностью обращаясь к миссис Скьютон, — я осмеливаюсь назвать это мучительными объяснениями, хотя таковыми они были только для меня, который имел несчастье при этом присутствовать. Столь незначительная размолвка между патронами — между теми, кто питает друг к другу бескорыстную любовь и готов принести себя в жертву, — это ничто. Как выразилась вчера вечером весьма правильно и с таким чувством сама миссис Скьютон, это — ничто.

Эдит не могла смотреть на него, но через несколько секунд она спросила:

— А ваше дело, сэр...

— Эдит, милая моя, — сказала миссис Скьютон, — мистер Каркер все время стоит. Дорогой мистер Каркер, прошу вас, присядьте.

Он ничего не ответил матери, но не спускал глаз с надменной дочери, словно от нее одной ждал приглашения и решил его добиться. Эдит вопреки своему желанию села и легким движением руки предложила ему сесть. Ничего более холодного, более высокомерного и дерзкого не могло быть, чем этот жест, выражающий неуважение и сознание собственного превосходства, но Эдит боролась даже против такой уступки, и она была вырвана у нее. Этого было достаточно! Мистер Каркер сел.

— Разрешите ли вы мне, сударыня, — начал Каркер, ослепляя миссис Скьютон белизною своих

зубов, — разрешите ли вы, обладая таким глубоким пониманием и такую чувствительностью, сообщить кое-что миссис Домби и предоставить ей право передать это вам, ее лучшему и искреннейшему другу... ближайшему после мистера Домби?

Миссис Скьютон хотела удалиться, но Эдит остановила ее. Эдит остановила бы и его и с негодованием приказала бы ему говорить открыто или замолчать, если бы он не сказал, понизив голос:

— Мисс Флоренс... молодая леди, которая только что вышла из комнаты. — Эдит позволила ему продолжать. Теперь она смотрела на него. Когда он наклонялся с величайшей деликатностью и уважением, приближаясь к ней и со смиренной улыбкой показывая свои зубы, выстроившиеся в боевом порядке, ей хотелось убить его на месте.

— Положение мисс Флоренс, — снова начал он, — было печальным. Я затрудняюсь говорить об этом с вами, так как ваша привязанность к ее отцу, естественно, заставляет вас чутко и ревниво прислушиваться к каждому слову, которое имеет к нему отношение. — Его речь всегда была вкрадчивой, но невозможно описать ту вкрадчивость, с какою он произнес эти слова и произносил другие, сходные с ними по смыслу. — Но могу ли я, как человек, который также, хотя и по-иному, предан мистеру Домби и неизменно восхищался и восхищается характером мистера Домби, могу ли я сказать, не оскорбляя ваших чувств супруги, что на мисс Флоренс, к несчастью, не обращал внимания... ее отец? Могу ли я сказать — ее отец?

Эдит ответила:

— Мне это известно.

— Вам это известно! — повторил мистер Каркер, по-видимому, с глубочайшим облегчением. — Это снимает у меня тяжесть с сердца. Могу ли я надеяться, что вам известен источник этого невнимания, каковое объясняется гордостью мистера Домби, вернее — его характером?

— Вы можете не останавливаться на этом, сэр, — заметила она, — и поскорее перейти к тому, что вы хотели сказать.

— Конечно, сударыня, я понимаю, — ответил мистер Каркер, — верьте мне, я прекрасно понимаю, что в ваших глазах мистер Домби не нуждается ни в каком оправдании. Но прошу вас судить о моем сердце по вашему сердцу, и вы мне простите мой интерес к мистеру Домби, даже если этот чрезмерный интерес иногда заводит меня слишком далеко.

Какою мукой для ее гордого сердца было сидеть здесь с ним, лицом к лицу, и слушать, как он снова и снова напоминает ей о лживой клятве перед алтарем и навязывает ее, словно чашу с недопитым тошнотворным напитком, а она не могла признаться, что этот напиток внушает ей отвращение, и не могла оттолкнуть его! Как терзали ее стыд, раскаяние и гнев, когда, находясь перед ним во всеоружии своей красоты, она знала, что, в сущности, лежит у его ног!

— Мисс Флоренс, — продолжал Каркер, — оставленная на попечение — если можно это назвать попечением — слуг и наемных людей, во всех отношениях стоящих ниже ее, естественно, нуждалась с детских лет в руководстве и указаниях и, не имея этого, поступала неосмотрительно и до известной степени забыла о своем положении. Было у нее увлечение неким Уолтером, простым малым, который, к счастью, теперь умер. И с сожалением должен сказать, что она поддерживала весьма нежелательные сношения с какими-то моряками каботажного плавания, отнюдь не пользующимися хорошей репутацией, и со старым бежавшим банкротом.

— Я слыхала обо всем этом, сэр, — сказала Эдит бросив на него презрительный взгляд, — и мне известно, что вы искажаете факты. Вы можете этого не знать. Надеюсь, что так оно и есть.

— Простите, — сказал мистер Каркер, — думаю, что никто не знает их лучше, чем я. Вашу великодушную и пылкую натуру, сударыня, — ту натуру, которая так благородно и настойчиво оправдывает вашего любимого и уважаемого мужа и которая его осчастливила, как он того заслуживает, — я должен почитать, должен уважать ее и склоняться перед нею. Но что касается фактов, — а ради них-то я и осмелился добиваться вашего внимания, — то у меня не может быть никаких сомнений, ибо, исполняя свой долг в качестве поверенного мистера Домби — смею сказать, в качестве его друга, — я установил их неоспоримо. Во исполнение этого долга, глубоко озабоченный, как вы можете это понять, всем, что имеет отношение к мистеру Домби, побуждаемый, если хотите (ибо боюсь, что я у вас в немилости) более низкими мотивами — желанием доказать свое усердие и снискать большее расположение, я долго расследовал эти факты и сам и с помощью лиц, заслуживающих доверия, и имею многочисленные и неопровержимые доказательства.

Она бросила взгляд только на его рот, но в каждом зубе увидела орудие зла.

— Простите, сударыня, — продолжал он, — если в своем замешательстве я осмеливаюсь просить у вас совета и хочу сообразовать свои действия с вашими желаниями. Если не ошибаюсь, я заметил, что вы очень интересуетесь мисс Флоренс.

Было ли в ней хоть что-нибудь, чего бы он не заметил и не знал? Униженная и в то же время возмущенная этой мыслью, она закусила дрожащую губу, чтобы сохранить спокойствие, и в ответ холодно кивнула головой.

— Этот интерес, сударыня, столь трогательно доказывающий, что вам дорого все касающееся мистера Домби, заставляет меня колебаться и мешает ознакомить его с этими фактами, которых он еще не знает. Если разрешите мне сделать признание, моя верность ему настолько поколебалась, что вам достаточно хотя бы только намекнуть о своем желании, чтобы я умолчал о них.

Эдит быстро подняла голову и, отпрянув, устремила на него мрачный взгляд. Он ответил самой вкрадчивой и почтительной улыбкой и продолжал:

— Вы говорите, что я представляю их в искаженном виде. Боюсь, что нет! Боюсь, что нет! Но допустим, что это так. Беспокойство, какое я последнее время испытываю, вызвано следующим: обстоятельство, что мисс Флоренс, при всей своей невинности и доверчивости, бывала в подобном обществе, будет иметь решающее значение для мистера Домби, уже восстановленного против нее, и побудит его предпринять шаги (я знаю, что он уже подумывал об этом) к тому, чтобы расстаться с нею и удалить ее из своего дома. Сударыня, будьте ко мне снисходительны и вспомните, что я чуть ли не с детства имею дело с мистером Домби, знаю его и почитаю, — будьте ко мне снисходительны, когда я говорю, что если есть у него какой-нибудь недостаток, то этот недостаток — высокомерное упорство, коренящееся в той благородной гордости и сознании собственной власти, какие ему свойственны и перед коими мы все должны преклоняться. Упорство неодолимое, в отличие от упрямства других людей, и возрастающее со дня на день и из года в год!

Она все еще не спускала с него глаз; но как бы ни был решителен ее взгляд, ноздри ее раздувались, дыхание стало глубже, и губы слегка искривились, когда он описывал те качества своего патрона, перед которыми они все должны склониться. Он это заметил; и хотя выражение его лица не изменилось, она знала, что он это заметил.

— Такая незначительная размолвка, какая произошла вчера вечером, — сказал он, — если мне позволено будет вернуться к ней, пояснит смысл моих слов лучше, чем размолвка более серьезная. Домби и Сын не признают ни времени, ни места, ни поры года; они подчиняют их себе. И я даже радуюсь вчерашнему инциденту, ибо он дает мне возможность сегодня коснуться в разговоре с миссис Домби этой темы, хотя бы я временно и навлек на себя ее неудовольствие. Сударыня, в самый разгар моего беспокойства и опасений по этому поводу я был вызван мистером Домби в Лемингтон. Там я увидел вас. Там я не мог не понять, какое положение вы займете в ближайшем будущем — положение, сулящее счастье на долгие времена как ему, так и вам. Там я принял решение ждать, пока вы не водворитесь у себя, в своем доме, а затем действовать так, как действую я сейчас. В глубине души я не боюсь изменить своему долгу по отношению к мистеру Домби, если доверю вашему сердцу то, что мне известно, ибо если у двоих одно сердце и одна душа, как в этом союзе, то один из двух может заменить собою другого. Итак, доверюсь ли я вам или ему, совесть моя будет одинаково спокойна. По причинам, мною упомянутым, я хотел бы выбрать вас. Могу ли я уповать на такую честь и считать, что доверительное мое сообщение принято и что я освобожден от всякой ответственности?

Он долго помнил тот взгляд, какой она бросила на него — кто мог бы видеть его и не запомнить? — и душевную ее борьбу. Наконец она сказала:

— Я принимаю его, сэр. Считайте вопрос исчерпанным, и пусть с этим будет покончено.

Он низко поклонился и встал. Она также встала, и он с величайшим смирением распрощался с ней. Но Уитерс, встретив его на лестнице, остановился, пораженный великолепными его зубами и ослепительной его улыбкой, а когда он ехал на своей белоногой лошади, — прохожие принимали его за дантиста — так сверкали его зубы. И прохожие принимали ее, когда она вскоре отправилась на прогулку в своем экипаже, за знатную леди, не менее счастливую, чем богатую и изящную. Но они ее не видели, когда несколько минут назад она была одна в своей комнате, и не слышали, как она произнесла три слова: «О, Флоренс, Флоренс!»

Миссис Скьютон, покоясь на софе и маленькими глоточками попивая шоколад, не слышала ни-

чего, кроме произнесенного шепотом слова «дело», к которому она питала смертельное отвращение, так что давно уже изгнала его из своего словаря, и в результате самым очаровательным образом и от всего сердца (не будем говорить — от души) почти разорила многих модисток и других лиц. Посему миссис Скьютон не задавала никаких вопросов и не проявляла ни малейшего любопытства. По правде сказать, бархатная персикового цвета шляпка в достаточной мере занимала ее внимание вне дома; ибо день был ветреный, а шляпка, водруженная на затылке, делала бешеные усилия, чтобы ускользнуть от миссис Скьютон, и, несмотря на уещения, не шла ни на какие уступки. Когда дверцы кареты захлопнулись и доступ ветру был прегражден, параличное дрожание снова начало заигрывать с искусственными розами, будто резвились в богадельне престарелые зефиры; и, вообще, у миссис Скьютон достаточно было забот, и справлялась она с ними неважно.

К вечеру ей не стало лучше, ибо когда миссис Домби оделась и полчаса прождала ее в своей уборной, а мистер Домби, прогуливаясь по гостиной, пришел в состояние высокомерного раздражения (они втроем должны были ехать на званый обед), Флауэрс, горничная, предстала с бледным лицом перед миссис Домби и сказала.

— Извините, сударыня, прошу прощения, но я ничего не могу поделать с миссис!

— Что это значит? — спросила Эдит.

— Сударыня, — ответила испуганная горничная, — я ничего не понимаю. У нее лицо как будто искривилось.

Эдит вместе с ней бросилась в комнату матери. Клеопатра была в полном параде — бриллианты, короткие рукава, румяна, локоны, зубы и прочие девственные прелести были налицо; но паралич нельзя ввести в заблуждение, он признал в ней ту, за кем был послан, и поразил ее перед зеркалом, где она и лежала, как отвратительная кукла, свалившаяся на пол.

Не смущаясь, ее разобрали на части и то немногое, что было в ней подлинным, уложили в постель. Послали за докторами, и те вскоре явились. Прибегли к сильно действующим средствам; вынесли приговор, что от этого удара она оправится, но второго не переживет; и в течение многих дней она лежала немая, глядя на потолок; иногда издавала нечленораздельные звуки в ответ на вопросы, узнает ли она тех, кто здесь находится, и тому подобные; иногда не давала ответа ни знаком, ни жестом, ни выражением немигающих глаз.

Наконец она начала обретать сознание и в какой-то степени способность двигаться, но дар речи еще не возвращался. Однажды она почувствовала, что снова владеет правой рукой, и, указав на это горничной, за ней ухаживающей, и обнаруживая величайшее волнение, она делала знаки, чтобы ей дали карандаш и бумагу. Горничная подала их немедленно, полагая, что она хочет написать завещание или выразить последнее свое желание; миссис Домби не было дома, и горничная с благоговением ждала, что будет дальше.

После мучительных усилий, выразившихся в писании, стирании, начертании ненужных букв, казалось, срывавшихся самопроизвольно с карандаша, старуха протянула такой документ:

«Розовые занавески».

Так как горничная была совершенно ошеломлена — и не без оснований, — Клеопатра приписала еще два слова, и теперь на бумаге значилось:

«Розовые занавески для докторов».

Горничная начала смутно догадываться, что занавески ей нужны для того, чтобы в присутствии врачей цвет лица у нее был лучше; а так как те из домочадцев, кто хорошо ее знал, не сомневались в правильности этого заключения, которое она вскоре и сама могла подтвердить, у ее кровати были повешены розовые занавески, и с этого часа она начала поправляться с удивительной быстротой. Вскоре она могла уже сидеть в локонах, кружевном чепце и капоте и украшать глубокие впадины на щеках легким искусственным румянцем.

Ужасное зрелище представляла эта разряженная старуха, жеманившаяся и кокетничавшая со Смертью и пускавшая в ход свои девичьи уловки, словно Смерть была майором; но изменение ее душевного склада, последовавшее за ударом, также давало обильную пищу для размышлений и было не менее страшно.

Быть может, ослабление умственных способностей сделало ее еще более лукавой и фальшивой, чем прежде, или у нее спутались представления о том, чем она хотела быть и чем была в действительности, а быть может, она почувствовала смутное раскаяние, которое не могло ни вырваться на

поверхность, ни отступить во мрак, или же в затуманенном ее мозгу все это всколыхнулось одновременно — последнее предположение, пожалуй, является наиболее вероятным, — но результаты были таковы: она сделалась необычайно взыскательной во всем, что касалось любви, благодарности и внимания к ней со стороны Эдит; восхваляла себя, как безупречную мать, и ревновала ко всем, кто посягал на привязанность Эдит. Мало того: забыв о решении не говорить о замужестве дочери, она постоянно упоминала о нем, считая это доказательством того, что она — несравненная мать. И все вместе взятое, наряду с болезненной слабостью и раздражительностью, являлось весьма язвительной иллюстрацией к ее легкомыслию и юному возрасту.

— Где миссис Домби? — спрашивала она свою горничную.

— Ее нет дома, сударыня.

— Нет дома! Она уходит из дому, чтобы ускользнуть от своей мамы, Флауэрс?

— Господь с вами, сударыня! Миссис Домби поехала на прогулку с мисс Флоренс.

— Мисс Флоренс! Кто такая мисс Флоренс? Не говорите мне ничего о мисс Флоренс. Что для нее мисс Флоренс по сравнению со мной?

Вовремя извлеченные бриллианты, бархатная персикового цвета шляпка (ибо она стала надевать шляпку в ожидании гостей задолго до того, как снова начала выезжать из дому) или какие-нибудь нарядные тряпки обычно останавливали поток слез, уже готовых хлынуть, и она пребывала в благодушном расположении духа вплоть до прихода Эдит; а тогда, бросив взгляд на гордое лицо, она снова впадала в уныние.

— Ну, знаешь ли, Эдит! — восклицала она, тряся головой.

— Что случилось, мама?

— Что случилось! Право, я не знаю, что случилось. Мир становится таким искусственным и неблагодарным, что мне начинает казаться, будто совсем нет на свете сердца или чего-нибудь в этом роде. Скорее Уитерс — родное мое дитя, чем ты! Он ухаживает за мной гораздо больше, чем дочь. Право же, мне хочется, чтобы я не была такой молодежкой. Может быть, мне оказывали бы тогда больше уважения.

— Чего бы вы хотели, мама?

— О, очень многого, Эдит! — Она отвечала крайне нетерпеливо.

— Разве у вас нет того, чего бы вам хотелось? Вы сами виноваты, если это так.

— Сама виновата! — Она начинала хныкать. — Какой матерью я была для тебя, Эдит! Я не расставалась с тобой с самой твоей колыбели! А ты не только пренебрегаешь мною и питаешь ко мне не больше привязанности, чем к чужому человеку, — ты не уделяешь мне и двадцатой доли той любви, какую питаешь к Флоренс! Извольте видеть, я твоя мать, и могу ее испортить. И ты еще говоришь мне, что я сама виновата!

— Мама! Я вас ни в чем не упрекаю. Почему вы всегда возвращаетесь к этому?

— Разве не естественно, что я к этому возвращаюсь, если я — воплощенная любовь и чувствительность, а каждый твой взгляд наносит мне жестокую рану?

— Я не хочу наносить вам раны, мама. Разве вы забыли наш уговор? Оставим прошлое в покое.

— В покое! И благодарность ко мне оставим в покое, и любовь ко мне оставим в покое, и меня оставим в покое, пока я лежу здесь одна, лишенная общества и забот, тогда как ты находишь новых родственников, за которыми ухаживаешь, хотя они решительно никаких прав на тебя не имеют! Ах, боже мой, Эдит, известно ли тебе, в каком блестящем доме ты — хозяйка?

— Да. Тише!

— А этот благородный человек, Домби... знаешь ли ты, что он — твой муж, Эдит, и что у тебя есть состояние, положение, карета и мало ли что еще?

— Конечно, я это знаю, мама. Прекрасно знаю.

— А ты бы имела все это с той доброй душою... как его звали?... с Грейнджером, если бы он не умер? Кого ты должна благодарить за все, Эдит?

— Вас, мама, вас.

— В таком случае обними меня и поцелуй. И докажи мне, Эдит, что тебе хорошо известно: не было на свете лучшей матери, чем я. И позаботься о том, чтобы я, терзаясь и мучаясь из-за твоей неблагодарности, не превратилась в настоящее чудовище, иначе меня никто не узнает, когда я снова появлюсь в обществе, — не узнает даже это ненавистное животное майор!

Но иной раз, когда Эдит подходила к ней и, склонив свою надменную голову, прижималась холодной щекой к ее щеке, мать откидывалась назад, как будто боялась ее, и начинала дрожать, и восклицала, что у нее мысли путаются. А иногда она смиренно просила ее посидеть на стуле у кровати и смотрела на нее (когда та сидела в глубокой задумчивости), и даже розовые занавески не могли прикрасить бессмысленного и страшного лица.

Розовые занавески краснели, наблюдая выздоровление Клеопатры и ее наряд, еще более девический, чем прежде, — надо было скрыть разрушительное действие болезни, — ее румяна, зубы, локоны, бриллианты, короткие рукава и весь туалет куклы, свалившейся на пол перед зеркалом. Они краснели, наблюдая время от времени невразумительность ее речей, которую она маскировала девичьим хихиканьем, и случайные провалы в памяти, капризные и смехотворные, как бы издевавшиеся над ее капризной и смехотворной особой.

Но они ни разу не наблюдали перемены в ее новой манере размышлять о дочери и говорить с нею. И хотя на эту дочь часто падала тень занавесок, они ни разу не наблюдали, чтобы прекрасное ее лицо осветилось улыбкой и дочерняя любовь смягчила эту суровую красоту.

Глава XXXVIII

Мисс Токс возобновляет старое знакомство

Удрученная мисс Токс, покинутая своим другом Луизой Чик и лишенная счастья лицезреть мистера Домби — ибо две изящные свадебные карточки, соединенные серебряной нитью, не украшали ни зеркала над камином на площади Принцессы, ни клавикордов, ни тех полочек с безделушками, которыми Лукреция занималась по праздникам, — впала в уныние и очень страдала от меланхолии. В течение некоторого времени на площади Принцессы не слышно было «Птичьего вальса», цветы оставались без ухода и пыль собиралась на миниатюрном портрете предка мисс Токс с напудренной головой и косичкой.

Однако мисс Токс и по возрасту ее и по характеру несвойственно было долго предаваться тщетным сожалениям. Только две клавиши на клавикордах онемели от долгого молчания, когда в темной гостиной снова раздался щебет и трели «Птичьего вальса»; только одна веточка герани пала жертвой плохого ухода, прежде чем мисс Токс снова начала аккуратно каждое утро заниматься своими цветами в зеленых корзинках; предок с напудренной головой оставался затуманенным пылью не больше шести недель, после чего мисс Токс подышала на его добродушное лицо и протерла его куском замши.

Тем не менее мисс Токс чувствовала себя одинокой и растерянной. Ее преданность, как бы смешно она ни проявлялась, была искренней и глубокой; и мисс Токс, по ее собственному выражению, была «крайне уязвлена незаслуженным оскорблением, нанесенным ей Луизой». Но натуре мисс Токс чувство гнева было чуждо. Если она семеняла по жизни, говоря сладкие речи и не имея собственного мнения, то до сей поры она по крайней мере не изведала жестоких страстей. Однажды на улице при одном виде Луизы Чик, показавшейся на значительном расстоянии, хрупкий ее организм испытал такое потрясение, что ей пришлось немедленно искать пристанища в кофейне, и там, в затхлой маленькой задней комнате, где обычно пахло супом из бычачьего хвоста, она облегчила свою душу горькими слезами.

На мистера Домби, как полагала мисс Токс, у нее вряд ли были какие-нибудь основания жаловаться. Ее представление о великолепии этого джентльмена было таково, что теперь, когда ее удалили от него, она чувствовала, будто расстояние между ними всегда было бесконечно велико и будто он оказывал ей огромное снисхождение, терпя ее присутствие. По искреннему убеждению мисс Токс, никакая жена не могла быть слишком красивой или слишком величественной для него. Казалось естественным, что, намереваясь жениться, он искал себе жену в высших кругах. Мисс Токс со слезами пришла к такому заключению и по двадцать раз в день признавала его справедливость. Она никогда не вспоминала о том высокомерии, с каким мистер Домби заставил ее служить его интересам и капризам и милостиво разрешил ей быть одной из нянек при его маленьком сыне. Она думала только о том, что, выражаясь ее же словами, «она провела в этом доме много счастливых часов, о которых должна вечно вспоминать с благодарностью, и что мистера Домби она всегда будет считать одним из

удивительнейших и достойнейших людей».

Но, отвергнутая неумолимой Луизой и избегая майора (которому она теперь не очень доверяла), мисс Токс начала тосковать, не зная ровно ничего о том, что происходит в доме мистера Домби. А так как она всерьез привыкла считать Домби и Сына тою осью, вокруг которой вращается весь мир, то и решила для получения сведений, столь сильно ее интересовавших, возобновить старое знакомство с миссис Ричардс, зная, что та со времени своего последнего памятного появления пред лицом мистера Домби поддерживает сношения с его слугами. Быть может, отыскивая семейство Тудлей, мисс Токс руководствовалась тайным желанием найти кого-нибудь, с кем можно было бы поговорить о мистере Домби, хотя бы этот «кто-то» и занимал самое скромное положение.

Как бы там ни было, однажды вечером мисс Токс направила свои стопы к жилищу Тудлей в тот час, когда мистер Тудль, черный и покрытый золой, подкреплялся чаем в лоне семьи. Мистер Тудль знал только три стадии существования. Он или подкреплялся в вышеупомянутом лоне, или мчался по стране со скоростью от двадцати пяти до пятидесяти миль в час, или спал после трудов своих. Вокруг него всегда был либо вихрь, либо штиль, но и в том и в другом случае мистер Тудль оставался миролюбивым, нетребовательным, покладистым человеком. Казалось, он передал всю унаследованную им способность раздражаться и кипятиться паровозам, с которыми имел дело, и они пыхтели, хрипели, горячились и изнашивались с удивительной быстротой, в то время как мистер Тудль жил тихой и размеренной жизнью.

— Полли, моя женушка, — начал мистер Тудль, держа на каждом колене по юному Тудлю, тогда как другие двое готовили ему чай и еще целая куча возилась вокруг (у мистера Тудля никогда не было недостатка в детях, и он всегда имел под рукой большой запас), — ты давно не видела нашего Байлера?

— Давно, — ответила Полли, — но сегодня его свободный вечер, а он никогда не пропускает этого дня. Наверное, он скоро придет.

— Мне кажется, — сказал мистер Тудль, наслаждаясь своим чаем, — теперь наш Байлер ведет себя хорошо, насколько это возможно для мальчика. Не так ли, Полли?

— О, он ведет себя прекрасно! — откликнулась Полли.

— Он ничего не утаивает, не так ли, Полли? — осведомился мистер Тудль.

— Ничего! — решительно сказала Полли.

— Я рад, что он ничего не утаивает, Полли, — заметил мистер Тудль раздумчиво и неторопливо, складным ножом запихивая в рот хлеб с маслом, словно уголь в топку, — потому что не годится это делать. Верно, Полли?

— Конечно, не годится. Есть о чем спрашивать!

— Слушайте, мои мальчики и девочки, — сказал мистер Тудль, созерцая свое семейство, — если вы занимаетесь каким-нибудь честным делом, — лучше всего, по моему мнению, заниматься им открыто. Если случится вам попасть в ущелье или туннель, не вздумайте прятаться и хитрить. Давайте свистки, и пусть все знают, где вы находитесь.

Подрастающие Тудли испустили пронзительный крик, выражая намерение воспользоваться отцовским советом.

— Но почему тебе пришло в голову говорить это о Робе? — с беспокойством спросила жена.

— Полли, старушка, — ответил мистер Тудль, — право же, я не знаю, говорил ли я это о Робе. Я отправляюсь в путь с одним Робом; добираюсь до разъезда; забираю то, что там нахожу, и целый поезд мыслей прицепляется к нему, прежде чем я успею сообразить, где я или откуда они взялись. Честное слово, мысли человека — настоящий железнодорожный узел! — сказал мистер Тудль.

Это глубокомысленное соображение мистер Тудль запил кружкой чаю, вмещающей целую пинту, и начал подкрепляться огромными ломтями хлеба с маслом, наказывая в то же время своим юным дочерям вскипятить побольше воды в котелке, ибо у него совсем пересохло в горле и придется ему выпить «великое множество кружек», прежде чем он утолит жажду.

Услаждая себя, мистер Тудль не забывал и о юных отпрысках, его окружавших, которые уже поужинали, но все-таки ждали лишнего кусочков, точно лакомства. Эти кусочки он то и дело раздавал собравшимся в кружок юным Тудлям, протягивая огромный ломоть хлеба с маслом, от которого должны были откусывать по очереди все члены семейства, и таким же образом угощая их маленькими порциями чая с ложки. Эта легкая закуска показалась юным Тудлям такой вкусной, что они вос-

торженно пустились в пляс, вертелись на одной ножке и выражали свою радость всевозможными прыжками. Дав исход своему возбуждению, они снова окружили кольцом мистера Тудля и пристально следили, как он продолжает истреблять хлеб с маслом и чай, но притворялись, будто ничего уже не ждут для себя от этих яств, беседовали на посторонние темы и перешептывались между собой.

Мистер Тудль, находясь в центре семейной группы и — что касается аппетита — подавая своим детям устрашающий пример, держал на коленях двух юных Тудлей, вез их экстренным поездом в Бирмингем и подумывал об остановке у шлагбаума из хлеба с маслом, когда явился Роб Точильщик в своей знойдвестке и траурных штанах и был атакован братьями и сестрами.

— Как поживаете, матушка? — спросил Роб, почтительно целуя ее.

— Вот и мой мальчик! — воскликнула Полли, обнимая его и похлопывая по спине. — Утаивает! Господь с тобой, уж он-то ничего не утаивает! Это было сказано в назидание мистеру Тудлю, но Роб Точильщик, который не был нечувствителен к хуле, тотчас подхватил:

— Как! Значит, отец опять за что-то меня бранил! — воскликнул невинно оскорбленный. — Ох, тяжело приходится парню, если он когда-то сбился с пути, а родной отец вечно бросает ему в лицо упреки за его спиной! Право же, — продолжал Роб, в отчаянии прибегая к обшлагоу своей куртки, — этого достаточно, чтобы парень пошел да и выкинул какую-нибудь штуку со злости!

— Бедный мой мальчик! — вскричала Полли. — Отец ничего такого не думал.

— Если отец ничего такого не думал, — захныкал оскорбленный Точильщик, — так зачем же он говорил, матушка? Никому я не казался таким скверным, как родному отцу. На что это похоже! Хотел бы я, чтобы кто-нибудь взял да и отрубил мне голову. Я думаю, отец не прочь это сделать, и уж пусть лучше это сделает он, чем кто-нибудь другой.

Услыхав такие отчаянные слова, все юные Тудли завизжали, что вызвало патетический эффект, а Точильщик ему способствовал, иронически упрасивал их не оплакивать его, так как они должны его ненавидеть — должны, если они хорошие мальчики и девочки! И это так повлияло на предпоследнего Тудля, которого нетрудно было растрогать, — повлияло не только на его чувствительность, но и на дыхательные органы, — что он побагровел, и мистер Тудль в ужасе потащил его к бочке с водой и сунул бы его под кран, если бы тот не оправился при виде этого инструмента.

При таком положении дел мистер Тудль дал объяснения, и когда добродетельные чувства его сына были улажены, они пожали друг другу руку, и снова воцарился мир.

— Не хочешь ли последовать моему примеру, Байлер, мой мальчик? — осведомился отец, с сугубым усердием возвращаясь к своему чаю.

— Нет, спасибо, отец. Я уже пил чай с моим с хозяином.

— Ну, а как он поживает, Роб? — спросила Полли.

— Право, не знаю, матушка. Похвастаться нечем. Понимаете ли, торговли никакой нет. Он, капитан, ничего в этом деле не смыслит. Как раз сегодня зашел в лавку какой-то человек и говорит: «Мне, говорит, нужна такая-то вещь», и сказал какое-то мудреное слово. «Что?» — спрашивает капитан. «Такая-то вещь», — говорит человек. «Братец, — говорит капитан, — не хотите ли хорошенько осмотреть лавку?» — «Да ведь я, — говорит человек, — уже так и сделал». — «Вы видите то, что вам нужно?» — спрашивает капитан. «Нет, не вижу», — говорит человек. «А вы эту вещь узнаете, если ее увидите?» — спрашивает капитан. «Нет, не узнаю», — говорит человек. «Ну, так вот что я вам скажу, приятель, — говорит капитан, — вы бы лучше вернулись и спросили, какой у нее вид, потому что и я ее не узнаю!»

— Да ведь этак денег не наживешь, правда? — сказала Полли.

— Денег, матушка? Никогда не нажить ему денег! Такой повадки, как у него, я еще никогда не видывал! Но все-таки я должен сказать, что он не плохой хозяин. Однако для меня это неважно, потому что я не собираюсь оставаться у него надолго.

— Не собираешься остаться на этом месте, Роб? — воскликнула мать, а мистер Тудль широко раскрыл глаза.

— На этом месте, пожалуй, не собираюсь, — подмигнув, ответил Точильщик. — Я бы не удивился... понимаете ли, придворные связи... но сейчас вы об этом не думайте, матушка; со мной все обстоит благополучно, и конец делу.

Эти намеки и таинственный вид Точильщика, служа неоспоримым доказательством того, что

он повинен в грехе, приписанном ему мистером Тудлем, могли бы повести к нанесению ему новых обид и к семейному переполоху, если бы не явилась весьма кстати гостья, которая, показавшись в дверях, к великому изумлению Полли, покровительственно и дружелюбно улыбнулась всем присутствующим.

— Как поживаете, миссис Ричардс? — осведомилась мисс Токс. — Я пришла вас навестить. Можно войти?

Веселое лицо миссис Ричардс озарилось гостеприимной улыбкой, и мисс Токс, садясь на предложенный ей стул и по пути к нему грациозно кивнув мистеру Тудлю, развязала ленты шляпки и сказала, что прежде всего ей бы хотелось, чтобы милые детки, все до одного, подошли и поцеловали ее.

Злополучный предпоследний Тудль, родившийся, если судить по количеству его злоключений в домашнем кругу, под несчастливой звездой, не мог участвовать в этих всеобщих приветствиях, ибо напялил себе на голову зюйдвестку (с которой перед этим забавлялся) задом наперед и не в состоянии был ее снять, каковое обстоятельство, сулившее его устрaшенному воображению мрачную перспективу провести остаток дней во тьме и быть навеки отторгнутым от друзей и семьи, побуждало его бороться с великой энергией и испускать заглушенные вопли. Когда его освободили, лицо у него было очень разгоряченное, красное и потное, и мисс Токс посадила его, совершенно измученного, к себе на колени.

— Мне кажется, вы меня почти забыли, сэр! — сказала мисс Токс мистеру Тудлю.

— Нет, сударыня, нет, — ответил Тудль. — Но с той поры мы все немножко постарели.

— А как вы себя чувствуете, сэр? — кротко осведомилась мисс Токс.

— Прекрасно, сударыня, благодарю вас, — ответил Тудль. — Как вы себя чувствуете, сударыня? Ревматизм вам еще не очень докучает, сударыня? Всем нам приходится привыкать к нему с годами.

— Благодарю вас, — сказала мисс Токс. — Меня этот недуг еще не посещал.

— Вам очень повезло, сударыня, — ответил мистер Тудль. — В ваши годы многие жестоко им страдают. Вот, к примеру, у моей матери...

Но, поймав взгляд жены, мистер Тудль благоразумно похоронил конец фразы в новой кружке чаю.

— Миссис Ричардс, — воскликнула мисс Токс, глядя на Роба, — да неужели это ваш...

— Мой старший, сударыня, — сказала Полли. — Да, это он и есть. Тот самый мальчуган, сударыня, который без вины стал причиной таких событий.

— Это он, сударыня, тот самый, с короткими ногами... они были на редкость коротки для кожаных штанишек, — сказал мистер Тудль мечтательным голосом, — когда мистер Домби сделал из него Милосердного Точильщика.

Это напоминание едва не сломило силы мисс Токс. Оно имело непосредственное отношение к интересовавшему ее предмету. Она предложила Робу пожать ей руку и расхвалила его матери открытое, честное лицо сына. Роб, подслушав эти слова, постарался придать своей физиономии выражение, оправдывающее похвалу, но вряд ли это ему удалось.

— А теперь, миссис Ричардс, — сказала мисс Токс, — а также и вы, сэр, — обратилась она к Тудлю, — я вам скажу просто и откровенно, почему я пришла сюда. Быть может, вам известно, миссис Ричардс, и, может быть, известно также и вам, сэр, что некоторое охлаждение произошло между мною и кое-кем из моих друзей и что там, где я бывала часто, теперь я не бываю совсем.

Полли, которая, с женским тактом, сразу поняла ее, выразила это одним взглядом. Мистер Тудль, который понятия не имел, о чем говорит мисс Токс, выразил свое недоумение, выпучив глаза.

— Конечно, — продолжала мисс Токс, — вопрос о том, как возникла эта маленькая размолвка, не имеет никакого значения, и обсуждать его не стоит. Достаточно будет сказать, что я питаю величайшее уважение к мистеру Домби, — голос мисс Токс дрогнул, — и всему, что его касается.

Мистер Тудль, кое-что уразумев, покачал головой и сказал, будто он и от людей слышал и сам считает, что с мистером Домби трудно иметь дело.

— Прошу вас, будьте добры, не говорите этого, сэр, — возразила мисс Токс. — Умоляю вас не говорить этого, сэр! Ни сейчас, ни когда бы то ни было! Подобные замечания крайне мучительны для меня и отнюдь не могут доставить удовольствие джентльмену с таким складом ума, каким вы обла-

даете, по моему мнению.

Мистер Тудль, нимало не сомневавшийся в том, что произнесенная им фраза заслужит одобрение, пришел в крайнее замешательство.

— Я только хочу сказать, миссис Ричардс, — продолжала мисс Токс, — я обращаюсь также и к вам, сэр, — хочу сказать, что любые сведения об образе жизни этого семейства, о благополучии семейства, о здоровье семейства, какие дойдут до вас, будут для меня всегда в высшей степени любопытны. Я всегда рада буду поболтать с миссис Ричардс об этом семействе и о прежних временах. А так как у меня с миссис Ричардс никогда не было ни малейших недоразумений (и я лишь сожалею, что мы с ней не познакомились ближе, но в этом виновата я одна), я надеюсь, она согласится, чтобы впредь мы были наилучшими друзьями и чтобы я приходила сюда и уходила, когда мне вздумается, как свой человек. Право же, я надеюсь, миссис Ричардс, — с большою серьезностью сказала мисс Токс, — что вы поймете это так, как мне бы хотелось, потому что вы всегда были добрейшим существом.

Полли была польщена и не скрывала этого. Мистер Тудль не знал, польщен он или нет, и сохранял невозмутимое спокойствие.

— Вы понимаете, миссис Ричардс, — сказала мисс Токс, — надеюсь, и вы понимаете, сэр, что я могу быть вам полезной в тысяче мелочей, если вы не будете меня чуждаться, и это мне доставит величайшее удовольствие. Так, например, я могу обучать чему-нибудь ваших детей. Если вы разрешите, я принесу несколько книжек и рукоделие, и иной раз, по вечерам, они будут учиться... ах, боже мой, я уверена, что они многому научатся и сделают честь своей учительнице.

Мистер Тудль, питавший величайшее уважение к науке, одобрительно кивнул жене и — в предвкушении блестящего будущего — удовлетворенно потер руки.

— Тогда, не будучи чужим человеком, я никому не помешаю, — сказала мисс Токс, — и все будет идти так, как будто меня здесь нет. Миссис Ричардс будет заниматься починкой, гладить или нянчиться с детьми, что бы там ни понадобилось, не обращая на меня внимания. А вы, сэр, если пожелаете, закурите свою трубку, не так ли?

— Благодарю вас, сударыня, — сказал мистер Тудль. — Да, я побалуюсь табачком.

— С вашей стороны это очень любезно, сэр, — отозвалась мисс Токс, — и, право же, я вас искренне уверяю, что для меня это будет великим утешением, и если мне посчастливится принести пользу вашим детям, вы мне оплатите за это с лихвой, если мы заключим наш маленький договор тихо, мирно и без лишних слов.

Договор был тут же скреплен, и мисс Токс до такой степени почувствовала себя совсем как дома, что незамедлительно подвергла предварительному опросу всех детей, чем привела в восхищение мистера Тудля, и отметила на клочке бумаги их возраст, имена и познания. Эта церемония и сопутствующая ей болтовня продолжались вплоть до того часа, когда семейство укладывалось спать, и задержали мисс Токс у очага Тудлей, так что было уже слишком поздно возвращаться одной. Однако галантный Точильщик, который был еще здесь, учтиво предложил проводить ее до дому; а так как для мисс Токс имело некоторое значение идти домой с юношей, которого мистер Домби первый облек в те принадлежности мужского туалета, называть каковые не принято, она очень охотно приняла его предложение.

Итак, пожав руку мистеру Тудлю и Полли и перецеловав всех детей, мисс Токс, завоевавшая всеобщую любовь, покинула этот дом с таким легким сердцем, что миссис Чик почла бы себя оскорбленной, если бы эта славная леди имела возможность его взвесить.

Роб Точильщик по скромности своей хотел идти сзади, но мисс Токс, намереваясь побеседовать, пожелала идти рядом с ним и, как сообщила она позднее его матери, «вытянуть из него что-нибудь дорогой».

Он позволил из себя вытягивать столь храбро и с такой готовностью, что мисс Токс была очарована. Чем больше мисс Токс из него вытягивала, тем тоньше он становился — подобно проволоке. Не бывало на свете лучшего или более многообещающего юноши, более любящего, положительного, благоразумного, степенного, честного, смиренного, искреннего молодого человека, чем Роб, из которого в тот вечер что-то вытягивали.

— Право же, я очень рада, — сказала мисс Токс, подойдя к двери своего дома, — что познакомилась с вами. Надеюсь, вы будете считать меня своим другом и навещав меня, когда вам заблаго-

рассудится. У вас есть копилка?

— Да, сударыня, — ответил Роб, — я коплю деньги, чтобы со временем положить их в банк, сударыня.

— Очень похвально, — сказала мисс Токс. — Рада это слышать. Будьте добры, положите в копилку эту полукрону.

— О, благодарю вас, сударыня, — отозвался Роб, — но, право же, я не могу лишать вас этих денег.

— Мне нравится ваш независимый дух. — сказала мисс Токс, — но, уверяю вас, для меня это не лишение. Я буду обижена, если вы их не примете как знак моего расположения к вам. Спокойной ночи, Робин.

— Спокойной ночи, сударыня, — сказал Роб, — благодарю вас!

И, хихикая, побежал разменять монету и проиграл деньги пирожнику в орлянку. Но честность не преподавалась в школе Точильщиков; напротив, господствовавшая там система способствовала зарождению лицемерия до такой степени, что многие из друзей и учителей бывших Точильщиков говаривали: «Если к этому приводит образование простого народа, не нужно никакого образования». Другие говорили более разумно: «Нужно лучшее». Но заправила Точильщиков всегда готовы были дать им ответ, выбрав несколько мальчиков, которые вышли на хорошую дорогу, вопреки системе, и решительно заявив, что те могли выйти на хорошую дорогу только благодаря системе. Это сразу заставляло умолкнуть хулителей и упрочивало славу Общества Точильщиков.

Глава XXXIX

Дальнейшие приключения капитана Эдуарда Катля, моряка

Время, отличающееся твердой поступью и непреклонной волей, столь продвинулось вперед, что год, назначенный старым мастером судовых инструментов как срок, в течение коего его друг не должен был вскрывать запечатанный пакет, приложенный к письму, которое он для него оставил, уже истекал, и по вечерам капитан Катль начал посматривать на пакет с тревогой и предощущением тайны.

Капитану, человеку честному, и в голову бы не пришло вскрыть пакет хотя бы за час до истечения срока, как не пришло бы ему в голову вскрыть самого себя для изучения собственной анатомии. Покуривая свою первую вечернюю трубку, он ограничивался тем, что вынимал пакет, клал на стол и сквозь дым разглядывал его снаружи, в торжественном молчании, на протяжении двух-трех часов подряд. Иногда после довольно длительного созерцания капитан понемножку начинал отодвигаться со своим стулом все дальше и дальше, как бы желая выбраться за пределы действия его чар; но если таково было его намерение, он никогда не достигал успеха; ибо даже когда ему преграждала путь стена гостиной, пакет по-прежнему его притягивал. И если взгляд капитана задумчиво скользил по потолку или камину, пакет неотступно следовал за ним и помешался на видном месте среди углей или занимал выгодную позицию на белой стене.

Отеческая забота капитана об Отраде Сердца и восхищение ею оставались неизменными. Но со времени последнего свидания с мистером Каркером у капитана Катля зародились сомнения, действительно ли бывшее его вмешательство в пользу этой молодой леди и его дорогого мальчика Уольра оказалось таким благодетельным, как ему бы хотелось и как он в ту пору верил. Капитана мучило серьезное опасение, что он принес больше зла, чем добра, и в порыве раскаяния и смирения он решил искупить вину: лишить себя возможности причинять зло кому бы то ни было и, так сказать, бросить самого себя за борт, как человека опасного.

Погребенный таким образом среди инструментов, капитан не приближался к дому мистера Домби и не давал о себе знать Флоренс и мисс Нипер. Он даже прервал сношения с мистером Перчем и в ближайшее его посещение сухо уведомил сего джентльмена, что благодарит его за компанию, но намерен отказаться от всех знакомств, ибо опасается, как бы ему случайно не взорвать какого-нибудь порохового погреба. В этом добровольном уединении капитан проводил дни и недели, не обмениваясь ни единым словом ни с кем, кроме Роба Точильщика, которого почитал образцом бескорыстной привязанности и верности. В этом уединении капитан, созерцая по вечерам пакет, сидел, курил и

размышлял о бедном Уолтере и о Флоренс, пока и тот и другая не начали представляться его бесхитроственному воображению умершими и отошедшими в вечную юность — прекрасные и невинные дети, какими он их запомнил.

Предаваясь своим размышлениям, капитан, однако, не забывал о собственном самоусовершенствовании и о духовном развитии Роба Точильщика. Обычно сей молодой человек должен был каждый вечер в течение часа читать капитану вслух какую-нибудь книгу. А так как капитан слепо верил, что все книги хороши, Роб таким путем приобрел большой запас достопримечательных сведений. В воскресные вечера перед отходом ко сну капитан всегда прочитывал для собственной пользы божественную проповедь, некогда произнесенную на горе⁹⁹; и хотя он имел обыкновение приводить цитаты на свой лад, не заглядывая в книгу, читал он ее с таким благоговейным пониманием божественного ее смысла, как будто знал ее наизусть по-гречески и мог бы написать сколько угодно богословских трактатов по поводу каждой фразы.

Благоговение Роба Точильщика к боговдохновенному писанию в результате превосходной системы, принятой в школе Точильщиков, воспитывалось посредством вечных синяков на мозгу, вызванных столкновением со всеми именами всех колен иудиных, и посредством однообразного повторения трудных стихов, задаваемых преимущественно в виде наказания, а также посредством хождения в кожаных штанишках — в возрасте шести лет — трижды в воскресный день на хоры очень душной церкви, где огромный орган жужжал над сонной его головою, как необычайно усердная пчела; вот почему, когда капитан переставал читать, Роб Точильщик притворялся, будто это принесло ему большую пользу, а во время чтеня имел обыкновение зевать и клевать носом. Об этом факте добрый капитан далее и не подозревал.

Капитан Катль, как человек деловой, взялся также вести записи. Он заносил в особую книгу наблюдения о погоде и потоке подвод и других экипажей, каковые, — заметил он, — по утрам и большую часть дня двигались к этой местности на запад, а к вечеру — на восток. Когда на протяжении одной недели заглянули два-три прохожих, которые «кликнули его» — так записал капитан — по поводу очков и, ничего не купив, обещали зайти еще раз, капитан решил, что дело начинает идти на лад, и внес соответствующую заметку в журнал. Ветер дул тогда (это он записал прежде всего) довольно свежий, северо-западный; переменялся ночью.

Одним из главных затруднений являлся для капитана мистер Тутс, который заходил частенько и лишних слов не тратил, но, казалось, воображал, будто маленькая задняя гостиная — подходящая комната для того, чтобы в ней хихикать; для этой цели он всякий раз пользовался ее удобствами на протяжении получаса, хотя ему и не удавалось завязать более близкое знакомство с капитаном. Капитан, которого недавнее его испытание научило осторожности, все еще не мог решить, был ли мистер Тутс действительно таким кротким созданием, каким казался, или же это необычайно ловкий и коварный лицемер. Его частые упоминания о мисс Домби были подозрительны, но капитан питал тайное расположение к мистеру Тутсу за то, что тот относится к нему с доверием, и временно воздерживался от неблагоприятного заключения; он только наблюдал за ним с неопишуемой проницательностью, когда мистер Тутс касался предмета, самого близкого его сердцу.

— Капитан Джилс, — выпалил однажды мистер Тутс, по своему обыкновению совершенно неожиданно, — как вы думаете, могли бы вы отнестись благосклонно к моему предложению и доставить мне удовольствие быть знакомым с вами?..

— Видите ли, приятель, я вам объясню, в чем дело, — ответил капитан, который, наконец, избрал линию поведения, — я об этом размышлял.

— Капитан Джилс, это очень любезно с вашей стороны, — отозвался мистер Тутс. — Я вам крайне признателен. Клянусь честью, капитан Джилс, это будет настоящим благодеянием, если вы доставите мне удовольствие быть знакомым с вами. Право же, благодеянием!

— Видите ли, братец, — задумчиво произнес капитан, — я вас не знаю.

— Но вам никогда не узнать меня, капитан Джилс, — ответил мистер Тутс, упорно преследуя намеченную цель, — если вы не доставите мне удовольствия быть знакомым с вами.

⁹⁹ ...божественную проповедь... произнесенную на горе... — Имеется в виду так называемая Нагорная проповедь Иисуса Христа, в которой изложены принципы христианского вероучения и христианской морали.

Капитан, казалось, был потрясен оригинальностью и силой этого довода и посмотрел на мистера Тутса так, как будто открыл в нем гораздо больше, чем предполагал.

— Хорошо сказано, приятель, — заметил капитан, глубокомысленно кивая головой, — и правильно сказано. Теперь послушайте. Вы сделали несколько замечаний, которые дали мне понять, что вы восхищаетесь одним чудесным созданием. Не так ли?

— Капитан Джилс, — сказал мистер Тутс, энергически жестикулируя той рукой, в которой держал шляпу, — восхищение это не то слово! Клянусь честью, вы понятия не имеете о том, что я чувствую! Если бы меня можно было выкрасить в черный цвет и сделать рабом мисс Домби, я бы почитал это милостью. Если бы я мог ценой всего моего состояния переселиться в собаку мисс Домби... я... мне кажется, я никогда не устал бы вилять хвостом! Я был бы совершенно счастлив, капитан Джилс!

Мистер Тутс, говоря это, прослезился и с глубоким волнением прижал к груди свою шляпу.

— Приятель, — отозвался капитан, почувствовав сострадание, — если вы говорите серьезно...

— Капитан Джилс! — вскричал мистер Тутс. — Я нахожусь в таком состоянии духа и так ужасно серьезен, что, если бы я мог поклясться в этом на раскаленном железе, на пылающих углях, или расплавленном свинце, или горящем сургуче, или еще на чем-нибудь в этом роде, я бы с радостью причинил себе боль, чтобы успокоить свои чувства. — И мистер Тутс быстро окинул взглядом комнату, словно в поисках какого-нибудь достаточно мучительного средства осуществить свое ужасное намерение.

Капитан сдвинул на затылок глянцеви́тую шляпу, провел по лицу тяжелой рукой, вследствие чего его нос стал еще более пятнистым, остановился перед мистером Тутсом и, зацепив его крючком за лацкан фрака, обратился к нему со следующей речью, в то время как мистер Тутс смотрел ему в лицо с большим вниманием и не без удивления.

— Видите ли, приятель, — сказал капитан, — если вы говорите серьезно, к вам надлежит отнестись милосердно, а милосердие — ослепительнейший алмаз в короне, украшающей голову британца, а вы перелистайте конституцию, изложенную в «Правь, Британия», и когда найдете, это и будет та самая хартия, которую так часто распевали ангелы-хранители. Держитесь крепче! Это ваше предложение застигло меня немножко врасплох. А почему? Потому что, понимаете ли, я держусь в этих водах особняком, со мною нет других кораблей, и, может быть, они мне не нужны. Осторожно! Первый раз вы окликнули меня по поводу одной молодой леди, которая вас зафрахтовала. Теперь, если мы с вами будем водить компанию, имя этого молодого создания никогда не следует называть, и упоминать о нем нельзя. Бог весть, сколько зла произошло из-за того, что до сей поры его называли слишком часто, а потому я молчу. Вы меня хорошо понимаете, братец?

— Вы меня извините, капитан Джилс, — ответил мистер Тутс, — если иногда ваша речь кажется мне неясной. Но, честное слово, я... Капитан Джилс, это очень трудно — не упоминать о мисс Домби. Право же, здесь у меня такая ужасная тяжесть, — мистер Тутс патетически коснулся обеими руками своей манишки, — что и днем и ночью мне кажется, будто кто-то сидит на мне верхом.

— Таковы мои условия, — сказал капитан. — Если вы их находите трудными, братец, — может быть, они действительно трудны, — обойдите их стороной, измените курс, и расстанемся весело!

— Капитан Джилс, — возразил мистер Тутс, — я хорошенько не понимаю, в чем тут дело, но после того, что вы мне сказали, когда я пришел сюда в первый раз, мне, пожалуй, приятнее будет думать о мисс Домби в вашем обществе, чем говорить о ней с кем-нибудь другим. Поэтому, капитан Джилс, если вы мне доставите удовольствие быть знакомым с вами, я буду очень счастлив и приму ваши условия. Я хочу быть честным, капитан Джилс, — сказал мистер Тутс, отдернув протянутую было руку, — а потому считаю своим долгом сказать, что не могу не думать о мисс Домби. Для меня немислимо дать обещание не думать о ней.

— Приятель, — сказал капитан, чье мнение о мистере Тутсе изменилось к лучшему после такого искреннего отпета, — мысли человеческие подобны ветру, и никто не может за них поручиться на какой бы то ни было срок. А что касается слов, договор заключен?

— Что касается слов, капитан Джилс, — ответил мистер Тутс, — думаю, что могу взять на себя это обязательство.

И мистер Тутс тут же подал капитану Катлю руку, а капитан с любезным и благосклонно-снисходительным видом формально признал их знакомство. Мистер Тутс был, по-видимому,

Чарльз Диккенс «Торговый дом Домби и сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт»

весьма успокоен и обрадован таким приобретением и восторженно хихикал вплоть до окончания своего визита. Капитан в свою очередь не был огорчен ролью покровителя и остался чрезвычайно доволен своею осторожностью и предусмотрительностью.

Но как бы ни был капитан Катль наделен этим последним качеством, в тот же вечер его ждал сюрприз, устроенный ему таким бесхитрым и простодушным юношей, как Роб Точильщик. Сей наивный юнец, распивая чай за одним столом с капитаном и смиренно наклоняясь над своей чашкой и блюдцем, в течение некоторого времени наблюдал исподтишка за своим хозяином, вооруженным очками и с великим трудом, но с большим достоинством читавшим газету, и, наконец, нарушил молчание:

— Ах, прошу прощенья, капитан, но, может быть, вам нужны голуби, сэр?

— Нет, приятель, — отозвался капитан.

— Потому что мне бы хотелось сбить моих голубей, сэр, — сказал Роб.

— Вот как! — воскликнул капитан, слегка приподняв свои косматые брови.

— Да. Я ухожу, капитан, с вашего разрешения, — сказал Роб.

— Уходишь? Куда ты уходишь? — спросил капитан, глядя на него в упор поверх очков.

— Как! Разве вы не знали, что я собираюсь уйти от вас, капитан? — отозвался Роб с трусливой улыбочкой.

Капитан положил газету, снял очки и устремил взор на дезертира.

— Ну да, капитан, я хочу вас предупредить. Я думал, что вы уже знаете об этом, — сказал Роб, потирая руки и вставая. — Если бы вы были так добры, капитан, и поскорее нашли себе кого-нибудь другого, это мне было бы на руку. Боюсь, что к завтрашнему утру вам никого не удастся подыскать. Как вы думаете, капитан?

— Так ты, стало быть, собираешься изменить своему Знамени, приятель? — сказал капитан, долго разглядывавший его физиономию.

— Ах, капитан, вы очень жестоко обходитесь с бедным малым, — воскликнул мягкосердечный Роб, мгновенно почувствовав и оскорбление и негодование, — который предупредил вас по всем правилам, а вы на него смотрите хмуро и обзываете его изменником. Вы, капитан, никакого права не имеете ругать бедного парня. Только потому, что я слуга, а вы хозяин, вы на меня клеветаете! Что я сделал дурного? Растолкуйте мне, капитан, какое я совершил преступление?

Удрученный Точильщик расплакался и стал тереть глаза обшлагом.

— Послушайте, капитан! — воскликнул оскорбленный юнец. — Скажите, какое преступление я совершил? Что я такого сделал? Украл какие-нибудь вещи? Поджег дом? Если так, почему вы меня не обвиняете и не судите? Но порочить репутацию мальчика, который был вам хорошим слугой, только потому, что он не может вредить самому себе ради вашей выгоды, — какое это оскорбление и какая награда за верную службу! Вот почему ребята сбиваются с прямого пути и погибают! Я вам удивляюсь, капитан, удивляюсь!

Все это Точильщик сопровождал плаксивым завыванием и осторожно пятился к двери.

— Так, стало быть, ты раздобыл себе другую койку, приятель? — сказал капитан, не спуская с него пристального взгляда.

— Да, капитан, уж коли говорить вашими словами, я раздобыл себе другую койку! — воскликнул Роб, продолжая пятиться. — Получше, чем была у меня здесь. И там мне не нужна будет ваша похвала, капитан, а это большая удача, после того как вы закидали меня грязью, за то, что я беден и не могу вредить самому себе ради вашей выгоды. Да, я раздобыл себе другую койку. И если бы я не боялся оставить вас без слуги, я бы мог уйти хоть сейчас, только бы не слышать, как вы меня ругаете, потому что я беден и не могу причинять вред самому себе ради вашей выгоды. Почему вы меня упрекаете за то, что я беден и не намерен действовать во вред себе ради вашей выгоды, капитан? Как вы можете так поступать, капитан?

— Послушай, приятель, — миролюбиво отозвался капитан, — ты бы лучше этого не говорил.

— Да и вы бы лучше этого не говорили, капитан, — с гневом возразил невинный, начиная хныкать громче и продолжая пятиться в лавку. — Уж лучше выпустите из меня кровь, но не порочьте меня!

— Потому что, — спокойно продолжал капитан, — ты слышал, может быть, о такой штуке, как линек?

— Слыхал ли я, капитан? — вскричал язвительный Точильщик. — Нет, не слыхал! О такой штуке я никогда не слыхивал.

— Ну, так вот, мне кажется, — сказал капитан, — что ты очень скоро с ней познакомишься, если не будешь начеку. Я твои сигналы прекрасно понимаю, приятель. Можешь идти.

— Значит, я могу сейчас уйти, капитан? — воскликнул Роб в восторге от такой удачи. — Но помните, капитан: я не просил у вас разрешения уйти немедленно. Вам не удастся еще раз опорочить меня только потому, что вы по собственному желанию меня прогоняете. И вы не имеете права задерживать мое жалование, капитан!

Его хозяин разрешил этот последний вопрос, достав металлическую чайницу, и отсчитал Точильщику его деньги, бросая на стол монету за монетой. Роб, хныча и всхлипывая, тяжело оскорбленный в своих чувствах, подобрал их одну за другой с хныканьем и всхлипыванием и завязал каждую в особый узелок в своем носовом платке; затем он поднялся на крышу дома и наполнил шляпу и карманы голубями; потом спустился вниз, к своей постели под прилавком, и связал в узел свои вещи, хныча и всхлипывая все громче, как будто сердце у него надрывалось от воспоминаний, после чего он пропищал: «Прощайте, капитан; я ухожу от вас, не помня зла!» — и, наконец, переступив через порог, дернул за нос Маленького Мичмана, на прощанье нанеся ему оскорбление, и с торжествующей усмешкой зашагал по улице.

Капитан, оставшись наедине с собой, вновь обратился к газете, как будто не произошло ничего из ряда вон выходящего или неожиданного, и продолжал читать с величайшим прилежанием. Но ни единого слова не усвоил капитан Катль, хотя прочитал их великое множество, ибо все это время Роб Точильщик карабкался вверх по одному газетному столбцу и спускался вниз по другому.

Трудно сказать, чувствовал ли себя когда-нибудь почтенный капитан таким покинутым, как теперь: ведь теперь старый Соль Джилс, Уолтер и Отрада Сердца были для него поистине потеряны, а мистер Каркер обманул его и жестоко осмеял. Все они были слиты в образе вероломного Роба, с которым он не раз делился дорогими ему воспоминаниями; он доверял вероломному Робу, и доверял ему с радостью; он сделал его своим товарищем, как единственного уцелевшего из экипажа старого судна; он принял командование Маленьким Мичманом, а помощником у него был Роб; он намеревался исполнить свой долг по отношению к нему и был расположен к мальчику, словно они оба потерпели кораблекрушение и были выброшены вдвоем на необитаемый остров. А теперь, когда по вине вероломного Роба недоверие, измена и подлость вторглись даже в гостиную, которая была как бы священным местом, капитан Катль почувствовал, что и гостиная может затонуть, и не очень бы удивился, если бы она пошла ко дну, и не почувствовал бы большого огорчения.

Поэтому капитан Катль читал газету с глубоким вниманием, но ни слова не понимал; поэтому капитан Катль ничего не сказал самому себе о Робе, и старался отогнать мысль о нем, и отнюдь не желал признать, что если он чувствует себя одиноким, как Робинзон Крузо, то Роб имеет к этому какое-то отношение.

С тем же спокойным, деловым видом капитан отправился в сумерках на Леднхоллский рынок и договорился со сторожем, чтобы тот по утрам и по вечерам являлся открывать и закрывать ставни Деревянного Мичмана. Затем он зашел в харчевню, чтобы уменьшить наполовину ежедневный рацион, доставлявшийся оттуда Мичману, и в трактир — прекратить отпуск пива для предателя. «Мой юноша, — пояснил капитан молодой леди за стойкой, — мой юноша поступил на более выгодное место, мисс. Наконец капитан решил воспользоваться постелью под прилавком и, будучи единственным стражем всего имущества, устраиваться на ночь здесь, а не наверху.

Отныне капитан Катль поднимался с этого ложа ежедневно в шесть часов утра и нахлобучивал глянцевитую шляпу, словно одинокий Крузо, в завершение своего туалета одевающий шапку из козьей шкуры. И хотя страх его перед набегом дикого племени, Мак-Стинджер, уменьшился, подобно тому, как постепенно рассеивались опасения того одинокого моряка, когда в течение долгого времени не видно было никаких признаков людоедов, капитан по заведенному порядку соблюдал меры предосторожности и при виде шляпки неизменно скрывался в свою крепость для наблюдений. За это время (на протяжении коего мистер Тутс не навещал его ни разу, написав, что уезжает из города) звук его собственного голоса начал казаться ему странным; а от постоянного надраиванья и укладки инструментов, от долгого сидения за прилавком, когда он читал или смотрел в окно, у него развилась привычка погружаться в такое глубокое раздумье, что красный ободок на лбу, который

оставляла твердая глянцеви́тая шляпа, иной раз побаливал от чрезмерного умственного напряжения.

Когда истек годичный срок, капитан Катль счел нужным вскрыть пакет, но он всегда намеревался сделать это в присутствии Роба Точильщика, доставившего ему пакет, полагая, что будет уместно и правильно вскрыть его в присутствии постороннего лица; и теперь, не имея свидетелей, он очутился в тяжелом положении. В разгар этих затруднений он с особой радостью приветствовал однажды объявление в Судовом справочнике о возвращении из каботажного плавания «Осторожной Клары» — капитан Джон Бансби — и немедленно отправил этому философу письмо по почте, предписывая соблюдение полной тайны касательно его местожительства и прося навестить его безотлагательно в вечерние часы.

Бансби, принадлежавшему к числу тех мудрецов, которые действуют по убеждению, понадобилось несколько дней, прежде чем в голову его окончательно проникло убеждение, что такого рода письмо им получено. Но, столкнувшись вплотную с фактом и овладев им, он тотчас послал своего юнга с извещением: «Приду сегодня вечером», каковой юнга, получив приказание произнести эти слова и скрыться, исполнил свою миссию, словно вымазанный смолой дух, явившийся с таинственным предупреждением.

Капитан, очень довольный вестью, приготовил трубки, ром и воду и ждал своего посетителя в задней гостиной. В восемь часов глухое мычание у входной двери, казалось исходившее из глотки морского быка, а затем постукивание палкой по панели возвестили настороженному слуху капитана Катля, что Бансби явился на борт; капитан немедленно впустил его, косматого, с флегматической физиономией цвета красного дерева. По обыкновению, Бансби не замечал того, что происходило перед ним, но внимательно наблюдал нечто, совершающееся в другой части света.

— Бансби, — воскликнул капитан, схватив его за руку, — как поживаете? Приятель, как поживаете?

— Дружище, — ответил голос, исходящий из Бансби и не имеющий, казалось, никакого отношения к самому командиру, — недурно!

— Бансби, — продолжал капитан, воздавая величайшие почести гению, — вот вы здесь! Человек, способный высказать мнение, сверкающее ярче бриллиантов! Покажите мне другого такого парня в просмоленных штанах, сверкающего как бриллиант! А для этого перелистайте «Сборник Стэнфела», а когда найдете это место — отметьте! Вот вы здесь, в этой самой комнате, где высказали свое мнение, которое оказалось справедливым до последнего слова. (Капитан этому искренне верил.)

— Да, да! — проворчал Бансби.

— До последнего слова, — сказал капитан.

— А почему? — проворчал Бансби, впервые взглянув на своего друга. — В каком направлении? Если так, то почему бы и нет? Вот что.

Произнеся эти таинственные слова — у капитана они чуть было не вызвали головокружения, ибо погрузили его в бездонное море умозаключений и догадок, — мудрец позволил снять с себя лоцманскую куртку и последовал за своим другом в маленькую гостиную, где рука его вскоре взялась за бутылку с ромом, воспользовавшись коей он приготовил стакан крепчайшего грога, а потом за трубку, которую он набил и закурил.

Капитан Катль, подражая в этом своему гостю, но будучи не в силах сохранять сосредоточенный и невозмутимый вид, отличавший командира, сидел по другую сторону камина, почтительно наблюдал за ним и как будто ждал поощрения или изъявления любопытства со стороны Бансби, чтобы перейти к собственным делам. Но так как философ цвета красного дерева, по-видимому, не ощущал ничего, кроме тепла и вкуса табачного дыма, и ограничился только тем, что, вынув изо рта трубку, дабы освободить место для стакана, хрипло отрекомендовался Джеком Бансби — заявление, мало способствовавшее началу разговора, — капитан, краткой хвалебной речью призвав его к вниманию, рассказал об исчезновении дяди Соля, о перемене, происшедшей в его собственной жизни и судьбе, и в заключение положил на стол пакет.

После долгого молчания Бансби кивнул головой.

— Распечатать? — спросил капитан.

Бансби снова кивнул.

Тогда капитан сломал печать и извлек две сложенных бумаги, на одной из коих прочел надпись: «Последняя воля и завещание Соломона Джилса», а на другой: «Письмо Нэду Катлю».

Бансби, устремив взор на побережье Гренландии, казалось, приготовился выслушать содержание обоих документов. Поэтому капитан откашлялся, чтобы прочистить горло, и стал читать вслух.

— «Мой дорогой Нэд Катль! Покидая родину, чтобы отправиться в Вест-Индию...»

Тут капитан приостановился и зорко посмотрел на Бансби, который пристально смотрел на побережье Гренландии.

— «...с тщетной надеждой получить сведения о моем милом мальчике, я знал, что, буде вы познакомитесь с моим намерением, вы либо воспрепятствуете ему, либо захотите меня сопровождать; вот почему я хранил его в тайне. Если вы когда-нибудь прочтете это письмо, Нэд, меня, вероятно, не будет в живых. Тогда вы, конечно, простите старому другу его сумасбродство и почувствуете сострадание при мысли о той тревоге и неизвестности, какие побудили меня предпринять это безумное путешествие. Стало быть, не будем больше говорить об этом. Я почти не надеюсь, что мой бедный мальчик прочтет когда-нибудь эти слова или еще раз порадует ваши взоры своим честным, открытым лицом...» Да, да, никогда больше, — сказал капитан Катль в скорбном раздумье. — Никогда! Там будет он лежать до конца дней...

Мистер Бансби, у которого было музыкальное ухо, вдруг заревел: «В Бискайском заливе. О!», а добрый капитан, видя в этом достойное воздаяние памяти умершего, был так растроган, что с благодарностью пожал ему руку и должен был смахнуть слезу.

— Ну-ну! — сказал капитан, когда жалобный вопль Бансби перестал гудеть и сотрясать окно в потолке. — Великое горе он долго терпел, а мы перелистаем книгу и отыщем это место.

— Врачи, — заметил Бансби, — не принесли помощи.

— Да, да, конечно, — сказал капитан. — Что толку от них на глубине полутора тысяч футов? — Затем, возвращаясь к письму, он продолжал: — «Но если бы он присутствовал в то время, когда пакет будет вскрыт...» — капитан невольно оглянулся и покачал головой, — «...или узнал об этом впоследствии...» — капитан снова покачал головой, — «...я шлю ему свое благословение! Если приложенная к этому письму бумага составлена юридически неправильно, это имеет мало значения, так как из заинтересованных лиц нет никого, кроме его и вас, а я попросту желаю одного: если он жив, пусть к нему перейдет то небольшое, что может остаться после меня, а если дело обернется иначе (чего я опасаясь), пусть это перейдет к вам, Нэд. Знаю, что вы уважите мое желание. Да благословит вас бог за это и за всегдашнее дружеское ваше расположение к Соломону Джилсу». Бансби! — сказал капитан, взывая к нему торжественно, — как вы это понимаете? Вот вы сидите здесь, человек, которому с младенческих лет проламывали голову, и в каждую расщелину в черепе проникала к вам новая мысль. Как же вы это понимаете?

— Если дело обстоит так, что он умер, — отвечал Бансби с несвойственной ему стремительностью, — он, по моему мнению, больше не вернется. Если дело обстоит так, что он жив, он, по моему мнению, вернется. Говорю ли я, что он вернется? Нет. Почему? Потому, что следует держаться по курсу этого наблюдения.

— Бансби, — сказал капитан Катль, который, казалось, давал тем более высокую оценку мнениям своего знаменитого друга, чем труднее было хоть что-нибудь из них извлечь, — Бансби, — повторил капитан вне себя от восторга, — вы у себя в голове вмещаете груз, который быстро потопил бы судно с таким водоизмещением, как мое! Но что касается вот этого завещания, я намерен не предпринимать никаких шагов, чтобы завладеть имуществом, помилуй бог!.. Я только постараюсь сохранить его для более законного хозяина. И я все-таки надеюсь, что Соль Джилс, законный хозяин, жив и вернется, хотя, быть может, и странно, почему он не посылает о себе никаких вестей. А теперь, каково ваше мнение, Бансби, насчет того, чтобы снова припрятать эти бумаги и пометить снаружи, что они были распечатаны такого-то числа в присутствии Джона Бансби и Эдуарда Катля?

Так как Бансби не усмотрел никаких возражений на побережье Гренландии или где-нибудь в другом месте, эта мысль была приведена в исполнение. И сей великий человек, на секунду устремив свой взор на непосредственно окружающую его обстановку, собственноручно начертил свою подпись на конверте, решительно воздерживаясь, с характеристической для него скромностью, от употребления прописных букв. Капитан Катль, в свою очередь расписавшись левой рукой и заперев пакет в несгораемый ящик, предложил своему гостю приготовить еще стакан грогу и выкурить еще одну трубку и, сам подражая его примеру, задумался, сидя у камина, о том, какова может быть судьба бедного старого мастера судовых инструментов.

А затем произошло событие столь ужасное и потрясающее, что капитан Катль без поддержки Бансби рухнул бы под его тяжестью и с этого рокового часа был бы погибшим человеком.

Как мог капитан, даже если принять во внимание радость, вызванную посещением такого гостя, как мог он только притворить дверь, а не запереть ее, — а в этой небрежности он несомненно был повинен, — является одним из тех вопросов, которым суждено вечно оставаться предметом для размышлений или возбуждать ропот против судьбы. Как бы там ни было, но в этот тихий час через незапертую дверь ворвалась в гостиную свирепая Мак-Стинджер, держа в материнских своих объятиях Александра Мак-Стинджера, а за нею следом ворвались смутение и месть (не говоря уже о Джулиане Мак-Стинджер и о брате милой малютки, Чарльзе Мак-Стинджере, известном на арене своих детских игр под именем Чаули). Она вошла так быстро и так бесшумно, подобно струе воздуха из ближних Ост-Индских доков¹⁰⁰, что капитан Катль очнулся лишь в тот момент, когда обнаружил, что сидит и смотрит на нее с тем самым безмятежным видом, с каким предавался размышлениям, после чего на физиономии его отразились ужас и отчаяние.

Но как только капитан Катль осознал во всей полноте постигшее его несчастье, инстинкт самосохранения побудил его обратиться в бегство. Стремительно обернувшись к маленькой двери, которая вела из гостиной на крутую лесенку в погреб, капитан бросился к ней головой вперед, как человек, равнодушный к синякам и ушибам и помышляющий только о том, чтобы скрыться в недрах земли. Быть может, эта доблестная попытка увенчалась бы успехом, если бы не горячая привязанность милых малюток, Джулианы и Чаули, которые, уцепившись за его ноги — одна схватила одну, другой — другую, — с жалобными криками зывали к нему, как к своему другу. Тем временем миссис Мак-Стинджер, которая никогда не приступала к важному делу, не перевернув предварительно Александра Мак-Стинджера так, чтобы удобнее было осыпать его живительным градом шлепков, и не посадив его затем на землю для охлаждения, в каком-то положении узрел его впервые читатель, — миссис Мак-Стинджер совершила этот торжественный обряд, как будто на сей раз это было жертвоприношение фуриям, и, опустив страдальца на пол, устремила к капитану с настойчивою решимостью, угрожавшей царяпинами вмешавшемуся Бансби.

Вопли двух старших Мак-Стинджеров и рев юного Александра, которому, если можно так выразиться, выпало на долю пегое детство, ибо добрую половину этой волшебной поры жизни все лицо у него было в синяках, придавали этому посещению устрашающий характер. Но когда снова воцарилась тишина и капитан, весь в поту, робко воззрелся на миссис Мак-Стинджер, ужас достиг наивысшего предела.

— О капитан Катль, капитан Катль! — сказала миссис Мак-Стинджер, сурово выпятив подбородок и потрясая им, а одновременно и тем, что можно было бы назвать ее кулаком, не будь она представительницей слабого пола. — О капитан Катль, капитан Катль! Как вы дерзаете смотреть мне в лицо, вместо того чтобы умереть от разрыва сердца?

Капитан, которого можно было заподозрить в чем угодно, только не в дерзости, тихо пробормотал: «Держись крепче!»

— О, я была слабой, доверчивой душой, когда приняла вас под свой кров, капитан Катль! — воскликнула миссис Мак-Стинджер. — Подумать только о тех благодеяниях, какими я осыпала этого человека, о том, как я учила моих детей любить и почитать его, будто отца родного, а ведь на нашей улице нет ни одной хозяйки и ни одного жильца, которые бы не знали, что я терпела убытки из-за этого человека и из-за его пьянства и буянства, — миссис Мак-Стинджер употребила это последнее слово не столько для выражения какой-нибудь мысли, сколько ради рифмы. — И все они кричали в один голос: стыд и позор, что он обременяет работающую женщину, которая трудится с раннего утра и до поздней ночи для блага своих детей и содержит свое бедное жилище в такой чистоте, что человек может обедать, да, обедать, и чай пить тоже, где ему вздумается, хоть на полу или на лестнице, не смотря на его пьянство и буянство, — вот каким попечением и заботами он был окружен!

Миссис Мак-Стинджер остановилась перевести дух; лицо ее сияло торжеством, потому что ей удалось вторично упомянуть о «буянстве» капитана Катля.

¹⁰⁰ *Ост-Индские доки* — доки, принадлежавшие Ост-Индской компании и входившие в состав гигантских доков лондонского порта.

— А он убега-а-ает! — застонала миссис Мак-Стинджер, растягивая предпоследний слог так, что злополучный капитан счел себя величайшим негодяем. — И скрывается целый год! От женщины! Такая уж у него совесть! Он не посмел встретиться с ней лицом к лицу-у, — снова протяжный стон, — нет, он убежал тайком, как преступник! Да если бы вот этот мой младенец, — быстро добавила миссис Мак-Стинджер, — вздумал убежать тайком, я бы исполнила свой материнский долг так, что он весь покрылся бы синяками!

Юный Александр, истолковав эти слова как обещание, которое будет немедленно исполнено, повалился на пол от страха и горя и лежал, выставив на всеобщее обозрение подошвы башмаков и издавая такие оглушительные вопли, что миссис Мак-Стинджер сочла необходимым взять его на руки, а когда он снова начинал реветь, всякий раз успокаивала его, встряхивая с такой силой, что, казалось, у него расшатываются все зубы.

— Прекрасный человек капитан Катль! — продолжала миссис Мак-Стинджер, делая резкое ударение на имени капитана. — Стоило того, чтобы я о нем горевала... не спала по ночам и падала в обморок... и считала, что он умер... и бегала, как сумасшедшая, по всему городу, наводя о нем справки! О, это прекрасный человек! Ха-ха-ха! Он стоит всех этих тревог и мучений, он стоит значительно большего. Будьте уверены, это все пустяки! Ха-ха-ха! Капитан Катль, — сказала миссис Мак-Стинджер суровым голосом и приняв суровую осанку, — я желаю знать, намерены ли вы вернуться домой?

Испуганный капитан заглянул в свою шляпу, словно не видел другого выхода, как надеть ее и сдаться.

— Капитан Катль, — повторила миссис Мак-Стинджер все с тем же решительным видом, — я желаю знать, намерены ли вы вернуться домой, сэр?

Капитан, казалось, был совершенно готов идти, но все-таки пролепетал слабым голосом, что «незачем поднимать из-за этого такой шум».

— Да-да-да! — успокоительным тоном сказал Бансби. — Стоп, милочка, стоп!

— А вы кто такой, с вашего разрешения? — с целомудренным величием отозвалась миссис Мак-Стинджер. — Вы проживали когда-нибудь в номере девятом на Бриг-Плейс, сэр? Может быть, память у меня плохая, но, мне кажется, моим жильцом были не вы. До меня жила в номере девятом некая миссис Джолсон, и, вероятно, вы приняли меня за нее. Только этим я и могу объяснить вашу фамильярность, сэр.

— Ну-ну, милочка, стоп, стоп! — сказал Бансби.

Капитан Катль не ждал того, что впоследствии, даже от столь великого человека и едва мог этому поверить, хотя видел собственными глазами и наяву, как Бансби, смело шагнув вперед, обхватил миссис Мак-Стинджер своим косматым синим рукавом и так успокоил ее магическим жестом и этими немногими словами — больше он не промолвил ничего, — что она, посмотрев на него, залилась слезами и заметила, что ребенок и тот может теперь одержать над ней верх, — в таком подавленном состоянии она находится.

Лишившись дара речи и вне себя от изумления, капитан видел, как Бансби потихоньку увлек эту неумолимую женщину в лавку, вернулся за ромом, водой и свечой, отнес все это к ней и умиротворил ее, не произнеся, по-видимому, ни единого слова. Вскоре он заглянул в гостиную в своей лоцманской куртке и сказал: «Катль, я ухожу, чтобы конвоировать ее домой», а капитан Катль в большем замешательстве, чем если бы его самого заковали в кандалы для препровождения на Бриг-Плейс, увидел, как все семейство во главе с миссис Мак-Стинджер мирно удалилось гуськом. Он едва успел достать свою металлическую чайницу и украдкой всунуть деньги Джулиане Мак-Стинджер, прежней своей любимице, и Чаули, который притязал на его расположение, обещая стать славным моряком, как все они покинули кров Мичмана. А Бансби, шепнув, что справится молодцом и еще раз окликнет Нэда Катля, прежде чем вернется на борт своего судна, захлопнул за собой дверь, замыкая процессию.

Тревожные мысли, что, быть может, он бредит и его посетили привидения, а отнюдь не семейство, созданное из плоти и крови, преследовали поначалу капитана, когда он вернулся в маленькую гостиную и остался в одиночестве. Однако безграничная вера в командира «Осторожной Клары» и беспредельное восхищение им одержали верх и привели капитана в восторженное состояние.

Но по мере того, как шло время, а Бансби все еще не возвращался, у капитана начали возникать

мучительные сомнения иного порядка. Быть может, Бансби искусно заманили на Бриг-Плейс и держат там в заточении как заложника; в таком случае, капитану, как честному человеку, надлежит освободить его, пожертвовав собственной свободой. Быть может, Бансби был атакован и побежден миссис Мак-Стинджер и стыдится показаться на глаза после своего поражения. Быть может, миссис Мак-Стинджер, отличаясь неуравновешенным характером, передумала и повернула назад с намерением снова абордировать Мичмана, а Бансби, вызвавшись проводить ее кратчайшей дорогой, прилагал силы к тому, чтобы все семейство заблудилось в дебрях города. И, наконец, как подобает поступить ему, капитану Катлю, в том случае, если он больше ничего не услышит ни о Мак-Стинджерах, ни о Бансби, что казалось весьма вероятным при таком чудесном и непредвиденном стечении обстоятельств?

Обо всем этом он размышлял, пока не устал, а Бансби все не было. Он устроил себе постель под прилавком и приготовился ко сну; Бансби все не было. Наконец, когда капитан уже отчаялся увидеть его, по крайней мере — в этот вечер, и стал раздеваться, послышался стук колес, который замер у двери, после чего раздался оклик Бансби.

Капитан задрожал при мысли, что ему не удалось избавиться от миссис Мак-Стинджер и он привез ее назад в карете.

Нет! Бансби явился только в сопровождении большого сундука, который он собственноручно втащил в лавку и, едва успев втащить, сел на него. Капитан Катль признал в нем свой сундук, оставленный в доме миссис Мак-Стинджер, и, посмотрев более пристально, со свечою в руке, на Бансби, предположил, что тому море по колено, или, проще говоря, что он пьян. Впрочем, убедиться в этом было трудно: у командира и в трезвом виде на физиономии ровно ничего не отражалось.

— Катль, — сказал командир, вставая с сундука и открывая крышку, — это ваши пожитки?

Капитан Катль заглянул в сундук и опознал свое имущество.

— Дело сделано исправно. Не так ли, приятель? — спросил Бансби.

Благодарный и ошеломленный капитан схватил его за руку и начал пространно выражать свое изумление, но Бансби, выдернув руку, сделал попытку подмигнуть своим вращающимся глазом, каковое усилие, — в том состоянии, в каком он находился, — едва не лишило его равновесия. Затем он резко распахнул дверь и стремительно удалился, дабы вернуться на борт «Осторожной Клары», — по-видимому, таков был неизменный его обычай, когда он считал, что им одержана победа.

Так как Бансби не был расположен часто принимать гостей, капитан Катль решил не идти и не посылать к нему на следующий день или до той поры, пока командир не изъявит в этом смысле благосклонного своего желания или, если этого не случится, пока не истечет какой-то срок. Посему капитан на следующее же утро вернулся к своему уединенному образу жизни и не раз, по утрам, в полдень и вечером, погружался в размышления о старом Соле Джилсе, о мнениях Бансби касательно старика и о том, есть ли надежда на его возвращение. Такое раздумье укрепляло надежды капитана Катля, и он поджидал старого мастера у двери, осмеливаясь делать это теперь, когда он странным образом обрел свободу: ставил его кресло на обычное место и приводил в порядок маленькую гостиную, как в прежние времена, — на случай если тот вернется неожиданно. В своей рачительности он снял с гвоздя маленький портрет Уолтера-школьника, опасаясь, как бы он не произвел тяжелого впечатления на старика, когда тот войдет в дом. Иной раз у капитана возникало предчувствие, что он явится в такой-то день. А как-то в воскресенье он даже заказал два обеда — так велика была его надежда. Но старый Соломон не явился. А соседи по-прежнему наблюдали, как человек, похожий на моряка, в глянцевиной шляпе, стоит по вечерам в дверях лавки и внимательно смотрит на улицу.

Глава XL

Семейные отношения

Было бы неестественно, если бы человек с таким характером, как мистер Домби, встретив противодействие со стороны столь энергической особы, какую он против себя восстановил, смягчил властный и суровый свой нрав или если бы холодная, непроницаемая броня гордыни, его облекавшая, стала более гибкой от непрерывного столкновения с высокомерием, презрением и негодованием. Проклятье такой природы — оно-то и является, в основном, тем тяжким возмездием, какое в ней

самой заключается, — состоит в том, что почтение и уступчивость способствуют развитию дурных ее свойств и служат для нее пищей, но наряду с этим сопротивление и противодействие настойчивым ее притязаниям питают ее ничуть не меньше. Злое начало в ней обретает силы для роста и развития в противоположностях: оно находит опору как в сладости, так и в горечи. Склоняются перед ней или ею пренебрегают — она по-прежнему поработает сердце, в котором воздвигла свой престол, и боготворят ее или отвергают, — остается таким же суровым владыкой, как дьявол в мрачных легендах.

В своих отношениях к первой жене мистер Домби, холодный и высокомерный, держал себя, как некое высшее существо и едва ли не почитал себя таковым. Для нее он был «мистером Домби», когда она впервые его увидела, и оставался «мистером Домби» вплоть до ее смерти. Он утверждал свое величие на протяжении всей их супружеской жизни, и она покорно его признавала. Он сохранил за собой свое высокое положение на троне, а она — свое скромное местечко на нижней его ступени; и благо было ему, отдавшемуся в рабство единой идее. Он воображал, будто гордыня второй его жены соединится с его гордыней, вольется в нее и укрепит его величие. Он видел себя более надменным, чем когда бы то ни было, полагая, что надменность Эдит будет споспешествовать его собственной надменности. Ему и в голову не приходило, что высокомерие супруги может обернуться против него. А теперь, когда он убедился, что оно преграждает ему путь на каждом шагу и повороте его повседневной жизни, обращая к нему свой холодный, вызывающий и презрительный лик, гордыня его, вместо того чтобы увянуть или склонить голову под ударом, пустила свежие побеги, стала более сосредоточенной и напряженной, более мрачной, угрюмой и неподатливой, чем когда-либо прежде.

Кто надевает такую броню, навлекает на себя также другое тяжкое возмездие. Броня непроницаема для примирения, любви и доверия, для всех нежных чувств, наплывающих извне, для сострадания, кротости, доброты. Но к глубоким уколам, наносимым самолюбием, она чувствительна так же, как обнаженная грудь — к ударам кинжала; и при этом открываются такие мучительные гнойники, каких не найти в других ранах, хотя бы их и нанесла железная рука самой гордыни, обратившаяся против гордыни более слабой, обезоруженной и поверженной.

Таковы были его раны. Он ощущал их болезненно в уединении своих старых комнат, куда он снова начал удаляться и проводить в одиночестве долгие часы. Казалось, судьба обрекла его быть всегда гордым и могущественным, всегда униженным и беспомощным, меж тем как он должен был быть особенно сильным. Кому суждено было осуществить эту волю рока?

Кому? Кому удалось завоевать любовь его жены так же, как некогда любовь его сына? Кто была та, которая оповестила его об этой новой победе, когда он сидел в темном углу? Кто была та, чье единое слово достигало цели, которой он не мог достигнуть при всем напряжении сил? Кто была та, лишенная его любви, заботы и внимания, которая цвела и преуспевала, тогда как умирали те, него он оберегал? Кем могла она быть, как не той самой дочерью, на которую он часто посматривал смущенно в пору ее сиротливого детства, охваченный страхом, что может ее возненавидеть, и по отношению к которой его предчувствие сбылось, ибо он ненавидел ее?

Да, и он хотел ее ненавидеть и укрепил эту ненависть, хотя на девушку еще падал иногда отблеск того света, в каком она предстала перед ним в памятный вечер его возвращения с молодой женой. Он знал теперь, что она красива; он не оспаривал того, что она грациозна и обаятельна и что он был изумлен, когда она явилась перед ним во всем очаровании своей юной женственности. Но даже это он ставил ей в вину. Предаваясь мрачному и нездоровому раздумью, несчастный, смутно понимая свое отчуждение от всех людей и бессознательно стремясь к тому, что всю жизнь от себя отталкивал, усвоил превратное представление о своих правах и обидах и благодаря этому оправдывал себя перед ней. Чем более достойной его обещала она стать, тем больше склонен он был притязать задним числом на ее уважение и покорность. Разве выказывала она когда-нибудь свое уважение и покорность? Чью жизнь украшала она — его или Эдит? Кому первому открыла свое обаяние — ему или Эдит? Да ведь отношения между ними с самого ее рождения не походили на отношения между отцом и дочерью! Они всегда были чужды друг другу. Она всегда поступала наперекор ему. Теперь она участвовала в заговоре против него. Ее красота смягчала натуры, не склонившиеся перед ним, и оскорбляла его своим противоестественным торжеством.

Может быть, во всем этом слышался неясный голос чувства, проснувшегося в груди, хотя оно и вызвано было эгоистическим сознанием, что в ее власти сделать его жизнь иною. Но он заглушал эти

далекие раскаты грома прибоем волн своей гордыни. Он не признавал ничего, кроме своей гордыни. И в гордыне своей, приносившей ему тревогу, тоску и мучения, он ненавидел ее.

Мрачному, упрямому, хмурому демону, которым он был одержим, его жена противопоставила свою — иную — гордость. Они никогда не могли бы жить счастливо вместе; но ничто не в силах было сделать их жизни более несчастной, чем эта умышленная и упорная борьба таких страстей. Его гордость настаивала на сохранении его верховной власти и требовала от жены признания этой власти. Она согласилась бы пойти на смертные муки, но до последней минуты не спускала бы с него надменного взгляда, выражавшего спокойное, неумолимое презрение. Вот чего он добился от Эдит! Он не подозревал, какие бури и борьбу выдержала она, пока удостоилась чести принять его имя. Он не подозревал о том, на какие уступки, по ее мнению, она пошла, когда позволила ему назвать ее женой.

Мистер Домби решил показать ей, что он — владыка. Нет и не может быть иной воли, кроме его воли. Он хотел, чтобы она была гордой, но ее гордость должна была служить его интересам, а не быть в ущерб им. Когда он сидел с ожесточившимся сердцем, в одиночестве, он часто слышал, как она уезжала и возвращалась домой, поглощенная заботами лондонской жизни и уделяя столько же внимания его симпатиям и антипатиям, его удовольствию и неудовольствию, сколько могла уделять, если бы он был ее грумом. Ее холодное, величественное равнодушие — его собственное неоспоримое качество, ею у него похищенное, — оскорбляло его больше, чем могло бы оскорбить любое иное поведение. И он решил, что заставит ее склониться перед его могучей, всеподавляющей волей.

Он давно уже размышлял об этом и однажды, поздно вечером, услышав, что она вернулась домой, отправился к ней, на ее половину. Она была одна, в ослепительном наряде, и только что пришла от своей матери. Вид у нее был печальный и задумчивый, когда он предстал перед ней; но она заметила его еще в дверях, ибо, взглянув в зеркало, перед которым она сидела, он тотчас же увидел, словно в картинной раме, сдвинутые брови и мрачное выражение прекрасного лица, столь хорошо ему знакомое.

— Миссис Домби, — сказал он, входя, — разрешите мне поговорить с вами.

— Завтра, — отозвалась она.

— Сейчас самый подходящий момент, сударыня, — возразил он. — Вы заблуждаетесь относительно своего положения. Я привык назначать время сам. Мне его не назначают. Мне кажется, вы вряд ли понимаете, миссис Домби, кто я!

— Мне кажется, — ответила она, — я вас очень хорошо понимаю.

При этом она посмотрела на него и, скрестив на груди белые руки, сверкавшие золотом и драгоценными камнями, отвернулась.

Будь она не так красива и не так величественна в своем холодном спокойствии, быть может, не было бы у нее власти внушить ему мысль о невыгоде его положения — мысль, проникшую сквозь броню гордыни. Но эта власть у нее была, и он остро ее почувствовал. Он окинул взглядом комнату, увидел, что великолепные принадлежности туалета, служившие для украшения ее особы, и роскошные уборы валяются повсюду и брошены как попало — не только из прихоти и беспечности (во всяком случае, так показалось ему), но в силу упорного, высокомерного пренебрежения дорогими вещами. И тогда он еще острее и отчетливее осознал свое положение. Гирлянды цветов, перья, драгоценности, кружева, шелк, атлас — куда бы он ни взглянул, всюду он видел сокровища, брошенные с презрением. Даже бриллианты — свадебный подарок, — беспокойно поднимаясь и опускаясь на ее груди, словно хотели разорвать цепь, которая скрепляла их, охватывая ее шею, и рассыпаться по полу, где она могла бы попирать их ногами.

Он понял невыгоду своего положения и не скрыл этого. Напыщенный и чуждый этим ярким краскам и чувственному блеску, отчужденный и сдержанный в присутствии высокомерной госпожи, чью неприступную красоту этот блеск повторял и отражал как бы в бесчисленных осколках зеркала, он испытывал смущение и замешательство. Все, что способствовало ее презрительному самообладанию, неизбежно раздражало его. Раздраженный и недовольный самим собой, он сел и, пребывая по-прежнему в дурном расположении духа, продолжал:

— Миссис Домби, нам совершенно необходимо прийти к какому-то соглашению. Ваше поведение, сударыня, мне не нравится.

Она снова бросила на него взгляд и снова отвернулась, но если бы она говорила в течение часа,

ей не удалось бы выразиться более красноречиво.

— Повторяю, миссис Домби, ваше поведение мне не нравится. Однажды я уже воспользовался случаем и попросил, чтобы вы его изменили. Теперь я этого требую.

— Вы выбрали подходящий случай для первого вашего выговора, сэр, и вы нашли подобающий тон и подобающие выражения для второго. Вы требуете! От меня!

— Сударыня, — сказал мистер Домби с оскорбительно-высокомерным видом, — я вас сделал своей женой. Вы носите мое имя. Вы связаны со мной — с моим общественным положением и моей репутацией. Не стану говорить, что свет, быть может, склонен считать этот союз почетным для вас, но я скажу, что привык предъявлять требования к моим близким и к людям, от меня зависящим.

— К какой из этих групп вам угодно отнести меня? — спросила она.

— Пожалуй, миссис Домби, я бы считал, что моя жена должна принадлежать — или, вернее, принадлежит и изменить этого не может — к обеим группам.

Она пристально посмотрела на него и сжала дрожащие губы. Он видел, как трепещет ее грудь, видел, как лицо ее вспыхнуло и затем побледнело. Все это он мог видеть и видел; но он не мог знать, что в тайниках ее сердца одно, шепотом произнесенное слово заставляло ее сохранять спокойствие, и это слово было — Флоренс.

Слепой безумец, стремящийся к пропасти! Он думал, что она стоит в страхе перед ним!

— Вы слишком расточительны, сударыня, — сказал мистер Домби. — Вы не знаете меры. Вы бросаете на ветер огромные деньги — или, вернее, это огромные деньги для большинства джентльменов, — поддерживая знакомства, которые для меня бесполезны и даже неприятны мне. Я принужден настаивать на том, чтобы это положение решительным образом изменилось. Знаю, что, получив внезапно десятую долю тех средств, какие судьба предоставила в ваше распоряжение, леди склонны впадать в крайности. Этим крайностей было более чем достаточно. Мне бы хотелось, чтобы опыт, приобретенный миссис Грейнджер, — опыт совсем иной, — принес теперь пользу миссис Домби.

Снова пристальный взгляд, дрожащие губы, трепещущая грудь, лицо, то краснеющее, то бледнеющее, и снова тихий шепот: «Флоренс, Флоренс», который слышался ей в биении ее сердца.

Его дерзкая самоуверенность возросла, когда он увидел эту перемену в ней. Воспаленная постоянным ее презрением к нему и недавним ощущением невыгоды своего положения не меньше, чем теперешней ее покорностью (так он истолковывал ее поведение), эта самоуверенность уже не знала границ. Кто мог долго противиться надменной его воле и желаниям? Он решил одержать над ней верх, и вот — смотрите!

— Далее, сударыня, — продолжал мистер Домби тоном властным и повелительным, — соблаговолите хорошенько понять, что вам надлежит уважать меня и слушаться. Что перед лицом света следует оказывать мне полное и явное уважение, сударыня. Я к этому привык. Я имею право это требовать. Короче говоря, я этого желаю. Я считаю это соответствующим вознаграждением за то высокое положение в обществе, какое выпало вам на долю. И, полагаю, никого не удивит, что это уважение от вас требуется и что вы его оказываете. Мне, мне! — добавил он выразительно.

Она безмолвствует. Никакой перемены в ней. Взгляд устремлен на него.

— Я узнал от вашей матери, миссис Домби, — сказал мистер Домби с внушительной важностью, — то, что вам несомненно известно, а именно: для поправления здоровья ей советуют поехать в Брайтон. Мистер Каркер был так любезен...

С ней внезапно произошла перемена. Ее лицо и шея вспыхнули, как будто на них упал красный отблеск солнечного заката. Не оставив без внимания этой перемены и истолковав ее по-своему, мистер Домби продолжал:

— Мистер Каркер был так любезен, что съездил туда и на время снял там дом. По возвращении вашем в Лондон я приму меры, какие считаю необходимыми, для лучшего ведения хозяйства. Одной из таких мер будет приглашение на место экономки (если это удастся) проживающей в Брайтоне очень почтенной особы, которая находится в стесненных обстоятельствах, некоей миссис Пипчин, прежде оказывавшей услуги моей семье и пользовавшейся моим доверием. Для ведения хозяйства в этом доме, возглавляемом лишь номинально миссис Домби, требуется опытный человек.

Прежде чем он произнес эти слова, она изменила позу: теперь она сидела — по-прежнему глядя на него пристально — и вертела на руке браслет, повертывала его не с женственной осторожностью, но натирала им гладкую кожу, пока на белой руке не появилась красная полоса.

— Я заметил, — сказал мистер Домби, — и этим я закончу то, что считаю нужным сообщить вам сегодня, миссис Домби, — минуту тому назад я заметил, сударыня, что мое упоминание о мистере Каркере было принято вами несколько странно. В тот день, когда я при этом доверенном лице указал вам, что недоволен вашей манерой принимать моих гостей, вам угодно было возражать против его присутствия. Вам придется воздержаться от подобных возражений, сударыня, и приучить себя к его присутствию, весьма возможно, во многих подобных случаях, если вы не воспользуетесь средством, которое у вас в руках, — иными словами, если не лишите меня оснований для недовольства. Мистер Каркер, — продолжал мистер Домби, который после отмеченного им смятения почитал действенным вновь открытое средство смирять гордость жены и, быть может, не прочь был показать означенному джентльмену свою власть в новом аспекте, — мистер Каркер, пользуясь моим доверием, миссис Домби, прекрасно может пользоваться и вашим доверием в равной мере и в равных пределах. Надеюсь, миссис Домби, — продолжал он спустя несколько секунд, на протяжении коих, в приливе высокомерия, он укрепился в своей идее, — надеюсь, я никогда не сочту необходимым поручить мистеру Каркеру передачу вам какого-либо замечания или порицания, но так как, принимая во внимание мое положение и репутацию, для меня были бы унижительны частые пререкания из-за пустяков с той леди, которую я удостоил наивысшей чести, какую в моей власти было оказать, я, не колеблясь, прибегну к его услугам, если у меня будут для этого основания.

«А теперь, — подумал он, вставая, в сознании собственного морального величия, еще более непреклонный и непроницаемый, чем когда бы то ни было, — она знает меня и знает мое решение».

Рука, с такой силой нажимавшая на браслет, тяжело лежала теперь на груди, и Эдит, смотря на мистера Домби, все с тем же застывшим лицом, сказала тихо:

— Подождите! Ради бога! Я должна поговорить с вами.

Почему не заговорила она раньше и какая происходила в ее душе борьба, на несколько минут лишившая ее дара речи? Благодаря страшному напряжению воли лицо ее оставалось неподвижным, как лицо статуи, — обращенное к мужу, оно не выражало ни мягкости, ни жесткости, ни приязни, ни ненависти, ни гордости, ни смирения — ничего, кроме пытливого внимания!

— Разве я когда-нибудь соблазняла вас, заставляя искать моей руки? Разве я когда-нибудь пользовалась какими бы то ни было уловками, чтобы прельстить вас? Разве я была более расположена к вам, когда вы за мной ухаживали, чем после нашей свадьбы? Была ли я когда-нибудь по отношению к вам иной, чем теперь?

— Совершенно незачем это обсуждать, сударыня, — сказал мистер Домби.

— Думали ли вы, что я вас люблю? Было ли вам известно, что я вас не люблю? Да разве вы когда-нибудь задумывались о моем сердце или ставили себе целью завоевать ничего не стоящую вещь? Разве был хоть какой-нибудь намек на это при заключении нашей сделки? С вашей стороны или с моей?

— Эти вопросы, сударыня, — сказал мистер Домби, — не имеют никакого отношения к делу.

Она встала между ним и дверью, чтобы помешать ему уйти, и, выпрямившись во весь рост, продолжала смотреть на него в упор.

— Вы отвечаете на каждый из них. Вижу, что вы отвечаете раньше, чем я их задаю. Можете ли вы отвечать иначе — вы, которому жалкая правда известна не хуже, чем мне? Теперь скажите: если бы я любила вас преданно, могла ли бы я сделать для вас больше, чем отдать вам всю мою волю и себя целиком, как вы этого только что потребовали? Если бы сердце у меня было чистое и неискушенное и если бы вы были его кумиром, могли бы вы потребовать большего, могли бы вы получить больше?

— Быть может, и нет, сударыня, — ответил он холодно.

— Вы знаете, что я совсем иная. И можете угадать по моему лицу мои чувства к вам. — Гордые губы не дрогнули, темные глаза не вспыхнули, по-прежнему взгляд был пристальный и испытующий. — Вы знаете в общих чертах мою жизнь. Вы говорили о моей матери. Неужели вы думаете, что можете унижить, согнуть, сломить меня, принудив к подчинению и послушанию?

Мистер Домби улыбнулся, как улыбнулся бы он, если бы задали ему вопрос, может ли он достать десять тысяч фунтов.

— Если происходит что-то необычное здесь, — продолжала она, легко проведя рукой над глазами, которые оставались такими же неподвижными, — и, я знаю, необычные чувства теснятся вот

тут, — она приподняла руку, которую прижимала к груди, и снова тяжело опустила ее на грудь, — то поймите: есть нечто странное и в той просьбе, с какой я намереваюсь к вам обратиться. Да, — быстро сказала она, словно отвечая на мимолетное изменение в его лице, — дело в том, что я хочу обратиться к вам с просьбой.

Мистер Домби, со снисходительным видом опустив слегка подбородок, отчего затрещал его туго накрахмаленный воротничок, сел на стоявшую поблизости софу, чтобы выслушать просьбу.

— Если вы поймете, что и мне самой, — ему показалось, будто на глазах у нее блеснули слезы, и он подумал об этом не без самодовольства, хотя ни одна слезинка не скатилась по ее щеке и на него она смотрела все тем же пристальным взглядом, — мне самой кажется почти невероятным мое решение обратиться с просьбой к человеку, ставшему моим мужем, а в особенности к вам, — если вы это поймете, быть может, вы придадите большее значение моим словам. Тяжелая развязка, к которой мы приближаемся и, может быть, придем, отразится не только на нас (это было бы не так важно), но и на других.

На других! Он знал, к кому относилось это) слово, и сурово нахмурился.

— Я обращаюсь к вам ради других. А также ради вас и ради себя самой. После нашей свадьбы вы держали себя высокомерно по отношению ко мне, и я платила вам тем же. Ежедневно и ежечасно вы давали понять мне и всем окружающим, что, по вашему мнению, союз наш является для меня высокой честью. Я думаю иначе и в свою очередь давала это понять. Вы как будто не признаете или (поскольку это в вашей власти) не намерены признать, что каждый из нас должен идти своей дорогой. Вместо этого вы добиваетесь от меня покорности, которой не дождетесь никогда.

Хотя выражение ее лица не изменилось, это «никогда» была энергически подчеркнуто той силой, с какой она произнесла его.

— Я не питаю к вам никаких нежных чувств. Вы это знаете. Если бы я их питала или могла питать, вам это было бы безразлично. Знаю прекрасно, что и вы никаких нежных чувств ко мне не питаете. Но мы связаны друг с другом, и, я уже сказала, узы, нас соединяющие, опутывают также и других. Мы оба рано или поздно должны умереть. Мы оба уже связаны с умершими, каждый из нас лишился ребенка. Будем снисходительны.

Мистер Домби глубоко вздохнул, как будто желая сказать: «О! И это все?»

— Ни за какие сокровища в мире, — продолжала она, следя за ним и бледнея, тогда как глаза ее еще ярче заблестели, — нельзя было бы купить у меня эти слова. Если отмахнуться от них, как от пустой фразы, никакие сокровища и никакая власть не могут их вернуть. Я их произнесла. Я их взвесила, и я исполню то, за что берусь. Если вы обещаете быть снисходительным, я со своей стороны дам обещание быть снисходительной. Мы с вами — самая несчастная супружеская чета, у которой, по разным причинам, вырвано с корнем все, что освящает или оправдывает брак. Но со временем мы можем достигнуть дружеского расположения или приспособиться друг к другу. Я постараюсь на это надеяться, если и вы приложите усилие. И я буду утешать себя надеждой на более достойную и счастливую жизнь, чем та, какую я вела в юности и в расцвете лет.

Все время она говорила тихим, ровным голосом, не повышая его и не понижая; замолчав, она опустила руку, которую прижимала к груди, принуждая себя быть бесстрастной и спокойной, но не опустила глаз, столь пристально за ним следивших.

— Сударыня, — с величайшим достоинством сказал мистер Домби, — я не могу принять такие необычайные предложения.

Она продолжала смотреть на него все так же пристально.

— Я не могу, — сказал мистер Домби, вставая, — идти на соглашение, миссис Домби, или вступать с вами в переговоры по вопросу, относительно коего вам известно мое мнение и мои желания. Я предъявил вам ультиматум, сударыня, и мне остается только просить, чтобы вы обратили на него серьезнейшее внимание.

Он видел, как изменилось ее лицо и появилось на нем прежнее, но более напряженное выражение. Он видел, как опустились глаза, словно она не захотела смотреть на какой-то гнусный и ненавистный предмет. Он видел, как озарилось надменное чело. Он видел, как прорвались наружу презрение, гнев, негодование и отвращение, а бледная, тихая убежденность рассеялась, как дым. Он не мог не смотреть на нее, но смотрел он с ужасом.

— Ступайте, сэр! — сказала она, величественно указывая рукой на дверь. — Наш первый и по-

следний искренний разговор кончен. Отныне ничто не может сделать нас более чуждыми друг другу, чем чужды мы сейчас.

— Можете быть уверены, сударыня, — сказал мистер Домби, — что я буду поступать так, как считаю правильным, невзирая ни на какие разглагольствования.

Она повернулась к нему спиной и молча села перед зеркалом.

— Сударыня, я возлагаю надежду на то, что вы обретете более правильное понимание долга, более достойные чувства и большую рассудительность, — сказал мистер Домби.

Она не ответила ни слова. По выражению ее лица, отраженного в зеркале, он понял, что она не обращает на него ни малейшего внимания, как будто бы он был незамеченным ею пауком на стене, или жуком на полу, или, вернее, словно он был пауком или жуком, замеченным ею и раздавленным, после чего она отвернулась и забыла о нем, как забывают об омерзительных мертвых гадах.

В дверях он оглянулся и окинул взором ярко освещенную роскошную комнату, красивые вещи, расставленные повсюду, фигуру Эдит, сидящей в нарядном платье перед зеркалом, и лицо Эдит, отраженное в зеркале. И он ушел к себе, в свою комнату, где уже так давно предавался размышлениям, и унес с собою яркое воспоминание обо всем виденном и странную безотчетную мысль (иной раз такие мысли приходят в голову) о том какова будет эта комната, когда он увидит ее в следующий раз.

Мистер Домби был очень молчалив, очень важен и очень уверен в том, что достигнет цели.

Он не намерен был сопровождать семейство в Брайтон. Но за завтраком в день отъезда, то есть дня через два, он милостиво уведомил Клеопатру, что собирается скоро приехать туда. Нельзя было медлить с отправкой Клеопатры в такое место, которое считалось целебным, ибо она и в самом деле грозила рассыпаться в прах.

Хотя второго удара не последовало, но, оправляясь после первого, старуха как будто подвигалась не вперед, а назад. Она еще больше похудела и сморщилась, ее слабоумие проявлялось резче, а путаница в мыслях и провалы в памяти казались еще более странными. Помимо других симптомов, у нее развилась привычка путать имена ее двух зятьев, живого и умершего, и обычно называть мистера Домби либо «Грейнджби» либо «Домбер», а иногда и так и этак попеременно.

Но она все молодилась, по-прежнему очень молодилась. И молодежливой она явилась к завтраку в день отъезда, в новой шляпке, специально для этого заказанной, и в дорожном платье, которое было разукрашено вышивкой и обшито шнурком, как платьице престарелого младенца. Нелегко было надеть эту воздушную шляпку, а когда она уже была надета, нелегко удержать ее на подобающем ей месте, на бедной трясущейся голове. Теперь шляпка не только производила странное впечатление, упорно сползая набекрень, но вдобавок ее приходилось беспрестанно похлопывать по тулье, каковую обязанность исполняла горничная Флауэрс, прислуживавшая на заднем плане во время завтрака.

— Ну, дорогой мой Грейнджби, — сказала миссис Скьютон, — вы должны непременно общаться, — некоторые слова она обрубала, а из других выбрасывала слоги, — приехать поскорей.

— Я только что сказал, сударыня, — произнес мистер Домби громко и отдельно, — что приеду дня через два.

— Благодарю вас, Домбер!

Тут майор, который пришел попрощаться и, с невозмутимым хладнокровием бессмертного существа, таращил свои апоплексические глаза на миссис Скьютон, сказал:

— Ах, боже мой, сударыня, вы не приглашаете старого Джо!

— Самодеянное создание, кто он такой? — просюсюкала Клеопатра. Но Флауэрс, хлопнув по шляпке, как будто освежила ее память, после чего она добавила: — Ах, вы имеете в виду самого себя, злодей!

— Чертовски странно, сэр! — шепнул майор мистеру Домби. — Дело плохо! Она всегда одевалась слишком легко. (Сам майор был закутан до подбородка.) Но, говоря о Джо, кого может иметь в виду Дж. Б., если не старого Джо Бегстока... Джозефа... вашего раба... Джо, сударыня? Вот он! Вот этот человек! Вот сердце Бегстока, сударыня! — воскликнул майор, нанеся себе звучный удар в грудь.

— Дорогая моя Эдит — Грейнджби... это чрезвычайно странно, — брюзгливо сказала Клеопатра, — что майор...

— Бегсток! Дж. Б.! — вскричал майор, видя, что она старается вспомнить его фамилию.

— Ну, это неважно, — сказала Клеопатра. — Эдит? милочка, как тебе извест, я всегда забвала

имена... о чем это я говорила?... Ах, да!.. чрезвычайно странно, что столько людей хотят меня навещать, я уезжаю ненадолго. Я вернусь. Право же, они могут дождаться моего возвращения!

При этом Клеопатра посматривала на всех сидевших за столом и имела вид очень встревоженный.

— Я не хочу гостей... право же, я не хоч гостей, — сказала она, — маленький отдых... и все такое... вот что мне нужно. Дерзкие злодеи не должны приближ ко мне, пока я не стряхну с себя этого оцепенения.

И воскрешая свои кокетливые манеры, она попыталась слегка ударить майора веером, но вместо этого опрокинула чашку мистера Домби, которая стояла совсем в другой стороне.

Затем она позвала Уитерса и поручила ему хорошенько позаботиться о том, чтобы отдано было распоряжение о некоторых незначительных переделках в ее комнате, каковые должны быть закончены к ее возвращению; к ним надлежит приступить немедленно, ибо трудно сказать, как скоро она вернется; дело в том, что у нее множество обязательств, и самые разнообразные люди должны ее навещать. Уитерс выслушал эти распоряжения с подобающим почтеньем и поручился, что они будут исполнены, но, отступив шага на два, он, казалось, не мог удержаться, чтобы не бросить за ее спиной многозначительный взгляд на майора, который не мог удержаться, чтобы не бросить многозначительный взгляд на Клеопатру, а та не могла удержаться, чтобы не тряхнуть головой (в результате чего шляпка съехала ей на один глаз) и не застучать ножом и вилкой по тарелке, как будто она щелкала кастаньетами.

Одна только Эдит ни разу не подняла глаз ни на кого из сидевших за столом, и ее как будто не смущало то, что говорила и делала ее мать. Она прислушивалась к бестолковым речам или, во всяком случае, поворачивалась к матери, когда та ее окликала; вполголоса бросала в ответ несколько слов, когда это было необходимо, а иной раз прерывала ее, если та начинала говорить бессвязно, или одним словом направляла ее мысль на ту стезю, с которой она свернула. Мать, как бы ни была она рассеяна во всех отношениях, оставалась постоянной в одном: она все время следила за дочерью. Она смотрела на прекрасное лицо, неподвижное и строгое, словно высеченное из мрамора, то с боязливым восхищеньем, то с нелепым хихиканьем, стараясь вызвать на нем улыбку, то капризно проливая слезы и ревниво покачивая головой, как будто воображала, что дочь не обращает на нее внимания, но все время ощущая притягательную его силу, — это ощущение оставалось неизменным в отличие от прочих ее ощущений. С Эдит она иногда переводила взгляд на Флоренс и снова пугливо обращала его на Эдит; а иногда она старалась смотреть в другую сторону, чтобы не видеть лица дочери; но снова оно как будто притягивало ее, хотя Эдит не поворачивалась к ней, если та на нее не смотрела, и не смущала ее ни одним взглядом.

После завтрака миссис Скьютон сделала вид, будто с девической грацией опирается на руку майора, но в действительности ее энергически поддерживала с другой стороны горничная Флауэрс, а сзади подпирал паж Уитерс, и таким образом ее довели до кареты, в которой ей предстояло ехать вместе с Флоренс и Эдит в Брайтон.

— Неужели Джозеф окончательно изгнан? — спросил майор, просовывая в дверцу свою пурпурную физиономию. — Черт возьми, сударыня! Неужели Клеопатра так жестокосердна, что запрещает своему верному Антонию Бегстоку предстать пред лицом ее?

— Убирайтесь! — сказала Клеопатра. — Я вас не выношу. Если будете умником, можете навещать меня, когда я вернусь.

— Скажите Джозефу, сударыня, что он может жить этой надеждой, — ответил майор, — иначе он умрет от отчаяния.

Клеопатра содрогнулась и откинулась назад.

— Эдит, дорогая моя, — воскликнула она, — скажи ему...

— Что?

— Такие ужасные слова! — продолжала Клеопатра. — Он говорит такие ужасные слова!

Эдит сделала ему знак удалиться, приказала кучеру трогать и оставила несносного майора мистеру Домби. К нему он и вернулся посвистывая.

— Вот что я вам скажу, сэр, — объявил майор, заложив руки за спину и широко расставив ноги, — наша очаровательная приятельница попала в переделку.

— Что вы хотите этим сказать, майор? — осведомился мистер Домби.

— Я хочу сказать, Домби. — ответил майор, — что скоро вам предстоит стать зятем-сироткой.

Это шутовское определение его особы столь не понравилось мистеру Домби, что майор в знак глубокой серьезности закончил фразу лошадиным кашлем.

— Черт возьми, сэр, — сказал майор, — какой смысл приукрашивать факты! Джо — человек прямой, сэр. Такая у него натура. Если уж вы принимаете старого Джоша, берите его таким, каков он есть; и вы убедитесь, что Дж. Б. — дьявольски шершавая старая терка. Домби, мать вашей жены собирается в дальний путь, сэр.

— Боюсь, что миссис Скьютон перенесла сильное потрясение, — с философическим спокойствием заметил мистер Домби.

— Потрясение, сэр! — воскликнул майор. — Она разбилась вдребезги!

— Однако перемена климата и уход могут оказаться весьма благотворными, — продолжал мистер Домби.

— Не верьте этому, сэр, — возразил майор. — Черт возьми, сэр, она никогда не укутывалась как следует! Если человек хорошенько не кутается, — сказал майор, застегивая свой светло-коричневый жилет еще на одну пуговицу, — у него нет надлежащей опоры. Но некоторые люди хотят умереть. Они хотят смерти. Черт возьми, они хотят этого! Они упрямы. Вот что я вам скажу, Домби, может быть, это некрасиво, может быть, это не утонченно, может быть, это грубо и просто, но человеческая порода улучшилась бы, сэр, если бы влить в нее немножко настоящей старой английской бегстоковской крови.

Сообщив эти драгоценные сведения, майор, лицо коего было поистине синим, каковы бы ни были другие качества, которыми он отличался или в коих нуждался для того, чтобы причислить себя к «настоящей старой английской» породе (эта порода никогда еще не была точно определена), майор унес свои рачьи глаза и апоплексическую физиономию в клуб и там пыхтел целый день.

Клеопатра, попеременно брюзгливая, самодовольная, бодрствующая и засыпающая, но неизменно юная, прибыла в тот же вечер в Брайтон, рассыпалась, по обыкновению, на куски и была уложена в постель. Здесь мрачная фантазия могла бы нарисовать грозный скелет, совсем непохожий на горничную, — скелет, стерегущий у розовых занавесок, привезенных сюда, чтобы они делились своим румянцем с Клеопатрой.

На высшем совете медицинских светил было постановлено, что она должна ежедневно выезжать на прогулку и ежедневно, если силы ей позволят, выходить из экипажа и прогуливаться пешком. Эдит готова была сопровождать ее — всегда готова была сопровождать ее, по-прежнему безучастно-внимательная и невозмутимо прекрасная, — и они выезжали вдвоем: с тех пор, как матери стало хуже, Эдит в присутствии Флоренс чувствовала себя неловко и как-то раз, поцеловав Флоренс, сказала ей, что предпочитает быть наедине с матерью.

Однажды миссис Скьютон пребывала в раздражительном и сварливом расположении духа, напоминающем ее состояние в период выздоровления после первого удара. Сначала она молча сидела в экипаже, поглядывая на Эдит, потом взяла ее руку и горячо поцеловала. Дочь не отняла руки и не сопротивлялась, когда мать подняла ее, но эта рука, когда ее выпустили, снова упала. Тогда миссис Скьютон начала хныкать и причитать, говорить о том, какой она была прекрасной матерью и как ею пренебрегают. Время от времени она снова принималась капризно твердить об этом, когда они уже вышли из экипажа, и она, прихрамывая, тащилась, опираясь на Уитерса и на палку; Эдит шла рядом, а экипаж медленно следовал за ними на некотором расстоянии.

Был холодный, пасмурный, ветреный день; они находились среди меловых холмов, и между ними и горизонтом не было ничего, кроме бесплодного пространства. Мать, брюзгливо наслаждаясь своей монотонной жалобой, все еще повторяла ее вполголоса, а дочь с горделивой осанкой медленно шла подле нее, но вот над темным гребнем холма показались две приближающиеся к ним фигуры, которые издали были так похожи на карикатурное повторение их самих, что Эдит остановилась.

Как только она остановилась, остановились и эти две фигуры. И та, кто, по мнению Эдит, была искаженным подобием ее матери, с жаром сказала что-то другой, указывая на них рукою. Она, как будто не прочь была повернуть назад, но другая, в которой Эдит заметила такое сходство с собой, что испытала странное чувство, близкое к страху, пошла вперед, и они продолжали путь вместе.

Большую часть этих наблюдений Эдит сделала, идя им навстречу, ибо она приостановилась только на секунду. Подойдя ближе, она увидела, что они одеты бедно, как путники, бредущие пеш-

ком от деревни к деревне, и молодая женщина несет какое-то вязанье и еще какие-то вещи, предназначенные для продажи, а старуха плетется с пустыми руками.

И, однако, сколь ни велика была разница в одежде, положении, красоте, Эдит все еще невольно сравнивала молодую женщину с собою. Быть может, она видела на ее лице следы того, что таилось и у нее в душе, но не пробилося еще на поверхность. А когда женщина приблизилась и, отвечая на ее взгляд, пристально взглянула на нее сверкающими глазами, несомненно напоминая ее самое обликом и осанкой и словно думая о том же, — тогда Эдит почувствовала, что дрожь пробежала у нее по спине, как будто день стал пасмурнее и ветер холоднее.

Теперь они поравнялись. Старуха, назойливо протягивая руку, остановилась попросить милостыню у миссис Скьютон. Молодая женщина тоже остановилась, и они с Эдит посмотрели друг другу в глаза.

— Что у вас есть для продажи? — спросила Эдит-

— Только вот это, — ответила женщина, показывая свой товар, но не смотря на него. — Себя я уже давно продала.

— Миледи, не верьте ей, — захрипела старуха, обращаясь к миссис Скьютон. — Не верьте тому, что она говорит! Ей нравится болтать попусту. Это моя красивая, непочтительная дочь. За все, что я для нее сделала, она только и знает, что упрекает меня, миледи. Вот посмотрите, миледи, как она глядит на свою бедную, старую мать.

Когда миссис Скьютон вынула дрожащей рукою кошелек и торопливо нашупывала монеты, а другая старуха следила за ней с жадностью — алчное нетерпение и дряхлость почти столкнули их головами, — Эдит вмешалась.

— Я вас видела прежде, — обратилась она к старухе.

— Да, миледи, — приседа, сказала старуха. — Там, в Уорикшире, утром в роще. Когда вы ничего не хотели мне подать. Ну, а джентльмен — тот подал мне! Да благословит его бог, да благословит его бог! — прошамкала старуха, поднимая костлявую руку к небу и отвратительно усмехаясь своей дочери.

— Не говори мне, Эдит! — сердито сказала миссис Скьютон, предупреждая возражение с ее стороны. — Ты ничего в этом не понимаешь. Я не хочу, чтобы меня разубеждали. Я уверена, что это превосходная женщина и добрая мать.

— Да, да, миледи, — затараторила старуха, алчно протягивая руку. — Благодарю вас, миледи. Да благословит вас бог, миледи! Прибавьте еще шесть пенсов, дорогая леди, ведь вы сами добрая мать.

— Уверю вас, моя славная старушка, со мной тоже обращаются иногда очень непочтительно, — захныкала миссис Скьютон. — Вот, возьмите! Пожмем друг другу руку. Вы добрая старушка, у вас столько этого... как оно там называется... и всего такого. Вы полны любви и так далее, не правда ли?

— О да, миледи!

— Я в этом уверена; таков и этот истинный джентльмен, Грейнджби. Я должна еще раз пожать вам руку. А теперь ступайте! И я наделось, — обратилась она к ее дочери, — что вы проявите больше благодарности и естественного, как оно там называется, и всего такого — я никогда не могла запомнить эти названия, — потому что не было на свете лучшей матери, чем эта добрая старушка. Идем, Эдит!

Когда развалины Клеопатры, хныча, поплелись прочь и, памятуя о находящихся по соседству румянах, осторожно вытирали слезы, старуха заковыляла в другую сторону, шамкая и пересчитывая деньги. Больше ни одним словом не обменялись Эдит и молодая женщина, не сделали ни одного жеста, но обе ни на секунду не сводили глаз друг с друга. Так стояли они лицом к лицу, пока Эдит, словно очнувшись, не прошла медленно вперед.

— Вы красивая женщина, — пробормотала ее тень, глядя ей вслед, — но красота нас не спасает. И вы гордая женщина, но гордость нас не спасает. Нам нужно бы узнать друг друга, когда мы встретимся снова.

Глава XLI

Новые голоса в волнах

Все идет так, как издавна шло. Волны охрипли, повторяя свои таинственные речи; песчаные гребни бороздят берег; морские птицы взмывают и парят; ветры и облака летят по неисповедимым своим путям; белые руки манят в лунном свете, зазывая в невидимую, далекую страну. С нежною, меланхолическою радостью Флоренс снова видит старые места, где когда-то бродила такая печальная и, однако, счастливая, и думает о нем в тихом уголку, где оба они много, много раз вели беседу, а волны плескались у его ложа. И теперь, когда она сидит здесь в раздумье, ей слышится в невнятном, тихом ропоте моря повторение его коротенькой повести, сказанных им когда-то слов; и чудится, будто вся ее жизнь, и надежды, и скорби с той поры — и в заброшенном доме и в доме, превратившемся в великолепный дворец, — отражены в этой чудесной песне.

А кроткий мистер Тутс, слоняющийся поодаль, тоскливо посматривая на обожаемое им существо, мистер Тутс, последовавший сюда за Флоренс, но по своей деликатности не смеющий тревожить ее в такую минуту, также слышит рекем маленькому Домби в шуме волн, вздымающихся, и падающих, и вечно слагающих мадригал в честь Флоренс. Да, и он смутно понимает — бедный мистер Тутс! — что они нашептывают о тех временах, когда он был более разумным и отнюдь не тупоголовым; и слезы выступают у него на глазах, так как он боится, что стал теперь непонятливым и глупым и годным только для того, чтобы над ним смеялись; и тускнеет его радость, вызванная успокоительным шепотом волн, напоминающих ему, что он на время избавился от Петуха, ибо этот бойцовый экземпляр курятника отсутствует, тренируясь (за счет Тутса) перед великой битвой с Проказником.

Но мистер Тутс набирается храбрости, когда волны нашептывают ему сладостную мысль, и помаленьку, не раз останавливаясь в нерешимости, приближается к Флоренс. Заикаясь и краснея, мистер Тутс притворяется удивленным и говорит (от самого Лондона он неотступно следовал за ее каретой, наслаждаясь даже тем, что задыхался от пыли, вырывающейся из-под колес) о своем крайнем изумлении.

— И вы взяли с собой Диогена, мисс Домби! — говорит мистер Тутс, пронзенный насквозь прикосновением маленькой ручки, столь ласково и доверчиво протянутой ему.

Несомненно Диоген здесь, и несомненно у мистера Тутса есть основания его заметить, так как Диоген устремляется к ногам мистера Тутса и, в ярости налетая на него, кувыркается, словно собака из Монтаржи¹⁰¹. Но Диогена останавливает кроткая хозяйка:

— Куш, Ди, куш! Неужели ты забыл, Ди, кому мы обязаны нашей дружбой? Стыдись!

О, хорошо Диогену прижиматься мордой к ее руке, и отбегать, и снова возвращаться, и носиться с лаем вокруг нее, и бросаться очертя голову на первого встречного, чтобы доказать свою преданность. Мистер Тутс тоже был бы не прочь броситься очертя голову на любого прохожего. Мимо идет какой-то военный, и мистеру Тутсу очень хотелось бы броситься на него стремглав.

— Диоген дышит родным воздухом, не правда ли, мисс Домби, — говорит мистер Тутс.

Флоренс с признательной улыбкой соглашается.

— Мисс Домби, — говорит мистер Тутс, — прошу прощенья, но если вы не прочь зайти к Блимберам, я... я иду туда.

Флоренс, не говоря ни слова, берет под руку мистера Тутса, и они отправляются в путь, а Диоген бежит впереди. У мистера Тутса дрожат колени; и хотя он великолепно одет, ему кажется, что костюм плохо сидит на нем, он видит морщинки на шедевре Берджеса и Ко — и жалеет, что не надел самой парадной пары сапог.

Снаружи дом доктора Блимбера сохраняет все тот же педантический и ученый вид; а наверху есть окно, на которое она, бывало, смотрела, отыскивая бледное личико, и при виде Флоренс бледное

¹⁰¹ *Собака из Монтаржи* — собака, принадлежавшая французскому рыцарю Обри де Мондилье (XIV век), убитому, как рассказывает легенда, Ричардом де Макер в лесу близ Монтаржи. Это преступление долгое время оставалось нераскрытым, и преступник был обнаружен только благодаря упорным преследованиям собаки, принадлежавшей убитому. По приказу короля Карла V между собакой и Макером был устроен поединок; убийца был побежден, признался в своем преступлении и предан казни.

личико в окне освещалось улыбкой, а исхудавшая ручка посылала воздушный поцелуй, когда она проходила мимо. Дверь открывает тот же подслеповатый молодой человек, чья глупая улыбка, обращенная к мистеру Тутсу, является выражением слабохарактерности. Их вводят в кабинет доктора, где слепой Гомер и Минерва дают им аудиенцию, как в былые времена, под аккомпанемент степенного тиканья больших часов в холле и где глобусы стоят на прежнем месте, словно и мир неподвижен и ничто в нем не гибнет в силу всеобщего закона, по которому — покуда мир вращается — все рано или поздно рассыпается в прах.

А вот и доктор Блимбер и его ученые ноги; вот и миссис Блимбер в своем небесно-голубом чепце; вот и Корнелия со своими рыжеватыми кудряшками и блестящими очками, по-прежнему роющая, как могильщик, в гробницах языков. Вот стол, на котором он сидел, покинутый, одинокий, «новичок»; и сюда доносится издалека воркование все тех же мальчиков, ведущих все ту же жизнь, все в той же комнате, на основании все тех же принципов!

— Тутс! — говорит доктор Блимбер. — Очень рад вас видеть, Тутс.

Мистер Тутс хихикает в ответ.

— И в таком прекрасном обществе, Тутс! — говорит доктор Блимбер.

Мистер Тутс, побагровев, объясняет, что случайно встретил мисс Домби, и так как мисс Домби, подобно ему самому, пожелала посетить старые места, они пришли вместе.

— Конечно, вам доставит удовольствие, мисс Домби, — говорит доктор Блимбер, — повидать наших молодых людей. Это все ваши бывшие однокашники, Тутс. Кажется, в наш маленький Портик не поступало новых учеников, дорогая моя, — говорит доктор Блимбер Корнелии, — с тех пор как мистер Тутс нас покинул?

— Кроме Байтерстона, — возражает Корнелия.

— Верно, — говорит доктор. — Для мистера Тутса Байтерстон — новое лицо.

Пожалуй, новое и для Флоренс, ибо в классе Байтерстон — уже не юный Байтерстон из пансиона миссис Пипчин — щеголяет в воротничке и галстук и носит часы. Однако Байтерстон, рожденный под какую-то несчастливой бенгальской звездой, весь перепачкан чернилами, а его лексикон так распух от постоянного обращения к нему за справками, что не хочет закрываться и зевает, как будто и в самом деле устал от вечных приставаний. Зевает также и его хозяин, Байтерстон, выращиваемый под усиленным давлением доктора Блимбера; но в зевоте Байтерстона чувствуется злоба и угроза, и кое-кто слышал, как он выражал желание, чтобы «старый Блимбер» лопался ему в руки в Индии. Там он и опомниться не успеет, как его уташат в глубь страны Байтерстоновы кули и передадут с рук на руки тугам¹⁰²; уж в этом он может не сомневаться!

Бригс по-прежнему ворочает жернова науки; а также и Тозер, и Джонсон, и все остальные; старшие ученики заняты преимущественно тем, что с превеликим усердием забывают все, что знали, когда были моложе. Все они столь же учтивы и бледны, как и в былые времена; и среди них мистер Фидер, бакалавр искусств, с костлявыми руками и щетинистой головой, трудится по-прежнему: в настоящий момент запущен в работу его Геродот, а остальные оси и валы лежат на полке за его спиной.

Огромное впечатление производит даже на этих степенных молодых джентльменов визит вырвавшегося на волю Тутса, на которого взирают с благоговением, словно на человека, который перешел Рубикон и дал зарок никогда не возвращаться, и чей покрой костюма и чьи драгоценные украшения заставляют перешептываться исподтишка. Однако желчный Байтерстон, которого не было здесь во времена мистера Тутса, в разговоре с младшими мальчиками притворяется, будто относится с презрением к последнему, и говорит, что хотелось бы ему увидеть разряженного Тутса в Бенгалии, где у его матери есть изумруд, принадлежащий ему, Байтерстону, и извлеченный из подножья трона раджи. Вот оно как!

Великое волнение вызвано также присутствием Флоренс, в которую молодые джентльмены немедленно снова влюбляются, все, кроме упомянутого желчного Байтерстона, не желающего влюбляться из духа противоречия. Черная ревность вспыхивает к мистеру Тутсу, и Бриге высказывает мнение, что Тутс в конце концов не такой уж взрослый. Но эта позорная инсинуация быстро опро-

¹⁰² *Туги* — члены индусской религиозной секты «душителей», приносившие удушенных ими людей в жертву богам.

вергается мистером Тутсом, который громко говорит мистеру Фидеру, бакалавру искусств: «Как поживаете, Фидер?» — и приглашает его пообедать сегодня вместе у Бедфорда; в результате такого подвига он может теперь, если пожелает, выдавать себя за стреляного воробья, и оспаривать это будет трудно.

Жмут руки, раскланиваются, и каждый молодой джентльмен горит желанием лишиться Тутса милостей мисс Домби, а после того, как мистер Тутс, хихикая, бросил взгляд на свой старый пюпитр, Флоренс и он удаляются с миссис Блимбер и Корнелией; и слышно, как за их спиной доктор Блимбер, выходя последним и закрывая дверь, говорит: «Джентльмены, сейчас мы возобновим наши занятия». Ибо только это, и вряд ли что еще, слышит доктор в шепоте волн, и за всю жизнь не слышал он ничего другого.

Потом Флоренс потихоньку уходит и вместе с миссис Блимбер и Корнелией подымается наверх в старую спальню; мистер Тутс, понимая, что в нем, да и ни в ком другом, там не нуждаются, разговаривает с доктором в дверях кабинета, или, вернее, слушает, что говорит ему доктор, и удивляется, почему он почитал когда-то этот кабинет святилищем, а самого доктора с его округлыми ногами, кривыми, как у церковного фортепьяно, человеком, внушающим благоговейный ужас. Флоренс вскоре приходит и прощается; мистер Тутс прощается, а Диоген, который все это время безжалостно докучал подслеповатому молодому человеку, бросается к двери и с дерзким громким лаем летит вниз по откосу; тем временем Милия и другая служанка доктора выглядывают из окна верхнего этажа, весело подсмеиваясь над «этим Тутсом», и говорят о мисс Домби: «Ну, право же, разве она не похожа на своего брата, только еще красивее?»

Мистер Тутс, заметив слезы на лице Флоренс, страшно встревожен и смущен и сначала опасается, не допустил ли он промаха, предложив навестить Блимберов. Но он быстро успокаивается, когда она утверждает, что ей доставило большое удовольствие снова побывать здесь, и говорит об этом очень весело, пока они идут по пляжу. Слышатся голоса моря и ее нежный голос, и когда Флоренс и мистер Тутс приближаются к дому мистера Домби и мистер Тутс должен расстаться с ней, он поражен до такой степени, что у него не остается и признаков свободной воли. Когда она на прощанье протягивает ему руку, он никак не может ее выпустить.

— Мисс Домби, прошу прощения, — меланхолическим шепотом говорит мистер Тутс, — но если бы вы мне разрешили...

Улыбающиеся и невинные глаза Флоренс заставляют его тотчас же запнуться.

— Если бы вы мне разрешили... если бы вы не сочли это дерзостью, мисс Домби, если бы я мог... разумеется, без всякого поощрения, если бы я мог, знаете ли, надеяться, — говорит мистер Тутс.

Флоренс смотрит на него вопросительно.

— Мисс Домби, — говорит мистер Тутс, который чувствует, что теперь уже нельзя отступить, — право же, я обожаю вас до такой степени, что просто не знаю, что мне с собой делать. Я несчастнейший человек. Если бы мы не стояли сейчас на углу площади, я упал бы на колени и просил бы вас и умолял, без всякого поощрения с вашей стороны, дать мне только надежду, что я могу-могу считать, возможным, что вы...

— О, пожалуйста, не надо! — восклицает Флоренс, встревоженная и расстроенная. — О, прошу вас, не надо, мистер Тутс! Пожалуйста, перестаньте! Не говорите больше ничего. Будьте добры, сделайте мне такое одолжение, не говорите!

Мистер Тутс ужасно пристыжен и стоит с разинутым ртом.

— Вы были так добры ко мне, — продолжает Флоренс, — я вам так признательна, у меня столько оснований быть расположенной к вам как к лучшему другу, и, право же, я к вам так и расположена, — тут невинное лицо обращается к нему с самой ласковой и чистосердечной улыбкой, — и я уверена, что вы хотите только сказать мне «до свидания».

— Разумеется, мисс Домби, — говорит мистер Тутс, — я... я... именно это я и хочу сказать. Это не имеет никакого значения...

— До свидания! — восклицает Флоренс.

— До свидания, мисс Домби! — бормочет мистер Тутс. — Надеюсь, вы ничего плохого не подумаете. Это... — это не имеет никакого значения, благодарю вас. Это не имеет ровно никакого значения.

Бедный мистер Тутс в полном отчаянии возвращается в свою гостиницу, запирается у себя в спальне, бросается на кровать и лежит очень долго: похоже на то, что это все-таки имеет огромное значение. Но мистер Фидер, бакалавр искусств, является к обеду — к счастью для мистера Тутса, ибо в противном случае неизвестно, когда бы он встал. Мистер Тутс поневоле встает, чтобы встретить его и оказать ему радушный прием.

И благотворное влияние этой социальной добродетели — радушия (не говоря уже о вине и прекрасном угощении) — открывает сердце мистера Тутса и делает его разговорчивым. Он не сообщает мистеру Фидеру, бакалавру искусств, о том, что произошло на углу площади, но когда мистер Фидер спрашивает его, «когда же это совершится», мистер Тутс отвечает, что «есть предметы, о которых...» — и тем самым немедленно ставит на место мистера Фидера. Далее мистер Тутс выражает удивление: какое право имел Блимбер обращать внимание на его появление в обществе мисс Домби! Если бы ему, Тутсу, угодно было счесть это дерзостью, он вывел бы его на чистую воду, невзирая на то, что Блимбер — доктор; но, полагает он, это объясняется только невежеством Блимбера. Мистер Фидер говорит, что нимало в этом не сомневается.

Впрочем, мистеру Фидеру как закадычному другу разрешено касаться некоего предмета. Мистер Тутс требует только, чтобы о нем говорили таинственно и задушевно. После нескольких стаканов вина он предлагает выпить за здоровье мисс Домби, присовокупив: «Фидер, вы понятия не имеете о том, с какими чувствами я предлагаю этот тост». Мистер Фидер отвечает: «О нет, имею, дорогой мой Тутс, и они делают вам честь, старина». Мистер Фидер преисполнен дружелюбия, жмет руку мистеру Тутсу и говорит, что, если когда-нибудь Тутсу понадобится брат, Тутс знает, где найти его. Мистер Фидер говорит также, что он порекомендовал бы мистеру Тутсу — если тому угодно прислушаться к его совету — выучиться играть на гитаре или хотя бы на флейте, ибо женщины, когда вы за ними ухаживаете, любят музыку, и он сам в этом убедился.

И тут мистер Фидер, бакалавр искусств, признается, что он имеет виды на Корнелию Блимбер. Он сообщает мистеру Тутсу, что не возражает против очков, и если доктор намерен совершить похвальный поступок и удалиться от дел, ну, что ж, в таком случае они будут обеспечены. По его мнению, человек, заработавший приличную сумму денег, обязан уйти от дел, и Корнелия была бы такой помощницей, ко юрой каждый может гордиться. В ответ на это мистер Тутс принимается воспевать хвалу мисс Домби и намекать, что иной раз он не прочь пустить себе пулю в лоб. Мистер Фидер упорно называет такой шаг опрометчивым и, желая примирить своего друга с жизнью, показывает ему портрет Корнелии в очках и со всеми прочими ее атрибутами.

Так проводит вечер эта скромная пара, а когда вечер уступает место ночи, мистер Тутс провожает домой мистера Фидера и расстается с ним у двери доктора Блимбера. Но мистер Фидер только поднимается на крыльцо, а по уходе мистера Тутса снова спускается вниз, бродит в одиночестве по берегу и размышляет о своих видах на будущее. Прогуливаясь, мистер Фидер ясно слышит, как волны вещают ему об окончательном уходе доктора Блимбера от дел, и испытывает нежное, романтическое удовольствие, созерцая фасад дома и мечтательно раздумывая о том, что доктор сначала выкрасит его заново и произведет полный ремонт.

Мистер Тутс в свою очередь бродит вокруг футляра, в коем хранится его жемчужина, и, в плачевном состоянии духа, вызывая некоторые подозрения у полисменов, взирает на окно, в котором виден свет, и нимало не сомневается, что это окно Флоренс. Но он ошибается, ибо это спальня миссис Скьютон. И в то время, как Флоренс, спящей в другой комнате, снятся сладкие сны, напоминающие ей о прошлом, вновь воскресшем, — женщина, которая в суровой действительности заменила на прежней сцене кроткого мальчика, вновь восстанавливая связь — но совсем по-иному! — с тлением и смертью, распростерта здесь бодрствующая и сетующая. Уродливая, изможденная, она лежит, не находя покоя на своем ложе; а подле нее, внушая ужас своей бесстрастной красотой — ибо ужас отражается в тускнеющих глазах старухи, — сидит Эдит. Что говорят им волны в тишине ночи?

— Эдит, чья это каменная рука поднялась, чтобы нанести мне удар? Неужели ты ее не видишь?

— Там ничего нет, мама, это вам только почудилось.

— Только почудилось! Все мне чудится. Смотри! Да неужели ты не видишь?

— Право же, мама, там ничего нет. Разве я бы сидела так спокойно, если бы там что-то было?

— Так спокойно? — Она бросает на нее испуганный взгляд. — Теперь это исчезло... а почему ты так спокойна? Уж это мне не чудится, Эдит. Я вся холодею, видя, как ты сидишь подле меня.

— Мне очень жаль, мама.

— Жаль! Тебе всегда чего-то жаль. Но только не меня!

Она начинает плакать, беспокойно вертит головой и бормочет о пренебрежительном к ней отношении и о том, какой она была матерью и какой матерью была эта добрая старуха, которую они встретили, и какие неблагодарные дочери у таких матерей. В разгар этих бессвязных речей она вдруг умолкает, смотрит на дочь, восклицает, что у нее в голове мутится, и прячет лицо в подушку.

Эдит с состраданием наклоняется и окликает ее. Больная старуха обвивает рукой ее шею и с ужасом бормочет:

— Эдит! Мы скоро поедem домой, скоро вернемся. Ты уверена, что я вернусь домой?

— Да, мама, да.

— А что он сказал... как его там зовут... я всегда забывала имена... майор... это ужасное слово, когда мы уезжали... ведь это неправда? Эдит! — Она вскрикивает и широко раскрывает глаза. — Ведь со мною этою быть не может?

Каждую ночь горит свет в окне, и женщина лежит на кровати, и Эдит сидит подле нее, и беспокойные волны всю ночь напролет взывают к ним обоим. Каждую ночь волны твердят до хрипоты все те же таинственные речи: песчаные гребни бороздят берег; морские птицы взмывают и парят; ветры и облака летят по неисповедимым своим путям; белые руки манят в лунном свете, зазывая в невидимую далекую страну.

И больная старуха по-прежнему смотрит в угол, где каменная рука — по ее словам, это рука статуи с какого-то надгробия — занесена, чтобы нанести ей удар. Наконец она опускается, и безгласная старуха простерта на кровати, она скрючена и сморщена, и половина ее мертва.

Эту женщину, накрашенную и наштукатуренную на смех солнцу, изо дня в день медленно провозят сквозь толпу; при этом она ищет глазами добрую старушку, которая была такой хорошей матерью, и корчит гримасы, тщетно высматривая ее в толпе. Такова эта женщина, которую часто привозят на взморье, и здесь останавливают коляску; но ее никакой ветер не может освежить, и нет для нее успокоительных слов в ропоте океана. Она лежит и прислушивается к нему; но речь его кажется ей непонятной и зловещей, и ужас отражен на ее лице, а когда взгляд ее устремляется вдаль, она не видит ничего, кроме пустынного пространства между землей и небом.

Флоренс она видит редко, а при виде ее сердится и гримасничает. Эдит всегда подле нее и не допускает к ней Флоренс; а Флоренс ночью в своей постели трепещет при мысли о смерти в таком обликии и часто просыпается и прислушивается, думая, что час пробил. Никто не ухаживает за старухой, кроме Эдит. Хорошо, что мало кто ее видит; и дочь бодрствует одна у ее ложа.

Тень сгущается на лице, уже покрытом тенью, заостряются уже заострившиеся черты, и пелена перед глазами превращается в надгробный покров, который заслоняет потускневший мир. Руки, копошащиеся на одеяле, слабо сжимаются и тянутся к дочери, и голос — не похожий на ее голос, не похожий ни на один голос, говорящий на языке смертных, — произносит: «Ведь я тебя выкормила!»

Эдит без слез опускается на колени, чтобы приблизиться к голове, ушедшей в подушки, и говорит:

— Мама, вы меня слышите?

Широко раскрыв глаза, та старается кивнуть в ответ.

— Можете ли вы припомнить ту ночь перед моей свадьбой?

Голова остается неподвижной, но по лицу видно, что она помнит.

— Я сказала тогда, что прощаю вам ваше участие в этом, и молила бога простить меня. Я сказала вам, что с прошлым мы с вами покончили. Сейчас я повторяю это снова. Поцелуйте меня, мама.

Эдит прикасается к бледным губам, и с минуту ничто не нарушает тишины. Через минуту ее мать со своим девическим смехом — скелет Клеопатры — приподнимается на постели.

Задерните розовые занавески. Еще что-то кроме ветра и облаков летит по неисповедимым путям. Задерните поплотнее розовые занавески!

Сообщение о случившемся послано в город мистеру Домби, который навешает кузена Финикса (он еще не отбыл в Баден-Баден), только что получившего такое же сообщение. Добродушное создание вроде кузена Финикса — самый подходящий человек для свадьбы или похорон, и, принимая во внимание его положение в семье, с ним надлежит посоветоваться.

— Домби, — говорит кузен Финикс, — честное слово, я ужасно потрясен тем, что мы с вами

встречаемся по случаю такого печального события. Бедная тетя! Она была чертовски жизнерадостной женщиной.

Мистер Домби отвечает:

— В высшей степени.

— И очень, знаете, молодежавой на вид... сравнительно, — добавляет кузен Финикс. — Право же, в день вашей свадьбы я думал, что ее хватит еще на двадцать лет. Собственно говоря, я так и сказал одному человеку у Брукса — маленькому Билли Джоперу... вы его, конечно, Знаете, он носит монокль?

Мистер Домби дает отрицательный ответ.

— Что касается похорон, — говорит он, — нет ли каких-нибудь предположений...

— Ах, боже мой! — восклицает кузен Финикс, поглаживая подбородок, на что у него как раз хватает руки, едва высовывающейся из манжеты, — я, право, не знаю! У меня в поместье есть усыпальница в парке, но боюсь, что она нуждается в ремонте, и, собственно говоря, она в чертовски плохом виде. Если бы не маленькая заминка в деньгах, мне бы следовало привести ее в порядок; но, кажется, туда приезжают и устраивают пикники за оградой усыпальницы.

Мистер Домби понимает, что это не годится.

— Там в деревне премиленькая церковь, — задумчиво говорит кузен Финикс, — чистейший образец англо-норманского стиля, и вдобавок превосходно зарисованный леди Джейн Финчбери — она носит туго затянутый корсет, — но, говорят, здание испортили побелкой, и ехать туда далеко.

— Быть может, тогда в самом Брайтоне? — предлагает мистер Домби.

— Честное слово, Домби, вряд ли мы можем придумать что-нибудь лучшее, — говорит кузен Финикс. — Это, знаете ли, тут же, на месте, и городок очень веселый.

— А какой день удобно было бы назначить? — осведомляется мистер Домби.

— Я готов поручиться, — говорит кузен Финикс, — что меня устроит любой день, какой вы сочтете наиболее подходящим. Мне доставит величайшее удовольствие проводить мою бедную тетку до преддверия... собственно говоря, до... могилы, — говорит кузен Финикс.

— Вы можете уехать из города в понедельник? — спрашивает мистер Домби.

— В понедельник мне как раз очень удобно, — отвечает кузен Финикс.

Тогда мистер Домби сговаривается с кузеном Финиксом, что возьмет его с собой, и вскоре откланивается, а кузен Финикс провожает его до площадки лестницы и говорит на прощанье: «Право же, Домби, мне ужасно жаль, что вам приходится столько хлопотать из-за этого», на что мистер Домби отвечает: «Помилуйте!»

В назначенный день кузен Финикс и мистер Домби встречаются и едут в Брайтон и, совмещая в себе всех прочих, оплакивающих усопшую леди, провожают ее останки до места упокоения. Кузен Финикс, сидя в траурной карете, узнает по пути бесчисленных знакомых, но, соблюдая приличия, не обращает на них ни малейшего внимания и только называет вслух имена для сведения мистера Домби: «Том Джонсон. Человек с пробковой ногой, завсегдатай Уайта¹⁰³. Как, и вы здесь, Томми? Фоли на чистокровной кобыле. Девушки Смолдер»... и так далее. При совершении обряда кузен Финикс приходит в уныние, отмечая, что в подобных случаях человек, собственно говоря, поневоле задумывается о том, что силы ему изменяют; и слезы навертываются у него на глазах, когда все уже конечно. Но он вскоре собирается с духом, и так же поступают все прочие родственники и друзья миссис Скьютон, причем майор неустанно твердит в клубе, что она никогда хорошенько не укутывалась, а молодая леди с обнаженной спиной, которой столько хлопот причиняли ее веки, говорит, тихонько взвизгивая, что, должно быть, покойница была чудовищно стара и страдала самыми ужасными недугами, и нужно об этом забыть.

Итак, мать Эдит лежит, забытая своими добрыми друзьями, которые не слышат волн, твердящих до хрипоты все те же слова, и не видят песчаных гребней, избороздивших пляж, и белых рук, манящих в лунном свете и зазывающих в невидимую, далекую страну. Но все идет так, как издавна шло на берегу неведомого моря. И к ногам Эдит, стоящей здесь в одиночестве и прислушивающейся

¹⁰³ ...завсегдатай Уайта. — Кофейня Уайта — одна из самых популярных лондонских кофеен, известная еще в конце XVII века.

Глава XLII, повествующая о доверительном разговоре и о несчастном случае

Облеченный уже не в траурный костюм и зюйдвестку капитана Катля, но одетый в солидную коричневую ливрею, которая, притязая на скромность и простоту, была тем не менее такой самодовольной и самоуверенной, что могла сделать честь любому портному, — Роб Точильщик, столь преобразившийся внешне, а в глубине души вовсе пренебрегший капитаном и Мичманом, коим лишь изредка уделял несколько минут своего досуга, задирая нос перед этими достойными и неразлучными друзьями и припоминая под торжествующий аккомпанемент сей медной трубы — своей совести, — с каким триумфом он избавился от их общества, — Роб Точильщик служил теперь своему покровителю мистеру Каркеру. Проживая в доме мистера Каркера и состоя при его особе, Роб со страхом и трепетом взирал на белые зубы и чувствовал, что должен раскрывать свои круглые глаза шире, чем когда бы то ни было.

Содрогаться сильнее перед этими зубами он бы не мог даже в том случае, если бы находился в услужении у великого волшебника, а зубы были могущественнейшими талисманами. Мальчишка с такою силой ощущал власть своего патрона, что это поглощало все его внимание и требовало от него слепого повиновения и подчинения. Он не считал безопасным размышлять о патроне даже в его отсутствие, опасаясь, что его немедленно схватят за горло, как в то утро, когда он впервые предстал перед мистером Каркером. и он снова увидит, что каждый зуб обличает его и ставит ему в вину каждую его мысль. В умение мистера Каркера читать его тайные мысли, буде ему того захочется, Роб, находясь с ним лицом к лицу, верил так же твердо, как в то, что мистер Каркер его видит, когда на него смотрит. Влияние заведующего было столь велико и зачаровывало настолько, что, едва осмеливаясь об этом думать, он беспрестанно чувствовал над собой несокрушимую власть патрона, уверен был в его способности сделать что угодно с ним, Робом, и старался ему угождать и предупреждать его приказания, не видя и не слыша ничего вокруг.

Быть может, Роб не спрашивал себя — в таком состоянии было бы необычайным безрассудством задавать себе подобные вопросы, — не потому ли он всецело подчинился этому влиянию, что у него мелькали подозрения, будто его патрон в совершенстве овладел некоей наукой предательства, жалкие начатки коей сам Роб усвоил в школе Точильщиков. Но, разумеется, Роб не только боялся его, но и восхищался им. Пожалуй, мистер Каркер был лучше осведомлен об источниках своей власти и пользовался ею умело.

Отказавшись от места у капитана, Роб в тот же вечер, избавившись предварительно от своих голубей и даже заключив второпях невыгодную сделку, отправился прямо в дом мистера Каркера и, разгоряченный, с пылающим лицом, предстал перед своим новым хозяином, словно ожидая похвалы.

— Бездельник! — сказал мистер Каркер, взглянув на узелок. — Ты бросил свое место и пришел ко мне?

— О сэр, — забормотал Роб, — вы, знаете ли, сказали, когда я был здесь, в последний раз...

— Я сказал? — удивился мистер Каркер. — Что я сказал?

— Простите, сэр, вы ничего не сказали, сэр, — ответил Роб, почувствовавший угрозу в тоне мистера Каркера и пришедший в крайнее замешательство.

Его патрон посмотрел на него, обнажив десны, и, грозя указательным пальцем, произнес:

— Предчувствую, что ты плохо кончишь, друг-бродяга. Тебя ждет беда.

— Ох, пожалуйста, не говорите так, сэр! — воскликнул Роб, у которого ноги подкашивались. — Право же, сэр, я хочу только работать на вас, сэр, служить вам, сэр, и честно исполнять все, что мне прикажут.

— Советую честно исполнять все, что тебе прикажут, раз ты имеешь дело со мной, — отозвался его патрон.

— Да, я это знаю, сэр, — ответил покорный Роб. — Я уверен, что вы правы, сэр. Если бы только вы были так добры и испытали меня, сэр! А если когда-нибудь вы увидите, сэр, что я поступаю наперекор вашему желанию, пожалуйста, убейте меня.

— Щенок! — сказал мистер Каркер, откидываясь на спинку стула и безмятежно улыбаясь Робу. — Это ничто по сравнению с тем, что я с тобой сделаю, если ты вздумаешь обмануть меня.

— Да, сэр, — ответил несчастный Точильщик, — я уверен, что вы жестоко со мной расправитесь, сэр. Я бы и попытаться не стал обманывать вас, сэр, хотя бы мне сулили за это золотые гиней.

Оробевший Точильщик, чьи надежды на похвалу не оправдались, стоял, смотря на своего патрона и тщетно стараясь не смотреть на него, в смущении, похожем на то, какое часто обнаруживает дворняжка при сходных обстоятельствах.

— Значит, ты отказался от прежнего места и пришел сюда просить меня, чтобы я взял тебя к себе на службу, да? — сказал мистер Каркер.

— Если вам будет угодно, сэр! — отвечал Роб, который, в сущности, поступал согласно инструкциям самого патрона, но сейчас не посмел даже намекнуть на это в свое оправдание.

— Ну, что ж! — сказал мистер Каркер. — Ты меня знаешь?

— Простите, сэр, да, сэр, — ответил Роб, теребя в руках шляпу; он по-прежнему был скован взглядом мистера Каркера и бесплодно пытался избавиться от оков.

Мистер Каркер кивнул.

— В таком случае берегись!

Множеством поклонов Роб выразил живейшее понимание этого предостережения и с поклонами отступал к двери, весьма ободренный перспективой очутиться за этой дверью, но патрон остановил его.

— Эй! — крикнул он, грубо возвращая его назад. — Ты привык... Закрой дверь!

Роб повинился, как будто жизнь его зависела от его проворства.

— Ты привык торчать у замочной скважины. Тебе известно, что это значит?

— Подслушивать, сэр? — высказал догадку Роб после смущенного раздумья. Его патрон кивнул.

— И подсматривать и прочее.

— Здесь я бы не стал этого делать, сэр, — сказал Роб. — Честное слово, сэр, умереть мне на этом месте, не стал бы, сэр, сколько бы мне за это ни посулили! Пусть мне предлагают все сокровища в мире, я не подумаю это делать, раз мне не приказано, сэр!

— Советую не делать. Ты привык также болтать и сплетничать, — с величайшим хладнокровием продолжал его патрон. — Остерегайся заниматься этим здесь, иначе несдобровать тебе, негодяй! — И он снова улыбнулся и снова погрозил ему указательным пальцем.

От ужаса Точильщик дышал прерывисто и хрипло. Он пытался доказать честность своих намерений, но мог только таращить глаза на улыбающегося джентльмена, с тупой покорностью, которая, по-видимому, удовлетворила улыбающегося джентльмена, ибо тот приказал ему идти вниз, после того как несколько секунд молча разглядывал его и дал ему понять, что принимает его к себе на службу.

Вот каким образом Роб Точильщик поступил к мистеру Каркеру, и его благоговейная преданность сему джентльмену укреплялась и возрастала — если только это было возможно — с каждой минутой.

Он служил уже несколько месяцев, и вот однажды, ранним утром, ему пришлось распахнуть калитку перед мистером Домби, который приехал, как было условлено, позавтракать с его хозяином. В тот же момент сам хозяин стремительно бросился встречать важного гостя и приветствовал его всеми своими зубами.

— Я никогда не надеялся видеть вас здесь, — сказал Каркер, когда помог ему сойти с лошади. — Это исключительный день в моем календаре! Никакое событие не может быть особо примечательным для такого человека, как вы, которому доступно все; но для такого человека, как я, дело обстоит совсем иначе.

— Вы здесь устроились со вкусом, Каркер, — сказал мистер Домби, удостоив остановиться посреди лужайки и бросить взгляд вокруг.

— Вам угодно было это заметить, — отозвался Каркер. — Благодарю вас.

— Мне кажется, каждый мог бы это заметить, — сказал мистер Домби с надменно-покровительственным видом. — Насколько это возможно, местечко очень удобное и прекрасно устроенное... очень элегантно.

— Насколько это возможно. Совершенно верно! — ответил Каркер с пренебрежением. — Оно нуждается в этой оговорке. Ну, мы уже достаточно о нем поговорили. Вам угодно было похвалить его, я и благодарен. Не соблаговолите ли войти?

Войдя в дом, мистер Домби отметил — и для этого у него были основания — отличную отделку комнат и комфортабельную обстановку. Мистер Каркер, со своим показным смирением, встретил это замечание почтительной улыбкой и сказал, что понимает деликатный его смысл и ценит его, но поистине коттедж, как он ни убог, достаточно хорош для человека в его положении — лучше, быть может, чем надлежит ему быть.

— Но вам, столь высоко стоящему, может быть, он кажется лучше, чем есть на самом деле, — продолжал Каркер, растягивая до ушей свой лживый рот. — Монархи находят прелесть в жизни бедняков.

При этом он настороженно посмотрел на мистера Домби и настороженно улыбнулся, и посмотрел еще настороженнее и еще настороженнее улыбнулся, когда мистер Домби, встав перед камином в позу, которую так часто копировал его помощник, взглянул на висевшие на стенах картины. Пока холодный взгляд мистера Домби скользил по картинам, пристальный взгляд Каркера следовал за его взглядом и принаравливался к нему, точно отмечая, куда он устремлен. Когда он задержался на одной картине, Каркер, казалось, затаил дыхание — так пристально и по-кошачьи зорко следил он за своим принципалом, — но глаза мистера Домби скользнули по этой картине так же, как и по другим, и, по-видимому, она произвела на него не большее впечатление, чем все остальные.

Каркер посмотрел на картину — это был портрет женщины, похожей на Эдит, — как на живое существо, со злобным беззвучным смехом, брошенным, казалось, ей в лицо, но, в сущности, он осмеивал великого человека, который, ничего не подозревая, стоял рядом с ним. Вскоре был подан завтрак; и, предложив мистеру Домби кресло, повернутое спинкой к картине, он сел на свое обычное место, лицом к ней.

Мистер Домби был даже более степенным, чем обычно, и крайне молчаливым. Попугай, раскачиваясь в позолоченном кольце в своей нарядной клетке, тщетно старался привлечь к себе взоры, ибо Каркер слишком пристально наблюдал за своим гостем, чтобы обращать внимание на птицу; а гость, погруженный в размышления, сидел с задумчивой, чтобы не сказать — хмурой, миной, не отрывая глаз от скатерти. Что касается Роба, прислуживавшего за столом, то ему, посвятившему все силы и способности наблюдению за своим хозяином, едва ли пришло в голову, что гость был тем самым великим джентльменом, к которому его привозили в детстве как свидетельство о здоровье семьи и которому он был обязан кожаными штанишками.

— Разрешите спросить, — сказал вдруг Каркер, — как здоровье миссис Домби?

Задав этот вопрос, он подобострастно наклонился вперед, поддерживая рукою подбородок, и в то же время поднял глаза на картину, как будто говорил ей: «Ну-ка, посмотри, как я его расшевелю!»

Мистер Домби, покраснев, ответил:

— Миссис Домби здорова. Вы мне напомнили, Каркер, что я хотел кое о чем побеседовать с вами.

— Робин, ты можешь уйти, — приказал хозяин, чей мягкий голос заставил Робина вздрогнуть и скрыться, причем он до последней минуты не спускал глаз со своего патрона. — Вы, конечно, не помните этого мальчика? — добавил Каркер, когда опутанный сетями Точильщик удалился.

— Нет, — сказал мистер Домби с величественным равнодушием.

— Мало вероятно, чтобы его запомнил такой человек, как вы. Вряд ли это возможно, — пробормотал мистер Каркер. — Но он принадлежит к той семье, из которой вы взяли кормилицу. Может быть, вы припоминаете, что великодушно приняли на себя заботу о его образовании?

— Это тот самый мальчик? — нахмурившись, спросил мистер Домби. — Кажется, он не делает чести полученному образованию.

— Да, боюсь, что это дрянной мальчишка, — пожимая плечами, ответил Каркер. — Такая у него репутация. Но суть вот в чем: я взял его к себе на службу, потому что он, не имея возможности подыскать себе место, вообразил (полагаю, ему внушили это дома), будто имеет какие-то права на вас, и постоянно добивался случая обратиться к вам с просьбой. И хотя установленные и признанные отношения мои к вашему дому носят исключительно деловой характер, но я чувствую такой непроизвольный интерес ко всему, вас касающемуся, что...

Он снова запнулся, как бы стараясь обнаружить, достаточно ли он успел расшевелить мистера Домби. И снова, поддерживая рукою подбородок, искоса посмотрел на картину.

— Каркер, — сказал мистер Домби, — я ценю то, что вы не ограничиваете вашей...

— Службы, — подсказал улыбающийся хозяин дома.

— Нет, я предпочитаю сказать — вашей заботы, — возразил мистер Домби, прекрасно сознавая, что делает ему весьма лестный комплимент, — чисто деловыми отношениями. Примером тому служит внимание к моим чувствам, надеждам и разочарованиям, о чем свидетельствует этот незначительный случай, вами упомянутый. Я вам признателен, Каркер.

Мистер Каркер медленно наклонил голову и очень осторожно потер руки, словно боялся каким-нибудь движением прервать доверительные речи мистера Домби.

— Ваше сообщение очень своевременно, — продолжал мистер Домби после недолгих колебаний, — ибо оно расчищает путь к той теме, какую я намерен затронуть, и напоминает мне, что мои слова отнюдь не устанавливают каких-то новых отношений между нами, хотя, быть может, и свидетельствуют о большом доверии с моей стороны, чем то, каким я до сих пор...

— Удостаивали меня! — подсказал Каркер, снова наклоняя голову. — Не буду говорить о том, сколь я почтен. Такой человек, как вы, прекрасно знает, какую великую честь может он при желании оказать человеку.

— Миссис Домби и я, — сказал мистер Домби, с величественным пренебрежением пропустив мимо ушей этот комплимент, — не пришли к соглашению по некоторым вопросам. Мы как будто еще не понимаем друг друга. Миссис Домби должна кое-чему научиться.

— Миссис Домби отличается многими редкими качествами и несомненно привыкла к тому, чтобы ей курили фимиам, — сказал этот вкрадчивый, лукавый наблюдатель, подмечавший каждый взгляд и интонацию собеседника. Но там, где наличествует любовь, чувство долга и уважение, — там все маленькие промахи будут быстро заглажены.

Мистеру Домби невольно представилось лицо, обращенное к нему в будуаре его жены, когда властная рука указывала на дверь. И, вспомнив, как отражались на нем любовь, чувство долга и уважение, почувствовал, что кровь прилила к его щекам, а это подметили зоркие глаза, смотревшие на него.

— Миссис Домби и я, — продолжал он, — беседовали незадолго до смерти миссис Скъютон о причинах моею неудовольствия. О нем вы можете иметь некоторое представление, так как были свидетелем того, что произошло между миссис Домби и мною, когда вы были у нас... у меня в доме.

— Когда я так сожалел о своем присутствии! — сказал улыбающийся Каркер. — Я горжусь вашим особым вниманием, как и надлежит гордиться человеку в моем положении, хотя я ничем его не заслужил. Вы можете делать что угодно, не роняя себя, я же, удостоившись быть представленным миссис Домби, прежде чем ей была пожалована высокая честь носить ваше имя, я, будьте уверены, почти сожалел в тот вечер, что в свое время мне на долю выпало такое счастье.

То обстоятельство, что кто-то, отмеченный его милостями и покровительством, мог при каких бы то ни было обстоятельствах об этом сожалеть, являлось феноменом, которого мистер Домби не постигал. Посему он произнес с сугубым достоинством:

— В самом деле? Но почему же, Каркер?

— Боюсь, что миссис Домби, — отвечал помощник, облеченный доверием, — которая никогда не была расположена отнестись ко мне с благосклонным вниманием — человек в моем положении не может ждать этого от леди, гордой от природы и чья гордость столь ей к лицу, — боюсь, что миссис Домби вряд ли простит мое невинное участие в том разговоре. Ваше неудовольствие — дело серьезное, вы это, конечно, знаете. И навлечь его на себя в присутствии третьего лица...

— Каркер, — надменно сказал мистер Домби, — смею думать, что в первую очередь нужно считаться со мной?

— О! могут ли быть какие-нибудь сомнения? — ответил тот с нетерпением, как человек, подтверждающий всем известный и неопровержимый факт.

— Полагаю, миссис Домби занимает второе место, когда дело касается нас обоих, — сказал мистер Домби. — Не так ли?

— Не так ли? — повторил Каркер. — Разве вы не знаете лучше всех, что вам незачем об этом спрашивать?

— В таком случае, я надеюсь, Каркер, — сказал мистер Домби, — ваши сожаления о неудовольствии миссис Домби могут быть почти уравновешены вашим удовлетворением при мысли о том, что вы сохранили мое доверие и доброе о вас мнение.

— Вижу, что я действительно имел несчастье, — ответил Каркер, — вызвать это неудовольствие. Миссис Домби говорила вам об этом?

— Миссис Домби высказывала различные мнения, — заявил мистер Домби с высокомерной холодностью и равнодушием, — которых я не разделяю и которые не намерен обсуждать или вспоминать. Как я уже говорил вам, не так давно я предъявил миссис Домби известные требования касательно почтительности и покорности в семейной жизни, на которых я считал нужным настаивать. Мне не удалось убедить миссис Домби в необходимости немедленно изменить ее поведение в интересах ее собственного спокойствия и благополучия, а также моего достоинства. И я уведомил миссис Домби, что, если я найду нужным снова выразить протест, я передам ей свое мнение через вас, мое доверенное лицо.

Взгляд, направленный на него Каркером, сменился дьявольским взглядом, брошенным на картину над его головой, который упал на нее, как молния.

— А теперь, Каркер, — продолжал мистер Домби, — я, нимало не колеблясь, говорю вам, что добьюсь своего. Со мной нельзя шутить. Миссис Домби должна понять, что моя воля — закон и что я не намерен делать ни единого исключения из своих жизненных правил. Будьте добры взять на себя это поручение, которое, раз оно исходит от меня, надеюсь, не является для вас неприемлемым, с какой бы учтивостью ни выражали вы своего сожаления, — за него я благодарю вас от имени миссис Домби. И, я убежден, вы окажете мне любезность и исполните его столь же тщательно, как и всякую другую обязанность.

— Вы знаете, — сказал мистер Каркер, — что вам достаточно приказать мне.

— Знаю, — сказал мистер Домби, величественно выражая свое согласие, — что мне достаточно вам приказать. Я считаю необходимым предпринять дальнейшие шаги. Миссис Домби — леди, несомненно наделенная высокими достоинствами, чтобы...

— Чтобы оказать честь даже вашему выбору, — подсказал Каркер с подобострастной улыбкой.

— Да, если вам угодно воспользоваться этим выражением, — сказал мистер Домби внушительным тоном. — В настоящее время я не замечаю, чтобы миссис Домби оказывала ему должную честь. Есть дух противодействия в миссис Домби, который надлежит уничтожить, который надлежит сломить. Миссис Домби, по-видимому, не понимает, — энергически сказал мистер Домби, — что самая мысль о противодействии мне — чудовищна и нелепа.

— Мы, в Сити, знаем вас лучше, — отозвался Каркер, улыбаясь и растягивая рот до ушей.

— Вы знаете меня лучше, — повторил мистер Домби. — Надеюсь. Впрочем, я должен отдать справедливость миссис Домби, хотя бы это и казалось несовместимым с ее дальнейшим поведением (оно остается прежним). В тот раз, когда я с некоторою суровостью высказал ей свое неодобрение и принятое мною решение, мое увещание произвело, по-видимому, очень сильное впечатление. — Мистер Домби изрек эти слова с самой величавой напыщенностью. — Итак, я хочу, Каркер, чтобы вы взяли на себя труд сообщить миссис Домби от моего имени, что я должен напомнить ей о нашем разговоре и несколько удивлен, почему он еще не возымел действия. Что я должен настаивать на согласовании ею своих поступков с требованиями, предъявленными ей в этом разговоре. Что я недоволен ее поведением. Что я чрезвычайно им недоволен. И что я принужден буду, как это ни печально, передать через вас еще более неприятные и точные предписания, если здравый смысл и надлежащие чувства не побудят ее подчиниться моим желаниям, как это сделала первая миссис Домби и — полагаю, я могу это добавить — как сделала бы всякая другая леди на ее месте.

— Первая миссис Домби была очень счастлива, — сказал Каркер.

— Первая миссис Домби отличалась здравым смыслом, — сказал мистер Домби с благородной снисходительностью к умершей, — и очень тонкими чувствами.

— Как вы думаете, мисс Домби похожа на свою мать? — осведомился Каркер.

Лицо мистера Домби изменилось мгновенно и зловеще. Помощник, облеченный доверием, следил за пристально.

— Я коснулся мучительной темы, — сказал он с вкрадчивым сожалением, противоречившим выражению его загоревшихся глаз. — Прошу вас, простите меня. Интерес, мною проявляемый, за-

ставил меня забыть о возможных нежелательных ассоциациях. Прошу вас, простите.

Но что бы он ни говорил, его загоревшиеся глаза все с тем же вниманием изучали пасмурное лицо мистера Домби. А затем он бросил странный торжествующий взгляд на картину, словно призывая ее в свидетели того, как он снова его поддел и что за этим последует.

— Каркер, — сказал мистер Домби побелевшими губами, скользя взором по столу и говоря слегка изменившимся голосом и несколько более торопливо, чем обычно, — вам не за что просить извинения. Вы ошибаетесь. Вопреки вашим предположениям, нежелательная ассоциация вызвана настоящей ситуацией, а не воспоминаниями. Я не одобряю поведения миссис Домби по отношению к моей дочери.

— Простите, — сказал мистер Каркер, — я не совсем понимаю.

— В таком случае, постарайтесь понять, — продолжал Домби. — Вы можете — нет, вы должны — передать миссис Домби мой протест касательно этого пункта. Будьте добры передать ей, что ее нескрываемая привязанность к моей дочери мне неприятна. На эту привязанность могут обратить внимание. Она может привести к тому, что люди попытаются сравнить отношение миссис Домби к моей дочери с отношением миссис Домби ко мне. Будьте добры довести до сведения миссис Домби, что я против этого возражаю и жду, чтобы она немедленно приняла во внимание мое возражение. Быть может, миссис Домби относится к этому серьезно, быть может, это только ее причуда, а возможно, она действует так назло мне, но как бы там ни было, я протестую. Если миссис Домби относится к этому серьезно, тем с большей охотой должна она уступить, ибо подобным поведением она не окажет услуги моей дочери. Если моя жена помимо и сверх надлежащей покорности своему супругу питает к кому-то расположение и уважение, она может дарить их кому угодно, но прежде всего я требую от нее покорности мне! Каркер, — сказал мистер Домби, сдерживая необычное волнение и возвращаясь к свойственной ему манере, в какой он привык утверждать свое величие, — будьте добры, Каркер, не забыть об этом пункте и не умалить его значения, считайте его весьма существенным в полученных вами инструкциях.

Мистер Каркер поклонился, встал из-за стола и, стоя задумчиво перед камином и поддерживая рукой свой гладко выбритый подбородок, посмотрел сверху вниз на мистера Домби со злобным лукавством, напоминая не то высеченную из камня обезьяну, получеловека-полуживотное, не то хитрую морду на конце старой водосточной трубы. Мистер Домби, понемногу обретая спокойствие, либо охлаждая волнение сознанием своего высокого положения, сидел, постепенно цепenea снова и глядя на попугая, который раскачивался в своем широком обручальном кольце.

— Простите, — сказал Каркер после недолгого молчания, неожиданно придвинув свой стул и сядя против мистера Домби, — но я бы хотел знать: известно ли миссис Домби, что вы, быть может, воспользуетесь мною, дабы через меня выразить свое неудовольствие?

— Да, — ответил мистер Домби. — Я это сказал.

— Да? — быстро подхватил Каркер. — Но почему?

— Почему? — повторил мистер Домби с некоторым замешательством. — Потому что я ей это сообщил.

— А! — воскликнул Каркер. — Но почему вы ей сообщили? Видите ли, — продолжал он с улыбкой, мягко прикасаясь своей бархатной рукой к руке мистера Домби, как прикоснулась бы кошка, спрятавшая свои когти, — чем лучше я пойму, что у вас на уме, тем большую услугу я буду иметь счастье вам оказать. Мне кажется, я понимаю. Миссис Домби не удостоила меня своим расположением. У меня нет никаких оснований рассчитывать на него; но мне бы хотелось знать, так ли это на самом деле?

— Быть может, так, — сказал мистер Домби.

— Стало быть, — продолжал Каркер, — эти распоряжения, переданные вами миссис Домби через меня, являются для этой леди тем более неприятными?

— Мне кажется, — сказал мистер Домби о высокомерным спокойствием и, однако, с некоторым замешательством, — что взгляд миссис Домби на этот предмет не имеет отношения к делу в том виде, в каком оно представляется вам и мне, Каркер. Но, быть может, вы не ошибаетесь.

— Простите, правильно ли я вас понимаю, — сказал Каркер, — полагая, что вы усматриваете в этом подходящее средство смирить гордыню миссис Домби, — этим словом я обозначаю качество, которое, если оно должным образом ограничено, украшает и делает честь леди, отличающейся такую

красотою и талантами, — и не скажу — наказать ее, но добиться от нее покорности, коей вы естественно и по праву требуете?

— Как вам известно, Каркер, — ответил мистер Домби, — я не привык давать столь подробные объяснения своим поступкам, которые почитаю уместными, но я не стану опровергать ваши предположения. Если же у вас есть какие-нибудь возражения, вам достаточно будет заявить о них. Но, признаюсь, я не предполагал, что мое поручение, каково бы оно ни было, может вас унижить...

— О! Унизить меня? — воскликнул Каркер. — Когда я служу вал?!

— Или поставить вас, — продолжал мистер Домби, — в фальшивое положение.

— Меня — в фальшивое положение! — воскликнул Каркер. — Я буду горд, счастлив оправдать ваше доверие! Признаюсь, мне бы не хотелось, чтобы у леди, к чьим ногам я смиренно приношу свое почтение и преданность — ибо разве она не ваша супруга? — появился новый повод для неприязни ко мне. Но, разумеется, желание, высказанное вами, превышает всех прочих соображений. Вдобавок, когда миссис Домби, избавившись от этих ошибочных суждений, смею сказать — случайных, привыкнет к новому своему положению, она, надеюсь я, увидит в той маленькой роли, какую я играю, зерно — вряд ли мое положение дает право на нечто большее, — зерно моего уважения к вам. И она увидит, что я приношу вам в жертву все прочие соображения, тогда как ей выпали честь и счастье каждый день собирать в житницу немало таких зерен.

Казалось, в это мгновение мистер Домби снова увидел ее, указывающую рукой на дверь, и, прислушиваясь к вкрадчивым речам своего помощника, облеченного доверием, снова услышал отзвук слов: «Отныне ничто не может сделать нас более чуждыми друг другу, чем чужды мы сейчас». Но он прогнал эту мысль — и, по-прежнему твердый в своем решении, сказал:

— Да, несомненно.

— Больше никаких распоряжений? — спросил Каркер, отодвигая свой стул на прежнее место — до сих пор они едва притронулись к завтраку — и оставаясь стоять в ожидании ответа.

— Вот еще что, — ответил мистер Домби. — Будьте любезны, Каркер, сообщить, что ни одно из поручений к миссис Домби, которое вы исполняете или будете исполнять, не предполагает каких бы то ни было ответов. Будьте любезны не передавать мне никаких ответов. Миссис Домби уведомила о том, что мне не подобает идти на соглашение или вступать в переговоры по вопросу, вызвавшему разногласие между нами, и то, что я говорю, является непреложным.

Мистер Каркер дал понять, что уразумел это вполне, и они приступили к завтраку — вряд ли с большим аппетитом. В надлежащее время вернулся Точильщик, ни на секунду не отрывавший глаз от своего хозяина и предававшийся грезам, исполненным благоговейного ужаса. После завтрака приказано было привести лошадь мистера Домби; мистер Каркер сел на свою лошадь, и они вместе поехали в Сити.

Мистер Каркер был в превосходном расположении духа и говорил много. Мистер Домби слушал его речи с величественным видом человека, который вправе требовать, чтобы его занимали беседой, и изредка снисходительно ронял несколько слов с целью поддержать разговор. Так ехала эта примечательная пара. Но мистер Домби, со свойственным ему достоинством, ехал слишком отпустив стремена, слишком небрежно держа поводья и слишком редко удостоивая взглянуть, куда ступает его лошадь. В результате случилось так, что лошадь мистера Домби споткнулась о камни, сбросила его с седла, упала сама, сделала попытку подняться и, брыкаясь, ударила его подкованным копытом.

Мистер Каркер, прекрасный наездник, наделенный зорким глазом и твердой рукой, спешил и, мгновенно схватив поводья, заставил бьющееся на земле животное подняться на ноги. В противном случае конфиденциальная беседа этого утра оказалась бы для мистера Домби последней. Будучи еще слишком возбужден этим неожиданным происшествием, мистер Каркер тем не менее обнажил все зубы и, наклонившись над поверженным своим начальником, пробормотал: «Теперь я действительно дал миссис Домби повод считать себя оскорбленной, если бы она об этом узнала!»

Под руководством Каркера мистер Домби, лишившийся чувств, с окровавленной головой и лицом, был перенесен рабочими, чинившими дорогу, в ближайшую харчевню, находившуюся неподалеку, куда к нему явились врачи, которые быстро примчались отовсюду, словно побуждаемые каким-то таинственным инстинктом, подобно коршунам, о коих говорят, будто они слетаются к верблюду, издыхающему в пустыне. Не без труда приведя его в чувство, эти джентльмены принялись исследовать раны. Один врач, живший по соседству, настаивал на сложном переломе ноги, каковое

мнение разделял также и хозяин харчевни; но два врача, жившие в другой местности и лишь случайно очутившиеся в этих краях, с великим бескорыстием опровергали это мнение, и в конце концов было решено, что пострадавший хотя и жестоко расшибся, но не сломал костей, если не считать какого-нибудь ребра, и к ночи можно будет осторожно перевезти его домой. Когда раны его были перевязаны, что заняло немало времени, и его оставили, наконец, в покое, мистер Каркер снова вскочил в седло и поехал оповестить домашних о происшествии.

Его лицо, лукавое и жестокое, но довольно красивое, если принять во внимание правильные черты и овал, было особенно неприятно, когда он ехал с этим поручением: его занимали лукавые и жестокие мысли и мечты скорее об отдаленных возможностях, чем о заговорах и кознях, что побуждало его мчаться так, словно он гнал перед собою живых людей. Выехав на более оживленную дорогу, он натянул, наконец, поводья и замедлил ход коня, удерживая свою белоногую лошадь и выбирая, по обыкновению, самый удобный путь; свое подлинное лицо он скрыл насколько возможно под вкрадчивой, раболепной маской и ослепительной улыбкой.

Он подъехал к дому мистера Домби, спешил к двери и попросил разрешения повидать миссис Домби по важному делу. Слуга, который провел его в кабинет мистера Домби, вскоре вернулся и сказал, что в этот час миссис Домби не принимает посетителей, и принес извинения, что не упомянул об этом раньше.

Мистер Каркер, вполне готовый к холодному приему, написал на визитной карточке, что поневоле берет на себя смелость настаивать на свидании и никогда не дерзнул бы сделать это вторично, если бы происшедшее событие не явилось для него достаточным оправданием. Спустя недолгое время появилась служанка миссис Домби и провела его наверх в будуар, где сидели вдвоем Эдит и Флоренс.

Никогда еще не казалась ему Эдит такой красивой. Как ни восхищался он ее лицом и фигурой, как ни ярки были его чувственные воспоминания — никогда еще не казалась она ему такой красивой.

Ее взгляд высокомерно упал на него, когда он остановился в дверях. Но он смотрел на Флоренс, — впрочем, лишь в тот момент, когда поклонился, войдя в комнату, — всем видом своим подчеркивая вновь приобретенную им власть; и он торжествовал, увидев, что она в смущении опустила глаза, а Эдит привстала ему навстречу.

Он очень сожалел, он был глубоко опечален; ему не хватало слов, чтобы объяснить, с какой неохотой он взялся подготовить ее к сообщению о маленьком происшествии. Он умолял миссис Домби не волноваться. Клялся честью, что нет никаких оснований тревожиться. Но мистер Домби...

Флоренс вскрикнула. Он смотрел не на нее, а на Эдит — Эдит успокаивала и утешала ее. Она не вскрикнула от испуга. Нет, нет.

Во время прогулки верхом произошел печальный случай. Лошадь мистера Домби оступилась, и он был выброшен из седла.

Флоренс вне себя воскликнула, что, верно, он жестоко разбился, что он убит!

Нет. Он честью поклялся, что хотя мистер Домби и был сначала оглушен, но вскоре очнулся; разумеется, он страдает от ушибов, но никакой опасности нет. В противном случае он, злополучный вестник, никогда не отважился бы предстать перед миссис Домби. Но это истинная правда, торжественно заверил он ее.

Все это он говорил, как бы отвечая Эдит, а не Флоренс; и взгляд его и улыбка предназначались Эдит.

Затем он сообщил ей, где находится мистер Домби, и попросил представить в его распоряжение карету, чтобы перевезти мистера Домби домой.

— Мама, — еле выговорила плачущая Флоренс, — если бы я могла поехать!

Услышав эти слова, мистер Каркер, смотревший на Эдит, украдкой бросил на нее многозначительный взгляд и слегка покачал головой. Он видел, как она боролась с собой, прежде чем ее красивые глаза ответили ему, но он вырвал у нее ответ — он дал ей понять, что добьется ответа или же заговорит и жестоко ранит сердце Флоренс, — и она ответила ему. Когда она отвела от него глаза, он посмотрел на нее так же, как смотрел в то утро на картину.

— Мне поручено передать, — сказал он, — что новая экономка, — кажется, ее зовут миссис Пипчин...

Ничто не могло ускользнуть от него. Он сразу понял, что приглашение Пипчин было новым

оскорблением, нанесенным мистером Домби своей жене.

— Должна распорядиться, чтобы, по желанию мистера Домби, постель ему приготовили внизу, на его половине, так как эти комнаты он предпочитает всем остальным. Я не замедлю вернуться к мистеру Домби. Незачем говорить вам, сударыня, что приняты все меры, дабы обеспечить ему покой, и что он пользуется наилучшим уходом. Разрешите повторить еще раз: нет никаких оснований тревожиться. Даже вы можете быть совершенно спокойны, поверьте мне.

Он поклонился крайне почтительно и искательно, вернулся в комнату мистера Домби и, распорядившись, чтобы карета была послана вслед за ним, снова сел на свою лошадь и поехал в Сити. Он был очень задумчив, пока ехал туда, очень задумчив там и очень задумчив в карете на обратном пути в харчевню, где остался мистер Домби. И только у ложа сего джентльмена он снова стал самим собой и вспомнил о своих зубах.

Мистера Домби, измученного болью, усадили под вечер в карету и обложили с одной стороны подушками, а с другой поместился его помощник, облеченный доверием. Так как надлежало избегать тряски, они ехали чуть ли не шагом, и было уже совсем темно, когда его доставили домой. Миссис Пипчин, кислая и мрачная и не забывшая о Перуанских копиях, — в чем имели основание убедиться все домочадцы, — встретила его у двери и расшевелила слуг, несколько раз окропив их словесным уксусам, пока они переносили его в комнату. Мистер Каркер не покидал мистера Домби, пока его не уложили в постель, а затем (мистер Домби не пожелал видеть особ женского пола, за исключением превосходной Людоедки) еще раз посетил миссис Домби, чтобы дать отчет о положении ее супруга.

Он снова застал Эдит вместе с Флоренс и снова обратился с успокоительными речами к Эдит словно она была жертвой беспокойства. С таким жаром выражал он свое сочувствие, что, прощаясь, дерзнул — бросив предварительно еще один взгляд в сторону Флоренс — взять ее руку и, склонившись, поднести ее к своим губам.

Эдит не отняла руки и не ударила его этою рукою по белому лицу, хотя румянец залил ее щеки, яркий огонек загорелся в глазах и она резко выпрямилась. Но, оставшись одна в своей комнате, она ударила рукою по каминной полке так, что от одного удара на руке показалась кровь, и протянула ее к огню, пылавшему в камине, как будто не прочь была сунуть ее в огонь и сжечь.

До поздней ночи сидела она, сумрачная и прекрасная, перед угасающим пламенем и следила за темными тенями на стене, словно мысли ее были осязаемы и отбрасывали на эту стену тень. Какие бы видения, оскорбительные и позорные, какие бы горькие предвестники грядущего ни мелькали перед ней, расплывчатые и огромные, одна ненавистная фигура вела их против нее. И это был ее муж.

Глава XLIII

Бдение в ночи

Флоренс, давно уже очнувшаяся от своих грез, грустно следила за отчуждением между ее отцом и Эдит, видела, что пропасть между ними все расширяется, и знала, что горечь накапливается с каждым днем. Это знание, ежедневно углублявшееся, сгущало тени, омрачавшие ее любовь и надежду, пробуждало давнюю скорбь, ненадолго уснувшую, и теперь эту скорбь было еще труднее нести, чем раньше.

Тяжело было — об этом знала только Флоренс! — когда нежность верной и пылкой души обрачивалась мучительным чувством, а вместо ласки и заботы девушка постоянно встречала пренебрежение и суровый отпор. Тяжело было испытывать то, что в глубине души испытывала она, и ни разу не увидеть проблеска ответного чувства. Но гораздо тяжелее было поневоле не доверять отцу и Эдит, такой ласковой и милой, и думать о своей любви к нему и к ней со страхом, неуверенностью и недоумением.

И, однако, такие мысли начали возникать у Флоренс; это был вопрос, поставленный перед нею непорочным ее сердцем, — вопрос, от которого она не могла уклониться. Она видела, что с Эдит отец холоден и сух так же, как и с ней; суров, неумолим, непреклонен. Не сделало ли такое обращение несчастной и ее родную мать, — со слезами на глазах спрашивала она себя, — и та зачахла и умерла? Потом она думала о том, как надменна и величественна Эдит со всеми — только не с нею, с

каким презрением относится она к нему, как сторонится его и что сказала она в тот вечер, когда вернулась домой. И вдруг Флоренс начинало казаться чуть ли не преступным, что она любит ту, которая враждует с ее отцом, и что в уединении своей комнаты отец, зная об этом, должен почитать ее каким-то вырожденком, совершившим новое прегрешение, усугубив старую, омытую столькими слезами вину, — то, что со дня своего рождения она так и не завоевала отцовской любви. Но первое же ласковое слово Эдит, первый ласковый взгляд прогонял эти мысли, и они становились проявлением черной неблагодарности: кто, как не Эдит оживил печальное сердце Флоренс, такое одинокое и такое измученное, и кто был лучшим его утешителем? Теперь, готовая отдать свою душу обоим, зная, что они оба очень несчастны, и не уверенная в своем долге по отношению к каждому из них, Флоренс, находясь возле Эдит, страдала больше, чем в те времена, когда в печальном одиночестве хранила свою тайну и ее красавица мама еще не вошла в этот дом.

Одно великое несчастье, более страшное, чем все остальные, миновало Флоренс. У нее никогда не мелькало подозрение, что Эдит своею нежностью к ней увеличивала расстояние, отделявшее ее от отца, или давала новый повод для неприязни. Если бы Флоренс допускала эту возможность — какое бы это было для нее горе, какую жертву постаралась бы она принести, бедная, любящая девочка! И небу одному известно, как быстро и уверенно мог совершиться мирный ее уход к другому, высшему отцу, который не отвергает любви своих детей и щадит их усталые, разбитые сердца! Но дело обстояло иначе, и это было к лучшему.

Никогда, ни единым словом не обменивались теперь на эту тему Флоренс и Эдит. — Эдит как-то сказала, что тут их должна разделять пропасть и молчание, подобное самой смерти, — и Флоренс чувствовала ее правоту.

Таково было положение вещей, когда ее отца привезли домой, страдающего и беспомощного. И он мрачно уединился в своих комнатах, где за ним ухаживали слуги и где Эдит не навестила его, и рядом с ним не было ни единого друга или приятеля, кроме мистера Каркера, который удалился около полуночи.

— Что и говорить, приятное общество, мисс Флой, — сказала Сьюзен Нипер. — Да он настоящее сокровище! Если ему когда-нибудь понадобится рекомендация, не советую ему приходить за ней ко мне, вот все, что я могу ему сказать!

— Милая Сьюзен, — перебила Флоренс, — перестаньте!

— О, легко сказать «перестаньте», мисс Флой, — возразила Нипер, весьма рассерженная. — Но, прошу прощенья, у нас происходят такие вещи, что вся кровь в жилах превращается в колющие булавы и иголки. Не подумайте дурно, мисс Флой, я ничего не имею против вашей мачехи, которая всегда обходилась со мной, как подобает леди, однако — должна сказать — она дама довольно чванная, хотя я и не смею возражать против этого, но когда дело доходит до всяких миссис Пипчин, и их назначают командовать нами, и они сторожат у двери вашего папеньки, как крокодилы (хорошо еще, что они яиц не несут!), нам это уж слишком обидно.

— Папа хорошего мнения о миссис Пипчин, Сьюзен, — возразила Флоренс, — и он имеет право выбирать себе экономку. Пожалуйста, перестаньте!

— Ну, что ж, мисс Флой, — отозвалась Нипер, — когда вы говорите «перестаньте», я всегда перестаю, — правда? Но миссис Пипчин действует на меня, как зеленый крыжовник, мисс, ничуть не лучше.

Сьюзен была очень возбуждена и в своих речах относилась с чрезвычайным равнодушием к знакам препинания в тот вечер, когда мистера Домби привезли домой, ибо когда Флоренс послала ее вниз справиться о его здоровье, она принуждена была передать свое поручение смертельному своему врагу, миссис Пипчин, а та взяла на себя смелость, не доводя о нем до сведения мистера Домби, дать ответ, который мисс Нипер назвала оскорбительным. В этом ответе Сьюзен Нипер усмотрела дерзость со стороны сей образцовой жертвы Перуанских копей и пренебрежительное отношение к ее молодой хозяйке, которое нельзя было простить; этим отчасти объяснялось ее возбуждение. Впрочем, ее подозрения и недоверие все усиливались со дня свадьбы, ибо, подобно многим особам с таким характером, как у нее, которые искренне и сильно привязываются к человеку, занимающему, подобно Флоренс, гораздо более высокое положение. Сьюзен была очень ревнива, и, разумеется, ее ревность обратилась против Эдит, разделившей с ней власть и вставшей между ними. Поистине горда и счастлива была Сьюзен Нипер, видя, что ее молодая хозяйка выдвигается на подобающее ей ме-

сто в доме, где в былые времена ею пренебрегали, и что в красивой жене своего отца она обрела подругу и покровительницу; но тем не менее Сьюзен не могла уступить этой красивой жене хотя бы крупицу Своей власти, не ропща и не чувствуя к ней недоброжелательства, чему не преминула найти оправдание в гордыне и страстности, подмеченных ею в характере этой леди. Вынужденная после свадьбы отступить на задний план, мисс Нипер наблюдала положение домашних дел с твердой уверенностью, что ничего доброго от миссис Домби ждать нельзя; но при каждом удобном случае старалась подчеркнуть, что ни единого дурного слова сказать о ней не может.

— Сьюзен, — сказала Флоренс, задумчиво сидевшая у стола, — сейчас очень поздно. Сегодня мне больше ничего не понадобится.

— Ах, мисс Флой! — воскликнула Нипер. — Право же, я часто вспоминаю о тех временах, когда я сидела с вами до более позднего часа и засыпала от усталости, а у вас ни в одном глазу сна не было, все равно что в очках, но теперь к вам приходит и сидит с вами ваша мачеха, мисс Флой, и, право же, я на это не жалею. Я ни слова против этого не скажу.

— Я не забуду, кто был старым моим другом в те времена, когда никого у меня не было, Сьюзен, — ласково отозвалась Флоренс, — никогда не забуду!

И, подняв глаза, она обняла за шею свою скромную подругу, притянула ее к себе и поцеловала, пожелав ей спокойной ночи; это так умилило мисс Нипер, что она начала всхлипывать.

— Дорогая моя мисс Флой, — сказала Сьюзен, — позвольте мне еще раз спуститься вниз и узнать, как себя чувствует ваш папенька, я знаю, что вы ужасно беспокоитесь, позвольте же мне еще раз спуститься вниз и самой постучать к нему в дверь.

— Не нужно, — сказала Флоренс, — ложитесь спать. Утром мы узнаем. Я сама справлюсь об этом утром. Вероятно, мама была внизу, — Флоренс покраснела, потому что на это она не надеялась, — а может быть, она сейчас там. Спокойной ночи.

Сьюзен была растрогана и умолчала о том, считает ли она вероятным, что миссис Домби ухаживает за своим супругом; затем, не сказав ни слова, она вышла. Оставшись одна, Флоренс закрыла лицо руками, как, бывало, часто делала в прежние времена, и дала волю слезам.

Тоска, вызванная семейными неладями и бедами; угасшая надежда — если можно назвать это надеждой — когда-нибудь завоевать сердце отца; сомнения и страхи, заставлявшие ее метаться между отцом и Эдит; ее любовь к обоим, жестокое разочарование и скорбь о том, что суждено оборваться мечте, рожденной светлыми надеждами, — все это сжимало ей сердце, и слезы бежали все быстрее. Мать и брат умерли, отец равнодушен к ней, Эдит враждует с отцом, но любит ее и любима ею. И Флоренс казалось, что ее любовь никогда не принесет ей счастья, на кого бы ни была она обращена. Эту мучительную мысль она быстро отогнала, но с другими мыслями, ее породившими, она слишком сжилась, чтобы можно было от них отмахнуться; и ночь ее была тягостной.

В это раздумье вторгался — так было и в течение целого дня — образ отца, раненого, измученного, лежащего у себя в комнате, покинутого самыми близкими людьми, страдающего и одинокого. Страшная мысль, которая заставила ее вздрогнуть и сжать руки — хотя она не в первый раз мелькала у нее в голове, — мысль, что он может умереть, так и не увидев ее, не назвав по имени, потрясла все ее существо. В смятении, с трепетом она подумала, что надо снова спуститься вниз и подкрасться к его двери.

Выйдя из комнаты, она прислушалась. В доме было тихо и все огни погашены. Много, много времени, — думала Флоренс, — прошло с тех пор, как она, бывало, совершала ночное паломничество к его двери! Много, много времени прошло с тех пор, как она вошла в полночь к нему и он вывел ее обратно на лестницу.

Все с тем же детским сердцем, с теми же детскими ласковыми и робкими глазами, с волосами, распушенными, как в былые времена, Флоренс, чужая своему отцу в расцвете юности, как и в пору детства, крадучись спустилась вниз, прислушиваясь на ходу, и приблизилась к его комнате. Никто не шевелился в доме. Дверь была приоткрыта, чтобы дать доступ воздуху; и была такая тишина, что Флоренс могла слышать потрескивание дров и тиканье часов на каминной полке.

Она заглянула в комнату. Экономка, завернувшись в одеяло, крепко спала в кресле у камина. Дверь в соседнюю комнату была неплотно притворена, и перед ней стояла ширма; но там горел свет, и отблеск падал на край его кровати. Прислушиваясь к его дыханию, она поняла, что он спит. Это придало ей смелости, она обошла ширму и заглянула в спальню.

Один взгляд, брошенный на лицо спящего, был для нее таким потрясением, как будто она не ждала увидеть это лицо. Флоренс стояла, прикованная к месту, и — проснись он сейчас — не могла бы пошевелинуться.

Его лоб был рассечен, и ему смачивали волосы, которые лежали, влажные и спутанные, на подушке. Одна рука, покоившаяся поверх одеяла, была забинтована, и он был очень бледен. Но не это сковало движения Флоренс после того, как она быстро взглянула на него и убедилась, что он спокойно спит. Нечто совсем иное и более значительное придавало ему в ее глазах такой торжественный вид.

Ни разу за всю свою жизнь не видела она его лица — или ей это только казалось — не омраченным мыслью об ее присутствии. Ни разу за всю свою жизнь не видела она его лица без того, чтобы надежда ее не угасла, а робкие глаза не опустились под его суровым, равнодушным, холодным взглядом. Теперь же, смотря на него, она увидела впервые, что его лицо не подернуто тем облаком, которое омрачило ее детство. Тихая, безмятежная ночь спустилась взамен этого облака. При виде его лица можно было подумать, что он заснул, благословляя ее.

Проснись, жестокий отец! Проснись, угрюмый человек! Время летит. Час приближается гневной поступью. Проснись!

Лицо его не изменилось; и пока она смотрела на него с благоговейным страхом, неподвижность его и спокойствие вызвали в ее памяти лица умерших. Такими были они — покойные, такой будет она, его плачущая дочь, — кто скажет, когда? — такими будут все, любящие, ненавидящие и равнодушные! Когда пробьет час, он не покажется ему тяжелее, если она сделает то, что задумала сделать, а для нее этот час, быть может, будет легче.

Она подкралась к кровати и, затаив дыхание, наклонилась, тихонько поцеловала его в щеку, на минутку опустила голову на его подушку и, не смея прикоснуться к нему, обвила рукой эту подушку, на которой он лежал.

Проснись, обреченный человек, пока она здесь! Время летит. Час приближается гневной поступью. Шаги его раздаются в доме. Проснись!

Мысленно она молила бога благословить ее отца и смягчить его сердце, если может оно смягчиться, или простить его, если он не прав, и простить ей эту молитву, которая казалась почти нечестивой. И, помолвившись, посмотрев на него сквозь слезы и робко пробравшись к двери, она вышла из его спальни, миновала другую комнату и скрылась.

Он может спать теперь. Он может спать, пока ему спится. Но, пробудившись, пусть поищет он эту хрупкую фигурку и увидит ее возле себя, когда час пробьет!

Горько и тяжело было на сердце у Флоренс, когда она крадучись поднималась по лестнице. Тихий дом стал еще более угрюмым после того, как она побывала внизу. — Сон отца, который открылся ее глазам в глухой час ночи, обрел для нее торжественность смерти и жизни. Благодаря ее таинственному и безмолвному посещению ночь стала таинственной, безмолвной и гнетущей. Она не хотела, почти не в силах была вернуться к себе в спальню, и, войдя в гостиную, где окутанная облаком луна светила сквозь жалюзи, она посмотрела на безлюдную улицу.

Горестно завывал ветер. Фонари казались тусклыми и вздрагивали словно от холода. Далеко в небе что-то мерцало — уже не было тьмы, но не было и света, — и зловещая ночь дрожала и металась, как умирающие, которым выпала на долю беспокойная кончина. Флоренс вспомнила, что когда-то, бодрствуя у постели больного, она обратила внимание на эти мрачные часы и, с каким-то затаенным чувством отвращения, испытала на себе их влияние; теперь это чувство было нестерпимо гнетущим.

В тот вечер ее мама не заходила к ней в комнату, и отчасти по этой причине она засиделась до позднего часа. Под влиянием своей тревоги, а также горячего желания поговорить с кем-нибудь и стряхнуть этот гнет уныния и тишины Флоренс отправилась в ее спальню.

Дверь не была заперта изнутри и мягко уступила нерешительному прикосновению ее руки. Она удивилась при виде яркого света, а заглянув в комнату, удивилась еще больше, увидев, что ее мама, полуодетая, сидит у потухшего камина, в котором рассыпались, превратившись в золу, догоревшие угли. Ее красивые глаза были устремлены в пространство, и в блеске этих глаз, в ее лице, в ее фигуре, и в том, как она сжимала руками подлокотники кресла, словно собираясь вскочить, выражалось такое мучительное волнение, что Флоренс пришла в ужас.

— Мама! — крикнула она. — Что случилось? Эдит вздрогнула и посмотрела на нее с таким необъяснимым страхом, что Флоренс испугалась еще больше.

— Мама! — воскликнула Флоренс, бросаясь к ней. — Мамочка! Что случилось?

— Мне нездоровится, — сказала Эдит, дрожа и все еще глядя на нее со страхом. — Мне снились дурные сны.

— Но вы еще не ложились, мама?

— Да, — сказала она. — Сны наяву.

Черты ее лица постепенно разгладились; она позволила Флоренс подойти ближе и, обняв ее, сказала ей нежно:

— Но что здесь делает моя птичка? Что здесь делает моя птичка?

— Я беспокоилась, мама, потому что не видела вас сегодня вечером и не знала, как здоровье папы, и я... Флоренс запнулась и умолкла.

— Сейчас поздно? — спросила Эдит, ласково приглаживая кудри, которые смешались с ее собственными темными волосами и рассыпались по ее лицу.

— Очень поздно. Скоро рассвет.

— Скоро рассвет? — с удивлением повторила та.

— Мамочка, что у вас с рукой? — спросила Флоренс.

Эдит быстро отдернула руку и снова посмотрела на Флоренс со странным испугом (казалось, у нее мелькнуло безумное желание спрятаться), но тотчас же сказала: «Ничего, ничего. Ушибла». Потом добавила: «Моя Флоренс!» Потом начала тяжело дышать и разрыдалась.

— Мама! — воскликнула Флоренс. — О мама, что мне делать, что должна я сделать, чтобы нам было лучше. Можно ли что-нибудь сделать?

— Ничего, — ответила та.

— Уверены ли вы в этом? Неужели это невозможно? Если я, несмотря на наш уговор, скажу, о чем я сейчас думаю, вы не будете меня бранить? — спросила Флоренс.

— Это бесполезно, — ответила та, — бесполезно! Я вам сказала, дорогая, что мне снились дурные сны. Ничто не может их изменить или помешать их возвращению. — Я не понимаю, — сказала Флоренс, глядя на ее взволнованное лицо, которое как будто омрачилось под ее взглядом.

— Мне снился сон о гордыне, — тихим голосом сказала Эдит, — которая бессильна пред добром и всемогуща пред злом; о гордыне, разжигаемой и подстрекаемой в течение многих постыдных лет и искавшей убежища только в самой себе; о гордыне, которая принесла тому, кто ею наделен, сознание глубочайшего унижения и ни разу не помогла этому человеку восстать против унижения, избежать его или крикнуть: «Не бывать этому!» Мне снился сон о гордыне, которая — если бы разумно ее направляли — могла принести совсем иные плоды, но, искаженная и извращенная, как и все качества, отличающие этого человека, только презирала самое себя, ожесточала сердце и вела к гибели.

Теперь она не смотрела на Флоренс и не к ней обращалась, но говорила так, словно была одна.

— Мне снился сон, — продолжала она, — о таком равнодушии и жестокосердии, возникших из этого презрения к себе, из этой злосчастной, беспомощной, жалкой гордыни, что человек безучастно пошел даже к алтарю, повинувшись старой, хорошо знакомой, манящей руке, — о, мать, мать! — хотя он и отталкивал эту руку, и желал раз и навсегда стать ненавистным себе самому и всем, только бы не подвергаться ежедневно новым уколам. Гнусное, жалкое создание!

Теперь, мрачная и возбужденная, она была такою, как в ту минуту, когда вошла Флоренс.

— Еще снилось мне, — сказала она, — что этот человек, делая первую запоздавшую попытку достигнуть цели, был попран грязными ногами, но поднял голову и взглянул на того, кто его попирал. Мне снилось, что он ранен, загнан, затравлен собаками, но отчаянно защищается и не помышляет сдаваться, и что-то побуждает его ненавидеть попирающего, восстать против него и бросить ему вызов!

Рука Эдит крепче сжала дрожащую руку, которую она держала в своей, а когда она посмотрела вниз, на встревоженное и недоумевающее лицо, ее нахмуренный лоб разгладился.

— О Флоренс, — сказала Эдит, — мне кажется, сегодня ночью я была близка к сумасшествию!

И, смиренно опустив свою гордую голову ей на грудь, она снова заплакала.

— Не покидайте меня! Будьте около меня! Вся надежда моя на вас! — эти слова она повторяла

десятки раз.

Вскоре она стала спокойнее и преисполнилась жалости к Флоренс, плачущей и бодрствующей в такой поздний час. Заря уже занималась, и Эдит обняла Флоренс, уложила на свою кровать и, не ложась сама, села около нее и сказала, чтобы та постаралась заснуть.

— Вы устали, дорогая, вы расстроены, несчастливы и нуждаетесь в отдыхе.

— Конечно, я расстроена сегодня, милая мама, — сказала Флоренс, — но вы тоже устали и тоже расстроены.

— Нет, мне станет лучше, если вы будете спать так близко, около меня, дорогая.

Они поцеловались, и Флоренс, измученная, постепенно погрузилась в дремоту; но когда ее глаза сомкнулись и уже не видели липа, склонившегося над ней, так грустно было думать о лине там, внизу, что в поисках утешения ее рука потянулась к Эдит. — Однако даже в этом движении была нерешительность, опасение изменить ему. Так, во сне, она старалась их примирить и показать им, что любит их обоих, но не могла этого сделать, и печаль, терзавшая ее наяву, не покидала ее и во сне.

Эдит, сидевшая у постели, смотрела на темные мокрые ресницы, смотрела с нежностью и жалостью, ибо она знала правду. Но ее глаза сон сомкнуть не мог. Когда рассвело, она по-прежнему сидела, настороженная и бодрствующая, держа в своей руке руку спящей и время от времени шептала, глядя на умиротворенное лицо: «Будьте около меня, Флоренс. Вся надежда моя на вас!»

Глава XLIV

Разлука

Рано, хотя и не вместе с солнцем воспряла от сна Сьюзен Нипер. Необычайно пронизательные черные глаза этой молодой особы смотрели сумрачно, а это несколько уменьшало их блеск и — вопреки обычным их свойствам — наводило на мысль, что, пожалуй, иной раз они закрываются. К тому же они еще припухли, словно накануне вечером эта особа проливали слезы. Но Нипер, нимало не удрученная, была на редкость оживлена и решительна и как будто собиралась с духом, чтобы совершить какой-то великий подвиг. Об этом можно было судить и по ее платью, ту же затянутому и более нарядному, чем обычно, и по тому, как она, прохаживаясь по комнатам, трясла головой в высшей степени энергически.

Короче говоря, она приняла решение, дерзкое решение, заключающееся в том, чтобы... проникнуть к мистеру Домби и объясниться с этим джентльменом наедине. Я часто говорила, что хотела бы это сделать, — грозно объявила она в то утро самой себе, несколько раз потрянув головой, — а теперь я это сделаю.

Подстрекая себя, со свойственной ей резкостью, к исполнению этого отчаянного замысла, Сьюзен Нипер все утро вертелась в холле и на лестнице, не находя удобного случая для нападения. Отнюдь не обескураженная этой неудачей, которая, в сущности, только прищепила ее и подбавила ей жару, она не уменьшала бдительности и, наконец, под вечер обнаружила, что заклятый ее враг, миссис Пипчин, якобы бодрствовавшая всю ночь, спит в своей комнате и что мистер Домби, оставленный без присмотра, лежит у себя на диване.

Тряхнув не только головой, но на этот раз встряхнувшись всем телом, Сьюзен на цыпочках подошла к двери мистера Домби и постучала.

— Войдите! — сказал мистер Домби.

Сьюзен, встряхнувшись еще раз, подбодрила себя и вошла.

Мистер Домби, созерцавший огонь в камине, бросил удивленный взгляд на гостью и слегка приподнялся на локте. Нипер сделала реверанс.

— Что вам нужно? — спросил мистер Домби.

— Простите, сэр, я хочу поговорить с вами, — сказала Сьюзен.

Мистер Домби пошевелил губами, как будто повторяя эти слова, но, казалось, он был столь изумлен дерзостью молодой женщины, что не мог произнести их вслух.

— Я нахожусь у вас на службе, сэр, — начала Сьюзен Нипер с обычной своей стремительностью, — вот уже двенадцать лет и состою при мисс Флой, моей молодой хозяйке, которая и говорить-то хорошенько еще не умела, когда я только что сюда поступила, и я была старой служанкой в

этом доме, когда миссис Ричардс была новой, быть может, я не Мафусаил¹⁰⁴, но я и не грудной младенец.

Мистер Домби, приподнявшись на локте и не спуская с нее глаз, не сделал никаких замечаний касательно этого предварительного изложения фактов.

— Не было на свете молодой леди чудеснее и милее, чем моя молодая леди, сэр, — сказала Сьюзен, — а я знаю это лучше всех, потому что я видела ее в дни горя и видела ее в дни радости (их было немного), я видела ее вместе с ее братом и видела ее в одиночестве, а кое-кто никогда ее не видел, и я скажу кое-кому и всем, да, скажу, — тут черноглазая тряхнула головой и тихонько топнула ногой, — что мисс Флой — самый чудесный и самый милый ангел из всех, ходивших по земле, и пусть меня разрывают на куски, сэр, все равно я буду это повторять, хотя я, быть может, и не мученик Фокса¹⁰⁵.

Мистер Домби, бледный после своего падения с лошади, побледнел еще сильнее от негодования и изумления и смотрел на говорившую таким взглядом, словно обвинял и зрение свое и слух в том, что они ему изменили.

— Нет человека, который мог бы испытывать к мисс Флой иные чувства, кроме верности и преданности, сэр, — продолжала Сьюзен, — и я не хвалюсь своей двенадцатилетней службой, потому что я люблю мисс Флой! Да, я могу это сказать кое-кому и всем, — тут черноглазая снова тряхнула головой и снова топнула тихонько ногой, и чуть было по всхлипнула, — но верная и преданная служба, надеюсь, дает мне право говорить, а говорить я должна и буду, плохо это или хорошо.

— Чего вы хотите? — спросил мистер Домби, взирая на нее с гневом. — Как вы смеете?

— Чего я хочу, сэр? Я хочу только поговорить — с должным уважением и никого не оскорбляя, но откровенно, а как я смею — этого я и сама не знаю, а все-таки смею! — сказала Сьюзен. — Ах, вы не знаете моей молодой леди, сэр, право же, не знаете, никогда-то вы ее не знали!

Мистер Домби в бешенстве протянул руку к шнурку от звонка, но его не было по эту сторону камина, а он не мог без посторонней помощи встать и обойти камин. Зоркий глаз Нипер тотчас обнаружил беспомощное его положение, и теперь, как выразилась она впоследствии, она почувствовала, что он от нее не ускользнет.

— Мисс Флой, — продолжала Сьюзен Нипер, — самая преданная, самая терпеливая, самая почитительная и красивая из всех дочерей, и нет такого джентльмена, сэр, хотя бы он был богат и знатен, как все самые знатные богачи в Англии, сложенные вместе, который не мог бы ею гордиться, не пожелал бы, не должен был гордиться! Если б он знал ей настоящую цену, он охотнее расстался бы со своей знатностью и богатством и в лохмотьях просил бы милостыню у дверей, это я скажу кое-кому и всем, — воскликнула Сьюзен, разрыдавшись, — только бы не терзать ее нежное сердце, а я видела, как оно страдало в этом доме!

— Вон! — крикнул мистер Домби.

— Прошу прощенья, сэр, я не уйду, даже если бы мне пришлось оставить это место, — отвечала упрямая Нипер, — которое я занимаю столько лет — и сколько всего я за это время насмотрелась! — но я надеюсь, что у вас не хватит духу прогнать меня от мисс Флой! Да, я не уйду, пока не выскажу все! Я, может быть, и не индийская вдова, сэр, и не хотела бы ею стать, но если бы я решила сжечь себя заживо, я бы это сделала! А я решила договорить до конца.

Не менее ясно, чем слова, свидетельствовало об этом выражение лица Сьюзен Нипер.

— Из всех, кто состоит у вас на службе, сэр, — продолжала черноглазая, — нет никого, кто бы трепетал перед вами больше, чем я, и вы мне поверите, если я осмелюсь сказать, что сотни и сотни раз собиралась поговорить с вами и никак не могла отважиться вплоть до вчерашнего вечера, но вчера вечером я решилась.

Мистер Домби в припадке бешенства еще раз протянул руку к шнурку, которого не было, и, не найдя его, дернул себя за волосы.

¹⁰⁴ *Мафусаил* — библейский патриарх, проживший, по преданию, 969 лет.

¹⁰⁵ ...мученик Фокса... — то есть один из христианских мучеников, жития которых пересказал английский богослов Джон Фоке (1516—1587) в «Книге мучеников».

— Я видела, — говорила Сьюзен Нипер, — как мисс Флой выбивалась из сил, когда была совсем ребенком, таким ласковым и терпеливым, что лучшие из женщин могли бы брать с нее пример! Я видела, как она сидела до поздней ночи, чтобы помочь своему больному брату приготовить уроки, я видела, как она ему помогала и как ухаживала за ним в другую пору — кое-кому известно, когда это было, — я видела, как она, без всякой поддержки и участия, выросла и, слава богу, стала леди, которая может послужить украшением и оказать честь любому обществу. И я всегда видела, как жестоко ею пренебрегали и как она от этого страдала, — я это всем могу сказать и скажу, — и никогда она ни слова не говорила, но если человек уважает и почитает тех, кто лучше его, это еще не значит, что он должен поклоняться каменным идолам, и я хочу и должна говорить!

— Есть здесь кто-нибудь? — громко крикнул мистер Домби. — Где слуги? Где служанки? Неужели никого здесь нет?

— Вчера был уже поздний час, когда я ушла от моей милой молодой леди, а она еще не легла спать, — продолжала Сьюзен, ни на что не обращая внимания, — и я знаю, почему! Потому что вы больны, сэр, а она не знала, насколько это серьезно, и этого было достаточно, чтобы сделать ее несчастной, и я видела, что она несчастна, — я, быть может, не павлин, но у меня есть глаза¹⁰⁶, — и я сидела у себя в комнате и думала, что, может быть, она чувствует себя одинокой и я ей нужна. И тогда я увидела, как она крадучись спустилась вниз и подошла к этой двери, как будто преступление — взглянуть на родного отца, а потом крадучись вернулась назад и вошла в пустую гостиную и плакала так, что я не могла слушать. Я не в силах была слушать, — сказала Сьюзен Нипер, вытирая черные глаза и неустрашимо глядя в искаженное бешенством лицо мистера Домби. — Не в первый раз я это слышала, а уже много, много раз! Вы не знаете своей родной дочери, сэр, вы не знаете, что вы делаете, сэр, я скажу кое-кому и всем, — воскликнула в заключение Сьюзен Нипер, — что это стыдно и грешно!

— Вот тебе и на! — раздался голос миссис Пипчин, и черные бомбазиновые юбки прекрасной перуанки ворвались в комнату. — Это еще что такое?

Сьюзен удостоила миссис Пипчин взглядом, который изобрела специально для нее, когда они только что познакомились, и предоставила отвечать мистеру Домби.

— Что это такое? — повторил мистер Домби, чуть ли не с пеной у рта. — Что это такое? У вас действительно есть основание об этом спрашивать, раз вы занимаете место домоправительницы и обязаны следить за порядком. Вы знаете эту женщину?

— Я знаю о ней очень мало хорошего, сэр, — прокаркала миссис Пипчин. — Как вы посмели прийти сюда, дерзкая девчонка? Убирайтесь вон!

Но непреклонная Нипер, подарив миссис Пипчин еще один взгляд, не тронулась с места.

— По-вашему, это значит управлять домом, сударыня, — сказал мистер Домби, — если подобные особы осмеливаются приходить и говорить со мной? Джентльмен в своем собственном доме, в своей собственной комнате принужден выслушивать дерзости служанок!

— Сэр, — сказала миссис Пипчин, мстительно сверкнув своими жесткими серыми глазами, — я чрезвычайно сожалею. Это совершенно недопустимо. Это нарушает все разумные правила. Но я с прискорбием должна сказать, сэр, что с этой молодой женщиной невозможно справиться. Ее избаловала мисс Домби, и она никого не слушается. Вы знаете, что это так, — резко сказала миссис Пипчин, обращаясь к Сьюзен Нипер и качая головой. — Стыдитесь, дерзкая девчонка! Убирайтесь вон!

— Если у меня служат люди, с которыми нельзя справиться, миссис Пипчин, — сказал мистер Домби, снова поворачиваясь к камину, — полагаю, вы знаете, как с ними поступить. Вы знаете, для чего вы здесь находитесь? Уведите ее!

— Сэр, я знаю, как нужно поступить, и, разумеется, так и поступлю, — ответила миссис Пипчин. — Сьюзен Нипер, — это было сказано необычайно резко, — предупреждаю вас об увольнении за месяц вперед.

— О, вот как! — надменно отозвалась Сьюзен.

— Да, — сказала миссис Пипчин, — и не смейте улыбаться, наглая девчонка! Убирайтесь вон сию же минуту!

¹⁰⁶ ...я, быть может, не павлин, но у меня есть глаза... — намек на «глазки», которыми украшен хвост павлина.

— Я уйду сию же минуту, можете не сомневаться в этом! — сказала острая на язык Нипер. — Двенадцать лет я служила здесь и ходила за моей молодой хозяйкой, и я не задержусь ни на час после того, как получила предупреждение от особы, откликающейся на имя Пипчин. Будьте уверены, миссис Пипчин!

— Наконец-то мы избавимся от этой дряни! — сказала разгневанная старая леди. — Убирайтесь вон, а не то я прикажу вас вывести!

— Меня утешает то, что сегодня я сказала правдивое слово, — объявила Сьюзен, бросив взгляд на мистера Домби, — которое давно уже следовало сказать и повторять почаще и пояснее, и никакие Пипчин — надеюсь, их так не много (тут миссис Пипчин очень резко крикнула «Убирайтесь!», а мисс Нипер снова удостоила ее взглядом), — не могут опровергнуть то, что я сказала, хотя бы они в течение целого года, начиная с десяти часов утра и до полуночи, предупреждали об увольнении и в конце концов умерли бы от истощения, а уж это был бы настоящий праздник!

С этими словами мисс Нипер вышла, сопутствуемая своим врагом, поднялась к себе в комнату с большим достоинством, к великой досаде задыхающейся от злости Пипчин, села среди своих сундуков и расплакалась.

Из этого состояния ее вывел голос миссис Пипчин за дверь, оказавший весьма благотворное и живительное действие.

— Намерена ли эта наглая тварь, — сказала свирепая Пипчин, — принять к сведению сделанное предупреждение, или же не намерена?

Мисс Нипер отвечала из-за двери, что упомянутая особа, то есть «наглая тварь», не проживает в этой части дома, но что зовут ее Пипчин и ее можно найти в комнате экономки.

— Нахалка! — отрезала миссис Пипчин, дергая ручку двери. — Сию же минуту убирайтесь! Сейчас же укладывайте свои пожитки! Как вы смеете говорить такие вещи благородной женщине, которая видела лучшие дни?

На это мисс Нипер ответствовала из своей крепости, что она жалеет эти лучшие дни, которые видели миссис Пипчин, и считает, что самые худшие дни в году больше подошли бы для этой леди, хотя и они слишком хороши для нее.

— Но вам незачем поднимать шум у моей двери, — продолжала Сьюзен Нипер, — и пачкать своим глазом замочную скважину. Я укладываюсь и ухожу, можете показать это под присягой.

В ответ на такое сообщение вдовица выразила живейшее удовольствие и, сделав несколько замечаний о дерзких девчонках вообще, и главным образом об их пороках, если эти девчонки избалованы мисс Домби, удалилась за жалованием для Нипер. Затем Сьюзен Нипер занялась приведением в порядок своих сундуков, чтобы отбыть немедленно и с достоинством, и все время горестно всхлипывала, думая о Флоренс.

Предмет ее сожалений не замедлил явиться к ней, ибо вскоре по всему дому распространился слух, что Сьюзен Нипер повздорила с миссис Пипчин, что обе они апеллировали к мистеру Домби, что в комнате мистера Домби произошла беспрецедентная сцена и что Сьюзен уходит. Последний из этих туманных слухов оказался столь справедливым, что когда Флоренс вошла в комнату Сьюзен, та уже заперла последний сундук и сидела на нем, надев шляпку.

— Сьюзен, — воскликнула Флоренс, — вы меня покидаете! Вы!

— Ох, ради всего святого, мисс Флой, — рыдая, сказала Сьюзен, — не говорите мне ни слова, не то я унижу себя перед этими Пи-и-ипчин, а я не хочу, чтобы они видели меня плачущей, мисс Флой, ни за что на свете!

— Сьюзен! — сказала Флоренс. — Дорогая моя, мой старый друг! Что я буду делать без вас? Неужели вы можете от меня уйти?

— Н-н-нет, моя миленькая, дорогая мисс Флой, право же, не могу! — всхлипывала Сьюзен. — Но этому нельзя помочь, я исполнила свой долг, мисс, право же исполнила! Это не моя вина. Я подчинилась неизбежному. Я не могла заткнуть себе рот, иначе я бы никогда не ушла от вас, дорогая моя, а в конце концов мне приходится уйти, не говорите со мной, мисс Флой, потому что хотя я и очень стойкая, но все-таки, моя милочка, я — не мраморный дверной косяк.

— Что такое? В чем дело? — спрашивала Флоренс. — Неужели вы мне не объясните?

Но Сьюзен только качала головой.

— Н-н-нет, дорогая моя. Не спрашивайте меня, потому что я не должна говорить, и, что бы вы

ни делали, не пытайтесь замолвить за меня словечко, чтобы я осталась, потому что не может этого быть, и вы только себе повредите, и да благословит вас бог, мою ненаглядную, а вы простите мне все дурное, что я делала, и все мои выходки за эти годы!

Высказав от всей души эту просьбу, Сьюзен обняла свою хозяйку.

— Дорогая моя, — сказала Сьюзен, — много может быть у вас служанок, которые с радостью будут вам прислуживать добросовестно и честно, но не найдется такой, которая бы служила вам так преданно и любила вас так горячо! Вот это единственное мое утешение. Проща-а-айте, милая мисс Флой!

— Куда вы хотите поехать, Сьюзен? — спросила ее плачущая хозяйка.

— У меня есть брат в деревне, фермер в Эссексе, — сказала убитая горем Нипер, — он разводит ко-о-ров и свиней, и я поеду к нему в почтовой карете и оста-анусь у него, и не беспокойтесь обо мне, потому что у меня есть деньги в сберегательной кассе, дорогая моя, и я бы ни за что, ни за что не могла поступить сейчас на другое место, ненаглядная моя хозяйка! — Сьюзен закончила свою речь горестными рыданиями, которые, к счастью, были прерваны голосом миссис Пипчин, раздавшимся внизу, после чего Сьюзен вытерла красные и припухшие глаза и сделала жалкую попытку весело окликнуть мистера Таулинсона и попросить, чтобы он нанял кэб и отнес вниз вещи.

Флоренс, бледная, встревоженная и удрученная, даже теперь не смея вмешиваться из боязни вызвать новую размолвку между отцом и его женой (чье мрачное, негодующее лицо послужило несколько минут назад предостережением ей) и опасаясь, что сама она каким-то образом связана с увольнением старой своей служанки и подруги, плача спустилась в будуар Эдит, куда отправилась попрощаться Нипер.

— Ну, вот и кэб, вот и сундуки, убирайтесь! — сказала миссис Пипчин, появляясь в ту же секунду. — Прошу прощенья, сударыня, но мистер Домби отдал строжайшее распоряжение.

Эдит, которую причесывала ее горничная, — сегодня она обедала в гостях, — сохранила свою презрительную мину и осталась совершенно невозмутимой.

— Вот ваши деньги! — сказала миссис Пипчин, которая, следуя своей системе и памятуя о ко-пях, привыкла помыкать слугами так же, как помыкала своими брайтонскими пансионерами, навеки ожесточив юного Байтерстона. — И чем скорее вы уберетесь из этого дома, тем лучше.

У Сьюзен не хватило духу хотя бы бросить взгляд на миссис Пипчин. Она сделала реверанс миссис Домби (та не сказала ни слова и наклонила голову, избегая смотреть на кого бы то ни было, кроме Флоренс) и в последний раз обняла на прощанье свою хозяйку, которая в свою очередь обняла ее. В этот критический момент лицо бедной Сьюзен, обуреваемой волнением и мужественно подавляющей рыдания из страха, что они прорвутся и позволят миссис Пипчин восторжествовать, претерпело изумительные и доселе невиданные изменения.

— Прошу прощения, мисс, — сказал, обращаясь к Флоренс, мистер Таулинсон, стоявший с сундуками за дверью, — но мистер Тутс находится в столовой, посылает свой привет и желает знать, как себя чувствуют Диоген и хозяйка.

С быстротою молнии Флоренс выскользнула из комнаты и поспешно сбежала вниз, где мистер Тутс, в великолепнейшем костюме, очень тяжело дышал от неуверенности и возбуждения при мысли о возможном ее появлении.

— О, как поживаете, мисс Домби? — спросил мистер Тутс. — Господи, помилуй!

Это последнее восклицание было вызвано глубокой тревогой мистера Тутса при виде огорченного лица Флоренс; он немедленно перестал хихикать и превратился в олицетворение отчаяния.

— Дорогой мистер Тутс, — сказала Флоренс, — вы так добры ко мне, вы так преданы, что, мне кажется, я могу просить вас об одной услуге.

— Мисс Домби, — отвечал мистер Тутс, — если вы только скажете, какая это услуга, вы... вы вернете мне аппетит, который, — с чувством сказал мистер Тутс, — я давно уже потерял.

— Сьюзен, старый мой друг, самый старый из всех моих друзей, — сказала Флоренс, — неожиданно собралась покинуть этот дом, совсем одна, бедняжка. Она едет к себе домой, в деревню. Могу ли я попросить вас, чтобы вы о ней позаботились и усадили ее в почтовую карету?

— Мисс Домби, — ответил мистер Тутс, — поистине вы мне оказываете честь и милость. Это доказательство вашего доверия после того, как я был такой скотиной там, в Брайтоне...

— Да, — быстро перебила Флоренс, — нет... не думайте об этом. Значит, вы будете так добры

и поедете? И подождете ее у двери — она сейчас выйдет? Благодарю вас тысячу раз! Как вы меня успокоили! Она не будет чувствовать себя такой одинокой. Если бы вы знали, как я вам благодарна и каким добрым другом я вас считаю!

И Флоренс с волнением благодарила его снова и снова, и мистер Тутс, также с волнением, поспешил удалиться — но пятась, чтобы до последней минуты не спускать с нее глаз.

У Флоренс не хватило духу выйти, когда она увидела бедную Сьюзен в холле, откуда миссис Пипчин спешила ее прогнать, тогда как Диоген прыгал вокруг нее и, до последней степени утрашая миссис Пипчин, старался вцепиться зубами в ее бомбазиновые юбки, и горестно завывал при звуке ее голоса, ибо славная дуэнья внушала ему непреодолимое и глубочайшее отвращение. Но Флоренс видела, как Сьюзен пожала руку всем слугам и оглянулась на старый дом; она видела, как Диоген бросился за эббом, намереваясь следовать за ним, и никак не мог постигнуть, что больше он никаких прав не имеет на сидящую в нем особу; а затем дверь захлопнулась, суматоха улеглась, и Флоренс залилась слезами, оплакивая потерю старой подруги, которую никто не мог заменить. Никто. Никто.

Мистер Тутс, верная и честная душа, мгновенно остановил экипаж и сообщил Сьюзен Нипер о данном ему поручении, после чего та разрыдалась еще пуще.

— Клянусь душой и телом, — сказал мистер Тутс, усаживаясь рядом с ней, — я вам сочувствую! Честное слово, мне кажется, вы вряд ли понимаете свои чувства лучше, чем я. Я не могу вообразить ничего более ужасного, чем необходимость расстаться с мисс Домби.

Теперь Сьюзен отдалась своему горю, и действительно жалко было смотреть на нее.

— Прошу вас, — сказал мистер Тутс, — не надо! Я знаю, что сейчас делать.

— Что, мистер Тутс? — спросила Сьюзен.

— Поедем ко мне и пообедаем перед вашим отъездом, — сказал мистер Тутс. — Моя кухарка — весьма почтенная женщина, добрейшая душа, и она с радостью о вас позаботится. Ее сын, — дополнил эту рекомендацию мистер Тутс, — воспитывался в приюте для бедных детей и взлетел на воздух на пороховом заводе.

Сьюзен приняла любезное приглашение, и мистер Тутс отвез ее к себе на квартиру, где их встретили упомянутая матрона, вполне оправдавшая его рекомендацию, и Петух, который в первую минуту при виде леди в экипаже предположил, что по его совету мистер Домби был, наконец, сбит с ног ударом, а мисс Домби похищена. Этот джентльмен привел в немалое изумление мисс Нипер, ибо после поражения, нанесенного ему Проказником, физиономия его столь пострадала, что ее вряд ли можно было показывать в обществе на радость зрителям. Сам Петух объяснял эту расправу тем, что ему не повезло и голова его оказалась зажатой под левой рукой противника, после чего Проказник жестоко его избил и швырнул наземь. Но из опубликованного отчета об этом великом состязании выяснилось, что Проказник с самого начала подбил глаз Петуху, осыпал его градом ударов, сбил с ног и доставил ему целую гору неприятностей, а затем окончательно расправился с ним.

После сытного обеда, предложенного с большим радушием, Сьюзен, уже в другом экипаже, отправилась в контору почтовых карет; рядом с ней по-прежнему сидел мистер Тутс, а на козлах Петух, который, быть может, и оказывал честь маленькой компании благодаря моральному своему весу и героической репутации, однако, принимая во внимание его внешность, вряд ли мог служить украшением, ибо все лицо его было облеплено пластырями. Но Петух втайне дал себе клятву, что ни за что не покинет мистера Тутса (который втайне мечтал от него избавиться) до тех пор, пока не обоснуется в каком-нибудь трактире, закрепив за собою право торговать под прежней вывеской, и, стремясь заняться этой торговлей и как можно скорее спиться окончательно, он прилагал все усилия к тому, чтобы сделать свое присутствие неприемлемым для окружающих.

Ночная карета, в которой предстояло ехать Сьюзен, должна была тронуться в путь с минуты на минуту. Мистер Тутс, усадив ее, мешкал в нерешительности у окна, пока кучер собирался влезть на козлы; затем, встав на подножку и просунув внутрь лицо, которое при свете фонаря казалось встревоженным и смущенным, он отрывисто сказал:

— Послушайте, Сьюзен. Мисс Домби, знаете ли...

— Да, сэр?

— Как вы думаете, она могла бы... знаете ли... а?

— Простите, мистер Тутс, — сказала Сьюзен, — я вас не понимаю.

— Как вы думаете, она могла бы, знаете ли... не сейчас, а со временем... когда-нибудь...

по-поллюбить меня? Ну, вот! — сказал бедный мистер Тутс.

— Ох, нет! — ответила Сьюзен, покачивая головой. — Я бы сказала, что никогда. Ни-ког-да!

— Благодарю вас! — сказал мистер Тутс. — Это не имеет никакого значения. Спокойной ночи. Это не имеет никакого значения, благодарю вас!

Глава XLV **Доверенное лицо**

Эдит выезжала в тот день одна и вернулась домой рано. Было только начало одиннадцатого, когда ее экипаж свернул в улицу, где она жила.

На ее лице была все та же маска равнодушия, как и тогда, когда она одевалась; и веночек обвивал все то же холодное и спокойное чело. Но было бы лучше, если бы ее нетерпеливая рука оборвала все листья и цветы или мятущаяся и затуманенная голова смяла этот веночек в поисках местечка, где можно отдохнуть, — было бы лучше, если бы веночек не украшал столь невозмутимого чела. Эта женщина была такой упорной, такой неприступной, такой безжалостной, что, казалось, ничто не могло смягчить ее нрав, и любое событие только ожесточало ее.

Остановившись у подъезда, она собиралась выйти из экипажа, как вдруг какой-то человек, бесшумно выскользнув из холла и стоя с непокрытой головой, предложил ей руку. Слугу он отстранил, и ей ничего не оставалось, как опереться на нее; и тогда она узнала, чья это рука.

— Как себя чувствует ваш больной, сэр? — спросила она с презрительной усмешкой.

— Ему лучше, — ответил Каркер. — Он выздоравливает. Я распрощался с ним на ночь.

Она наклонила голову и стала подниматься по лестнице; он последовал за ней и сказал, стоя у нижней ступеньки:

— Сударыня, могу я просить, чтобы вы приняли меня на одну минуту?

Она остановилась и оглянулась.

— Сейчас поздно, сэр, и я утомлена. У вас срочное дело?

— Крайне срочное, — ответил Каркер. — Раз уж мне посчастливилось встретить вас, разрешите повторить мою просьбу.

Она посмотрела вниз, на его свергающие зубы, а он посмотрел на нее, облеченную в великолепное платье, и снова подумал о том, как она красива.

— Где мисс Домби? — громко спросила она слугу.

— В будуаре, сударыня.

— Проводите туда!

Снова обратив взор на учтивого джентльмена, стоявшего у нижней ступеньки, и едва заметным кивком давая ему разрешение следовать за нею, она пошла дальше.

— Прошу прошенья. Сударыня! Миссис Домби! — воскликнул вкрадчивый и проворный Каркер, мгновенно очутившись рядом с ней. — Разрешите умолять вас о том, чтобы мисс Домби при этом не присутствовала!

Она бросила на него быстрый взгляд, но по-прежнему сохраняла спокойствие и самообладание.

— Я бы хотел пощадить мисс Домби, — тихо произнес Каркер, — и не доводить до ее сведения то, что я имею сказать. Во всяком случае, я бы хотел, чтобы вы, сударыня, сами решали, должна она об этом знать или нет. Я обязан так поступить. Это мой долг по отношению к вам. После нашей последней беседы было бы чудовищно, если бы я поступил иначе.

Она медленно отвела взгляд от его лица и, повернувшись к слуге, сказала:

— Проводите в какую-нибудь другую комнату!

Тот повел их в гостиную, где тотчас зажег огонь и вышел. Ни слова не было сказано, пока он оставался в комнате. Эдит величественно опустилась на диван у камина, а мистер Каркер, держа в руке шляпу и не отрывая глаз от ковра, стоял перед нею поодаль.

— Прежде чем выслушать вас, сэр, — сказала Эдит, когда дверь закрылась, — я хочу, чтобы вы меня выслушали.

— Обращенные ко мне слова, миссис Домби, — ответил он, — хотя бы произносимые в тоне незаслуженного упрека, являются столь великой честью, что я со всею готовностью подчинился бы

ее желанию даже в том случае, если бы не был ее слугой.

— Если тот человек, с которым вы только что расстались, сэр, — мистер Каркер поднял глаза, как бы желая выразить изумление, но она встретила его взгляд и заставила его молчать, — дал вам какое-нибудь поручение ко мне, то не трудитесь его передавать, потому что я не стану слушать. Вряд ли мне нужно спрашивать, что привело вас сюда. Я ждала вас последние дни.

— Мое несчастье заключается в том, — ответил он, — что именно это дело привело меня сюда совершенно против моего желания. Разрешите вам сказать, что я пришел сюда еще по одному делу. О первом уже упомянуто.

— С ним покончено, сэр, — сказала она. — Если же вы к нему вернетесь...

— Неужели миссис Домби полагает, что я вернусь к нему вопреки ее запрещению? — сказал Каркер, подходя ближе. — Может ли быть, что миссис Домби, отнюдь не считаясь с тягостным моим положением, решила не отделять меня от моего руководителя и тем самым умышленно относится ко мне в высшей степени несправедливо?

— Сэр, — ответила Эдит, в упор устремив на него мрачный взгляд и говоря с нарастающим возбуждением, от которого раздувались надменно ее ноздри, вздымалась грудь и трепетал нежный белый пух на накидке, небрежно прикрывавшей ее плечи, которые ничего не теряли от соседства с этим белоснежным пухом, — почему вы разыгрываете передо мною эту роль, говорите мне о любви и уважении к моему мужу и делаете вид, будто верите, что я счастлива в браке и почитаю своего мужа? Как вы смеете так оскорблять меня, раз вам известно... известно не хуже, чем мне, сэр, я это видела в каждом вашем взгляде, слышала в каждом вашем слове, — что любви между нами нет, есть отвращение и презрение, и что я презираю его вряд ли меньше, чем самое себя за то, что принадлежу ему? Отношусь несправедливо! Да если бы я воздала должное той пытке, какой вы меня подвергаете, и оскорблениям, какие вы мне наносите, я бы должна была вас убить!

Она спросила его, почему он так поступает. Не будь она ослеплена своей гордыней, гневом и сознанием своего унижения — а это сознание у нее было, сколь бы злобно ни смотрела она на Каркера, — она прочла бы ответ на его лице: для того, чтобы исторгнуть у нее эти слова.

Она не прочла этого ответа, и ей не было дела до выражения его лица. Она помнила только о борьбе и тех обидах, какие перенесла и какие ей еще предстояло перенести. Всматриваясь пристально в них, — но не в него, — она ощипывала крыло какой-то редкостной и прекрасной птицы, которое, служа ей веером, висело на золотой цепочке у пояса; и перья падали дождем на пол. Ее взор не заставил его отшатнуться, но с видом человека, который может дать удовлетворительный ответ и не замедлит его дать, он выждал, пока она не овладела собой настолько, что исчезли внешние признаки гнева. И тогда он заговорил, глядя в ее сверкающие глаза.

— Сударыня, — сказал он, — я знаю, знал и до сегодняшнего дня, что не снискал вашего расположения; знал я также и причину. Да, я знал причину. Вы так откровенно говорили со мной; я чувствую такое облегчение, удостоившись вашего доверия...

— Доверия! — повторила она с презрением. Он пропустил это мимо ушей.

— ...что не буду ничего утаивать. Да, я видел с самого начала, что у вас нет любви к мистеру Домби. Как могла бы она возникнуть между двумя столь разными людьми? Впоследствии я увидел, что чувство более сильное, чем равнодушие, зародилось в вашем сердце — да и могло ли быть иначе, если принять во внимание ваше положение? Но подобало ли мне взять на себя смелость открыть вам то, что я знал?

— Подобало ли вам, сэр, — отозвалась она, — притворяться, будто вы уверены в противоположном, и дерзко твердить мне об этом изо дня в день?

— Да, сударыня, подобало! — с жаром возразил он. — Если бы я этого не делал, если бы я поступал иначе, я бы не говорил с вами так, как говорю сейчас. А я предвидел — кто мог лучше предвидеть, ибо кто знает мистера Домби лучше, чем я? — что, если только ваш нрав не окажется таким же покладистым и уступчивым, как смиренный нрав его первой супруги, а этому я не верил...

Высокомерная улыбка дала ему понять, что он может повторить эти слова.

— А этому я не верил, — да, я предвидел, что, по всей вероятности, настанет время, когда такое взаимопонимание, к какому мы сейчас пришли, может оказаться полезным.

— Полезным кому, сэр? — пренебрежительно спросила она.

— Вам! Не говорю — мне, так как предпочитаю воздержаться даже от таких умеренных похвал

Чарльз Диккенс «Торговый дом Домби и сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт»

мистеру Домби, какие я, по чести, мог бы высказать, если бы не боялся сказать что-либо неприятное той, чье отвращение и презрение столь глубоки! — выразительно добавил он.

— Сэр, — сказала Эдит, — вы были честны, упомянув об «умеренных похвалах» и говоря даже о нем таким пренебрежительным тоном: ведь вы — первый его советчик и льстец!

— Советчик — да, — сказал Каркер. — Льстец — нет. Не совсем искренним я, пожалуй, должен себя признать. Но наша выгода и удобства обычно побуждают многих из нас выражать чувства, которых мы не испытываем. Каждый день мы видим товарищества, построенные на выгоде и удобствах, дружбу, деловые связи, построенные на выгоде и удобствах, браки, построенные на выгодах и удобствах.

Она закусила свои кроваво-красные губы, но продолжала следить за ним тем же мрачным пристальным взглядом.

— Сударыня, — сказал мистер Каркер, с величайшим почтением и предупредительностью садясь в кресло рядом с ней, — зачем мне колебаться, раз я всецело вам предан, и почему не говорить откровенно? Вполне естественно, что леди, одаренная столь блестящими качествами, сочла возможным изменить характер своего супруга — изменить его к лучшему.

— Это неестественно для меня, сэр, — возразила она. — Таких надежд и таких намерений у меня никогда не было.

Гордое, бесстрастное лицо говорило, что она не намерена воспользоваться предложенными им личинами и готова смело пойти на любое разоблачение, не заботясь о том, в каком виде она предстанет перед таким человеком, как он.

— По крайней мере было естественно, — продолжал он, — что вы почитали вполне возможным жить с мистером Домби в качестве его супруги, не подчиняясь ему и в то же время не доходя до таких резких столкновений. Но, сударыня, рассуждая таким образом, вы не знали мистера Домби (в чем и убедились с тех пор). Вы не знали, как он требователен и как он горд или, — если разрешите, — как он поработен своим же собственным величием и идет, впряженный в свою собственную триумфальную колесницу, подобно быку под ярмом, помышляя лишь о том, что эта колесница находится за его спиной и нужно ее тащить через все и вся.

Зубы его сверкнули, когда он, злобно смакуя собственное тщеславие, продолжал:

— Мистер Домби поистине неспособен отнестись с подлинным вниманием как к вам, сударыня, так и ко мне. Сравнение крайне рискованное — я его сделал умышленно, — но верное. Мистер Домби, пользуясь полнотой власти, попросил меня — я это услышал от него самого вчера утром, — чтобы я был посредником между ним и вами, ибо ему известно, что я неприятен вам, но именно через меня он хочет наказать вас за ваше упорство; к тому же он несомненно считает, что принять такого посла, как я, слугу, состоящего у него на жаловании, унизительно — не для той леди, с которой я имею счастье беседовать, — о ней он не помышляет, — но для его жены, являющейся лишь частицей его самого. Вы можете себе представить, как мало он со мною считается, как он не допускает мысли, что у меня есть какие-то личные чувства или мнения, если говорит мне напрямик, что мне дано это поручение. Вы понимаете, с каким безразличием он относится к вашим чувствам, угрожая прислать к вам такого вестника. И вы, конечно, не забыли, что он уже сделал это.

Она по-прежнему следила за ним внимательно. Но и он следил за ней и видел, как намек на то, что ему известно кое-что из объяснения, происшедшего между нею и ее мужем, ранил ее высокомерную грудь, словно отравленная стрела.

— Обо всем этом я напоминаю вам не для того, чтобы расширить пропасть между вами и мистером Домби, сударыня... боже сохрани! какая была бы мне от этого польза... но лишь с целью указать, сколь безнадежно было бы внушить мистеру Домби мысль, что в случае, когда затронуты его интересы, надлежит думать еще о ком-то, кроме самого себя. Полагаю, что мы, лица, его окружающие и занимающие то или иное положение, сделали свое дело, укрепив эту его точку зрения; но не сделай этого мы, это сделали бы другие — иначе они не находились бы при нем. И так было всегда, с самого его рождения. Короче говоря, мистеру Домби приходилось иметь дело только с теми, кто был ему послушен и зависел от него, кто опускался на колени и склонял перед ним голову. Он никогда не знал, что значит иметь дело с возмущенной гордостью и гневом, восставшими против него.

«Но он узнает это теперь!» — казалось, произнесла она, хотя губы ее оставались сжатыми, а

взгляд — неподвижным. Он видел, как снова затрепетал нежный пух, он видел, как она на одно мгновение прижала к груди крыло прекрасной птицы. И свернувшаяся змея распустила еще одно из своих колец.

— Мистер Домби, — сказал он, — весьма почтенный джентльмен, но он склонен извращать даже факты, толкуя их согласно своим желаниям! Вряд ли я могу привести лучший пример, но он искренне верит (вы мне простите безумие этих слов; безумец не я), что суровость, с какою он высказал свое мнение теперешней его жене по одному поводу, быть может ей памятному, — это было еще до прискорбной кончины миссис Скьютон, — произвела ошеломляющее впечатление и в тот момент совершенно ее укротила!

Эдит засмеялась. Незачем говорить — как резко и немелодично. Достаточно сказать, что он рад был услышать ее смех.

— Сударыня, — продолжал он, — я с этим покончил. Ваши убеждения столь глубоки и, в этом я не сомневаюсь, столь непоколебимы, — последние слова он произнес медленно и очень выразительно, — что я почти опасаюсь снова вызвать ваше неудовольствие. Но я должен признаться, что, невзирая на его недостатки и полную мою осведомленность о них, я постепенно привык к мистеру Домби и научился уважать его. Верьте мне, я это говорю не для того, чтобы хвалиться чувством, столь чуждым вашему и отнюдь не вызывающим вашей симпатии, — о, как это было отчетливо, ясно и выразительно сказано! — но для того, чтобы уверить вас, каким преданным вашим слугой являюсь я при столь печальных обстоятельствах и с каким негодованием отношусь к той роде, какую меня заставляют исполнять!

Она как будто боялась оторвать от него взгляд.

Теперь оставалось развернуть последнее кольцо!

— Уже поздно, — помолчав, сказал Каркер, — а вы, по вашим словам, утомлены. Но я не должен забывать о том, что у меня есть к вам еще одно дело. Я вам должен посоветовать, я должен умолять вас — для этого у меня есть веские причины. — настойчиво умолять, чтобы вы были осмотрительны, проявляя свое участие к мисс Домби.

— Осмотрительна? Что вы хотите этим сказать?

— Старайтесь не обнаруживать чрезмерной привязанности к этой молодой леди.

— Чрезмерной привязанности, сэр? — воскликнула Эдит, нахмутив свой широкий лоб и встав с места. — Кто может судить о моей привязанности или измерять ее? Вы?

— Не я это делаю. — Он был смущен или притворялся смущенным.

— Кто же?

— Неужели вы не можете угадать, кто?

— Я не желаю угадывать, — ответила она.

— Сударыня, — сказал он после недолгого колебания, так же, как и раньше, они не спускали глаз друг с друга, — я нахожусь в затруднительном положении. Вы мне сказали, что не желаете получать через меня никаких уведомлений, и вы запретили мне возвращаться к этому предмету; но эти два предмета, как я увидел, столь тесно связаны, что — если вас не удовлетворит неясное предостережение, исходящее от того, кто сейчас имеет честь пользоваться вашим доверием, хотя ему пришлось предварительно навлечь на себя вашу немилость, — что я должен нарушить наложенный вами запрет.

— Вам известно, что вы можете это сделать, сэр, — сказала Эдит, — Нарушайте его.

Какая бледная, какая трепещущая, какая взволнованная! Так, стало быть, он не ошибся в своих расчетах!

— Его распоряжения, — сказал он, — возлагали на меня обязанность уведомить вас, что ваше поведение по отношению к мисс Домби ему не нравится; что оно влечет за собою сравнения, неблагоприятные для него; что он желает совершенно изменить положение дел, и, если вы относитесь к этому серьезно — он уверен, что оно изменится, — ибо, постоянно проявляя свою привязанность к ней, вы не принесете ей добра.

— Это угроза, — сказала она.

— Это угроза, — повторил он беззвучно, а вслух произнес: — Но она направлена не против вас.

Горделивая, статная, величественная — такой она стояла перед ним, смотрела на него широко раскрытыми сверкающими глазами, улыбалась презрительно и горько; и вдруг поникла, как будто

земля под ногами у нее разверзлась, и упала бы на пол, если бы он не поддержал ее. Она оттолкнула его, как только он к ней прикоснулся, и, отступив назад, снова стояла перед ним невозмутимая, с вытянутой рукой.

— Пожалуйста, оставьте меня. Ни слова больше сегодня!

— Я понимал, сколь важно это поручение, — продолжал Каркер, — ибо трудно сказать, что может последовать в скором времени, если вы не будете осведомлены о состоянии духа вашего супруга. Сейчас, как мне известно, мисс Домби огорчена увольнением своей старой служанки, а это увольнение является, быть может, одним из наименее серьезных последствий. Вы не осуждаете меня за мою просьбу о том, чтобы мисс Домби не присутствовала? Могу я на это надеяться?

— Я не осуждаю вас. Пожалуйста, оставьте меня, сэр.

— Я знал, что вы, чувствуя к этой молодой леди искреннюю и глубокую симпатию, будете чрезвычайно огорчены... вы станете терзаться мыслью, что повредили ее положению и погубили ее надежды на будущее, — быстро, но с жаром сказал Каркер.

— Больше ни слова сегодня! Оставьте меня, прошу вас.

— Я буду заходить сюда постоянно — навещать его, а также и по делам. Разрешите мне повидаться с вами еще раз, посоветоваться, что делать, и узнать ваши желания.

Она указала ему на дверь.

— Я даже не могу решить, сказать ли ему, что я уже говорил с вами, или пусть он считает, что я отложил этот разговор за неимением удобного случая, — или по какой-нибудь другой причине. Необходимо, чтобы вы поскорее дали мне возможность посоветоваться с вами.

— Когда угодно, только не сейчас, — ответила она.

— Вы поймете, когда я захочу увидеть вас, что мисс Домби не должна при этом присутствовать и что я прошу о свидании как человек, который имеет счастье пользоваться вашим доверием и приходит, чтобы оказать вам посильную помощь и, быть может, отвратить беду от нее, и не одну беду?

По-прежнему смотря на него и явно опасаясь хотя бы на секунду отвести пристальный взгляд, она ответила утвердительно и снова попросила его уйти.

Он поклонился, словно подчиняясь ее воле, но, уже дойдя до двери, вернулся и сказал:

— Я объяснил свою провинность и получил прощение. Можно ли мне — во имя мисс Домби и во внимание ко мне самому — коснуться вашей руки, прежде чем я уйду?

Она протянула ему затянутую в перчатку руку, которую ушибла накануне. Он взял ее в свою, поцеловал и удалился. Закрыв за собой дверь, он помахал рукой, которой прикоснулся к ее руке, и прижал ее к груди.

Глава XLVI

Опознание и размышления

Среди многих незначительных изменений, происходивших в эту пору в жизни и привычках мистера Каркера, наиболее примечательным было то сверхъестественное усердие, с каким он занимался делами, и то внимание, какое уделял каждой мелочи, касающейся хорошо ему известных операций фирмы. Всегда в таких случаях деятельный и проникательный, он теперь усилил в двадцать раз свою рысь и бдительность. Мало того, что зоркий его глаз следил за текущими делами, каждый день представлявшимися ему в новой форме, но в разгар этих всецело поглощавших его занятий он находил еще время — вернее, выкраивал его, — чтобы воскресить в памяти прежние операции фирмы и свое участие в них на протяжении многих лет. Часто, когда уходили все клерки, когда конторы оставались темными и пустыми и все деловые учреждения запирались, мистер Каркер, которому была открыта вся анатомия несгораемой кассы, изучал тайны книг и бумаг с терпеливой настойчивостью человека, рассекающего тончайшие нервы и фибры исследуемого объекта. Перч, рассыльный, который в таких случаях обычно оставался в передней и при свече развлекался чтением прејскуранта или, сидя у камина, дремал, ежеминутно рискуя клонуть носом в ящик для угля, — Перч не мог не принести дань восхищения столь ревностному поведению, хотя оно и отнимало у него часы, предназначенные для семейных утех, и в беседе с миссис Перч (ныне нянчившей близнецов) он снова и снова повествовал о трудолюбии и проникательности их заведующего в Сити.

Такое же усиленное и напряженное внимание, с каким мистер Каркер занимался делами фирмы, уделял он и своим собственным операциям. Не будучи компаньоном в деле — до сей поры этой честью пользовались только наследники великого имени Домби, — он получал определенный процент со всех сделок; но, кроме того, он разделял с фирмой возможность выгодно помещать деньги, и потому мелкая рыбешка, окружающая китов восточной торговли, почитала его богатым человеком. Эти хитрые наблюдатели начали поговаривать о том, что Джеймс Каркер из фирмы Домби подсчитывает свои капиталы и, будучи предусмотрительным, заблаговременно продает свои акции; и на бирже предлагали даже биться об заклад, что Джеймс собирается жениться на богатой вдове.

Однако эти заботы нисколько не препятствовали мистеру Каркеру следить за своим начальником, оставаться безукоризненно опрятным, аккуратным, вкрадчивым и сохранять все свои кошачьи свойства. Можно было говорить не столько об изменившихся его привычках, сколько о том, что чувствовалось в нем какое-то напряжение. Все качества, присущие ему раньше, можно было подметить и теперь, но теперь он казался более сосредоточенным. Каждую мелочь он делал так, как будто никаких других дел у него не было, — а у человека с такими способностями и такой целеустремленностью это почти несомненно свидетельствует о том, что он занят каким-то делом, возбуждающим и приводящим в движение самые сильные стороны его натуры.

Единственная резкая перемена заключалась в том, что, проезжая по улицам, он был погружен в глубокое раздумье, напоминавшее то самое раздумье, в каком он отъехал от дома мистера Домби в то утро, когда с этим джентльменом случилось несчастье. Он машинально объезжал все препятствия на своем пути и, казалось, не видел и не слышал ничего вплоть до прибытия к месту назначения, если какая-нибудь случайность не отвлекала его от дум.

Держа путь однажды на своей белоногой лошади к конторе Домби и Сына, он так же не замечал двух пар зорких женских глаз, как и прикованных к нему круглых глаз Роба Точильщика, который, дожидаясь его — в доказательство своей пунктуальности — за квартал до условленного места, тщетно снова и снова притрагивался к шляпе, чтобы привлечь внимание хозяина и бежал рысцой рядом с ним, готовый придержать стремя, как только тот пожелает спешиться.

— Смотри, вот он едет! — воскликнула одна из двух женщин, дряхлая старуха, вытягивая иссохшую руку, чтобы указать на него своей спутнице, молодой женщине, которая стояла рядом с ней, укрывшись в подворотне.

Дочь миссис Браун выглянула, следя за движением руки миссис Браун; гневом и жаждой мести дышало ее лицо.

— Я никогда не думала, что увижу его еще раз, — тихо сказала она, — но, пожалуй, хорошо, что я его увидела. Да, вижу, вижу!

— Не изменился! — сказала старуха, бросая злобный взгляд.

— Ему меняться? — отозвалась другая женщина. — Из-за чего? Разве он страдал? Перемены, происшедшей со мной, хватит на двадцать человек. Неужели этого недостаточно?

— Смотри, как он едет! — пробормотала старуха, следя своими красными глазками за дочерью. — Такой спокойный и такой нарядный, едет верхом, а мы здесь стоим в грязи...

— И из грязи вышли, — нетерпеливо перебила дочь. — Мы — только грязь под копытами его лошади. Чем иным могли бы мы быть?

Провожая его напряженным взглядом, она не стерпела в тот момент, когда он проходил мимо, тронула его за плечо.

— Да где же это пропадал все время мой веселый Роб? — спросила она, когда он оглянулся.

Веселый Роб, чья веселость пошла на убыль после такого приветствия, казался весьма удрученным и сказал со слезами на глазах:

— Ох, миссис Браун, почему вы не хотите оставить в покое бедного парня, когда он честно зарабатывает деньги и держит себя как подобает приличному человеку? Зачем вы вредите доброй репутации парня, заговаривая с ним на улице, когда он ведет лошадь своего хозяина в хорошие конюшни — лошадь, которую, будь ваша воля, вы бы продали на корм кошкам и собакам? А я-то надеялся, — добавил Точильщик, произнося заключительную свою фразу и как бы подводя итог всем нанесенным ему обидам, — что вы уже давным-давно померли!

— Так вот как он говорит со мной, которая зналась с ним так долго, моя милая! — воскликнула старуха, взывая к дочери. — Со мной, которая много раз выручала его, защищая от всяких бродяг,

голубятников и птицеловов!

— Будьте добры, миссис Браун, оставьте в покое птиц! — с великой тревогой воскликнул Роб. — Мне кажется, парню лучше иметь дело со львами, чем с этими маленькими пичужками, потому что их вечно тычут ему в нос, когда он меньше всего о них думает. Ну, как вы поживаете и что вам нужно?

Эти учтивые вопросы Точильщик задал как бы помимо своего желания и с величайшим раздражением и злобой.

— Ты только послушай, милочка, как он говорит со старой знакомой! — сказала миссис Браун, снова взывая к дочери. — Но кое-кто из его старых знакомых окажется не таким терпеливым, как я. Если бы я рассказала кое-кому, кого он знает и с кем он водился и обделывал разные делишки, и где найти...

— Неужели вы не можете держать язык за зубами, миссис Браун? — перебил злосчастный Точильщик, быстро оглядываясь, как будто ожидал увидеть здесь, рядом, ослепительные зубы своего хозяина. — Что вам за радость губить парня? Да еще в ваши годы, когда следовало бы вам обо многом подумать!

— Какая чудесная лошадка! — сказала старуха, поглаживая шею лошади.

— Оставьте ее в покое, слышите, миссис Браун! — воскликнул Роб, отталкивая ее руку. — Вы можете с ума свести парня, который хочет исправиться!

— Да что за вред я ей причинила, дитя мое? — возразила старуха.

— Что за вред! — повторил Роб. — Хозяин у нее такой, что заметит, даже если ее соломинкой тронут.

И он подул на то место, к которому прикоснулась рука старухи, и осторожно погладил его пальцем, словно и в самом деле верил тому, что сказал.

Старуха, шамкая и гримасничая, поглядывая на дочь, следовавшую за ней, шла по пятам за Робом, который вел на поводу лошадь, и продолжала разговор.

— У тебя хорошее место, Роб, не правда ли? — сказала она. — Тебе посчастливилось, дитя мое.

— Ох, уж не говорите о счастье, миссис Браун! — возразил злополучный Точильщик, озираясь и останавливаясь. — Если бы вы мне не повстречались или если бы вы сейчас ушли, тогда и в самом деле можно было бы считать, что парню посчастливилось. Убирайтесь-ка вы отсюда, миссис Браун! И не ходите за мной по пятам! — взревел Роб, неожиданно бросив вызов. — Если эта молодая женщина — ваша приятельница, почему она вас не уведет, когда вы так себя срамите?

— Это еще что такое? — закаркала старуха, приблизив к нему лицо и скорчив такую злобную гримасу, что даже дряблая кожа на шее собралась в складки. — Ты отрекаешься от своего старого друга? Да разве ты не прятался раз пятьдесят у меня в доме и не спал сладким сном в уголку, когда у тебя не было никакого пристанища, кроме мостовой, а теперь ты вот как со мной разговариваешь?! Разве я не продавала и не покупала вместе с тобой и не помогала тебе, школяру, тащить, что плохо лежит, и мало ли что еще делать, а теперь ты говоришь мне, чтобы я убиралась прочь? А разве я не могла бы созвать завтра же утром твоих старых товарищей, чтобы они ходили за тобой, как тень, тебе на погибель?.. А ты еще смотришь на меня дерзко? Ну что ж, пойду. Идем, Элис.

— Постойте, миссис Браун! — вскричал испуганный Точильщик. — Что же это вы делаете? Не нужно сердиться! Пожалуйста, удержите ее. Я вовсе не хотел вас обидеть. Я с самого начала сказал: «Как вы поживаете?» Ведь правда? Но вы не пожелали ответить. Ну, так как же вы поживаете? А потом послушайте, — жалобно добавил Роб, — ну, как может парень стоять и разговаривать на улице, когда ему нужно отвести хозяйскую лошадь, чтобы ее почистили, а хозяин у него такой, что каждую мелочь подмечает!

Старуха сделала вид, будто слегка смилостивилась, но все еще покачивала головой, бормотала и шамкала.

— Не хотите ли пойти к конюшням, миссис Браун, и выпить стаканчик чего-нибудь по вашему вкусу, — сказал Роб, — вместо того чтобы слоняться здесь, ведь от этого вам, да и никому нет никакой пользы! И вы пойдите с ней, будьте так добры, — прибавил Роб. — Я, право же, ужасно был бы рад ее видеть, не будь здесь лошади!

Принеся такое извинение, Роб, олицетворявший собою мрачное отчаяние, завернул за угол и повел порученную его заботам лошадь окольным путем. Старуха, пытаясь объяснить гримасами с

дочерью, не отставала ни на шаг. Дочь следовала за ними.

Свернув на безлюдную маленькую площадь, или, вернее, двор, над которым высилась огромная колокольня и где помещались склад упаковщика и склад бутылок, Роб Точильщик поручил белоногую лошадь конюху из конюшен старинной постройки на углу и, пригласив миссис Браун и ее дочь присесть на каменную скамью у ворот этого заведения, вскоре прибежал из соседнего трактира с оловянным кувшином и стаканом.

— За здоровье твоего хозяина, мистера Каркера, дитя мое! — медленно высказала свое пожелание старуха перед тем, как выпить. — Да благословит его бог!

— Да ведь я вам не говорил, кто он такой! — воскликнул Роб, вытаращив глаза.

— Мы его знаем в лицо, — сказала миссис Браун, которая наблюдала за подростком с таким вниманием, что на секунду перестала даже жевать губами и трясти головой. — Мы видели сегодня утром, как он ехал верхом и потом сошел с лошади, а ты ждал, чтобы увести ее.

— Да неужели? — отозвался Роб, который, по-видимому, пожалел о том, что не ждал его где-нибудь в другом месте. — А что с ней такое? Почему она не пьет?

Этот вопрос относился к Элис. Она сидела поодаль, завернувшись в свой плащ, и не притронулась к стакану, который Роб снова наполнил и протянул ей.

Старуха покачала головой.

— Не обращай на нее внимания, — сказала она. — Если бы ты знал, Роб, какая она странная! А мистер Каркер...

— Тише! — сказал Роб, украдкой поглядывая па склад упаковщика и на склад бутылок, как будто мистер Каркер мог подсматривать оттуда. — Не так громко!

— Да ведь его здесь нет! — воскликнула миссис Браун.

— Этого я не знаю, — пробормотал Роб, мельком бросив взгляд даже на колокольню, словно и там мог скрываться мистер Каркер, наделенный сверхъестественно чутким слухом.

— Хороший хозяин? — осведомилась миссис Браун. Роб кивнул и произнес вполголоса:

— Видит насквозь.

— Он живет за городом, правда, миленький? — спросила старуха.

— Да, когда он у себя дома, — ответил Роб. — Но сейчас мы не живем дома.

— А где же? — осведомилась старуха.

— Нанимаем квартиру поблизости от мистера Домби, — отозвался Роб.

Молодая женщина посмотрела на него так пытливо и так неожиданно, что Роб пришел в полное смятение и снова предложил ей стакан, но с таким же успехом, что и раньше.

— Мистер Домби... бывало, мы говорили о нем, — сказал Роб, обращаясь к миссис Браун. — Бывало, вы заставляли меня говорить о нем.

Старуха кивнула головой.

— Ну, так вот, мистер Домби упал с лошади, — с неохотой продолжал Роб, — и моему хозяину приходится бывать там чаще, чем обычно, — или у него, или у миссис Домби, или еще у кого-нибудь. Вот мы и переехали в город.

— Они ладят друг с другом, миленький? — спросила старуха.

— Кто? — осведомился Роб.

— Он и она?

— То есть мистер и миссис Домби? — сказал Роб. — Откуда же мне это знать?

— Нет, миленький, не они, а ваш хозяин и миссис Домби, — ласково пояснила старуха.

— Не знаю, — сказал Роб, снова озираясь вокруг. — Должно быть, ладят. Какая же вы любопытная, миссис Браун. Чем меньше слов, тем меньше ссор.

— Да ведь никакой беды в этом нет! — воскликнула старуха, засмеявшись и хлопнув в ладоши. — Весельчак Роб стал паинькой с той поры, как ему повезло! Никакой беды в этом нет.

— Знаю, что никакой беды в этом нет, — отозвался Роб, снова бросив недоверчивый взгляд на склад упаковщика, склад бутылок и на церковь. — Но болтать незачем, даже если бы речь шла о том, сколько пуговиц на сюртуке моего хозяина. Говорю вам, с ним это дело не пройдет. Лучше утопиться. Он сам так сказал. Я бы даже не назвал его фамилии, если бы вы ее не знали. Давайте поговорим о чем-нибудь другом.

Пока Роб снова осторожно обозревал двор, старуха украдкой сделала знак дочери. Это было

едва заметное движение, но дочь, ответив ей взглядом, отвела глаза от мальчика; она по-прежнему сидела неподвижно, закутавшись в плащ.

— Роб, миленький, — сказала старуха, поманив его на другой конец скамьи. — Ты всегда был моим любимчиком и баловнем. Ведь правда? Ты это знаешь?

— Да, миссис Браун, — не слишком любезно ответил Точильщик.

— Как же ты мог меня покинуть! — воскликнула старуха, обнимая его за шею. — Как же ты мог, гордец, уйти, скрыться из виду и не прийти и не рассказать своей бедной старой знакомой, какая тебе выпала удача! Ох-хо-хо!

— Эх, да ведь это страсть как опасно для парня, раз хозяин где-нибудь поблизости и смотрит в оба! — вскричал несчастный Точильщик. — Страсть как опасно, когда над ним вот так завывают.

— Ты зайдешь навестить меня, Роб? — воскликнула миссис Браун. — Ох, неужели ты так и не зайдешь меня навестить?

— Да говорю же вам, что зайду. Зайду! — ответил Точильщик.

— Вот теперь я узнаю моего Роба, моего любимчика, — сказала миссис Браун, вытирая омоchenное слезами морщинистое лицо и нежно обнимая Точильщика. — Зайдешь ко мне домой, Роб?

— Да, — ответил Точильщик.

— И скоро, Роб, миленький? — спросила миссис Браун. — И часто будешь заходить?

— Да-да-да!! — сказал Роб. — Клянусь душой и телом, приду.

— И если он сдержит свое слово, — сказала миссис Браун, воздев руки к небу и подняв трясущуюся голову, — я никогда не буду подходить к нему, хотя мне известно, где он живет, и никогда не пророню о нем ни словечка! Никогда!

Это восклицание как будто принесло капельку утешения злополучному Точильщику, который тотчас пожал руку миссис Браун и со слезами на глазах умолял ее оставить парня в покое и не губить его надежд на будущее. Миссис Браун, еще раз нежно его обняв, изъявила согласие, по, прежде чем последовать за дочерью, оглянулась, украдкой поманила его пальцем и хриплым шепотом попросила денег.

— Дай мне шиллинг, миленький, — сказала она, и жадность отразилась на ее лице, — или шесть пенсов. Ради старого знакомства. Я так нуждаюсь! А моя красавица дочка, — она оглянулась в ее сторону, — ведь это моя дочка, Роб, — держит меня впроголодь.

Но когда Точильщик неохотно сунул ей в руку деньги, дочь потихоньку вернулась и, схватив мать за руку, вырвала у нее монету.

— Как? — воскликнула она. — Опять деньги! Вечно деньги и деньги! Плохо же вы помните о том, что я вам недавно говорила. Вот, возьми обратно!

Старуха застонала, когда деньги были возвращены владельцу, но, не препятствуя их возвращению, заковыляла рядом с дочерью в переулок, выходящий на площадь. Изумленный и испуганный Роб, глядя им вслед, увидел, что они вскоре остановились и завели оживленный разговор; заметил он также угрожающие жесты молодой женщины (по-видимому, относившиеся к тому, о ком они говорили) и попытку миссис Браун подражать этим жестам, и от всей души пожелал, чтобы не он был предметом их беседы.

Утешившись мыслью, что сейчас они ушли и что миссис Браун не может жить вечно и, по всей вероятности, недолго будет нарушать его покой, Точильщик, сокрушаясь о своих проступках лишь постольку, поскольку они влекли за собой такие неприятные последствия, успокоил свои встревоженные чувства, обрел безмятежный вид, подумав о том, как ловко он избавился от капитана Катля (это воспоминание почти всегда приводило его в превосходное расположение духа), и отправился в контору Домби получить приказания от своего хозяина.

Там его хозяин, такой пронизательный и зоркий, что Роб затрепетал, всерьез опасаясь, как бы его не выбрали за свидание с миссис Браун, вручил ему, по обыкновению, папку с утренней почтой для мистера Домби и записку к миссис Домби и только кивнул головой, как бы предписывая быть осмотрительным и расторопным, — таинственное внушение, которое, по мнению Точильщика, заключало в себе мрачные предостережения и угрозы и действовало на него сильнее всяких слов.

Оставшись один в своем кабинете, мистер Каркер приступил к работе и работал весь день. Он принял немало посетителей, просмотрел множество документов, не раз уходил по делам и не позволял себе предаваться раздумью, пока занятия не пришли к концу. Но когда бумаги с его стола исчез-

ли одна за другой, он снова погрузился в размышления.

Он стоял на обычном своем месте и в обычной своей позе, уставившись в пол, когда вошел его брат и принес обратно письма, взятые из кабинета заведующего в течение дня. Он тихонько положил их на стол и хотел уйти, но мистер Каркер-заведующий произнес, устремив на него такой пристальный взгляд, точно все это время созерцал именно его, а не пол конторы:

— Ну-с, Джон Каркер, что привело вас сюда?

Его брат указал на письма и снова двинулся к двери.

— Странно, — сказал заведующий, — что вы приходите сюда и уходите, даже не справившись о здоровье нашего хозяина.

— Нам сообщили сегодня утром в конторе, что мистер Домби выздоравливает, — ответил брат.

— Вы такой мягкосердечный человек, — с улыбкой сказал заведующий, — впрочем, мягкосердечным вы стали в течение этих лет, — что, готов поклясться, вы бы огорчились, если бы с ним случилась беда.

— Я был бы искренне опечален, Джеймс, — ответил тот.

— Он был бы опечален, — сказал заведующий, указывая на него пальцем, словно взывая к кому-то третьему присутствующему при разговоре. — Он был бы искренне опечален! Вот этот мой брат! Этот маленький клерк, эта никому не нужная рухлядь, повернутая лицом к стене, словно дрянная картина! Он, просидевший у своей стены бог знает сколько лет! Он преисполнен благодарности, уважения, преданности и думает, что я этому поверю!

— Я ни в чем не хочу вас уверять, Джеймс, — возразил брат. — Будьте справедливы ко мне так же, как к любому из своих подчиненных. Вы мне задали вопрос, и я на него ответил.

— И у вас, жалкий льстец, нет никаких оснований сетовать на него? — спросил заведующий с несвойственной ему раздражительностью. — Нет оснований возмущаться высокомерным отношением, оскорбительным пренебрежением, чрезмерною требовательностью? Да кто же вы, черт возьми: человек или мышь?

— Было бы странно, если бы два человека, в особенности начальник и подчиненный, не имели никаких причин сетовать друг на друга; он, во всяком случае, их имел, — ответил Джон Каркер. — Но, не говоря уже о моей истории...

— Его история! — воскликнул заведующий. — Она всегда налицо. Она сбрасывает вас со счетов. Дальше!

— Да, не будем говорить об этой истории, которая, как вы намекнули, дает мне одному (к счастью для всех остальных) особые основания быть благодарным... Но здесь в конторе нет никого, кто бы высказывался и чувствовал иначе. Не думаете же вы, что кто-нибудь останется равнодушным, если неудача или несчастье постигнет главу фирмы, и не будет этим искренне опечален?

— У вас, разумеется, есть основания быть признательным ему, — презрительно сказал заведующий. — Да неужели вам неизвестно, что вас здесь держат как дешевый пример и знаменательное доказательство милосердия Домби и Сына, что споспешествует славной репутации этой великой фирмы?

— Неизвестно, — кротко ответил его брат. — Я давно уже уверовал в то, что меня здесь держат по другим соображениям, более бескорыстным.

— Вы как будто намеревались изречь какую-то христианскую заповедь, — сказал заведующий, оскалив зубы, как тигр.

— Нет, Джеймс, — возразил тот. — Хотя братские узы между нами давно порваны...

— Кто их порвал, дорогой сэр? — спросил заведующий.

— Я, своим недостойным поведением. Я вас в этом не виню.

Заведующий, растянув рот и оскалив зубы, беззвучно произнес: «О, вы меня в этом не вините!» — и предложил ему продолжать.

— Хотя, говорю я, братских уз между нами не существует, не осыпайте меня, умоляю, ненужными насмешками и не истолковывайте в дурную сторону то, что я говорю или хотел бы сказать. Я собирался высказать лишь одну мысль: ошибочно предполагать, что только вы один, возвышенный над всеми прочими, удостоенный доверия и отличия (возвышенный с самого начала, я это знаю, благодаря вашим исключительным способностям и порядочности), поддерживающий с мистером Домби более близкие отношения, чем кто бы то ни было, стоящий, если можно так выразиться, на

равной ноге с ним и осыпанный его милостями и щедротами, — ошибочно, говорю я, предполагать, что только вы один заботитесь о его благополучии и репутации. Я искренне верю, что нет в этой конторе никого, начиная с вас и кончая самым последним служащим, кто бы не разделял этого чувства.

— Вы лжете! — воскликнул заведующий, внезапно покраснев от гнева. — Вы — лицемер, Джон Каркер, и вы лжете!

— Джеймс! — вскричал тот, вспыхнув в свою очередь. — Что вы хотите сказать, произнося эти оскорбительные слова? Почему вы гнусно бросаете их мне в лицо без всякого повода с моей стороны?

— Я вам говорю, — сказал заведующий, — что ваше лицемерие и смирение, а также лицемерие и смирение всех служащих я не ставлю ни во что. — Он пренебрежительно щелкнул пальцами. — Я вижу вас насквозь. Вы для меня прозрачны, как воздух! Нет никого из служащих, занимающих место между мною и самым последним в этой конторе (к нему вы относитесь с участием, и не без основания, ибо вас разделяет небольшое расстояние), кто бы втайне не порадовался унижению своего хозяина, кто бы в глубине души не питал к нему ненависти, — кто бы не желал ему зла и кто бы не восстал, будь у него мужество и сила! Чем больше пользуешься милостями хозяина, тем больше терпишь от него обид, чем ближе к нему, тем дальше от него. Вот каково убеждение всех служащих!

— Не знаю, — отозвался брат, чье негодование вскоре уступило место удивлению, — не знаю, кто вам наговорил таких вещей и почему вам вздумалось испытывать меня, а не кого-нибудь другого. А вы меня испытывали и старались поддеть на крючок — в этом я теперь уверен. Вы и держите себя и говорите так, как никогда прежде. Повторяю еще раз — вас обманывают.

— Знаю, что обманывают, — сказал заведующий. — Я вам это уже говорил.

— Не я, — возразил его брат. — Ваш доносчик, если есть у вас таковой. А если нет, то ваши собственные мысли и подозрения.

— У меня нет никаких подозрений, — сказал заведующий. — У меня есть уверенность. Все вы — малодушные, подлые, льстивые собаки! Все вы одинаково притворяетесь, все одинаково лицемерите, все твердите одни и те же жалобные слова, все скрываете одну и ту же тайну, весьма прозрачную.

Его брат, не говоря ни слова, удалился и захлопнул дверь, когда тот замолчал. Мистер Каркер-заведующий медленно придвинул стул к камину и стал потихоньку разбивать угли кочергой.

— Трусливые, гнусные твари! — пробормотал он, обнажая два ряда сверкающих зубов. — Нет среди них никого, кто бы не притворился потрясенным и возмущенным... Ба! Любой из них, будь он наделен властью и обладай он умом и смелостью, чтобы этой властью воспользоваться, унизил бы гордость Домби и сокрушил ее так же безжалостно, как я разбиваю эти угли!

Дробя их и размешивая золу в камине, он с задумчивой улыбкой смотрел на свою работу.

— Да, даже и без такой королевской приманки, — добавил он. — И есть гордыня, о которой забывать не следует; доказательством служит наше знакомство.

Он погрузился в еще более глубокое раздумье и сидел, размышляя над темнеющей золой, затем поднялся с видом человека, оторвавшегося от книги, и, осмотревшись вокруг, взял шляпу и перчатки, направился туда, где стояла его лошадь, сел на нее и поехал по освещенным улицам; был вечер.

Он поравнялся с домом мистера Домби, придержал лошадь и, проезжая шагом, посмотрел вверх, на окна. Сначала его внимание было привлечено тем окном, в котором он видел когда-то Флоренс с ее собакой, хотя сейчас оно не было освещено; но он улыбнулся, окинув взглядом величественный фасад дома, и с каким-то высокомерием отвернулся от этого окна.

— Было время, — сказал он, — когда стоило труда следить даже за твоей восходящей звездочкой и разузнавать, где собираются облака, чтобы в случае необходимости заслонить тебя. Но теперь взошла планета и затмила тебя своим сиянием.

Он повернул свою белоногую лошадь за угол и отыскал среди освещенных окон с другой стороны дома одно окно. С ним было связано воспоминание о величественной осанке, о руке в перчатке, воспоминание о том, как сыпались на пол перья с крыла прекрасной птицы, а легкий белый пух накидки трепетал, словно перед надвигающейся бурой. Снова повернув лошадь, он увез с собой эти воспоминания; ехал он быстро по темнеющим и безлюдным аллеям парков.

Роковым образом они были связаны с женщиной, с гордой женщиной, которая ненавидела его,

но благодаря его ловкости и своей гордыне и озлоблению медленно и неуклонно приучалась терпеть его присутствие; она приучалась видеть в нем человека, пользующегося привилегией говорить о ее пренебрежительном равнодушии к ее же собственному мужу и о забвении ею уважения к самой себе. Воспоминания связаны были с женщиной, которая глубоко его ненавидела, знала его и ему не доверяла, потому что слишком хорошо они друг друга понимали; но она разжигала свое жестокое озлобление, подпуская его к себе с каждым днем все ближе и ближе, несмотря на всю ненависть, какую к нему питала. Несмотря на нее? Благодаря ей! Ибо в той бездне, куда не в силах был проникнуть ее грозный взгляд, — хотя она и могла мельком туда заглянуть, — таилось возмездие, и достаточно было увидеть слабую тень его, вызывавшую содрогание, чтобы запятнать ее душу.

Неужели призрак такой женщины витал перед ним во время его поездки, призрак, отвечающий реальности?

Да, он видел ее мысленно такой, какую она была: ее гордыню, озлобление, ненависть так же ясно, как ее красоту, яснее всего — ненависть к нему самому. По временам он видел ее подле себя — высокомерную и неприступную, а иногда — лежащую в пыли под копытами его лошади. Но всегда он видел ее такой, какую она была, без маски, и следил за ней на опасной тропе, по которой она шла.

И после своей прогулки верхом, когда он переоделся и вошел в ее ярко освещенную комнату, — вошел со своею склоненной головой, тихим голосом и вкрадчивой улыбкой, — он видел ее так же ясно. Он даже угадывал, почему была затянута в перчатку рука и, в силу этой догадки, тем дольше удерживал ее руку в своей. На опасной тропе, по которой она шла, он следил за ней, и как только она делала шаг, он ставил свою ногу на отпечаток ее ноги.

Глава XLVII

Грянул гром

Время не расшатало преграды между мистером Домби и его женой. Время — утешитель скорби и укротитель гнева — ничем не могло помочь этой, плохо подобранной, паре. Несчастные сами по себе и отравляющие существование друг другу, ничем не связанные, кроме кандалов, соединявших их скованные руки, они, отшатываясь друг от друга, столь сильно натягивали цепь, что она врезалась в тело до кости. Их гордыни, различаясь характером, были одинаковой силы; словно кремь, их вражда высекала искру, и огонь то тлел, то разгорался в зависимости от обстоятельств, сжигая все в совместной их жизни и превращая их брачный путь в дорогу, усыпанную пеплом.

Будем справедливы к мистеру Домби. Отдаваясь чудовищному заблуждению — оно разрасталось с каждой песчинкой, падающей в песочных часах его жизни, — он гнал Эдит вперед и мало думал о том, к какой цели и как она идет. Однако чувство его к ней — каково бы оно ни было — оставалось таким же, каким было вначале. Она провинилась перед ним в том, что, неведомо почему, отказалась признать верховную его власть и всецело ей подчиниться, а стало быть, надлежало исправить ее и смирить; но в других отношениях он по-прежнему, со свойственной ему холодностью, почитал ее особой, которая при желании способна сделать честь его выбору и имени, усугубить его славу и доверие к его коммерческим талантам.

Со своей стороны, Эдит, одержимая страстным и высокомерным негодованием, устремляла мрачный взгляд ежедневно и ежечасно, начиная с той ночи, когда она сидела у себя в спальне, глядя на тени, плывущие по стене, и вплоть до той, еще более темной ночи, которая быстро надвигалась, — Эдит устремляла мрачный взгляд на того, кто подверг ее бесконечным унижениям и оскорблениям, и это был ее муж.

Был ли главный порок мистера Домби, столь беспощадно им правивший, чертою противоестественной? Быть может, стоило бы иной раз осведомиться о том, что есть природа, и о том, как люди стараются ее изменить, и в результате таких насильственных искажений не естественно ли быть противоестественным? Посадите любого сына или дочь нашей могущественной матери-природы в тесную клетку, навяжите заключенному одну-единственную идею, питайте ее раболепным поклонением окружающих робких или коварных людей, и чем станет тогда природа для послушного узника, который ни разу не воспарил на крыльях свободного разума, опущенных и уже бесполезных, чтобы увидеть ее во всей полноте и реальности?

Увы, разве так уж мало в мире противоестественного, которое тем не менее является естественным? Послушайте, как судья обращается с предостережением к противоестественным отбросам общества; противоестественны их зверские обычаи, противоестественно отсутствие порядочности, противоестественны представления о добре и зле и смешение этих двух понятий: противоестественны они в своем невежестве, пороке, безрассудстве, упорстве, взглядах, — словом, во всем. Но пойдите по следам доброго священника или врача, который подвергает опасности свою жизнь, вдыхая воздух, которым они дышат, и спускается в их логовища, куда целый день доносится грохот колес наших экипажей и топот ног по мостовой. Окиньте взором эти отвратительные норы — у многих миллионов бессмертных душ нет другого места на земле; при малейшем упоминании о них человеческое чувство возмущается, а брезгливая деликатность, живущая на соседней улице, затыкает уши и говорит: «Я этому не верю!» Вдохните ядовитый воздух, отравленный миазмами, гибельными для здоровья и жизни, пусть каждое чувство ваше, дарованное человечеству для радости и счастья, будет оскорблено и возмущено, ибо только весть о страдании и смерти донесет оно до вашего сознания. Может ли растение, цветок или целебная трава, посаженные на зловонных грядках, расти естественно и простирать свои листочки навстречу солнцу, как предназначено было богом? И вызовите в памяти образ какого-нибудь хилого ребенка, малорослого, с порочным лицом, и заведите речь о его противоестественной греховности и сокрушайтесь о том, что он в таком раннем возрасте отвратился от неба. Но подумайте немножко и о том, что он был зачат, рожден и вскормлен в аду!

Люди, занимающиеся науками и отыскивающие связь между ними и здоровьем человека, общаются нам, что, если бы видимы были глазу ядовитые частицы отравленного воздуха, перед нами предстало бы густое черное облако, нависающее над трущобами; медленно разрастаясь, оно заражает лучшие районы города. Но если бы можно было разглядеть также ту моральную отраву, которая распространяется вместе с этими частицами и в силу вечных законов оскорбленной Природы от них неотделима, — каким бы это было ужасным откровением! Тогда увидели бы мы, что безнравственность, святотатство, пьянство, воровство, убийство и длинный ряд безыменных прегрешений против естественных склонностей и антипатий человечества нависли над обреченными местами и ползут дальше, чтобы губить невинных и развращать целомудренных. Тогда увидели бы мы, как эти ядовитые потоки, вливающиеся в наши больницы и лазареты, захлестывают тюрьмы, увеличивают осадку судов для перевозки каторжников и гонят их через моря насаждать преступление на обширных материках. Тогда оцепенели бы мы от ужаса, узнав, что, порождая болезнь, передающуюся нашим детям и гибельную для поколения, еще не родившегося, мы в то же время, в силу того же закона, производим на свет детство, чуждое невинности, юность, лишённую скромности и стыда, зрелость, в которой нет ничего зрелого, кроме страданий и греха, гнусную старость, позорящую образ человеческий. Противоестественное человечество! Когда мы будем собирать виноград с колючего кустарника и винные ягоды с чертополоха, когда злаки вырастут из отбросов на окраинах наших развращенных городов и розы расцветут на тучных кладбищах, — вот тогда мы найдем естественное человечество и убедимся, что оно произросло из таких семян.

О, если бы какой-нибудь добрый дух снял крыши с домов рукою более могущественной и милостивой, чем рука хромого беса в романе¹⁰⁷, и показал христианам, какие мрачные тени вылетают из их домов, присоединяясь к свите ангела разрушения, шествующего среди них!

О, если бы в течение одной только ночи видеть, как эти бледные призраки поднимаются над теми местами, которыми мы слишком долго пренебрегали, и из густого, хмурого облака, где множатся пороки и болезни, проливают жестокое возмездие — дождь, вечно льющийся и вечно усиливающийся! Светлым и благословенным было бы утро, занимающееся после такой ночи: ибо люди, оставив позади камни преткновения, ими самими созданные, эти пылинки на тропе, ведущей к вечности, принялись бы строить лучший мир, как подобает существам единого происхождения, исполняющим единый долг по отношению к отцу единой семьи и стремящимся к единой цели.

Светлым и благословенным был бы этот день также и потому, что у тех, кто никогда не обра-

¹⁰⁷ ...рука хромого беса в романе... — Имеется в виду роман французского писателя А. Лесажа (1668—1747) «Хромой бес», где бес Асмодей приподымает крыши домов и показывает студенту Клеофасу частную жизнь обитателей большого города.

шал внимания на окружающих, пробудилось бы сознание своей связи с ними; и им открылось бы извращение природы в их собственных узких симпатиях и оценках — извращение, столь же глубокое и, однако, столь же естественное, как самая низшая ступень падения.

Но зря такого дня не занялась для мистера Домби и его жены, и каждый продолжал идти своим путем.

За шесть месяцев, истекших после несчастного случая с мистером Домби, в их отношениях не произошло никакой перемены. Мраморная скала не могла бы стоять на его пути с большим упорством, чем стояла Эдит, и самый холодный родник в недрах глубокой пещеры, куда не проникнет луч света, не мог быть более неприступным и холодным, чем мистер Домби.

Надежда, вспыхнувшая в сердце Флоренс, когда ей померещилась картина нового домашнего очага, к тому времени совсем угасла. Этот очаг существовал почти два года, и даже терпеливая вера Флоренс не могла пережить жестоких испытаний каждого дня. Если и оставалась еще у нее тень надежды, что в далеком будущем Эдит и ее отец могут быть счастливы в совместной жизни, то сама она уже не надеялась завоевать отцовскую любовь. Тот короткий промежуток времени, когда ей чудилось, что отец слегка смягчился, изгладился в памяти; он вспоминался как горестное заблуждение, и уверенность в постоянной холодности отца не ослабевала. Флоренс любила его по-прежнему, но постепенно стала любить его скорее как человека, который был ей дорог или мог быть дорог, чем как живое существо, находившееся перед ее глазами. Умиротворенная грусть, с какою она любила умершего маленького Поля или свою мать, окрашивала ее мысли о нем и словно превращала их в нежное воспоминание. Она не могла сказать, почему отец, которого она любила, становился для нее каким-то гуманным образом — потому ли, что он для нее умер, или потому, что имел отношение к этим дорогим ей умершим и с ним так долго связаны были ее надежды, теперь угасшие, и нежность, им убитая. Но этот туманный образ вряд ли играл большую роль в ее действительной жизни, чем образ умершего брата, когда она представляла себе, что он жив и стал взрослым мужчиной, который любит ее и охраняет.

Эта перемена, если можно ее так назвать, произошла с ней незаметно, подобно переходу от детства к юности, и наступила одновременно с этим переходом. Флоренс было почти семнадцать лет, когда, размышляя в одиночестве, она это осознала.

Теперь она часто бывала одна, потому что прежние отношения между нею и Эдит резко изменились. Когда произошел несчастный случай с отцом и он лежал внизу, Флоренс впервые заметила, что Эдит ее избегает. Обиженная, потрясенная, но не понимающая, как можно это примирить с ее ласковым обращением при каждой встрече, Флоренс однажды вечером снова пришла к ней в комнату.

— Мама, — сказала она, потихоньку подойдя к ней. — Я вас огорчила?

Эдит ответила:

— Нет.

— Должно быть, я в чем-то провинилась, — продолжала Флоренс. — Скажите мне, в чем? Вы изменили свое отношение ко мне, милая мама. Я даже рассказать вам не могу, как быстро я чувствую малейшую перемену, потому что люблю вас всем сердцем.

— Так же, как и я вас, — сказала Эдит. — Ах, Флоренс, верьте мне, никогда я не любила вас сильнее, чем теперь!

— Почему, увидев меня, вы так часто уходите, почему вы избегаете меня? — спросила Флоренс. — И почему вы так странно на меня смотрите, милая мама? Ведь я не ошибаюсь, да?

Темные глаза Эдит ответили ей утвердительно.

— Почему? — умоляюще повторила Флоренс. — Скажите, почему, чтобы я знала, как вам угодить. И скажите мне, что теперь все будет иначе.

— Дорогая Флоренс, — ответила Эдит, сжимая руку, обвивавшую ее шею, и заглядывая в глаза, смотревшие на нее с такой любовью, — причины я не могу вам сказать. Не мне это говорить, не вам слушать; но так получилось и так должно быть, я знаю. Неужели я бы поступала таким образом, если бы не была в этом уверена?

— Значит, мы должны быть чужими друг для друга, мама? — спросила Флоренс, глядя на нее как бы в испуге.

Эдит, беззвучно пошевелив губами, ответила утвердительно.

Флоренс смотрела на нее все с большим страхом и недоумением, пока слезы, струящиеся по лицу, не скрыли от нее Эдит.

— Флоренс, родная моя! — быстро проговорила Эдит. — Выслушайте меня. Я не могу видеть вас такой печальной. Успокойтесь. Вы видите, что я сдерживаю себя. А разве это мне легко?

Ее голос и лицо снова были спокойны, когда она произносила эти последние слова, а затем добавила:

— Не совсем чужими. Отчасти. И только для виду, Флоренс, потому что в глубине души я остаюсь для вас все тою же и всегда буду такой. А то, что я делаю, я делаю не для себя.

— Для меня, мама? — спросила Флоренс.

— Достаточно знать то, что я вам сказала, — помолчав, ответила Эдит. — А зачем это делается — не имеет значения. Дорогая Флоренс, так лучше... это необходимо... чтобы мы встречались реже. Дружбу, которая связывала нас до сих пор, нужно разорвать.

— Когда? — вскричала Флоренс. — О мама, когда?

— Теперь, — сказала Эдит.

— И навсегда? — спросила Флоренс.

— Этого я не говорю, — ответила Эдит. — Я этого не знаю. Не скажу я также, что дружеские отношения между нами неуместны и вредны, хотя мне следовало бы знать, что добра от них не будет. Мой путь пролегал по тропам, по которым вы никогда не пойдете, и отсюда мой путь ведет... бог весть куда... я его не вижу.

Ее голос замер; она сидела и смотрела на Флоренс, и в ее взгляде были непонятный страх и отчужденность, которые однажды уже заметила Флоренс. А потом ею овладели те же мрачная гордыня и злоба, словно гневный аккорд пробежал по струнам неистовой арфы. Но на смену им не пришли кротость и смирение. На этот раз она не опустила головы, не заплакала, не сказала, что вся ее надежда — это Флоренс. Она сидела с высоко поднятой головой, точно прекрасная Медуза, которая смотрит на человека в упор, чтобы убить его. И она бы это сделала, если бы обладала такими чарами.

— Мама, — с тревогой сказала Флоренс, — в вас произошла еще какая-то перемена, о которой вы мне не сказали и которая меня пугает. Позвольте мне побыть немного с вами.

— Нет, — возразила Эдит, — нет! дорогая! Мне лучше остаться одной, и я сделаю все, чтобы видеть вас пореже. Не задавайте мне никаких вопросов, но верьте, что, если я кажусь непостоянной или капризной по отношению к вам, я поступаю так не по своей воле и не ради себя. Хотя теперь мы не так близки друг другу, как раньше, верьте, что в глубине души я не изменилась. Простите мне, что я еще более омрачила ваш мрачный дом. Я — тень, упавшая на него, и я это прекрасно знаю. Больше никогда не будем говорить об этом.

— Мама, — всхлипывая, промолвила Флоренс, — неужели мы должны будем расстаться?

— Мы поступаем таким образом именно для того, чтобы нам не пришлось расстаться, — сказала Эдит. — Не спрашивайте больше ни о чем. Ступайте, Флоренс. С вами моя любовь и мое раскаяние.

Она поцеловала ее. Когда Флоренс выходила из комнаты, Эдит проводила взглядом удаляющуюся фигуру, словно в этом образе отошел от нее добрый ангел и оставил ее добычей высокомерных и негодующих страстей, которые теперь завладели ею и наложили свою печать па ее чело.

С этого часа Флоренс и Эдит больше не проводили время вдвоем, как прежде. В течение многих дней они редко встречались, разве что за столом и в присутствии мистера Домби. В таких случаях Эдит, властная, непреклонная и молчаливая, даже не смотрела на нее. Если при этом находился мистер Каркер — а это бывало часто в период выздоровления мистера Домби и впоследствии, — Эдит еще больше сторонилась ее и была еще сдержаннее, чем обычно. Но когда бы ни случилось ей встретиться с Флоренс наедине, она обнимала ее так же нежно, как и раньше, хотя надменное ее лицо уже не так смягчалось. И часто, вернувшись домой поздно вечером, она, как в былые времена, тихонько входила в комнату Флоренс и шептала: «Спокойной ночи», склонившись над ее подушкой. Не ведая во сне о ее посещениях, Флоренс иногда просыпалась, словно ей приснились эти слова, произнесенные чуть слышно, и как будто ощущала на своей щеке прикосновение губ. Но это случилось все реже и реже, по мере того как шло время.

И снова Флоренс познала полное одиночество, которое и теперь, как прежде, пришло вслед за пустотой в ее собственном сердце. Подобно тому как образ отца, которого она любила, стал чем-то

нереальным, так и Эдит, разделяя судьбу всех, кого Флоренс любила, с каждым днем отступала, расплывалась, бледнела вдали. Мало-помалу она отошла от Флоренс, точно призрак прежней Эдит; мало-помалу пропасть, их разделявшая, расширилась и стала казаться глубже; мало-помалу вся прежняя ее пылкость и нежность застыли, вытесненные той непреклонной, гневной отвагой, с какой она стояла у края невидимой для Флоренс бездны, дерзая смотреть вниз.

Мучительное отчуждение между нею и Эдит возмещалось для Флоренс одною только мыслью; хотя это было слабым утешением для ее измученного сердца, она старалась найти в ней какое-то успокоение. Не разрываясь больше между любовью и долгом по отношению к двоим, Флоренс могла любить обоих, не обижая ни того, ни другого. Она могла им обоим, словно теням, созданным ее воображением, отвести место в своем сердце и не оскорблять их никакими сомнениями.

Так и пыталась она делать. Случалось — и довольно часто, — что недоумение, вызванное переменой, происшедшей с Эдит, овладевало ее мыслями и пугало ее. Но она не любопытствовала, спокойно отдаваясь снова тихой грусти и одиночеству. Флоренс нужно было только вспомнить о том, что звезда, сулившая ей счастье, померкла во мраке, окутавшем весь дом, и она плакала и смирялась.

Так проводила Флоренс жизнь в мечтах, в которых любовь, переполнявшая ее юное сердце, изливалась на призрачные тени, и в реальном мире, где этот могучий поток ее любви почти всегда возвращался вспять; и вот ей минуло семнадцать лет. Уединенная жизнь сделала ее застенчивой и скромной, но не ожесточила ее кроткого нрава и пылкого сердца. Дитя — судя по невинному ее простодушию, женщина — если судить по скромному ее достоинству и глубокому, напряженному чувству. В ее прекрасном лице и нежной, хрупкой фигуре как бы сочетались и сливались дитя и женщина; казалось, лето хотя и настало, весна не хочет отступить и старается затмить прелестью бутонов распутившиеся цветы. Но в ее голосе, проникавшем в душу, в ее тихом взоре, в каком-то странном сиянии, по временам как бы озарявшем ее лицо, и в задумчивой ее красоте было что-то напоминающее умершего брата. И на совете в зале слуг перешептывались об этом, покачивали головой и тем с большим аппетитом ели и пили, еще теснее связанные узами дружбы.

Эти внимательные наблюдатели многое могли порассказать о мистере и миссис Домби и о мистере Каркере, который как будто был посредником между супругами и приходил и уходил, словно пытался их примирить, но всегда безуспешно. Все они сокрушались о прискорбном положении дел, и все порешили на том, что миссис Пипчин (неприятнь к которой оставалась нерушимой) приложила к этому руку; во всяком случае, приятно было иметь такой прекрасный объект для насмешек, и они усердно этим пользовались и очень веселились.

Гости, обычно бывавшие в доме, и знакомые, посещаемые мистером и миссис Домби, считали, что они подходят друг к другу, — во всяком случае, если говорить о высокомерии, — но особого внимания этому вопросу не уделяли. После смерти миссис Скьютон молодая леди с обнаженной спиной довольно долго не являлась, сообщив со свойственным ей очаровательным хихиканьем кое-кому из близких друзей, что с этим семейством у нее неразрывно связано представление о надгробных плитах и тому подобных ужасах. Но, придя в этот дом, она не нашла в нем ничего ужасного, и только золотые брелоки на часовой цепочке мистера Домби она с возмущением осудила как предрассудок¹⁰⁸. Эта юная прелестница принципиально возражала против падчериц, — но ничего предосудительного она не могла сказать о Флоренс, кроме того, что ей недостает «изящества» — быть может, она подразумевала под этим спину. Многие из тех, кого приглашали лишь в торжественных случаях, вряд ли знали, кто такая Флоренс, и, возвращаясь домой, говорили: «Вот как? Так это мисс Домби сидела там в уголку? Очень хорошенькая, но немножко хрупкая на вид и задумчивая».

Да, действительно по прошествии последних шести месяцев именно такую была Флоренс, когда в замешательстве и едва ли не в испуге заняла место за обеденным столом накануне второй годовщины бракосочетания своего отца с Эдит (первая годовщина совпала с болезнью миссис Скьютон, разбитой параличом). Основаниями для ее опасений служили только знаменательный день, мина ее отца, которую она подметила, быстро бросив на него взгляд, и присутствие мистера Каркера, не-

¹⁰⁸ ...золотые брелоки... осудила как предрассудок. — Такие брелоки носили «на счастье».

приятное ей всегда, а сегодня — больше чем когда бы то ни было.

Эдит была в роскошном туалете, так как она и мистер Домби должны были присутствовать в тот день на званом вечере и обед был назначен на более поздний час. Она появилась, когда все уже сидели за столом, и мистер Каркер встал и подвел ее к ее месту. Как ни была она ослепительно прекрасна, что-то в выражении ее лица и в осанке навеки и безнадежно отделяло ее от Флоренс и от всех остальных. И, однако, был момент, когда Флоренс поймала на себе ее ласковый взгляд, и этот взгляд заставил ее грустить еще больше и еще больше сожалеть о той пропасти, которая их теперь разделяла.

За обедом почти не разговаривали. Флоренс слышала, как ее отец время от времени заговаривал с мистером Каркером о делах, слышала его тихие ответы, но она мало внимания обращала на их беседу и с нетерпением ждала конца обеда. Когда подали десерт и слуги удалились, мистер Домби, который уж не раз откашливался, что не предвещало добра, сказал:

— Миссис Домби, я уведомил экономку о том, что завтра к обеду у нас будут гости. Полагаю, вам это известно?

— Я не обедаю дома, — отозвалась она.

— Общество небольшое, — невозмутимо продолжал мистер Домби, делая вид, будто не слышал ее ответа, — человек двенадцать — четырнадцать. Моя сестра, майор Бегсток и еще несколько лиц, с которыми вы мало знакомы.

— Я не обедаю дома, — повторила она.

— Сколь бы сомнительны ни были для меня основания именно теперь вспоминать это событие с удовольствием, — сказал мистер Домби все тем же высокомерным тоном, как будто она не проронила ни слова, — однако, миссис Домби, нужно соблюдать приличия пред лицом света. Если вы, миссис Домби, не питаете к себе никакого уважения...

— Да, никакого не питаю, — сказала она.

— Сударыня, — вскричал мистер Домби, ударив кулаком по столу, — будьте любезны выслушать меня! Я говорю, что если вы никакого уважения к себе не питаете...

— А я говорю, что никакого не питаю, — сказала она.

Он посмотрел на нее, но лицо, повернувшееся к нему, не изменилось бы, даже если бы ей в глаза заглянула смерть.

— Каркер, — обратился мистер Домби более спокойным тоном к этому джентльмену, — так как вы и раньше служили посредником между мною и миссис Домби, а я не намерен нарушать правила приличия, поскольку это касается лично меня, то я прошу вас уведомить миссис Домби, что, если она не питает к себе никакого уважения, я к себе некоторое уважение питаю и, следовательно, подтверждаю мои распоряжения на завтра.

— Передайте вашему владыке, сэр, — сказала Эдит, — что я беру на себя смелость переговорить с ним об этом предмете в ближайшее время и что я буду говорить с ним с глазу на глаз.

— Сударыня, — сказал ее муж, — мистер Каркер освобожден от необходимости передавать мне какие бы то ни было ваши поручения, и он знает причину, заставляющую меня отказать вам в этом праве.

Он заметил, что она отвела глаза, и проследил за ее взглядом.

— Здесь находится ваша дочь, сэр, — сказала Эдит.

— Моя дочь здесь и останется, — сказал мистер Домби.

Флоренс, вставшая из-за стола, снова села, закрывая лицо руками и дрожа.

— Моя дочь, сударыня... — начал мистер Домби.

Но Эдит перебила его; хотя она не повысила голоса, он звучал так внятно, выразительно и отчетливо, что его можно было бы расслышать и в буре.

— Повторяю вам, что я хочу говорить с вами с глазу на глаз, — сказала она. — Если вы не сошли с ума, прислушайтесь к моим словам.

— Я имею право, сударыня, — возразил ее муж, — говорить с вами, когда и где мне угодно. А мне угодно говорить здесь и сейчас.

Она встала, словно хотела выйти из комнаты, но затем снова села и, глядя на него с полным спокойствием, сказала тем же тоном:

— Говорите!

— Прежде всего я должен сказать, сударыня, — произнес мистер Домби, — что этот угрожающий вид не приличествует вам.

Она засмеялась. Потревоженные бриллианты в ее волосах дрогнули и затрепетали. Говорят, будто некоторые драгоценные камни бледнеют, когда их владельцу грозит опасность. Будь у нее такие камни, заключенные в них лучи света должны были бы угаснуть в это мгновение; бриллианты потускнели бы, как свинец.

Каркер слушал, не поднимая глаз.

— Что касается моей дочери, сударыня, — продолжал мистер Домби, — ее долг по отношению ко мне — знать, какого поведения следует остерегаться. В настоящий момент вы служите весьма ярким примером для нее, и, надеюсь, она извлечет из этого пользу.

— Теперь я не буду вас останавливать, — невозмутимо ответила его жена. — Я не встану, не уйду и не лишу вас возможности высказать все, хотя бы в этой комнате начался пожар.

Мистер Домби кивнул головой, как бы в знак саркастической благодарности за внимание, и снова заговорил. Но уже не с таким самообладанием, как раньше: тревога Эдит в связи с Флоренс и равнодушие Эдит к нему самому и к его неодобрению терзали его, как незаживающая рана.

— Миссис Домби, — сказал он, — быть может, моей дочери для собственного ее усовершенствования не мешает знать, сколь пагубно упрямство и как необходимо его искоренять, в особенности, если кое-кто ему потворствует — проявляя при этом неблагодарность, добавлю я, — потворствует, когда честолюбие и корысть уже удовлетворены. Полагаю, и честолюбие и корысть сыграли свою роль, побудив вас занять принадлежащее вам теперь место за этим столом.

— Нет, я не встану, не уйду и не лишу вас возможности высказать все, хотя бы в этой комнате начался пожар, — повторила она слово в слово то, что сказала раньше.

— Быть может, естественно, миссис Домби, — продолжал он, — что вам неловко выслушивать такие неприятные истины в присутствии свидетелей. Но, признаюсь, я не понимаю, — тут он не мог скрыть своих подлинных чувств и не мог не бросить мрачного взгляда на Флоренс, — почему им может придать большую силу и остроту кто-то другой, а не я, которого это так близко касается. Быть может, — и это вполне естественно, — вам неприятно слушать при свидетелях, что в вас живет заложенное в вас упрямство, которое советую вам поскорее сломить, которое вы должны сломить, миссис Домби, и которое, говорю об этом с сожалением, я не раз с неудовольствием наблюдал еще до нашей свадьбы, когда оно проявлялось в отношении к вашей покойной матери. Но лекарство в ваших руках. Начав этот разговор, я отнюдь не забывал, миссис Домби, о том, что здесь присутствует моя дочь. А вас я прошу не забывать о том, что завтра здесь будут присутствовать несколько человек и что вы, памятуя о приличиях, должны их принять подобающим образом.

— Значит, мало вам того, что вы помните о происшедшем между вами и мною, — сказала Эдит. — Мало вам того, что вы можете бросить взгляд сюда, — она указала на Каркера, который по-прежнему слушал, не поднимая глаз, — и оживить в памяти те оскорбления, какие вы мне нанесли. Мало вам того, что вы можете бросить взгляд сюда, — она указала на Флоренс рукою, которая в первый и последний раз слегка задрожала, — и подумать о том, что вы сделали и какой утонченной пытке, ежедневной, ежечасной, постоянной, вы меня подвергли, поступив таким образом. Мало вам того, что этот день из всех дней в году памятен мне той борьбой (оправданной, но непонятной такому человеку, как вы), которая, к сожалению, меня не убила! Ко всему этому вы добавляете еще последнюю, завершающую подлость, делая ее свидетельницей моего падения, хотя вам известно, что вы заставили меня пожертвовать ради ее спокойствия единственным теплым чувством и привязанностью, какие остались у меня в жизни. Вам известно, что ради нее я бы и теперь подчинилась, если бы могла — но я не могу, слишком велико мое отвращение к вам, — подчинилась бы целиком вашей воле и была бы самым покорным из ваших рабов!

Не так нужно было служить величию мистера Домби. Ее слова пробудили старое чувство, придав ему небывалую силу и жестокость. Снова в этот суровый час его жизни заброшенная дочь выдвинута на первый план, выдвинута даже этой непокорной женщиной, сильна там, где он бессилен, и является для нее всем, тогда как он — ничто!

Он повернулся к Флоренс, как будто все это было сказано ею, и приказал ей выйти из комнаты. Флоренс, закрыв лицо руками, повиновалась, дрожа и плача.

— Я понимаю, сударыня, — гневно и с торжеством сказал мистер Домби, — тот дух противо-

речия, который заставил ваши нежные чувства направиться по этому руслу, но им поставили преграду, миссис Домби, им поставили преграду и побудили их повернуть вспять.

— Тем хуже для вас, — ответила она, не меняя ни тона, ни выражения лица. — Да! — сказала она, когда он резко повернулся при этих словах. — То, что худо для меня, в двадцать миллионов раз хуже для вас. Заметьте себе хотя бы это, если ничто другое вы неспособны заметить.

Усыпанный бриллиантами полумесяц в ее темных волосах вспыхнул и засверкал, как звездный мост. Драгоценные камни не несли в себе предостережения — иначе они стали бы такими же тусклыми и мутными, как запятнанная честь. Каркер по-прежнему сидел и слушал, не поднимая глаз.

— Миссис Домби, — сказал мистер Домби, вновь обретя, насколько это было для него возможно, свое надменное спокойствие, — таким поведением вы меня не смягчите и не заставите отказаться от моих намерений.

— Тем не менее оно одно только и является чистосердечным, хотя лишь в слабой степени отражает то, что происходит у меня в душе, — ответила она. — Но если бы я думала, что оно может вас смягчить, я бы его изменила, если только в человеческих силах его изменить. Я не сделаю того, о чем вы меня просите.

— Я не привык просить, миссис Домби, — возразил он. — Я приказываю.

— Завтра, а также и в последующие годовщины я не желаю играть никакой роли в вашем доме. Я ни перед кем не желаю выставлять себя напоказ, как строптивая рабыня, купленная вами в такой-то день. Если я сохранила в памяти день моей свадьбы, то исключительно как день позора. Уважение к себе! Приличия перед лицом света! Что они значат для меня? Вы сделали все возможное, чтобы они стали для меня ничем, и теперь они — ничто.

— Каркер, — сказал мистер Домби, сдвинув брови и минуту подумав, — миссис Домби до такой степени забывает сейчас и о себе и обо мне и ставит меня в положение столь неподобающее моей репутации, что я должен коренным образом изменить сложившуюся ситуацию.

— В таком случае, — сказала Эдит ровным голосом, не изменившись в лице, по-прежнему невозмутимо, — избавьте меня от тех уз, какими я связана. Отпустите меня!

— Сударыня! — воскликнул мистер Домби.

— Развяжите меня! Отпустите меня на свободу!

— Сударыня! — повторил он. — Миссис Домби!

— Скажите ему, — повторила Эдит, обратив свое высокомерное лицо к Каркеру, — что я хочу развестись с ним. Что так будет лучше. Что я ему это советую. Скажите ему, что я приму любые его условия — его богатство не играет для меня никакой роли, — но что чем скорее, тем лучше.

— Боже мой, миссис Домби! — с величайшим изумлением воскликнул ее супруг. — Неужели вы воображаете, что я могу отнестись серьезно к такому предложению? Знаете ли вы, кто я такой, сударыня? Знаете ли вы, что я собою представляю? Слыхали вы когда-нибудь о фирме «Домби и Сын»? Будут говорить о том, что мистер Домби — мистер Домби! — развелся со своей женой! Ничтожные люди будут говорить о мистере Домби и семейных его делах! Неужели вы серьезно думаете, миссис Домби, что я бы позволил позорить свое имя? Что вы, сударыня? Как вам не стыдно! Какой вздор!

Мистер Домби рассмеялся от души.

Но не так, как она. Лучше было бы ей умереть, чем рассмеяться так, как рассмеялась она в ответ, не сводя с него пристального взгляда. Лучше было бы ему умереть, чем сидеть здесь, во всем своем великолепии, и слушать ее.

— Нет, миссис Домби, — продолжал он, — нет, сударыня. Не может быть и речи о разводе, и тем настойчивее советую я вам опомниться и подумать о чувстве долга. Так вот что я хотел вам сказать, Каркер...

Мистер Каркер, который все время сидел и слушал, поднял теперь глаза, загоревшиеся ярким, необычным блеском.

— ... Вот что я хотел вам сказать, — продолжал мистер Домби, — теперь, когда дело принимает такой оборот, я прошу вас уведомить миссис Домби: правила моей жизни не позволяют, чтобы мне кто бы то ни было противоречил — кто бы то ни было, Каркер. Они не позволяют также, чтобы кого бы то ни было, кроме меня, выдвигали на первый план, когда речь идет о повиновении мне. Упоминание о моей дочери и то обстоятельство, что моя дочь привлечена для борьбы со мной, противо-

естественны. Состоит ли моя дочь в союзе с миссис Домби, я не знаю и знать не хочу; но после слов, сказанных сегодня миссис Домби, — их слышала моя дочь, — я прошу вас довести до сведения миссис Домби следующее: если она по-прежнему станет превращать этот дом в арену борьбы, я, в соответствии с собственным признанием миссис Домби, буду считать дочь до известной степени ответственной, и она навлечет на себя мой гнев. Миссис Домби спросила: «Разве мало того, что она сделала то-то и то-то?» Будьте любезны ответить ей: «Да, этого мало!» — Одну минутку! — перебил Каркер. — Разрешите! Как ни мучительно мое положение, мучительно в особенности потому, что я с вами не совсем согласен, — повернулся он к мистеру Домби, — я принужден спросить, не лучше ли будет, если вы еще раз обдумаете вопрос о разводе. Я знаю, сколь это представляется несовместимым с вашим высоким общественным положением, и знаю, сколь велика ваша решимость, если вы дадите миссис Домби понять, — его сверкающий взгляд упал на нее, когда он с расстановкой произносил эти слова, отчетливые, как удары колокола, — дадите понять, что только смерть может вас разлучить. Только смерть! Но если вы примете во внимание, что миссис Домби, живя в этом доме и превращая его, как вы сказали, в арену борьбы, не только участвует сама в этой борьбе, но и ежедневно навлекает ваше недовольство на мисс Домби (ведь мне известна ваша непреклонность), то не избавите ли вы ее от постоянной душевной тревоги и постоянного, почти невыносимого чувства, что она — виновница чьих-то страданий? Я этого не утверждаю, но не может ли показаться, будто вы приносите миссис Домби в жертву ради сохранения вашего высокого, недостижимого положения в обществе?

Снова его загоревшийся взор упал на нее, в то время как она стояла и смотрела на мужа; теперь на лице ее была странная и злоеющая улыбка.

— Каркер, — произнес мистер Домби, высокомерно нахмурившись, тон его не допускал возражений, — вы не понимаете своего положения, если дадите мне советы по такому вопросу, и характер вашего совета (к удивлению моему) свидетельствует о том, что вы не понимаете меня. Я больше ничего не имею сказать.

— Быть может, — сказал Каркер с несвойственной ему и едва уловимой насмешкой, — вы не поняли моего положения, когда возложили на меня высокую честь ведения этих переговоров, — он махнул рукой в сторону миссис Домби.

— О нет, сэр, — надменно возразил тот. — Вам было поручено...

— Как лицу подчиненному, способствовать унижению миссис Домби. Я забыл. О да, об этом было упомянуто! — сказал Каркер. — Простите!

Он склонил голову перед мистером Домби с почтительным видом, который плохо согласовался с этими словами, хотя они и были произнесены смиренно, затем повернулся в ее сторону и посмотрел на нее пытливым взглядом.

Уж лучше бы она сделалась уродлива, как смертный грех, и упала мертвой, но не стояла бы такая прекрасная, улыбаясь с величественным презрением павшего ангела. Она подняла руку к драгоценной диадеме, сверкавшей у нее на голове, сорвала ее с такой силой, что пышные черные волосы, которые она безжалостно дернула, рассыпались по плечам, и швырнула диадему на пол. С обеих рук она сняла усыпанные бриллиантами браслеты, бросила их и попраала ногами сверкающие камни. Молча, все теми же горящими глазами, все с той же странной улыбкой, она, не отрываясь, смотрела на мистера Домби, направляясь к двери; затем она вышла.

Прежде чем уйти из комнаты, Флоренс слышала достаточно и поняла, что Эдит любит ее по-прежнему, что она страдала из-за нее и не упоминала о принесенных ею жертвах, опасаясь нарушить ее покой. Флоренс не собиралась говорить с нею об этом — не могла говорить, помня, против кого она восстает, — но ей хотелось молчаливым и нежным объятием уверить Эдит, что она все это поняла и благодарна ей.

В тот вечер ее отец один отправился в гости, и Флоренс, выйдя вскоре после этого из своей спальни, бродила по дому, тщетно отыскивая Эдит. Та не покидала своих комнат, куда Флоренс давно уже не заглядывала и сейчас не посмела зайти, опасаясь вызвать неумышленно новые недоразумения. Но, не теряя надежды встретиться с ней перед сном, Флоренс переходила из комнаты в комнату и, нигде не находя себе места, блуждала по всему дому, такому великолепному и такому мрачному.

Она шла по коридору, выходявшему на площадку лестницы и освещавшемуся только в торже-

ственных случаях, как вдруг увидела вдали, за аркой, какого-то мужчину, спускавшегося по лестнице. Инстинктивно избегая встречи с отцом, за которого она приняла этого человека, Флоренс остановилась в темноте, глядя туда, где горел свет. Но это был мистер Каркер, который спускался один по лестнице и поверх перил разглядывал холл. Звон колокольчика не возвестил об его уходе, и никто из слуг не провожал его. Он потихоньку сошел вниз, сам открыл дверь, выскользнул на улицу и бесшумно закрыл за собой дверь.

Ее непобедимое отвращение к этому человеку, — а быть может, слезка исподтишка, которая даже при таких обстоятельствах мучительна и постыдна, — заставила Флоренс содрогнуться с головы до пят. Казалось, кровь застыла у нее в жилах. Как только силы к ней вернулись — а в первые минуты непреодолимый страх мешал ей сдвинуться с места, — она быстро пошла к себе и заперла дверь; но даже теперь, сидя взаперти со своей собакой, она не могла преодолеть леденящее чувство ужаса, словно близка была какая-то грозная опасность.

Она вторглась в ее сны и всю ночь нарушала ее покой. Встав утром с тяжелым воспоминанием о семейных раздорах вчерашнего дня, она снова принялась искать Эдит по всем комнатам и все утро то и дело возобновляла эти поиски. Но Эдит не выходила из своей спальни, и Флоренс ее так и не увидела. Узнав, однако, что званый обед отложен, Флоренс предположила, что Эдит поедет вечером в гости, приняв приглашение, о котором говорила, и решила встретит ее на лестнице.

Когда настал вечер, Флоренс, поджидавшая в одной из комнат, — слышала на лестнице шаги, которые приняла за шаги Эдит. Поспешно выйдя и бросившись ей навстречу, Флоренс увидела, что та одна спускается в холл.

Каноны же были испуг и удивление Флоренс, когда Эдит, увидев ее заплаканное лицо и простертые руки, в ужасе отпрянула и крикнула:

— Не подходите ко мне! Прочь! Дайте мне пройти!

— Мама! — сказала Флоренс.

— Не называйте меня этим именем! Не говорите со мной! Не смотрите на меня! Флоренс! — Она отшатнулась, когда Флоренс хотела подойти ближе. — Не прикасайтесь ко мне!

Флоренс, оцепеневшая при виде искаженного лица и широко раскрытых глаз, заметила, как во сне, что Эдит закрыла глаза руками и, дрожа всем телом, прижимаясь к стене, проскользнула мимо нее, словно какое-то нечистое животное, а затем исчезла.

Флоренс упала в обморок на лестнице, и, по ее предположениям, здесь ее нашла миссис Пипчин. Она знала только, что очнулась у себя на кровати, а вокруг нее стояли миссис Пипчин и служанки.

— Где мама? — был первый ее вопрос.

— Уехала в гости, на обед, — сказала миссис Пипчин.

— А папа?

— Мистер Домби у себя в комнате, мисс Домби, — ответила миссис Пипчин, — а вам надо раздеться и сию же минуту лечь в постель.

Таково было средство, применяемое этой проницательной женщиной против всех болезней, а главным образом — против уныния и бессонницы, за какие-то прегрешения многие юные жертвы во времена брайтонского замка были осуждены на лежание в постели с десяти часов утра.

Не дав обещания повиноваться, но выразив желание полежать спокойно, Флоренс поспешила избавиться от заботливого ухода миссис Пипчин и ее помощниц. Оставшись одна, она задумалась о том, что произошло на лестнице, сначала сомневаясь, было ли это на самом деле, потом залилась слезами, потом почувствовала невыразимый и беспредельный ужас, какой она испытала прошедшей ночью.

Она решила не ложиться спать, пока не вернется Эдит; если и не удастся поговорить с ней, то по крайней мере она будет уверена, что та благополучно возвратилась домой. Какие смутные и неясные опасения привели Флоренс к такому решению, она не знала и не смела об этом думать. Она знала только, что не будет отдыха для ее измученной головы и трепещущего сердца, пока не вернется Эдит.

Вслед за вечером пришла ночь, настала полночь — Эдит все еще нет.

Флоренс не могла заняться чтением и ни на минуту не находила покоя. Она ходила взад и вперед по своей комнате, открывала дверь и бродила по коридору, смотрела из окна в темноту, слушала,

как завывает ветер и льет дождь, садилась и всматривалась в образы, возникающие в пламени, снова вставала и следила, как луна, словно гонимый ветром корабль, летит сквозь облака.

Все в доме улеглись спать, кроме двух слуг, которые ждали внизу возвращения своей хозяйки.

Час ночи. Экипажи с грохотом пролетали вдаль, сворачивали за угол или проезжали мимо; тишина постепенно сгущалась и нарушалась все реже и реже, разве что порывом ветра или шумом дождя. Два часа: Эдит еще нет.

Флоренс, все больше волнуясь, ходила взад и вперед по своей комнате, бродила по коридору, смотрела из окна в темноту; все казалось ей неясным и расплывчатым от дождевых капель на оконном стекле и от слез, застилавших глаза; она смотрела на сумятицу в небе, столь отличную от покоя на земле и в то же время такую безмятежную и далекую. Три часа! Ужас был в каждом уголке, рассыпавшемся в камине. Эдит все еще нет.

Все больше волнуясь, Флоренс ходила взад и вперед по своей комнате, бродила по коридору, смотрела на луну, и внезапно ей почудилось, что луна похожа на побледневшую беглянку, которая спешит уйти и скрыть свое преступное лицо. Пробыло четыре часа! Пять! Эдит все еще нет!

Но вдруг в доме послышался какой-то шум; Флоренс догадалась, что один из бодрствовавших слуг разбудил миссис Пипчин, которая встала, оделась и сошла вниз к двери мистера Домби. Осторожно спускаясь по лестнице, Флоренс увидела отца, вышедшего в халате из своей комнаты; он вздрогнул, когда ему сказали, что его жена не вернулась домой. Он послал слугу на конюшню узнать, там ли кучер, а когда тот ушел, поспешил одеться. Слуга вернулся впопыхах, ведя с собою кучера, который сказал, что он уже с десяти часов был дома и лег спать. Он отвез свою хозяйку на старую ее квартиру на Брук-стрит, где ее встретил мистер Каркер...

Флоренс стояла на том самом месте, где она была, когда увидела Каркера, спускающегося по лестнице. Снова она задрожала в безотчетном страхе, так же, как при виде его, и у нее едва хватило сил слушать и понимать происходившее.

...Который сказал ему, продолжал кучер, что хозяйке не понадобится карета, и отпустил его.

Она видела, как отец побледнел, слышала, как он торопливо, дрожащим голосом позвал горничную миссис Домби. Все в доме были на ногах, и горничная тотчас же явилась, тоже очень бледная и отвечавшая бессвязно.

Она сообщила, что одела свою госпожу рано, за добрых два часа до отъезда, и, как бывало уже не раз, ей было сказано, что вечером ее услуги не потребуются. Сейчас она только что вернулась из комнат своей хозяйки, но...

— Но что? Что случилось? — Флоренс услышала, как крикнул ее отец, словно лишившись рассудка.

— ...Но будуар заперт на ключ, а ключа нет.

Отец схватил свечу, горевшую на полу, — кто-то поставил ее здесь и забыл о ней, — и бросился наверх в таком бешенстве, что Флоренс едва успела, скользнув в сторону, освободить ему дорогу. Она бежала к себе в комнату, в ужасе простирая руки, с развевающимися волосами, с лицом, искаженным как у сумасшедшей, и слышала, что он ломится в дверь.

Когда дверь поддалась и он ворвался в комнату, что он увидел там? Никто этого не знал. Но на полу лежала груда драгоценностей, полученных ею от него со дня свадьбы, платья, какие она носила, и все, что у нее было. Это была та самая комната, где он видел, вон в том зеркале, надменное лицо, отвернувшееся от него, где он безотчетно подумал о том, какова будет эта комната, когда он увидит ее в следующий раз.

Побросав эти вещи в ящики и в безумной спешке заперев их на ключ, он увидел на столе какие-то бумаги. Дарственную запись, сделанную им при бракосочетании, и письмо. Он прочел, что она ушла. Он прочел, что он обесчещен. Он прочел, что в постыдную для нее годовщину свадьбы она бежала с человеком, которого он избрал орудием ее унижения; и он выскочил из комнаты и выскочил из дому, одержимый мыслью найти ее там, куда ее отвезли, и своею рукою стереть все следы красоты с торжествующего лица.

Флоренс, почти не сознавая, что она делает, надела шаль и шляпу, думая о том, что будет бежать по улицам, пока не отыщет Эдит, а тогда сожмет ее в своих объятиях, чтобы спасти и привести домой. Но когда она выбежала на площадку и увидела слуг, сновавших со свечами вверх и вниз по лестнице, перешептывавшихся между собой и шархнувшихся в сторону от ее отца, когда тот про-

шел мимо, Флоренс очнулась, осознав свою беспомощность. Спрятавшись в одной из великолепных комнат — вот для чего разубранных! — она почувствовала, что сердце ее готово разорваться от горя.

Сострадание к отцу было первым отчетливым чувством, пробившимся сквозь этот поток скорби, захлестнувший ее. Верное сердце Флоренс обратилось к нему, когда его постигло несчастье, с таким жаром и преданностью, словно в дни своего благополучия он был воплощением ее мечты, которая постепенно стала столь туманной и призрачной. Хотя она не имела полного представления о разразившейся катастрофе и только строила догадки, рожденные безотчетным страхом, но он стоял перед ней, оскорбленный и покинутый, и снова горячая любовь побуждала ее быть подле него.

Он отсутствовал недолго: Флоренс еще плакала в великолепной комнате и предавалась этим мыслям, когда услышала его шаги. Он приказал слугам заниматься своими обычными делами и удалился на свою половину, где принялся шагать из угла в угол, так что она слышала его тяжелую поступь.

Внезапно поддавшись порыву любви, всегда такой робкой, но сейчас, когда отца постигло несчастье, смелой и неудержимой, Флоренс, не сняв шали и шляпы, сбегала вниз. Когда ее легкие шаги раздались в холле, он вышел из своей комнаты. Она бросилась к нему, простирая руки и восклицая. «О папа, милый папа!» — словно хотела обвить руками его шею.

Это она бы и сделала. Но в безумии своем он злобно поднял руку и ударил ее наотмашь с такою силой, что она пошатнулась, едва не упав на мраморный пол. И, нанеся этот удар, он ей крикнул, кто такая Эдит, и приказал идти к ней, раз они всегда были в союзе против него.

Она не упала к его ногам, она не закрыла лицо дрожащими руками, чтобы не видеть его, она не заплакала; она не попрекнула его ни единым словом. Но она посмотрела на него, и горестный вопль вырвался из ее груди. Ибо, посмотрев на него, она поняла, что в этот миг он убивает ту мечту о любви, которую, вопреки ему, она лелеяла. Она увидела его жестокость, равнодушие, ненависть, возобладавшие над этой мечтой и попирающие ее. Она поняла, что нет у нее отца, и, осиротевшая, выбежала из его дома.

Выбежала из его дома! Мгновение — и ее рука лежала на дверном замке, крик замер на ее губах, ее лицо казалось мертвенно бледным при желтом свете свечей, второпях поставленных на пол и уже оплывающих, и при дневном свете, проникающем в окно над дверью. Еще мгновение — и тесный сумрак запертого дома (ставни забыли отворить, хотя давно уже рассвело) неожиданно уступил место сиянию и простору утра. И Флоренс, опустив голову, чтобы скрыть неудержимые слезы, очутилась на улице.

Глава XLVIII Бегство Флоренс

Вне себя от горя, стыда и ужаса одинокая девушка бежала в сиянии солнечного утра, словно во мраке зимней ночи. Ломая руки и заливаясь горькими слезами, не чувствуя ничего, кроме глубокой раны в сердце, ошеломленная утратой всего, что любила, брошенная, подобно человеку на пустынном берегу, единственному, уцелевшему после крушения большого судна, она бежала без мыслей, без надежд, без цели, только бы бежать куда-нибудь — все равно куда!

Веселая перспектива длинной улицы, позолоченной утренним светом, синее небо и легкие облачка, бодрящая свежесть дня, радостного и румяного после победы над ночью, — все это не пробуждало никакого ответного чувства в ее измученной груди. Куда-нибудь, все равно куда, только бы укрыться! Куда-нибудь, все равно куда, только бы найти пристанище и никогда больше не видеть того места, откуда она бежала!

Но по улице сновали пешеходы; открывались магазины, слуги появлялись у дверей домов; нарастал шум и грохот повседневной борьбы. Флоренс видела изумление и любопытство на лицах, мелькавших мимо нее; видела, как возвращаются назад длинные тени на тротуаре; слышала незнакомые голоса, спрашивающие ее, куда она идет и что случилось; и хотя это испугало ее еще больше и заставило ускорить шаги, но в то же время сослужило добрую службу, вернув ей до известной степени самообладание и напомнив о необходимости сохранять какое-то спокойствие.

Куда идти? Куда-нибудь, все равно куда! Только бы идти. Но куда? Она вспомнила о том, как

заблудилась однажды в дебрях Лондона, — но все же заблудилась не так безнадежно, как теперь, и пошла к дому дяди Уолтера.

Заглушая рыдания, вытирая опухшие глаза, стараясь скрыть свое смятение, чтобы не привлечь внимания прохожих, Флоренс, решив идти по менее людным улицам, продолжала путь более спокойно, как вдруг по залитому солнцем тротуару скользнула знакомая тень, остановилась, завертелась на месте, подбежала к ней, снова отскочила, принялась прыгать вокруг нее, и Диоген, задыхаясь, но все-таки оглашая улицу радостным лаем, очутился у ее ног.

— О Ди! Милый, верный, преданный Ди! Как ты попал сюда? Как я могла покинуть тебя, Ди? Ведь ты бы меня никогда не покинул!

Флоренс нагнулась и прижала к своей груди его лохматую, старую, любящую, глупую голову, потом они вместе поднялись и вместе пошли дальше. Диоген не столько шел по земле, сколько неся над нею, стараясь поцеловать на лету свою хозяйку; падал на спину и как ни в чем не бывало снова вскакивал, кидался на больших собак, весело бросая вызов всему своему племени; тычась носом, пугал молоденьких служанок, мывших ступени у входных дверей, и, предаваясь всевозможным сумасбродным выходкам, поминутно останавливался, оглядывался на Флоренс и лаял, пока ему не начали отвечать все находившиеся поблизости собаки и пока все собаки, которые могли выйти на улицу, не вышли, чтобы посмотреть на него.

С таким союзником Флоренс бежала в загорающихся лучах утреннего солнца по направлению к Сити. Вскоре грохот стал громче, движение усилилось, магазины оживились, и, наконец, ее подхватил поток жизни, устремляющийся в эту сторону и равнодушно текущий мимо аукционных зал и дворцов, мимо тюрем, церквей, рыночных площадей, мимо богатства, бедности, добра и зла, подобно той широкой реке, которая струится рядом, пробужденная от грез о тростнике, ивах и зеленых мхах и, мутная и взбаламученная, катит свои воды среди трудов и забот человеческих к глубокому морю.

Наконец показались вдали владения Маленького Мичмана. Еще немного — и появился сам Маленький Мичман, стоявший на своем посту и, как всегда, погруженный в наблюдения. Еще немного — и открытая дверь приглашала ее войти. Приближаясь к концу своего путешествия, Флоренс снова ускорила шаги, перебежала через дорогу (за ней по пятам следовал Диоген, слегка смущенный уличной сутолокой), вбежала в дом и упала на пороге памятной ей маленькой гостиной.

Капитан в своей глянцевиной шляпе стоял перед камином и варил себе на завтрак какао, а элегантные его часы лежали на каминной полке, чтобы ему удобнее было справляться с ними в процессе стряпни. Заслышав шаги и шорох юбки, он с трепетом вспомнил об ужасной миссис Мак-Стинджер и обернулся в тот момент, когда Флоренс простерла к нему руку, пошатнулась и упала на пол.

Капитан, побледнев не меньше, чем Флоренс, побледнев так, что все шишки у него на лице побелели, поднял ее, как ребенка, и положил на тот самый старейший диван, на котором она когда-то спала.

— Это Отрада Сердца! — сказал капитан, пристально всматриваясь в ее лицо. — Это прелестная малютка, которая стала взрослой!

Капитан Катль так уважал ее и такое почтение почувствовал к ней, в новом ее облике, что и за тысячу фунтов не согласился бы держать ее в своих объятиях, пока она не придет в себя.

— Отрада моего Сердца! — отступив на шаг, продолжал капитан, чья физиономия выражала величайшую тревогу и сочувствие. — Если вы можете подать Нэду Катлю сигнал хотя бы пальцем, сделайте это!

Но Флоренс не пошевелилась.

— Отрада моего Сердца! — повторил трепещущий капитан. — Ради Уолтера, утонувшего в пучине морской, гоните к ветру и, если возможно, поднимите хоть какой-нибудь флаг!

Видя, что она остается нечувствительной даже к такому выразительному заклятью, капитан Катль схватил стоявшую на столе чашку с холодной водой и sprysнул ей лицо. В виду серьезности положения капитан своей огромной ручищей с удивительной нежностью снял с нее шляпку, смочил ей губы и лоб, откинул волосы со лба, укутал ей ноги своим собственным фраком, который снял специально для этой цели, погладил ее руку — такую маленькую, что, прикоснувшись к ней, он пришел в изумление, — и, видя, как затрепетали у нее ресницы и губы пошевелились, с более легким сердцем продолжал применять эти спасительные меры.

— Веселей! — сказал капитан. — Веселей! Держитесь крепче, моя красавица, держитесь креп-

че! Вот так. Теперь вам лучше. Спокойно. Так держать! Выпейте капельку, — продолжал капитан. — Ну, вот! Как дела, моя красавица, как дела?

Когда она стала приходить в себя, капитан Катль, смутна связывая представление о часах с врачебной помощью больному, достал часы с каминной полки, повесил их на свой крючок и, взяв руку Флоренс в свою, стал переводить взгляд с руки на часы, словно ждал чего-то от циферблата.

— Как дела, красавица? — осведомился капитан. — Как дела? Мне кажется, вы ей принесли пользу, любезные, — шепотом добавил капитан, бросив одобрительный взгляд на часы. — Переводите их на полчаса назад каждое утро и примерно на четверть часа вечером, и у вас будут часы, равных которым мало, а лучше их и вовсе нет. Ну, как дела, моя маленькая леди?

— Капитан Катль! Это вы? — воскликнула Флоренс, слегка приподнимаясь.

— Да, да, моя маленькая леди, — сказал капитан, избрав впопыхах эту изящную форму обращения как самую учтивую, какую он только мог придумать.

— Дядя Уолтера здесь? — спросила Флоренс.

— Здесь, милочка? — переспросил капитан. — Его здесь нет уже много дней. О нем не слыхали с той поры, как он пустился в плавание по следам бедного Уольра. Но, — добавил капитан в виде цитаты, — хоть нет его здесь, но память о нем... и да здравствует Англия, Родина и Красота!

— Вы здесь живете? — осведомилась Флоренс.

— Да, моя маленькая леди, — ответил капитан.

— О капитан Катль! — вне себя воскликнула Флоренс, сжимая руки. — Спасите меня! Оставьте меня здесь. Пусть никто не знает, где я! Скоро я соберусь с силами и расскажу о том, что случилось. У меня нет никого, к кому бы я могла пойти. Не прогоняйте меня!

— Прогнать вас, моя маленькая леди! — вскричал капитан. — Вас, Отрада моего Сердца! Подождите минутку. Мы наглухо задраим иллюминатор и дважды повернем ключ в замке.

С этими словами капитан, пользуясь удивительно ловко своей единственной рукою и крючком, достал щит, которым на ночь прикрывалась дверь, приладил его и запер дверь на ключ.

Когда он вернулся к Флоренс, она взяла его руку и поцеловала. Беспомощность, мольба, обращенная к нему, и доверие, выразившиеся в этом поступке, бесконечная скорбь, омрачавшая ее лицо, душевная боль, от которой она несомненно страдала раньше и страдала сейчас, ее прошлая жизнь, хорошо ему известная, и этот одинокий, измученный и беспомощный ее вид — все это до такой степени потрясло доброго капитана, что он преисполнился нежности и сочувствия.

— Моя маленькая леди, — сказал капитан, растирая рукавом переносицу, пока она не засверкала, как отполированная медь, — не говорите Эдуарду Катлю ни слова до той поры, пока не убедитесь, что плаваете в тихих водах; а этого не случится ни сегодня, ни завтра. А что касается того, чтобы выдать вас, донести, где вы находитесь, то поистине и с божьей помощью я так не поступлю, перелистайте катехизис и отметьте это место!

Все это вместе с ссылкой на катехизис капитан произнес единым духом и с большой торжественностью; при слове «поистине» он снял шляпу и снова надел ее по окончании речи.

Флоренс ничего не оставалось, как поблагодарить его и выразить ему полное свое доверие, что она и сделала. Прильнув к этому грубоватому человеку, как к последнему прибежищу для ее измученного сердца, она положила голову на плечо честного капитана, обняла его за шею и опустилась бы перед ним на колени, чтобы поблагодарить, если бы он не угадал ее намерения и не удержал ее, что и полагалось сделать настоящему мужчине.

— Спокойно! — сказал капитан. — Спокойно. Знаете ли, моя красавица, вы слишком слабы, чтобы стоять, вам нужно опять прилечь. Вот так.

Стоило отказать от многих замечательных зрелищ, чтобы видеть, как капитан уложил ее на диван и прикрыл своим фраком.

— А теперь, — сказал капитан, — вы должны позавтракать, маленькая леди, и собаке тоже следует закусить. А потом вы подниметесь наверх, в комнату старого Соля Джилса, и заснете там ангельским сном.

Упомянув о Диогене, капитан Катль погладил его, а Диоген милостиво пошел ему навстречу, приняв эту ласку. Пока применялись спасительные меры, он явно колебался, следует ли наброситься на капитана, или заключить с ним дружбу. И эту борьбу чувств он выразил в том, что попеременно вилял хвостом и скалил зубы, а несколько раз принимался рычать. Но теперь все его сомнения рас-

сеялись. Было ясно, что он считает капитана одним из приятнейших людей, знакомство с коим является честью для любой собаки.

Придя к такому заключению, Диоген не отходил от капитана, пока тот заваривал чай и готовил гренки, и проявил живейший интерес к его хозяйству. Но незачем было доброму капитану делать такие приготовления для Флоренс, которая тщетно пыталась воздать им должное, но ничего не могла есть и только плакала и плакала.

— Ну-ну! — сказал сочувственно капитан. — Вам нужно поспать, Отрада моего Сердца, потом у вас прибавится сил. Сейчас ты получишь свой паек, приятель, — обратился он к Диогену, — а затем тебе придется караулить свою хозяйку наверху.

Хотя у Диогена потекли слюнки и глаза заблестели при виде завтрака, однако, когда этот завтрак был ему предложен, он не набросился на него, но наострил уши, побежал к дверям лавки и залез бешеным лаем, тыкаясь носом в порог, словно хотел прорыть себе выход.

— Там кто-нибудь есть? — в тревоге спросила Флоренс.

— Нет, моя маленькая леди, — отозвался капитан. — «Кто бы мог подойти сюда и не постучаться? Смелей, моя красавица! Это, видно, прохожие.

Тем не менее Диоген лаял и лаял и с бешеным упрямством царапал пол когтями; изредка он прислушивался и как будто снова получал подтверждение, потому что опять принимался лаять и царапать пол. Когда его уговорили вернуться к завтраку, он приблизился с весьма нерешительным видом и, не проглотив ни кусочка, бросился опять к двери в новом припадке бешенства.

— Что, если кто-нибудь подслушивает там и караулит? — прошептала Флоренс. — Быть может, кто-нибудь видел, как я вошла сюда... кто-нибудь следил за мной?

— Не пришла ли сюда та, молодая женщина, маленькая леди? — осведомился капитан, ослепленный блестящей идеей.

— Сьюзен? — сказала Флоренс, покачав головой. — О нет! Сьюзен давно уже ушла от меня.

— Надеюсь, не сбежала с корабля? — спросил капитан. — Не говорите, мне, моя красавица, что эта молодая женщина удрала.

— О нет! — воскликнула Флоренс. — Сьюзен — самое преданное создание во всем мире.

Такой ответ доставил капитану великое облегчение, и он выразил свое удовольствие тем, что снял твердую глянцеви́тую шляпу, вытер голову носовым платком и с бесконечным удовлетворением, с сияющей физиономией несколько раз повторил, что он это знал.

— Ну, вот ты и успокоился, не так ли, братец? — обратился капитан к Диогену. — Там никого не было, господь с вами, моя маленькая леди!

Диоген был в этом не очень-то уверен. Время от времени дверь снова притягивала его к себе, и он обнюхивал ее и ворчал, не в силах забыть о предмете своих подозрений. Это обстоятельство, а также подмеченные капитаном утомление и слабость Флоренс привели к тому, что капитан Катль решил немедленно приготовить ей приют в спальне Соля Джилса. Поэтому он тотчас отправился наверх и постарался убрать комнату как можно лучше, руководствуясь своим воображением и средствами, находившимися у него под рукой.

Там и без того было очень чисто; капитан, будучи человеком аккуратным и привычным к порядку, превратил кровать в кушетку, накрыв ее чистым белым покрывалом. Он проявил не меньшую изобретательность, превратив туалетный столик в некое подобие алтаря, на котором разместил две серебряные чайные ложки, горшок с цветами, свои знаменитые часы, карманный гребень и песенник — маленькую коллекцию редкостей, производившую наилучшее впечатление. Завесив окно и расправив ковер на полу, капитан снова спустился в маленькую гостиную, чтобы проводить Флоренс в ее будуар.

Ничто не могло бы убедить капитана в том, что у Флоренс хватит сил самой подняться по лестнице. Если бы даже эта мысль и взбрела ему в голову, он счел бы возмутительным нарушением правил гостеприимства разрешить Флоренс идти самостоятельно. Флоренс была слишком слаба, чтобы оспаривать такую точку зрения, и капитан немедленно перенес ее на руках наверх, уложил и накрыл широким вахтенным плащом.

— Моя маленькая леди, — сказал капитан, — здесь вы в такой же безопасности, как если бы забрались на купол собора святого Павла, а лестницу бы потом убрали. Прежде всего вам нужен сон, и, быть может, вы почувствуете себя бодрее, когда этот бальзам утолит боль раненой души. Если

вам, Отрада моего Сердца, что-нибудь понадобится и это можно раздобыть здесь в доме, или же в Лондоне, скажите только словечко Эдуарду Катлю, который будет стоять на страже за дверью, и этим вы доставите ему величайшую радость.

В заключение капитан с учтивостью странствующего рыцаря былых времен поцеловал руку, протянутую ему Флоренс, и на цыпочках вышел из комнаты.

Спустившись в маленькую гостиную, капитан Катль после торопливого совещания с самим собой решил открыть на несколько минут дверь лавки и удостовериться, что уж теперь-то, во всяком случае, никто не слоняется поблизости. Итак, он распахнул дверь и остановился на пороге, зорко посматривая во все стороны и обозревая всю улицу.

— Как поживаете, капитан Джилс? — раздался голос у самого его уха.

Капитан, взглянув вниз, увидел, что, пока он обозревал горизонт, его абордировал мистер Тутс.

— А как ваши дела, приятель? — откликнулся капитан.

— Ничего себе, благодарю вас, капитан Джилс, — сказал мистер Тутс. — Ведь вам известно, что теперь я никогда не чувствую себя так хорошо, как было бы желательно. Да я и не надеюсь, что это когда-нибудь может случиться.

В беседе с капитаном Катлем мистер Тутс никогда не позволял себе более ясных намеков на самый дорогой для него предмет, ибо помнил о заключенном договоре.

— Капитан Джилс, — сказал мистер Тутс, — если бы я мог иметь удовольствие поговорить с вами... дело важное.

— Видите ли, приятель, — сказал капитан, уводя его в маленькую гостиную, — я, собственно говоря, сегодня утром занят; и, стало быть, если вы отплывете сейчас на всех парусах, меня это не обидит.

— Конечно, капитан Джилс, — ответил мистер Тутс, который редко понимал, что именно хочет сказать капитан. — Я как раз и хочу отплыть на всех парусах. Само собой разумеется.

— В таком случае, приятель, вы так и поступайте, — отвечивал капитан.

Капитан был столь ошеломлен хранимой им потрясающей тайной — пребыванием мисс Домби в этот момент под его крышей, о чем не ведает сидящий перед ним Тутс, — что пот выступил у него на лбу. Украдкой отирая его и держа в руке глянцевиновую шляпу, он не мог отвести глаз от лица мистера Тутса. Мистер Тутс, у которого тоже имелись, по-видимому, какие-то тайные причины для волнения, был до такой степени сбит с толку пристальным взглядом капитана, что, посмотрев на него молча, растерянно заерзал на стуле и сказал:

— Прошу прощения, капитан Джилс, вы ничего особенного во мне не замечаете?

— Нет, приятель, — ответил капитан. — Ничего.

— Дело, знаете ли, в том, — хихикнув, сказал мистер Тутс, — что я чахну. Можете говорить об этом не стесняясь. Мне... мне это будет приятно. Я так исхудал, что Берджес и Ко заново сняли с меня мерку. Для меня это счастье. Я... я этому рад. Если бы это от меня зависело, я бы... я бы с большим удовольствием покатился под гору. Я всего-навсего скотина, да будет вам известно, капитан Джилс, скотина, которая пасется на поверхности земли.

Чем больше распространялся на эту тему мистер Тутс, тем больше угнетала капитана его собственная тайна и тем пристальнее смотрел он на собеседника. Пребывая в замешательстве и желая избавиться от мистера Тутса, капитан имел такой испуганный и странный вид, что вряд ли мог прийти в большее смущение, даже если бы вел разговор с привидением.

— Но вот что я хотел сказать, капитан Джилс, — продолжал мистер Тутс, — сегодня рано утром я очутился в этих краях... по правде сказать, я хотел позавтракать с вами. Что касается сна, то я, знаете ли, совсем перестал теперь спать. Я все равно что ночной сторож, с той только разницей, что мне не платят жалованья, а у сторожа нет ничего тяжелого на душе.

— Валяйте дальше, приятель, — предостерегающим тоном сказал капитан.

— Правильно, капитан Джилс, — сказал мистер Тутс. — Совершенно верно! Очутившись в этих краях рано утром (примерно с час тому назад) и увидев, что дверь заперта...

— Как! Значит, это вы, братец, вертелись под дверью? — осведомился капитан.

— Ничуть не бывало, капитан Джилс, — ответил мистер Тутс. — Я здесь ни на секунду не останавливался. Я думал, что вас нет дома. Но один человек сказал... Кстати, капитан Джилс, ведь у вас в доме нет собаки?

Капитан покачал головой.

— Ну, конечно, — подтвердил мистер Тутс, — я так и сказал. Я знал, что у вас ее нет. Дело в том, капитан Джилс, что речь идет о собаке, принадлежащей... Простите. Об этом запрещено упоминать.

Капитан таращил глаза на мистера Тутса, пока тот не показался ему чуть ли не вдвое больше, чем был на самом деле; и снова на лбу у капитана выступил пот. когда он подумал о том, что Диоген, быть может, вздумает спуститься вниз и присоединиться к компании в гостиную.

— Этот человек, — продолжал мистер Тутс, — сказал, что он слышал собачий лай в лавке, а я знал, что этого быть не может, и так ему и заявил. Но он остался при своем убеждении, как будто видел собаку собственными глазами.

— Что это за человек, приятель? — осведомился капитан.

— Вот в том-то и дело, капитан Джилс, — сказал мистер Тутс, проявляя еще большее волнение. — Не мне говорить о том, что могло случиться и чего не могло случиться. Право же, я не знаю. Я чего-то не понимаю, и мне кажется, что-то у меня не в порядке — короче говоря, голова у меня не совсем в порядке.

Капитан в знак согласия кивнул головой.

— Но когда мы отошли от двери, — продолжал мистер Тутс, — этот человек заявил, будто вы знаете, что может случиться при данных обстоятельствах, — слово «может» он произнес весьма выразительно, — и что, если вас попросит о том, чтобы вы подготовились, вы, конечно, подготовитесь.

— Что это за человек, приятель? — повторил капитан.

— Право же, капитан Джилс, я не знаю, что это за человек, — ответил мистер Тутс. — Я понятия об этом не имею. Но, подойдя к двери, я увидел, что он здесь стоит. А он спросил, вернусь ли я сюда еще раз. Я ответил утвердительно, и он спросил, знаю ли я вас. Я сказал — да, я имею честь быть с вами знакомым, вы удостоили меня этой чести после моих просьб. Тогда он сказал: в таком случае не сообщу ли я вам то, что я уже сообщил о данных обстоятельствах, и о том, чтобы вы подготовились, и, как только мы с вами увидимся, не попрошу ли я вас завернуть за угол и зайти хотя бы на одну минутку к маклеру Броли по очень важному делу? И вот что я вам скажу, капитан Джилс: неизвестно, какое это дело, но я убежден, что оно очень важное, и если вы не прочь пойти сейчас, я здесь подожду вашего возвращения.

Капитан, который боялся, что как-нибудь скомпрометирует Флоренс, если откажется идти, и в то же время страшился оставить мистера Тутса одного в доме, где он может случайно открыть тайну, пришел в смятение, не укрывшееся даже от мистера Тутса. Но этот молодой джентльмен, полагая, что его друг-моряк просто-напросто готовится к предстоящему свиданию, был вполне удовлетворен и, хихикая, припоминал собственное свое благоразумное поведение.

Наконец капитан, выбирая из двух зол меньшее, решил забежать к маклеру Броди, а предварительно запереть дверь, ведущую наверх, и ключ положить к себе в карман.

— Уж вы простите, что я это сделал, приятель, — не без стыда и смущения сказал капитан мистеру Тутсу.

— Капитан Джилс, — ответил мистер Тутс, — что бы вы ни сделали, я всем останусь доволен.

Капитан искренне поблагодарил его и, обещав вернуться не позже чем через пять минут, отправился разыскивать человека, доверившего мистеру Тутсу это таинственное поручение. Бедняга мистер Тутс, предоставленный самому себе, лег на диван, отнюдь не подозревая, кто покоился здесь совсем недавно, и, глядя на окно под самым потолком и предаваясь мечтам о мисс Домби, потерял представление о времени и пространстве.

Для него это было к лучшему, ибо, хотя капитан отсутствовал недолго, но все-таки гораздо дольше, чем предполагал. Вернулся он очень бледный и в сильном волнении, и даже похоже было на то, что он всплакнул. Казалось, он утратил дар речи и обрел его вновь лишь вслед за тем, как наведлся в буфет и хлебнул рому из четырехугольной бутылки, после чего испустил глубокий вздох и сел на стул, прикрывая лицо рукой.

— Капитан Джилс, — участливо сказал мистер Тутс, — я верю и надеюсь, что ничего плохого не случилось.

— Благодарю вас, приятель, ровно ничего, — ответил капитан. — Как раз наоборот.

— Вы как будто чем-то ошеломлены, капитан Джилс, — заметил мистер Тутс.

— Что и говорить, приятель, меня захватили врасплох, — согласился капитан. — Верно.

— Не могу ли я чем-нибудь помочь, капитан Джилс? — осведомился мистер Тутс. — В таком случае, располагайте мною.

Капитан отнял руку от лица, посмотрел на мистера Тутса с какою-то странной жалостью и сочувствием, взял его за руку и крепко ее пожал.

— Нет, благодарю вас, ничем не можете, — сказал капитан. — Но вы оказали бы мне услугу, если бы распрощались сейчас со мной. Мне кажется, братец, — он снова пожал ему руку, — вы чудеснейший парень в мире после Уольра, хотя и в другом роде, чем он.

— Честное слово, капитан Джилс, — отозвался мистер Тутс, предварительно похлопав капитана по руке, а затем пожав ее вторично, — я в восторге от вашего доброго мнения обо мне. Благодарю вас.

— Держитесь крепче и не падайте духом, — сказал капитан, поглаживая его по спине. — Велика беда! На свете много хорошеньких девушек.

— Не для меня, капитан Джилс, — торжественно ответил мистер Тутс. — Не для меня, уверяю вас! Чувства мои по отношению к мисс Домби столь неопишутемы, что мое сердце превратилось в необитаемый остров, на котором живет она одна. Я худею с каждым днем и горжусь этим. Если бы вы посмотрели на мои ноги, когда я снимаю башмаки, вы бы поняли, что такое любовь без взаимности. Мне прописали хинин, но я не принимаю, потому что вовсе не хочу укреплять свое здоровье. Да, не хочу. Впрочем, об этом запрещено упоминать. До свидания, капитан Джилс!

Капитан Катль, сердечно ответив на прощальное приветствие мистера Тутса, запер за ним дверь, покачал головой с тою же странной жалостью и сочувствием, с какими смотрел на него раньше, и пошел наверх узнать, не нуждается ли Флоренс в его услугах.

Когда капитан поднимался по лестнице, выражение его лица совершенно изменилось. Он вытирал глаза платком, он полировал рукавом переносицу так же, как делал это утром, но выражение его лица резко изменилось. Он казался то чрезвычайно счастливым, то печальным, но какая-то глубокая серьезность, разлитая во всех его чертах, была совершенно ему несвойственна и очень его красила, как будто его лицо подверглось некоему очистительному процессу.

Раза два или три он тихонько постучал своим крючком в дверь Флоренс, но, не получив никакого ответа, осмелился сначала заглянуть, а потом войти в комнату; быть может, он отважился на этот последний шаг благодаря тому, что был встречен, как старый знакомый, Диогеном, который, растянувшись на полу возле кровати, завилал хвостом и, не потрудившись встать, посмотрел, моргая, на капитана.

Она спала тяжелым сном и во сне стонала. А капитан Катль, поистине благоговей перед ее юностью, красотой и скорбью, поправил ей подушку, разгладил сбившийся плащ, которым она была прикрыта, плотнее задернул занавески, чтобы она хорошенько выспалась, и, на цыпочках выйдя из комнаты, стал караулить на лестнице. Все движения его и походка стали такими же легкими, как у самой Флоренс.

В этом сложном мире долго еще останется неразрешенным вопрос, что есть наилучшее доказательство благодати всемогущего — нежные ли пальцы, созданные для сочувственного, ласкового прикосновения и для утешения боли и горя, или грубая, жесткая рука, рука капитана Катля, которую сердце в один миг может направить и смягчить.

Флоренс спала на своем ложе, забыв о своей бесприютности и сиротстве, а капитан Катль сторожил на лестнице. Всхлипывание или особенно громкий стон по временам заставляли его подойти к двери, но постепенно сон ее стал спокойнее, и вахта капитана протекала мирно.

Глава XLIX

Мичман делает открытие

Флоренс долго не просыпалась. День разгорался, день угасал, а она, потрясенная телесно и душевно, по-прежнему спала, не сознавая, что лежит на чужой кровати, что на улице шум и суета и свет сияет за занавешенным окном. Полное забвение того, что произошло в родном доме, переставшем для нее существовать, не могло быть дано даже глубоким сном, который был вызван крайним

утомлением. Какое-то смутное и горестное воспоминание об этом, тревожно дремлющее, но не засыпающее, вторгалось в ее покой. Тупая скорбь, подобно приглушенному ощущению боли, не покидала ее ни на минуту, и бледная ее щека орошалась слезами чаще, чем хотелось бы это видеть преданному капитану, который время от времени потихоньку просовывал голову в полуоткрытую дверь.

Солнце стояло низко на западе и, выглядывая из-за красноватой дымки, пронизывало лучами бойницы и резные украшения на шпицах городских церквей, словно втыкая в них золотые стрелы. Оно сияло вдали, пересекая реку с ее плоскими берегами огненной полосой, и озаряло паруса судов на море, а если смотреть на него с тихих кладбищ, расположенных на холмах за городом, оно окутывало дали заревом, которое как бы соединяло землю и небо, заливая их ярким румянцем. Солнце стояло низко на западе, когда Флоренс, подняв отяжелевшие веки, лежала, глядя бессознательно и безучастно на незнакомые стены и столь же равнодушно прислушиваясь к уличному шуму. Но вдруг она вскочила с постели, удивленно и растерянно осмотрелась вокруг и вспомнила все.

— Красавица моя! — сказал капитан, постучав в дверь. — Как дела?

— Дорогой друг! — воскликнула Флоренс, бросившись ему навстречу. — Это вы?

Капитан так возгордился, услышав этот титул, и так был восхищен ее просиявшим от радости лицом, когда она его увидела, что вместо ответа поцеловал крючок, без слов выражая свое удовольствие.

— Как дела, мой светлый алмаз? — осведомился капитан.

— Должно быть, я очень долго спала, — сказала Флоренс. — Когда я пришла сюда? Вчера?

— Сегодня, сегодня, моя маленькая леди, — ответил капитан.

— Значит, ночь еще не настала? Сейчас еще день? — спросила Флоренс.

— Дело идет к вечеру, моя красавица, — сказал капитан, отдергивая занавеску. — Смотрите!

Флоренс, опираясь на руку капитана, такая печальная и робкая, и капитан с его грубоватым лицом и крепкой фигурой, так спокойно охраняющий Флоренс, стояли, не говоря ни слова, в розовом сиянии ясного вечернего неба. Если бы капитан облек свои чувства в слова, он, быть может, прибег бы к очень странным оборотам речи, но он понимал не хуже, чем самый красноречивый человек, что этот тихий вечерний час и умиротворенная его красота заставят излиться слезами раненое сердце Флоренс и что лучше всего дать волю этим слезам. Итак, не единого слова не проронил капитан Катль. Но когда он почувствовал, что она крепче обхватила его руку, когда он почувствовал, что голова одинокой девушки ближе склонилась к нему и прильнула к его грубому синему рукаву, он ласково прижал ее своей шершавой рукой, понял все, и Флоренс поняла его.

— Вот и легче стало, моя красавица, — сказал капитан. — Веселей, веселей! Я пойду вниз и приготовлю чего-нибудь к обеду. Вы сами спуститесь потом, моя красавица, или же Нэду Катлю вернуться и отнести вас?

Когда Флоренс уверила его, что прекрасно может сойти вниз сама, капитан, хотя и явно сомневаясь, допускает ли это правилами гостеприимства, позволил ей поступить по собственному желанию и немедленно принялся жарить курицу на огне, пылавшем в камине маленькой гостиной. Дабы лучше справиться со стряпней, он снял фрак, подвернул манжеты и надел глянцевиновую шляпу — без этого помощника он никогда не приступал ни к одному деликатному или трудному делу.

Освежив наболевшую голову и горящее лицо холодной водой, которую капитан заботливо припас для нее, пока она спала, Флоренс подошла к маленькому зеркальцу, чтобы привести в порядок растрепавшиеся волосы. Тогда она увидела — на одну секунду, ибо тотчас отвернулась, что на груди у нее остался темный след от удара, нанесенного жестокой рукой.

Когда она увидела этот след, слезы снова брызнули у нее из глаз. Она стыдилась его, но он не вызвал негодования против отца. Бездомная и осиротевшая, она простила отцу все: вряд ли думала она о том, что должна его простить, или о том, что прощает, но она бежала от самой мысли о нем так же, как убежала от действительности. И он окончательно ушел и перестал существовать. Не было на свете такого человека.

Что делать, где жить — об этом Флоренс, бедная, неопытная девушка, не могла еще думать. Она смутно мечтала о том, чтобы где-нибудь, далеко отсюда, обучать маленьких девочек, сестер, которые ее полюбят, а она, живя под чужим именем, в свою очередь привяжется к ним; они вырастут у своего счастливого домашнего очага, выйдут замуж, но не забудут старой гувернантки и, быть может, со временем поручат ей воспитание своих дочерей. Она думала о том, как странно и грустно

Чарльз Диккенс «Торговый дом Домби и сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт»

стать седовласой женщиной, уносящей свою тайну в могилу, когда Флоренс Домби будет забыта. Но все это представлялось ей теперь туманным. Она знала только, что нет у нее отца на земле, и много раз повторяла это, когда, оставшись одна, обращалась с мольбой к отцу на небесах.

Ее скудный запас денег состоял из нескольких гиней. Часть этих денег следовало потратить на покупку белья и платьев, потому что у нее было только то, что на ней надето. Она была слишком опечалена, чтобы думать о том, скоро ли ее деньги иссякнут, и по-детски неопытна в житейских делах, чтобы из-за этого чересчур огорчаться, даже если бы других огорчений у нее не было. Она постаралась успокоиться и осушить слезы, привести в порядок мысли, убедить себя в том, что события произошли всего только несколько часов назад, — а не месяцев и недель, как ей казалось, — и, наконец, спустилась вниз к своему доброму покровителю.

Капитан очень заботливо накрыл стол скатертью и приготавливал яичный соус в кастрюльке; при этом он с живейшим интересом поливал жиром курицу, в то время как эта курица подрумянивалась на вертеле над огнем. Обложив Флоренс подушками — а диван для большего ее удобства был уже передвинут в теплый уголок, — капитан продолжал с изумительным мастерством заниматься стряпней, приготовил горячую подливку во второй кастрюльке, сварил несколько картофелин в третьей, не забывая при этом о яичном соусе в первой и не переставая поминутно поливать жиром и поворачивать курицу. Помимо этих забот, на капитане лежала еще обязанность присматривать за небольшой сковородкой, на которой в высшей степени музыкально шипели сосиски; и не бывало еще на свете такого сияющего повара, каким казался капитан в разгар этой работы: немислимо было определить, что блестит ярче — лицо его или глянцевиная шляпа.

Когда обед был, наконец, готов, капитан Катль сервировал его и подал с не меньшей ловкостью, чем состряпал. Затем он нарядился к обеду, иными словами — снял свою глянцевиновую шляпу и надел фрак. Покончив с этим, он придвинул стол к дивану, на котором сидела Флоренс, прочитал молитву, отвинтил свой крючок, ввинтил вместо него вилку и приступил к исполнению обязанностей хозяина дома.

— Моя маленькая леди, — сказал капитан, — развеселитесь и постарайтесь хорошенько покушать. Держитесь крепче, милочка! Вот крылышко. Вот соус. Вот сосиски. И картофель!

Все это капитан симметрически разложил на тарелке и, полив горячей подливкой, поставил тарелку перед своей дорогой гостьей.

— Все иллюминаторы задраены наглухо, маленькая леди, — ободряющим тоном заметил капитан, — и все в полном порядке. Постарайтесь покушать, моя красавица. Если бы Уольр был здесь...

— Ах, если бы он был здесь и заменил мне брата! — воскликнула Флоренс.

— Полно, полно, красавица! — сказал капитан. — Перестаньте, прошу вас. Он был вашим испытанным другом, правда, милочка?

Флоренс ничего не могла ответить. Она сказала только:

— Ах, милый, милый Поль! Ах, Уолтер!

— Даже палубу, по которой она ходила, почитал Уольр, — прошептал капитан, глядя на ее поникшую головку, — почитал не меньше, чем вечно жаждущий читит ручьи и источники. Я как сейчас его вижу в тот день, когда его занесли в судовой журнал Домби, и за обедом он говорил о ней, и лицо его сияло, словно только что распустившаяся роза, — если не от росы, то, во всяком случае, от целомудренных чувств. Если бы наш бедный Уольр был здесь, моя маленькая леди... или если бы он мог быть здесь... но ведь он утонул, не так ли?

Флоренс кивнула головой.

— Да, да, утонул, — успокоительно произнес капитан. — Так вот, я говорил, что, будь он здесь, он бы вас просил и умолял, мое сокровище, чтобы вы немножко покушали. Итак, крепитесь, моя маленькая леди, как вы крепились бы ради Уольра, и держитесь носом против ветра.

Чтобы доставить удовольствие капитану, Флоренс попыталась съесть кусочек. Тем временем капитан, который как будто совсем позабыл о своем собственном обеде, положил нож и вилку и придвинул свой стул к дивану.

— Уольр был молодчина, не правда ли, мое сокровище? — сказал капитан, который в течение некоторого времени молча потирал подбородок и смотрел на нее. — И он был славным парнем, добрым парнем?

Флоренс со слезами подтвердила это.

— И он утонул, красавица, не правда ли? — успокоительным тоном сказал капитан.

И снова Флоренс могла только подтвердить.

— Он был старше вас, моя маленькая леди, — продолжал капитан, — но сначала вы были словно двое ребятишек, не правда ли?

Флоренс ответила:

— Да.

— А Уольр утонул, — сказал капитан. — Не правда ли?

Этот многократно повторяемый вопрос вряд ли мог служить источником утешения, но, казалось, он служил таковым для капитана Катля, ибо капитан задавал его снова и снова. Флоренс, отказавшись от обеда и откинувшись на спинку дивана, протянула ему руку, чувствуя, что она его огорчила, и всей душой желая ему угодить после всех его хлопот. Но он, удержав ее руку в своей (которая при этом задрожала) и словно забыв об обеде и об отсутствии у нее аппетита, время от времени принимался бормотать глубокомысленным и сочувственным тоном: «Бедный Уольр! Да, да! Утонул. Не правда ли?» И каждый раз ждал ее ответа, словно этот вопрос он задавал только для того, чтобы услышать ответ Флоренс.

Курица и сосиски остыли, подливка и яичный соус перестоялись, прежде чем капитан вспомнил о том, что они поданы на стол, и прибег к помощи Диогена, после чего они вдвоем быстро закончили с пиршеством. Восторг и изумление капитана при виде Флоренс, которая как ни в чем не бывало стала помогать ему убирать со стола, приводить в порядок гостиную и выметать золу из очага, — с этими чувствами мог состязаться лишь пламенный его протест, когда она принялась ему помогать, — постепенно возросли до таких пределов, что он только и мог, сложа руки, стоять и смотреть на нее, словно на какую-то фею, грациозно исполнявшую за него эту работу: красный ободок у него на лбу снова воспламенился от неопишуемого восхищения.

Но когда Флоренс, взяв трубку с каминной полки, подала ее ему и попросила закурить, добрый капитан был потрясен ее вниманием до предела, и держал эту трубку с таким видом, словно первый раз в жизни держит в руках трубку. Когда же Флоренс, заглянув в маленький буфет, достала четырехугольную бутылку и, не дожидаясь его просьбы, приготовила ему стакан превосходного грога и поставила подле него, капитан почувствовал себя столь возвеличенным, что даже багровый его нос побелел. Пребывая в блаженном состоянии, он набил трубку, а Флоренс подала ему огня закурить — капитан не в силах был возражать или помешать ей — и, заняв прежнее свое место на диване, посмотрела на него с нежной и благодарной улыбкой, столь ясно говорившей, что ее одинокое сердце обратилось к нему так же, как обращено ее лицо; тогда дым от трубки забился капитану в горло, и заставил его раскашляться, и попал капитану в глаза, и заставил его заморгать и прослезиться.

В высшей степени было приятно наблюдать, как капитан старался убедить ее, будто причина, вызвавшая такие последствия, сокрыта в самой трубке, и как он в поисках этой самой причины заглядывал в чашечку трубки и, не найдя ее там, сделал вид, будто выдувает ее из мундштука. Как только трубка была приведена в порядок, он погрузился в блаженное состояние, приличествующее завязтому курильщику, но глаза его были устремлены на Флоренс, и с неопишуемо добродушной и сияющей физиономией он время от времени выпускал облачко дыма, которое, вырываясь из его рта, медленно разворачивалось, подобно свитку с надписью: «Да, да, бедный Уольр! Утонул, не правда ли?», после чего он продолжал курить с величайшим благодушием.

Как ни были они внешне непохожи друг на друга — Флоренс в расцвете ее нежной юности и красоты и капитан Катль с его усеянным шишками лицом, грузной, закаленной бурями фигурой и грубым голосом, — но что касается простодушного незнания жизни, ее трудностей и опасностей, — в этом отношении они стояли почти на одном уровне. Ребенок не мог бы превзойти капитана Катля в полном неведении того, что не касается ветров и ненастья, в наивности, легковерии и великодушной доверчивости. Вера, надежда и доброта владели всем его существом. К этим качествам присоединялся какой-то странный романтизм, отнюдь не питающий воображения, но чуждый реальности и не тревожимый размышлениями о житейском благоразумии или выгодах. Когда капитан сидел, курил и смотрел на Флоренс, одному богу известно, какие рисовались ему фантастические картины, в которых она занимала первое место. Не менее туманны и расплывчаты, хотя и не столь жизнерадостны, были мысли Флоренс о будущей ее жизни; и подобно тому, так слезы преломляли свет, на который

она смотрела, так и сквозь новое и тяжкое свое горе она уже видела радугу, слабо мерцающую в далеком небе. Странствующая принцесса и доброе чудовище из книги сказок могли бы сидеть так у камелька, и беседа их соответствовала бы мыслям капитана Катля и бедной Флоренс, — причем между ними было бы и внешнее сходство.

Капитана нимало не тревожили затруднения, вызванные пребыванием у него Флоренс, или ответственность, с этим связанная. Закрыв ставни и заперев дверь, он совершенно успокоился на этот счет. Будь она даже малолетней, опекаемой Канцлерским судом¹⁰⁹, это не имело бы ни малейшего значения для капитана Катля. Такого человека, как он, меньше всего могли обеспокоить подобные соображения.

Итак, капитан преспокойно курил свою трубку; Флоренс и он размышляли каждый по-своему. Когда трубка была выкурена, они напились чаю, а затем Флоренс попросила проводить ее в какую-нибудь лавку по соседству, где бы она могла купить самые необходимые вещи. Было уже совсем темно, а потому капитан дал свое согласие, но сначала выглянул осторожно на улицу, как привык делать в то время, когда скрывался от миссис Мак-Стинджер, и вооружился большой палкой на случай, если непредвиденные обстоятельства заставят его прибегнуть к оружию.

Великую гордость испытал капитан Катль, когда подал руку Флоренс и прошел вместе с нею каких-нибудь двести или триста ярдов, все время зорко посматривая вокруг и привлекая внимание прохожих своею чрезвычайно бдительностью и многочисленными мерами предосторожности. По прибытии в лавку капитан из деликатности счел необходимым удалиться на время, так как Флоренс предстояло купить принадлежности туалета; но предварительно он поставил на прилавок свою жестяную чайницу и, сообщив молодой леди, служащей в лавке, что в чайнице находится четырнадцать фунтов два шиллинга, попросил ее, в случае если этих денег не хватит на покрытие расходов по обмундированию его племянницы — при слове «племянница» он бросил многозначительный взгляд на Флоренс, сопровождая его пантомимой, исполненной лукавства и таинственности, — попросил ее окликнуть его, и он уплатит недостающую сумму из своего кармана. Взглянув как бы невзначай на огромные свои часы с целью поразить продавцов и внушить им мысль о богатстве владельца этих часов, капитан поцеловал затем свой крючок, приветствуя племянницу, и, выйдя из магазина, расположился перед витриной; истинным удовольствием было созерцать его широкую физиономию, появляющуюся время от времени среди шелков и лент, так как он явно опасался, что Флоренс может улетучиться через заднюю дверь.

— Дорогой капитан Катль, — сказала Флоренс, выйдя из лавки со свертком, размеры коего весьма огорчили капитана, надеявшегося увидеть носильщика, следующего за нею с тюком товаров, — право же, мне не нужны эти деньги. Я ничего из них не истратила. У меня есть деньги.

— Моя маленькая леди, — отозвался разочарованный капитан, глядя прямо перед собой вдоль улицы, — будьте так добры, поберегите их для меня, пока я их у вас не попрошу.

— Можно мне положить их туда, где они раньше были, — спросила Флоренс, — и хранить их там?

Капитан был отнюдь не в восторге от этого предложения, но тем не менее ответил:

— Да, да, моя маленькая леди, кладите их, куда хотите, только бы вы знали, где их найти. Мне они совсем не нужны, — сказал капитан. — Удивляюсь, как это я их до сих пор не спустил!

В первую минуту капитан был совершенно обескуражен, но ожил, почувствовав прикосновение руки Флоренс, и они вернулись домой с теми же предосторожностями, с какими ушли; капитан открыл дверь каюты Маленького Мичмана и нырнул туда с быстротою, которую можно было объяснить только долгой практикой. Утром, пока Флоренс спала, он нанял дочь некоей пожилой леди, обычно восседавшей под синим зонтом на Леднхоллском рынке и торговавшей птицей, и договорился, чтобы она приходила убирать комнату Флоренс и оказывать ей разные мелкие услуги. Теперь эта девица явилась, и Флоренс нашла свою комнату такой же удобной и опрятной, если и не такой же красивой, как в том старинном призрачном доме, который она когда-то называла своим.

Когда они снова остались вдвоем, капитан настоял на том, чтобы она поела гренок и выпила

¹⁰⁹ ...опекаемой Канцлерским судом... — В компетенцию Канцлерского суда входит, между прочим, назначение опекунов несовершеннолетним.

стакан негуса (приготавливаемого им безупречно), и, подбодрив ее всеми ласковыми словами и бесвязными изречениями, какие только мог придумать, повел наверх, в спальню. Но и у него было что-то на душе, и он казался смущенным.

— Спокойной ночи, сердце мое, — сказал ей капитан Катль у двери ее спальни.

Флоренс поцеловала его.

В другое время капитан был бы ошеломлен этим знаком ее привязанности и благодарности; правда, он и сейчас не оставался к нему нечувствительным, однако он посмотрел ей в лицо с еще большим смущением, чем раньше, и как будто не хотел от нее уходить.

— Бедный Уольр! — сказал капитан.

— Бедный, бедный Уолтер! — со вздохом отозвалась Флоренс.

— Утонул, не правда ли? — сказал капитан. Флоренс кивнула головой и вздохнула.

— Спокойной ночи, моя маленькая леди! — сказал капитан Катль, протягивая ей руку.

— Да благословит вас бог, добрый, славный друг! Но капитан все еще не уходил.

— Ничего не случилось, дорогой капитан Катль? — спросила Флоренс, которую, принимая во внимание ее состояние, нетрудно было встревожить. — Вы хотите мне что-то сказать?

— Что-то сказать вам, маленькая леди? — отозвался капитан, в замешательстве встретив ее взгляд. — Ничуть не бывало. Ну, что бы я мог вам сказать, красавица? Ведь вы, конечно, не надеетесь, что я мог бы сказать вам что-нибудь хорошее?

— Нет, — промолвила Флоренс, покачав головой.

Капитан пристально посмотрел на нее и повторил: «Нет», все еще мешкая у двери и все еще пребывая в смущении.

— Бедный Уольр! — сказал капитан. — Мой Уольр, как я, бывало, называл тебя. Племянник старого Соля Джилса! Любимый всеми, как цветы в мае! Где ты теперь, мой храбрый мальчик! Утонул, не правда ли?

Заклучив свою речь этим неожиданным обращением к Флоренс, капитан пожелал ей спокойной ночи и спустился вниз, а Флоренс со свечой осталась на площадке лестницы, чтобы посветить ему. Он скрылся во мраке и, судя по звуку удаляющихся шагов, собирался войти в маленькую гостиную, как вдруг голова его и плечи снова вынырнули, словно из пучины, по-видимому, с единственной целью повторить еще раз: «Он утонул, не правда ли, красавица?» Ибо, произнеся эти слова нежным и сострадательным тоном, он скрылся из виду.

Флоренс очень сожалела о том, что, приютившись здесь, невольно пробудила эти воспоминания у своего покровителя, что, впрочем, было вполне естественно. Сидя за маленьким столиком, на котором капитан поместил подзорную трубу, песенник и прочие диковинки, она думала об Уолтере и обо всем с ним связанном в прошлом, пока не захотелось ей лечь в постель, заснуть и не проснуться. Но в то время, как она с тоскою вспоминала об умерших, которых любила, у нее ни разу не мелькнула мысль о родном доме, о возможности туда вернуться, о том, что он еще существует и под его кровом живет ее отец. Она видела, как совершенно было убийство. Тот последний, неугасавший образ отца, который она долгие годы лелеяла, несмотря ни на что, был исторгнут из ее сердца, искажен, уничтожен. Мысль о нем казалась ей столь страшной, что она закрыла глаза и с содроганием оттолкнула от себя малейшее воспоминание о содеянном и о жестокой руке, в этом повинной. Если бы после случившегося образ его мог сохраниться в ее любящем сердце, оно бы разбилось. Но это было невозможно, и пустоту заполнил безумный страх, который заставлял бежать от всего, что было связано с обломками этого образа, — страх, который могла породить только такая глубокая любовь, столь жестоко оскорбленная.

Она не смела посмотреть в зеркало, потому что темное пятно на груди внушало ей страх перед самою собой, словно на ней было какое-то клеймо. В темноте она торопливо прикрыла его дрожащей рукой и, плача, опустила усталую голову на подушку.

Капитан долго не ложился спать. В течение целого часа он ходил взад и вперед по магазину и по маленькой гостиной и, по-видимому, успокоенный этой прогулкой, уселся с серьезной и глубокомысленной миной и прочитал по молитвеннику те молитвы, какие полагается читать на море. С ними не так-то легко было покончить: капитан был чрезвычайно медлительным чтецом и частенько запинался перед трудным словом, подбадривая себя восклицаниями, вроде: «Ну, смелей, приятель!» или «Держись, Эдуард Катль, держись!», которые очень помогали ему преодолевать все препятствия.

Вдобавок очки в значительной степени ухудшали его зрение. Но, невзирая на это капитан, всерьез принявшись за дело, прочитал все молитвы до последней строки, и притом с глубоким чувством; весьма одобряя их, он с легким сердцем и с благодушной физиономией улегся спать под прилавком (побывав предварительно наверху и послушав, что делается за дверью Флоренс).

Ночью капитан несколько раз поднимался наверх узнать, спокойно ли спит его питомица, а на рассвете обнаружил, что она проснулась, так как Флоренс, услышав шаги у своей двери, спросила, он ли это.

— Да, моя маленькая леди, — хриплым шепотом ответил капитан. — Хорошо ли вы себя чувствуете, мой алмаз?

Флоренс поблагодарила его и ответила утвердительно.

Капитан, не желая упускать столь удобного случая, прижался губами к замочной скважине и произнес голосом, звучащим, как хриплое завывание ветра:

— Бедный Уольр! Утонул, не правда ли?

После этого он ушел, снова лег в постель и спал до семи часов утра.

И весь день он не мог отделаться от смущения и замешательства, хотя Флоренс, занимаясь шитьем в маленькой гостиной, была оживленнее, чем накануне. Чуть ли не каждый раз, когда ей случалось поднимать глаза от работы, она замечала, что капитан смотрит на нее и задумчиво поглаживает подбородок; и он так часто придвигал к ней свое кресло, словно намереваясь сообщить нечто весьма конфиденциальное, и так часто отодвигал его снова, как бы не зная, с чего начать, что в течение дня он на этом углу суденышке совершил рейс вокруг гостиной и не раз, в весьма плачевном состоянии, садился на мель, налетев на стену или дверь чулана.

Только в сумерках капитан Катль, бросив, наконец, якорь возле Флоренс, начал говорить более или менее связно. Когда отблески огня, пылавшего в камине, упали на стены и потолок маленькой комнаты, на чайный поднос, чашки и блюда, расставленные на столе, и на спокойное лицо Флоренс, обращенное к пламени, отражавшемуся в ее полных слез глазах, капитан прервал долгое молчание такими словами:

— Вы никогда не бывали в море, моя прелесть?

— Никогда, — ответила Флоренс.

— Это могущественная стихия, — с благоговением произнес капитан. — Много чудес в пучине морской, моя красавица! Подумайте о море, когда веет ветер и вздымаются волны. Подумайте о нем, когда в грозовую ночь бывает так темно, — продолжал капитан, торжественно поднимая свой крючок, — что вы собственную руку разглядеть не можете, разве что ее осветит вспышка молнии, а вы плывете, плывете, плывете сквозь бурю и тьму, как будто несетесь стремглав к миру бесконечному, во веки веков, аминь, а когда найдете это место — отметьте. Бывают такие времена, моя красавица, когда впору сказать своему приятелю (перелистав предварительно книгу): «Дует жестокий северо-восточный, Билл; слышишь, как он ревет? Как я жалею всех несчастных, прибитых к берегу, да поможет им бог!»

Эту последнюю цитату, дающую наилучшее представление об ужасах океана, капитан произнес внушительным тоном и закончил свою речь громким возгласом: «Держись крепче!»

— А вам случалось попадать в шторм? — спросила Флоренс.

— Как же, моя маленькая леди, и на мою долю пришлось немало бурь, — сказал капитан, с волнением вытирая голову, — и мне не раз приходилось рыскать по волнам. Но... но я не о себе хотел поговорить. О нашем дорогом мальчике, — он ближе придвинулся к ней, — об Уольре, который утонул.

Капитан говорил таким дрожащим голосом и повернул к Флоренс такое бледное и встревоженное лицо, что она в испуге схватила его за руку.

— Вы изменились в лице! — воскликнула Флоренс. — Вы вдруг стали совсем другим. Что случилось? Милый капитан Катль, у меня мороз пробегает по спине, когда я смотрю на вас!

— Нет, нет! Не робейте, маленькая леди, — ответил капитан, поддерживая ее рукой. — Все в порядке, все в порядке, моя дорогая. Так вот, я говорил... Уольр... он... он утонул. Не правда ли?

Флоренс пристально смотрела на него. Она то краснела, то бледнела и прижимала руку к груди.

— Всякие беды и опасности подстерегают человека на море, моя красавица, — сказал капитан. — И над многими доблестными кораблями и многими и многими храбрыми сердцами сомкну-

лись немые воды, и так и не проронили ни словечка. Но и на море можно ускользнуть от смерти, и, случилось, один человек из двадцати — быть может, и из сотни, милочка, — был спасен милостью божьей и возвращался домой, когда его уже считали умершим, а весь экипаж погибшим. Я... я знаю одну такую историю, Отрада моего Сердца, — заикаясь, продолжал капитан, — когда-то мне ее рассказали. И раз уж я взял этот курс и мы с вами сидим вдвоем у камина, то, быть может, вы хотите, чтобы я вам рассказал ее? Хотите, милочка?

Флоренс, дрожа от волнения, которого она не могла ни преодолеть, ни осмыслить, невольно проследила за его взглядом, обратившимся к лавке, где горела лампа.

Как только она повернула голову, капитан вскочил с кресла и заслонил ей глаза рукою.

— Там ничего нет, моя красавица, — сказал капитан. — Не смотрите туда!

— Почему? — спросила Флоренс.

Капитан забормотал о том, что там ничего веселого нет, а здесь ярко пылает огонь в камине. Он слегка прикрыл дверь, которая раньше была распахнута настежь, и снова уселся на свое место. Флоренс следила за ним взглядом и пристально всматривалась в его лицо.

— Речь шла о корабле, моя маленькая леди, — начал капитан, — который отплыл из лондонского порта с попутным ветром и в прекрасную погоду, направляясь в... Не робейте, моя маленькая леди, корабль просто пустился в плаванье, милочка, просто пустился в плаванье!

Выражение лица Флоренс встревожило капитана, который и сам был очень разгорячен и возбужден и вряд ли казался менее взволнованным, чем она.

— Продолжать ли рассказ, моя красавица? — спросил капитан.

— Да, да, прошу вас! — воскликнула Флоренс. Капитан как будто проглотил что-то, застрявшее у него в горле, и нервно продолжал:

— Так вот этот самый злосчастный корабль попал там, в открытом море, в такой шторм, какой бывает раз в двадцать лет, моя дорогая. Бывали такие ураганы на берегу, которые вырывали с корнем деревья и разрушали города, и бывали такие бури на море в тех широтах, что их не выдержало бы и самое крепкое из всех спущенных на воду судов. Мне говорили, моя милочка, что день за днем этот злосчастный корабль доблестно держался и исполнял свой долг, но вдруг одна волна разбила борт, унесла мачты и руль, смыла лучших моряков, и корабль был отдан на милость шторма, который не знал милосердия и бушевал все пуще и пуще, так что волны перекатывались через судно, и наносили ему удары, и, набрасываясь на него, разбивали его в щепы. Каждое черное пятно на гребне волны было либо обломком живого корабля, либо живым человеком, и корабль был разбит, как скорлупка, моя красавица, и трава никогда не вырастет на могилах тех, кто вел это судно.

— Но не все же они погибли! — воскликнула Флоренс. — Кто-то спасся? Хотя бы один человек?

— На борту этого злосчастливого корабля, — продолжал капитан, поднимаясь с кресла и сжимая руку в кулак с видом весьма энергичным и торжествующим, — находился юноша, доблестный юноша — так мне о нем говорили, — который еще мальчиком любил читать и рассуждать о смелых подвигах при кораблекрушениях — я слышал его речи!.. Я слышал его речи!.. И он вспомнил об этом в роковой час, так как он не утратил мужества и бодрости, когда самые неустрашимые сердца и самые испытанные моряки пали духом. Храбрым он был не только потому, что на суше оставались те, кого он любил! Нет! Такова была его натура. Я это подмечал в чертах его лица — много раз! — и тогда я думал, что он просто миловиден, да благословит его бог!

— И он спасся? — воскликнула Флоренс. — Он спасся?

— Этот храбрый юноша... — продолжал капитан, — смотрите на меня, милочка! Не оглядывайтесь...

У Флоренс едва хватило сил спросить: «Почему?»

— Потому что там ничего нет, дорогая моя, — сказал капитан. — Не робейте, милочка! Не робейте — ради Уольра, который был дорог всем нам! Так вот, этот юноша, — продолжал капитан, — работал вместе с храбрецами, ободрял робких, ни разу не пожаловался, и, казалось, ничего не боялся, и поддерживал бодрость духа у всех матросов, и внушил им такое уважение к себе, как будто он был адмиралом; этот юноша, говорю я, второй помощник и один матрос, только они и уцелели из всех бывших на борту. Единственные оставшиеся в живых — они привязали себя к обломкам разбитого корабля и носились по бурному морю.

— Они спаслись? — вскричала Флоренс.

— Дни и ночи носились они на этих обломках по безбрежному морю, — сказал капитан, — и, наконец... нет, не смотрите туда, милочка... наконец, показался парус, и, по милости божьей, они были подняты на борт: двое оставшихся в живых, один умерший.

— Кто из них умер? — вскричала Флоренс.

— Не тот юноша, о котором я говорил, — сказал капитан.

— Слава богу! О, слава богу!

— Аминь, — поспешно отозвался капитан. — Не робейте! Подождите еще минутку, моя маленькая леди! Ободритесь!.. Находясь на борту этого корабля, они отправились в долгое плавание (потому что негде было пристать), и во время этого плавания моряк, которого подобрали вместе с ним, умер. Но он остался в живых и...

Не сознавая, что делает, капитан отрезал кусок хлеба, насадил его на свой крючок (обычно служивший ему вилкой для поджаривания гренков) и поднес к огню, с волнением посматривая на что-то, находившееся за спиной Флоренс, и не замечая, как обугливается хлеб.

— Он остался в живых, — повторила Флоренс. — И...

— И на этом корабле вернулся на родину, — продолжал капитан, глядя все в том же направлении, — и... не пугайтесь, милочка... и высадился на сушу. И однажды утром, зная, что друзья считают его умершим, он осторожно подошел к двери своего дома, чтобы произвести разведку, но изменил курс, неожиданно услышав...

— Лай собаки? — быстро подхватила Флоренс.

— Да! — заревел капитан. — Держитесь крепче, дорогая моя! Смелей! Не оглядывайтесь. Посмотрите сюда! На стену!

Возле нее на стене видна была чья-то тень. Флоренс вскочила, оглянулась и громко вскрикнула, увидев Уолтера.

Она думала о нем только как о брате, о брате, восставшем из могилы, о брате, который потерпел крушение, спасся и вернулся к ней, и бросилась в его объятия. Казалось, он был единственной ее надеждой, ее утешением, прибежищем и защитником. «Позаботьтесь об Уолтере, я любил Уолтера!» Воспоминание о милом жалобном голоске, произнесшем эти слова, ворвалось ей в душу, словно музыка в ночи. «О, добро пожаловать, дорогой Уолтер!» Она почувствовала это, хотя высказать не могла, и невинно заключила его в объятия.

Капитан Катль, окончательно потеряв голову, попытался вытереть лоб обуглившимся гренком, насаженным на крючок, но, убедившись, что сей предмет не подходит для этой цели, положил гренком в свою глянцевитую шляпу, не без труда нахлобучил глянцевитую шляпу себе на голову, попробовал спеть стишок из «Красотки Пэг», споткнулся на первом же слове и удалился в лавку. Оттуда он не замедлил вернуться с раскрасневшимся, перепачканным лицом и в совершенно размякшем крахмальном воротничке и произнес:

— Уольр, мой мальчик, вот маленькое имущество, которое я бы хотел передать в совместное владение!

Капитан поспешно предъявил большие часы, чайные ложки, щипцы для сахара и чайницу и, положив все эти вещи на стол, смел их своей огромной рукой в шляпу Уолтера; однако, вручая эту оригинальную копилку Уолтеру, он снова расчувствовался до такой степени, что принужден был вторично удалиться в лавку и отсутствовал дольше, чем в первый раз.

Но Уолтер отыскал его и привел назад, а тогда капитана охватил страх, как бы Флоренс не пострадала от этого нового потрясения. Столь велик был этот страх, что капитан совершенно образумился и решительно запретил упоминать в течение ближайших дней о приключениях Уолтера. Затем капитан Катль настолько успокоился, что мог освободиться от гренка, помещавшегося в шляпе, и занять место за чайным столом; но с одной стороны Уолтер обнимал его за плечи, а с другой стороны Флоренс со слезами на глазах шептала поздравления, и капитан снова обратился в бегство и отсутствовал добрых десять минут.

Никогда еще физиономия капитана не сияла и не лоснилась так, как в тот момент, когда он прочно занял место за чайным столом, переводя взгляд с Флоренс на Уолтера и с Уолтера на Флоренс. Такой эффект отнюдь не был вызван или усилен тем обстоятельством, что он в течение получаса старательно полировал себе лицо обшлагом. Это был только результат душевного его волнения.

Радость и восторг, испытываемые капитаном, разливались по всей его физиономии и делали ее поистине лучезарной.

Гордость, с какою капитан смотрел на загорелые щеки и смелые глаза своего мальчика, вновь обретенного, гордость, какую он испытывал при виде его молодости и благородной энергии, при виде оживленного лица, дышавшего искренностью, могла бы зажечь этот свет, озаривший лицо капитана. Восхищение и сочувствие, с какими он обращал взгляд на Флоренс, чья красота, грация и невинность вряд ли завоевали бы ей более преданного и ревностного приверженца, чем он, также могли возыметь такое действие. Но это сияние, которое он разливал вокруг, могло достигнуть полного блеска только благодаря тому, что он созерцал обоих вместе, и из этого созерцания рождались ослепительные мечты, реявшие вокруг них и бросившиеся в голову капитану.

Капитан Катль прекрасно понимал, — хотя все время пребывал в смятении и не раз убегал ненадолго в лавку, — понимал, что они беседовали о бедном старом дяде Соле и обсуждали мельчайшие подробности, имевшие отношение к его исчезновению; что отсутствие старика и невзгоды Флоренс умеряли их радость; что они освободили Диогена, которого капитан заблаговременно заманил наверх, опасаясь, как бы он снова не залаял. Но ему и в голову не приходило, что Уолтер смотрел на Флоренс как-то по-новому и словно с далекого расстояния; не приходило в голову, что Уолтер часто посматривал на милое лицо, но когда она поднимала на Уолтера глаза, тот избегал ее открытого взгляда, говорившего о сестринской любви. Такую возможность капитан мог допустить не больше, чем поверить, что возле него находится не сам Уолтер, а его призрак. Он видел их вместе, юных и прекрасных, он знал их прошлое, и под его широким синим жилетом не оставалось местечка для каких бы то ни было чувств, кроме восхищения такой парой и благодарности за то, что они снова вместе.

Они засиделись до позднего часа. Капитан охотно просидел бы так целую неделю. Но Уолтер встал и начал прощаться.

— Вы уходите, Уолтер! — воскликнула Флоренс. — Куда?

— Временно он повесил свою койку за углом у Броли, маленькая леди, — ответил капитан. — На расстоянии оклика, Отрада Сердца!

— Вам из-за меня приходится уйти, Уолтер, — сказала Флоренс. — Ваше место заняла бесприютная сестра.

— Дорогая мисс Домби, — нерешительно отозвался Уолтер, — если не будет дерзостью называть вас так...

— Уолтер! — воскликнула она с удивлением.

— ...Теперь, когда я так счастлив, имея возможность видеть вас и говорить с вами, лишь сознание, что я оказываю вам маленькую услугу, может сделать меня еще счастливее! Куда бы я только не пошел и чего бы я не сделал ради вас!

Она улыбнулась и назвала его братом.

— Вы так изменились, — сказал Уолтер.

— Я изменилась? — перебила она.

— Для меня, — тихо сказал Уолтер, словно размышляя вслух. — Для меня изменились. Я оставил вас, когда вы были ребенком, а теперь вижу вас... о, совсем другую...

— Но по-прежнему вашей сестрой, Уолтер! Вы не забыли, что мы обещали друг другу, когда прощались?

— Можно ли забыть! — Но больше он ничего не добавил.

— Но если бы вы... если бы страдания и опасности изгнали это обещание из вашей памяти — к счастью, этого не случилось! — вспомнили бы вы о нем теперь, Уолтер, когда вы видите меня бедной и покинутой? Когда у меня нет другого дома, кроме этого, и никаких друзей, кроме тех двух, которые меня сейчас слушают?

— Вспомнил! Видит бог, что вспомнил бы! — воскликнул Уолтер.

— Уолтер! — сквозь слезы сказала Флоренс. — Милый брат! Укажите мне какой-нибудь путь в жизни... какой-нибудь скромный путь, чтобы я могла идти этим путем одна, трудиться и думать иногда о вас — о человеке, который защитит меня и позаботится обо мне, как о сестре! О, помогите мне, Уолтер, я так нуждаюсь в помощи!

— Мисс Домби! Флоренс! Я готов умереть за вас! Но у вас есть друзья, гордые и богатые. Ваш

отец...

— Нет, нет! Уолтер! — Она вскрикнула и сжала голову руками с таким ужасом, что он замер на месте. — Не произносите этого слова!

С тех пор он никогда не мог забыть ее голоса и взгляда в тот миг. Он чувствовал: проживи он еще по лет — никогда ему этого не забыть.

Куда-нибудь, куда угодно — только не домой! Все миновало, все исчезло, все потеряно и разбито! Нерассказанная повесть о нанесенном ей оскорблении и страданиях заключалась в этом взгляде и взгляде. И он почувствовал, что никогда ему этого не забыть, и он не забыл.

Она прильнула своим кротким личиком к плечу капитана и рассказала, как и почему она убежала. Если бы каждая пролитая ею при этом горькая слеза была проклятием, упавшим на голову того, кого она не называла и не порицала, — со страхом подумал Уолтер, — для него это было бы меньшим злом, нежели утрата такой глубокой и сильной любви.

— Полно, милочка! — сказал капитан, когда она умолкла (пока она говорила, капитан слушал ее с величайшим вниманием, сдвинув набекрень глянцевиую шляпу и разинув рот). — Стоп, стоп, мое сокровище! Уольер, мой дорогой мальчик, отчаливай на ночь, а красавицу оставь на мое попечение.

Уолтер обеими руками взял ее руку, поднес к губам и поцеловал. Теперь он знал, что она и в самом деле была бесприютной беглянкой. Хотя такой она была ему еще дороже, чем окруженная богатством и роскошью, подобающей ей по положению, но ему казалось, что теперь она более недосыгаема, чем даже в те времена, когда стояла на высоте, которая вызывала головокружение у него, отдавшегося мальчишеским грезам.

Капитан Катль, отнюдь не смущаемый подобными размышлениями, проводил Флоренс до ее комнаты и время от времени становился на стражу на зачарованной площадке перед ее дверью — ибо для него это место было поистине зачарованным, — пока не успокоился на ее счет и не улегся спать под прилавком. Покидая свой пост, он не мог удержаться, чтобы не крикнуть восторженно в замочную скважину: «Утонул! Не правда ли, красавица?» — а спустившись вниз, еще раз попытался спеть строфу из «Красотки Пэг». Но она почему-то застряла у него в горле, и он ничего не мог с ней поделать. Тогда он лег спать, и ему приснилось, что старый Соль Джилс женился на миссис Мак-Стинджер и сия леди держит его в плену, в потайной комнате, и морит голодом.

Глава L

Сетования мистера Тутса

В мансарде в доме Деревянного Мичмана пустовала комната, которая в былые времена служила Уолтеру спальней. Разбудив капитана рано утром, Уолтер предложил перенести туда из маленькой гостиной наилучшую мебель для украшения комнаты, чтобы Флоренс, проснувшись, могла вступить во владение ею. Так как для капитана Катля ничего не могло быть приятнее, чем раскраснеться и запыхаться, потрудившись ради такого дела, то он (по собственному его выражению) приступил с охотой. И часа через два мансарда превратилась в своеобразную каюту на суше, украшенную избранными вещами из гостиной, включая даже восточный фрегат; капитан повесил его над камином и пришел в такой восторг, что в течение получаса ничего не мог делать и только созерцал его с восхищением, то отступая от камина, то снова подходя к нему.

Никакие увещания Уолтера не могли заставить капитана завести большие часы, взять назад чайницу или прикоснуться к щипцам для сахара и чайным ложкам.

— Нет, мой мальчик, — неизменно отвечал капитан на такую просьбу, — это маленькое имущество я передал в совместное владение.

Эти слова он повторял торжественно и внушительно, очевидно предполагая, что они имеют силу парламентского акта и что в такой форме передача будет окончательной, если он сам не испортит дела, вновь признав себя владельцем.

Переселение Флоренс в другую — более уединенную — комнату было удобно для нее и в то же время давало возможность водворить Мичмана на обычный его наблюдательный пост, а также снять ставни с окон лавки. Хотя ничего не подозревавший капитан придавал мало значения этой последней

церемонии, она была отнюдь не лишней: ставни, оставшиеся накануне закрытыми, вызвали такое волнение в этих краях, что дом мастера судовых инструментов удостоился необычайного внимания, и с восхода до заката солнца на него таращили глаза группы зевак, расположившихся на противоположном тротуаре. Бездельники и гуляки были чрезвычайно заинтересованы судьбой капитана; они ползали по грязи, заглядывая сквозь решетку в погреб под окном лавки, и воображали, будто могут разглядеть фрак капитана, повесившегося в углу. Однако такое решение его участи энергически оспаривалось противной партией, полагавшей, что он убит молотком и лежит на лестнице. Вот почему все почувствовали некоторое разочарование, когда предмет этих толков появился рано поутру в дверях лавки, бодрый и жизнерадостный, словно ничего с ним не случилось. Бидл из этого квартала, человек честолюбивый, который надеялся присутствовать при взламывании двери и в полной парадной форме давать показание перед коронером¹¹⁰, не удержался, чтобы не сказать соседу, что лучше бы этот парень в глянцевиной шляпе не проделывал таких штук — каких именно он не объяснил, — присовокупив, что он, бидл, будет за ним следить.

— Капитан Катль, — задумчиво сказал Уолтер, когда они стояли в дверях лавки, отдыхая после трудов и глядя на знакомую старую улицу; час был еще очень ранний, — все это время не было никаких известий о дяде Соле?

— Никаких, мой мальчик, — ответил капитан, покачивая головой.

— Отправился разыскивать меня, добрый, славный старик, — сказал Уолтер, — а вам ни разу не написал! Но почему? Вот здесь, в этом письме, которое вы передали мне, — он достал из кармана пакет, вскрытый в присутствии мудрого Бансби, — он говорит, что вы можете почитать его умершим, если ни разу не услышите о нем до того дня, как вскрыете этот пакет. Сохрани нас бог от такого несчастья! Но, ведь вы бы услышали о нем, даже если бы он и в самом деле умер! Конечно, кто-нибудь написал бы вам по его просьбе, если бы он сам не мог этого сделать, и сообщил бы: «Такого-то числа умер в моем доме», или «у меня на руках», или еще что-нибудь в этом роде «мистер Соломон Джилс из Лондона, который просил передать вам свой последний привет и последние свои пожелания».

На капитана, который доселе никогда еще не достигал таких высот умозаключений, произвела огромное впечатление открывшаяся перед ним широкая перспектива, и он ответил, глубокомысленно покачивая головой:

— Хорошо сказано, мой мальчик, хорошо сказано!

— Вот о чем я думал, — впрочем, о многом я думал в эту бессонную ночь, — краснея, сказал Уолтер — и я твердо верю, капитан Катль, что мой дядя Соль (да благословит его бог!) жив и вернется к нам. Я не очень удивляюсь тому, что он уехал! Не говоря уже об этом тяготении ко всему чудесному, которое всегда было ему свойственно, и о горячей его любви ко мне, перед которой все в его жизни отступало на задний план, — а ведь никто не знает этого лучше, чем я, нашедший в нем самого доброго отца (голос Уолтера стал невнятным и хриплым, и он отвернулся, глядя куда-то вдоль улицы), — так вот, не говоря уже обо всем этом, мне часто приходилось читать и слышать о том, как люди, у которых близкий и дорогой им родственник потерпел кораблекрушение, переселялись в такие места на берегу моря, куда вести о пропавшем судне могли дойти хотя бы на час или на два часа раньше, а иногда они даже совершали весь рейс до места назначения судна, словно это путешествие могло доставить им какие-нибудь сведения. Мне кажется, я бы и сам так сделал, и, быть может, даже скорее, чем многие другие. Но почему дядя не написал вам, хотя он несомненно собирался написать, или как мог он умереть где-то на чужбине, а вы об этом не узнали, — я решительно не понимаю!

Капитан Катль, покачивая головой, заметил, что даже Джек Бансби этого не понимал, а ведь он-то мог высказать хорошо оснащенное мнение.

— Будь мой дядя легкомысленным юношей, которого веселая компания вздумала бы заманить в какой-нибудь трактир, чтобы там расправиться с ним и завладеть находящимися при нем деньгами, — сказал Уолтер, — или будь он бесшабашным матросом, сошедшим на берег с жалованием за

¹¹⁰ *Коронер*. — Так в Англии называется чиновник, производящий следствие в случае скоропостижной или насильственной смерти.

два-три месяца в кармане, я бы мог допустить, что он исчез. Но я не могу этому поверить, зная, каков он был... и каков он есть, надеюсь.

— Уолтер, мой мальчик, как же это ты в таком случае объясняешь? — осведомился капитан, глядя на него пристально и пребывая в глубоком раздумье.

— Капитан Катль, — ответил Уолтер, — я не знаю, чем это объяснить. Должно быть, он ни разу не написал. Ведь это не подлежит сомнению?

— Если бы Соль Джилс что-нибудь написал, мой мальчик, то где же его депеша? — осведомился капитан, приводя веский довод.

— Допустим, он дал кому-нибудь поручение, — сказал Уолтер, — а тот забыл о письме, или выбросил по небрежности, или потерял. Даже такая догадка кажется мне более вероятной, чем то — другое предположение. Короче говоря, капитан Катль, я не в силах обсуждать другое предположение, не могу и не хочу этого.

— Это надежда, Уолтер, — глубокомысленно заметил капитан, — надежда! Это она тебя воодушевляет. Надежда — это буй, а чтобы найти это место, перелистай свою «Певчую птичку»¹¹¹, раздел чувствительных песен: но знаешь ли, мой мальчик, надежда, как и всякий другой буй, только плавает на одном месте, а направить ее никуда нельзя. Кроме изображения надежды на носу корабля есть еще якорь, — продолжал капитан, — но какой толк от якоря, если я не нахожу дна, чтобы бросить его?

Капитан Катль произнес эту речь не столько от своего собственного имени, сколько от лица разумного, рассудительного гражданина, который обязан уделить крупицу своей мудрости неопытному юнцу. Но при этом лицо его сияло, озаренное новой надеждой, которой он заразился от Уолтера, и в заключение он весьма кстати похлопал его по спине и с энтузиазмом воскликнул:

— Ура, мой мальчик! Я разделяю твое мнение. Уолтер ответил ему веселым смехом и сказал:

— Еще одно слово о дяде, капитан Катль. Я думаю, быть не может, что он послал письмо обычным Порядком — через почтовую контору или с почтовым пароходом. Понимаете?..

— Да, да, мой мальчик, — одобрительно сказал капитан.

— И вы не могли прозевать письмо. Не так ли?

— Уолтер, — сказал капитан, тщетно стараясь принять суровый вид, — разве я не был начеку в ожидании вестей от человека науки, старого Соля Джилса, твоего дяди, разве я не был начеку день и ночь с той поры, как его потерял? Разве не было у меня тяжело на сердце, и разве я не поджидал все время и его и тебя? Во сне и наяву разве не стоял я на своем посту и разве унизился бы до того, чтобы его покинуть, пока этот Мичман еще дел и невредим?

— О да, капитан Катль! — воскликнул Уолтер, схватив его за руку. — Знаю! — И знаю также, сколько преданности и искренности во всем, что вы говорите и чувствуете. Я в этом уверен. А вы не сомневайтесь в моей уверенности так же, как и в том, что я переступил через порог этой двери и снова держу в своей руке эту честную руку. Ведь вы не сомневаетесь?

— Нет, нет, Уолтер, — ответил капитан с сияющей физиономией.

— Больше я не рискую делать никаких предположений, — сказал Уолтер, горячо пожимая жесткую руку капитана, который в свою очередь с не меньшей охотой пожал ему руку. — Добавлю только одно, капитан Катль: боже меня сохрани, чтобы я прикоснулся к имуществу моего дяди! Все, что он здесь оставил, находится на попечении честнейшего из всех управляющих и лучшего из всех людей, и если этого человека зовут не Катль, то, значит, нет у него имени. А теперь, лучший из друзей, поговорим о... мисс Домби.

Что-то изменилось в манере Уолтера, прежде чем он вымолвил эти два слова; а когда он их произнес, доверчивость и бодрость как будто покинули его.

— Я полагал, прежде чем мисс Домби остановила меня вчера вечером, когда я заговорил об ее отце... вы помните, как было дело? — начал Уолтер.

Капитан прекрасно это помнил и кивнул головой.

— Да, прежде я полагал, — продолжал Уолтер, — что на нас лежит тяжелая обязанность убедить ее, чтобы она вступила в общение со своими друзьями и вернулась домой.

¹¹¹ «Певчая птичка» — название песенника.

Капитан слабым голосом пробормотал: «Стоп!», или «Держись крепче!», или еще что-то подходящее к случаю; но вследствие величайшего смятения, вызванного подобным сообщением, голос у него был такой слабый, что можно было только строить догадки.

— Но с этим покончено! — сказал Уолтер. — Теперь я думаю иначе. Я бы скорее согласился вновь очутиться на том обломке разбитого судна, на котором я со дня своего спасения так часто плавал во сне по волнам, остаться на нем, пойти ко дну и умереть!

— Ура, мой мальчик! — воскликнул капитан в порыве неудержимого восторга. — Ура! Ура! Ура!

— Подумать только, что она, такая юная, такая добрая и прекрасная, — продолжал Уолтер, — которой уготована была другая судьба, должна вступить в борьбу с этим жестоким миром! Но мы видели ту пропасть, которая отрезала ее от всего прошлого, хотя никто, кроме нее самой, не знает глубины этой пропасти. И возврата нет.

Капитан Катль, не совсем понимая смысл этих слов, отнесся к ним с величайшим одобрением и заметил глубоко сочувственным тоном, что ветер дует попутный.

— Ей не следует оставаться здесь одной, не так ли, капитан Катль? — с беспокойством осведомился Уолтер.

— Право же, мой мальчик, я этого не знаю, — ответил капитан. — Ты теперь здесь и можешь составить ей компанию, и раз вас соединяет...

— Дорогой капитан Катль! — перебил Уолтер. — Вы говорите — я теперь здесь! Мисс Домби по чистосердечию своему и невинности смотрит на меня, как на брата; но каково было бы мое коварство, если бы я притворился, будто верю в свои права на родственные отношения... если бы я притворился, будто забыл о том, что долг чести запрещает мне так поступать!

— Уольр, мой мальчик, — сказал капитан, снова обнаруживая некоторые признаки смятения, — разве не может быть никаких прав, кроме...

— О! — воскликнул Уолтер. — Неужели вы бы хотели, чтобы она перестала меня уважать — она! — и между мною и ее ангельским лицом навсегда опустилась завеса, если я стану добиваться ее любви, пользуясь тем, что она, такая доверчивая и такая беззащитная, нашла здесь приют? Да что же это я говорю! Ведь нет в мире никого, кто бы осудил меня с большею строгостью, чем вы, если бы я мог это сделать!

— Уольр, мой мальчик, — сказал капитан, все больше и больше омрачаясь, — если есть какая-нибудь помеха, препятствующая двум людям соединиться узами во храме — а ты перечитай это место и отметь его, — я бы объяснил это тем, что они уже помолвлены с кем-то еще. Но, стало быть, не может быть никаких иных прав? Неужели их нет, мой мальчик?

Уолтер махнул рукой, давая отрицательный ответ.

— Знаешь ли, мой мальчик, — медленно проговорил капитан, — не стану отрицать, что меня это ошеломило, и я растерялся. Но что касается маленькой леди, Уольр, то, как бы я ни был разочарован, почтение и уважение к ней я почитаю своим долгом, а потому я иду за тобою в кильватере, мой мальчик, и чувствую, что ты поступаешь надлежащим образом. Так, стало быть, нет никаких иных прав? — снова повторил капитан, с удрученным видом созерцая развалины своего рухнувшего замка.

— Мне кажется, капитан Катль, — сказал Уолтер, переходя к новой теме разговора с большей бодростью, чтобы развеселить капитана, хотя его ничто не могло развеселить, так как он был слишком озабочен, — мне кажется, мы должны найти какую-нибудь особу, которая была бы подходящей компаньонкой для мисс Домби, пока она живет здесь, и которой можно было бы доверять. Никто из ее родственников для этого не подходит. Мисс Домби несомненно понимает, что все они пресмыкаются перед ее отцом. А где Сьюзен?

— Молодая женщина? — отозвался капитан. — Мне кажется, ее уволили против желания Отрады Сердца. Я о ней запрашивал сигналом, когда маленькая леди только что пришла сюда, и маленькая леди дала о ней прекрасный отзыв и сказала, что она давным-давно уехала.

— В таком случае, — сказал Уолтер, — спросите мисс Домби, куда она уехала, а мы постараемся ее найти. Время идет, и мисс Домби скоро проснется. Вы — ее лучший друг. Позаботьтесь о ней там, наверху, а мне предоставьте навести порядок внизу.

Капитан, впавший в полное уныние, ответил вздохом на вздох, с каким Уолтер произнес эти

слова, и повиновался, Флоренс пришла в восторг от своей новой комнаты, горела желанием увидеть Уолтера и рада была бы встретиться со своим старым другом Сьюзен. Но Флоренс не могла сообщить, куда уехала Сьюзен, знала только, что в Эссекс, и, — насколько она припоминает, — никто не мог бы этого сообщить, кроме мистера Тутса.

Получив эти сведения, загрустивший капитан вернулся к Уолтеру и поведал ему, что мистер Тутс — тот самый джентльмен, которого он встретил у двери, — друг его, капитана Катля, богатый молодой джентльмен, безнадежно влюбленный в мисс Домби. Капитан рассказал также о том, как привело его к знакомству с мистером Тутсом известие о предполагаемой гибели Уолтера и как между ними был заключен торжественный договор, обязывающий мистера Тутса не заикаться о предмете своей любви.

Затем возник вопрос, может ли Флоренс доверять мистеру Тутсу, а когда Флоренс с улыбкой ответила: «О да, всем сердцем!» — оказалось необходимым установить, где живет мистер Тутс. Этого Флоренс не знала, а капитан позабыл. И в тот самый миг, как в маленькой гостиной капитан говорил Уолтеру, что мистер Тутс несомненно будет в скором времени здесь, появился сам мистер Тутс.

— Капитан Джилс, — сказал мистер Тутс, вез всяких церемоний вбегая в гостиную, — я нахожусь на грани помешательства!

Мистер Тутс выпалил эти слова словно из пушки, прежде чем заметил Уолтера, которого затем приветствовал каким-то жалостным хихиканьем.

— Вы меня простите, сэр, — сказал мистер Тутс, схватившись за голову, — но в настоящее время я нахожусь в таком состоянии, что рассудок меня покидает, если уже не покинул, и всякая попытка быть учтивым, принимая во внимание мое положение, была бы пустым притворством. Капитан Джилс, смею просить разрешения побеседовать с вами наедине!

— Приятель, — ответил капитан, беря его за руку, — как раз вас-то мы и поджидали.

— О капитан Джилс, — сказал мистер Тутс, — поджидать такого субъекта, как я! Я не рискнул побриться — вот в каком я взбудораженном состоянии! Волосы у меня включены. Я сказал Петуху, что укукошу его, если он вздумает вычистить мне башмаки!

Все эти признаки умопомешательства подтверждались внешним видом мистера Тутса, диким и непонятным.

— Послушайте, братец, — сказал капитан, — вот это Уольер, племянник старого Соля Джилса. Тот самый, которого мы считали погибшим в море.

Мистер Тутс отнял руки от головы и, выпучив глаза, посмотрел на Уолтера.

— Господи, помилуй! — пробормотал мистер Тутс. — Вот не было беды! Как поживаете? Я... я... боюсь, что вы очень промокли. Капитан Джилс, разрешите мне сказать вам словечко в лавке?

Он схватил капитана за фалду фрака и, выходя вместе с ним, прошептал:

— Так, значит, капитан Джилс, это и есть тот самый человек, о котором вы говорили, что он и мисс Домби созданы друг для друга?

— Да, приятель, — сказал безутешный капитан, — так думал я когда-то.

— И вот теперь!.. Как раз в такой момент!.. — вскричал мистер Тутс, снова хватаясь за голову. — Ненавистный соперник! Впрочем, нет, для меня он не является ненавистным соперником, — запнувшись и поразмыслив, сказал мистер Тутс, отнимая руку ото лба. — За что мне его ненавидеть? Нет! Если любовь моя поистине бескорыстна, капитан Джилс, позвольте мне доказать это теперь!

Мистер Тутс снова ринулся в гостиную и сказал, схватив Уолтера за руку:

— Как поживаете? Надеюсь, вы не простудились. Я... я... буду очень рад, если вам угодно будет со мной познакомиться. Поздравляю вас от всей души! Клянусь честью, — сказал мистер Тутс, разгорячившись после того, как пристальнее всмотрелся в лицо Уолтера, — я очень рад вас видеть!

— Благодарю вас, большое спасибо, — сказал Уолтер. — Я бы и пожелать не мог более сердечного и искреннего приветствия.

— Да неужели? — воскликнул мистер Тутс, все еще пожимая ему руку. — Это очень мило с вашей стороны. Я вам чрезвычайно признателен. Как вы поживаете? Надеюсь, вы оставили всех в добром здравьи там зато есть на... я хочу, понимаете ли, сказать, там, откуда вы приехали.

На все эти добрые пожелания и еще лучшие намерения Уолтер отвечал, как подобает мужчине.

— Капитан Джилс, — сказал мистер Тутс, — я бы хотел строго придерживаться правил чести, но, надеюсь, мне разрешено будет упомянуть теперь об одном предмете, который...

— Да, да, приятель, — отозвался капитан. — Смелей, смелей!

— Так вот, капитан Джилс и лейтенант Уолтерс, — заговорил мистер Тутс, — известно ли вам, что устрашающее происшествие случилось в доме мистера Домби, что мисс Домби покинула своего отца, который, по моему мнению, — с величайшим возбуждением присовокупил мистер Тутс, — является поистине зверем? Назвать его э... мраморным памятником или хищной птицей значило бы польстить ему... И никто не знает, где она находится и куда ушла.

— Разрешите спросить, откуда вам это известно? — осведомился Уолтер.

— Лейтенант Уолтерс, — сказал мистер Тутс, который прибег к такому обращению по особой причине, понятной ему одному (может быть, потому, что он связал его имя с морской профессией и предположил какую-то родственную связь между ним и капитаном, каковая должна была, разумеется, простираться и на их звания), — лейтенант Уолтере, я могу ответить вам напрямик. Дело вот в чем: будучи крайне заинтересован всем, что касается мисс Домби — отнюдь не из эгоистических соображений, лейтенант Уолтере, я прекрасно понимаю, что наибольшее удовольствие, какое я могу доставить всем окружающим, это — положить конец своему существованию, которое можно рассматривать только как помеху... Ну, так вот, я приобрел привычку давать время от времени какую-нибудь ничтожную сумму лакею, весьма почтенному молодому человеку, некоему Таулинсону, который давно уже служит в этом доме. И вчера вечером Таулинсон сообщил мне, каково положение дел. С той поры, капитан Джилс и лейтенант Уолтерс, я совсем лишился рассудка и всю ночь валялся на диване, а теперь предстал перед вами такой развалиной.

— Мистер Тутс, — сказал Уолтер, — я счастлив, что могу успокоить вас. Прошу вас, не тревожьтесь. Мисс Домби цела и невредима.

— Сэр! — вскричал мистер Тутс, вскакивая со стула и снова пожимая ему руку. — Я испытываю такое безграничное и невыразимое облегчение, что, если бы вы даже сказали мне теперь: мисс Домби вышла замуж, я мог бы улыбнуться. Да, капитан Джилс, — сказал мистер Тутс, взывая к капитану Катлю, — клянусь душой и телом, я мог бы улыбнуться. Вот какое облегчение я почувствовал. Хотя и неизвестно, как бы я поступил с самим собою немедленно вслед за этим.

— Такому великодушному человеку, как вы, — сказал Уолтер, не замедлив ответить на рукопожатие, — доставит еще большее облегчение и удовольствие узнать, что вы можете оказать услугу мисс Домби. Капитан Катль, будьте так добры, проводите мистера Тутса наверх.

Капитан поманил мистера Тутса, который с недоумевающим видом последовал за ним, и, поднявшись в мансарду, был введен без всякого предупреждения в новое убежище Флоренс.

Изумление и радость бедного мистера Тутса, когда он увидел ее, могли найти себе исход только в сумасбродных поступках. Он подбежал к ней, схватил ее руку, поцеловал, выпустил из своих рук, снова схватил, опустился на одно колено, расплакался, захихикал и нимало не помышлял об опасности, грозившей ему со стороны Диогена, который вообразил, будто в этих поступках есть нечто враждебное его хозяйке, и вертелся вокруг него с таким видом, как будто еще не выбрал местечка для нападения, но твердо решил причинить мистеру Тутсу великое зло.

— О Ди, скверный, забывчивый пес! Дорогой мистер Тутс, как я рада вас видеть!

— Благодарю вас, — сказал мистер Тутс, — я здоров, очень вам признателен, мисс Домби. Надеюсь, все семейство в добром здоровье?

Мистер Тутс произнес эти слова, понятия не имея, о чем он говорит, уселся на стул и принялся смотреть на Флоренс, причем лицо его выражало самую ожесточенную борьбу между восторгом и отчаянием.

— Капитан Джилс и лейтенант Уолтерс сообщили мне, мисс Домби, — задыхаясь, произнес мистер Тутс, — что я могу оказать вам какую-то услугу. Если бы я мог как-нибудь стереть воспоминание о том дне в Брайтоне, когда походил скорее на разбойника, чем на человека, обладающего состоянием, — продолжал мистер Тутс, вынося себе суровый приговор, — я бы с радостью лег в безмолвную могилу.

— Пожалуйста, мистер Тутс, — сказала Флоренс, — не просите меня забыть хоть что-нибудь, связанное с нашим знакомством. Поверьте, я не могу это сделать. Вы всегда были бесконечно добры ко мне.

— Мисс Домби, — ответил мистер Тутс, — ваше внимание к моим чувствам свойственно вашей ангельской природе. Тысячу раз благодарю вас! Это не имеет ровно никакого значения!

— Мы хотели спросить вас, — сказала Флоренс, — помните ли вы, куда поехала Сьюзен, которую вы так любезно проводили в контору почтовых карет, когда она ушла от меня?

— Видите ли, мисс Домби, — подумав, сказал мистер Тутс, — я, конечно, не помню названия города, которое было написано на карете, но я помню, что Сьюзен, по ее словам, не собиралась там останавливаться, а хотела ехать дальше. Но, впрочем, мисс Домби, если вам угодно, чтобы ее отыскали и доставили сюда, то мы с Петухом привезем ее весьма скоро, чему порукой моя преданность и удивительная сообразительность Петуха.

Мистер Тутс был столь явно обрадован надеждой оказаться полезным, а бескорыстная и искренняя его преданность казалась столь несомненной, что было бы жестоко ответить ему отказом. Флоренс с присущей ей деликатностью постеснялась выдвинуть какое-нибудь возражение, но не преминула осыпать его изъявлениями благодарности, и мистер Тутс с гордостью взялся исполнить это поручение безотлагательно.

— Мисс Домби, — сказал мистер Тутс, прикасаясь к протянутой ему руке, терзаемый безнадежной любовью, которая пронзала его насквозь и светилась на его лице, — до свидания! Разрешите вам сказать, что ваши невзгоды делают меня поистине несчастным и что вы можете доверять мне едва ли не так же, как самому капитану Джилсу. Мои недостатки, мисс Домби, прекрасно мне известны — они не имеют ни малейшего значения, благодарю вас, — но на меня можно всецело положиться, уверяю вас, мисс Домби!

С этими словами мистер Тутс вышел из комнаты в сопровождении капитана, который все это время стоял тут же, держал под мышкой свою шляпу, приглаживал крючком растрепавшиеся волосы и не без интереса следил за происходящим. А когда дверь за ними закрылась, свет, озаривший жизнь мистера Тутса, снова угас.

— Капитан Джилс, — сказал этот джентльмен, останавливаясь на нижней ступеньке лестницы и оглядываясь, — по правде сказать, сейчас я нахожусь не в таком расположении духа, чтобы встретить лейтенанта Уолтерса с теми дружескими чувствами, какие я хотел бы к нему питать. Мы не всегда можем властвовать над своими чувствами, капитан Джилс, и я сочту за особую милость, если вы выпустите меня с заднего хода.

— Братец, — ответил капитан, — можете наметить себе любой курс. Какой бы курс вы ни избрали, он будет честным и достойным моряка, в этом я уверен.

— Капитан Джилс, — сказал мистер Тутс, — вы очень любезны. Ваше доброе мнение служит мне утешением. Еще одно слово, — добавил мистер Тутс, стоя в коридоре за приоткрытой дверью, — надеюсь, вы это запомните, капитан Джилс, и мне бы хотелось, чтобы об этом, было доведено до сведения лейтенанта Уолтерса. Я теперь, знаете ли, окончательно вступил во владение своим имуществом, и... и я не знаю, что мне с ним делать. Если бы я мог оказаться полезным в смысле денежной помощи, я бы сошел я безмолвную могилу спокойно и безмятежно.

Мистер Тутс ничего больше не сказал и, потихоньку выскользнув за дверь, захлопнул ее за собою, чтобы предотвратить возражения капитана.

После его ухода Флоренс долго думала об этом добром создании. Он был так честен и добросердечен, что повидать его и убедиться в его преданности доставило Флоренс невыразимую радость и утешение. Но вместе с тем и по той же самой причине ей мучительно было думать, что она хотя бы на секунду сделала его несчастным, или нарушила мирное течение его жизни, и глаза ее наполнялись слезами, а сердце сжималось от жалости. Капитан Катль в свою очередь много думал о мистере Тутсе; думал о нем и Уолтер, а когда настал вечер и они сидели все втроем в новой комнате Флоренс, Уолтер стал с жаром его расхваливать и сообщил Флоренс, что сказал мистер Тутс перед уходом; при этом он со свойственным ему великодушием подчеркивал все заслуживающее похвалы и одобрения.

На следующий день мистер Тутс не пришел и не приходил в течение нескольких дней; тем временем Флоренс, словно тихая птичка в клетке, жила, никем более не тревожимая, в мансарде дома старого мастера судовых инструментов. Но по мере того, как шли дни, Флоренс все больше грустила, и на лице ее, часто обращенном к небу, видневшемуся из высокого окна, появлялось то самое выражение, какое было на лице умершего мальчика, словно она искала там его ангела на светлом берегу, о котором он говорил, лежа в своей кровати.

За последнее время Флоренс стала хрупкой и бледной, пережитое ею потрясение не могло не отразиться на ее здоровье. Но не от телесного недуга страдала она теперь. Она тосковала, а виновни-

ком ее тоски был Уолтер.

Он заботился и беспокоился о ней, был горд и счастлив возможностью ей услужить и выражал это со свойственным ему энтузиазмом и горячностью, но Флоренс видела, что он ее избегает. В течение целого дня он редко приближался к двери ее комнаты. Если она звала его к себе, он приходил, и на секунду снова становился таким же веселым и оживленным, каким запомнился он ей, когда она в детстве заблудилась на шумных улицах; но затем им начинало овладевать смущение и чувство неловкости — ее зоркий любящий взгляд не мог этого не подметить, — и он спешил уйти. Без зова он никогда не приходил в течение целого дня. Правда, по вечерам он всегда был тут, рядом, и для нее это были счастливейшие часы, так как она почти верила, что прежний Уолтер, которого она знала в детстве, не изменился. Но даже в такие минуты какое-нибудь ничего не значащее слово или взгляд напоминали ей, что их разделяет какая-то черта, через которую нельзя переступить.

Она не могла не видеть, что эту перемену в себе он не в силах скрыть, несмотря на все свои старания. Она полагала, что, руководимый заботой о ней и нежеланием наносить ей раны своею ласковой рукой, он прибегал к бесконечным маленьким хитростям и уловкам. Чем живее чувствовала Флоренс значительность происшедшей с ним перемены, тем чаще оплакивала она отчуждение между нею и ее братом.

Флоренс казалось, что добряк-капитан — ее неизменный, нежный и ревностный друг — тоже видит это и сокрушается. Он был не таким радостным и бодрым, как в первое время, и по вечерам, когда они сидели все вместе, украдкой печально поглядывал то на нее, то на Уолтера.

Наконец Флоренс решила поговорить с Уолтером. Ей казалось, что она знает теперь причину его отчуждения, и она надеялась почувствовать облегчение сама и успокоить его, сказав ему, что ей все известно, что она с этим вполне примирилась и не упрекает его.

Флоренс приняла это решение в воскресенье днем. Преданный капитан в изумительном воротничке сидел возле нее и, надев очки, читал книгу, когда она спросила его, где Уолтер.

— Должно быть, внизу, моя маленькая леди, — ответил капитан.

— Я бы хотела поговорить с ним, — сказала Флоренс, поспешно вставая и собираясь идти вниз.

— Я его мигом пришлю сюда, красавица, — сказал капитан.

С этими словами капитан проворно взвалил на плечо книгу; он считал своим долгом читать по воскресеньям только очень громоздкие книги, ибо у них более солидный вид, и несколько лет тому назад купил в книжной лавке громадный том, любые пять строк из которого неизменно приводили его в полное недоумение, так что он до сей поры не мог установить, о чем идет речь в этой книге. Затем он удалился. Вскоре явился Уолтер.

— Капитан Катль сказал мне, мисс Домби... — с жаром начал он, входя, но, увидев ее лицо, запнулся. — Вам сегодня нездоровится? Вы чем-то огорчены? Вы плакали?

Он говорил так ласково и с таким волнением, что при звуке его голоса слезы выступили у нее на глазах.

— Уолтер, — тихо сказала Флоренс, — мне нездоровится, и я плакала. Я хочу поговорить с вами.

Он сел против нее, всматриваясь в ее прекрасное невинное лицо; он побледнел, и губы у него задрожали.

— Вы сказали в тот вечер, когда я узнала о вашем спасении, милый Уолтер... О, что я почувствовала в тот вечер, и сколько было надежд!..

Он положил дрожащую руку на разделявший их стол и не спускал глаз с Флоренс.

— ...Вы сказали, что я изменилась. Я удивилась, услышав это, но теперь понимаю, что это так. Не сердитесь на меня, Уолтер. Я была слишком счастлива, чтобы тогда же об этом подумать.

Снова она показалась ему ребенком. Он видел и слышал непосредственного, доверчивого, ласкового ребенка, а не любимую женщину, к чьим ногам хотел бы положить все сокровища мира.

— Вы помните, Уолтер, как мы встретились с вами в последний раз перед вашим отъездом?

Он сунул руку за пазуху и достал маленький кошелек.

— Я всегда носил его на шее! Если бы я утонул, он вместе со мною лежал бы на дне моря.

— И вы по-прежнему будете носить его, Уолтер, ради меня?

— До самой смерти!

Она положила свою руку на его так безбоязненно и простодушно, как будто и дня не прошло с

тех пор, как она подарила ему этот маленький кошелек.

— Я этому рада. Я всегда буду с радостью об этом думать, Уолтер. Вы припоминаете, что в тот самый вечер, когда мы с вами разговаривали, нам обоим как будто пришла в голову мысль об этой перемене?

— Нет! — с недоумением ответил он.

— Да, Уолтер. И тогда уже я поневоле нанесла ущерб вашим надеждам и видам на будущее. Тогда я боялась так думать, но теперь я это знаю. Если тогда вы, по великодушию своему, могли скрывать от меня, что вам это тоже понятно, то теперь вы скрывать не можете, хотя стараетесь так же великодушно, как и раньше. Да, стараетесь! Я искренне, глубоко благодарна вам, Уолтер, но ваши старания безуспешны. Вы сами и близкие вам люди слишком много страдали, чтобы вы могли забыть невольного виновника всех бедствий и невзгод, обрушившихся на вас. Вы не можете забыть, какую роль я играла, и больше мы не можем быть братом и сестрой. Но, милый Уолтер, не думайте, что я вас упрекаю. Мне следовало бы об этом помнить — я должна была помнить, — но в порыве радости я обо всем позабыла. Теперь у меня одна надежда: быть может, вы будете думать обо мне с меньшей неприязнью, раз это чувство не нужно больше скрывать. И об одном я прошу, Уолтер, от имени той бедной девочки, которая была когда-то вашей сестрой: не старайтесь бороться с самим собой и не мучьте себя из-за меня теперь, когда я все знаю.

Пока она говорила, Уолтер смотрел на нее с бесконечным изумлением и недоумением, не оставлявшими места для каких-нибудь других чувств. Потом он схватил эту ручку, с такой любовью коснувшуюся его руки, и удержал ее.

— О мисс Домби! — воскликнул он. — Может ли быть, что в то время, когда я так страдал, борясь с чувством долга и сознанием своих обязанностей по отношению к вам, я заставил и вас страдать, о чем узнаю из ваших слов! Никогда, никогда, клянусь богом, не думал я о вас дурно, и всегда вы были для меня самым светлым, чистым и святым воспоминанием моего детства и юности. Всегда, с первого дня, я считал и до последнего дня буду считать ту роль, какую вы играли в моей жизни, чем-то священным. О ней нельзя думать иначе, как с величайшей серьезностью и почтением, и забыть о ней нельзя до конца жизни. Снова видеть ваши глаза и слышать ваш голос, как в тот вечер, когда мы расстались, — для меня это невыразимое счастье. А пользоваться на правах брата вашей любовью и доверием было для меня величайшим и бесценным даром!

— Уолтер, — сказала Флоренс, глядя на него пристально, но изменившись в лице, — почему чувство долга и сознание обязанностей по отношению ко мне заставляет вас жертвовать всем этим?

— Я уважаю вас, — тихо сказал Уолтер. — И преклоняюсь перед вами.

Румянец вспыхнул у нее на щеках, и она робко и задумчиво отняла у него руку, но по-прежнему смотрела на него пристально.

— У меня нет прав брата, — сказал Уолтер, — Я не могу притязать на права брата. Я оставил здесь ребенка. И нашел женщину.

Румянец залил ей лицо. Она сделала движение, как будто умоляла его замолчать, и закрыла лицо руками.

Оба молчали; она плакала.

— Мой долг перед сердцем, таким доверчивым, чистым и добрым, заставляет меня оторваться от него, хотя бы это разбило мое сердце, — сказал Уолтер. — Как бы посмел я сказать, что для меня вы — сестра?

Она все еще плакала.

— Если бы вы были счастливы, окружены любящими и преданными друзьями и всем, что делает завидным положение, для которого вы были рождены, — продолжал Уолтер, — и если бы вы тогда в память дорогого прошлого назвали меня братом, я, отделенный от вас большим расстоянием, мог бы отозваться на это слово с полной уверенностью, что не оскорблю вашего невинного чувства. Но здесь... и теперь!..

— О, благодарю вас, Уолтер, благодарю вас! Простите, что я была к вам так несправедлива. Мне не с кем было посоветоваться. Я так одинока.

— Флоренс! — страстно воскликнул Уолтер. — Сейчас я тороплюсь высказать вам то, о чем никакие силы не заставили бы меня заговорить несколько минут назад. Если бы я преуспевал, если бы у меня была возможность или надежда вернуть вам положение, близкое к тому, какое вы занима-

ли, я бы сказал вам, что есть одно имя, которым вы могли бы меня назвать, вручив мне высшее право защищать вас и беречь. Я бы сказал, что достоин этого имени только в силу моей любви и уважения к вам и в силу того, что мое сердце отдано вам. Я бы сказал вам, что только одно это право я могу принять от вас, и только оно позволит мне охранять вас и лелеять... И будь у меня это право, я бы почитал его столь великим и бесценным даром, что вся моя жизнь, полная безграничной преданности и любви, была бы лишь скудной благодарностью за него.

Голова была все еще опущена, слезы все еще струились по лицу, и грудь вздымалась от рыданий.

— Флоренс, милая, дорогая Флоренс! Так называл я вас мысленно, прежде чем понял, как это самонадеянно и безрассудно. Позвольте мне в последний раз назвать вас этим именем, которое мне так дорого, и коснуться этой нежной руки в доказательство того, что вы по-сестрински забудете о том, что я сейчас сказал.

Она подняла голову и заговорила, обратив к нему такой серьезный ласковый взгляд, улыбаясь ему сквозь слезы такой спокойной, ясной, тихой улыбкой, заговорила с такой нежностью, что самые сокровенные струны его сердца задрожали и взор затуманился.

— Нет, Уолтер, этого я не могу забыть. Ни за какие блага в мире не хотела бы я это забыть. Вы... вы очень бедны?

— Я — странник, — сказал Уолтер, — который должен плавать по морям, чтобы заработать себе на жизнь. Теперь это мое призвание.

— Вы скоро опять уедете, Уолтер?

— Очень скоро.

Она посмотрела на него, потом робко вложила свою дрожащую руку в его руку.

— Если вы хотите назвать меня своей женой, Уолтер, я буду горячо любить вас. Если вы позволите мне поехать с вами, Уолтер, я без всякого страха поеду на край света. Мне нечем пожертвовать ради вас... мне не от чего отказываться и некого покидать. Но вся моя любовь и вся моя жизнь будут отданы вам, и если, умирая, я сохраню сознание и память, вместе с последним вздохом с губ моих слетит ваше имя.

Он прижал ее к своему сердцу, прильнул щекой к ее щеке, и тогда, уже не отвергнутая и не покинутая, она могла плакать на груди своего возлюбленного.

Благословенны воскресные колокола, чей звон так мягко касается их зачарованного слуха! Благословенны воскресные мир и тишина, сливающиеся с покоем, охватившим их души, и освящающие воздух вокруг них! Благословенны сумерки, подкрадывающиеся незаметно и окутывающие ее так ласково и торжественно, когда она засыпает, словно убаюканное дитя, на груди, к которой прильнула!

О, бремя любви и доверия, такое легкое! Да, Уолтер, смотри с гордостью и нежностью на эти закрытые глаза, ибо во всем необъятном мире они ищут теперь только тебя — только тебя!

Капитан оставался в маленькой гостиной, пока совсем не стемнело. Он уселся на стул, на котором до него сидел Уолтер, и смотрел вверх, на окно под потолком, пока не угас день и не замерцали звезды. Он зажег свечу, раскурил трубку, выкурил ее и с недоумением размышлял о том, что же это происходит наверху и почему его не зовут пить чай.

Флоренс подошла к нему в тот самый момент, когда недоумение его достигло высшей степени.

— А, маленькая леди! — вскричал капитан. — У вас с Уольром был длинный разговор, моя красавица!

Флоренс ухватила своей маленькой ручкой за одну из огромных пуговиц на его фраке и сказала, засматривая ему в лицо:

— Дорогой капитан, я хочу кое-что сообщить вам.

Капитан поспешил поднять голову, чтобы выслушать сообщение. Увидев благодаря этому более отчетливо лицо Флоренс, он отодвинул свой стул и себя вместе с ним, насколько это было возможно.

— Как! Отрада Сердца! — вскричал капитан, внезапно возликовав. — Это верно?

— Да! — с жаром ответила Флоренс.

— Уольр! Муж! Да? — заревел капитан, подбрасывая свою глянцевитую шляпу к окну под потолком.

— Да! — смеясь и плача, воскликнула Флоренс.

Капитан тотчас же обнял ее, а затем, подхватив глянцеви́тую шляпу и напялив ее на голову, продел руку Флоренс под свою и снова повел ее наверх, где почувствовал, что именно сейчас надлежит пошутить наилучшим образом.

— Ну, что, Уольр, мой мальчик! — сказал капитан, заглядывая в комнату, причем его физиономия напоминала раскаленную сковороду. — Так, стало быть, не может быть никаких других прав, не правда ли?

Похоже было на то, что он задохнется от этой остроты, которую он повторил за чаем по крайней мере раз сорок, полируя свою сияющую физиономию рукавом фрака, а в промежутках вытирая голову носовым платком. Но при таком положении дел он обрел еще более серьезный источник удовольствия, ибо без конца повторял вполголоса, глядя с неизъяснимой радостью на Уолтера и Флоренс:

— Эдуард Катль, дружище, ты избрал наилучший курс, передав то маленькое имущество в совместное владение!

Глава LI

Мистер Домби и светское общество

Что делает гордый человек, пока дни идут один за другим? Думает ли он когда-нибудь о своей дочери и задает ли себе вопрос, куда она ушла? Полагает ли он, что она вернулась домой и ведет прежний образ жизни в скучном доме? Никто не может ответить за него. С тех пор он ни разу не произнес ее имени. Домочадцы слишком боятся его, чтобы заговаривать о том, чего он решил не касаться; а ту единственную особу, которая дерзает расспрашивать его, он немедленно заставляет умолкнуть.

— Дорогой мой Поль! — лепечет его сестра в день ухода Флоренс, бочком проскальзывая в комнату. — Ваша жена! Эта выскочка! Может ли быть, что дошедшие до меня слухи справедливы? Вот как отблагодарила она вас за беспримерную преданность ей, простиравшуюся, в чем я уверена, до того, что ее капризам и высокомерию вы принесли в жертву даже своих родственников! Бедный мой брат!

Произнеся эту речь, трогательно напоминавшую о том, что ее не пригласили на званый обед, миссис Чик прибегает к услугам носового платка и бросается на шею мистеру Домби. Но мистер Домби холодно отводит ее руки и усаживает ее на стул.

— Благодарю вас, Луиза, — говорит он, — за такое доказательство вашего расположения, но я хочу, чтобы в нашей беседе мы касались других предметов. Когда я буду оплакивать свою судьбу, Луиза, или заявлю о том, что нуждаюсь в утешении, вы можете предложить мне его, если вам угодно.

— Дорогой мой Поль, — отвечает его сестра, закрывая лицо носовым платком и покачивая головой, — мне известна ваша сила духа, и больше я ни слова не скажу по поводу этого события, столь тягостного и возмутительного. — Эти два прилагательных миссис Чик произносит с язвительным негодованием. — Но позвольте вас спросить — хотя я страшусь услышать нечто такое, что меня взволнует и расстроит, — спросить об этом злополучном ребенке, о Флоренс...

— Луиза, — сурово говорит ей брат, — замолчите! Ни слова об этом!

Миссис Чик остается только покачивать головой, пользоваться услугами носового платка и оплакивать выродившихся Домби, которые перестали быть Домби. Но повинна ли Флоренс в бегстве Эдит, последовала ли она за ней, принимала ли какое-нибудь участие в бегстве или не принимала, — об этом миссис Чик не имеет ни малейшего представления.

Он идет неуклонно своим путем, скрывая в своей груди все мысли и чувства и не делясь ими ни с кем. Он отнюдь не пытается отыскать свою дочь. Может быть, он думает, что она живет у его сестры или под его собственной кровлей. Может быть, он думает о ней постоянно, а возможно, никогда о ней не думает. Любое предположение правильно, если судить по его виду.

Но достоверно одно: он не думает, что потерял ее. Истины он не подозревает. Слишком долго жил он на высотах гордыни и видел где-то внизу ее, кроткое, терпеливое создание, чтобы страшиться такой потери. Как ни потрясен он обрушившимся на него бесчестьем, однако оно не низвергло его на

землю. Корень крепок и уходит глубоко, а за многие годы его ответвления распространились далеко вокруг и из всего извлекали пищу. Дерево подрублено, во не свалено.

Хотя он скрывает свой внутренний мир от внешнего мира, который, по его мнению, преследует в настоящее время одну цель — упорно следить за ним, куда бы он не пошел, — он не в силах скрыть борьбу, происходящую в этом внутреннем мире, ибо о ней свидетельствуют его запавшие глаза и щеки, изборожденный морщинами лоб и мрачный, задумчивый вид. Оставаясь по-прежнему непроницаемым, он тем не менее изменился, и, оставаясь по-прежнему высокомерным, он унижен — иначе не было бы этих знаков.

Светское общество. Что думает о нем светское общество, как смотрит оно на него, что видит оно в нем, и что говорит — вот демон, не дающий покоя его мыслям. Где он — там и демон; мало того — демон даже там, где его нет. Демон появляется вместе с ним, когда он выходит к слугам, и остается с ними, вызывая шепот за его спиной; он видит, как демон указывает на него на улице; демон поджидает его в конторе; подмигивает, выглядывая из-за спины богатых купцов; кивает и болтает, затесавшись в толпе; всегда и повсюду опережает мистера Домби, и тому известно, что в его отсутствие демон действует еще энергичнее. Ночью, когда мистер Домби запирается у себя в комнате, демон обитает в доме и вне дома, его можно услышать в шуме шагов по тротуару, увидеть в газете, лежащей на столе, он разъезжает по железным дорогам и на пароходах, неутомимый и всегда занятый только им одним — мистером Домби.

Это не призрак, созданный его воображением. Он воздействует на других людей не меньше, чем на него. Свидетель тому — кузен Финикс, который приезжает из Баден-Бадена специально для беседы с мистером Домби. Свидетель тому — майор Бегсток, который сопровождает кузена Финикса при выполнении этой дружеской миссии.

Мистер Домби принимает их со свойственным ему достоинством и стоит, выпрямившись, в обычной своей позе перед камином. Он чувствует, что их глазами смотрит на него светское общество; что оно глядит на него с портретов; что его представителем является мистер Питт, стоящий на книжном шкафу; что есть глаза даже у географической карты, висящей на стене.

— Исключительно холодная весна, — говорит мистер Домби, чтобы обмануть светское общество.

— Черт возьми, сэра! — говорит майор, воодушевленный дружескими чувствами. — Джозеф Бегсток — не мастер притворяться. Если вы желаете сторониться своих друзей и отвечать им холодностью, Дж. Б. не подходит для ваших целей. Джо груб и непреклонен, сэра: он искренен, этот Джо! Его королевское высочество, покойный герцог Йоркский, удостоил меня чести заметить (заслуженно или незаслуженно — значения не имеет): «Если есть у меня человек, на чью откровенность я могу вполне положиться, то зовут этого человека Джо — Джо Бегсток».

Мистер Домби выражает свое согласие.

— Домби, — говорит майор, — я человек светский. Наш друг Финикс... если смею так назвать...

— Право же, я почтен, — говорит кузен Финикс.

— ...тоже человек светский, — продолжает майор, потрянув головой. — Домби, вы — светский человек. Если трое светских людей встретятся и если они к тому же друзья, как осмеливаюсь я думать... — обращается он снова к кузену Финиксу.

— Несомненно, наилучшие друзья, — говорит кузен Финикс.

— ...И если они друзья, — продолжает майор, — то старый Джо полагает (быть может, Дж. ошибается), что легко угадать мнение света о любом предмете.

— Несомненно! — говорит кузен Финикс. — Собственно говоря, это совершенно очевидно. Мне чрезвычайно хотелось бы, майор, чтобы мой друг Домби узнал о величайшем моем изумлении и сожалении по поводу того, что моя прелестная и безупречная родственница, наделенная всеми качествами, какие могут осчастливить мужчину, до такой степени забыла свои обязанности по отношению... собственно говоря, по отношению к свету... и столь себя скомпрометировала! С той поры я пребываю в чертовски мрачном расположении духа и не далее как вчера вечером сказал Долговязому Кросби — ростом он шесть футов десять дюймов, и, вероятно, мой друг Домби с ним знаком, — что я дьявольски потрясен и у меня разлилась желчь. Такая роковая катастрофа, — продолжает кузен Финикс, — внушает человеку мысль о том, что провидение управляет всеми событиями, ибо, будь

моя тетушка сейчас жива, на такую чертовски жизнерадостную женщину, как она, это произвело бы удручающее впечатление, и она, собственно говоря, пала бы жертвой.

— Итак, Домби... — с великой энергией говорит майор, пытаясь продолжить свою речь.

— Прошу прощения! — перебивает кузен Финикс. — Разрешите сказать еще одно слово. Мой друг Домби позволит мне заметить, что если что-нибудь и могло бы усугубить великие муки, какие я в данном случае испытываю, то разве лишь вполне понятное изумление света, вызванное предположением, что моя прелестная и безупречная родственница (прошу разрешения по-прежнему называть ее именно так), якобы скомпрометировала себя с человеком — собственно говоря, с человеком, обладающим белыми зубами, — который занимает положение в обществе, неизмеримо более низкое, чем ее супруг. Я считаю своим долгом настоятельно просить моего друга Домби не осуждать моей прелестной и безупречной родственницы, пока ее виновность не будет окончательно доказана, но тем не менее я заверяю моего друга Домби, что семья, чьим представителем я являюсь и которая ныне почти угасла (это наводит на чертовски печальные мысли), не будет ставить на его пути никаких препятствий и с удовольствием даст свое согласие на любое достойное разрешение инцидента, какое он наметит. Верю, что мой друг Домби воздаст должное тем чувствам, которые меня воодушевляют при столь печальных обстоятельствах, и... собственно говоря... мне кажется, незачем беспокоить моего друга Домби дальнейшими замечаниями.

Мистер Домби, не поднимая глаз, кланяется и молчит.

— Итак, Домби. — говорит майор, — после того, как наш друг Финикс с чрезвычайным красноречием, равного коему старый Дж. Б. никогда не встречал, да, клянусь Рогом, сэ, никогда! — майор сделался совершенно синим и стиснул середину своей трости, — после того, как наш друг Финикс изложил все обстоятельства, касающиеся этой леди, я воспользуюсь нашей дружбой, Домби, чтобы осветить вопрос с другой стороны. Сэр, — говорит майор с лошадиным покашливанием, — свет в таких случаях предъявляет свои требования, которые должны быть удовлетворены.

— Мне это известно, — замечает мистер Домби.

— Конечно, вам это известно, Домби, — говорит майор. — Черт возьми, сэ, я знаю, что вам это известно! Такой человек, как вы, не может этого не знать!

— Полагаю, что так, — отвечает мистер Домби.

— Домби, — говорит майор, — остальное вы угадаете сами. Я высказался откровенно — быть может, преждевременно, — потому что Бегстоки всегда высказывались откровенно. Мало им было от этого пользы, сэ, но это уж в крови у Бегстоков. С этим человеком нужно стреляться. У вас под рукой Дж. Б. Он настаивает на правах дружбы. Да благословит вас бог!

— Майор, — отвечает мистер Домби, — я вам признателен. В надлежащее время я отдам себя в ваше распоряжение. Так как это время еще не настало, я воздерживался пока от такого разговора с вами.

— Где этот человек, Домби? — спрашивает майор, после того как некоторое время молча пыхтит, взирая на него.

— Не знаю.

— Есть какие-нибудь сведения о нем? — осведомился майор.

— Да.

— Домби, я рад это слышать, — говорит майор. — Поздравляю вас.

— Вы простите, майор, — отвечает мистер Домби, — что в настоящее время я не буду касаться деталей. Сведения странные и получены странным путем. Они могут ничего не стоить, но могут быть и верны. Сейчас я ничего не могу сказать. На этом позвольте закончить.

Хотя это и сухой ответ, если принять во внимание энтузиазм посиневшего майора, однако майор любезно довольствуется им и с восторгом думает о том, что свет может надеяться на должное воздаяние. Затем кузен Финикс выслушивает изъявления благодарности от супруга своей прелестной и безупречной родственницы, после чего кузен Финикс и майор Бегсток уходят, а этот супруг вновь остается пред лицом светского общества и может на досуге размышлять о том, что эти двое являются выразителями мнения света касательно его личных дел, и о справедливых ожиданиях общества.

Но кто же это сидит в комнате экономки, воздев руки к небу, проливая слезы и беседуя вполголоса с миссис Пипчин? Это какая-то леди в очень тесной черной шляпке, бросающей тень на лицо, и, по-видимому, ей не принадлежащей. Это мисс Токс, которая взяла шляпку у своей служанки и

пришла тайком с площади Принцессы, чтобы возобновить знакомство с миссис Пипчин и получить сведения о состоянии духа мистера Домби.

— Как он переносит это, милая моя? — спрашивает мисс Токс.

— Да что там, — по своему обыкновению резко отвечает миссис Пипчин, — он такой же, как всегда.

— По внешнему виду, — высказывает предположение мисс Токс. — А каково у него на душе!

Жесткие серые глаза миссис Пипчин выражают сомнение, когда она отвечает коротко и отрывисто:

— Да! Быть может, и так! Полагаю, что так!

— По правде сказать, Лукреция, — говорит миссис Пипчин (она все еще называет мисс Токс Лукрецией, так как первые свои эксперименты по укрощению детей производила на этой леди, когда та была несчастным маленьким заморышем), — по правде сказать, Лукреция, я нахожу, что не худо было от нее избавиться. Мне здесь такие бесстыдные особы не нужны!

— Вот именно бесстыдные! Верно, что бесстыдные, миссис Пипчин! — отвечает мисс Токс. — Покинуть его! Такого благородного человека!

Тут волнение одерживает верх над мисс Токс.

— Что касается благородства, то об этом я ничего не знаю, — возражает миссис Пипчин, с раздражением потирая нос. — Но вот что мне известно: когда людям ниспослано испытание, они должны стойко переносить его. Все вздор! В свое время мне самой пришлось вынести немало! Сколько шума из-за пустяков! Она убежала — туда ей и дорога. Полагаю, что здесь никто не ждет ее обратно.

Намек на Перуанские копи заставляет мисс Токс встать и удалиться; миссис Пипчин звонит в колокольчик, чтобы Таулинсон проводил ее. Мистер Таулинсон, давно не видевший мисс Токс, улыбается, выражает уверенность в добром ее здоровье и присовокупляет, что сначала не узнал ее в этой шляпке.

— Благодарю вас, Таулинсон, я чувствую себя недурно, — говорит мисс Токс. — Я попрошу вас об одном одолжении: если увидите меня здесь еще раз, никому об этом не говорите. Я навещаю только миссис Пипчин.

— Очень хорошо, мисс, — говорит Таулинсон.

— Происходят ужасные события, Таулинсон, — говорит мисс Токс.

— Да, в высшей степени, мисс, — соглашается Таулинсон.

— Надеюсь, Таулинсон, — говорит мисс Токс, которая, занявшись воспитанием семейства Тудль, привыкла рассуждать поучительным тоном и извлекать мораль из всякого рода происшествий, — надеюсь, этот случай послужит вам предостережением, Таулинсон.

— Благодарю вас, мисс, — говорит Таулинсон.

По-видимому, он погружается в размышления о том, каким образом этот случай может послужить предостережением для него, как вдруг миссис Пипчин выводит его из раздумья возгласом: «Что вы там делаете? Почему не провожаете эту леди?» И он идет к двери впереди мисс Токс. Проходя мимо комнаты мистера Домби, она съеживается, стараясь укрыться в тени своей черной шляпки, и идет на цыпочках. И нет на свете, столь жестоко его преследующем, ни одного существа, которое испытывало бы такую грусть и тревогу о мистере Домби, с какими выходит на улицу мисс Токс в своей черной шляпке, стараясь довести их до дому сокрытыми от фонарей, только что зажженных.

Но мисс Токс не имеет отношения к тому светскому обществу, к которому принадлежит мистер Домби. Каждый день она приходит в сумерках, в дождливую погоду добавляя к своей шляпке патены и зонт, и мирится с усмешками Таулинсона и фырканьем и выговорами миссис Пипчин только ради того, чтобы узнать, как он поживает и как переносит обрушившееся на него несчастье; но она не имеет никакого отношения к тому светскому обществу, к которому принадлежит мистер Домби. Неизменно требовательное и надоедливое общество обходится без нее, а она, ничем не примечательная и отнюдь не яркая звезда¹¹², движется по своей маленькой орбите в уголке иной системы, и

¹¹² ...ничем не примечательная и отнюдь не яркая звезда... — перефразированное шекспировское:

Чарльз Диккенс «Торговый дом Домби и сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт»

прекрасно это знает, и приходит, и плачет, и уходит, и чувствует удовлетворение. Право же, мисс Токс легче удовлетворить, чем светское общество, которое так беспокоит мистера Домби!

В конторе клерки обсуждают великую катастрофу со всех сторон и со всех точек зрения, но главным образом недоумевают, кто же будет назначен на место мистера Каркера. В общем, они склоняются к тому, что жалованье будет урезано и возникнут неприятности в связи с нововведениями. Те, у кого нет ни малейшей надежды на получение этого места, утверждают, что вовсе не хотели бы его занять и отнюдь не завидуют тому, для кого оно окажется предназначенным. Такого волнения в конторе не бывало с тех пор, как умер маленький сын мистера Домби; но подобного рода возбуждение развивает общительность, чтобы не сказать жизнерадостность, и способствует укреплению дружеских связей. Случай благоприятный, и вот наступает примирение между признанным остряком из бухгалтерии и его тщеславным соперником, которые к течению многих месяцев питали друг к другу смертельную вражду; в ознаменование их благополучно восстановленных приятельских отношений устраивается маленький обед в соседней таверне. Остряк председательствует, соперник исполняет обязанности вице-президента. После того, как убрана скатерть, начинаются речи, и первым выступает председатель, который говорит: «Джентльмены, я не могу скрыть от самого себя, что сейчас не время для разногласий». Далее он сообщает, что недавние события, о которых нет надобности распространяться, но которые были до известной степени отмечены воскресными газетами и одной ежедневной газетой, каковую нет надобности называть (тут все присутствующие назвали ее звучным шепотом), заставили его призадуматься, и он чувствует, что в такой момент личная распря между ним и Робинсоном равносильна отрицанию того сочувствия общему делу, коим, по его мнению, всегда отличались джентльмены фирмы Домби. Робинсон отвечает на это, как подобает мужчине и коллеге, а некий джентльмен, прослуживший в конторе три года и постоянно получающий предупреждение об увольнении за арифметические ошибки, выступает в совершенно новом свете, внезапно разразившись волнующей речью, в которой высказывает пожелание, чтобы их уважаемый начальник никогда не испытал вновь такого ужасного несчастья, какое обрушилось на его дом! — и изрекает великое множество фраз, начинающихся словами: «Пусть никогда» — и вызывающих гром рукоплесканий. Короче говоря, они проводят восхитительный вечер, если не упоминать о размолвке между двумя младшими служащими, которые, поспорив из-за предполагаемой цифры годового дохода мистера Каркера, стали угрожать друг другу графинами, пришли в неистовство и были выведены вон. На следующий день в конторе большой спрос на содовую воду, и большинство сотрапезников полагает, что счет за обед — надувательский.

Что касается Перча, рассыльного, то ему грозит опасность окончательно погибнуть. Снова он постоянно торчит в трактирах, где его угощают, а он отчаянно врет. Оказывается, он повсюду встречался со всеми, кто имел отношение к недавним событиям, и спрашивал их: «Сэр (или „Сударыня“, в зависимости от обстоятельств), почему вы так бледны?» — после чего вопрошаемый содрогался с головы до пят, восклицая: «О Перч!» — и убегал. Раскаяние в этой гнусной лжи или последствия злоупотреблений спиртными напитками приводят мистера Перча в глубокое уныние в тот вечерний час, когда он обычно ищет утешения в обществе миссис Перч в Болс-Понд, а миссис Перч жестоко страдает, ибо она опасается, что теперь его вера в женщину поколеблена, и, возвращаясь вечером домой, он едва ли не готов к тому, чтобы услышать о ее бегстве с каким-нибудь виконтом.

Тем временем слуги мистера Домби превращаются в бездельников и становятся малопригодными для службы. Каждый вечер они получают горячий ужин и «обсуждают происшествие» за дымящимися стаканами. После половины одиннадцатого Таулинсон всегда бывает под хмельком и частенько просит ответить на вопрос: ну не говорил ли он, что нечего ждать добра, если живешь в угловом доме? Они шепотом толкуют о мисс Флоренс и недоумевают, где может она быть; однако все согласны с тем, что если этого не знает мистер Домби, то знает миссис Домби. Таким образом, речь заходит об этой последней, и кухарка говорит о ней, что все-таки она держала себя с достоин-

Когда бы я влюбилась в звезду,
Блестящую на небе.

(«Конец венчает дело», акт I, сц. 1-я. Перевод П. И. Вейнберга.)

ством, не правда ли? Но она слишком важничала.

Все соглашались с тем, что она слишком важничала, а предмет давней страсти мистера Таулинсона, горничная (которая очень добродетельна), умоляет, чтобы при ней не говорили больше о людях, которые задирают нос, как будто земля для них недостаточно хороша.

Все, что говорится и делается по этому поводу, делается дружно всеми, за исключением мистера Домби. Мистер Домби пребывает один на один со светским обществом.

Глава III Секретные сведения

Добрая миссис Браун и ее дочь Элис молча сидели вдвоем в своей комнате. Было это поздней весной, наступал вечер. Всего несколько дней прошло с той поры, как мистер Домби сказал майору Бегстоку о странных сведениях, странным путем полученных, которые могли оказаться ложными и могли оказаться верными; и светское общество еще не получило удовлетворения.

Мать и дочь сидели не произнося ни слова, почти не шевелясь. У старухи лицо было хитрое, обеспокоенное и настороженное, у дочери — тоже настороженное, но в меньшей степени, иногда его омрачала тень разочарования и недоверия. Старуха, не обращая внимания на эти изменения в выражении ее лица, хотя глаза ее часто обращались к дочери, шамкала, жевала губами и жадно прислушивалась.

Их комната, бедная и жалкая, была все-таки не такой убогой, как в те времена, когда миссис Браун жила здесь одна. Были сделаны попытки навести чистоту и порядок, хотя как-то небрежно, по-цыгански, так что их с первого взгляда можно было приписать молодой женщине. Вечерние тени сгущались и темнели, пока эти женщины хранили молчание, и, наконец, мрак почти окутал почерневшие стены.

Тогда Элис нарушила затянувшееся молчание и сказала:

— Можете не ждать его, матушка. Он не придет сюда.

— Как бы не так! — нетерпеливо возразила старуха. — Он придет сюда.

— Увидим, — сказала Элис.

— Увидим его, — возразила мать.

— В день Страшного суда, — сказала дочь.

— Знаю, ты думаешь, что я впала в детство, — закаркала старуха. — Вот какое почтение и уважение оказывает мне родная дочь, но я умнее, чем ты считаешь. Он придет! В тот день, когда я дотронулась на улице до его пальто, он оглянулся и посмотрел на меня, словно на какую-то жабу. Но, бог ты мой, если бы ты видела его лицо, когда я назвала их имена и спросила, угодно ли ему знать, где они находятся!

— Оно было очень сердитое? — спросила дочь, сразу заинтересовавшись.

— Сердитое! Лучше бы ты сказала — взбешенное. Это слово больше подойдет. Сердитое! Ха-ха-ха! Назвать такое лицо сердитым! — воскликнула старуха, заковыляв к буфету и зажигая свечу, которую она поставила на стол, после чего ее шамкающий рот был освещен во всем своем безобразии. — Этак я и твое лицо могу назвать просто сердитым, когда ты думаешь или говоришь о них.

В самом деле, не такое было лицо у ее дочери, когда она сидела как притаившаяся тигрица, с горящими глазами.

— Тише, — с торжеством сказала старуха. — Я слышу шаги. Это не походка здешних жильцов или частых посетителей. Мы так не ходим. Мы бы гордились такими соседями. Слышишь ты его?

— Мне кажется, вы правы, матушка, — тихо ответила Элис. — Молчите! Откройте дверь.

Пока она набрасывала шаль и закутывалась в нее, старуха исполнила ее приказание и, выглянув за дверь, поманила и впустила мистера Домби, который остановился, едва успев переступить через порог, и недоверчиво осмотрелся вокруг.

— Жалкое помещение для такого важного джентльмена, как ваша милость, — сказала старуха, приседая, — я вас предупреждала. — Но опасности здесь нет никакой.

— Кто это? — спросил мистер Домби, взглянув на ее сожительницу.

— Это моя красавица дочка, — сказала старуха. — Пусть ваша милость не обращает на нее

внимания. Ей все известно.

Тень легла на его лицо, и это было не менее выразительно, чем если бы он громко простонал: «Кому это не известно!» — но он посмотрел на женщину пристально, и та, отнюдь не намереваясь его приветствовать, посмотрела на него. Лицо его омрачилось еще больше, когда он отвел от нее взгляд, но и после этого он украдкой поглядывал на нее, словно его притягивали ее дерзкие глаза и пробуждали какое-то воспоминание.

— Эй, вы, — обратился мистер Домби к старой ведьме, которая хихикала и подмигивала у него за спиной, а когда он повернулся к ней, украдкой указала на свою дочь, потеряла руки и снова указала на нее, — любезная! Полагаю, что, придя сюда, я проявляю малодушие и забываю о своем положении, но вам известно, зачем я пришел и что вы мне предложили в тот день, когда остановили меня на улице. Что именно можете вы мне сообщить касательно интересующего меня вопроса и как это случилось, что мне добровольно вызвались доставить сведения в такой лачуге, — он презрительно окинул взглядом комнату, — когда я тщетно старался их получить, пользуясь своей властью и средствами? Не думаю, — продолжал он, помолчав и сурово всматриваясь в нее, — не думаю, чтобы у вас хватило дерзости подшутить надо мной или попытаться меня обмануть. Но если есть у вас такое намерение, лучше вам отказаться от него в самом начале. Со мной не шутят, и расплата будет жестокая.

— О гордый, строгий джентльмен, — захихикала старуха, покачивая головой и потирая сморщенные руки. — Строгий, строгий, строгий! Но ваша милость увидит своими глазами и услышит своими ушами, не нашими... а если вашу милость наведут на след, вы не откажетесь заплатить за это, не правда ли, почтенный джентльмен?

— Деньги творят чудеса, мне это известно, — ответил мистер Домби, явно успокоенный таким вопросом. — Благодаря им случайные и малообещающие средства, как в данном случае, могут приобрести ценность. Хорошо! За любые полученные мною достоверные сведения я заплачу. Но сначала я должен получить эти сведения и определить их ценность.

— Вы не знаете ничего более могущественного, чем деньги? — спросила молодая женщина, не вставая и не меняя позы.

— Полагаю, что здесь нет ничего более могущественного, — сказал мистер Домби.

— Вижу, что вы должны знать о чем-то более могущественном где-то в другом месте, — возразила она. — Знаете ли вы, что такое ярость женщины?

— Вы дерзки на язык, — сказал мистер Домби.

— Не всегда, — ответила та с полным спокойствием. — Сейчас я говорю с вами для того, чтобы вы могли лучше понять нас и отнестись к нам с большим доверием. Ярость женщины здесь мало чем отличается от ярости женщины в вашем великолепном доме. Я — я разъярена. Уже много лет. У меня такие же веские основания быть в ярости, как и у вас, и предмет нашей ненависти — один и тот же.

Он невольно вздрогнул и с изумлением посмотрел на нее.

— Да, — сказала она, криво усмехнувшись. — Как ни велико, по-видимому, расстояние между нами, но это правда. Каким образом это произошло — неважно; это касается меня, и я не намерена об этом говорить. Я бы хотела свести вас с ним, потому что я его ненавижу. Мать у меня скупая и бедная; она продаст любые сведения, какие ей удастся получить, продаст сведения о чем угодно и о ком угодно — за деньги. Пожалуй, вам следует что-нибудь ей заплатить, если она поможет вам узнать то, что вы желаете знать. Но я преследую другую цель. Я вам сказала, какая у меня цель, и этого для меня достаточно, и я не отступлюсь от нее, хотя бы вы спорили и торговались с моей матерью из-за шести пенсов. Я сказала все. Больше ни звука не сорвется с моего языка, даже если вы будете ждать здесь до рассвета.

Старуха, проявлявшая симптомы крайнего беспокойства во время этой речи, которая могла снизить сумму ожидаемого ею вознаграждения, тихонько дернула мистера Домби за рукав и шепнула, чтобы он не обращал внимания. С изумленным видом он посмотрел на них обеих по очереди и сказал более глухо, чем было ему свойственно:

— Продолжайте. Что же вам известно?

— О, зачем так спешить, ваша милость? Мы должны кое-кого подождать, — отозвалась старуха. — Эти сведения мы должны получить от другого лица... выведать... вырвать их у него.

— Что вы хотите сказать? — спросил мистер Домби.

— Терпение, — прокаркала она, кладя ему на плечо руку, похожую на когтистую лапу. — Терпение! Мы до этого доберемся. Уверена, что доберемся. Если он вздумает утаивать, — сказала Добрая миссис Браун, скрючивая все десять пальцев, — я это из него вырву!

Мистер Домби следил за ней, когда она заковыляла к двери и снова выглянула на улицу; затем он перевел взгляд на ее дочь, но та оставалась бесстрастной, молчаливой и не обращала на него никакого внимания.

— Вы мне хотите сказать, что еще кто-то должен сюда прийти? — спросил он, когда сгорбленная миссис Браун вернулась, покачивая головой и бормоча себе что-то под нос.

— Да, — сказала старуха, засматривая ему в лицо и кивая головой.

— У него вы намерены выпытать нужные мне сведения?

— Совершенно верно, — сказала старуха, снова кивая головой.

— Я его знаю?

— Какое это имеет значение? — спросила старуха, заливаясь пронзительным смехом. — Ваша милость его знает. Но он не должен вас видеть. Он испугается и не станет говорить. Вы будете стоять вот за этой дверью и сможете сами судить о нем. Мы не требуем, чтобы вы нам верили на слово. Как! Ваша милость относится подозрительно к комнате, в которую ведет эта дверь? О, как недоверчивы эти богатые джентльмены! Ну, что ж, загляните туда.

Ее зоркий глаз подметил, как на лице его невольно отразилось это чувство, довольно естественное при данных обстоятельствах. Желая рассеять его, она со свечой подошла к двери, о которой говорила. Мистер Домби заглянул, убедился, что там пустая каморка, и жестом приказал ей поставить свечу на прежнее место.

— Этот человек придет еще не скоро? — спросил он.

— Скоро! — ответила старуха. — Не угодно ли вашей милости присесть на несколько минут?

Он ничего не ответил и принялся шагать из угла в угол по комнате, как будто не знал, остаться ему или уйти, и словно упрекал себя за то, что явился сюда. Но вскоре походка его стала более медлительной и тяжелой, а лицо более суровым и задумчивым, ибо та цель, с какою он пришел, снова припомнилась ему и завладела всеми его мыслями.

Пока он шагал взад и вперед, не поднимая глаз, миссис Браун, опустившись на стул, с которого вскочила, чтобы пойти ему навстречу, снова начала прислушиваться. Размеренная его поступь или преклонный ее возраст до такой степени притупили ей слух, что шаги, раздавшиеся на улице, коснулись ушей ее дочери на несколько секунд раньше, и прежде чем старуха встрепенулась, дочь быстро подняла голову, чтобы предупредить мать. Тогда она сорвалась с места и, прошептав: «Вот он!» — заставила своего гостя занять наблюдательный пост и с такой стремительностью поставила на стол бутылку и стакан, что, когда Роб Точильщик показался в дверях, она уже могла тотчас повиснуть у него на шее.

— Вот он, мой милый мальчик! — воскликнула миссис Браун. — Наконец-то! Ох-хо-хо! Ты мне все равно что родной сын, Роби!

— Ох, миссис Браун, — запротестовал Точильщик. — Оставьте. Неужели, если любишь парня, нужно тискать его и душить за горло? Будьте добры, поберегите эту птичью клетку, которая у меня в руках.

— О клетке он думает больше, чем обо мне! — вскричала старуха, взывая к потолку. — А мне он дороже, чем родной матери!

— Ну, право же, я вам очень признателен, миссис Браун, — сказал злополучный юнец, в высшей степени удрученный, — но вы такая ревнивая. Я, конечно, и сам вас очень люблю и все прочее, но ведь я же не душу вас, ведь правда, миссис Браун?

Когда он произносил эти слова, вид у него был такой, как будто он весьма не прочь это сделать, буде представится удобный случай.

— И вы еще толкуете о птичьих клетках, — хныкал Точильщик, — словно это какое-то преступление. Посмотрите-ка сюда. Известно ли вам, кому она принадлежит?

— Твоему хозяину, миленький? — ухмыляясь, осведомилась старуха.

— Да, — ответил Точильщик, водружая на стол большую клетку, обернутую в какой-то капот, и стараясь развязать узел зубами и руками. — Это наш попугай, вот что это такое.

— Попугай мистера Каркера, Роб?

— Неужели вы не можете держать язык за зубами, миссис Браун! — отозвался раздраженный Точильщик. — Зачем вы называете имена? Будь я проклят, если она не доведет парня до безумия! — воскликнул Роб, в отчаянии дергая себя обеими руками за волосы.

— Это еще что такое! Ты меня упрекаешь, неблагодарный мальчишка? — вскричала миссис Браун, тотчас приходя в бешенство.

— Да нет же, миссис Браун, боже сохрани, — со слезами на глазах ответил Точильщик. — Ну, видывал ли кто когда-нибудь такую... Да, разве я не люблю вас как собственную душу, миссис Браун?

— Роб, миленький, в самом деле? Это правда, моя деточка?

С этими словами миссис Браун снова заключила его в нежные объятия и не выпускала до тех пор, пока он не начал энергически, но безуспешно брыкаться и пока все волосы у него на голове не стали дыбом.

— Ох, — простонал Точильщик. — Вот беда, от такой любви и задохнуться недолго! Хотел бы я, чтоб она... Как идут дела, миссис Браун?

— Ах, вот уже неделя, как он сюда не заглядывал! — воскликнула старуха, глядя на него с укоризной.

— Господи боже мой, миссис Браун, — возразил Точильщик, — я вам сказал неделю тому назад, что приду сюда сегодня вечером, не так ли? Я и пришел. Ну, что вы привязались? Хотел бы я, чтобы вы были чуточку более рассудительны, миссис Браун. Я даже охрип, оправдываясь, и у меня все лицо заблестело от ваших объятий.

Он принялся усердно тереть себе лицо рукавом, словно желая уничтожить упомянутый блеск.

— Выпей капельку, Роби, и успокойся, — сказала старуха, наполнив из бутылки стакан и протягивая ему.

— Благодарю вас, миссис Браун, — ответил Точильщик. — За ваше здоровье. И желаю вам долго... и так далее. — Судя по выражению его лица, под этим подразумевались отнюдь не наилучшие пожелания. — И за ее здоровье, — добавил Точильщик, взглянув на Элис, которая пристально смотрела, как казалось ему, на стену за его спиной, а в действительности — на мистера Домби, стоявшего в дверях.

После этих двух тостов он осушил стакан и поставил его на стол.

— Так вот что я вам говорю, миссис Браун, — продолжал он, — постарайтесь быть теперь чуточку более рассудительной. Вы понимаете толк в птицах и в их привычках; я это знаю на свою беду.

— На свою беду! — повторила миссис Браун.

— К своему удовольствию, хотел я сказать, — понравился Точильщик. — Зачем вы перебиваете парня, миссис Браун? Из-за вас у меня все вылетело из головы.

— Ты говорил о том, что я понимаю толк в птицах, Роби, — подсказала старуха.

— Ах, да! — подхватил Точильщик. — Так вот, я должен ухаживать за этим попугаем... а так как кое-что продано и хозяйство в расстройстве... а я бы не хотел обращать на себя внимание, то вот я и прошу вас присмотреть за ним с недельку, кормить его и беречь. Согласны? Раз я все равно должен приходить сюда, — с унылой физиономией произнес задумчиво Роб, — то лучше уж приходить с какой-то целью.

— Приходить с какой-то целью! — взвизгнула старуха.

— Я хотел сказать — не только с целью навестить вас, миссис Браун, — поправился малодушный Роб. — Право же, дело не в том, что мне нужна еще какая-то цель, миссис Браун. От всей души прошу вас, не начинайте опять сначала.

— Он меня не любит! Он меня не любит так, как я его люблю! — вскричала миссис Браун, вздев костлявые руки. — Но я позабочусь об его птице.

— И знаете ли, миссис Браун, хорошенько позаботьтесь о ней, — сказал Роб, покачивая головой. — Если вы хоть разок погладите ее против перьев, имейте в виду, что об этом станет известно.

— А! Так вот какой он зоркий, Роб! — быстро подхватила миссис Браун.

— Зоркий, миссис Браун, — повторил Роб. — Но нельзя об этом говорить.

Внезапно запнувшись и пугливо осмотревшись вокруг, Роб снова наполнил свой стакан, медленно осушил его и, покачав головой, стал водить пальцами по прутьям клетки, чтобы отвлечься от

только что затронутой опасной темы.

Старуха лукаво посмотрела на него, придвинула свой стул поближе и, поглядывая на попугая, который по ее зову спустился из-под своего позолоченного купола, спросила:

— Ты теперь без места, Рвби?

— Вас это не касается, миссис Браун, — коротко ответил Точильщик.

— Быть может, ты получаешь деньги на пропитание? — спросила миссис Браун.

— Красавец попка! — сказал Точильщик.

Старуха метнула на него взгляд, который мог бы предостеречь Роба, что уши его находятся в опасности, но теперь он в свою очередь смотрел на попугая, и хотя воображению его, быть может, и рисовалось ее сердитое, нахмуренное лицо, но он его не видел.

— Странно, что хозяин не взял тебя с собою, Роб, — сказала старуха ласковым тоном, но лицо ее стало еще более злобным.

Роб, созерцавший попугая и перебиравший пальцами прутья клетки, был так поглощен этим занятием, что ничего не ответил.

Когти старухи находились на волосок от включенных волос Роба, наклонившегося над столом, но она удержала свою руку; голос ее прерывался от усилия говорить вкрадчиво:

— Роби, дитя мое!

— Что, миссис Браун? — отозвался Точильщик.

— Я говорю: странно, что хозяин не взял тебя, миленький, с собою.

— Вас это не касается, миссис Браун, — ответил Точильщик.

Миссис Браун мгновенно вцепилась правой рукой ему в волосы, а левой сжала ему горло и с такою яростью навалилась на предмет своей нежной любви, что лицо у него тотчас начало синеть.

— Миссис Браун! — завопил Точильщик. — Отпустите меня, слышите? Что вы делаете? Эй, вы, та, что помоложе, на помощь! Миссис Бра... Бра...

Но «та, что помоложе», отнюдь не растроганная его призывом и бессвязными возгласами, оставалась совершенно безучастной до тех пор, пока Роб, загнанный своим врагом в угол, не вырвался; теперь он стоял, тяжело дыша и обороняясь локтями, тогда как старуха, тоже тяжело дыша и топая ногами от злости и нетерпения, собиралась с силами, чтобы снова налететь на него. В этот критический момент Элис подала голос, но не в пользу Точильщика.

— Прекрасно, матушка! Разорвите его в клочья.

— Что же это такое! — захныкал Роб. — И вы против меня? Что я сделал? Хотелось бы мне знать, за что хотят разорвать меня в клочья? Зачем вы душите парня, который никому из вас не причинил никакого зла? А еще называются — «женщины», — добавил испуганный и измученный Точильщик, вытирая глаза обшлагом куртки. — Удивляюсь я вам! Где же ваша женская нежность?

— Неблагодарный щенок, — задыхаясь, выговорила миссис Браун. — Бесстыдный, дерзкий щенок!

— Что же это такое я сделал и чем вас обидел, миссис Браун? — плаксиво отозвался Роб. — Минуту тому назад вы были очень ко мне расположены.

— Он мне затыкает рот дерзкими словами, — сказала старуха. — Мне! Только потому, что мне вздумалось полюбопытствовать о том, какие слухи ходят об его хозяине и этой леди, он осмелился говорить мне дерзости! Но больше я не буду с тобой разговаривать, мой мальчик. Ступай!

— Право же, миссис Браун, — возразил несчастный Точильщик, — я и не заикался о том, что хочу уйти. Будьте добры, миссис Браун, не говорите этого.

— Я вообще ни о чем не буду говорить, — сказала миссис Браун, пошевелив своими скрюченными пальцами, после чего Роб съежился в углу и стал вдвое меньше. — Я больше ни одного слова ему не скажу. Он — неблагодарный пес! Я от него отрекаюсь. Пусть он убирается. А я напущу на него тех, кто не станет держать язык за зубами, я напущу тех, от кого он не отвяжется, тех, что вопьются в него, как пиявки, и будут красться за ним, как лисицы. О, он их знает! Он знает свои старые забавы и привычки. Если он забыл, они ему скоро напомнят. Пусть он убирается и пусть посмотрит, каково ему будет служить своему хозяину и скрывать его секреты, когда эти парни начнут ходить за ним по пятам. Ха-ха-ха! Он увидит, что они совсем не похожи на нас с тобой, Элис, хотя с нами он скрывается. Пусть он убирается, пусть убирается!

К невыразимому ужасу Точильщика сгорбленная старуха принялась шагать по кругу диамет-

ром в четыре фута, твердя эти слова, потрясая над головой кулаком и жуя губами.

— Миссис Браун, — взмолился Роб, выходя из своего уголка, — я уверен, что, поразмыслив и успокоившись, вы не захотите губить пария, не правда ли?

— Молчи, — сказала миссис Браун, с гневом продолжая описывать круг. — Убирайся!

— Миссис Браун, — умолял несчастный Точильщик, — ведь я же не хотел... ох, нужно же было, чтобы с парнем стряслась такая беда... Я только остерегался болтать, как и всегда остерегаюсь, потому что он все может выведать. Но мне бы следовало знать, что дальше этой комнаты ничего не пойдет. Я, право же, очень не прочь посплетничать немного, миссис Браун, — с жалким видом добавил он. — Пожалуйста, перестаньте так говорить. Ох, да неужели же вы не замолвите словечка за несчастного парня? — вскричал Точильщик, в отчаянии взывая к дочери.

— Матушка, вы слышите? — сурово промолвила та, нетерпеливо тряхнув головой. — Попробуйте еще раз, а если вы опять не поладите, можете, если хотите, расправиться с ним раз и навсегда.

Миссис Браун, по-видимому растроганная этим весьма нежным увещанием, начала подвывать и, постепенно смягчившись, обвила руками шею раскаявшегося Точильщика, который с невыразимо печальной физиономией ответил на объятия и с видом жертвы, каковою он и был, занял прежнее место рядом со своей почтенной приятельницей. С притворно ласковой миной, сквозь которую весьма выразительно проглядывали совершенно противоположные чувства, он допустил, чтобы старуха продела его руку под свою и удержала ее.

— Миленький мой, ну, как поживает хозяин? — спросила миссис Браун, когда, дружески усевшись рядом, они выпили за здоровье друг друга.

— Тише! Будьте добры, миссис Браун, говорите не так громко, — попросил Роб. — Думаю, что он здоров, благодарю вас.

— Так ты не остался без службы, Роби? — вкрадчиво осведомилась миссис Браун.

— Видите ли, я, собственно, и служу и не служу, — заикаясь, ответил Роб. — Я... я все еще получаю жалованье.

— А работы у тебя никакой нет, Роб?

— Сейчас, в сущности, никакого особенного дела нет, миссис Браун, нужно только... смотреть в оба, — сказал Точильщик, с испугом выпучив глаза.

— Хозяин за границей, Роб?

— Ох, боже мой, неужели вы не можете потолковать с парнем о чем-нибудь другом? — в порыве отчаяния вскричал Точильщик.

Так как вспыльчивая миссис Браун тотчас же приподнялась со стула, несчастный Точильщик удержал ее, пробормотав:

— Да-да, миссис Браун, кажется, он за границей. На что это она уставилась? — добавил он, посмотрев на дочь, устремившую взгляд на лицо, которое снова показалось из-за двери за его спиной.

— Не обращай на нее внимания, мой мальчик, — сказала старуха, крепче цепляясь за него, чтобы помешать ему оглянуться. — Такая уж у нее привычка, такая привычка. Скажи-ка мне, Роб, ты видел эту леди, дорогой мой?

— Ох, миссис Браун, какую леди? — жалобным и умоляющим голосом вскричал Точильщик.

— Какую леди? — повторила она. — Ту самую леди: миссис Домби.

— Да, кажется, один раз я ее видел. — ответил Роби.

— В тот вечер, Роби, когда она уехала? — сказала ему на ухо старуха, зорко следя за выражением ее лица. — Ага! Я знаю, что это было в тот вечер.

— А если вы знаете, что это было в тот вечер, миссис Браун, — отозвался Роб, — то незачем вам щипцами вырывать у парня эти слова.

— Куда они поехали в тот вечер, Роб? Прямо за границу? Как же они поехали? Где ты ее видел? Она смеялась? Плакала? Расскажи мне все подробно, — кричала старая ведьма, притягивая его еще ближе, потирая руки, но не выпуская его руки и изучая каждую черточку его лица своими слезящимися глазами. — Ну, начинай! Я хочу, чтобы ты мне все рассказал. Роб, мой мальчик, мы с тобой умеем хранить тайну, правда? Так бывало и раньше. Куда они сначала поехали, Роб?

Злосчастный Точильщик вздохнул и безмолвствовал.

— Ты что, онемел? — сердито спросила старуха.

— О, боже мой, нет, миссис Браун! Вы думаете, что парень может быть таким же быстрым, как молния. Я и сам хотел бы стать электрическим током, — пробормотал загнанный в тупик Точильщик. — Кое-кому я бы нанес такой удар, что сразу покончил бы с ними.

— О чем ты говоришь? — ухмыляясь, осведомилась старуха.

— Говорю о своей любви к вам, миссис Браун, — ответил лживый Роб, ища утешения в рюмке. — Вы спрашиваете, куда они сначала поехали? Они оба?

— Да! — нетерпеливо подхватила старуха, — Оба.

— Ну, так они никуда не поехали... то есть я хочу сказать, что вместе они не поехали, — ответил Роб.

Старуха посмотрела на него так, как будто ей очень хотелось снова вцепиться ему в волосы и схватить за горло, но она удержалась при виде его упрямой и многозначительной мины.

— Вот как это было хитро сделано, — неохотно продолжал Точильщик, — потому-то никто не видел их отъезда и не мог бы сказать, куда они поехали. Они поехали в разные стороны, вот что я вам скажу, миссис Браун.

— Так, так! Чтобы встретиться в назначенном месте, — захихикала старуха, минутку помолчав и пристально посмотрев ему в лицо.

— Ну, если бы они не сговорились где-то встретиться, то могли бы, мне кажется, и не уезжать из дому, не правда ли, миссис Браун? — нехотя отозвался Роб.

— Ну, а дальше, Роб? Ну? — воскликнула старуха, еще крепче прижимая к себе его руку, продетую под ее, словно опасалась, как бы он не ускользнул.

— Как? Да неужели мы еще недостаточно об этом потолковали, миссис Браун? — возразил Точильщик, который от обиды, от вина и от перенесенных им мучений стал таким слезливым, что чуть ли не при каждом вопросе начинал тереть обшлагом то один, то другой глаз и всхлипывать в знак протеста. — Вы спрашивали, смеялась ли она в тот вечер? Не так ли, миссис Браун?

— Или плакала? — добавила старуха, кивая в знак согласия.

— И не смеялась и не плакала, — сказал Точильщик. — Такой же спокойной она была и тогда, когда мы с ней... Ох, вижу, что вы все из меня вытянете, миссис Браун! Но поклянитесь всем святым, что вы никому ее скажете.

Лицемерная миссис Браун охотно согласилась, желая только, чтобы спрятанный посетитель услышал все собственными ушами.

— Она была спокойна, как статуя, когда мы с ней поехали в Саутгемптон, — сказал Точильщик. — И утром она была точь-в-точь такую же, миссис Браун. И на рассвете, когда она уехала одна на пакетботе — я выдавал себя за ее слугу и проводил ее на борт. Ну теперь-то уж вы удовлетворены, миссис Браун?

— Нет, Роб. Еще нет, — решительно отрезала миссис Браун.

— Ох, ну и женщина! — вскричал злосчастный Роб, делая слабую попытку посетовать на свою беспомощность. — Что же вам еще угодно знать, миссис Браун?

— Что подельывал хозяин? Куда он поехал? — осведомилась она, по-прежнему не отпуская его и зорко всматриваясь в его лицо.

— Честное слово, не знаю, что он делал, куда поехал, и вообще ничего о нем не знаю! Мне известно только, что на прощанье он меня предостерег, чтобы я держал язык за зубами. И вот что я вам скажу по дружбе, миссис Браун: если вы повторите хоть словечко из того, о чем мы говорим, лучше вам взять да и застрелиться или запереться в этом доме и поджечь его, потому что он на все способен, если захочет вам отомстить. Вы, миссис Браун, не можете знать его так хорошо, как я. Говорю вам — от него не уйти!

— Да ведь я поклялась и не нарушу клятвы, — возразила старуха.

— Надеюсь, что не нарушите, — недоверчиво и даже с оттенком угрозы ответил Роб. — Не нарушите ради себя самой так же, как и ради меня.

Делая это дружеское предостережение, он поглядел на нее и кивком головы подкрепил свои слова. Но, убедившись, что не очень-то приятно видеть так близко от себя желтое лицо, уродливо гримасничавшее, и старческие, хорьковые глаза, смотревшие пронизательно и холодно, ей в замешательстве потупился и заерзал на стуле, словно стараясь собраться с духом и упрямо заявить, что ни на какие вопросы он больше отвечать не будет. Старуха, по-прежнему не отпуская его, вос-

пользовалась удобным моментом и подняла указательный палец правой руки, тайком подавая сигнал спрятанному посетителю и предлагая ему обратиться сугубое внимание на то, что за сим последует.

— Роб, — снова начала она заискивающим топом.

— Господи помилуй, миссис Браун, ну что вам еще не ясно? — оторвался пришедший в отчаяние Точильщик.

— Роб! Где условились встретиться эта леди и твой хозяин?

Роб заерзал еще больше, поднял глаза, опустил их, прикусил большой палец, вытер его о жилет и, наконец, сказал, искоса глядя на свою мучительницу:

— Да откуда же мне это знать, миссис Браун? Старуха снова подняла палец, проговорила:

— Полно, мой мальчик! Что толку молчать, когда столько уже сказано! Я хочу это знать, — и стала ждать его ответа.

Роб в смущении безмолвствовал, а затем вдруг воскликнул:

— Да разве я могу выговорить названия иностранных городов, миссис Браун? Какая вы неразумная женщина!

Но ведь ты слышал это название, Роби, — твердо возразила она, — и знаешь, как оно звучит. Ну!

— Я никогда его не слышал, миссис Браун! — заявил Точильщик.

— Значит, ты видел, как оно пишется, — быстро сказала старуха, — и можешь произнести его по буквам.

Роб от досады не то засмеялся, не то заплакал; дело в том, что даже претерпевая эту пытку, он невольно пришел в восторг от пронизательности миссис Браун и, нехотя пошарив в кармане жилета, вытащил оттуда кусочек мела. Глаза старухи сверкнули, когда она увидела, что он зажал мел между большим и указательным пальцем, и она торопливо очистила местечко на сосновом столе, чтобы он мог написать здесь это слово.

— Вот что я вам заранее скажу, миссис Браун, — начал Роб, — незачем задавать мне еще какие-нибудь вопросы. Больше я ни на один вопрос не отвечу, потому что не могу ответить. Скоро ли они должны встретиться и кто из них придумал, чтобы ехать порознь, — об этом я знаю не больше, чем вы. Я ровно ничего об этом не знаю. Вы мне поверите, если я расскажу, как я узнал это слово. Рассказать вам, миссис Браун?

— Да, Роб.

— Так вот, стало быть, миссис Браун, дело было... Но больше вы ни о чем не будете меня спрашивать, помните! — произнес Роб, поднимая на нее глаза, которые теперь быстро делались сонными и бессмысленными.

— Ни о чем, — сказала миссис Браун.

— Ну, так вот как было дело. Когда известный вам человек уходил, оставляя со мною леди, он ей сунул в руку бумажку с указанием дороги на случай, если она забудет. Но она этого не боялась, потому что, как только он повернулся к нам спиной, она разорвала бумажку, а когда я откидывал подножку кареты, выпал один клочок — остальное она, должно быть, выбросила из окна, так как я искал потом, но ничего не нашел. На этом клочке было написано только одно слово, и раз уже вы во что бы то ни стало хотите его знать, я вам его напишу. Но помните! Вы дали клятву, миссис Браун!

Миссис Браун сказала, что ей это известно. Роб, не имея больше никаких возражений, начал медленно и старательно писать мелом на столе.

— «Д», — громко произнесла старуха, когда он дописал эту букву.

— Неужели вы не можете помолчать, миссис Браун? — воскликнул Роб, прикрывая букву рукой и нетерпеливо поворачиваясь к ней. — Я не хочу, чтобы вы читали вслух. Вы будете молчать?

— Тогда пиши покрупнее, Роб, — сказала она, повторяя свой тайный сигнал, — глаза у меня плохие, даже по-печатному не разбираю.

Ворча что-то себе под нос и с неохотой возвращаясь к прерванной работе, Роб снова занялся писанием. Когда он наклонил голову, человек, для осведомления коего он, сам того не ведая, трудился, медленно вышел из-за двери за его спиной и, остановившись на расстоянии одного шага, стал следить за его рукой, ползущей по столу. В то же время и Элис, сидевшая напротив, зорко всматривалась в вырисовывавшиеся буквы и, по мере того как он писал, беззвучно их произносила. Когда он дописывал букву, глаза ее и мистера Домби встречались, как будто и он и она искали подтверждения

тому, что они видели, и так оба сложили по буквам: Д-И-Ж-О-Н.

— Ну, вот! — сказал Точильщик, поспешно посплюнявив ладонь, чтобы смыть написанное слово, и, не довольствуясь этим, принялся стирать его обшлагом, уничтожая все следы, пока на столе не осталось ни крошки мела. — Теперь, надеюсь, вы довольны, миссис Браун?

Старуха в знак своего удовлетворения освободила его руку и похлопала его по спине, а Точильщик, впад в уныние от унижения, допроса и вина, положил руки на стол, опустил на них голову и заснул.

Когда он погрузился в крепкий сон и громко захрапел, — тогда только старуха повернулась к двери, за которой скрывался мистер Домби, и поманила его, чтобы он прошел через комнату и выбрался на улицу. Впрочем, она продолжала вертеться вокруг Роба с целью закрыть ему глаза руками или хлопнуть его по затылку, если он поднимет голову, когда мистер Домби будет потихоньку двигаться к выходу. Но, зорко следя за спящим, она не менее зорко следила и за бодрствующим. И когда он коснулся ее руки и когда, вопреки всем его предосторожностям, зазвенело золото, глаза ее загорелись ярким и алчным огнем, как у ворона.

Мрачный взгляд дочери проводил его до двери и подметил его бледность и торопливую походку, свидетельствующую о том, что малейшее промедление кажется ему нестерпимым и он думает только о том, чтобы уйти и приступить к делу. Когда он закрыл за собой дверь, она оглянулась и посмотрела на мать. Старуха рысцой подбежала к ней, разжала руку, показывая, что в ней зажато, и, снова алчно сжав ее в кулак, прошептала:

— Что же он теперь задумал, Элис?

— Злое дело, — ответила дочь.

— Убийство? — спросила старуха.

— Оскорбленная гордость лишила его рассудка, и ни мы, ни сам он — никто не знает, что способен он совершить.

Глаза ее сверкали ярче, чем у матери, и горели более зловещим огнем, но лицо и даже губы побелели.

Больше они не сказали ни слова и сидели поодаль друг от друга. Мать вела беседу со своими деньгами, дочь — со своими мыслями; у обеих глаза горели в полумраке слабо освещенной комнаты. Роб спал и храпел. Только забытый всеми попугай пребывал в движении. Он цеплялся своим кривым клювом за проволоку клетки, поднимался вверх к куполу и карабкался по нему, как муха, спускался оттуда вниз головою и тряс и кусал и дергал тонкую проволоку, как будто знал, что хозяину его грозит опасность, и во что бы то ни стало хотел вырваться и улететь, чтобы предостеречь его.

Глава LIII Новые сведения

Родственники предателя — его отвергнутые брат и сестра — чувствовали тяжесть его преступления едва ли не сильнее, чем тот, кого он столь жестоко оскорбил. Как ни было любопытно и требовательно светское общество, однако оно сослужило службу мистеру Домби, побуждая его к преследованию и мести. Оно разожгло его страсть, задело его гордыню, превратило его жизнь в служение одной-единственной идее и способствовало тому, что утоление гнева стало целью, на которой сосредоточились все его помыслы. Все упорство и непреклонность его натуры, вся его жесткость, сумрачность и суровость, преувеличенное представление о собственном значении, все ревнивые чувства его, возмущавшиеся малейшей недооценкой его особы другими людьми, — все устремлялось в эту сторону, подобно многочисленным ручьям, сливающимся в единый поток, и увлекало его за собой. Самый страстный и необузданный человек оказался бы более мягкосердечным врагом, чем угрюмый мистер Домби, доведенный до такого состояния. Дикого зверя легче было бы остановить и успокоить, чем этого степенного джентльмена, носившего накрахмаленный галстук без единой морщинки.

Упорство его намерения являлось до какой-то степени заменой действия. Пока он еще не знал, где скрывается предатель, это упорство помогало ему отвлечься от собственного несчастья и занять себя другими мыслями. Брат и сестра его коварного фаворита были лишены этого утешения; события

их жизни, прошлой и настоящей, делали его преступление особенно тяжким для них.

Быть может, иной раз сестра с грустью думала о том, что, останься она с ним в качестве его спутницы и друга, каким была для него когда-то, пожалуй, он не совершил бы этого преступления. Если и случалось ей об этом думать, она все же никогда не сожалела о своем выборе, нисколько не сомневалась в том, что исполнила свой долг, и отнюдь не преувеличивала своего самопожертвования. Но если такая мысль мелькала у согрешившего и раскаявшегося брата — а это иногда случалось, — она разрывала ему сердце и вызывала острые угрызения совести, почти нестерпимые. Ему и в голову не приходило порадоваться беде своего жестокого брата в отместку за перенесенные обиды. Разоблачение привело лишь к тому, что он стал наново обвинять себя и мысленно сокрушаться о своем ничтожестве и падении, которые разделял с ним другой человек, и это служило ему утешением, вызывая в то же время угрызения совести.

В тот самый день, вечер которого описан в последней главе, когда светское общество чрезвычайно интересовалось побегом жены мистера Домби, за окном комнаты, где брат и сестра сидели за ранним завтраком, неожиданно мелькнула тень человека, направлявшегося к крылечку. Это был Перч, рассыльный.

— Я пришел раненько из Болс-Понд, — сказал мистер Перч, с таинственным видом заглядывая в комнату и останавливаясь на циновке, чтобы хорошенько вытереть башмаки, которые и без того были чистые, — я рано пришел потому, что вчера получил такое распоряжение. Мне было приказано, мистер Каркер, непременно передать вам утром записку, пока вы еще не ушли. Я был бы здесь на полтора часа раньше, — смиренно добавил мистер Перч, — если бы не состояние здоровья миссис Перч... Этой ночью я раз пять рисковал потерять миссис Перч.

— Разве ваша жена так тяжело больна? — спросила Хэриет.

— Видите ли, мисс, — сказал мистер Перч, сначала обернувшись, чтобы осторожно притворить дверь, — очень уж она близко к сердцу принимает событие, случившееся в нашей фирме. Нервы у нее, знаете ли, очень чувствительные и очень легко расстраиваются. Да, впрочем, тут и самые крепкие нервы не выдержат. Вы, конечно, и сами очень расстроены.

Хэриет подавила вздох и посмотрела на брата.

— Хотя я человек маленький, но, конечно, и я это почувствовал, — продолжал мистер Перч, покачивая головой, — да так, что сам бы этому не поверил, если бы не суждено мне было испытать все на себе. На меня это происшествие подействовало как выпивка. Каждое утро я себя чувствую так, словно накануне пропустил лишний стаканчик.

Физиономия мистера Перча подтверждала описанные симптомы. Вид у него был лихорадочный и истомленный, наводивший на мысль о выпитых стаканчиках, — у мистера Перча и в самом деле развилась привычка ежедневно попадать каким-то образом в трактиры, где его угощали и расспрашивали.

— Поэтому, — вкрадчиво прошептал мистер Перч, снова покачав головой, — я могу судить о чувствах тех, кого особенно затрагивает это крайне печальное разоблачение.

Мистер Перч подождал, не услышит ли он откровенного ответа, но, не получив его, кашлянул, прикрывая рот рукою. Так как это ни к чему не привело, он кашлянул, прикрывая рот шляпой, а когда и это ни к чему не привело, он положил шляпу на пол и достал из бокового кармана письмо.

— Если память мне не изменяет, ответа не требуется, — с приветливой улыбкой сказал мистер Перч. — Но, быть может, вы будете так любезны и просмотрите это письмо, сэр.

Джон Каркер сломал печать — печать мистера Домби — и, ознакомившись с содержанием записки, очень короткой, сказал:

— Да, ответа не нужно.

— В таком случае, я пожелаю вам доброго утра, мисс, — сказал Перч, шагнув к двери, — и осмелюсь выразить надежду, что вы постараетесь не слишком падать духом из-за этого печального происшествия. Газеты, — добавил мистер Перч, отступая на два шага и таинственным шепотом обращаясь одновременно к брату и к сестре, — охотятся за новостями так, что вы и вообразить не можете. Один человек из воскресной газеты, в синем пальто и белой шляпе, который уже пытался меня подкупить, — незачем и говорить, что безуспешно, — вертелся вчера у нас во дворе до двадцати минут девятого. Я сам видел, как он подсматривал в замочную скважину конторы, но знаете ли, замок патентованный, и ровно ничего не увидишь. А другой, в военном, целый день сидит в буфетной

Чарльз Диккенс «Торговый дом Домби и сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт»

«Королевского герба», — сказал мистер Перч. — На прошлой неделе я случайно обронил там какое-то замечание, а на следующий день — это было воскресенье, — к великому своему изумлению, вижу, что оно уже напечатано.

Мистер Перч полез в карман, словно хотел извлечь эту записку, но, не встретив поощрения, вытащил теплые перчатки, подобрал шляпу и откланялся. И не настал еще полдень, а мистер Перч уже успел рассказать избранному обществу в «Королевском гербе» и в других местах о том, как мисс Каркер, разрыдавшись, схватила его за обе руки и воскликнула: «О милый, милый Перч, единственное мое утешение — видеть вас!», и как мистер Джон Каркер сказал устрашающим голосом: «Перч, я от него отрекаюсь! Никогда не называйте его моим братом!»

— Милый Джон, — спросила Хэриет, когда они остались вдвоем и с минутку помолчали, — это письмо принесло дурные вести?

— Да. Но ничего неожиданного, — ответил он. — Вчера я видел того, кто написал это письмо.

— Того, кто написал?

— Мистера Домби. Он дважды прошел через контору, когда я был там. До сих пор мне удавалось не попадаться ему на глаза, но я не мог надеяться, что так будет и впредь. Вполне понятно, мое присутствие должно казаться ему неприятным. Полагаю, то же самое чувствовал бы и я.

— Неужели он это сказал?

— Нет. Он ничего не сказал, но я видел, как его глаза на секунду остановились на мне, и приготовился к тому, что должно было случиться, — к тому, что случилось. Я уволен!

По мере сил она старалась скрыть свое смятение и казаться бодрой, но эта новость была печальной по многим соображениям.

— «Незачем объяснять вам, — начал Джон Каркер, вслух читая письмо, — почему ваше имя, произносимое в какой бы то ни было связи с моим, отныне будет звучать странно и почему для меня нестерпимо видеть того, кто это имя носит. Я уведомляю вас о прекращении с сего числа всяких отношений между нами и настаиваю, чтобы вы не делали никаких попыток возобновить связи со мной или с моей фирмой». В письмо вложены деньги. Их больше, чем полагается при увольнении, а вот и моя отставка. Право же, Хэриет, если мы вспомним прошлое, то надо признать, что это снисходительная и деликатная мера.

— Если есть снисходительность и деликатность, Джон, в том, чтобы налагать на тебя кару за проступок другого, то я с тобой согласна, — кротко отозвалась она.

— Члены нашего семейства не первый раз причиняют ему зло, — сказал Джон Каркер. — У него есть основания содрогаться при звуке нашего имени и полагать, что в нас есть что-то губительное для него. Я и сам мог бы так подумать, Хэриет, если бы не было на свете тебя.

— Брат, не нужно так говорить. Если, как ты утверждаешь, у тебя есть какие-то особые причины — но я это отрицаю! — любить меня, то пощади меня и не говори таких безумных, нелепых слов!

Он закрыл лицо обеими руками, но когда она подошла к нему, позволил ей взять его руку в свою.

— Я понимаю, что после стольких лет тяжело быть уволенным, — сказала его сестра, — а причина этого увольнения ужасна для нас обоих. Однако мы должны жить и искать средства к существованию. Ну, что ж! Мы можем это делать, не теряя мужества. Бороться, Джон, бороться вместе — в этом наша гордость, а не позор.

Улыбка появилась у нее на губах, когда она поцеловала его в щеку и просила не унывать.

— Ах, дорогая сестра! Ты по доброй воле и по своему великодушию связала себя с погибшим человеком! С опороченным человеком. С человеком, у которого нет ни одного друга и который разогнал и всех твоих друзей!

— Джон! — Она быстро зажала ему рот рукою. — Не говори так ради меня. Ради нашей многолетней дружбы. — Он молчал. — Теперь вот что я тебе расскажу, дорогой мой. — Она тихо под села к нему. — Я так же, как и ты, ждала этого. И когда я думала об этом, и ждала со страхом, и старалась по мере сил приготовиться, я решила сказать тебе, раз уж этому суждено случиться, что я скрывала от тебя одну тайну и что у нас есть друг.

— Как же зовут нашего друга, Хэриет? — спросил он с печальной улыбкой.

— Право, не знаю; но однажды он с жаром заявил мне о своих дружеских чувствах и о своем

желаний быть нам полезным. А я и по сей день ему верю.

— Хэриет! — с изумлением воскликнул брат. — Где же он живет, этот друг?

— Этого я тоже не знаю, — сказала она. — Но он знает нас обоих и нашу историю — всю нашу историю, Джон. Вот потому-то я, следуя его совету, скрыла от тебя его посещение. Я опасалась, как бы ты не огорчился, услышав, что эта история ему известна.

— Посещение? Неужели он был здесь, Хэриет?

— Здесь, в этой комнате. Один раз.

— Что это за человек?

— Не молодой. Он уже начал седеть и, как он сам сказал, скоро станет совсем седым. Но великодушный, искренний и добрый. В этом я уверена!

— И ты только один раз его видела, Хэриет?

— В этой комнате только один раз, — ответила сестра, на щеках которой вспыхнул легкий румянец, мгновенно угасший. — Но, зайдя сюда, он упрасивал, чтобы я позволила ему видеть меня раз в неделю, когда он проходит мимо нашего дома, — в знак того, что у нас все благополучно и мы по-прежнему не нуждаемся в его помощи. Видишь ли, я сказала ему, когда он предложил нам свои услуги — а это и было целью его посещения, — что мы ни в чем не нуждаемся.

— Так, значит, раз в неделю...

— С тех пор раз в неделю, и всегда в тот же самый день и в тот же час, он проходит мимо нашего дома; всегда пешком, всегда по направлению к Лондону и всегда приостанавливаясь только для того, чтобы поклониться мне и весело помахать рукой, словно добрый опекун. Он мне это обещал, когда предложил эти забавные свидания, и так мило и добросовестно сдержал свое слово, что если вначале и были у меня какие-нибудь сомнения (вряд ли они были, Джон, таким он казался простым и искренним), они быстро рассеялись, и я радовалась, когда наступал назначенный день. В прошлый понедельник — первый понедельник после этого ужасного события — он не появился. И я с недоумением размышляла о том, находится ли его отсутствие в какой-нибудь связи с тем, что случилось.

— Какая же может быть связь? — осведомился брат.

— Не знаю. Я просто задумалась о совпадении, но не пыталась его объяснить. Я уверена, что он придет. А когда он придет, милый Джон, позволь мне сказать ему, что я, наконец, поговорила с тобой, и позволь познакомить тебя с ним. Он несомненно поможет нам найти средства к существованию. Он хотел только одного — как-нибудь облегчить мою и твою жизнь. И я ему обещала, что в нужде я о нем вспомню, и тогда его имя не будет для нас тайной.

— Хэриет, — сказал брат, слушавший с величайшим волнением, — опиши мне наружность этого джентльмена. Я несомненно должен знать того, кто так хорошо меня знает.

Его сестра постаралась как можно живее изобразить черты лица, фигуру и костюм своего гостя. Но или Джон Каркер не знал этого человека, или описание ее оказалось неточным, или же он, шагая взад и вперед по комнате, увлекся своими собственными мыслями, — как бы то ни было, он не мог узнать нарисованный ею портрет.

Во всяком случае, они условились, что он увидит оригинал, как только тот снова появится. Когда это решение было принято, сестра, уже не с такой тяжестью на сердце, занялась домашними делами, а поседевший человек, бывший младший служащий фирмы «Домби и Сын», посвятил первый день непривычной ему свободы работе в саду.

Был уже поздний час, и брат читал вслух, а сестра занималась шитьем, когда кто-то постучал в дверь. В той атмосфере тревоги и опасений, которая нависала над ними после бегства брата, этот звук, необычный здесь, показался почти страшным. Брат подошел к двери, сестра сидела и пугливо прислушивалась. Кто-то заговорил с Джоном, а он ответил и как будто удивился; обменявшись несколькими словами, они вдвоем вошли в комнату.

— Хэриет, — сказал брат, вводя позднего гостя и говоря тихим голосом, — это мистер Морфин — джентльмен, все время служивший вместе с Джеймсом в фирме Домби.

Его сестра отшатнулась, словно увидела привидение. В дверях стоял неведомый друг с темными волосами, тронутыми сединой, с румяным лицом, с широким чистым лбом и карими глазами, — человек, чью тайну она так долго скрывала.

— Джон, — задыхаясь, сказала она, — это тот самый джентльмен, о котором я тебе говорила

сегодня!

— Этот джентльмен, мисс Хэриет, — входя в комнату, сказал гость, ненадолго задержавшийся на пороге, — с великим облегчением слышит ваши слова. По пути сюда он все время придумывал, какое бы ему дать объяснение, и ни одно его не удовлетворяло. Мистер Джон, я здесь не совсем чужой человек. Вы были очень изумлены, когда увидели меня у своей двери. Кажется, сейчас вы еще больше изумлены. Ну, что ж, это понятно при данных обстоятельствах. Если бы мы не были такими рабами привычки, у нас было бы вдвое меньше оснований удивляться.

Тем временем он приветствовал Хэриет с тою милой сердечностью и уважением, какие она так хорошо запомнила, уселся рядом с ней, положил на стол свою шляпу и бросил в нее перчатки.

— Нет ничего удивительного в том, что у меня появилось желание увидеть вашу сестру, мистер Джон, — сказал он, — и что я по-своему удовлетворил это желание. Что же касается регулярности моих визитов (об этом она, быть может, осведомила вас), то в этом нет ничего из ряда вон выходящего. Вскоре они вошли у меня в привычку, а мы — рабы привычки... рабы привычки!

Засунув руки в карманы и откинувшись на спинку стула, он посмотрел на брата и сестру, как будто ему занятно было видеть их вместе, и продолжал с каким-то раздражением и в то же время задумчиво:

— Это та самая привычка, которая питает в иных из нас, способных на лучшее, дьявольскую гордыню и упрямство, в других укрепляет склонность к подлости, у большинства развивает равнодушие, — привычка, под воздействием которой мы изо дня в день становимся все бесчувственнее и тверже, в зависимости от того, из какой глины мы вылеплены, подобно статуям, и мы не более, чем статуи, восприимчивы к новым впечатлениям и мыслям. Вы можете судить о влиянии этой привычки на меня, Джон. В течение многих лет я принимал некоторое, строго ограниченное, участие в управлении фирмой Домби и видел, как ваш брат (который оказался негодяем! ваша сестра простит мне, что я вынужден упомянуть об этом) приобретал все большее влияние, так что в конце концов и фирма и ее глава стали игрушкой в его руках. Я видел, как вы, не привлекая к себе внимания, работали изо дня в день за своей конторкой; я вполне довольствовался тем, что делал свое дело, стараясь не отвлекаться от него и предоставляя всему остальному идти своим чередом, словно огромной машине, — по привычке, свойственной также и мне, — я не задавал никаких вопросов и считал все это непреложным и правильным. Неизменно наступали мои вечера по средам, неизменно разыгрывались наши квартеты, моя виолончель была настроена, и в моем мире все было в порядке — или более или менее в порядке, — а если что-нибудь и было неладно, меня это не касалось.

— Могу ответить вам, что за все это время никто не пользовался таким уважением и любовью в нашей фирме, как вы, сэр, — сказал Джон Каркер.

— Вздор! — возразил тот. — Должно быть, потому, что я человек довольно добродушный и покладистый; таков я по привычке. Заведующему это было по вкусу; человеку, которым он управлял, это было по вкусу, — больше всего это было по вкусу мне. Я исполнял свои обязанности, не заискивал ни перед кем из них и рад был занимать место, на котором от меня не требовалось подхалимства. Таким остался бы я и по сие время, если бы в моей комнате были толстые стены. Вы можете подтвердить при вашей сестре, что моя комната отделена от комнаты заведующего тонкой перегородкой.

— Это смежные комнаты; может быть, первоначально это была одна комната. И они отделены одна от другой, как говорит мистер Морфин, тонкой перегородкой, — сказал ее брат, снова обернувшись к нему в ожидании дальнейших объяснений.

— Я насвистывал, напевал, исполнил от начала до конца всю бетховенскую сонату си-бемоль, желая дать ему понять, что у меня все слышно, — продолжал мистер Морфин, — но он никогда не обращал на меня внимания. Конечно, мне редко случалось слышать private разговоры. Но если я находился в то время в комнате и поневоле должен был что-то услышать, я выходил. Один раз, Джон, я вышел, когда вели беседу два брата, в которой участвовал сначала и молодой Уолтер Гэй. Но прежде чем выйти из комнаты, я успел кое-что услышать. Быть может, вы помните этот случай и сообщите сестре, о чем шла речь.

— Хэриет, — тихо сказал ей брат, — речь шла о прошлом и о нашем положении в фирме.

— Предмет беседы не представлял для меня ничего нового, но этот разговор открыл мне новую точку зрения. Он поколебал мою привычку — привычку девяти десятых населения земного шара — считать, что все вокруг меня обстоит благополучно, потому что я с этим окружающим освоился, и он

же побудил меня припомнить историю двух братьев и задуматься над ней. Едва ли не в первый раз в жизни я задал себе такой вопрос: какими покажутся нам вещи, сейчас такие привычные и естественные, когда мы посмотрим на них с этой новой точки, к которой рано или поздно все мы неизбежно должны прийти? После того утра я стал, можно сказать, менее добродушным, менее покладистым и снисходительным.

Он помолчал, барабанил пальцами по столу, затем быстро заговорил, как будто торопился закончить свою исповедь:

— Прежде чем я принял какое-либо решение, прежде чем я мог что-нибудь предпринять, между теми же двумя братьями произошел второй разговор, причем было упомянуто имя их сестры. Без малейших угрызений совести я позволил себе услышать обрывки этого разговора. Я считал, что имею на это право. Затем я пришел сюда, чтобы собственными глазами увидеть сестру. В первый раз я остановился у калитки под предлогом, будто хочу разузнать кое-что о ваших бедных соседях; но я уклонился в сторону от намеченной линии, и, кажется, мисс Хэриет отнеслась ко мне с недоверием. Явившись вторично, я попросил разрешения войти в дом, вошел и сказал то, что хотел сказать. Ваша сестра объяснила мне причины — я их не посмел оспаривать, — почему она отказывается принять помощь от меня. Но между нами установилось общение, которое поддерживалось регулярно вплоть до последнего времени, когда мне пришлось нарушить его, так как я должен был заняться важными делами.

— А я-то, ежедневно встречаясь с вами, даже и не подозревал ни о чем, сэр! — сказал Джон Каркер. — Если бы Хэриет могла угадать ваше имя...

— По правде сказать, Джон, — перебил гость, — я скрыл его по двум причинам. Не знаю, достаточно ли было бы одной первой: человек не вправе принимать благодарность за добрые намерения, и я решил не открывать своего имени, пока мне не удастся оказать вам какую-нибудь реальную услугу. Вторая причина заключалась в том, что у меня всегда мелькала надежда, не смягчится ли ваш брат по отношению к вам обоим. А если бы такой подозрительный и настороженный человек обнаружил мое дружеское к вам расположение, это могло послужить роковым поводом для нового разрыва. Я решил, рискуя навлечь на себя его неудовольствие — но это не имело бы для меня никакого значения, — дожидаться удобного случая и ходатайствовать о вас перед главой фирмы; но в результате таких событий, как смерть, помолвка, свадьба и семейные неурядицы, у нас в течение долгого, долгого времени единственным начальником был ваш брат. А лучше было бы нам иметь вместо него сухой пень, — добавил гость, понизив голос.

Казалось, он сознавал, что эти слова вырвались у него невольно, и, протянув одну руку брату, а другую сестре, продолжал:

— Теперь я сказал все, что хотел сказать, и даже больше. Надеюсь, вы понимаете и верите, что самого главного не скажешь словами. Настало время, Джон, — хотя настало оно благодаря весьма прискорбному происшествию, — когда я могу оказать вам помощь, не мешая тому делу искупления, какое длилось столько лет, ибо сейчас вы освобождены от него не по своей воле. Час уже поздний, больше я не прибавлю ни слова. Вы, Джон, будете хранить доверенное вам сокровище, не нуждаясь в моих советах или напоминаниях.

С этими словами он встал, собираясь уйти.

— Ну, Джон, идите вперед со свечой, — добродушно прибавил он, — и не говорите того, что вам хочется сказать. — Джон Каркер был глубоко растроган, и он охотно излил бы свои чувства, будь у него эта возможность. — А мне позвольте потолковать с вашей сестрой. Хотя при данных условиях ваше присутствие кажется вполне естественным, но нам уже случалось беседовать наедине, в этой самой комнате.

Проводив его взглядом, он ласково повернулся к Хэриет и, понизив голос, заговорил изменившимся и более серьезным тоном:

— Вы хотите задать мне вопрос о человеке, чьей сестрой вы имеете несчастье быть.

— Я боюсь спрашивать, — сказала Хэриет.

— Вы несколько раз посмотрели на меня так пристально, что, кажется, я угадал ваш вопрос, — возразил гость. — Похитил ли он деньги? Не так ли?

— Да.

— Нет, не похитил.

— Слава богу! — воскликнула Хэриет. — Я счастлива за Джона.

— Но он всячески злоупотреблял оказываемым ему доверием, — продолжал мистер Морфин, — он совершал сделки чаще ради собственной выгоды, чем в интересах фирмы, чьим представителем являлся; он втягивал фирму в чрезвычайно рискованные операции, часто приносявшие огромные убытки; он всегда потакал тщеславию и честолюбию своего хозяина, тогда как его долгом было сдерживать их и объяснять — он мог бы это сделать, — к каким результатам они приводят. Все это, вероятно, не удивит вас теперь. Были затеяны предприятия с целью раздуть репутацию и кредитоспособность фирмы и показать ее превосходство над другими торговыми домами, и нужно иметь трезвый ум, чтобы предвидеть возможность пагубных последствий, которая становится вероятностью, если в делах происходит хотя бы незначительная перемена к худшему. Проводя многочисленные операции чуть ли не во всех частях света — в этом огромном лабиринте он один знал все входы и выходы, — он имел возможность (и, по-видимому, воспользовался ею) скрывать подлинные результаты операций и подменять факты сметами и общими рассуждениями. Но последнее время... вы следите за тем, что я говорю, мисс Хэриет?

— Да, да! — ответила она, повернув к нему испуганное лицо. — Пожалуйста, скажите мне сразу самое худшее.

— Последнее время он, по-видимому, посвятил все силы тому, чтобы сделать совершенно ясными и понятными результаты этих операций, и теперь справка в книгах дает возможность с удивительной легкостью разобраться в них, при всем их количестве и разнообразии. Как будто он решил сразу показать своему хозяину, к чему приводит страсть, которой тот одержим. Бесспорно то, что он все время гнусно потакал этой страсти и отвратительно льстил ей. В этом и заключается главное его преступление перед фирмой.

— Еще одно слово, прежде чем мы расстанемся, дорогой сэр, — сказала Хэриет. — Есть ли опасность?

— Какая опасность? — замявшись, спросил он.

— Опасность, угрожающая кредиту фирмы.

— Я могу ответить вам откровенно и с полным доверием? — спросил мистер Морфин, всматриваясь в ее лицо.

— О да, можете!

— Верю, что могу. Опасность, угрожающая кредиту фирмы? Нет. Никакой. Могут возникнуть затруднения, более или менее серьезные, но никакой опасности нет, разве что... да, разве только глава фирмы, не желая сузить круг операций и решительно отказываясь верить, что положение фирмы не таково или может стать не таким, каким он всегда его представлял, заставит ее перенапрягать свои силы. Тогда она зашатается.

— Но нет никаких оснований ожидать этого? — спросила Хэриет.

— Между нами не будет недомолвок, — ответил он, пожимая ей руку. — К мистеру Домби нельзя подступиться. Он надменен, безрассуден и неукротим. Но сейчас он охвачен необычайным смятением и возбуждением, а такое состояние может пройти. Теперь вы знаете все, как плохое, так и хорошее. На сегодня довольно, спокойной ночи!

С этими словами он поцеловал ей руку и, выйдя туда, где его поджидал ее брат, добродушно отодвинул его в сторону, когда тот попытался заговорить, и сказал ему, что теперь они будут видеться часто, и он может, если пожелает, высказаться в другое время, а сейчас уже поздно. Затем он быстро ушел, чтобы не слышать слов благодарности.

Почти до рассвета брат и сестра беседовали, сидя у камина; они лишились сна, увидев новый мир, приоткрывшийся перед ними, и чувствовали себя, словно двое потерпевших кораблекрушение, выброшенных много лет назад на пустынный берег, к которому приближается, наконец, корабль, когда они уже примирились со своим положением и перестали мечтать об иных краях. Мешали им спать и совсем иные, тревожные мысли. Мрак, из которого вырвался этот луч света, сгущался вокруг, и тень их преступного брата витала в доме, где никогда не ступала его нога.

Нельзя было ее изгнать, и она не исчезла перед лучами солнца. На утро она была здесь; и в полдень; и вечером. Особенно мрачная и отчетливая — вечером, о чем мы сейчас расскажем.

Джон Каркер ушел с рекомендательным письмом, полученным от их друга, а Хэриет осталась одна в доме. Она провела в одиночестве несколько часов. Хмурый, мрачный вечер и сгущавшиеся

сумерки благоприятствовали ее угнетенному состоянию. Мысль о брате, которого она давно не видела, преследовала ее, принимая чудовищные формы. Он умер, умирал, призывал ее, смотрел на нее, грозно хмурил брови. Картины, мерещившиеся ей, были так навязчивы и яркие, что в спустившихся сумерках она не решалась поднять голову, посмотреть в темный угол; она боялась, что призрак, плод ее воспаленной фантазии, притаился там, чтобы испугать ее. Один раз ей почудилось, будто он прячется в соседней комнате, и хотя она знала, какая это нелепая мысль, и нисколько этому не верила, однако заставила себя пойти туда для собственного успокоения. Но это ни к чему не привело. Как только она вышла из комнаты, туда вернулись страшные призраки, и она не могла избавиться от смутных опасений, словно это были каменные великаны, глубоко ушедшие в землю.

Почти совсем стемнело, и она сидела у окна, подперев голову рукою и опустив глаза, как вдруг в комнате стало еще темнее; она подняла голову и невольно вскрикнула. К самому стеклу прильнуло чье-то бледное, испуганное лицо; сначала глаза блуждали, словно искали чего-то, потом остановились на Хэриет и вспыхнули.

— Впустите меня! Впустите! Я должна поговорить с вами! — И рука застучала в стекло.

Она сразу узнала женщину с длинными темными волосами, которую когда-то в дождливый вечер обогрела, накормила и приютила. Со страхом, вполне понятным, вспоминая о ее безумных поступках, Хэриет попятилась от окна и стояла в нерешительности, охваченная тревогой.

— Впустите меня! Дайте мне поговорить с вами. Я вам благодарна... да... я успокоилась... смирилась... все, что вы хотите. Но дайте мне поговорить с вами!

Эта страстная просьба, возбужденное лицо, дрожащие руки, поднятые с мольбой, какая-то тревога и ужас, звучавшие в голосе и имевшие что-то общее с душевным состоянием самой Хэриет, заставили ее решиться. Она поспешила к двери и открыла ее.

— Можно мне войти или лучше говорить здесь? — спросила женщина, схватив ее за руку.

— Что вам нужно? Что вы хотите сказать?

— Немного, но дайте мне высказаться, иначе я никогда этого не скажу. Меня и сейчас тянет убежать. Словно какие-то руки стараются оттащить меня от этой двери. Дайте мне войти, если вы можете на этот раз мне поверить.

Ее энергия снова одержала верх, и они прошли в освещенную огнем камина маленькую кухню, где уже раньше случилось ей сидеть, закусывать и сушить платье.

— Сядьте здесь, — сказала Элис, опустившись на колени перед Хэриет, — и посмотрите на меня. Вы меня помните?

— Помню.

— Помните, я вам сказала, кем я была и откуда я пришла, в лохмотьях, с окровавленными ногами, под яростным ветром и дождем, хлеставшим в лицо?

— Да.

— Вы помните, как я вернулась в ту ночь, швырнула в грязь ваши деньги и прокляла вас и весь ваш род? Теперь вы меня видите здесь на коленях. Разве я говорю сейчас с меньшим жаром, чем тогда?

— Если вы просите прощения... — кротко начала Хэриет.

— Нет, не прощения! — перебила та, и гордым, почти надменным стало ее лицо. — Я прошу, чтобы вы мне поверили. А теперь судите, достойна ли я доверия — такая, какой я была и какая я сейчас.

Не поднимаясь с колен и глядя на огонь — огонь освещал ее загубленную красоту, ее растрепанные черные волосы (одну длинную прядь она перебросила через плечо, обвила вокруг руки и во время разговора рассеянно дергала ее и кусала), — она продолжала:

— Когда я была молода и красива и когда вот эти волосы, — она презрительно дернула прядь, которую держала в руке, — бережно расчесывали и не могли налюбоваться ими, моя мать, которая мало думала обо мне, пока я была ребенком, обратила внимание на мою красоту, привязалась ко мне, стала гордиться мною. Она была скупа и бедна и задумала извлечь из меня выгоду. Ни одна знатная леди никогда не смотрела так на свою дочь, в этом я уверена, и никогда так не поступала, а это значит, что только среди таких бедняков, как мы, можно встретить мать, дурно воспитывающую своих дочерей, и увидеть зло, отсюда вытекающее.

Она глядела на огонь, словно забыв на мгновение, что кто-то ее слушает, и, туго обвивая вокруг

руки длинную прядь волос, продолжала, как во сне:

— Незачем говорить, к чему это привело. Среди таких, как мы, это не приводит к несчастным бракам, но к несчастью и гибели. Несчастье и гибель настигли меня... настигли.

Быстро переведя мрачный взгляд с огня на лицо Хэриет, она сказала:

— Я зря теряю время, а оно дорого. Однако, если бы я обо всем этом не передумала, не было бы меня сейчас здесь. Да, несчастье и гибель настигли меня! Из меня сделали недолговечную игрушку и отшвырнули с большей жестокостью и небрежностью, чем отшвыривают игрушки. Как вы думаете, чья рука это сделала?

— Почему вы задаете мне такой вопрос? — спросила Хэриет.

— А почему вы дрожите? — возразила Элис, зорко всматриваясь в нее. — Он превратил меня в дьявола. Я падала все ниже и ниже, несчастная и загубленная. Я была замешана в деле о грабеже, и только своей доли добычи не получила. Меня поймали и судили, а у меня не было ни единого друга, ни единого пенни! Хотя я была совсем молоденькой, я предпочла бы пойти на смерть, лишь бы не просить, чтобы он замолвил словечко, если его слово могло бы меня спасти. Да! Предпочла бы любую смерть, какую только можно придумать! Но моя мать, как всегда алчная, послала к нему от моего имени, рассказала ему всю правду обо мне и смиренно выпрашивала последнюю маленькую подачку — несколько фунтов, меньше, чем у меня пальцев на руке. Как вы думаете, кто был тот человек, который отвернулся от меня, попавшей в беду, лежащей, как полагал он, у его ног, и не прислал мне даже этого жалкого подарка в память о прошлом, очень довольный тем, что меня отправят за океан, где я больше уже не буду для него помехой, где я умру и сгнию? Как вы думаете, кто это был?

— Почему вы мне задаете такой вопрос? — повторила Хэриет.

— Почему вы дрожите, — сказала Элис, касаясь рукой ее руки и заглядывая ей в лицо. — Не потому ли, что ответ готов сорваться с ваших губ? Это был ваш брат Джеймс.

Хэриет дрожала все сильнее и сильнее, но не отвела глаз под пристальным взглядом, устремленным на нее.

— Когда я узнала, что вы его сестра, — это случилось в ту ночь, — я вернулась сюда, измученная, с больной ногой, чтобы с презрением отвергнуть ваш подарок. В ту ночь я почувствовала, что могла бы идти, измученная, с больною ногой, на край света, чтобы заколоть его в каком-нибудь глухом месте, укрытом от чужих взоров. Понимаете ли вы, какое все это имело для меня значение?

— Понимаю! Боже мой, зачем же вы опять пришли сюда?

— Потом я увидела его, — сказала Элис, сжимая ей руку и всматриваясь в лицо. — Я следила за ним при ярком дневном свете. Если искра ненависти только тлела в моей груди, она разгорелась в яркое пламя, когда мои глаза остановились на нем. Вам известно, что он причинил зло гордому человеку и сделал его своим смертельным врагом. Что, если я дала о нем сведения этому человеку?

— Сведения? — повторила Хэриет.

— Что, если я отыскала того, кто знает тайну вашего брата, знает, как он бежал, знает, куда он бежал со своей спутницей? Что, если я заставила его рассказать все известное ему, от слова до слова, в присутствии этого врага, который спрятался и все слышал? Что, если в то время я сидела, глядя в лицо этому врагу, и видела, как оно утрачивает человеческие черты? Что, если я видела, как он, обезумев, бросился в погоню? Что, если я знаю теперь: он в пути — дьявол в образе человека — и через несколько часов настигнет его?

— Уберите вашу руку! — отпрянув, воскликнула Хэриет. — Уйдите! Ваше прикосновение приводит меня в ужас!

— Все это я сделала, — продолжала та, так же пристально глядя на Хэриет и не обращая внимания на ее восклицание. — Разве голос мой и лицо не убеждают в том, что действительно я это сделала? Вы верите тому, что я вам говорю?

— Боюсь, что должна поверить! Отпустите мою руку!

— Подождите еще минуту! Еще минуту. Вы можете понять, сколь глубока была жажда мести, если она так долго не утихала и толкнула меня на этот шаг?

— Это ужасно! — воскликнула Хэриет.

— Стало быть, — хриплым голосом сказала Элис, — теперь, когда вы снова видите меня, а я смиренно стою на коленях, касаюсь вашей руки, смотрю вам в лицо, вы можете поверить, что мои

слова — не простое признание и что борьба, какая шла в моей душе, была страшной. Я стыжусь проносить эти слова, но я почувствовала сострадание. Я презираю себя! Я боролась с собою весь день и всю прошлую ночь, но я без всякой причины чувствую к нему сострадание и... если это возможно, хочу исправить то, что я сделала. Только бы они не встретились теперь, когда его преследователь ослеплен и потерял голову. Если бы вы видели его вчера вечером, когда он ушел, вы бы поняли, как велика опасность.

— Как ее предотвратить? Что я могу сделать? — вскричала Хэриет.

— Всю ночь напролет, — торопливо продолжала та, — мне снился он, залитый кровью, и, однако, я не спала. Весь день я чувствовала, что он подле меня.

— Что я могу сделать? — повторила Хэриет, содрогаясь при этих словах.

— Если кто-нибудь может написать ему, или отправить посланца, или поехать к нему, пусть не теряет времени. Он в Дижоне! Вы знаете название этого города и где он находится?

— Да!

— Предостерегите его, что тот, кого он сделал своим врагом, вне себя от бешенства, и плохо он знает этого человека, если не страшится его приближения. Скажите ему, что тот уже в пути, — я это знаю! — и не теряет ни секунды. Настаивайте, чтобы он уехал, пока не поздно — если еще не поздно, — и не встречался с ним. Какой-нибудь месяц может иметь огромное значение. Только бы их встреча не произошла по моей вине! Где угодно, только не там! Когда угодно, только не теперь! Пусть его враг последует за ним и разыщет его сам, но без моей помощи! Довольно с меня той тяжести, какую я несу...

Огонь больше не освещал ее черных как смоль волос, ее лица и горящих глаз; ее рука не касалась руки Хэриет. И там, где она стояла, не было уже никого.

Глава LIV

Беглецы

Время — одиннадцать часов вечера; место — номер во французском отеле, состоящий из нескольких комнат: темной, холодной передней, или коридора, столовой, гостиной, спальни, второй гостиной, или будуара, который меньше остальных комнат и расположен в глубине. На главную лестницу выходит только одна двустворчатая дверь, но в каждой комнате по две-три двери: комнаты сообщаются между собой, а также с узкими ходами в стенах, ведущими, как это нередко бывает в таких домах, на заднюю лестницу с незаметным выходом на улицу. Номер расположен в бельэтаже окнами во двор, но не занимает всего этажа целиком — настолько велико здание отеля, состоящее из четырех корпусов с квадратным двором посередине.

В этих комнатах царил роскошь, в достаточной мере поблекшая, чтобы казаться меланхолической, и в достаточной мере ослепительная, чтобы затруднять повседневную жизнь показным великолепием. Стены и потолки были позолочены и расписаны; полы до блеска натерты воском; малиновая драпировка нависала фестонами над окнами, дверьми и зеркалами, а канделябры, изогнутые, как ветви деревьев или рога зверей, выступали из обшитых панелей стен. Но днем, когда жалюзи (сейчас спущенные) бывали подняты, можно было подметить на этой пышности следы, оставленные временем и пылью, солнцем, сыростью и дымом; заметно было, что помещение пустовало часто и подолгу, ибо к таким невзгодам показные игрушки жизни оказываются чувствительными, как сама жизнь, и чахнут, словно люди, запертые в тюрьме. Даже ночь и пучки горящих свечей не могли стереть эти следы, хотя при этом блеске они отступали в тень.

В тот вечер только в одной комнате — меньшей из перечисленных выше — можно было увидеть ослепительный блеск восковых свечей, их отражение в зеркалах, позолоту и яркие краски. Наблюдателю, стоящему в передней, где тускло горела лампа, и глядящему сквозь ряд темных комнат, эта комната казалась сверкающей, как драгоценный камень. В центре этого сияния сидела красивая женщина — Эдит.

Она была одна. Все та же непокорная, высокомерная женщина. Щеки слегка впали, глаза как будто сделались больше и сверкали ярче, но надменная осанка осталась тою же. Никаких признаков стыда на ее лице; запоздалое раскаяние не согнуло ее горделивой шеи. По-прежнему властная и ве-

личественная и по-прежнему равнодушная к себе самой и ко всему остальному, она сидела, опустив темные глаза, и кого-то ждала.

У нее не было ни книги, ни рукоделия, никакого занятия, ничего, кроме собственных мыслей, чтобы скоротать медлительное время. Какое-то намерение, достаточно упорное, чтобы заполнить любое ожидание, владело ею. С крепко сжатыми губами, которые дрожали, если она хоть на мгновение переставала за собою следить, с раздувавшимися ноздрями, со стиснутыми руками, она сидела и ждала. И намерение, владевшее ею, клокотало у нее в груди.

Когда в замке наружной двери повернулся ключ и в передней послышались шаги, она встрепенулась и крикнула: «Кто там?» Ей ответили по-французски, и два лакея, звеня подносами, вошли, чтобы накрыть стол к ужину.

Она спросила, кто приказал им это сделать.

— Мосье отдал распоряжение, когда ему угодно было занять этот номер. Мосье сказал, когда остановился здесь на час en route¹¹³ и оставил письмо для мадам... Мадам, конечно, его получила?

— Да.

Тысяча извинений! Внезапное опасение, что письмо, быть может, позабыли передать, повергло его — лысого бородатого лакея из соседнего ресторана — в отчаяние. Мосье сказал, что ужин должен быть готов к этому часу, а также, что в письме он предупреждает мадам об отданном распоряжении. Мосье оказал честь «Золотой голове», выразив желание, чтобы ужин был изысканный и тонкий. Мосье убедится в том, что «Золотая голова» оправдывает это доверие.

Эдит больше ничего не сказала и задумчиво следила за тем, как они сервировали стол на две персоны и поставили бутылки с вином. Прежде чем они закончили, она встала и, взяв лампу, прошла в спальню, а оттуда в гостиную, и торопливо, но внимательно осмотрела все двери, в особенности ту, которая вела из спальни в проход в стене. Из этой двери она вынула ключ и вставила его с наружной стороны. Затем она вернулась.

Слуги — второй был смуглым желчным субъектом в куртке, гладко выбритым, с коротко остриженными черными волосами — завершили свои приготовления и стояли, созерцая стол. Первый лакей осведомился у мадам, скоро ли, по ее мнению, приедет мосье.

Она этого не знала. Ей это было безразлично.

Pardon!¹¹⁴ Ужин готов! К нему следовало приступить немедленно. Мосье (который говорит по-французски, как ангел или как француз — это одно и то же) весьма выразительно заявил о своей пунктуальности. Да, английская нация славится своей пунктуальностью. Ах! Что за шум? Боже мой, это мосье. Вот он!

Действительно, мосье, которого впустил другой лакей, шел, сверкая зубами, по темным комнатам, напоминая вход в пещеру, и, войдя в эту обитель света и красок, обнял мадам и обратился к ней по-французски, назвав ее своей очаровательной женой.

— Боже мой! Мадам вот-вот упадет в обморок! Мадам так обрадовалась, что ей стало дурно! — Лысый бородатый слуга заметил это и вскрикнул.

Но мадам только отпрянула и содрогнулась. Прежде чем были сказаны эти слова, она уже стояла, положив руку на бархатную спинку кресла, выпрямившись во весь рост и с неподвижным лицом.

— Франсуа полетел в «Золотую голову» за ужином. В таких случаях он летает как ангел или птица. Багаж мосье находится в его комнате. Все приготовлено. Сию минуту будет подан ужин.

Лысый лакей сопровождал эти слова поклонами и улыбками, и вскоре появился ужин.

Горячие блюда были принесены на жаровне, холодные уже стояли на столе, а запасные приборы на буфете. Мосье остался доволен сервировкой. Так как стол был маленький, она показалась ему очень удобной. Пусть поставят жаровню на пол и уходят. Он сам будет брать блюда.

— Простите, — вежливо сказал лысый, — это немислимо!

Мосье был другого мнения. Сегодня он ни в чьих услугах больше не нуждался.

¹¹³ по дороге (франц.)

¹¹⁴ Простите! (франц.)

— Но мадам... — начал лысый.

По словам мосье, у мадам была своя горничная. Этого было достаточно.

Тысяча извинений! Нет! У мадам не было никакой горничной.

— Я приехала сюда одна, — сказала Эдит. — Мне так хотелось. Я привыкла путешествовать, я не нуждаюсь в услугах. Пусть никого ко мне не присылают.

Итак, мосье, упорствуя в своем немыслимом желании, пошел вслед за обоими слугами к наружной двери, чтобы запереть ее на ночь. В дверях лысый обернулся, отвесил поклон и заметил, что мадам по-прежнему стояла, опираясь на бархатную спинку кресла, не обращала никакого внимания на мосье и смотрела прямо перед собой.

Когда шум запираемой Каркером двери пронесся по всем комнатам и долетел, как бы приглушенный и придавленный, до этой последней и самой отдаленной комнаты, он слился в ушах Эдит с боем соборных часов, возвестивших полночь. Она слышала, как Каркер остановился, также как будто прислушиваясь, а затем направился к ней, в молчании протягивая длинную цепь шагов и по дороге захлопывая за собой все двери. Ее рука на секунду оторвалась от бархатного кресла, чтобы придвинуть ближе лежавший на столе нож; потом она приняла прежнюю позу.

— Странно, что вы приехали сюда одна, дорогая! — сказал он, входя.

— Что это значит? — воскликнула она. Она сказала это таким резким тоном, так гневно повернула голову, так неприветливо взглянула на него и так мрачно сдвинула брови, что он, с лампой в руке, остановился, смотря на нее, словно она лишила его способности двигаться.

— Я говорю: как странно, что вы приехали сюда одна! — повторил он наконец, поставив лампу и улыбаясь самой учтивой своей улыбкой. — Право, это была излишняя предосторожность, которая могла даже повредить. Вы должны были нанять горничную в Гавре или Руане, и времени у вас для этого было достаточно, хотя вы, дорогая, — самая капризная и привередливая из всех женщин, а также и самая красивая.

Она бросила на него странный взгляд, но продолжала стоять, опираясь на спинку кресла, и не произнесла ни слова.

— Я никогда еще не видел вас такой очаровательной, как сегодня, — добавил Каркер. — Действительность превосходит даже тот образ, который я хранил в памяти во время этого мучительного испытания и который я созерцал денно и нощно.

Ни слова. Ни взгляда. Глаза ее были совершенно скрыты опущенными ресницами, но голова высоко поднята.

— Суровы, жестоки были условия испытания! — с улыбкой продолжал Каркер. — Но все они выполнены, остались в прошлом, и тем чудеснее, тем безопаснее настоящее! Мы найдем приют в Сицилии. В этом самом безмятежном и тихом уголке земного шара мы с вами, мое сокровище, будем вознаграждены за прежнее рабство.

Он весело направился к ней, но она мгновенно схватила со стола нож и отступила на шаг.

— Ни с места, или я вас убью! — крикнула она.

Эта внезапная перемена, происшедшая в ней, напряженная ненависть и безграничное отвращение, сверкнувшие в глазах и отразившиеся на лице, заставили его остановиться, словно перед ним вспыхнуло пламя.

— Ни с места! — сказала она. — Не подходите ко мне, если вам дорога жизнь!

Они смотрели друг на друга. Лицо его выражало ярость и изумление, но он поборол эти чувства и шутливо сказал:

— Полно, полно! Ведь мы одни, и никто нас не видит и не слышит. Неужели вы думаете запугать меня этой притворной добродетелью?

— Неужели вы думаете запугать меня, — страстно возразила она, — и заставить отказаться от любой намеченной мною цели и любого принятого мною решения, если будете напоминать мне о том, что мы здесь одни и неоткуда ждать помощи? Меня, которая умышленно приехала сюда одна? Если бы я боялась вас, разве не стала бы я вас избегать? Если бы я боялась вас, разве была бы я здесь глухой ночью и разве сказала бы вам то, что намерена сказать?

— Что же именно, прелестная капризница? — спросил он. — Более прелестная, чем любая другая женщина в наилучшем расположении духа.

— Я ничего вам не скажу, пока вы не сядете вон на тот стул, — ответила она, — или скажу

только одно: не подходите ко мне! Ни шагу дальше! Говорю вам, если вы сделаете еще один шаг, — господь мне свидетель, я убью вас!

— Уж не принимаете ли вы меня за своего супруга? — усмехнулся он.

Не достаивая его ответом, она вытянула руку, указывая на стул. Он закусил губу, нахмурился, засмеялся и сел, не в силах скрыть своей растерянности, нерешительности, нетерпения, нервно кусая ногти и поглядывая на нее искоса с чувством горького разочарования, хотя он и притворялся, будто его забавляет ее каприз.

Она положила нож на стол и, коснувшись рукой корсажа, сказала:

— Здесь у меня спрятан отнюдь не любовный сувенир. Не желая еще раз выносить ваше прикосновение, я обращаю этот предмет против вас — теперь вы это знаете — с большей охотой, чем против любой из пресмыкающихся тварей!

Он сделал попытку весело засмеяться и попросил ее поскорее доиграть эту комедию, так как ужин стынет. Но украдкой он бросил на нее еще более хмурый и раздраженный взгляд и с глухим проклятьем топнул ногой.

— Сколько раз, — продолжала Эдит, мрачно глядя на него, — вы со свойственной вам наглостью и подлостью наносили мне оскорбления и обиды? Сколько раз своим вкрадчивым тоном, своими насмешливыми словами и взглядами вы поливали меня грязью за мою помолвку и замужество? Сколько раз вы обнажали и растревляли мою рану — любовь к этой милой, брошенной девушке? Сколько раз вы раздували огонь, на котором я корчилась в течение двух лет, и подстрекали меня к жестокой мести в минуты ужаснейшей для меня пытки?

— Не сомневаюсь, сударыня, — ответил он, — что вы добросовестно вели подсчет, и он довольно точен. Полно, Эдит! Все это было уместно по отношению к этому бедняге — вашему супругу...

— А что, если бы, — начала она, следя за ним с таким горделивым пренебрежением и отвращением, что он невольно съежился, как ни старался храбриться, — что, если бы все прочие причины презирать его развеялись как дым и место их заняла бы только одна — то, что вы были его советчиком и любимцем?

— По этой-то причине вы и бежали со мной? — язвительно спросил он.

— Да, и потому-то мы находимся лицом к лицу в последний раз. Несчастный! Сегодня ночью мы встретились и сегодня ночью расстанемся. Потому что я ни на минуту здесь не останусь после того, как выскажу все!

Он злобно повернулся к ней и схватился рукою за стол, но не встал, ничего не ответил и воздержался от угроз.

— Я, — сказала она, немигающим взором глядя ему в глаза, — женщина, которую с самого детства позорили и ожесточали. Меня предлагали и отвергали, выставляли напоказ и расхваливали, пока я не почувствовала глубокого отвращения ко всему. Все мои способности и таланты, которые могли бы служить мне источниками утешения, были выброшены на рынок, чтобы повисить мне цену, словно уличный глашатай объявлял о них во всеуслышание. Мои нищие, но гордые друзья взирали на это с одобрением, и всякая связь между нами порвалась в моем сердце. Нет среди них никого, к кому бы я была привязана хотя бы так, как могу привязаться к комнатной собачке. Я осталась одна на свете, прекрасно помня о том, каким бездушным был для меня этот свет и какое бездушной частицей его была я сама. Вы это знаете, и знаете также, что мой успех в обществе не имеет для меня никакой цены.

— Да. Мне так казалось, — проговорил он.

— И вы на это рассчитывали! — подхватила она. — И потому преследовали меня. Я дошла до того, что не могла оказывать никакого сопротивления, кроме безразличия к повседневным трудам тех рук, которым я была обязана этим безразличием. Зная, что мое замужество по крайней мере помешает им торговать мною вразнос, я допустила, чтобы меня продали так же позорно, как продают на невольничьем рынке рабыню с петлей на шее. Вы это знаете!

— Да, — сказал он, оскалив все зубы. — Я это знаю.

— И на это рассчитывали! — повторила она. — И потому преследовали меня. После свадьбы я убедилась, что не защищена от позора — от домогательств и преследования. Они были слишком очевидны: казалось, будто они написаны на бумаге грубейшими словами и бумагу постоянно суют

мне в руку. Я была не защищена от преследования некоего гнусного негодяя и почувствовала, что до сей поры я еще не знала, что такое унижение. Этот позор навлек на меня мой муж, он погрузил меня в этот позор собственными руками и по своей воле, делал это сотни раз. И вот, лишившись по вине этих двоих людей покоя, принуждаемая этими двумя людьми отказаться от последних крох нежности, уцелевших во мне, либо навлечь новое несчастье на невинный предмет моей любви, перебрасываемая от одного к другому, убегающая от первого, чтобы подвергнуться нападению второго, я почувствовала безумную ненависть к обоим! Не знаю, кого я ненавидела сильнее — господина или слугу!

Он пристально смотрел на нее, стоявшую перед ним во всем величии своей гневной красоты. Она была непреклонна — он это видел, — бесстрашна и боялась его не больше, чем какого-нибудь червя.

— Что могла бы я вам сказать о чести или целомудрии? — продолжала она. — Какое это имело бы значение для вас, какое это имело бы значение в моих устах? Но если я скажу вам, что от омерзения кровь стынет у меня в жилах, когда вы касаетесь моей руки, если я скажу, что с той минуты, когда я впервые вас увидела и возненавидела, и вплоть до сегодняшнего дня, когда инстинктивное мое отвращение усилилось благодаря тому, что я вас лучше узнала, вы были для меня самым гнусным существом, которое не имеет себе подобного на Земле, — если я вам это скажу, что тогда? Он тихо засмеялся:

— Да, что тогда, моя королева?

— Что было в тот вечер, когда вы, набравшись храбрости после сцены, происшедшей на ваших глазах, осмелились прийти ко мне в комнату и заговорить со мною? — спросила она.

Он пожал плечами и снова засмеялся.

— Что было в тот вечер? — повторила она.

— У вас такая прекрасная память, — ответил он, — что вы несомненно можете вспомнить сами.

— Да, могу, — сказала она. — Слушайте! Заговорив тогда о бегстве, — не об этом бегстве, но о таком, каким оно вам рисовалось, — вы сказали, что я себя погубила; я, по вашим словам, себя погубила потому, что допустила это свидание, доставив вам возможность быть застигнутым, если вы найдете это нужным, а также потому, что я и раньше не раз позволяла вам видеться со мною наедине, пользовалась для этого благоприятными случаями и откровенно признавалась, что к мужу я не чувствую ничего, кроме отвращения, а к самой себе отношусь безразлично. В вашей власти было меня оклеветать, и моя репутация добродетельной женщины зависела от вас.

— В любви все средства... — перебил он, улыбаясь. — Старая поговорка...

— В тот самый вечер, — продолжала Эдит, — закончилась борьба, которую я долго вела, борьба отнюдь не с уважением к доброму моему имени. Я сама не знаю, с чем — быть может, с привязанностью к этому последнему моему убежищу. В тот самый вечер я отреклась от всего, кроме гнева и ненависти. Я нанесла удар, который поверг в прах вашего надменного господина, а вас заставил стоять вот здесь, передо мною, смотреть на меня и узнать, какая у меня цель!

С громким проклятием он вскочил со стула. Она супула руку за корсаж, и ни один палец у нее не дрогнул, ни один волос на голове не шевельнулся. Он стоял неподвижно, она тоже, между ними — стол и стул.

— Когда я забуду, что этот человек прикоснулся в тот вечер своими губами к моим и держал меня в своих объятиях, как сделал это и сегодня, — сказала Эдит указывая на него, — когда я забуду пятно от поцелуя на моей щеке, на щеке, к которой прижималась своим невинным личиком Флоренс, когда я забуду мою встречу с нею в то время, как это пятно еще горело на моем лице, когда забуду, каким стремительным потоком обрушилась на меня мысль, что, избавляя ее от преследования, навлеченного моей любовью, я покрываю позором и бесчестьем также и ее имя и навсегда останусь в ее памяти грешницей, от которой она должна отшатнуться, — когда я об этом забуду, тогда, о мой супруг, с которым отныне я развелась, я позабуду и эти последние два года, изменю то, что мною сделано, и выведу вас из заблуждения!

Ее сверкающие глаза — на мгновение их подняла — снова остановились на Каркере, и она протянула ему письма, держа их левой рукой.

— Посмотрите на них! — презрительно сказала она. — Вы адресовали их мне на вымышленное

имя. — Под этим именем вы теперь живете; одно адресовано сюда, другое — на какую-то промежуточную станцию. Они не распечатаны. Возьмите их.

Она их скомкала и швырнула к его ногам. А когда она снова взглянула на него, у нее на лице была улыбка.

— Сегодня ночью мы встретились, и сегодня ночью мы расстанемся, — сказала она. — Слишком рано вы начали мечтать о Сицилии и блаженном отдыхе. Вы могли бы немного дольше льстить, пресмыкаться, играть свою роль и стать еще богаче. Дорого вам обходится ваше сладостное уединение!

— Эдит! — вскричал он с угрожающим жестом. — Сядьте! Пора покончить с этим. Какой бес вселился в вас?

— Имя им легион, — ответила она, горделиво выпрямившись, словно желая сокрушить его. — Вы со своим господином взрастили их на доброй почве, и они растерзают вас обоих. Предав его, предав его невинное дитя, предав все и всех, ступайте и похваляйтесь своей победой надо мною и скрежещите зубами, зная, что вы лжете!

Он стоял перед нею, бормотал угрозы и хмуро озирался вокруг, словно отыскивая что-то, с помощью чего он одержал бы над ней верх. Но, по-прежнему неукротимая, она не отступала.

— Каждая ваша похвальба — для меня торжество, — продолжала она. — Вас я выбрала как самого подлого человека, какого я только знаю, как паразита и орудие надменного тирана, чтобы рана, нанесенная ему мною, была глубже и мучительнее. Похваляйтесь и отомстите ему за меня. Вы знаете, как вы попали сюда сегодня; вы знаете, что стоите здесь, корчась от страха; вы видите самого себя в подлинном свете, таким же презренным, если не таким же отвратительным, каким вижу вас я. Так похваляйтесь же и отомстите за меня самому себе!

На губах у него была пена, на лбу выступил пот. Если бы она хоть на мгновение заколебалась, он справился бы с нею, но она была непоколебима, как скала, и ее испытующий взгляд не отрывался от его лица.

— Так мы с вами не расстанемся, — сказал он. — Неужели вы почитаете меня слабоумным, полагая, что я вас отпущу, когда вы не владеете собой?

— Неужели вы полагаете, что меня можно удержать? — отозвалась она.

— Попытаюсь, дорогая моя, — сказал он угрожающе.

— Да помилует вас бог, если вы попытаетесь подойти ко мне! — ответила она.

— А что, если не будет никакого хвастовства и никакой похвальбы? — сказал он. — Что, если я в свою очередь изменю поведение? Послушайте! — Зубы его снова сверкнули. — На этот счет мы должны прийти к соглашению, в противном случае и я могу принять неожиданное для вас решение. Сядьте, сядьте!

— Слишком поздно! — воскликнула она, и глаза ее загорелись. — Я пустила по ветру свою репутацию и доброе имя. Я решила принять позорное клеймо, которое на меня ляжет, — зная, что оно мною не заслужено, что и вы это знаете, а он не знает и не может и не будет знать никогда! Я умру и не пророню ни слова! Ради этого я нахожусь здесь наедине с вами глухою ночью.

Ради этого я встретила здесь с вами под чужим именем в качестве вашей жены. Ради этого я допустила, чтобы меня видели эти слуги и оставили здесь одну. Теперь ничто не может вас спасти.

Он продал бы свою душу, только бы, во всей ее красоте, пригвоздить ее здесь к полу, с беспомощно повисшими руками, отданную ему во власть. Но он не мог смотреть на нее без страха. Он видел в ней непреодолимую силу. Он видел, что она готова на все и неутолимая ее ненависть к нему не остановится ни перед чем. Глаза его следили за рукой, которая с такой суровой, жестокой решимостью лежала на белой груди, и он подумал о том, что, если рука эта поднимется на него и промахнется, в следующее же мгновение она поразит эту грудь.

Вот почему он не смел приблизиться к ней; но дверь, в которую он вошел, находилась за его спиной, и он отступил назад, чтобы запереть ее.

— На прощанье послушайте мое предостережение! Будьте настороже! — сказала она и снова улыбнулась. — Вас предали, это судьба всех предателей. Известно, что вы находитесь здесь или должны сюда приехать. Сегодня вечером я видела на улице в карете моего мужа!

— Ты лжешь, шлюха! — вскричал Каркер.

В ту же минуту в передней громко зазвонил колокольчик. Он побледнел, а она подняла руку,

словно волшебница, которая своими заклинаниями вызвала этот звук.

— Вот! Слышите?

Он прислонился спиной к двери, так как заметил в Эдит какую-то перемену и подумал, что она хочет проскользнуть мимо него. Но она быстро вышла в противоположную дверь, которая вела в спальню, и захлопнула ее за собой.

Как только она повернулась, как только отвела от него неумолимый, твердый взгляд, он почувствовал, что может справиться с нею. Он подумал, что испуг, вызванный этой ночной тревогой, сломил ее упорство, так как она и без того уже была переутомлена. Распахнув дверь, он поспешил последовать за ней.

Но в комнате было темно, а так как она не откликнулась на его зов, ему поневоле пришлось вернуться за лампой. Высоко держа лампу, он осматривался вокруг, полагая, что она забилась куда-нибудь в угол; но в комнате никого не было. Тогда он перешел в гостиную, потом в столовую, двигаясь неуверенно, как человек, который находится в незнакомом месте; боязливо озирался и заглядывал за ширмы и диваны, но ее нигде не было. Не было ее и в передней, так скудно мебелированной, что он мог убедиться в этом с первого взгляда.

Все это время колокольчик снова и снова начинал дребезжать. В дверь уже стучали. Он поставил лампу и, подойдя к двери, стал прислушиваться. Слышны были голоса; по крайней мере двое говорили по-английски. Несмотря на то, что дверь была толстая, и несмотря на шум, он слишком хорошо знал один из этих голосов, чтобы сомневаться, кому он принадлежит.

Он снова взял лампу, и быстро пошел назад через все комнаты, приостанавливаясь в дверях и, держа лампу над головой, осматривался вокруг. Он был уже в спальне, как вдруг его внимание привлекла дверь, ведущая в проход в стене. Он подошел к ней и убедился, что она заперта снаружи. Но, уходя, Эдит уронила вуаль, которая застряла в двери.

Все это время люди на площадке лестницы звонили в колокольчик и колотили в дверь руками и ногами.

Он не был трусом, но этот стук и звон, предшествовавшая им сцена, необычная обстановка, которая продолжала его смущать, крушение всех его планов (как это ни странно, но он был бы гораздо смелее, если бы они не рухнули), поздний час, сознание, что поблизости нет никого, к кому бы он мог обратиться с просьбой о дружеской услуге, но, главное, внезапное сознание, от которого даже его сердце стало тяжелым, как свинец, — сознание, что человек, чье доверие он обманул и которого так гнусно предал, находится здесь, чтобы встретиться с ним лицом к лицу и бросить ему вызов теперь, когда маска с него сорвана, — все это привело его в панический ужас. Он попробовал выломать дверь, в которой застряла вуаль, но это оказалось ему не по силам. Он открыл окно и сквозь жалюзи посмотрел вниз, во двор; но высота была значительная, а камни не знали жалости.

Звонки и стук не прекращались, не проходил и панический страх. Он вернулся к двери в спальне и с отчаянием, напрягая все свои силы, взломал ее. Он увидел узкую лестницу, струя ночного воздуха коснулась его ноздрей, он крадучись вернулся назад за шляпой и плащом, потом как можно плотнее затворил за собой дверь, потихоньку спустился по лестнице, держа в руке лампу, потом потушил ее, поставил в угол и вышел под звездное небо.

Глава LV

Роб Точильщик лишается места

Привратник у железных ворот, отделявших двор от улицы, оставил дверь сторожки открытой и ушел, намереваясь, вне сомнения, присоединиться к тем, кто поднял шум у двери на площадке парадной лестницы. Осторожно подняв засов, Каркер выскользнул на улицу, стараясь не шуметь, приворочив скрипевшие ворота и поспешил уйти.

В лихорадочной тревоге, вызванной унижением и бессильной яростью, он не мог бороться с паническим страхом. Страх достиг таких пределов, что Каркер готов был слепо броситься навстречу любой опасности, только бы не столкнуться с человеком, которого он два часа назад считал не заслуживающим внимания. Внезапный его приезд, столь неожиданный для Каркера, звук его голоса, столь близкая возможность встречи лицом к лицу могли ошеломить его в первую минуту, но затем

он принял бы все это хладнокровно и не хуже любого негодя дерзко смотрел бы в глаза своему преступлению. Но то обстоятельство, что козни его и коварство обратились против него же самого, сокрушили мужество и самоуверенность мистера Каркера. Гордая женщина отшвырнула его, как червя, заманила в ловушку и осыпала насмешками, восстала против него и повергла в прах. Душу этой женщины он медленно отравлял и надеялся, что превратил ее в рабыню, покорную всем его желани-ям. Когда же, замышляя обман, он сам оказался обманутым и лисья его шкура была с него содрана, он улизнул, испытывая замешательство, унижение, испуг.

Пока он крадучись пробирался по улицам, ужас, ничего общего не имеющий с этим страхом перед погоней, потряс его, словно электрический ток. Какой-то странный ужас, непонятный и необъяснимый, от которого земля уходила из-под ног, что-то стремительно несущееся в воздухе, словно смерть, летящая на крыльях. Он съежился, как будто хотел уступить ей дорогу. Однако она не пронеслась мимо, — ее здесь никогда и не было, но какой ужас оставило позади себя это неведомое!

Он поднял злобное лицо, искаженное тревогой, к ночному небу, где звезды, такие спокойные, светили так же, как и в минуту, когда он крадучись вышел на двор. И он остановился, чтобы подумать о том, что теперь делать. Боязнь, что ему придется скрываться от погони в чужом, далеком городе, где закон, быть может, не защитит его, новое для него чувство, что город этот — чужой и далекий, чувство, порожденное тем, что он внезапно остался совсем один после крушения всех своих планов, боязнь, более сильная, что наемный убийца может прикончить его в темном закоулке, если он станет искать убежища в Италии или Сицилии, — нелепая мысль, внушенная грехом и страхом, — и, наконец, какое-то смутное желание действовать вопреки прежним своим намерениям, раз у него все планы рухнули, — все это побуждало его ехать в Англию.

«Там я буду, во всяком случае, в большей безопасности, — думал он. — Если я решу не встретиться с этим сумасшедшим, там меня труднее будет выследить, чем здесь, за границей. Если же я решусь на встречу (когда пройдет этот проклятый припадок), я буду по крайней мере не один, как здесь, где некому слово сказать, не с кем посоветоваться, нет никого, кто бы мне мог помочь. Там меня не будут гнать и травить, как крысу».

Он пробормотал сквозь зубы имя Эдит и сжал кулак. Пробираясь в тени массивных зданий, он стискивал зубы, призывал на ее голову страшные проклятья и озирался по сторонам, как будто искал ее. Крадучись, он дошел до ворот постоянного двора. Все спали. Но когда он позвонил в колокольчик, явился какой-то человек с фонарем, и вскоре он уже стоял с этим человеком в каретном сарае и договаривался о найме старого фаэтона, чтобы ехать в Париж.

Договорились быстро и тотчас же послали за лошадьми. Распорядившись, чтобы экипаж, когда запрягут, выехал следом за ним, он, все так же крадучись, выбрался из города, миновал старый крепостной вал и пошел на дорогу; она словно струилась потоком по темной равнине.

Куда вводила она? Где она обрывалась? Когда под влиянием этих мыслей он приостановился, окидывая взглядом хмурую долину, где чахлые деревья отмечали наезженный путь, снова налетела несущаяся на крыльях смерть, снова пронеслась мимо, стремительная и неодолимая, и снова не осталось ничего, кроме ужаса, такого же темного, как окружающий пейзаж, и неясного, как самые дальние его границы.

Ветра не было; в глубоком сумраке ночи не промелькнуло ни одной тени; не было шума. Город раскинулся позади, сверкая огнями, и звездные миры были заслонены шпицами и крышами, которые едва вырисовывались на фоне неба. Темное и пустынное пространство окружало его со всех сторон, и часы слабо пробили два.

Казалось ему, он шел долго и прошел большое расстояние, часто останавливаясь и прислушиваясь. Наконец до его настороженного слуха долетел звон бубенчиков. Звеня то тише, то громче, то совсем замирая, то чуть позвякивая там, где дорога была плохая, то звеня бойко и весело, они приближались, и, наконец, громко закричав и щелкнув бичом, мрачный форейтор, закутанный до самых глаз, остановил возле него четверку лошадей.

— Кто там идет? Мосье?

— Да.

— Мосье прошел не малый путь темной ночью.

— Неважно. У каждого свой вкус. Больше никто не заказывал лошадей на почтовой станции?

— Тысяча чертей!.. прошу прощения. Заказывал ли кто лошадей? В такую пору? Нет.

— Слушай, приятель! Я очень тороплюсь. Посмотрим, быстро ли мы будем подвигаться вперед. Чем быстрее, тем больше получишь на чай. В путь! Живей!

— Э-ге-гей! Н-н-но-о! Пошел!

И галопом — вперед по черной равнине, вздымая пыль и разбрызгивая грязь!

Дребезжание и тряска отвечали стремительным и беспорядочным мыслям беглеца. Все было туманно вокруг него, все было туманно в его душе. Предметы, пролетающие мимо, сливающиеся один с другим, едва схваченные глазом, скрывшиеся из виду, исчезнувшие! За отдельными кусками изгороди или стены коттеджа у самой дороги — мрачная пустыня. За неясными образами, возникшими в его воображении и тут яге стиравшимися, — черная бездна ужаса, бешенства и неудавшегося предательства. По временам с далекой Юры долетала струя горного воздуха и таяла на равнине. Иногда чудилось ему — снова налетал этот вихрь, такой неистовый и ужасный, пронесился мимо и леденил ему кровь.

Фонари, бросая отблески на головы лошадей, темную фигуру форейтора и развевающийся его плащ, творили сотни смутных видений, гармонировавших с его мыслями. Тени знакомых людей, склонившихся над конторками и книгами в памятной ему позе; странный облик человека, от которого он бежал, или облик Эдит; в звоне бубенчиков и стуке колес — слова, когда-то произнесенные. Путаница в представлении о времени и месте: прошлая ночь отодвинута на месяц назад, то, что было месяц назад, происходит прошлой ночью, родина то безнадежно далека, то совсем близка; волнение, разлад, гонка, тьма и смятение в нем и вокруг него. Э-ге-гей! Пошел! И галопом по черной равнине, вздымая пыль и разбрызгивая грязь, взмыленные лошади храпят и рвутся вперед, словно каждая несет на своей спине дьявола, и в диком торжестве мчатся по темной дороге — куда?

Снова налетает непонятный ужас, а когда он пронесится мимо, бубенчики звенят в ушах: «Куда?» Колеса стучат: «Куда?» Все шумы и звуки повторяют этот крик. Отблески и тени пляшут, как чертенята, над головами лошадей. Теперь нельзя останавливаться, нельзя медлить! Вперед, вперед! Мчатся бешено по темной дороге!

Он не мог думать сколько-нибудь связно. Он не мог отделить один предмет размышления от другого настолько, чтобы хоть на минуту сосредоточиться только на нем. Рухнувшая надежда получить желанную награду за прежнее самообуздание, неудавшаяся измена человеку, всегда честному и великодушному по отношению к нему, но чьи высокомерные слона и взгляды он хранил в памяти в течение многих лет (люди фальшивые и хитрые всегда втайне презирают и ненавидят того, перед кем пресмыкаются, и с затаенной злобой приносят дань уважения, зная, что оно ничего не стоит), — вот к чему возвращались его думы чаще всего. Глухую ненависть к женщине, которая заманила его в эту ловушку и отомстила за себя, он чувствовал все время; неясные, уродливые планы мести роились у него в голове; но все это терялось в тумане. Мысли быстро и непоследовательно сменяли одна другую. И пока он так лихорадочно и безуспешно пытался сосредоточиться, его упорно преследовала мысль, что лучше бы ему отложить размышления на какой-то неопределенный срок.

Потом ему вспомнились давно минувшие дни, предшествовавшие второму браку. Он вспомнил о том, как завидовал сыну, как завидовал дочери, с какою исключительной ловкостью удерживал на расстоянии всех, добивавшихся близкого знакомства, как обвел одураченного им человека чертой, через которую никто, кроме него, не мог переступить. А затем он подумал: неужели все это он сделал только для того, чтобы бежать теперь, как затравленный вор, от этого одураченного им бедняги?

Он готов был покончить с собой, карая себя за трусость, но эта трусость была поистине лишь тенью его поражения, неотделимой от него. Вера в свое собственное коварство пошатнулась от одного удара, он знал теперь, что был жалким орудием в руках другого человека, и это сознание парализовало его. Одержимый бессильной яростью, он ненавидел Эдит, ненавидел мистера Домби, ненавидел самого себя, но тем не менее он бежал и ничего другого не мог сделать.

Снова и снова он прислушивался, не раздастся ли за его спиной стук колес. Снова и снова ему чудилось, будто Этот стук становится все громче и громче. Наконец он до такой степени в этом убедился, что крикнул: «Стой!», даже задержку предпочитая такой неуверенности.

Это слово быстро остановило посреди дороги экипаж, лошадей, форейтора.

— Черт возьми! — крикнул фореитор, оглянувшись. — В чем дело?

— Прислушайся-ка! Что это такое?

— Что?

— Что это за шум?

— Ах, будь ты проклят, стой смирно, чертов разбойник! — С этими словами он обратился к лошади, тряхнувшей бубенчиками. — Какой шум?

— Сзади. Не скачет ли кто? Вот! Слышишь?

— Стой смирно, свиное рыло! — Это относилось к другой лошади, укусившей свою соседку, которая испугала двух других лошадей, а те рванулись вперед и остановились. — Никого там нет.

— Никого?

— Никого, разве что рассвет нас догоняет.

— Кажется, ты прав. Сейчас и я ничего не слышу. Вперед!

Сначала экипаж, полускрытый дымящимся облаком, поднимающимся над лошадьми, подвигается медленно, так как форейтор, которого зря задержали, угрюмо достает складной нож и прилаживает новый ремень к кнутовищу. Затем: «Э-ге-гей! Н-н-но-о! Пошел!» — и снова бешено мчатся вперед.

И вот потускнели звезды, забрезжил дневной свет, и, стоя в фэртоне и оглядываясь, он мог различить дорогу позади и убедиться, что на ней не видно никого. И вскоре рассвело, и солнце осветило поля и виноградники; и дорожные рабочие, поодиночке выходя из своих лачуг, наспех поставленных возле какой-нибудь кучи камней на обочине, брались за дело или жевали хлеб. Затем показались крестьяне, шедшие на работу или на базар, или сидевшие у дверей бедных домиков, они лениво глядели на него, когда он проезжал мимо. И, наконец, показалась почтовая станция; перед ней была грязь по щиколотку, а вокруг — дымящиеся кучи навоза и полуразрушенные надворные строения. А на эту живописную картину взирал огромный старинный каменный замок, не защищенный деревьями от солнца; половина окон его была заколочена, зеленая плесень лениво ползла по стенам, поднимаясь от террасы с балюстрадой к остроконечным башенкам.

Угрюмо забившись в угол фэртон, сосредоточившись на одном желании — двигаться побыстрее (правда, иногда он вставал, и ехал стоя на протяжении целой мили, и смотрел назад — всякий раз, когда вокруг была открытая местность), он продолжал путь, по-прежнему откладывая размышления на неопределенный срок, по-прежнему страдая от бесцельных мыслей.

Стыд, разочарование, сознание своего поражения глодали его сердце; не покидавшая его боязнь быть настигнутым или встретить кого-нибудь — ибо он беспричинно страшился даже путешественников, ехавших той же дорогой ему навстречу, — была ему не по силам. Нестерпимый ужас, овладевший им ночью, возвращался и днем. Однообразный звон бубенчиков и стук копыт, однообразие его тревоги и бессильной ярости, однообразное чередование страха, сожалений и гнева превратили это путешествие в какое-то видение, в котором не было ничего реального, кроме его собственных терзаний.

Это было видение: длинные дороги, тянувшиеся к горизонту, все время отступающему и недостижимому; скверно вымощенные города на холмах и в долинах, где в темных дверях и худо застекленных окнах появлялись чьи-то лица и где на длинных, узких улицах забрызганные грязью коровы и быки, выставленные рядами на продажу, бодались, мычали и получали удары дубинкой, которая могла проломить им голову; мосты, распятия, церкви, почтовые станции, свежие лошади, которых запрягали против их воли, и лошади последнего перегона, взмыленные и грустно стоявшие, понурив голову, у дверей конюшни; маленькие кладбища с черными покосившимися крестами на могилах и висевшими на них увядшими венками; снова длинные дороги, тянувшиеся в гору и под гору, к предательскому горизонту; утро, полдень и закат солнца, ночь и восход молодого месяца.

Это было видение: покинуть на время длинные дороги и ехать по скверной мостовой, трястись и громыхать по ней и смотреть на высокую колокольню, поднимавшуюся над крышами домов; выйти из экипажа и торопливо закусывать и большими глотками пить вино, которое не придает бодрости; идти пешком сквозь толпу нищих-слепцов с дрожащими веками (их вели старухи, подносявшие зажженные свечи к их лицам), слабоумных, хромых эпилептиков, разбитых параличом; пройти сквозь гул голосов, смотреть из экипажа на обращенные к нему лица и протянутые руки, страшась, как бы не пробился вперед какой-нибудь преследователь; снова мчаться по длинной-длинной дороге, сидеть в тупом оцепенении, забившись в угол, вставать и смотреть туда, где месяц слабо освещает на много миль вперед все ту же бесконечную дорогу, или обернуться, чтобы поглядеть, кто следует за ним.

Не спать, но иногда дремать с открытыми глазами и, вздрогнув, вскочить и вслух отозваться на

пригрезившийся оклик. Проклинать самого себя за то, что он находится здесь, за то, что бежал, за то, что дал ей уйти, за то, что не встретился с ним лицом к лицу и не бросил ему вызова. Смертельно враждовать со всем миром, но прежде всего — с самим собой. Ехать и все окружающее заражать своим мрачным унынием.

Это было лихорадочное видение: образы прошлого, перепутанные с образами настоящего; вся его жизнь и Это бегство, слившиеся воедино. Бешено спешить куда-то, где он должен быть. Видеть, как старые сцены врываются в то новое, что попадалось ему на пути. Размышлять о минувшем и далеко, как будто не обращая внимания на встречающиеся предметы, но мучительно сознавать, что они его ошеломляют и образы их теснятся в его разгоряченном мозгу.

Это было видение: бесконечные перемены и все тот же однообразный звон бубенчиков, стук колес и копыт, и нет покоя. Города и деревни, почтовые станции, лошади, форейторы, холмы и долины, свет и тьма, дороги и мостовые, горы и лощины, дождь и ведро, и все тот же однообразный звон бубенчиков, стук колес и копыт, и нет покоя. Это было видение: подъезжать, наконец, по более оживленным дорогам к далекой столице, огибать на полном скаку старинные соборы и мчаться через маленькие города и деревни, разбросанные теперь при дороге гуще, чем раньше, и сидеть, забившись в угол, прикрывая лицо плащом, когда прохожие смотрели на него.

Ехать все дальше и дальше, по-прежнему откладывая размышления на неопределенный срок, по-прежнему терзаясь мыслями; потерять представление о том, сколько часов длится эта езда, не различать ни времени, ни места. Томиться от жажды и чувствовать головокружение и близость безумия. И все-таки рваться вперед, словно не можешь остановиться, и въехать в Париж, где мутная река невозмутимо катит свои быстрые воды между двух бурлящих потоков жизни.

Это все еще было видение, смутное видение: мосты, набережные, бесконечные улицы, винные лавки, водоносы, толпы людей, солдаты, кареты, военные барабаны, пассажи. Однообразный звон бубенчиков и стук колес и копыт, поглощенные, наконец, шумом и грохотом города. Постепенное замирание этого гула, когда он выехал в другом экипаже, через другую заставу. Снова однообразный звон, — в то время как он едет к берегу моря, — звон бубенчиков и стук колес и копыт, и нет покоя.

Снова закат солнца и вечерние сумерки. Снова длинные дороги, темная ночь и бледные огоньки в окнах вдоль обочины, и все тот же однообразный звон бубенчиков, и стук колес и копыт, и нет покоя. Рассвет, загорающийся день и восход солнца.

Это было видение: медленно подняться на холм и на вершине его почувствовать свежий морской ветер и увидеть отблески утреннего света на гребнях далеких волн. Спуститься в порт в разгар прилива и видеть возвращающиеся рыбацьи лодки и радостно ожидающих женщин и детей. Видеть сети и рыбацкую одежду, разложенные для просушки на берегу; видеть хлопотливых матросов и слышать их голоса высоко среди мачт и снастей; видеть неугомонную, сверкающую воду и всюду ослепительный блеск.

Удаляться от берега и смотреть на него с палубы, когда он становится туманной дымкой, кое-где прорезанной солнцем, освещающим землю. Зыбь, брызги и шепот спокойного моря. Другая серая полоса на воде, на пути судна, быстро светлеющая и вздымающаяся все выше. Утесы, дома, мельница, церковь, вырисовывающиеся все яснее и яснее. Войти, наконец, в тихие воды и пришвартоваться к пирсу, на котором группами стоят люди, приветствуя друзей на борту. Высадиться на берег, быстро пробраться сквозь толпу, сторониться всех и каждого и быть, наконец, снова в Англии.

В этой полудремоте ему пришла в голову мысль уехать в отдаленную деревню, которую он знал, притаиться там, разведать окольными путями, какие распространились слухи, и решить, как надлежит действовать. Все в том же состоянии притупления чувств и рассудка он вспомнил об одной железнодорожной станции, где ему нужно было делать пересадку и где была скромная гостиница. Он смутно подумал о том, что можно остановиться там и отдохнуть.

С такими намерениями он постарался как можно быстрее проскользнуть в вагон, лег, завернувшись в плащ и притворяясь спящим, и поезд быстро умчал его от моря в глубь страны, к зеленеющим полям. Прибыв на станцию, он выглянул из окна и внимательно осмотрелся. Воспоминание не обмануло его. Это было уединенное местечко на опушке небольшого леса. Только один дом виднелся там, специально выстроенный или перестроенный под станционное помещение и окруженный прекрасным садом; ближайший маленький городок находился на расстоянии нескольких миль. Здесь он вышел из вагона и, никем не замеченный, отправился прямо в таверну и Занял две смежных ком-

наты, расположенных в стороне от остальных.

Он хотел отдохнуть и вновь обрести самообладание и душевное равновесие. Им овладело бессмысленное бешенство, и, шагая по своей комнате, он скрежетал зубами. Мысли его — от них невозможно было избавиться, невозможно было ими управлять — по-прежнему блуждали, не подчиняясь его воле, и увлекали его за собой. Он был оглушен и чувствовал смертельную усталость.

Но на нем, казалось, лежало проклятье: он не мог снова обрести покой, чувства были притуплены, но сознание не угасало. В этом отношении он владел своими чувствами не больше, чем если бы это были чувства другого человека. Они не принуждали его отмечать звуки и образы данной минуты, но их нельзя было отвлечь от смутного видения — его путешествия. Видение это все время было у него перед глазами. Эдит стояла, устремив на него мрачный, презрительный взгляд, а он мчался вперед, через города и деревни, сквозь свет и тьму, в дождь и ведро, по дорогам и мостовым, по холмам и долинам, в гору и под гору, измученный и запуганный однообразным звоном бубенчиков, стуком колес и копыт и невозможностью обрести покой.

— Какой у нас сегодня день? — спросил он лакея, накрывавшего на стол к обеду.

— Какой день, сэр?

— Сегодня среда?

— Среда, сэр? Нет, сэр. Четверг, сэр.

— Я забыл. Который час? У меня часы не заведены.

— Пять часов без нескольких минут, сэр. Вероятно, долго путешествовали, сэр?

— Да.

— По железной дороге, сэр?

— Да.

— Очень утомительно, сэр. Мне-то не часто случалось путешествовать по железной дороге, сэр, но об этом не раз говорили приезжие джентльмены.

— Много бывает приезжих?

— Много, сэр. Но сейчас никого нет. Затишье в делах, сэр. Всюду теперь затишье, сэр.

Он ничего не ответил. Приподнявшись с дивана, на котором лежал, он сел, оперся локтями на колени и уставился в пол. Он ни на минуту не мог сосредоточиться. Его мысли устремлялись куда попало, но ни на одно мгновение не засыпали.

После обеда он выпил много вина, но тщетно. Такими искусственными средствами он не мог себя усыпить. Мысли, еще более бессвязные, еще безжалостнее увлекали его за собой, словно бешеные кони — приговоренного к смерти. Не было забвенья, и не было покоя.

Сколько времени он сидел, пил и думал, отданный во власть беспорядочным мыслям, — на это никто не мог ответить с меньшей уверенностью, чем он сам. Но он знал, что сидел долго перед горевшей на столе свечой; вдруг он вскочил и с ужасом стал прислушиваться.

Ибо на сей раз ему не почудилось. Земля дрожала, в доме дребезжали стекла, что-то неистово и стремительно несло, рассекая воздух! Он чувствовал, как оно приблизилось и промчалось мимо. Но, подбежав к окну и увидев, что это такое, он тем не менее отшатнулся, словно смотреть было небезопасно.

Будь проклят этот огненный грохочущий дьявол, так плавно уносящийся вдаль, оставляющий за собой в долине отблеск света и зловещий дым и скрывающийся из виду! Каркеру чудилось, будто его быстро убрали с пути этого дьявола и спасли от опасности быть разорванным в клочья. Эта мысль заставила его содрогнуться и съежиться даже теперь, когда окончательно замер гул и на всем протяжении железнодорожного полотна, какое он мог видеть при свете луны, было безлюдно и тихо, как в пустыне.

Не в силах заснуть, чувствуя — а может быть, ему только казалось, — что его неудержимо влечет к этой дороге, он вышел из дому и стал бродить у самых рельсов, отмечая путь поезда по дымящейся золе, лежавшей на шпалах. Он брел около получаса в том направлении, где скрылся поезд, затем повернулся и пошел в противоположную сторону, по-прежнему вдоль полотна, мимо сада гостиницы и дальше, с любопытством посматривая на мосты, сигналы, фонари и задавая себе вопрос, когда же промчится еще один демон.

Содрогание земли, вибрирующие звуки, пронзительный далекий свисток, тусклый свет, превращающийся в два красных глаза, и разъяренный огонь, роняющий тлеющие угли; непреодолимое

нарастание рева, резкий порыв ветра и грохот — еще один поезд промчался и исчез, а Каркер уцепился за калитку, словно спасаясь от него.

Он дождался следующего поезда, а затем еще одного. Он прошел тот же путь в обратную сторону, и снова вернулся, и — сквозь мучительные видения своего бегства — всматривался вдаль, не покажется ли еще одно из этих чудовищ. Он блуждал около станции, выжидая, чтобы одно из них здесь остановилось; а когда оно остановилось и его отцепили от вагонов, чтобы налить воды, он подошел к нему и стал рассматривать его тяжелые колеса и медную грудь и думать о том, какой жестокой силой и могуществом наделено оно. О, видеть, как эти огромные колеса начинают медленно вращаться, и думать о том, как они надвигаются на тебя и крушат кости!

Возбужденный вином и жаждою покоя — эту жажду, несмотря на крайнее его утомление, утолить было невозможно, — он не переставал болезненно думать об этом. Когда он вернулся в свою комнату — было около полуночи, — эти мысли все еще преследовали его, и он сидел, прислушиваясь, не подходит ли еще один поезд.

Так было и в постели, когда он улегся, не надеясь заснуть. Он продолжал прислушиваться. Когда пол начинал содрогаться, он вставал, подходил к окну и наблюдал (отсюда это было видно), как тусклый свет превращается в два красных глаза, разъяренный огонь роняет тлеющие угли, с грохотом проносится чудовище и над долиной стелется тропа из искр и дыма. Затем он смотрел в ту сторону, куда решил уехать на восходе солнца (ибо здесь не было для него покоя), и снова он ложился в постель, тревожимый все тем же однообразным звоном бубенчиков и стуком колес и копыт, вплоть до прибытия следующего поезда. Так продолжалось всю ночь. Не овладев собою, он, казалось, все больше и больше терял над собою власть в эти ночные часы. Когда забрезжил рассвет, он все еще терзался прежними думами и все еще откладывал размышления до той поры, когда состояние его улучшится. Прошлое, настоящее и будущее смутно вырисовывались перед ним, все разом, а он утратил всякую способность сосредоточить внимание на чем-нибудь одном.

— Когда отходит мой поезд? — спросил он лакея, прислуживавшего ему накануне и вошедшего сейчас со свечой.

— Примерно в четверть пятого, сэр. Курьерский проходит в четыре часа, сэр. Он здесь не останавливается.

Он провел рукой по голове, — в висках молотками стучала кровь, — и посмотрел на часы. Было около половины четвертого.

— Кажется, вы один уезжаете, сэр, — заметил слуга. — Здесь остановились еще два джентльмена, сэр, но они ждут поезда в Лондон.

— Вы как будто говорили, что здесь никого нет, — сказал Каркер, повернувшись к нему и изобразив на своем лице подобие той улыбки, какую он улыбался, когда бывал разгневан или что-то подозревал.

— Тогда никого не было, сэр. Два джентльмена приехали ночью с поездом, который здесь останавливается. Принести теплой воды, сэр?

— Нет. И уберите свечу. Здесь достаточно светло для меня.

Он бросился полуодетый на постель и, как только слуга ушел, поспешил подойти к окну. Ночь отступила перед холодным рассветом, и на небе уже загоралось алое зарево восходящего солнца. Он смочил голову водой, умылся — это его ничуть не освежило, — поспешно оделся, уплатил по счету и вышел.

Его охватил неприятный холодок, вызывающий озноб. Выпала густая роса, и он задрожал, хотя и был разгорячен. Бросив взгляд на те места, где бродил ночью, и на сигнальные огни, слабо мерцавшие в утреннем свете и уже неспособные выполнять свое назначение, он повернулся в ту сторону, где восходило солнце, и увидел его во всем его великолепии, когда оно поднялось над горизонтом.

Какой несказанной, какой торжественной красотой сияло оно! Когда он смотрел потускневшими глазами, как оно восходит, ясное и безмятежное, равнодушное к тем преступлениям и злодеяниям, которые с начала мира совершались в сиянии его лучей, — кто станет утверждать, что в нем не пробудилось хотя бы смутное представление о добродетельной жизни на земле и награде за нее на небе?! Если когда-нибудь он мог вспомнить с нежностью и раскаянием о сестре или брате, кто станет утверждать, что он не вспомнил о них в тот миг?

Да, он должен был вспомнить, ибо час его пробил. Смерть надвигалась на него. Он был вы-

черкнут из списка живых и приближался к могиле.

Он заплатил за проезд до той деревни, где предполагал остановиться, и стал прохаживаться взад и вперед, посматривая вдоль железнодорожного пути: с одной стороны он видел долину, а с другой — темный мост. И вдруг, сделав поворот там, где оканчивалась деревянная платформа, по которой он прогуливался, он увидел человека, от которого бежал. Тот появился в дверях станционного здания, откуда вышел и он сам. И глаза их встретились.

Потрясенный, он пошатнулся и упал на рельсы. Но, тотчас поднявшись, он отступил шага на два, чтобы увеличить расстояние между собою и преследователем, и, дыша быстро и прерывисто, посмотрел на него.

Он услышал крик, и снова крик, увидел, что лицо, искаженное жадой мести, помертвело и перекопилось от ужаса... почувствовал, как дрожит земля... мгновенно понял... оно приближается... испустил вопль... оглянулся... увидел прямо перед собой красные глаза, затуманенные и тусклые при дневном свете... был сбит с ног, подхвачен, втянут кромсающими жерновами... они скрутили его, отрывая руки и ноги и, иссушив своим огненным жаром ручеек его жизни, швырнули в воздух изуродованные останки.

Когда путешественник, которого узнал Каркер, очнулся, он увидел четверых людей, несущих на дощатых носилках что-то тяжелое и неподвижное, чем-то прикрытое, и увидел, как отгоняли собаку, обнюхивавших железнодорожное полотно, и золою засыпали кровь.

Глава LVI

Многие довольны, а Бойцовый Петух возмущен

У Мичмана было очень оживленно. Наконец-то явились мистер Тутс и Сьюзен. Сьюзен бросилась, как одержимая, наверх, а мистер Тутс с Петухом прошли в гостиную.

— Ох, моя милая, дорогая, ненаглядная мисс Флой! — вскричала Нипер, врываясь в комнату Флоренс. — Кто бы мог подумать, что дело дойдет до этого, и я найду вас здесь, мою голубку, и нет рядом никого, кто бы вам услуживал, и нет у вас дома, который вы могли бы назвать родным, но больше я никогда не уйду от вас, мисс Флой! Я, быть может, и не обрастаю мхом¹¹⁵, но я и не камень, который катится, и сердце у меня не каменное, иначе оно бы не разрывалось так, как разрывается сейчас, ах, боже мой, боже мой!

Произнеся эту речь без малейших намеков на знаки препинания, мисс Нипер опустилась на колени перед своей хозяйкой и крепко обняла ее.

— Дорогая моя! — продолжала Сьюзен. — Я знаю все, что случилось, все знаю, моя милочка, и я задыхаюсь, дайте мне воздуху!

— Сьюзен, милая, добрая Сьюзен! — сказала Флоренс.

— Господь с ней! Да ведь я ходила за ней еще девчонкой, когда она была совсем маленькой! И неужели она взаправду выходит замуж? — вскричала Сьюзен с грустью и восторгом, с гордостью и печалью и бог весть еще с какими противоречивыми чувствами.

— Кто вам это сказал? — спросила Флоренс.

— Ах, боже мой! Этот блаженный Тутс! — истерически ответила Сьюзен. — Я знала, что он не ошибается, дорогая моя, очень уж близко к сердцу он это принял. Этот Тутс — самый преданный и самый невинный младенец! Неужели же моя милочка, — продолжала Сьюзен, снова крепко обняв ее и залившись слезами, — взаправду выходит замуж?

Сострадание, радость, нежность, сожаление — все эти чувства, с какими Нипер беспрестанно упоминала об этом событии и при каждом упоминании поднимала голову, чтобы заглянуть в юное лицо и поцеловать его, а затем снова опускала голову на плечо своей хозяйки, лаская ее и плача, — казались в высшей степени женственными и очаровательными.

— Полно, полно! — успокоительным тоном сказала, наконец, Флоренс. — Ну, вот вы и пришли в себя, дорогая Сьюзен.

¹¹⁵ ...не обрастаю мхом... — намек на английскую поговорку «катящийся камень мхом не обрастает»; источник этой поговорки — одно из «Изречений» Публилия Сира, римского порта I века до н. э.

Мисс Нипер, смеясь и плача, сидела на полу, у ног своей хозяйки, одной рукой прижимала к глазам носовой платок, а другой гладила Диогена, лизавшего ей лицо. Она призналась, что начинает успокаиваться, и в доказательство этого снова засмеялась и всплакнула.

— Я... я... я никогда не видала такого создания, как этот Тутс, — сказала Сьюзен, — отроду не видывала!

— Он такой добрый, — заметила Флоренс.

— И такой потешный! — всхлипнула Сьюзен. — Как он разговаривал со мной, когда мы ехали в карете, а этот презренный Петух сидел на козлах!

— О чем, Сьюзен? — робко спросила Флоренс.

— О лейтенанте Уолтерсе, и капитане Джилсе, и о вас, дорогая мисс Флой, и о безмолвной могиле, — сказала Сьюзен.

— О безмолвной могиле? — повторила Флоренс.

— Он говорит, — тут Сьюзен разразилась истерическим смехом, — он говорит, что теперь сойдет в нее немедленно и с удовольствием, но не беспокойтесь, дорогая моя мисс Флой, он не сойдет, потому что слишком большое для него счастье видеть других людей счастливыми, он, может быть, и не Соломон, — своей обычной скороговоркой продолжала Нипер, — да я и не говорю, что он — Соломон, но одно я должна сказать: более бескорыстного человека свет еще не видывал!

После этого энергического заявления мисс Нипер, все еще пребывая в возбужденном состоянии, неудержимо расхохоталась, а затем сообщила Флоренс, что он ждет внизу, хочет ее повидать, и это послужит щедрой наградой за все его хлопоты во время последней экспедиции.

Флоренс поручила Сьюзен попросить сюда мистера Тутса, чтобы она могла поблагодарить его за доброе отношение, и через несколько секунд Сьюзен ввела в комнату этого молодого джентльмена, все еще весьма растрепанного и отчаянно заикающегося.

— Мисс Домби, — сказал мистер Тутс, — получить разрешение вновь... ли...лицезреть... или нет, не лицезреть... я хорошенько не знаю, что я хотел сказать, но это не имеет никакого значения.

— Мне так часто приходится вас благодарить, что у меня уже слов не осталось, и я не знаю, как поблагодарить вас сейчас, — отозвалась Флоренс, протягивая ему обе руки, и простодушная радость светилась на ее лице.

— Мисс Домби, — зловещим голосом сказал мистер Тутс, — если бы вы, не изменяя своей ангельской природы, могли проклясть меня, вы бы меня повергли — разрешите так выразиться — в меньшее смущение, чем сейчас этими незаслуженными мною добрыми словами. Они на меня так действуют... но, — резко оборвал мистер Тутс, — я отвлекся в сторону, и это не имеет ровно никакого значения.

Так как на это можно было ответить только новым изъявлением благодарности, то Флоренс снова его поблагодарила.

— Я бы хотел, мисс Домби, — сказал мистер.. Тутс, — воспользоваться, если можно, этим случаем и кое-что разъяснить. Я бы имел удовольствие вер...вернуться с Сьюзен раньше. Но, во-первых, мы не знали фамилии родственника, к которому она поехала, а во-вторых, от этого родственника она уже успела переехать к другому, живущему довольно далеко. Потому вряд ли мы вообще нашли бы ее, если бы не прозорливость Петуха.

Флоренс была в этом уверена.

— Впрочем, суть дела не в этом! — сказал мистер Тутс. — Уверяю вас, мисс Домби, общество Сьюзен было для меня радостью и утешением, если принять во внимание мое душевное состояние, которое легче вообразить, чем описать. Путешествие уже само по себе являлось наградой. Впрочем, суть дела опять-таки не в этом! Мисс Домби, как я уже сообщал раньше, мне известно, что я не из тех, кого считают людьми смышленными. Я это прекрасно знаю. Мне известно лучше, чем кому бы то ни было, какой я... если это не слишком грубое выражение, я бы сказал — какой я... тупоголовый. Но, несмотря на это, мисс Домби, я угадываю, каково положение дел в связи... в связи с лейтенантом Уолтерсом. Каких бы терзаний ни стоило мне это положение дел (это не имеет ровно никакого значения), я обязан сказать, что лейтенант Уолтере — человек, по-видимому, достойный того блаженства, которое осенило его... его чело. Пусть наслаждается он этим блаженством как можно дольше и ценит его так, как его ценил бы совсем иной и в высшей степени недостойный человек, чье имя не имеет никакого значения! Впрочем, суть дела опять-таки не в этом! Мисс Домби, капитан Джилс —

мой друг, и, мне кажется, он был бы доволен, если бы я иногда заглядывал сюда. Мне бы доставило удовольствие сюда заглядывать. Но я не могу забыть о том, что я однажды учинил, роковым образом, на углу площади в Брайтоне. И если мое присутствие хоть сколько-нибудь вам неприятно, прошу вас сказать мне это сейчас же, и будьте уверены, что я вас прекрасно пойму. Я отнюдь не сочту это несправедливым, а буду только счастлив тем, что вы удостоили меня своим доверием.

— Мистер Тутс, — ответила Флоренс, — если бы вы, такой старый и верный мой друг, перестали приходить теперь сюда, я чувствовала бы себя очень несчастной. Мне всегда, всегда приятно вас видеть!

— Мисс Домби, — сказал мистер Тутс, доставая носовой платок, — если я проливаю сейчас слезы, то это слезы радости. Это не имеет никакого значения, и я вам глубоко признателен. Разрешите вам сказать, что после ваших ласковых слов я не намерен более пренебрегать своей особой.

Флоренс выслушала это сообщение с очаровательным недоумением.

— Вот что я имею в виду, — сказал мистер Тутс, — как человек, живущий с себе подобными, я буду почитать своим долгом, пока меня не призовет безмолвная могила, заботиться о своем внешнем виде и... и носить хорошо вычищенные башмаки, поскольку... поскольку это позволяют обстоятельства. Мисс Домби, в последний раз я осмелился сделать замечание, так сказать, личного свойства. Я вам чрезвычайно признателен. Если вообще я и не так понятлив, как было бы желательно моим друзьям или мне самому, то, клянусь честью, я превосходно понимаю все, что великодушно и деликатно. Я чувствую, — с жаром, произнес мистер Тутс, — что сейчас я мог бы замечательным образом выразить свои чувства, если бы... если бы только знал, с чего начать.

Подождав минуту, не осенит ли его знание, и, по-видимому, убедившись, что ждать бесполезно, мистер Тутс поспешил откланяться и спустился вниз поискать капитана, которого нашел в лавке.

— Капитан Джилс, — обратился к нему мистер Тутс, — то, что я имею вам сейчас сообщить, должно храниться в глубокой тайне. Это вытекает из той беседы, какую мы с мисс Домби вели там наверху.

— На верхушке мачты, приятель? — пробормотал капитан.

— Вот именно, капитан Джилс! — сказал мистер Тутс, выражая свое согласие с большим жаром, ибо ему было совершенно непонятно, что хочет капитан сказать. — Капитан Джилс, мне кажется, мисс Домби в скором времени сочетается браком с лейтенантом Уолтерсом?

— Совершенно верно, приятель. Мы здесь все товарищи по плаванию... Уольр и Отрада Сердца соединятся узами брака, как только будет покончено с оглаской, — шепнул ему на ухо капитан Катль.

— С оглаской, капитан Джилс? — повторил мистер Тутс.

— Вон там, в той церкви, — сказал капитан, указывая большим пальцем через плечо.

— Ах, да! — отозвался мистер Тутс.

— А что за этим последует? — хриплым шепотом продолжал капитан, похлопав мистера Тутса по груди тыльной стороной ладони, отступив на шаг и взирая на него с восторженной физиономией. — Потом это милое создание, взлелеянное, как заморская птичка, отплывет вместе с Уольром в Китай по волнам ревущего океана.

— Ах, боже мой, капитан Джилс! — сказал мистер Тутс.

— Да! — кивнул головой капитан. — Корабль, подобравший его, когда он потерпел крушение во время урагана, и в свою очередь отнесенный этим ураганом в сторону от курса, оказался торговым судном, совершающим рейсы в Китай, и Уольр совершил на нем плавание и снискал всеобщее расположение как на борту, так и на суше, потому что он на редкость расторопный и славный парень. И так как суперкарго¹¹⁶ умер в Кантоне, Уольр получил это место (он и раньше служил клерком), а теперь он назначен суперкарго на другое судно, принадлежащее тем же хозяевам. И вот, как видите, — задумчиво повторил капитан, — милое создание отплывает вместе с Уольром в Китай по волнам ревущего океана.

Мистер Тутс и капитан Катль дружно испустили вздох.

¹¹⁶ *Суперкарго* — служащий на корабле, ведающий погрузкой товаров; обычно суперкарго был вторым помощником капитана.

— Ну что ж, — сказал капитан. — Она крепко его любит. Он крепко ее любит. Те, кто бы должен был любить ее и лелеять, поступили с ней как дикие звери. Когда она, изгнанная из родного дома, пришла сюда ко мне и упала вот здесь, на полу, раненое ее сердце разбилось. Я это знаю. Я, Эдуард Катль, вижу это. И только искренняя, нежная, крепкая любовь может его исцелить. Если бы я этого не знал, если бы, братец, я не знал, что она любит Уольра, а Уольр — ее, я бы скорее отрубил вот эти руки и ноги, но не отпустил бы ее в плавание. Но я это знаю. Что же дальше? А вот дальше я говорю: господь да благословит их обоих, и да будет так! Аминь!

— Капитан Джилс, — сказал мистер Тутс, — доставьте мне удовольствие, разрешите пожать вам руку. Вы умеете говорить так, что приятная теплота разливается у меня по спине. Я тоже скажу — аминь. Вам известно, капитан Джилс, что и я обожаю мисс Домби.

— Не унывайте! — сказал капитан, положив руку на плечо мистера Тутса. — Держитесь крепче, приятель!

— Я и сам, капитан Джилс, — ответил, приободрившись, мистер Тутс, — я и сам намерен не унывать. И по мере сил держаться крепче. Когда развернется безмолвная могила, капитан Джилс, я буду готов к погребению, но все в свое время. А теперь я не уверен в своей способности владеть собою и хотел бы просить вас как об особом одолжении передать лейтенанту Уолтерсу... передать следующее...

— Передать следующее, — повторил капитан. — Смелей!

— Мисс Домби была бесконечно добра, — продолжал мистер Тутс со слезами на глазах, — и сказала, что мое присутствие ей не только не неприятно, а как раз наоборот. И вы и все здесь были не менее терпеливы и снисходительны по отношению к тому, кто... кто, право же, родился как будто по ошибке, — сказал мистер Тутс, на минуту утратив бодрость. — И... поэтому я буду заглядывать сюда по вечерам то недолгое время, пока мы можем посидеть все вместе. Но вот о чем я прошу. Если вдруг случится так, что я не в силах буду созерцать блаженство лейтенанта Уолтера и сорвусь с места, убегу, надеюсь, капитан Джилс, и вы и он будете это рассматривать как мое несчастье, а не как вину или нежелание бороться с самим собой. Я надеюсь, вы будете твердо убеждены в том, что я ни к кому не питаю зла — меньше всего к самому лейтенанту Уолтерсу, — и скажете вскользь, что я вышел прогуляться или, может быть, посмотреть, который час по часам Королевской биржи. Капитан Джилс, если вы можете заключить такое соглашение и поручиться за лейтенанта Уолтера, мне это принесет великое облегчение, ради которого я бы с радостью пожертвовал значительной частью своего состояния.

— Ни слова больше, приятель! — ответил капитан. — Какой бы флаг вы ни выбросили, мы с Уольром примем сигнал и ответим на него.

— Капитан Джилс, — сказал мистер Тутс, — я испытываю величайшее облегчение. Я хочу, чтобы здесь сохранилось обо мне доброе мнение. Честное слово, у... у меня хорошие намерения, хотя бы я и не умел этого показать. Знаете ли, это точь-в-точь так же, как если бы Берджес и Ко пожелали изготовить заказчику изумительную пару брюк и не могли бы выкроить их в соответствии со своими замыслами.

Приведя этот удачный пример, казалось, заставивший его немножко возгордиться, мистер Тутс пожелал капитану Катлю всех благ и удалился.

Честный капитан, видя у себя в доме Отраду Сердца и ухаживающую за ней Сьюзен, сиял и был счастливейшим человеком. По мере того как шли дни, он все больше сиял и становился все более счастливым. После ряда совещаний с Сьюзен (к ее уму напитан питал глубокое уважение, а доблестной ее решимости противостоять миссис Мак-Стинджер он не мог забыть) капитан предложил Флоренс, чтобы временно приглашенная для всяких домашних работ дочь пожилой леди, обычно восседавшей под синим зонтиком на Леднхоллском рынке, была замещена, из благоразумия и ради сохранения тайны, какой-нибудь другой знакомой им особой, которой бы они могли спокойно довериться. Тогда Сьюзен, присутствовавшая при этом разговоре, назвала миссис Ричардс, о которой предварительно уже намекала капитану. Услышав это имя, Флоренс просияла. И в тот же день Сьюзен отправилась в обитель Тудлей, чтобы выведать намерения миссис Ричардс, а вечером вернулась с триумфом в сопровождении Поли, все такой же румяной, с лицом, похожим на яблоко, которая при виде Флоренс выразила свои чувства едва ли с меньшей нежностью, чем сама мисс Нипер.

Когда с этим делом государственной важности было покончено — а это доставило капитану

необычайное удовольствие (впрочем, ему доставляло удовольствие решительно все, что бы ни делалось), — Флоренс оставалось еще подготовить Сьюзен к предстоящей разлуке. Это была значительно более трудная задача, так как мисс Нипер отличалась непреклонным нравом и твердо решила, что вернулась она для того, чтобы больше никогда не расставаться со своей хозяйкой.

— Что касается жалованья, дорогая мисс Флой, — сказала она, — то вы о нем и не заикайтесь и не обижайте меня; у меня есть сбережения, и в такое время, как сейчас, я бы не стала продавать свою любовь и услуги, даже если бы никакого дела не имела со сберегательной кассой или если бы все кассы пошли прахом. Но вы, милочка, с той поры, как скончалась ваша бедная матушка, никогда не разлучались со мной, и хотя нет у меня таких заслуг, которыми можно похвастаться, но вы, дорогая моя хозяйка, привыкли ко мне за столько лет, и вы даже и не думайте о том, чтобы уехать куда-нибудь без меня, потому что этого не может и не должно быть.

— Дорогая Сьюзен, я отправляюсь в далекое-далекое путешествие.

— Ну, так что ж, мисс Флой? Тем больше я могу вам понадобиться. Для меня расстояние, слава богу, не служит препятствием! — сказала пылкая Сьюзен Нипер.

— Но я еду с Уолтером, Сьюзен, и с Уолтером я поеду куда угодно — повсюду! Уолтер беден, и я очень бедна, и мне нужно научиться жить так, чтобы обходиться без посторонней помощи и помогать Уолтеру.

— Дорогая мисс Флой! — снова вскричала Сьюзен, энергически потрянув головой. — Вам нечего учиться тому, как обходиться без посторонней помощи, помогать другим и быть самым терпеливым, преданным и благородным созданием, но позвольте мне, милочка, поговорить с мистером Уолтером Гэем и решить совместно с ним этот вопрос, потому что я не могу допустить, чтобы вы одна отправились в такое путешествие. Не могу и не хочу.

— Одна, Сьюзен? — возразила Флоренс. — Одна? Да ведь Уолтер берет меня с собою! — Ах, какая ясная, удивленная, восторженная улыбка осветила ее лицо! Жаль, что Уолтер ее не видел. — Я уверена, что вы не будете говорить с Уолтером, если я попрошу вас не делать этого, — ласково добавила она. — Пожалуйста, не говорите с ним, дорогая! Сьюзен всхлинула:

— Почему не говорить, мисс Флой?

— Потому что я выхожу за него замуж, чтобы отдать ему сердце и жить с ним и умереть с ним! — ответила Флоренс. — Если вы ему скажете то, что сказали мне, он может подумать, будто я боюсь той жизни, которая мне предстоит, или будто у вас есть основания тревожиться за меня. Сьюзен, милая, ведь я люблю его!

Мисс Нипер была так растрогана этими нежными словами и их простодушной, прочувствованной, глубокой серьезностью, которая осветила лицо Флоренс, сделав его еще более чистым и прекрасным, что могла только снова обнять ее, восклицая: «Неужели моя маленькая хозяйка взаправду выходит замуж?!» — и жалеть ее и ласкать, как делала это раньше.

Но Нипер, хотя и не чуждая женских слабостей, умела обуздать себя едва ли не с таким же успехом, как и атаковать грозную Мак-Стинджер. Она больше ни разу не возвращалась к этой теме и все время была веселой, энергичной, хлопотливой и бодрой. Мистеру Тутсу она сообщила по секрету, что только на это время «взяла себя в руки», а когда все будет кончено и мисс Домби уедет, она, по всей вероятности, будет представлять собою жалкое зрелище. Мистер Тутс в свою очередь заявил, что находится в таком же положении и что они могут вместе проливать слезы. Но в присутствии Флоренс и во владениях Мичмана она не давала воли своим чувствам.

Как ни был скромнен и прост гардероб Флоренс (какой контраст с нарядами, заказанными к последней свадьбе, на которой она присутствовала!), нужно было немало потрудиться, чтобы все приготовить, и Сьюзен Нипер работала вместе с Флоренс с таким усердием, что его хватило бы на пятьдесят портних. Немало места занял бы перечень тех изумительных вещей, какими капитан Катль хотел — если бы это ему было разрешено — пополнить гардероб. В список входили: розовые зонтики, цветные шелковые чулки, синие туфли и другие предметы, в такой же мере необходимые на борту корабля. Однако путем различных уловок и уговоров его заставили ограничить свои подношения рабочей шкатулкой и ящиком с туалетными принадлежностями, причем он купил самые громоздкие образцы, какие только можно было достать за деньги. Затем в течение десяти дней или двух недель он обычно просиживал большую часть дня, погруженный в созерцание этих ящиков, то предаваясь крайнему восхищению, то терзаясь опасениями, что они недостаточно великолепны, и часто убегал

из дому, чтобы купить еще какую-нибудь вещицу, которую считал необходимой для пополнения комплекта. Но самый ловкий ход он проделал однажды утром, когда вдруг унес оба ящика и приказал выгравировать два слова «Флоренс Гэй» на бронзовом сердце, врезанном в крышку каждого из них. После этого он в полном одиночестве выкурил подряд четыре трубки в маленькой гостиной, а по истечении этого срока его застали на том же месте все еще ухмыляющимся.

Уолтер целыми днями был занят, но каждое утро заходил повидать Флоренс и всегда проводил с нею вечер. Флоренс сидела у себя наверху и только перед его приходом спускалась вниз и ждала его или, опираясь на его руку, с гордостью обнимавшую ее, провожала его до двери и иногда выглядывала на улицу. В сумерках они всегда бывали вместе. О, блаженное время! Мягущееся сердце, нашедшее покой! О, глубокий, неиссякаемый, могучий источник любви, столь многое поглотивший! След от жестокого удара еще не изгладился на ее груди. С каждым ее вздохом он свидетельствовал против ее отца, он оставался между нею и ее возлюбленным, когда тот прижимал ее к своему сердцу. Но она забыла о нем. Биение этого сердца, жившего ею, биение ее собственного сердца, жившего Уолтером, заглушало все грубые звуки, заставляло забыть обо всех суровых сердцах, чуждых любви. Она была хрупкой и нежной, но сила ее любви могла создать и создала для нее мир, где она нашла приют и покой.

Как часто величественный дом и минувшие дни всплывали в ее памяти в сумерках, когда ее с такой гордостью и любовью защищала рука Уолтера; и она теснее прижималась к нему и вздрагивала при этих мыслях! Как часто, вспоминая ту ночь, когда она вошла в комнату отца и встретила взгляд, которого она никогда не забудет, Флоренс поднимала глаза на того, кто смотрел на нее с такой любовью, и плакала от счастья в его объятиях! Чем сильнее привязывалась она к нему, тем чаще думала о дорогом умершем мальчике. Но воспоминания Флоренс об отце — словно в последний раз она видела его тогда, когда он спал, а она его поцеловала, — воспоминания Флоренс о нем всегда обрывались на этом часе.

— Уолтер, дорогой мой, — сказала Флоренс однажды вечером, когда уже почти стемнело, — знаешь, о чем я думала сегодня?

— О том, как летит время, милая Флоренс, и о том, что скоро ли уже отправимся мы в плавание?

— Я не это имею в виду, Уолтер, хотя я думаю и об этом. Я думала о том, какое я для тебя бремя.

— Дорогое, священное бремя, моя милая! Мне самому случается об этом думать.

— Ты смеешься, Уолтер. Я знаю, что ты об этом думаешь гораздо больше, чем я. Но сейчас я говорю о расходах.

— О расходах, дорогая моя?

— Да, о денежных расходах. Все эти приготовления, которыми мы занимаемся с Сьюзен... Я очень мало могла купить на свои средства. Ты и прежде был беден. Но я тебя сделаю гораздо беднее, Уолтер!

— И гораздо богаче, Флоренс! Флоренс засмеялась и покачала головой.

— А кроме того, дорогая моя, — продолжал Уолтер, — давно-давно, перед тем как я отправился в плавание, я получил в подарок маленький кошелек, в котором были деньги.

— Ах, их было очень мало! — грустно усмехнувшись, возразила Флоренс. — Очень мало, Уолтер! Но ты не думай, — и она положила свою маленькую руку ему на плечо и заглянула ему в глаза, — не думай, будто я жалею о том, что стала для тебя бременем. Нет, дорогой, я этому рада. Для меня это счастье. Я бы ни за что на свете не хотела, чтобы случилось иначе!

— И я бы не хотел, дорогая Флоренс.

— Да, Уолтер, но ты не можешь почувствовать так, как чувствую я. Я так горжусь тобой! Для меня такое наслаждение сознавать, что все, кто знает тебя, будут говорить о том, как ты женился на бедной, всеми отвергнутой девушке, которая нашла здесь приют, у которой не было ни дома, ни друзей, не было ничего — ничего! О Уолтер, если бы я могла принести тебе миллионы, я не была бы так счастлива за тебя, как теперь!

— А ты, дорогая Флоренс! Разве ты сама ничего не стоишь? — возразил он.

— Ничего, Уолтер! Я только твоя жена. — Маленькая ручка обвилась вокруг его шеи, и голос зазвучал совсем близко. — Все, что у меня есть, — это ты. Все мои надежды связаны с тобой. Кроме

тебя, нет у меня ничего дорогого!

О, в тот вечер у мистера Тутса и в самом деле были основания покинуть маленькое общество и дважды ходить проверять свои часы по часам Королевской биржи, один раз отправиться на свидание с банкиром, о котором он вдруг вспомнил, и один раз пройтись до Олдгетской водокачки и обратно.

Но еще до той поры, когда он предпринял эти экскурсии, и даже до его прихода, когда еще не зажигали свечей, Уолтер сказал:

— Флоренс, милая, погрузка нашего корабля почти закончена, и, вероятно, как раз в день нашей свадьбы он спустится к устью реки. Не уехать ли нам в то утро и не пожить ли в Кенте, а через неделю мы сядем на корабль в Грейвсенде?

— Как хочешь, Уолтер. Я везде буду счастлива. Но...

— Что, дорогая?

— Ты знаешь, что у нас не будет пышной свадьбы, — сказала Флоренс, — и по платью никто не узнает в нас жениха с невестой. Так как мы в тот же день уедем, не проводишь ли ты меня в одно место, Уолтер... рано утром... прежде чем идти в церковь?

Уолтер, по-видимому, понял ее — так понимает человек искренне любящий и любимый — и скрепил свое обещание поцелуем, быть может не одним, а двумя, тремя, пятью или шестью. И в этот спокойный, безмятежный, торжественный вечер Флоренс была очень счастлива.

Затем в тихой комнате появилась Сьюзен Нипер вместе со свечами, а вслед за нею чай, капитан и непоседливый мистер Тутс, который, как упомянуто выше, частенько отлучался и провел довольно беспокойный вечер. Впрочем, это отнюдь не соответствовало его привычкам: обычно он чувствовал себя прекрасно, играя с капитаном в криббедж под руководством мисс Нипер и занимаясь вычислениями, связанными с игрой, которая оказалась превосходным средством для того, чтобы довести его до полного отупения.

В такие вечера физиономия капитана отражала удивительно разнообразные чувства. Его природная деликатность и рыцарское отношение к Флоренс подсказали ему, что сейчас не время для шумного веселья и бурных проявлений радости. Но, с другой стороны, воспоминания о «Красотке Пэг» все время готовы были вырваться на волю и побуждали капитана осрамить себя каким-нибудь недопустимым излиянием. Иной раз восхищение Флоренс и Уолтером, сидевшими поодаль (это была действительно прекрасная пара, пленявшая своей юностью, любовью и красотой), до такой степени овладевало капитаном, что он клал на стол карты и взирал на них с лучезарной улыбкой, вытирая голову носовым платком, пока стремительное бегство мистера Тутса не возвещало ему, что он неумышленно усугубляет страдания этого джентльмена. Такая мысль вызывала у капитана глубокую меланхолию, рассеивавшуюся с возвращением мистера Тутса; тогда он снова брался за карты и, исподтишка подмигивая, кивая головой и учтиво помахивая крючком, давал понять мисс Нипер, что больше это не повторится. В таких случаях физиономия капитана представляла, быть может, наибольший интерес: стараясь сохранить невозмутимый вид, он сидел тараща глаза, а на лице его отражались все чувства одновременно и боролись друг с другом. Восхищение Флоренс и Уолтером всегда одерживало верх над остальными и открыто праздновало победу до тех пор, пока мистер Тутс не выбегал снова на улицу, а тогда капитан сидел с видом кающегося грешника вплоть до нового его возвращения, тихим, укоризненным голосом приказывая самому себе «держаться крепче» или ворчливо упрекая «Эдуарда Катля, приятеля» в неосмотрительности, отличавшей его поведение.

Но одному из самых тяжелых испытаний мистер Тутс подвергся по собственному желанию. Накануне того воскресенья, когда в церкви должна была происходить последняя «огласка», о которой говорил капитан, мистер Тутс в следующих выражениях высказал свои чувства Сьюзен Нипер.

— Сьюзен, — сказал мистер Тутс, — меня тянет в эту церковь. Слова, навеки отторгающие меня от мисс Домби, прозвучат, знаете ли, в моих ушах, как похоронный звон, но, клянусь честью, я чувствую, что должен их услышать. Поэтому, — сказал мистер Тутс, — не согласитесь ли вы пойти со мной завтра в это священное здание?

Мисс Нипер изъявила готовность пойти, если это доставит удовольствие мистеру Тутсу, но упрашивала его отказаться от своей затеи.

— Сьюзен! — торжественно возразил мистер Тутс. — Еще в ту пору, когда моих усов не замечал никто, кроме меня, я обожал мисс Домби. Еще в те времена, когда я был в рабстве у Блимбера, я обожал мисс Домби. Когда меня по закону уже нельзя было долее отстранять от владения моим

имуществом и... и я вступил во владение, я обожал мисс Домби. Оглашение, которое передает ее лейтенанту Уолтерсу, а меня предаст, знаете ли... предаст... отчаянию, — сказал мистер Тутс, подыскав сильное выражение, — может подействовать ужасно и подействует ужасно, но я чувствую, что мне бы хотелось его услышать. Мне хотелось бы знать, что у меня поистине нет почвы под ногами и нет надежды, которую бы я мог лелеять, и... и, короче говоря, нет ноги, на которой бы я мог стоять.

Сюзен Нипер могла только посочувствовать печальному положению мистера Тутса и согласилась его сопровождать, что она и сделала на следующее утро.

Церковь, которую Уолтер выбрал для этой цели, была замшелой, старой церковью, расположенной в лабиринте глухих улиц и дворов; ее окружало маленькое кладбище, и сама она была словно погребена в своеобразном склепе, ограниченном стенами соседних домов и вымошенном гулкими камнями. Это было большое, темное, ветхое здание с высокими старыми дубовыми скамьями, на которых в воскресенье сиротливо сидели десятка два людей; голос священника сонно звучал в пустоте, а орган ревел и ворчал, как будто церковь страдала коликами от ветра и сырости, пробравшимися сюда ввиду малочисленности паствы. Но эта церковь в Сити отнюдь не могла пожаловаться на отсутствие компании — шпицы других церквей теснились вокруг нее, как корабельные мачты на реке. Столько их было, что, взобравшись на колокольню, вряд ли удалось бы их сосчитать. Чуть ли не в каждом соседнем дворе и тупике стояла церковь. В то воскресное утро, когда сюда пришли Сюзен и мистер Тутс, колокола звонили оглушительно. Двадцать церквей, расположенных бок о бок, зазывали народ.

Две заблудившиеся овцы были загнаны бидлом на удобную скамью, и так как было еще рано, они сидели и считали прихожан, прислушивались к колоколу, заунывно гудевшему высоко на колокольне, и смотрели на бедно одетого старичка, который стоял на паперти за загородкой и, вдев ногу в стремя, подпрыгивал, словно непомерной величины малиновка, заставляя гудеть упомянутый колокол, как бык в песенке про Петушка Робина¹¹⁷. Мистер Тутс, после долгого созерцания больших книг на пюпитре, шепнул мисс Нипер, что ему хотелось бы знать, где хранятся оглашения, но эта молодая леди только покачала головой и нахмурилась, уклоняясь от всяких разговоров о вещах преходящих.

Однако мистер Тутс, который, казалось, был не в силах отвлечься от мысли об оглашении, явно искал его глазами, пока шла первая часть службы. Когда настало время прочесть оглашение, бедный молодой джентльмен обнаружил признаки величайшей тревоги и смятения, которые ничуть не ослабели при неожиданном появлении капитана в первом ряду на хорах. Когда клерк подал священнику список, мистер Тутс, сидевший в ту минуту на скамье, ухватился руками за сиденье; когда же были громко прочтены имена Уолтера Гэя и Флоренс Домби, оглашенные в третий и последний раз, мистер Тутс до такой степени потерял самообладание, что выбежал из церкви без шляпы, а за ним последовали бидл, прислужница и два джентльмена с медицинским образованием, случайно здесь присутствовавшие; первый из них вскоре вернулся за шляпой и шепотом сообщил мисс Нипер, что она может не беспокоиться о джентльмене, так как джентльмен сказал, что его недомогание не имеет никакого значения.

Мисс Нипер, чувствуя, что глаза всей той части Европы, которая еженедельно размещалась на скамьях с высокими спинками, устремлены на нее, была бы в достаточной мере смущена этим инцидентом, даже если бы тем дело и кончилось; и тем более была она смущена, что капитан в первом ряду на галерее обнаруживал крайнюю заинтересованность, которая не могла не внушить собранию мысль, что он имеет какое-то таинственное отношение к происшествию. Но величайшее беспокойство мистера Тутса мучительно усугубило затруднительность ее положения. Этот молодой джентльмен, находясь в описанном состоянии духа, не в силах был оставаться на церковном дворе и в одиночестве предаваться размышлениям; к тому же он несомненно хотел засвидетельствовать свое уважение к церковной службе, которой отчасти помешал. Вот почему он внезапно вернулся, но вместо того, чтобы усесться на прежнюю скамью, расположился на одном из бесплатных мест в нефе между двумя пожилыми особами женского пола, имевшими обыкновение еженедельно получать

¹¹⁷ ...как бык в песенке про Петушка Робина... — намек на детскую песенку, где упоминается бык, который вызвался дернуть за веревку и позвонить в колокол.

свою порцию хлеба, разложенного на полке у самого входа в церковь. В этой компании и оставался мистер Тутс (приводя в смятение прихожан, которые не могли не смотреть на него), пока волнение не побороло его вновь, после чего он удалился молча и неожиданно. Не осмеливаясь показаться еще раз в церкви и тем не менее желая хоть как-нибудь приобщиться к тому, что там происходило, мистер Тутс с растерянным видом заглядывал то в одно, то в другое окно; а так как было несколько окон, доступных для него снаружи, и так как беспокойство его было очень велико, — угадать, в котором окне он появится в следующий раз, оказалось делом очень трудным, и вся паства, воспользовавшись относительным досугом, предоставленным ей проповедью, ощутила непреодолимую потребность взвешивать шансы различных окон. Блуждания мистера Тутса по церковному двору были столь эксцентричными, что большей частью он разбивал все вычисления и появлялся, словно волшебник, там, где его менее всего ожидали, а впечатление от этих таинственных появлений значительно усиливалось благодаря тому, что ему трудно было разглядеть что-нибудь внутри, а всем прочим — легко разглядеть происходящее снаружи. Это обстоятельство каждый раз побуждало его прижиматься лицом к оконному стеклу дольше, чем следовало ожидать, а затем он внезапно скрывался из виду, заметив, что все взоры устремлены на него.

Такое поведение мистера Тутса, а также величайшая заинтересованность, обнаруженная капитаном, сделали положение мисс Нипер столь ответственным, что она почувствовала глубокое облегчение при окончании службы. Отнюдь не с обычной своею приветливостью она отнеслась к мистеру Тутсу, когда тот на обратном пути уведомил ее и капитана, что теперь, удостоверившись в отсутствии всякой надежды, он, знаете ли, почувствовал успокоение, или, собственно говоря, не успокоение, но... он с большим спокойствием относится к постигшему его несчастью.

Быстро летело теперь время, и настал последний вечер перед свадьбой. Во владениях Мичмана все собрались в комнате наверху и не боялись, что их кто-нибудь потревожит, так как в доме не было теперь посторонних, и он находился в полном распоряжении Мичмана. В ожидании завтрашнего дня все были сдержаны и сосредоточены, и, однако, в меру веселы. Флоренс, возле которой сидел Уолтер, заканчивала вышиванье — прощальный подарок капитану. Капитан играл с мистером Тутсом в криббедж. Мистер Тутс совещался о своих ходах с Сьюзен Нипер. Мисс Нипер давала ему советы с должной таинственностью и осмотрительностью. Диоген к чему-то прислушивался и время от времени раздражался хриплым, приглушенным лаем, но затем всякий раз казался слегка пристыженным, словно сомневаясь, был ли у него повод лаять.

— Тише, тише! — сказал капитан Диогену. — Что с тобой приключилось? Сегодня ты как будто встревожен чем-то, приятель!

Диоген завилял хвостом, но тотчас же насторожился и еще раз отрывисто тьякнул, после чего извинился перед капитаном, снова завиляв хвостом.

— Мне кажется, Ди, — сказал капитан, задумчиво разглядывая свои карты и поглаживая подбородок крючком, — мне кажется, ты слегка не доверяешь миссис Ричардс. Но если ты именно такой пес, каким я тебя считаю, ты изменишь свое мнение, потому что ее лицо служит ей порукой. Ну, братец, — обратился он к мистеру Тутсу, — если вы готовы, отчаливайте!

Капитан говорил с полным спокойствием, уделяя все внимание игре, но внезапно карты выпали у него из рук, рот и глаза широко раскрылись, ноги оторвались от пола и вытянулись как палки, и он застыл, с бесконечным изумлением глядя на дверь. Окинув взглядом присутствующих и убедившись, что никто из них не смотрит на него и не замечает причины его странного поведения, капитан, испустив громкий вздох, пришел в себя, изо всех сил ударил кулаком по столу, крикнул громовым голосом: «Соль Джилс, эхой!» — и упал в объятия потрепанного непогодой горохового пальто, которое появилось в комнате вместе с Полли.

Еще мгновение — и Уолтер очутился в объятиях потрепанного непогодой горохового пальто. Еще мгновение — и Флоренс очутилась в объятиях потрепанного непогодой горохового пальто. Еще мгновение — и капитан Катль обнял миссис Ричардс и мисс Нипер и, размахивая над головой крючком, с жаром пожимал руку мистеру Тутсу, восклицая: «Ура, приятель, ура!», на что мистер Тутс, решительно не понимая, что же это такое происходит, отвечал очень учтиво: «Разумеется, капитан Джилс, все, что вы сочтете нужным».

Потрепанное непогодой гороховое пальто и не менее потрепанные непогодой шапка и шарф оторвались от капитана и Флоренс, чтобы снова обратиться к Уолтеру, и послышались какие-то зву-

ки, напоминающие рыдания старика, а мохнатые рукава крепко обхватили Уолтера. Потом наступила полная тишина, и капитан с большим усердием стал полировать себе нос. Но когда гороховое пальто, шапка и шарф оторвались от Уолтера, Флоренс потихоньку приблизилась к этим предметам туалета. И когда она вместе с Уолтером их сняла, перед ними предстал старый мастер судовых инструментов, слегка похудевший, в старом своем валлийском парике, и в старом кофейного цвета сюртуке с большими пуговицами, и со старым непогрешимым своим хронометром, тикающим в кармане.

— Начинен по горло науками, как и в былые времена! — воскликнул сияющий капитан. — Соль Джилс, Соль Джилс, где же это вы скитались столько времени, старый приятель?

— Я чуть не ослеп, Нэд, и почти оглох и онемел от радости, — сказал старик.

— Его собственный голос! — воскликнул капитан, озираясь вокруг с таким восхищением, которого, пожалуй, не могла выразить даже его физиономия. — Его собственный голос, начиненный науками, как и в былые времена! Соль Джилс, приятель, отдохните среди своих виноградных лоз и смоковниц, как и подобает древнему патриарху, и прежним, хорошо знакомым нам голосом начните рассказ о своих приключениях. На этот голос сетовал ленивец, — внушительно произнес капитан, мановением крючка подчеркивая цитату. — Вы разбудили меня слишком рано, я опять засну. Да рассеются враги его и да падут во прах!

Капитан уселся с таким видом, как будто ему посчастливилось высказать мнение всех присутствующих, но тотчас же вскочил, чтобы представить мистера Тутса, который был совершенно сбит с толку появлением человека, предьявляющего, по-видимому, права на фамилию Джилс.

— Хотя, — заикаясь, начал мистер Тутс, — хотя я не имел удовольствия быть знакомым с вами, сэр, до того, как вы... вы...

— Скрылись из виду, но остались в памяти, — потихоньку подсказал капитан.

— Совершенно верно, капитан Джилс! — согласился мистер Тутс. — Хотя я не имел удовольствия быть знакомым с вами, мистер... мистер Соле, — сказал Тутс, в порыве вдохновения изобретая фамилию, — прежде чем это случилось, я — смею вас уверить — испытываю, знаете ли, величайшее удовольствие, познакомившись с вами сейчас. Надеюсь, — сказал мистер Тутс, — вы чувствуете себя хорошо, насколько можно этого ожидать.

Произнеся эти учтивые слова, мистер Тутс сел на свое место, краснея и хихикая.

Старый мастер, приютившийся в уголку между Уолтером и Флоренс и кивавший головою Поли, которая смотрела на них с восторженной улыбкой, обратился к капитану:

— Нэд Катль, старый друг! Хотя я кое-что уже слышал о происшедших здесь переменах от моей доброй приятельницы... Какое милое у нее лицо и как приятно страннику увидеть его по возвращении в свой дом! — сказал старик, прерывая свою речь и потирая руки со свойственной ему рассеянностью.

— Слушайте его! — торжественно провозгласил капитан. — Вот женщина, обольщающая всех мужчин!¹¹⁸ Чтобы найти это место, — добавил он, обращаясь к мистеру Тутсу, — перелистайте, братец, вашего Адама и Еву.

— Я не премину это сделать, капитан Джилс, — сказал мистер Тутс.

— Хотя я уже слышал от нее о происшедших здесь переменах, — продолжал инструментальный мастер, доставая из кармана свои старые очки и по старой привычке надевая их на лоб, — но они так велики и неожиданны, и я испытал такое потрясение при виде дорогого моего мальчика и... — он бросил взгляд на потупленные глаза Флоренс и уж не пытался закончить фразу, — что вряд ли я много сегодня расскажу. Но, дорогой мой Нэд Катль, почему вы мне не писали?

Изумление, отразившееся на лице капитана, не на шутку испугало мистера Тутса, который впился в него глазами и никак не мог от него оторваться.

— Не писал? — повторил капитан. — Не писал, Соль Джилс?

— Ну да! — подтвердил старик. — На Барбадос, на Ямайку или в Демерару¹¹⁹? Ведь я об этом

¹¹⁸ *Вот женщина, обольщающая всех мужчин!* — цитата из Джона Гэя, английского поэта и драматурга XVIII века. Но капитан Катль отсылает Тутса к библии, а именно — к эпизоду соблазнения Адама Евой.

¹¹⁹ *Демерара* — часть Британской Гвианы (в Южной Америке).

просил.

— Просили, Соль Джилс? — повторил капитан.

— Ну, конечно! — сказал старик. — Разве вы этого не знаете, Нэд? Не может быть, чтобы вы забыли! Просил в каждом письме.

Капитан снял гляцевитую шляпу, повесил ее на свой крючок, провел рукою по голове с затылка до макушки и посмотрел на всех окружающих: поистине он олицетворял собою недоумение и покорность судьбе.

— Вы как будто не понимаете меня, Нэд, — заметил старый Соль.

— Соль Джилс, — сказал капитан, который долго и безмолвно смотрел на него и на всех остальных, — я сделал поворот и лег в дрейф. Быть может, вы скажете хоть несколько слов о своих приключениях? Неужели мне не удастся бросить якорь? Неужели не удастся? — в раздумье сказал капитан, озираясь вокруг.

— Вам известно, Нэд, почему я отсюда уехал, — сказал Соль Джилс. — Вы вскрыли мой пакет, Нэд?

— Да, — сказал капитан. — Разумеется, я вскрыл пакет.

— И прочли то, что было в него вложено? — спросил старик.

— И прочел, — ответил капитан, пристально глядя на него и начиная цитировать на память: — «Мой дорогой Нэд Катль. Покидая родину, чтобы отправиться в Вест-Индию с тщетной надеждой получить сведения о моем милом мальчике...» Вот он сидит! Вот Уольр! — воскликнул капитан, как будто ему доставило облегчение ухватиться за нечто реальное и неоспоримое.

— Так, так, Нэд! Подождите минуточку! — сказал старик. — В первом письме — оно было послано с Барбадоса — я писал, что, хотя вы получите его задолго до истечения годовичного срока, я бы хотел, чтобы вы вскрыли пакет, так как в нем объясняется причина моего отъезда. Прекрасно, Нэд. Во втором, третьем и, кажется, четвертом письме — оно было послано с Ямайки — я писал, что нахожусь все в том же состоянии, не могу успокоиться и не могу уехать из тех краев, пока не узнаю, погиб или спасся мой мальчик. В следующем письме — мне кажется, оно было послано из Демерары, не так ли?

— Ему кажется, что оно было послано из Демерары, не так ли? — повторил капитан, с безнадежным видом озираясь вокруг.

— ...Я писал, — продолжал старый Соль, — что все еще не имею никаких достоверных сведений. Писал, что в этой части света я повстречался с капитанами и другими лицами, которые знают меня уже много лет, и они помогают мне перебираться с места на место, а я в свою очередь могу иной раз оказывать им маленькие услуги по своей специальности. Я писал, что все меня жалеют и как будто относятся с сочувствием к моим скитаньям и что я начал подумывать о том, не суждено ли мне до конца дней плавать по морям в поисках известий о моем мальчике.

— Начал подумывать о том, не превратится ли он в ученого Летучего Голландца! — сказал капитан с тем же безнадежным видом и с величайшей серьезностью.

— Но когда в один прекрасный день, Нэд, пришло известие — это было на Барбадосе, куда я вернулся, — что мой мальчик находится на борту торгового судна, возвращающегося в Англию из Китая, тогда, Нэд, я сед на первый же корабль, прибыл на родину и сегодня вечером вернулся домой и убедился, что известие оказалось верным, благодарение господу! — набожным тоном произнес старик.

Капитан с благоговением наклонил голову, а затем окинул взглядом всех присутствующих, начиная с мистера Тутса и кончая старым мастером, и торжественно произнес:

— Соль Джилс! Заявление, которое я намерен сейчас сделать, сорвет все паруса со всех ваших мачт и заставит вас накрениться. Ни одно из этих писем не было доставлено Эдуарду Катлю. Ни одно из этих писем, — повторил капитан, желая придать своему заявлению большую торжественность и внушительность, — не было доставлено Эдуарду Катлю, английскому моряку, мирно проживающему на родине и преуспевающему с каждым часом.

— А я собственноручно сдавал их на почту! И собственноручно писал адрес: девятый номер на Бриг-Плейс! — воскликнул старый Соль.

Краски сбежали с лица капитана, а затем он весь побагровел.

— Соль Джилс, друг мой, что вы имеете в виду, говоря о девятом номере на Бриг-Плейс? —

осведомился капитан.

— Что я имею в виду? Вашу квартиру, Нэд, — ответил старик. — У миссис... как ее там зовут! Скоро я забуду свою собственную фамилию, но я отстаю от века — если вы помните, я всегда отставал, — а сейчас я совсем растерялся. Миссис...

— Соль Джилс! — произнес капитан таким тоном, как будто высказывал самое невероятное предположение. — Уж не фамилию ли Мак-Стинджер вы стараетесь вспомнить?

— Ну, конечно! — воскликнул мастер судовых инструментов. — Совершенно верно, Нэд! Миссис Мак-Стинджер!

Капитан Катль, у коего глаза расширились до последних пределов, а шишки на лице начали буквально светиться, свистнул протяжно, пронзительно и в высшей степени меланхолично. И, лишившись дара речи, он стоял, взирая на присутствующих.

— Будьте добры, Соль Джилс, повторите это еще раз! — выговорил он наконец.

— Все эти письма, — сказал дядя Соль, отбивая такт указательным пальцем правой руки на ладони левой с точностью и отчетливостью, которые сделали бы честь даже непогрешимому хронометру, находившемуся у него в кармане, — все эти письма я собственноручно сдавал на почту и собственноручно надписывал адрес: капитану Катлю, проживающему у Мак-Стинджер, девятый номер на Бриг-Плейс.

Капитан снял со своего крючка глянцевитую шляпу, заглянул в нее, надел на голову и сел на стул.

— Друзья мои! — озираясь вокруг, сказал чрезвычайно расстроенный капитан. — Да ведь я оттуда сбежал!

— И никто не знал, куда вы ушли, капитан Катль? — подхватил Уолтер.

— Господь с тобой, Уольр! — сказал капитан, покачивая головой. — Да она бы ни за что не согласилась, чтобы я взял на себя заботу об этом доме. Мне ничего другого не оставалось, как сбежать. Помилуй тебя бог, Уольр! — сказал капитан. — Ты ее видел только в штиль! Но посмотри на нее, когда она разбушуетея, и постарайся запомнить!

— Я бы ей показала! — вполголоса промолвила мисс Нипер.

— Думаете, что показали бы, дорогая моя? — отозвался капитан с некоторым восхищением. — Ну, что ж, моя милая, это делает вам честь. Но что касается меня, то я бы предпочел встретиться лицом к лицу с каким угодно диким зверем. Мой сундук мне удалось унести оттуда только с помощью друга, которому нет равного на свете. Что толку было посылать туда письма? Да при таких обстоятельствах она не приняла бы ни одного письма! — сказал капитан. — Почтальону и трудиться не стоило!

— Итак, капитан Катль, — сказал Уолтер, — совершенно ясно, что все мы, и вы, и в особенности дядя Соль можем поблагодарить миссис Мак-Стинджер за перенесенные нами волнения.

Услуга, оказанная в данном случае решительной вдовицей усопшего мистера Мак-Стинджера, была столь очевидна, что капитан не стал ее оспаривать. Но, будучи до известной степени пристыжен, хотя никто не касался этого предмета, а Уолтер, памятуя о последнем своем разговоре с ним на эту тему, с особым старанием его избегал, капитан пребывал в унынии добрых пять минут — срок, из ряда вон выходящий для него, — после чего его лицо, подобно солнцу, вновь просияло, озарив всех присутствующих необычайным блеском, и он принялся пожимать руки всем подряд.

Было еще не поздно — хотя дядя Соль и Уолтер уже успели потолковать о своих приключениях и опасностях, которые каждый из них пережил, — когда все, за исключением Уолтера, вышли из комнаты Флоренс и спустились в гостиную. Здесь к ним вскоре присоединился Уолтер, который сообщил, что Флоренс немного приуныла, что у нее тяжело на сердце и она легла спать. Хотя голоса их не могли ее потревожить, все стали говорить после этого шепотом, и каждый по-своему думал с любовью и нежностью о прекрасной юной невесте Уолтера. Обо всем, что ее касалось, были даны подробные разъяснения дяде Солю, а мистер Тутс высоко оценил ту деликатность, с какою Уолтер упоминал о нем, придавая важное значение его услугам и считая его присутствие на маленьком семейном совете необходимым.

— Мистер Тутс, — сказал Уолтер, прощаясь с ним у двери, — завтра утром мы увидимся?

— Лейтенант Уолтерс, — ответил мистер Тутс, с жаром пожимая ему руку. — я не премину явиться.

Чарльз Диккенс «Торговый дом Домби и сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт»

— Сегодняшний вечер предшествует долгой разлуке, — быть может, вечной разлуке, — сказал Уолтер. — Мне кажется, такое великодушное сердце, как ваше, не может не откликнуться на призыв другого сердца. Надеюсь, вы понимаете, как глубоко я вам благодарен?

— Уолтере! — ответил мистер Тутс, глубоко растроганный. — Я был бы рад, если бы у вас имелись основания для этого.

— Флоренс, — продолжал Уолтер, — которая последний день носит свою прежнюю фамилию, взяла с меня слово — это было несколько минут назад, когда мы остались вдвоем, — что я передам вам ее уверение в искренней любви...

Мистер Тутс ухватился рукою за дверной косяк и устремил взор на свою руку.

— ...Искренней любви, — продолжал Уолтер, — а также и в том, что у нее никогда не было друга, которым бы она дорожила больше, чем вами. Она просила передать, что помнит о вашем неизменном внимании к ней и никогда этого не забудет. Она вспомнит о вас сегодня в своих молитвах и надеется, что вы будете думать о ней, когда она уедет далеко отсюда. Что мне ей передать от вас?

— Уолтерс, — невнятно пробормотал мистер Тутс, — я буду вспоминать о ней каждый день и всегда буду радоваться, так как она вышла замуж за человека, которого любит и который любит ее. И еще, прошу вас, скажите о моей уверенности в том, что ее супруг достоин ее — даже ее! — и что я радуюсь ее выбору.

Под конец мистер Тутс стал говорить более внятно и, отведя глаза от дверного косяка, твердо произнес последние слова. Затем он снова с жаром пожал руку Уолтеру, на что Уолтер не замедлил ответить, и отправился восвояси.

Мистера Тутса сопровождал Петух, которого он последнее время приводил с собою каждый вечер и оставлял в лавке на случай, если возникнут какие-нибудь непредвиденные обстоятельства, когда доблесть этой знаменитой особы может послужить на пользу Мичману. В тот день Петух, казалось, был в мрачном расположении духа. Либо свет газовых фонарей оказался предательским, либо он и в самом деле отвратительно подмигнул и сморщил нос, когда мистер Тутс, переходя через улицу, оглянулся на окна комнаты, где спала Флоренс. По дороге домой он обнаруживал по отношению к встречным более враждебные намерения, чем это подобало профессору мирного искусства самообороны. Проводив мистера Тутса до дому, он, вместо того чтобы откланяться, остановился перед ним с явно непочтительным видом, размахивая своей белой шляпой, которую держал за поля обеими руками и крутя головой и носом (и голова и нос много раз страдали от поломок и были починены довольно плохо).

Его патрон, занятый своими мыслями, не замечал этого до тех пор, пока Петух, желая привлечь к себе внимание, не начал прищелкивать на все лады языком.

— Послушайте, хозяин, — с мрачным видом сказал Петух, поймав, наконец, взгляд мистера Тутса, — я хочу знать: мы проиграли всухую или вы все-таки намерены выиграть?

— Петух, — отозвался мистер Тутс, — объясните смысл ваших слов.

— В таком случае, — сказал Петух, — я выложу вам все, хозяин. Не такой я парень, чтобы не договаривать до конца. Дело вот в чем: нужно пристукнуть кого-нибудь из них или нет?

Задав этот вопрос, Петух бросил шляпу на землю, левой рукой сделал ложный выпад, правой нанес воображаемому врагу жестокий удар, лихо потрянул головой и снова овладел собою.

— Ну как, хозяин, — продолжал Петух, — проиграли всухую или победим? А?

— Петух, — ответил мистер Тутс, — слова ваши грубы, а их смысл не ясен.

— Ну, так вот что я вам скажу, хозяин, — произнес Петух, — это гнусно!

— Что гнусно, Петух? — спросил мистер Тутс.

— Да, гнусно! — повторил Петух, устрашающим образом сморщив свой сломанный нос. — Хозяин! Что ж это такое? Вы можете немедленно пойти и донести о свадьбе этому надутому парню, — предполагалось, что это унижительное определение Бойцового Петуха относилось к мистеру Домби, — вы можете нокаутировать победителя и всю эту компанию, а вместо этого вы сдаетесь? Сдаетесь! — презрительно повторил Петух. — Это хозяин, гнусно!

— Петух, — строго сказал мистер Тутс, — вы настоящий коршун! Чувства у вас зверские.

— Хозяин, — возразил Петух, — у меня чувства смелые и благородные. Вот какие у меня чувства. Я не допущу гнусности. Я выступаю перед публикой, к моим словам прислушиваются в трак-

тире «Маленький слон», и мой хозяин не должен поступать гнусно. Да, это гнусно, — повторил Петух еще более выразительно. — Вот именно. Гнусно!

— Петух, — сказал мистер Тутс, — вы мне противны.

— Хозяин, — ответил Петух, надевая шляпу, — и вы мне тоже. Послушайте! Вот что я вам предлагаю! Вы мне не раз говорили, чтобы я открыл торговлю выпивкой и закуской. Дайте мне завтра пятьдесят фунтов, и я уйду.

— Петух, — ответил мистер Тутс, — после того как вы выразили столь омерзительные чувства, я охотно расстанусь с вами на таких условиях.

— Значит, решено! Договор заключен! Ваше поведение, хозяин, мне не по вкусу. Оно гнусно! — сказал Петух, который, по-видимому, не мог с этим покончить. — Да, в том-то и дело! Оно гнусно!

Итак, мистер Тутс и Петух согласились расстаться по причине несходства моральных принципов. И мистер Тутс лег спать и сладко грезил о Флоренс, которая в последний вечер своей девичьей жизни думала о нем, как о друге, и просила передать ему уверение в искренней ее любви.

Глава LVII **Еще одна свадьба**

Мистер Саундс, бидл, и миссис Миф, прислужница, рано заняли свои посты в нарядной церкви, где был заключен брак мистера Домби. Сегодня утром желтолицый старый джентльмен из Индии намерен сочетаться браком с молоденькой особой; ожидаются шесть карет с гостями, и миссис Миф уведомлена о том, что желтолицый старый джентльмен может вымостить дорогу до церкви бриллиантами и вряд ли его состоянию будет нанесен большой ущерб.

Бракосочетание будет в высшей степени торжественное — обряд совершит сам его преподобие настоятель, а посаженным отцом, передающим невесту, словно драгоценный подарок, будет некое лицо из Главного штаба, прибывшее специально для этой цели.

Сегодня миссис Миф относится к простому люду еще более нетерпимо, чем обычно, а на этот счет у нее всегда были строгие правила, так как дело касается бесплатных мест. Миссис Миф отнюдь не знаток политической экономии (она полагает, что эта наука имеет отношение к сектантам: «к баптистам или методистам», — говорит она), но она никак не может понять, зачем это простой люд тоже женится.

— Ах, чтоб тебе! — говорит миссис Миф. — Читают над ними то же самое, что и над другими, а вместо соверенов получают шестипенсовики!

Мистер Саундс, бидл, более либерален, но ведь он не состоит при скамьях.

— Это наш долг, сударыня, — говорит он. — Мы должны их женить. Мы должны пополнять наши народные школы и должны иметь армию. Мы должны их женить, сударыня, — говорит мистер Саундс, — чтобы страна процветала.

Мистер Саундс сидит на ступенях, а миссис Миф обметает пыль, когда появляется скромно одетая молодая пара. Увядший чепец миссис Миф резко поворачивается к этой паре, ибо такой ранний визит внушает ей мысль, что дело идет о вступлении в брак потихоньку от родных. Но молодые люди не намерены сочетаться браком: «Мы хотим только осмотреть церковь», — говорит джентльмен. И так как он сует в руку миссис Миф щедрую мзду, кислая ее физиономия проясняется, а увядший чепец и худая, высохшая фигура с шуршаньем приседают.

Миссис Миф снова принимается обметать пыль и взбивать подушки говорят, у желтолицего старого джентльмена нежные колени, — но ее тусклые глаза, привыкшие следить за платными местами, не отрываются от молодой пары, которая бродит по церкви.

— Кхм! — покашливает миссис Миф; кашель у нее такой же сухой, как сено в подушках, которые предназначены для коленопреклонения и поручены ее заботам. — Я не ошибусь, если скажу, что в один из ближайших дней вы еще придете к нам, дорогие мои!

Они смотрят на табличку, вделанную в стену в память об умершем. Они стоят далеко от миссис Миф, но миссис Миф видит уголком глаза, что девушка опирается на руку джентльмена, а тот наклоняется к ней.

— Ну-ну, — говорит миссис Миф, — могло быть и хуже. Из вас выйдет славная парочка!

Сердечное чувство не сквозит в замечании миссис Миф. Она говорит исключительно с деловой точки зрения. Вряд ли она интересуется парочками больше, чем гробами. Она такая тощая, прямая, высохшая старая леди, — скамья, а не женщина, — что легче встретить сочувствие у какой-нибудь щепки, чем у нее. Но мистер Саундс, дородный и облеченный в сюртук с алой обшивкой, отличается другим темпераментом. Пока они стоят на ступенях и смотрят вслед молодой паре, он говорит, что у девушки красивая фигура — не правда ли? — и, насколько он мог разглядеть (из церкви она вышла с опущенной головой), прехорошенькое личико.

— Право же, миссис Миф, — с удовольствием говорит мистер Саундс, — ее можно назвать настоящим розаном.

Миссис Миф в знак согласия лишний раз кивает своим увядшим чепцом, но в глубине души она отнюдь не одобряет этих слов и принимает решение не выходить замуж за мистера Саундса, какие бы деньги он ей ни сулил, хотя он и бидл.

А о чем говорит молодая пара, выйдя из церкви и направляясь к воротам?

— Дорогой Уолтер! Как я тебе благодарна! Теперь я уеду счастливая.

— А когда мы вернемся, Флоренс, мы придем сюда и опять навестим его могилу.

Флоренс смотрит сверкающими от слез глазами на его ласковое лицо и свободной рукой сжимает другую маленькую ручку, робко опирающуюся на его руку.

— Сейчас очень рано, Уолтер, и на улицах почти нет народу. Пойдем пешком.

— Ты устанешь, дорогая.

— О нет! Я очень устала в тот раз, когда мы впервые шли вместе, но сегодня я не устану.

И вот не очень изменившиеся — она такая же невинная и чистосердечная, он такой же честный, такой же бодрый, но еще больше гордящийся ею, — Флоренс и Уолтер в день своей свадьбы вместе идут по улицам.

Даже во время той детской прогулки много лет назад не были они так далеки от всего окружающего, как в этот день. Много лет назад детские ноги не ступали по такой волшебной земле, по какой они ступают теперь. Детское доверие и любовь могут быть обращены ко многим; но женское сердце Флоренс с его нетронутыми сокровищами может быть отдано только один раз, и от обиды или измены оно зачахнет и умрет.

Они выбирают самые тихие улицы и держатся вдали от той, где находится прежний ее дом. Утро ясное, теплое, летнее, и солнце светит, когда они идут по направлению к Сити, над которым нависла сероватая дымка. В магазинах выставляют дорогие товары; драгоценные камни, золото и серебро сверкают в солнечных витринах ювелиров, а высокие дома отбрасывают величественную тень на проходящих Флоренс и Уолтера. Но и в солнечном свете и в тени они идут, согретые любовью, не видя окружающего, не помышляя о богатстве и великолепных домах теперь, когда они все обрели друг в друге.

Наконец они сворачивают в более тесные и узкие улицы, где солнце — то желтое, то красное, — проглядывающее сквозь туман, можно увидеть только на углу или на маленьких площадях, на которых растет дерево, или высится одна из бесчисленных церквей, или начинается мощный проход, или какая-нибудь лестница, или разбит забавный маленький садик, или находится кладбище с немногими склепами и могильными плитами, почерневшими от времени. По всем этим тесным дворам, переулкам и мрачным улицам Флоренс, опираясь на его руку, идет, любящая и доверчивая, чтобы стать его женой.

Сердце ее начинает биться быстрее, когда Уолтер говорит ей, что их церковь совсем близко. Они проходят мимо больших торговых складов, где у дверей стоят подводы, а суетливые возчики загораживают им дорогу, но Флоренс не видит их и не слышит. И вот наступает тишина, дневной свет меркнет, и дрожащая Флоренс стоит в церкви, где какой-то странный запах напоминает о погребу.

Бедно одетый старичок, тот, который заунывно звонил в колокол, положил свою шляпу в купель; он пономарь и здесь — как у себя дома. Он ведет их в старую, обшитую коричневой панелью пыльную ризницу, напоминающую посудный шкаф, откуда вынуты полки. Там изъеденные червями книги распространяют слабый запах нюхательного табаку, который заставляет расчихаться плачущую Нипер.

Какой юной и какой прекрасной кажется молодая невеста в этой старой пыльной церкви, где нет ничего и никого ей под стать, кроме ее жениха! Вот пропыленный, старый клерк, который держит нечто вроде лавочки устарелых новостей в подворотне напротив церкви за целой изгородью из столбов. Вот пропыленная, старая прислужница, которая заботится только о самой себе и считает, что этого вполне достаточно. Вот пропыленный, старый бидл (этого бидла и эту прислужницу видел мистер Тутс в прошлое воскресенье), который имеет какое-то отношение к Благочестивому обществу, снимающему в соседнем дворе молитвенный зал с витражем; второго такого витража ни один из смертных никогда еще не видывал. Вот пропыленные деревянные выступы и карнизы над алтарем, над перегородкой, вокруг галереи и над словами надписи, возвещающей о том, что было сделано главою и попечителями Благочестивого общества в тысяча шестьсот девяносто четвертом году. Вот пропыленные, старые резонаторы над кафедрой и пюпитром, похожие на колпаки, которыми можно прикрыть совершающих богослужение священников в случае, если те оскорбят паству. Вот всяческие устройства для накопления пыли — везде, кроме церковного двора, где такого рода возможности весьма ограничены.

Появляются капитан, дядя Соль и мистер Тутс; священник надевает в ризнице стихарь, а клерк бродит вокруг, сдувая пыль. И вот жених и невеста стоят перед алтарем. Нет ни одной подружки, если не считать Сьюзен Нипер; нет посаженного отца, кроме капитана Катля. Нищий с деревянной ногой и с синим мешком в руках, уплетая гнилое яблоко, входит в церковь посмотреть, что там делается, но, не найдя ничего интересного, ковыляет к выходу и стучит своей деревяшкой, пробуждая эхо.

Ни один милостивый луч не падает на Флоренс, опустившуюся на колени пред алтарем и робко склонившую голову. Солнце заслонено домами и здесь не светит. За окном — чахлое дерево, на нем тихо чирикают воробьи; на чердаке у красильщика, где прыгают солнечные зайчики, — черный дрозд, который громко свистит, пока совершается служба; и человек на деревяшке ковыляет к выходу. Амини пропыленного клерка словно застревают у него в горле, как у Макбета¹²⁰, но капитан Катль приходит ему на помощь и делает это с такой охотой, что трижды вставляет аминь там, где это слово произносить при богослужении не полагается.

Они повенчаны, они расписались в одной из старых книг, запах которых щекочет ноздри, стихарь священника снова спрятан в пыльное местечко, и священник ушел домой. В темном углу темной церкви Флоренс поворачивается к Сьюзен Нипер и плачет в ее объятиях. У мистера Тутса красные глаза. Капитан полирует себе нос. Дядя Соль спустил очки со лба на нос и пошел к дверям.

— Да благословит вас бог, Сьюзен, дорогая моя Сьюзен! Если когда-нибудь вам случится рассказать другим о моей любви к Уолтеру и о том, почему я не могла его не полюбить, сделайте это ради него! Прощайте! Прощайте!

Было решено не возвращаться к Мичману, а расстаться здесь. Карета ждет поблизости.

Мисс Нипер не может вымолвить ни слова; она только всхлипывает, задыхается и обнимает свою хозяйку. Подходит мистер Тутс, утешает ее, ободряет и берет на свое попечение. Флоренс протягивает ему руку, от полноты сердца подставляет ему губы, целует дядю Соля и капитана Катля, и молодой муж уводит ее.

Но Сьюзен не может допустить, чтобы у Флоренс осталось такое печальное воспоминание о ней. Она намеревалась вести себя совсем иначе и теперь горько упрекает себя. Твердо решив сделать последнюю попытку и исправить положение, она покидает мистера Тутса и бежит за каретой, чтобы на прощание появиться с улыбающимся лицом. Капитан, угадав ее намерение, бросается вслед за нею, ибо он почитает своим долгом проводить новобрачных веселыми возгласами. Дядя Соль и мистер Тутс остаются сзади и ждут перед церковью.

Карета отъехала, но улица, узкая, запруженная экипажами, круто идет под гору, и Сьюзен не

¹²⁰ Амини... застревают у него в горле, как у Макбета... — ср. Шекспир, «Макбет», акт II, сц. 2-я:

А я, услышав: «Господи помилуй»,
За ними вслед не мог сказать «аминь».

сомневается в том, что видит карету, остановившуюся на некотором расстоянии. Капитан следует за Сьюзен и размахивает глянцевитой шляпой, подавая сигнал, который может быть замечен, а может и не быть замечен надлежащей каретой.

Сьюзен оставляет позади капитана и подбегает к карете. Она заглядывает в окно, видит Уолтера, а подле него кроткое лицо Флоренс и хлопает в ладоши, и восклицает:

— Мисс Флой, милочка! Посмотрите на меня! Теперь мы все так счастливы, дорогая! Еще раз до свидания, моя ненаглядная, до свидания!

Как ухитряется это сделать Сьюзен, она и сама не знает, но она просовывает голову в окно, целует Флоренс и обнимает ее за шею:

— Теперь мы все так... так счастливы, дорогая моя мисс Флой! — говорит Сьюзен, у которой подозрительно прерывается голос. — Теперь вы не будете на меня сердиться. Не будете?

— Сердиться, Сьюзен?

— Нет! Знаю, что не будете. Я и говорю, что не будете, милая моя, дорогая! — восклицает Сьюзен. — А вот и капитан... ваш друг капитан... он тоже хочет еще раз попрощаться!

— Ура, Отрада моего Сердца! — кричит во все горло капитан, чье лицо выражает глубокое волнение. — Ура, Уолтер, мой мальчик! Ура! Ура!

Молодой муж высовывается из одного окна, молодая жена — из другого, капитан висит на одной дверце, Сьюзен Нипер цепляется за другую, карета, хочет она того или не хочет, принуждена подвигаться вперед: все прочие кареты и подводки негодуют, потому что она останавливает движение, и никогда еще не бывало такой суматохи на четырех колесах. Но Сьюзен Нипер доблестно доводит дело до конца. Она улыбается своей хозяйке, улыбается сквозь слезы до последней минуты. Когда же Сьюзен остается, наконец, позади, капитан, у которого концы воротничка неистово развеваются, продолжает то появляться, то исчезать в окне, восклицая: «Ура, мой мальчик! Ура, Отрада Сердца!» — пока попытка угнаться за каретой не становится безнадежной. Наконец карета уезжает, Сьюзен Нипер, к которой присоединяется капитан, падает в обморок, и ее уносят в булочную, где приводят в чувство.

На церковном дворе дядя Соль и мистер Тутс, присев на каменный фундамент ограды, терпеливо ждут возвращения капитана Катля и Сьюзен. Так как никому не хочется говорить или выслушивать чужие речи, то они составляют превосходную компанию и очень довольны друг другом. Когда они все вместе возвращаются к Маленькому Мичману и садятся завтракать, никто не может проглотить ни кусочка. Капитан Катль с притворной жадностью набрасывается на гренки, но затем отказывается обманывать других. После завтрака мистер Тутс говорит, что придет вечером, и целый день бродит по городу, чувствуя себя так, как будто две недели не ложился спать.

Странные чары спускаются на дом и комнату, где они, бывало, сидели все вместе и которая так опустела. Это усиливает и в то же время смягчает горечь разлуки. Вернувшись вечером, мистер Тутс сообщает Сьюзен Нипер, что никогда еще ему не бывало так грустно и, однако, в этом есть что-то приятное. Он проникается к ней доверием и, оставшись с нею наедине, рассказывает, каково было у него на душе, когда она откровенно высказала ему свое мнение о том, может ли мисс Домби когда-нибудь его полюбить. В порыве доверия, рожденного этими воспоминаниями и слезами, мистер Тутс предлагает выйти вместе и купить чего-нибудь к ужину. Мисс Нипер соглашается, они покупают много вкусных вещей и с помощью миссис Ричардс сервируют прекрасный ужин к тому времени, когда старый Соль и капитан возвращаются домой.

Капитан и старый Соль побывали на борту корабля, отвели туда Ди и присмотрели за погрузкой сундуков.

У них есть что порассказать о популярности Уолтера, о том, как удобно он устроился на корабле, и о том, как обнаружилось, что он все время потихоньку трудился, чтобы сделать свою каюту «картинкой», по выражению капитана, и удивить свою маленькую жену.

— Заметьте, — говорит капитан, — даже адмиральскую каюту нельзя убрать наряднее.

Но больше всего радуется капитан тому, что большие часы, щипцы для сахара и чайные ложки находятся, как ему известно, на борту корабля, и он то и дело бормочет себе под нос:

— Эдуард Катль, приятель, тебе никогда еще не случалось взять более правильный курс, чем в тот день, когда ты передал это маленькое имущество в совместное владение. Эдуард, уж ты-то знаешь, где берег, и это делает тебе честь, приятель!

Старый мастер судовых инструментов озабочен и рассеян больше, чем когда бы то ни было, и очень близко к сердцу принимает свадьбу и разлуку. Но великое утешение ему доставляет присутствие старого его приятеля Нэда Катля, и он с признательным и довольным видом садится за ужин.

— Мой мальчик остался жив и преуспевает, — говорит старый Соль Джилс, потирая руки. — Имею ли я право не быть благодарным и счастливым?

Беспокойный капитан, который еще не сел к столу и только теперь подошел к своему стулу, нерешительно смотрит на мистера Джилса и говорит:

— Соль! Там внизу лежит последняя бутылка старой мадеры. Не хотите ли принести ее, старый приятель, оттуда и распить за здоровье Уольтра и его жены?

Мастер судовых инструментов, задумчиво глядя на капитана, опускает руку в боковой карман сюртука кофейного цвета, достает бумажник и вынимает оттуда письмо.

— Мистеру Домби, — говорит старик. — От Уолтера. Послать через три недели. — Я прочту его.

— «Сэр! Я женился на вашей дочери. Она отправилась со мною в дальнее плавание. Быть преданным ей — значит не предъявлять никаких требований ни к ней, ни к вам, и богу известно, что я ей предан.

Почему, любя ее больше всего на свете, я тем не менее без всяких угрызений совести связал ее жизнь с моею, полной невзгод и опасностей, — об этом я не хочу вам говорить. Вы знаете почему, и вы ее отец.

Не упрекайте ее. Она никогда не упрекала вас.

Я не думаю и не надеюсь, что вы когда-нибудь меня простите. Меньше всего я на это рассчитываю. Но если настанет час, когда для вас утешительно будет знать, что подле Флоренс есть человек, главная цель жизни коего — стереть ее воспоминания о былой скорби, тогда (торжественно заверяю вас) вы можете быть твердо в этом уверены».

Соломон заботливо прячет письмо в бумажник, а бумажник прячет в карман сюртука.

— Нэд, сегодня мы еще не разопьем последнюю бутылку старой мадеры, — задумчиво говорит старик. — Рано.

— Рано еще, — соглашается капитан. — Да. Рано еще.

Сюзен и мистер Тутс разделяют это мнение. Помолчав, все садятся ужинать и пьют другое вино за здоровье новобрачных; а последняя бутылка старой мадеры, покрытая пылью и заросшая паутиной, остается непо потревоженной.

Прошло несколько дней, и величавый корабль плывет в открытом море, подставляя белые свои крылья попутному ветру.

На палубе — Флоренс, которая для самых грубых людей на борту является воплощением грации, красоты и невинности и чье присутствие на корабле доставляет радость и сулит благополучное плавание. Ночь, и они с Уолтером сидят вдвоем, следя за блестящей полосой света на море между ними и месяцем.

Но она уже не может разглядеть ее отчетливо, потому что слезы застилают ей глаза, и тогда она кладет голову ему на грудь, обнимает его за шею и говорит:

— О Уолтер, любимый, я так счастлива! Муж прижимает ее к сердцу, и они сидят очень тихо, а величавый корабль безмятежно продолжает свой путь.

— Когда я слушаю море, — говорит Флоренс, — когда я смотрю на него, оно пробуждает столько воспоминаний. Оно заставляет меня думать о...

— Поле, дорогая моя. Я это знаю.

О Поле и Уолтере. И голоса в неумолчно журчащих волнах всегда нашептывают Флоренс о любви — о любви вечной и безграничной, вне пространства и вне времени, уводящей за пределы моря, за пределы неба, в далекую, невидимую страну.

Глава LVIII Спустя некоторое время

Приливы и отливы чередовались на море в течение целого года. В течение целого года ветры и облака налетали и исчезали; непрерывная работа времени совершалась в ненастье и в ведро. В течение целого года чередовались приливы и отливы людских удач и перемен. В течение целого года прославленная фирма «Домби и Сын» сражалась не на жизнь, а на смерть с печальными неожиданностями, с недостоверными слухами, с рискованными сделками, неблагоприятными временами и, в первую очередь, с ослеплением своего хозяина, который ни на волос не хотел сократить ее операции и не слушал, когда его предостерегали, что судно, принуждаемое им идти навстречу шторму, недостаточно прочно и не может этого выдержать.

Год истек, и прославленная фирма рухнула.

В летний день, без малого через год после бракосочетания в старой, замшелой церкви, на бирже начали жужжать и шептаться о крупном крахе. Холодный, надменный человек, которого здесь хорошо знали, при этом не присутствовал, не было здесь и его представителя. На следующий день широко распространился слух, что Домби и Сын прекратили платежи, а вечером эта фирма возглавляла опубликованный список банкротов.

Теперь общество было, и в самом деле, очень занято ею и многое могло сказать по этому поводу. Это было наивно-доверчивое общество, с которым обошлись очень плохо. В этом обществе никогда не бывало банкротств.

Не было в нем видных особ, открыто торгующих подмоченными акциями религии, патриотизма, добродетели, чести. Не находились в обращении в нем ничего не стоящие бумаги, на которые кое-кто жил очень неплохо, суля уплатить большие деньги бог знает из каких источников. Оно не ведало никаких нужд — разве что в деньгах. Общество было не на шутку разгневано, а больше всего негодовали те, кто — живи они в худшем обществе — сами могли бы показаться банкротами, прикрывающимися маскою и мишурным плащом.

Новый повод для беспутной жизни появился у этой игрушки судьбы — мистера Перча, рас-сылного! Видно, суждено было мистеру Перчу вечно просыпаться знаменитостью¹²¹. Можно сказать, не дальше чем вчера он вернулся к частной жизни после того, как побег и последовавшие за этим события создали ему славу; а теперь благодаря банкротству он стал особой более важной, чем когда бы то ни было. Достаточно было мистеру Перчу слезть со своей подставки в конторе, откуда он созерцал незнакомые физиономии счетоводов, которые заменили почти всех прежних клерков, — достаточно ему было слезть с нее и появиться во дворе или не дальше чем в трактире «Королевский герб», как его забрасывали множеством вопросов, в числе которых почти всегда бывал и такой интересный вопрос: чего он хочет выпить? Тогда начинал мистер Перч повествовать о часах жестокой тревоги, пережитых им и миссис Перч в Болс-Понд, когда они впервые заподозрили, что «дело неладно». Тогда начинал мистер Перч рассказывать развесившим уши слушателям, рассказывать тихим голосом, словно в соседней комнате лежал непогребенный труп почившей фирмы, о том, как у миссис Перч впервые мелькнула мысль, что дело неладно, когда она услышала, что он (Перч) стонет во сне: «Двенадцать шиллингов и девять пенсов в фунте¹²², двенадцать шиллингов и девять пенсов в фунте!» Это сомнамбулическое состояние он объяснял тем впечатлением, какое произвело на него изменившееся лицо мистера Домби. И он сообщал слушателям о том, как сказал однажды: «Осмелюсь спросить вас, сэр, нет ли у вас чего-нибудь тяжелого на душе?» И как мистер Домби ответил: «Мой верный Перч... но нет, этого не может быть!» — и с этими словами хлопнул себя по лбу и сказал: «Оставьте меня одного, Перч!» Тут, короче говоря, начинал мистер Перч, жертва своего положения, рассказывать всевозможные небылицы, доводя самого себя до слез трогательными выдумками и искренне веря, что вчерашняя ложь, повторенная сегодня, уподобляется истине.

Мистер Перч всегда заканчивал эти собеседования смиренным замечанием, что, каковы бы ни были его подозрения (словно они могли у него зародиться!), ему не подобает быть предателем, не так

¹²¹ ...вечно просыпаться знаменитостью... — намек на слова, якобы сказанные Байроном после выхода в свет «Паломничества Чайльд-Гарольда»: «Однажды утром я проснулся и узнал, что я — знаменитость».

¹²² ...двенадцать шиллингов и девять пенсов в фунте! — явная нелепица, так как в фунте — 20 шиллингов.

ли? По мнению слушателей (среди которых никогда не бывало ни одного кредитора), такие чувства делали ему честь. Таким образом, он вызывал к себе общее расположение, возвращался с успокоенной совестью к своей подставке и снова созерцал незнакомые физиономии счетоводов, которые так небрежно обращались с великими тайнами — бухгалтерскими книгами, или шел на цыпочках в опустевший кабинет мистера Домби и помешивал угли в камине, или выходил подышать свежим воздухом и снова с грустью беседовал с каким-нибудь случайно заглянувшим знакомым, или оказывал различные мелкие услуги старшему бухгалтеру; с его помощью мистер Перч надеялся получить место рассыльного в Обществе страхования от огня, когда дела фирмы будут окончательно ликвидированы.

Для майора Бегстока это банкротство было подлинным бедствием. Майор был не из тех, кто умеет думать о ближнем — все его внимание сосредоточивалось на Дж. Б., — не был он также и слишком чувствителен, если не считать чувствительности к одышке и удушью. Но он столько болтал в клубе о своем друге Домби, так превозносил его перед членами клуба, так унижал их, хвастаясь его богатством, что члены клуба — всего-навсего люди — были в восторге и мстили майору, притворяясь крайне озабоченными и спрашивая его, можно ли было предвидеть такое ужасное разорение и как это переносит его друг Домби. На такие вопросы майор, густо багровея, отвечал, что мы, сэр, живем в очень скверном мире, что Джой кое-что понимает, но его надули, сэр, надули, как грудного младенца; что, если бы вы, сэр, предсказали это Дж. Бегстоку, когда он отправился с Домби за границу и гонялся за этим бродягой Каркером по всей Франции.

Дж. Бегсток высмеял бы вас — ей-богу, он бы вас высмеял, сэр! Что Джо был обманут, сэр, одурачен, застигнут врасплох и ослеплен, но теперь он бодрствует и снова смотрит в оба, и если бы отец Джо восстал завтра из могилы, он, Джо, не дал бы старику ни единого пенни в долг, а сказал бы ему, что его сын Джо — слишком старый вояка, чтобы его можно было еще раз надуть, сэр! Что он, Дж. Б., стал подозрительным, сварливым, капризным, усталым и ни во что не верит, сэр, и если бы совместимо было с достоинством грубого и непреклонного старого майора старой школы, который имел честь быть лично известным их королевским высочествам, покойным герцогам Кентскому и Йоркскому, и заслужить их похвалу, — если бы совместимо было с его достоинством искать уединения в бочке и жить в ней, ей-богу, он завтра же поселился бы в бочке на Пэлл-Мэлл¹²³, чтобы заявить о своем презрении к человечеству!

Все эти речи в различных вариациях сопровождалось такими апоплексическими симптомами, майор столь отчаянно вращал головой и столь энергически кряхтел, свидетельствуя о своем гневе и обиде, что младшие члены клуба предположили, будто он вложил деньги в фирму своего друга Домби и понес убытки. Но более старые вояки и более проникательные хитрецы, которые хорошо знали Джо, и слушать об этом не хотели. Злосчастный туземец, не высказывая никаких соображений, претерпевал ужасные страдания: страдали не только его чувства, которые майор ежедневно и ежедневно обстреливал и вконец изрешетил, но и тело, пребывавшее в постоянном напряжении от ударов и толчков. Целых шесть недель после банкротства этот несчастный чужестранец жил под градом щеток и колодок для снятия сапог.

У миссис Чик зародились три мысли касательно этой ужасной превратности судьбы. Первая сводилась к тому, что миссис Чик не может этого понять. Вторая — что ее брат «не сделал надлежащего усилия». Третья — что, если бы ее пригласили на обед в день празднования новоселья, Этого никогда бы не случилось, о чем она тогда же и Заявила.

Какие бы мнения ни высказывались по поводу катастрофы, они не могли ее предотвратить, усугубить ее тяжесть или облегчить. Стало известно, что фирма ликвидирует свои дела с наибольшей выгодой для всех заинтересованных лиц, а мистер Домби добровольно отказывается от всего своего имущества и ни у кого не просит снисхождения. Стало известно, что ни о каком возобновлении торговых операций не может быть и речи, так как он уклонился от всяких дружеских переговоров, имевших целью прийти к такому компромиссу, а также отказался от всяких почетных и ответственных постов, какие занимал в качестве лица, пользующегося уважением в торговом мире; что, по од-

¹²³ ...искать уединения в бочке... на Пэлл-Мэлл... — Майор намекает на греческого философа-киника Диогена из Синопта (V—IV века до н. э.), жившего в бочке; Пэлл-Мэлл — одна из центральных фешенебельных улиц Лондона.

ним слухам, он при смерти, а по другим — заболел черной меланхолией, но что, во всяком случае, он — человек конченный.

Клерки рассеялись кто куда после маленького обеда, устроенного ими в знак соболезнования, который оживлялся веселыми песнями и оказался весьма удачным. Одни получили место за границей, другие нашли службу на родине; некоторые, внезапно вспомнив о горячо любимых родственниках, проживающих в деревне, отправились к ним, а кое-кто печатал объявления в газете. Из прежних служащих остался один мистер Перч, созерцавший со своей подставки счетоводов или соскакивавший с нее, чтобы завоевать расположение старшего бухгалтера, который мог устроить его в Общество страхования от огня. Контора вскоре стала грязной и заброшенной. Главный поставщик туфель и ошейников, торговавший в углу двора, усомнился бы в уместности поднимать указательный палец к полям шляпы, если бы здесь появился теперь мистер Домби, а посыльный, спрятав руки под белый фартук, произносил прекрасные нравоучительные речи на тему о честности, которому, по его мнению, надлежало бы рифмоваться с погибелью.

Мистер Морфин, холостяк с карими глазами, с волосами и бакенбардами, тронутыми сединой, был, пожалуй, единственным человеком в фирме, — конечно за исключением ее главы, — который искренне и глубоко сокрушался о постигшем ее бедствии. На протяжении многих лет он относился к мистеру Домби с должным уважением и почтением, но никогда не лицемерил, не раболепствовал перед ним и не потакал слабостям хозяина для достижения своих личных целей. Поэтому ему не приходилось мстить за самоуничтожение, и не было в нем туго закрученной пружины, которая грозила распрямиться. Он работал с утра до ночи, чтобы распутать все, что казалось запутанным или сложным в отчетах об операциях фирмы; всегда был налицо, когда требовалось что-нибудь разъяснить; не раз случалось ему засиживаться у себя, в прежнем своем кабинете, до поздней ночи, чтобы избавить мистера Домби от необходимости давать лично мучительные объяснения, а затем он шел домой, в Излингтон, и прежде чем лечь спать, успокаивал свою душу безнадежно тоскливыми звуками, извлекаемыми из виолончели.

Однажды вечером он утешался с помощью этой мелодической ворчуни и, находясь в мрачном расположении духа в результате событий истекшего дня, черпал утешение в самых низких нотах, когда его квартирная хозяйка (которая, к счастью, была глуха и эти музыкальные упражнения воспринимала только как ощущение зуда в костях) доложила ему, что пришла какая-то леди.

— Она в трауре, — сказала хозяйка.

Виолончель мгновенно замолкла, а музыкант, с величайшей нежностью и заботливостью положив ее на диван, дал знак, чтобы леди впустили. Затем он поспешил выйти из комнаты и на площадке лестницы встретил Хэриет Каркер.

— Вы одна? — воскликнул он. — А Джон был здесь сегодня утром! Что-нибудь неприятное случилось, дорогая моя? Впрочем, — добавил он, — ваше лицо говорит совсем о другом.

— Боюсь, что вы прочтете на моем лице эгоистические чувства, — ответила она.

— Во всяком случае, очень приятные, — сказал он, — а если эгоистические, то для вас они новы, и на это стоит посмотреть. Но я этому не верю.

Он подал ей стул и сам уселся напротив, а виолончель удобно устроилась на диване.

— Не удивляйтесь тому, что я пришла одна и Джон не предупредил вас о моем приходе. Вы все поймете, когда я вам объясню, почему я пришла, — сказала Хэриет. — Рассказать вам об этом сейчас?

— Это было бы лучше всего.

— Вы не работали, когда я пришла?

Он указал на виолончель, лежавшую на диване, и ответил:

— Я работал целый день. Вот свидетель. Ей я поверял все мои заботы. Хорошо, если бы, кроме моих собственных забот, мне нечего было больше поверять.

— Фирма потерпела банкротство? — очень серьезно спросила Хэриет.

— Полное банкротство.

— Ей уже не возродиться?

— Никогда.

Ясное лицо ее не омрачилось, когда она, беззвучно шевеля губами, повторила это слово. Казалось, он следил за ней с невольным изумлением, а затем повторил:

— Никогда. Вы помните, что я вам говорил? В течение всего этого времени невысказанно было убедить его; невысказанно было разговаривать с ним; невысказанно было даже подступить к нему. Случилось самое худшее. Фирма обанкротилась, и ей уже не встать на ноги снова.

— А мистер Домби разорен?

— Разорен.

— У него не останется никакого личного имущества? Ничего?

Какое-то нетерпение, сквозившее в ее голосе, и чуть ли не радостное выражение лица, казалось, удивляли его все больше и больше, но вместе с тем вызывали в нем разочарование и резко противоречили его собственным чувствам. Задумчиво глядя на нее, он забарабанил пальцами по столу и, помолчав, сказал, покачивая головой:

— Каковы средства мистера Домби, мне точно неизвестно; несомненно они велики, но и обязательства у него огромные. Он человек честный и порядочный. Всякий другой на его месте мог бы спасти себя, заключив соглашение с кредиторами, благодаря которому потери тех, кто вел с ним дела, увеличились бы незначительно, почти неощутимо, а у него осталось бы на что жить, и многие так бы и поступили на его месте. Но он решил отдать все до последнего фартинга. Он сам сказал, что это покроет почти все долги фирмы и никто не понесет больших убытков. Ах, мисс Хэриет, нам не мешало бы почаще вспоминать, что иной раз порок есть только доведенная до крайности добродетель! В этом решении его гордыня проявила себя с лучшей стороны.

Она слушала его все с тем же выражением лица и не очень внимательно, словно ее мысли были заняты чем-то другим. Когда он замолчал, она быстро спросила его:

— Вы давно его видели?

— Никто его не видит. Когда в связи с этой катастрофой ему необходимо выйти из дому, он выходит, а затем возвращается, запирается в своих комнатах и никого не хочет видеть. Он написал мне письмо, благодаря меня за прошлую мою службу, которую, кстати сказать, он оценивает выше, чем она того заслуживает, и прощаясь со мной. Мне неловко надоедать ему теперь, тем более, что и в лучшие времена я редко имел с ним дело, но все же я пытался к нему проникнуть. Я писал, ходил туда, умолял. Все оказалось тщетным.

Он наблюдал за ней, словно надеясь, что она проявит больше участия, и говорил серьезно и с глубоким чувством, чтобы произвести на нее впечатление. Но никакой перемены в ней он не заметил.

— Ну что ж, мисс Хэриет, — сказал он с разочарованным видом, — об этом говорить не стоит. Вы сюда пришли не для того, чтобы это слушать. У вас есть какая-то другая и более приятная тема. Поделитесь своими мыслями со мной, и тогда мы будем беседовать более согласно. Итак?

— Нет, это та же самая тема, — с искренним изумлением быстро возразила Хэриет. — Может ли быть иначе? Разве не естественно, что последнее время мы с Джоном много думали и говорили об этих огромных переменах? Мистер Домби, которому он служил столько лет — вам известно, на каких условиях, — мистер Домби, говорите вы, разорен, а мы так богаты!

Ее доброе честное лицо понравилось ему, мистеру Морфину, холостяку с карими глазами, с той минуты, когда он впервые его увидел, но теперь это лицо, сиявшее радостью, нравилось ему меньше, чем когда бы то ни было.

— Мне незачем напоминать вам, — сказала Хэриет, бросив взгляд на свое черное платье, — каким образом изменилось наше положение. Вы не забыли, что наш брат Джеймс, погибший такой ужасной смертью, не оставил завещания, а кроме нас у него не было родственников. Теперь ее лицо больше ему нравилось, хотя оно было бледнее и печальнее, чем за минуту до этого. Казалось, он вздохнул с облегчением.

— Вам известна наша история, — продолжала она, — история обоих моих братьев, связанная с этим злополучным несчастным джентльменом, о котором вы говорили с такою преданностью. Вам известно, какие небольшие у нас потребности — у Джона и у меня — и как мало нам нужно денег после того, как мы в течение многих лет вели такой образ жизни; а теперь благодаря вашей доброте он зарабатывает достаточно для нас двоих. Вы догадываетесь, о какой услуге я пришла вас просить?

— Вряд ли. Минуту назад я как будто догадывался. Теперь мне кажется, что я ошибся.

— О моем умершем брате я не скажу ни слова. Если бы мертвые знали, что мы делаем... Но вы меня понимаете. О брате, оставшемся в живых, я могла бы сказать много. Но нужно ли добавлять

что-нибудь к тому, что он хочет исполнить свой долг, — потому-то я и пришла к вам за помощью, без которой мы не можем обойтись, — и он не успокоится, пока этот долг не будет исполнен?

Она подняла глаза, и ее сиявшее радостью лицо показалось прекрасным тому, кто следил за ней пристальным взором.

— Дорогой сэръ, — продолжала она, — это должно быть сделано осторожно и тайно. Вы с вашим опытом и знанием укажете надлежащий способ. Мистера Домби, быть может, удастся уверить, что, несмотря на банкротство, какие-то суммы уцелели, или что те, с кем он вел крупные дела, добровольно уплачивают дань его честности и благородству, или что это какой-то старый долг, до сей поры не уплаченный. Существует, должно быть, много различных способов. Я уверена, что вы выберете наилучший. Я пришла просить вас об этой услуге, которую, я надеюсь, вы окажете нам со свойственными вам добротой, великодушием и рассудительностью. Я прошу вас никогда не говорить об этом с Джоном: исполняя свой долг, он счастлив главным образом тем, что совершает это в тайне, ни от кого не слыша похвал. Я прошу вас, чтобы нам была оставлена лишь незначительная часть наследства, а с остального капитала мистер Домби должен пожизненно получать проценты. Я прошу также строго хранить нашу тайну; впрочем, я уверена, что вы ее сохраните. И с этого дня даже мы с вами редко будем упоминать о ней; пусть она запечатлется в моей памяти лишь как новый повод быть благодарной небу и гордиться моим братом.

Таким восторгом могут сиять лица ангелов, когда вместе с девяноста девятью праведниками вступает в рай один раскаявшийся грешник. Радостные слезы, застилавшие ей глаза, не омрачили и не затуманили этого сияния — оно стало еще ярче.

— Дорогая моя Хэриет, — помолчав, сказал мистер Морфин, — к этому я не был подготовлен. Следует ли понимать вас так, что на это доброе дело должна пойти ваша доля наследства, равно как и доля Джона?

— О да! — ответила она. — Ведь мы столько времени делились всем без изъятия, у нас были одни и те же заботы, надежды и упования, так могу ли я допустить, чтобы меня отстранили от участия в этом деле? Разве я не вправе остаться до самого конца товарищем и помощником брата?

— Избили бог, чтобы я стал это оспаривать! — ответил он.

— Значит, мы можем рассчитывать на вашу дружескую услугу? — спросила она. — Я уверена, что можем!

— Я был бы более дурным человеком, чем... чем осмеливаюсь себя считать, или чем хотел бы себя считать, если бы не мог искренне, от всей души уверить вас в этом. Да, вы можете всецело на меня рассчитывать. Клянусь честью, я сохраню вашу тайну! И если обнаружится, что мои опасения правильны и мистер Домби, действуя согласно своему решению, от которого, по-видимому, нельзя заставить его отказаться, будет доведен до нищеты, я помогу вам привести в исполнение план, задуманный вами и Джоном.

Она протянула ему руку и радостно, от всего сердца поблагодарила его.

— Хэриет, — сказал он, удерживая ее руку в своей, — бесцельно и самонадеянно было бы говорить о жертвах, какие вы приносите, — тем более о жертве, ограничивающейся только деньгами. Не менее нелепо — я это чувствую — обращаться к вам с просьбой еще раз обдумать ваше решение или несколько ограничить его. Я не имею никакого права мешать достойному завершению этой величественной истории каким бы то ни было вмешательством моей собственной слабой особы. Но у меня есть все права склонить голову перед тем, что вы мне доверили, и радоваться тому, что это исходит из более возвышенного и чистого источника, чем моя жалкая житейская мудрость. Скажу вам только одно: я — ваш верный слуга, и больше всего на свете я хочу быть вашим слугой и близким другом, раз уж вами самою я стать не могу.

Она снова поблагодарила его от всей души и попрощалась с ним.

— Вы идете домой? — спросил он. — Позвольте мне проводить вас.

— Нет, не сегодня. Сейчас я не иду домой; сначала я должна одна навестить кое-кого. Завтра вы придете?

— Да, да! — сказал он. — Завтра я приду. — Тем временем я подумаю о том, как надлежит нам действовать. Быть может, и вы, дорогая Хэриет, об этом подумаете и... и... подумайте немножко и обо мне в связи с этим.

Он проводил ее до кареты, которая ждала у подъезда, и не будь его квартирная хозяйка глуха,

она бы услышала, как он бормотал, когда карета отъехала, а он поднимался по лестнице, что все мы рабы привычки и что это прискорбная привычка — оставаться старым холостяком.

Виолончель лежала на диване, подле которого стояли два стула, он взял ее, оставив на прежнем месте освободивший стул, и долго-долго играл, глядя на незанятый стул и медленно покачивая головой. Сначала звуки, извлекаемые из инструмента были удивительно патетическими и нежными, но они не выдерживали никакого сравнения с выражением его лица, когда он смотрел на незанятый стул: выражение это свидетельствовало о таком искреннем чувстве, что мистеру Морфину не раз пришлось прибегнуть к средству капитана Катля и тереть лицо рукавом. Но постепенно виолончель, в унисон с его душевным состоянием, перешла к мелодии «Гармонического кузнеца»¹²⁴, которую он повторял снова и снова, пока его румяная и безмятежная физиономия не засияла, как металл на наковальне доподлинного кузнеца. Короче говоря, виолончель и незанятый стул были спутниками его холостой жизни чуть ли не до полуночи; а когда он уселся за ужин, виолончель, поместившись в углу дивана и затаив в себе гармонии целого скопища гармонических кузнецов, казалось, таращила с глубоким пониманием свои косые глаза на незанятый стул.

Когда Хэриет села в наемную карету, кучер, отправляясь в путь, очевидно, хорошо ему знакомый, пересек эту часть предместья, выбирая дороги побезлюднее, и, наконец, выехал на открытое место, где было разбросано несколько скромных старых домиков, окруженных садами. У одной из калиток карета остановилась, и Хэриет вышла.

В ответ на ее тихий звонок появилась женщина с унылой бледной физиономией, со склоненной набок головой и с поднятыми бровями. Увидев Хэриет, она присела и повела ее через сад к дому.

— Ну, как себя чувствует сегодня ваша больная? — спросила Хэриет.

— Боюсь, что плохо, мисс. О, как она мне напоминает иной раз дочь моего дяди, Бетси Джейн! — с каким-то горестным восторгом воскликнула женщина с бледным лицом.

— В каком отношении? — спросила Хэриет.

— Во всех отношениях, мисс, — ответила та. — Разница только в том, что это взрослая женщина, а Бетси Джейн была ребенком, когда стояла на краю могилы.

— Но вы мне говорили, что она выздоровела, — кротко возразила Хэриет. — Тем больше, стало быть, оснований надеяться, миссис Уикем.

— Ах, мисс, надежда прекрасная вещь для тех, у кого хватает жизнерадостности питать ее! — сказала миссис Уикем, покачивая головой. — Моей жизнерадостности не хватает, но я на это не ропщу. Завидую тем, кому доступно такое счастье!

— Вы бы постарались быть бодрее, — заметила Хэриет.

— Очень вам признательна, мисс, — мрачно сказала миссис Уикем. — Будь я предрасположена к бодрости, одиночество, неизбежное в моем положении — простите, что говорю так откровенно, — лишило бы меня этого качества ровно через сутки. Но я к ней отнюдь не предрасположена. И не сокрушаюсь об этом. Ту жизнерадостность, какая была у меня, я потеряла несколько лет назад в Брайтоне, и, кажется, от этого мне стало только лучше.

В самом деле, это была та самая миссис Уикем, которая, заменив миссис Ричардс, стала няней маленького Поля и почитала себя в выигрыше от упомянутой потери, происшедшей под кровом любезной Пипчин. Благодаря превосходной и глубоко продуманной старинной системе, освященной давним обычаем, по которому на должность наставников юношества, проповедников морали, надзирательниц, менторов, больничных сиделок назначают людей самых скучных и неприятных, каких только можно отыскать, — миссис Уикем получила прекрасное место сиделки, и ее солидные добродетели были горячо рекомендованы восхищенной и многочисленной клиентурой.

Миссис Уикем с поднятыми бровями и склоненной набок головой, держа свечу в руках, поднялась наверх, в чистую, опрятную комнату, смежную с другой, тускло освещенной комнатой, где стояла кровать. В первой комнате у открытого окна сидела старуха, тупо глядя в темноту. Во второй лежала простертая на кровати тень той, которая когда-то в зимний вечер шла по дороге, невзирая на ветер и дождь; теперь ее можно было узнать только по длинным черным волосам, черноту которых

¹²⁴ «Гармонический кузнец (или «Гармоническая наковальня») — название части одной из сюит Г. Генделя (1685—1759).

оттеняло бескровное лицо и белизна белья.

О, эти глаза, полные жизни, и бессильная плоть! Глаза, так нетерпеливо обратившиеся к двери, так ярко вспыхнувшие при виде входящей Хэриет! И ослабевшая голова, которая не могла приподняться и так медленно повернулась на подушке.

— Элис! — ласково сказала посетительница. — Я не опоздала сегодня?

— Мне всегда кажется, что вы опаздываете, хотя вы всегда приходите рано.

Хэриет присела у кровати и взяла исхудавшую руку в свою.

— Вам лучше?

Миссис Уикем, стоя, как безутешный призрак, в ногах постели, весьма решительно и энергически покачала головой, отрицая подобное предположение.

— Не все ль равно! — слабо улыбнувшись, ответила Элис. — Лучше мне сегодня или хуже — речь идет о нескольких днях. Может быть, и того меньше.

Миссис Уикем, оправдывая свою репутацию серьезной особы, выразила одобрение протяжным вздохом; похлопав холодной рукой по одеялу, словно желая ощупать ноги больной и убедиться, что они околели, она принялась переставлять на столе склянки с лекарствами с таким видом, будто хотела сказать: «Пока мы еще здесь, будем по-прежнему принимать микстуру».

— Да, — шепотом сказала Элис своей гостье, — пороки и угрызения совести, скитания, нужда и непогода, бури во мне и вокруг меня сократили мою жизнь. Мне долго не протянуть.

С этими словами она взяла руку Хэриет и прижалась к ней лицом.

— Иногда я лежу здесь и думаю: хорошо бы пожить еще немножко, чтобы у меня было время показать, как я вам благодарна! Но это слабость, и она скоро проходит. Пусть будет так, как есть! Это лучше для вас. Это лучше для меня!

Совсем иначе держала она эту руку в тот холодный, зимний вечер у камина! Гнев, ярость, негодование, безрассудство! И вот каков конец!

Миссис Уикем, вволю позвеневав склянками, подала микстуру. Миссис Уикем зорко смотрела на свою больную, пока та пила, плотно сжала губы, сдвинула брови и покачала головой, как бы давая понять, что даже под угрозой пытки не скажет вслух, сколь безнадежен этот случай. Затем миссис Уикем побрызгала в комнате какою-то освежающей жидкостью, словно могильщик, посыпаящий золу золой и прах прахом, — ибо она была особо серьезной, — и удалилась, чтобы угоститься внизу жареным мясом по случаю каких-то поминок.

— Сколько времени прошло с тех пор, как я прибежала к вам и рассказала, что я сделала, — спросила Элис, — а вас уверили, что уже поздно посылать кого-нибудь вслед?

— Прошло больше года, — сказала Хэриет.

— Больше года, — повторила Элис, задумчиво всматриваясь в ее лицо. — И уже много месяцев тому назад вы привезли меня сюда.

Хэриет отозвалась: «Да».

— Привезли меня сюда — по вашей кротости и вашей доброте! Меня! — воскликнула Элис, съежившись и закрыв лицо руками. — И благодаря вашему участию, вашим речам и ангельским поступкам я стала человеком!

Хэриет, наклонившись к ней, утешала ее и успокаивала. Наконец Элис, все еще прикрывая лицо руками, попросила, чтобы она позвала ее мать.

Хэриет окликнула старуху несколько раз, но та, сидя у открытого окна, так пристально всматривалась в темноту, что ничего не слышала. Лишь после того как Хэриет подошла и тихонько коснулась ее рукой, она поднялась и вошла в комнату дочери.

— Матушка, — сказала Элис, снова взяв за руку свою гостью и с любовью смотря на нее сияющими глазами, тогда как старуху она только поманила пальцем, — матушка, расскажите ей все, что вы знаете.

— Сегодня, милочка?

— Да, матушка, — тихим, торжественным голосом произнесла Элис, — сегодня!

Старуха, у которой как будто в голове помутилось от тревоги, раскаяния или горя, крадучись приблизилась к кровати со стороны, противоположной той, где сидела Хэриет, опустилась на колени, чтобы морщинистое ее лицо было на одном уровне с одеялом, и, протянув руку, чтобы коснуться руки дочери, начала:

— Моя красавица дочка...

Она запнулась и посмотрела на жалкое существо, лежавшее в постели, — и, боже, какой крик вырвался у нее в это мгновение!

— Она давным-давно изменилась, матушка! Давным-давно увяла, — не глядя на нее, сказала Элис. — Теперь не стоит горевать об этом.

— ...Моя дочь, — запинаясь, продолжала старуха, — моя дочка, которая скоро поправится и посрамит их всех своею красотой!

Элис грустно улыбнулась Хэриет, ласково притянула к себе ее руку, но не проронила ни слова.

— Которая, говорю я, скоро поправится, — повторила старуха, потрясая сморщенным кулаком, — и посрамит их всех своею красотой! Да! Так оно и будет! — Казалось, она вступила в страстный спор с каким-то невидимым противником, находившимся у кровати. — Моя дочь была отвергнута и покинута, но если бы она захотела, она могла бы похвалиться своим родством с гордецами. Да! С гордецами! Это родство не имеет никакого отношения к вашим священникам и обручальным кольцам — они могут на это ссылаться, но порвать связь они не в силах, и у моей дочери хорошее родство. Покажите мне миссис Домби, а я вам покажу мою Элис, ее двоюродную сестру!

Хэриет отвела взгляд от старухи, заглянула в сияющие глаза, не отрывавшиеся от ее лица, и прочла в них подтверждение.

— Да! — вскричала старуха, вскинув трясущуюся голову и одержимая каким-то страшным тщеславием. — Хотя я теперь стара и уродлива — состарили меня не столько годы, сколько тяжелая жизнь, — но когда-то и я была молодой. Да, и хорошенькой, не хуже многих. Когда-то я была свеженькой деревенской девушкой, и миловидной, дорогая моя, — добавила она, стараясь через кровать дотянуться рукою до Хэриет. — Там, в моей деревне, отец миссис Домби и его брат были самыми веселыми джентльменами, самыми желанными гостями, когда наезжали к нам из Лондона... оба давно уже умерли! Господи боже мой, как давно это было! Один из двух братьев, отец моей Эли, умер первым.

Она приподняла голову и заглянула в лицо Элис: вспомнив о своей молодости, она, казалось, воскресила в памяти молодость своей дочери. Потом она вдруг уткнулась лицом в одеяло и обхватила голову руками.

— Они были похожи друг на друга, как только могут быть похожи два брата, почти сверстники, — продолжала старуха, не поднимая головы. — Насколько я припоминаю, разница в возрасте была не больше года. И если бы вы видели мою дочку так, как я видела ее однажды, рядом с дочерью того, другого, вы бы заметили, что, несмотря на разницу в одежде, они похожи друг на друга. О, неужели сходство исчезло, и моей дочке — только моей дочке — суждено так измениться?!

— Все мы изменимся в свое время, матушка, — вставила Элис.

— В свое время! — вскричала старуха. — Но почему это время настало для моей дочки, а не для нее? Ее мать, конечно, изменилась — она состарилась так же, как и я, и казалась такою же морщинистой, несмотря на румяна, но та осталась красивой. Что же такое сделала я, в чем я провинилась больше, чем она, и почему только моя дочка лежит здесь и угасает?

Снова испутив дикий вопль, она выбежала в ту комнату, из которой пришла, но тут же вернулась и, подкравшись к Хэриет, продолжала:

— Вот о чем Элис просила рассказать вам, милочка. Я все сказала. Как-то летом в Уорикшире я об этом узнала, когда начала собирать о той всякие сведения. В ту пору мне нечего было ждать от таких родственников. Они бы меня не признали и ничего бы мне не дали. Пожалуй, спустя некоторое время я бы и попросила у них маленькую сумму денег, если бы не моя Элис. Мне кажется, она могла бы меня убить, если бы я это сделала. Она была по-своему такой же гордой, как и та — другая, — сказала старуха, боязливо прикоснувшись к лицу дочери и быстро отдернув руку, — хотя сейчас она лежит так спокойно. Но она еще посрамит их своею красою! Ха-ха! Она их посрамит, моя красавица дочка!

Ее смех, когда она выходила из комнаты, был страшнее, чем плач; страшнее, чем взрыв безумных причитаний, которым он закончился; страшнее, чем тот растерянный вид, с каким она уселась на прежнее место и стала смотреть в темноту.

Все это время Элис не спускала глаз с Хэриет и держала ее за руку. Потом она сказала:

— Лежа здесь, я почувствовала, что мне было бы легче, если бы вы об этом узнали. Мне каза-

лось, это объяснит вам, что способствовало моему ожесточению. В пору моей преступной жизни я наслушалась о долге, мною не выполненном, и тогда я пришла к убеждению, что прежде всего долг не был выполнен по отношению ко мне и, стало быть, что посеешь, то и пожнешь. Я узнала, что если у знатных леди бывают плохие матери и безрадостный домашний очаг, то они тоже по-своему сбиваются с пути, но их путь не бывает таким дурным, каким был мой, и за это они должны благодарить бога. Все это прошло. Теперь это похоже на сон, который я плохо помню и не совсем понимаю. С каждым днем это все больше и больше походило на сон — с тех пор, как вы стали приходить сюда и читать мне. Я вам рассказываю то, что могу припомнить. Не почитаете ли вы мне еще немного?

Хэриет освободила руку, чтобы открыть книгу, но Элис удержала ее на мгновение.

— Вы не оставите моей матери? Я ей прощаю, если есть за что ее прощать. Я знаю, что она меня простила и в глубине души оплакивает меня. Вы ее не оставите?

— Я никогда не оставлю ее, Элис!

— Еще минутку, дорогая. Приподымите мне голову так, чтобы, когда вы будете читать, я могла угадывать слова по вашему милому лицу.

Хэриет исполнила просьбу и начала читать; она читала книгу, вечную для всех усталых и обремененных, для всех несчастных, падших и обиженных на земле; она читала священную повесть, в которой слепые, хромые, разбитые параличом, преступники, женщины, запятнавшие себя позором, — все отверженные получают свою долю, и до конца веков ее не могут отнять у них человеческая гордыня, равнодушие или хитроумные рассуждения, не могут ее уменьшить хотя бы на одну тысячную атома. Она читала о служении того, кто, пройдя весь круг человеческой жизни со всеми ее надеждами и скорбями, от колыбели до могилы, от младенчества до зрелого возраста, относился с глубоким состраданием и участием ко всем ее событиям, ко всем ее страданиям и печалям.

— Завтра я приду рано утром, — сказала Хэриет, закрыв книгу.

Сияющие глаза, не отрывавшиеся от ее лица, на мгновение сомкнулись, потом снова открылись; Элис поцеловала и благословила ее.

Эти глаза проводили ее до двери; в их сиянии и на спокойном лице больной была улыбка, когда дверь закрылась.

Глаза не отрывались от двери. Она положила руку на грудь, прошептала священное имя того, о ком ей читали, и жизнь угасла на ее лице, как будто погасили свечу.

И теперь здесь лежала только смертная оболочка, которую хлестал когда-то дождь, и черные волосы, когда-то развевавшиеся на зимнем ветру.

Глава LIX

Возмездие

Снова перемены в величественном доме на длинной, скучной улице, где протекли детство и одинокая юность Флоренс. Дом остается по-прежнему величественным, не боится ветра и непогоды, крыша не протекает, ставни не расшатаны, стены не обрушились. Но тем не менее дом стал развалиной, и крысы убегают из него.

Мистер Таулинсон и прочие слуги сначала относятся недоверчиво к туманным слухам. Кухарка говорит: «Слава богу, кредит нашего хозяина не очень-то легко подорвать»; а мистер Таулинсон не удивился бы, если бы ему сказали, что Английскому банку грозит крах или драгоценности, хранящиеся в Тауэре, будут проданы. Но затем является «Газета»¹²⁵ и с нею мистер Перч; мистер Перч привел с собою миссис Перч, чтобы потолковать об этом в кухне и провести приятный вечерок.

Когда больше уже не остается никаких сомнений, мистер Таулинсон беспокоится главным образом о том, чтобы банкротство было солидным — не меньше ста тысяч фунтов! Мистер Перч сомневается, хватит ли ста тысяч фунтов на покрытие долгов. Женщины во главе с миссис Перч и кухаркой несколько раз повторяют: «Сто ты-сяч фун-тов!» с величайшим удовлетворением, как будто произносить эти слова — то же, что держать в руках деньги; а горничная, которая неравнодушна к

¹²⁵ «Газета» — официальный орган английского правительства; в «Газете» печатаются все правительственные распоряжения, назначения правительственных чиновников, сообщения о банкротствах и т.д.

мистеру Таулинсону, хотела бы иметь хоть сотую часть этой суммы, чтобы поднести ее своему избраннику. Мистер Таулинсон, памятуя о старой обиде, высказывает предположение, что иностранец вряд ли знал бы, что ему делать с такими деньгами, разве что потратил бы их на свои бакенбарды; такой ядовитый сарказм заставляет горничную расплакаться и уйти.

Но отсутствует она недолго, ибо кухарка, которая слывет особой чрезвычайно добросердечной, говорит, что как бы там ни было, но теперь они должны поддерживать друг друга, потому что, быть может, им придется скоро расстаться. В этом доме (говорит кухарка) они пережили похороны, свадьбу и побег, и пусть никто не скажет про них, будто в такое время, как теперь, они не могут жить в ладу. Миссис Перч очень растрогана этой умильной речью и во всеуслышание называет кухарку ангелом. Мистер Таулинсон отвечает кухарке: он отнюдь не желает препятствовать этим добрым чувствам, которые может только приветствовать. Затем он идет разыскивать горничную и, вернувшись под руку с этой молодой леди, объявляет собравшимся в кухне, что об иностранцах он говорил в шутку, и что он вместе с Энн решили отныне делить радость и невзгоды и открыть на Оксфордском рынке зеленую лавку, где будут продаваться также лечебные травы и пиявки, для какового начинания он просит благосклонной поддержки присутствующих. Это заявление встречено радостными возгласами, и миссис Перч, прозревая грядущее, торжественно шепчет на ухо кухарке: «Девочки!»

Здесь, в подвальном этаже, всякое бедствие в доме неизменно сопровождается пиршеством. Поэтому кухарка готовит на скорую руку одно-два горячих блюда к ужину, а мистер Таулинсон заправляет салат из омаров, посвящая его все тому же священному гостеприимству. Даже миссис Пипчин, взволнованная происшествием, звонит в колокольчик и отдает распоряжение на кухню, чтобы ей разогрели к ужину оставшийся от обеда кусочек сладкого мяса и подали на подносе вместе со стаканчиком горячего хереса, так как она неважно себя чувствует.

Речь заходит и о мистере Домби, но о нем говорят очень мало. Рассуждают преимущественно о том, давно ли ему было известно, что это должно случиться. Кухарка говорит с проницательным видом: «О, боже мой, конечно, давно! Можете поклясться, что давно». А когда обращаются к мистеру Перчу, тот подтверждает ее предположение. Кто-то задает вопрос, каково же будет теперь мистеру Домби и удастся ли ему как-нибудь выпутаться. Мистер Таулинсон этого не думает и замечает, что можно найти пристанище в одной из лучших богаделен для благородных. «Ах! Там, знаете ли, у него будет свой собственный садик, — жалобно говорит кухарка, — и весной он может выращивать сладкий горошек». — «Совершенно верно, — говорит мистер Таулинсон, — и вступит в члены какого-нибудь братства». — «Все мы братья», — говорит миссис Перч, оторвавшись от стакана. «За исключением сестер», — говорит мистер Перч. «Таково падение великих людей!» — замечает кухарка. «Гордыня всегда приводит к падению. Всегда так было и будет», — добавляет горничная.

Удивительно, какими добродетельными почитают они самих себя, когда делают эти замечания; и какое христианское единодушие они выказывают, безропотно перенося обрушившийся удар. Такое превосходное расположение духа нарушается только один раз по вине особы, занимающей весьма низкое положение, — молоденькой судомойки в черных чулках, которая долго сидит, разинув рот, и вдруг изрекает: «А что, если не заплатят жалованья?» На мгновение все лишаются дара речи; кухарка первая приходит в себя, поворачивается к молодой женщине и выражает пожелание узнать, как осмеливается та оскорблять такими бесчестными подозрениями семью, чей хлеб она ест, и неужели она думает, что человек, у которого осталась хоть крупица совести, может лишить бедных слуг их жалкого жалования? «Если у вас такие религиозные убеждения, Мэри Даус, — с жаром говорит кухарка, — я, право, не знаю, до чего вы дойдете!»

И мистер Таулинсон этого не знает, и никто этого не знает. А молоденькая судомойка, которая как будто и сама хорошенько этого не знает, окутана смущением, словно покрывалом.

Спустя несколько дней начинают появляться какие-то чужие люди и назначать друг другу свидания в столовой, словно они живут в этом доме. Особого внимания заслуживает джентльмен с иудейско-арабским обликом и очень массивной цепочкой от часов, который посвистывает в гостиной и, поджидая другого джентльмена, всегда носящего в кармане перо и чернильницу, спрашивает мистера Таулинсона (непринужденно именуя его «приятелем»), не знает ли он случайно, сколько уплачено было за эти малиновые с золотом занавески. С каждым днем все чаще появляются эти гости, и все чаще назначаются деловые свидания в гостиной, и чудится, будто у каждого джентльмена имеются в кармане перо и чернила и каждому представляется случай воспользоваться ими. Наконец

распространяется слух, будто аукцион уже назначен; появляются еще какие-то люди, с пером и чернильницей в кармане, командующие отрядом рабочих в кепи, которые немедленно принимаются снимать ковры, двигают мебель и оставляют в холле и на лестнице бесчисленные следы башмаков.

Компания в подвальном этаже заседает в полном составе и устраивает настоящие пиры, так как делать ей нечего. Наконец всех слуг призывают в комнату миссис Пипчин, и прекрасная перуанка обращается к ним с такими словами:

— Ваш хозяин находится в затруднительном положении, — резко говорит миссис Пипчин. — Полагаю, вам это известно?

Мистер Таулинсон, выступая от лица всех, признает, что это обстоятельство им известно.

— И я не сомневаюсь, все вы уже подыскиваете себе местечко, — говорит миссис Пипчин, качая головой. Пронзительный голос восклицает в заднем ряду:

— Не больше, чем вы!

— Вы так думаете, бесстыдница? — говорит разгневанная Пипчин, глядя огненным взором поверх голов в передних рядах.

— Да, миссис Пипчин, я так думаю, — отвечает кухарка, выступая вперед. — Ну, а дальше что?

— А дальше то, что вы можете убираться, куда угодно, — говорит миссис Пипчин. — Чем скорее, тем лучше! И я надеюсь, что больше никогда не увижу вашей физиономии.

С этими словами доблестная Пипчин достает холщовый мешок, отсчитывает ее жалование по сегодняшней день, а также за месяц вперед и крепко сжимает в руке деньги, пока расписка в получении не написана по всем правилам, после чего неохотно разжимает руку. Эту операцию миссис Пипчин проделывает с каждым из слуг, пока не расплачивается со всеми.

— А теперь кто хочет уйти, пусть уходит, — говорит миссис Пипчин, — а кто хочет остаться, пусть останется еще на недельку на прежних условиях и исполняет свои обязанности. Но эта дрянь, кухарка, — говорит, воспламенившись, миссис Пипчин, — пусть убирается немедленно.

— Она непременно так и сделает! — говорит кухарка. — Желаю вам всего хорошего, миссис Пипчин, и искренне сожалею о том, что не могу назвать ваш вид привлекательным.

— Убирайтесь вон! — говорит миссис Пипчин, топая ногой.

Кухарка выплывает из комнаты благодушно и с достоинством, что приводит в крайнее раздражение миссис Пипчин, и вскоре к ней присоединяются внизу остальные члены конфедерации.

Мистер Таулинсон полагает, что прежде всего надлежит немножко закусить, а за этой закуской ему хотелось бы сделать одно предложение, которое он считает весьма уместным при создавшихся обстоятельствах. Когда угощение подано, за него принимаются с большой охотой, и мистер Таулинсон, излагая свое предложение, говорит, что кухарка уходит, а если мы не будем верны друг другу, то и нам никто не будет верен. Мы ведь долго жили в этом доме и всегда старались сохранять дружеские отношения. (Тут кухарка с волнением восклицает: «Слушайте, слушайте!»), а миссис Перч, которая снова здесь присутствует и сыта по горло, проливает слезы.) И в настоящее время он считает, что надлежит поступить так: уходит один — уходят все! Горничная глубоко растрогана этими благородными словами и горячо поддерживает предложение. Кухарка одобряет такое решение, но выражает надежду, что это делается не в угоду ей, а из чувства долга. Мистер Таулинсон подтверждает — да, из чувства долга; и теперь, раз уж его принудили высказать свое мнение, он говорит напрямик, что почитает не совсем приличным оставаться в доме, где предстоит продажа с торгов и всякое такое. Горничная не сомневается в этом и в подтверждение своих слов рассказывает, как сегодня утром незнакомый человек в кепи хотел поцеловать ее на лестнице. Тут мистер Таулинсон срывается со стула с намерением отыскать и «прихлопнуть» обидчика, но дамы удерживают его и умоляют успокоиться и рассудить, что гораздо легче и благоразумнее будет немедленно покинуть дом, где происходят такие непристойные вещи. Миссис Перч, осветив вопрос с другой стороны, утверждает даже, что деликатность по отношению к мистеру Домби, сидящему взаперти в своих комнатах, настоятельно требует отбыть немедленно. «Что должен он почувствовать, — говорит эта добрая женщина, — если вдруг встретит кого-нибудь из бедных слуг, которых он обманул: мы-то ведь считали его ужасно богатым!» Кухарка столь поражена этим высоконравственным соображением, что миссис Перч считает нужным подкрепить его многочисленными благочестивыми аксиомами, как оригинальными, так и позаимствованными. Становится совершенно ясно, что уйти должны все. Сундуки уложены, кэбы наняты, и вечером того же дня никого из членов этой компании уже нет в доме.

Дом стоит на длинной скучной улице и не боится непогоды; но он стал развалиной, и крысы убегают из него.

Люди в кепи продолжают передвигать мебель, а джентльмены с перьями и чернильницами составляют опись имущества, присаживаются на такие предметы обстановки, на которых никогда не полагалось сидеть, раскладывают бутерброды с сыром, принесенные из трактира, на таких предметах, которые никогда для этого не предназначались, и как будто испытывают удовольствие, заставляя драгоценные вещи служить странным целям. Мебель расставлена в хаотическом беспорядке. Матрацы и постельное белье появляются в столовой; стеклянная и фарфоровая посуда проникает в оранжерею; парадный обеденный сервиз разложен на длинном диване в большой гостиной; металлические прутья, прикреплявшие ковры на лестнице, связаны в пучки и декорируют мраморные камины. И, наконец, с балкона вывешивается коврик с приклеенным к нему печатным объявлением, и такие же украшения висят по обе стороны парадной двери.

Затем в течение целого дня по улице тянется вереница старомодных двуколок и карет — и толпы оборванных вампиров, евреев и христиан, наводняют дом, постукивают пальцами по зеркалам, берут нестройные аккорды на рояле, проводят мокрым указательным пальцем по картинам, дышат на лезвия лучших столовых ножей, бьют грязными кулаками по подушкам кресел и диванов, тормозят пуховики, открывают и закрывают все ящики, взвешивают на ладони серебряные ложки и вилки, разглядывают каждую ниточку драпировок и белья и хулят все. В доме нет ни одного недоступного для них уголка. Небритые субъекты, пожелтевшие от нюхательного табака, рассматривают кухонную плиту с не меньшим любопытством, чем стенные шкафы в мансарде. Здоровенные парни в потертых шляпах выглядывают из окон спальни и перебрасываются шутками с приятелями на улице. Спокойные, расчетливые люди удаляются с каталогами в гостиные и огрызками карандаша делают пометки на полях. Два маклера атакуют даже пожарную лестницу и с крыши дома обозревают окрестности. Суэта и шум не прекращаются несколько дней. Отличная модная мебель и прочие предметы домашнего обихода выставлены для осмотра.

Затем в самой роскошной гостиной выстраиваются столы, и на великолепных столах испанского красного дерева, крытых французским лаком, посреди бесконечного пространства столов с изогнутыми ножками водружается пюпитр аукционера. И толпы оборванных вампиров, евреев и христиан, незнакомцев, небритых и пожелтевших от нюхательного табака, и здоровенных парней в потертых шляпах собираются вокруг, усаживаются на что попало, вплоть до каминных полок, и начинают набавлять цену. В течение целого дня в комнатах жарко, шумно и пыльно, а над этой пылью, жарой и шумом не прекращают работы голова, плечи, голос и молоточек аукционера. Люди в кепи устали и раздражены возней с вещами, а вещи — сколько их ни выносят — все прибывают и прибывают. Иногда слышатся шутка и общий хохот. Так продолжается с утра до вечера на протяжении четырех дней. Отличная модная мебель и прочие предметы домашнего обихода продаются с молотка.

Затем снова подъезжают старомодные двуколки и кареты, а вместе с ними появляются рессорные фургоны и подводы и армия носильщиков с веревками. С утра до вечера люди в кепи возятся с отвертками и блоками, гурьбой спускаются с лестницы, шатаясь под тяжестью ноши, грузят целые горы испанского красного дерева, лучшего розового дерева и зеркальных стекол в двуколки, кареты, фургоны и подводы. Все перевозочные средства налицо — от крытого фургона до тачки. Кроватька бедного Поля уезжает на тележке, запряженной ослом. Чуть ли не целую неделю вывозят отличную модную мебель и прочие предметы домашнего обихода.

Наконец все вывезено. Ничего не осталось в доме, кроме разбросанных листов каталога, клочков соломы и сена и целой батареи оловянных кружек за парадной дверью. Люди в ковровых кепи складывают свои отвертки и клещи в мешки, взваливают мешки на спину и уходят. Один из джентльменов, вооруженных пером и чернильницей, осматривает весь дом, в последний раз оказывая ему внимание, наклеивает на окна билетки, возвещающие о сдаче внаем прекрасного особняка, и закрывает ставни. Наконец и он уходит. Не остается никого из непрошенных гостей. Дом стал развалиной, и крысы убегают из него.

Апартаменты миссис Пипчин, а также те запертые на ключ комнаты в нижнем этаже, где спущены жалюзи, избегли опустошения. Пока длилась эта процедура, миссис Пипчин, суровая и неприступная, оставалась у себя в комнате, по временам появлялась на аукционе, чтобы узнать, сколько

дают за вещи, а один раз — чтобы предложить цену за намеченное ею кресло. Миссис Пипчин предложила наивысшую цену за это кресло, и она восседает на своей собственности, когда миссис Чик приходит навестить ее.

— Как себя чувствует мой брат, миссис Пипчин? — спрашивает миссис Чик.

— Об этом мне известно не больше, чем черту, — говорит миссис Пипчин. — Он ни разу не снизошел до разговора со мной. Еду и питье приносят в комнату, смежную с его помещением, а он выходит и уносит кушанья к себе, когда никого там нет. Какой толк меня расспрашивать?! Я о нем знаю не больше, чем человек в жарких странах, который обжег себе рот холодной кашей с изюмом.

— Боже мой! — кротко восклицает миссис Чик. — Когда же этому конец? Миссис Пипчин, если мой брат не сделает усилия, что же с ним будет? Право же, я полагала, что теперь он знает, каковы бывают последствия, если человек не делает усилия! Теперь-то он не должен совершить этой роковой ошибки.

— Какой вздор! — говорит миссис Пипчин, потирая нос. — По моему мнению, слишком много шуму поднимают из-за этого. Вовсе это не такой замечательный случай! Людям и раньше случалось попадать в беду и поневоле расставаться со своей мебелью. Мне это, во всяком случае, выпало на долю!

— Мой брат, — глубокомысленно продолжает миссис Чик, — такой удивительный... такой странный человек. Это самый удивительный человек из всех, кого я знаю. Ну, кто поверит, что, узнав о замужестве и отъезде из Англии этой бессердечной дочери — сейчас мне утешительно вспомнить о том, что я всегда замечала что-то странное в этом ребенке, но к моим словам никогда не прислушиваются, — кто поверит, говорю я, что он вдруг обрушился на меня! Судя по моему тону, — заявил он, — есть основания предполагать, будто она поселилась у меня!! Ах, боже мой! И кто поверит, что, когда я сказала ему: «Поль, быть может, я очень глупа, и несомненно это так и есть, но я не могу понять, каким образом ваши дела пришли в такое расстройство?» — он буквально набросился на меня и запретил навещать его до тех пор, пока он сам меня не позовет. Ах, боже мой!

— Да! — говорит миссис Пипчин. — Жаль, что ему не приходилось иметь дело с копиями. Они бы испытали его терпение.

— И чем же это все кончится? — продолжает миссис Чик, никакого внимания не обращая на замечание миссис Пипчин. — Вот что хотелось бы мне знать! Что намерен делать мой брат? Он должен что-то сделать. Не имеет никакого смысла сидеть взаперти у себя в комнате. Дело-то к нему не придет. Да. Он должен сам пойти. В таком случае, почему же он не идет? Полагаю, он знает, куда идти, раз он всю жизнь был дельцом. Прекрасно. В таком случае, почему же не пойти туда?

Миссис Чик, выковав эту цепь неопровержимых доводов, на минутку умолкает, чтобы полюбоваться ею.

— К тому же, — рассудительно продолжает эта благоразумная леди, — слыхивал ли кто-нибудь о таком упрямстве, об этом сидении взаперти, когда происходят все эти ужасные и неприятные события? Можно подумать, что ему некуда уйти. Конечно, он мог бы переехать к нам. Полагаю, ему известно, что у нас он может чувствовать себя как дома? Мистер Чик совсем удручен этим, и я сама сказала брату: «Поль, неужели вы думаете, что теперь, когда ваши дела пришли в расстройство, вы не будете чувствовать себя как дома, живя у нас, у своих близких родственников? Неужели вы думаете, будто мы похожи на всех других светских людей?» Нет, он не трогается с места, не выходит отсюда. Боже мой, дом могут сдать внаем! Что он будет делать тогда? Ведь он уже не сможет остаться здесь. Если бы он попытался остаться, началось бы дело об изъятии собственности и об этом Доу¹²⁶ и так далее, и тогда он должен был бы выехать. А в таком случае, почему не выехать сейчас? И вот я опять возвращаюсь к тому, что сказала, и задаю вопрос: чем же это все кончится?!

— Я знаю, чем это кончится, поскольку дело касается меня, — отвечает миссис Пипчин, — и с меня этого хватит. Я намерена отсюда улетучиться!

¹²⁶ ...об этом Доу... — Речь идет об одной формальности английской юрисдикции. Иск об изъятии земельной собственности подавался в особой, условной форме. Истец указывал, что участок земли, на который он претендует, был арендован у него когда-то неким Джоном Доу, а у последнего мистер Ричард Роу (подразумевается ответчик) незаконно отнял землю. Действительные обстоятельства дела излагались уже после Этой условной преамбулы. Эта юридическая комедия, лишняя раз утверждавшая схоластический характер английского права, была отменена только в 1852 году.

— Что, миссис Пипчин? — переспрашивает миссис Чик.

— Улетучиться, — резко повторяет миссис Пипчин.

— Ну что ж, я не могу упрекать вас, миссис Пипчин, — откровенно говорит миссис Чик.

— А мне все равно, можете вы или не можете, — отвечает язвительная Пипчин. — Как бы там ни было, а я ухожу. Я не могу здесь оставаться. Я бы через неделю умерла. Вчера я должна была сама поджарить себе свиную котлету, а я к этому не привыкла. Мое здоровье пострадает. Кроме того, у меня были прекрасные связи в Брайтоне, когда я оттуда уехала: одни только родные маленькой Пэнки платили мне восемьдесят фунтов в год. Таких связей я не могу терять. Я написала племяннице, и она уже ждет меня.

— Вы говорили с моим братом? — спрашивает миссис Чик.

— О да, вам легко спрашивать, говорила ли я с ним! — отвечает миссис Пипчин. — Как с ним поговорить? Вчера я ему крикнула, что я здесь больше не нужна и хотела бы послать за миссис Ричардс. Он что-то проворчал в знак согласия, и я послала за ней. Проворчал! Будь он мистером Пипчином, вот тогда бы у него были основания ворчать! Да! Это выводит меня из терпения.

Затем эта образцовая женщина, выкачавшая столько силы духа и добродетелей из глубин Перуанских копей, поднимается с приобретенного ею кресла, чтобы проводить миссис Чик до двери. До последней минуты сетуя на удивительный нрав своего брата, миссис Чик потихоньку уходит, занятая мыслями о своей собственной пронизательности и о своем ясном уме.

В сумерках мистер Тудль, покончив со служебными обязанностями, является с Полли и сундуком и, звонко поцеловав Полли, оставляет ее и сундук в холле опустевшего дома; заброшенный вид этого дома сильно понижает жизнерадостность мистера Тудля.

— Вот что я тебе скажу, Полли, дорогая моя, — говорит мистер Тудль, — теперь я служу машинистом, зарабатываю хорошо и ни за что не отпустил бы тебя скучать здесь, если бы не помнил прежних милостей. Но прежних милостей, Полли, нельзя забывать. К тому же твое лицо — лучшее лекарство для тех, кто попал в беду. Дай же мне поцеловать его еще разок, дорогая моя. Знаю, что тебе больше всего хочется сделать доброе дело, и мне самому кажется, что остаться здесь будет делом и хорошим и справедливым. Спокойной ночи, Полли!

Тем временем миссис Пипчин маячит тенью в черных бомбазиновых юбках, черной шляпе и шали, укладывает свое имущество, ставит свое кресло (бывшее любимое кресло мистера Домби, пошедшее за бесценок) поближе к парадной двери и ждет фургона, который отправляется сегодня вечером в Брайтон по частному делу и должен заехать за ней по частному договору и отвезти ее домой.

Вскоре фургон подъезжает. В него вносят и размещают в нем имущество миссис Пипчин, затем вносят кресло миссис Пипчин, которое ставят в удобный уголок и обкладывают сеном, ибо эта любезная женщина намерена сидеть в нем во время путешествия. Наконец в него вносят миссис Пипчин, и она мрачно опускается в кресло. В жестких серых глазах загораются змеиные огоньки, словно она уже смакует гренки с маслом, горячие отбивные котлеты, перспективу мучить и усмирять маленьких детей и есть поедом бедную Бери, равно как и прочие радости жизни в замке Людоедки. И миссис Пипчин почти улыбается, когда фургон трогается в путь; она разглаживает на коленях черные бомбазиновые юбки и поудобнее усаживается в кресле.

Дом стал такой развалиной, что все крысы разбежались, и не осталось ни одной.

Но Полли, одинокая в покинутом доме, ибо ее одиночества не может рассеять присутствие бывшего хозяина дома, скрывающегося в запертых комнатах, недолго остается одна. Она занимается шитьем в комнате экономки, стараясь забыть о том, какой это заброшенный дом и какова его история. Вдруг раздается стук в парадную дверь — такой громкий, каким только может быть стук, раздающийся в пустом доме. Отперев дверь, она идет обратно по гулкому холлу в сопровождении особы в черной шляпе. Это мисс Токс, и глаза у мисс Токс красные.

— О Полли! — говорит мисс Токс. — Когда я пришла к вам позаниматься с детьми, мне передали вашу записку. И я пошла сюда, как только немножко успокоилась. Здесь нет никого, кроме вас?

— Ни души, — говорит Полли.

— Вы его видели? — шепчет мисс Токс.

— Господь с вами! — отвечает Полли. — Его давно уже никто не видел. Мне сказали, что он никогда не выходит из своей комнаты.

— А не говорили, что он болен? — спрашивает мисс Токс.

— Нет, сударыня, об этом я ничего не слыхала, — отвечает Полли, — разве что душевно расстроен. Бедный джентльмен; должно быть, очень тяжело у него на душе!

Сочувствие мисс Токс столь велико, что она едва может говорить. Она отнюдь не младенец, но годы и безбрачие не сделали ее черствой. Сердце у нее очень нежное, сострадание очень искреннее, уважение — неподдельное. Под медальоном с тусклым глазом в груди мисс Токс таятся более высокие качества, чем у многих людей с менее странной внешностью, — качества, которые на много веков переживут самую прекрасную внешность и самую красивую шелуху, падающую под серпом Великого Жнеца.

Не скоро уходит мисс Токс, а Полли, оставив свечу на лестнице, лишенной ковра, выглядывает на улицу, смотрит ей вслед и не чувствует ни малейшего желания возвращаться в мрачный дом, нарушать его тишину грохотом тяжелых болтов у парадной двери и ложиться спать. И тем не менее все это она проделывает; а утром она приносит в одну из этих комнат со спущенными жалюзи те кушанья, какие ей посоветовали приготовить, потом уходит и возвращается сюда только на следующее утро в том же часу. Хотя есть здесь колокольчики, но они никогда не звонят; и хотя иной раз она слышит шаги — взад и вперед, взад и вперед, — но человек никогда не переступает через порог.

Назавтра мисс Токс приходит рано. С этого дня она начинает заниматься приготовлением лакомых блюд — во всяком случае, лакомых с ее точки зрения, — чтобы наутро их отнесли в те комнаты. Столько удовольствия доставляет ей это занятие, что она предается ему регулярно, и приносит ежедневно в маленькой корзинке всевозможные изысканные приправы, выбранные из скудных запасов покойного обладателя напудренного парика с косичкой. Затем она приносит себе на обед завернутый в бумагу для папильоток холодный ростбиф, бараний язык, полкурицы и, закусывая вместе с Полли, проводит большую часть дня в разоренном доме, откуда бежали крысы, пугливо прячется при малейшем шуме, приходит и уходит, крадучись как преступник, и хочет остаться верной своему павшему кумиру, о чем неведомо ему и неведомо никому в мире за исключением только одной бедной, простодушной женщины.

Но майор об этом знает, и хотя никому больше это не известно, однако майор очень забавляется. В припадке любопытства майор поручил туземцу наблюдать за этим домом и разузнать, что стало с Домби. Туземец доложил о верности мисс Токс, и майор чуть не захохотал от смеха. С той поры он посинел еще больше и постоянно бурчит себе под нос, тараша рачьи глаза: «Черт возьми, сэр, эта женщина — идиотка с младенческих лет!»

А человек, чья жизнь разрушена? Как проводит он время в одиночестве?

«Ему суждено вспомнить об этом в той же самой комнате в грядущие годы!» Он вспомнил. Теперь это угнетало его больше, чем все остальное.

«Ему суждено вспомнить об этом в той же самой комнате в грядущие годы!» Дождь, бьющий по крыше, ветер, стонущий снаружи, быть может, предвещали это своим меланхолическим шумом. «Ему суждено вспомнить об этом в той же самой комнате в грядущие годы!»

Он вспомнил. Он думал об этом в тоскливую ночь, в печальный день, в мучительный час рассвета и в призрачных сумерках, пробуждающих воспоминания. Он вспомнил. В тоске, в скорби, в отчаянии, терзаемый раскаянием! «Папа! Папа! Поговорите со мной, дорогой папа!» Он снова слышал эти слова и видел ее лицо. Он видел, как дрожащие руки закрыли это лицо, и слышал тихий протяжный стон.

Он пал, чтобы больше никогда уже не подняться. Вслед за ночью, окутавшей его разорение, уже не наступит восход солнца; пятно на его имени уже не будет смыто; ничто, слава богу, не могло воскресить его умершего сына. Но то, что в прошлом он мог сделать совсем иным, что могло бы и это прошлое сделать совсем иным (хотя об этом он вряд ли теперь думал), то, что было делом его рук, то, что так легко могло стать для него благословением, а он с таким упорством в течение многих лет превращал в проклятье, — вот что было для него самой горькою мукой.

О, он вспомнил! Дождь, бивший по крыше, ветер, стонавший в ту ночь снаружи, предвещали это своим меланхолическим шумом. Теперь он знал, что он сделал. Теперь он понял, что, по его вине, обрушилось на его голову и заставило ее опуститься ниже, чем могли бы ее склонить самые жестокие удары судьбы. Теперь он знал, что значит быть отвергнутым и покинутым, теперь, когда все цветы любви, засушенные им в невинном сердце дочери, осыпали его пеплом.

Он вспоминал, какою она была в тот вечер, когда он приехал с молодой женой. Он вспоминал,

какою она была во время всевозможных событий, происходивших в покинутом доме. Он думал о том, что из всех, кто его окружал, она одна никогда не изменялась. Его сын в могиле, его надменная жена стала нечистой тварью, его льстивый друг оказался гнусным негодяем, его богатства растаяли, даже стены, в которых он искал убежища, смотрели на него как на чужого; она одна обращала на него все тот же кроткий, ласковый взгляд. Да, до самой последней минуты! Она не изменялась в своем отношении к нему так же, как и он в своем отношении к ней, и она была потеряна для него.

По мере того как одна за другою исчезали словно дым его надежды — надежды, возлагавшиеся на малютку-сына, на жену, друга, богатство, — о, как рассеивался туман, сквозь который он ее видел, и как вырисовывалось перед ним подлинное ее лицо! О, оно вырисовывалось перед ним гораздо яснее, чем мысль о том, что он любил ее так же, как и сына, потерял ее так же, как потерял сына, и похоронил их обоих в безвременной могиле!

В своей гордыне — гордым он все еще оставался — он спокойно наблюдал, как светское общество покинуло его. Когда это случилось, он сам отшатнулся от общества. Подмечал ли он в нем жалость к себе или равнодушие, все равно он его сторонился. Так или иначе, но общества следовало избегать. Он не знал ни единого человека, который был бы готов помочь ему в несчастье, кроме той, кого он выгнал. Что сказал бы он ей и какое утешение принесла бы она ему — об этом он никогда не задумывался. Но он знал всегда, что она осталась бы ему верна, если бы он разрешил. Он знал всегда, что теперь она любила бы его больше, чем когда бы то ни было. Он был уверен, что такова ее натура, — уверен не меньше, чем в том, что над ним — небо. И в своем одиночестве он думал об этом часами. День за днем внушал ему эти слова, ночь за ночью открывала ему это знание.

Несомненно начало было положено (как бы медленно ни согревали эти мысли первое время) письмом от ее молодого мужа и уверенностью, что она потеряна для него. И тем не менее — так был он горд в своем падении или так сильна была уверенность в том, что она могла бы всецело принадлежать ему, если бы он окончательно ее не потерял, — доведись ему услышать ее голос в соседней комнате, он не вышел бы к ней. Если бы он увидел ее на улице и она посмотрела на него так, как смотрела в былые времена, он по-прежнему прошел бы мимо с холодным, неумолимым лицом и не заговорил бы с ней, не улыбнулся, хотя бы сразу после этого его сердце должно было разорваться. Какая бы буря ни разразилась в его душе и как бы ни был велик его гнев, вызванный известием о ее браке и направленный против ее мужа, — все это осталось в прошлом. Больше всего он думал о том, что могло быть и чего не было. То, что было, сводилось к следующему: она для него потеряна, а он согнулся под тяжестью горя и раскаяния.

Теперь он чувствовал: в этом доме родилось у него двое детей, и эти голые стены связали его узами мучительными, но прочными с двумя детьми и с двойной утратой. Он хотел покинуть дом, — зная, что уйти он должен, и не зная, куда идти, — вечером того дня, когда это чувство впервые в нем укрепилось. Но потом решил провести здесь еще одну ночь и ночью в последний раз побродить по комнатам.

В глухую полночь он вышел из своего убежища и со свечой в руке стал потихоньку подниматься по лестнице. Он подумал, что из всех следов, оставленных башмаками, истоптавшими эту лестницу, как уличный тротуар, не было ни одного, который бы, казалось, не вдавился ему в мозг, пока он сидел взаперти и прислушивался. Он смотрел на это множество следов, — один след стирал другой, они вели вверх и вниз, неслись наперегонки, отталкивали друг друга, — и с ужасом и изумлением подумал о том, сколько он должен был выстрадать во время этого испытания и как должен был измениться. Потом он подумал: о, есть ли еще в мире та легкая поступь, которая могла в одно мгновение стереть половину этих отпечатков? И тогда он опустил голову и заплакал, поднимаясь по лестнице.

Он почти видел ее — идущую впереди. Приостановившись, он посмотрел наверх, и казалось, снова появилась здесь фигурка девочки, которая несла на руках ребенка и шла, напевая. А вот та же фигурка, но — одна; она на секунду приостановилась, затаив дыхание; блестящие волосы рассыпались, обрамляя заплаканное лицо, она оглядывалась, чтобы увидеть его.

Он блуждал по комнатам — совсем недавно они были такими роскошными, а теперь стали такими пустынными и унылыми; даже их форма и размер как будто изменились. И здесь повсюду были следы башмаков, и снова та же мысль о страданиях, которые он перенес, привела его в ужас и недоумение. Он начал опасаться, что вся эта путаница в мозгу сводит его с ума, что мысли его становятся

беспорядочными, как следы на полу, и — такие же неверные, запутанные и неясные — сталкиваются одна с другой.

Он не знал, в какой из этих комнат она жила, когда оставалась одна. Он рад был уйти отсюда и подняться выше. С этими комнатами были связаны воспоминания о неверной жене, о неверном друге и слуге, о зыбком фундаменте, на котором зиждилась его гордыня; но сейчас он не захотел предаваться всем этим воспоминаниям и безнадежно, грустно, с любовью думал только о своих двух детях.

Всюду следы ног! Люди не пощадили старой комнаты наверху, где стояла маленькая кроватка; бедный, разбитый человек, он едва мог найти чистое местечко, чтобы броситься на пол у стены и дать волю слезам. Столько слез пролил он здесь много лет назад, что в этой комнате меньше стыдился своей слабости, — быть может, этим он и оправдывал свой приход сюда. Да, сюда он пришел, понурый, склонив голову на грудь. Здесь, одинокий, он плакал в глухой час ночи, лежа на голом полу, — гордый человек, все еще гордый. И если бы ласковая рука протянулась к нему, ласковые глаза на него посмотрели, он бы встал, отвернулся и ушел в свою темницу.

Когда рассвело, он снова заперся у себя. Он хотел уехать сегодня, но цеплялся за эти узы, связывавшие его к дому, — последнее и единственное, что осталось у него. Он уедет завтра. Настало завтра. Он уедет завтра. Каждую ночь — об этом не ведало ни одно живое существо — он выходил из своей комнаты и бродил, как привидение, по разграбленному дому. По утрам, когда занимался день и свет едва проникал сквозь спущенные шторы в его комнату, он сидел и размышлял об утрате своих двух детей. Теперь это уже не был один ребенок. Он соединил их мысленно, и они никогда не разлучались. О, если бы в прошлом они соединились в его любви... и в смерти. Он хотел бы их соединить, чтобы дочери не довелось испытать мук несравненно горших, нежели муки смерти.

Сильное душевное волнение было ему знакомо и раньше — еще до той поры, когда обрушилось это несчастье. Оно ведомо всем упрямым и мрачным людям, ибо эти люди мучительно стараются быть таковыми. Бывает нередко, что грунт, давно подрытый, оседает внезапно; то, что было здесь подрыто, осыпалось мало-помалу, все больше и больше, по мере того как часовая стрелка обегала циферблат.

Наконец он начал подумывать о том, что ему незачем отсюда уходить. Он может отказаться от всего, оставленного ему кредиторами (они оставили бы ему больше, буде он этого пожелал), и разорвать узы, связывавшие его с разрушенным домом, оборвав другую нить...

Вот тогда-то в бывшей комнате экономки слышны были его шаги, когда он ходил взад и вперед, но непонятно было подлинное их значение, — иначе эти звуки показались бы ужасными.

Светское общество было чрезвычайно занято им. Он снова почувствовал это. Разговоры о нем и сплетни не прекращались. Общество не успокаивалось ни на минуту. Это обстоятельство, а также перепутанные и переплетенные следы башмаков мучительно терзали его. Все предметы представлялись ему расплывчатыми, в красноватых тонах. Домби и Сына больше не было, детей его больше не было. Об этом нужно было хорошенько подумать завтра.

Он подумал об этом завтра. И, сидя в своем кресле, вот что он видел время от времени в зеркале.

Призрачный, изможденный, исхудавший его двойник сидел в глубоком раздумье у холодного камина. Вот он поднял голову, разглядывая морщины и впадины на своем лице, снова опустил ее и снова погрузился в раздумье. Вот он встал, прошелся взад и вперед, вот он вышел в другую комнату и вернулся, пряча на груди какую-то вещь, взятую с туалетного столика. Вот он посмотрел на щель под дверью и задумался.

Тише! О чем он думал?

Он думал о том, что если кровь потечет в ту сторону, то пройдет немало времени, прежде чем она просочится в холл. Струйка будет подвигаться так медленно и осторожно, останавливаясь и образуя маленькие лужицы, что раненого найдут не раньше, чем он умрет или уже будет при смерти. Об этом он думал долго, потом встал и прошелся по комнате, пряча руку за пазухой. Мистер Домби изредка посматривал на него, с любопытством следя за его движениями, и заметил, что эта рука казалась преступной и злодейской.

Вот он снова задумался, его двойник. О чем он думал?

О том, вступят ли они в струйку крови, когда она прокрадется в холл, и разнесут ли следы по

дому, среди стольких отпечатков ног, и за пределами дома, на улице.

Двойник сел, устремив взгляд на холодный камин, а когда он погрузился в размышления, в комнату проник луч света, солнечный луч. Он ничего не замечал и сидел в раздумье. Внезапно он вскочил, с искаженным лицом, и та преступная рука сжала что-то, спрятанное за пазухой. И тут его остановил крик — безумный, пронзительный, громкий, страстный, восторженный крик, — и мистер Домби увидел только собственное отражение в зеркале, а у своих ног — дочь.

Да. Свою дочь. Смотри на нее! Смотри! Она у его ног, прильнула к нему, зовет его, с мольбой простирует руки.

— Папа! Дорогой папа! Простите, простите меня! Я вернулась, чтобы на коленях молить о прощенье! Без него мне не быть счастливой.

Она не изменилась. Одна во всем мире не изменилась. Обратила к нему лицо так же, как в ту страшную ночь. У него просила прощения!

— О, не смотрите на меня так странно, дорогой папа! Я никогда не хотела покинуть вас. Я никогда об этом не думала ни раньше, ни после. Я просто была испугана, когда ушла, и не могла думать. Папа, дорогой, я изменилась. Я раскаиваюсь! Я знаю свою вину. Теперь я лучше понимаю свой долг. Папа, не отталкивайте меня, иначе я умру!

Шатаясь, он добрался до своего кресла. Он почувствовал — она обвила его руки вокруг своей шеи; он почувствовал — она сама обвила руками его шею; он почувствовал на лице ее поцелуи; он почувствовал — ее влажная щека прижалась к его щеке; он понял — о, с какой ясностью! — все, что он сделал!

К той груди, которой он нанес удар, к сердцу, которое он почти разбил, она притянула его лицо, закрытое руками, и сказала сквозь рыдания:

— Папа, дорогой, я — мать! У меня есть ребенок, который скоро будет называть Уолтера так, как называю вас я. Когда он родился и я поняла, как он мне дорог, — тогда я поняла, что я сделала, покинув вас. Простите меня, дорогой папа! О, благословите меня и моего малютку!

Он бы это сделал, если бы мог. Он хотел воздеть руки и молить ее о прощении, но она быстро схватила его за руки и опустила их.

— Мой малютка родился на море, папа. Я молила бога сохранить мне жизнь, и Уолтер молился за меня, чтобы я могла вернуться на родину. Как только я сошла на берег, я вернулась к вам. Мы больше никогда не расстанемся, папа. Никогда не расстанемся!

Его голову, теперь седую, поддерживала ее рука, и он застонал, подумав о том, что никогда еще его голова не покоилась на этой руке.

— Вы поедете ко мне, папа, увидите моего малютку. Это мальчик, папа. Его зовут Поль. Я думаю... я надеюсь... он похож...

Слезы помешали ей договорить.

— Дорогой папа, ради ребенка, ради того, чье имя мы ему дали, ради меня простите Уолтера! Он так добр и ласков ко мне. Я так счастлива с ним. Он не был виноват в том, что мы поженились. Это была моя вина. Я так его любила.

Она теснее прижалась к нему и заговорила еще нежнее, еще более возбужденно:

— Я горячо люблю его, папа. Я готова умереть за него. Он будет любить и почитать вас так же, как и я. Мы научим нашего малютку любить и почитать вас; и мы скажем ему, когда он сможет это понять, что у вас был сын, которого звали Подем, что он умер и для вас это было тяжким горем, но что теперь он на небе, и все мы надеемся увидеться с ним, когда и для нас настанет время умереть. Поцелуйте меня, папа, в знак того, что вы помиритесь с Уолтером, с моим дорогим мужем, с отцом ребенка, с тем, кто научил меня вернуться к вам! Научил меня вернуться к вам!

Когда она, снова залившись слезами, еще теснее прижалась к нему, он поцеловал ее в губы и, подняв глаза к небу, сказал: «О, боже, прости меня, ибо прощение нужно мне больше всего!»

С этими словами он снова опустил голову и плакал над Флоренс и ласкал ее, и долго-долго в доме стояла глубокая тишина. Они обнимали друг друга в сиянии солнечного света, проникшего вместе с Флоренс.

Покорно уступая ее просьбе, он оделся; нетвердыми шагами, оглядываясь с трепетом на ту комнату, где он так долго сидел взаперти и где видел свое отражение в зеркале, он вышел с Флоренс в холл. Флоренс, не решаясь смотреть по сторонам из боязни напомнить ему о последней их разлуке

— их ноги ступали по тем самым каменным плитам, где он, в безумии своем, нанес ей удар, — прижалась к нему, не спуская глаз с его лица, а он обнимал ее за плечи. Она повела его к карете, которая ждала у подъезда, и увезла с собой.

Тогда мисс Токс и Полли вышли из потайного уголка и возликовали, проливая слезы. А затем они заботливо уложили его одежду, книги и прочее и вечером передали их людям, которых прислала Флоренс. А затем они в последний раз уселись пить чай в заброшенном доме.

— Итак, Домби и Сын, как заметила я однажды по случаю одного печального события, — сказала мисс Токс, подводя итог воспоминаниям, — стал в конце концов Домби и Дочерью.

— И какой прекрасной дочерью! — воскликнула Полли.

— Вы правы, — сказала мисс Токс, — и вам делает честь, Полли, то обстоятельство, что вы были ее другом, когда она была маленькой девочкой. Вы стали ее другом гораздо раньше, чем я, Полли, — сказала мисс Токс, — вы добрая женщина. Робин!

Мисс Токс обращалась к круглоголовому юноше, который, по-видимому, отнюдь не преуспевал, находился в мрачном расположении духа и сидел в дальнем углу. Когда он встал, оказалось, что это Точильщик.

— Робин, — продолжала мисс Токс, — должно быть, вы слышали, как я сказала вашей матери, что она добрая женщина.

— И это сушая правда, мисс! — с чувством отозвался Точильщик.

— Прекрасно, — сказала мисс Токс, — рада слышать это от вас. А теперь, Робин, так как по вашей настоятельной просьбе я намерена, в виде опыта, взять вас к себе на службу с целью вернуть вам респектабельность, я воспользуюсь этим знаменательным моментом и сделаю следующее замечание: надеюсь, вы никогда не забудете, что у вас есть и всегда была добрая мать, и постараетесь вести себя так, чтобы служить для нее утешением.

— Честное слово, постараюсь, мисс, — ответил Точильщик. — Я много перенес на своем веку, и теперь, мисс, намерения у меня такие хорошие, какие только могут быть у парня.

— Я бы вам посоветовала, Робин, заменить это слово другим, — вежливо сказала мисс Токс.

— У молодца, мисс.

— Нет, Робин, — возразила мисс Токс. — Я бы предпочла слово индивидуум.

— У икдивидва, — сказал Точильщик.

— Это значительно лучше, — удовлетворенно заметила мисс Токс, — гораздо выразительнее!

— Послушайте, мисс, и ты, матушка, — продолжал Роб, — если бы не сделали меня Точильщиком, а это было большим несчастьем для пар... для индивидва...

— Очень хорошо, — одобрительно заметила мисс Токс.

— ...И если бы меня не сбили с пути птицы и если бы я не попал на службу к дурному хозяину, — продолжал Точильщик, — мне кажется, из меня бы мог выйти толк. Но никогда не поздно пар...

— Инди... — подсказала мисс Токс.

— ...видву исправиться, — продолжал Роб Точильщик. — И я надеюсь исправиться благодаря вашей доброте, мисс. А ты, матушка, передай эти мои слова отцу, братьям и сестрам и кланяйся им от меня.

— Очень рада это слышать, — заметила мисс Токс. — Робин, не хотите ли съесть хлеба с маслом и выпить чашку чаю перед тем, как мы отправимся в путь?

— Благодарю вас, мисс, — ответил Точильщик и тотчас заработал своими точильными камнями с таким усердием, как будто долгое время жил впроголодь.

Когда мисс Токс надела шляпу и шаль и то же самое сделала и Полли, Роб обнял мать и последовал за своей новой хозяйкой, пробудив столько восторженных надежд у Полли, что глаза у нее затуманились, и когда она смотрела ему вслед, ей казалось, будто газовые фонари окружены радужными кольцами. Затем Полли погасила свечу, заперла парадную дверь, отдала ключ жившему по соседству агенту и поспешила к себе домой, заранее радуясь тем ликующим воплям, какие вызовет ее неожиданное появление. Величественный дом, храня молчание обо всех пережитых в нем страданиях и всех переменах, свидетелем которых он был, стоял, мрачно нахмурившись, словно наемный плакальщик на похоронах, и предупреждал все вопросы бросающимся в глаза объявлением, извещавшим, что этот превосходный особняк сдается внаем.

Глава LX Преимущественно о свадьбах

Примерно в это время состоялось по окончании полугодия торжественное празднество у доктора и миссис Блимбер, которые просили всех молодых джентльменов, обучающихся в этом благородном заведении, пожаловать на вечеринку, сообщая, что она назначена на половину восьмого и что будут танцевать кадрили; затем молодые джентльмены, отнюдь не выражая неуместной радости, разъехались по домам, начиненные по горло науками. Мистер Скетлс отбыл за границу, чтобы служить постоянным украшением родительского дома, так как сэру Барнету Скетлсу прославленные манеры доставили дипломатический пост, и теперь он вместе с леди Скетлс исполнял свои почетные обязанности к полному удовольствию даже своих собственных соотечественников и соотечественниц, что почиталось чуть ли не чудом. Мистер Тозер, ныне молодой человек высокого роста, в веллингтоновских сапогах, был в такой мере насыщен классическими древностями, что в области английского языка обладал едва ли не меньшими сведениями, чем настоящий древний римлянин; эта победа глубоко растрогала его добрых родителей и заставила отца и мать мистера Бригса (чьи познания, подобно плохо размещенному багажу, были так тесно упакованы, что он никогда не мог достать то, что ему было нужно) скрывать свое унижение. В самом деле, плоды, старательно сорванные с древа науки сим последним молодым джентльменом, были спрессованы до последней степени и превратились в некое интеллектуальное норфолькское печеное яблоко¹²⁷, окончательно утратив первоначальный аромат и форму. В значительно лучшем положении был мистер Байтерстон, на которого система насильственного выращивания оказала более благоприятное и довольно обычное действие, а именно: она не дала никаких результатов, что и обнаружилось, как только перестал работать форсирующий аппарат; находясь ныне на борту корабля, отправлявшегося в Бенгалию, он начал забывать все с такой поразительной быстротой, что казалось сомнительным, сохранятся ли у него в голове до конца путешествия склонения имен существительных.

Утром в день вечеринки, когда доктор Блимбер, следуя обычаю, должен был сказать молодым джентльменам: «Джентльмены, мы возобновим наши занятия двадцать пятого числа следующего месяца», — он изменил этому обычаю и сказал:

— Джентльмены, когда наш друг Цинциннат¹²⁸ ушел от дел, уединившись в своем поместье, он не представил сенату ни одного римлянина, которого бы он пожелал назвать своим преемником. Но вот перед вами римлянин, — продолжал доктор Блимбер, положив руку на плечо мистера Фидера, бакалавра искусств, — *adolescens imprimis gravis et doctus*¹²⁹, джентльмены, которого я, уходящий от дел Цинциннат, желаю представить моему маленькому сенату в качестве будущего диктатора. Джентльмены, мы возобновим наши занятия двадцать пятого числа следующего месяца под руководством мистера Фидера, бакалавра искусств.

Тогда (доктор заблаговременно известил всех родителей и дал учтивые объяснения) молодые джентльмены разразились одобрительными возгласами, а мистер Тозер от имени всех учеников немедленно поднес доктору серебряную чернильницу и произнес речь, содержащую очень мало слов родного языка, но зато пятнадцать латинских и семь греческих цитат, чем вызвал у младших из молодых джентльменов недовольство и зависть: они говорили: «О! А! Старине Тозеру это выгодно, но ведь деньги собирали по подписке не для того, чтобы старина Тозер получил возможность показать себя, не так ли? Старина Тозер имеет к этому такое же отношение, как и все остальные. Ведь чернильница-то не его! Не мог он, что ли, оставить в покое общее имущество?» И, шепотом изливая свой гнев, они, казалось, испытывали небольшое облегчение, когда называли его «старинной Тозе-

¹²⁷ ...норфолькское печеное яблоко... — Так назывались спрессованные печеные яблоки. Их приготавливали главным образом в графстве Норфольк.

¹²⁸ *Цинциннат* — римский государственный деятель и полководец V века до н.э. У древних считался образцом скромности и простоты нравов.

¹²⁹ юноша весьма благоразумный и ученый (*лат.*)

ром».

Ни единого слова не было сказано молодым джентльменам, ни одного намека не было сделано на предстоящее бракосочетание мистера Фидера, бакалавра искусств, с прекрасной Корнелией Блимбер. В особенности доктор Блимбер старался иметь такой вид, как будто ничего не могло бы удивить его сильнее, чем это известие; тем не менее молодые джентльмены прекрасно все знали, и, отправляясь к своим родственникам и друзьям, с благоговейным ужасом прощались с мистером Фидером.

Самые романтические мечты мистера Фидера осуществились. Доктор решил покрасить дом снаружи, отремонтировать его целиком и передать заведение вместе с Корнелией в другие руки. Покраска и ремонт начались тотчас же после отъезда молодых джентльменов, и вот уже настал день свадьбы, и Корнелия в новых очках ждала, чтобы ее повели к алтарю Гименея.

Доктор и его ученые ноги, а также миссис Блимбер в сиреневом чепце, мистер Фидер, бакалавр искусств, с длинными пальцами и со щетиной на голове, и брат мистера Фидера, преподобный Альфред Фидер, магистр искусств, который должен был совершить обряд, собрались в гостиной, и Корнелия с флердоранжем и с подружками только что спустилась вниз — как и в былые времена, чересчур перетянутая, но прелестная, — как вдруг распахнулась дверь, и подслеповатый молодой человек громким голосом провозгласил:

— Мистер и миссис Тутс!

А затем вошел мистер Тутс, сильно потолстевший, и под руку с ним леди с очень блестящими черными глазами, одетая изящно и со вкусом.

— Миссис Блимбер, — сказал мистер Тутс, — разрешите представить вам мою жену.

Миссис Блимбер была очень рада познакомиться с ней. Миссис Блимбер говорила несколько свысока, но крайне любезно.

— И так как вы меня давно знаете, — сказал мистер Тутс, — то разрешите вам сообщить, что это одна из самых замечательных женщин.

— Дорогой мой! — запротестовала миссис Тутс.

— Клянусь честью, это так, — сказал мистер Тутс. — Я... я уверяю вас, миссис Блимбер, что она — удивительная женщина.

Миссис Тутс весело рассмеялась, и миссис Блимбер повела ее к Корнелии. Мистер Тутс, засвидетельствовав свое почтение этой особе и приветствовав своего старого наставника, который сказал, намекая на его женитьбу: «Прекрасно, прекрасно, Тутс! Так, стало быть, и вы в нашей компании, Тутс?» — удалился с мистером Фидером, бакалавром искусств, в нишу у окна.

Мистер Фидер, бакалавр искусств, находясь в превосходном расположении духа, сделал боксерский выпад и ловко ударил мистера Тутса в грудь.

— Ну, старина! — смеясь, воскликнул мистер Фидер. — Здорово! Сказано — сделано. Верно?

— Фидер, — ответил мистер Тутс, — поздравляю вас. Если вы... вы... будете так же счастливы в супружеской жизни, как счастлив я, то больше вам ничего не останется желать.

— Я, знаете ли, не забываю моих старых друзей, — сказал мистер Фидер. — Я их приглашаю на мою свадьбу.

— Фидер, — серьезно ответил мистер Тутс, — дело в том, что различные обстоятельства помешали мне написать вам прежде, чем брак был заключен. Во-первых, я вел себя как скотина, когда говорил с вами о мисс Домби. Я понимал, что, если позвать вас на мою свадьбу, вы, натурально, подумаете, что я женюсь на мисс Домби; это привело бы к объяснениям, которые в тот критический момент, клянусь честью, совершенно расстроили бы меня. Во-вторых, наша свадьба прошла очень тихо; на ней присутствовал только один наш друг, мой и миссис Тутс, капитан, который служит в... я хорошенько не знаю, где именно, — сказал мистер Тутс, — но это не имеет никакого значения. Надеюсь, Фидер, что, написав вам о совершившемся событии перед отъездом моим и миссис Тутс за границу, я исполнил долг дружбы.

— Тутс, приятель, — сказал мистер Фидер, пожимая ему руку, — я пошутил.

— А теперь, Фидер, — сказал мистер Тутс, — мне бы хотелось узнать ваше мнение о заключенном мною союзе.

— Одобряю! — ответил мистер Фидер.

— Значит, вы одобряете, не так ли, Фидер? — торжественно произнес мистер Тутс. — А поду-

майте, как я должен его одобрить! Ведь вам никогда не узнать, какая это удивительная женщина.

Мистер Фидер охотно признал ее таковой. Но мистер Тутс покачал головой и повторил, что этого он знать не может.

— Видите ли, — сказал мистер Тутс, — в жене мне нужен был ум. Деньги, Фидер, у меня были. Ума... ума, в сущности, у меня не было.

Мистер Фидер пробормотал:

— О нет, ум у вас был, Тутс! Но мистер Тутс сказал:

— Нет, Фидер, не было. Зачем мне это скрывать? Не было. А там, — сказал мистер Тутс, указывая рукою в ту сторону, где сидела его жена, — ума хоть отбавляй. Мои родственники не могли возражать или негодовать по поводу неравенства положения, потому что никаких родственников у меня нет. У меня никогда никого не было, кроме опекуна, а его, Фидер, я всегда считал пиратом и корсаром. Стало быть, — сказал мистер Тутс, — к нему я бы не обратился за советом.

— Конечно, — сказал мистер Фидер.

— Итак, я поступил по-своему, — заключил мистер Тутс. — Благословен тот день, когда я это сделал! Фидер! Никто, кроме меня, не знает, какой великий ум у этой женщины. Если отнесутся когда-нибудь с должным вниманием к правам женщины и тому подобным вещам, то исключительно благодаря ее могучему уму. Сьюзен, дорогая моя, — мистер Тутс внезапно выглянул из-за портьеры, — пожалуйста, не утомляйся!

— Дорогой мой, — сказала миссис Тутс, — я просто разговариваю.

— Но, милочка, прошу тебя, не утомляйся, — сказал мистер Тутс. — Право же, ты должна побережь себя. Не утомляйся, дорогая моя Сьюзен. Ей ничего не стоит разволноваться, — обратился мистер Тутс к миссис Блимбер, — и тогда она совершенно забывает советы врача.

Миссис Блимбер говорила миссис Тутс о необходимости беречься, когда мистер Фидер, бакалавр искусств, предложил ей руку и повел к карете, чтобы ехать в церковь. Доктор Блимбер предложил руку миссис Тутс. Мистер Тутс предложил руку прекрасной невесте, вокруг сверкающих очков которой порхали, как мотыльки, две подружки в воздушных платьях. Брат мистера Фидера, мистер Альфред Фидер, магистр искусств, отправился в церковь заблаговременно, чтобы приступить к исполнению своих обязанностей.

Церемония прошла превосходно. Корнелия, вся в мелких кудряшках, «держалась», как сказал бы Петух, с величайшим хладнокровием, а доктор Блимбер хранил вид человека, вполне примирившегося со своим положением посаженного отца. Воздушные маленькие подружки, казалось, страдали больше всех. Миссис Блимбер была растрогана, но спокойна и на обратном пути поведала преподобному Альфреду Фидеру, магистру искусств, что, если бы только посчастливилось ей увидеть Цицерона в его уединении в Тускуле, все ее желания были бы ныне исполнены.

Затем для той же маленькой компании был сервирован завтрак, за которым мистер Фидер, бакалавр искусств, пришел в превосходнейшее расположение духа, передавшееся миссис Тутс, и мистер Тутс несколько раз говорил ей через стол: «Дорогая моя Сьюзен, не утомляйся!» Но наиболее замечательным был тот момент, когда мистер Тутс счел своим долгом произнести речь и, невзирая на телеграфический код миссис Тутс, старавшейся отклонить его от этого намерения, впервые в своей жизни встал для провозглашения застольного тоста.

— В этом доме, — сказал мистер Тутс, — что бы ни было здесь сделано для... для помрачения моего рассудка... все это не имеет никакого значения, и я никому не ставлю это в вину, в этом доме со мною всегда обращались как с членом семейства доктора Блимбера и у меня в течение долгого времени был мой собственный пюпитр, и я... не могу... допустить, чтобы мой друг Фидер...

Миссис Тутс подсказала: «Сочетался браком».

— Быть может, в данном случае, — сказал мистер Тутс с просиявшей физиономией, — будет до известной степени уместно и небезынтересно отметить, что моя жена — удивительнейшая женщина, и с этой речью она бы справилась гораздо лучше, чем я... допустить, чтобы мой друг Фидер сочетался браком, в особенности же сочетался браком с...

Миссис Тутс подсказала: «С мисс Блимбер».

— Миссис Фидер, милочка! — понизив голос, возразил ей мистер Тутс. — «Кого бог соединил, того», как вы знаете, «ни один человек»... знаете ли... Я не могу допустить, чтобы мой друг Фидер сочетался браком... в особенности с миссис Фидер... без того, чтобы не провозгласить за них... за

них тост. И пусть, — продолжал мистер Тутс, устремив взгляд на свою жену как бы с целью вдохновиться и воспарить, — и пусть факел Гименея будет для них маяком счастья, и пусть цветы, которыми мы усыпали сегодня их путь, будут... будут... гнать... уныние!

Доктор Блимбер, питавший пристрастие к метафоре, остался доволен и заметил: «Очень хорошо, Тутс! Прекрасно сказано, Тутс!» — потом кивнул головой и потер руки. Мистер Фидер произнес в ответ речь юмористическую, однако проникнутую чувством. Затем мистер Альфред Фидер, магистр искусств, пожелал самого большого счастья доктору и миссис Блимбер, а мистер Фидер, бакалавр искусств, пожелал не меньшего счастья воздушным маленьким подружкам. После этого доктор Блимбер звучным голосом высказал несколько мыслей в пасторальном стиле, повествуя о камышах, в коих он намеревался поселиться вместе с миссис Блимбер, и о пчеле, которая будет жужжать вокруг их шалаша. Так как глаза доктора удивительно заблестели, а его зять сообщил, что время создано для рабов, и пожелал узнать, поет ли миссис Тутс, то вскоре после этого благоразумная миссис Блимбер распустила собрание и усадила в почтовую карету Корнелию, очень хладнокровную и невозмутимую, вместе с избранником ее сердца.

Мистер и миссис Тутс отправились в гостиницу Бедфорда (миссис Тутс бывала там еще в те времена, когда носила девичью фамилию Нипер) и нашли там письмо, которое мистер Тутс читал бесконечно долго, и миссис Тутс испугалась.

— Дорогая моя Сьюзен, — сказал мистер Тутс, — испуг еще хуже, чем утомление. Пожалуйста, успокойся!

— От кого это письмо? — спросила миссис Тутс.

— Милочка, — сказал мистер Тутс, — это от капитана Джилса. Не волнуйся. В скором времени ждут возвращения домой Уолтерса и мисс Домби.

— Дорогой мой, — сказала миссис Тутс, сильно побледнев и вскакивая с дивана, — не пытайся обмануть меня, потому что это все равно ни к чему не приведет! Они приехали, я это вижу по твоему лицу!

— Какая удивительная женщина! — воскликнул мистер Тутс, вне себя от восторга. — Ты совершенно права, милочка, они приехали. Мисс Домби видела своего отца, и они помирились.

— Помирились! — вскричала миссис Тутс, захлопав в ладоши.

— Дорогая моя, — сказал мистер Тутс, — пожалуйста, не утомляйся. Помни о советах врача! Капитан Джилс пишет — собственно говоря, он этого не пишет, но, кажется, именно это он имеет в виду, — пишет, что мисс Домби перевезла несчастного своего отца из его старого дома туда, где она живет сейчас с Уолтерсом; что он очень болен, чуть ли не при смерти, а она день и ночь ухаживает за ним.

Миссис Тутс горько заплакала.

— Милая моя Сьюзен, — сказал мистер Тутс, — очень, очень прошу тебя, помни, если только ты можешь, советы врача! А если не можешь, это не имеет никакого значения, но ты все-таки постарайся!

Его жена внезапно превратилась в прежнюю Сьюзен, — так трогательно умоляла она его отвезти ее к ненаглядной ее милочке, к маленькой ее хозяйке, к ее любимице и прочее и прочее, что мистер Тутс, преисполненный глубоким сочувствием и восхищением, от всей души согласился. И они решили ехать немедленно и предстать перед капитаном в ответ на его письмо.

В тот день в силу каких-то тайных связей между вещами или, быть может, случайного совпадения капитан (к которому собирались ехать мистер и миссис Тутс) и сам принял участие в блестящем супружеском празднестве — не в качестве главного действующего лица, но как лицо второстепенное. Это произошло совершенно неожиданно и следующим образом.

Капитан, с безграничным восхищением поглядев на Флоренс и ее малютку и в досталь потолкав с Уолтером, вышел прогуляться, полагая, что следует поразмыслить в одиночестве о превратностях человеческой судьбы, и задумчиво покачивал глянцевиной шляпой, сокрушаясь о мистере Домби, которому он в силу своего великодушия и доброты глубоко сочувствовал. Да, капитан мог впасть в самое глубокое уныние при мысли об этом несчастном джентльмене, если бы не вспоминал о малютке. Но как только всплывало это воспоминание, он приходил в такой восторг, что, идя по улице, начинал громко смеяться и, вне себя от радости, подбрасывал вверх и ловил на лету свою глянцевиную шляпу к великому изумлению прохожих. Быстрое чередование света и тени, вызванное

этими противоречивыми чувствами, оказалось столь мучительным для его душевного состояния, что он счел необходимым предпринять ради успокоения длительную прогулку. Так как приятные ассоциации оказывают благотворное воздействие, то он решил прогуляться в окрестностях своего прежнего обиталища, где жили мастера, изготовлявшие мачты, весла и блоки, пекари, поставлявшие корабельные сухари, грузчики угля, матросы; там можно было увидеть смоляные котлы, каналы, доки, разводные мосты и тому подобные успокоительно действующие предметы.

Этот тихий пейзаж, а в особенности Лаймхауз-Хоул¹³⁰ столь умиротворяюще повлияли на капитана, что он обрел спокойствие духа и даже услаждал себя, напевая потихоньку балладу о «Красотке Пэг», как вдруг, завернув за угол, остолбенел и лишился дара речи при виде торжественной процессии, направлявшейся навстречу.

Во главе грозной колонны шествовала сия энергичная особа, миссис Мак-Стинджер! Сохраняя все тот же неумолимо-решительный вид и выставив напоказ красующиеся на непреклонной ее груди часы с брелоками, каковые капитан сразу признал собственностью Бансби, она шествовала рука об руку не с кем иным, как с этим прозорливым моряком. Тот с растерянным и меланхолическим видом пленника, влекомого в чужие страны, смиренно подчинился ее воле. За ними шли толпой ликующие юные Мак-Стинджеры. За ними следовали две леди, имевшие вид грозный и неумолимый, сопровождавшие низкорослого джентльмена в цилиндре и также ликовавшие. В кильватере находился юнга Бансби, нагруженный зонтиками. Компания двигалась стройными рядами, и, не говоря уже о неустрашимых физиономиях дам, удивительный порядок, отличавший эту процессию, в достаточной степени свидетельствовал о том, что готовилось жертвоприношение и что жертвой был Бансби.

Первым побуждением капитана было удрать. По-видимому, таково же было и первое побуждение Бансби, сколь ни безнадежной казалась эта попытка. Но поскольку компания встретила капитана приветственными возгласами, а Александр Мак-Стинджер бросился к нему с распростертыми объятиями, капитан не мог двинуться с места.

— Капитан Катль! — воскликнула миссис Мак-Стинджер. — Вот так встреча! Теперь я не питаю к вам злобы. Капитан Катль, не бойтесь, я не стану осыпать вас упреками. Надеюсь, я пойду к алтарю совсем в другом расположении духа. — Миссис Мак-Стинджер приумолкла, выпрямилась и глубоко вздохнула, выпятив грудь, после чего сказала, указывая на свою жертву: — Это мой жених, капитан Катль!

Злосчастный Бансби не смотрел ни направо, ни налево, ни на свою невесту, ни на своего друга, но устремил взор вперед, в пространство. Когда капитан протянул ему руку, Бансби также протянул свою, но на приветствие капитана не ответил ни слова.

— Капитан Катль, — сказала миссис Мак-Стинджер, — если вы не прочь покончить с враждой и в последний раз увидеть своего друга — моего жениха — холостяком, мы рады пригласить вас в часовню. Вот эта леди, — сказала миссис Мак-Стинджер, поворачиваясь к более неустрашимой из двух особ, — моя подруга, будет счастлива, если вы возьмете ее под свое покровительство, капитан Катль.

Низкорослый джентльмен в цилиндре, который, по-видимому, был супругом другой леди и явно радовался тому, что ближний низведен до его уровня, отступил и передал леди на попечение капитана Катля. Та немедленно уцепилась за него и, заявив, что времени терять нельзя, громким голосом приказала шествовать дальше.

Капитан даже вспотел от тревоги за друга, к которой сначала примешивалась и тревога за самого себя, ибо им овладел безотчетный страх, как бы его не женили насильно; но на помощь ему пришло знание церковной службы, и, памятуя о том, какие обязательства налагает слово «да», он почитал себя в безопасности, приняв решение, в случае если ему зададут какой-нибудь вопрос, громко ответить «нет». Под влиянием этой тревоги он в течение некоторого времени не замечал продвижения процессии, в которой и сам принимал теперь участие, и не внимал речам своей прекрасной спутницы. Но когда его волнение немножко улеглось, он узнал от этой леди, что она вдова, а ее покойный муж, некий мистер Бокем, служил в таможене; узнал он также, что она ближайшая по-

¹³⁰ Лаймхауз-Хоул — здание, где отбеливают известью паруса.

друга миссис Мак-Стинджер, которую считает образцовой женщиной; она часто слышала о капитане и полагает, что он теперь раскаялся в своей прошлой жизни; она надеялась, что мистеру Бансби известно, какое счастье выпало ему на долю, но опасалась, что мужчины редко могут оценить такое счастье, пока не утратят его, — и так далее, в том же духе.

В это время капитан не мог не заметить, что миссис Бокем не сводит глаз с жениха, и всякий раз, когда они проходили мимо какого-нибудь двора или переулка, казавшегося удобным для бегства, она настораживалась, чтобы отрезать путь Бансби, если он попытается улизнуть. Другая леди, а также ее супруг, низкорослый джентльмен в цилиндре, в свою очередь были наготове, следуя заранее намеченному плану. И миссис Мак-Стинджер так охраняла злополучного моряка, что любая попытка спастись бегством была обречена на неудачу. Это бросалось в глаза даже прохожим, которые выражали свои чувства криками и насмешками, к чему страшная Мак-Стинджер относилась с непоколебимым равнодушием, тогда как Бансби, казалось, находился в бессознательном состоянии.

Капитан много раз пытался вступить в общение с философом хотя бы с помощью односложного восклицания или сигнала, но терпел неудачу вследствие бдительности стража и присущего Бансби свойства не обращать внимания ни на какие знаки. Так дошли они до часовни, чистенького белого здания, недавно арендованного преподобным Мельхиседеком Хаулером, который после настоятельных просьб согласился отсрочить светопредставление на два года, но уведомил своих приверженцев, что тогда-то уж оно непременно настанет.

Пока преподобный Мельхиседек читал какие-то импровизированные молитвы, капитан, улучив минутку, проворчал на ухо жениху:

— Как поживаете, приятель, как поживаете?

На это Бансби ответил, совершенно забыв о преподобном Мельхиседеке, что можно было извинить только отчаянным его положением:

— Чертовски скверно.

— Джек Бансби, — прошептал капитан, — вы это делаете по доброй воле? Мистер Бансби ответил:

— Нет.

— Так зачем же вы это делаете, приятель? — задал капитан довольно естественный вопрос.

Бансби, по-прежнему глядя с невозмутимой физиономией в беспредельную даль, не дал никакого ответа.

— Почему бы не отчалить? — сказал капитан.

— А! — шепнул Бансби, увидев проблеск надежды.

— Почему бы не отчалить? — повторил капитан.

— Что толку? — возразил несчастный мудрец. — Она меня опять поймает.

— Попытайтесь, — сказал капитан. — Не падайте духом! Ну! Момент удобный. Отчаливайте, Джек Бансби!

Но вместо того чтобы последовать этому совету, Джек Бансби горестно прошептал:

— Все началось с вашего сундука. И зачем только я вызвался конвоировать ее тогда вечером в порт?

— Приятель, — запинаясь, проговорил капитан, — я думал, что вы ее одолели, а не она — вас. Вас, человека такого ума!

Мистер Бансби не сказал ни слова и только испустил глухой стон.

— Живее! — сказал капитан, подталкивая его локтем. — Момент удобный! Отчаливайте! Я прикрою ваше отступление. Сейчас самое время бежать, Бансби. Вы подумайте — свобода! Решайтесь! Раз!

Бансби не шевельнулся.

— Бансби, — шепнул капитан, — решайтесь! Два! Бансби и во второй раз не решился.

— Бансби, — настаивал капитан, — на карту поставлена ваша свобода. Три! Теперь или никогда!

Бансби не сделал этого теперь, и не сделал никогда, потому что немедленно вслед за этим миссис Мак-Стинджер вышла за него замуж.

Во время церемонии капитана больше всего устрасил чрезвычайный интерес к совершающемуся обряду со стороны Джулианы Мак-Стинджер и зловещая сосредоточенность, с какою это мно-

гообещающее дитя, уже теперь являющееся копией матери, наблюдало за происходившим. Капитан усмотрел в этом непрерывную цепь ловушек для мужчин, простирающуюся в бесконечность, и целые века угнетения и насилия, на которые обречены моряки. Это производило более глубокое впечатление, чем непоколебимая стойкость миссис Бокем и второй леди, чем ликование низкорослого джентльмена в цилиндре и даже суровая непреклонность миссис Мак-Стинджер. Юные Мак-Стинджеры мужского пола мало что понимали в происходящем и еще меньше им интересовались; во время церемонии они были заняты преимущественно тем, что старались наступить друг другу на ноги, но поведение этих злополучных младенцев служило лишь фоном, на котором во всей своей красе выступала скороспелая женщина, обнаружившаяся в Джулиане. «Еще годик-другой, — подумал капитан, — и поселиться в одном доме с этим ребенком было бы гибелью».

По окончании церемонии все юные отпрыски набросились на мистера Бансби, приветствуя его нежным именем отца и выпрашивая полупенсовики. Когда волна горячих чувств схлынула и процессия готова была снова тронуться в путь, ее ненадолго задержал неожиданный припадок, случившийся с Александром Мак-Стинджером. По-видимому, это милое дитя твердо связывало свое представление о часовне с надгробными плитами, если в храм божий входили с иными намерениями, кроме обычной молитвы, и потому оно было совершенно уверено, что его мать похоронена и потеряна для него навеки. Потрясенный этой мыслью, Александр Мак-Стинджер завизжал с удивительной силой и весь почернел. Но как ни было трогательно такое доказательство нежной его привязанности к матери, эта замечательная женщина не могла допустить, чтобы ее любовь к сыну выродилась в слабость. Поэтому после тщетных попыток образумить его встряской, тычками, окриками и другими средствами, она вывела его на свежий воздух и испробовала другой метод: участники свадебной процессии слышали быстро следовавшие один за другим резкие звуки, напоминавшие аплодисменты, а вслед за этим увидели Александра, сидевшего на самой холодной каменной плите во дворе, очень разгоряченного и громко плакавшего.

Процессия, получив возможность снова выстроиться и отправиться на Бриг-Плейс, где было приготовлено свадебное пиршество, двинулось обратно в прежнем порядке, причем на долю Бансби выпало немало насмешливых поздравлений от прохожих со счастливым браком, только что заключенным. Капитан следовал до дверей дома. Но его обеспокоило более ласковое обращение миссис Бокем, которая, освободившись от обязанностей, поглощавших все ее внимание (бдительность и настороженность этих леди значительно ослабели, после того как Бансби благополучно женился), воспользовалась досугом, чтобы проявить интерес к его особе; посему он покинул и процессию и пленника, слабым голосом сославшись на деловое свидание и обещая в скором времени вернуться.

У капитана были сугубые основания чувствовать себя неловко, ибо он с раскаянием размышлял о том, что весьма способствовал пленению Бансби, разумеется, нимало об этом не помышляя, а просто вследствие беспредельной своей веры в изобретательность этого философа.

Капитану и в голову не приходило вернуться к старому Солу Джилсу, не зайдя предварительно узнать, как здоровье мистера Домби, хотя дом, где лежал больной, находился за городской чертой, там, где начинались луга. Когда капитан уставал, он просил кого-нибудь подвезти его, и таким образом путешествие прошло весело.

Шторы были спущены, и в доме стояла такая тишина, что капитан не решался постучать. Но, прислушавшись у двери, он различил приглушенные голоса, тихонько постучал и был впущен мистером Тутсом. Мистер Тутс с женой только что приехали сюда, побывав сначала во владениях Мичмана, чтобы повидать капитана, и узнав там адрес.

Но хотя они и приехали совсем недавно, миссис Тутс уже завладела младенцем, взяла его на руки и, присев на ступеньку лестницы, обнимала его и ласкала. Флоренс стояла тут же, наклонившись к ней, и никто не мог бы сказать, кого нежнее обнимала и ласкала миссис Тутс — мать или ребенка — и кто к кому относился с большею нежностью: Флоренс к миссис Тутс, или миссис Тутс к ней, или они обе к младенцу — столько было здесь любви и волнения.

— А ваш папаша очень болен, ненаглядная моя мисс Флой? — спросила Сьюзен.

— Он очень, очень болен, — ответила Флоренс. — Сьюзен, милая, больше не называйте меня так, как называли раньше. Но что это значит? — с удивлением спросила она, коснувшись ее платья. — Ваше прежнее платье? Прежняя шляпка и локоны, все по-старому?

Сьюзен залилась слезами и осыпала поцелуями маленькую ручку, с таким недоумением при-

коснувшуюся к ней.

— Дорогая мисс Домби, — выступив вперед, сказал мистер Тутс, — я объясню. Это удивительнейшая женщина. Мало кто может с ней сравниться! Она всегда говорила — говорила еще до нашей свадьбы и повторяет по сей день, — что, когда бы вы ни вернулись, она придет к вам в том самом платье, какое носила прежде, когда служила у вас, потому что боится — вдруг она покажется вам чужой и вы будете меньше любить ее. Я лично восхищаюсь этим платьем, — сказал мистер Тутс. — Я обожаю ее в нем! Дорогая мисс Домби, она опять будет вашей горничной, няней, всем, чем была раньше. Она совсем не изменилась. Но, Сьюзен, дорогая моя, — сказал мистер Тутс, который говорил с восторгом и глубоким чувством, — я прошу только одного: ты должна помнить советы врача и не переутомляться!

Глава LXI

Она уступает

Флоренс нуждалась в помощи. Крайне нуждался в помощи ее отец, и услуги старой ее приятельницы были неоценимы. Смерть стояла у его изголовья. От человека, каким он был раньше, осталась только тень. Потрясенный духом и опасно больной, он опустил измученную голову на подушки постели, приготовленной для него руками дочери, и с тех пор ни разу не приподнял ее.

Флоренс всегда была с ним. Обычно он ее узнавал, но в бреду часто отодвигал в прошлое то, что происходило вокруг. Иногда он говорил так, словно его сын только что умер; и хотя, по его уверениям, он ни слова ей не сказал о том, как она бодрствовала у маленькой кровати, однако он это видел — он это видел. И он прятал лицо в подушку, рыдал и протягивал исхудавшую руку. Иногда он спрашивал ее: «Где Флоренс?» — «Я здесь, папа, здесь». — «Я не узнаю ее! — восклицал он. — Мы так долго были разлучены, что я не узнаю ее». И тогда его охватывал ужас, пока она не успокаивала его смятения и не вызывала у него слез, которые иной раз с таким трудом старалась осушить.

По временам он бредил о своих торговых операциях, и часто Флоренс, слушая его, теряла нить — иногда на несколько часов. Он повторял тот знакомый детский вопрос: «Что такое деньги?» — и задумывался, размышлял, рассуждал сам с собою более или менее связно, стараясь дать наилучший ответ, словно этот вопрос был задан ему впервые. Десятки тысяч раз он задумчиво повторял название своей прежней фирмы и каждый раз пытался приподнять голову с подушки. Он принимался считать своих детей: один... двое... и снова начинал сначала.

Но это бывало с ним в бреду. В другие периоды болезни, периоды наиболее длительные, он неизменно думал о Флоренс. Чаще всего бывало так: он воскрешал в памяти ту ночь, которую так недавно вспоминал, — ночь, когда она пришла к нему в комнату, и ему грезилось, будто сердце у него заныло и он вышел вслед за нею и в поисках ее стал подниматься по лестнице. Затем, смешивая давно прошедшее с недавними днями, он видел следы башмаков, удивлялся их количеству и начинал их считать, поднимаясь за Флоренс. Вдруг среди них появлялся кровавый след, а потом он замечал раскрытые настежь двери и за ними в зеркалах видел страшные отражения обезумевших людей, прятавших что-то у себя на груди. Но все время среди бесчисленных следов, среди кровавых следов он различал следы Флоренс. Все время она была впереди. Все время, не находя покоя, он шел за нею все дальше, считая следы, поднимался все выше, словно к вершине величественной башни, до которой нужно взбираться годы.

Однажды он осведомился, не послышался ли ему голос Сьюзен.

Флоренс ответила: «Да, милый папа», — и спросила, не хочет ли он ее видеть.

Он сказал: «Очень хочу». И Сьюзен не без трепета подошла к его кровати.

Казалось, это доставило ему большое облегчение. Он просил ее не уходить, прощал ей все, что она когда-то ему говорила; пусть она здесь останется. Теперь у него с Флоренс совсем другие отношения, — сказал он, — и они очень счастливы. Пусть она посмотрит! Он притянул к себе кроткую головку и заставил ее опуститься на свою подушку.

В таком положении он находился в течение многих дней и недель. Наконец он стал спокойнее: лежал в постели — жалкая тень человека — и говорил так тихо, что, только наклонившись к самым его губам, можно было услышать его. Теперь ему доставляло какое-то удовольствие лежать у от-

крытого окна, смотреть на летнее небо и деревья, а по вечерам — на заходящее солнце; следить за тенью облаков и листвы, словно чувствуя какую-то симпатию к теням. Это было естественно. Для него жизнь и мир были только тенью.

Теперь он беспокоился о том, что Флоренс утомлена, и часто преодолевал свою слабость, чтобы прошептать, обращаясь к дочери: «Пойди погуляй, дорогая, подыши свежим воздухом. Пойди к своему мужу!» Однажды, когда у него в комнате был Уолтер, он поманил его к себе, попросил нагнуться и, пожав ему руку, прошептал, что, умирая, он может доверить Уолтеру свою дочь — он это знает.

Однажды вечером, перед заходом солнца, когда Флоренс с Уолтером сидели у него в комнате — он любил видеть их вместе. — Флоренс, держа в руках своего малютку, потихоньку начала напевать ему ту старую песенку, которую так часто певала умершему мальчику. Мистер Домби не мог этого вынести. Он поднял дрожащую руку, умоляя ее перестать, но на следующий день он попросил ее спеть эту песню еще раз. И с тех пор по вечерам часто повторял свою просьбу, и она пела. Он слушал, отвернувшись к стене.

Как-то раз Флоренс с Сьюзен сидели у окна в его комнате, а между нею и бывшей ее горничной, которая по-прежнему была ее верной помощницей, помещалась корзинка с рукоделием. Он задремал. Был чудесный вечер, еще часа два оставалось до сумерек, и тишина навеяла на Флоренс глубокую задумчивость. На минуту она забылась, вспоминая тот день, когда человек, который лежал сейчас здесь, такой изменившийся, познакомил ее с новой мамой. Она вздрогнула, когда Уолтер, облокотившись на спинку стула, коснулся ее плеча.

— Дорогая моя, — сказал Уолтер, — внизу тебя ждет один джентльмен, который хотел бы с тобою поговорить.

Ей показалось, что Уолтер смотрит серьезно и озабоченно, и она спросила, не случилось ли что-нибудь.

— Нет, нет, дорогая! — сказал Уолтер. — Я видел этого джентльмена и поговорил с ним.

Флоренс взяла его под руку и, оставив отца на попечении черноглазой миссис Тутс, занимавшейся шитьем с таким рвением, на какое только способны черноглазые женщины, сошла вниз вместе с мужем. В уютной маленькой гостиной, выходящей окнами в сад, сидел джентльмен, который при виде Флоренс встал, чтобы пойти ей навстречу, но, подчиняясь своеобразному устройству ног, свернул в сторону и остановился, лишь наткнувшись на стол.

Тогда Флоренс припомнила кузена Финикса, которого сначала не узнала, так как деревья перед окнами отбрасывали густую тень. Кузен Финикс пожал ей руку и позддравил со вступлением в брак.

— Я очень сожалею о том, что ранее не имел возможности принести вам свои поздравления, — сказал кузен Финикс, усаживаясь после того, как села Флоренс, — но, собственно говоря, случилось столько мучительных происшествий, следовавших, если можно так выразиться, по пятам друг за другом, что я сам находился в чертовски скверном состоянии и решительно не мог появляться в обществе. Я довольствовался своим собственным обществом, и, право же, не очень-то приятно человеку, бывшему высокого мнения о своих возможностях, узнать, что он способен надоесть самому себе, собственно говоря, до последней крайности.

Какое-то замешательство и тревога, отражавшиеся в манерах этого джентльмена, который всегда оставался джентльменом, несмотря на свойственные ему маленькие безобидные странности, а также вид Уолтера навели Флоренс на мысль, что за этим следует нечто более непосредственно связанное с целью визита.

— Я говорил моему другу мистеру Гэю, если он разрешит мне называть его этим именем, — сказал кузен Финикс, — с какою радостью я узнал о полном выздоровлении своего друга Домби. Надеюсь, мой друг Домби не допустит, чтобы потеря состояния подействовала на него угнетающе. Не могу сказать, чтобы мне самому случилось потерять большое состояние: большого состояния у меня, собственно говоря, никогда не было. Но то, что я мог потерять, я потерял и не замечаю, чтобы меня это очень беспокоило. Мой друг Домби чертовски честный человек, — таково общее мнение, — и полагаю, ему весьма утешительно будет об этом узнать. Даже Томи Скрюзер — человек в высшей степени желчный, с которым мой друг Гэй, вероятно, знаком, — ничего не может сказать в опровержение этого факта.

Флоренс еще живее, чем прежде, почувствовала, что за этим должно последовать какое-то со-

общение, и с нетерпением ждала его — с таким нетерпением, что кузен Финикс сказал, как бы отвечая на вопрос:

— Видите ли, мы с моим другом Гэем рассуждали о том, прилично ли будет просить вас об одном одолжении, и мой друг Гэй, который с величайшей сердечностью и искренностью пошел мне навстречу, за что я ему весьма признателен, разрешил мне обратиться к вам с этой просьбой. Я знаю, что такую милую леди, как прелестная и безупречная дочь моего друга Домби, не придется долго упрашивать, но я счастлив, что заручился поддержкой и одобрением моего друга Гэя. Так, например, в те времена, когда я заседал в парламенте, если кто-нибудь хотел внести предложение — что случилось редко, так как нас держали в руках и лидеры обеих партий требовали строжайшей дисциплины, а это было чертовски хорошо для рядовых вроде меня, потому что нам не позволяли постоянно выставлять себя напоказ, чего многие из нас страстно добивались, — так вот, говорю я, в те времена, когда я заседал в парламенте, если кому-нибудь разрешалось выступить со своим крохотным пустым предложеньем, он всегда считал долгом заявить о своей приятной уверенности в том, что его чувства встретят отклик в сердце мистера Питта, этого, собственно говоря, кормчего, благополучно выдержавшего шторм. Вслед за этим чертовски много парней немедленно раздражались восторженными возгласами, и это вдохновляло оратора. Но, собственно говоря, эти парни, получив приказ выражать величайший восторг при упоминании о мистере Питте, стали такими знатоками своего дела, что это имя всегда их будило. В сущности, они понятия не имели, о чем идет речь, и Разговорчивый Браун — Браун из министерства финансов, который выпивал сразу четыре бутылки, — с ним, возможно, был знаком отец моего друга Гэя, ибо в то время моего друга Гэя еще не было на свете, — так вот этот Браун говаривал, что если бы кто-нибудь встал и с прискорбием сообщил палате, что в кулуарах корчится в предсмертных судорогах какой-нибудь достопочтенный член парламента и фамилия этого достопочтенного члена парламента — Питт, обязательно раздались бы восторженные крики.

Это упорное нежелание изложить цель визита привело в смятение Флоренс, и, волнуясь все больше и больше, она переводила взгляд с кузена Финикса на Уолтера.

— Право же, дорогая моя, ничего плохого не случилось, — сказал Уолтер.

— Клянусь честью, ничего плохого не случилось, — подтвердил кузен Финикс, и я глубоко огорчен тем, что вызвал у вас хотя бы минутную тревогу. Смею вас уверить, ничего плохого не случилось. Одолжение, о котором я хочу вас просить, заключается всего-навсего в том... но, право же, это кажется таким необычайным, что я был бы бесконечно признателен моему другу Гэю, если бы он потрудился сломать... собственно говоря, сломать лед.

Услыхав такую мольбу, а также видя обращенный к нему умоляющий взгляд Флоренс, Уолтер сказал:

— Дорогая моя, дело очень простое: не согласишься ли ты поехать в Лондон с этим джентльменом, которого ты хорошо знаешь?

— Прошу прощения — и с моим другом Гэем! — перебил кузен Финикс.

— И со мною. Навестить одну особу.

— Кого? — спросила Флоренс, переводя взгляд с одного на другого.

— Если бы мне разрешено было просить, чтобы вы не требовали ответа на этот вопрос, — сказал кузен Финикс, — я взял бы на себя смелость обратиться к вам с такой просьбой.

— А ты знаешь, Уолтер? — спросила Флоренс.

— Да.

— И считаешь, что я должна ехать?

— Да. Я уверен, что таково было бы и твое мнение. Хотя, по некоторым причинам, мне хорошо понятным, пожалуй, лучше сейчас ничего больше не говорить.

— Если папа еще спит или если он проснулся, но может обойтись без меня, я сейчас же поеду, — сказала Флоренс.

Спокойно поднявшись и бросив на них слегка встревоженный, но доверчивый взгляд, она вышла из комнаты.

Когда она вернулась, чтобы ехать с ними, они беседовали о чем-то у окна, и Флоренс могла только удивляться, что именно побудило их сойтись так близко за такой короткий срок. Но ее не удивил взгляд, полный гордости и любви, какой бросил на нее муж, оборвав разговор, когда она вошла; так смотрел он на нее всегда.

— Я оставлю моему другу Домби свою визитную карточку, — сказал кузен Финикс, — от всей души уповая, что с каждым днем к нему будут возвращаться здоровье и силы. И надеюсь, мой друг Домби окажет мне честь, считая меня человеком, который, собственно говоря, чертовски восхищается той репутацией, какою он пользуется как британский купец и чертовски порядочный человек. Мое поместье пришло в полный упадок, но если мой друг Домби будет нуждаться в перемене климата и пожелает поселиться там, он увидит, что это в высшей степени здоровая местность, — да иначе и быть не может, потому что скука там невыносимая. Если мой друг Домби страдает упадком сил и разрешит порекомендовать ему средство, которое мне часто помогало — мне случалось иногда чувствовать ужасную дурноту, ибо я вел довольно беспутный образ жизни в те времена, когда люди жили беспутно, — я бы, собственно говоря, посоветовал яичный желток, взбитый с сахаром и мускатным орехом в стакане хереса; выпивать по утрам с сухариком. Джонсон, державший зал для бокса на Бонд-стрит, человек весьма сведущий, о котором мой друг Гэй несомненно слышал, говорил, бывало, что, тренируясь перед выступлением на ринге, они заменяли херес ромом. В данном случае я бы рекомендовал херес, так как мой друг Домби еще не оправился от болезни, вследствие чего ром может броситься ему... собственно говоря, в голову и привести его в чертовски скверное положение.

Произнеся эту речь, кузен Финикс явно пребывал в нервическом состоянии и тревоге. Затем, предложив руку Флоренс и по мере сил удерживая в повиновении свои непокорные ноги, казалось, твердо решившие идти в сад, он повел ее к двери и усадил в карету, которая ждала у подъезда. Затем в карету сел Уолтер, и они тронулись в путь.

Проехали они миль шесть или восемь. Стало смеркаться, когда они проезжали по скучным благопристойным улицам в западной части Лондона. Флоренс вложила свою руку в руку Уолтера и очень внимательно, с возрастающей тревогой присматривалась к каждой новой улице, в которую они сворачивали.

Когда карета остановилась, наконец, на Брук-стрит, перед тем самым домом, где была отпразднована злополучная свадьба мистера Домби, Флоренс спросила:

— Уолтер, что же это значит? Кого я здесь увижу?

Уолтер успокоил ее, но ничего не ответил, тогда она окинула взглядом фасад и увидела, что все окна закрыты, как будто дом необитаем. Кузен Финикс уже вышел из кареты и предложил ей руку.

— Разве ты не пойдешь со мной, Уолтер?

— Нет, я останусь здесь. Не дрожи так, дорогая Флоренс! Тебе нечего бояться.

— Я это знаю, Уолтер, раз ты здесь, так близко от меня. Я в этом уверена, но...

Дверь бесшумно распахнулась, хотя никто не стучал, и Флоренс, только что вдыхавшая летний вечерний воздух, вошла с кузеном Финиксом в душный, скучный дом. Более угрюмый и хмурый, чем когда бы то ни было, он, казалось, стоял запертым со дня свадьбы и с той поры накапливал в своих стенах уныние и мрак.

Флоренс с трепетом поднялась по темной лестнице и остановилась вместе со своим провожаемым у двери в гостиную. Кузен Финикс молча открыл дверь и жестом попросил ее пройти в следующую комнату, тогда как сам он был намерен остаться здесь. После минутного колебания Флоренс повиновалась.

За столом у окна сидела леди, которая, казалось, что-то писала или рисовала; повернувшись лицом к угасающему дневному свету, она опиралась головой на руку. Флоренс, нерешительно сделав несколько шагов, внезапно застыла на месте, словно потеряв способность двигаться. Леди оглянулась.

— Боже мой! — вскричала она. — Что же это значит?

— Нет, нет! — воскликнула Флоренс, отшатнувшись, когда та встала, и вытянув перед собой руки, чтобы отстранить ее. — Мама!

Они стояли и смотрели друг на друга. Страсти и гордыня наложили свою печать на лицо Эдит, но оно осталось прекрасным и величественным. А лицо Флоренс, несмотря на весь ее ужас, говорило о жалости, скорби и благодарных нежных воспоминаниях. Лица обеих выражали изумление и страх. Обе, такие неподвижные и молчаливые, смотрели друг на друга, разделенные черной бездной неизгладимого прошлого.

Флоренс первая прервала молчание. Разрыдавшись, она воскликнула, потрясенная до глубины

души:

— О мама, мама! Зачем пришлось нам встретиться вот так? Зачем вы были так добры ко мне, когда больше никого у меня не было, если нам предстояла вот такая встреча?

Эдит стояла перед ней безмолвная и словно оцепеневшая. Она не спускала с нее глаз.

— Я не смею об этом думать, — продолжала Флоренс. — Я только что была с папой. Он болен. Теперь мы всегда вместе, больше мы никогда не расстанемся. Если вы хотите, чтобы я попросила его простить вас, я это сделаю, мама. Я почти уверена, что теперь он простит, если я его попрошу. И пусть бог простит вас и пошлет вам утешение!

Та не ответила ни слова.

— Уолтер — я вышла за него замуж, и у нас родился сын, — робко сказал Флоренс, — Уолтер здесь, у подъезда, он привез меня сюда. Я скажу ему, что вы раскаиваетесь, что вы стали другой, — Флоренс с грустью смотрела на нее. — Я знаю, он вместе со мной будет просить папу. Что же еще могу я сделать?

Эдит, все такая же неподвижная, с остановившимся взглядом, нарушила молчание и медленно проговорила:

— Пятно на вашем имени, на имени вашего мужа, вашего ребенка. Подумайте, можно ли это когда-нибудь простить, Флоренс?

— Можно ли простить, мама? Вам это уже простили! От всей души, и Уолтер и я. Вы можете быть совершенно уверены, если такая уверенность даст вам утешение. Вы... вы... — замялась Флоренс, — вы не говорите о папе, но, конечно, вы хотите, чтобы я вымолила у него прощение для вас. Я уверена.

Она не ответила ни слова.

— Я сделаю это! — продолжала Флоренс. — Если вы мне позволите, я принесу вам его прощение, и тогда нам можно будет расстаться иначе — так, как расстались бы мы в былое время. Я попыталась, мама, — кротко сказала Флоренс, подходя ближе, — я отступила от вас не из боязни, и я не считаю, что вы можете меня запятнать. Я хочу только исполнить свой долг по отношению к папе. Я ему очень дорога, и он мне очень дорог. Но мне никогда не забыть, как вы были добры ко мне! О, молитесь бога, мама, — воскликнула Флоренс, бросаясь в ее объятия, — молитесь бога, чтобы он простил вам этот грех и позор и простил мне то, что я сейчас делаю (если это грешно) и не могу не делать, помня, чем вы для меня были!

Эдит, словно сломленная этими объятиями, упала на колени и обняла руками ее шею.

— Флоренс! — вскричала она. — Мой светлый ангел! Прежде чем мною снова овладеет безумие, прежде чем вернется мое упорство и поразит меня немотою, верьте мне — я не виновна.

— Мама!

— Виновна во многом! Виновна в том, что разверзла между нами пропасть. Виновна в том, что должно отделять меня до конца моей жизни от целомудрия и чистоты — прежде всего от вас! Виновна в слепой и страстной ненависти, в которой даже теперь я не раскаиваюсь, не могу и не хочу раскаиваться! Но я не согрешила с тем — умершим! Клянусь богом!

Все еще не поднимаясь с колен, она воздела обе руки и поклялась в этом.

— Флоренс! — продолжала она. — Флоренс, самая чистая и непорочная из всех, кого я знаю, Флоренс, которую я люблю и которая много лет назад могла бы сделать меня другим человеком и заставила на время измениться даже такую женщину, как я, верьте мне, в этом я не повинна, и позвольте мне снова, в последний раз, прижать эту милую головку к моему разбитому сердцу!

Она была растрогана и плакала. Если бы в прежние годы это случилось с ней чаще, она бы не была теперь так несчастна.

— Ничто в мире, — воскликнула она. — не могло бы вырвать у меня признание в том, что я не виновна! Ни любовь, ни ненависть, ни надежда, ни угрозы! Я сказала, что скорее умру, но не пророну ни слова. Я могла бы это сделать, и я бы это сделала, если бы мы не встретились, Флоренс!

— Надеюсь, — послышался голос кузена Финикса, который появился в дверях и стал топтаться на пороге, — надеюсь, моя прелестная и безупречная родственница простит мне, что я, прибегнув к маленькой хитрости, устроил это свидание. Не стану утверждать, будто раньше мне не приходило в голову, что моя прелестная и безупречная родственница имела несчастье опозорить себя связью с этим белозубым человеком, ныне покойным, ибо, собственно говоря, приходится наблюдать весьма

странные союзы такого рода, заключенные в этом мире, который поражает нас чертовски непонятными сочетаниями и является самой непостижимой вещью из всех нам известных. Но, как я уже сообщал моему другу Домби, я не мог признать виновность моей прелестной и безупречной родственницы, пока преступление ее не будет окончательно доказано. Когда же этого человека, ныне покойного, настигла, собственно говоря, чертовски ужасная смерть, я понял, что ее положение должно быть крайне затруднительным. Сознавая также, что наша семья, оказывавшая ей слишком мало внимания, заслуживает некоторого порицания и что семья эта — беззаботная, а моя тетка, хотя и чертовски жизнерадостная женщина, была, пожалуй, не самой лучшей из матерей, я взял на себя смелость разыскать ее во Франции и предложить помощь, поскольку может оказать помощь человек, не имеющий почти никаких средств... По этому случаю моя прелестная и безупречная родственница удостоила заявить, что, по ее мнению, я — чертовски славный парень в своем роде, и поэтому она принимает мою поддержку. Собственно говоря, я принял это как любезность со стороны моей прелестной и безупречной родственницы, потому что я становлюсь немощным, а ее заботливость доставляет мне величайшее утешение.

Эдит, усадив Флоренс на диван, махнула рукой, как будто просила его ничего больше не говорить.

— Моя прелестная и безупречная родственница, — продолжал кузен Финикс, не переставая топтаться в дверях, — извинит меня, если ради ее блага, и ради себя самого, и ради моего друга Домби, чья прелестная и безупречная дочь приводит нас в такое восхищение, я разверну до конца нить своих замечаний. Она, вероятно, не забыла, что с самого начала мы с ней никогда не упоминали о ее побеге. Мое мнение всегда было таково, что тут кроется какая-то тайна, которую она при желании могла бы осветить. Но так как моя прелестная и безупречная родственница — женщина чертовски решительная, я знал, что с ней, собственно говоря, шутки плохи, а потому и избегал всяких споров. Однако не так давно я нашел уязвимую точку — нежную привязанность к дочери моего друга Домби, — и тогда я сообразил, что, если мне удастся устроить свидание, неожиданное для обеих сторон, оно может привести к благодетельным результатам. И вот, находясь частным образом в Лондоне и собираясь отправиться на юг Италии, где мы, собственно говоря, намерены обосноваться, пока не переселимся в иной, вечный дом — чертовски неприятная мысль для всякого человека, — я принялся разузнавать о местожительстве моего друга Гэя, прекрасного и удивительно чистосердечного человека, которого, должно быть, знает моя прелестная и безупречная родственница, и мне повезло привезти сюда его милую жену. А теперь, — заключил кузен Финикс с неподдельным, искренним чувством, прорывавшимся сквозь легкомысленный и небрежный тон, — я заклинаю мою родственницу не останавливаться на полпути, но по мере сил заглаживать то зло, в совершении которого она повинна, — не ради семейной чести, не ради ее собственной репутации, не ради тех соображений, которые она, в силу неблагоприятно сложившихся обстоятельств, стала почитать мелкими, а только потому, что это не добро, а зло.

После этого ноги кузена Финикса согласились его увести. Оставив Эдит наедине с Флоренс, он притворил за собой дверь.

Эдит, сидевшая рядом с Флоренс, несколько минут молчала. Потом она вынула из-за корсажа небольшой пакет.

— Я долго спорила с собой, — тихо сказала она, — нужно ли это записать на случай скоропостижной смерти или какой-нибудь катастрофы, но я не могла иначе. С тех пор я не переставала думать о том, когда и как уничтожить эту бумагу. Возьмите ее, Флоренс. Здесь написана чистая правда.

— Передать папе? — спросила Флоренс.

— Кому хотите, — ответила Эдит. — Она дана вам и получена вами. Он никогда не мог бы получить ее из других рук.

И снова они сидели молча в сгущавшихся сумерках.

— Мама, — сказала Флоренс, — он лишился всего своего имущества. Он был при смерти. Опасность и теперь еще не миновала. Могу ли я передать ему что-нибудь от вас?

— Вы мне сказали, что теперь вы ему очень дороги? — спросила Эдит.

— Да! — дрожащим голосом ответила Флоренс.

— Скажите ему — я жалею о том, что нам суждено было встретиться.

— Больше ничего? — спросила Флоренс после недолгого молчания.

— Если он спросит, скажите ему: я не раскаиваюсь в том, что сделала... еще не раскаиваюсь... потому что, если бы завтра пришлось снова это сделать, я бы это сделала снова. Но если он стал другим человеком...

Она запнулась: Флоренс молча прикоснулась к ее руке, и в этом прикосновении было что-то, заставившее ее запнуться.

— ...Но так как он стал другим человеком, он знает, что теперь это не могло бы случиться. Скажите ему — я бы хотела, чтобы этого никогда не было.

— Могу я сказать, — спросила Флоренс, — что вы с огорчением слышали о перенесенных им страданиях?

— Нет, — возразила она, — если благодаря им он узнал, что его дочь очень дорога ему. Он сам не будет сожалеть об этом, Флоренс, если они послужили ему уроком.

— Вы желаете ему добра и хотели бы видеть его счастливым! Я в этом уверена! — воскликнула Флоренс. — О, позвольте мне когда-нибудь, если представится удобный случай, передать ему это!

Темные глаза Эдит пристально смотрели в пространство, и она ничего не ответила, пока Флоренс не повторила своей мольбы; тогда Эдит продела ее руку под свою и сказала, не отводя задумчивого взгляда от окна, за которым сгущалась тьма:

— Скажите ему, что, если теперь у него найдутся основания отнестись с сочувствием к моему прошлому, я прошу его об этом сочувствии. Скажите ему, что, если теперь у него найдутся основания вспоминать обо мне с меньшей горечью, я прошу его об этом. Скажите ему, что, хотя мы умерли друг для друга и никогда не встретимся по сю сторону вечности, у нас есть теперь одно общее чувство, которого не было прежде.

Стойкость, казалось, изменила ей, и темные глаза затуманились слезами.

— Я говорю это, веря, что он будет лучшего мнения обо мне, а я о нем, — сказала она. — Чем больше он будет любить свою Флоренс, тем меньше он будет ненавидеть меня. Чем больше он будет гордиться и радоваться при виде ее и ее детей, тем больше он будет раскаиваться, вспоминая свою роль в этом страшном сновидении — нашей супружеской жизни. Тогда и я раскаюсь — пусть он об этом узнает, — тогда и я задумаюсь над тем, что слишком много мыслей уделяла причинам, сделавшим меня такою, какою я была. А мне следовало бы подумать также и о том, почему он стал таким, каков он был. Тогда я постараюсь простить ему его вину. И пусть он постарается простить мне мою!

— О мама! — воскликнула Флоренс. — Теперь, когда я услышала эти слова, мне стало легче на сердце — несмотря на такую встречу и разлуку!

— Да, эти слова звучат странно и в моих ушах, — сказала Эдит, — и никогда мои губы не произносили ничего подобного им. Но даже если бы я была тем гнусным созданием, каким я дала ему повод почитать меня, — мне кажется, я все-таки произнесла бы эти слова, услышав, что вы стали дороги друг другу. Пусть же он — когда вы будете ему дороже всего — со всем снисхождением отнесется ко мне, тогда и я в мыслях своих отнесусь к нему со всем снисхождением! Вот последние мои слова, какие я могу передать ему! А теперь прощайте, жизнь моя!

Она крепко обняла ее и, казалось, излила на нее всю любовь и нежность, скопившиеся в ее душе.

— Этот поцелуй передайте вашему малютке! А эти поцелуи — вам вместо благословения! Милая, дорогая моя Флоренс, ненаглядная моя девочка, прощайте!

— Мы еще встретимся! — воскликнула Флоренс.

— Никогда! Никогда! Когда вы оставите меня здесь, в этой темной комнате, думайте, что вы оставили меня в могиле. Помните только — когда-то я жила на свете и любила вас!

И Флоренс, не видя больше ее лица, но до последней минуты ощущая ее поцелуи и ласки, рассталась с ней.

Кузен Финикс встретил ее у двери и проводил вниз, в сумрачную столовую, и она, заливаясь слезами, опустила голову на плечо Уолтера.

— Мне чертовски жаль, — сказал кузен Финикс, с самым простодушным видом и без всякого смущения утирая слезы манжетами, — чертовски жаль, что чувствительная натура прелестной и безупречной дочери моего друга Домби и очаровательной жены моего друга Гэя столь опечалена и потрясена только что закончившимся свиданием. Но — верю и надеюсь — мною руководили наилучшие намерения, и мой почтенный друг Домби успокоится, узнав о том, что здесь открылось. Я

чрезвычайно сожалею, что мой друг Домби попал, собственно говоря, в чертовски скверное положение, заключив союз с одним из членов нашей семьи, но я твердо придерживаюсь того мнения, что, не будь этого проклятого негодяя Каркера, этого белозубого человека, все обошлось бы сравнительно благополучно. Что касается моей родственницы, которая оказала мне честь, составив обо мне исключительно хорошее мнение, то я могу уверить очаровательную жену моего друга Гэя, что моя родственница, собственно говоря, может положиться на меня, как на отца. А что касается превратностей человеческой жизни и удивительнейших поступков, которые мы постоянно совершаем, то я могу только сказать вместе с моим другом Шекспиром — человеком, прославившим себя в веках, с которым мой друг Гэй, без сомнения, знаком, — что жизнь есть лишь тень сновидения.

Глава LXII

Заключительная

Бутылка, уже давно не видевшая дня и поседевшая от пыли и паутины, извлечена на солнечный свет, и золотистое вино в ней бросает отблески на стол.

Это последняя бутылка старой мадеры.

— Вы совершенно правы, мистер Джилс, — говорил мистер Домби, — это редчайшее и восхитительное вино.

Капитан, который при этом присутствует, сияет от радости. Его рдеющее чело поистине окружено нимбом восторга.

— Мы дали друг другу слово, сэр, — замечает мистер Джилс, — я говорю о Нэде и себе самом...

Мистер Домби кивает капитану, который в немом блаженстве сияет все больше и больше...

— ...Что разопьем эту бутылку вскоре после благополучного возвращения Уолтера домой. Хотя о таком возвращении мы и не мечтали. Если вы не возражаете против нашей давнишней причуды, сэр, выпьем этот первый бокал за здоровье Уолтера и его жены!

— За здоровье Уолтера и его жены! — говорит мистер Домби. — Флоренс, дитя мое! — И он поворачивается, чтобы поцеловать ее.

— За здоровье Уолтера и его жены! — говорит мистер Тутс.

— За здоровье Уолтера и его жены! — восклицает капитан. — Ура! — И так как капитан не скрывает неудержимого желания с кем-то чокнуться, мистер Домби с большой охотой протягивает свой бокал. Остальные следуют его примеру, и раздается веселый, радостный звон, живо напоминающий о свадебных колоколах.

Другие вина, спрятанные в погребах, стареют так же, как старела в далекие дни эта мадера; и пыль и паутина покрывают бутылки.

Мистер Домби — седой джентльмен; заботы и страдания оставили глубокий след на его лице, но это лишь отражение пронесшейся бури, за которой последовал ясный вечер.

Честолюбивые замыслы больше его не смущают.

Единственная его гордость — это дочь и ее муж. Он стал молчаливым, задумчивым, тихим и не расстается с дочерью. Мисс Токс изредка появляется в кругу семьи, предана ей всей душой и пользуется всеобщим расположением. Ее восхищение патроном — некогда величественным — чисто платоническое; таким оно стало с тех пор, как ей был нанесен удар на площади Принцессы, но оно нимало не поколебалось.

У мистера Домби после краха не осталось ничего, кроме некоторой суммы, которая поступает ежегодно — он не знает от кого — и сопровождается настойчивой просьбой не разыскивать отправителя, ибо эти деньги — старый долг, выплачиваемый человеком, который хочет возместить прежние убытки. По этому поводу мистер Домби советовался с одним из своих прежних служащих; тот считает возможным принимать эти деньги и не сомневается в том, что некогда фирма действительно заключила какую-то сделку, которая была забыта.

Этот холостяк с карими глазами — он уже не холостяк — женат теперь, женат на сестре седого Каркера-младшего. Он навещает своего прежнего патрона, но навещает редко. У седого Каркера-младшего есть причины, — связанные с его историей и, в особенности, с его фамилией, — по ко-

Чарльз Диккенс «Торговый дом Домби и сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт»

торым ему лучше держаться вдали от своего прежнего хозяина. И так как он живет с сестрой и ее мужем, то и они стараются держаться вдали. Уолтер, а также и Флоренс иногда навещают их, и в уютном доме прочувствованно звучат дуэты для фортепьяно и виолончели с участием «гармонических кузнецов».

А что подделывает Деревянный Мичман после всех этих перемен? О, он по-прежнему на своем посту! Выставив вперед правую ногу, он зорко следит за наемными каретами; заново выкрашенный, начиная с треуголки и кончая пряжками на туфлях, он бдителен больше чем когда бы то ни было; а над ним ослепительно сверкают два имени, начертанные золотыми буквами: ДЖИЛС И КАТЛЬ.

Никаких новых дел Мичман не ведет, по-прежнему занимаясь своей торговлей. Но ходят слухи, распространяясь на полмили вокруг синего зонта на Леднхоллском рынке, что мистер Джилс весьма удачно распорядился в былые времена своим капиталом и не только не отстал от века, как он сам полагал, но, в сущности, немножко опередил его, и ему оставалось лишь подождать истечения сроков. Поговаривают о том, что деньги мистера Джилса начали оборачиваться и оборачиваются довольно быстро. Несомненно лишь одно: он стоит у двери лавки, в своем костюме кофейного цвета, с хронометром в кармане и очками на лбу, и как будто не сокрушается об отсутствии покупателей, но имеет вид веселый и довольный, хотя рассеян так же, как и в былые времена.

Что касается его компаньона, капитана Катля, то представление о торговом предприятии «Джилс и Катль», сложившееся в голове капитана, превосходит любую действительность. Капитан не мог бы гордиться больше значением Мичмана для коммерции и навигации страны, даже если бы ни одно судно не покидало лондонский порт без помощи этого деревянного моряка. Он не перестает восторгаться при виде своего имени, красующегося над дверью. Раз двадцать в день он переходит через улицу, чтобы посмотреть на него с противоположного тротуара, и в таких случаях неизменно говорит: «Эдуард Катль, приятель, если бы твоей матери стало известно, что ты сделаешься человеком науки, как удивилась бы добрая старушка!»

Но вот к Мичману стремительно подъезжает мистер Тутс, и когда мистер Тутс врывается в маленькую гостиную, лицо у него очень красное.

— Капитан Джилс и мистер Соле, — говорит мистер Тутс, — имею счастье сообщить вам, что миссис Тутс подарила нам еще одного члена семейства.

— И это делает ей честь! — восклицает капитан.

— Поздравляю вас, мистер Тутс! — говорит старый Соль.

— Благодарю вас, — хихикает мистер Тутс, — я вам очень признателен. Я знал, что вы обрадуетесь, а потому и заглянул к вам сам. Мы, знаете ли, преуспеваем. У нас есть Флоренс, есть Сьюзен, а теперь еще один младенец.

— Женского пола? — осведомляется капитан.

— Да, капитан Джилс, — говорит мистер Тутс, — и я этому рад. Чем чаще мы будем воспроизводить эту удивительную женщину, тем, по моему мнению, лучше!

— Держись крепче! — говорит капитан, берясь за старинную четырехугольную бутылку без горлышка, ибо сейчас вечер и скромный запас трубок и стаканов, имеющийся у Мичмана, красуется на столе. — Выпьем за ее здоровье и пожелаем ей произвести на свет еще столько же!

— Благодарю вас, капитан Джилс, — говорит обрадованный мистер Тутс, — я присоединяюсь к этому тосту. Если вы мне разрешите, полагаю это никого не беспокоит, я, пожалуй, закурю трубку.

Мистер Тутс начинает курить и от избытка чувств становится очень болтливым.

— Капитан Джилс и мистер Соле, — говорит Тутс, — эта превосходная женщина не раз проявляла свой исключительный ум, но больше всего я поражен тем, что она прекрасно поняла мою преданность мисс Домби.

Оба слушателя соглашаются с ним.

— Потому что мои чувства по отношению к мисс Домби, — говорит мистер Тутс, — остались неизменными. Они те же, что и раньше. И сейчас она остается для меня тем же светлым видением, каким была до моего знакомства с Уолтерсом. Когда между миссис Тутс и мною впервые зашла речь о... короче говоря, о нежной страсти, вы понимаете, капитан Джилс...

— Да, да, приятель, — говорит капитан, — о страсти, которая играет всеми нами... вы перелистайте книгу и найдете это место...

— Я непременно это сделаю, капитан Джилс, — с величайшей серьезностью отвечает мистер Тутс. — Когда мы впервые заговорили о таких предметах, я объяснил, что меня, знаете ли, можно назвать увядшим цветком.

Капитан весьма одобряет эту метафору и шепчет, что лучше розы нет цветка.

— Боже мой! — продолжает мистер Тутс. — Мои чувства были ей известны ничуть не хуже, чем мне самому. Ей мне нечего было говорить. Она была единственным человеком, который мог встать между мной и безмолвной могилой, и она это сделала наилучшим образом, заслужив вечное мое восхищение. Она знает, что никого я не почитаю так, как мисс Домби. Она знает, что нет такой вещи, которой бы я не сделал для мисс Домби. Она знает, что я считаю ее самой красивой, самой очаровательной, самой божественной женщиной. Каково же ее мнение по этому поводу? В высшей степени разумное! «Дорогой мой, ты прав. Я и сама так думаю».

— И я так думаю! — сказал капитан.

— И я, — говорит Соль Джилс.

— А какая наблюдательная женщина моя жена! — продолжает мистер Тутс, помолчав и затянувшись трубкой с великим удовольствием, отразившимся на его физиономии. — Какая у нее проникательность! Какие замечания она делает! Вчера вечером, например, когда мы сидели, вкушая радости семейного очага... клянусь честью, эти слова плохо выражают то чувство, какое я испытываю в обществе моей жены, — вчера вечером она сказала, что отрадно подумать о теперешнем положении нашего друга Уолтерса. «Теперь, — заметила она, — он избавлен от необходимости плавать по морям, после того первого большого путешествия с молодой женой». Как вам известно, он и в самом деле избавлен от этой необходимости, мистер Соле!

— Совершенно верно, — соглашается старый мастер, потирая руки.

— «Теперь, — говорит моя жена, — та же фирма доверяет ему чрезвычайно ответственный пост на родине; снова он может себя проявить с лучшей стороны; он стремительно поднимается по ступенькам лестницы; все его любят. В эту счастливую пору его жизни дядя оказывает ему поддержку» ...полагаю, это так и есть, мистер Соле? Моя жена никогда не ошибается.

— Да, да... несколько наших кораблей, нагруженных золотом и пропавших без вести, действительно вернулись на родину, — смеясь, отвечает старый Соль. — Суденышки маленькие, мистер Тутс, но моему мальчику они пригодятся!

— Вот именно! — говорит мистер Тутс. — Никогда вам не уличить мою жену в ошибке! «Вот какое положение он теперь занимает, — говорит эта замечательнейшая женщина, — а что же дальше? Что будет дальше?» — спрашивает миссис Тутс. Теперь, капитан Джилс и мистер Соле, прошу обратить внимание на глубокую проникательность моей жены. «Да ведь на глазах у мистера Домби закладывается фундамент, и на этом фундаменте постепенно вырастает э... Э... „сооружение“ ...да, именно так выразилась миссис Тутс, — с восторгом говорит мистер Тутс, — „постепенно вырастает сооружение, быть может, не хуже, а лучше того, которое он возглавлял и скромное зарождение которого изгладилось в его памяти (серьезная ошибка, хотя и не редкая, по словам миссис Тутс). Так, благодаря его дочери, — сказала моя жена, — „взойдет“, нет, „восстанет“ — именно так выразилась моя жена — «восстанет во славе новый Домби и Сын».

Мистер Тутс с помощью своей трубки, которую он с радостью применяет в интересах ораторского искусства, ибо надлежащее пользование ею вызывает у него весьма неприятные ощущения, столь энергически воздает должное пророческим словам жены, что капитан, в величайшем возбуждении подбросив вверх глянцевиновую шляпу, кричит:

— Соль Джилс, вы человек науки и мой старый компаньон, что посоветовал я перечитать Уолтеру в тот вечер, когда он поступил на службу? Вот эта цитата: «Вернись, Виттингтон, лондонский лорд-мэр, и когда ты состаришься, ты не покинешь его». Так ли было дело, Соль Джилс?

— Конечно, Нэд, — отвечает старый мастер судовых инструментов. — Я прекрасно помню.

— Так вот что я вам скажу, — говорит капитан, откинувшись на спинку стула и выпячивая грудь с намерением разразиться оглушительным ревом. — Я вам спою от первого до последнего слова «Красотку Пэг», а вы оба держитесь крепче и подпевайте!

Вина, спрятанные в погребах, стареют так же, как в далекие времена — та старая мадера, и пыль и паутина покрывают бутылки.

Стоят ясные осенние дни, и на морском берегу часто прогуливаются молодая леди и седой джентльмен. С ними, или где-нибудь поблизости, двое детей — мальчик и девочка. И старая собака обычно трусит следом.

Старый джентльмен идет с мальчиком, разговаривает с ним, участвует в его играх, присматривает за ним, не спускает с него глаз, словно в нем вся его жизнь. Если он задумчив — задумчив и седой джентльмен; а иной раз, когда ребенок сидит рядом с ним, заглядывает ему в лицо и задает вопросы, он берет крохотную ручонку, удерживает ее в своей и забывает отвечать. Тогда мальчик говорит:

— Что, дедушка, я опять очень похож на моего покойного маленького дядю?

— Да, Поль. Но он был слабенький, а ты очень сильный.

— О да, я очень сильный!

— Он лежал в кровати, у моря, а ты можешь бегать по берегу.

И они опять прогуливаются, потому что седой джентльмен любит, чтобы мальчик двигался и резвился на свободе. И когда они гуляют вместе, слух об их привязанности друг к другу распространяется и следует за ними.

Но никто, кроме Флоренс, не знает о том, как велика любовь седого джентльмена к девочке. Об этом слухи не распространяются. Сама малютка иногда удивляется, почему он это скрывает. Он лелеет девочку в сердце своем. Он не может видеть ее личико затуманенным. Он не может вынести, когда она сидит в сторонке. Ему чудится, что она считает себя брошенной, хотя, конечно, это не так. Крадучись он идет посмотреть на нее, когда она засыпает... Ему доставляет удовольствие, когда она по утрам приходит будить его. С какой-то особенной нежностью он ласкает ее и целует, когда они остаются вдвоем. Девочка спрашивает иногда:

— Милый дедушка, почему ты плачешь, когда целуешь меня?

Он отвечает только: «Маленькая Флоренс! Маленькая Флоренс!» — и приглаживает кудри, затеняющие ее серьезные глаза.